This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

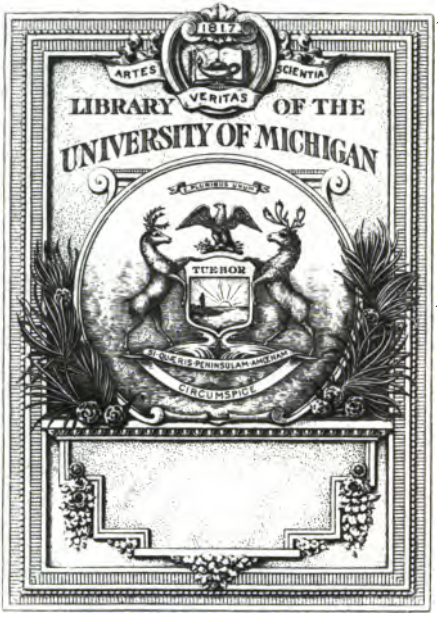
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

MX
3H
.H57
1387

Herzen, Alexandr Ivanovich, 1812-1870

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

Biblioteka sotsial'nykh znaniĭ.

БИБЛІОТЕКА СОЦІАЛЬНЫХЪ ЗНАНІЙ.

Серія первая, томъ I.

Seriia pervaia tom I (first)

„КОЛОКОЛЪ“

Kolokol

ИЗБРАННЫЯ СТАТЬИ

Izbrannyia stat'i

А. И. ГЕРЦЕНА

A. I. Gertsena

(1857-1869).

ЖЕНЕВА

Вольная Русская Типографія

1887

HX
.H57

ПРЕДИСЛОВІЕ.

А. И. Герценъ принадлежитъ къ числу тѣхъ геніальныхъ натуръ, творенія которыхъ никогда, въ сущности, не умираютъ, потому что даже тогда, когда уже измѣнилась вся обстановка, окружавшая и вдохновлявшая писателя, его созданія остаются все-таки живымъ памятникомъ эпохи и драгоцѣннымъ матеріаломъ для изученія человѣческой личности.

Мы однако очень далеки еще отъ времени, когда А. И. Герценъ будетъ имѣть лишь такое значеніе. Читая сочиненія его, каждый невольно чувствуетъ, что имѣетъ дѣло съ публицистомъ *современнымъ*. Личность, которую онъ анализируетъ, идеалы, имъ защищаемые — все это остается для насъ близкимъ и роднымъ. Многія публицистическія статьи Герцена, съ перемѣной именъ и чиселъ, могутъ быть хоть сейчасъ опубликованы въ качествѣ передовыхъ статей по разнымъ текущимъ вопросамъ. Это явленіе, сначала нѣсколько изумляющее, происходитъ конечно отчасти оттого, что мы за 17 лѣтъ ушли далеко не богъ знаетъ куда впередъ. Но въ еще большей степени *современность* Герцена объясняется его личными свойствами. Эта необычайно богатая натура, сотканная изъ какого-то своеобразнѣйшаго соединенія

поэта, мыслителя и публициста, была связана со своей эпохой тысячью кровныхъ узъ, и въ то же время уходила изъ нея на цѣлыя столѣтія впередъ. Герценъ знаетъ жизнь не такъ, какъ статистикъ или политико-экономъ. Въ этомъ отношеніи не у него приходится учиться. Но онъ знаетъ больше. Онъ осязаетъ жизнь въ самой сущности ея съ той наглядностью, съ какой человѣкъ чувствуетъ самого себя. А между тѣмъ истинно орлиная мысль Герцена высоко паритъ надъ этимъ міромъ радости и страданія, дѣлая для мыслителя доступной объективную оцѣнку всего, чѣмъ, повидимому, такъ страстно и всецѣло поглощено его чувство. Въ то же время неугомонный инстинктъ общественнаго дѣятеля ни на минуту не позволяетъ ему хранить для себя свое богатство. Герценъ не можетъ не подѣлиться съ людьми, онъ вѣчно стремится предохранить ихъ отъ ошибки, передать имъ свое чувство и пониманіе, порадоваться ихъ радости, бросить имъ въ глаза грозный упрекъ.

Это необыкновенно тонкое воспріятіе, кипящее всей страстью любви и ненависти, и въ то же время захватывающее связь явленій на какое-то неизмѣримое телескопическое разстояніе, иногда сообщаетъ генію Герцена нѣчто пророческое, что научаешься цѣнить только съ годами тяжелаго опыта. Но неумирающая современность Герцена, проистекающая отсюда же, не можетъ не чувствоваться каждымъ. Каждый видитъ, что авторъ, при встрѣчѣ съ крупнымъ-ли или мелкимъ явленіемъ жизни, общественной или личной, умѣетъ его схватить въ самой сущности, въ той сущности, которая не измѣняется годами или десятилѣтіями. Вы начинаете читать Герцена, можетъ быть, просто съ мыслью посмотрѣть, отъ нечего дѣлать, каково было это давно прошедшее и быльемъ заросшее былое... Немного страницъ успѣете вы перевернуть, какъ уже почувствуете, что васъ охватываетъ самый жгучій интересъ злобы дня. Это былое, схороненное, начинаетъ воскресать, облекаться плотью, оно сливается съ настоящимъ, какъ часть его, вы спорите съ авторомъ, пытаетесь прикидывать

его оцѣнки къ окружающимъ васъ явленіямъ. Вы замѣчаете, что читаете Герцена совершенно такъ, какъ читали бы статью въ послѣдней книжкѣ журнала. Не пытайтесь сбросить эту иллюзію: это не иллюзія, а совершенно дѣйствительный фактъ. Чѣмъ болѣе вдумываетесь вы въ Герцена, тѣмъ болѣе убѣждаетесь, какъ многому онъ учитъ въ *настоящемъ*, отъ котораго отдѣленъ цѣлой четвертью вѣка.

Герценъ безспорно остается до сихъ поръ величайшимъ человѣкомъ русской интеллигенціи, на которой впрочемъ понынѣ лежитъ глубокая печать его вліянія. Мы не имѣемъ лучшаго истолкователя русской жизни, не имѣемъ другого писателя съ такимъ глубокимъ пониманіемъ и жизни вообще. Науки естественныя и общественныя создали очень много новаго съ тѣхъ поръ, и читатель Герцена нерѣдко вноситъ къ нему частныя поправки. Но какія новыя жизнеобильныя точки зрѣнія открываетъ вамъ на каждомъ шагу этотъ изумительный человѣкъ даже тогда, когда не можетъ дать строгой формулы!

Впрочемъ формула — вообще не дѣло Герцена. Не въ этомъ его сила.

Большая часть сочиненій покойнаго изданы, какъ извѣстно его наслѣдниками. Неизданными до сихъ поръ остаются — часть „Былого и Думъ“, публикацію которой, по слухамъ, наслѣдники А. И. Герцена, не считаютъ еще своевременной. За тѣмъ изъ „Колокола“ въ собраніи сочиненій до сихъ поръ перепечатано лишь самое ограниченное число статей, притомъ-же содержаніе общаго, не имѣющаго собственно газетнаго характера.

Настоящій томъ, наоборотъ, представляетъ сборникъ чисто газетныхъ статей Герцена изъ „Колокола“.

Относительно статей этого рода иногда приходится слышать мнѣніе, что изданіе ихъ едва-ли можетъ представлять интересъ, равный интересу другихъ сочиненій Герцена. Выражаютъ иногда даже сожалѣніе о томъ, что этотъ великій художникъ потратилъ такую значи-

тельную долю таланта на мелкую журнальную работу. Ничто, мнѣ кажется, не можетъ быть ошибочнѣе такихъ взглядовъ и сожалѣній. На самомъ дѣлѣ А. И. Герценъ совершенно непредставимъ внѣ публицистики. Безъ сомнѣнія, было-бы очень печально, если-бы онъ пригиналъ свой талантъ подъ какія-нибудь партійныя требованія. Но Герценъ этого почти никогда не дѣлалъ. Какъ правило, онъ въ публицистикѣ остается всегда самимъ собой, поэтомъ и философомъ. При этомъ-же условіи — нѣчто вродѣ „Колокола" просто необходимо для проявленія огромной доли творчества Герцена, которая безъ этого осталась-бы неупотребленной. Связь Герцена съ жизнью такъ тѣсна, что конкретный ежедневный фактъ дѣйствительности влекъ его къ себѣ неудержимо. Развѣ не это стремленіе создало отчасти даже „Былое и Думы" въ то время, когда никакая политика не мѣшала Герцену взяться за какой-нибудь романъ или научную работу? А едва-ли кто-нибудь скажетъ, надѣюсь, чтобы въ „Быломъ и Думахъ" авторъ сталъ менѣе художникомъ, нежели въ своихъ романахъ, менѣе мыслителемъ, чѣмъ въ „Письмахъ объ изученіи природы" или „Съ того Берега". Онъ не могъ забывать ежедневной жизни, его натура была слишкомъ впечатлительна для этого. „Колоколъ", этотъ органъ ежедневнаго, такъ сказать, отклика Герцена на впечатлѣнія жизни, является такимъ образомъ прекраснымъ и вполнѣ умѣстнымъ орудіемъ его творчества. Пусть это статьи мелкія. Но развѣ достоинство лирическаго стихотворенія измѣряется его величиной? Развѣ длиной фразы измѣряется цѣнность мысли? Пусть событія, по поводу которыхъ говоритъ Герценъ, иногда мелки. Но, во первыхъ, они очень часто и очень крупны, а во вторыхъ, это всегда проявленія *жизни*, которую мыслитель и художникъ умѣетъ цѣнить одинаково и въ большомъ и въ маломъ. Нѣтъ, для Герцена было большимъ счастьемъ, что онъ нашелъ для себя „Колоколъ". А для насъ въ „Колоколѣ" осталось не только нѣсколько сотенъ настоящихъ „стихотвореній въ прозѣ", сверкаю

щихъ красотой, мыслью и радужнымъ разнообразіемъ отклика на событія жизни, но еще осталась такая исторія эпохи освобожденія, какой Герценъ, можетъ быть, и не сдѣлалъ-бы въ отдѣльномъ „большомъ“ трудѣ.

И почему собраніе статей Герцена изъ „Колокола“ не представляетъ одного „большого“ труда? Такъ думать можно только съ чисто формальной мѣркой сужденія. На самомъ дѣлѣ эти статьи представляютъ какъ-бы мелкія главы одной огромной поэмы, проникнутой строгимъ внутреннимъ единствомъ. Это настоящій соціальный романъ, въ которомъ вы, отъ завязки до развязки, пробѣгаете длинный рядъ интереснѣйшихъ перипетій, рисующихъ передъ вами такую крупную и сложную личность на фонѣ одной изъ самыхъ интересныхъ эпохъ нашей исторіи. И въ то же время — эта поэма въ статьяхъ имѣетъ всѣ достоинства документальной дѣйствительности.

Издатели статей Герцена изъ „Колокола“ не могли однако, предпринять полной ихъ перепечатки. Это составило-бы томъ слишкомъ дорогой и объемистый. Я получилъ, такимъ образомъ, лестное приглашеніе сдѣлать выборку статей для настоящаго тома.

Моя задача состояла въ томъ, чтобы, выбросивши около половины статей, сохранить для читателей Герцена, какимъ онъ является въ „Колоколѣ“. Этого *сокращенія* я достигъ, оставивъ безъ воспроизведенія, во первыхъ, то, что уже вошло изъ „Колокола“ въ собраніе сочиненій Герцена; затѣмъ—во французскомъ „Kolokol“ я счелъ возможнымъ не брать почти ничего, такъ какъ значительная часть его представляетъ не болѣе, какъ переводъ на французскій языкъ разныхъ русскихъ, извѣстныхъ читателямъ, статей Герцена; наконецъ это изданіе, въ сущности имѣетъ уже совершенно другой характеръ, нежели «Колоколъ» русскій. Для дальнѣйшихъ сокращеній я воспользовался тѣми статьями, гдѣ Герценъ повторяется, разбирая нѣсколько разъ одинъ и тотъ-же сюжетъ. Въ этихъ случаяхъ я бралъ лишь одну статью, отбрасывая остальныя. На-

конецъ я отбросилъ нѣкоторую часть мелкихъ замѣтокъ, очевидно, сравнительно, незначительныхъ. Вотъ средства выборки. Какъ видятъ читатели, я не позволилъ себѣ ни сокращать статей, разъ уже бралъ ихъ, ни выбирать ихъ на основаніи какихъ-либо личныхъ оцѣнокъ ихъ достоинствъ; я старался, чтобы въ настоящемъ томѣ были образчики отношенія Герцена ко всѣмъ предметамъ, какіе только ему случалось затрогивать въ «Колоколѣ».

Я счелъ также неумѣстной какую бы то ни было классификацію статей „Колокола" и расположилъ ихъ въ простомъ хронологическомъ порядкѣ, изъ № въ №. Лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда одна и та же статья растягивается въ „Колоколѣ" на нѣсколько номеровъ, я соединяю продолженіе и конецъ съ началомъ, обозначая впрочемъ при этомъ, въ какихъ №№ были помѣщены въ подлинникѣ продолженіе и конецъ.

Къ нѣкоторымъ статьямъ я дѣлаю пояснительныя примѣчанія, отмѣчая ихъ своими иниціалами, въ отличіе отъ примѣчаній Герцена.

Многія статьи Герцена въ „Колоколѣ" не подписаны. Въ этихъ случаяхъ я руководился указаніемъ разныхъ лицъ, хорошо изучившихъ Герцена, и особенно указаніями автора предисловія къ собранію сочиненій его. Приношу свою благодарность за это любезное содѣйствіе.

Л. Тихомировъ.

А. И. ГЕРЦЕНЪ.

ИЗБРАННЫЯ СТАТЬИ ИЗЪ „КОЛОКОЛА“.

Колоколъ № 1
1 Іюля 1857 года.

ОБЪ ИЗДАНІИ.

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА выходитъ слишкомъ рѣдко, мы не имѣемъ средствъ издавать ее чаще. Между тѣмъ событія въ Россіи несутся быстро, ихъ надобно ловить на лету, обсуживать тотчасъ. Для этого мы предпринимаемъ новое повременное изданіе. Не опредѣляя сроковъ выхода, мы постараемся ежемѣсячно издавать *одинъ листъ*, иногда *два*, подъ заглавіемъ КОЛОКОЛЪ.

О направленіи говорить нечего; оно тоже, которое въ *Полярной Звѣздѣ*, тоже, которое проходитъ неизмѣнно черезъ всю нашу жизнь. Вездѣ, во всемъ, всегда, быть со стороны воли — противъ насилія, со стороны разума — противъ предразсудковъ, со стороны науки — противъ изувѣрства, со стороны развивающихся народовъ — противъ отстающихъ правительствъ. Таковы общіе догматы наши.

Въ отношеніи къ Россіи, мы хотимъ страстно, со всею горячностью любви, со всей силой послѣдняго вѣрованія, — чтобы съ нея спали наконецъ ненужные старые свивальники, мѣшающіе могучему развитію ея. Для этого мы теперь, какъ въ 1855 году,*) считаемъ первымъ необходимымъ, неотлагаемымъ шагомъ:

Освобожденіе слова—отъ цензуры!

Освобожденіе крестьянъ—отъ помѣщиковъ!

Освобожденіе податнаго сословія—отъ побоевъ!

Не ограничиваясь впрочемъ этими вопросами, *Колоколъ* посвященный исключительно русскимъ интересамъ, будетъ *звонить* чѣмъ бы ни былъ затронутъ — нелѣпымъ указомъ или глупымъ гоненіемъ раскольниковъ, воровствомъ сановниковъ или невѣжествомъ сената. Смѣшное и преступное, злонамѣренное и невѣжественное, все идетъ подъ *Колоколъ*.

*) Программа «Пол. Звѣзды».

А потому обращаемся ко всѣмъ соотечественникамъ, дѣлящимъ *нашу* любовь къ Россіи и просимъ ихъ не только слушать нашъ *Колоколъ*, но и самимъ звонить въ него!

Появленіе новаго русскаго органа, служащаго дополненіемъ къ *Полярной Звѣздѣ*, не есть дѣло случайное и зависящее отъ одного личнаго произвола, а отвѣтъ на потребность; мы *должны* его издавать.

Для того, чтобы объяснить это, я напомню короткую исторію нашего типографскаго станка.

Русская Типографія, основанная въ 1853 г. въ Лондонѣ, была запросомъ. Открывая ее, я обратился къ нашимъ соотечественникамъ съ призывомъ, изъ котораго повторяю слѣдующія строки:

„Отчего мы молчимъ?

„Неужели намъ нечего сказать?

„Или мы молчимъ только оттого, что мы не смѣемъ говорить?

„Дома нѣтъ мѣста свободной русской рѣчи, — она можетъ раздаваться индѣ, если только ея время пришло.

„Я знаю, какъ вамъ тягостно молчать, чего вамъ стоитъ скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякій порывъ.

„Открытая вольная рѣчь — великое дѣло; безъ вольной рѣчи — нѣтъ вольнаго человѣка. Не даромъ за нее люди даютъ жизнь, оставляютъ отечество, бросаютъ достояніе. Скрывается только слабое, боящееся, незрѣлое, „молчаніе знакъ согласія“; оно явно выражаетъ отрѣченіе, безнадежность, склоненіе головы, сознанную безвыходность.

„Открытое слово — торжественное признаніе, переходъ въ дѣйствіе.

„Время печатать по русски внѣ Россіи, кажется намъ, пришло. Ошибаемся мы или нѣтъ? Это покажете вы.

„Но для кого печатать по русски за границею? — какъ могутъ расходиться въ Россіи запрещенныя книги?

„Если мы все будемъ сидѣть сложа руки, и довольствоваться безплоднымъ ропотомъ и благороднымъ негодованіемъ, если мы будемъ благоразумно отступать отъ всякой опасности и, встрѣтивъ препятствіе, останавливаться, не дѣлая опыта ни перешагнуть, ни обойти его—тогда долго не придутъ еще для Россіи свѣтлые дни.

„Дверь вамъ открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нѣтъ? Это останется на вашей совѣсти.

„Если мы не получимъ ничего изъ Россіи, это будетъ не наша вина. Если вамъ покой дороже свободной рѣчи, — молчите.“

Ожидая что будетъ, я принялся печатать свои сочиненія и летучіе листы, писанные другими. Отвѣта не было, или хуже, до меня доходили одни порицанія, одинъ лепетъ страха, осторожно шептавшій мнѣ, что печатаніе за границей опасно, что оно можетъ компрометировать и надѣлать бездну вреда; многіе изъ близкихъ людей дѣлили это мнѣніе. Меня это испугало.

Пришла война. И въ то время, когда Европа обратила жадное вниманіе на все русское и раскупала цѣлыя изданія моихъ фран-

пузскихъ брошюръ*) и переводъ моихъ Записокъ на англійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ быстро расходился, — русскихъ книгъ не было продано и *десяти* экземпляровъ. Онѣ грудами валялись въ Типографіи, или разсылались нами на нашъ счетъ, и притомъ даромъ.

Пропаганда тогда только начинаетъ быть дѣйствительной силой, когда она окупается; безъ этого она натянута, неестественна и можетъ развѣ только служить дѣлу партій, но чаще вызываетъ наскоро выращенное сочувствіе, которое блѣднѣетъ и вянетъ, какъ скоро слова перестаютъ звучать.

Меньшинство осуществляетъ часть своего идеала только тогда,— когда повидимому выдѣляясь изъ большинства—оно въ сущности выражаетъ его же мысль, его стремленія, его страданія. Большинство бываетъ вообще неразвито, тяжело на подъемъ; чувствуя тягость современнаго состоянія, оно ничего не дѣлаетъ, чтобы освободиться отъ него; тревожась вопросами, оно можетъ остаться не разрѣшая ихъ. Появляются люди, которые изъ этихъ страданій, стремленій — дѣлаютъ свой жизненный вопросъ; они дѣйствуютъ словомъ какъ пропагандисты, дѣломъ какъ революціонеры—но въ обоихъ случаяхъ настоящая почва тѣхъ и другихъ большинство, и степень ихъ сочувствія къ нему.

Всѣ попытки издавать журналы въ лондонской эмиграціи съ 1849 г. не удались, онъ поддерживались приношеніями, не окупались и лопались; это было явное доказательство, что эмиграціи не выражали больше мысли своего народа. Они остановились и вспоминали, народы шли въ другую сторону. И въ то самое время, какъ угасалъ послѣдній французскій листокъ демократической партіи въ Лондонѣ, четыре изданія Прудоновской книги „Manuel du Spéculateur à la Bourse", были расхватаны въ Парижѣ.

Конечно, строгость и свирѣпыя мѣры очень затрудняли ввозъ запрещенныхъ книгъ въ Россію. Но развѣ простая контрабанда не шла своимъ чередомъ вопреки всѣмъ мѣрамъ? Развѣ строгость Николая остановила воровство чиновниковъ? На взятки, на обкрадываніе солдатъ, на контрабанду—была отвага; на распространеніе свободнаго слова — нѣтъ; стало быть нѣтъ еще на него и истинной потребности. Я съ ужасомъ сознавался въ этомъ. Но внутри была *живая вѣра*, которая заставляла надѣяться вопреки собственныхъ доводовъ; и выжидая, продолжалъ свой трудъ.

Вдругъ телеграфическая депеша о смерти Николая.

Теперь или никогда!

Подъ вліяніемъ великой, благодатной вѣсти, я написалъ программу *Полярной Звѣзды*. Въ ней я говорилъ:

„Россія сильно потрясена послѣдними событіями. Что бы ни было, она не можетъ возвратиться къ застою; мысль будетъ дѣя-

*) „Le Vieux Monde et la Russie" было помѣщено сначала въ англійскомъ Ревю, потомъ въ „L'homme", потомъ было отпечатано въ Жерсеѣ особо и—все продано до послѣдняго экземпляра.

тельнѣе, новые вопросы возникнутъ — неужели и они должны затеряться, заглохнуть? — Мы не думаемъ. Казенная Россія имѣетъ языкъ и находитъ защитниковъ даже въ Лондонѣ. А юная Россія, Россія будущаго и надеждъ, не имѣетъ ни одного органа.

„Мы предлагаемъ его ей.

„Четырнадцатое Декабря родилось тоже въ минуту одушевленія, когда народъ въ первый разъ послѣ Пожарскаго шелъ рука въ руку съ правительствомъ. Мысль русскаго освобожденія явилась на свѣтъ въ тотъ день, когда русскій солдатъ, усталый послѣ боевъ и длинныхъ походовъ, бросился наконецъ отдохнуть въ Елисейскихъ поляхъ.

„И неужели черезъ сорокъ лѣтъ пройдетъ даромъ гигантскій бой въ Тавридѣ?

„Севастопольскій солдатъ, израненный и твердый, какъ гранитъ, испытавшій свою силу, также подставитъ свою спину палкѣ какъ и прежде? Ополченный крестьянинъ воротится на барщину также покойно, какъ кочевой всадникъ съ береговъ каспійскихъ, сторожившій балтійскую границу, пропадетъ въ своихъ степяхъ? — Не можетъ быть. Все въ движеніи, все потрясено, натянуто... и чтобъ страна, такъ круто разбуженная, снова заснула непробуднымъ сномъ?

„Лучше пусть погибнетъ Россія!

„Но этого не будетъ. Намъ здѣсь, вдали слышна другая жизнь; изъ Россіи потянуло весеннимъ воздухомъ. Мы и прежде не сомнѣвались въ народѣ русскомъ, все написанное и сказанное нами съ 1849 года свидѣтельствуетъ объ этомъ. Основаніе Типографіи еще больше свидѣтельствуетъ. Вопросъ шелъ о времени, онъ разрѣшился въ нашу пользу.“

Въ день казни нашихъ мучениковъ — черезъ 29 лѣтъ — вышла въ Лондонѣ первая *Полярная Звѣзда*. Съ бьющимся сердцемъ ожидалъ я послѣдствій.

Вѣра моя начала оправдываться.

Я сталъ вскорѣ получать письма исполненныя симпатіи—юной, горячей, тетради стиховъ и разныхъ статей. Началась продажа, сначала туго, и медленно возрастая, потомъ съ выхода *второй книжки* (въ Апрѣлѣ 1856 г.) количество требованій увеличилось до того, что иныхъ изданій уже совсѣмъ нѣтъ, другія изданы во второй разъ, третьихъ остается по нѣскольку экземпляровъ*). Отъ выхода второй книжки *Полярной Звѣзды* и до начала *Колокола*, всѣ *расходы по Типографіи* покрыты продажей русскихъ книгъ.

Сильнѣе доказательства на дѣйствительную потребность свободнаго слова въ Россіи быть не можетъ, особенно вспомнивъ таможенныя препятствія.

И такъ трудъ нашъ не былъ напрасенъ. Наша рѣчь, свободное

---

*) „Прерванные разсказы“, „Тюрьма и Ссылка“, первая и вторая книжка «Полярной Звѣзды» — совсѣмъ исчерпаны. Вторымъ изданіемъ вышла „Крещеная Собственность“.

русское слово, раздается въ Россіи, будитъ однихъ, стращаетъ другихъ, грозитъ гласностью третьимъ.

Свободное русское слово наше раздается въ Зимнемъ Дворцѣ— напоминая, что задавленный паръ взрываетъ машину, если не умѣютъ его направить.

Оно раздается среди юнаго поколѣнія, которому мы передаемъ нашъ трудъ. Пусть оно, болѣе счастливое, нежели мы, увидитъ на *дѣлѣ* то, о чемъ мы только говорили. Не завидуя, смотримъ мы на свѣжую рать, идущую обновить насъ, и дружески ее привѣтствуемъ. Ей радостные праздники освобожденія, намъ благовѣсть, которымъ *мы* зовемъ *живыхъ* на похороны всего дряхлаго, отжившаго, безобразнаго, рабскаго, невѣжественнаго въ Россіи!

ЧТО СДѢЛАНО ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНІЯ КРѢПОСТНЫХЪ ЛЮДЕЙ?

Правительство учредило комитетъ, подъ предсѣдательствомъ графа Блудова, для разсмотрѣнія вопроса объ освобожденіи крѣпостныхъ людей. Нѣсколько проэктовъ было представлено, на которые комитетъ не далъ никакого отвѣта, и наконецъ самъ комитетъ закрылся, ничего не сдѣлавъ. Результатомъ его безплодныхъ засѣданій были только кое-какія цензурныя преслѣдованія.

Вотъ слухи, еще требующіе подтвержденія. Но что выше вѣроятія, что не подвержено никакому сомнѣнію — это то, что съ вступленія на престолъ Александра II, не смотря не всѣ ожиданія и надежды, правительство ничего не сдѣлало для освобожденія крѣпостнаго сословія и не подвинуло ни на шагъ рѣшеніе этого вопроса.

Что же оно дѣлаетъ? Некогда ему, что ли? Или важное занятіе формою военныхъ и штатскихъ мундировъ до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дѣло не хватаетъ времени? Или правительство довольствуется собственными слезами умиленія, чувствуя себя не такимъ, какъ правительство «Незабвеннаго», и далѣе ничего не хочетъ дѣлать? Или сквозь шумъ праздниковъ и охотничьихъ трубъ псарей, оно не умѣетъ разслушать кликъ народный?

Приходится звонить въ Колоколъ и сказать этому правительству: Стыдно! Пора проснуться! Теперь еще время. Ты можешь мирнымъ путемъ рѣшить вопросъ освобожденія крѣпостныхъ.

Vivos voco! Или правительство уже такое мертвое, что никакая государственная нужда его не разбудитъ? Если оно не живое, — зачѣмъ же оно бралось за управленіе государствомъ? Отрѣчься— было-бы благороднѣе, чѣмъ подавать надежды, на исполненіе которыхъ силъ не хватаетъ. Стало оно хвастало своей любовью къ Россіи? Стало оно насъ обманывало? Или оно думало, что Россію можно спасти безъ государственной мысли, а только маленькимъ

добродушіемъ, доходящимъ до потачки государственнымъ ворамъ? Въ такомъ случаѣ оно только позорится передъ свѣтомъ.

Пора проснуться! Скоро будетъ поздно рѣшать вопросъ освобожденія крѣпостныхъ мирнымъ путемъ; мужики рѣшатъ его по своему. Рѣки крови прольются — и кто будетъ виноватъ въ этомъ? — Правительство.

Россія настрадается, а на правительство исторія положитъ клеймо злонамѣренности, или бездарности, въ обоихъ случаяхъ позорное.

Проснись! Работай — не надъ мертвечиной формалистики, а надъ живымъ государственнымъ вопросомъ. Работай, пока время не ушло.

Vivos voco!

АВГУСТѢЙШІЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

I. ВДОВСТВУЮЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА.

По смерти Николая уничтожилось постыдное стѣсненіе въ правѣ Русскимъ путешествовать за границей. Добрыя дѣла рѣдко проходятъ даромъ; едва Александръ II отрѣзалъ веревку, на которой насъ держалъ его отецъ, какъ собственная семья его воспользовалась больше всѣхъ дарованнымъ правомъ — удободвижимости. Снова на всѣхъ дорогахъ въ Европѣ, (кромѣ англійскихъ!) показались великіе князья, охотящіеся по нѣмецкимъ невѣстамъ, и бывшія нѣмецкія невѣсты въ русскомъ переводѣ съ патрономіальными именами. Снова вдовствующая императрица дала Европѣ зрѣлище истинно азіатскаго бросанья денегъ, истинно варварской роскоши. Съ гордостью могли видѣть вѣрноподданные, что каждый переѣздъ августѣйшей больной и каждый отдыхъ ея — равняется для Россіи неурожаю, разливу рѣкъ и двумъ-тремъ пожарамъ. Снова всякіе нѣмецкіе князья поташились mit Weib und Kind — начитавшись въ Либигѣ и Молешотѣ о непитательности картофеля — на русскіе хлѣба въ Ниццу.

Александра Ѳедоровна, воспитанная въ благочестивыхъ правилахъ евангелически-потсдамскаго абсолютизма, и расцвѣтшая въ догматахъ православно-петербургскаго самовластія, не могла тотчасъ придти въ себя и найтиться послѣ высочайшей потери. Ей было больно видѣть либеральное направленіе новаго императора, ее смущалъ злой умыселъ амнистіи, возмутительная мысль объ освобожденіи крестьянъ. Она съ ужасомъ увидѣла, какъ эти величавыя сваи, на которыхъ держалась николаевская плотина (эти нѣмецкіе и русскіе Клейнмихели) покачнулись. Призракъ мучившій ее тридцать лѣтъ снова возставалъ изъ рвовъ Петропавловской крѣпости, изъ подъ снѣговъ Сибири, и грозилъ пальцемъ во фригійской шапкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ей было не трепетать, когда террористы и люди баррикадъ въ родѣ Ланскаго и Сухозанета, принимались за кормило судна, такъ ловко поставленнаго на

мель ея покойникомъ, что безъ англо-французской помощи его бы никто и не стащилъ. Предвидя 10 Августа и 21 Января, оплакивая николаевскую форму мундировъ и великихъ сподвижниковъ „незабвеннаго", императрица оставила революціонный дворецъ и изволила прослѣдовать въ Берлинъ.

Тамъ ее ждалъ новый ударъ, шедшій изъ близкой руки. Королевственный братъ ея, плохо различающій призваніе половъ и сверхъ того человѣкъ зашибающій хмѣлемъ, вдругъ пожаловалъ императрицу—отгадайте чѣмъ? — *чиномъ драгунскаго полковника*. И вотъ ей пришлось на старости лѣтъ „снимать одежду черную" и нарядиться въ костюмъ, о которомъ прусская газета говоритъ — „въ половину фантастическій, въ половину драгунскій!" Такимъ августѣйшимъ андрогиномъ и вдовствующимъ драгуномъ предстала она передъ корпусъ офицеровъ, который былъ тронутъ до слезъ, что и ожидать слѣдовало отъ ихъ званія нѣмцевъ

Что, еслибы императрицѣ съ своей стороны назначить его самаго, любезнаго королевственнаго братца—августѣйшей директрисой въ Смольный монастырь? Посмотрѣли бы мы, какъ бы онъ явился на актъ декольте съ голыми руками и въ рейтузахъ, или въ мундирѣ бывшаго Кейзеръ-Николаусъ регимента-полка, съ крахмаленной юбкой съ кринолинами и... брандебурами! Пусть бы онъ на себѣ примѣрилъ, что значитъ путать полы.

Это раскрыло глаза императрицѣ, она съ каждымъ шагомъ въ Европѣ больше и больше переходитъ на нашу сторону, и изъ Императрицы-полковника становится Гражданинъ-императрица. Простота завелась удивительная, никакихъ этикетовъ. Однимъ добрымъ утромъ является старый служивой; постучалъ въ дверь, выходитъ кухарка. — Кого вамъ? — Императрицу. Дома что ли? — Какъ же, какъ же, пожалуйте въ столовую, онѣ укладываютъ драгунскій мундиръ въ чемоданъ. — Служивой идетъ. — „Помните ли, императрица, какъ я васъ въ Потсдамѣ маленькую вытащилъ изъ воды въ саду?" — „Ахъ Боже мой, точно, точно — вотъ истинно гора въ горой не сойдется, а человѣкъ съ человѣкомъ все же иное, встрѣтится." И она стала вспоминать, какъ Донъ Карлосъ о счастливыхъ дняхъ „Аранхуеца" въ Потсдамѣ. — Что ей теперь Ланской и Сухозанетъ, что ей освобожденіе крестьянъ, — она соболѣзнуетъ о польскихъ судьбахъ Ломбардіи, — дайте намъ Кавура и освобожденіе Италіи?

Ну разумѣется, съ такими мыслями въ головѣ нечего было и думать проѣзжать Австрію. Въ ея лѣта подвергаться австрійскому преслѣдованію, аресту, тюрьмѣ, Шпильбергу, Carcere duro — хуже всякаго Мандта. Да и что такое Австрія? гнѣздилище рабства и абсолютизма, — то ли дѣло Швейцарія.

Швейцарія? эта страна безъ царя — эта страна, въ которой самыя горы напоминаютъ la montagne de 93 и время геологическаго террора. Страна, въ которой государственные преступники въ родѣ Теля, этаго Пестеля, съ большей удачей, считаются великими людьми; въ которой говорятся открыто такія страшныя и возму-

тительныя вещи, что русское правительство сочло необходимымъ послать туда глухаго Криднера посланникомъ, чтобы онъ не набрался зажигательныхъ теорій.

Все это старые предразсудки. — Die Bürgerin Kaiserin въ Женевѣ, окружена толпами дѣвушекъ съ букетами, онѣ дѣлаютъ ей книксенъ и поютъ Ständchen „für unsere Alexandrina", музыка и слова нарочно сочинены ad hoc какимъ то германскимъ поэтомъ, потерявшимся на Альпахъ.*)

Но въ Піемонтѣ она уже окружена не невинными дѣвушками, а виновными возмутителями общественнаго порядка — Борромеи, Литта, (почти тоже что Чарторижскіе и Потоцкіе, находящіеся въ эмиграціи). Она беретъ на руки маленькаго Борромео и со слезами на глазахъ желаетъ, чтобъ онъ увидѣлъ скорѣе свою родину; что въ переводѣ значитъ, чтобъ скорѣе прогнали изъ Ломбардіи *законнаго* императора — и его Австрійцевъ.

Давно ли у Карла Альберта былъ отнятъ русскій полкъ, или лучше у полка было отнято имя Карла Альберта, за то что онъ проведя цѣлую жизнь въ преступленіяхъ и въ своей запачканой грокадерской шинели, почувствовалъ недостойное помазанника Божія угрызеніе совѣсти, и далъ своему народу человѣческія права. Покойникъ шутить не любилъ и слабостей не прощалъ. Но забытъ „незабвенный" и его неутѣшная вдова весело пѣнитъ бокалъ и на шумномъ пиру сама провозглашаетъ тостъ за конституціоннаго короля Сардиніи.

Скоро-ли тостъ Маццини? Да не выпить ли за Кошута? Насолила же имъ Австрія!

Такова обаятельная сила русскаго самодержавія, что я думаю эти господа сдѣлаютъ со мной чудо, которое не въ состояніи былъ бы совершить самый к. к.†) св. Непомукъ — примирятъ меня съ Австріей, которую я ненавижу какъ человѣкъ, какъ Славянинъ, какъ другъ Италіи.

Но каковъ бы ни былъ либерализмъ сардинскаго двора, все же онъ не идетъ до уничтоженія личной собственности и коммунизма; все же Ницца не Икарія Кабе. Опытъ распространенія communa bonorum, рѣшительно не удался императрицѣ. Какая то Англичанка наняла домъ съ садомъ, понравился садъ императрицѣ, она въ него гулять: но Англичанка говоритъ: „позвольте, не торопитесь, садъ я наняла не для высочайшаго, а для собственнаго своего удовольствія, beg pardon Mame!" да и дверь на ключъ. Какова смѣлость! Она вѣрно не знаетъ, что въ Россіи ее послали бы солдатомъ на Кавказъ, или въ каторжную работу лѣтъ на тридцать.

Не за то ли обошли однаго Ратацци, министра внутреннихъ

---

*) Аугсбурская газета разсказываетъ, что вдовствующая императрица, бывши въ Женевѣ, платила ежедневно 7,000 фр. за квартиру и 25,000 фр. на харчи. Если это не правда, пусть оправдываются въ этомъ преступленіи.

†) Kaiserlich-koeniglicher.

лъ, русской кавалеріей, что онъ не умѣлъ отомстить такой афронтъ и не поручилъ солдатамъ возвратившимся изъ Крыма, взять приступомъ садъ Англичанки?

Демократически проводя время съ разными піэмонтскими губернскими секретарями и совѣтниками губернскаго ниццкаго правленія, наша православная протестантка поѣхала къ Папѣ римскому. Пій IX вспомнилъ молодость, какъ онъ самъ служилъ офицеромъ въ Guardia Nobile, надѣлъ лучшій подрясникъ и какъ вѣжливый кавалеръ, пріосанившись, самъ отправился съ визитомъ. Объ ихъ святомъ tête à têt'ѣ никто ничего не знаетъ; быть можетъ онъ просилъ императрицу перекрестить Русь въ католическую, а можетъ быть объяснялъ пользу и выгоду своего открытія иммакулатнаго зачатія!

Особенно пріятно насъ поражаетъ, что въ Римѣ, въ этомъ старомъ городѣ изъ всѣхъ старыхъ городовъ, августѣйшая больная порхаетъ какъ бабочка. Мы право начинаемъ думать, что преданность и слѣпая любовь выдумали безпокойнымъ и заботливымъ сердцемъ опасность, въ которомъ находится здоровье императорствующей вдовицы,—гдѣ же доказательства? Въ Петербургѣ лѣтъ до пятидесяти она танцовала, одѣвалась, шнуровалась, завивалась. Въ Ниццѣ — пикники, dejeunés flottants на морѣ, музыка, parties fines, — не знаю что. Въ Римѣ — туда сюда, суета суетствій: старую ли шутку освѣщенія св. Петра выдумаютъ, или вѣчный жирандоль зажгутъ, — наша Александра Ѳедоровна тутъ какъ тутъ. Какую надо имѣть пріятную пустоту душевную и атлетическія силы тѣлесныя, какую свѣжесть впечатлѣній, чтобъ такъ метаться на всякую всячину, чтобъ находить zu himlisch — то захожденіе солнца, то восхожденіе ракетъ; чтобъ находить удовольствіе во всѣхъ этихъ пріемахъ, grands levés, petits levés, представленіяхъ, плошкахъ, парадахъ, полковой музыкѣ, церемонныхъ обѣдахъ и обѣдахъ за просто на сорокъ человѣкъ, въ этомъ неприличномъ количествѣ свиты, въ этихъ табунахъ — лошадей, фрейлинъ, экипажей, штатсъ-дамъ, каммергеровъ, камердинеровъ, лакеевъ, генераловъ, нашихъ пословъ, идущихъ съ Востока и Запада на поклоненіе, и ненашихъ принцевъ, съ своими durchlauchtige Gemahlinen! — Чье здоровье вынесетъ этакую барщину!

Когда Николай былъ въ Римѣ, ѣхавши отъ товарища по службѣ и друга своего, короля неаполитанскаго, онъ дѣлалъ смотръ храму св. Петра, все нашелъ въ порядкѣ и написалъ на куполѣ: „Здѣсь я былъ такого-то числа, и молился объ матушкѣ Россіи.“ Хоть оно и не совсѣмъ умѣстно и вовсе не по формѣ было для главы восточной церкви безпокоить Бога съ чужой квартиры, но видно онъ молился усердно, да и не объ одной матушкѣ Россіи, а и объ матушкѣ своихъ дѣтей, и Богъ услышалъ высочайшую молитву!

А вы мужички платите — вамъ не привыкать стать.

Колоколъ № 2.
1 Августа 1857 года.

РЕВОЛЮЦІЯ ВЪ РОССІИ.

„Господа! лучше чтобъ эти перемѣны сдѣлались сверху — нежели снизу.“

(Александръ II—Рѣчь къ московскому дворянству.

Мы не только наканунѣ переворота, но мы вошли въ него. Необходимость и общественное мнѣніе увлекло правительство въ новую фазу развитія, перемѣнъ, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдругъ получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это безпокойство ея и стремленіе вновь разрѣшить главныя задачи государственной жизни, подвергнуть разбору историческія формы въ которыхъ она движется—составляетъ необходимую почву всякаго кореннаго переворота.

Но гдѣ-же знаменія, обыкновенно предшествующія революціямъ? —все въ Россіи такъ тихо, такъ подавлено и еще больше съ такимъ добродушнымъ довѣріемъ смотритъ на новое правительство, ждетъ отъ него помощи, что скорѣе можно думать, что вѣка пройдутъ прежде, нежели Россія вступитъ въ новую жизнь.

Да на что же эти знаменія? Въ Россіи все шло инымъ порядкомъ, у нея былъ разъ коренной переворотъ, его сдѣлалъ одинъ человѣкъ — Петръ I. Мы такъ привыкли съ 1789 г., что всѣ перевороты дѣлаются взрывами, возстаніями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шагъ впередъ берется съ боя — что невольно ищемъ, когда рѣчь идетъ о переворотѣ: площадь, баррикады, кровь, топоръ палача. Безъ сомнѣнія возстаніе, открытая борьба, одно изъ самыхъ могущественныхъ средствъ революцій, но отнюдь не единственное. Въ то время, какъ Франція съ 1789 г. шла огнедышашимъ путемъ катаклизмовъ и потрясеній, двигаясь впередъ, отступая назадъ, метаясь въ судорожныхъ кризисахъ и кровавыхъ реакціяхъ, Англія совершала свои огромныя перемѣны и дома и въ Ирландіи и въ колоніяхъ, съ обычнымъ флегматическимъ покоемъ и въ совершенной тишинѣ. Весь правительственный тактъ Торіевъ и Виговъ состоитъ въ умѣньи упираться, пока можно, и уступать, когда время пришло. Такъ какъ Робертъ Пиль — переходомъ своимъ на сторону свободной торговли, одержалъ экономическое Ватерлоо, для правительства; такъ одно изъ будущихъ министерствъ вступитъ въ сдѣлку съ Чартистами и дастъ интересамъ работниковъ—голосъ и представительство.

На нашихъ глазахъ переродился Піэмонтъ. Въ концѣ 1847 года управленіе его было іезуитское и инквизиторское, безъ всякой гласности, но съ тайной полиціей, съ страшной свѣтской и духовной цензурой, убивавшей всякую умственную дѣятельность. Про-

шло десять лѣтъ и Піэмонтъ нельзя узнать, физіогномія городовъ, народонаселенія измѣнилась, вездѣ новая, удвоенная жизнь, открытый видъ, дѣятельность; а вѣдь эта революція была безъ малѣйшихъ толчковъ, для этой перемѣны достаточно было одной *несчастной войны и ряда уступокъ общественному мнѣнію* со стороны правительства.

Артисты-революціонеры не любятъ этого пути, мы это знаемъ, но намъ до этого дѣла нѣтъ, мы просто люди глубоко убѣжденные, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны, — и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго, человѣческаго развитія путю развитія кроваваго; но съ тѣмъ вмѣстѣ также искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе—застою николаевскаго statu quo.

Государь хочетъ перемѣнъ, хочетъ улучшеній, пусть же онъ вмѣсто безполезнаго отпора, прислушается къ голосу мыслящихъ людей въ Россіи, людей прогресса и науки, людей практическихъ и жившихъ съ народомъ. Они съумѣютъ лучше николаевскихъ бургравовъ не только ясно понять и формулировать чего они хотятъ, но сверхъ того съумѣютъ понять за народъ его желанія и стремленія. Вмѣсто того, чтобъ малодушно обрѣзывать ихъ рѣчь, — правительство само должно приняться съ ними за работу общественнаго пересозданія, за развитіе новыхъ формъ, новыхъ органовъ жизни. Ихъ теперь ни мы не знаемъ, ни правительство не знаетъ, мы идемъ къ ихъ открытію, и въ этомъ состоитъ потрясающій интересъ нашей будущности.

Петръ I носилъ въ себѣ одномъ ту непредвидѣнную, новую Россію, которую онъ осуществилъ сурово и грозно противъ воли народа, опертой на самодержавную власть и личную силу. Нынѣшнему правительству не нужно прибѣгать ни къ какому прогрессивному террору. Есть цѣлая среда, зрѣлая мыслію, готовая идти съ правительствомъ или противъ него, но за народъ и съ народомъ. Среда эта можетъ не велика, но мы рѣшительно не принимаемъ, чтобъ она была ниже сознаніемъ и развитіемъ какой бы то ни было среды на Западѣ. Если она у насъ непривычна къ обсуживанію общественныхъ вопросовъ, за то она гораздо свободнѣе отъ всего традиціоннаго, она новѣе, проще, юнѣе западнаго общества. Страданія, неудачи, опыты европейской жизни, она также пережила, но пережила воспитаніемъ, мыслію, сердцемъ, не истощивъ всѣхъ силъ своихъ, а нося въ памяти грозный урокъ послѣднихъ событій. Такъ юноша, пораженный какимъ нибудь великимъ несчастіемъ, совершившимся передъ его глазами, быстро зрѣетъ и смотритъ совершеннолѣтнимъ взглядомъ на жизнь, сквозь печальный примѣръ.

Но для этого общаго труда правительству необходимо перешагнуть за частоколы и заборы табели о рангахъ — мѣшающей ему видѣть и прислушаться къ совершеннолѣтней рѣчи, которая робко и полутайкомъ высказывается въ литературѣ и въ образованныхъ кружкахъ.

Неужели мысль о возможности двинуть впередъ цѣлую часть свѣта, искупить мрачное тридцатилѣтіе, соединить двѣ Россіи, между которыми прошла петровская бритва—въ общемъ дѣлѣ очищенія, освобожденія, развитія,—касаясь по дорогѣ тѣхъ страшныхъ и колосальныхъ вопросовъ--о поземельномъ владѣніи, о трудѣ и его вознагражденьи, объ общинѣ и пролетаріатѣ, передъ которыми трепещутъ всѣ правительства европейскія,— неужели это громадное историческое призваніе, само собою дающееся, — меньше льститъ Александру II, нежели пустая и одинокая высота императорскаго самовластья, ограниченнаго взятками, опертаго на штыки, крѣпостное состояніе, винные откупы, тайную полицію, невѣжество и побои, царящіе среди всеобщаго молчанія и подавленныхъ стоновъ?

Мы не думаемъ. Да еслибъ и было такъ, врядъ возможно ли теперь продолженіе николаевскаго царствованія? — Мы увѣрены, что этотъ безпощадный, вспять влекущій деспотизмъ — сдѣлалъ свое время въ Россіи. Правительство само это чувствуетъ, но ему такъ ново и неловко въ мірѣ реформъ, улучшеній, человѣческаго слова, что оно дичится, упирается, не вѣритъ въ свои силы и теряется передъ трудностію и сложностію задачи. Это мертвящее мнѣніе о собственномъ безсиліи, о томъ, что трудъ намъ не по плечамъ, существуетъ у насъ по несчастію не только въ правительствѣ, но и въ насъ самихъ.

Это не скромность, а начало отчаянія, подавленность, мы такъ долго были забиты, загнаны, такъ привыкли краснѣть передъ другими народами и считать неисправимыми всѣ гадости русской жизни—отъ взятокъ до розогъ, что дѣйствительно почти потеряли довѣріе къ себѣ. Это несчастное чувство непремѣнно должно пройти. Гете совершенно справедливо говоритъ:

Muth verloren — alles verloren,
Da wäre es besser nicht geboren.

Конечно послѣднее тридцатилѣтіе было тяжко и все историческое развитіе наше шло труднымъ и мудренымъ путемъ, но развѣ оно не дало своихъ залоговъ, развѣ мы остановились, устали, развѣ Русь раздробилась на части, подпала чужому владычеству? Нѣтъ, мы стоимъ цѣлы и невредимы, полные силъ, связанные единствомъ передъ новымъ путемъ.

Насъ пугаетъ отсталое и ужасное состояніе народа, его привычка къ безправію, бѣдность подавляющая его. Все это неоспоримо затрудняетъ развитіе, но въ противуположность Бюргеровой баллады, мы скажемъ: — *живые ходятъ быстро* и шагъ народныхъ массъ, когда онѣ принимаются двигаться, необычайно великъ. У насъ же не къ новой жизни надобно ихъ вести, а отнять то, что подавляетъ ихъ собственный стародавній бытъ.

Мы обыкновенно смотримъ на другіе народы или въ ихъ современномъ состояніи, или середь ихъ революціоннаго разгара, и намъ становится больно и страшно за народъ русскій. Но для сравненія вѣрнѣе было бы брать состояніе другихъ народовъ до

ихъ переворотовъ. Взгляните напримѣръ на жизнь Франціи наканунѣ революціи 1789, и подумайте, что она за шагъ сдѣлала въ пятьдесятъ лѣтъ времени

Позвольте намъ напомнить событія извѣстныя, но на которыя можетъ у насъ съ этой точки не смотрѣли.

Смерть Людовика XIV — была нѣчто въ родѣ 18 Февраля 1855 г. для Франціи. Вся страна свободнѣе вздохнула. Восхваленное царствованіе его оставило Францію раззоренной ненужными войнами, съ побитой арміей, съ европейской коалиціей на шеѣ. Денегъ не было; король подъ конецъ сдѣлался главнымъ взяточникомъ въ государствѣ, онъ все продавалъ—крупныя и мелкія должности, военныя и статскія мѣста, раззоряя въ конецъ откупами, акцизами и монополіями торговлю, промышленность и ремесла. Народъ умиралъ съ голоду, сотни тысячъ людей питались въ разныхъ концахъ Франціи древесной корой*).

До министерства Тюрго ничего не поправилось—дефициты росли, военная слава замѣнилась позорными мирами, заключенными въ Парижѣ въ 1756 г. (ровно за сто лѣтъ до другаго, тоже не очень славнаго мира), государственное хозяйство свелось на ажіотажъ, на него бросились всѣ, попы и министры, члены парламента и принцы крови. Общественное вниманіе было занято междоусобными бранями парламента съ правительствомъ, Янсенистовъ съ Моленистами; идеи энциклопедистовъ бродили и Вольтеръ хохоталъ, печатая внѣ Франціи свой смѣхъ, такъ какъ это дѣлалъ Бель. Амстердамъ не трогалъ французскаго вольнаго станка, такъ какъ Лондонъ не трогаетъ русскаго.

Это сверху, а что было внизу?

Мужики страдали подъ невыносимымъ гнетомъ землевладѣльцевъ, еслибъ ихъ помѣщики сѣкли и земская полиція била, то положеніе ихъ было бы ничѣмъ не лучше нашего. Деньги помѣщикамъ были крайне нужны для того, чтобъ бросать ихъ горстями въ Парижѣ и Версалѣ. Промотавшись, они ѣхали въ свои замки, на годъ или на нѣсколько мѣсяцевъ, выжимали кровь и потъ изъ мужиковъ, шлялись на охоту, грязно и скупо жили въ запустѣлыхъ замкахъ, мечтая о томъ, какъ скорѣе наколотить денегъ и снова ринуться въ вихрь и блескъ придворной жизни. Сношенія съ сосѣдями были рѣдки, отчасти отъ бережливости, отчасти отъ непроѣзжаемыхъ дорогъ. Объ умственныхъ занятіяхъ, объ улучшеніяхъ хозяйства не было и рѣчи.

Поля, разбитыя на участки отъ 10 до 15 гектаровъ, отдавались половникамъ. Помѣщики, не смыслившіе ничего въ управленіи, продавали сверхъ того права сбора произведеній и податей нотаріусамъ. Нотаріусы, въ родѣ польскихъ жидовъ - арендаторовъ, раззоряли мужиковъ въ конецъ, запускали хлѣбопашество, брали

*) Подробности взяты, сверхъ всѣмъ извѣстныхъ исторій, изъ „Geschichte der Revolutionszeit Siebel'я", изъ новой книги Токвиля и пр.

рыковъ отъ плуга подъ подводы, кормили своихъ гусей въ пшеничныхъ поляхъ крестьянъ и проч. Такъ какъ все это хозяйство шло безпорядочно, безъ знанія, безъ капитала, то и не удивительно, что французскія поля давали вполовину меньше, нежели англійскія, а платили вдвое больше (въ Англіи брали помѣщики одну четвертую произведеній, да еще несли разныя общественныя тяги, въ то время какъ во Франціи они ничего не платили, взимая половину произведеній). Крестьяне едва не умирали съ голоду, о запасѣ, о барышѣ нечего было и думать. Отчаянно борясь изъ-за куска хлѣба, не видя ничего впередъ какъ ту же нужду, тотъ же подавляющій трудъ, у крестьянина падали руки и онъ обработывалъ меньше и меньше земли. Въ 1790 г., Артуръ Юнгъ считалъ, что число заброшенной пахатной земли возросло до 9,000,000 гектаровъ.

Мужики жили въ бѣдныхъ лачугахъ, часто объ одномъ отверстіи, такъ что у иныхъ дверь служила окномъ, у другихъ окно дверью; сами ткали они себѣ на одежду толстое, но не плотное сукно, цѣлыя провинціи ходили босикомъ, другія носили деревянные башмаки, кожаные составляли, какъ у насъ, рѣдкую роскошь. Грамотѣ они не знали. Вся умственная жизнь сосредоточилась въ лицѣ пролетарія церкви сельскаго священника, онъ поучалъ ихъ ненависти къ протестантамъ и прибавлялъ католическое изувѣрство къ целтическимъ предразсудкамъ, которыми была полна ихъ голова.

О томъ, что происходило внѣ деревни, никто не зналъ, и не интересовался знать. Сношенія были чрезвычайно затруднительны. Правда нѣсколько пышныхъ „королевскихъ“ дорогъ въ 60 футовъ шириной, перерѣзывали Францію, но на нихъ до 1776 г. ходили только двѣ почтовыхъ кареты и по цѣлымъ днямъ путешественникъ не встрѣчалъ никакого экипажа. Извѣстно, что отправляясь въ Ліонъ, тѣмъ паче въ Марсель изъ Парижа, путникъ прощался съ родными и дѣлалъ завѣщаніе. Боковыхъ дорогъ было мало, содержаны онѣ были скверно, не смотря на то, что дорожная повинность вмѣстѣ съ работой въ господскомъ домѣ была еще дополнительной тяжестью, падавшей на долю бѣднаго поселянина. Такъ тянулось печальное существованіе двадцати милліоновъ, т. е. огромнаго большинства французовъ „безъ отдыха, безъ надежды, безъ другой радости, кромѣ пестраго наряда, въ которомъ они ходили къ обѣдни въ праздникъ; безъ перемѣны, развѣ кого нибудь голодъ загонялъ въ городъ поденщикомъ или въ полкъ солдатомъ, въ послѣднемъ случаѣ ушедшій рѣдко возвращался въ родительскій домъ.“ А надъ этими паріями жила стая хищнаго дворянства, смотрѣвшаго на нихъ съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ и грабившаго ихъ съ безпощадной жестокостью. „За то и мужикъ поглядывалъ съ затаенной ненавистью на башни замка, мечтая о томъ времени, когда онъ подожжетъ и его и въ немъ книгу недоимокъ.“—(Зибель)

Небольшое число оброчныхъ крестьянъ въ сѣверной Франціи, да 2—3 уголка съ патріархальнымъ дворянствомъ, безвыѣздно

жившимъ въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ нибудь въ Вандеѣ, въ нижней Британіи, жили лучше.

Неправда ли, какъ все это сбиваетъ на наше современное состояніе?

Не много лучше было и въ городахъ для работниковъ и мастеровыхъ. Руководствуясь средневѣковымъ правиломъ, что „только король даетъ человѣку право на работу", правительство продавало всѣ занятія и промыслы: прачкѣ — право стирать, швеѣ — право шить, мостовщику — право мостить. Когда Тюрго хотѣлъ уничтожить цѣхи, вся Франція испугалась, и правительство уступивъ было, снова ихъ ввело.

Взятки и наглое казнокрадство не было во Франціи такъ національно и всеобще, какъ у насъ, но они отчасти восполнялись аліотажами и продажей мѣстъ; покупщики, какъ собственники мѣстъ, грабили народъ по праву, стремились вмѣстѣ съ аристократіей праздно, безъ труда жить доходами и наслаждаться на чужой счетъ, на счетъ какого-то *неизвѣстнаго*, неимѣющаго имени, котораго не стоило знать и который истощая силы мышцъ и силы мозга, долженъ былъ работать—для нихъ.

Этотъ анонимъ былъ—народъ французскій!

Но при всемъ этомъ ни энциклопедисты съ Вольтеромъ, ни то общество молодыхъ адвокатовъ и литераторовъ, которое впослѣдствіи явилось членами грознаго Конвента, ни молодое дворянство съ Мирабо и Лафайэтомъ, ни армейскіе сержанты, эти будущіе Гоши и Марсо,—никто не отчаявался и Франція въ пять лѣтъ вышла изъ этого положенія.

Теперь для насъ не въ томъ вопросъ — исполнился ли идеалъ революціи или нѣтъ, былъ-ли онъ осущественъ или нѣтъ и почему Франція черезъ полъ вѣка сломилась и пала подъ бременемъ гражданской симоніи и мѣщанскаго развратa. Мы не обязаны дѣлать ту же революцію, у насъ и задача иная и силы къ ея разрѣшенію иныя. Для насъ важно то, что въ сорокъ лѣтъ самаго судорожнаго развитія, не смотря на грозныя войны революціи, на преступную трату цѣлыхъ поколѣній Наполеономъ, на вторженіе непріятельскихъ войскъ, на конскрипціи и контрибуціи, народъ французскій перешелъ отъ состоянія, въ которомъ былъ при министерствѣ Тюрго и Неккера, до того состоянія, въ которомъ, напримѣръ засталъ его Людовикъ Филиппъ.

Сверхъ того не надо забывать, что историческій бытъ Франціи сложился вѣками и учрежденія имѣли глубокіе корни въ нравахъ и жизни народной. Гдѣ у насъ эти us et coutumes, связывающіе каждый шагъ, тяжелая парламентская жизнь, роды родовъ судейскихъ фамилій, которыя словно по наслѣдству судили и рядили народъ, наконецъ гдѣ у насъ древній, сѣдой институтъ королевской власти, связанной со всѣми воспоминаніями исторіи, и съ феодализмомъ, и съ городскою жизнію, и съ католицизмомъ и съ славою „великаго вѣка" — институтъ послѣдовательно разработавшійся въ цѣлую систему аристократической монархіи? Народы

вживаются до того въ вѣковыя формы и обряды, что не понимаютъ жизни въ другихъ формахъ, хотя бы онѣ были лучше. Консерватизмъ Англіи основанъ на этомъ, но для того, чтобы имѣть эти обязательныя воспоминанія, надобно много прожить, надобно что нибудь имѣть для храненія.

У насъ ничего подобнаго нѣтъ. Что у насъ преемственное, древнее, неискоренимо-прочное? Табель о рангахъ, дворянская грамота, городовыя положенія, сенатъ, сѵнодъ, крѣпостное право, чиновники, лейбъ-гвардія? Или не въ самохъ ли дѣлѣ иностранная шутка—the old Moscovit party, the old boyards? По счастію это old — самое *новое* въ русской жизни, мы воротились школой и книгой къ нашему православному Геркулануму и къ нашей славянофильской Помпеѣ; оно очень интересно, но мертвый живому не товарищъ.

Мы сто пятьдесятъ лѣтъ живемъ въ ломкѣ стараго; цѣлаго ничего не осталось, да и жалѣть не о чемъ. У насъ есть императорская диктатура и сельскій бытъ, а между ними всякаго рода учрежденія, попытки, начинанія, да мысль больше и больше оживающая, не привязанная ни къ какой кастѣ, ни къ какому изъ существующихъ порядковъ. Мы съ Петра I въ перестройкѣ, ищемъ формъ, подражаемъ, списываемъ, и черезъ годъ пробуемъ новое. Достаточно перемѣнить министра, чтобы вдругъ изъ государственныхъ крестьянъ сдѣлать удѣльныхъ или на оборотъ. У насъ только не мѣняется почва, грунтъ, т. е. опять село, но крестьянскій бытъ скорѣе физіологическій характеръ, до государственное sta'u quo, состояніе, посылка, которой силлогизмъ будетъ въ будущемъ—нежели продолженіе московскаго царства; оно было и при немъ, вотъ все, что мы можемъ сказать. Измѣнить его было бы очень трудно, да это и не нужно, совсѣмъ напротивъ, на немъ то и созиждется будущая Русь!

Конечно, не легко перейти отъ военнаго деспотизма и нѣмецкой бюрократіи, къ болѣе простымъ и народнымъ началамъ государственнаго строенія. Но гдѣ же эти непреодолимыя препятствія? Разумѣется, мудрено видѣть истину, если однимъ не позволяютъ говорить, а другіе заинтересованы, чтобъ скрывать. Государь ничего не видитъ изъ за стропилъ и лѣсовъ канцеляріи и бюрократіи, изъ за пыли поднимаемой маневрирующими солдатами; и поэтому правительство, вступивъ въ эпоху реформъ, идетъ ощупью, хочетъ и не хочетъ; а тѣ которые могли бы дать совѣтъ, тѣ бьются какъ рыба объ ледъ, не имѣя голоса.

Для того, чтобъ продолжать петровское дѣло, надобно государю также откровенно отречься отъ петербургскаго періода, какъ Петръ отрекся отъ московскаго. Весь этотъ искуственный снарядъ императорскаго управленія устарѣлъ. Имѣя власть въ рукахъ и опираясь съ одной стороны на народъ, съ другой на всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей въ Россіи, нынѣшнее правительство могло бы сдѣлать чудеса, безъ малѣйшей опасности для себя.

Такого положенія, какъ Александръ II, не имѣетъ ни одинъ мо-

нархъ въ Европѣ,—но кому много дается, съ того много и спросится.

Колоколъ № 3.
1 Сентября 1857 г.

ЛОБНОЕ МѢСТО.

До насъ дошли слухи, что Славянофилы „Русской Бесѣды" недовольны отзывомъ Полярной Звѣзды объ ихъ Сборникѣ.

Почему же намъ было иначе отзываться? Пусть сами Славяне скажутъ могли ли мы равнодушно говорить о Сборникѣ, въ которомъ бывшіе Липрандьевскіе чиновники,*) клевещутъ на дорогихъ намъ покойниковъ подъ предлогомъ дружбы; въ которомъ нагло проповѣдуютъ цареградскую философію рабства?

Мы знаемъ, какъ многимъ изъ нихъ противны эти ученія.—Зачѣмъ-же они допускаютъ такія статьи, зачѣмъ защищаютъ ихъ?

Казалось, что есть почва, на которой мы могли бы понимать другъ друга, мы чуяли родственное біеніе сердца, когда шла рѣчь о народѣ русскомъ. Но у насъ сверхъ любви къ родинѣ есть свои глубокія, незыблемыя убѣжденія; имъ мы были вѣрны во всю жизнь, они составляютъ наше нравственное достояніе, наше *человѣческое* православіе. Они то оскорблены въ каждой книгѣ Славянскаго Сборника. Этого мы не можемъ, не должны пропустить молча.

Наше положеніе обязываетъ насъ обличать то, чего скованная рѣчь въ Россіи не смѣетъ еще высказать дома. Есть ученья, есть

---

*) „Послѣ 1848 года была учреждена въ Петербургѣ тайная коммиссія для надзора надъ литературой и журналами. Душой этой коммиссіи считался Липранди (извѣстный доносчикъ по дѣлу Петрашевскаго). Онъ и нѣкогда профессоръ московскаго университета И. Давыдовъ, „вѣрноподданный"

«По сердцу и изъ видовъ»,

довели усердіе до того, что первый предлагалъ не перепечатывать цѣликомъ ни Библію, ни Новый Завѣтъ, а другой—исключеніе двѣнадцати басенъ Крылова. Однимъ изъ ревностнѣйшихъ сподвижниковъ Липранди былъ Григорьевъ, авторъ статьи о Грановскомъ въ Русской Бесѣдѣ. Онъ особенно прославился порученіемъ въ Остъ-Зейскія губерніи, имѣвшемъ цѣлью осмотръ книжныхъ лавокъ и частныхъ библіотекъ въ случаѣ нужды. Ему содѣйствовали два жандармскихъ офицера при отборѣ и запечатываніи книгъ. По окончаніи этого порученія, Григорьевъ былъ назначенъ въ Оренбургъ. Проѣздомъ черезъ Москву ему вздумалось навѣстить Грановскаго, можетъ и затѣмъ чтобъ заглянуть въ его библіотеку. Грановскій, знавшій про подвиги Григорьева, велѣлъ своему слугѣ не впускать его на дворъ". — Отсюда говорятъ гнѣвъ! Эта *молва* не въ пользу Григорьева! (Изъ совершенно достовѣрнаго письма изъ Москвы).

люди, для которыхъ нашъ станокъ превратится въ *лобное мѣсто*, мы ихъ выведемъ и покажемъ всему честному народу.

Вотъ вамъ на первый случай профессоръ Крыловъ и его статья. Слушайте и судите, мы отдаемся на судъ всѣхъ не служащихъ съ Липранди... Славянъ и не Славянъ.

«Величайшій, чистѣйшій, христіанскій апотеозъ совершился надъ ликомъ византійскаго, номоканоническаго императора. Но государственное тѣло было вѣтхое, старое, *невлажное*(?), а потому благодатный элементъ не укрѣпилъ свѣтскаго государства, зато какимъ избраннѣйшимъ сосудомъ былъ византійскій міръ для христіанской благодати, здѣсь, *только здѣсь* образовалась святая вселенская церковь, хранящая свой завѣтъ въ неприкосновенномъ священнѣйшемъ Кивотѣ—іерусалимскомъ храмѣ».

Сквозь этотъ дымъ ладона — не мудрено ужъ разглядѣть въ перспективѣ другое пламя, новое, *моченое*, которому благодатный элементъ пришелся какъ разъ и котораго царь „имѣетъ единственный ликъ во всемъ человѣчествѣ; такихъ царей нѣтъ и небыло на Западѣ, тамъ земля *узка* для нихъ. Царь для Россіи есть такая стихія, которою она живетъ и дышетъ“. — Безъ котораго она „немыслима“.

Нѣтъ, этимъ языкомъ у насъ русская литература не говорила никогда; это Барковъ—вѣрноподданической поэзіи, это de Sade—раболѣпія! Еще разъ, зачѣмъ же Русская Бесѣда печатаетъ такое „гомерическое“, судорожное, горячешное, бѣснующееся, холопское сквернословіе?

Византійскому растлѣнному раболѣпію надобно было пройти — послѣ тысячелѣтняго могильнаго сна, сквозь душу русскаго поповича, вышедшаго въ чиновные міряне и насытиться въ ней всѣми гадостями подрясника и всѣми мерзостями канцеляріи, чтобы низвергнуться такимъ ливнемъ помоевъ!

Мы не знаемъ въ мірѣ зрѣлища болѣе гнуснаго, болѣе отвратительнаго, какъ возведеніе *рабства* въ науку; это та послѣдняя степень нравственнаго паденія, передъ которой блѣднѣютъ взятки, тѣлесныя наказанія, крѣпостное состояніе.

Въ это циническое безстыдство мысли, въ это теоретическое холопство міръ падалъ только два раза, оба раза легистами; разъ въ мертвой Византіи, да разъ въ австрійской мертвящей казуистикѣ имперскаго права. И намъ теперь при возрожденіи Россіи, послѣ тридцатилѣтняго несчастія, пришлось видѣть тоже направленіе, также идущее отъ легистовъ и римскаго права, — и притомъ не въ XV томѣ николаевскаго Сборника, въ которомъ нѣмецкій Полякъ на русской службѣ петербургскимъ сенаторомъ—Губе, развивалъ византійское раболѣпное ученіе объ оскорбленіи величества, а въ Сборникѣ выдающемъ себя представителемъ народной Россіи!

Это еще не все.

Обиженный тѣмъ, что противникъ сравнилъ *великокняжескую власть* съ помѣщичьей, Крыловъ осѣняется съ ужасомъ „знаме-

ніемъ креста", отступаетъ съ гнѣвомъ отъ нечистаго и снова исполняясь боговдохновеніемъ тако славословитъ: „Царь есть мысль, идея, слово всей нашей исторіи; безъ этой личной мысли необъяснимы всѣ происшествія, всѣ дѣйствія народа русскаго. Присутствіе этого живаго слова ясно, рѣзко отмѣчено на каждой страницѣ нашего дѣеписанія, и кто не умѣетъ читать этой книги, тотъ носитъ въ своемъ сердцѣ эту стихію какъ питающую, грѣющую и охраняющую все его земное, гражданско-человѣческое бытіе... Есть у насъ другая могущественная стихія — это православная вѣра. Если вы въ *непостижимомъ* для меня ослѣпленіи, вѣроятно происшедшемъ отъ вліянія *иноземныхъ* книжныхъ теорій, не умѣете протолковать намъ нашей исторіи по народному складу и не можете отыскать въ ней нашего царя, — дающаго ей смыслъ и жизнь, то я вамъ укажу....", не путь-ли въ Ш отдѣленіе?...

На минуту самъ авторъ испугался, — слабый лучь совѣсти скользнулъ по душѣ падшаго легиста. „Дѣло наше, говоритъ онъ, получаетъ какъ будто характеръ личной обиды и слѣдовательно подлежитъ суду, впрочемъ не бойтесь *этого суда*, онъ не имѣетъ ни уголовнаго, ни полицейскаго, ни даже гражданскаго исковаго характера, а есть чисто литературная тяжба". Ну а еслибъ кн. Долгорукій былъ не вашего мнѣнія, да сдѣлалъ бы не чистую, да и нелитературную тяжбу, чѣмъ пришлось бы тогда приложить вамъ римскій lex talionis?

Сальную вы свѣчку поставили,—Никита Ивановичъ,—византійскому богу, да и петербургскому то богу вы неудачно подслужились. Вѣдь это не Николай Павловичъ, ничего онъ не дастъ вамъ за вашъ царскій ликъ, писанный суздальской иконописью.

Знаете что, я обращаюсь къ вамъ потому, что вы не любите говорить съ мнѣніями, вамъ надобенъ „живой человѣкъ"; къ тому же мы старые знакомые, вѣдь у васъ не *всегда* была византійская болѣзнь, ликъ то царскій не всегда вѣдь представлялъ для васъ питающее, грѣющее, отраду подъ старость подающее, — ну такъ по прежнему то знакомству знаете какой я вамъ дамъ совѣтъ. Подайте-ка въ отставку, — вѣдь вамъ послѣ этой полемики нельзя больше явиться на каѳедрѣ. Спрячьте отъ студентовъ печальное зрѣлище вашего умственнаго развратэ.

Хотя зрѣлище это съ другой стороны и очень поучительно!

Вотъ они, продавцы даровъ духа святаго! отступники ума! — какая неумолимая логика! Вотъ какъ оканчиваютъ люди, безъ вѣры и чистоты подошедшіе къ наукѣ, люди безъ убѣжденія и любви вышедшіе на ея амвонъ поучать юношество. Крыловъ не новый человѣкъ, и свихнулся онъ не въ Русской Бесѣдѣ; больше десяти лѣтъ тому назадъ — люди полные снисходительности и гуманности, какъ Грановскій, отвернулись отъ него. Но смѣтливость русскаго ума, оригинальность бросившаяся въ глаза молодыхъ людей, два-три смѣлыхъ замѣчанія, полныхъ демократіи-зависти, поддерживали его въ мнѣніи студентовъ. Забытый публикой, обой-

денный ею,—молчалъ бы онъ себѣ въ своемъ углу; лѣта шли, съ ними чины, экзамены и другія не столько громкія, сколько пріятныя удовольствія,—такъ нѣтъ, бѣсъ самолюбія толкнулъ его на арену съ молодыми бойцами.

И что-же оказалось, что онъ и своей науки не знаетъ, по крайней мѣрѣ не силенъ въ чтеніи ея на ея языкѣ. Сшибленный противникомъ, осмѣянный зрителями, этотъ молчащій сфинксъ римскаго права, съ досадой и ожесточеніемъ бросился защищаться чѣмъ попало—доносами, кронеберговымъ лексикономъ, аппеляціями къ профессору латинскаго языка,—что же вышло?

Посмотрите на его философское воззрѣніе, точно встрѣчаешь какого нибудь провинціальнаго чиновника, выползающаго откуда то во фракѣ 1830 года; у него не наука того времени, а ея маперы, ея искуственная риторика.... тутъ есть и разглагольствованія о вѣчной борьбѣ двухъ элементовъ въ человѣкѣ, одного идущаго *горѣ* и другаго припирающагося въ землю, и безсмысленная нелѣпость о *непримиримой* враждѣ „подвластной природы" и „человѣка властителя". И съ чего онъ воображаетъ, что его воззрѣніе *народное* въ противоположность воззрѣнію его противника? — Это очень извѣстное, школьно-нѣмецкое воззрѣніе средней руки и прошлаго поколѣнія, обросшее (или намѣренно прикрытое) дикимъ русскимъ мясомъ.

А эта противная адвокатская манера *заговаривать*, употреблять тяжелыя и ненужныя сравненія, останавливаться на нихъ, филологически разлагать и вывертывать слова, иногда приходить въ горячность, иногда смѣнить гнѣвъ на милость и пр. Онъ не говоритъ—il plaide—какъ Бомарше отвѣчаетъ въ Фигаро.

Загляните подальше за всю эту стряпческую элоквенцію, за всѣ нѣмецкіе стропилы для поддержанія византійскаго иконостаса съ ликомъ царя, за всѣ эти латинскія слова въ скобкахъ (и въ ошибкахъ)—какая пустота!—такъ и вѣетъ затхлымъ схоластицизмомъ, пустой семинарской контроверзой—безъ вѣры, безъ живой мысли. Неужели эту пустоту можно выкупить смѣлыми оборотами, въ которыхъ намѣренно смѣшаны ученые термины римскаго права съ терминами торговой бани?

Если есть что нибудь живое въ этой полемикѣ — то это полузатаенный, полувысказываемый дрожащими губами—доносъ!

Въ отставку, Никита Ивановичъ, въ отставку, не бось вѣдь Дѣйствительнаго Статскаго дадутъ, чего же больше? А не то въ другое вѣдомство переходите!

Колоколъ № 4.
1 Октября 1857 года.

ПИСЬМО КЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II.
(По поводу книги барона Корфа.)

Государь,

Вы приказали напечатать и издать записку, составленную г-мъ

Корфомъ о восшествіи на престолъ императора Николая. Мы увѣрены, что и въ этомъ случаѣ Ваше намѣреніе было хорошо, но и въ этомъ случаѣ оно Вамъ не удалось.

Прежде, нежели мы займемся безграмотнымъ текстомъ, отталкивающимъ по своему тяжелому, татарскому раболѣпію, по своему канцелярскому подобострастію, по своей уничиженной лести, не достойной ни нашего времени, ни Вашего царствованія, мы рѣшаемся обратиться къ Вамъ лично, для того, чтобъ сказать нѣсколько словъ о заговорѣ—который кончился 14 Декабря 1825 г.

Вѣдь и для него настала исторія! Неужели слишкомъ черезъ тридцать лѣтъ—объ этомъ событіи, о людяхъ, участвовавшихъ въ немъ, можно еще отзываться съ тѣми же пошлыми ругательствами, съ которыми выражались жалкіе старики, посѣдѣлые въ низкопоклонствѣ и интригахъ, созванные въ какой-то импровизированный судъ для осужденія ихъ?

Вмѣсто брани, не лучше ли обратиться къ тогдашнимъ событіямъ съ серьезной и покойной мыслію, и постараться понять ихъ смыслъ? Не благороднѣе ли, не великодушнѣе ли отдать справедливость — несчастнымъ противникамъ, которые вынесли свое пораженіе и всѣ мрачныя его послѣдствія съ такимъ величавымъ самоотверженіемъ? Месть была страшна, она продолжалась тридцать лѣтъ — начавъ пятью висѣлицами. Что же теперь Вашимъ статсъ-секретарямъ идти за тогдашними палачами и сквернить гробы людей, если и заблуждавшихся, то чистыхъ и пламенно любившихъ Россію?

Деликатно ли это относительно тѣхъ пяти-шести старцевъ, которыхъ Ваша рука возвратила изъ Сибири? Или Вы, можетъ, имъ предоставили право отвѣчать? Мы не слыхали этого.

Свобода мысли и гласность еще не много выиграютъ, если Вы одни будете печатать безъ цензуры. Пора пріучаться и Вамъ и Россіи къ совершеннолѣтней, мужественной рѣчи свободныхъ людей.

Вамъ, Государь, извѣстны, больше насъ, всѣ подробности заговора, 14 Декабря, слѣдствія, казни и ссылки. Гдѣ же, при какомъ обстоятельствѣ показали себя эти люди, какъ ихъ представляютъ оффиціальные органы, „гнусными развратниками, буйными безумцами, негодяями, въ числѣ которыхъ одни напились пьяными для того, чтобы идти на площадь, другіе имѣли замѣчательно отвратительныя лица“ (и это говорятъ о раненномъ на Кавказѣ Якубовичѣ!). Неужели вы вѣрите, что эти люди взялись за оружіе изъ буйства, изъ желанья грабежа, богатства, знатности? Послѣднее имъ было не нужно, Вы знаете, кто они. Для чего же всѣ эти ругательства и клеветы? Не вы ихъ сдѣлали—зачѣмъ же Вы ихъ распространяете?

Неужели вы думаете, что исторія повѣритъ какому нибудь Корфу — со всѣми поправками Вашихъ дядюшекъ, виртембергскаго герцога, который во все время опасности самъ забился въ „голубую гостинную зимняго дворца“ и чадолюбиво взялъ съ собой

двухъ сыновей своихъ, „хотя въ то время взрослыхъ и офицеровъ“*), Бенкендорфа, присутствовавшаго утромъ при одѣваніи Николая Павловича, а вечеромъ при поимкѣ спасавшихся**), Орлова, нѣсколько разъ отступавшаго отъ геройскаго каре?***) Нѣтъ! И еще больше, наше скептическое время не только имъ не повѣритъ, но даже и гофъ-фурьерскому журналу, на который ссылается ученый статсъ-секретарь и который непремѣнно надо запретить, потому что неприлично вести журналъ о томъ, кто какъ ѣлъ и въ которомъ часу.

Потомство не будетъ смотрѣть на людей 14 Декабря ни глазами Гофъ и Камеръ-Фурьеровъ, ни глазами того—вѣроятно портнаго, который только замѣтилъ костюмъ инсургентовъ и назвалъ эту кучку людей, стоявшихъ подъ пулями и картечью, какъ настоящій сапожникъ „маскарадомъ распутства, замышляющимъ преступленіе“****). Придворные риторы не подумали объ одномъ: если это была толпа развратныхъ и буйныхъ шалуновъ, воспользовавшихся нелѣпостью импровизированнаго междуцарствія, для того, чтобы пошумѣть на площади и черезъ нѣсколько часовъ разсѣяться, — то какъ же объяснить страхъ Николая передъ 14 Декабремъ, эту idée fixe его царствованія, которую онъ не забылъ на смертномъ одрѣ?

Онъ понималъ смыслъ этого событія лучше Корфа. Я удивляюсь, какъ онъ могъ читать, да еще дѣлать поправки въ этой брошюрѣ. Ошибки ея не въ какомъ нибудь выраженіи, не въ какой нибудь подробности — ошибка въ жалкомъ, ложномъ, рабскомъ воззрѣніи на событія. Мы постараемся въ нѣсколькихъ словахъ возстановить ихъ смыслъ.

Царствованіе Александра I и 14 Декабря 1825 года заключаютъ петровскій періодъ русской исторіи. Это его крайнія послѣдствія со стороны императорской диктатуры и со стороны образованной Россіи. Распушенную, рыхлую Русь, Петръ I суровой рукой стянулъ въ сильное европейское государство; коснѣвшему въ своемъ отчужденіи народу, онъ привилъ броженіе западной гражданственности. Непочатыя дремавшія силы народа, возбужденныя имъ, перешли, такъ сказать, его мечту; государство сложилось мощное, и, встрѣтившись въ борьбѣ съ цѣлой Европой, вышло изъ нея побѣдоносно.

Императорская власть сдѣлала свое! „Свершилось“, говоритъ поэтъ-отрокъ, лицейскій ученикъ, въ 1815 г., возвратившемуся изъ Парижа Александру I:

„Русскій царь, достигъ ты славной цѣли!“

Общество, развившееся на европейскихъ основаніяхъ, должно

*) Корфъ, ct. 190.
**) Id. ct. 189.
***) Id. ct. 156,
****) Id. ct. 147

было сдѣлать свое, иначе дѣло Петра I было бы въ половину успѣшно и привело бы къ страшной нелѣпости.

Каждая степень образованія, развитія, даже силы государственной, требуетъ соотвѣтственный себѣ циклъ государственныхъ учрежденій. Съ каждымъ шагомъ впередъ — ему нужно больше простора, больше воли, больше опредѣленности въ своихъ отношеніяхъ къ власти; словомъ, больше независимой, самобытной и разумной жизни. Или государство ее достигаетъ, (съ боя ли, по полюбовному ли согласію — все равно) и тогда оно идетъ далѣе въ исторіи; или — нѣтъ, и тогда оно останавливается, разлаживается, распадается и обмираетъ такимъ образомъ до какого нибудь рѣшительнаго событія (напримѣръ крымской войны), которое снова раскрываетъ ему путь развитія, или окончательно убиваетъ его — какъ дѣятельное и развивающееся государство. Вступивъ въ западное образованіе, Россія должна была идти тѣмъ же путемъ. Еслибъ у насъ весь прогрессъ совершался *только* въ правительствѣ, мы дали бы міру еще небывалый примѣръ самовластья, вооруженнаго всѣмъ, что выработала свобода; рабства и насилія, поддерживаемаго всѣмъ что нашла наука. Это было-бы нѣчто въ родѣ Чингисъ-Хана съ телеграфами, пароходами, желѣзными дорогами, съ Карно, и Монжемъ въ штабѣ, съ ружьями Минье и съ конгревовыми ракетами подъ начальствомъ Батыя.

Каждый, кто сколько нибудь слѣдилъ за исторіей русскаго развитія съ начала XVIII столѣтія, видитъ даже въ самыя уродливыя эпохи ея, что въ обществѣ подымаются, бродятъ живыя силы, требующія больше чѣмъ одного повиновенія. Всеобщее отвращеніе, всеобщее негодованіе противъ наглаго самовластья Павла, окончившееся такимъ энергическимъ протестомъ, не довольно оцѣнены.

Но гдѣ же у насъ та среда, которая, стукаясь постоянно въ царскую власть, оскорбленная ея неуваженіемъ къ достоинству лицъ, ея всегдашними притязаніями считать Россію за свое помѣстье и насъ за крѣпостныхъ людей—могла бы дать дѣйствительность оппозиціонной мысли? Безъ сомнѣнія, та среда, которая была всего послѣдовательнѣе перевороту Петра I, которая одна и приняла западное образованіе — дворянство. Оно представляетъ у насъ то меньшинство, которое дѣлаетъ за одно съ императорской властью русскую исторію, увлекая за собою въ продолженіи полутораста лѣтъ нѣмой и страдательный народъ, котораго часъ еще не насталъ. Въ немъ-то и созрѣла революціонная мысль, — вышедшая 14 Декабря на площадь.

Когда наши войска возвратились изъ чужихъ краевъ послѣ всѣхъ торжествъ и упоеній, молодымъ офицерамъ и вообще образованной молодежи было что-то не по себѣ. Они переросли колодки плохихъ государственныхъ учрежденій нашихъ. Въ жизни чувствовалась пустота, тяжесть, чего-то необходимаго не доставало. Самъ императоръ Александръ I чувствовалъ это больше другихъ; съ 1815 года онъ носилъ печаль побѣды на лицѣ, а не ликованіе ея. Онъ понялъ зло и не даромъ толковалъ съ Карамзинымъ и Спе-

ранскимъ объ уложеніи, далъ Польшѣ конституцію и всенародно говорилъ, что „желалъ бы распространить свободныя учрежденія и на другіе народы, ввѣренные ему Богомъ.“ Мысль освобожденія крестьянъ бродила въ его головѣ; онъ сдѣлалъ опытъ въ остзейскихъ провинціяхъ, но окруженный людьми невѣжественными, закоснѣлыми въ грубыхъ предразсудкахъ, нисколько не лучше тѣхъ, о которыхъ онъ такъ рѣзко писалъ въ 1796 г. къ Кочубею*), — безъ твердой воли, слабый, усталый, онъ, какъ бы сознавая свое безсиліе, впалъ въ мистицизмъ, и оставилъ всѣ свои земные проэкты.

Но оттого, что императоръ Александръ I, понимая многое—ничего не умѣлъ сдѣлать, неужели можно называть преступленіемъ, что другіе понимали тоже, но совсѣмъ обратно ему, считали себя способными сдѣлать многое. Люди эти были прямымъ отвѣтомъ на тоску, мучившую новое поколѣніе. „Ну вотъ мы сильны, побѣдили Европу, сажаемъ царей, чертимъ границы,—что же отъ этого лучше? Узкія рамы жизни, вымѣренныя по военному артикулу, тѣснятъ... Мы освободили міръ, а сами остались рабами, управляемыми какой-то кордегардіей въ грановитой палатѣ, какой-то нѣмецкой канцеляріей съ татарскимъ кнутомъ въ рукахъ! Внизу, вверху, все неволя, рабство, грубая, дерзкая сила, безправіе, ни суда, ни голоса,—одна надежда и была—на милость царскую.“

Но чтобъ кто нибудь не слишкомъ увлекся мягкими формами и добротой Императора, съ каждымъ годомъ, послѣ войны ростетъ черное memento servitudinem—Аркачеевъ, гадкій, желтый, оскорбительный, на ворохѣ розогъ, окруженный трупами засѣченныхъ поселенцевъ. Глядя на него, вспоминался весь ужасъ положенія — подобострастіе, военный деспотизмъ, безмолвіе вверху, розги вездѣ.... дворовыхъ сѣкутъ дома, сѣкутъ въ полиціи, крестьянъ сѣчетъ баринъ, сѣчетъ управляющій, сѣчетъ староста—люди-вещи, люди-заклады, крѣпостныя серали, продажныя семьи, изнасилованныя женщины, палками забитые солдаты!...

Государь, у Васъ человѣческое сердце, скажите, положивши руку на грудь—можно ли это вынести на той степени образованія, на которой стояли Пестели, Бестужевы, Муравьевы? Ну какъ же ихъ осуждать за то, что они хотѣли лучше погибнуть, нежели быть страдательными свидѣтелями этого повсюднаго, ежечаснаго злодѣйства? Вѣдь это святѣйшее чувство любви, круговой поруки съ слабыми, заставляетъ человѣка предпочесть висѣлицу — отрицательному сообщничеству — молчаніемъ!

„Но зачѣмъ же передѣлывать насиліемъ, дѣлать заговоры, тайныя общества, бунтовать на площади?“ Лучше собираться явно и дѣйствовать убѣжденіемъ; объ этомъ и сомнѣнія быть не можетъ. Но бѣда въ томъ, что въ нашемъ отеческомъ управленіи человѣкъ не имѣетъ ни права созвать безъ картъ и вина другихъ людей, ни права вольной рѣчи, цензура убиваетъ слово передъ его рожде-

*) См. Приложеніе къ брошюрѣ Корфа.

ніемъ, а если оно иной разъ прорвется, — секретное предписаніе, жандармъ, курьерская тройка и поминай какъ звали.

Представьте себѣ самого Іисуса Христа, который бы сталъ проповѣдывать гдѣ нибудь на Адмиралтейской площади или въ Лѣтнемъ Саду—тутъ и до Іуды не дошло бы дѣло, первый квартальный свелъ бы его въ III отдѣленіе, а оттуда отдали бы его въ солдаты, или еще хуже послали бы его въ Соловецкій монастырь.

Стало быть о словѣ, о явномъ совѣщаніи и толковать нечего.

Остается гражданская дѣятельность. Въ самодержавномъ государствѣ она очень важна, но благодаря чинамъ, она также невозможна. Табель о рангахъ положила такія бревна подъ ноги, что ни одинъ журавль не перешагнетъ ихъ. Свѣжаго, живаго ничего никогда не можетъ взойти въ правительство. Сенатъ, совѣтъ, министерства у насъ похожи на богадѣльни для стариковъ, лѣтъ 50 терпшихъ лямку, или сидѣвшихъ въ канцеляріи, стариковъ пустыхъ, легкомысленныхъ, баснословнаго невѣжества, безъ малѣйшаго понятія о государственномъ дѣлѣ—въ родѣ тѣхъ, которые Вамъ достались отъ покойнаго родителя...

Есть страны, напримѣръ Англія, гдѣ старики не такъ глупы, гдѣ они представляютъ преемственную и вѣковую мудрость государственную, это маститые защитники правъ; народъ и правительство привыкли слышать ихъ голосъ при каждомъ возможномъ вопросѣ, при каждой общественной невзгодѣ. Таковъ напримѣръ лордъ Линдгорстъ изъ живыхъ; — это великіе легисты, ораторы.... а у насъ они не умѣютъ двухъ словъ связать, не умѣютъ написать собственнаго мнѣнія. Книга Корфа, этого юнѣйшаго изъ старцевъ, доказываетъ это очень хорошо. Корфа вѣроятно избрали для составленія записки, какъ бойкое перо... нѣсколько горячее... но ловкое! Неумѣніе выражаться — дѣло очень важное, оно свидѣтельствуетъ о неясномъ пониманіи, о непривычкѣ къ мысли, о томъ нисшемъ состояніи умственнаго развитія, въ которомъ бываетъ человѣкъ, вышедшій изъ естественной непосредственности и не дошедшій до образованія.

Мы до того привыкли видѣть судьбы Россіи въ рукахъ неспособныхъ стариковъ, получившихъ мѣста въ родѣ преміи отъ общества застрахованія жизни, за продолжительную крѣпость пищеваренія, что намъ кажется какимъ нибудь чудакомъ, иностранцемъ, „чужимъ между своихъ“ лице въ родѣ Мордвинова; да развѣ онъ и еще больше Сперанскій, не затерялись безполезно между сѣдыми дѣтьми, игравшими въ звѣзды и въ ленты?

Оставалось одно—въ тиши соединить разсѣянныя силы, дать имъ организацію, единство, съ опредѣленной цѣлью обсуживанія средствъ, чѣмъ помочь страшному злу, губящему Россію, которое, повторяемъ съ намѣреніемъ, императоръ Александръ I также понималъ, какъ Бестужевы и Муравьевы.

Общество это, сказано въ самомъ донесеніи Слѣдственной Коммиссіи и потомъ повторено въ книгѣ Н. Тургенева, — сначала имѣло цѣлью раскрывать злоупотребленія, противодѣйствовать имъ,

преслѣдовать кражу и лихоимство, защищать слабыхъ отъ чиновниковъ, крѣпостныхъ отъ помѣщичьяго варварства, солдатъ отъ варварства ихъ начальниковъ. — Словомъ, эти страшные люди хотѣли все то, что Вы желаете теперь, и чего Вы, Государь, точно также не достигнете при всемъ Вашемъ самодержавіи, какъ они не достигли при ихъ горячей волѣ, потому что этого рода зло уступаетъ только звону и свѣту гласности, только ряду гражданскихъ учрежденій, несовмѣстныхъ ни съ военнымъ деспотизмомъ, ни съ помѣщичьимъ управленіемъ государства.

Побившись безполезно съ юношеской идеей облагородить наши суды, основанные на взяткахъ, нашу полицію, основанную на кулакѣ, при удушливой цензурѣ, при невѣжествѣ первыхъ трехъ классовъ, при безотвѣтственности власти, этимъ людямъ приходилось сложить руки съ отчаяніемъ, или благословясь, начать самимъ красть и сѣчь? Но какъ ни утаивали отъ насъ, мы знаемъ сильный и энергическій характеръ этихъ людей, онъ просвѣчиваетъ даже въ донесеніи Слѣдственной Коммиссіи, сквозь всю злонамѣренность и подобострастіе языка. Такіе люди не складываютъ рукъ, не обкрадываютъ народъ; такіе люди дѣлаютъ заговоры и идутъ прямо или на вершину человѣческаго величія, или въ каторжную работу, въ обоихъ случаяхъ, рѣзко отмѣчая свое имя на листахъ исторіи.

Тутъ нѣтъ ничего особеннаго, это судьба воплощенія всѣхъ практически-соціальныхъ идей, принадлежавшихъ сперва развитому меньшинству и переходящихъ потомъ въ общее сознаніе народа.

Былъ ли этотъ заговоръ современенъ, — доказываетъ не только единство мнѣній Александра I, Ваше и ихъ о невыносимо-дурномъ управленіи нашемъ, но и невѣроятное распространеніе заговора по всему государству—въ какіе нибудь семь лѣтъ. Въ немъ участвовали представители всего талантливаго, образованнаго, знатнаго, благороднаго, блестящаго въ Россіи. Послѣ ссылки этихъ людей температура образованія видимо у насъ понизилась, меньше ума сдѣлалось въ оборотѣ, общество стало пошлѣе, потеряло возникающее чувство достоинства; съ тѣхъ поръ языкъ подъячихъ и манеры кантонистовъ получили право гражданства въ гостинныхъ, въ литературѣ; съ тѣхъ поръ безпорядокъ и развратъ управленія дошли до крымскаго коммиссаріата, до наглаго воровства подъ глазами двухъ полицій въ пяти шагахъ отъ Зимняго Дворца.

День возмущенія, 14 Декабря, не входилъ въ планъ петербургскаго союза, но онъ былъ необходимъ. Преданные какими-то мерзавцами во второй арміи, преданные „двадцатилѣтнимъ юношей, горѣвшимъ любовью къ отечеству“— Іаковомъ Ростовцевымъ, заговорщикамъ оставалось ждать у себя въ комнатѣ „юношу“ Іакова, который „въ порывѣ молодаго и неопытнаго энтузіазма,“ сдѣлалъ доносъ, или Бенкендорфа,—и быть ими задушенными, или сдѣлать отчаянный опытъ и воспользоваться анархіей, царившей тогда во всей правительственной Россіи.

Это было время бѣлой горячки, правительственнаго бреда, оно

подробно описано Корфомъ и чрезвычайно характеристично. Обыкновеннымъ не вѣрноподданническимъ, а человѣческимъ умомъ ничего понять нельзя... Зачѣмъ Александръ I сдѣлалъ актъ такой важности, какъ замѣна меньшимъ братомъ старшаго въ престолонаслѣдіи, держалъ это подъ спудомъ, зачѣмъ скрылъ отъ совѣта, отъ министровъ, отъ людей, окружавшихъ его смертный одръ въ Таганрогѣ? Зачѣмъ потомъ эта длинная исторія семейныхъ учтивостей — „Сдѣлайте одолженіе вы впередъ!“ — „Нѣтъ-съ, помилуйте, за вами!“ Марья Федоровна въ отчаяніи проливаетъ слезы, Михаилъ Павловичъ скачетъ на курьерскихъ въ Варшаву, скачетъ на курьерскихъ изъ Варшавы; Николай Павловичъ присягаетъ Константину Павловичу, Константинъ Павловичъ присягаетъ Николаю Павловичу. Всѣ зовутъ Цесаревича въ Петербургъ, а тотъ руками и ногами уперся въ Лазенкахъ и ни съ мѣста. Первый пришедшій въ себя былъ Михаилъ Павловичъ, тотъ сѣлъ себѣ на станціи между Петербургомъ и Варшавой и пробылъ пока старшіе доиграли свою игру.

Въ этомъ капризномъ, сдѣланномъ въ тихомолку распоряженіи короной, такъ ясно и видно полнѣйшее презрѣніе къ народу; судьба его считается домашнимъ дѣломъ одной семьи, и привычка не ставить *подданныхъ* ни въ грошъ, такъ велика, что самъ либеральный Александръ I наивно воображалъ, что Россія его собственность: послѣ смерти раскроютъ завѣщаніе и узнаютъ *чья* Россія.

Какже было заговорщикамъ, уже преданнымъ на Югѣ и въ Петербургѣ, не воспользоваться этой сумятицей отреченій, этой тревогой, брошенной въ совѣсть каждаго присягающаго и неприсягающаго, этимъ междуцарствіемъ съ двумя императорами? Не одни бѣдные солдаты потеряли голову, московскій генералъ губернаторъ ведетъ сенаторовъ присягать Константину Павловичу по запискѣ Милорадовича, а московскій митрополитъ не хочетъ принимать присяги, говоритъ, что все это вздоръ, что у него есть въ Успенскомъ Соборѣ — свой секретъ.

Къ тому же попытка 14 Декабря вовсе не была такъ безумна, какъ ее представляютъ; книга Корфа это доказываетъ лучше всего. Имъ не удалось, вотъ все что можно сказать, но успѣхъ не былъ безусловно невозможенъ. Что было бы, еслибъ заговорщики вывели солдатъ не утромъ 14, а въ полночь, и обложили бы Зимній Дворецъ, гдѣ ничего не было готоваго? Что было бы, еслибъ не строясь въ каре, они утромъ всѣми силами напали бы на дворцовый караулъ еще шаткій и неувѣренный тогда?

Много ли силъ надо было имѣть Елизаветѣ I при воцареніи, Екатеринѣ II для того чтобъ свергнуть Петра III?

Нѣтъ правительства, въ которомъ бы легче смѣнялось лице главы, какъ въ военномъ деспотизмѣ, запрещающемъ народу мѣшаться въ общественныя дѣла, запрещающемъ всякую гласность. Кто *первый* овладѣетъ мѣстомъ, тому и повинуется безмолвная машина съ тою же силой и съ тѣмъ же вѣрноподданническимъ усердіемъ.

Но заговорщикамъ 14 Декабря хотѣлось больше, нежели замѣны

одного лица другимъ, серальный переворотъ былъ для нихъ противенъ, весьма можетъ быть, что они потому то и не бросились въ Дворецъ, а открыто построились на площади, какъ бы испытывая, съ ними ли общественное мнѣніе, съ ними ли массы. Они не были съ ними, и судьба ихъ была рѣшена!

Вѣрные мысли, которую они представляли, они хотѣли ограниченія самодержавія писаннымъ уложеніемъ, хранимымъ выборными людьми, они хотѣли раздѣленія властей, признаніе личныхъ правъ; словомъ, представительное правительство въ западномъ смыслѣ. И вотъ почему мы считаемъ царствованіе Александра I и 14 Декабря строгими послѣдствіями, крайними звеньями петровскаго періода, того періода, въ которомъ Россія развивалась подъ вліяніемъ западной государственной идеи.

Съ того часа, когда императоръ Николай вечеромъ 14 Декабря взошелъ на лѣстницу Зимняго Дворца, и Александра Ѳедоровна, не знаю почему, „приняла его за новаго человѣка", какъ говоритъ Корфъ,—Россія попятилась и взошла въ холодный, непривѣтный корридоръ, въ длинный, мрачный тунель, въ которомъ едва начинаетъ мерешиться свѣтъ — съ Вашего воцаренія, Государь.

Императоръ Николай увидѣлъ, что съ образованіемъ больше идти нельзя, не утративъ долю деспотическаго произвола и отрекся отъ него, т. е. не отъ деспотизма, а отъ образованія.

Общество увидѣло, что конституціонными бичевками не свяжетъ царскую власть, пока огромное множество народа, безгласно раздавленное, не принимаетъ никакого участія въ общественномъ дѣлѣ.

Настала пауза—долгая, мучительная, потратившая все наше поколѣніе и еще одно. Эта задержка, это остановленное дыханіе, нравственное недоумѣніе, мало по малу стало разрѣшаться въ мысль: что *стихіи развитія надобно искать въ самомъ народѣ, а не въ перенесеніи чужихъ формъ.*

Пока мы достигали до этого пониманія, въ Европѣ произошли двѣ революціи, одна въ 1830, другая 1848 году, всѣ общественные вопросы, всѣ рѣшенія еще разъ измѣнились и намъ еще разъ достаются даромъ истины и результаты, до которыхъ западные народы доработались, снова тяжелымъ путемъ крови, длинной борьбой и утратой почти всего пріобрѣтеннаго трудами вѣковъ.....

На своей больничной койкѣ, Европа какъ бы исповѣдуясь или завѣшая послѣднюю тайну, скорбно и поздно пріобрѣтенную, указываетъ, какъ единый путь спасенія именно на тѣ элементы, которые сильно и глубоко лежатъ въ народномъ характерѣ, и при томъ не одной петровской Россіи, а всей русской Россіи.

Поэтому мы думаемъ, что у насъ развитіе пойдетъ инымъ путемъ.

.....Но неужели, оттого, что мы иначе понимаемъ задачу общественнаго развитія, и долею видимъ причину почему, 14 Декабрю трудно было удасться — мы не можемъ (съ какой бы стороны мы ни были) спокойно и съ уваженіемъ говорить объ этихъ людяхъ, сильныхъ и самоотверженныхъ, вышедшихъ на неровный бой, чтобъ заявить начало совершеннолѣтія Россіи?

Амнистіи Вашей мало, она пришла слишкомъ поздно; не прощеніе нужно теперь ихъ памяти, а *примиреніе и пониманіе*!

Два года съ половиной тому назадъ, когда Вы сѣли на престолъ, мы говорили Вамъ: „Отъ Васъ ждутъ кротости, отъ Васъ ждутъ человѣческаго сердца... Вы необыкновенно счастливы!“*)

И до сихъ поръ еще ждутъ, вѣра въ Васъ сохранилась.

Зачѣмъ же, опираясь на Васъ, бездушные, льстецы, въ родѣ византійскихъ риторовъ-отпущенниковъ, льстившихъ по должности, воспѣваютъ напыщеннымъ гофъ-фурьерскимъ языкомъ, неприличнымъ въ наше время, царствованіе котораго Вы не продолжаете, — бросая оскорбленіе людямъ такъ безпощадно побитымъ грозой за то, что слишкомъ вѣрили въ Россію, за то, что слишкомъ рано вышли на поле..... и запечатлѣли мученичествомъ свой подвигъ?

Говорятъ, будто графъ Панинъ ударилъ въ порывѣ вѣрноподданническаго усердія Пугачева, приведеннаго къ нему въ цѣпяхъ. Говорятъ, что въ 1826 г. въ Слѣдственной Коммиссіи и въ *государевомъ* кабинетѣ подсудимые заговорщики были оскорблены ругательными словами, которыхъ позоръ долго не сотрется.... Неужели тридцать лѣтъ спустя, въ Ваше царствованіе, еще разъ потревожится заученой клеветой великія тѣни..... уже возставшія въ памяти рода человѣческаго отрѣшенными и отъ тупой клеветы преслѣдователей и отъ собственныхъ ошибокъ..... печальными, но сильными и чистыми проpипателями великихъ судебъ Россіи?....

Миръ имъ. Государь, и почтительное благочестіе передъ былымъ

Колоколъ № 5.
1 Ноября 1857 года.

КОНЧИНА И. Д. ЯКУШКИНА.

Въ Москвѣ недавно скончался Иванъ Дмитріевичъ Якушкинъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, исполненныхъ силы и благородства дѣятелей въ Тайномъ Союзѣ при Александрѣ I. *Тридцать два года* провелъ онъ въ Сибири, не унывая и не теряя упованія. Прощенный Манифестомъ 26 августа, онъ возвратился еще бодрымъ старцемъ въ Москву. Рядъ непріятностей и полицейскихъ преслѣдованій отравили ему послѣдніе мѣсяцы его жизни. Его заставили покинуть не только Москву, но и Московскую губернію; онъ долженъ былъ удалиться въ деревню, гдѣ и пробылъ до тѣхъ поръ, пока болѣзнь поставила его на край гроба.

Вѣчная память страдальцу въ нашихъ сердцахъ исполненныхъ религіознаго, безпредѣльнаго уваженія къ доблестнымъ сподвижникамъ Пестеля и Рылѣева!**)

---

*) „Полярная Звѣзда“ за 1855 годъ.

**) Говорятъ будто государь не знаетъ, что Декабристовъ, возвратившихся изъ Сибири, тѣснятъ—Долгоруковъ и Тимашевъ.

Когда Тимашевъ бралъ мѣсто Дубельта, онъ говорилъ „Что бе-

ПОЛИЦЕЙСКІЙ РАЗБОЙ ВЪ МОСКВѢ.*)

Съ ужасомъ и омерзѣніемъ получаемъ мы со всѣхъ сторонъ свѣдѣнія о гнусной исторіи полицейскаго безначалія въ Москвѣ, которое вѣнчаетъ позорное генералъ-губернаторство Закревскаго и опровергаетъ—оберъ-полицмейстеромъ Берингомъ русскую пословицу, что *битый стоитъ двухъ не битыхъ*. Ждемъ съ нетерпѣніемъ, чѣмъ все это покончится. Государь призывалъ Ковалевскаго, попечителя Московскаго университета. и толковалъ съ нимъ объ этомъ. Но чего же ждать отъ *дядиньки* Беринга — Норова и отъ князя Вяземскаго, который если не по плоти, то по духу тоже дядинька его?

Кровавыя событія и дикія насилія, сопровождавшія появленіе полиціи въ домѣ, въ которомъ собирались студенты, равно подтверждаются письмами къ намъ присылаемыми, изъ которыхъ мы два печатаемъ почти цѣликомъ, статьями Nord'а, благородно взявшаго сторону студентовъ**) и милой Kreuz-Zeitung — этой берлинской отрыжки III Отдѣленія, этого прусскаго застѣнка для русскихъ дѣлъ, этого лазутчика in partibus, который хочетъ изъ *патріотизма* политическими намеками скрыть кулаки квартальныхъ.

Какъ жалко окруженъ государь, если до него не дойдетъ истина; а въ этомъ сомнѣваются корреспонденты.

Вмѣсто того чтобы ходить въ Берлинѣ по лавкамъ и ругать сидѣльцамъ «Колоколъ», какъ это сдѣлалъ генералъ-адъютантъ

ретъ его для того, чтобъ доказать, что оно не нужно". Онъ дѣлаетъ гораздо больше, онъ доказываетъ, что оно очень *вредно*. Развѣ лента, которую онъ на дняхъ получилъ (съ чѣмъ редакція Колокола усердно поздравляетъ его Превосходительство) и которую онъ, говорятъ, такъ пламенно и такъ упорно желалъ, сдѣлаетъ его кротче? Будемте надѣяться!

*) Исторія, возмутившая Герцена, состоитъ въ слѣдующемъ. Въ квартиру, гдѣ собралось нѣсколько товарищей-студентовъ, явился частный приставъ, подъ предлогомъ разыскиванья какого то вора. Студенты объяснили, что они всѣ люди другъ другу знакомые. Частный приставъ грубо замѣтилъ одному изъ нихъ, что, можетъ быть, онъ то и есть воръ; отсюда — крупный разговоръ; приставъ схватилъ студента за шиворотъ; студентъ ему далъ плюху; частный приставъ былъ прогнанъ, но въ 11 часовъ ночи возвратился съ толпой городовыхъ и казаковъ, а такъ какъ студенты объявили, что сдадутся только университетскому начальству, то приставъ пошелъ на штурмъ. Двери выломали, студентовъ исколотили, рубили даже обнаженными саблями; 5 человѣкъ было тяжело ранено и отправлены въ больницу, а остальные — перевязаны и сведены въ участокъ. *Л. Т.*

**) Еслибъ только Nord могъ вылечиться отъ застарѣлой неаполитанской болѣзни, или бы скрылъ что-ли эту противуестественную страсть къ Фердинанду II!

въ фаворѣ — Адлербергъ и хлопотать потомъ о запрещеніи его*) —лучше бы онъ заплатилъ за любовь Императора, доводя до его свѣдѣнія, что дѣлается на Руси. Мы, обличая злодѣйства, (какъ бы ни казался жестокъ нашъ языкъ Зимнему Дворцу и Лѣтнему саду), дѣлаемъ больше пользы Россіи и самому государю, нежели его фавориты, старающіеся барабаннымъ боемъ и погремушками заглушить стонъ страждущихъ.

Пусть они и Государь, впрочемъ, знаютъ, что исторію пишутъ не одни Устряловы и Корфы и что не весело идти въ потомство ни съ Биронами, Аракчеевыми и Клейнмихелями, ни съ Анной Ивановной и Петромъ Ѳедоровичемъ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСЬБА.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ

Г. Министру Французскихъ Внутреннихъ Дѣлъ.

С. Петербургскаго третьей гильдіи купца, Савелья Жалуева и Гессенъ-Филипстальскаго подданнаго Лондомандола, Карла Карлова, проживающаго въ ономъ же городѣ и торгъ ведущаго

Нижайшее Прошеніе.

Имѣя значительные въ торговлѣ капиталы и желая оные, для общественнаго блага соединить, извѣстились мы, что съ подданныхъ Е. И. В. Государя Императора Наполеона III (по батюшкѣ простите не знаемъ какъ) сняты подати взимаемыя съ объявленныхъ капиталовъ и иныя гильдейскія повинности и тяги.

Желая съ своей стороны воспользоваться сею неизрѣчимою и монаршей милостію нынѣ благоденственно царствующаго Государя Императора Всея Россіи Александра Николаевича, но не имѣя на оную милость права: я Жалуевъ, по бытности моей Русскимъ, а я Лондомандолъ по Гессенъ-Филипстальскому происхожденію:

---

*) Министръ Внутреннихъ Дѣлъ Вестфаленъ объявилъ въ числѣ Amtliche Nachrichten 20 Октября 1857 „что въ силу такого то закона и такого то параграфа — № 1 *Колокола*, издаваемаго на русскомъ языкѣ въ Лондонѣ, А. Герценомъ (не даромъ фамилія Мантейфеля напоминаетъ что то человѣчье и діавольское вмѣстѣ, почему онъ знаетъ, что А. Герценъ издаетъ Колоколъ, этого никогда не было напечатано — zu wunderbar!) — судебно былъ осужденъ *на уничтоженіе, а потому* и дальнѣйшее распространеніе этаго журнала во всѣхъ прусскихъ владѣніяхъ запрещается (17 Октября) подъ такими то наказаніями.“

Замѣтьте что № 1 Колокола вышелъ въ Іюлѣ, зачѣмъ же Вестфаленъ церемонился до 17 Октября, зачѣмъ дождался размягченія мозга у короля и пріѣзда въ Берлинъ Адлерберга съ патологическимъ посольствомъ, чтобъ обнародовать *первое запрещеніе* отъ *С. М. русскаго журнала внѣ Россіи?*

Прибѣгаемъ къ начальственному ходатайству Вашего Превосходительства, о зачисленіи насъ при будущей французскаго государства ревизіи (или сепаратно) во Французы и подданные Е. И. В. Государя Императора Наполеона III; коему и готовы принести нашъ вѣрноподданническую присягу, по формѣ утвержденной священнымъ синодомъ съ приличнымъ измѣненіемъ Высочайшаго Имени, съ тѣмъ же неукоснительнымъ рвеніемъ. О милостивомъ нашей просьбы принятіи и о зачисленіи насъ во Французы (буде оное состоится) нижайше просимъ Ваше Превосходительство извѣстить какъ насъ, такъ и С. Петербургскую градскую Думу и Магистратъ (въ полицію В. П. не безпокойтесь давать знать, она и безъ того по священной обязанности своей благоволитъ читать всѣ письма изъ за предѣловъ нашего любезнаго отечества приходящія) — дабы мы могли о сложеніи съ насъ тягъ просить кого слѣдуетъ.

Къ сему прошенію Наполеона Третьяго будущій рабъ и третіей гильдіи купецъ *Савелій Ѳедотовъ* сынъ *Жалуевъ* руку приложилъ. Къ сей просьбѣ *Каролусъ Лондомандолъ* Некоціантъ въ Петербургу und kuenftiger franzoesischer Kaisersunterthan рука приложилъ.

Колоколъ № 6.
1 Декабря 1857 года.

Паки и паки о князѣ Петрѣ Вяземскомъ. — Еще циркуляръ — и также подъ сурдинкой, секретной, воровской! Что же нашептываетъ на ушко цензорамъ нашъ князь? Свою скорбь, что въ журналахъ въ послѣднее время печатаются *зловредныя статьи*, почему онъ предписываетъ цензорамъ *строжайше* не допускать оныя къ напечатанію, ибо статьи сіи служатъ только къ развращенію *изящнаго вкуса?* О великій эстетикъ! Неужели кастратское пѣнье *лучше*? Это ужь что-то католическое; не завелись ли въ министерствѣ просвѣщенія іезуиты! Кисловскій что-ли? Нѣтъ, это Талейранъ, а не іезуитъ. Гаевскій? что онъ православный что ли? Развѣ Авраамъ Норовъ?—вѣтхозавѣтный по имени, по занятіямъ и по посѣщенію св. мѣстъ — онъ выше всѣхъ подозрѣній, да онъ же ничего и не дѣлаетъ, онъ только числится по министерству.

P. S.—Увѣряютъ будто циркуляръ этотъ состоялся послѣ того, какъ цензура пропустила неприличную книгу Зотова о Николаѣ. Оно правда Рафаилъ заткнулъ за поясъ самаго Модеста. Но мы не думаемъ, чтобъ это была настоящая причина секретнаго предписанія.

Еще, говорятъ, будто при прочтеніи этого циркуляра въ цензурѣ, цензоръ *Фрейгангъ* тотчасъ объявилъ, что онъ подаетъ просьбу о переименованіи его фамиліи—въ *Склавенгангъ*—чтобъ подписываясь не развращать изящнаго вкуса слишкомъ вольнымъ именемъ.

—

—*Необыкновенная исторія о цензорѣ Гон—ча—ро изъ Ши—пан—ху.* — Мы долго думали, зачѣмъ Гончаровъ плавалъ въ Японію или правильнѣе въ Ши-Пан-Ху, безъ свѣдѣній, безъ всякаго приготовленія, безъ научнаго (да и другаго, кромѣ кухоннаго) интереса. Нельзя-же было въ самомъ дѣлѣ съѣздить въ Японію *только для того*, чтобъ длинно и вяло разсказать впечатлѣнія, сдѣланныя Тихимъ Океаномъ, Гон-Гонгомъ и Нагасаки на какого-то тупоумнаго деньщика и какого-то глупорожденнаго слугу (мы просимъ у нихъ извиненія, мы не виноваты, что помѣщикъ ихъ такъ представилъ, на то барская воля). Или для того, чтобъ плотоядно прибавить къ этому перечень всего, что онъ ѣлъ отъ Кронштадта до береговъ юго-небесной имперіи и обратно до сѣверо-небесной. Это была-бы, конечно, очень *необыкновенная исторія*. Совсѣмъ нѣтъ, Гончаровъ просто хотѣлъ добросовѣстно приготовиться къ должности цензора; гдѣ же можно лучше усовершенствоваться въ цензурной хирургіи, въ искусствѣ заморенія рѣчи человѣческой, какъ не въ странѣ, не сказавшей ни одного слова съ тѣхъ поръ, какъ она обсохла послѣ потопа?

Человѣкъ, имѣющій такой хорошій и такой всемірный апетитъ, человѣкъ, который объѣхавъ вокругъ свѣта, не вышелъ ни на минуту изъ той атмосферы, которую носилъ съ собой Гоголевъ Петрушка, всегда могъ занять мѣсто Елагина или Фрейганга, умри только кто нибудь изъ нихъ (что при натурализаціи холеры въ Петербургѣ и не представляетъ большихъ затрудненій), но это была бы *обыкновенная исторія*.

Начать же собою школу китайски-японскаго цензурнаго членовредительства и за этимъ жариться на экваторѣ, смотрѣть, какъ японскіе писари сморкаются въ бумажку, и ѣсть рыбу съ сахаромъ на рициновомъ маслѣ—это геніально!

Хоть бы теперь Вяземскаго-то отдать на выучку въ годы въ какую нибудь Тунгузію—учиться тому, что Ренегатъ *просвѣщенію* не Товарищъ!

Колоколъ № 7.
1 Января 1858 года.

ЧТО ЗНАЧИТЪ СУДЪ БЕЗЪ ГЛАСНОСТИ.*)

Торжественнѣе думали мы начать нашъ звонъ на 1858 г., вид-

*) Эта статья написана по поводу возмутительнаго дѣла Зальцмана и кн. Кочубея. Австр. подданный Зальцманъ, бывшій управляющій князя, возвелъ на послѣдняго обвиненіе въ занятіи контрабандой. Князь хотѣлъ угрозой смерти заставить Зальцмана отказаться отъ обвиненія, и дѣйствительно ранилъ его пулей въ грудь. Началось дѣло, безобразныя подробности котораго раскрываетъ „Колоколъ". Сильные міра — выручили Кочубея. Его даже

по нашему Колоколу не суждено еще издавать полные радостные звуки, звать на праздники и ликованія, возвѣщать благія вѣсти. Видно еще на долго онъ будетъ обреченъ на долю тюремнаго звонка, печально возвѣщающаго всякій разъ, что преступленіе, что несчастье взошло или вышло, что явился палачъ, заплаканная мать переступила порогъ или процессія двинулась къ лобному мѣсту.

А какъ искренно, какъ горячо хотѣлось намъ, чтобъ было иначе, съ какимъ сердечнымъ упованіемъ смотримъ мы на усилія Александра II вырвать у упорно-своекорыстнаго дворянства—веревку, на которой оно держитъ крестьянъ въ кабалѣ. „Опора престола“ стала бревномъ на дорогѣ, когда государь захотѣлъ сдѣлать доброе дѣло!

Еще хуже съ гласностью въ судѣ. Панины и компанія умѣли остановить проэкты, заставили молчать объ этихъ жизненныхъ вопросахъ. Съ этими гирями на ногахъ недалеко уйдетъ Александръ Николаевичъ—спутанный формализмомъ, этикетомъ, ограниченный табелью о рангахъ, окруженный политическими старообрядцами и дворянствомъ, которое выбрало себѣ девизомъ — *я сѣку*! и за это право умѣетъ стоять.

Государь, очевидно, стремится вырваться изъ заколдованнаго круга, но не слыша свободнаго голоса, не имѣя средствъ узнать истины, теряется.

Князь Долгорукій послѣ заграничнаго путешествія государя, поднесъ ему полную „Христоматію“, составленную Прянишниковымъ изъ подпечатанныхъ писемъ, свидѣтельствующихъ о крамольныхъ мысляхъ и крайнемъ неудовольствіи благороднаго россійскаго дворянства, при слухѣ объ освобожденіи крестьянъ. Отчего же онъ ему не доставляетъ Колоколъ? Ужь коли доносить, такъ все доносить, что тутъ за выборъ!

Государь не услышитъ отъ насъ ничего оскорбительнаго.

Мы ему скажемъ, будьте мужественны, человѣчество глядитъ на васъ, исторія записываетъ ваши дѣла, бѣдная Россія ждетъ; но что же исторія запишетъ, если Россія ничего не дождется, если вы ее оставите на произволъ новымъ Аракчеевымъ и новымъ Клейнмихелямъ?

У него было доброе сердце и слабая воля! неужели ваше самолюбіе не идетъ дальше?

Вамъ, такъ благородно поступившему въ дѣлѣ Липранди, пред-

не допрашивали. Несчастнаго Зальцмана затаскали по тюрьмамъ; его обвиняли въ клеветѣ, даже въ томъ, будто бы онъ самъ въ себя выстрѣлилъ; враги хотѣли засадить въ тюрьму даже жену его, отправивши двухъ малолѣтнихъ дѣтей въ тюремный пріютъ... Дѣло — съ начала до конца полно беззаконія. Наконецъ сенатъ, хотя и оправдалъ Кочубея, но и Зальцмана освободилъ отъ заключенія, въ которомъ несчастный, кстати сказать, сидѣлъ даже безъ всякаго опредѣленія судебныхъ властей. *Л. Т.*

лагавшаго академію шпіонства,*) очень легко узнавать людей и дѣлить ихъ ошую и одесную, шиболетъ вашъ совсѣмъ готовъ. Кто противъ гласности, кто противъ освобожденія крестьянъ, тотъ врагъ народа, тотъ вашъ врагъ...

Отчего вы небоитесь гласности—а Панинъ и Вяземскій боятся?

Отчего вы хотите искоренить взятки, а Ланской призывалъ двухъ литераторовъ и запретилъ имъ касаться этого предмета, освященнаго вѣками?

Постараемся показать на дѣлѣ—отчего.

Къ новому году намъ прислали выписку изъ одного дѣла—нисколько нечрезвычайнаго, но очень характеристическаго для объясненія, почему запертыя двери необходимы вертепамъ, называемымъ у насъ *судами.*

Колоколъ № 8
1 Февраля 1858 года.

ИМПЕРАТОРЪ И СТУДЕНТЫ.

Спѣшимъ передать резолюцію Александра II на докладѣ о дѣлѣ московскихъ студентовъ. „*Цвиленева, Морозова и Симонова* (первый частный приставъ, два вторые квартальные надзиратели) судить военнымъ судомъ, а студента *Гапусевича*, принимая во вниманіе, что онъ былъ въ необходимости учинить нарушеніе закона, оставить свободнымъ отъ суда и взысканія.“

Съ глубокимъ уваженіемъ печатаемъ мы это рѣшеніе... какъ оно ни просто, ни естественно, но мы въ немъ видимъ новое доказательство, какъ далеко уже осталось за нами то несчастное время, когда полиція была во всемъ права!

На дняхъ мы получили письмо, строго критикующее *Колоколъ.*

Письмо это проникнуто такимъ теплымъ чувствомъ любви къ

*) Извѣстный „Энтузіастъ“ (это счастливое выраженіе Модеста Корфа не должно пропасть) Липранди подалъ государю глубокообдуманный проэктъ о составленіи разсадника шпіоновъ. Онъ предлагалъ поручить инспекторамъ въ гимназіяхъ, чтобъ они отмѣчали мальчиковъ, которые доносятъ на товарищей, поощрять ихъ, слѣдить за ними въ университетѣ, и если они тамъ также ревностно будутъ выдавать своихъ товарищей, принимать ихъ въ особенное отдѣленіе полиціи. Государь, прочитавши этотъ гнусный проэктъ, написалъ на немъ:—„Липранди какъ вреднаго человѣка впредь ни въ какую службу не опредѣлять и воспретить ему въѣздъ въ столицы“.

И тутъ нашлись герои, которые вступились за Липранди и упросили государя оставить въ Петербургѣ невинно-угнетеннаго, «неосторожнаго, но пламенно-любящаго отечество». А еще обвиняютъ нашъ вѣкъ въ эгоизмѣ!

дѣлу и желаніемъ добра отъ нашихъ изданій, что намъ остается искренно поблагодарить анонимнаго критика и воспользоваться тѣми изъ его совѣтовъ, съ которыми согласна наша совѣсть.

Намъ очень жаль, что въ письмѣ именно сказано, чтобъ мы его не печатали, намъ хотѣлось-бы сообщить его нашимъ читателямъ.

Одно замѣчаніе мы позволимъ себѣ. Авторъ письма могъ видѣть съ перваго листа *Колокола* до послѣдняго, какъ усердно мы просимъ всѣхъ сообщающихъ намъ вѣсти, подвергать ихъ прежде строгой критикѣ. Какія же мы можемъ имѣть средства повѣрки? Если и въ нашихъ листахъ, какъ во всѣхъ журналахъ, прокрадываются ошибки, мы готовы ихъ поправить — но не всегда можемъ предупредить.

Мы въ VI листѣ сказали, что московскій оберъ-полицмейстеръ *Берингъ* — остался, а онъ подалъ въ отставку. „Le Nord" имѣющій полуоффиціальныя корреспонденціи, говоря объ окончаніи студентской исторіи въ Москвѣ, сообщилъ только объ отставкѣ частнаго пристава. Вслѣдъ за тѣмъ получили мы письмо, въ которомъ обращается вниманіе на то, „что Закревскій отстоялъ Беринга." Дней десять спустя, мы увидѣли, что Берингъ замѣненъ Кропоткинымъ. Намъ остается повиниться въ ошибкѣ, поблагодарить и посовѣтовать Закревскому сдѣлать намъ такой же милый сюрпризъ.

Что касается до смѣшнаго, мы не совсѣмъ согласны съ нашимъ критикомъ. Смѣхъ—одно изъ самыхъ сильныхъ орудій противъ всего, что отжило и еще держится, Богъ знаетъ на чемъ, важной развалиной — мѣшая рости свѣжей жизни и пугая слабыхъ. Повторяю, „что предметъ, о которомъ человѣкъ не можетъ улыбнуться, не впадая въ кощунство, небоясь угрызеній совѣсти—фетишъ и человѣкъ подавленъ имъ; онъ боится его смѣшать съ рядовыми предметами."*)

Смѣхъ вовсе дѣло не шуточное и имъ мы не поступимся. Въ древнемъ мірѣ хохотали на Олимпѣ и хохотали на землѣ, слушая Аристофана и его комедіи, хохотали до самаго Лукіана. Съ IV столѣтія человѣчество перестало смѣяться — оно все плакало, и тяжелыя цѣпи пали на умъ середь стенаній и угрызеній совѣсти. Какъ только лихорадка изувѣрства стала проходить, люди стали опять смѣяться. Написать исторію смѣха, было бы чрезвычайно интересно. Въ церкви, во дворцѣ, во фрунтѣ, передъ начальникомъ департамента, передъ частнымъ приставомъ, передъ нѣмцемъ управляющимъ никто не смѣется. Крѣпостные слуги лишены права улыбки въ присутствіи помѣщиковъ. Одни равные смѣются между собой.

Если нисшимъ позволить смѣяться при высшихъ, или если они не могутъ удержаться отъ смѣха, тогда прощай чинопочитаніе. Заставить улыбнуться надъ богомъ Аписомъ, значитъ разстричь его изъ священнаго сана въ простые быки. Снимите рясу съ монаха,

---

*) Письма изъ Франціи и Италіи.

мундиръ съ гусара, сажу съ трубочиста, и они не будутъ страшны ни для малыхъ, ни для большихъ. Смѣхъ нивелируетъ—а этого то и не хотятъ люди, боящіеся повиснуть на своемъ собственномъ удѣльномъ вѣсѣ. Аристократы всегда такъ думали, и жена *графскаго дворецкаго* Фигаро, жалуясь въ La Mère Coupable на горькіе слѣды 1789 года, говоритъ, что теперь всѣ сдѣлались *какъ всѣ*, comme tout le monde!

Въ русскомъ характерѣ вообще есть азіатская склонность къ вычурному подобострастію съ одной стороны и къ надменному чванству съ другой. Объясните иностранцу и въ особенности не нѣмцу, что простой смертный носитъ *рубашку*—а баринъ *сорочку*, что одинъ—*спитъ*, а другой *почиваетъ*, одинъ *пьетъ* чай, а другой изволитъ его *кушать*; все это пришло изъ золотой Орды и изъ томпаковой Германіи.

И отчего это мы такъ обидчивы, когда дѣло идетъ о шуткѣ, и такъ выносливы, когда насъ бранятъ сверху? Это уже лѣтъ пятнадцать тому спрашивалъ Бѣлинскій. Перелистуйте лондонскій „Пуншъ", посмотрите на политическія карикатуры его, въ которыхъ всего меньше пощаженъ мужъ королевы—что дѣлаетъ Викторія, что дѣлаетъ Альбертъ — глядятъ „Пуншъ" и смѣются съ другими. Вотъ лучшее доказательство, какъ совершеннолѣтня Англія. Съ другой стороны, посмотрите это изступленіе, эту тревогу, съ которой преслѣдуютъ каждый свистокъ, каждую улыбку во Франціи... и подумайте о причинахъ.

Другой корреспондентъ пишетъ, что въ исторіи о слѣдствіи, дѣланномъ Эльстонъ-Сумароковымъ, фамилія помѣщика, продавшаго имѣніе, не вѣрно выставлена. Въ „Теймсѣ" была только фамилія Пашкова — въ письмахъ, нами полученныхъ, *три разныя фамиліи*—но обстоятельства разсказаны одинакимъ образомъ, а въ этомъ-то и сущность. Мы совершенно убѣждены, что каждый изъ благороднаго сословія помѣщиковъ, мѣшающихъ государю освободить крестьянъ, способенъ такъ-же поступить. Тѣмъ не менѣе мы благодаримъ за поправку и готовы впредь и всегда печатать *всякое опроверженіе, основанное на фактахъ.*

Колоколъ № 9.
15 Февраля 1858 г.

ЧЕРЕЗЪ ТРИ ГОДА.

Ты побѣдилъ, Галилеянинъ! и намъ легко это сказать потому, что у насъ въ нашей борьбѣ не замѣшано ни самолюбіе, ни личность. Мы боролись изъ дѣла, кто его сдѣлалъ, тому и честь.

Середь общаго сѣтованія, перерываемаго дикими криками бѣснувавшихся реакціонеровъ и солдатъ пьяныхъ отъ крови, середь нелѣпой войны и глубокаго паденія всего западнаго материка — мы, со страхомъ гадая, обращали взглядъ нашъ на молодаго чело

вѣка, шедшаго занять упраздненное мѣсто на желѣзномъ тронѣ, котораго тяжелыя ножки далеко вдавились въ нашу грудь.

„Отъ васъ ждутъ кротости", говорили мы ему, „отъ васъ ждутъ человѣческаго сердца — вы необыкновенно счастливы!" и робко, мучимые сомнѣніемъ, прибавляли. „Дайте свободу русскому слову! Смойте съ Россіи позорное пятно *крѣпостнаго состоянія*."

И потомъ мы ждали съ внутреннимъ трепетомъ, надѣясь, негодуя, прислушиваясь къ движенью, къ вѣстямъ. Послѣ тридцатилѣтняго ожиданія—нетерпѣніе простительно...

Книга Корфа оскорбила насъ, она такъ грубо дотронулась до воспоминаній святыхъ намъ, она такъ безпощадно напоминала намъ свинцовое время, въ которое мы столько страдали.

...А тамъ это старье, эта олицетворенная подагра правительства, эти мозоли, мѣшающія ему идти впередъ... надежды удалялись, мы становились еще бѣднѣе и готовились, скрестя руки на груди, остаться печальными обличителями нѣмыхъ злодѣйствъ, совершающихся во мракѣ канцелярскихъ тайнъ.

Но съ того дня, какъ Александръ II подписалъ первый актъ, всенародно высказавшій, что онъ со стороны освобожденія крестьянъ, что онъ его хочетъ, съ тѣхъ поръ наше положеніе къ нему измѣнилось.

Мы имѣемъ дѣло уже не съ случайнымъ преемникомъ Николая —а съ мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи, онъ столько же наслѣдникъ *14 Декабря*, какъ Николая. Онъ работаетъ съ нами—для великаго будущаго.

Имя Александра II отнынѣ принадлежитъ исторіи; еслибъ его царствованіе завтра окончилось, еслибъ онъ палъ подъ ударами какихъ нибудь крамольныхъ олигарховъ, бунтующихъ защитниковъ барщины и розогъ — все равно. Начало освобожденія крестьянъ сдѣлано *имъ*, грядущія поколѣнія этого не забудутъ!

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ могъ безнаказанно остановиться. Нѣтъ, нѣтъ, пусть онъ довершитъ начатое—пусть полный вѣнокъ закроетъ его корону. Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противудѣйствіе закоснѣлыхъ помѣщиковъ, ихъ волчій вой — не опасенъ. Что они могутъ противупоставить, когда противъ нихъ *власть и свобода*, образованное меньшинство и весь народъ, царская воля и общественное мнѣніе.

И пуще всего общественное мнѣніе. Лишь бы теперь нашимъ плантаторамъ и ихъ противникамъ позволено было вполнѣ высказаться, помѣриться... И тутъ, какъ во всемъ, по неволѣ бьешься въ другое *великое искомое* современной Россіи—*ея гласность*. Гласность ихъ казнитъ прежде, нежели дойдетъ дѣло до правительственнаго бича или до крестьянскаго топора.

Посмотрѣли бы мы право au grand jour на этихъ защитниковъ розогъ и крещеной собственности, забрызганныхъ кровью жертвъ, на этихъ грабителей по дворянской грамотѣ, на этихъ людокрадовъ, отнимающихъ у матерей дѣтей, торгашей, продающихъ дѣвокъ, барышниковъ рекрутами! Выходите же на арену — дайте на

васъ посмотрѣть, родные волки великороссійскіе, можетъ, вы поумнѣли со временъ Пугачева, какая у васъ шерсть, есть ли у васъ зубы, уши? Знаете, что—до помѣщичьяго права добираются, до вольности дворянской? это мужика-то и не посѣчь, и не заставить поработать четвертый и пятый день, двороваго-то и не поколотить. Помилуйте! Выходите же изъ вашихъ тамбовскихъ и всяческихъ берлогъ — Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще всего Пѣночкины, попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшнѣ, а на бѣломъ свѣтѣ высказаться. — Помѣряемтесь!

Вамъ можно было отпустить грѣхъ неправаго наслѣдства, преемственнаго стяжанія, преступленія вашихъ злодѣевъ-отцовъ, вашихъ изверговъ-матерей, за раскаяніе, за молчаніе, за умѣнье понести потерю, за угрызенія совѣсти. Но вы упорствуете, вы защищаете ваше право... стало, вы сознательно, обдуманно берете на себя всю отвѣтственность. Вы никогда не осмѣливались даже поворчать, когда вашихъ дѣтей ссылали въ Сибирь, когда съ самими вами обращались какъ съ холопами, и вы осмѣливаетесь теперь показывать зубы. Исторія васъ разсудитъ съ Императоромъ Александромъ II и съ народомъ русскимъ—смотрите только, какъ бы она для васъ не настала слишкомъ скоро. Подумайте объ этомъ!

Что касается до насъ—нашъ путь впередъ назначенъ, мы идемъ съ тѣмъ, кто освобождаетъ и пока онъ освобождаетъ; въ этомъ мы послѣдовательны всей нашей жизни. Какъ бы слабъ нашъ голосъ ни былъ, все же онъ *живой голосъ*, и какъ бы нашъ „Колоколъ“ ни былъ малъ, все же его слышно въ Россіи, а потому скажемъ еще разъ, что мы убѣждены, что Александръ II неравнодушно приметъ привѣтствіе людей, которые сильно любятъ Россію — но также сильно любятъ и свободу, „которымъ не нужно его бояться и которые для себя лично *ничего не ждутъ, ничего не просятъ*“.

Но ничего не прося, они желали бы, чтобъ Александръ II видѣлъ въ нихъ представителей свободной русской рѣчи, противниковъ всему, останавливающему развитіе, во всемъ, ограничивающемъ независимость — *но не враговъ!* Они потому этого хотятъ, что имъ стало дорого мнѣніе *освободителя крестьянъ*.

„Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!

Лакеи и нѣмцы не допускаютъ. — И ты, Саксонія? — Sachsen, wo die schoene Mädchen wachsen!

Указомъ 29 Января запрещены въ Саксоніи „Колоколъ“, „Полярная Звѣзда„ и „Голоса изъ Россіи“. Въ Пруссіи давно уже учрежденъ цензурный кордонъ противъ насъ. Говорятъ, что самъ принцъ Липпе-Вальденъ-Зондергаузенъ и Мейнингенъ хочетъ взять мѣры дѣятельныя и энергическія—если это правда, мы пропали!

Все это дѣлается внѣшними и внутренними нѣмцами, сговорившимися съ дворовыми генералами, крѣпостными министрами и вообще съ людьми, на которыхъ *шапка горитъ*.

Ни печати, ни сбыта русскихъ книгъ они не остановятъ этими мѣрами, которыя намъ же служатъ даровыми рекламами и придаютъ нашимъ изданіямъ международную важность.

Объяснимся разъ навсегда. Дѣло русской пропаганды для насъ не капризъ, не развлеченіе, не кусокъ хлѣба—а дѣло нашей жизни, наша религія, кусокъ нашего сердца, наша служба русскому народу.

Мы работали не унывая тогда, когда не было никакого успѣха. Неужели теперь, когда русское министерство иностранныхъ дѣлъ и нѣмецкіе министры дѣлъ отечественныхъ признаютъ нашу силу, наше вліяніе—мы остановимся?

Будьте увѣрены, что нѣтъ. Съ рукою на сердцѣ присягаемъ мы передъ лицомъ Россіи — продолжать работу нашу до послѣдняго біенія пульса. Она даже не прервется съ нашей смертью. Мы не одни, и, умирая, завѣщаемъ нашъ станокъ грядущему, юному поколѣнію—которое примется за него съ новыми силами, съ свѣжими идеями.

Насъ остановить можно только *уничтоженіемъ* цензуры въ Россіи, а вовсе не введеніемъ русской цензуры въ нѣмецкихъ краяхъ.

Не надобно думать, чтобы мѣры эти были взяты только *противъ* насъ, они столько же и еще больше взяты противъ государя. Чернильное и казарменное масонство, завоевавшее четырнадцать ступеней лѣстницы, ведущей къ дворцовой передней, старается обвернуть языкъ „Колокола"—нѣмецкими препятствіями для того, чтобъ его звонъ не доходилъ до Зимняго Дворца.

Лѣстница разсердилась не за наши теоріи—мы теперь никакихъ не проповѣдуемъ, мы взяли за девизъ:

Освобожденіе крестьянъ—отъ помѣщиковъ;

Освобожденіе слова—отъ цензуры;

Освобожденіе всѣхъ—отъ побоевъ.

Неужели это анархія, крамола, грабежъ, бунтъ, пожаръ, Содомъ и Гомора?

Они осерчали за то, что мы начали *указывать на лица*. Это мѣшаетъ заговорщикамъ обманывать государя и обкрадывать народъ.

Желая непремѣнно довести до свѣдѣнія государя объ этихъ мѣрахъ, загораживающихъ отъ него истину—*мы въ первый разъ* посылаемъ „Колоколъ" въ запечатанномъ пакетѣ на его имя и притомъ въ собственныя руки.

Дойдетъ онъ или нѣтъ?.. Пари держать трудно! Подъ надзоромъ полиціи государь или нѣтъ? Распечатываютъ его письма или нѣтъ? Увидимъ!

САКСОНСКОМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ

(Переводъ съ письма)

Господинъ Министръ,

Приказомъ 29 Января вы запретили въ Саксоніи мои лондон-

скія изданія на русскомъ языкѣ. Въ приказѣ вашемъ вы говорите, что они содержатъ «клеветы на правительство и на самое лицо государя».

Что вы, будучи саксонскимъ министромъ, занимаетесь русской полиціей — это естественное послѣдствіе того жалкаго состоянія, въ которомъ находится теперь ваше отечество; но усердно исполняя приказанія, которыя вамъ насылаютъ изъ канцеляріи Горчакова—вы ничего не потеряли бы, не повторяя ложныхъ обвиненій.

Я имѣю убѣжденія — которыя весьма вѣроятно съ вашими не сходны, я служу моей родинѣ по своему, восполняя сколько могу недостатокъ публичности въ ней моими изданіями. Вы можете это находить преступнымъ, но вы не имѣете права — не вызвавъ съ моей стороны отвѣта — публиковать, что я печатаю *клеветы*.

Чистота моихъ намѣреній очень хорошо извѣстна въ Петербургѣ —и на немъ-то основана моя сила. Я вызываю русско-саксонское правительство указать хоть *одну* клевету, напечатанную въ „Колоколѣ", „Полярной Звѣздѣ" или „Русскихъ Голосахъ" — хоть одну!

Были ошибки — мы ихъ тотчасъ указывали сами.

Сверхъ того—я никогда ничего не говорилъ противъ нынѣшняго императора; я жалѣлъ о томъ, что Александръ II такъ скверно окруженъ; но ни разу не нападалъ на него. Конечно, не я стану хулить его въ то время, какъ онъ освобождаетъ крестьянъ. Его имя уже принадлежитъ исторіи — и совершенно инымъ образомъ, нежели имена его товарищей по трону.

За тѣмъ — не будучи злопамятнымъ — я искренно желаю, чтобъ вы получили Анну на шею, и прошу принять впередъ мои поздравленія съ наступающимъ крестомъ.

Колоколъ № 10.
1 Марта 1858 года.

НЕ СТЫДНО ЛИ?

Петербургскія „Полицейскія Вѣдомости" извѣщаютъ о *возобновленіи* полицейскаго самоуправства въ Петербургѣ. Случай ими разсказанный, грустно напоминаетъ намъ черное время прошедшаго царствованія, которое мы tout de bon считали прошедшимъ. Г. Мухинъ за публичное чтеніе (вѣрно онъ читалъ какому нибудь пріятелю вслухъ?) чего то печатаннаго за границей (не „Колокола" ли? все таинственность!) и притомъ *преступнаго содержанія**) сосланъ подъ надзоръ полиціи въ отдаленную губернію (въ какую? Что за секреты — вѣдь и Красноярская губернія не близко).

Новость эта очень важна. До нея мы еще не слыхали о политическихъ гоненіяхъ Александра II. Что-же, это начало ихъ, что-ли? И что за вздоръ все вмѣстѣ! Точно мы наканунѣ возстанія

---

*) Такъ сказано въ французскомъ текстѣ *Норда*.

въ Петербургѣ — надобно брать чрезвычайныя мѣры для спасенія отечества, религіи, престола. Такъ то хотятъ гласности? И зачѣмъ у насъ судебныя мѣста, когда опять какая нибудь канцелярія можетъ ссылать, по доносу шпіона, за чтеніе чего то неназваннаго; и кто нашелъ преступнымъ содержаніе — трактирщикъ, квартальный, жандармъ, половой, Игнатьевъ, Долгорукій?

Неужели намъ придется раскаяться въ томъ, что мы вѣрили въ искреннее желаніе государя—начать человѣческую эпоху въ русскомъ развитіи и поторопились сказать это?

Колоколъ № 12
1 Апрѣля 1858 года.

Письма полученныя нами печальны. Партія Александра Николаевича рѣшительно не въ авантажѣ. Орловы и Панины въ Петербургѣ, Закревскіе въ Москвѣ одолѣваютъ и смѣло ведутъ Россію и царя вспять.

Средь полнѣйшей тишины, въ то самое время, какъ связь государя съ народомъ дѣлается связью не страха, а любви, — заговорщики поддерживаютъ въ государѣ мысль о близкомъ мятежѣ. Въ Москвѣ Закревскій выдаетъ боевые патроны и заводитъ полицейскіе сигналы.

Когда новый оберъ-полицмейстеръ *Кропоткинъ* приказалъ полицейскимъ чиновникамъ обращаться вѣжливѣе съ народомъ, Закревскій сказалъ ему, что онъ нововведеній терпѣть не можетъ, и что Москву надо держать въ *ежевыхъ рукавицахъ*.

Носился слухъ, что его наконецъ сдадутъ на покой въ государственный совѣтъ, но совсѣмъ напротивъ: онъ на дняхъ отвѣтилъ одному генералу, спросившему его—правда ли, что онъ оставляетъ Москву. — „Я счелъ бы себя подлецомъ, еслибъ оставилъ Москву въ такое смутное время“. Ужъ не пойдетъ ли и Клейнмихель опять на службу — спасать отечество? — La patrie est en danger!.. Минины, Пожарскіе, да и только.

Вмѣсто уничтоженія цензуры—цензуры удвоили, запутали; прежде цензировали — цензоры, попы и тайная полиція; теперь всѣ вѣдомства будутъ цензировать, каждое министерство представитъ своего евнуха къ литературному сералю, и это въ то время какъ ждали облегченія цензуры. И дѣйствительно, новый проэктъ былъ поданъ въ комитетъ министровъ, но Панинъ и за нимъ всѣ единогласно (за исключеніемъ в. к. Константина Николаевича)—отвергли всякое улучшеніе съ благороднымъ негодованіемъ. Право мы начинаемъ думать, что все это дѣлается для „Колокола“ и для „Полярной Звѣзды“. Заставить молчать, позволивши хоть немного говорить,—трудно и нелѣпо. Русская литература переѣдетъ въ Лон-

донъ. Мы ей сверхъ англійской свободы и роднаго привѣтствія— приготовимъ лучшую бумагу и отличныя чернила.

—

—Говорятъ, что въ нынѣшнемъ году Константинъ Николаевичъ ѣдетъ по Россіи осматривать все-ли ладно и хорошо. Губернаторы и исправники, не имѣющіе еще оффиціальнаго распоряженія, начинаютъ уже притѣснять народъ, хлопочутъ, чтобъ скрыть отъ него Россію, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хотятъ дѣлать *новыя дороги*. Неужели и онъ позволитъ себѣ отвести глаза такими жалкими и грубыми фокусами?

—

¿ Правда-ли, что въ Москвѣ и по губерніямъ сѣкутъ безпрерывно крестьянъ и особенно дворовыхъ за то, что они *говорятъ* объ освобожденіи??? — Тутъ ужъ и ума не приложишь, такъ это отвратительно!

Колоколъ № 14.
1 Мая 1858 года.

СЛУХИ.

Въ Парижѣ разнесся слухъ и былъ поддержанъ какой-то піэмонтской газетой—будто было посягательство на жизнь Александра II, будто его хотѣли отравить ядомъ въ ваннѣ, но что онъ изъ нея вышелъ и велѣлъ химически разложить воду, гдѣ былъ найденъ ядъ.

Мы этому не вѣримъ, — такъ, потому что не хочется вѣрить, потому что для насъ Александръ II „счастливая случайность", какъ сказалъ Александръ I Mme de Stael. Но поручиться за то, чтобъ это было невѣроятно—мы не можемъ. Мы только скажемъ одно: конечно, *ни одинъ благородный человѣкъ* въ Россіи не захочетъ смерти царя, который идетъ за одно съ народомъ и съ образованіемъ.

Но чего хочетъ старая дворня—за это поручиться нельзя.

Да прогоните же наконецъ старую дворню. Оно будетъ спокойнѣе, доблестнѣе, человѣколюбивѣе и—безопаснѣе!

Колоколъ № 15.
15 Мая 1858 года.

РОЗГИ И РОЗГИ!

Газеты сообщаютъ изъ Россіи вѣсти о мѣстныхъ крестьянскихъ бунтахъ. Это надо было ожидать, потому что вопросъ освобожденія крестьянъ не былъ разрѣшенъ общей государственной мѣрой.

Теперь болѣе чѣмъ когда нибудь нужны во главѣ правительства люди твердыхъ убѣжденій, которые шли бы впередъ, не пугаясь ни своекорыстнаго ропота помѣщиковъ, ни мѣстныхъ волненій и не обращаясь изъ эмансипаторовъ въ истязатели.

Пора приступить къ общей государственной мѣрѣ выкупа крестьянъ съ землею. Или мы пойдемъ на встрѣчу страшныхъ несчастій. Они начались — и сердце обливается кровью при мысли, что теперь дѣлается!

Злодѣйства совершатся, людей засѣкутъ, какъ это было въ кіевской губ. годъ тому назадъ! Злодѣйства эти скроются — благодаря второму бичу русской жизни — *безгласности*, народъ будетъ оклеветанъ. Какой нибудь Вреде вызоветъ его на мятежъ и какой нибудь Эльстонъ-Сумароковъ всѣчетъ его въ порядокъ. Ужасъ! Ужасъ!

Нельзя служить двумъ господамъ, нельзя разомъ освобождать крестьянъ и сѣчь ихъ!

—

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ НЕКРОЛОГА

АВРААМІЯ СЕРГІЕВИЧА НОРОВА.

Что городъ — то Норовъ,
что столица—то Закревскій!

Авраамій Сергіевичъ почилъ отъ министерства, и для него какъ для Наполеона на островѣ св. Елены „уже потомство настаетъ". Отставной министръ просвѣщенія, Гизо, самъ пишетъ свою біографію; Келарь Авраамій Палицынъ тоже о себѣ писалъ самъ; но Авраамій Сергіевичъ, подобно родоначальнику всѣхъ Авраамовъ (доведшему свое историческое подобострастіе и вѣрноподданническія чувства до того, что чуть не прирѣзалъ роднаго сына Ісаака) — ждетъ новаго Моисея.

Для этого-то будущаго Моисея хотимъ и мы передать нѣсколько подробностей о добросовѣстныхъ трудахъ Авраамія Сергіевича и о неусыпныхъ попеченіяхъ его, сдѣланныхъ съ просвѣщенной цѣлью помѣшать распространенію нашихъ книгъ.

Лѣтомъ 1857 г. Авраамій Сергіевичъ проживалъ въ Берлинѣ, лихорадочно поджидая государя (какъ будто онъ не могъ наговориться съ нимъ до сыта и до ленты въ Петербургѣ?). Вдругъ... въ его замкѣ народнаго просвѣщенія in partibus раздается рожокъ, гремятъ цѣпи подъемнаго моста и въѣзжаетъ оруженосецъ *Марковскій*, посланный отъ маркиза Паулуччи, начальника тайной полиціи въ Варшавѣ. Паулуччи поручалъ министру просвѣщенія, черезъ Марковскаго, имѣть неослабное наблюденіе въ Германіи за русскими книгами, печатаемыми въ Лондонѣ. Просвѣщенный министръ, желая оправдать довѣріе Паулуччи, тотчасъ принялся за дѣло и самъ поѣхалъ съ пакетомъ въ Дрезденъ. Въ Германіи, надо вамъ сказать, есть два, три отдѣленія третьяго отдѣленія соб-

ственной е. и в. канцеляріи. Еще при незабвенныхъ Леонтіѣ Васильевичѣ и Николаѣ Павловичѣ онѣ были очень хорошо устроены: Берлинскимъ отдѣленіемъ III отдѣленія собственной канцеляріи завѣдывалъ Мантейфель, Саксонскимъ — Бейстъ. Къ нему-то первому и обратился старецъ Авраамій, поддерживаемый старцемъ Шредеромъ (изъ Русскихъ)—человѣкомъ, котораго учтивость была до того велика, что почти выходила изъ предѣловъ приличія.

Бейстъ, видя жандармское рвеніе министра народнаго просвѣщенія, поддержанное учтивѣйшимъ человѣкомъ изъ всѣхъ Шредеровъ, не ислючая Шредера Девріен', далъ слово (и сдержалъ его) запретить въ Саксоніи русскія книги, печатаемыя въ Лондонѣ, признаваясь откровенно и всенародно этимъ фактомъ, что Саксонія находится на положеніи Грузіи, и что ея царь Іраклій—гражданскій губернаторъ саксонской и военный генералъ-губернаторъ города Дрездена.

Авраамій Сергіевичъ, довольный успѣхомъ, снова возвратился въ берлинскую область. Въ уѣздномъ городѣ Потсдамѣ онъ встрѣтилъ г. Адлерберга, к. Горчакова и самаго государя, съ ужасомъ жаловался онъ имъ всѣмъ на распространеніе русскихъ книгъ, печатаемыхъ въ духѣ свободы и независимости, дерзающихъ касаться не только до предметовъ священныхъ, но и до первыхъ трехъ классовъ, не щадящихъ ничего, ни даже графа Панина. Онъ удивлялся преступному равнодушію Брунова, который терпитъ въ Берлинѣ продажу ихъ. (Онъ не разсудилъ, что Бруновъ, проживши въ Англіи такъ долго, утратилъ рабскую книгобоязнь). Горчаковъ обѣщался принять мѣры, попросить, убѣдить, склонить кого надобно; у короля намѣстника мозгъ уже размягчался тогда не по днямъ, а по часамъ, Мантейфель свой человѣкъ, Герлахъ *покойниковъ* человѣкъ, успѣхъ былъ несомнѣненъ. Но что довольно для успѣха, —того не довольно для усердія, и потому состоящій при маркизѣ Паулуччи министръ народнаго просвѣщенія отправился самъ къ Мантейфелю. — „Кейзеръ, говоритъ, нихтъ воленъ... Зи мусенъ махенъ, — Прусишъ, Русишъ — камрадъ!"

Мантейфель запретилъ наши книги во всей ввѣренной ему губерніи.

И намъ пришлось печатать послѣ всѣхъ этихъ рекламовъ, переписокъ, совѣщаній, Бейстовъ, маркизовъ отъ инквизиціи, министровъ отъ просвѣщенія, Марковскаго, Мантейфеля,—ровно *вдвое больше* нашихъ книгъ!

А надобно признаться, оригинально понималъ -- отецъ Авраамій министерство просвѣщенія, онъ вѣрно думалъ, что оно, какъ пожарное депо, назначено не для увеличенія просвѣщенія, а для предупрежденія и прекращенія его, гдѣ оно (чего Боже сохрани), нечаянно случится. За то по еврейски знаетъ онъ, по свидѣтельству аугсбургской газеты, лучше всякаго равина и талмудъ толкуетъ, какъ будто не выходилъ всю жизнь изъ синагоги.

Колоколъ № 16.
1 Іюня 1858 года.

ТАМБОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО

Мы получили на дняхъ письмо, въ которомъ какой-то другъ тамбовскаго дворянства упрекаетъ насъ въ поспѣшности, съ которой мы „предали это дворянство анаѳемѣ", повѣривъ статьѣ »Норда". Хотя авторъ письма и сознается, что онъ „мало знаетъ расположеніе тамбовскаго дворянства относительно освобожденія крестьянъ", тѣмъ не менѣе желаетъ защитить его. И мы ничего лучше не просимъ, какъ исполнить его доброе желаніе и „снять анаѳему"; мы сдѣлаемъ это тотчасъ, какъ только почтенный корреспондентъ нашъ *много* узнаетъ о хорошемъ расположеніи тамбовскаго дворянства относительно освобожденія крестьянъ. Мы до сихъ поръ, сверхъ статьи Норда, читали рѣчь какого-то Бланка, передъ которой іезуитское сочиненіе Безобразова зажигательная статья, и циркуляръ министра Ланскаго такое же якобинское произведеніе, какъ бюльтень Ледрю-Роллена. Въ концѣ этого отвратительнаго диѳирамба въ пользу крѣпостнаго состоянія и рабства, сказано въ скобкахъ: „Рѣчь сія была принята собравшимся дворянствомъ съ восторгомъ и рукоплесканіемъ."

Что касается до князя Голицына и до г. Ліона, намъ до нихъ нѣтд дѣла; мы охотно вѣримъ корреспонденту, что кн. Голицынъ виноватъ, и безъ малѣйшаго труда примемъ, что г. Ліонъ неправъ. Мы знаемъ, что такое россійское благородное дворянство, мы знаемъ, какъ Орловы и Панины бросились стремглавъ со ступеней трона, на которыхъ они стоятъ, закладывать имѣнья, боясь освобожденія крестьянъ.

Мы искренно будемъ рады, если тамбовское дворянство, да и всѣ прочія поймутъ, что оппозиція правительству и народу въ дѣлѣ освобожденія не только безнравственна и гнусна, но чрезвычайно опасна и можетъ навлечь на нихъ вещи несравненно болѣе чувствительныя, чѣмъ нѣсколько строкъ „Колокола".

PAS DE REVERIES! PAS DE REVERIES!

Изъ Украйны пишутъ, что польскимъ журналамъ не только не дозволено печатать статей объ освобожденіи крестьянъ, но не позволяютъ перепечатывать статей изъ петербургскихъ и московскихъ журналовъ. Что это за безобразіе, что это за тупоумiе! Своимъ глазамъ не вѣришь... Александръ II похожъ на тѣхъ средневѣковыхъ паломниковъ, которые ходили въ Іерусалимъ два шага впередъ, да одинъ назадъ, это лучшая метода, чтобъ *никуда не дойти* и оттоптать себѣ ноги до страшныхъ мозолей... По крайней мѣрѣ тѣ шалили изъ любви къ Богу. А тутъ что за цѣль???

Колоколъ № 17.
15 Іюня 1858 года.

АРХИПАСТЫРСКОЕ РВЕНІЕ О МРАКѢ.

Мертвые возстаютъ! нѣмые глаголятъ! православные святители поднимаютъ слабый гласъ свой на противудѣйствіе наукѣ во грѣхѣ мысли свѣтской зачатой. Вотъ что благовѣститъ преосвященный митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій за № 641 — оберъ-прокурору святѣйшаго синода, сему стражѣ-блюстителю, охраняющему аки песъ вѣрный—паству господню, паству православную.

„Неоднократно доходили до меня слухи, что нѣкто иностранецъ Роде здѣсь въ СПб. въ разныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, разными картинами, не упоминая ни слова о Богѣ создателѣ, показываетъ, что образованіе нашей земли со всѣми ея растеніями и животными, не исключая и людей, произошло только отъ дѣйствія естественныхъ силъ какой-то первобытной матеріи, въ продолженіи не простыхъ шести дней, а шести болѣе или менѣе длинныхъ періодовъ.

Въ настоящее время, какъ сказываютъ, этотъ Роде уже дѣлаетъ свои представленія публично, близь большаго театра, въ циркѣ, и для большаго привлеченія народа съ торжественною музыкой.

Такое представленіе, явно колеблющее основанія христіанства и истребляющее въ народѣ — всѣми христіанскими народами благоговѣйно признаваемую и чтимую истину въ созданіи нашей земли отъ Всемогущаго, Премудраго и Всеблагаго Творца-Бога, весьма вредно для народной вѣры и нравственности.

Посему покорнѣйше прошу ваше сіятельство, чтобы означенное, даваемое въ циркѣ представленіе было прекращено.“

...Можетъ пастыри наши умиленно мечтаютъ, что уничтожая свѣтъ дневный, они усугубятъ продажу свѣчей церковныхъ!

ПРАВО ГРАЖДАНСТВА, ПРІОБРѢТЕННОЕ «КОЛОКОЛОМЪ» ВЪ РОССІИ

Наконецъ-то разрѣшено въ Россіи говорить о „Колоколѣ“, хотя для начала только по-китайски (не выдумалъ ли это нашъ японскій цензоръ?), читая буквы сверху внизъ, а не въ строчку. Ce n'est que le premier pas qui coute! Перепечатываемъ стихотвореніе, вышедшее въ Петербургѣ съ тавромъ цензуры. Слухи о Conspiracy-Bill (который ученый поэтъ смѣшалъ съ Allien-Bill) вдохновили Ижицу, а надежды видѣть меня повѣшеннаго „за полюса-звѣзду“ или сосланнаго на каторгу въ Ботани-Бей (куда теперь не посылаютъ) излилась слѣдующими виршами:

БАСНЯ
ОРОСКОПЪ КОТА.
(акростихъ)

Котъ Васька, желчный и кривой,
Отсюда въ альбіонъ забрался,
Ломать придумалъ край родной,
Онъ въ чужѣ, знать, ума набрался:
Къ мадзиновскимъ рядамъ присталъ.
Онучки съ полушубкомъ тертымъ,
Лежанку, на которой спалъ,
Ь . . . . . .
Щипать, да рыть, не уставалъ
И весь тотъ соръ въ журналѣ издавалъ!
Какъ вдругъ молва о томъ идетъ
У бритовъ allien-bill въ законъ войдетъ!
Пришельцу Васькѣ сталъ грозить
Европы общій приговоръ:
Такихъ какъ онъ велятъ ловить;
Ловить, чтобы печатный вздоръ,
Ясновельможный котъ и воръ,
Гремучимъ наполняя соромъ
Отважно не бросалъ въ людей!
Тутъ, Ваську, какъ освищутъ хоромъ,
Отправятъ вдругъ въ Ботанибей,
Велятъ: за полюса-звѣзду повѣсить,
А колоколъ коту къ хвосту привѣсить;
И выйдетъ тутъ такой трезвонъ,
Что мыши, крысы и педанты,
Сулилъ которымъ гибель онъ,
Не попадутъ ужь въ арестанты!

Ижицынъ.

Т. е. *Колокольщику петля готова ичсн.* Оно мило, забавно, но крѣпко, сама *Ижица* чихнула, иначе я не могу объяснить окончаніе акростиха *ичсн.* А vos souhaits! Будьте здоровы, Ижица!

Колоколъ № 18.
1 Іюля 1858 года.

1 ІЮЛЯ 1858.

Годъ тому назадъ вышелъ *первый листъ Колокола.* Невольно останавливаемся мы, смотримъ на пройденный путь.... и на душѣ становится грустно и тяжело.

А между тѣмъ въ продолженіи этого года сбылось одно изъ нашихъ пламеннѣйшихъ упованій, начался одинъ изъ величайшихъ переворотовъ въ Россіи, тотъ, который мы предсказывали, жаждали, звали съ дѣтскихъ лѣтъ,—началось освобожденіе крестьянъ.

Но на душѣ не легче и чуть ли мы въ этотъ годъ не сдѣлали шагъ назадъ.

Причина очевидна, мы ее скажемъ прямо и мужественно: *Александръ II не оправдалъ надеждъ, которыя Россія имѣла при его воцареніи.* Въ прошломъ іюнѣ онъ еще стоялъ, какъ богатырь нашихъ сказокъ, на перекресткѣ, — пойдетъ ли онъ на право, пойдетъ ли онъ на лѣво, нельзя было знать, казалось, что онъ непремѣнно пойдетъ по пути развитія, освобожденія, устройства... вотъ шагъ и еще шагъ—но вдругъ онъ одумался и повернулъ:

Съ лѣва да на право.

Можетъ, еще есть время... но его мчатъ дворцовые кучера, пользуясь тѣмъ, что онъ дороги не знаетъ. И нашъ „Колоколъ" напрасно звонитъ ему, что онъ сбился съ дороги, звонитъ ему бѣдствія Россіи и собственную опасность.

Но въ томъ-то и бѣда, что сильные міра сего не умѣютъ ни слушать, ни даже вспоминать. Исторія передъ ними, но не для нихъ она передаетъ горькій опытъ народовъ и строгій судъ царей потомствомъ.

Не умѣть воспользоваться такимъ удивительнымъ положеніемъ, какое событія въ Европѣ и прошлое царствованіе дали въ задатокъ Александру II, до такой степени нелѣпо, что это трудно помѣщается въ человѣческую голову.

Выбрать, имѣя въ своей волѣ выборъ, изъ двухъ родей Петра I и Пія IX, — роль Пія IX, это высшій примѣръ христіанскаго смиренія.

Но скажутъ намъ: Петръ I былъ геній, геніи родятся вѣками, не всякій царь, который захочетъ быть Петромъ — будетъ имъ.

Въ томъ-то и дѣло, чтобъ быть для Россіи вторымъ Петромъ въ наше время, не нужно быть геніемъ, для этого достаточно любить Россію, уважить, понять человѣческое достоинство въ русскомъ, и вслушаться въ его мысль, въ его стремленія. Можетъ, геній повредилъ бы многому, какъ самъ Петръ I, онъ втѣснилъ бы свою личную волю вмѣсто развитія зародышей, которые взошли и которыхъ только не надо ни полоть, ни топтать, ни насиловать,—предоставляя имъ самимъ ростъ и устраняя препятствія. Петру I приходилось создавать и казнить, въ одной рукѣ у него былъ заступъ, въ другой топоръ. Онъ дѣлалъ просѣку въ дичи, и разумѣется, зря порубилъ хорошее рядомъ съ дурнымъ. Мы перестали любить терроръ, въ чемъ бы онъ ни былъ, и какая бы цѣль его ни была.

Терроръ столько же не нуженъ, какъ и геній, въ наше время. Дѣятельная, мыслящая часть Россіи идетъ быстро впередъ, знаетъ чего хочетъ, заявляетъ это общественнымъ мнѣніемъ. Въ концѣ прошлаго царствованія, не смотря на опасность, на гоненія, мысли, бродившія въ умахъ, были до того сильны, что создали подземную рукописную литературу, ходившую изъ рукъ въ руки. Въ послѣдствіи тотъ же порядокъ мыслей выражался восторгомъ, съ которымъ были приняты всѣ хорошія начинанія новаго правительства.

Половина петровскаго дѣла и самая трудная дѣлается теперь хоромъ. Около Петра все молчало, онъ, проснувшись раньше другихъ, долженъ былъ будить, догадываться, выдумывать. Теперь проснулись многіе, теперь многіе опередили и ждутъ, когда ихъ позовутъ на совѣтъ. Реформамъ Петра противился весь народъ, кромѣ нѣсколькихъ человѣкъ; реформамъ Александра II весь народъ готовъ содѣйствовать, кромѣ гнилой части дворянства и стариковъ, выжившихъ изъ ума. Что касается до поддѣльной, служилой олигархіи, до всѣхъ parvenus изъ казармъ и изъ чернильницъ, до этого смирительнаго дома, до этихъ арестантскихъ ротъ николаевскихъ питомцевъ—они никакого мнѣнія не имѣютъ. Сегодня они будутъ засѣкать крестьянъ за то, что они хотятъ освободиться, — завтра разстрѣливать дворянъ за то, что они не хотятъ освобождать.

Но можетъ быть реформы, о которыхъ говорилъ Александръ II въ рѣчахъ, въ манифестахъ, указахъ, приказахъ и оффиціальныхъ журналахъ не совпадаютъ съ тѣми желаніями мыслящей Россіи, которыя проявляются въ литературѣ, въ общественномъ мнѣніи.

Совсѣмъ нѣтъ, онѣ однѣ и тѣ же.

Въ этомъ-то и состоитъ безпредѣльная, раздирающая сердце иронія, трагическій комизмъ нашего положенія. Правительство никогда не бываетъ такъ мощно, какъ въ согласіи съ общественнымъ мнѣніемъ. Легисты Англіи, страны строжайшей законности, много разъ выражали мысль, что „исполнительная власть сильнѣе закона, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она встрѣчается съ народнымъ желаніемъ“. Какова же у насъ должна быть самодержавная власть, когда она за одно съ народомъ?

Царь силится подать руку народу, народъ силится взять ее и не можетъ достать черезъ Панина и компанію. Это аристофановская сцена! Только что государь совсѣмъ готовъ, приподнявшись на цыпочкахъ, коснуться протянутой къ нему руки, какъ кто нибудь изъ этихъ сѣдыхъ шалуновъ—Орловъ, Закревскій закричитъ: „Ваше величество, Боже мой! они вамъ палецъ откусятъ!“

Ну, что бы попробовать кажется? Былъ же вѣдь государь на Кавказѣ въ дѣлѣ съ горцами, любитъ охотиться по медвѣдямъ. Да и что черкесы и медвѣди? Развѣ государь не подвергается ежедневно опасности быть съ этими столпами отечества, которые заслоняютъ ему Россію и составляютъ около него пріятный вѣнокъ старцевъ, который въ случаѣ нужды, сдвигаясь, можетъ превратиться въ петлю.

Вѣдь К. И. Арсеньевъ разсказывалъ за уроками Александру Николаевичу *уголовное дѣло*, называемое русской исторіей отъ Петра I до Александра I.

У насъ ничего нѣтъ за душой, мы все говоримъ. Пусть же каждый читатель, положа руку на сердце, скажетъ, гдѣ были въ «Колоколѣ» несбыточныя требованія, политическія утопіи, призывы къ возстанію?

Въ существованіи «Колокола» есть черта, переломъ. Съ обна-

родованія рескрипта объ освобожденіи крестьянъ, нашъ путь долженъ былъ измѣниться, не въ существенномъ, но въ образѣ дѣйствія. Мы пожертвовали частью полемики и стѣснили еще больше кругъ нашихъ вопросовъ. Мы сдѣлались ближе къ правительству, потому что правительство сдѣлалось ближе къ намъ. Намъ дѣла нѣтъ до формъ правленія, мы всѣ ихъ видѣли на дѣлѣ и видѣли, что всѣ онѣ никуда негодятся, если онѣ реакціонны — и всѣ хороши, если онѣ современны и прогрессивны. Намъ искренно и откровенно казалось, что Александръ II замѣнитъ кровавую эру революціи и будетъ мирнымъ, кроткимъ переходомъ отъ устарѣлаго деспотизма къ человѣчески-свободному состоянію Россіи.

Ошибались ли мы, нѣтъ ли, но думая такимъ образомъ, мы совершенно послѣдовательно въ продолженіи шести мѣсяцевъ послѣ изданія рескрипта занимались почти исключительно осуществленіемъ его*).

Чего требовали мы, о чемъ писали?

Мы требовали, чтобъ помѣщики не украли у крестьянъ освобожденіе, чтобъ желаніе, выраженное робко и картаво правитель-

*) Многіе упрекаютъ «Колоколъ» и въ томъ числѣ прусская *Крестовская* газета, въ непочтительномъ тонѣ и фамильярномъ обращеніи съ лицами, которыя хотя и стали костью во всякомъ улучшеніи, хотя и большіе негодяи, но все же принадлежатъ къ первымъ двумъ классамъ. На этой выси высотъ сановники уже становятся матронами, до коихъ не должны касаться не смягченныя слова. Вѣроятно въ Пруссіи запрещенъ „Пуншъ", и въ Берлинѣ не знаютъ, какъ свободные люди свищутъ дурнымъ скоморохамъ. Къ этому замѣчанію прибавляютъ—„Да хорошо ли издали, съ недоступнаго острова, бросать печеныя яблоки въ нихъ?" — *Очень*, потому что вблизи они сами защищены моремъ полиціи, цензуръ. Да къ тому же у насъ есть своя очистка. Мы не *издали* въ началѣ крымской войны писали наши статьи о Россіи (Le vieux monde et la Russie) и не пріостановились нынѣшней весной, во время пущаго разгара боязни передъ сосѣдомъ, напечатать — „La France ou l'Angleterre".—Да лица-то, на которыя нападаетъ „Колоколъ", растутъ отъ этого въ силѣ. Если это правда, остается жалѣть о темной водѣ, мѣшающей государю видѣть истину. Но намъ и до этого дѣла нѣтъ, наша отмѣтка не для герольдіи, наша отмѣтка для всего честнаго люда русскаго, пусть они знаютъ, кто снимаетъ Россію на аренду у государя. — „Все это такъ, да въ тонѣ нѣкоторыхъ статей *ненужныя* выраженія." — „Крикъ мучимаго не можетъ быть приведенъ въ хроматическую гамму", говорилъ мнѣ одинъ старый знакомый, понимавшій, что въ звонъ нашего „Колокола" входитъ именно вопль, поднимающійся изъ съѣзжихъ, изъ казармъ, съ помѣщичьихъ конюшенъ, съ барщинныхъ полей, съ цензурной бойни, — „Колоколъ" рѣшительно принадлежитъ дурному обществу, оттого у него нѣтъ ни канцелярской вѣжливости, ни секретарской учтивости.

ствомъ относительно усадебъ и земли, не было объяснено въ пользу собственниковъ. Были ли мы правы? Это доказываетъ — краснорѣчіе Безобразова и Бланка, центральный комитетъ, усиленная цензура, дворянская оппозиція и *насильственныя переселенія* крестьянъ на неудобную землю.

Мы говорили сверхъ того, что освобожденіе крестьянъ само по себѣ недостаточно, что рядомъ съ помѣщикомъ стоитъ второй бичъ русскаго народа—чиновникъ т. е. полиція и судъ. Мы говорили, что пока не падетъ японская табель о рангахъ, пока судъ будетъ инквизиціонный съ запертыми дверями, съ канцелярской тайной, пока полиція будетъ увѣщевать розгами, допрашивать кулаками, наказывать палками *безъ суда*, — до тѣхъ поръ освобожденіе крестьянъ не принесетъ настоящей пользы.

Но развѣ самъ государь, испуганный тѣмъ, что вся гражданская служба одно—огромное faux dans les papiers publics, не заявлялъ того же мнѣнія и еслибъ Панинъ утвердилъ или принялъ бы благосклонно его предложеніе, то, можетъ, у насъ явились бы и защитники подсудимыхъ, и присяжные, и судъ производился бы при дневномъ свѣтѣ.

Государь хотѣлъ бы измѣнить, но бродитъ въ потьмахъ, не знаетъ, съ чего начать; отъ подканцеляриста до канцлера, всѣ его обманываютъ; а голосъ не служащихъ до него не доходитъ. Общественное положеніе всей не служащей Россіи или не выслужившейся таково, что она только можетъ въ присутствіи монарха танцовать на балѣ—если изъ дворянъ и по всякому поводу, счастію и несчастію, носить на золотомъ блюдѣ хлѣбъ и соль — если она изъ купечества.

Это также логически приводитъ къ нашему третьему требованію, къ—*Гласности.*

Не смѣшно ли, что сами поставили плотину, заперли ее, да и удивляются, что воды нѣтъ. Поднимите цензурный шлюзъ, и тогда узнаете, что думаетъ народъ, отъ чего ему больно, что его жметъ, мучитъ, раззоряетъ.... Можетъ, сначала пойдетъ по поверхности всякая всплывшая дрянь,— что за важность, лишь бы этой водой унесло всѣхъ этихъ полумертвыхъ владимірскихъ кошекъ и андреевскихъ зайцевъ.

Съ гласностью огласятся дѣла, которыя бросятъ тотъ страшный свѣтъ на подземныя злодѣйства полицій и суда, который бросили наши статьи о Сечинскомъ, Кочубеевскомъ процессѣ, о Вредѣ, о Эльстонъ-Сумароковѣ, о губернаторѣ Новосильцовѣ и пр.

Снявши цензурную колодку, можно закрыть и *третье отдѣленіе;* пишущіе сами будутъ доносить на себя и наконецъ въ Россіи уничтожится этотъ вертепъ шпіоновъ; Тимашева можно сдѣлать на мѣсто Гедеонова директоромъ театровъ и царскихъ увеселеній; на мѣстѣ срытой Бастиліи поставили-же въ 1789 году надпись — Ici l'on danse!

Требовали ли мы чего нибудь больше?

Какія бы ни были наши теоретическія мнѣнія, какъ бы мы ни

были въ нихъ „неисправимы“, мы ихъ не высказывали, мы стирались и охотно это дѣлали пока государственный рыдванъ плелся такъ себѣ впередъ, но когда онъ рѣшительно начинаетъ пятиться, давитъ своими тяжелыми колесами ноги, тогда мы пойдемъ другой дорогой.

И вотъ третья фаза, въ которую входитъ „Колоколъ“.

Мы поставили эпиграфомъ—Vivos voco! Гдѣ же живые въ Россіи? Намъ показалось, что живые есть въ самомъ дворцѣ, мы обращали нашу рѣчь къ нимъ, мы не раскаиваемся въ этомъ. Какъ бы то ни было и что бы не случилось, но государь, положившій начало освобожденію крестьянъ, заслужилъ великое имя въ исторіи и благодарность наша останется неизмѣнной. Но говорить намъ съ нимъ нечего. *Живые*, — это тѣ разсѣянные по всей Россіи люди мысли, люди добра всѣхъ сословій. мущины и женщины, студенты и офицеры, которые краснѣютъ и плачутъ, думая о крѣпостномъ состояніи, о безправіи въ судѣ, о своеволіи полиціи, которые пламенно хотятъ гласности, которые съ сочувствіемъ читаютъ насъ.

Колоколъ ихъ органъ, ихъ голосъ, — на безплодныхъ, каменистыхъ вершинахъ некому его слушать, чистый звонъ его можетъ раздаться сильнѣе въ долинѣ!

Колоколъ № 20.
1 Августа 1858 года.

Харьковская исторія. — Студенты харьковскаго университета подали, въ числѣ 280, просьбу объ увольненіи, какъ говоритъ Аугсбургская газета. Событіе замѣчательное и ставящее очень высоко харьковское юношество. Ждемъ съ нетерпѣніемъ чѣмъ окончится это дѣло. Мы получили нѣсколько писемъ объ немъ, но не знаемъ еще, чѣмъ Ковалевскій заключитъ его. Ковалевскій, показавшій такую жалкую слабость передъ *орловскимъ* комитетомъ упроченія крѣпостнаго состоянія и уничтоженія всякой гласности, Ковалевскій, подавленный допотопнымъ Панинымъ, Іаковомъ-энтузіастомъ, Муравьевымъ, „который вѣшаетъ“, Долгорукимъ, который *слушаетъ*, и другими врагами государя и Россіи,—мало подаетъ надеждъ. Какъ можно имѣть такаго попечителя какъ Зиновьевъ? Неужели достаточно имѣть брата въ дворцовой дѣтской, чтобъ быть попечителемъ? Зиновьевъ извѣстенъ по Москвѣ, извѣстенъ по управленію арестантской ротой, или смирительнымъ домомъ гдѣ-то, своими дикими мнѣніями о вредѣ свободы торговли, слова и пр. Будто изъ Катаказии некуда упасть какъ въ Зиновьева.

Дѣло, какъ намъ пишутъ, было очень просто. Въ Харьковѣ есть Салтыковъ и есть Лужинъ, Салтыковъ женатъ на дочери Лужина, вслѣдствіе этого его дворня безчинствуетъ, а его свекоръ покрываетъ эти безчинства. Однажды вечеромъ дворня напала на студентскія шинели, отсюда вышла драка, на шумъ которой явился

въ качествѣ хозяина дома самъ Салтыковъ; у него въ домѣ отдаются въ наймы небольшія квартиры подъ разныя увеселительныя заведенія.

Дворня свекра, т. е. полиція, явилась на помощь дворнѣ зятя, студентовъ захватили и *безъ суда* отправили съ конвоемъ къ атаману Хомутову на Донъ, потому что они были казаки.

Товарищи ихъ явились къ Зиновьеву, прося разобрать дѣло, какъ слѣдуетъ, законнымъ порядкомъ; Зиновьевъ нагрубилъ студентамъ и отказалъ имъ въ просьбѣ. Тогда 280 человѣкъ подали просьбу объ увольненіи. „Кто знаетъ, что значительное число студентовъ люди бѣдные, для которыхъ вопросъ объ окончаніи университетскаго курса вопросъ о кускѣ хлѣба, тотъ пойметъ все благородство поступка харьковскихъ студентовъ", пишетъ намъ корреспондентъ, и мы прибавимъ съ нимъ—„Честь имъ и слава!"

Посланныхъ съ конвоемъ студентовъ воротили, вѣроятно опасаясь послѣдствій такого самовольнаго распоряженія. Намъ пишутъ, „что бумага, при которой они были посланы, составлена *заднимъ числомъ* и что студентовъ обвиняли совсѣмъ въ иномъ дѣлѣ."

Колоколъ № 21.
15 Августа 1858 года.

Государь,

Мы съ ужасомъ прочли проэкты центральнаго комитета. Остановитесь! не утверждайте! Вы подпишете свой стыдъ и гибель Россіи. Какъ честные люди отъ искренней скорби и отъ искренняго желанія добра, ради всего святаго, умоляемъ Васъ: не утверждайте! Одумайтесь!

Искандеръ, Н. Огаревъ.

—

ОПЯТЬ НАДЕЖДЫ!

Государь отпустилъ удѣльныхъ крестьянъ на волю и съ землею! Это великій поступокъ, это дѣйствительный примѣръ дворянству: главный помѣщикъ русскій оказывается лучшимъ; неужели же остальнымъ помѣщикамъ не будетъ стыдно и они не послѣдуютъ благородному примѣру? А Богъ ихъ знаетъ, — безуміе и корысть людскія безграничны; тутъ ничего не предугадаешь. Но пусть государь идетъ по этой стезѣ, пусть для него будетъ всего дороже сочувствіе русскаго народа; эта награда стоитъ того, чтобы о ней похлопотать. Останавливаться на отпускѣ на волю удѣльныхъ крестьянъ нельзя. Надо отпустить на волю и государственныхъ крестьянъ, т. е. надо уничтожить министерство государственныхъ имуществъ со всѣми его палатами и окружными. Не бойтесь за подати. Недоимка существуетъ теперь, потому что государственные крестьяне платятъ окружнымъ взятки втрое болѣе чѣмъ за-

конная подать. Уничтожьте министерство государственныхъ имуществъ, дайте крестьянамъ выбрать своихъ сборщиковъ и платить подать въ сроки ими самими назначенные,—и недоимки не будетъ, и не нужно будетъ выдумывать винные откупа для пополненія недостающихъ казнѣ денегъ. Отпустите же дѣйствительно на волю и удѣльныхъ, и помѣщичьихъ, и казенныхъ крестьянъ; дайте имъ самимъ устроиться; повѣрьте, они лучше устроятся сами, чѣмъ если ихъ станутъ устраивать. Намъ нечего заводить или продолжать усиленныхъ бюрократій; въ западной Европѣ бюрократіи развились отъ того, что тамъ главное — города, а села имъ подчинены; городъ стремится къ бюрократіи. А у насъ городовъ нѣтъ, наши города только по названію города, а въ дѣйствительности не существуютъ. У насъ главное — села. Дайте селамъ устроиться своимъ умомъ, — и Россія останется спокойною, и правительству будетъ легче, и народу будетъ легче.

Колоколъ № 22.
1 Сентября 1858 года.

А. ИВАНОВЪ.

Еще разъ коса смерти прошлась по нашему бѣдному полю и еще одинъ изъ лучшихъ дѣятелей палъ — странно, безвременно. Дворовые косари помогли его подкосить въ то самое время, какъ онъ усталой рукой касался, послѣ цѣлой жизни труда и лишеній, лавроваго вѣнка. Больной, измученный нуждой, Ивановъ не вынесъ грубаго прикосновенія царской дворни и—умеръ!

Да и зачѣмъ намъ художники и поэты, зачѣмъ эти нѣжныя, нервныя организаціи, которыя не могутъ выносить воздуха передней, дерзости дворецкихъ, образованности фельдфебелей? Теперь намъ надобны бойцы, теперь намъ надобны люди, которые за обиду платятъ не своимъ здоровьемъ, а двойной обидой, за пренебреженіе невѣждъ—презрѣніемъ и ненавистію!

Жизнь Иванова была анахронизмомъ; такое благочестіе къ искусству, религіозное служеніе ему съ недовѣріемъ къ себѣ, со страхомъ и вѣрою, мы только встрѣчаемъ въ разсказахъ о средневѣковыхъ отшельникахъ, молившихся кистью, для которыхъ искусство было нравственнымъ подвигомъ жизни, священнодѣйствіемъ, наукой.

Молодымъ человѣкомъ принялся Ивановъ за свою картину „Іоанна Предтечи“ и состарѣлся съ нею; кисть, взятая юношеской рукой, ослабѣла на томъ же полотнѣ, цѣлая жизнь была употреблена на созерцаніе, обдумываніе, изученіе своего предмета, и при какихъ условіяхъ. „Нищета его, пишетъ мнѣ одинъ изъ друзей его, была такова, что онъ по суткамъ довольствовался стаканомъ кофея и черствой булкой или чашкой чечевицы, сваренной изъ экономіи имъ самимъ, въ той студіи, гдѣ работалъ, и на водѣ; за

которой нашъ художникъ ходилъ самъ къ ближайшему фонтану.— И въ этой борьбѣ шли годы и годы. Въ продолженіи двадцати лѣтъ онъ получилъ *десять тысячъ руб.* изъ кассы цесаревича Александра Николаевича, который, будучи въ Римѣ, сказалъ Иванову, что онъ его картину считаетъ своей.

Въ прошедшемъ году онъ выставилъ свою картину въ Римѣ, общество художниковъ всѣхъ странъ осыпало ее похвалами, это были единственныя сладкія минуты Иванова, но и онѣ не были безъ примѣси горькаго элемента внутренней борьбы. Объ ней мы скажемъ послѣ.

Его звали въ Россію; два мѣсяца передъ кончиной пріѣхалъ онъ въ Петербургъ. Полный надеждъ и думъ, онъ мечталъ, что для него легко откроется новая дѣятельность. Онъ мечталъ о своихъ давно задуманныхъ эскизахъ изъ жизни Христа, думалъ съѣздить въ Іерусалимъ и потомъ ему хотѣлось распространять больше и больше великую художественную традицію живописи—молодому поколѣнію. Какъ дѣйствительный художникъ, онъ съ грустью смотрѣлъ съ одной стороны на легкую, эффектную манеру; съ другой—на растлѣніе вкуса иконописью—этимъ лицемѣріемъ въ живописи, этой ложью въ искусствѣ.

Петербургскую жизнь Ивановъ совсѣмъ не зналъ или зналъ смутно, по слухамъ. Простой, отвыкшій отъ людей, онъ какимъ-то чуждымъ явился съ своей картиной—передъ толпой цѣховыхъ интригантовъ, равнодушныхъ невѣждъ, казарменныхъ эстетиковъ.

Начались маленькія avanies, которыхъ онъ не умѣлъ переносить,—все огорчало его. мучило. Ему дали во дворцѣ бѣлую залу со скверным освѣщеніемъ для картины. Государь взглянулъ на нее, оглушенный громомъ и звономъ, разсѣянный торжествомъ освященія Исакіевскаго Собора.

Второй и третьей гильдіи живописныхъ дѣлъ мастера пожимали плечами, придворнымъ было не до Иванова...

Ему бы къ Минѣ Ивановнѣ, — не догадался.

Денегъ у него не было, онъ жилъ у одного пріятеля, не понимая, что ему надобно было снискать покровителей, пріобрѣсти ходатаевъ.

Наконецъ 29 іюня президентъ академіи художествъ, т. е. графиня Строгонова, т.е. эксъ-великая княгиня Марія Николаевна, потребовала Иванова и объявила ему, что ему опредѣляется 10,000 рублей вознагражденія и назначается 2,000 рублей пенсіи, и желала знать, доволенъ ли онъ. Не смотря на свою застѣнчивость, Ивановъ не спѣшилъ принять предложенія и просилъ его обдумать.

На другой день, 31 іюня, курьеръ снова требуетъ Иванова. Его заставляютъ ждать въ передней *три часа*, послѣ которыхъ выходитъ морганатическій великій князь графъ Строгоновъ и объявляетъ ему, чтобъ онъ за окончательнымъ отвѣтомъ обратился къ Адлербергу.

Чего же церемониться живописцемъ, что такое живописецъ?

Вѣдь мы не папы римскіе, чтобы дружески принимать какого-нибудь Бенвенуто-Челини, или съ уваженіемъ какого-нибудь Буонароти. Графъ Строгоновъ, помнится, бывши въ Женевѣ, находилъ, что Александръ Николаевичъ красный революціонеръ и что пора его остановить на этой скользкой стезѣ... Столбовые-съ!

Ивановъ, пораженный этимъ пріемомъ, не пошелъ къ Адлербергу, ему довольно было одной передней. Разстроенный, огорченный, побрелъ онъ къ одному знакомому; вечеромъ онъ почувствовалъ себя дурно, къ полуночи явились первые признаки холеры и ночью съ 2/14 на 3/15 іюля его не стало.

На утро явился курьеръ съ пакетомъ, возвѣщавшимъ трупу художника, что ему жалуется 15,000 руб. и *владимірскій крестъ* въ петлицу.

Мы не думаемъ, чтобы Иванова намѣренно тѣснили, но вѣдь это тѣмъ хуже. А. Л. Витберга Никслай поймалъ въ канцелярскіе тиски и пропускалъ его въ нихъ до тѣхъ поръ, пока крикъ умолкъ, мышцы опустились и страдалецъ самоотверженно склонилъ голову. Онъ этого хотѣлъ. А тутъ напротивъ, одна небрежность, разсѣянность вздоромъ, чиновничье неуваженіе къ искусству и къ художнику. Имъ въ голову не приходитъ, что нельзя одинакимъ образомъ обращаться съ Ивановымъ и съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ; что на художникѣ есть свое помазаніе, хотя и не успенское, но прочное; что художникъ тоже власть, что это ровный — pares; что генераловъ, оберъ-форъ-шнейдеровъ, нидеръ-нахъ-шустеровъ можно дѣлать десятками, стадами, а художники родятся, и что если владимірскій крестъ можетъ иной разъ предохранить лице станціоннаго смотрителя отъ генеральскаго кулака, то онъ смѣшенъ въ петлицѣ такого артиста.

Картину свою Ивановъ завѣщалъ своему брату—зодчему, интересно узнать, какъ съ нимъ будутъ торговаться...

—Теперь скажу нѣсколько словъ о моихъ личныхъ сношеніяхъ съ Ивановымъ. Я познакомился съ нимъ въ Римѣ, въ 1847 году. При первомъ свиданіи мы чуть не поссорились. Разговоръ зашелъ о „Перепискѣ“ Гоголя, Ивановъ страстно любилъ автора, я считалъ эту книгу преступленіемъ. Вліяніе этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Насталъ громовый 1848 г., я жилъ на площади, Ивановъ плотнѣе запирался въ своей студіи, сердился на шумъ исторіи, не понималъ его, я сердился на него за это. Къ тому же онъ былъ тогда подъ вліяніемъ восторженнаго мистицизма и своего рода эстетическаго христіанства. Тѣмъ не менѣе иногда вечеромъ Ивановъ приходилъ ко мнѣ изъ своей студіи и всякій разъ, наивно улыбаясь, заводилъ рѣчь именно о тѣхъ предметахъ, въ которыхъ мы совершенно расходились.

Въ Парижѣ была провозглашена республика, престолъ папы покачнулся, вся Европа приподымалась, я забылъ Иванова и поскакалъ въ Парижъ.

Десять лѣтъ миновали, и между нами не было никакихъ сношеній.

Вдругъ получаю въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года изъ Интерлакена письмо отъ Иванова. Каждое слово его дышетъ инымъ вѣяніемъ, сильной борьбой, запертая дверь студіи не помѣшала, мысль вѣка прошла сквозь замокъ, страданія побитыхъ разбудили его...

„Слѣдя за современными успѣхами, я не могу не замѣтить, что и живопись должна получить новое направленіе. Я полагаю, что нигдѣ не могу разъяснить мыслей моихъ, какъ въ разговорахъ съ вами, а потому рѣшаюсь пріѣхать на недѣлю въ Лондонъ, отъ 3 до 10 сентября...

....„Въ итальянскихъ художникахъ не слышно ни малѣйшаго стремленія къ новымъ идеямъ въ искусствѣ, не говоря уже о теперешнемъ гниломъ состояніи Рима, они и въ 1848 и 49 годахъ, когда церковь рушилась до основанія, думали *какъ бы получить для церквей новые заказы.*"

Въ заключеніе онъ писалъ мнѣ, что ему было бы пріятно встрѣтиться у меня съ Маццини. (Это ему не удалось, Маццини былъ тогда на континентѣ, но я познакомилъ Иванова съ Саффи.)

Письмо Иванова удивило меня, съ нетерпѣніемъ ждалъ я его. Наконецъ онъ пріѣхалъ, много состарѣлся онъ въ эти десять лѣтъ, посѣдѣли волосы, типически русское выраженіе его лица стало еще сильнѣе; простота, добродушіе ребенка во всѣхъ пріемахъ, во всѣхъ словахъ. На другой день мы ходили съ нимъ въ National Gallery, потомъ пошли вмѣстѣ обѣдать; Ивановъ былъ задумчивъ, тяжелая мысль сквозила даже въ его улыбкѣ. Послѣ обѣда онъ сталъ разговорчивѣе и наконецъ сказалъ: „Да, вотъ что меня тяготитъ, съ чѣмъ я не могу сладить, — я утратилъ ту религіозную вѣру, которая мнѣ облегчала работу, жизнь, когда вы были въ Римѣ. Часто поминалъ я наши разговоры, вы правы, —да что мнѣ отъ этого, что отъ этого искусству. Миръ души разстроился,--сыщите мнѣ выходъ, укажите идеалы?...

„Событія, которыми мы были окружены, навели меня на рядъ мыслей, отъ которыхъ я не могъ больше отдѣлаться, годы цѣлые занимали онѣ меня, и когда онѣ начали становиться яснѣе, я увидѣлъ, что въ душѣ нѣтъ больше вѣры. Я мучусь о томъ, что не могу формулировать искусствомъ, не могу воплотить мое новое воззрѣніе, а до стараго касаться я считаю преступнымъ — прибавилъ онъ съ жаромъ. — Писать безъ вѣры религіозныя картины, это безнравственно, это грѣшно, я не надивлюсь на французовъ и итальянцевъ, — разбирая по камню католическую церковь, они на перехватъ пишутъ картины для ея стѣнъ. Этого я не могу, нѣтъ, никогда—никогда! Мнѣ предлагали главное завѣдываніе живописныхъ работъ въ новомъ соборѣ. Мѣсто, которое доставило бы и славу, и матеріальное обезпеченіе; я думалъ, думалъ, да и отказался,—что же я буду въ своихъ глазахъ, взойдя безъ вѣры въ храмъ, и работая въ немъ съ сомнѣніемъ въ душѣ — лучше остаться бѣднякомъ и не брать кисти въ руки!"

—„Хвала русскому художнику, безконечная хвала, сказалъ я ее

слезами на глазахъ и бросился обнимать Иванова. — Не знаю, сыщете ли вы формы вашимъ идеаламъ, но вы подаете не только великій примѣръ художникамъ, но даете свидѣтельство о той непочатой, цѣльной натурѣ русской, которую мы знаемъ чутьемъ, о которой догадываемся сердцемъ и за которую, вопреки всему дѣлающемуся у насъ, мы такъ страстно любимъ Россію, такъ горячо надѣемся на ея будущность!"

Сими словами и заключимъ надгробную скорбь нашу объ истинномъ художникѣ русскомъ*).

БЕЗОБРАЗНОЕ ОКОНЧАНІЕ ХАРЬКОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ИСТОРІИ.

Черный кабинетъ побѣдилъ и тутъ. Какъ далеко ушли въ реакцію Александръ Николаевичъ и Ковалевскій со временъ московской исторіи! Тринадцать студентовъ исключены, четыре съ опубликованіемъ, чтобы ни одинъ университетъ ихъ не принималъ, остальные съ правомъ поступить черезъ годъ въ какой хотятъ университетъ—за симъ всеобщій выговоръ. За недостаткомъ положительныхъ обвиненій, брали *степень дерзости* въ отвѣтахъ, во время слѣдствія, за доказательство!! Что за патріархальная тупость, что за деспотическій развратъ! И такъ молодежь пожертвована пустому, бездарному, ничтожному попечителю, этой лунѣ петербургскаго *Зиновьева*. Старшій мѣшаетъ просвѣщенію Наслѣдника, болѣе скромный меньшой—просвѣщенію харьковскаго округа!

О, Ковалевскій! Ковалевскій! Вы напоминаете намъ одного сельскаго попа, который писалъ помѣщику въ отвѣтъ на его вопросъ, достоинъ ли дьячекъ, чтобы хлопотать о его постановленіи діакономъ: „Человѣкъ онъ смирный, но не безъизвѣстно вашему высокородію—что honores mutant mores!"

Ну, а Оберъ-форъ-шнейдеръ просвѣщенія, что онъ дѣлаетъ во всемъ этомъ, какъ онъ рѣжетъ его крылушки и подаетъ?.. Небось, Жуковскій заставлялъ же Александра Николаевича читать Шекспира; Генрихъ V, только будучи цесаревичемъ, кутилъ съ Фальстафомъ, а какъ поступилъ въ цари, то ужь не за столомъ и не на кухнѣ сталъ искать товарищей просвѣщенія.

РАСПРОСТРАНЕНІЕ ІЕЗУИТИЗМА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Ревность о Господѣ раба божія Григорія, митрополита с.-петербургскаго, все болѣе и болѣе выступаетъ изъ предѣловъ храма божія. Успѣшно поставивъ плотины злохульственному распростра-

*) Выѣзжая изъ Рима, Ивановъ послалъ мнѣ фотографію съ своей картины; она залежалась въ Парижѣ и пришла ко мнѣ вмѣстѣ съ вѣстью о его кончинѣ.

ненію геологическихъ свѣдѣній, усердіе Архипастыря нынѣ бросилось на торжища, изгоняя изъ оныхъ продавцевъ повремянницъ свѣтскаго гнилословнаго содержанія. Спира града св. Петра, внявъ гласу пастыря, воспретила продажу журналовъ на стогнахъ. Не тому ли же столпу твердому, поддерживающему адамантовый сводъ — православныя церкви — мы обязаны глупымъ въ разумѣ, но мудрымъ въ вѣрѣ объясненіемъ, бывшимъ въ русскихъ газетахъ, что безъ вселенскаго собора нельзя измѣнить грубую астрономическую ошибку мѣсяцеслова. Поистинѣ глаголю вамъ, братія, что могутъ значить дванадесять дней — предъ вѣчностію райскаго вселенія.

Люди благочестивые совѣтовали намъ оставить въ покоѣ ангельскій чинъ, мы слушались ихъ,—но вѣдь для этого и ангельскому чину не слѣдуетъ переходить въ полицейскій. Живые мертвецы такъ хорошо вѣка цѣлые представляли настоящихъ, что стоило продолжать. Вдругъ какая то богоусердная муха кольнула ихъ, и они вообразили себѣ туда же, что они, будучи ангелами, могутъ быть квартальными и не только мѣшаться въ дѣла вѣчныя, но и въ дѣла временныя. Нѣтъ, господа живые мертвецы, мы не католики, у насъ своихъ, настоящихъ жандармовъ довольно, чтобъ имѣть еще іезуитскихъ, на постномъ маслѣ, да на семинарской реторикѣ! Ходите въ вашихъ маскарадныхъ платьяхъ по монастырскому двору, издавайте для взаимнаго возбужденія ваши «яхонтовые цвѣты православнаго благочестія», „вѣчноцѣлебное и изумрудное млеко Богородицы за ны точимое“ и прочія нелѣпости, но не мѣшайтесь въ наши дѣла, а то какъ бы мы міряне не приподняли немного ваши рясы!

ЕЩЕ И ЕЩЕ РАЗЪ.

Одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ извѣщаетъ насъ, что въ нѣкоторыхъ частныхъ анекдотахъ вкрались у насъ погрѣшности. Жалѣемъ отъ всей души и охотно готовы помѣщать всякую поправку, дополненіе, объясненіе, такъ какъ мы напечатали защиту г. Сечинскаго. Намъ сказывали, что г. *Закревскій*, слѣдуя примѣру краснорѣчиваго полицмейстера, хотѣлъ что-то прислать, и мы приготовили нашу лучшую сажу, чтобъ отпечатать его статью, но онъ еще ея не прислалъ.

У насъ нѣтъ личностей, большая часть чиновниковъ, о которыхъ мы пишемъ, совершенно намъ неизвѣстна, мы съ честной цѣлью печатаемъ объ нихъ. На дняхъ мы получили напримѣръ очень интересную статью о новой отрасли торговли почтовыми мѣстами, устроенной въ западныхъ губерніяхъ статскимъ совѣтникомъ *Ганъ*, подъ высшимъ начальствомъ Прянишникова. Подробности до того живы, рѣзки, что трудно сомнѣваться, и мы въ одномъ изъ листовъ „Колокола“ напечатаемъ ихъ, предоставляя Гану и Прянишникову возражать; они могутъ быть увѣрены, что если ихъ возраженія

будутъ сколько нибудь человѣчески написаны, мы ихъ помѣстимъ. А публика пусть судитъ. Въ этомъ-то и состоитъ гласность.

До частныхъ дѣлъ мы не касаемся никогда, а если говорили о Минѣ Ивановнѣ, то это не частное, а публичное дѣло. Марія же Бредау у насъ являлась болѣе какъ блюстительница нравовъ, какъ лице административное и юридическое, снабжающее публику удовольствіями, а полицію свѣдѣніями.

Тѣмъ не меньше мы еще и еще разъ просимъ тѣхъ, кому дорога гласность, нами открытая, кому дорогъ нашъ органъ, быть очень осторожными, сообщая намъ новости, — ничѣмъ нельзя больше лишить „Колоколъ" его силы, какъ заставляя его повторять неосновательные слухи и ложныя вѣсти.

Колоколъ № 23 и 24.
15 Сентября 1858 года.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЯ.

Закревскій — доставилъ въ таможню списокъ лицъ, съ строжайшимъ предписаніемъ по возвращеніи въ Россію обыскать ихъ и доставить ихъ письма и бумаги въ *третье отдѣленіе.*

Не смѣемъ печатать имена, но просимъ, умоляемъ всѣхъ молодыхъ Москвичей, возвращающихся на печальную родину нашу, не брать съ собой ничего *запрещеннаго, никакихъ бумагъ.*

Въ какую грязь, въ какую мерзость влекутъ государя эти гнусные шпіоны, эти сыщики, эти Закревскіе... Да и что же въ самомъ дѣлѣ Государь-то самъ? Доброе сердце, благія намѣренія, кроткій взглядъ,—все это очень хорошо, но всего этого мало. Теперь не до сентиментальности. Мы наканунѣ министерства Ростовцева, (а можетъ и Липранди) наканунѣ раздѣленія Россіи на пятнадцать пашалыковъ, въ каждомъ изъ которыхъ будетъ по Закревскому, по 1/15 Тимашева, съ маленькими третьими отдѣленьицами, съ уѣздными конторками шпіонства... да вѣдь при этой кротости придется задохнуться.

Мы каемся передъ Россіей въ нашей ошибкѣ. Это то же николаевское время, но разварное, съ патокой.

А этотъ сѣдой клевретъ, маститой донощикъ,—неужели на нихъ нѣтъ и смерти, если нѣтъ у нихъ раскаянія передъ ней?

ОТЪ РЕДАКЦІИ.*)

Помѣщая это письмо, какъ довольно рѣзкій отголосокъ мнѣнія,

*) Авторъ письма, по поводу котораго Герценъ пишетъ эти строки, упрекаетъ «Колоколъ» за яко бы „гимны предержащимъ" (властямъ) и за то, что редакція не помѣщаетъ сплошь всего доставленнаго ей обличительнаго матеріала, а беретъ на себя роль

которое мы не можемъ не уважать, мы не думаемъ ни возражать на него, ни начинать полемики. Но считаемъ себя въ правѣ сдѣлать нѣсколько очень короткихъ замѣчаній.

Внося въ наше дѣло безусловную искренность и безпредѣльное желаніе блага Россіи, мы привѣтствовали отъ души Александра II, когда онъ началъ освобожденіе крестьянъ и рядъ реформъ Напрасно авторъ письма видитъ въ этомъ какую-то заднюю мысль— *возвращенія.* Мы ничего личнаго не вводили въ наши публикаціи. Какъ ни тяжела разлука съ роднымъ краемъ, но мы никогда не купимъ уступкой убѣжденій право возвращенія. Казалось-бы, что это довѣріе мы заслужили.

Далѣе мы совершенно не согласны съ авторомъ, что наша обязанность — *все печатать* что намъ присылаютъ, безъ малѣйшихъ измѣненій, урѣзываній. Эту „смѣлость" мы будемъ имѣть, и никакъ не считаемъ „достояніемъ" Россіи всякую всячину, которую намъ посылаютъ. Мы не знаемъ редакціи въ мірѣ, которая бы безъ разбора согласилась печатать грамотныя и безграмотныя статьи, иногда полныя личностями, иногда неосторожностями, которыя вздумаютъ ей посылать. „Колоколъ" въ такомъ случаѣ придется перевернуть и сдѣлать изъ него яму, въ которую безъ разбора будутъ сыпать хорошія вещи и соръ.

„Пророкомъ" мы себя не выдавали, и не знаемъ къ чему эта иронія изъ дружескаго стана; цензоромъ быть непріятно, но на редакціи лежитъ нравственная отвѣтственность, которую она принимаетъ.

Въ сомнительныхъ случаяхъ мы часто останавливались. Но почему же—желаетъ знать авторъ письма,—одной вѣсти мы вѣрили, а другой нѣтъ? Между прочимъ укажемъ ему на одинъ изъ критеріумовъ: часть свѣдѣній прислана намъ при письмахъ отъ лицъ совершенно знакомыхъ намъ и съ ихъ удостовѣреніемъ, наприм. исторія Сечинскаго и Кочубея; не ясно-ли, что мы менѣе боимся печатать эту часть.

Мы готовы открыть въ „Колоколѣ" новую „Книгу обличеній" и печатать въ ней частныя дѣла, процессы, злоупотребленія и пр., на томъ условіи, на которомъ это дѣлаетъ „Теймсъ". Пусть ре-

---

„цензора". Вообще авторъ составилъ себѣ такое представленіе, что редакція свободнаго органа общественнаго мнѣнія должна играть роль чисто пассивную; писать же должно общество, что ему вздумается. Рядомъ съ этими соображеніями, авторъ, большой революціонеръ, убѣждаетъ „Колоколъ" не вѣрить въ искренность правительства, „бить нещадно всѣхъ этихъ государственныхъ фигляровъ, злодѣевъ, вампировъ... На казнь ихъ, на лобное мѣсто, восклицаетъ онъ. Долой съ нихъ маску!... Это одно спасетъ Россію". Авторъ заподазриваетъ Герцена въ желаніи нѣсколько поддѣлаться къ правительству, и убѣждаетъ его въ томъ, что это совершенно невозможно.

Л. Т.

дакціи будетъ извѣстно имя посылающаго. Его никто никогда не узнаетъ, но, если новость обличится совершенно ложной или искаженной, то по требованію обвиненнаго, мы напечатаемъ имя.

Надѣемся, что авторъ письма съ тѣмъ же добродушіемъ прочтетъ эти строки, съ какимъ мы прочли его письмо, и не откажетъ намъ въ сочувствіи во имя общаго дѣла нашего.

ИЗЪ ПОЛЬШИ.

Наконецъ то мы получили довольно длинное письмо о польскихъ дѣлахъ, или лучше о русскомъ управленіи въ Польшѣ. Все одно и тоже. Хотятъ какихъ-то новыхъ порядковъ и употребляютъ старыхъ николаевскихъ слугъ; а что можетъ быть николаевскій слуга, служившій въ Польшѣ, можно догадаться. Люди, тридцать лѣтъ занимавшіеся съ такимъ успѣхомъ *ухудшеніемъ* состоянія Польши, нынѣ употребляются на *улучшеніе* его. Чего же путнаго можно ждать?

Изъ „сильныхъ, но нечистыхъ" рукъ Паскевича, какъ выражается авторъ письма, управленіе перешло къ М. Горчакову, тяжелому, скучному формалисту, человѣку честному, но бездарному и выжившему изъ ума. Вѣчно занятый мелочами, Горчаковъ заваливаетъ себя пустыми бумагами и за множествомъ дѣлъ не можетъ добраться до дѣла, предоставляя собственно управленіе Муханову. Попечитель варшавскаго округа, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ завѣдываетъ внутренними и духовными дѣлами. Учебныя заведенія, цензура, почты, театры, дороги,—все находится подъ его начальствомъ.

Александръ II имѣлъ намѣреніе возстановить варшавскій университетъ и вобще значительно улучшить организацію высшихъ учебныхъ заведеній въ Польшѣ. Мухановъ самымъ дѣятельнымъ образомъ противудѣйствовалъ исполненію этихъ проэктовъ. Онъ представлялъ государю во время его пріѣзда въ Варшаву, что ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ измѣнять программъ, введенныхъ во время пущаго николаевскаго террора, что послѣ закрытія имъ каѳедры правовѣдѣнія въ 1846 и 1848 годахъ, молодые люди ведутъ себя хорошо, „не *думаютъ о независимости* и не *дѣлаютъ заговоровъ*".

Такимъ образомъ онъ настоялъ, чтобъ юридическое преподаваніе свести на начальные курсы, и когда гр. Скарбекъ, директоръ ветиціи, замѣтилъ недостаточность такого ученія, Мухановъ пожаловался на него, и гр. Скарбекъ лишился мѣста.

Очень замѣчателенъ анекдотъ, разсказываемый авторомъ письма, какъ усердно Мухановъ исполняетъ волю государя. Извѣстно всѣмъ, какъ Николай, въ своемъ дикомъ преслѣдованіи науки, ограничилъ число вступающихъ въ учебныя заведенія, извѣстно тоже и то, что со вступленіемъ Александра II, позорныя стѣсненія эти тотчасъ пали. Въ Польшѣ какъ и во всей Россіи было пред-

писано принимать учениковъ и студентовъ, не ограничивая ихъ числа. Мухановъ сообщилъ оффиціально объ этомъ по своему вѣдомству, призвалъ келейно директоровъ учебныхъ заведеній и каждому сказалъ съ глаза на глазъ, что такія распоряженія дѣлаются для Европы, и что они должны принимать по прежнему ограниченное число, отталкивая подъ разными вздорными предлогами излишнее число кандидатовъ.

Польскій языкъ велѣно ввести во всѣ школы для преподаванія, Мухановъ не исполнилъ этого до сихъ поръ. Въ гимназіяхъ начальство старается преимущественно принимать дворянъ и пр. *)

Мы помнимъ какой-то старинный портретъ императора Павла, подъ которымъ была надпись: «D'autres ont fait le mal, il a mal fait le bien»,—поневолѣ приходитъ въ голову эта характеристика, думая объ Александрѣ II. Слыхали мы, что неспособные старики слѣпо привязываются къ молоденькимъ дѣвченкамъ, но чтобъ человѣкъ въ цвѣтѣ мужескихъ лѣтъ имѣлъ такое пристрастіе къ неспособнымъ старикамъ, никогда не слыхивали!

Ну есть-ли тѣнь здраваго смысла оставлять и гдѣ же, въ Польшѣ николаевскихъ опричниковъ, которыхъ имя связано со всѣми ужасами его правленія!

Колоколъ № 27.
1 Ноября 1858 года.

ПИСЬМО КЪ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНѢ.

Государыня,

У насъ нѣтъ настоящаго, и поэтому не удивительно, что насъ больше всего занимаетъ будущее нашей родины. Первые всходы послѣ суровой и продолжительной зимы — поблекли, едва давъ ростки... и мы стали бѣднѣе, чѣмъ были прежде, бѣднѣе всей ненавистью—которую утратили, всѣмъ негодованіемъ—которое смягчилось. Мы поддались весеннему вѣянію, — раскрыли давно закалившіяся сердца чувствамъ незнакомымъ съ дѣтства... но намъ не было суждено видѣть исполненія ни этихъ мечтаній, ни другихъ... Народы и цари въ наше промежуточное время остаются при воззваніяхъ и афишахъ. Слѣдующему поколѣнію *можетъ* будетъ принадлежать дѣйствіе и драма.

Мы не завидуемъ. Наше дѣло близко къ концу... скоро пройдемъ мы, истощенные, но не низложенные тридцатилѣтней борьбой. Пусть новое поколѣніе, идущее обновить насъ, найдетъ лучшее употреб-

---

*) Cause atténuante, — въ извиненіе Муханову мы должны сказать, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ убилъ своего швейцара палкой. Вся Варшава знала это. Виноватъ-ли же этотъ кандидатъ каторжной работы, не попавшій на нее, что есть правительство, которое ему поручаетъ „просвѣщеніе“?

леніе своихъ силъ. И вы, Государыня, можете этому способствовать на первомъ планѣ.

По несчастію, очень многое въ судьбахъ самодержавныхъ монархій зависитъ отъ личности царя. Петръ I недаромъ жертвовалъ своей реформѣ династическимъ интересомъ и жизнію своего сына. „Je ne suis qu'un heureux hazard" Александра I перешло въ исторію. Вотъ въ этой-то азартной игрѣ Вы можете увеличить счастливые шансы—въ пользу ближайшаго будущаго Россіи.

До сихъ поръ воспитаніе Наслѣдника престола въ Вашихъ рукахъ, года черезъ два оно ускользнетъ изъ нихъ.

Подумайте объ этомъ... однѣ—когда шумъ дворцовой улягется, когда весь этотъ ненужный вихрь пріемовъ, пустыхъ рѣчей, пустыхъ отвѣтовъ успокоится, когда *сядутъ* всѣ андреевскія и владимірскія звѣзды, и Вы — женщина и мать — останетесь однѣ съ Вашей совѣстью... Подумайте тогда о великой отвѣтственности, о великомъ долгѣ, лежащемъ на Васъ...

О Васъ говорятъ, что Вы умны, что современное вѣяніе идей недаромъ проходило сквозь двойныя рамы Зимняго Дворца, о Васъ говорятъ, что Вы желаете освобожденія крестьянъ. Это очень много.

Вы любите Россію, это не можетъ быть иначе. Какъ же Вамъ не любить ту страну, которая, окруживъ Васъ всѣми благами, надѣла на Васъ императорскую мантію. И это не все; у Васъ съ народомъ образовалась другая связь. Корона, падшая на главу Вашу въ мрачную годину войны и внутренняго запустѣнія, представляла для народа исходъ къ новой жизни. Онъ съ дѣтской вѣрой встрѣтилъ новое царствованіе. Вы дѣлили вмѣстѣ съ государемъ тѣ взрывы народнаго восторга, которые въ Россіи не были слышны съ тѣхъ поръ, какъ Александръ I, усталый отъ торжества, возвращался въ 1815 г. изъ Парижа на пепелище Москвы. Какъ же Вамъ не любить Россіи! Къ тому же въ этой странѣ пульсъ бьется сильно; въ самомъ ея неустройствѣ, въ ея неловкихъ движеніяхъ чувствуется молодая мощь, чувствуется, что въ этой колыбели, въ этихъ туго затянутыхъ свивальникахъ расправляетъ члены будущая исторія. Участвовать въ ростѣ и судьбахъ такого народа — огромное, великое дѣло.

Вамъ Ваше сердце матери давно указало, что Вы можете сдѣлать, чѣмъ Вы должны благодарить народъ. Вы сдѣлали опытъ спасти Вашего сына, будущаго царя, отъ худшаго воспитанія въ свѣтѣ, отъ воспитанія великокняжескаго, т. е. солдатскаго, окруженнаго военной дисциплиной и нѣмецкимъ кліэнтизмомъ. Вся Россія радовалась, услышавъ, что люди высокаго и притомъ *штатскаго* образованія призваны Вами. Многіе думали даже, что увидятъ Вашего сына на лавкахъ московскаго университета, этого Севастополя науки и образованія, свято, самоотверженно продержавшаго свое знамя — истины и мысли, въ продолженіе тридцатилѣтняго гоненія. И увидятъ его тамъ безъ пикета генералъ-адъютантовъ, безъ прикрытія тайной и явной полиціи, такъ какъ ви-

дятъ въ аудиторіяхъ сына королевы Викторіи. И мы издали благословляли Васъ... Но это не могло нравиться *черному кабинету* — чему же тутъ дивиться? Развѣ Вы прежде не знали этихъ людей, которые какъ бревно мѣшаютъ всякому прогрессу, гласности, открытымъ судамъ, препятствуютъ освобожденію крестьянъ? Какъ же они могли равнодушно смотрѣть на то, что сынъ Вашъ получитъ человѣческое образованіе? Довольно того, что Лагарпъ чуть не испортилъ Александра I. Но Вы то зачѣмъ такъ скоро измѣнили Ваше мнѣніе, и такъ запнулись на первомъ шагу? Зачѣмъ же въ дѣлѣ такой важности Вы не только допустили, чтобъ закулисная интрига, подтасованная въ застѣнкѣ третьяго отдѣленія, вытолкнула изъ учебной Вашего сына людей, на которыхъ Россія и Вы сами смотрѣли съ довѣріемъ, но допустили, чтобъ ихъ мѣсто занялъ какой-то бездарный нѣмецкій школяръ?

Вѣдь не Гессенъ-Дармштадскаго наслѣдника Вы ему ввѣряете... да и того было бы жаль. Что же знаетъ этотъ нѣмецъ о Россіи, что онъ понимаетъ въ ней, что ему за дѣло до нея? — Онъ по вольному найму пошелъ бы точно также учить сына алжирскаго Дея... Бьется ли его сердце отъ русской пѣсни и обливается ли оно кровью при слухѣ о рекрутскомъ наборѣ, о неистовствахъ помѣщичьихъ, о чиновничьемъ грабежѣ? Стихъ Пушкина родной ли ему, и понятенъ ли ему быть нашего мужика?.. Чему научитъ этотъ *чужой* Вашего *русскаго* сына... или Вы не знаете высокомѣрную ненависть нѣмцевъ ко всему русскому, ихъ отвращеніе къ намъ, которое они едва могутъ скрывать подъ личиной клієнтизма и низкопоклонства, напоминающихъ рабовъ-грамматиковъ древняго міра?

Да, но нѣмецъ нѣмцу рознь. Конечно, но вѣдь Вы не Шиллера какого нибудь взяли, или не Форстера — а Августа Теодора *фонъ* Гриммъ.

Посмотримъ, что это за *фонъ* Гриммъ. Я развертываю его „Wanderungen nach Südosten"*). Вотъ что онъ говоритъ въ своемъ посвященіи Константину Николаевичу. „Но эти прекрасныя воспоминанія помрачаются черно-печальной мыслію, что великій мужъ, подъ покровительствомъ и благословеніемъ котораго мы путешествовали, не существуетъ болѣе въ средѣ нашей, тотъ великій императоръ, котораго вы называете отцомъ, въ которомъ Россія находила свою гордость и славу и на котораго Европа, обуреваемая смутами, смотрѣла какъ на незыблемую полярную звѣзду. Величіе его созданій и дѣлъ всего лучше измѣряются числомъ и усиліемъ его противниковъ, которые, желая разрушить его творенія, только уничтожаютъ свою славу."

Государыня, будьте откровенны и скажите, неужели какой нибудь нѣмецъ могъ *искренно, добросовѣстно* сказать такую пошлую, такую неумѣренную лесть.... Я увѣренъ, что Вы этого не думаете; если же Вы не думаете, то какъ же Вы могли допустить

*) Berlin, 1855.

этого сладкоглаголиваго льстеца до участія въ воспитаніи Наслѣдника? Грубая похвала иногда можетъ нравиться, за нее даютъ табатерку, перстень, но какъ же награждать душою отрока. Бѣдный мальчикъ, Вашъ сынъ! Да будь онъ кто нибудь другой, намъ дѣла не было бы до него; мы знаемъ, что большая часть аристократическихъ дѣтей у насъ воспитывается очень дурно. Но вѣдь съ его развитіемъ связаны судьбы Россіи, и вотъ оттого то у насъ на душѣ тяжело, когда мы слышимъ, что къ нему приставленъ человѣкъ, который могъ напечатать эти строки. Что, если сынъ Вашъ повѣритъ, что Николай былъ величайшимъ мужемъ XIX вѣка, да и захочетъ ему подражать?

Или можетъ сторону государственной мудрости и пониманья Руси вперитъ ему Зиновьевъ? Ну, а этотъ гдѣ сталъ педагогомъ и отчего онъ способнѣе пятидесяти... пяти сотъ дивизіонныхъ и всяческихъ генераловъ, командующихъ сиплымъ голосомъ и воспитывающихъ палкой солдатъ? Мы знаемъ за нимъ одну добродѣтель — нѣжную любовь къ брату, котораго онъ всѣми неправдами вывелъ изъ какихъ-то смотрителей смирительнаго дома въ попечители харьковскаго округа, и отстоялъ его противъ правыхъ студентовъ. Но эти семейныя добродѣтели, цѣнимыя въ Аркадіи, равняются преступленіямъ въ государственныхъ сферахъ. Да наконецъ будь Зиновьевъ образованъ — какъ Закревскій, ораторъ— какъ Панинъ, чистъ—какъ Ростовцевъ и цѣломудренъ—какъ Бутковъ,—развѣ нельзя было сыскать на мѣсто людей оттертыхъ имъ и интригой Чернаго Кабинета — русскихъ, образованныхъ, любящихъ отечество и *не носящихъ эполетъ?*

Эполеты великое дѣло, военный мундиръ, какъ ряса монаха — отрѣзываетъ человѣка отъ прочихъ людей; ни монахъ, ни военный не равные намъ, для того они и помѣчены. Они оба не полные люди, люди въ исключительномъ положеніи. У одного руки сложены какъ у мертвеца, у другаго вѣчно подняты, какъ у дерущагося. Ни смерть, ни убійство не составляютъ лучшей минуты жизни.

Званіе русскаго царя не есть военный чинъ. Пора оставить дикую мысль завоеваній, кровавыхъ трофей, городовъ, взятыхъ приступомъ, раззоренныхъ деревень, потоптанныхъ жатвъ,—что за мечтанія Нимврода и Атиллы, время этихъ бичей человѣчества въ родѣ Карла XII и Наполеона минуетъ. Все, что требуетъ Россія — основано на мирѣ, возможно при мирѣ; Россія жаждетъ внутреннихъ перемѣнъ, ей необходимо новое гражданское и экономическое развитіе, а войско и безъ войны мѣшаетъ тому и другому. Войско—раззореніе, насиліе, притѣсненіе; его основаніе—безмолвная дисциплина; солдатъ потому и вреденъ гражданскому порядку, что не разсуждаетъ, съ него снята отвѣтственность, отличающая человѣка отъ животнаго.

Научите Вашего сына носить фракъ, перечислите его въ гражданскую службу, Вы сдѣлаете ему великое благо. Займите его умъ чѣмъ нибудь болѣе благороднымъ, нежели вѣчная игра въ солдаты;

учебная наслѣдника престола не должна походить на кордегардію. Эта особенность прусскихъ принцевъ и другихъ мелко-нѣмецкихъ князьковъ. Королевскій домъ въ Англіи не хуже, кажется, другихъ, отчего же принцъ Вельскій вмѣсто того, чтобы учить какихъ нибудь Horse-Guard, Royal-Blue или Cold-Stream, — сидитъ за микроскопомъ и занимается зоологіей?

Съ какимъ глубокимъ огорченіемъ слышимъ мы разсказы, какъ къ наслѣднику посылаютъ кадетъ для игры, и какъ они въ залахъ Зимняго Дворца играютъ въ войну... въ черкесовъ и русскихъ.... Какая пустота, какая бѣдность интересовъ, какое однообразіе.... и при томъ какой нравственный вредъ! Неужели Вы никогда не подумали, что значитъ эта игра, что она представляетъ.... зачѣмъ ружья, штыки, сабли, зачѣмъ эти биваки, для которыхъ камеръ-лакей зажигаетъ спиртовую лампу на полу вмѣсто костра? Вся эта игра представляетъ *несчастіе* сраженій, т. е. гуртовое убійство, торжество грубой силы... тутъ не достаетъ одного — крови по колѣна, стона раненныхъ, груды труповъ и дикихъ криковъ побѣдителей. Что же это за дѣтская игра, что за *дрессировка* въ безчеловѣчье или въ безсмысліе — когда это вырождается въ одно капральство?

Къ тому же все это окружено ложью, обманомъ, — кадетамъ подъ страхомъ наказаній приказываютъ хвалить начальниковъ и содержаніе, говорить, что у нихъ всегда такое тонкое бѣлье и пр... полнѣйшее растлѣніе дѣтства! Вы этого не знаете, очень можетъ быть; но согласитесь, что если мы въ Лондонѣ можемъ знать, то Вамъ черезъ улицу еще легче. Но въ этомъ-то и задача—шайки стариковъ и интригантовъ, окружающихъ Васъ обоихъ... они темная вода въ вашихъ глазахъ, они застятъ истину; спросите кого-нибудь изъ Гриммовъ—правда ли все это, онъ навѣрное скажетъ, что нѣтъ... что кадеты благоденствуютъ, вознося къ небу молитвы за августѣйшій домъ и Іакова Ростовцева, и что у нихъ только одна печаль и есть, печаль о „Незабвенномъ" отцѣ отечества величайшемъ монархѣ XIX столѣтія.

Не думайте, чтобъ увлеченные сентиментальностью, мы хотѣли сказать, что военная наука и военное ремесло безполезны для наслѣдника. Нѣтъ! Печальная необходимость середь мира держать себя наготовѣ къ отпору, обусловливаетъ необходимость военнаго устройства. Готовясь быть главою государства, наслѣдникъ долженъ знать и военную часть, но какъ *часть*; финансовые и гражданскіе вопросы, судебные и соціальные имѣютъ гораздо больше правъ на то, чтобъ онъ ихъ зналъ и зналъ хорошо.

Не жалко ли видѣть великихъ князей, изучившихъ до мелочей форму каждаго полка, постигнувшихъ всѣ тайны метанья ружьемъ, командованія повзводно и побатальонно, и незнающихъ ни гражданскаго дѣлопроизводства, ни предѣловъ разныхъ властей, ни хозяйственнаго состоянія разныхъ странъ Россіи, чуждыхъ русской литературѣ и тѣмъ современнымъ вопросамъ, которые

колеблятъ міръ, потрясаютъ весь родъ людской. Спросите любаго изъ нихъ, и вы увидите, правы-ли мы. Да и зачѣмъ спрашивать, посмотрите какъ безплодна ихъ жизнь, какъ безполезны ихъ скитанія по Россіи.... одинъ ѣдетъ смотрѣть конскіе заводы, другой —стѣны какой-нибудь цитадели, третій — выправку пятой дивизіи или пятнадцатой...

Страшно подумать до чего дошла стертая пустота великокняжескихъ существованій у насъ.... Возлѣ васъ жилъ и умеръ человѣкъ, можетъ отъ природы одаренный добрымъ сердцемъ, но котораго вся жизнь прошла въ какомъ-то ненужномъ недосугѣ, въ безцѣльной суетѣ.. Чѣмъ Михаилъ Павловичъ отмѣтилъ свою біографію, прошедшую возлѣ самаго трона?... Развѣ своимъ фельдцехмейстерствомъ?

Михаилъ Павловичъ не зналъ Россіи, онъ и Петербурга не зналъ, онъ зналъ гвардейскій корпусъ, артилерію, кадетъ.... и умеръ пріѣхавъ съ ученія и отдавъ императорскую честь Паскевичу... Онъ никогда не былъ употребленъ ни на что дѣльное. Попавши съ молодыхъ лѣтъ въ марсово колесо — фрунтовъ и ученій, ему не было времени одуматься: въ семь часовъ рапортъ, въ восемь пріемъ, въ девять парадъ, въ десять ученіе со стрѣльбой, а тутъ чистота кадетскихъ корпусовъ, выправка ребятишекъ, а тамъ пятнадцать верстъ въ часъ, — ямщики избиты, лошади надорваны, летитъ за двѣ тысячи верстъ, — что случилось? — осматривать вторую армію! Опять ученіе, опять маршируютъ солдаты тихимъ и скорымъ шагомъ—пыль столбомъ—скука, распеканье.— Это ужасно!

Есть дѣйствительно что-то зловѣщее и тупое въ этой страсти къ солдатамъ, она невольно напоминаетъ несчастнаго гольштинскаго принца, невзначай попавшаго вмѣсто прусскихъ каптенармусовъ въ русскіе императоры, который цѣлые дни игралъ въ деревянные солдаты и вѣшалъ по военному суду крысъ — на стѣнахъ крѣпости изъ картонной бумаги...

Государыня, спасите вашихъ дѣтей отъ этой будущности!

Я очень знаю, что мои слова, если онѣ дойдутъ до васъ, удивятъ васъ своей дерзостью; рѣзкая рѣчь свободнаго человѣка какъ-то дико раздается въ залахъ Зимняго Дворца. Но побѣдите ваше негодованіе и вникните въ смыслъ моихъ печальныхъ словъ, вы можетъ въ нихъ найдете слѣды великой скорби, разъѣдающей сердце, и больше чистаго желанія блага Россіи безъ всякихъ личныхъ видовъ—чѣмъ обиды и дерзости.

Вы стоите слишкомъ высоко, чтобъ обидѣться; я слишкомъ независимо, чтобъ быть дерзкимъ.

Въ стары годы цари снимали съ себя иногда порфиру и, одѣваясь простыми смертными, ходили по рынкамъ и площадямъ, вслушиваясь въ говоръ народный и поучаясь житейской мудрости въ толпѣ. Нынче это вывелось, да оно и не нужно, свободная рѣчь сама проникаетъ за кавалергардовъ. Не отталкивайте ее, подумай-

те объ ней, и, если Вамъ это пріятнѣе — забудьте, кто ее писалъ, хотя онъ искренно желаетъ Вамъ добра.

— —

НАСЪ УПРЕКАЮТЪ.

Насъ упрекаютъ либеральные консерваторы въ томъ, что мы слишкомъ нападаемъ на правительство, выражаемся рѣзко, бранимся крупно.

Насъ упрекаютъ свирѣпо красные демократы въ томъ, что мы мирволимъ Александру II, хвалимъ его, когда онъ дѣлаетъ что-нибудь хорошее и вѣримъ, что онъ хочетъ освобожденія крестьянъ.

Насъ упрекаютъ Славянофилы въ западномъ направленіи.

Насъ упрекаютъ Западники въ славянофильствѣ.

Насъ упрекаютъ прямолинейные доктринеры въ легкомысліи и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холодъ, а лѣтомъ совсѣмъ напротивъ—на жаръ.

На сей разъ только нѣсколько словъ въ отвѣтъ послѣднему упреку.

Онъ вызванъ двумя или тремя признаніями, что мы *ошиблись*, что мы были *увлечены;* не станемъ оправдываться тѣмъ, что мы ошибались и увлекались со всей Россіей, мы не отклоняемъ отвѣтственности, которую добровольно взяли на себя. Мы должны быть послѣдовательны, *единство* необходимое условіе всякой пропаганды, съ насъ въ правѣ его требовать. Но. принимая долю вины на себя, мы хотимъ ее раздѣлить съ другими виновниками.

Идти по одной линіи легко, когда имѣешь дѣло съ спѣтымъ порядкомъ дѣлъ, съ послѣдовательнымъ образомъ дѣйствія,—что труднаго взять рѣзкое положеніе относительно англійскаго правительства или французскаго императорства? Трудно ли было быть послѣдовательнымъ во время прошлаго царствованія?

Но мы этого *единства* не находимъ въ дѣйствіяхъ Александра II; онъ то является освободителемъ крестьянъ, реформаторомъ, то заступаетъ за николаевскую постромку и грозитъ растоптать едва всходящіе ростки.

Какъ согласить рѣчь его къ московскому дворянству и генералъ-губернаторство Закревскаго?

Какъ согласить облегченіе цензурныхъ путъ и запрещеніе писать объ освобожденіи крестьянъ съ землею?

Какъ согласить амнистіи, желанія публичности съ проэктомъ Ростовцева, съ силой Панина?

Фридрихъ II говорилъ, что онъ не боялся ни одного генерала такъ, какъ Салтыкова, потому что никогда не могъ догадаться за минуту впередъ, какое движеніе онъ сдѣлаетъ: Салтыковъ всѣ ихъ дѣлалъ зря.

Шаткость въ правительствѣ отразилась въ нашихъ статьяхъ. Мы, слѣдуя за нимъ, терялись и откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. Въ этомъ была своего рода связь между нами и на-

шими читателями. Мы не вели, а шли вмѣстѣ; мы не учили, а служили отголоскомъ думъ и мыслей, умалчиваемыхъ дома. Ринутые въ современное движеніе Россіи, мы носимся съ нимъ по перемѣнному вѣтру, дующему съ Невы.

Конечно, тотъ кто, останавливая надежду и страхъ, молча выждетъ результата, тотъ не ошибется. Надгробное слово исторіи— гораздо больше предохранено отъ промаховъ, нежели всякое участіе въ совершающихся событіяхъ.

Доктринеры на французскій манеръ и гелертеры на нѣмецкій, люди, производящіе слѣдствія, составляющіе описи, приводящіе въ порядокъ, твердые въ положительной религіи или религіозные въ положительной наукѣ, люди обдуманные, точные — доживаютъ до старости лѣтъ, не сбиваясь съ дороги и не сдѣлавъ ни орѳографическихъ, ни иныхъ ошибокъ; а люди, брошенные въ борьбу, исходятъ страстной вѣрой и страстнымъ сомнѣніемъ, истощаются гнѣвомъ и негодованіемъ, перегораютъ быстро, падаютъ въ крайность, увлекаются и мрутъ на полдорогѣ—много разъ споткнувшись.

Не имѣя ни исключительной системы, ни духа партіи— все отталкивающаго,—мы имѣемъ незыблемыя основы, страстныя сочувствія, проводившія насъ — отъ ребячества до сѣдыхъ волосъ, въ нихъ у насъ нѣтъ *легкомыслія*, нѣтъ *колебанія*, нѣтъ *уступокъ!* Остальное намъ кажется второстепеннымъ; средства осуществленія безконечно различны, которое изберется.... въ этомъ поэтическій капризъ исторіи,—мѣшать ему неучтиво.

Освобожденіе крестьянъ съ землею—одинъ изъ главныхъ и существенныхъ вопросовъ для Россіи и для насъ. Будетъ ли это освобожденіе „сверху или снизу“ — мы будемъ за него! Освободятъ ли ихъ крестьянскіе комитеты, составленные изъ заклятыхъ враговъ освобожденія—мы благословимъ ихъ искренно и отъ души. Освободятъ ли крестьяне себя отъ комитетовъ во первыхъ, а потомъ отъ всѣхъ избирателей въ комитеты—мы первые поздравимъ ихъ братски и также отъ души. Прикажетъ ли наконецъ государь отобрать имѣнья у крамольной аристократіи, а ее выслать — ну хоть куда нибудь на Амуръ къ Муравьеву — мы столько же отъ души скажемъ: „Быть по сему“.

Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что мы рекомендуемъ эти средства, что нѣтъ другихъ, что эго лучшія, совсѣмъ нѣтъ, — наши читатели знаютъ, какъ мы думаемъ объ этомъ.

Но такъ какъ главное дѣло въ томъ, чтобъ крестьяне были освобождены съ землею, то изъ-за средствъ спора мы не поднимемъ.

При такомъ отсутствіи обязательной доктрины, предоставляя, такъ сказать, самой природѣ дѣйствовать, и сочувствуя каждому шагу, согласному съ нашимъ воззрѣніемъ, мы можемъ часто ошибаться, всегда будемъ очень рады, когда „ученые друзья наши“— спокойно сидящіе въ сторожкахъ на берегу, прокричатъ намъ „правѣе или лѣвѣе“ держаться; но мы желали бы, чтобъ и они

не забывали, что имъ легче дѣлать наблюденія надъ силой волнъ и слабостью пловцовъ, нежели намъ плыть. . . . и при томъ такъ далеко отъ берега.

Изъ-за стѣнъ доктрины, какъ изъ-за монастырскихъ стѣнъ, сполугоря смотрѣть на треволненіе мірское. Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... *не увлекаютъ другихъ.*

—*Спкущее православіе.*—Англійскіе, бельгійскіе и нѣмецкіе журналы (Morning Advertiser, Independance, Allgemeine Zeitung и др.) разсказываютъ, заимствуя изъ Позенской газеты, страшную исторію новаго злодѣйства русской администраціи въ западныхъ краяхъ. Гродненской губ., Волковицкаго уѣзда, деревня Пороцево перешла изъ уніи къ греческой церкви—въ то душеспасительное время, когда Николай съ благочестивымъ свирѣпствомъ *вспкалъ* уніатъ въ православіе. Попъ имъ достался какой то мошенникъ, притѣснявшій ихъ и грабившій. Мужики, услышавъ, что новый государь поладилъ съ католическимъ духовенствомъ, перешли опять въ унію. Попъ донесъ. Генералъ-губернаторъ Назимовъ отправилъ туда отрядъ солдатъ, шайку полиціи и своего адъютанта Попова. Вооруженная орава эта напала на деревню и безъ суда и слѣдствія *перепорола всѣхъ*; говорятъ, что нѣсколько человѣкъ умерли подъ наказаніями.

Если это выдумано или увеличено, пусть Назимовъ оправдывается, а до тѣхъ поръ мы будемъ считать это — со всей Европой — за истину. Впрочемъ тутъ невѣроятнаго ничего нѣтъ, это все совершенно въ правахъ аракчеево-бибиковской школы. Давно-ли Симашко свирѣпствовалъ тому же *спкущему* православію? Разумѣется, раскольники правы, презирая полицейскую церковь, благословляющую розгами и поддерживаемую разбойниками съ аксельбантами и сыщиками въ камилавкахъ.

Кстати, мы слышали на дняхъ, что не только Рязанскіе, но и Московскіе крестьяне молятся за убіеннаго Новосильцевымъ и его сообщниками старца въ Дѣдновѣ (см. „Колоколъ" № 26) — причисляя его къ святымъ мученикамъ!.... Несчастная Русь! — сколько страдальческой крови пролито на пажитяхъ твоихъ! твои нивы — поля битвы, битвы свирѣпой, въ которой все злодѣйство съ одной стороны. Сколько устъ замкнулось на вѣки вѣковъ подъ позорной розгой твоихъ палачей - помѣщиковъ, воровъ - чиновниковъ и пьяной полиціи?

Забудь это, когда наступятъ дни твоего свѣтлаго воскресенія — прости дѣтямъ свирѣпыхъ враговъ твоихъ, просто потому, что месть, чтобъ быть достойной зла, — была бы слишкомъ велика!

—*Приглашеніе къ сотрудничеству.*—Насъ увѣряютъ — что рѣчь государя къ московскимъ плантаторамъ не была напечатана въ русскихъ газетахъ. Государь подъ надзоромъ полиціи, подъ цен-

зурой помѣщиковъ, испытываетъ теперь на себѣ, каково жить въ странѣ безъ гласности.

Вѣрные нашей программѣ, мы предлагаемъ Александру II всякій разъ, когда цензура не пропуститъ его рѣчи или что другое, присылать въ „Колоколъ". Запрещенную рѣчь его — мы помѣстимъ съ удовольствіемъ; мы только не принимаемъ то, что имѣетъ цѣлью поддерживать рабство и самоуправство въ Россіи. — все это можетъ безъ нашего содѣйствія печататься въ Россіи.

— —

Правда-ли, что православное духовенство, скопившее страшныя богатства по монастырямъ, обирающее—свѣчами, масломъ и другими поборами—народъ русскій, предлагаетъ христолюбиво всѣ сіи богатства на выкупъ крестьянъ съ землею?—*Нѣтъ, не правда!*

Колоколъ № 28.
15 Ноября 1858 года.

Посторонитесь, господа, посторонитесь, Его Сіятельство Графъ Викторъ Никитичъ изволитъ идти... дайте дорогу министру!.... и мы всѣ статьи „Колокола" подвинули... Пожалуйте, ваше сіятельство — на первое мѣсто.

Колоколъ № 29.
1 Декабря 1858 года.

АМЕРИКА И СИБИРЬ.

„Когда окончится желѣзная дорога къ Тихому Океану и Россія съ своей стороны будетъ имѣть открытый берегъ на немъ, тогда Русскіе и Американцы могутъ, спокойно обращаясь спиной къ Европѣ, протянуть другъ другу руку черезъ него и да будетъ самое имя океана (Pacific) добрымъ знаменіемъ будущаго союза!

... „Нашъ вѣкъ — вѣкъ быстросовершающихся событій; новые государства возникаютъ на берегахъ невѣдомыхъ морей, едва сбыточные планы не только замышляются, но и приводятся въ исполненіе, Россія и Америка далеко оставляютъ за собой другія государства въ выполненіи ихъ. Если управленіе русской колоніей на Амурѣ еще лѣтъ десять пойдетъ тѣмъ быстрымъ шагомъ къ развитію, какъ въ прошломъ году, то мы двинемся на полстолѣтія впередъ. Трактатъ, заключенный Муравьевымъ, со временемъ будетъ имѣть міровое значеніе."

Вотъ что говоритъ филадельфской Daily Evening Bulletin отъ 8 Октября 1858 г. въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Our western neighbor" — „Трактату этому, прибавляетъ авторъ статьи, — мы имѣемъ столько же причинъ радоваться, какъ жители Иркутска и всей Сибири."

Мы не избалованы сочувствіемъ другихъ народовъ, не избалованы также и ихъ *пониманіемъ*. Причинъ на это было много и на главномъ планѣ вся петербургская политика съ 1825 г. Но Россія изъ этого періода выходитъ, отчего же одна Америка догадывается объ этомъ и первая привѣтствуетъ?

Оттого, что Россія съ Америкой встрѣчаются *по ту сторону*. Оттого, что между ними цѣлый океанъ соленой воды, но нѣтъ цѣлаго міра застарѣлыхъ предразсудковъ, остановившихся понятій, завистливаго мѣстничества и остановившейся цивилизаціи.

Скоро будетъ *десять* лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ мы высказали нашу мысль о взаимномъ отношеніи этихъ *будущихъ* въ подорожной современной исторіи. Мы говорили, что у Россіи въ грядущемъ только и естъ одинъ товаришъ, одинъ попутчикъ — Сѣверные штаты, мы повторяли это много разъ и еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ*) имѣли случай сказать: „Одно пустое, раздражительное, дипломатическое самолюбіе и притомъ нѣмецкое заставляетъ Россію мѣшаться во всѣ западныя дѣла. Въ предстоящей борьбѣ, къ которой невольно влечется Европа, Россіи вовсе не нужно принимать дѣятельнаго участія. Намъ тутъ нѣтъ наслѣдства, и мы равно не связаны ни воспоминаніями, ни надеждами съ судьбами этого міра. Если Россія *освободится* отъ *петербургской* традиціи, у ней есть одинъ союзникъ — *Сѣверо-Американскіе Штаты*."

Умнѣйшіе люди нашего времени, люди смѣлаго прогресса, какъ Маццини, нѣсколько лѣтъ тому назадъ слушали, слегка улыбаясь, наши сужденія, они въ нихъ видѣли несчастный патріотизмъ, утѣшающійся несбыточными мечтами, и не отнимали у насъ изъ состраданія этой „мыши колодника". Россія съ запертыми воротами, занесенными снѣгомъ, передъ которыми шагалъ грозный часовой въ мѣдной каскѣ и ботфортахъ, пугала издали, оставаясь какимъ-то непонятнымъ, зловѣщимъ зданіемъ изъ-за едва вырѣзывающагося полуночнаго мрака.

До Крымской войны никто не подозрѣвалъ внутренней работы Россіи, за нѣмыми устами предполагали нѣмой умъ и нѣмое сердце, а между тѣмъ мысли посѣянныя 14 Декабремъ — зрѣли, разъѣдали грудь и подтачивали незамѣтно дубовыя ворота николаевскаго острога. Прежде чѣмъ кончилась эта работа, стѣны его треснули. Ихъ пробили ядра союзниковъ. Скрытое, спертое броженіе вырвалось наружу, неправильно забѣгая, отставая, отклоняясь, но со всею мощью сгнетенной силы.

Все, о чемъ мы свидѣтельствовали, поднимая рѣчь на свой страхъ въ непріязненномъ Западѣ, все что мы предсказывали — отъ тайно бродящихъ силъ, отъ неминуемаго освобожденія крестьянъ съ землею, до избирательнаго сродства съ Сѣверо-Американскими Штатами — все совершается очью.

Это хронологическое *право давности* намъ слишкомъ дорого,

---

*) Въ предисловіи къ русскому переводу: „Франція или Англія"?

чтобъ мы его уступили, именно въ то время, какъ листъ исторіи перевертывается, и съ новой страницей забудутся работники, пришедшіе на трудъ, предваривши утро.

Впрочемъ особеннаго дара пророчества не надобно было имѣть, чтобъ догадаться; для этого только надобно было освободиться отъ домашнихъ предразсудковъ и отъ чужихъ, отъ свинцовой петербургской атмосферы и отъ забитыхъ понятій старой цивилизаціи. Для этого достаточно было независимо взглянуть на міръ. Чередъ былъ явнымъ образомъ за Америкой и Россіей. Обѣ страны преизбыточествуютъ силами, пластицизмомъ, духомъ организаціи, настойчивостію—не знающей препятствія, обѣ бѣдны прошедшимъ, обѣ начинаютъ вполнѣ разрывомъ съ традиціей, обѣ расплываются на безконечныхъ долинахъ, отыскивая свои границы, обѣ съ разныхъ сторонъ доходятъ черезъ страшныя пространства, помѣчая вездѣ свой путь городами, селами, колоніями — до береговъ Тихаго Океана, этого „Средиземнаго моря будущаго" (какъ мы разъ назвали его и потомъ съ радостью видѣли, что американскіе журналы много разъ повторяли это).

Противуположность петербургской военной диктатуры, уничтожающей всѣ лица въ лицѣ самодержца, съ американскимъ самодержавіемъ каждаго лица — огромна. И это не все, самая роковая антиномія, которой оканчивается исторія Запада, не является ли снова какъ личная разсыпчатость Америки съ одной стороны и съ другой какъ русскій общинный сплавъ?

Если вы обратите вниманіе на особенность американской мысли — (она собственно не оригинальна, а таже мысль англо-саксонскаго племени и философія XVIII столѣтія, — одну вы видите въ Вашингтонѣ, другую въ Франклинѣ и Джеферсонѣ) и именно на ту особенность, которая заявила себя въ послѣднее время, то васъ поразятъ двѣ вещи: первое, что федеральная демократія съ самозаконностію каждаго мѣстечка, каждаго избирателя — есть форма гражданскаго быта, совершенно соотвѣтствующая заатлантическому колонисту Соединеннаго королевства (мы нарочно такъ выражаемся, чтобъ напомнить Ирландцевъ). Вторая вещь—это свѣжесть и простота, которую вноситъ въ схоластическій хламъ политическихъ вопросовъ американскій умъ. *) Точно изъ тунеля или изъ Позилипова подземелья снова выходишь на утренній свѣтъ, на освѣжительный вѣтеръ, читая американскую брошюру или газеты—послѣ прусско-королевской философіи права Стара, феодальныхъ требованій Герлаха, споровъ о династіяхъ, о централизаціи и пр. Это простое, жизненное, здоровое отношеніе американскаго ума къ вопросамъ государственнымъ и экономическимъ совершенно соотвѣтствуетъ понятію демократической республики.

Можно ли по совѣсти сказать также, что всепоглащающая диктатура въ Россіи—окончательная форма ея гражданскаго устрой-

*) Для примѣра очень рекомендуемъ The science of Society — Cu'ey, Philadelphia 1858.

ства, вполнѣ соотвѣтствующая ея генію? Не есть ли эта диктатура только опека, оканчивающаяся съ совершеннолѣтіемъ?

Въ силу и прочность того абсолютизма, который достигъ своего высшаго предѣла при Николаѣ, которому вѣрила вся Европа и большая часть Россіи, *мы никогда не вѣрили*. Мы постоянно указывали, что такое судорожное самовластіе дошло уже до того предѣла *крученія*, послѣ котораго винтъ снова слабѣетъ, что въ этомъ затягиваніи поводій не было исторической необходимости, а одно чувство самосохраненія, что внутренняя мысль его была чисто отрицательная. Отпоръ можетъ устоять, удержаться на мѣстѣ, но онъ безплоденъ, лишенъ всякой иниціативы, всякой возможности идти впередъ. До *начала* крымской войны,*) говорили мы, что императорская власть даже матеріально несостоятельна. Николай, сдѣлавъ всѣхъ солдатами и писарями, не имѣлъ ни арміи, ни канцелярскаго порядка. Онъ растлилъ гражданскую службу, превращая ее въ шпіонство или подчиняя ее ему, убилъ армію шагистикой и фрунтомъ. Могла ли же à la longue существовать такая нелѣпость?

Будь мы какое нибудь несчастное племя безъ будущности, Кельты, Финны—еслибъ мы и пережили татарское иго — то вѣроятно сломились бы подъ игомъ императорскимъ, подъ игомъ крѣпостнаго состоянія, чиновничьяго растлѣнія и не вынесли бы напора непріятельскаго. Но событія обличаютъ зародышъ сильный и мощный. Не въ Петербургѣ—тамъ умирала старая Россія, маловѣрная, потерявшая голову при первой неудачѣ—нѣтъ, онъ двигался и заявилъ себя въ блиндажахъ Севастополя, на его стѣнахъ. Развѣ слабые народы дерутся такъ?—Николай умеръ, и наступило утро ожиданій и пробужденія. Вопросы эти вообще рѣшаются самими событіями, а не теоріями. Является кризисъ, одинъ больной умираетъ, другой обновляется имъ. Россія, уступившая въ неравномъ бою съ четырмя союзниками, почувствовала себя вдвое здоровѣе, а Турціи тѣже союзники такъ хорошо помогли, что она на ладонъ дышетъ.

Война застала русскій умъ за крѣпкой думой. Событія европейскія, не смотря на всѣ уродливыя мѣры съ 1825 года, сильно отражалися на черномъ фондѣ русской жизни. Іюльская революція и паденіе Бурбоновъ во Франціи, девяти-мѣсячная борьба съ возставшей Польшей и двадцати-лѣтняя казнь ея, напоминашая своихъ мучениковъ, своихъ страдальцевъ, наконецъ новое движеніе соціальной и философской литературы во Франціи и Германіи, эти послѣдніе энергическіе звуки западнаго разумѣнія, все это очень не даромъ проходило по той закраинѣ Россіи, которая была освѣщена.

Но какая же живая, самобытная мысль во всей этой подземной работѣ? Какое-то сумашествіе овладѣваетъ людьми: вмѣсто того

*) Рѣчь, произнесенная мною 29 ноября 1853 года на польскомъ митингѣ въ Hanover room's.

чтобы придти въ отчаяніе за себя, за Россію, русская мысль осмѣливается *сомнѣваться* въ Европѣ, ищетъ въ грубыхъ началахъ своей жизни элементы для будущаго, и когда, наконецъ, событія, слѣдовавшія за 1848 г. такъ ясно доказали, что европейскіе народы несостоятельны осуществить ту мысль экономическаго и государственнаго устройства, до котораго дошла наука — русская мысль начала нравственно освобождаться отъ авторитета.

Замѣтимъ, что средь этого внутренняго развитія ударила крымская война, которая доказала въ свою очередь всю несостоятельность Россіи бороться противъ Европы. Ничего не могло быть больше на мѣстѣ. Нравственное освобожденіе отъ Европы было началомъ освобожденія отъ петербургской традиціи, основанной на подчиненіи всего русскаго всему иностранному и на мысли превосходства русскаго войска надъ всѣми въ мірѣ, сокрушенной неудачной войной. Начать вѣрить въ свою нравственную самобытность и перестать вѣрить въ грубую силу и превосходство своего кулака—въ самомъ дѣлѣ начало премудрости.

Пока мы только подражали Западу, мы не знали своей почвы подъ ногами. Такъ еще теперь найдутся помѣщики, съ завистью думающіе о каменистомъ грунтѣ Италіи, стоя на черноземѣ. Какъ только мы обратились къ своей почвѣ, такъ встрѣтились съ послѣднимъ вопросомъ всей западной жизни, съ вопросомъ поземельнаго владѣнія, владѣнія общиннаго, общиннаго устройства.

Изъ сказаннаго никакъ не слѣдуетъ, чтобъ намъ перестать учиться западной наукѣ или выдумывать свою; во первыхъ, наука по той мѣрѣ и наука, по которой она не принадлежитъ никакой странѣ, а во вторыхъ, учится человѣкъ собственно цѣлую жизнь, но въ извѣстный возрастъ людямъ не нужны учители, уроки. При выходѣ изъ школы человѣкъ вступаетъ въ дѣятельный обмѣнъ, въ рядъ дѣловыхъ отношеній, тутъ онъ прикладываетъ, повѣряетъ свои теоріи, заимствуетъ новыя и, дѣйствуя, расширяетъ кругъ своего вѣдѣнія. Выходя изъ подъ гувернерства Запада, мы вовсе не дальше отъ него становимся, а скорѣе ближе всѣмъ разстояніемъ, которое дѣлитъ позирующій оригиналъ отъ уничиженнаго подражателя.

Дома у насъ бездна дѣла, не оберешься. Наука Запада столько же наша, сколько его. Но теперь спрашивается—гдѣ у насъ *общее дѣло* съ Европой? Вѣчный вопросъ о „больной Турціи“ или о „смердящей Австріи“, или хуже борьба французской солдатчины съ англійскими учрежденіями—и все опять война, война и кровь... налоги и голодъ...

О выборѣ тутъ не можетъ быть рѣчи, на Западѣ нѣтъ другаго дѣла... „да это у него пройдетъ, это болѣзнь“ — ну тогда поговоримъ объ этомъ, а до сихъ поръ она не проходила. И въ то же время дѣло само набивается, стучится въ ворота, дѣло *творческое*, *живое* и которое нисколько не мѣшаетъ намъ рубить свою новую избу и продолжать нашу коренную великую работу внутренняго

пересозданія, починъ котораго начался съ освобожденіемъ крестьянъ.

Имя Муравьева. Путятина и ихъ сотоварищей внесено въ исторію, они вбили сваи для длиннаго моста... черезъ цѣлый океанъ. Во время мрачныхъ европейскихъ похоронъ, гдѣ каждый что нибудь оплакивалъ, они съ одной стороны, американцы съ другой—сколачивали *колыбель!*

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТЪ.*)

Я являюсь передъ нашими читателями съ *обвинительнымъ актомъ* въ рукѣ.

На этотъ разъ обвиняемый не Панинъ, не Закревскій—обвиняемый *я самъ.*

Обвиненіе это, высказанное отъ имени „значительнаго числа мыслящихъ людей въ Россіи", для меня имѣетъ большую важность. Его послѣднее слово состоитъ въ томъ, что вся дѣятельность моя, т. е. дѣло моей жизни—приноситъ *вредъ Россіи.*

Еслибъ я повѣрилъ этому, я нашелъ бы самоотверженіе передать свое дѣло другимъ рукамъ и скрыться гдѣ нибудь въ глуши, скорбя о томъ, что ошибся цѣлой жизнію. Но я не судья въ своемъ дѣлѣ, мало ли есть маньяковъ, увѣренныхъ, что они дѣлаютъ дѣло—тутъ ни горячей любовью, ни чистотой желанья, ни всѣмъ существованіемъ ничего не докажешь. И потому я безъ комментарій передаю обвиненіе на судъ общественнаго мнѣнія.

До тѣхъ поръ, пока оно не станетъ громко со стороны обвиненія — я упорно пойду тѣмъ путемъ, которымъ шелъ.

До тѣхъ поръ, пока на одно такое письмо я буду получать десятки самыхъ пламенныхъ выраженій сочувствія — я буду упорствовать.

*) „Обвинительный актъ", о которомъ говоритъ Герценъ, есть письмо Ч. (Чичерина), помѣщенное въ томъ же № «Колокола». Чичерипъ упрекаетъ „Колоколъ" за то, что онъ разжигаетъ только страсти и строитъ обязательную оппозицію правительству, вмѣсто того, чтобы разумно помочь послѣднему. Тонъ письма невыносимо, неприлично учительскій. Однако Герценъ былъ блистательно вознагражденъ Россіей за эти оскорбительныя нравоученія. Со всѣхъ сторонъ въ „Колоколъ" посыпались горячіе протесты противъ Ч. Были немногіе голоса впрочемъ и въ его пользу. Вообще — загорѣлась цѣлая полемика. Герценъ отчасти далъ ей мѣсто на страницахъ „Колокола" (№ 32—33), но затѣмъ самъ счелъ нужнымъ положить ей конецъ. „Довольно, друзья мои, довольно, пишетъ онъ въ № 39... Не будемъ длить эту полемику. Я горячо, сильно благодарю васъ за очистку моего формуляра, но позвольте мнѣ отказаться отъ помѣщенія статей противъ обвинительнаго акта."

Л. Т.

До тѣхъ поръ, пока число читателей будетъ возростать, какъ оно теперь возростаетъ—я буду упорствовать.

До тѣхъ поръ, пока Бутеневъ въ Константинополѣ, Киселевъ въ Римѣ, не знаю кто въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Дрезденѣ — будутъ выбиваться изъ силъ, метаться къ визирямъ и трехъ-бунчужнымъ пашамъ, къ министерскимъ секретарямъ и кардинальскимъ послушникамъ, прося и вымаливая запрещеніе „Колокола" и „Полярной Звѣзды"—до тѣхъ поръ, пока аугсбургская газета и герлаховская Kreuz-Zeitung не перестанутъ оплакивать гибельное вліяніе „Колокола" на нервы петербургскихъ сановниковъ — я буду упорствовать.

Я стою передъ вами въ моей „неисправимой закоснѣлости" — такъ меня характеризовалъ въ 1835 г., когда я былъ подъ судомъ слѣдственной коммиссіи, Голицынъ junior*). Будьте строги, жестоки, несправедливы, но объ одномъ я прошу: будемъ-те на англійскій манеръ говорить о дѣлѣ, не прибавляя личностей.

Я готовъ все печатать, что *качественно и количественно* возможно.

„Обвинительное письмо" — напечатанное нами сегодня, существенно отличается отъ прошлыхъ писемъ противъ „Колокола". Въ тѣхъ былъ дружескій упрекъ и тотъ дружескій гнѣвъ, въ негодованіи котораго звучала знакомо и привѣтливо родная струна. Ничего подобнаго въ этомъ письмѣ.

Тѣ были писаны съ *нашей стороны*, оттого въ самыхъ несогласіяхъ и упрекахъ было сочувствіе. Это письмо писано съ совершенно *противной* точки зрѣнія, т. е. съ точки зрѣнія административнаго прогресса, гувернементальнаго доктринаризма. Мы ее никогда не принимали, что же удивительнаго, что мы не ея путями и шли. Мы не представляли себя никогда ни правительственнымъ авторитетомъ, ни государственными людьми. Мы хотѣли быть протестомъ Россіи, ея крикомъ освобожденія и крикомъ боли; мы хотѣли быть обличителями злодѣевъ, останавливающихъ успѣхъ, грабящихъ народъ — мы ихъ тащили на лобное мѣсто, мы ихъ дѣлали смѣшными, мы хотѣли быть не только местью русскаго человѣка, но его ироніей — не больше. Какіе мы Блудовы и Панины — мы книгопечатальщики *„значительной части людей, страдающихъ въ Россіи."*

Но и тутъ я долженъ прибавить, мы совсѣмъ не находимся въ томъ исключительномъ положеніи, которое намъ часто даютъ, которое даетъ авторъ письма, и противъ котораго я протестую всѣми силами моими. Что въ самомъ дѣлѣ за монополь русскаго печатанія у насъ, точно мы взяли русскую рѣчь въ чужихъ краяхъ на откупъ?

Если мы, какъ говоритъ авторъ письма, *„сила и власть въ Россіи"*, то причина этого вовсе не въ томъ, что у насъ у однихъ есть органъ.

Съ нашей легкой руки теперь можно печатать по русски въ

*) Тюрьма и Ссылка.

Берлинѣ, въ Лейпцигѣ, въ самомъ Лондонѣ*). И если по совѣсти нельзя рекомендовать какъ русскій журналъ для помѣщенія статей, брюсельскій Le Nord, то что же препятствуетъ помѣщать ихъ въ «Заграничномъ Сборникѣ»?

Намъ принадлежитъ *честь почина и честь успѣха*, а вовсе не монополь.

———

—Графъ Гуровскій въ письмѣ къ редактору Нью-іоркскаго журнала Evening Post говоритъ между прочимъ, что я пріобрѣлъ богатство *продажею крестьянъ* въ Россіи и, взявъ вырученныя деньги съ собою за границу, проповѣдую освобожденіе крестьянъ; на эту *гнусную клевету* я отвѣчалъ письмомъ, посланнымъ мною въ американскіе, англійскіе и нѣмецкіе журналы. Наши русскіе читатели быть можетъ вспомнятъ, что въ I книжкѣ „Полярной Звѣзды", стр. 214, я объяснялъ одному „анониму", что я никогда во всю мою жизнь ни продалъ, ни заложилъ ни одного крестьянина, ни одного крѣпостнаго человѣка, и что мое *костромское имѣніе находится подъ секвестромъ*, въ слѣдствіе чего я не могу имъ распоряжаться. Прилагая при нынѣшнемъ листѣ „Колокола" мое объясненіе по этому дѣлу, я не счелъ нужнымъ переводить его. Самые противники мои въ Россіи знаютъ, что это *клевета*.

Колоколъ №№ 30 и 31.
15 Декабря 1858 года.

APPEL A LA PUDEUR.

(издателямъ русскихъ газетъ).

Духа же празднословія не даждь ми!

Всякій разъ когда намъ приходится читать нѣсколько листовъ русскихъ газетъ, нами овладѣваетъ какая-то безконечная тоска, намъ становится стыдно, становится жаль и русскихъ читателей и русскій языкъ. Наконецъ мы рѣшились сказать объ этомъ нѣсколько словъ во имя благопристойности, здраваго смысла и человѣческаго достоинства. Рѣчь идетъ объ особой, изысканной невоздержности въ подобострастныхъ выраженіяхъ, съ которой пишутъ у насъ новости, касающіяся до государя или царской фамиліи. Какъ встарь у насъ развился церковный языкъ, такъ въ прошломъ столѣтіи расцвѣлъ и при Николаѣ достигъ высокой степени совершенства *языкъ ливрейный*. Пора положить ему предѣлъ. Пора отбросить это византійское низкопоклонство, смѣшанное съ монгольскимъ уничиженіемъ, приведенное въ систему и порядокъ нѣмецкимъ канцелярскимъ стилемъ.

Для чего это дѣлается? Государю не можетъ это нравиться,

*) Сверхъ нашей Типографіи въ Лондонѣ, какъ вѣроятно наши читатели знаютъ, существуетъ Типографія З. Свентославскаго.

всѣ члены царской фамиліи слишкомъ образованы, чтобъ требовать этой тяжелой, обязательной, японской болтовни. Посмотрите на новыя рѣчи государя, онъ не говоритъ этимъ языкомъ; посмотрите на приказы Барятинскаго, и онъ не говоритъ имъ. Кому же это нравится? Нельзя-же подличать безкорыстно—какъ соловей щелкаетъ въ лѣсу?

Теперь — уничтожая крѣпостное состояніе, мечтая объ освобожденіи Россіи отъ тѣлесныхъ наказаній, цензурныхъ преслѣдованій, теперь, думая о гласности въ судѣ, о законности, надобно пріучаться къ мужественной рѣчи свободнаго человѣка и бросить языкъ, которымъ перестаютъ говорить въ переднихъ.

Фактъ очень замѣчательный, что языкъ русскій разомъ перешелъ отъ патріархально-дѣтскаго, неуравновѣшеннаго ни въ грубости, ни въ уничиженіи, къ сильному и простому языку, исполненному достоинства во всемъ *неоффиціальномъ* — и палъ въ какое-то безграмотное пресмыканіе передъ предержащими властями и притомъ не на патріархальный крестьянскій ладъ, а на подхолюзой, нѣмецко-подъяческій. Всѣ утонченно-уничижительные обороты, всѣ чиновничьи фіоритуры формальнаго чинопочитанія старшихъ, богопочитанія царской фамиліи — рѣшительно противны духу русскаго языка. Русскія слова, употребляемыя на эти подлости, такъ и напоминаютъ вчера обритаго и остриженнаго крестьянина, одѣтаго въ уродливую ливрею и неумѣющаго держать тарелку (къ великому увеселенію истыхъ офиціантовъ, забывающихъ, что *человѣческое* дѣло ѣсть съ тарелки, а не подавать ее).

Долею издатели не виноваты, сообщая новости, составленныя впередъ, гдѣ нибудь въ министерствѣ двора, но можно же, наконецъ, объяснить Адлербергу, dass es ominoes ist und sclavisch писать такимъ вычурно-принижающимся языкомъ, что истинное уваженіе никогда такъ не выражается, что вздору не надобно прибавлять важности, упомянуть объ немъ можно слегка, вскользь, а не то онъ сдѣлается скучный вздоръ и весь падетъ на голову паціента, о которомъ разсказываютъ. Напримѣръ:

„С.-Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, повергнувъ къ стопамъ Его Императорскаго Величества вѣрноподданическія поздравленія жителей С.-Петербурга, по случаю торжественнаго дня тезоименитства Государя Императора, получилъ сего 30-го Августа, въ половинѣ перваго часа по полудни, отъ Министра Императорскаго Двора, изъ Москвы, слѣдующую „телеграфную“ депешу, которою спѣшитъ порадовать жителей С.-Петербурга, какъ выраженіемъ благосклоннаго къ нимъ вниманія Его Величества: „Государь Императоръ благодаритъ васъ и жителей Столицы за принесенное поздравленіе“. (Русск. Инв.)

Или:

«Въ Высочайшемъ Указѣ, 12-го Августа, за собственноручнымъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, даннымъ Святѣйшему Правительствующему Синоду, изображено: «Рожденіе Лю-

безнѣйшаго Племянника Нашего, Великаго Князя Константина Константиновича, повелѣваемъ праздновать въ 10-й день Августа, а тезоименитство въ 21-й день Мая».

(Тутъ поневолѣ приходитъ въ голову вопросъ, да развѣ онъ родился въ другой день, что надобно было высочайшее утвержденіе числа, утвержденнаго самимъ рожденіемъ?)

Послѣднее путешествіе государя и царской фамиліи дало случай развернуться ливрейному краснорѣчію дворцовыхъ хронографовъ съ такимъ напоромъ, съ такимъ яростнымъ усердіемъ, что всѣ плотины разума, приличій, грамматики были снесены „вѣрно-преданностью“ (выраженіе Сѣв. Пчел.) и въ то время, какъ путешествіе государя было исполнено дѣйствительнаго интереса, они насъ подчивали самыми пустѣйшими подробностями обычныхъ церемоній, придавая имъ какую-то эпическую важность и какую-то третьяковскую отдѣлку.

Возьмите случайно Инвалидъ или Пчелу, вѣсти изъ Тулы или изъ Владиміра,—все одно:

Владиміръ — „Въ половинѣ пятаго часа у Ихъ Императорскихъ Величествъ былъ большой обѣденный столъ, послѣ котораго Государь Императоръ удостоилъ Своимъ присутствіемъ бѣгъ рысистыхъ лошадей, на Владимірскомъ бѣговомъ мѣстѣ“.

Тула—„Въ двѣнадцатомъ часу, Ихъ Императорскія Высочества, привѣтствуемые густыми толпами народа, изволили прибыть въ церковь оружейнаго завода для слушанія божественной литургіи и оттуда, по окончаніи богослуженія, изволили отправиться въ Успенскій Каѳедральный Соборъ. Здѣсь Ихъ Высочества были встрѣчены Преосвященнѣйшимъ Алексіемъ, Епископомъ Тульскимъ и Бѣлевскимъ, съ старшимъ духовенствомъ г. Тулы, съ крестомъ и св. водою (не съ сигарой же было выйти). Послѣ краткаго молебствія и возглашенія многолѣтія Его Императорскому Величеству и всему Августѣйшему Дому, Ихъ Высочества прикладывались къ мѣстнымъ св. иконамъ, а потомъ Его Преосвященство поднесъ государю Великому Князю Св. Икону Спасителя, а Государынѣ Великой Княгинѣ просфору“.

Троица — „Государь Императоръ и Государыня Императрица съ Великою Княжною прибыли къ начатію литургіи въ началѣ девятаго часа утра, и слушали оную и молебное пѣніе съ благоговѣніемъ, которое приводило въ умиленіе братію обители и всѣхъ предстоящихъ въ храмѣ. По молебномъ пѣніи Ихъ Величества и Ея Высочество прикладывались къ св. иконамъ и къ мощамъ преподобнаго Сергія, при чемъ поднесены иконы Государю Императору и Великой Княжнѣ. Шествіе Ихъ Величествъ во храмъ и изъ храма оглашаемо было радостными восклицаніями многочисленнаго народа.“

Вологда — „За нѣсколько минутъ до представленія, Губернскій Предводитель Дворянства, Багряновъ былъ *черезъ* Его Сіятельство

(творительный падежъ видно хорошъ для обыкновенныхъ смертныхъ, а въ такихъ экстренныхъ случаяхъ куда онъ годится!) графа Адлерберга введенъ во внутренніе покои (кабинетъ) (а вѣдь нѣтъ того, чтобъ сказать просто въ кабинетъ) Его Величества, гдѣ былъ встрѣченъ милостивыми словами Государя Императора: „Я исполнилъ свое обѣщаніе быть у васъ.“ На что Губернскій Предводитель отвѣчалъ: „Мы ужъ давно ожидали этого счастливаго времени...“

Ну, можно ли записывать эдакой вздоръ и эдакимъ слогомъ? Впрочемъ, что Тула, Вологда,—вотъ что будетъ интересно, государь въ Варшавѣ. Ему многое надо тамъ сдѣлать, чтобъ многое загладить. Что же онъ дѣлалъ въ Варшавѣ?

Варшава — „14/26 сентября. (Сообщено) 11/23 сент., Государь Императоръ, по пріѣздѣ въ Варшаву, въ три часа по полудни, изволилъ прибыть въ Православный Святотроицкій Соборъ. Храмъ едва могъ вмѣстить собравшихся для вожделѣннаго лицезрѣнія Благочестивѣйшаго Монарха. Преосвященный Арсеній, Архіепископъ Варшавскій и Новогеоргіевскій, съ высшимъ духовенствомъ ожидалъ съ крестомъ и св. водою вшествія Царя земнаго въ домъ Царя небеснаго. Когда Государь Императоръ ступилъ на прагъ церковный, Архіепископъ, осѣнивъ Его Величество св. крестомъ, произнесъ привѣтственную рѣчь, въ которой кратко, но сильно выразилъ чувство всеобщей благодарности за щедроты и попеченія Государя о благѣ Богомъ ввѣреннаго державному Его скипетру народа. Сердце Царево, *выну хранимое въ руцѣ Божіей*, съ умиленіемъ внимало словамъ служителя Божія. Приложившись къ св. кресту, по окропленіи св. водою, Государь Императоръ, предшествуемый духовенствомъ при соотвѣтственномъ церковномъ пѣніи двумя хорами: *спаси, Господи, люди твоя*... вошелъ въ церковь. Здѣсь совершено краткое моленіе о здравіи Его Величества и всего Августѣйшаго Дома. Государь Императоръ по произнесеніи многолѣтія, снова приложился къ кресту, коимъ былъ осѣняемъ отъ Архіепископа; причемъ Архіепископъ поднесъ Его Величеству снимокъ съ чудотворной иконы Почаевской Божіей Матери, и съ крестомъ же сопровождалъ Государя къ самымъ дверямъ храма. Послѣ сего отслуженъ благодарный молебенъ о благополучномъ прибытіи Помазанника Божія.

14/26-го числа, въ одинадцать часовъ утра Преосвященный Архіепископъ Арсеній представлялся Его Императорскому Величеству въ Бельведерскомъ Дворцѣ.“

Пощадите, милые Несторы и Комухины Зимняго Дворца, какъ же вамъ не стыдно, даже осмѣянное, опошленное „въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ“ не забыто.

Можно ли повѣрить послѣ этихъ образцовъ, что иногда оффиціальные журналы бываютъ умѣреннѣе *партикулярной пчелы* съ товарищами. Пчела, порхая тамъ и тутъ, не ограничивается лицами, упоминаемыми на эктиньѣ, но распространяетъ благодѣянія

камердинерскаго обращенія на иностранныхъ принцевъ и принцессъ, курфирстовъ и фирстовъ. „Его высочество, говоритъ она, принцъ прусскій и принцесса *пожаловали* Іенскому Университету бюсты—Фихте, Шеллинга и Гегеля". Намъ дѣла нѣтъ до пошлости дѣлать двуспальные подарки, какъ будто принцъ самъ по себѣ, а принцесса сама по себѣ не могли подарить бюсты, — насъ занимаетъ слово *пожаловали*, которое такъ красиво становится между именемъ университета и именами трехъ философовъ, и тѣмъ больше, что оно мнѣ напоминаетъ родительскій домъ и нашего стараго лакея Бакая.

Покойникъ училъ мальчишекъ „пчелиному" языку и, таская иногда за волосы, приговаривалъ: „А ты, мужикъ, знай, я тебѣ даю, а баринъ изволитъ тебѣ *жаловать*; ты ѣшь, а баринъ изволитъ *кушать*; ты спишь, щенокъ, а баринъ изволитъ *почивать*." Этотъ лексиконъ былъ у него вполнѣ выработанъ, и Бакай никогда не ошибался, когда надобно было сказать *рубашка* и когда *сорочка*.

Но я полагаю, что и Бакай далѣе перевода словъ не шелъ, и что напримѣръ такіе сложные періоды были ему не подъ силу, какъ всѣ эти: „изволили соблаговолить одобрительнымъ одобреніемъ", или что нибудь въ родѣ: „Е. И. В. принцъ Петръ Ольденбургскій *изволилъ отбыть* послѣ *обѣденнаго стола*, слѣдуя по калужскому тракту." Неужели въ самомъ дѣлѣ учтивѣе сказать „послѣ обѣденнаго стола, послѣ ужиннаго стола", нежели послѣ обѣда, послѣ ужина, или „отбылъ по калужскому тракту" благолѣпнѣе нежели *поѣхалъ въ Калугу*.

Иногда, кажется, у правительства просыпается сознаніе вкуса, накапливается злоба за все это вѣрно-преданное вранье, и оно вдругъ мститъ редактору тою же монетой, но съ какимъ-то особеннымъ, казеннымъ чеканомъ. Напримѣръ: оно пишетъ анонимное письмо слѣдующаго содержанія:

М. Г. Петръ Семеновичъ,

„Посѣтивъ 15 іюня сего года Больницу Всѣхъ Скорбящихъ, вы, при видѣ ея устройства, преисполнились благоговѣнія къ царственному состраданію безпримѣрнаго по энергіи въ Бозѣ почившаго Монарха Николая Павловича, и къ безпримѣрной, по любви къ человѣчеству, Государыни Матери Царей, Вѣнценосной Покровительницы отверженныхъ сиротъ и всѣхъ несчастливцевъ, безъ разбора причинъ злополучій каждаго, приснопамятной Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

„При такомъ одушевленіи выраженный вами благонамѣренный вызовъ — начертать Историческое Сказаніе о семъ благотворномъ учрежденіи, вы привели нынѣ въ дѣйство, издавъ Историческій Очеркъ о Больницѣ, посвященный вами памяти Августѣйшихъ Основателей ея и Благодѣтелей. Въ немъ, съ историческою точностью, съ теплымъ сочувствіемъ къ цѣли установленія къ заботамъ предстателей, справедливо оцѣнены заслуги и подвиги цѣленія и призора несчастливцевъ, постигнутыхъ омраченіемъ ума.

„Въ семъ уваженіи, Статсъ-Секретарь по дѣламъ Управленія Учрежденій Императрицы Маріи, Членъ Государственнаго Совѣта, Андрей Логиновичъ Гофманъ, благоволилъ поднесть Историческій Очеркъ вашъ Государю Императору и Государынямъ Императрицамъ, и по его предстательству благоугодно было Его Императорскому Величеству удостоить трудъ вашъ Монаршимъ благоволеніемъ во Всемилостивѣйшемъ пожалованіи вамъ препровождаемаго при семъ драгоцѣннаго перстня, бриллiантами украшеннаго.“

(Русскій Инвалидъ)

Ужь не Андрея-ли Логиновича *постигнуло* такое краснорѣчіе? За нимъ не угоняется и самъ Теодоръ-Амедій Гофманъ, писавшій „Кота Мура“.

Мы очень серьезно обращаемъ вниманіе русскихъ журналистовъ на необходимость воздержаться отъ этихъ цвѣтовъ подобострастія. Въ порядочномъ обществѣ выводится низкопоклонный клiентизмъ, поднявшійся въ залы и гостинныя изъ канцелярскихъ болотъ и крѣпостныхъ подземелій. Гдѣ теперь «бакаевская» манера въ словахъ, движеніяхъ, улыбкѣ, въ образѣ садиться на стулъ и вставать со стула, въ образѣ держать шляпу въ рукахъ и спину на ногахъ, въ кашлѣ и смѣхѣ выражать безпредѣльное подобострастіе, свою ничтожность, теряющуюся „какъ капля въ морѣ опущена“ въ благодѣтельныхъ лучахъ его превосходительства. И не только мимика низкопоклонства исчезла, но и самыя слова: „благодѣтель, отецъ и начальникъ, покровитель“ не употребляются больше.

Ссылаться въ этомъ на нѣмцевъ нечего, отъ нихъ-то мы и заразились вполовину принижающимся сквернословіемъ. Нѣмцы вообще люди безъ такта. Ни Гете, ни Гегель не умѣли себя держать съ достоинствомъ. Старикъ Арендтъ, разсказывающій, какъ мѣшански Гете обращался съ аристократами, которыхъ ему представлялъ Штейнъ, самъ называетъ Штейна то „милостивымъ господиномъ своимъ“ — то просто „мой господинъ“.

Но вѣдь мы не нѣмцы.

Указавши на эту наружную, декораціонную грязь нашихъ газетъ, мы когда нибудь перейдемъ къ ихъ нравственной сторонѣ. Она наводитъ не меньше грусти. Едва, едва позволили людямъ говорить, заявлять свое мнѣніе, — у насъ явилось *кордовское* направленіе: одна газета дошла до того, что помѣстила leading article въ пользу торговли черными подъ прикрытіемъ французскаго флага. Поверхностная брань Англіи, ея учрежденій встрѣчается на каждомъ шагу рядомъ съ удивленіемъ передъ казарменной централизаціей деспотическихъ государствъ.

Не лучше ли предоставить одной Управѣ Благочинія находить образованность въ „порядкѣ“ и защищать его не литераторами, а безграмотными квартальными?

Колоколъ №№ 32 и 33.
1-го Января 1859 года.

РОССІЯ И ПОЛЬША.*)

Отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ.**)

(Письмо первое)

Милостивый государь,

Я прочиталъ вашу статью обо мнѣ и о вольной русской типографіи въ Лондонѣ съ вниманіемъ, съ благодарностью. Въ васъ бьется славянское, родное сердце, оттого и рѣчь моя такъ понятна вамъ, оттого и мнѣ такъ хочется вамъ отвѣчать.

Само собою разумѣется, что я обратилъ особенное вниманіе на тѣ мѣста, въ которыхъ вы выражаете ваше несогласіе или недоумѣніе. Замѣчанія и самыя обвиненія противниковъ и враговъ можно иной разъ перешагнуть, но замѣчанія, дѣлаемыя друзьями, должны влечь за собой объясненіе или сознаніе въ ихъ правдѣ.

Я радъ, что ваша статья даетъ мнѣ поводъ коснуться главныхъ основъ моихъ убѣжденій и дать отчетъ, почему я поступаю такъ, а не иначе, съ увѣренностью, что поступаю совершенно сообразно съ ними. Я былъ до того занятъ частными русскими вопросами, что всѣ общія мѣста, professions de foi отступили на второй планъ.

Ваши замѣчанія напомнили мнѣ, что это умалчиваніе или подразумѣваніе можетъ быть иначе истолковано и дурно понято.

Я не говорилъ объ общихъ теоріяхъ просто потому, что не считалъ этого своевременнымъ. Общія мѣста, планы, теоріи, утопіи должны предшествовать работѣ исполненія, общественной перестройкѣ. Идеи, воплощаясь, скрываются, какъ зерно въ землѣ, въ своихъ приложеніяхъ, существуютъ какъ развитіе, какъ жизнь въ организмѣ, какъ законы природы — обнаруживающіеся только въ самихъ явленіяхъ.

Къ тому же злоупотребленіе громкихъ словъ, шедшихъ рядомъ съ черезъ чуръ скромными дѣлами, утомившее въ послѣднее время и самихъ французовъ, противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкшему къ риторикѣ.

Русскихъ дѣйствительно поражаетъ безплодное, театрально-натянутое повтореніе возгласовъ и битыхъ мѣстъ въ революціонной литературѣ, въ рѣчахъ и статьяхъ, на сходкахъ изгнанниковъ и въ ихъ журналахъ. Но оно поражаетъ не однихъ русскихъ. Вы сѣтуете сами на то, что изданія польскихъ изгнанниковъ мало расходятся въ сравненіи съ „Колоколомъ"; не слѣдуетъ ли искать одну изъ причинъ въ томъ, что ихъ публикаціи больше занимаются *общими* нежели *настоящими* вопросами своего края.

---

*) Рядъ статей, соединенныхъ здѣсь мною въ одномъ мѣстѣ, тянулся въ №№ 34, 37, 65, 66, 67 „Колокола". *Л. Т.*

**) Aleksander Hercen i Wolna Drukarnia w Londynie.—Paris, 1858.

Въ Жерсеѣ выходилъ французскій демократическій журналъ, редакторъ его былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ, а между тѣмъ, не смотря на пожертвованія, журналъ не могъ идти при всемъ благородствѣ своего направленія, при всей чистотѣ своихъ намѣреній. Разобщенный съ живой почвой, безъ истинныхъ корреспонденцій, онъ былъ сведенъ на вѣчное повтореніе въ прозѣ того, что ужь высказалъ В. Гюго въ стихахъ.

Дѣло въ томъ, что послѣ реакціи, начавшейся съ іюньскихъ дней, наступилъ переломъ. Люди увидѣли, что *общія мѣста и частныя событія* совершенно расходятся и что словами ихъ не примиришь. Громкія фразы и громовыя слова съ каждымъ днемъ теряютъ больше и больше своего значенія. Онѣ не дѣйствуютъ на насъ, такъ какъ не дѣйствуютъ вѣчноповторяемыя слова молитвъ; революціонная риторика испытываетъ участь литургической.

Бывало, я это очень помню, при одномъ словѣ *республика* билось сердце, а теперь, послѣ 1849, 50, 51 г., слово это возбуждаетъ столько же надежды, сколько сомнѣній. Развѣ мы не видали, что республика съ правительственной иниціативой, съ деспотической централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ англійская монархія безъ иниціативы, безъ централизаціи? Развѣ мы не видали, что французская *демократія*, т. е. равенство въ рабствѣ, самая близкая форма къ петербургскому самовластью?

Мы съ какимъ-то сыновнимъ уваженіемъ боялись до сихъ поръ признаться въ этихъ горькихъ истинахъ, скрывали ихъ отъ себя изъ понятнаго чувства благочестія. Но и оно не должно заслонять истину, мѣшать откровенному, добросовѣстному разбору. Я смѣло скажу, переиначивая извѣстную латинскую пословицу: „Я другъ республики, я другъ демократіи, но гораздо больше другъ *свободы*, *независимости и развитія*.“

Если мнѣ возразятъ, да можетъ ли быть свобода и независимость внѣ республики и демократіи? Я отвѣчу, что и *съ ними* онѣ не могутъ быть, если народъ *не дорось* до нихъ.

Всякая церковь оканчивается выходомъ изъ нея и всякая монархія идетъ къ республикѣ и къ высшему соціальному устройству, т. е. къ разумному и свободному экономическому быту — если она не идетъ къ разрушенію и смерти. Тамъ, гдѣ республика и демократія сообразны развитію народному, тамъ, гдѣ онѣ не только *слово*, но и *дѣло*, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ или въ Швейцаріи, тамъ безъ всякаго сомнѣнія наибольшая личная независимость и наибольшая свобода. Совсѣмъ иные результаты показываютъ намъ страны, которымъ эти формы общественныя слишкомъ широки или несоотвѣтственны ихъ развитію. Возьмите въ примѣръ народъ невѣжественный, солдатскій внизу, вверху растлѣнный и преданный одному стяжанію, республика у него превратится черезъ четыре мѣсяца въ Каваньяка, а черезъ девять въ Наполеона. Всеобщая подача голосовъ сдѣлала изъ Франціи смирительный домъ.

Слѣдуетъ ли изъ сказаннаго, что я предпочитаю представительную монархію—республикѣ и электоральную таксу—всеобщей подачѣ голосовъ?—Нисколько.

Я констатирую фактъ и больше ничего. Видя его, я не могу сказать по совѣсти: „Такъ какъ всеобщая подача голосовъ гораздо справедливѣе ценза, стало быть Франція слѣдующій разъ, т. е. пройдя еще новой эпохой рабства и растлѣнія, сдѣлаетъ лучше свои выборы всеобщей подачей голосовъ, чѣмъ ограниченной.“ Я не вѣрю этому, такъ какъ не вѣрю, чтобъ турки, оставаясь магометанами, съ фаталистическимъ ученіемъ Алкорана, много выиграли провозглашеніемъ республики осмалинской и гяурской.

Мы стремимся и хотимъ дѣйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи—это заставляетъ насъ не втѣснять вопросовъ, но стараться овладѣть тѣми, которые уже возникли.

Людямъ дальняго идеала, пророкамъ разума и прорицателямъ будущаго мало дѣла до прикладныхъ затрудненій, они указываютъ на разумныя начала, къ которымъ общество стремится, его законы, общую формулу его движенія, предоставляя грядущимъ поколѣніямъ посильно осуществлять ихъ въ ежедневной борьбѣ сталкивающихся выгодъ и партій.

Одного изъ этихъ людей, мѣсяца полтора тому назадъ, опустилась въ шотландскую землю скромная кучка друзей, и я очень благодаренъ судьбѣ, что успѣлъ еще застать его въ живыхъ и пожать почтенную и много трудившуюся руку Роберта Оуена. Оуенъ былъ правъ, и Англія пойметъ его, но конечно не въ XIX столѣтіи. Такіе люди — возстановители правъ разума въ капризной и фантастической сказкѣ исторіи, велики и необходимы и всѣ эти предтечи новаго міра, какъ Сенъ-Симонъ, Фурье, займутъ огромное мѣсто въ сознательномъ развитіи человѣчества, въ самопознаніи общественнаго быта, но имъ почти нѣтъ прямаго участія въ текущихъ дѣлахъ, это доля насъ,—будничнихъ работниковъ.

Чѣмъ тяжеле и мертвѣе настоящее, тѣмъ сильнѣе стремленіе отрѣшиться отъ него и подняться на алгебраическую высоту теоріи. Германія въ своей гражданской ничтожности шла дальше всѣхъ странъ въ философіи права и, сама не имѣя исторіи, являлась какъ пробужденная совѣсть другихъ народовъ. Таково было для двухъ поколѣній Россіи царствованіе Николая.

Государственная фура, управляемая имъ, заѣхала по ступицу въ снѣгъ, обледенѣвшія колеса перестали вертѣться; сколько онъ ни билъ своихъ клячъ, фура не шла. Онъ думалъ, что поможетъ дѣлу терроромъ. Писать было запрещено, путешествовать запрещено, можно было думать, и люди стали думать. Мысль русская, въ эту темную годину, страшно развилась, и если вы сравните тайное вѣяніе ея, ея безстрашную логику, не блѣднѣющую ни передъ какимъ послѣдствіемъ — съ юнымъ, благороднымъ и чисто французскимъ направленіемъ литературы за двадцать пять лѣтъ, вы увидите это ясно.

Отголосокъ новаго направленія вы могли замѣтить и въ моихъ книгахъ. Я ссылаюсь на нихъ только потому, что въ нихъ проще высказано то, что у насъ печаталось намеками и полусловами.

Но вотъ фура съ нѣсколько обитыми сторонами снова двинулась, явнымъ образомъ наступило другое время, потянуло инымъ воздухомъ. Задача человѣка, желающаго участвовать въ новомъ движеніи, становится другая, она становится *спеціальнѣе*. Мало знать станцію, къ которой ѣдемъ, надо опредѣлить, *которую* версту по пути къ ней мы продѣлываемъ, и какіе ритвины и мосты именно на этой верстѣ.

Наше положеніе измѣнилось, иные вопросы насъ занимаютъ и занимаютъ исключительно. Вмѣсто „предисловій. программъ и эпиграфовъ", мы вошли въ *текстъ*... „Есть время камни собирати, говоритъ Соломонъ, и есть время камни метати." А вѣдь для того, кто хочетъ воевать пращей, это не два дѣла, а *два момента одного и того же дѣла.*

Я *убѣжденъ*, что съ крымской войны Россія входитъ въ новую эпоху развитія, что, разставаясь съ трудными путями своего жестокаго воспитанія, *она вступаетъ теперь въ широкое русло совершеннолѣтней жизни.*

Я знаю, что я разнюсь со многими и съ вами самими въ внутренней оцѣнкѣ русскаго народа. Всѣ тѣ, которые не умѣютъ отдѣлить русскаго правительства отъ русскаго народа, ничего не понимаютъ. Всѣ тѣ, которые хотятъ Русь мѣрить на ярды и метры, не знаютъ ея. Нормы, сложившіяся въ нашей головѣ отъ изученія западной цивилизаціи, не обнимаютъ собой, не уловливаютъ отклоненій и особенностей русскаго народнаго быта, а опредѣляютъ его только отрицательно. Обманчивое сходство правительственныхъ формъ съ западными окончательно мѣшаетъ пониманію. За царскимъ заборомъ, за петербургскими декораціями—народа было не видать и не слыхать, а слышался барабанъ и оффиціальный говоръ, видѣлись штыки и писаря. Были люди, которые стали догадываться, что за знакомыми формами проглядываетъ какое-то незнакомое содержаніе; стали догадываться, что формы набиты насильственно, какъ колодки, но они не стали изучать характера бѣднаго колодника, а отвернулись отъ него, сказавши: „Коли терпитъ, видно лучшаго не стоитъ!"

Чтобъ понять русскій народъ, не будучи русскимъ (и притомъ русскимъ, не запуганнымъ съ малыхъ лѣтъ своимъ ничтожествомъ и величіемъ Запада), надобно быть или соціалистомъ въ Европѣ, или гражданиномъ Сѣверной Америки. Можетъ вамъ это покажется странно, другимъ смѣшно, но оно такъ!

Условія, свойства русской жизни, русскаго быта—иныя, оригинальныя, *свои*. Этого ни признать, ни изслѣдовать никто не хочетъ, особенность же его ставится ему въ преступленіе на томъ основаніи, на которомъ французъ не можетъ простить англичанину, что онъ обѣдаетъ безъ салфетки, а англичанинъ французу, что онъ носитъ бороду. Западная цивилизація срѣзывается на своемъ

первомъ слѣдственномъ допросѣ своей собственной нетерпимостью и остается при одномъ негодованіи.

Все то, что ставится такъ дорого другимъ народамъ, Россіи не было зачтено ни во что, или хуже, послужило ей же въ обвиненіе; ни то, что она уцѣлѣла подъ татарскимъ игомъ, ни то, что въ тихомолку выросла и сложилась въ огромное государство, отбившееся отъ всѣхъ сосѣдей и сохранившее свою самостоятельность; ни ея 1612, ни ея 1812 годъ. О пожарѣ Москвы говорятъ только потому, что слишкомъ много иноплеменниковъ видѣли зарево. Избавила ли Россія Европу отъ грубаго солдатскаго гнета или замѣнила его другимъ — объ этомъ можетъ быть вопросъ — но что Россія спасла Германію отъ французскаго ига, въ этомъ нѣтъ никакого вопроса. Разверните Штейна, Арендта и другихъ современниковъ, и посмотрите, какъ, въ черную годину для Германіи, лучшіе люди ея глядѣли на Александра I и на Россію. Что же вышло изъ этого? Полнѣйшая ненависть не къ русскому правительству—кто его ненавидѣлъ—не къ русскому вмѣшательству, а къ русскому народу, ко всякому нашему успѣху, ко всякому нашему человѣческому порыву. Такъ и узнаешь въ современныхъ публицистахъ Германіи измѣщанившихся братій ливонскихъ рыцарей, не пропускавшихъ въ XVI столѣтіи докторовъ въ Россію. Не странно ли все это?

Вотъ вамъ еще примѣръ: Англія, ломящаяся отъ тучности и избытка силъ, выступаетъ за берега, переплываетъ за океаны и создаетъ новые міры. Ей удивляются, и она заслуживаетъ это удивленіе. Но такъ ли смотрятъ на подвиги колонизаціи Сибири, на ея почти безкровное завоеваніе? Горсть казаковъ и нѣсколько сотъ бездомныхъ мужиковъ перешли на свой страхъ океаны льда и снѣга, и вездѣ, гдѣ осѣдали усталыя кучки въ мерзлыхъ степяхъ, забытыхъ природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это отъ Перми до Тихаго океана... И такія колоссальныя событія едва помѣчены исторіей, или помѣчены для того, чтобы поразить воображеніе дантовскимъ образомъ ледянаго острога въ нѣсколько тысячъ верстъ...

Наконецъ является новый оселокъ. Европа, послѣ всѣхъ реформъ и революцій, остановилась на грудахъ труповъ, по колѣна въ крови передъ страшнымъ, неразрѣшимымъ сфинксомъ — поземельной собственности и пролетаріата, капитала и работника. Ни французскій дѣлежъ земли на атомы, ни паразитная жизнь англійскаго фермерства, ничего не устраняютъ, ничего не предупреждаютъ. Земли становится меньше и меньше, владѣлецъ губитъ пахаря, капиталъ работника, и хоръ пролетаріевъ изъ мастерскихъ, изъ фабрикъ, съ полей сильнѣе и сильнѣе поетъ ліонскій припѣвъ: „свинецъ или хлѣбъ! смертъ или работу!“

Говорятъ, что возлѣ есть народъ, у котораго совсѣмъ другое отношеніе къ поземельной собственности, у котораго на дѣлѣ существуютъ вѣками уцѣлѣвшіе разные виды коммунистическаго владѣнія землею — отъ ежегоднаго дѣлежа по ей между общин-

никами до полной собственности; правда ли, нѣтъ ли, но согласитесь, что, при настоящемъ положеніи экономическаго вопроса, нельзя не изслѣдовать такого важнаго факта. Изученіе его можетъ же дать столько же наблюденія, какъ микрометрическіе опыты Фаланги и Икарійцевъ?

Что же вы думаете, обратились ли люди на эти факты, изучили ихъ, опровергли, подтвердили? Нѣтъ. Они осмѣяли тѣхъ, которые говорили; такъ какъ до сихъ поръ они хохочутъ тому, что я сказалъ во время войны, что Украйна была казацкая республика, въ основаніи которой лежали демократическія и соціальныя начала, что Запорожская Сѣчь представляла удивительное явленіе плебеевъ-витязей, рыцарей-мужиковъ.*) Вы, какъ полякъ, слишкомъ хорошо знаете свою исторію, чтобъ я счелъ нужнымъ настаивать на всей наглости невѣжества, которое не только на знаетъ, но и смѣется.

Поверхностная привычка смотрѣть исключительно на жизнь государственную и политическую, не обращая никакого вниманія на жизнь народную, на экономическій бытъ, разумѣется вела къ однимъ ошибочнымъ сужденіямъ о Россіи, потому что въ Россіи политической жизнью жило одно правительство. Въ самой Польшѣ народную русскую жизнь такъ-жа мало знаютъ, какъ во всей Европѣ. Я скажу безъ преувеличенія, что изъ вашихъ соотчичей понимаютъ и знаютъ внутренній бытъ Руси только тѣ, которые были сосланы въ Сибирь или въ дальнія сѣверо-восточныя губерніи. Все это удивительно! Неужели вамъ не приходило въ голову, глядя на великороссійскаго крестьянина, на его умный, развязный видъ, на его мужественныя красивыя черты, на его крѣпкое сложеніе, что въ немъ таится какая нибудь *иная сила*, чѣмъ одно долготерпѣніе и безотвѣтная выносливость? Неужели вамъ не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что кромѣ оффиціальной, правительственной Россіи, есть другая, что кромѣ Муравьева, который *вѣшаетъ*, есть Муравьевы, которыхъ *вѣшаютъ*. Подумайте, еслибъ не было *иной силы и иной Руси* кромѣ правительственной, неужели въ самомъ дѣлѣ достаточно бы было нѣсколько неудачъ въ Крыму и смерти Николая, чтобъ цѣлое огромное царство обнять той дѣятельностью, тѣмъ *кипѣніемъ впередъ*, которое совершается передъ нашими глазами? Да, Сѣверный Левіоѳанъ прошелъ черезъ доки, покачнулся, справился и плыветъ; доказывать этого я не стану, такъ какъ не стану и пророчить — можетъ онъ завтра сядетъ на мель, это зависитъ отъ лоцмановъ. Допустивъ это, чрезвычайно важно узнать, какимъ вопросомъ начинается это новое плаванье, какими воротами входитъ корабль въ море, что на его флагѣ: конституція, республика, парламентъ, муниципальная свобода, война съ Австріей, завоеваніе

*) Kosak ou liberté sont l'expression synonime; l'antique liberté russienne у (въ Украйнѣ) fut étouffée (XVII siècle) par l'agression dynastique du despotisme. — J. Lelewel: Histoire de la pologne t. 2, p. 284.

Турціи? — Нѣтъ, у него на знамени *освобожденіе крестьянъ съ землею*, т. е. опять соціальный вопросъ передъ политическимъ.

Увидавъ это, мы бросили все и прилѣпились къ этому жизненному вопросу для Россіи. И вотъ вамъ причина нашего успѣха. Тотъ только *Колоколъ* и слушаютъ люди, который зоветъ ихъ *туда, куда имъ идти надобно.*

Представьте себѣ, что середь распрей и споровъ въ самомъ дворянствѣ, середь зачатой борьбы двухъ бойцовъ, до того времени гладившихъ другъ друга по головкѣ и въ первый разъ поглядѣвшихъ съ н навистью другъ на друга, — представьте, что середь этой борьбы, совершающейся передъ необозримымъ количествомъ народа, мрачно ждущаго, кто кого сломитъ, но который нисколько не намѣренъ уступить ни вершка земли, нашъ «Колоколъ» сталъ бы звонить всемірной республикѣ и солидарности народовъ?

Какъ вы думаете, эти люди, дерущіеся не на животъ, а на смерть, которые теперь съ любовью или ненавистью читаютъ наши слова, стали бы читать наши диѳирамбы и разглагольствованія? Ихъ отвѣтъ можно предвидѣть: „Что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и въ газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, ну гдѣ же намъ читать ваши декламаціи!“

Колоколу пришлось бы прикусить свой желѣзный языкъ.

Вы видите, что нашъ макіавелизмъ, наша политика очень просты. Мы говоримъ о тѣхъ *вопросахъ*, которые *теперь выдвинуты жизнью*, и безъ разрѣшенія которыхъ Левіоѳанъ сядетъ на мель.

Не отвлекаясь нисколько отъ дѣла, мы предоставили другую часть журнала обличеніямъ, особенно лицъ, поставленныхъ выше закона въ Россіи. Трудно себѣ представить, какой сильный отголосокъ находятъ эти обличенія и какой ужасъ наводятъ не только на обличенныхъ, но и на тѣхъ, которые еще не обличены строками „Колокола“. До сихъ поръ эти дѣйствительные тайные газели прыгали по вершинамъ правительственныхъ Альпъ, съ презрѣніемъ посматривая внизъ на облака, изъ которыхъ сыпались уголовные и литературные громы на становыхъ и секретарей, оставляя ихъ въ покоѣ, и вдругъ ихъ дѣла напечатаны русскими буквами съ именемъ и этотъ ужасъ, эта безнравственность ходитъ изъ рукъ въ руки, можетъ попасть въ тайную канцелярію, быть прочтена въ передней...

Вотъ почему для насъ исторія о томъ, какъ Панинъ, министръ юстиціи, хотѣлъ отжилить чужой домъ, важнѣе теоріи о „непосредственномъ правительствѣ“, занимавшей лѣтъ пять тому назадъ западныхъ публицистовъ.

Остается одно слово, прежде чѣмъ я перейду ко второму вопросу нашей статьи.

Вы, мнѣ кажется, съ нѣкоторымъ упрекомъ говорите, что я нахожусь въ другомъ отношеніи къ Александру II, чѣмъ былъ къ

Николаю. Вы думаете, что я перемѣнился; нѣтъ, не я перемѣнился, а Николай, именно тѣмъ, что умеръ. Какъ-же я могу относиться къ Александру II, который никого не казнилъ, никого не ссылалъ въ каторжную работу за мнѣнія, не бралъ Варшавы, не мстилъ Польшѣ десятки лѣтъ, не губилъ русскіе университеты и русскую литературу такъ, какъ относился къ Николаю? Такой упорной неподвижности вы не можете предположить въ живомъ человѣкѣ, у котораго мозгъ не пораженъ мономаніей.

И это не все. Александръ II, и никто иной, поднялъ крикъ „Освобожденія крестьянъ" и я еще разъ повторяю, если онъ ничего не сдѣлаетъ, если этотъ вопросъ и его рѣшеніе ускользнутъ изъ неловкихъ его рукъ, то и тогда имя его останется въ исторіи на ряду съ вѣнценосцами-реформаторами.

Откровенно-ли онъ хочетъ освобожденія? — Я не знаю, и еще больше, мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Это интересно какъ психическій студіумъ его личности — не больше. Рѣчи Александра II, особенно рѣчь къ московскому дворянству, показываютъ, что онъ понимаетъ неотлагаемую необходимость этой мѣры, и если Александръ *нехотя* освободитъ крестьянъ, такъ какъ Николай всю жизнь *хотѣлъ* (какъ нынче стали увѣрять) ихъ освободить, и не освободилъ, то я предпочитаю такую неоткровенность. Понимать необходимость реформы и не противиться ей, это все что можно требовать отъ правительства, остальное мы должны сами сдѣлать, если хотимъ, чтобъ было *хорошо сдѣлано.*

Но Александръ II по своему чину долженъ быть отлученъ нами.... неужели это не такъ же смѣшно, какъ считать по легитимистскимъ и іезуитскимъ учебникамъ: революцію 1789 за мятежъ, Робеспьера за разбойника съ большой дороги, Якобинцевъ за шайку воровъ?

Я знаю, что съ *религіей демократіи* не совмѣстно говорить что нибудь о вѣнценосцахъ, кромѣ зла; признаюсь вамъ, что мнѣ *религія* демократіи также не по сердцу какъ религія пана Фіалковскаго и какъ религія „возсоединеннаго" Симашки. Демократическое православіе также не даетъ воли уму и жметъ его, какъ кіево-печерское. Тотъ кто истину — какая бы она ни была — не ставитъ выше всего, тотъ кто не въ ней и не въ своей совѣсти ищетъ норму поведенія, *тотъ не свободный человѣкъ.*

Въ слѣдующемъ письмѣ позвольте обратиться къ польскому вопросу.

———

(Письмо второе).*)

Милостивый государь,

„Кровь и слезы, отчаянная борьба и страшная побѣда соединили Польшу съ Россіей.

*) Переходя къ польскому вопросу, я замѣчу мимоходомъ, что

„По клоку отрывала Русь живое мясо Польши, отрывала провинцію за провинціей и какъ неотразимое бѣдствіе, какъ мрачная туча подвигалась все ближе и ближе къ ея сердцу. Гдѣ она не могла взять силой, она брала хитростью, деньгами, уступала своимъ естественнымъ врагамъ и дѣлилась съ ними добычей.

„Изъ за Польши приняла Россія первый черный грѣхъ на душу. Раздѣлъ ея останется на ея совѣсти...

. . . . „Сквозь мрачный рядъ событій, сквозь дымящуюся кровь, черезъ висѣлицы, черезъ головы царя и палачей просвѣчиваетъ иной день. Изъ за *насильственнаго* единства виднѣется единство *свободное*, изъ за единства поглощающаго Польшу Россіей—единство основанное на признаніи равенства и самобытности обѣихъ. Скованные поневолѣ колодники, всматриваясь болѣе и болѣе, узнали другъ въ другѣ братьевъ; та же кровь сказалась и семейная вражда изсякаетъ".

Вотъ что мы говорили въ 1853 году.

И потомъ въ 1854: „Чего хочетъ Польша? Польша хочетъ быть свободнымъ государствомъ, она готова быть *соединенной* съ Русью, но съ Русью тоже свободной.... Для того, чтобы соединиться съ нею, ей необходима *полная воля*. Поглощеніе Польши царской Россіей нелѣпость, насиліе..." и мы, требуя отъ русскихъ солдатъ присяги не поднимать оружія противъ Польши, говорили имъ: „Присягу эту требуетъ не царь, а совѣсть народная, народное раскаяніе, и если васъ ждетъ гибель за это, она свята, вы падете жертвой искупленія и вашей мученической кровью запечатлѣете неразрушимый, свободный союзъ Польши и Россіи, какъ начало вольнаго соединенія всѣхъ Славянъ въ *единое и раздѣльное* Земское Дѣло!"

Въ этихъ словахъ, сказанныхъ въ два разныя времени, передъ войной и въ ея разгарѣ, ясно высказано наше мнѣніе о польскомъ вопросѣ, оно осталось неизмѣнно; во имя его я старался

я разрываю всякую солидарность съ мнѣніемъ, выписаннымъ вами изъ „Русскихъ Голосовъ". Вы сами замѣтили, что я никогда не бралъ на себя нравственной отвѣтственности за „Голоса". Въ нихъ были статьи превосходныя, какъ «Проэктъ Освобожденія» въ V книжкѣ и статьи, съ которыми у насъ общее одно желаніе добра Россіи, при совершенной противуположности воззрѣній. Въ „Русскихъ Голосахъ" напечатана доля той письменной литературы, о которой вы говорите, часть ихъ составлена изъ статей ходившихъ изъ рукъ въ руки при Николаѣ и тотчасъ послѣ его смерти. Эти отголоски окрѣпшаго общественнаго мнѣнія имѣютъ свою историческую важность, и ихъ слѣдовало закрѣпить печатью, всѣ они писаны въ умѣренно либеральномъ духѣ, нѣкоторыя съ большимъ знаніемъ дѣла, напримѣръ статья о „кражахъ полковыми начальниками". Вы видѣли, можетъ быть, какъ въ первой книжкѣ меня отдѣлалъ какой-то господинъ за радикализмъ, соціализмъ и другіе грѣхи.

сблизить пропаганды обѣихъ странъ, во имя его подалъ намъ дружескую руку Станиславъ Ворцель.

Польша, какъ Италія, какъ Венгрія имѣетъ *неотъемлемое, полное* право на государственное существованіе, *независимое* отъ Россіи. Желаемъ-ли мы, чтобъ свободная Польша отторглась отъ свободной Россіи, это другой вопросъ. Нѣтъ, *мы этого не желаемъ* и можно-ли этого желать въ то время, какъ исключительныя національности, какъ международныя вражды составляютъ одну изъ главныхъ плотинъ, удерживающихъ общечеловѣческое свободное развитіе. Глубоко ненавидя всякую централизацію, я убѣжденъ, что соплеменныя федерализаціи даютъ среду государственную несравненно болѣе широкую, чѣмъ раздробленіе одного рода на отдѣльныя части. Федеральное соединеніе должно быть вольнымъ даромъ; Россія *не имѣетъ правъ* на Польшу, она должна *заслужить* то, что взяла насильно; она должна *загладить* то, что сдѣлали ея руками, и если Польша не хочетъ этого союза, мы можемъ объ этомъ скорбѣть, можемъ не соглашаться съ ней, но не предоставить ей воли, мы не можемъ, не отрѣкаясь отъ всѣхъ основныхъ убѣжденій нашихъ. Мнѣ кажется, что это ясно.

Но если ясно, что мы признаемъ это право, то, можетъ, надо пояснить, почему мы желаемъ полнаго расторженія двухъ народовъ.

Намъ кажется, что Польша и Россія могутъ рука-въ руку идти одной дорогой къ новой свободной, соціальной жизни.

Мы думаемъ, что Польша и Россія совсѣмъ не въ томъ положеніи, въ которомъ Ломбардія и Австрія. У Австріи и Ломбардіи совершенно розныя дороги; гибель Австріи,—единственное условіе жизни народовъ, скованныхъ ею во едино.

Австрія не народъ, Австрія полицейская мѣра, сводная администрація, она ни къ чему живому не примыкаетъ, не покоится на себя; безъ частей ея нѣтъ, это величайшій историческій призракъ, который когда либо существовалъ. Тутъ все ложь. Римская имперія — въ Германіи. Германская имперія — состоящая преимущественно изъ Славянъ, Итальянцевъ, Мадьяръ. Избирательное правительство — переходящее по наслѣдству. Связь нѣсколькихъ народностей—основанная на перекрестномъ отвращеніи ихъ другъ отъ друга. Тутъ нѣтъ ничего органическаго, отнимите Ломбардію справа и придайте слѣва Молдо-Валахію — и такъ хорошо. Отнимите Галицію и прибавьте Сербію — и это не дурно, die Staats Kanzley пойдетъ своимъ порядкомъ. Имперія австрійская не имѣетъ никакой будущности; когда ее *отмѣнятъ*, тогда только люди настоящимъ образомъ удивятся — какъ могла существовать такая нелѣпость, сшитая изъ лоскутковъ конгрессами и упроченная глубокими дипломатическими соображеніями. Имперія необходимая для равновѣсія — *нѣкогда* чтобъ перетягивать Папу, *теперь* чтобъ Папу не перетянули. Оплотъ Европы противъ Исламизма, спасающій Турцію отъ Россіи. Мнимая представительница германскаго единства, ненавидимая всей Германіей, и защища-

ющая Рейнъ „на По и на Адижѣ“ славянской и венгерской кровью противъ Италіи. Это какой-то сонъ больнаго горячкой!

Совсѣмъ напротивъ Россія, такая же живая личность какъ Англія, какъ Франція, только съ той разницей, что тѣ «ветхія деньми» съ своимъ богатствомъ и съ своими рубцами, съ шевронами на рукахъ и съ истрѣленными, въ послѣдніе три вѣка, знаменами, покрытыя славою, идутъ на отдыхъ, а Россія только что вступаетъ на плацъ, на народное мѣсто исторіи. Самое имя Россіи, оно начинаетъ повторяться въ Европѣ вмѣстѣ съ именемъ Америки.

Россія, кромѣ закраинъ своихъ, представляетъ сплошное единство, сходное по крови, по языку, по духу. Каждый Русскій сознаетъ себя частью всей державы, сознаетъ родство свое со всѣмъ народонаселеніемъ, воспитаннымъ въ томъ же сельскомъ быту, съ своимъ общиннымъ порядкомъ и раздѣленіемъ полей. Оттого-то, гдѣ бы Русскій ни жилъ въ огромныхъ пространствахъ между Балтикой и Тихимъ Океаномъ, онъ прислушивается, когда враги переходятъ русскую границу и готовъ идти на помощь Москвѣ такъ, какъ шелъ въ 1612 и 1812 годахъ.

Но что онъ считаетъ своей границей? Васъ кажется этотъ вопросъ очень занимаетъ. Дѣйствительно, я объ немъ никогда не говорилъ, но совсѣмъ не изъ боязни русскихъ *патріотовъ*. Я ихъ не больше боюсь, какъ *патріотовъ* вообще, а патріотовъ вообще боюсь потому, что ихъ своекорыстный эгоизмъ за цѣлое племя всегда готовъ на неправое стяжаніе, и ихъ любовь къ своимъ — слишкомъ сбивается на ненависть ко всѣмъ другимъ. Развитой человѣкъ можетъ любить по сердцу, по уму, по привычкѣ свою родину, служить ей, умереть за нее, но *патріотомъ* не можетъ быть. Христіанство XVIII вѣковъ тому назадъ стало полоть эту языческую добродѣтель и ничего не сдѣлало, потому что обращало людей къ другой родинѣ, совсѣмъ не существующей, т. е. существующей на небѣ. Ее выполитъ соціализмъ снятіемъ *земныхъ* границъ. Отъ этого люди еще далеки, если и мы съ вами хлопочемъ еще объ ихъ обозначеніи.

Что касается до главнаго вопроса, до самобытности Польши, онъ рѣшенъ самимъ языкомъ; ни одинъ русскій крестьянинъ не считаетъ Польшу Россіей. Вся Русь говоритъ: „въ Польшу, изъ Польши“. Но гдѣ черта, за которой оканчивается Русь и начинается Польша? Это опредѣлить труднѣе, но не изъ патріоизма, а изъ того, что у насъ не достаетъ *самаго главнаго* элемента для рѣшенія вопроса.

Что мы возьмемъ за его основаніе? Присоединеніе Червонной Руси къ Польшѣ, или присоединеніе Украйны къ Россіи, въ половинѣ XVII столѣтія; между ними цѣлый вѣкъ борьбы Рѣчи-Посполитой съ казаками. Въ продолженіе ея два стремленія, два противуположныхъ потока обозначаются въ южной Руси: шляхетство, паны — тянутъ къ аристократической республикѣ; нижній слой, народъ, казаки—напротивъ въ постоянной враждѣ съ Польшей. Хмѣльницкій не изъ любви къ Москвѣ, а изъ нелюбви къ

Польшѣ отдался царю. Москва или лучше Петербургъ обманули Украйну и заставили ее ненавидѣть Москалей. Какъ же рѣшить вопросъ объ ней? — Давность владѣнія ничего не доказываетъ. Утраченное владѣніе еще меньше. Право завоеванія? Послѣдній захватившій будетъ владѣть, пока другая сила его сгонитъ. Завоеваніе фактъ, а не право.

Естественныхъ границъ нѣтъ, ни цѣпи горъ, ни большихъ рѣкъ; остается искать иныхъ основаній въ самой жизни народа, въ его бытѣ... Тамъ, гдѣ народъ исповѣдуетъ православіе, говоритъ языкомъ болѣе близкимъ къ русскому, чѣмъ къ польскому, тамъ, гдѣ онъ сохранилъ русскій крестьянскій бытъ, міръ, сходку, общинное владѣніе землей,—тамъ онъ вѣроятно захочетъ быть Русскимъ. Тамъ, гдѣ народъ исповѣдуетъ католицизмъ или унію, тамъ, гдѣ онъ утратилъ общину и общинное владѣніе землей, тамъ вѣроятно сочувствіе съ Польшей сильнѣе, и онъ пойдетъ съ ней.

Но скажите, что же мы за наслѣдники вѣнскаго конгресса, что будемъ расписывать, какая полоса земли куда принадлежитъ, *не спросясь людей на ней живущихъ*. Да вѣдь такъ парижскіе дипломаты недавно совѣщались о томъ, что слѣдуетъ желать и чего не слѣдуетъ желать Руманамъ въ Молдо-Валахіи.

Ну, если послѣ всѣхъ нашихъ разсужденій, Украйна, помнящая всѣ притѣсненія Москалей, и крѣпостное состояніе, и наборы, и безправіе, и грабежъ, и кнутъ съ одной стороны и не забывая съ другой, каково ей было и за Рѣчью-Посполитой съ жолнерами, панами и коронными чиновниками, не захочетъ быть ни *Польской*, ни *Русской?* По моему вопросъ разрѣшается очень просто. Украйну слѣдуетъ въ такомъ случаѣ признать свободной и независимой страной. У насъ, людей изгнанія, печальныхъ свидѣтелей столькихъ неудачныхъ сочетаній и распаденій, не можетъ, не должно быть и рѣчи о томъ, кому должна *принадлежать* та или другая часть населенной земли. Въ Малороссіи живутъ люди, люди подавленные рабствомъ, но не настолько сломанные правительствомъ и помѣщиками, что потеряли всякое чувство народности, совсѣмъ напротивъ, родовое сознаніе у нихъ очень развито... что же это будетъ за шагъ къ ихъ освобожденію, когда снимая московскія цѣпи, имъ скажутъ, что они должны *принадлежать* Польшѣ.

Развяжемъ-те имъ руки, развяжемъ-те имъ языкъ, пусть рѣчь ихъ будетъ совершенно свободна и тогда пусть они скажутъ свое слово, перешагнутъ черезъ кнутъ къ намъ, черезъ папежъ къ вамъ, или, если они умны, протянутъ намъ обоимъ руки на братскій союзъ и на независимость отъ обоихъ.

Вотъ почему я такъ высоко цѣню федерализмъ. Федеральныя части связаны общимъ дѣломъ и никто никому не *принадлежитъ*, ни Женева Берну, ни Бернъ Женевѣ. Въ 1851 году католическая реакція въ фрибургскомъ кантонѣ вывела изъ терпѣнія протестантскій Муртенъ. Жители Муртена хотѣли отложиться отъ кантона, дѣло не состоялось, но никому и въ голову не пришло говорить о томъ, принадлежитъ-ли Муртенъ кантону или нѣтъ, из-

мѣняетъ-ли Муртенъ или нѣтъ. Федеральныя единства могутъ даже существовать при такомъ антагонизмѣ, какой находится между Сѣверными Штатами и Южными въ Америкѣ. Централизація, жертвующая самобытностью частей, стремящаяся къ полицейскому однообразному фрунту, убивающая все индивидуальное, характерное, мѣстное, всегда будетъ качаться между Николаемъ и Бонапартомъ. Съ другой стороны полное расторженіе народнаго единства на самобытные суставы, сдѣлаетъ изъ нихъ Германію — четвертованная, она лежитъ въ своемъ разчлененіи, не имѣя возможности ни встать, ни двинуться.

Желаніе развинтить круто скрученные возжи казарменнаго деспотизма, нисколько не совпадаетъ съ желаніемъ полнаго отчужденія своихъ судебъ отъ судебъ Россіи. Для того, чтобъ сказать *можно-ли идти* съ Россіей или нѣтъ, *надобно* посмотрѣть, что выйдетъ изъ общаго движенія, въ которое Россія ринута...

Неужели вы въ самомъ дѣлѣ не видите, какъ подтаиваетъ снѣжная вершина, давящая насъ. Николай замѣтилъ, что жизнь отлетѣла отъ его самодержавія, что у него нѣтъ дѣла, а только казни... Онъ выдумалъ войну, его побили.... два градуса меньше. — Онъ умеръ—десять градусовъ—а дѣла живаго, а жизненной задачи все нѣтъ. Въ минуту какого-то вдохновенія, а можетъ и отчаянія, Александръ II нашелъ дѣло, роковое, необходимое и дѣло живое: *Освобожденіе Крестьянъ*. Тяжелыя ворота, скрыпя наржавыхъ петляхъ, отворились въ новую эпоху, тутъ старые квартальные и хожалые, Орловы и Закревскіе, лакеи и шпіоны, Панины и Муравьевы, по старой памяти, стоятъ на дорогѣ, толкаютъ назадъ, не пускаютъ идти, придаютъ себѣ видъ силы. Если они помѣшаютъ, это ужь наша вина! Вотъ поэтому-то я снова возвращаюсь къ тому, что всѣ наши усилія должны быть сосредоточены на одномъ вопросѣ, собраны около однаго знамени, in hoc signo vincetis!

Выборъ вопроса не нами сдѣланъ, но мы лучшаго не могли бы сдѣлать. И вотъ опять причина, почему мы оставили все на свѣтѣ и прилѣпились къ одному вопросу — *объ освобожденіи крестьянъ съ землею*. Судить насъ стало быть не слѣдуетъ за выборъ вопроса, а за образъ обсуживанія его, сообразенъ-ли онъ съ основами нашихъ обсужденій или нѣтъ?

Если Россія, освободивши крестьянъ съ землею, дѣйствительно взойдетъ въ ту новую фазу жизни, о которой мы говорили, я не думаю, чтобъ Украйна захотѣла отдѣлиться отъ нея. Она тогда не будетъ имѣть тѣхъ причинъ, которыя заставляли ее въ половинѣ XVII столѣтія бросаться къ Татарамъ, къ Москвѣ отъ дворянски-католическаго ига Рѣчи-Посполитой, а при Петрѣ I отдаться Шведамъ.

Если-же Россія, запнувшись на первомъ шагѣ, останется подъ розгой помѣщика, подъ палкой полиціи, безъ суда, безъ правъ, управляемая ординарцами и писарями; если все это движеніе окажется слабымъ и мы безропотно воротимся къ николаевскому

времени, тогда не только Польшѣ, не только Украйнѣ не слѣдуетъ оставаться съ Россіей, но слѣдуетъ имъ соединиться, идти на Москву и разгромить все это исполинское зданіе рабства.

Вотъ вамъ весь нашъ взглядъ, и чтобы не сказали русскіе патріоты или ваши, мы его не измѣнимъ и ему не измѣнимъ потому, что мы убѣждены въ его истинѣ и сердцемъ, и умомъ.

Мѣняется у насъ не fond, а темы.

Вы съ симпатіей говорите о небольшой статьѣ моей, писанной въ 1854 году, о которой я упомянулъ въ началѣ письма. Она была вызвана обстоятельствами. Тогда думали, что Польша во время крымской войны отложится, и мы говорили русскимъ солдатамъ, стоявшимъ въ Польшѣ: „Ваша участь всѣхъ хуже. Товарищи ваши въ Турціи — солдаты, вы въ Польшѣ будете палачами. Вамъ придется краснѣть вашей храбрости.... знаемъ мы, что вы не по своей волѣ пойдете на Поляковъ, но въ томъ-то и дѣло, что вамъ пора имѣть *свою* волю... Не легко неволить десятки тысячъ людей, съ ногъ до головы вооруженныхъ". Изъ этихъ словъ вы видите ясно наше мнѣніе; изъ ихъ повторенія то, что оно нисколько не измѣнилось. Но когда вы мнѣ говорите, чтобъ я перепечаталъ въ „Колоколѣ" это воззваніе къ солдатамъ, то я васъ не понимаю. Развѣ кто нибудь говоритъ о возстаніи въ Польшѣ, о приготовленіи русскихъ войскъ? Зачѣмъ-же я стану уговаривать людей не поднимать оружія, когда оружіе и безъ того стоитъ въ сошкахъ?

Нѣтъ, если мы будемъ обращаться теперь къ солдатамъ, мы къ нимъ обратимся не съ этой рѣчью. Мы имъ теперь не о Польшѣ будемъ говорить: мы скажемъ имъ о томъ, чтобъ они подумали о смертномъ грѣхѣ усмирять крестьянъ; о томъ, что солдатъ, который штыкомъ или пулей убьетъ крестьянина—отцеубійца, что онъ своимъ оружіемъ, помогая помѣщику, сквернитъ свою сестру, что онъ своей помощью кладетъ родную мать подъ розги, и что если онъ подумаетъ, то увидитъ, что безъ его слѣпаго повиновенія крѣпостное состояніе рухнетъ, увлекая съ собой все препятствующее освобожденію.

Вотъ что мы будемъ говорить солдату. И если мы не говорили еще это, то потому, что вопросъ, кажется, разрѣшится безъ участія штыковъ и картечи. Довольно страдалъ русскій крестьянинъ, довольно орошалъ онъ землю потомъ и слезами, на что же еще его кровь!

Я вамъ передалъ добросовѣстно нашу мысль и откровенно разсказалъ *экономію* нашихъ дѣйствій. Вы мнѣ повѣрите, въ этомъ мнѣ служитъ порукой ваша статья; но есть ограниченные умы и узкія народныя ненависти, которыхъ убѣдить я не берусь, они ненавидятъ не разсуждая. Возьмите (чтобъ не говорить о своихъ) статьи нѣмецкихъ демократовъ, кичащихся своимъ *космополитизмомъ* и вглядитесь въ ихъ злую ненависть не только ко всему русскому, но ко всему славянскому... Еслибъ эта ненависть была сопряжена съ какимъ нибудь желаніемъ, чтобъ Россія, Польша

были свободны, порвали бы свои цѣпи, я понялъ бы это. Совсѣмъ не то. Такъ какъ средневѣковые люди, ненавидя Евреевъ, не хотѣли вовсе ихъ совершенствованія, такъ всякій успѣхъ нашъ въ гражданственности только удвоиваетъ ненависть этихъ ограниченныхъ, заклепанныхъ умовъ. По счастью на этотъ разъ они имѣютъ дѣло не съ разсѣяннымъ и бѣднымъ племенемъ, а съ частью свѣта.

Между прочимъ эта круговая порука славянскаго міра, которую поняли враги ненавистью, обязываетъ насъ подумать о ней. Одни-ли въ самомъ дѣлѣ судьбы всего славянскаго міра въ будущемъ или нѣтъ?

Вы уже видѣли, что мы разрѣшаемъ этотъ вопросъ *федерализаціей.*

Если Польша хочетъ инаго рѣшенія, да будетъ на то воля ея. Но разрывая семью, пусть она короче узнаетъ Русь не служащую, не мундирную — а Русь пашущую землю, притѣсненную мундиромъ, Русъ мысляшую и едва начинающую высказываться — тогда она оставитъ насъ безъ международной ненависти и безъ горькихъ словъ. Оскорбленіе народа, съ которымъ она такъ долго боролась, и который имѣлъ такое тяжелое и продолжительное вліяніе на ея судьбы, отброситъ на нее самое темную тѣнь.

Въ 1853 году, 29 ноября, входя на трибуну польскаго митинга въ Лондонѣ, я сказалъ: „Я представился моимъ польскимъ друзьямъ не какъ отрѣшенное лице отъ своего отечества, не какъ лице желающее, чтобъ забыли его происхожденіе, совсѣмъ напротивъ, я прямо говорилъ о своей любви къ Россіи и о моей вѣрѣ въ ея будущность. И они меня такъ и приняли — *случайнымъ представителемъ* будущей Россіи, той Россіи, которая ненавидитъ преступленія своего правительства и хочетъ смыть съ себя кровь польскихъ мученниковъ!“

Этими словами, которыя были покрыты рукоплесканіями вашихъ соотечественниковъ, позвольте мнѣ заключить мое письмо.

— —

ОТВѢТЪ НА ПИСЬМО ИЗЪ ПОЛЬШИ.

Милостивый Государь,

Изложивъ такъ недавно мое мнѣніе о польскомъ вопросѣ, я не думалъ, что мнѣ снова придется и такъ скоро приняться за перо, чтобъ говорить о томъ же дѣлѣ.

Правда, я получилъ съ тѣхъ поръ нѣсколько писемъ и одну польскую статью, очень лестную для меня, подъ заглавіемъ «Słowko Prawdy», но какъ ни она, ни всякіе вызовы на полемику не могли ничего прибавитъ къ ясности вопроса, то я и рѣшился не печатать ни писемъ, ни статьи, и не начинать полемики.

Какія бы разномыслія у насъ ни являлись съ разными оттѣнками польской эмиграціи, отъ соціалистовъ — съ которыми мы всего ближе, до олигарховъ партіи князя Чарторижскаго, съ ко-

торыми мы всего дальше — мы слишкомъ уважаемъ ихъ вѣру, ихъ твердость, ихъ несокрушимое постоянство въ несчастіи и слишкомъ сознаемъ все зло, сдѣланное Польшѣ русскими руками, чтобъ быть ихъ противниками; скорѣе мы вынесемъ несправедливость къ намъ, чѣмъ будемъ поднимать усобицу. Вотъ почему мы и рѣшились во всѣхъ случаяхъ, когда личное несогласіе, неимѣющее *общаго интереса* будетъ приводимо къ рѣчи, пользоваться тѣмъ правомъ, котораго у насъ не отнималъ самъ Николай, *правомъ молчанія*.

Но только что я принялъ это рѣшеніе, пришло ваше письмо.

Уже то самое, что оно *пришло изъ Польши*, придаетъ ему большую важность. Сверхъ того въ немъ видна такая обдуманность, такая завершенная, замкнутая мысль, такое энергическое убѣжденіе, что я счелъ долгомъ своимъ сказать, почему я его не помѣщаю въ „Колоколѣ".

Не помѣщаю я его за его *тонъ*. Не за его тонъ со мною, совсѣмъ напротивъ, вы слишкомъ высоко поставили мои труды, мнѣ остается васъ много и много благодарить за всѣ ваши отзывы. Но не обо мнѣ рѣчь, о себѣ я помѣщалъ самыя заносчивыя письма. Нѣтъ, я не печатаю вашего письма за тонъ, съ которымъ вы говорите *о Россіи и Русскихъ*.

Отрицайте все, что я утверждаю, отрицайте *новую силу*, входящую Россіей въ исторію, разрушайте одну за другой наши надежды... что хотите, это будетъ мнѣніе, мы объ этомъ будемъ спорить; говорите о страшной гангренѣ рабства и воровства, о грабежѣ, превращенномъ въ администрацію, о подломъ уничиженіи, принимаемомъ за обязательную нравственность, о китаизмѣ чинопочитанія, о богопочитаніи царя—я сейчасъ все это помѣщу, хотя и трудно вамъ больше сказать объ этомъ, чѣмъ мы говоримъ. Но я не могу по совѣсти допустить гуртовыхъ обвиненій, падающихъ на цѣлый народъ, ничего не доказывающихъ кромѣ раздраженія.

Въ заключеніи моего втораго письма *о Россіи и Польшѣ* (34 листъ „Колокола") я сказалъ: „Если Польша хочетъ иного рѣшенія, да будетъ на то воля ея. Но разрывая семью, пусть она короче узнаетъ Русь, Русь не служащую, не мундирную, а Русь пашущую землю, притѣсненную мундиромъ, Русь мыслящую и едва начинающую высказываться. Тогда она оставитъ насъ безъ горькихъ словъ. Оскорбленіе народа, съ которымъ она такъ долго боролась и который имѣлъ такое тяжелое и продолжительное вліяніе на ея судьбы, отброситъ на нее самое темную тѣнь."

Я дѣйствительно не понимаю, какая цѣль въ томъ, чтобы разтравлять едва закрывшіяся раны, поддерживать озлобленіе, повторять упреки, смотрѣть назадъ — когда надобно ринуться впередъ, и это въ то время, когда *ни одинъ порядочный русскій* и не думаетъ оправдывать всѣхъ ужасовъ прошедшаго.

Вотъ что вы говорите въ началѣ письма: „Мы прежде всего благодаримъ васъ отъ души за благородную и откровенную рѣчь, съ которою вы обратились къ полякамъ. Она звучитъ въ ушахъ

нашихъ звуками такими новыми, ея смыслъ такъ рѣзко противуположенъ *заповѣдямъ петербургскихъ нашихъ моисеевъ*, что мы невольно увлекаемся ею и гордое молчаніе политическаго колодника замѣняемъ на откровенное сознаніе всего, что у насъ лежитъ на сердцѣ. Мы были *удивлены, сознаюсь вамъ откровенно*, когда дверь темницы нашей отворилась, и передъ нами предсталъ *русскій*, вовсе не похожій на знакомыя лица Новосильцовыхъ, Мухановыхъ и Бибиковыхъ."

Вы удивились оттого, что вы не знаете ни Россіи, ни современнаго движенія умовъ въ ней, ни русской литературы. А можно ли судить страну, не имѣющую политической трибуны, не зная ея письменности, т. е. не выслушавъ ее. Еслибъ вы были знакомы съ внутренней русской жизнію, то васъ бы нисколько не удивило, что я не похожъ на Бибикова; вы увидѣли бы, что сначала нынѣшняго вѣка одна кучка людей за другой постоянно выходила изъ забитаго фронта, очень хорошо зная, чему подвергалась и говорила: „Умирающіе проклинаютъ тебя" — чудовищному самовластью, и всѣ они, шедшіе на висѣлицу, на каторгу, на поселеніе, въ казематы нисколько не походили ни на Муравьева, ни на Новосильцова, ни на Рожнецкаго, ни на Абрамовича... Вы слыхали о Декабристахъ — а знакома ли вамъ дѣятельность такихъ людей, какъ Бѣлинскій, какъ Грановскій, образовавшихъ цѣлыя поколѣнія молодыхъ людей. Знакомъ ли вамъ объемъ, въ которомъ обсуживается вопросъ поземельнаго владѣнія въ русскихъ обозрѣніяхъ и журналахъ? Я сомнѣваюсь.

Вы выходите совсѣмъ вооруженный, но ваше рыцарское забрало мѣшаетъ вамъ разглядѣть противника. Снимите средневѣковые доспѣхи, тогда вамъ будетъ легче понять насъ—всего менѣе средневѣковыхъ.

Въ нашемъ смирительномъ домѣ, гдѣ намъ не позволяли ни двигаться, ни говорить, мы, скуки ради, перебирали на свой страхъ дѣла, давно порѣшенныя въ Европѣ и сданныя въ архивъ: и нашли, что большей частью они или вовсе не рѣшены, или рѣшены пристрастно... Отъ этого мы спрашиваемъ, доискиваемся тамъ, гдѣ западное воззрѣніе справляется и отвѣчаетъ.

Мы спрашиваемъ напримѣръ, можетъ ли человѣкъ отвѣчать за свои поступки, сдѣланные въ другой возрастъ. А вы не сомнѣваетесь народъ цѣлый отдавать подъ уголовный судъ за рядъ событій, совершенныхъ прежними поколѣніями. Какъ будто исторія развивалась такъ обдуманно, преднамѣренно и сознательно, какъ ходы шахматнаго игрока?

Неужели вы еще вѣрите, что есть народы доблестные и народы преступные, народы самоотверженные и преданные и народы алчные и своекорыстные? Эта точка зрѣнія Израиля и Франціи не можетъ вынести никакой критики. На этомъ основаніи три поколѣнія бранили „коварный Альбіонъ" и хвалили „великодушныхъ Галловъ". Какіе же въ самомъ дѣлѣ между народами Каины и Авели? разные народы какъ разныя животныя породы раз-

личаются свойствами, а потомъ развитіемъ, столкновеніями. Всѣ народы страшные эгоисты, всѣ лили рѣками кровь свою, чужую, всѣ были пиратами и флибустьерами, а когда награбили довольно, расширились до нельзя, тогда цѣломудренно заговорили о законномъ владѣніи: «нитки чужой намъ не надо».

Пора смотрѣть на исторію съ ея естественной, физіологической точки зрѣнія, безъ всякой примѣси религіозныхъ и цивическихъ символовъ вѣры и катехизисовъ.

Въ этомъ *неуваженіи* къ общимъ предразсудкамъ, вамъ, можетъ быть, откроется одна изъ сторонъ русской мысли и русскаго духа. Онъ большею частью лѣнивъ, спитъ себѣ на растяжку, но когда просыпается, его трудно убаюкать авторитетами. Не приносся съ собою никакихъ унаслѣдованныхъ догматовъ, безъ связи съ своимъ былымъ, книжно соединенный съ чужими преданіями, онъ свободно, безбоязненно щупаетъ, осматриваетъ и качаетъ головой тамъ, гдѣ не вѣритъ. Отъ этого онъ не благоговѣетъ безъ разбора и не презираетъ по наслѣдству.

Вотъ вамъ недавній примѣръ. Вся московская и петербургская литература безъ различія партіи протянула дружескую руку евреямъ и возстала противъ плоской выходки какого-то журналиста. Того католическаго чувства ненависти къ евреямъ, которое если не осталось въ законодательствѣ, то осталось въ нравахъ именно въ Польшѣ, въ Россіи нѣтъ. Гоненіе евреевъ было дѣломъ правительства. Общество не говорило, потому что оно ничего не говорило, рука квартальнаго лежала на его губахъ. Какъ только онъ приподнялъ одинъ палецъ, оно и высказалось.

Дѣло въ томъ, что у насъ собственно нѣтъ *завѣтныхъ* основъ, нѣтъ прочно вкопанныхъ въ разумѣніе межевыхъ камней, означающихъ предѣлы. Мы не сложились, мы *еще ищемъ своихъ началъ*. Это даетъ намъ совершенно иную роль относительно всѣхъ вопросовъ, особенно если вы вспомните, что fiasco всѣхъ революцій въ Европѣ произошло не отъ внѣшнихъ неудачъ, а отъ вдругъ поразившаго сознанія тощести, бѣдности тѣхъ началъ, которыхъ хватило на борьбу съ католицизмомъ и феодализмомъ, но на которыхъ строить новаго нельзя; если вы вспомните, что движеніе затѣмъ пріостановилось, что западный человѣкъ ищетъ *новыхъ основаній* своего быта.

Откуда бы ни шли два пункта за кладомъ, какой бы цвѣтистой дорогой ни шелъ одинъ, какой бы песчаной ни шелъ другой, но встрѣтившись, разстояніе для обоихъ одно, и кто скорѣе придетъ —зависитъ отъ крѣпости ногъ и отъ тяжести ноши.

Вы, какъ вообще европейскіе народы, несете очень много. Вы горды вашей исторіей и совершенно правы, вамъ нельзя себя уронить, вы имѣете сзади, какъ Графъ въ „Панѣ Тадеушѣ“ вмѣстѣ съ замкомъ, блестящія воспоминанія и завѣщанную месть, и то и другое выступало все рельефнѣе, поэтичнѣе, мрачнѣе на сѣромъ, прозаическомъ фондѣ николаевскаго деспотизма. Вы связаны съ прошедшимъ, вамъ надобно поддержать имя, вашу исторію,

вашу семейную хронику, въ ней на манеръ Тита Ливія все ярко и свѣтло, вездѣ дѣйствуютъ одни герои добродѣтели, „каждый дворянинъ можетъ быть королемъ, и каждый холопъ можетъ быть дворяниномъ“, въ ней гнетъ шляхетскій не тяготитъ, и іезуитъ несводитъ проклятія на цѣлыя деревни, населенныя христіанами восточнаго толка. А отъ чего это благочестіе къ вашимъ предкамъ? Отъ того, что вы принадлежите слишкомъ хорошей фамиліи, чтобъ дурно говорить о ней.

А мы? Мы выросли, когда мать съ отцомъ были въ разводѣ. Мы видѣли, какъ отецъ, пьяный солдатъ, позорилъ и билъ мать, бѣдную крестьянку, безмолвно рыдавшую. Мы ненавидѣли отца, но съ измалу забитые, боялись его какъ огня. Мы можетъ любили бы мать, но насъ пріучили не уважать ее. Насъ воспитывали въ томъ родѣ, какъ племянникъ Рамо у Дидро воспитывалъ своего сына, намъ съ утра до ночи все окружающее твердило одну нравственную заповѣдь: *«сила все, успѣхъ все.»* Въ этой школѣ развились—Меньшиковы, Долгорукіе, Орловы, Потемкины, Зубовы, готовые сажать на престолъ и ссаживать съ престола, готовые душить царей, избивать въ неволѣ заключенныхъ царевичей, красть княженъ Таракановыхъ.*)

Школа наша была не лучше родительскаго дома. У насъ Николай запретилъ преподавать на польскомъ языкѣ, и вы стали имъ гордиться. Насъ увѣрили, что стыдно говорить по русски не мужику; насъ увѣрили, что пошлое варварство бритья бороды — значитъ образованіе; что носить чужое платье вмѣсто своего — хорошій тонъ. И вотъ мы давай говорить по французски, одѣваться по нѣмецки и съ такимъ неистовымъ усердіемъ бриться, что борода и ея бритье взошли въ коренныя основы государственнаго быта, въ уголовное законодательство, въ общественную нравственность.

На все на это были конечно причины, не мѣсто останавливаться на этомъ. Это былъ трудный и уродливый ростъ.

Россія, какъ бываетъ съ медленными и упрямыми дѣтьми-крѣпышами, то подъ розгой, то безъ надзора, то лежа на печи, то на босую ногу въ снѣгу,— все росла и крѣпла, колеблясь между

---

*) Когда Пестель во время сношеній съ Крижановскимъ, требовалъ смерти Цесаревича, Поляки сначала просто отвергли предложеніе его, и потомъ приняли глухо и уклончиво. Во время коронаціи Николая въ Варшавѣ, знаменитая школа Подхорунжихъ предлагала либеральнымъ вожатаямъ, когда Николай пойдетъ мимо ихъ въ церемоніи, дать залпъ по немъ. Все шарахнулось отъ этого предложенія и Лафайетъ Нѣмцевичъ сказалъ, что Польша никогда не обагряла рукъ своихъ въ крови своихъ королей. Наконецъ рыцарскій духъ Польши отпустилъ въ 1830 году Цесаревича вопреки всякаго здраваго смысла. Изъ моихъ словъ никакъ не слѣдуетъ, чтобъ я одобрялъ Орловыхъ и Зубовыхъ, я констатирую только разницу воспитаній и воззрѣній.

полнѣйшимъ рабствомъ и самымъ необузданнымъ своеволіемъ между царемъ и казачествомъ. Казачеству, вы знаете, шляхетская свобода Рѣчи-Посполитой была также ненавистна, какъ иго царя московскаго. Что за дикое, неслыханное явленіе какой нибудь Стенька Разинъ. Это какое то безумное метаніе барса, какіе-то опыты мощи не сознательной, но страшной—удаль, дерзость, злодѣйство, отвага. Прибавьте Стенькѣ Разину опредѣленную цѣль, дайте ему вмѣсто казацкой голи — армію и посадите его на престолъ, вотъ вамъ Петръ I.

Разрывъ, сдѣланный Петромъ I въ нашей исторіи, лишилъ насъ народныхъ преданій; у насъ нѣтъ умилительныхъ, свѣтлыхъ воспоминаній, идущихъ изъ рода въ родъ; наши воспоминанія не идутъ дальше господскаго дома — гдѣ сѣкутъ, казармы — гдѣ бьютъ палками, канцеляріи — гдѣ опредѣляютъ удары кнутомъ, зимняго дворца — передъ которымъ вѣшаютъ и хоронятъ живыхъ въ алексѣевскомъ равелинѣ.

Привитая намъ западная традиція, не смотря на свое огромное вліяніе, не могла сдѣлаться для насъ тѣмъ кровнымъ, обязательнымъ, своимъ, какъ она выработалась на Западѣ и въ высшихъ слояхъ Польши.

Вотъ почему я сказалъ, что у насъ ноши меньше, — мы бѣдны.

Мишле, пораженный этимъ явленіемъ, подумалъ, что у Русскихъ нѣтъ нравственнаго чутья. „Не чутья у насъ недостаетъ, замѣтилъ я ему, а нравственности, соотвѣтствующей *нашему чутью*. Намъ нечего хранить, нечего поддерживать, намъ дорога легка во всѣ стороны. Мы потому думаемъ, что намъ найдется дѣло въ будущемъ, что мы не были республикой какъ Греція, не были законодателями какъ Римляне, не были крестоносцами.“

Мы не возвращаемся къ старымъ маіоратамъ славы, — а толчемся въ новую жизнь, принося съ собою не воспоминанія, а дерзкую самоувѣренность, горячую надежду и притязаніе на все.

Но вѣдь эти права, можете вы сказать, принадлежатъ вамъ столько же, сколько и Готентотамъ. Безъ сомнѣнія. Только подождите того времени, когда Готентоты составятъ огромную имперію, будутъ давить вліяніемъ своимъ Америку и Африку, и главное будутъ имѣть ту *дерзкую самоувѣренность*, тѣ горячія надежды и вѣрованія, которыя мы имѣемъ.

Тутъ нѣтъ ни юридическихъ правъ, ни теоретическихъ построеній. Россія не теорія, Россія фактъ; его надобно признать для того, чтобъ разбирать и понять. Мы можемъ разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало быть Монъ-Блану въ Савойѣ, но это будетъ лишнее; Монъ-Бланъ фактъ, котораго не сотрешь разсужденіемъ.

Европа въ Россіи не нуждалась... да вѣдь она и въ Америкѣ не нуждалась. Двѣ страны эти *нарождались* по сторонамъ ея, какъ два огромныхъ флигеля.

Смыслъ и значеніе Америки и Россіи только теперь начинаетъ проясняться, особенно съ 1848 года. До того времени аристократическая Европа не вводила въ свои общіе счеты ни Америки, ни

Россіи; заключенная въ бѣличьемъ колесѣ полу-схоластическихъ, полу-религіозныхъ, полу феодальныхъ вопросовъ, Европа спорила о принципахъ, о вѣчныхъ началахъ, не уступая ни іоты,—пока Америка росла на волѣ, мы росли въ колодкахъ.

Споры ихъ мы могли усвоить, но они не наши, мы на нихъ смотримъ съ тѣмъ уваженіемъ и съ тѣмъ интересомъ, съ которымъ вы слушали-бы дискупію Кальвина о servo et libero arbitrio, или такъ какъ я въ самомъ дѣлѣ разъ въ жизни слушалъ преніе объ opus operatum и opus operans.

Все это интересно, но, выслушавши, все-же пойдешь къ своимъ *дѣламъ*.

— Къ какимъ дѣламъ?

А хоть бы къ *освобожденію крестьянъ съ землею*. Разница нашихъ воззрѣній на этотъ вопросъ очень рѣзко опредѣлилась. Я думаю, что онъ для насъ важнѣе того, отдѣлится ли Финляндія или Грузія отъ Россіи, или нѣтъ; скоро ли замѣнится толстый и глупый сводъ Николая тонкимъ и узкимъ сводомъ Наполеона. А вы только снисходительно говорите объ немъ: „безспорно это шагъ впередъ, но шагъ *исключительно экономическій*“ Excusez du peu... Какъ будто экономическій вопросъ не есть главнѣйшій, не есть существеннѣйшій, единый спасающій. До сихъ поръ люди все толковали о фасадѣ, о гербахъ, о заборахъ и сѣняхъ, о границахъ и церемоніалахъ. Тѣ, которые сказали міру, ты печешься о многомъ единоже на потребу, *экономическое устройство*, тѣ первые поняли, что полипникъ готовъ, что пора жить и полно обстроиваться. Свести кровавые религіозные вопросы на человѣческіе, и кровавые политическіе вопросы на экономическіе, въ этомъ вся задача современности.

Вы на экономическій вопросъ смотрите, я увѣренъ, какъ на подчиненный, матеріальный и нѣсколько грубый. Отъ этого освѣщеніе всѣхъ вопросовъ выходитъ у насъ разное.

Я очень понимаю революціонный романтизмъ, идеально-восторженное воззрѣніе на судьбы народовъ, это воззрѣніе Маццини, Ворцеля, которыхъ вы помянули въ вашемъ письмѣ; въ немъ бездна поэзіи, напоминающей намъ нашу юность.

Крутъ переходъ отъ него на американскіе верфи и доки, на наши мірскія сходки, спорящія объ условіяхъ освобожденія съ землею... отъ величавой, монастырской обители — на рынокъ, отъ ораторіи — къ торговому крику съ пѣснями, кукольными комедіями, трескомъ колесъ.

Вамъ жаль той жизни, вы бережете ваши своды, ваши оживы, чернѣющіе отъ времени; мы съ Киркой въ рукѣ, и замаренные известью, хотимъ строить, порядкомъ не зная еще что.

Эта разница будетъ насъ преслѣдовать во всемъ; въ заключеніе приведу два примѣра.

Я сказалъ, что вопросъ о границахъ весьма равнодушенъ для меня, и прибавилъ, что впрочемъ есть физіологическій признакъ — *православіе*, языкъ и крестьянскій бытъ. Вы, мнѣ кажется, по-

няли это такъ, что я даю какое-то преимущество православію надъ католицизмомъ. Упрекая меня, вы говорите, что вы „не папскій миссіонеръ, а я не Филаретъ, чтобъ толковать о религіи". Изъ этого я просто заключаю, что вы еще не свободны отъ религіи. Я не считаю ни католицизмъ „высшей степенью развитія", ни православіе; для меня эти вопросы сами по себѣ не существуютъ, такъ какъ для меня не существуетъ вопроса, дѣйствительно-ли Богъ Аписъ былъ богъ и быкъ. Но вѣдь тѣмъ не менѣе *православіе* составляетъ отличительный признакъ, такъ какъ исламизмъ или будаизмъ. И въ настоящемъ вопросѣ признакъ этотъ получаетъ особенную важность. Католицизмъ представляетъ религію именно отживающаго міра, міра *воспоминаній*, а православіе ничего не представляетъ; оно сдѣлалось исключительной религіей и начало гоненія только при Николаѣ. Ну а вы сами знаете, что у этаго Пинети все въ рукахъ превращалось въ кнутъ.

Вы говорите, что все „русско-польское дворянство по Днѣпръ католическое". Да вѣдь я не вѣрю, чтобъ дворянство выражало народность того края. Вы говорите, что это самая *образованная часть*, и прибавляете, что еслибъ не Екатерина II, они давно сдѣлали бы изъ народа католиковъ или уніатовъ. Какая же польза была бы отъ этого? Неужели Богемія орудіями пытки вновь соединенная съ папизмомъ, даетъ завидный примѣръ? Какими средствами дворяне обращали прежде, это мы знаемъ изъ Украинскихъ лѣтописей и изъ исторіи Лелевеля; какъ бы они обращали въ XVIII столѣтіи, этого я и понять не могу, Или они дѣлали бы это съ вѣрой—и тогда они были бы отсталые фанатики, или безъ вѣры — тогда изъ чего же безпокоиться.

Далѣе вы говорите,что если развязать вамъ, Украйнѣ, раскольникамъ узы и снять кандалы, всѣ уйдутъ безъ оглядки восвояси и царскій острогъ опустѣетъ. „Сзывайте насъ послѣ — не созовете, да и не зачѣмъ".

Можетъ и въ самомъ дѣлѣ было бы хорошо распасться, чтобъ насильственный узелъ развязался, чтобъ намъ можно было наконецъ свободно говорить и обсуживать вопросы, и говорить откровенно, безъ всякихъ заднихъ мыслей. Теперь полной откровенности мѣшаетъ съ вашей стороны справедливая вражда, съ нашей неловкое положеніе стоять со стороны силы, которой своеволіе мы также хотимъ сокрушить какъ и вы, но которою вы все-таки будете намъ попрекать, пока выйдете изъ подъ ея опеки.

„Россія никогда не освободитъ своихъ неправо захваченныхъ частей", говорите вы.

Да вѣдь это должны сдѣлать *мы и сами освобождающіяся части*. Неужели вы можете себѣ представить какое бы то ни было правительство, которое вдругъ скажетъ своимъ народамъ: „Распадемтесь! Я вами неправо владѣю, ступайте на всѣ четыре стороны и не поминайте лихомъ!" Вопросъ совсѣмъ не въ томъ, какъ присоединены части государства, а въ томъ, сохранили они самобытность или нѣтъ.

Всѣ государства въ мірѣ составились очень не-законно и очень насильственно, такъ что если передать дѣла приращенія Франціи и Англіи на разборъ гражданской палатѣ, то мы сведемъ ихъ на какую нибудь гальскую деревушку и на англо-саксонскую рыбачью слободу.

Въ Лондонѣ во время крымской войны продавали карту Россіи, въ которой ярко были обозначены всѣ поземельныя приращенія ея со временъ татарскаго ига. Ядро Россіи, или настоящая *благопріобрѣтенная* Русь была обозначена около Москвы верстъ на сто, остальное все взято силой. „Помилуйте, говорилъ я одному здѣшнему публицисту, какаго вы маху дали, и Москва также захвачена силой, настоящая Россія это часть Новгородскаго и Бѣлозерскаго уѣздовъ...“

Если мы будемъ раздроблять государства на основаніи незаконнаго роста ихъ, одинъ только и останется въ своихъ границахъ Косьма безсеребренникъ, ничего не стяжавшій, — это республика Санъ-Марино.

Іонійскіе острова имѣютъ право отойти отъ Англіи, а Жерсей или Гернсей нѣтъ. Оттого что іонійцы хотятъ присоединиться къ Греціи, а тѣ два острова рады, что не принадлежатъ гальской Портѣ.

Я искренно, отъ всей души желаю не разрывъ славянскаго міра, а его свободную федерализацію. Можетъ вы правы въ вопросѣ времени, и если для того, чтобъ перейти его, и лучше понять другъ друга—Польша, многострадательная, но вѣрующая—*хочетъ и можетъ* стать независимо, — *пусть станетъ*. Ея независимость сблизитъ насъ. Мы тогда будемъ говорить другъ съ другомъ какъ братья, забывая былыя раны и бѣдствія и глядя *впередъ*, чтобъ узнать, одна ли дорога намъ въ будущемъ, или нѣтъ!

РОССІЯ и ПОЛЬША.

Письмо къ автору статей*):

Postępowa myśl rossyjska w obec zadań polskich.

„Если Польша хочетъ *другою* рѣшенія, *да будетъ на то воля ея* — но пусть она короче узнаетъ Русь...“

Колоколъ 1 марта 1859.

Милостивый Государь,

Спору собственно между нами нѣтъ, а есть огромныя недоразумѣнія, происходящія отъ разныхъ началъ, отъ которыхъ мы идемъ. Спору же въ нашемъ воззрѣніи потому нѣтъ, что вы съ своей

*) Помѣщенныхъ въ Декабрской и Январской книжкахъ „Przegląd rzeczy polskich“. Отвѣтъ мой можетъ быть принятъ за *четвертое*—къ тремъ письмамъ о Россіи и Польшѣ (въ 32, 33 и 34 л. Кол.).

стороны теоретически и въ дальней перспективѣ согласны съ возможностью славянской федерализаціи; а я высказывалъ не одинъ, а десять разъ, мысль, что Польша имѣетъ неотъемлемое право — на государственное существованіе, *независимое отъ Россіи*. Я всегда считалъ насильственное соединеніе Россіи съ Польшей огромнѣйшимъ несчастіемъ для обѣихъ сторонъ.

Быть вмѣстѣ скованными, не значитъ быть соединенными. Нѣмецко-татарскій петербургскій деспотизмъ не снялъ предѣлы, а упрочилъ вражду между двумя народами. Обида можетъ быть забыта въ прошедшемъ — но обида продолжающаяся должна развивать ненависть.

Тутъ мы совершенно согласны, и идемъ только дальше вашего соотечественника, писавшаго первыя статьи (въ 1858 г.). Принявъ однимъ изъ начальныхъ шаговъ къ будущему союзу—*расторженіе насильственныхъ соединеній* — мы тотчасъ признали полныя права на независимость и самоуправленіе за *Украйной*. Мы первые высказали это, и вы могли видѣть по письму изъ Украйны (Кол. л. 61), вѣрно ли мы попали въ народное чувство.

По настоящему мы съ самаго начала могли бы для облегченія вычесть эквиваленты, и не возвращаться на тотъ вопросъ, который не только мы съ вами рѣшаемъ одинаковымъ образомъ, но все сочувствующее намъ въ Россіи; — по несчастію у васъ нѣтъ довѣрія, потому что вы все таки насъ считаете врагами, и въ каждомъ Русскомъ видите хоть немного Екатерины II и Николая I, иначе вамъ не пришло бы въ голову говорить о дипломатическихъ уверткахъ, даже о скрытомъ желаніи, *какихъ то русскихъ либераловъ*, чтобъ освобожденная Польша, испытавъ вновь неурядицу, была бы вынуждена прибѣгнуть подъ покровительство Россіи (стр. 13, 2-ой статьи). Я сказалъ *какихъ то либераловъ*, увѣренный по первой статьѣ вашей, что вы меня на столько уважаете, что не можете предположить такихъ дипломатическихъ *способностей* во мнѣ; къ тому-же и самое слово *либералъ* какъ-то мало идетъ ко мнѣ — особенно съ тѣхъ поръ какъ въ Россіи, доктринеры и бюрократы, цензоры и генералъ-адъютанты хвастаются своимъ либерализмомъ.

Но все это не прямо идетъ къ дѣлу, а потому перехожу прямо къ главному вопросу.

Въ послѣднее десятилѣтіе двѣ идеи всплыли на мѣстѣ потонувшаго корабля февральской революціи, какъ *блѣдная* замѣна остановленному развитію *политической* революціи въ *соціальную*. Эти двѣ идеи, близкія другъ къ другу, состоятъ въ признаніи народностей—какъ самоправныхъ личностей и въ стремленіи одноплеменныхъ народовъ къ политическому единству. Разобранныя по народностямъ государства соединятся по племенно — шагъ впередъ противъ искусственныхъ военно-дипломатическихъ соединеній, и насильственныхъ раздробленій, шагъ впередъ къ снятію политическихъ и всякихъ внѣшнихъ границъ.

Потребность единства въ Италіи и Германіи идетъ гораздо

дальше федерализаціи. Въ Италіи оно понятно, ей надобно взять съ бою свою независимость, и вотъ почему есть что-то великое и трогательное въ самоотверженіи какой нибудь маститой Флоренціи, этой веси Данта и Бонаротти, Медичи и Маккіавели, склоняющей свою сѣдую голову, украшенную тройнымъ лавромъ, передъ какими-то неизвѣстными жителями Альпійскихъ подошвъ, al pie del monte, ломающими итальянскій языкъ на провенсальскій манеръ.

Да и что Флоренція, самый Римъ, городъ бывшій вѣчнымъ до Р. Хр., Римъ, который всемірнымъ свѣтскимъ владыкой пошелъ въ монахи и монахомъ тяготилъ надъ всѣмъ міромъ, съ радостью хочетъ снять папскую тіару, и бросить ее въ архивъ вмѣстѣ съ перстнями цезарей и топорами ликторовъ, для того чтобъ принять владычество Кариніанскаго дома, который не только не происходитъ отъ Енея, но даже и не отъ Августа, но который представляетъ *единство Италіи.*

Германія, этотъ несчастный Эдипъ между народами, преслѣдуемый какимъ-то политическимъ проклятіемъ, и который ничѣмъ не можетъ дойти до политическаго значенія, послѣ тридцатилѣтняго самоубійства и Вестфальскихъ похоронъ; которому не помогаетъ ни народное образованіе, ни науки, ни искусства, Германія видитъ въ расторженіи свою слабость, и стремится всѣми силами къ прусскому казарменно-доктринерскому единству, только потому, что оно степенью выше австрійскаго, пропитаннаго ладономъ, гніюшаго, порочнаго и живущаго конфортативами.*)

И эти слитія, отчасти обусловленныя внѣшнимъ гнетомъ, все же представляютъ очевидный прогрессъ. C'est autant, de pris sur le diable. Каждая граница, которая падаетъ, уменьшаетъ линію военной карты, т. е. ручей человѣческой крови; каждая снятая застава растворяетъ дверь международному обмѣну и сближенію.

Въ виду романскаго и германскаго міра, собирающихся во едино, естественно, что неопредѣленная мысль славянской федерализаціи, родившаяся у западныхъ славянъ, окрѣпла и стала глубже входить въ сознаніе. Само собою разумѣется, что мы говорили о *вольномъ* союзѣ равныхъ, мы никогда не говорили ни о завоеваніи, ни о рабскомъ присоединеніи къ Россіи, мы вообще не говорили ни о какомъ соединеніи съ Россіей, пока въ ней будетъ *продолжаться* петербургское правленіе. Вы повторили мое выраженіе „вольный даръ соединенія" и прибавили къ этому, что какой-же вольный выборъ западнымъ славянамъ, находящимся подъ чужеземнымъ игомъ. А между тѣмъ упрекаете меня за то, что во время войны 1859, я говорилъ: что еслибъ русское правительство было на высотѣ своего призванія, то оно должно было порвать

*) Я не могу согласиться съ вами, чтобъ современное состояніе Германіи представляло въ самомъ дѣлѣ федерализацію. Безсильная и безобразная франкфуртская діэта, какъ пустое блюдо, только показываетъ, что тутъ могли бы быть яствы—но ихъ нѣтъ.

гнилыя связи трикраты проклятаго „священнаго союза“,—признаніемъ независимой Польши, и потомъ соединившись съ нею раздавить Австрію, т. е. освободить западныхъ славянъ. Правительство съ *новой* неловкостію своей, отчасти понятной, потому что самодержавныя формы его гораздо больше приспособлены къ всякого рода притѣсненіямъ, чѣмъ къ какому-нибудь освобожденію, не сдѣлало ничего и этого можно было ожидать; но я никакъ не ожидалъ, что вы меня упрекнете говоря, что Польша должна быть возстановлена изъ чувства *справедливости и долга*, а не для того, чтобы Россія развязала руки. Такого ангельскаго самоотверженія я конечно не жду не только ни отъ одного правительства, но ни отъ одной революціонной партіи.

Французы пріучили насъ къ цивически-риторическимъ фразамъ, которыми они успѣли увѣрить всю Европу, что они сражаются только за свободу всѣхъ скорбящихъ и страждущихъ. У нихъ этотъ языкъ, какъ религіозныя фразы у Англичанъ, не имѣетъ никакого отношенія къ дѣлу, такъ какъ учтивости въ концѣ письма.

Мы Русскіе дѣйствительно до того еще не цивилизованы, что мы не можемъ употреблять этого языка...

Говоря о будущей славянской федерализаціи, я совершенно согласенъ съ вами, что этотъ вопросъ нельзя разрѣшить съ плеча и что въ его рѣшеніе входитъ весьма важнымъ элементомъ *время*. Я не думаю, чтобы славянскіе народы сразу были готовы вступить въ тотъ союзъ, о которомъ я говорилъ. Но если до него надобно дойти рядомъ разныхъ независимыхъ формъ и отдѣльныхъ сочетаній, я все же не вижу, отчего не имѣть будущій союзъ въ виду, какъ идеалъ, какъ широкую, покойную гавань?

Вы полагаете, что лучше и естественнѣе было бы славянскому міру раздѣлиться на двѣ отдѣльныя части, т. е. по одну сторону была бы Россія „Славяне смѣшанные съ Чудью и Туранскими племенами“, по другую Польша и «старые Славяне». Призваніе и поприще дѣятельности однихъ, „огромныя плоскости Азіи до Тихаго Океана. Назначеніе другихъ, отпоръ германскому владычеству и *завоеваніе Турціи*“.*)

Скажу вамъ откровенно, что я мало имѣю противъ этого съ субъективной точки зрѣнія. Россіи дѣйствительно главное дѣло дома и въ Азіи, и, какъ вы говорите, она для храненія своихъ границъ не нуждается ни въ какомъ союзѣ. Россіи скорѣе надобно распустить части, чѣмъ притягивать ихъ къ средоточію; что мы и высказали, говоря объ Украйнѣ. Но тѣмъ не меньше я полагаю, что вамъ легче будетъ доказать возможность совершеннаго государственнаго отчужденія Польши отъ *непольскаго* Славянства и ея самобытное значеніе, чѣмъ возможность того союза, о которомъ вы говорите.

Вы говорите, что мы мало знаемъ характеръ юной Польши и

---

*) Мы и въ этомъ съ вами согласны, но я васъ спрашиваю — что за шумъ поднялся бы, еслибъ это сказалъ Русскій?

потому говоримъ о католицизмѣ и шляхетствѣ. Мы охотно вамъ вѣримъ, что молодое поколѣніе излечивается отъ этой застарѣлой подагры и отъ этой наслѣдственной хирагры, и тѣмъ охотнѣе, что мы имѣемъ передъ глазами примѣры. Но неужели вы будете отрицать, что *католицизмъ и аристократизмъ* не составляютъ двухъ очень живыхъ элементовъ въ настоящей Польшѣ? Мелкое гоненіе русскаго правительства сдѣлало чудо, оно превратило ретроградную религію въ революціонную оппозицію. Широко развѣтвленное дворянство польское составляло и составляетъ до сихъ поръ, съ своей стороны, всю дѣятельную прогрессивную часть народа. Масса, особенно сельская, осталась внѣ движенія.

У западныхъ славянъ эти элементы расположились иначе. Чешская аристократія состоитъ изъ нѣмцевъ съ славянскими фамиліями и изъ славянъ съ нѣмецкими. Аристократія кроатская — изъ мадьяръ. Патріархальныя отношенія сербскихъ бояръ къ народу совсѣмъ иныя, *Сѣчь* черногорская, вооруженное пограничное казачество — исключаетъ всякую тѣнь шляхетства.

Часть ихъ исповѣдуетъ греческую вѣру и тѣмъ упорнѣе, чѣмъ больше австрійское правительство тѣснитъ ихъ церковь, отнимаетъ книги, печатанныя славянскими буквами, и дѣлаетъ все то, что дѣлалъ Николай съ католицизмомъ. Другой части католицизмъ выжгли огнемъ, врѣзали ножемъ, вбили палкой. Страна Таборитовъ, родина Гуса и Іеронима Пражскаго, врядъ ли имѣетъ большую нѣжность къ папѣ и его во Христѣ опричникамъ—іезуитамъ.

Я уже объяснялъ въ третьемъ письмѣ, что религіозный вопросъ меня вовсе не интересуетъ съ своей религіозной стороны. Для меня религія, экспонентъ, отличный признакъ, физіологическое pli народнаго духа, и потому нельзя ее забывать, не впадая въ ошибку французской революціонной алгебры, формулы которой оттого-то и не шли ни къ одному народу—что равно годились Томбукту и Гренландіи.

Сверхъ того, Польша держала себя довольно далеко отъ западныхъ славянъ, она на нихъ смотрѣла свысока и равнодушно. Вотъ отъ чего, при развитіи идеи панславизма, западные славяне обратились съ своими симпатіями къ Россіи. Что русское правительство очень безплодно и очень корыстно эксплуатировало эти симпатіи, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но что въ томъ обществѣ, которое ничего не имѣетъ общаго съ правительствомъ, они нашли самое горячее сочувствіе, въ этомъ еще меньше сомнѣнія — для очевидца...

Изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ западные славяне *необходимо* соединились съ Россіей; но соединятся ли они въ противномъ случаѣ федерально съ одной Польшей, это нисколько не рѣшенный вопросъ. Впрочемъ, у нихъ есть все, что нужно, горы и моря, рѣки и границы, чтобъ составить свою Дунайскую и Карпатскую федерацію; и если они этого хотятъ, пусть остаются независимыми.

Ближайшее будущее можетъ быть таково; но развѣ мы не имѣ-

емъ права идти мыслью дальше завтрашняго дня — и тогда естественно представляется вопросъ, зачѣмъ эти три славянскія федераціи или государства, вопреки стремленію другихъ народностей, остаются посторонними, неужели такъ мало сродства въ ихъ крови, что они не ищутъ союза? Е. Жирарденъ недавно въ своей брошюрѣ предлагалъ союзъ цѣлой Европы, основанный на уничтоженіи постоянныхъ войскъ и всѣхъ международныхъ стѣсненій. Союзъ этотъ невозможенъ только по невѣжеству массъ и по узкимъ цѣлямъ правительствъ. Народы идутъ къ этому какъ-то ощупью, и потому по колѣно то въ Солферинской, то въ Севастопольской крови, и дѣлая два шага впередъ, да одинъ въ сторону.

Для меня важность будущаго союза славянскаго имѣетъ особенное значеніе; мнѣ кажется, что оно ускользнуло отъ вашего вниманія. Вы считаете меня за *политическаго либерала*, а эти либералы преалчные люди, они думаютъ, что стяжательность—которая вообще называется порокомъ — въ *патріотѣ* добродѣтель. Вы заставляете меня желать славянскую федерализацію съ русской гегемоніей, для блеска Россіи, для ея могущества, значенія въ Европѣ. Такъ какъ этого было бы достаточно для всякаго патріота, вы не пошли дальше, но вы совершеоно ошиблись, *я еще меньше патріотъ, чѣмъ либералъ.*

Мнѣ всего больнѣе, что вы нѣсколько разъ въ вашей статьѣ *касались*, какъ птица срѣзывающая воду, истиннаго взгляда; но, вы сами слишкомъ политическій человѣкъ и слишкомъ горячій патріотъ, чтобы оставить отца и мать и слѣдовать за истиной, особенно, когда отечество страдаетъ!

И такъ я скажу вамъ мою мысль не обинуясь. Я только для *нерусскаго* славянскаго міра отъ всей души желалъ братскій союзъ съ Россіей для того, чтобъ, когда гроза, которую никакая мощь въ мірѣ не остановитъ, грянетъ, они не были бы взяты въ расплохъ.

Это темно. Позвольте мнѣ объясниться.

Человѣческая мысль, человѣческое развитіе черезъ два тысячелѣтія коснулось до одного изъ тѣхъ рубежей, которые раздвигаютъ всемірную исторію на огромныя, законченныя части, между ними ложатся, какъ между материками, океаны. Отъ одного до другого все мѣняется — цвѣты и звѣри, небо и почва.

Судорожная реакція, господствующая теперь въ Европѣ, старыя власти, пришедшія вновь въ силу, яснѣе всего показываютъ, какъ страшно близка Европа къ этой катастрофѣ. Реакція эта — тоска передъ землетрясеніемъ, страхъ передъ неизвѣстнымъ, трепетъ передъ шагомъ, за которымъ нѣтъ возврата. Такъ боялись нѣкогда эмигранты, когда они бросались на песчаный берегъ и навзрыдъ плакали, прежде чѣмъ поставить ногу на колеблющуюся доску, которая должна была оторвать ихъ отъ всего прошедшаго и черезъ пропасти, черезъ бури перевести въ *новый свѣтъ.*

Съ тѣхъ поръ, какъ языческій міръ, истощенный величіемъ, изжившій все, что лежало въ его эллино-римской идеѣ, отрекся

отъ всѣхъ благъ и просилъ крещенія въ другую жизнь, ничего подобнаго не бывало!

Голосъ, испугавшій тогда, опять слышится и опять говоритъ „брось все и иди за мной!“ И снова стоитъ въ раздумьи богатый Никодимъ, и. противъ своего сердца, становится консерваторомъ.

Жертва, которую требовало христіанство отъ античнаго міра, была мала въ сравненіи съ той, которая потребуется теперь; христіанство за землю давало небо, за Олимпъ—Голгоѳу, за безсмысленный рокъ — сознательный промыселъ, за потерю временнаго богатства — вѣчную радость. У новаго свѣта, толкущагося въ двери, нѣтъ неба, нѣтъ рая, въ немъ можетъ выиграть только тотъ, кому нечего терять.

Еще полвѣка тому назадъ, въ двадцатыхъ или даже тридцатыхъ годахъ, столъ западной цивилизаціи ломился отъ богатства. Старикъ Гете предсѣдательствовалъ за нимъ, Гегель оканчивалъ свои лекціи, трехцвѣтная Франція, въ костюмѣ 1789 года, сажала на тронъ короля-гражданина и пѣла Беранжеровскія пѣсни. Политическая экономія, хартія *теперь правда*, абсолютная философія, развитіе промышленности, вѣра въ прогрессъ, любовь къ человѣчеству. надежда въ республику... казалось западный міръ поюнѣлъ было и рвался впередъ; политики и доктринеры радовались —до какихъ де просвѣщенныхъ вѣковъ мы дожили.

Но все измѣнилось съ удивительной быстротой. Старый гуляка, „der alte Zecher“, бросилъ свой кубокъ въ море, хартія оказалась ложью, философія не абсолютной, политическая экономія — экономической статистикой. Человѣчество, прогрессъ, республика, а потомъ и демократія, всѣ эти послѣдніе цвѣты, изящные, прекрасные оканчивающагося лѣта, поблекли на старомъ стеблѣ, который подломился и не могъ имъ доставлять свѣжихъ соковъ.

Люди устроились такъ хорошо, знали такъ много и вдругъ оказывается, что они почти ничего не знаютъ, что устройство ихъ никуда не годно. Что же всѣ эти усилія, открытія, труды, доктрины, борьба—все это было бредомъ? Нѣтъ—что есть прочнаго, то останется. Количество развалинъ не должно удивлять. Развѣ мы не видимъ, какъ вѣковое, огромное готическое знаніе церкви и теологіи, поглотившее трудъ лучшихъ умовъ, всю эрудицію въ продолженіи десяти вѣковъ и дошедшее до вѣчной прочности и до безусловныхъ истинъ, которымъ вѣрила вся Европа—какъ оно рухнулось до самаго основанія... Такъ можетъ рухнуться новое зданіе политико-доктринерское западной second hand цивилизаціи

Собственно въ этомъ бѣды нѣтъ, это общая судьба муравейниковъ, они съ трудомъ, съ усиліемъ *строются*, *строются*, потомъ проваливаются и служатъ матеріаломъ чему нибудь другому. Это общій типъ всѣхъ возникновеній и смертей въ природѣ. Но образованному міру это странно, оно оскорбляетъ его самолюбіе. А самолюбіе китайца оскорбляетъ сомнѣніе, что небесная имперія не есть самая образованная въ мірѣ.

Но, тороплюсь я прибавить, въ самомъ въ западномъ мірѣ ро-

дилось святое сомнѣніе, и отъ того онъ не можетъ заживо сдѣлаться фарфоровой куклой какъ Китай, ему мѣшаетъ не недостатокъ сомнѣній, а привычка къ своему богатству, ему мѣшаетъ *удивленіе* — и это очень понятно. Вчера онъ зналъ незыблемыя основы свободнаго государства, сегодня ему говорятъ, что онѣ чрезвычайно зыбки; вчера онъ вѣрилъ въ уголовное, въ гражданское право, сегодня онъ видитъ, что то и другое нелѣпо; и это отрицаніе принятаго идетъ во всѣхъ сферахъ отъ самыхъ отвлеченныхъ теорій до очага и кухни; самый міръ событій какъ нарочно спуталъ всѣ понятія; гдѣ либеральная Франція, гдѣ прогрессивная Пруссія? Въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ перехватываютъ письма и журналы, сѣкутъ гражданъ на площадяхъ и продаютъ съ аукціона *вольныхъ* негровъ. А подъ всѣмъ подъ этимъ Медузинъ вопль „хлѣбъ или свинецъ"! Крикъ этотъ ужасенъ, это „начало конца", какъ говорятъ Французы. Міръ, основанный на римскомъ правѣ собственности и на гражданскомъ правѣ личности, можетъ бросить голодному хлѣба, но признать его *право на хлѣбъ* не можетъ; за то онъ ему даетъ гражданскую свободу, а за это голодный даритъ ее Наполеону.

Даніиловское слово, въ которомъ заключается жизнь и смерть, вы вѣроятно назвали — это *соціализмъ* во всѣхъ его оттѣнкахъ, лежащій нынѣ подъ землей, но не въ могилѣ, а на вспаханномъ полѣ.

Подъ этимъ словомъ разумѣютъ тысячу вещей; какое дѣло, изъ какихъ лоскутковъ сшито знамя, лишь-бы было извѣстно, что и кто собирается около него. А потому, какъ бы ни понимали развитія и приложенія, подъ словомъ соціализма всѣ разумѣютъ такое же отрицаніе современнаго государственнаго быта, какъ христіанство было отрицаніемъ быта греко-римскаго.

Простите меня за это отступленіе, оно было необходимо и я сейчасъ возвращусь къ моему предмету.

Россія не только плохой славянскій міръ „съ примѣсью Чудскихъ и Туранскихъ элементовъ", но въ противуположность аристократическимъ, мѣщанскимъ, городскимъ государствамъ—бѣдное *мужичье* государство; у насъ ничего нѣтъ, мы les gueus міра сего, ничего кромѣ стремленій, кромѣ вѣры въ себя. Даже близость и родство „съ Чудскими и Туранническими племенами" послужила для насъ къ смиренному признанію за равныхъ—Жида и Чухонца, Татарина и Калмыка; развѣ мы не одинакимъ образомъ служимъ каріатидой, поддерживающей Зимній Дворецъ, съ чего намъ на нихъ смотрѣть съ высоты западной цивилизаціи?

Какъ вы думаете, не легче ли такому народу оттолкнуть достанникъ отъ стараго берега?

Вы можете сказать — оттолкнуться не трудно, но что онъ привезетъ на ту сторону? Это вопросъ первой важности.

Вы русскаго народа не знаете, я васъ въ этомъ не виню. Давно ли мы, горсть людей, страдавшихъ за его рабство, давно ли мы стали узнавать его? Мы жили чужой жизнью, мы его пони-

мали чужой мыслію, а по большей части совсѣмъ ничего не понимали дома, и не заботились объ этомъ, а усвоили себѣ кое-что чужаго.

Мы стали приходить къ народному самопознанію въ мрачныя времена Николая. Подъ его желѣзнымъ кулакомъ наша мысль стала отрезвляться, онъ добилъ насъ, какъ квартальный непускающій впередъ, до мужиковъ; оскорбленные во всемъ человѣческомъ, иностранцы дома, мы, чувствуя присутствіе силы въ мышцахъ, должны были сосредоточить внутри мозга и груди всю работу — и мысль наша сдѣлалась дерзка и неустрашима Мы уже ненавидѣли все петербургское, когда fiasco Европы, послѣ 1848, довершило воспитаніе; мы на все взглянули съ той-же безпощадностью. И тогда только поняли вполнѣ, что за безобразное государство Россійская Имперія *и что за счастье, что оно такое безобразное государство!*

Не думайте, чтобъ это была игра словъ.

Я сейчасъ объяснію вамъ мою мысль. *Россія не дошла еще* до такого гражданскаго русла, которое бы ей соотвѣтствовало, въ которомъ было бы достаточно простору для обнаруживанія всѣхъ или большаго числа внутреннихъ силъ своихъ, т. е. она не дошла до такой органической формы государственной, какъ напримѣръ Англія или Швейцарія. У Россіи и въ прошедшемъ никогда не было такого быта, развѣ при кіевскомъ прорѣзываніи зубовъ. Эта неспѣтость, уродливое *кое-какъ* учрежденій, вмѣстѣ съ праздностью силъ и дурнымъ употребленіемъ ихъ избытка или вѣковымъ усыпленіемъ ихъ доказываетъ *незрѣлость* русскаго народа. Долгая незрѣлость не всегда право на зрѣлость, и потому надобно опредѣлить, что такое русскій государственный бытъ, есть ли это смирительный домъ для юродиваго старика или воспитательный домъ для юношескаго возраста. Мы не вѣримъ ни призванію народовъ, ни ихъ предопредѣленію, мы думаемъ, что судьбы народовъ и государствъ могутъ по дорогѣ мѣняться, какъ судьба всякаго человѣка; но мы вправѣ, основываясь на настоящихъ элементахъ, по теоріи вѣроятностей дѣлать заключенія о будущемъ.

Я сказалъ*), что русская исторія до Петра представляетъ государственную эмбріогенію такого безсознательнаго пластицизма, осѣданія, роста, идущаго до встрѣчи съ монголами. Естественный ростъ прерывается и вмѣстѣ съ тѣмъ идея государства становится сознательною въ московскомъ единствѣ, стягивающемъ части для отпора. Но свергая иго ордынцевъ, Москва многое переняла у нихъ. Царь московскій какой-то византійскій ханъ. Тяжкое неповоротливое московское правительство могло набить дубовый обручъ, сдерживающій части, пока сыщется желѣзный, но не больше; оно имѣло поползновеніе выдти изъ оцѣпенѣнія, но члены подгибались подъ тучнымъ тѣломъ. Такъ шло до петровскаго переворота. Отбрасывая, насколько возможно было, все славянское,

*) Du Développement des Idées Revolutionnairs en Russie.

все византійское, Петръ I сохранилъ татарскій кнутъ и нагайку; или онъ загонялъ оторванный отъ народа слой къ западному образованію. Огромныя средства бюрократическаго и военнаго устройства, взятыя изъ Германіи, соединенныя съ восточнымъ отрицаніемъ всѣхъ правъ человѣческой личности, дало въ руки правительству чудовищную, неслыханную силу на созданіе и разрушеніе. Петръ I — самый полный типъ эпохи, имъ призванной къ жизни—геній-палачъ, для котораго *государство* было все, а человѣкъ ничего; онъ началъ нашу *каторжную работу* исторіи, продолжающуюся полтора вѣка и достигнувшую колоссальныхъ результатовъ.

Безобразнѣйшее правительство въ мірѣ, иностранное по духу, сплотило изъ дряблаго московскаго государства кованную имперію отъ Балтики до Тихаго Океана, имперію *чисто русскую*, гораздо больше русскую, чѣмъ правительство.

Императорская диктатура съ Екатерины II стремится сдѣлаться консервативнымъ самодержавіемъ и не можетъ. Ее постоянно преслѣдуетъ какое-то безпокойство, какое-то желаніе перемѣнъ, оно чувствуетъ, что у него подъ руками огромныя формы безъ содержанія, что оно не нашло истиннаго *слова*, на которомъ бы оно могло опочить, какъ нѣкогда Бурбоны и Габсбургскій домъ. И вотъ почему, рядомъ за заплеснѣвшимъ отъ застоя австрійскимъ правительствомъ, Петербургъ постоянно ломаетъ, передвигаетъ и самъ мѣшаетъ покою. Покой въ Россіи только внизу, только въ крестьянской Руси.

Ни ея молчаливая страдательность, ни барабанный бой и скрипъ перьевъ, трескъ и шумъ правительства не могли удовлетворять.

И вотъ мало по малу развивалась третья сила, которой у васъ совсѣмъ не знаютъ, наша оппозиціонная литература.

Русская литература была въ послѣднее время постоянно или пошлая или оппозиціонная, рабская лесть или безпощадная критика, ни на чемъ не останавливающаяся.

Не ошибитесь, я слово *оппозиціонное* употребилъ не въ томъ смыслѣ, въ которомъ его употребляли во Франціи, когда тамъ еще была оппозиція. Совсѣмъ нѣтъ.

Французская оппозиція во время реставраціи и Людовика Филиппа стояла на пьедесталѣ, сильная сочувствіемъ всего образованнаго, еще болѣе сильная собственнымъ сознаніемъ своего нравственнаго превосходства надъ правительствомъ; она себя считала наслѣдникомъ и продолжителемъ великаго народа, великаго преданія 1789—1794, великой арміи, Вольтера, Республики и Аустерлица.

Оппозиціонная мысль, которая стала пробиваться въ русской литературѣ, скорѣе была похожа на угрызеніе совѣсти; недовольство собою было на первомъ планѣ. Ей въ сущности казалось, что не вся вина на правительствѣ, а что доля его и притомъ большая лежитъ на нашей жизни; она бросилась на ея разборъ.

Здоровыя, лѣсныя зерна, попавшія не на родную почву, а н

тощіе, наносные пески, прибитые волнами Балтійскаго моря и засыпавшіе нашъ черноземъ, выростили горькіе, ѣдкіе плоды.

Мыслящіе люди, отошедшіе въ сторону, чтобы сколько нибудь придти въ себя, понять хаотическій острогъ русской жизни, разобщенные съ народомъ, не нашли никого праваго и сказали это.

Никогда вы, связанные иначе съ вашимъ отечествомъ, никогда Французы не дойдутъ до того горькаго сомнѣнія въ себѣ, до безжалостнаго суда надъ собой, до котораго дошла русская литература при Николаѣ.

Подумайте, какъ росла русская мысль, чѣмъ убаюкивалась, что помнила, что видѣла, и вы поймете, откуда идетъ этотъ характеръ. Она складывалась въ виду Алексѣевскаго равелина, возлѣ котораго пировалъ съ своими клевретами пьяный отецъ черезъ *нѣсколько часовъ* послѣ того, какъ задушилъ измученнаго пытками сына и изъ котораго она *не могла* сдѣлать мученика, такъ онъ былъ слабъ и пошлъ; въ виду Ропши, въ которой развратная жена отравила мужа — и *не могла* не согласиться, что отъ него надобно было отдѣлаться; въ виду Михайловскаго дворца, гдѣ сынъ велѣлъ казнить бѣшеннаго отца — и *не могла* не благословить его рѣшенія.

Какое воспитаніе!

Но оно не оканчивается этимъ. Оно продолжается въ виду пяти висѣлицъ, на которыхъ бездарный актеръ, сыгравшій „эпилогъ и нравоученіе“ къ петровскому періоду, повѣсилъ пять благороднѣйшихъ представителей юной, мужавшей мысли русской гражданственности, и въ виду троекъ, мчавшихся на каторгу, мимо народа, которому до нихъ не было дѣла и который пахалъ да пахалъ на барщинѣ, подстегиваемый розгой, и наконецъ въ виду общества, т. е. братьевъ, сестеръ, отцевъ... повѣшенныхъ и сосланныхъ, плясавшихъ до упаду на праздникахъ коронаціи — прежде чѣмъ тѣла однихъ испортились, а другихъ—довезли до Сибири.

Возстала Варшава и цѣлая армія поляковъ дралась, одушевленная порывомъ и побѣжденная покрыла себя славою въ то время, какъ русская армія стыдилась мрачныхъ побѣдъ своихъ. Потомъ все затихло; мы стали привыкать къ ненависти всей Европы, мы оправдывали ее, мы чувствовали, что она заслужена. Врядъ ли понятны вамъ тѣ чувства, о которыхъ я говорю. Ваша родина вынесла страшныя несчастія съ свѣтлой ореолой на мученическомъ челѣ; побѣжденные, вы гордо смотрите въ глаза всему свѣту и очень хорошо знали, что кромѣ подлецовъ всѣ вамъ сочувствуютъ. Представьте себѣ то чувство, съ которымъ иногда въ аудиторіи московскаго университета мы слушали разсказы вашихъ соотечественниковъ и видѣли затаенный упрекъ, а иногда хуже—снисходительное сожалѣніе, и мы молчали, какъ дѣти какого нибудь злодѣя, стыдясь имени своего отца. Я былъ радъ, что въ Перми и въ Вяткѣ я могъ, встрѣчаясь съ поляками, сказать, что я ссыльный, какъ будто ссылка разнимала круговую поруку съ тѣмъ, который насъ сослалъ. Но поляковъ мы уважали, мы со-

знавали передъ ними свою вину,—бывало хуже: каждый французъ сидѣлецъ, каждый нѣмецъ, „у котораго въ Швабіи свой король есть",*) и тотъ смотрѣлъ на насъ, какъ на ненавистное орудіе рабства всей Европы, и намъ нечего было отвѣчать, мы сами такъ думали.

Оставалось сломиться, нравственно изнемочь и, какъ Чаадаевъ въ знаменитомъ своемъ письмѣ, проклясть прошедшее, настоящее и будущее Россіи и быть—сломя въ себѣ человѣка—человѣкомъ безъ родины.

Казалось бы такъ, а на дѣлѣ вышло иначе. Въ этотъ двѣнадцатый часъ, средь тягости дошедшей до послѣдней степени тиранства, въ то время когда Печерины, Гагарины, Галицыны бѣжали въ католицизмъ, чтобы не задохнуться, мы еще разъ взглянули внутрь своей души, и перестали вѣрить, во что вы думаете?.... въ прочность нашихъ цѣлей. Изъ глубины сердца нашего вырвался крикъ отрицанія существующаго порядка, крикъ протеста. Въ насъ, на этой послѣдней степени униженія, что-то заговорило: это неправда, мы этого не заслужили, *потому что мы нравственно свободны и крѣпки мыслью!*

Итакъ, вмѣсто того чтобы сломиться, мы перешли *внутренно* кризисъ; это далеко не все, однакожъ многое просвѣчивается въ будущемъ.

Voleo vedere quomodo aedificabis? Говорилъ одинъ мой знакомый докторъ Прудону, поставившему эпиграфомъ къ своимъ противурѣчіямъ Destruam et aedificabo. Вы вправѣ мнѣ сдѣлать этотъ вопросъ.

Но позвольте мнѣ коснуться до него въ слѣдующемъ письмѣ.

Второе письмо къ автору статей:**

Postępowa myśl rossyjska w obec zadań polskich.

„Если Польша хочетъ *другаго* рѣшенія, *да будетъ на то воля ея*, но пусть она короче узнаетъ Русь..."

«Колоколъ», 1 Марта 1859.

Милостивый Государь,

Матеріалъ, собранный петровской эпохой, огроменъ. Средства, которыми Петербургъ ихъ накопилъ и берегъ, не имѣютъ прямаго вліянія на ихъ будущее употребленіе. Имѣнія, данныя Екатериной II Орлову Чесменскому за убійство Петра III, были отданы его дочерью монахамъ и монастырямъ.

Общую атмосферу, обстановку, въ которой мы развиваемся, вы превосходно характеризовали; вотъ ваши слова:

---

*) Гоголь.

**) Напечатанныхъ въ Декабрьской книжкѣ за 1859 и Январской за 1860: Przegląd Rzeczy Polskich."

„Въ сущности русскій не виноватъ, что, отъ пеленокъ привыкнувъ къ чрезвычайнымъ и обширнымъ размѣрамъ и цѣлямъ, онъ и въ мечтахъ своихъ невольно стремится за наружнымъ величіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, все вокругъ него гигантское—пространство, народонаселеніе, однообразіе даже въ языкѣ, неслыханный деспотизмъ и скрытое его безсиліе, жестокое невольничество и страшное упрямство, варварскій мракъ и дикая дерзость замысловъ, притязаній и надеждъ! Оттого вся мысль его обращена къ обширнымъ видамъ, къ наружной колоссальности, и онъ невольно въ полетахъ думы своей теряется въ этой колоссальности. Такъ напримѣръ его будущая Россія должна быть демократической и соціальной, если же федеративной—то въ такихъ размѣрахъ, которыхъ свѣтъ не видалъ и передъ которыми онъ бы содрогнулся отъ страха. Воспитанный въ виду гигантскаго міра, при свѣжихъ силахъ соображенія, съ умомъ еще не возмужалымъ, онъ развиваетъ всякую мысль въ громадные размѣры, не предчувствуя другаго *внутренняго величія*. Это младенческій восторгъ, а не мужская обдуманность.“

Согласитесь, что родиться съ такимъ небосклономъ дѣло не шуточное; я не знаю, что вы разумѣете подъ словомъ „внутреннее величіе“, но замѣчу вамъ, что желаніе, чтобъ „будущая Россія была *демократической и соціальной*“, можетъ и подтверждаетъ „дикую дерзость замысловъ, притязаній и надеждъ“, но конечно не можетъ быть названо „внѣшнимъ“. Что касается до самой „дерзости замысловъ и надеждъ“—это своего рода огромная сила, нисколько не похожая на квіетическое себяобоготвореніе восточныхъ народовъ, думающихъ, что они достигли высшаго состоянія, а напротивъ источникъ движенія впередъ. Тѣ только достигаютъ великаго, которые имѣютъ въ виду еще большее и инстинктивно вѣрятъ въ возможность его. Вы знаете поговорку: man will was man kann, man kann was man will. Смѣлость замысловъ и обширность видовъ идетъ *юному возрасту*, а вѣдь онъ обыкновенно лежитъ между „младенческимъ восторгомъ и мужеской обдуманностью.“

Сверхъ колоссальнаго горизонта и неустановившейся атмосферы, вы забыли еще одинъ элементъ, дающій огромную свободу мысли, именно нашу привычку, тоже „отъ самыхъ пеленокъ“, вовсе не думать о политической независимости, о государственной самобытности; мы не доказываемъ нашу народность, мы не боимся за нее, nous ne la faisons pas valoir; она такой незыблемый, неопровергаемый, очевидный фактъ, что мы забываемъ ее, какъ дыханіе, какъ біеніе сердца.

У насъ эта государственная самоувѣренность развита, такъ какъ англичанъ и французовъ это необычайно помогаетъ въ внутренней работѣ, въ счастьи и въ горѣ. Не имѣй англичанинъ ея, онъ не достигъ бы своихъ свободныхъ учрежденій; не имѣй ея французъ, онъ сломился бы подъ игомъ рабства.

Но я тороплюсь сказать, что тѣмъ и оканчивается сходство. У

старыхъ западныхъ народовъ преданіе также живо какъ современность, они владѣютъ маіоратами, данными съ условіемъ сохранной передачи. У нихъ столько же *отечества* въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ, у англичанъ можетъ больше. Совсѣмъ напротивъ мы также *независимы во времени*, какъ въ пространствѣ. У насъ нѣтъ связующихъ воспоминаній, обязывающихъ наслѣдствъ. Мы забыли наше давнопрошедшее и стараемся отпихнуться отъ вчерашняго; наша исторія впереди.

Мы всѣ родились на наносной почвѣ и только объ Петербургской, полуиностранной эпохѣ слышали отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. Одна сельская Русь продолжала — не Московскую исторію, а старую бытовую, общинную жизнь. До Московскаго управленія ей дѣла не было, она же еще до Петра распалась съ нимъ расколами. Связь съ Москвой была исключительно основана на томъ чувствѣ государственнаго единства и независимости, о которомъ мы сказали. Эта связь отдѣльныхъ частей съ земской цѣлостью, осталась и въ петербургскую эпоху — 1812 соотвѣтствуетъ 1612 году.

Московская Русь, казненная въ видѣ стрѣльцовъ, запертая въ монастырь съ Евдокіей, задушенная въ видѣ царевича Алексѣя, исключилась безслѣдно, и натянутый, старческій ропотъ кн. Щербатова (который мы передали гласности) замолкъ безъ всякаго отзыва.

Имѣй Москва такое живое, соотвѣтствующее духу народному значеніе какъ Рѣчь Посполитая—Польскому народу, неужели бы Петръ I—бритвой, топоромъ и переѣздомъ въ финское болото—снялъ ее какъ мозоль.

Какъ ни бились Кромвель и Конвентъ — но прошедшаго, вросшаго въ сердце, кровно связаннаго съ настоящимъ, не одолѣли.

Новгородъ, Псковъ — надобно было подавить, сослать на поселенье, испугать кровью и пожаромъ, чтобъ довести до народнаго забвенія. Въ Украйнѣ — ни Польская шляхта, ни Петръ I, ни Екатерина II не зашибли памяти. А московскій періодъ разсѣялся какъ тѣнь и тихо перешелъ въ какое то книжное воспоминаніе, и то не у народа, а у ученыхъ и духовенства.

Изъ этого нисколько не слѣдуетъ, что народъ сочувствовалъ петровской реформѣ или принялъ ее потомъ; онъ въ ней видѣлъ какое то чужое насиліе, правительство въ немъ видѣло государственную барщину. Петровская Русь съ самаго начала является съ своимъ дуализмомъ. Это двѣ Россіи, изъ которыхъ одна не народъ, а только правительство; а другая народъ, но вытолкнутый внѣ закона и отданный въ работу. Государство оканчивалось на канцеляристѣ, прапорщикѣ и недорослѣ изъ дворянъ; по другую сторону были уже не люди, а матеріалъ, ревизскія души, продажныя, купленныя, всемилостивѣйше пожалованныя, приписанныя къ фабрикѣ, экономическія, податныя — но непризнанныя человѣческими.

И эта *табель о рангахъ*, опираясь на несчастныя жертвы рек-

рутскихъ наборовъ, осужденныя на двадцатипяти лѣтній голодъ и палки, и наполняя возы бумаги безграмотной канцелярской болтовней и ябедой — произвела чудеса, заселила цѣлыя страны, колонизировала Сибирь, просочилась до Тихаго Океана, до Персіи, до Швеціи. Она подходила къ Берлину, переходила Балканы, устроиваясь внутри въ какомъ то хаосѣ серальныхъ переворотовъ крови и разврата, и притомъ безъ всякаго сочувствія въ отрѣзанномъ и подавленномъ народѣ. Не доказываетъ ли это чрезвычайную пластическую силу?

Да за то какой цѣной это куплено?

Это правда, безчеловѣчно тяжелъ былъ путь русскаго развитія, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, дорого заплатилъ народъ за безпечный сонъ въ селахъ и деревняхъ! Татарское варварство и нѣмецкая цивилизація чудовищно наказали его. Татары съ тѣхъ поръ усмирились и тихо продаютъ красные сапоги въ Казани; Нѣмцы сильны еще, тѣмъ больше что большая часть изъ нихъ Русскіе, но и ихъ иго идетъ быстро къ концу; а циклопическія работы и выведенные фундаменты остаются. Повѣрьте, что о жертвахъ, падшихъ при этихъ постройкахъ, о поколѣніяхъ, безотрадно умершихъ на тяжелой работѣ, мы не меньше скорбимъ, чѣмъ кто либо. Не желая выйти изъ этихъ мрачныхъ путей, мы стараемся понять ихъ смыслъ, для того чтобъ отыскать выходъ, для того чтобъ воспользоваться выработаннымъ кровавыми слезами, и благословеніемъ грядущихъ поколѣній загладить прошедшія страданія.

Осудивъ оптомъ звѣрскія пути Петровскаго періода, отрекаясь отъ нихъ, мы отказываемся отъ процесса этапныхъ офицеровъ, тѣмъ больше что они перемерли на дорогѣ и точно также отказываемся отъ ретроспективной филантропіи — она опоздала.

Можетъ Турнеръ и вѣрно представилъ, въ своей картинѣ Ватерлооской битвы, на первомъ планѣ какой то въ ужасъ приводящій ворохъ труповъ, раненныхъ, плачущихъ женщинъ—но смысла битвы нѣтъ; и извѣстный Наполеонъ со слезою на глазахъ, и блѣдный, мраморный Веллингтонъ въ шинели, не спускающій глазъ съ отступающихъ Французовъ, объясняютъ во сто разъ больше, что тутъ было. А что и то было, что Турнеръ нарисовалъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; да это было во всякой рѣзнѣ отъ битвъ Нимврода до Солферино. Податная Русь страдала много, конечно не меньше крѣпостной Польши; всего хуже, что она и теперь страдаетъ, но одной чувствительностью не поможемъ. Врачъ, призванный къ больному, смотритъ, сколько силъ, что̀ цѣло и что̀ повреждено; и если онъ распрашиваетъ, какъ больной дошелъ до настоящаго положенія и чѣмъ были больны его отецъ и мать, то совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобъ читать ему мораль; болѣзнь такая краснорѣчивая мораль, что если и она не поможетъ, то что сдѣлаютъ фразы?

Тѣ народы пусть отвѣчаютъ за свое прошедшее, которыхъ пуповина съ исторіей не разрѣзана, которые горды своимъ прошедшимъ. Мы напротивъ, только разрываясь съ нимъ, идемъ впередъ. Мы скорѣе похожи на двуутробку, бѣгущую съ обнищалаго поля, уно-

ся съ собой свое будущее поколѣніе — чѣмъ на верблюда, несущаго черезъ степи кивотъ съ старымъ завѣтомъ.

То, что было съ Московскимъ періодомъ, то будетъ неминуемо съ Петербургскимъ. И такъ, какъ реформа Петра убила Московскій порядокъ, такъ предстоящая реформа убьетъ Петебургскій. Первая *органическая*, народная мысль, которая пробилась въ этихъ снѣговыхъ вершинахъ, носитъ въ себѣ зародышъ *освобожденія отъ нѣмецкаго ига*.

До сихъ поръ все шло иначе.

Работа Петербургская была чисто внѣшняя, алчная, все захватывавшая, все жавшая. И если Петербургское правительство дивило дерзкой отвагой объемовъ, то всѣ его созданія представляли какія-то огромныя, пустыя формы безъ содержанія, чего-то ждущія и покамѣсть наполненныя всякой казарменной рухлядью и канцелярской дрянью, которыя такъ мало шли къ жизни, что онѣ постоянно уродовали ее; а она постоянно искажала ихъ, прорывала, расширяла трещины, ускользала.

Къ чему копились силы, что выжималъ Петербургъ своимъ самодержавнымъ прессомъ изъ шестой части земнаго шара, зачѣмъ расширялъ онъ предѣлы, зачѣмъ ковалъ народъ въ цѣпи? На это онъ такъ мало могъ бы вамъ отвѣчать, какъ какой нибудь китъ, на что онъ поглощалъ тысячи рыбъ въ день, для того чтобъ выростить свое тѣло — его голодъ и органическая пластика того требовали.

Наконецъ петербургскій періодъ дошелъ до своего предѣла, стукнулся объ Западъ и увидѣлъ, что ему его не сломить; внутри онъ заправился до такой нелѣпости, что сталъ, по нѣмецкому выраженію, какъ волъ у горы, ему некуда было больше идти въ его ботфортахъ. И очень хорошо — онъ сдѣлалъ все, что могъ, оцѣпилъ огромную арену, приготовилъ эстраду, учредивъ въ ней полицейскій порядокъ. Когда это зданіе было готово, не только стоять, но и рухнуться, ему пришлось сложить руки; тутъ уже дѣло актеровъ, а на капельдинеровъ. Вышелъ Александръ II и объявилъ: „что россійскими императорскими чиновниками съ помощью благороднаго россійскаго дворянства будетъ на Петровскомъ Театрѣ представлена новая пьеса: „*Освобожденіе крестьянъ съ землею.*“

Это requiem Петербургской эпохи, въ которомъ главное solo поетъ самъ царь.

Еще ничего не сдѣлано, только спектакль возвѣщенъ, а Россія вся перемѣнилась... Вы вѣрно слыхали гулъ внутренняго содроганія силы въ котлѣ парохода, когда колесо еще стоитъ, паръ вырывается, сжатый, опасный, бѣлый — въ небольшую трубку, и пароходъ, стоя на одномъ мѣстѣ, уже повинуется не одному качанью волнъ, а своему сдержанному пульсу.

Вотъ что мы слышимъ теперь, вотъ что можете слышать вы, только для этого надобно не только прислушаться и прекратить частные разговоры, но бросить западный стетоскопъ.

Слово „освобожденіе крестьянъ“ раздалось какъ труба на зарѣ. Крестьянинъ, раскольникъ, чиновникъ-либералъ и чиновникъ-чиновникъ, образованный дворянинъ и дворянинъ сѣкущій, все это проснулось отъ тяжелаго сна въ какомъ-то нервномъ раздраженіи и бросилось укладываться и собираться въ путь. Берутъ мѣры, боясь какой-то грозящей невзгоды; правительство чувствуетъ себя слабѣе... у всѣхъ сдѣлалось больше крови въ жилахъ, у него одного меньше, а между тѣмъ колодки не измѣнились.

Вдругъ всѣ открыли, точно какую нибудь новость, удивительную нелѣпость и чрезвычайный безпорядокъ петербургскаго государственнаго устройства. Ни законовъ, ни суда, ни охраняющихъ формъ, ни честности, ни въ самомъ дѣлѣ повиновенія, ничего; словомъ, открыли то, что давнымъ давно говорилъ статсъ-секретарь Лонгиновъ: „истинное самодержавіе—само держится и чертъ знаетъ на чемъ!“

Ни одной ясной, послѣдовательно проведенной идеи юридической, административной нѣтъ во всей Россіи отъ Зимняго Дворца до Сибирскихъ поселеній, отъ святѣйшаго синода до грѣховнѣйшаго земскаго суда. Нелѣпость въ одну сторону приводится къ нѣкоторому равновѣсію нелѣпостью въ другую.

Крѣпостное право, напримѣръ, никогда не утвержденное закономъ въ той силѣ, въ которой оно существуетъ, вовсе не укрѣпило, а спутало понятіе о собственности. Какъ себя помѣщикъ ни увѣрялъ въ правомѣрности имѣть крѣпостныхъ, и какъ правительство ни усердно сѣкло съ нимъ мужиковъ въ доказательство, что они собственность, на днѣ души оставалось сомнѣніе, почти угрызеніе совѣсти, которое мало по малу перенеслось и на понятіе поземельной собственности, — и въ то же время обратнымъ путемъ и крестьянинъ дошелъ до того, что *онъ* барскій, а земля *его*.

Иностранцы, пораженные этимъ неустройствомъ, и даже многіе изъ Русскихъ смотрятъ съ ужасомъ на него, не думая о томъ, что еслибъ Петербургское управленіе могло быть возведено въ порядокъ и принято народомъ, то мы бы погибли. Человѣкъ, схваченный въ расплохъ за горло, отдаетъ разбойнику свой кошелекъ, но нравственно онъ отъ него свободенъ; а несчастный, который кошелекъ отдаетъ папѣ за индульгенцію, рабъ въ душѣ, хотя папа и не держитъ его за горло.

Каждый Русскій долженъ благословить, что временныя смирительныя учрежденія Петербургскаго самовластья, вызвали только одни нелѣпѣйшія безобразія, а не стараться *какъ нибудь* привести его въ *порядокъ* на основаніяхъ нѣмецкой бюрократіи. Наше неустройство, это великій протестъ народный, это наша magna charta, нашъ вексель на будущее. Не надобно ошибаться въ его характерѣ, это не распаденіе на части ветхаго тѣла, а безпокойное ломанье живаго организма, отдѣлывающагося отъ постороннихъ путъ; не гнилое броженіе, а броженіе около бьющагося зародыша.

Да гдѣ же онъ?

Конечно, не въ правительствующемъ сенатѣ и не въ главномъ

штабѣ, не въ министерствахъ и ихъ канцеляріяхъ... всѣ эти пустыя стойла петербургской конюшни развѣ только ему послужили яслями...

Говорить еще разъ о тэмъ, что такое *право на землю* и *общинное устройство* русской деревни, я не стану; я такъ недавно сдѣлалъ опытъ объяснить, на сколько понимаю эти вопросы (58 и 59 № „Колокола"), что не имѣю почти ничего прибавить къ сказанному.

Напомню вамъ только сказанное въ прошломъ письмѣ объ иномъ отношеніи нашемъ къ Западу; *мы ближе и дальше* отъ него, чѣмъ прежде. Утомленная долгой борьбой за личную свободу, Европа снова скованная, выбиваясь изъ силъ, сѣла на камень возлѣ границы, къ которой съ другой стороны и насъ пригнали съ цѣпями на рукахъ и ногахъ. Это нашъ первый этапъ; но ужь по прежней западной дорогѣ, если насъ раскуютъ, мы не пойдемъ—примѣръ передъ глазами.

Не величайшее ли счастье, что мы такъ поздно сблизились? Весьма можетъ быть, что при иной встрѣчѣ съ западной цивилизаціей, когда она сама была полна вѣры въ себя, энергіи и силъ —мы продолжали бы внутри Петровскую работу, и вѣроятно разбили бы неказистые крестьянскіе ларцы, единственное наслѣдіе наше, для того чтобъ сдѣлаться чѣмъ нибудь въ родѣ плохой Пруссіи.

Едва ли не придется намъ также благословить Чудскіе и Туранскіе элементы, попризадержавшіе наше старо-славянское развитіе, какъ мы благословляемъ теперь Петербургское неустройство. Можетъ безъ нихъ мы имѣли бы въ исторіи нѣсколько страницъ болѣе блестящихъ, мы вспоминали бы, можетъ, вмѣсто дани платимой Золотой Ордѣ, какое нибудь спасеніе à Jean Sobieski *Вѣнской* орды; вѣроятно католицизмъ и Римское право прикрѣпили бы и насъ къ кораблю, который теперь тонетъ, и все свое тащитъ съ собой въ пропасть; общинное владѣніе, міръ, все это было бы разрушено панами, какъ въ Польшѣ и *дикое право каждаго на землю*, замѣнилось бы образованнымъ, но *невозможнымъ —правомъ на работу*.

Случилось иначе — и теперь позвольте вамъ сдѣлать вопросъ: вѣрите вы или нѣтъ, что казненный соціализмъ „умеръ и похороненъ"? Мнѣ все кажется, что ему забыли перебить голени и что онъ также какъ нибудь, «предваривши утро», сброситъ съ себя саванъ и пойдетъ бродить по ученикамъ. Кажется мнѣ это оттого, что соціализмъ *необходимое послѣдствіе*; пока существуютъ посылки, а они такъ глубоко вросли въ современную жизнь или выросли изъ такой глубины ея, что ихъ съ корнемъ вырвать нельзя, — соціализмъ будетъ ставиться ихъ живымъ силлогизмомъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока мозгъ будетъ дѣйствовать нормально.

Силлогизмъ этотъ, послѣдній логическій выводъ западнаго сознанія, является у насъ какъ естественная непосредственность.

Мы общинный бытъ, право на землю нашли какъ наши руки т. е онѣ были тутъ, когда мы пришли въ себя и въ первый разъ подумали объ нихъ. Такъ дикое, но рѣзкое начало личныхъ правъ лежало въ непосредственности доисторической натуры Германскихъ племенъ.

Петръ I задержалъ своимъ хлороформомъ народную жизнь на время императорскихъ операцій и перевязокъ, но онъ не разрушилъ ея элементовъ, не только въ податной Руси, но и въ неподатной. По мѣрѣ того, какъ геній русскій выходилъ изъ оцѣпенѣнія и развивался наукой, онъ догналъ теоретическую мысль Запада; но, догнавши, онъ разошелся съ его практическимъ приложеніемъ, потому что былъ послѣдователенъ, онъ въ своей народной совѣсти не находилъ тѣхъ граней и препятствій, о которыя спотыкалась Европа. Безправный рабъ помѣщика не мечталъ объ освобожденіи безъ земли, безправный рабъ царя пересталъ восхищаться феодально-буржузнымъ представительствомъ.*) Дерзость замысловъ наша дошла, напримѣръ, до того, что правительство, дворянство и народъ, споря о выкупѣ и переходномъ времени, толкуя о количествѣ земли и ея оцѣнкѣ, согласны въ одномъ, что безъ земли нельзя освободить русскаго мужика, признавая такимъ образомъ безусловно его *право на землю*.

Подумайте теперь о результатѣ, когда эта шестая доля земнаго шара, со всѣми своими Туранскими и Чудскими примѣсями, съ соціальными инстинктами, освобожденная отъ нѣмецкихъ колодокъ и лишенная воспоминаній и наслѣдства, перекликнется съ пролетаріемъ-работникомъ и съ пролетаріемъ-батракомъ на Западѣ, и они поймутъ, что собственно у нихъ дѣло одно.

Кто можетъ предвидѣть всѣ столкновенія и всѣ борьбы, которыя вызовутся въ тѣ дни. Но что онѣ будутъ страшны, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Передъ борьбой намъ хотѣлось, чтобъ Славяне подали другъ другу руку, на братскій союзъ, — не для помощи Россіи, ужь она то fara da se, не для составленія съ ней чудовищной имперіи, мы ничего не знаемъ нелѣпѣе этихъ китообразныхъ государствъ, которымъ двигаться тяжело отъ роста, а для того, чтобъ они не остались по ту сторону, по сторону *прошед-*

---

*) Есть въ Россіи каста отупѣвшихъ отъ школьной политики педантовъ и доктринеровъ, которая съ комическимъ Suffisance, репетируетъ идеи Пилевской реформы и либерализма временъ Казиміра Перье. Тяжелая ученость, схоластическія занятія, выѣли ихъ слабыя способности; а совершенное безучастіе къ живой жизни, не вызвало ихъ идти съ каѳедры на рынокъ. Испуганные дикими, неустроенными элементами русскаго развитія, они попадаютъ то во французскую болѣзнь — централизаціи, то въ англійскую — буржуазнаго selfgovernement'а. Но это ничего не значитъ, люди эти и съ цѣлымъ мозгомъ не сдѣлали бы ничего; а скорѣе только доказываетъ крѣпость народнаго духа, который не перевариваются „нѣмецкими, гладенькими" умками.

шаю, или не сдѣлались-бы кровавымъ театромъ страшной борьбы.

Но можетъ Польша дѣйствительно больше принадлежитъ къ старо-западному міру и хочетъ рыцарски дѣлить его послѣднія судьбы, лить за него кровь, какъ герой Понятовскій, и увидѣть, какъ самъ Понятовскій—въ пѣснѣ Беранже, какъ Западъ руки не подастъ тонущему за него? Да будетъ ея святая воля!

Мы требовали одного, и теперь требуемъ, чтобъ разрываясь съ Россіей, она глубже узнала, что за всходы прозябаютъ, прикрытые въ ней солдатской шинелью и императорской мантіей...

Позвольте мнѣ этимъ заключить письмо мое.

Колоколъ № 36.
15 Февраля 1859 г.

ОТВѢТЪ РУССКОЙ ДАМѢ.

Милостивая Государыня,

Вы мнѣ писали съ доброй цѣлью, я этому вѣрю, я это вижу изъ нѣкоторыхъ мѣстъ вашего письма. Напрасно вы извиняетесь въ концѣ его и избавляете меня отъ отвѣта, думая, что я не буду и не могу отвѣчать искренно. Совсѣмъ напротивъ, я самъ хочу вамъ отвѣчать и притомъ очень откровенно. Я вообще не скрытенъ, а тутъ и нѣтъ причины.

Въ вашемъ письмѣ, признаюсь вамъ, въ самомъ началѣ два замѣчанія странно подѣйствовали на меня, потому ли, что оба нисколько не заслужены мною, или потому, что оба касаются до предметовъ очень дорогихъ мнѣ.

Вы говорите, что я *все* браню въ Россіи,—полно, все ли? Вы, мнѣ кажется, думаете, что я имѣю какой-то зубъ на Россію, что я полонъ нелюбви ко всему русскому. Увѣрять въ противномъ я не стану, а скажу только, что вся моя жизнь, всѣ мои слова, все, что я дѣлалъ и дѣлаю, лучшее возраженіе на ваше замѣчаніе. Вы были предупреждены, читая „Полярную Звѣзду".

А потому, что вы были предупреждены, вы увидали какой-то холодный, чуть не саркастическій смыслъ въ строкахъ, писанныхъ трепетной рукой, въ строкахъ, писанныхъ съ бьющимся сердцемъ, гдѣ я говорилъ: „о тяжелыхъ вѣнцахъ, которыми вѣнчали ямщиковъ, и о дьячкѣ, подававшемъ дрожащей рукой ковшъ единенія". Я васъ не понимаю; сдѣлайте одолженіе, перечитайте это мѣсто.*)

Мнѣ хотѣлось въ самомъ началѣ покончить эти личные вопросы. Теперь позвольте мнѣ обратиться къ главному предмету вашего письма.

Цѣль его—обращеніе меня въ христіанскую религію.

Вы видите во мнѣ что-то „неспокойное", какую-то разорванность, подозрѣваете какую-то тайну, чуть ли не угрызеніе совѣсти, и хотите меня спасти, или лучше не самого меня, а мою

---

*) „Полярная Звѣзда", III кн. стр. 134—135.

душу. Вы предполагаете, что я хочу успокоиться во что бы ни стало, и, жалѣя меня, вы подаете мнѣ потиръ съ опіумомъ.

Но вы ошибаетесь въ моемъ духовномъ настроеніи. Тайнъ у меня нѣтъ. Въ прошедшемъ меня посѣтили страшныя несчастія, но угрызеній совѣсти они не оставили. Отъ этого не легче; есть случаи, въ которыхъ угрызенія совѣсти примиряютъ съ несчастіями, вводя какой-то мстительный разумъ въ противное безсмысліе, въ хаотическую нелѣпость случайностей.

Но при всемъ этомъ гдѣ же вы видѣли во всемъ писанномъ мною эту усталую потребность *одного* покоя, въ которомъ терзающіе меня диссонансы разрѣшились бы не *въ самомъ дѣлѣ*, а въ моемъ слухѣ...

Я не ищу страданій и не бѣгу отъ нихъ.

Но представьте, что вы были бы правы, что измученный, обезсиленный, усталый, я жаждалъ бы успокоенія и вѣры... Неужели вы думаете, что стоитъ захотѣть и повѣришь?

Я уже не разъ повторялъ отвѣтъ Байрона дамѣ, которая ему писала въ Грецію письмо въ томъ же родѣ, какъ вы писами ко мнѣ въ Лондонъ. Байронъ оцѣнилъ ея участіе и, отвѣчая ей съ грустной кротостью, спросилъ ее: „Съ чего же начать, чтобъ *повѣрить*, когда не вѣришь—какъ это сдѣлать?“ Вѣдь это въ самомъ дѣлѣ задача невозможная!

Вѣра—страсть; но и любовь къ истинѣ—страсть; вѣра требуетъ жертвъ, и любовь къ истинѣ требуетъ жертвъ, и притомъ вѣра беретъ взаймы съ лихвою, а любовь къ истинѣ безъ всякаго вознагражденія, такъ она самодѣятна и сильна. На которую изъ двухъ дорогъ попадетъ человѣкъ, выборъ почти не зависитъ отъ него.

Вы знаете, что внутренняя жизнь наша опредѣляется вовсе не по обдуманной программѣ; въ раннемъ отрочествѣ, иногда въ ребячествѣ — инстинктъ, окружающая среда безъ преднамѣренія, безъ полнаго сознанія, безъ участія воли съ той и другой стороны даютъ направленіе. Когда молодой человѣкъ впервые пріостанавливается въ раздумьи и начинаетъ разборъ себя—его мысли уже подтасованы, движеніе по извѣстному направленію уже дано. Остальное зависитъ отъ силы логики, отъ силы характера, отъ послѣдовательности. Большей частію умственная жизнь у людей такъ поверхностна, и ихъ интересы въ ней такъ серьезны, что изъ нихъ можно равно сдѣлать мистиковъ и матеріалистовъ, и даже и то и другое вмѣстѣ; у однихъ будетъ немного мистицизма въ ихъ матеріализмѣ, а у другихъ небольшая толика матеріализма въ ихъ мистицизмѣ. Но если для человѣка мысль и сознаніе не шутка, если истина въ самомъ дѣлѣ составляетъ для него существенную потребность, если онъ далъ въ своей груди мѣсто ея труду, если онъ развилъ въ себѣ тоску, боль по ней—тогда ему будетъ трудно отказаться отъ самобытнаго разума, отъ независимаго анализа въ пользу какого бы то ни было авторитета, мысль его будетъ въ тиши подтачивать на вѣру взятое, взвѣшивать слова и

класть пальцы во всѣ раны, хотя отъ этого и сдѣлается въ сто разъ больнѣе.

Многіе (и вы въ томъ числѣ) думаютъ, что это гордость мѣшаетъ вѣрить. Но отчего гордость не мѣшаетъ учиться? Что можетъ быть смиреннѣе работы мыслителя, наблюдающаго природу? Онъ исчезаетъ какъ личность и дѣлается однимъ страдательнымъ сосудомъ для обличенія, для приведенія къ сознанію какого нибудь закона. Онъ знаетъ, какъ онъ далекъ отъ полнаго вѣдѣнія, и говоритъ это. Сознаніе о томъ, чего мы не знаемъ, своего рода начало премудрости.

До сихъ поръ религіозное воззрѣніе безнаказанно злоупотребляло словами, не отдавая себѣ отчета,— по привычкѣ, традиціи и монополіи, которой религія пользуется.

Передъ высокомѣрнымъ уничиженіемъ вѣрующаго не только гордость труженика науки ничего не значитъ, но гордость царей и полководцевъ теряется и исчезаетъ. Да и какъ же ему не гордиться,— онъ знаетъ безусловную, несомнѣнную истину о Богѣ и о мірѣ; онъ знаетъ не только этотъ, но и *тотъ* свѣтъ... онъ смиренъ, даже застѣнчивъ отъ избытка богатства, отъ увѣренности.

Посмотрите, какъ безпощадно, строго вы у меня отнимаете право рѣчи, которое мнѣ дала природа, какъ гордо и рѣзко вы меня спрашиваете — кто мнѣ поручилъ проповѣдывать? гдѣ мое помазаніе? То, что я самъ себѣ это поручилъ, въ вашихъ глазахъ ничего не значитъ — что такое я? Помазаніе любви, помазаніе труда, все это не спасаетъ меня, я самозванецъ и долженъ замолчать. Съ другой стороны, какое спокойствіе, какая увѣренность въ васъ самихъ! Въ вашемъ помазаніи *вы не сомнѣваетесь*, вы увѣрены, что Богъ вамъ поручилъ меня спасти; вамъ легко, потому что вы дѣйствуете съ нимъ заодно. Не думайте, что я хочу этими строками сдѣлать вамъ личный упрекъ, — нисколько. Это странное сочетаніе неестественной гордости съ неестественнымъ смиреніемъ принадлежитъ вообще христіанскому воззрѣнію. Оттого-то и папа римскій „царь царей“ всегда называетъ себя *рабомъ рабовъ*.

Вы говорите, что «я могъ бы многое сдѣлать для Россіи, еслибъ любилъ ее *безкорыстно*». Какая же корысть у меня? Видѣть развитіе Россіи, участвовать въ немъ, какъ одинъ изъ сотенъ тысячъ, видѣть ея освобожденіе, освобожденіе крестьянъ — неужели это корысть? Неужели вы не шутя говорите, что я „живу для одной славы“. Помилуйте, вѣдь я не шестнадцатилѣтній студентъ, не Карлъ Моръ, не маркизъ Поза. Въ нашъ вѣкъ волокитство за славою вообще миновало, и милый Камель Демуленъ съ милыми жирондистами и грознымъ Дантономъ, говорившими о славѣ на ступеняхъ эшафота—были послѣдніе люди, которые смѣшно о ней говорили.

Въ нашъ вѣкъ люди скорѣе живутъ для власти, для денегъ, чѣмъ для славы.

Еслибъ я только хотѣлъ шуму, неужели вы думаете, что я бы

не нашелъ дѣла въ Англіи, во Франціи, наконецъ въ Швейцаріи, которая такъ дружески усыновила меня? Или можетъ я ищу власти въ Россіи? Нечего сказать, хорошъ путь выбралъ я въ первыя страницы адресъ календаря? Не денегъ ли?... Этого ужъ никто не думаетъ.

Такъ *изъ чего же* я хлопочу?

Религіозному воззрѣнію любовь къ истинѣ, къ дѣлу, потребность обнаруживанія себя, потребность борьбы съ ложью и неправдой, словомъ дѣятельность *безкорыстная* непонятна. Религіозный человѣкъ свѣчки грошевой даромъ Богу не поставитъ, это ему все векселя на будущую болѣзнь, на будущій урожай, наконецъ на будущую жизнь. Я не смѣю находить *безкорыстной* молитву, потому что мнѣ придется, чтобы спасти ее отъ своекорыстія, признаться, что то, чего она проситъ, не въ самомъ дѣлѣ, или невозможно—а вы за это разсердитесь на меня.

Вы говорите мнѣ: „Напрасно вы заботитесь о Россіи, она могучая, здоровая, *сама справится.*“ Что такое *сама*? Да развѣ вы, я, всѣ проснувшіеся, всѣ говорящіе, всѣ недовольные, западники, славянофилы... не принадлежатъ къ этой самости, не составляютъ ея сводной личности? Развѣ она не нами развивается, развѣ мы не ею развиты? Не съ неба же свалились мои мысли, мое направленіе. Я „забочусь о Россіи“ потому, что *не могу* не заботиться объ ней, потому что утромъ просыпаясь и ночью засыпая, невольно думается о Россіи, потому что каждая вѣсть оттуда заставляетъ биться сердце — двойнымъ негодованіемъ или двойной радостью. Что же удивительнаго, что я „забочусь объ Россіи“. Вѣдь можетъ и я, какъ Россія, „самъ справлюсь“, а вы заботитесь однако о спасеніи моей души, и я въ этомъ нахожу очень человѣческое чувство и душевно васъ благодарю.

Перехожу къ послѣднему. Вы говорите, что я браню все на Западѣ, царей и народы, браню все въ Россіи—безъ различія *сана и лѣтъ*, и спрашиваете, да гдѣ же мой рецептъ на спасеніе людское... вы говорите, что я только сѣю раздражительное неудовольствіе и сомнѣніе, что я только развиваю жажду, не поднося питья.

Что касается до „сана и лѣтъ“—это мы отложимъ въ сторону; лѣта только тогда достойны уваженія, когда они служатъ доказательствомъ не только крѣпости мышцъ и пищеваренія, но и человѣчески прожитой жизни; и кто же не склоняется передъ старцемъ Гумбольдтомъ, кто не склонялся передъ старцемъ Оуеномъ, -- бывали и на Руси старцы, которыхъ всѣ уважали, какъ Н. С. Мордвиновъ; у насъ и теперь есть наши *старцы* Сибири, наши *старцы* каторжной работы, и мы передъ ними стоимъ съ непокрытой головой. Но уважать эти сѣдыя піявки, сосущія русскую кровь, этихъ николаевскихъ писцевъ, ординарцевъ оттого, что они живутъ до аредовыхъ лѣтъ, оттого что ихъ и смерть не беретъ, и они, пользуясь этимъ, сдѣлались какими-то мозолями, мѣшающими ступить Россіи шагъ впередъ? Нѣтъ, они не заслуживаютъ даже снисхожденія.

Если взять табель о рангахъ и прочность желудка за мѣру уваженія, гдѣ же мы поставимъ границы ему? Эдакъ мы дойдемъ черезъ пять лѣтъ до уваженія Дуббельта, а черезъ пятнадцать до Іакова Энтузіаста. Тутъ вы меня извините, я не только не могу вамъ уступить главныхъ въ родѣ Панина, но даже ихъ подмастерій въ родѣ Закревскаго. Да вотъ скажите кстати сами. что же вы уважаете его за его санъ и за его безъ малаго сто лѣтъ?...

И такъ вы говорите, что *я только* вношу сомнѣніе въ сердца молодаго поколѣнія и пробуждаю въ немъ жажду. Это *только* само по себѣ кое что. Человѣкъ сомнѣвающійся будетъ безпокоенъ, станетъ искать выхода изъ сомнѣнія: человѣкъ, у котораго жажда возбуждена, пойдетъ отыскивать утоленіе ея. Послѣ нравственной косности прошлаго тридцатилѣтія, послѣ старческаго маразма, внесеннаго въ самую юность искаженнымъ воспитаніемъ, всякое возбужденіе къ жизни, всякій голосъ, бросающій вопросъ, разрушающій разсѣянное равнодушіе, останавливающій молодаго человѣка между университетскимъ дипломомъ и дипломомъ на чинъ титулярнаго совѣтника, между кадетскимъ корпусомъ и полкомъ, и зовущій на раздумье—спасительный голосъ.

Тѣхъ рѣшеній, о которыхъ вы говорите, я не могу дать, я ихъ не имѣю, я самъ ихъ ищу, я не учитель, я попутчикъ. Мы вмѣстѣ доискиваемся, оттого, можетъ быть, у насъ есть сочувствіе. Я не берусь имъ говорить, *что надобно*, но кажется довольно вѣрно указываю *чего не надобно*.

Вы хотите отъ меня доктрины. Вы правы. Доктрина дѣйствительно стоитъ между церковью и свободнымъ мышленіемъ, въ родѣ разстриженнаго монаха, не привыкнувшаго еще къ свѣтскому платью. Того разлада, той неудовлетворительности, которую вы находите во мнѣ, конечно нѣтъ у доктринеровъ, какъ вообще нѣтъ у религіозныхъ людей. Доктрина—религія, изъ которой Богъ выѣхалъ, а церковная утварь осталась; отъ этого она вамъ знакомѣе, въ ней еще ладономъ пахнетъ. Церковь замѣняется государствомъ, монастырь—присутственнымъ мѣстомъ, чины небесные — служебными чинами, поглощеніе лица въ Богѣ — поглощеніемъ его въ государствѣ; священники стали квартальными и централизаціей исправляется должность Іеговы. Народъ по прежнему остается паствой, пастухи-бюрократы знаютъ, куда пасутъ его, псы вѣрные отъ кавалеріи и инфантеріи имъ помогаютъ, чтобъ глупое стадо не заразилось,—такой доктрины, опредѣленной, ограниченной, умѣренной и воздержной у меня такъ-же нѣтъ, какъ вѣры.

Но если я не имѣю доктрины, не пишу заповѣдей гдѣ нибудь на горѣ, ни приказовъ гдѣ нибудь въ канцеляріи,—неужели же я не могу кричать о рабствѣ и передней всякій разъ, какъ увижу галунъ, на какой бы ливреѣ онъ ни былъ, съ пчелами или орлами, на академической мантіи или на генералъ-адъютантскомъ мундирѣ... Неужели я не могу проповѣдывать освобожденіе мысли и совѣсти отъ всего хлама, не проведеннаго сквозь очистительный огонь сознанія; звать на борьбу со всѣми остающимися узами на

независимости мышленія, со всѣмъ ограничивающимъ самозаконность личности, этой высшей, дѣйствительной цѣли церкви и государства. Неужели я не имѣю права покачать діалектическими мышцами всѣ эти почтенные идолы, пугающіе слабыхъ — во имя логической свободы, во имя безпрепятственнаго мышленія, разбирающаго все, посягающаго на все.... Или неужели вы не дадите права русскому сдѣлать гласнымъ біеніе сердца, слезы, надежды сомнѣнія... во всемъ, касающемся до русскаго народа въ современныхъ вопросахъ нашихъ, который можетъ меня упрекнуть во всемъ, кромѣ недостатка сочувствія и любви.

И къ тому же зачѣмъ меня лишать права рѣчи? Если мои слова безъ мистическаго вѣрованія, безъ школьной доктрины будутъ пусты, будутъ нелѣпы, ихъ прочтутъ, забудутъ и наконецъ совсѣмъ не будутъ читать. За чѣмъ же отнимать у человѣка такое естественное право, какъ участіе рѣчью въ современномъ дѣлѣ своей родины? Довольно въ Россіи всякихъ цензуръ, всякихъ стѣсненій, всякихъ монополій, научимтесь выносить свободу!

Въ заключеніе моего письма я попрошу васъ не сомнѣваться ни на одну минуту, что, несмотря на различіе нашихъ воззрѣній, я вполнѣ цѣню и теплоту душевную, съ которой вы писали, и ваше доброе, человѣческое желаніе свести миръ въ мою душу, и потому искренно и откровенно благодарю васъ.

Колоколъ №№ 40 и 41.
15 Апрѣля 1859 года.

ДЖОНЪ СТЮАРТЪ МИЛЬ
и его книга „On Liberty".

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу, и просто, безъ страха и сожалѣнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ *Современникѣ* мои *письма изъ* Avenue Marigny, часть друзей и недруговъ показывали знаки нетерпѣнія, негодованія, возражали.... а тутъ, какъ на зло, съ каждымъ событіемъ, становилось на Западѣ темнѣе, угарнѣе—и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально-либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля — прусскимъ принцемъ, не могли отвести глазъ, искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеалъ, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ; если она не такая, ее надобно выдумать. Развѣ наивные вольнодумы XVIII вѣка, и въ ихъ числѣ Вольтеръ и Робеспьеръ не говорили, что если и нѣтъ безсмертія души, то его надобно проповѣдывать, для того, чтобы держать людей въ страхѣ и добродѣтели. Или развѣ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую болѣзнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа или сумасшедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію дѣло, можетъ, хорошее, но не всѣ способны къ ней.

Я не унывалъ, впрочемъ, отъ порицаній и утѣшалъ себя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е. независимо отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдетъ и обличится. „Kommt an die Sonnen", какъ говоритъ Гете.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ *моихъ* мнѣній, антропологически понятна, сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаменѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что *я свой человѣкъ*, съ чего-же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить — да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны какъ въ маятникахъ, самые противуположные элементы, съ одной стороны оно толкается какимъ-то жестянымъ, костлявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ. заносчивой самонадѣянностью, щепетильной обидчивостью; съ другой въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовѣріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный результатъ тридцатилѣтняго рабства; въ немъ въ иной формѣ сохранилась наглость начальника, дерзость барина—съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпускаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературныхъ отдѣленій, время шло себѣ, да шло, и, наконецъ, прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849 г., стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ парадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много *вѣчныхъ и незыблемыхъ* истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платья.

Серьезные умы въ Европѣ стали смотрѣть серьезно. Ихъ очень не много, это только подтверждаетъ мое мнѣніе о Западѣ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ который бытъ замѣшанъ въ дѣло Орсини) улыбались надъ остатками моей вѣры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant qui ante nos nostra dixerunt и спасибо тѣмъ, которые послѣ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудономъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ соціалистомъ, изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсѣмъ нѣтъ, она писана однимъ изъ извѣстнѣйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индѣйскаго борда, которому три мѣсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мѣсто въ правительствѣ. Человѣкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ; въ Англіи его нехотя читаютъ

тори и со злобой виги, его читаютъ на материкѣ тѣ нѣсколько человѣкъ (исключая спеціалистовъ), которые вообще читаютъ что нибудь, кромѣ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Миль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту *свободы мысли, рѣчи и лица*, я говорю странную потому, что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь on Liberty. А вѣдь такіе люди, какъ С. Миль, не могутъ писать изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энергическое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Миля врагъ совсѣмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ *общества*, противъ *нравовъ*, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетерпимости, противъ „посредственности".

Это не негодующій старикъ, царедворецъ Екатерины, который брюзжитъ, обойденный кавалеріей, надъ юнымъ поколѣніемъ и колетъ глаза зимнему дворцу—грановитой палатой. Нѣтъ, это человѣкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дѣлахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнувшій спокойно смотрѣть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то наконецъ невытерпѣлъ и, подвергаясь гнѣву невскихъ регистраторовъ цивилизаціи и москворѣцкихъ книжниковъ западнаго образованія, закричалъ „Мы тонемъ!"

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота интересовъ, отсутствіе энергіи ужаснули его; онъ присматривается и видитъ ясно, какъ все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй „добропорядочнѣе", но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіи (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціи), что вырабатываются общіе стадные типы и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите—*душа убываетъ*.

Но зачѣмъ же будитъ онъ спящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумалъ для нихъ? Онъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Предтеча, грозитъ будущимъ и зоветъ на покаяніе; врядъ ли второй разъ подвинешь этимъ отрицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Миль стыдитъ своихъ современниковъ, какъ стыдилъ своихъ Тацитъ; онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановилъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но можетъ никакой плотиной въ мірѣ.

„Люди инаго закала, говоритъ онъ, сдѣлали изъ Англіи то, что *она была* и только люди другаго закала могутъ ее предупредить отъ *паденія*."

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала только патологическій фактъ и признать его очень важный шагъ для

выхода,—но не выходъ. Стюартъ Миль коритъ больнаго, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ; странное леченіе и едва ли великодушное.

Но что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтіосавромъ,—виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Миль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричалъ со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: „Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?"

Зачѣмъ же онъ его звалъ? За тѣмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъ и слѣдственно долженъ сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Для чего? — Молчаніе.

И Робертъ Оуенъ звалъ людей лѣтъ семьдесятъ сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ *на что нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Миль, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣнями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочники сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики—героями?

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго Конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шпіонами и épiciers, и начать рѣчь въ родѣ Гамлета:

Look here, upon this picture, and on this...
Hyperion's curls, the front of Love himself;
An eye like Mars...'
Look you now, what follows,
Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно — но неужели отъ этого кто нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный бытъ, и все это для того, чтобъ величаво скучать какъ Кромвель, или стоически нести голову на плаху, какъ Дантонъ?

Тѣмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ господствомъ страстнаго убѣжденія — d'une idée fixe.

Такая idée fixe былъ католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII столѣтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ magnum ignotum, этотъ сфинксовый вопросъ нашей цивилизаціи,—гдѣ та могучая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній, и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ — что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли папы съ его незапят-

ваннымъ рожденіемъ богородицы, или религія безъ папы съ ея догматомъ воздержанія отъ пива въ субботній день? ариѳметическій ли пантеизмъ всеобщей подачи голосовъ, или идолопоклонство монархіи, суевѣріе ли въ республику или суевѣріе въ парламентскія формы?... Нѣтъ и нѣтъ; все это блѣднѣетъ, старѣетъ и укладывается, какъ нѣкогда боги Олимпа укладывались, когда они съѣзжали съ неба, вытѣсняемые новыми соперниками, подымавшимися съ Голгоѳы.

Только на бѣду ихъ нѣтъ у нашихъ почернѣвшихъ кумировъ, по крайней мѣрѣ С. Миль не указываетъ ихъ.

Знаетъ онъ ихъ или нѣтъ, это сказать трудно.

Съ одной стороны англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смѣлая логическая послѣдовательность, онъ своимъ скептицизмомъ чуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаемы безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всѣ пуговицы и поднимать воротникъ, это его предостерегаетъ отъ сыраго вѣтра и отъ суровой нетерпимости. Въ той же книгѣ С. Миля мы видимъ примѣръ этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости онъ опрокинулъ немного падшую на ноги христіанскую мораль, и во всей книгѣ ничего не сказалъ о христіанствѣ.*)

С. Миль, вмѣсто всякаго выхода, вдругъ замѣчаетъ: „Въ развитіи народа кажется есть предѣлъ, послѣ котораго онъ останавливается и *дѣлается Китаемъ*“.

Когда же это бываетъ?

Тогда, отвѣчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятія добра и зла смѣшиваются съ понятіемъ сообразности или несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе — развитіе собственно и состоитъ изъ стремленія къ *лучшему* отъ обычнаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человѣчества не имѣетъ исторіи, то это потому, что жизнь ея совершенно подчинена обычаю.

---

*) „Христіанская нравственность имѣетъ весь характеръ реакціи, это большей частію одинъ протестъ противъ язычества. Ея идеалъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный, страдательный — чѣмъ дѣятельный. Она больше проповѣдуетъ воздержаніе отъ зла, чѣмъ дѣланіе добра. Ужасъ отъ чувственности доведенъ до аскетизма. Награды на небѣ и наказанія въ аду придаютъ самымъ лучшимъ поступкамъ чисто эгоистическій характеръ, и въ этомъ отношеніи христіанское воззрѣніе гораздо ниже античнаго. Лучшая часть въ нашихъ смутныхъ понятіяхъ объ общественныхъ обязанностяхъ взята изъ греческихъ и римскихъ источниковъ. Все доблестное, благородное, самое понятіе чести передано намъ свѣтскимъ воспитаніемъ нашимъ — а не духовнымъ, проповѣдующимъ слѣпое повиновеніе, какъ высшую добродѣтель.“—J. S. Mill.

Теперь слѣдуетъ взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваетъ современное состояніе образованнаго міра. Онъ говоритъ, что не смотря на умственное превосходство нашего времени, все идетъ къ *посредственности*, лица теряются въ толпѣ. Эта collective mediocrity ненавидитъ все рѣзкое, самобытное, выступающее; она проводитъ надъ всѣмъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разрѣзѣ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность какъ топкое болото понимаетъ, съ одной стороны все желающее вынырнуть, а съ другой предупреждаетъ безпорядокъ эксцентричныхъ личностей — воспитаніемъ новыхъ поколѣній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоитъ преимущественно въ томъ, чтобъ жить какъ другіе: „Горе мущинѣ, а особливо женщинѣ, которые вздумаютъ дѣлать то, *чего никто не дѣлаетъ;* но горе и тѣмъ, которые не дѣлаютъ *того, что дѣлаютъ всѣ.*“ Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *дѣлами*, и иной разъ для развлеченія шалятъ въ филантропію (philantropic hobby) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то средѣ принадлежитъ сила и власть, самое правительство по той мѣрѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствующей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же эта державная среда? „Въ Америкѣ къ ней принадлежатъ всѣ бѣлые, въ Англіи господствующій слой составляетъ *среднее состояніе*“.*)

С. Миль находитъ одно различіе между мертвой неподвижностію восточныхъ народовъ и современнымъ мѣщанскимъ государствомъ. И въ немъ то, мнѣ кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полыни, поданнаго имъ. Вмѣсто азіатскаго коснаго покоя, современные европейцы живутъ, говоритъ онъ, въ пустомъ безпокойствѣ, въ безсмысленныхъ перемѣнахъ: „отвергая особности, мы не отвергаемъ перемѣны, лишь бы онѣ были всякій разъ сдѣланы *всѣми.* Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мѣнять два-три раза въ годъ покрой нашего платья. но съ тѣмъ, чтобъ всѣ мѣняли его, и это дѣлается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемѣны!“

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то „Европа, не смотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, *сдѣлается Китаемъ.*“

Вотъ мы и возвратились и стоимъ передъ тѣмъ же вопросомъ: На какомъ основаніи будить спящаго? во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь—вдохновится, сдѣлается недовольна своей теперешней жизнію съ желѣзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми издѣліями?

Личности не выступаютъ оттого, что нѣтъ достаточнаго повода,

*) Пусть читатели вспомнятъ, что было сказано объ этомъ въ „Западныхъ Арабескахъ“. «Полярная Звѣзда» на 1857 годъ.

За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ *лучшаго* и сохраненіемъ *существующаго* оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, *историческая* часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуетъ ему; это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успокаивается, продолжаетъ вѣчное одно и тоже — до катаклизма, обновленія или разрушенія. Semper idem не требуетъ ни огромныхъ усилій, ни грозныхъ бойцовъ; въ какомъ бы родѣ они ни были—они будутъ лишніе, середь мира не нужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлѣ на ту страну на Западѣ, которая наибольше отстоялась, на страну, которой Европа начинаетъ сѣдѣть—на Голландію: гдѣ ея великіе государственные люди, гдѣ ея великіе живописцы, гдѣ тонкіе богословы, гдѣ смѣлые мореплаватели? Да на что ихъ? Развѣ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуетъ, оттого что ихъ нѣтъ? Она вамъ покажетъ свои смѣющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфортъ, свою свободу и скажетъ: мои великіе люди пріобрѣли мнѣ эту свободу, мои мореплаватели завѣщали мнѣ это богатство, мои великіе художники украсили мои стѣны и церкви, мнѣ хорошо, — чего-же вы отъ меня хотите? Рѣзкой борьбы съ правительствомъ? да развѣ оно тѣснитъ; у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда-либо бывало.

Да что-же изъ этой жизни?

Что выйдетъ? Да вообще *что* изъ жизни выходитъ? А потомъ — развѣ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней; развѣ въ Голландіи люди не любятся, не плачутъ, не хохочутъ, не поютъ пѣсенъ, не пьютъ скидама, не пляшутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому-же не слѣдуетъ забывать, что съ одной стороны они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и художествъ, а съ другой имъ бездна дѣла: гран-пасіансъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей, по образу и подобію своему; не успѣетъ Голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ его несутъ на „божью ниву“ въ щегольски отлакированномъ гробѣ; въ то время какъ сынъ ужъ запряженъ въ торговое колесо, которое необходимо слѣдуетъ беспрестанно вертѣть, а то дѣла остановятся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣшаетъ какое нибудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволеніе отступить къ меньшимъ.

Мы не имѣемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ какъ они установились, представляютъ послѣдній результатъ долгаго колебанья разныхъ видоизмѣненій, ряда совершенствованій и достиженій. Эта исторія дѣлалась

исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопныя животныя представляютъ какую-то героическую эпоху этой *книги бытія*, это титаны и богатыри, они мельчаютъ, уравновѣшиваются съ новой средой и какъ только достигаютъ довольно ловкаго и прочнаго типа, начинаютъ типически повторяться и до такой степени, что Улисова собака въ Одиссеѣ похожа какъ двѣ капли воды на всѣхъ нашихъ собакъ. И это не все: кто сказалъ, что животныя политическія или общественныя, живущія не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и пчелы, что они такъ съ разу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои *китайскіе* муравейники.

Я желалъ бы уяснить этимъ, что если какой нибудь народъ дойдетъ до этого состоянія — соотвѣтственности внѣшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему нѣтъ никакой внутренней необходимости, до перемѣны потребностей — идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадѣ, въ ульѣ — одно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого полнаго покоя, міръ, о которомъ говоритъ С. Миль, не дошелъ. Онъ, послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній, не можетъ ни устояться, ни отстояться, бездна дряни на верху, все мутно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дѣйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно пріобрѣсти не энергическія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанетъ обвѣшивать, французъ — помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только respectability, но и прочность быта.

Тогда Англія можетъ, по словамъ С. Миля, превратиться въ Китай (и, конечно, въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мѣрѣ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всѣхъ судовъ и наказаній заморитъ волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всѣмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всѣхъ человѣческихъ правъ, блестящими набѣгами на сосѣдей и приковывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи. . . . черты зуавовъ уже теперь больше принадлежатъ азіатскому типу, чѣмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здѣсь рѣчь идетъ ни о моихъ желаніяхъ, ни даже о моихъ мнѣніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотѣлъ *развернуть скобки*

формулы, въ которой выраженъ результатъ С. Миля, я хотѣлъ отъ его личностей-дифференціаловъ взять историческій интегралъ.

Стало быть вопросъ не можетъ быть въ томъ, учтиво-ли пророчить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будетъ Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Миль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ-ли всходы новой силы, которые могли-бы обновить старую кровь, есть-ли подсѣды и здоровые ростки, чтобъ прорости измельчавшуюся траву? А этотъ вопросъ сводится на то — потерпитъ-ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь; позволяя въ замѣнъ какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примѣръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдаемаго — обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разрѣшатъ событія, — теоретически его не разрѣшишь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы.

Но если народъ сломитъ, неминуемъ *соціальный переворотъ!*

Не это-ли и есть *идея*, которая можетъ быть произведена въ idée fixe, не смотря на пожиманіе плечъ аристократіи, ни на скрежетъ зубовъ мѣщанъ?

Народъ это чуетъ и очень; прежней дѣтской вѣры въ законность, или по крайней мѣрѣ въ справедливость того что дѣлается —нѣтъ; есть страхъ передъ силой и неумѣнье возвести въ общее правило частную боль; но слѣпаго довѣрія нѣтъ. Во Франціи народъ грозно заявилъ свой протестъ, въ то самое время, когда среднее состояніе въ упоеніи отъ власти и силы, вѣнчало себя на царство подъ именемъ республики и, развалясь съ Марастомъ на креслахъ Людовика XV въ Версалѣ, диктовало законы; народъ возсталъ съ отчаянія, видя, что онъ опять остался за дверями и безъ куска хлѣба; онъ возсталъ варварски, не имѣя никакого рѣшенія, безъ плана, безъ вождей, безъ средствъ, но въ энергическихъ личностяхъ у него недостатка не было и еще больше — онъ съ другой стороны вызвалъ этихъ хищныхъ, кровожадныхъ коршуновъ, въ родѣ Каваньяка.

Народъ побили на голову. Вѣроятности Персіи *поднялись*, и съ тѣхъ поръ все идутъ въ гору.

Какъ англійскій работникъ поставитъ свой соціальный вопросъ, мы не знаемъ, но воловья упорность его велика. Съ его стороны числовое большинство; но сила не съ его стороны. Число ничего не доказываетъ. Три-четыре линейныхъ казака, да два-три гарнизонныхъ солдата водятъ изъ Москвы въ Сибирь по пятисотъ колодниковъ.

Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во

время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дни, — тогда Китай, пророчимый Стюартъ Милемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдѣлается незамѣтно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкіе, люди чувствительные говорямъ, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоитъ именно въ томъ, что та идея, которая можетъ спасти народъ и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—*невыгодна* господствующему классу, что ему, еслибъ онъ былъ послѣдователенъ и смѣлъ, *выгодно* только государству—съ американскимъ невольничествомъ!*)

— —

— I. ЛЕЛЕВЕЛЬ и КАЗЕМАТЫ. — *Г. Огришко* помѣстилъ въ своемъ журналѣ „Слово" письмо знаменитаго I. Лелевеля и нѣсколько теплыхъ, благородныхъ словъ объ немъ. Этотъ поступокъ навлекъ на г. *Огришку* дву-горчаковскій гнѣвъ. Огришку схватили, журналъ запретили. Тимашевъ ходилъ съ озабоченнымъ лицомъ, Долгоруковъ говорилъ: «Вотъ видите»... Бутковъ отнесъ это къ освобожденію крестьянъ, Панинъ — къ желѣзнымъ дорогамъ. Попечитель петербургскаго округа предлагалъ себя жертвой искупленія, но государь — по пословицѣ: Горчаковъ хорошо, а два Горчаковыхъ лучше — все таки велѣлъ г. *Огришку* посадить въ единственную крѣпость, построенную исключительно противъ русскихъ, т. е. въ Петропавловскую.

Когда же наше самодержавіе пойметъ, что талантъ тоже—*помазаніе* и что гоненія самого имени людей, чисто и свято трудившихся до преклонныхъ лѣтъ, признанныхъ всѣмъ свѣтомъ, какъ I. Лелевель, бьетъ рикошетнымъ ударомъ назадъ?

— —

— *Новая мерзость въ Польшѣ.* — Allgemeine Zeitung отъ 26-го Марта разсказываетъ, что въ Варшавѣ 18 Марта запретили частнымъ людямъ отслужить въ церкви панихиду по *Мицкевичѣ, Красинскомъ и Словацкомъ.* Pas de réveries! Pas de réveries! А если замечтаетесь — тутъ на лицо отупѣвшій Горчаковъ, опираясь на палку изъ николаевскаго огорода — на Муханова.

Конгрессы, видите! Италію освобождаемъ, Австрія, такая отсталая страна —деспотизмъ, невыносимо... Охъ, вы мои господа, петербургское либеральное правительство—посмотрите въ зеркало... все тотъ же квартальный... только Дуббельтъ называется Тимашевымъ.

---

*) Этотъ разборъ книги Д. С. Миля мы беремъ изъ V книжки *Полярной Звѣзды*, которая выйдетъ къ 1 Мая.

Колоколъ № 44.
1 Іюня 1859 года.

ВОЙНА.
(статья первая).

....Je suis outré de l'appui que prête l'Allemagne à cette honteuse Autrich, à cette „Capua der Geister", concordée. Je prêche l'exlusion de toute province non-allemande; l'union plus étroite nationale, l'abandon de l'Autriche — pour rendre la main libre, non seulement à l'Italie, mais aussi à la Hongrie et aux provinces slaves. Cher ami, vous avez dit avec raison, que le bonapartisme c'est la mort; mais souvenez vous que l'Autriche c'est la damnation eternelle, et que ce n'est qu'en détruisant cette derniere que vous enlevez à la mort sa terreur en la réduisant au rang d'un simple accident.*)

Charles Vogt.

[*Письмо къ издателямъ Колокола, 3 Апрѣля 1859 г.*]

....Австрія не народъ, Австрія полицейская мѣра, сводная администрація, она ни къ чему живому не примыкаетъ, не покоится на себя; безъ частей ея нѣтъ, это величайшій историческій призракъ, который когда либо существовалъ. Тутъ все ложь. Римская имперія — въ Германіи. Германская имперія— состоящая преимущественно изъ Славянъ, Итальянцевъ, Мадьяръ. Избирательное правительство — переходящее по наслѣдству. Связь нѣсколькихъ народностей — основанная на перекрестномъ отвращеніи другъ отъ друга. Тутъ нѣтъ ничего органическаго, отнимите Ломбардію справа и придайте слѣва Молдо-Валахію — и такъ хорошо. Отнимите Галицію и прибавьте Сербію — и это не дурно, die Staats Kanzlei пойдетъ своимъ порядкомъ. Имперія австрійская не имѣетъ никакой будущности; когда ее *отмѣнятъ*, тогда только люди настоящимъ образомъ удивятся, какъ могла существовать такая нелѣпость, сшитая

*) .....„Меня возмущаетъ опора, которую Германія даетъ этой постыдной, *конкордированной* Австріи, „этой Капу ѣумовъ". Я проповѣдую исключеніе всякой не-нѣмецкой области изъ нѣмецкой конфедераціи, болѣе тѣсное національное соединеніе и предоставленіе Австріи своимъ судьбамъ, чтобъ не только Италія, но и Венгрія и Славянскія провинціи могли освободиться. Любезный другъ, вы справедливо сказали, что Бонапартизмъ — *смерть*.... но вспомните, что Австрія — *вѣчная мука*.... и что только уничтожая ее, вы отнимите у смерти ея ужасъ, и сведете ее на степень простаго случая."

изъ лоскутковъ конгрессами и упроченная глубокими дипломатическими соображеніями. Имперія, необходимая — *нѣкогда*, чтобъ перетягивать Папу, *теперь*, чтобъ Папу не перетянули. Оплотъ Европы противъ Исламизма, спасающій Турцію отъ Россіи. Мнимая представительница германскаго единства, ненавидимая всей Германіей, и защищающая Рейнъ „на По и на Адижѣ“ славянской и венгерской кровью противъ Италіи. Это какой-то сонъ больнаго горячкой!

„Колоколъ“, № 34.

I

Мы не рады войнѣ, намъ противны всякаго рода убійства — оптомъ и въ разбивку; тѣ, за которыя вѣшаютъ и тѣ, за которыя даютъ кресты; намъ жаль всякую кровь, потому что крови веселѣе течь въ жилахъ, чѣмъ по травѣ и по песку; намъ всего больше жаль австрійскую кровь, которая будетъ литься за неправое дѣло и сверхъ того изъ подъ палки. Дики еще образованные народы и недалеко ушли отъ временъ Нимврода и Сезостриса, если не могутъ иначе рѣшать дѣла какъ дубиной и пращею.

Сверхъ того мы не рады войнѣ какъ Русскіе, война остановитъ внутреннюю работу, усилитъ снова управленіе шпорами, и снова истощитъ силы бѣднаго народа, не давъ ему въ замѣнъ ничего, кромѣ множества калѣкъ и нѣсколько лубочныхъ картинъ, представляющихъ генераловъ, лошадей, трупы и дымъ.

Но вѣрные нашему реализму, *мы принимаемъ войну за фактъ* и нисколько не намѣрены терять время чувствительно и безполезно, разглагольствуя о всеобщемъ мирѣ, тоскуя о вселенскомъ братствѣ — въ виду двухъ армій, которыя, быть можетъ, теперь рѣжутся.

Еще меньше будемъ мы отыскивать — справедливы-ли причины войны, достаточны они или нѣтъ, кто виноватъ и кто правъ. Вѣроятно никто не смѣшиваетъ *предлоги* войны, les à propos, съ ея настоящими причинами. Развѣ кто нибудь вѣрилъ, что Крымская война дѣлалась въ пользу Турціи, или развѣ есть люди настолько нищіе пониманіемъ, что и взаправду думаютъ, что Наполеонъ ночи не спитъ, а все кручинится о томъ, что Италія не свободна?

Кто юридически правъ въ этой войнѣ можетъ и можно бы доискаться по Гроцію и по другимъ, но это очень не интересно и совершенно безполезно.

Теперешняя война, послѣ десятилѣтняго натянутаго состоянія, въ продолженіи котораго зло входило внутрь и подтачивало организмъ европейскій, имѣетъ ту-же причину, по которой когда-то Везувій затопилъ расплавленнымъ камнемъ цѣлые города, т. е. излишнее накопленіе горючихъ веществъ, праздныхъ силъ. Наполеонъ—случайная искра, она должна или потухнуть или сжечь что нибудь, сколько загорится и сколько сгоритъ, онъ не отвѣчаетъ; въ Крымскую войну пожаръ былъ невеликъ, искра стала тухнуть, но вотъ она подожгла Италію...

Для того чтобъ предвидѣть, что выгоритъ и что останется, надобно знать *насколько* грудь здорова, насколько кровь жива у европейскихъ народовъ. „Здоровому все здорово!“ говорятъ Русскіе; дѣйствительно, въ хорошей крови многое переработается, въ дурной—оно разовьетея въ ракъ, въ туберкулы...

Крымская война имѣла цѣлью повредить Россіи, но только ей и принесла пользу. Веревки, которыми мы были связаны по рукамъ и по ногамъ — ослабли, перетерлись во время войны, испуганный тюремщикъ самъ померъ. Осадой Севастополя началось освобожденіе крестьянъ, призывъ къ оружію былъ призывомъ къ мысли; и Россія съ тѣхъ поръ идетъ мощно впередъ по широкой дорогѣ, не смотря на всѣ черепки и битыя бутылки, въ родѣ Панина, Орлова, Муравьева, оставленныя у ней подъ ногами упрямствомъ и небрежностію шоссейнаго смотрителя, не смотря на дворянскія комитетскія лужи и бакалдины, ни на ложные маяки доктринеровъ.

Если война завяжется, то мы можемъ смѣло сказать — Европа не возвратится на ту *мель*, съ которой война ее стащитъ, и на которой она застряла съ 1849 года. Это уже само по себѣ чрезвычайно важно, и вотъ гдѣ причина, по которой Англія, единственная страна раціональнаго консерватизма, готова сдѣлать все, чтобы отвратить эту войну. Ей, какъ она сложилась, всякое быстрое движеніе вредно.

Но куда пойдутъ эти міры, снятые съ якоря? Мы думаемъ, что романскій міръ одолѣетъ сводную, разношерстую Австрію..... что-же будетъ съ побѣжденнымъ, что будетъ съ побѣдителемъ?

Во первыхъ, для побѣдителя будутъ предстоять тѣ-же два пути на другой день послѣ побѣды, какъ наканунѣ войны.

Побѣдоносный и обнищалый, покрытый славою и солдатами, романскій міръ можетъ послѣ войны замереть подъ сѣнью всепоглощающаго самодержавія, личность человѣческая и ея права пропадутъ окончательно, государство сдѣлается цѣлью всего; римское, античное начало это, вооруженное телеграфами, желѣзными дорогами, опертое на страшныя средства бюрократіи, полиціи и безчисленнаго постояннаго войска — сосредоточитъ всю жизнь, всю энергію въ правительствѣ, въ цезарѣ и однообразное существованіе галло-романской державы съ своими сестрами и родными обезпечится на вѣка и вѣка.

Можетъ случиться и другое, можетъ франкское начало, разбуженное войною также подыметъ голову; можетъ Италія, ненавидящая централизацію, однообразность формъ, гуртовой гнетъ, иначе пойметъ свое освобожденіе. Она теперь, при самомъ началѣ, перевела *войну* на революцію. Гарибальди начальствуетъ легіонерами, тосканскій герцогъ въ бѣгахъ, Уллоя чуть не на его мѣстѣ. Если Италія увлечетъ Францію, если Франція послѣ войны хоть одинъ годъ будетъ въ состояніи вытерпѣть свободныя учрежденія, не дѣлая генерала Макъ-Магона или генерала Бурбаки императоромъ, тогда можетъ быть начнется на древней почвѣ великихъ во-

споминаній, между Средиземнымъ моремъ и Атлантикой — третья эпоха событій и исторія не сдѣлаетъ географической измѣны.

То-ли будетъ или другое, намъ кажется, что не въ этомъ ближайшая задача теперешняго положенія дѣлъ, и не въ этомъ главный результатъ войны.

Первую роль по неволѣ надо уступить Австріи. Весь вопросъ состоитъ въ томъ: вгонится-ли наконецъ эта *германская* имперія въ границы *нѣмецкаго* государства, или нѣтъ? Расгворятся-ли, наконецъ, двери этой полуразсѣвшей и покачнувшейся *бастиліи народовъ*, готовыхъ ринуться впередъ, или старая дипломатія оставитъ подшибленнаго коршуна, изгнаннаго изъ Ломбардіи, заѣдать чудныя земли отъ Адріатики до Дуная?

Если послѣднее будетъ—кровь лилась напрасно и Европа снова, какъ въ 1848 году, дастъ доказательство своей неспособности вполнѣ совершить что нибудь.

Если-же Австрія уничтожится какъ *сводное* государство, то тогда какія бы судьбы романскаго міра ни были: *Мы всѣми парусами входимъ въ новую эпоху.* И если въ самомъ дѣлѣ міръ великаго прошедшаго, послѣ двухъ тысячелѣтнихъ дѣятельностей усталъ, то чѣмъ можетъ онъ доблестнѣе завершить свою длинную жизнь, какъ не открывая для исторіи новыя, непочатыя пажити, оттертыя отъ свѣта и всякаго развитія игомъ безплоднымъ и иноплеменнымъ.

II.

Нѣмецкіе публицисты, выдумали для австрійской имперіи всемірно-историческое *призваніе*, оно, видите, именно состоитъ въ *образованіи полу-дикаго Юго-Востока Европы.* Но какое значеніе имѣетъ австрійская цивилизація, и что она сдѣлала кромѣ того, что ввела ту-же полицію и тѣ-же наказанія во всѣ страны? Ну если не въ политическомъ, то въ торговомъ, въ экономическомъ отношеніи?... Королевско-имперская цивилизація состоитъ въ постоянномъ гнетѣ всего народнаго и въ *онѣмечиваніи.* Но ни итальянцы, ни мадьяры, ни славяне не хотятъ вовсе образоваться въ нѣмцевъ. Между ними и нѣмцами лежитъ та incompatibilité d'humeur, по которой разводятъ мужа съ женою. Мы знаемъ, что значитъ насильно образовывать, это одна изъ гибельнѣйшихъ идей, въ силу которой бездушной дрессировкѣ и фельдфебельской выправкѣ дается видъ благодѣянія. Маленькихъ дѣтей не гоняютъ больше въ школу розгой.

Замѣчательная вещь, что вообще германскій міръ — школьный и ученый по преимуществу, очень плохой образователь подавленныхъ имъ народовъ. Стоитъ взглянуть на Эстовъ и Леттовъ въ Остъ-зейскихъ провинціяхъ, чтобъ убѣдиться въ этомъ; особенно если ихъ сравнить съ Финами, бывшими въ соприкосновеніи не съ Нѣмцами, а со Шведами.

Какъ Австрія спеціально образовывала, мы знаемъ по Богеміи. Она употребила два столѣтія на систематическое забиваніе всего

независимаго и національнаго въ этомъ народѣ; она совершала тамъ злодѣйства, передъ которыми блѣднѣютъ дѣла протестантской Англіи въ Ирландіи — казни, конфискаціи, гоненія продолжались поколѣнія подъ руководствомъ іезуитовъ и бюрократовъ, въ распоряженіи которыхъ состояла развратная, наемная, скотски-свирѣпая солдатеска, хранившая въ памяти преданіе Валленштейновскихъ временъ и тридцатилѣтняго разбоя. Вѣшали, сѣкли, морили въ тюрьмѣ, жгли людей, жгли книги, грабили, выселяли, и дошли до того, что аристократическая помѣсь и часть мѣщанъ сдѣлались Нѣмцами, а народъ остался чешскимъ; и въ первую минуту, какъ потерявшійся палачъ приподнялъ свою руку и далъ жертвѣ немного вздохнуть, въ началѣ нашего вѣка, явилась цѣлая чешская литература.

Про Италію говорить нечего. Сами Нѣмцы согласны, что Ломбардія образованнѣе нѣмецкой Австріи. Нѣкоторые изъ нихъ признаютъ даже, что Ломбардія имѣетъ право отказаться отъ отеческаго воспитанія Австріи. Они все нашего брата варвара-Славянина, Мадьяра наровятъ Австріей выдѣлать въ Вѣнцевъ.

Но что же приняли, напримѣръ, отъ Австрійцевъ Мадьяры? Я въ мірѣ не знаю ничего противуположнѣе Нѣмцамъ, какъ Мадьяровъ съ ихъ полудикой разметистой волей, къ которой такъ идетъ ихъ отвага, съ этой жизнію въ лѣсахъ, съ ихъ бурными и независимыми комитатами. Это какое-то кованное племя, до того упругое, что самъ Метернихъ не могъ никогда его сломить. И когда Венгрія возстала, Австрія дышала на ладонъ, и совсѣмъ перестала бы дышать, еслибъ не *преступная* рука Николая. Николай, помогая Австріи, измѣнилъ столь-же Россіи, сколько Гергей, помогая ему, измѣнилъ Венгріи.

Или не въ Галиціи-ли, можетъ въ Иллиріи, въ Далмаціи особенно, успѣшно привился германизмъ?...

Ничего подобнаго, напротивъ — международныя распри, напримѣръ, между Мадьярами и Славянами, стали съ 1848 года стираться передъ ненавистью къ *общему отечеству*. Пока Австрія льстила ограниченнымъ сторонамъ народностей и раздувала ихъ непріязнь, ссоры оставались; но когда она принялась послѣ революціи подводить всѣхъ подъ одинъ знаменатель, — убѣдившись, что иной разъ не сладишь съ національностями, и что не всегда народное пробужденіе ограничится филологическими изслѣдованіями, тогда народы поняли, гдѣ ихъ настоящій врагъ.

Печальная судьба пала на долю Австріи,—она послѣ Гогенштауфеновъ не имѣла ни красныхъ дней, ни благородныхъ воспоминаній, а при Гогенштауфенахъ она не была тѣмъ, чѣмъ теперь. Зловѣщая династія Габсбурговъ является какой-то карой людямъ за ихъ стремленіе къ независимости, она постоянно противудѣйствуетъ всему человѣческому — старымъ вольностямъ и новой свободѣ, постоянно усмиряетъ, подавляетъ, моритъ. Въ имперскомъ устройствѣ ея соединяется все мрачно-инквизиторское, ядовитое и злое испанскаго католицизма, съ скупою алчностію, съ

кастратскимъ безстрастіемъ клерикальнаго управленія, съ наглой дерзостію нѣмецкаго ритера и съ холоднымъ капральствомъ казарменной дисциплины. Умственное движеніе никогда не было настолько сильно въ этой странѣ, чтобъ получить себѣ права; у ней нѣтъ литературы. Вѣна только извѣстна своей кухней и обжорствомъ, нѣсколько знаменитыхъ ученыхъ или Славяне или иностранцы, во всемъ чисто австрійскомъ что-то бездарное, лишенное поэзіи. Гдѣ свѣтлыя воспоминанія этого края? Годы его пущей силы—годы плача и стенаній для народовъ, какъ въ царствованіе Карла V, этого бревна, брошеннаго на дорогѣ человѣчества, отъ котораго мрутъ живыя остатки прежней Европы и блекнутъ новые всходы.

Или эти свѣтлые дни были при Іосифѣ II? но онъ былъ окруженъ одной ненавистію разбуженныхъ имъ галокъ и летучихъ мышей. Или въ дни *побѣды* надъ Наполеономъ, когда, избитая и окровавленная съ обѣихъ сторонъ, Австрія входила въ видѣ длинной фигуры своего Франца въ Парижъ, и на другой день послѣ побѣды принялась за полицейскія слѣдствія, которыми и занималась тихо до 1848 г. и отъ 1848? Военные суды, тайные суды, палки, цѣпи, двадцать лѣтъ, пятнадцать лѣтъ, десять лѣтъ carcere duro. И они находятъ, что это цивилизація?

Быть можетъ въ тѣ отдаленныя времена, когда Турки были опасны, когда весь Юго-востокъ Европы бродилъ въ неустроенномъ состояніи, открытый нападеніямъ и не имѣлъ опоры, можетъ тогда и была какая нибудь польза отъ этого желѣзнаго обруча набитаго на нѣсколько народовъ; хотя и тутъ надобно замѣтить, что Польша и Венгрія спасли Вѣну отъ Турокъ, а не *Вѣна ихъ*. Но время это *прошло*, а въ исторіи самое *смертное* преступленіе — быть несовременнымъ. Главная вина Австріи не въ вѣковыхъ злодѣяніяхъ ея—мало-ли что было въ прошедшей жизни каждаго народа—главная вина ея въ томъ, что *она мѣшаетъ*. Уголовный судъ исторіи не совпадаетъ съ нашимъ, это не морально справедливый судъ, а *физіологически вѣрный*. Скорлупа, насильственно удерживающая части отъ распаденія, становится *ненужной*, потомъ вредной, она можетъ задушить зародышъ, а потому ее слѣдуетъ разбить клювомъ изнутри или ударомъ снаружи.

Австрія заживаетъ чужой вѣкъ, за это въ исторіи смерть, если то, чему она мѣшаетъ, достойно жить и имѣетъ силы.

Исторія не убиваетъ, какъ нѣкогда Камчадалы за одну старость, она оставляетъ и Китай, и Японію. Но еслибъ внутри небесной имперіи бились живыя силы, которымъ бы было тѣсно и которыя сами по себѣ были бы здоровы и мощны, онѣ давнымъ давно подорвали-бы мандаринскую табель о рангахъ, не смотря на то, что китайское устройство гораздо умнѣе и сообразнѣе нравамъ своей страны, чѣмъ австрійское *иностраннымъ*, составляющимъ это *отечество по неволѣ!*

Неспособность Мадьяръ и Славянъ онѣмечиться, ихъ неспособность къ извѣстнымъ государственнымъ формамъ, къ извѣстному

канцелярскому порядку, вовсе не доказываетъ ни ихъ дикость, ни дѣйствительную неспособность ихъ. Это одна изъ старческихъ ошибокъ западныхъ народовъ; они думаютъ, что имѣютъ монополь историческаго бытія и единоспасающую форму образованія. Все самобытное и независимое кажется имъ варварскимъ или крамольнымъ, все новое обижаетъ ихъ какъ нелѣпость; къ тому же они до такой степени привыкли думать и разсуждать по своимъ шаблонамъ, что они не понимаютъ ничего не подходящаго подъ нихъ. Въ той *неспособности* Славянъ, въ которой Нѣмцы видятъ низшую, неразвившуюся *до нихъ* натуру, мы видимъ залогъ нашего *будущаго развитія!*

Ни Славяне, ни Мадьяры не составляютъ ни сателитовъ, ни даже попутчиковъ германскому міру. Славяне — это *грядущая* часть человѣчества, вступающая въ исторію. Мадьяры составляютъ какую-то самобытную случайность, они имѣютъ столько же правъ на независимость, сколько Швейцарія, сколько Греція, сколько Молдо Валахія.

Разноплеменность въ вольномъ союзѣ, въ конфедераціи, ничего не значитъ; Тессинецъ, Гризонъ считаютъ себя гражданами единой и кантональной республики, точно такъ, какъ житель Апенцеля или Лозанны.

Стоитъ взглянуть на карту, чтобъ понять, что отъ Балканъ до Адріатики готовы звенья обширной конфедераціи съ славными берегами, съ естественными границами и съ плодоноснѣйшей почвой. Австрійскій кордонъ стоитъ плотиной между ними и Европой, не давая ни имъ *ринуться* впередъ, ни свѣту проникать къ нимъ.

III

...Но ринувшись изъ старой бастильи, какъ бы народы не попались въ *новый острогъ*. Въ Европѣ не одинъ двуглавый орелъ — а два, и перемѣна австрійскаго одуряющаго самовластья на прусско-монгольскій царизмъ — не находка

Объ этомъ-то мы и хотимъ поговорить.

Россія находится теперь въ одномъ изъ тѣхъ кризисовъ развитія, изъ котораго организмъ выходитъ разомъ сложившись, или доказавъ свою неспособность. Я наше время для Россіи считаю столько-же важнымъ, какъ эпоху Петра I. Если слѣпые и глупые не хотятъ понять, что за вопросъ поднятъ теперь въ Россіи, и смѣшиваютъ признаніе *права человѣка на землю* съ личнымъ освобожденіемъ отъ помѣщичьей власти, пусть остаются при своей темной водѣ въ глазахъ.

Съ того дня какъ Александръ II призналъ основой освобожденія крестьянъ ихъ право на землю, онъ еще разъ переломилъ исторію и пошелъ новымъ путемъ. Если онъ и Россія пойдутъ имъ, то безъ всякаго сомнѣнія ей будетъ принадлежать первое мѣсто въ союзѣ Славянскихъ народовъ. Но для того, чтобъ занять это мѣсто, ей окончательно надобно понять себя *русской* не

въ противуположность общечеловѣческому, а въ различіе съ старо-европейскимъ.

У Россіи *своя* Австрія и тѣмъ больше опасная, что она внутри. Пока правительство останется при своемъ иностранномъ взглядѣ, до тѣхъ поръ и мы останемся въ томъ положеніи, въ которомъ крестьянскіе мальчики остаются у Нѣмцевъ мастеровъ въ ученіи, т. е. будемъ носить ушаты, не смѣть отвѣчать хозяину и пр. Да вотъ бѣда, мы какъ-то выросли, и хозяина въ грошъ не ставимъ. —Это неблагодарность!—

— Нѣтъ, это ростъ. Когда-то и мнѣ былъ полезенъ Нѣмецъ-дядька, однако теперь онъ мнѣ не много бы помогъ.

Отказаться отъ привычной традиціи правительству не легко. Это тотъ переходъ изъ состоянія двороваго человѣка — въ крестьянство, который такъ страшно оскорбляетъ камердинеровъ и горничныхъ. А сдѣлать его надобно. До тѣхъ поръ не къ чему и звать сосѣдей.

Если Россія, продолжая свою иностранную политику, вздумаетъ воспользоваться паденіемъ Австріи и пріобрѣсть себѣ какіе нибудь новые улусы, она усугубитъ ненависть другихъ странъ новымъ землекрадствомъ, и народы ничего не выиграютъ перемѣнивъ ошейникъ. Конечно, не отъ насъ они услышатъ приглашеніе; намъ не легче будетъ, если отъ тупости Панина и сквернаго управленія вѣшающаго Муравьева будутъ страдать другіе.

Но мы имѣемъ залогъ, что правительство *чуетъ* необходимость переродиться, подождемъ, чѣмъ кончатся его начинанія.

Первый актъ возмущенія противъ западно-историческаго ига сдѣланъ *образомъ постановленія* вопроса объ освобожденіи крестьянъ; тутъ правительство сорвалось съ битой западной колеи, взявъ въ основу *нельпость* общиннаго владѣнія и *предразсудокъ* освобожденія *съ землей*. Надобно, чтобъ правительство нашло мужество независимости передъ порицаніемъ *мудрыхъ міра сего*; такъ какъ его имѣлъ апостолъ Павелъ, сознаваясь, что его *истина*—сумасбродство для Эллиновъ.

Пусть же Александръ II найдетъ въ себѣ силы невозвратнымъ актомъ разорваться съ петровскимъ преданіемъ, такъ какъ Петръ съ московскимъ, и заявитъ передъ всѣмъ свѣтомъ, что Россія кончила свою военную службу, что она не хочетъ быть *завоевывающей* имперіей, съ нѣмецкимъ устройствомъ, а славянскимъ государствомъ и *мирной главой* новаго союза.

Для этого надобно перешагнуть черезъ многіе и многіе предразсудки, надобно умѣть принести на жертву будущему настоящую выгоду, и общую пользу славянскаго міра поставить выше интереса прусскихъ сродниковъ.

Судьба, совѣсть указываютъ, что надобно сдѣлать, надобно *возстановить Польшу!* Это было бы разомъ актомъ великаго покаянія и актомъ великой государственной мудрости. Съ той минуты, когда изъ варшавской цитадели, осѣненной польскимъ знаменемъ, выйдетъ послѣдній русскій солдатъ, Галиція и Познань будутъ

съ ней, и кровавое преступленіе двухъ Нѣмцевъ и одной Нѣмки сотрется съ имени Русскаго.

У исторіи своя месть. Терзая Польшу, отнимая у ней то клочья земли, то торжественно данные законы, то языкъ, то дѣтей, то взрослыхъ — выростивъ на польскихъ жертвахъ и слезахъ цѣлое поколѣніе злодѣевъ и доносчиковъ — правительство спутало ноги и руки не ей, а себѣ—приковавъ себя преступной солидарностью къ Австріи и Пруссіи.

Пусть же Россія покается! Пусть востановитъ Польшу—съ ея законами, съ ея войскомъ, съ тѣмъ управленіемъ, которое она хочетъ.

«Да какъ же это сдѣлать, какъ же вдругъ освободить цѣлую страну, за покореніе которой пролиты рѣки крови?»

По старому государственному кодексу не возможно, мы съ этимъ согласны. Да вѣдь руководствуясь имъ, нельзя было вызвать безъ крайности вопросъ объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостнаго состоянія, за упроченіе котораго тысячи были убиты гуртомъ и тысячи были засѣчены по мелочи помѣщиками!

...Разумъ не *одинъ*, ихъ *два*. Разумъ міра *садящагося, вечерняго* —не совпадаетъ съ разумомъ міра *восходящаго, утренняго!*

МИРЪ.*)

(ВТОРАЯ СТАТЬЯ О ВОЙНѢ.)

Какъ-то въ 1851 г., будучи на нѣсколько дней въ Парижѣ, я рано утромъ сидѣлъ и читалъ le spectre rouge Ромье. Брошюра эта, нынче забытая и занесенная разными слоями политическихъ памфлетовъ и реакціонныхъ брошюръ — сдѣлала нѣкоторый шумъ при своемъ появленіи. Ее хвалили немногіе, ее ругали почти всѣ,—ее portée не поняли ни тѣ, ни другіе. Я ее читалъ съ какимъ-то нервнымъ раздраженіемъ, удивляясь преступной откровенности, безстыдству выраженій и дерзости тѣхъ истинъ, которыя высказывались въ ней съ наивнымъ цинизмомъ.

Кто-то постучался въ дверь.

— Взойдите, сказалъ я—почти съ досадой. Но взошелъ человѣкъ, котораго я искренно уважалъ, и я съ радостью протянулъ ему руку.

— Вы меня застаете, сказалъ я, подъ магнитическимъ вліяніемъ ядовитой книги, я часа полтора испытываю удовольствіе американскихъ птицъ, когда онѣ находятся подъ чарами гремучей змѣи.

— И эта змѣя? спросилъ И. Мишле.

— Ромье.

— Ромье? повторилъ Мишле съ удивленіемъ.

— Вы вѣрно читали его „Красный Призракъ"?

— И да, и нѣтъ... я имѣлъ эту книженку въ рукахъ, взглянулъ

---

*) Статья „Миръ" помѣщена въ № 50 „Колокола". *Л. Т.*

тамъ, сямъ—вы знаете очень хорошо, кто такой и что такое Ромье; его статьи о цезаризмѣ, его брошюра, какъ тысячи другихъ, принадлежатъ къ массѣ печатной грязи, которую сегодня пишутъ по заказу, а завтра по прошествіи надобности—сметаютъ въ канаву.

— Я вижу, что вы ее не читали. Мнѣ кажется, что этотъ памфлетъ имѣетъ гораздо большее значеніе.

— Главную мысль его я знаю очень хорошо, что же въ ней новаго?

— Какъ, что новаго? Да кто же смѣлъ съ такимъ цинизмомъ распоряжаться будущностью Франціи — развѣ одинъ Донозо Кортезъ? Книжка Ромье грозное пророчество.

— Хорошъ Ісаія, нечего сказать.

— Что дѣлать, богъ иногда не брезгаетъ и ослицами, вы лучше подумайте, какова эпоха, въ которой Фалстафы становятся пророками и проповѣдуютъ, вмѣсто синайской горы и острова Патмоса, у провенсальскихъ братій и въ rue Joubert.

Мишле я не убѣдилъ, брошюра забыта, старый гуляка Ромье умеръ—а предсказанія его сбылись до послѣдняго слова.

Лѣтъ черезъ семь, въ другой странѣ, не гуляка, не пустой шутъ, а человѣкъ науки и мысли — показалъ своему отечеству вмѣсто *краснаго призрака китайскую куклу*, кивающую пальцемъ и головою съ правильностью часовъ и съ ихъ безмозглостью, куклу безъ личности, безъ особности, безъ отчета въ движеніяхъ — и замѣтилъ, что со всѣми желѣзными дорогами и телеграфами, свободой книгопечатанія и религіозной неволей — Англія идетъ въ Китай.*)

И его книга прошла, не насторожив никого, не поднявши даже пыли за собой, только литературные сторожа, въ двухъ-трехъ журналахъ, приподняли голову, пробормотали какой-то вздоръ со сна объ книжкѣ Миля, и она канула въ воду, какъ „Красный Призракъ“.

„Насильно спасать людей нельзя!“ замѣтилъ взбѣшенный маршалъ Бюжо, когда Людвигъ Филиппъ не позволилъ ему то, что законодательное собраніе не только позволило Каваньяку, но вмѣнило ему въ обязанность — бомбардировать предмѣстье св. Антонія.

При всемъ этомъ нельзя сердиться на западнаго человѣка за его упорное непониманіе. Ветхія стѣны общественнаго зданія — *свои* ему, родныя, наслѣдственныя, *его все*—въ нихъ кровная связь, память усилій, страданій, казней, память побѣдъ — оно узко, давитъ, понагнулось, но ему жаль ломать.

Наши добровольные, *нареченные* западники гораздо менѣе понятны для меня. Ихъ жизнь не связана съ падающей храминой, имъ не будетъ лучше, если она поддержится контрфорсами, имъ не будетъ хуже, если она совсѣмъ развалится. У нихъ только архитектурные чертежи и картонныя модели. Иной разъ кажется,

*) On Liberty, J. S. Mill (См. выше ст. о Милѣ).

что они прикидываются ограниченными для того, чтобъ выдать себя за принадлежащихъ къ столбовой европейской семьѣ.

Такъ или иначе, но намъ періодически приходится повторять *одно и тоже* и дѣлать тѣ же анатомико-паталогическія объясненія; по счастью они дѣлаются все легче и легче—*трупа больше!*

Въ печальное время горячешной трусости Цезаря, послѣ трагическаго героизма Орсини, когда необузданное раболѣпіе Франціи выступало изъ береговъ и Палъмерстонъ посягалъ на краеугольныя основы англійской свободы — мы говорили, глядя на новыя разсѣлины ветхаго зданія, еще больше осунувшагося и покачнувшагося: „Міръ сдѣлалъ еще шагъ впередъ, старые къ могилѣ, юные къ возмужалости.“ Умники наши кричали о необузданности рѣчи, о пессимизмѣ; а между тѣмъ и на этотъ разъ все подтвердилось, кромѣ одного—*юные не возмужали!*

„*Наполеонъ III*—писали мы тогда—*представитель смерти.* Бонапарты, какъ Цезари, не причина, но послѣдствіе, признакъ. Это туберкулы на легкихъ отходящаго Рима. Это болѣзнь старости, это сила судорогъ, безумная энергія горячки.

Бонапартизмъ идетъ рука въ руку съ смертью. Его слава — кровавая, она вся изъ труповъ. Въ немъ нѣтъ силы зиждительной, нѣтъ производительной силы; онъ — совершенно безплоденъ, все созданное имъ—обманъ, мечта: *кажется будто что-то есть*, а въ сущности нѣтъ *ничего*,—все это призраки, тѣни... имперіи, королевства, династіи, герцоги, принцы, маршалы, графы, союзы... подождите четверть часа—все исчезло, все это не въ самомъ дѣлѣ. Дѣйствительность его, это Испанія, утучненная трупами французовъ, это египетскіе пески, усыпанные французскими костями, это снѣга Россіи, обагренные французскою кровью.

Бонапартизмъ, какъ бредъ, не имѣетъ ни цѣли, ни основанія; это постоянное противурѣчіе и маскарадъ. Когда онъ поетъ, онъ поетъ безсмыслицу; Partant pour la Syrie!

Чего хотѣлъ Наполеонъ? На вопросы наивнаго Ласъ Каза онъ никогда не могъ дать основательнаго отвѣта. Зачѣмъ было предпринимать египетскую компанію? Востокъ — это прекрасный пьедесталъ, великолѣпный фонъ картины. Жестокая испанская война —потому, что Имперія вѣнчанная революція, освобожденіе народовъ.

Les nations reines par nos conquetes,
Ceignaient de fleurs le front de nos soldats.

Люди, силящіеся разумно объяснить оргіи буйства, которыя составили славу Франціи во время Имперіи, не находятъ ничего лучшаго сказать, какъ то, что Наполеонъ велъ войну, чтобъ занять умы во Франціи. Слыхали ли вы что-нибудь болѣе цинически-безнравственное, что нибудь болѣе уродливое, какъ это объясненіе? Убивать людей съ цѣлью развлечь другихъ; уничтожать поколѣнія для того, чтобы у тѣхъ, которые останутся, замѣнить идеи общественнаго прогресса—какимъ-то бредомъ кровавой сла-

вы, апотеозой убійства и безконечной любовью къ ордену почетнаго легіона?

Да, это деспотизмъ конца, онъ только разрушаетъ, убивая вмѣстѣ и революцію и традицію; революцію церковью, а церковь революціей; убивая наконецъ suffrage universel самимъ избранникомъ. Онъ все убиваетъ. Онъ чуть не погубилъ Англію своимъ прикосновеніемъ: нѣтъ здоровья, которое бы вынесло каплю гнилой крови."

Но если ему не удалось погубить Англію *дружбой*, то Италію онъ погубилъ *помощью*, утопилъ ее въ французской крови—пролитой *за нее*.

Неужели и тутъ кто нибудь еще не узнаетъ тлетворный характеръ смерти—отъ дыханія которой гибнетъ виноватое и невинное, враждебное и дружеское — лишь бы попасть на дорогѣ. Неужели ученые друзья наши не замѣчаютъ, что *все* пало, *все* понизилось—побѣдитель и побѣжденный, Наполеонъ, его противникъ, его союзникъ, Кавуръ и Гарибальди, Кошутъ и Жеромовъ сынъ. Это та разрушающая сила, которая бьетъ всѣ живые всходы, обращая ихъ въ неорганическія кучи — и называется *смертью*.

Изъ затворяющихся дверей Янусова храма бредутъ какіе-то печальные калѣки, состарѣвшіеся, съ бритой головой, исхудалые, не вылечившіеся, а только не умершіе. Никого узнать нельзя, ни даже папу—*титулярнаго* президента Италіи.

Насъ обвиняютъ въ пессимизмѣ. Помилуйте, если насъ въ чемъ нибудь можно обвинять, такъ это въ оптимизмѣ.

При началѣ войны намъ казалось, что Наполеонъ хочетъ, исполняя программу Роме, революціонный вопросъ *понизить* въ вопросъ народностей и распустить его въ немъ. Мы думали, что онъ выгонитъ австрійцевъ изъ Италіи и задавитъ ее потомъ своимъ деспотическимъ покровительствомъ. Такой ударъ — чего нѣтъ другаго, оканчивалъ чужеядную австрійскую имперію, призывалъ къ жизни славянъ и мадьяръ. Но *смерть* рука въ руку съ „вѣчной карой".*) Наполеонъ только унизилъ, опозорилъ Австрію—потомъ спасъ ее!

Нѣмецкія газеты говорятъ, что къ этому союзу приступитъ и Александръ—это невозможно, мы *не вѣримъ!* Союзъ съ Австріей, у просыпающейся Россіи... Нѣтъ—нѣтъ—Александръ II можетъ ошибаться, быть обманутъ лакеями стараго барина, своимъ собственнымъ хоромъ — но этого онъ не можетъ — *вѣдь онъ любитъ Россію!*

— —

VERY DANGEROUS!!!

Въ послѣднее время въ нашемъ журнализмѣ стало повѣвать

*) См. эпиграфъ статьи „Война" въ № 44 „Колокола". Фохтъ говоритъ: „Le bonapartisme c'est la mort, mais l'Autriche c'est la damnation eternelle."

какой-то тлѣтворной струей, какимъ-то *развратомъ* мысли; мы ихъ вовсе не принимаемъ за выраженіе общественнаго мнѣнія, а за наитіе *направительнаго* и *назидательнаго* цензурнаго тріумвирата.

Чистымъ литераторамъ, людямъ звуковъ и формъ надоѣло гражданское направленіе нашей литературы, ихъ стало оскорблять, что такъ много пишутъ о взяткахъ и гласности и такъ мало *Обломовыхъ* и антологическихъ стихотвореній. Еслибъ только единственный Обломовъ не былъ такъ непроходимо скученъ, то еще это мнѣніе можно бы было имъ отпустить. Люди не виноваты, когда не имѣютъ сочувствія къ жизни, которая возлѣ нихъ ломится, рвется впередъ и, сознавая свое страшное положеніе, начинаетъ, положимъ нескладно, говорить объ немъ, но все таки говоритъ. Мы видѣли въ Германіи всякихъ Жанъ Полей, которые въ виду революцій и реакцій исходили млѣніемъ, составляли лексиконы или сочиняли фантастическія повѣсти.

Но вотъ шагъ дальше.

Журналы, сдѣлавшіе себѣ пьедесталъ изъ благородныхъ негодованій и чуть не ремесло изъ мрачныхъ сочувствій со страждущими — катаются со смѣху надъ *обличительной* литературой, надъ неудачными опытами *гласности*. И это не то, чтобъ случайно, но при большомъ театрѣ ставятъ особые балаганчики для освистыванія первыхъ опытовъ свободнаго слова литературы — у которой еще не заросли волосы на полголовѣ, такъ она недавно сидѣла въ острогѣ.

Когда товарищи Поэріо, встрѣченные тысячами и тысячами англичанъ при въѣздѣ въ Лондонъ, не знали, что имъ сказать, и наконецъ просили простить ихъ нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще отъ человѣческой рѣчи въ десятилѣтнихъ оковахъ, народъ не хохоталъ имъ въ отвѣтъ и „Пуншъ“, смѣющійся надо всѣмъ на свѣтѣ, надъ королевой и парламентомъ, не сдѣлалъ карикатуры.

Смѣхъ есть вещь судорожная, и на первую минуту человѣкъ смѣется всему смѣшному, но бываетъ вторая минута, въ которой онъ краснѣетъ и презираетъ и свой смѣхъ, и того, кто его вызвалъ. Всего генія Гейне чуть хватило, чтобъ покрыть двѣ-три отвратительныя шутки надъ умершимъ Берне, надъ Платеномъ и надъ одной живой дамой. На время публика отшарахнулась отъ него, и онъ помирился съ нею только своимъ необычайнымъ талантомъ.

Безъ сомнѣнія, смѣхъ одно изъ самыхъ мощныхъ орудій разрушенія; смѣхъ Вольтера билъ и жогъ какъ молнія. Отъ смѣха падаютъ идолы, падаютъ вѣнки и оклады, и чудотворная икона дѣлается почернѣлой и дурно нарисованной картинкой. Съ этой революціонной, нивелирующей силой, смѣхъ страшно популяренъ и прилипчивъ; начавшись въ скромномъ кабинетѣ, онъ идетъ расширяющимися кругами до предѣловъ грамотности. Употреблять такое орудіе не противъ нелѣпой цензурной троицы, въ которой Тимашевъ представляетъ Святой Слухъ, а ея трезубцемъ—значитъ участвовать съ ней въ отравленіи мысли.

Мы сами очень хорошо видѣли промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тутъ удивительнаго, что люди, которыхъ всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишкомъ много говорятъ объ этомъ теперь. Они еще больше молчали объ этомъ!

Давно ли у насъ вкусъ такъ избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лѣтъ болтовню о всѣхъ петербургскихъ камеліяхъ и аспазіяхъ, которыя во первыхъ во всемъ мірѣ похожи другъ на друга какъ родныя сестры, а во вторыхъ имѣютъ то общее свойство съ котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить о нихъ совершенно нечего.

„Да зачѣмъ же обличительные литераторы дурно разсказываютъ, зачѣмъ ихъ повѣсти похожи на дѣло? Это можетъ относиться къ лицамъ, а не къ направленію. Тотъ, кто дурно и скучно передаетъ слезы крестьянина, неистовство помѣщика и воровство полиціи, тотъ, будьте увѣрены, еще хуже разскажетъ — какъ златокудрая дѣва, зачерпнувши воды въ бассейнѣ, облилась, а черноокой юноша, видя быстротекущую влагу, жалѣлъ, что она не течетъ по его сердцу.

Въ „обличительной литературѣ“ были превосходныя вещи. Вы воображаете, что всѣ разсказы Щедрина и нѣкоторые другіе, такъ и можно теперь гуломъ бросить съ Обломовымъ на шеѣ въ воду? Слишкомъ роскошничаете, господа!

Вамъ оттого не жаль этихъ статей, что міръ, о которомъ онѣ пишутъ — чуждъ вамъ; онъ васъ интересовалъ только потому, что объ немъ запрещали писать. Столичныя растенія, вы вытянулись между Грязной и Мойкой, за городской чертой для васъ начинаются чужіе края. Суровая картина какого нибудь „Перевоза“ съ телѣгами въ грязи, съ раззореннымн мужиками, смотрящими съ отчаяніемъ на паромъ и ждущими день, и другой, и третій — васъ не можетъ столько занять, какъ длинная Одиссея какой нибудь полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тянется, соловѣетъ, разсыпается въ однѣ безсмысленныя подробности. Вы готовы сидѣть за микроскопомъ и разбирать этотъ гной (лишь бы не съ паталогической цѣлью, это противно чистотѣ искусства, искусство должно быть безполезно, иногда можетъ быть немного вредно, но подлая утилитарность его убиваетъ)—это возбуждаетъ вамъ нервы. Мы совсѣмъ напротивъ, безъ зѣвоты и отвращенія, не можемъ слѣдить за физіологическими описаніями какихъ-то невскихъ мокрыцъ, пережившихъ тотъ героическій періодъ свой, въ которомъ ихъ предки — чего нѣтъ — были Онѣгины и Печерины.

И сверхъ того Онѣгины и Печерины были совершенно истинны, выражая дѣйствительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рокъ лишняго, потеряннаго человѣка только потому, что онъ развился въ *человѣка*, являлся тогда не только въ поэмахъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостинныхъ, въ деревняхъ и городахъ. Наши литературные фланкеры послѣд-

няго набора, шпыняютъ теперь надъ этими слабыми мечтателями, сломагшимися безъ боя, надъ этими праздными людьми, не умѣвшими найтиться въ той средѣ, въ которой жили. Жаль, что они не догоняриваютъ,—я самъ думаю, еслибъ Онѣгинъ и Печоринъ могли какъ многіе, приладиться къ николаевской эпохѣ. Онѣгинъ былъ бы Викторъ Никитичъ Панинъ; а Печоринъ не пропалъ бы по пути въ Персію, а самъ управлялъ бы, какъ Клейнмихель, путями сообщенія и мѣшалъ бы строить желѣзныя дороги.

Но время Онѣгиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нѣтъ *лишнихъ* людей, теперь напротивъ къ этимъ огромнымъ запашкамъ рукъ не достаетъ. Кто теперь не найдетъ дѣла, тому пенять не на кого, тотъ въ самомъ дѣлѣ *пустой* человѣкъ, свищъ или лѣнтяй. И оттого очень естественно Онѣгины и Печорины дѣлаются Обломовыми.

Общественное мнѣніе, баловавшее Онѣгиныхъ и Печориныхъ потому, что чуяло въ нихъ *свои страданія*, отвернется отъ Обломовыхъ.

Это сущій вздоръ, что у насъ нѣтъ общественнаго мнѣнія, какъ говорилъ недавно одинъ ученый публицистъ, *доказывая, что у насъ гласность не нужна*, потому что нѣтъ общественнаго мнѣнія, а общественнаго мнѣнія нѣтъ потому, что нѣтъ *буржуазіи!*

У насъ общественное мнѣніе показало и свой тактъ, и свои симпатіи, и свою неумолимую строгость даже во времена общественнаго молчанія. Откуда этотъ шумъ о чаадаевскомъ письмѣ, отчего этотъ фуроръ отъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, отъ разсказовъ *Охотника*, отъ статей Бѣлинскаго, отъ лекцій Грановскаго? И съ другой стороны какъ оно зло опрокидывалось на свои идолы за гражданскія измѣны или шаткости. Гоголь умеръ отъ его приговора: самъ Пушкинъ испыталъ, что значитъ взять аккордъ въ похвалу Николаю. Литераторы наши скорѣе прощали диѳирамбы безчеловѣчному, казарменному деспоту, чѣмъ публика; у нихъ совѣсть притупилась отъ изощренія эстетическаго нёба!

Примѣръ Сенковскаго еще поразительнѣе. Что онъ взялъ со всѣмъ своимъ остроуміемъ, семитическими языками, семью литературами, бойкой памятью, рѣзкимъ изложеніемъ? Сначала — ракеты, искры, трескъ, бенгальскій огонь, свистки, шумъ, веселый тонъ, развязный смѣхъ привлекли всѣхъ къ его журналу, — посмотрѣли, посмотрѣли, похохотали и разошлись мало по малу по домамъ. Сенковскій былъ забытъ, какъ бываетъ забытъ на ѳоминой недѣлѣ какой нибудь покрытый блесками акробатъ, занимавшій на святой отъ мала до велика весь городъ, въ балаганѣ котораго не было мѣста, у дверей котораго была давка....

Чего ему не доставало? А вотъ того, что было въ такомъ избыткѣ у Бѣлинскаго, у Грановскаго — того вѣчно тревожащаго демона любви и негодованія, котораго видно въ слезахъ и смѣхѣ. Ему не доставало такого убѣжденія, которое было бы *дѣломъ* его жизни, *картой*, на которой все поставлено — страстью, болью. Въ словахъ, идущихъ отъ такого убѣжденія, остается доля магнити-

ческаго демонизма, подъ которымъ работаетъ говорящій, отъ которыхъ его безпокоятъ, тревожатъ, будятъ... становятся силой, мощью и двигаютъ иногда цѣлыми поколѣніями.

Но мы далеки отъ того, чтобъ и Сенковскаго осуждать безусловно, онъ оправдывается той свинцовой эпохой, въ которой онъ жилъ. Онъ могъ сдѣлаться холоднымъ скептикомъ, равнодушнымъ blasé, смѣющимся добру и злу и ничему не вѣрующимъ — точно такъ, какъ другіе выбрили себѣ темя, сдѣлались іезуитскими попами и повѣрили всему на свѣтѣ... Это было все бѣгство отъ Николая,—какъ же тогда было не бѣжать? Мы не прощаемъ только тѣхъ, которые бѣжали въ третье отдѣленіе.

Что же похожаго на то время, когда балагурничалъ Сенковскій подъ именемъ Брамбеуса — съ нашимъ временемъ? Тогда *нельзя* было ничего дѣлать; имѣй себѣ геній Пестеля и умъ Муравьева —веревки, на которыхъ Николай вѣшалъ, были крѣпче. Возможность мученикомъ, какъ Кюхарскій, какъ Волынскій — была, и только. Теперь все, вездѣ зовутъ живаго человѣка, все въ починѣ, въ возникновеніи, и если ничего не сдѣлается, въ этомъ никто не виноватъ, ни Александръ II, ни его цензурный терпетъ, ни квартальный вашего квартала, ни другіе сильные міра сего, — виной будетъ ваша слабость, пѣняйте на себя, на ложное направленіе и имѣйте самоотверженіе сознать себя выморочнымъ поколѣніемъ, переходнымъ, тѣмъ самымъ, которое воспѣлъ Лермонтовъ съ такой страшной истиной!...

Вотъ потому-то въ такое время пустое балагурство скучно, неумѣстно; но оно дѣлается отвратительно и гадко, когда привѣшиваетъ свои ослиные бубенчики, не къ той тройкѣ изъ царскихъ конюшенъ, которая называется *Адлербергъ, Тимашевъ* и *Муравьевъ*, а къ той, которая въ поту и выбиваясь изъ силъ, вытаскиваетъ — можетъ иной разъ оступаясь — нашу телѣгу изъ грязи!

Не лучше ли въ сто разъ, господа, вмѣсто освистываній, неловкихъ опытовъ, вывести на торную дорогу — самимъ на дѣлѣ помочь и показать, какъ надо пользоваться гласностью?

Мало ли на что вамъ есть точить желчь отъ цензурной тропцы до покровительства кабаковъ, отъ плантаторскихъ комитетовъ до полицейскихъ побоевъ. Истощая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*

Можетъ они объ этомъ и не думали,—пусть подумаютъ теперь!

—*„Семь-могилъ“, Злодѣй Помѣщикъ и Губернаторъ-палачъ въ Кременчугскомъ уѣздѣ.* — Мы получили письмо, сообщающее намъ слѣдующее отвратительное преступленіе отеческаго управленія помѣщиковъ и злоупотребленія власти губернскаго начальства. И неужели все это остается безнаказаннымъ — и *Вреде*, который засѣкалъ крестьянъ по воскресеньямъ солеными розгами (*Колоколъ*

листъ 6) и эротическій помѣщикъ Орловской губерніи, *Гутмейтъ (Колоколъ листъ 38)*, насиловавшій двѣнадцати лѣтнихъ дѣтей, и пр.?

Да хоть бы Ростовцевъ, наконецъ, вступился въ это — когда у другихъ вымерло всякое человѣческое чувство.

И какъ же теперь, совершая радикальную перемѣну, не оградить закономъ крестьянъ отъ послѣднихъ, отчаянныхъ посягательствъ на грабежъ и притѣсненія со стороны *благороднаго* дворянства, которое *большинствомъ* своимъ дало мѣру своего *благородства?*

Колоколъ № 46
22 Іюня 1859 года.

— *Еще о возведеніи пьянства въ православную и государственную обязанность.* — Передъ нами два циркуляра, которымъ бы позавидовали даже австрійскіе іезуиты. Одинъ отъ 25 Марта 1859, разосланъ изъ департамента полиціи исполнительной, по *временному* (очень рады, что эти глупости не вѣчны) *отдѣленію* и подписанъ (къ крайнему сожалѣнію) м. в. д. Ланскимъ. Забылъ онъ видно псалтырь, въ которомъ царь Давидъ „благославляетъ мужа не-сидящаго на совѣтѣ Муравьевыхъ и не-ходящаго по дорогѣ Паниныхъ!“ ... Второй циркуляръ отъ 19 Марта, за № 670, насланъ изъ перваго департамента министерства государственныхъ имуществъ и подписанъ *не повѣшаннымъ*, но *вѣшавшимъ* Муравьевымъ. Тема одна, только варіаціи Ланскаго *мольныя*, а Муравьева *дурныя*. Оба циркуляра говорятъ о пользѣ воздержанія отъ сивухи, о *правѣ* крестьянъ не нарѣзываться, и на этомъ основаніи оба мѣшаютъ имъ брать свои домашнія мѣры надзора за исполненіемъ обѣта не пить. Муравьевъ до того расходился, что вдругъ является *Молешотомъ* или *Гуфеландомъ*, и *вѣшаетъ* такимъ образомъ гигіену. «Къ искорененію пьянства надлежитъ стремиться наблюденіемъ и внушеніями, подвергая наказанію, указаннымъ въ законѣ порядкомъ, за неумѣренное пьянство, а не преслѣдовать тѣхъ, которые употребляютъ вино *умѣренно* и, *нерѣдко* даже нуждаются въ томъ, для поддержанія силъ и здоровья и отнюдь не постановлять обязательныхъ по сему предмету приговоровъ, какъ совершенно противныхъ закону.» Но букетъ циркуляра въ концѣ: онъ предписываетъ въ случаѣ произвольныхъ сходокъ, которыми сдѣлаются *постановленія, выходящія изъ круга ихъ вѣдѣнія*, — „сейчасъ *взыскать (что? какъ?)* съ виновныхъ, особенно съ сельскихъ начальниковъ.“ Вѣроятно это взысканіе состоитъ въ отодраніи розгами — и потому никто не ожидаетъ сюрприза, который имъ готовитъ послѣ наказанія Михаилъ Николаевичъ. „При чемъ *(при сѣченіи вѣроятно?)* разъяснить крестьянамъ, что правительство признаетъ весьма похвальнымъ благонамѣренное стремленіе къ воздержанію отъ пьянства, лишь бы не сопровождалось оно *мѣропоположеніями* неразрѣшенными правительствомъ.“

Je t'aimais inconstant — qu'aurai-je fait fidel?

Если за похвальныя и благонамѣренныя стремленія — будутъ сѣчь, *что-же* за стремленія достойныя порицанія и злонамѣренныя?.... что за галиматья!

Колоколъ № 48.
15 Іюля 1859 года.

ВЫГОВОРЪ ПО СЛУЖБѢ.

Разсказываютъ, что въ тѣ патріархальныя времена, когда „еще намъ новы были" всѣ канцелярскіе порядки, и нѣмецкая бюрократія чуть чуть пускала солотковые корешки свои въ едва распаханную русскую землю—въ какую-то дикастерію сошла или лучше наслалась бумага изъ Петербурга, въ которой велѣно было сдѣлать одному чиновнику *строжайшій выговоръ* — при отворенныхъ дверяхъ присутствія. Презусъ потеръ лобъ, поморщился, да и давай его, въ дверяхъ, пушить на чемъ свѣтъ стоитъ. „Ахъ, говоритъ, ты такой, сякой, чего не идешь въ отставку, коли службы не знаешь". Тотъ слушалъ, слушалъ, наконецъ, потерявъ терпѣніе, объявилъ, что онъ будетъ жаловаться высшему начальству *за афронтъ чести.*

Презусъ, видя, что чиновникъ хочетъ идти, велѣлъ его задержать въ канцеляріи, вышелъ изъ присутствія, снялъ мундиръ, надѣлъ сертукъ и, протягивая обѣ руки, сказалъ разсерженному чиновнику—„Другъ ты мой сердечный, вѣдь мнѣ-то каково было, вѣдь я тебя люблю душевно, вѣдь хлѣбъ соль двадцать лѣтъ водилъ, не каменный я какой. Пожалуста прости!"

— „Съ чего же вы взъѣлись на меня?"—спросилъ титулярный и обиженный совѣтникъ.

— „Служба, служба, вотъ видите предписаніе изъ Петербурга—написано: „Сдѣлать *строжайшій* выговоръ."

—Такъ это вы изъ за этого меня и въ хвостъ, и въ гриву.

—Какъ же, батюшка, *строжайше.*

—Ну богъ васъ проститъ!

Этотъ анекдотъ пришелъ намъ въ голову вслѣдствіе письма, недавно полученнаго нами, *ставящаго намъ на видъ* наши упущенія и недостатки.

Странный pli принялъ русскій умъ. Наклонность къ насмѣшкѣ, къ ироніи — совершенно національныя и прекрасныя свойства въ нашемъ характерѣ — превратились подъ канцелярскимъ вліяніемъ петровской эпохи въ страсть къ *начальническимъ выговорамъ.*

Мы получали ихъ не одинъ разъ. Вотъ нѣсколько словъ въ отвѣтъ послѣднему, писанному отъ имени „Легіона" нашихъ доброжелателей.

„Не довольно, говоритъ авторъ, въ *прекрасномъ далеко* изготовлять бомбы, надобно ихъ умѣть бросать и чѣмъ больше и чаще, тѣмъ лучше; никто не требуетъ отъ васъ, чтобъ вы были въ одно и тоже время писателемъ и книгопродавцемъ. Никто также не

потребуетъ, чтобъ вы раззорились на общую пользу, но объявивъ, что труды ваши въ настоящее время вознаграждаются матеріально, вы *дали публикѣ право контролировать ваши изданія...**)

„Если, продолжаетъ авторъ, вашихъ собственныхъ силъ не достаточно, пригласите печатно сотрудниковъ. *Многіе* поѣхали бы даже въ корректоры, но не зная *какой* accueil вы имъ сдѣлаете, нерѣшатся ѣхать на авось. Кстати. корректура въ вашихъ изданіяхъ все хуже и хуже, и есть строки, которыхъ смыслъ совершенно не понятенъ, *непростительная небрежность — за огромныя деньги.* Если въ Лондонѣ дорого издавать, то перенесите изданіе т. е. *печатаніе въ Германію.* Вѣдь печатаютъ-же Schneider и Frank вещи не менѣе *кричащія*".

„Желательно, чтобы *Колоколъ* выходилъ чаще, обратился бы въ газету: всѣ указы, приказы и т. п. должны тотчасъ обсуживаться въ *Колоколѣ.* Иные N. N. *Колокола*, извините, чрезвычайно бѣдны по содержанію. *ПОВТОРЯЮ, если вы не признаете въ себѣ редакторскаго таланта, то вызовите, стоитъ только кличъ кликнуть.*"

Мы увѣрены, что авторъ безъ умысла употребилъ *этотъ тонъ*, который *никогда* не придетъ въ голову ни одному Англійскому журналисту, потому что въ Англіи есть борьбы, нетерпимости, доходящія до грубости — но нѣтъ *внушеній*, нѣтъ служебныхъ распеканій, нѣтъ начальническихъ *ПОВТОРЯЮ*; пора отучиться и намъ.

Что касается до разсылки книгъ, это дѣло г. Трюбнера, и нельзя не отдать ему полной справедливости, что онъ дѣйствовалъ съ большимъ умомъ и съ большимъ успѣхомъ, доказательствомъ этому—расходъ вторыхъ изданій и продажа *Колокола.***)

Не надобно забывать какія препятствія дѣлаютъ циркуляціи нашихъ книгъ. Когда Норовъ вымолилъ у Мантейфеля и у Бейста запрещеніе „Колокола" — цѣлыя посылки его пропадали или отсылались назадъ съ такимъ *порто*, что лучше было отказываться отъ нихъ. Мѣсяцъ тому назадъ Тимашевъ исходатайствовалъ новое гоненіе въ Парижѣ и 5-я книжка Полярной Звѣзды и три послѣднихъ листа Колокола, нашли свою преждевременную кончину въ закормахъ французскихъ таможенъ.

---

*) Вотъ какъ дѣлается этотъ контроль. Авторъ обвиняетъ г. Трюбнера въ томъ, что въ V книжкѣ „Полярной Звѣзды" много *бѣлой бумаги*, что есть страницы, на которыхъ только 5 строчекъ и что стихи можно бы было напечатать на меньшемъ пространствѣ. Объемъ „Полярной Звѣзды" и число строчекъ *совершенно независимы* отъ г Трюбнера — цѣна „Пол. Зв." нисколько не измѣнилась бы отъ того, что листомъ было бы больше или меньше —мы не думали продавать ее ни на вѣсъ, ни на ярды. —*Ред.*

**) Въ іюнѣ мѣсяцѣ, напр., сверхъ 3 листовъ вновь напечатанныхъ, г. Трюбнеръ получилъ заказъ на 4,800 разныхъ листовъ „Колокола" и на 25 полныхъ экземпляровъ. Типографія не могла ихъ выставить и отправила только 4,300.

Этими мѣрами полиціи ничего не сдѣлаютъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но желающій *контролировать* не долженъ забывать, что періодическія потери эти падаютъ на Трюбнера, въ силу этого онъ назначаетъ цѣны слишкомъ дорогія; мы съ этимъ согласны, и будущія изданія онъ очень понизитъ по нашему совѣту.

Что касается до цѣнъ, по которымъ продаются русскія книги въ Берлинѣ, Парижѣ и пр. — мы совсѣмъ не отвѣчаемъ, *эта надбавка совершенно противузаконна.*

Вы видите, что сдѣлалъ г. Трюбнеръ для распространенія русскихъ книгъ, и что полиція, для уничтоженія ихъ. Но что сдѣлали Русскіе для того, чтобъ способствовать циркуляціи?—*Ничего!*

Мы двадцать разъ предлагали посылать куда угодно наши книги и Колоколъ, за *полцѣны и доставку*, мы не получили заказу *ни на одну гинею.* На что намъ кликать кличъ, на что намъ commis-voyageur — кто мѣшаетъ вамъ съ той стороны протянуть руку—когда съ этой подаютъ книгу?

Открывая русскую типографію, въ 1853 году, мы говорили вамъ: „Дверь открыта, хотите вы ей воспользоваться или нѣтъ—останется на вашей совѣсти.“

Считаемъ ли мы себя способными издавать журналъ или нѣтъ, это къ дѣлу не идетъ. Можно себя считать очень способнымъ и не имѣть никакого таланта. Самый вопросъ показываетъ, что наша способность очень сомнительна—но *кличи* и въ этомъ случаѣ мы не будемъ *кликать.* Неужели почтенный авторъ думаетъ, что въ изданіи, основанномъ на безусловной тайнѣ корреспонденціи, можетъ участвовать каждый *незнакомецъ*, умѣющій писать по русски, и не имѣющій другаго занятія? Да намъ на нашъ кличъ Тимашевъ даромъ отправитъ корректоровъ и батырщиковъ. Если же есть близкіе намъ люди, способные и желающіе работать съ нами, они насъ найдутъ безъ клича и мы имъ будемъ очень рады.

Полярная Звѣзда и Колоколъ доказали возможность и своевременность русскихъ изданій за границей. Первые ручьи всегда бываютъ бѣднѣе послѣдующихъ рѣкъ. Міръ не клиномъ сошелся —развѣ кто нибудь говоритъ, что внѣ Россіи можетъ быть только одинъ русскій журналъ, да и то въ Лондонѣ. Вы довольны русскими изданіями въ Лейпцигѣ и Берлинѣ, вы вѣрите *возможности* свободнаго слова въ настоящей Германіи — издавайте тамъ новый журналъ.

Мы съ своей стороны готовы братски помогать всякому свободному органу русской мысли.

Колоколъ № 49.
1 Августа 1859 года.

ПОДЪ СУДЪ!

Получая извѣстія о дѣлахъ слишкомъ частныхъ, чтобы взойти въ составъ «Колокола» и *за достовѣрность которыхъ мы не мо-*

жемъ ручаться, мы рѣшились издавать, какъ прибавленіе къ „Колоколу“ — листокъ подъ заглавіемъ: „ПОДЪ СУДЪ!“ Смотря по количеству матеріала, онъ будетъ выходить разъ въ мѣсяцъ или въ два мѣсяца. Мы будемъ помѣщать въ него всѣ дѣла частныя, которыя однако не переходятъ въ пустыя личности и неинтересныя сплетни. Честные люди, видя дѣло рѣшенное несправедливо или видя кого нибудь притѣсненнымъ мѣстною властью, могутъ всегда доводить встрѣчаемые ими случаи до свѣдѣнія публики и правительства посредствомъ новаго органа. Если они ошиблись, то мы всегда примемъ и напечатаемъ *возраженіе другой стороны*, будь она частное лицо или судебная инстанція, исправникъ или губернаторъ, благочинный или архіерей. Конечно, мы охотно предоставляемъ каждому лицу, постороннему въ дѣлѣ, присылать намъ свое сужденіе о немъ; но мы также предоставляемъ и себѣ право дѣлать свои замѣчанія, руководствуясь посильнымъ здравымъ смысломъ и существующими узаконеніями. Къ какой бы губерніи, къ какому бы уѣзду, къ какому бы городу или селу случай ни относился, мы предоставимъ всякому свободный голосъ. Не только случайно натыкаясь на какую нибудь несправедливость, но даже, слѣдя за ходомъ дѣлъ по оффиціальной части губернскихъ вѣдомостей, всякій честный человѣкъ, проживающій въ губерніи или проѣзжающій по ней, можетъ обратить вниманіе на видимую имъ неправду, прослѣдить и обличить ее.

Мы открываемъ лобное мѣсто для частныхъ лицъ и частныхъ дѣлъ; отъ нашихъ соотечественниковъ зависитъ добросовѣстно и смѣло воспользоваться нашимъ предложеніемъ. Мы желали бы, чтобъ „Колоколъ“ былъ голосомъ всѣхъ, а „Подъ Судъ“ голосомъ каждаго.

Искандеръ, Н. Огаревъ.

Колоколъ № 50.
15 Августа 1859 года.

ВО ХРИСТѢ САПЕРЪ ИГНАТІЙ.

Мы никогда не имѣли большаго довѣрія къ архіереямъ изъ саперовъ, намъ всегда казалось, что люди, наводящіе понтоны на временныя рѣки — скверные *понтифексы*, когда идетъ дѣло о вѣчныхъ понтонахъ, по которымъ души должны подыматься въ райскія селенія. Вотъ напримѣръ изъ саперовъ Архіерей Игнатій, бывшій Архимандритъ Сергіевской Лавры и наставитель многихъ московскихъ Магдалинъ, а нынѣ преосвященный владыка Ставрополя, — написалъ возмутительный памфлетъ по поводу крестьянскаго вопроса. Цѣль памфлета состоитъ въ христолюбивомъ доносѣ на Архимандрита казанской духовной академіи, Іоанна, помѣстившаго „Слово объ освобожденіи крестьянъ“ (въ Янв. книжкѣ Православнаго Собесѣдника) и въ благочестивомъ рвеніи доказать, что рабство — установленіе божественное, святыми отца-

ми православныя церкви поддерживаемое, благовѣрными царями упроченное.

Ржевускій въ подрясникѣ уподобляетъ казанскую академію и преимущественно автора „объ освобожденіи крестьянъ“ „волкамъ, являющимся въ одеждѣ овечьей“, возстановляющимъ одно сословіе противъ другаго, подкапывающимъ престолъ, алтарь и пр. Потомъ ангельскаго чина саперъ вступаетъ въ историческія изслѣдованія о происхожденіи крѣпостнаго состоянія въ Россіи, доказываетъ, что рабство учреждено самимъ богомъ, что христіанинъ долженъ только терпѣть и не смѣть даже думать объ освобожденіи. Здѣсь полемика сосредоточилась на текстѣ апост. Павла (Первое посланіе къ Коринѳянамъ гл. 7, стихъ 20—23), гдѣ сказано: „если ты рабъ — не смущайся; но если можешь сдѣлаться свободнымъ — *тѣмъ лучше, умѣй воспользоваться.*“ Въ славянскомъ евангеліи текстъ этотъ, какъ извѣстно, искаженъ, сказано: „аще можеши свободенъ быти — тѣмъ паче *поработи себя.*“ Но въ русскомъ переводѣ, сдѣланномъ при Александрѣ I библейскимъ обществомъ и потомъ запрещенномъ, онъ переведенъ такъ, какъ его возстановила теперь казанская академія, т. е. «*тѣмъ лучше, воспользуйся.*» Къ этому придрался во Христѣ саперъ Игнатій и обвиняетъ академію въ томъ, что она, *въ угоду народу*, исказила слова апостола. Еслибъ архіерей былъ мало мальски добросовѣстенъ, то ему стоило только заглянуть если не въ греческій и латинскій, то во французскій или нѣмецкій текстъ, а онъ по крайней мѣрѣ по французски то знаетъ, (этимъ языкомъ онъ увѣщевалъ Магдалинъ) — тамъ именно сказано такъ, какъ сказала академія. Далѣе архіерей возстаетъ противъ прогресса, глумится надъ тѣмъ, что академія употребляетъ это слово и оканчиваетъ апологіей рабства, доказывая, что нѣту счастливѣе состоянія *какъ крѣпостное право.*

Мы слышали, что на алеутскихъ островахъ и въ Камчаткѣ, есть закоснѣлые грѣшники, невѣрующіе ни въ святость рабства, ни въ душеспасительство розогъ, ни въ чистоту господскихъ изнасилованій — чтобы хоть Ростовцеву похлопотать о переводѣ туда во христѣ сапера Игнатія!

— —

ЗЛОДѢЙСТВА ПОМѢЩИКОВЪ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

Благородные помѣщики пользуются двѣнадцатымъ часомъ своей безобразной власти. Вотъ что намъ пишутъ:

«Въ Тираспольскомъ уѣздѣ опять ужасное происшествіе: помѣщица ВЛАСОВА, у которой бѣжала горничная, призвала мать бѣжавшей и сѣкла ее три дня, чтобы та сказала, куда дѣвалась дочь. На третій день женщина повѣсилась. Барыня сама сняла ее съ веревки. Слѣдствіе конечно все покроетъ, ибо *слѣдователи* остановились у брата этой госпожи и пировали дни и ночи.»

Саперъ Игнатій! Хорошъ же вашъ богъ, если онъ установилъ крѣпостное право съ пытками, убійствами и безнаказанностью!

Да неужели ВЛАСОВУ не сошлютъ на поселенье... а впрочемъ Орловскаго помѣщика *Гутцейта* оставили насиловать дѣтей, отчего же и ВЛАСОВОЙ въ продолженіе *переходной* эпохи не позволить потѣшиться надъ старухами. Въ исторіи такаго подлаго, татарски-кнутаваго, грязнаго дворянства не было! Это вовсе не аристократія, а дворня, забравшая власть въ руки!

Колоколъ № 52.
15 Сентября 1859 года.

¿ПРАВДА-ЛИ что преступленіе *трезвости* дошло до того въ Тамбовской губерніи, что губернаторъ *Данзасъ* выслалъ военную команду для усмиренія *непьющихъ?* Бѣдное войско, бѣдные офицеры, мало было имъ защищать тронъ и алтарь, помѣщичьи розги и чиновничій разбой — пришлось теперь защищать кабакъ съ его штофной и распивочной продажей. Уже не дадутъ-ли имъ потомъ ведерные кавалеріи черезъ плечо, полуштофные крестики въ петлицу, а нижнимъ чинамъ медали. съ изображеніемъ голубя сходящаго на откупоренный штофъ и съ надписью: Spiritus sanctus —spiriti vini!

Пока мы спрашивали о военныхъ дѣйствіяхъ Данзаса—еще сомнѣваясь въ нихъ—дошла до насъ другая вѣсть о томъ, какъ генералъ *Ефимовичъ* въ Пензѣ и Саратовѣ усмирялъ штыками трезвость. Неужели Государь знаетъ это? Неужели во всей семьѣ его нѣтъ человѣка, который на столько-бы любилъ его и Россію, чтобъ сказать ему это?

Такимъ образомъ мы еще дойдемъ до того, что Марію Бредау и ее домъ *вольнаго обращенія*—будетъ защищать Лейбъ-Гвардія.

Колоколъ № 53.
1 Октября 1859 года.

РУССКІЕ НѢМЦЫ И НѢМЕЦКІЕ РУССКІЕ.*)

(ОТРЫВОКЪ ПЕРВЫЙ)

Правительствующіе Нѣмцы.

Историки дѣлаются — поэты родятся — говоритъ латинская сентенція. Наши правительствующіе нѣмцы имѣютъ ту выгоду историковъ и поэтовъ, что они и *дѣлаются*, и *родятся*. Родятся они отъ обрусѣлыхъ нѣмцевъ, дѣлаются изъ онѣмечившихся русскихъ. Плодородіе это — спору нѣтъ — дѣло хорошее, но чтобъ они не очень гордились этимъ богатствомъ путей нарожденія, мы имъ напомнимъ, что только низшія животныя разводятся на два, на три манера, а высшія имѣютъ одну методу, за то хорошую.

---

*) Статьи, здѣсь соединенныя, тянутся въ №№ 53, 54, 56, 57/58 и 59 „Колокола“. *Л. Т.*

Изъ всѣхъ правительственныхъ нѣмцевъ — само собою разумѣется — русскіе нѣмцы самые худшіе. Нѣмецкій нѣмецъ въ правительствѣ бываетъ наивенъ, бываетъ глупъ, снисходитъ иногда къ варварамъ, которыхъ онъ долженъ очеловѣчить. Русскій нѣмецъ ограниченно уменъ и смотритъ съ отвращеніемъ стыдящагося родственника на народъ. И тотъ и другой чувствуетъ свое безконечное превосходство надъ нимъ, и тотъ и другой глубоко презираютъ все русское, увѣрены, что съ нашимъ братомъ ничего безъ палки не сдѣлаешь. Но нѣмецъ не всегда показываетъ это, хотя и всегда бьетъ; а русскій и бьетъ, и хвастается.

Собственно *нѣмецкая* часть правительствующей у насъ Германіи имѣетъ чрезвычайное единство во всѣхъ семнадцати или восемнадцати степеняхъ нѣмецкой табели о рангахъ. Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезелями, аптекарями, нѣмцами *при дѣтяхъ*, она быстро вползаетъ по отлогой для ней лѣстницѣ — до нѣмцевъ *при Россіи*, до ручныхъ Несельродовъ, цѣпныхъ Клейнмихелей, до одноупостасныхъ Бенкендорфовъ и двуупостасныхъ Адлерберговъ (filiusque). Выше этихъ *горъ* и *орловъ* ничего нѣтъ, т. е. ничего земнаго... надъ ними олимпійскій вѣнокъ нѣмецкихъ великихъ княженъ, съ ихъ братцами, дядюшками, дѣдушками.

Всѣ они, отъ юнѣйшаго нѣмца подмастерья—до старѣйшаго дѣдушки изъ снѣговержцевъ зимняго Олимпа, отъ рабочей сапожника, гдѣ ученикъ заколачиваетъ смиренно гвозди въ подошву, до экзерциргауза, гдѣ нѣмецъ корпусный командиръ заколачиваетъ въ гробъ солдата—всѣ они имѣютъ одинакіе зоологическіе признаки, такъ что въ нѣмцѣ-сапожникѣ бездна генеральскаго и въ нѣмцѣ-генералѣ пропасть сапожническаго; во всѣхъ нихъ есть что-то ремесленническое, чрезвычайно акуратное, цеховое, педантское, всѣ они любятъ стяжаніе, но хотятъ достигнуть денегъ честнымъ образомъ, т. е. скупостью и усердіемъ—это даетъ имъ ихъ черствый, холодный, осторожный и безстрастный характеръ. Воруя на службѣ, можно еще быть добродушнымъ плутомъ; наживать честнымъ образомъ—все же будешь плутомъ—но злымъ и безпощаднымъ, напримѣръ, исполняя съ точностью безумные приказы самовластья.

Сверхъ этихъ общихъ признаковъ, всѣ правительствующіе нѣмцы относятся одинакимъ образомъ къ Россіи, съ полнымъ презрѣніемъ и таковымъ же непониманіемъ.

Не знаю, каковы были шведскіе нѣмцы, приходившіе за тысячу лѣтъ тому назадъ въ Новгородъ. Но новые нѣмцы, особенно идущіе царить и владѣть нами изъ Остзейскихъ провинцій, послѣ того, какъ Шереметьевъ „изрядно повоевалъ Лифляндыˮ, похожи другъ на друга какъ родные братья. Самый полный типъ ихъ, это конюхъ-регентъ, герцогъ на содержаніи *Эрнстъ-Іоганъ Биронъ*.

Въ мою молодость въ Москвѣ я имѣлъ случай изучить — по крайней мѣрѣ человѣкъ пять Бироновъ — только они не были на содержаніи, а жили на свой счетъ. Отецъ мой охотно отдавалъ дворовыхъ мальчиковъ къ нѣмцамъ *въ науку*. Всѣ хозяева были

неумолимые, систематическіе злодѣи и при томъ какіе-то *безлюбные*, что еще больше дѣлало невыносимымъ ихъ тиранство. Я помню очень живо щеточника въ Леонтьевскомъ переулкѣ, бѣлобрысаго нѣмца, съ испорченными зубами, лѣтъ 35, чисто одѣвавшагося, говорившаго тихо и скромно державшаго себя внѣ мастерской. Дома при немъ постоянно лежалъ ремень, и онъ, какъ американскій плантаторъ или какъ пьяный кучеръ, стегалъ то и дѣло—то того, то другаго мальчика, и стегалъ два раза, если тотъ отвѣчалъ. Я даже не думаю, чтобъ этотъ человѣкъ былъ особенно свирѣпъ, онъ съ тупымъ убѣжденіемъ продолжалъ дѣло Петра I и вколачивалъ ремнемъ европейскую цивилизацію. „Es ist ein Vieh — man muss der Bestie den Russen herausschlagen", думалъ онъ съ покойной совѣстью.

Я увѣренъ, что Биронъ, ужиная en ptit comité съ своими Левенвольденами, Менгденами, точно также относился о своей Россіи, и Остерманъ ему поддакивалъ, если не было никого изъ русскихъ, и жаловался на глухоту, если кто нибудь былъ на лицо. И добрые нѣмцы, какъ добрый щеточникъ, безъ устали употребляли ремни въ родѣ Ушаковыхъ, Бестужевыхъ, которые подымали Россію на дыбу, ломали ей руки и ноги и были вдвое мерзѣе своихъ нѣмецкихъ хозяевъ.

Объ нихъ-то именно мы и хотимъ поговорить.

Типъ Бирона здѣсь блѣднѣетъ, русскій *на манеръ нѣмца* далеко превзошелъ его; мы имѣемъ въ этомъ отношеніи предѣлъ, геркулесовъ столбъ, далѣе котораго „отъ жены рожденный", не можетъ идти, это графъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ. Въ немъ совмѣстились всѣ роды бичей, которыми Русь воспитывалась, это былъ раболѣпный татарскій баскакъ, наушникъ дворецкій изъ крѣпостныхъ и прусскій вахмистръ временъ курфирста Фридриха Вильгельма. Но что же было въ немъ русскаго? Какое-то національное ensemble, какое-то національное сочетаніе нагайки, розогъ и шпицрутена.

Аракчеевъ совсѣмъ не нѣмецъ, онъ и по нѣмецки не зналъ, онъ хвастался своимъ руссопетствомъ, онъ былъ такъ сказать *по службѣ* нѣмецъ и, не отдавая себѣ никогда отчета, выбивалъ изъ солдата и мужика не только русскаго, но и человѣка.

Такъ какъ въ Саксоніи есть своя небольшая Швейцарія, такъ у насъ своя и притомъ очень большая Германія. Средоточіе ея въ Петербургѣ, но точки окружности вездѣ, гдѣ есть стоячій воротникъ, секретарь и канцелярія, во всѣхъ администраціяхъ: сухопутныхъ, горныхъ, соляныхъ, военно-статскихъ и статски-военныхъ. Настоящіе нѣмцы составляютъ только ядро или закваску, но большинство состоитъ изъ всевозможныхъ русскихъ—православныхъ, столбовыхъ, съ нашимъ жирнымъ носомъ и монгольскими скулами, ученыхъ, невѣждъ, эскадронныхъ командировъ, журналистовъ и начальниковъ отдѣленія. Они-то и занимаютъ всѣ первыя мѣста, когда нѣтъ подъ рукой настоящаго нѣмца, и всѣ вторыя, когда есть, или вѣрнѣе, всѣ остальныя кромѣ поповскихъ, и это

оттого, что нѣмецъ ex officio долженъ ходить по нѣмецки, т. е. брить бороду, а попъ изъ религіозныхъ причинъ долженъ быть женатъ и съ бородой.

Вступая однажды въ нѣмцы, выйти изъ нихъ очень трудно, какъ свидѣтельствуетъ весь петербургскій періодъ; какой-то нервъ портится, какой то уголъ отшибается, и въ силу этого теряется всякая возможность понимать что нибудь русское, по крайней мѣрѣ то русское, что составляетъ народную особность. Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ нѣмцевъ, желавшихъ обрусѣть, былъ Николай. Чего онъ не дѣлалъ, чтобъ сдѣлаться русскимъ—и финовъ крестилъ, и уніатъ сѣкъ, и церкви велѣлъ строить опять въ видѣ судка, и русское судопроизводство вводилъ тамъ, гдѣ никто не понималъ по русски, и все иностранное гналъ и паспортовъ не давалъ за границу—а русскимъ все не сдѣлался, и это до такой степени справедливо, что народность у него являлась на манеръ нѣмецкаго тейчдума, а православіе проповѣдывалось на католическій манеръ; толкуя о народности, онъ даже не могъ черезъ русскую бороду перешагнуть, помня, что скипетръ ему былъ врученъ на томъ условіи, чтобъ онъ „брилъ бороду и ходилъ по нѣмецки". Этого мало: Николай при первомъ представившемся случаѣ, когда враждебно встрѣтились интересы Россіи съ нѣмецкими интересами, предалъ Россію, такъ какъ ее предалъ нареченный дѣдъ его Петръ Ѳедоровичъ. Только что они нашли разныхъ нѣмцевъ, Петръ Ѳедоровичъ измѣнилъ Россіи въ пользу прусскаго короля, потому что Фридрихъ былъ геній; Николай измѣнилъ всему славянскому міру въ пользу австрійскаго императора, а тотъ былъ идіотъ.

Дѣло-то въ томъ, что жизнь русскую, не устновившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать безъ особеннаго сочувствія, но во сто разъ труднѣе въ *нѣмецкомъ переводѣ*, а мы ее только въ немъ и читаемъ. Она ускользаетъ отъ чужихъ опредѣленій, а сама не достигла того отстоявшагося, полнаго сознанія и отчета, которое является у старыхъ народовъ, вмѣстѣ съ сѣдиною и печальнымъ припѣвомъ: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!

Вмѣсто статистическихъ, юридическихъ, историческихъ торныхъ дорогъ, по которымъ мы ѣздимъ во всѣ стороны на Западѣ, у насъ вездѣ лѣсъ, проселки, дичь... Стремленія, способности, огромный ростъ, въ ужасъ приводящее молчаніе и какой-то народный бытъ, засыпанный мусоромъ... вотъ и все. Есть признаки, *примѣты*, звуки, симпатіи, по которымъ многое дѣлается понятнымъ для простаго ума, т. е. не предупрежденнаго, для простаго сердца, для кровной связи; это чутье совершенно притупляется нѣмецкой дрессировкой.

Кто не видалъ въ свою жизнь истаго городскаго жителя, какъ онъ теряется въ полѣ, въ лѣсу, въ горахъ?.. Ни будочника, чтобъ спросить дорогу, ни номеровъ, ни фонарей; а крестьянскій мальчикъ попѣваетъ пѣсни, щелкаетъ орѣхи и преспокойно идетъ домой.

Той ясности, той легкости, къ которой насъ пріучаетъ чтеніе духовныхъ завѣщаній, надгробныхъ надписей, оконченныхъ процессомъ, мы не находимъ и, обращаясь къ хаосу русской жизни, ломаемъ и гнемъ непонятные факты въ чужую мѣру.

Это метода Петра, перваго императора и перваго русскаго нѣмца. Петръ былъ совершенно правъ въ стремленіи выйти изъ неловкихъ, тяжелыхъ государственныхъ формъ московскаго царства, но разорвавшійся съ народомъ и равно лишенный геніальнаго чутья и геніальнаго творчества, онъ поступилъ проще. Возлѣ, рядомъ иныя формы прочной нѣмецкой работы, въ нихъ такъ могуче развилась западная жизнь, чего же лучше: Herr Nachbar, eine kleine Copie... Въ самомъ дѣлѣ, коли эти формы были хороши для такихъ аристократовъ, какъ французы, шведы, нѣмцы, какъ же имъ не быть хорошими для русскихъ мужиковъ. стоитъ сначала приневолить, обрить, посѣчь, и все пойдетъ какъ по маслу.

Такъ оно и пошло; ясно, что для вколачиванія русскихъ въ нѣмецкія формы, слѣдовало взять нѣмцевъ: въ Германіи была бездна праздношатающихся пасторскихъ дѣтей, егерей, офицеровъ, берейторовъ, форрейторовъ; имъ открываютъ дворцы, имъ вручаютъ казну, ихъ обвѣшиваютъ крестами; такъ какъ Кортесъ завоевывалъ Америку испанскому королю, такъ нѣмцы завоевывали шпицрутенами Россію нѣмецкой *идеѣ*.

Если Биронъ ссылалъ сотнями, сѣкъ тысячами, это значитъ, что русскіе дурно учились.

Вѣдь за то-то и Аракчеевъ билъ всю жизнь русскаго человѣка, чтобъ лучше его пригнать въ солдатскую мѣру, а ее Аракчеевъ унаслѣдовалъ изъ чистѣйшаго голштинскаго источника, преданіе котораго хранилось свято и исправно въ Гатчинѣ. Идеалъ вахтпараднаго солдата, до котораго Аракчеевъ докалачивалъ, былъ хорошъ—а скотина мужикъ этого не понималъ... 1000 шпицрутеновъ, 2000, 3000, — да чего жалѣть прутьевъ, нашъ край дубравенъ — 10,000!

Нѣмцы изъ настоящихъ и изъ поддѣльныхъ приняли русскаго человѣка за tabula rasa, за бѣлый листъ бумаги... и такъ какъ они не знали, что писать, то они положили на него свое тавро, и сдѣлали изъ простой бумаги гербовый листъ и исписали его потомъ нелѣпыми формами, титулами, а главное крѣпостными актами, которыми закабаляли больше и больше это *живое тѣсто*, которое они были призваны выцивилизовать.

За работу они принялись усердно: что помѣщикъ—то Петръ I, что нѣмецъ — то Биронъ. Помѣщикъ высѣкалъ изъ крестьянина лакея. Аракчеевъ солдата. Добросовѣстные изъ нихъ были увѣрены, что они образуютъ ихъ. „Посмотрите, говоритъ помѣщикъ, на Гришку, три года тому назадъ за сохой ходилъ, а вотъ теперь служитъ въ англійскомъ клубѣ не хуже всякаго официанта, у меня есть секретъ ихъ учить. Тяжело было, нечего дѣлать, не одну березовую припарку вынесъ, за то теперь самъ чувствуетъ мои благодѣянія.“

И дѣйствительно, Гришка чувствовалъ это и богу молилъ за барина, и отца съ матерью въ деревнѣ презиралъ какъ сиволапыхъ мужиковъ.

Такъ у насъ шло тихо да келейно, посѣкая да постегивая, и долго бы прошло, да вдругъ русская жизнь натолкнулась на *русской* вопросъ, а по нѣмецки его разрѣшить нельзя.

Вопросъ этотъ въ освобожденіи крестьянъ съ землею..... и во всякихъ чудесахъ—въ правѣ на землю, въ общинномъ владѣніи.*)

(отрывокъ второй)

Доктринерствующіе Нѣмцы.

То, что дѣлалось грубо, хирургически въ передней и казармѣ, повторялось съ разными утонченными и нервными видоизмѣненіями во всѣхъ другихъ сферахъ.

Разрывъ, которымъ для насъ началась *нѣмецкая наука*, невольно ставилъ все отторгаемое отъ прежняго единства въ враждебное отношеніе ко всему остававшемуся по старинѣ. Освобождаясь отъ цѣлаго міра нелѣпыхъ предразсудковъ и тяжелыхъ формъ, *новая* Россія не дѣлалась свободной, на это она еще не имѣла достаточной самостоятельности, а подчинялась другому нелѣпому порядку и принимала его предразсудки, — второй степени, такъ сказать.

Допетровская жизнь была виновата въ разрывѣ, она обусловила и вызвала его; въ ея сонномъ прозябаніи нельзя было дольше оставаться, не покрывшись плѣсенью, не расползаясь, не впадая въ восточную летаргію. А на все на это не доставало азіатской лѣни и старческаго покоя. Совсѣмъ напротивъ, въ русской жизни бродила бездна силъ неустоявшихся — съ одной стороны казачество, расколы, неосѣдлость крестьянъ, ихъ бродяжничество, съ другой государственная пластичность, — сильно обнаруживавшаяся въ стремленіяхъ раздаться, не теряя единства.

Какимъ путемъ эта стихійная жизнь, равнодушная къ развитію своихъ собственныхъ силъ и даже къ сознанію ихъ, должна была выйти къ совершеннолѣтію и измѣниться—это зависѣло отъ разныхъ обстоятельствъ, но *необходимость* выхода вовсе не была

---

*) Статья наша была набрана, когда мы получили прелюбопытное письмо о Дерптѣ, что это за ученое болото, что за лужа германизма, самаго узкаго, самаго исключительнаго, самаго теологическаго; мы давно знали студенческую исторію, бывшую въ ноябрѣ 1857, не печатали мы ее изъ понятной пощады къ провинціямъ все же покореннымъ. Но отрывки изъ письма непремѣнно передадимъ нашимъ читателямъ... Чтобы государю уговорить всѣхъ остзейскихъ нѣмцевъ переселиться mit Weib und Kind въ gesammtes Vaterland, ну хоть въ Пруссію, что-ли?... а финновъ оставить свободными съ землею.

случайностью. Оторвавшаяся часть нѣмой и спящей горы, представляла именно тотъ революціонный ферментъ, то дѣятельное меньшинство, которое должно было волею или неволею увлечь за собою всю массу. Что меньшинство это было само увлечено подражаніемъ чужеземному — и это естественно. Русская жизнь, таившая въ себѣ зародыши будущаго развитія, вовсе не подозрѣвая того, держалась за старину по капризу, не умѣя объяснить почему, а революція, напротивъ, указывала на блестящіе идеалы, на широкую будущность и наконецъ на существующую Европу съ ея наукой и искусствомъ, съ ея государственнымъ строемъ и общежитіемъ.

Что европейскія гражданскія формы были несравненно выше не только старинныхъ русскихъ, но и теперешнихъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. И вопросъ не въ томъ, догнали ли мы Западъ или нѣтъ, а въ томъ, слѣдуетъ ли его догонять по длинному шоссе его, когда мы можемъ пуститься въ объѣздъ. Намъ кажется, что пройдя западной дрессировкой, подкованные ею, мы можемъ стать на свои ноги, и вмѣсто того, чтобъ твердить чужіе зады и прилаживать стоптанные сапоги, — намъ слѣдуетъ подумать, нѣтъ-ли въ народномъ быту, въ народномъ характерѣ нашемъ, въ нашей мысли, въ нашемъ художествѣ чего-нибудь такого, что можетъ имѣть притязанія на общественное устройство, несравненно высшее западнаго. Хорошіе ученики часто переводятся черезъ классъ.

Представьте себѣ, что какимъ-нибудь колдовствомъ, кто нибудь вдругъ развилъ бы изъ куринаго яйца ящерицу или лягушку. Безъ всякаго сомнѣнія, состояніе ящерицы было бы для яйца прогрессомъ, но въ сущности зародышъ цыпленка могъ имѣть высшія притязанія, именно сдѣлаться птицей. Если бы мы теперь остановили развитіе цыпленка, основываясь на томъ, что ящерица или лягушка, выведенная изъ птичьяго яйца, потому не можетъ еще сдѣлаться птицей, что она не достигла еще всѣхъ лягушечьихъ совершенствъ, и, основываясь на этомъ, будемъ его заставлять прыгать на брюхѣ, подтянувши ноги, въ то время какъ онъ могъ-бы летать, то мы все-же сдѣлаемъ avortement птицы и дальше лягушки его не разовьемъ.

Наука, которую мы прошли, была трудна, помѣчена слезами, кровью и костьми. Она пошла въ прокъ, наша здоровая организація все вынесла. Сначала мы были у нѣмца въ ученіи, потомъ у француза въ школѣ — пора брать дипломъ.

А страшное было воспитаніе!

При Петрѣ I дресировка началась нѣмецкая, т. е. наиболѣе противуположная славянскому характеру. Военный артикулъ и канцелярскій стиль были первыми плодами нѣмецкой науки. Тяжелые и неповоротливые бояры и князья наперерывъ старались походить на капраловъ и берейторовъ, германскій бюрократизмъ обогащался византійскимъ раболѣпіемъ, а татарская нагайка служила превосходнымъ пополненіемъ шпицрутеновъ. На тронѣ были нѣмцы, около трона — нѣмцы, полководцами — нѣмцы, министрами

иностранныхъ дѣлъ — нѣмцы, булочниками — нѣмцы, аптекарями — нѣмцы, вездѣ нѣмцы, до противности. Нѣмки занимали почти исключительно мѣста императрицъ и повивальныхъ бабокъ.

На добродушнѣйшемъ изъ всѣхъ нѣмцевъ, на пьяненкомъ Петрѣ III, какъ всегда бываетъ, оборвалось нѣмецкое единодержавіе. Нѣмка, взбунтовавшаяся противъ него — была офранцужена, выдавала себя за русскую и стремилась замѣнить нѣмецкое иго обще-европейскимъ.

Съ тѣхъ поръ въ обществѣ нѣмцы уступаютъ французамъ, но если французы господствуютъ въ гостинной и на кухнѣ, то передняя и правительство остается за нѣмцами,*)

Et par diverses raisons
Gardons ses amis de la maison.

Они любятъ правительство, правительство ихъ любитъ, да и какъ не любить людей, которыхъ отечество въ канцеляріи и казармѣ, которыхъ совѣсть — въ Зимнемъ Дворцѣ?

И не только правительство, мы сами такъ привыкли, что нельзя хорошо управлять Россіей безъ нѣмцевъ, что намъ кажется просто страннымъ, какъ быть русскому министерству, русской арміи безъ Нессельроде, Канкрина, Дибича, Бенкендорфа, Адлерберга, — нельзя! ну хоть какой-нибудь Балтазаръ Балтазаровичъ фонъ Кампенгаузенъ, или Фабіанъ Вильгельмовичъ фонъ деръ Остенъ Сакенъ, а все нужно.

Пока нѣмцы владѣли Русью, какъ справедливой наградой за акуратность и умѣренность, общество продолжало спрягать французскіе глаголы и обогащать русскій языкъ галлицизмами. Кафтаны и танцы, книги и прически — все шло изъ Франціи, и это былъ большой шагъ впередъ. Въ концѣ XVIII столѣтія Франція дѣйствительно была страною великой пропаганды, духъ будущаго носился надъ Парижемъ и наше молодое поколѣніе незамѣтно переходило отъ французской грамматики къ французскимъ идеямъ... Одно правительство дальше языка не пошло, и щегольски говоря по французски, руководствовалось чисто нѣмецкими мѣрами, ограждая себя по прежнему ост-зейскими лейбъ-опричниками отъ французскихъ идей и русскихъ притязаній. Но не смотря ни на это, ни на Аракчеева, ни на военныя поселенія, ни на винные откупа, александровская эпоха была великимъ временемъ. Это была эпоха Пестеля и Муравьева, Университетовъ и Лицеевъ, Пушки-

*) Съ глубокой горестью читали мы, что самый почетный гость на праздникѣ 8 сентября — былъ нѣмецъ, съ *австрійскимъ* крестомъ, полученнымъ за *отличіе* при Сольферино.... именно Гессенскій принцъ. Рано узнаетъ юноша, призванный когда нибудь царить надъ Русью, что въ его семьѣ есть рейторы и кондотьеры къ услугамъ каждаго нуждающагося тиранства, вольнонаемные принцы, готовые своей шпагой, оскверненной кровью въ неправомъ дѣлѣ и въ дѣлѣ *чужомъ* для нихъ, — расчистить дорогу палачамъ!

на и 1812 года, эпоха гражданственнаго сознанія и государственной мощи. Она служитъ лучшимъ отвѣтомъ слѣпымъ порицателямъ петровскаго разрыва, ею онъ оправданъ и заключенъ. Залпъ на Исакіевской площади—былъ залпомъ на его похоронахъ.

Юныя, гордыя силы были уже готовы выступить за гранитные берега, которыми *образующій* деспотизмъ стремится удержать образованіе. Грубый отпоръ осадилъ ихъ, тяжелый гидравлическій прессъ налегъ на все, сгущая, сосредоточивая, и все выросло въ молчаніи. Николай имѣлъ въ виду одно стѣсненіе, онъ не виноватъ въ пользѣ имъ сдѣланной, но она сдѣлалась. Юношеская, самонадѣянная мысль александровскаго времени—смирилась, стала угрюмѣе, и съ тѣмъ вмѣстѣ серьезнѣе. Боясь свѣтить ярко, свѣтить вверхъ, она, таясь, жгла внутри и иной разъ свѣтила внизъ. Громкія рѣчи замѣняются тихимъ шопотомъ, подземная работа идетъ въ аудиторіяхъ, идетъ подъ носомъ у Николая въ военныхъ училищахъ, идетъ подъ благословеніемъ митрополитовъ въ семинаріяхъ. Живая мысль облекается въ схоластическія одежды, чтобъ ускользнуть отъ наушниковъ и надѣваетъ рабскую маску, чтобъ дать знакъ глазами, и каждый намекъ, каждое слово прорвавшееся — понято, становится силой. Удивительное время наружнаго рабства и внутренняго освобожденія, настоящая исторія этого времени не на Кавказѣ, не въ убитой Варшавѣ, не въ острогѣ Зимняго Дворца, она въ двухъ-трехъ бѣдныхъ профессорахъ, въ нѣсколькихъ студентахъ, въ кучкѣ журналистовъ.

Мысль растетъ, смѣхъ Пушкина замѣняется смѣхомъ Гоголя. Скептическая потерянность Лермонтова составляетъ лиризмъ этой эпохи.

Печальны, но изящны были люди вышедшіе тогда на сцену, съ сознаніемъ правоты и безсилія, съ сознаніемъ разрыва съ народомъ и обществомъ, безъ вѣрной почвы подъ ногами, чуждые всему окружающему, не знавшіе будущаго, они не сложили рукъ, они проповѣдывали цѣлую жизнь, какъ Грановскій, какъ Бѣлинскій, оба сошедшіе въ могилу, рано изношенные въ суровой и безотрадной борьбѣ.

Они по духу, по общему образованію, принадлежали Западу, ихъ идеалы были въ немъ... русская жизнь ихъ оскорбляла на всякомъ шагу, и между тѣмъ съ какой святой непослѣдовательностью они любили Россію и какъ безумно надѣялись на ея будущее... и если когда въ минуты безконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый родительскій домъ, то вѣдь это одни крѣпкіе на умъ не слыхали въ ихъ проклятіяхъ — *благословенія!*

Грановскій и Бѣлинскій стоятъ на рубежѣ, далѣе въ ихъ направленіи нельзя было идти. Послѣдніе благородные представители западной идеи, они не оставили ни учениковъ, ни школы. Молодое поколѣніе *выслушало* результаты, до которыхъ они домучились и, предостереженное ихъ примѣромъ, не впадало въ ихъ непослѣдовательность; спокойное и разсудительное, оно или примирилось съ „разумной дѣйствительностью“ русской гражданской

жизни, или, какъ, подсолнечникъ, склонило свой тяжелый цвѣтокъ черезъ острожный частоколъ русской тюрьмы къ садящемуся на Западѣ солнцу. Изъ нихъ-то составились наши *доктринеры-бюрократы* и *западные доктринеры;* послѣдняя фаланга Петровскаго войска, лучшіе нѣмцы изъ русскихъ — умные, образованные, но не русскіе, и именно потому способные съ наилучшими намѣреніями надѣлать бездну вреда.

Въ первое десятилѣтіе, слѣдовавшее за 14 Декабремъ 1825, поднялось рядомъ съ тѣмъ движеніемъ, о которомъ мы говорили, совсѣмъ иное направленіе. Нѣсколько дѣятельныхъ умовъ отворачиваясь отъ луннаго, холоднаго просвѣщенія, которымъ вѣяло изъ Петербурга, стали проситься домой изъ „нѣмецкой науки" и попавъ на мысль, что Русь русскую не уразумѣешь изъ однихъ иностранныхъ книгъ, отправились ее искать, *ее живую*, въ лѣтописяхъ такъ, какъ Марія Магдалина искала Іисуса въ гробѣ, въ которомъ его не было.

Надъ ними смѣялись, и они дѣйствительно были смѣшны, юродствовали, переѣзжали за два вѣка назадъ, наряжались по старорусски, такъ какъ ихъ предки наряжались по нѣмецки, отрастивали бороду, которую полиція имъ брила, натягивали подогрѣтое православіе, сомнѣвались слѣдуетъ-ли ѣсть телятину и не сомнѣвались, что иконопись выше живописи. Мы смотрѣли на нихъ съ негодованіемъ и были правы, мы искали свободы совѣсти; они, исполненные раскольнической нетерпимости, проповѣдывали православное рабство. Мы не понимали (да и они сначала сознательно не понимали), что у нихъ, какъ у старовѣровъ, подъ археологическими обрядами, бился живой зародышъ, что они по видимому, защищая одинъ вздоръ, въ сущности отстаивали въ уродливо-церковной формѣ — вѣру въ *народную жизнь!*

Пока продолжалась борьба свободной совѣсти — противъ рабской, и партіи не могли другъ друга понять, грянула февральская гроза и перемѣшала всѣ карты въ Европѣ. Когда она улеглась, полюсы шара земнаго были перемѣнены.

Западники, безземельные дома, теряли теперь шагъ за шагомъ свои владѣнія въ обѣтованной землѣ. Славянофилы, думая отрывать трупы на кладбищѣ, по дорогѣ пахали поле. Западная партія была разбита на Западѣ: кирпичное, въ одинъ камень, зданіе политической экономіи покривилось и осѣлось, теорія общественнаго прогресса падала въ безплодную риторику, Франція какъ покорное стадо единаго пастыря и Германія какъ покорное стадо множества пастырей, утратили, разъ за разъ, свободныя учрежденія, личную безопасность, право рѣчи, утратили талантъ, серьезность; общее паденіе какъ неотразимый рокъ влекло всю Европу въ хаосъ разложенія; явились трогательныя, печальныя личности, упорно остающіяся вѣрными всякому паденію, надѣющіяся, что храмъ западный, какъ храмъ соломоновъ, скоро воскреснетъ во всей славѣ и силѣ, лишь бы только отдѣлаться отъ соціализма и деспотизма, отъ католицизма и *невѣжества массъ....*

И наши западные доктринеры въ слѣдъ за ними не измѣнили своей вѣрѣ, не уступили стѣнъ своей ученой крѣпости, они печально, но твердо ждутъ, когда уляжется дикое славянофильство, варварство соціальныхъ идей, и французская централизація, на основаніяхъ нѣмецкой Schul-Wissenschaft, будетъ царить отъ Таурогена до Амура.

Чѣмъ больше западная партія удалялась отъ реальной почвы и переносила шатры свои въ абстрактную науку, тѣмъ тверже становились Славяне на практическій грунтъ. Вопросъ объ общинномъ владѣніи по счастью вывелъ ихъ изъ церкви и изъ лѣтописей на пашню.

И вотъ какъ роковымъ колебаніемъ историческихъ волнъ, *люди прогресса* стали въ свою очередь консерваторами, старообрядцами реформы, стрѣльцами западной цивилизаціи, хвастающимися неподвижностью своихъ мнѣній!

Старая шутка софистовъ рѣшилась обратно, черепаха опередила Ахилла... Ахиллъ забѣжалъ далеко, а путь переломился.

Какъ это дѣлается, приведу одинъ примѣръ: споръ, длившійся въ русскихъ журналахъ о народности въ наукѣ. Западники были совершенно правы въ томъ, что объективная истина не можетъ зависѣть ни отъ градуса широты, ни отъ градуса лицеваго угла; но говоря это, у нихъ есть задняя мысль, что *западная наука*, какъ единая сущая — и есть эта объективная, католическая, безусловная наука. Конечно, другой науки нѣтъ, но развѣ быть *одной*, значитъ быть безусловной.*) Западная наука съ своимъ схоластическимъ языкомъ и дуализмомъ въ понятіяхъ, въ тысячи случаяхъ не умѣетъ не только разрѣшить, но поставить вопросъ. Она слишкомъ завалена грубымъ матеріаломъ, слишкомъ избалована своими старыми пріемами, чтобъ просто относиться къ предмету; она слишкомъ облегчила себѣ трудъ — рубриками, словами, трафаретками и шаблонами, чтобъ искать новыхъ мѣховъ для новаго вина.

Славянофилы поняли, что ихъ истина плохо выражается западной номенклатурой, они пытались науку сдѣлать русской, православной, остриженной въ скобку, такъ, какъ пытались архитектуру и живопись свести на византизмъ, а въ сущности они достигаютъ совсѣмъ другаго—высвобожденія мысли и истины отъ обязательныхъ колодокъ нѣмецкой работы, набитыхъ на нашъ умъ западнымъ воззрѣніемъ.

Вотъ почему мы, нехвастающіеся достоинствомъ Симеона Столпника, стоявшаго безполезно и упорно шесть, десять лѣтъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, — оставаясь совершенно вѣрными нравственнымъ убѣжденіямъ нашимъ... *живые*, т. е. измѣняющіеся — теченіемъ времени,

---

*) Развѣ по той логикѣ, по которой, шутя, доказываютъ, что человѣкъ, сидящій одинъ въ лучшей комнатѣ всего Парижа, есть лучшій человѣкъ во всемъ мірѣ.

стали гораздо ближе къ московскимъ славянамъ, чѣмъ къ западнымъ старообрядцамъ и къ русскимъ нѣмцамъ, во всѣхъ родахъ различныхъ.

Отрывокъ третій.
(варіаціи)

I

Намъ кажется, что западный мозгъ, такъ какъ онъ выработался своей исторіей, своей односторонней цивилизаціей, своей школьной наукой, не въ состояніи уловить *новыя явленія жизни ни у себя, ни въ чужѣ.*

Наука (исключая естествовѣдѣніе) измѣнила прогрессивному характеру своему и перешла въ доктринаризмъ, который расходится съ живой средой такъ, какъ нѣкогда разошлась съ нею церковь католическая, а потомъ и протестантская.... Академическая каѳедра и церковный налой остаются какими-то venerabilia, которымъ изъ уваженія позволяютъ поучать, мѣшаться въ жизнь, но которымъ жизнь не позволяетъ управлять собой.

Западное міросозерцаніе, съ его гражданскимъ идеаломъ и философіей права, съ его политической экономіей и дуализмомъ въ понятіяхъ, принадлежитъ къ извѣстному порядку историческихъ явленій и внѣ ихъ несостоятельно.

Идеалъ его, какъ всегда бываетъ съ идеалами, тотъ же существующій историческій бытъ, но преображенный на горѣ Ѳаворѣ. Къ этимъ идеаламъ шли, увлекая поколѣнія, великіе мыслители XVIII вѣка, радостные люди 1789 и мрачные 1793, мѣщане 1830 и ихъ сыновья 1848; къ нимъ нейдутъ народы нашего времени, потому что они отслужили свою службу, они обойдены чуткимъ инстинктомъ... и на этомъ растетъ разрывъ.

Пока западный міръ въ мученіяхъ и трудѣ строилъ изъ своей дѣйствительности свои теоріи и стремился потомъ изъ теорій вывести свою дѣйствительность—*истины его пережили свою истинность.* Онъ не хочетъ этого знать.... тутъ предѣлъ, и настоящая Европа представляетъ намъ удивительное зрѣлище политическаго и научнаго консерватизма, соединенныхъ не на взаимномъ довѣріи, а на страхѣ чего-то отрицающаго ихъ авторитетъ.

Страхъ не совмѣстенъ ни съ свободой, ни съ прогрессомъ. Противузаконный союзъ науки съ властью, сдѣлалъ изъ нея схоластическій доктринаризмъ, во всемъ относящемся къ жизни.

Старая цивилизація истощила свои средства, она становится все больше и больше *книжной*, способность прямо, безъ письменныхъ документовъ относиться къ предмету—теряется; заучившійся человѣкъ меньше наблюдаетъ, чѣмъ вспоминаетъ; привычка все узнавать изъ книгъ дѣлаетъ его больше способнымъ для чтенія и меньше способнымъ для смотрѣнія. Ученый авторитетъ, сѣдѣя, теряетъ терпимость, становится обязательнымъ и принимаетъ отрицаніе за обиду и крамолу. У него есть прочный

запасъ давно рѣшенныхъ истинъ, началъ, законовъ, къ нимъ онъ не возвращается, оно и не было нужно пока дѣло шло о продолженіи, о приложеніи, о развитіи прежняго, словомъ о продолженіи. Но тутъ, какъ нарочно, міръ не можетъ идти по старому, а догматики не вѣрятъ, чтобы міръ могъ шагъ сдѣлать внѣ формъ и категорій впередъ ими признанныхъ.

— Я съ ужасомъ слышу грозное негодованіе моихъ ученыхъ друзей.

Да онъ властей не признаетъ!

говорятъ они. Что же это, наконецъ, кощунство, въ дѣвичьей спальнѣ Минервы, этого мы не потерпимъ. Дѣло теперь не о русскихъ нѣмцахъ и не о нѣмецкихъ русскихъ, дѣло о достоинствѣ науки, за нее мы заступимся: Moriamur pro regina nostra.

—Равви, еслибъ вы выслушали меня...

— Да что вы можете сказать, вы софистъ, вы скептикъ, вы любите парадоксы!

—Во-первыхъ, я бы васъ успокоилъ на счетъ науки, она assez grand garçon, чтобъ не нуждаться въ защитѣ дядекъ отъ нападокъ какого нибудь поврежденнаго. Наука такой же сущій неприложный фактъ, какъ воздухъ, какъ луна; можно сказать, что воздухъ сегодня не чистъ и луна тамъ-то не свѣтитъ, но начать бранить воздухъ или луну можетъ только сумасшедшій. Представьте себѣ человѣка, который бы сталъ говорить, что воздухъ глупъ, и другаго, который съ негодованіемъ сталъ-бы ему возражать, защищая благородный, хотя и нѣсколько вѣтренный характеръ его.

— Все это такъ, но вредъ отъ нападокъ вашихъ унижаетъ цивилизацію и науку въ глазахъ невѣждъ и лѣнтяевъ, а намъ надобно учиться, много учиться.

— И будемте, какъ же не учиться и гдѣ же лучше учиться какъ не у старшихъ братьевъ. Но скажите мнѣ на милость, ваши похвалы наукамъ и искусствамъ подняли-ли ихъ, напр., въ глазахъ первыхъ трехъ классовъ въ Россіи? Не проймешь ихъ превосходительства велерѣчіемъ; они могутъ только уважать по высочайшему повелѣнію или по волѣ высшаго начальства. Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что, уважая науку всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ и отдавая ей все, что ей принадлежитъ, я не хочу создавать себѣ изъ нея кумира; а совсѣмъ напротивъ, призвавъ ея логическое благословеніе, скажу, что безусловной науки нѣтъ, (какъ вообще нѣтъ ничего безусловнаго). Наука въ дѣйствительности всегда обусловлена; отражаемый міръ явленій — въ *человѣческомъ* сознаніи, она дѣлитъ его судьбы, съ нимъ движется, ростетъ и отступаетъ, постоянно находясь въ взаимодѣйствіи съ исторіей. Оттого въ развитіи ея тотъ же поглощающій, страстный интересъ, та же поэзія и драма, тѣ же страданія и увлеченія какъ въ исторіи. Ея *относительная* истина всегда отклонена отъ прямой линіи мозговымъ преломленіемъ и подкрашена средой—и тѣмъ больше, чѣмъ предметъ ближе къ намъ.

Западный міръ, и это совершенно естественно, считалъ и считаетъ свою науку абсолютной, свой путь—единымъ, ведущимъ къ спасенію. Но такъ какъ магнитная стрѣлка его сильно отклонилась отъ прямого направленія, въ продолженіи долгаго историческаго плаванія, то онъ, наконецъ, хватился объ утесъ, и боясь потонуть, бросился на мель. Теперь всѣ усилія, весь трудъ употребляется, чтобъ неподвижному сидѣнію на мели придать видъ прогрессивнаго движенія.

Для того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ плыть дальше, надобно весь грузъ бросить въ море, а его много и жаль. Жаль ученымъ не меньше банкировъ, и они переходятъ на консервативную сторону. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ какому нибудь юристу легко признаться, что все уголовное право — нелѣпая теорія мести; что лучшій уголовный судъ — очищенная инквизиція; и что въ лучшемъ кодексѣ - нѣтъ ни логики, ни психологіи, ни даже здраваго смысла?

Къ тому же теоретическія убѣжденія упорнѣе всѣхъ на свѣтѣ, упорнѣе религіозныхъ вѣрованій, именно потому что они имѣютъ свое одностороннее логическое оправданіе, свое діалектическое доказательство, основанное не на патологическомъ состояніи мозга, какъ въ религіи, а на относительной истинности. Средствъ переубѣдить человѣка теоретически убѣжденнаго никакихъ нѣтъ, это совершеннѣйшій предразсудокъ. Логика не имѣетъ такой силы надъ привычнымъ складомъ ума, надъ застарѣлыми пріемами его. Убѣдить вообще можно только того, кто или никакого мнѣнія не имѣетъ или чувствуетъ, что его мнѣніе шатко. А западный умъ совсѣмъ напротивъ, убѣжденъ въ непогрѣшительности своей методы и въ *истинѣ своихъ истинъ*.

Но будто нѣтъ исключенія?

Есть. Но эти люди такіе же иностранцы на Западѣ, какъ и мы. Старая Европа—ученая, юридическая, этико политическая и политико-экономическая, филологическая и либеральная относится къ нимъ съ такимъ же непониманіемъ, какъ къ намъ и съ двойной ненавистью.

Къ тому же они побѣждены!

II.

Съ того дня, когда невозможность величайшей утопіи, когда либо волновавшей духъ человѣческій, обличилась, когда усталый народъ и откипѣвшія партіи поняли, что изъ монархической Франціи не легко создать, даже съ помощью гильотины, демократическую республику, основанную на разумѣ, равенствѣ и братствѣ, и все стремилось взойти въ покойное русло, т. е. найти себѣ господина, который бы снялъ на свои плечи бремя самоуправленія; съ того самого дня поднялся голосъ *протеста*—говорившій, что революція не удалась, не потому что она сбилась съ своихъ началъ, а что она сбилась съ нихъ потому, что изъ ея началъ не выведешь новаго общественнаго устройства, сообразнаго съ потребностями разума.

Революція отвѣчала на дерзкій протестъ ржавымъ топоромъ, уже выходившимъ изъ употребленія. Человѣкъ былъ убитъ, голосъ остался, и иной разъ его слышали издали, даже во времена нравственной прострацiи всеобщей бойни „періода славы", потомъ погромче во времена Лазарева воскресенія Бурбоновъ и, наконецъ, очень громко, когда за прилавокъ Франціи сѣлъ смышленный хозяинъ Людовикъ Филиппъ.

Въ процессѣ улицы Menilmontant люди увидѣли въ первый разъ, послѣ Плинія и Тертуліана, небольшую кучку сектаторовъ, отвергавшихъ не то или другое учрежденіе, не ту или другую форму правительства, но все современное общественное устройство, и притомъ не одно австрійское, не одно папское, а съ тѣмъ вмѣстѣ и все либерально-конституціонное короля-гражданина и хартіи „сдѣлавшейся правдой".

Государство должно было ихъ преслѣдовать, это былъ вопросъ на жизнь и смерть, и не одно государство опрокинулось на нихъ, но и общественное мнѣніе, руководимое либеральной буржуазіей. Тутъ не было мѣста для взаимныхъ уступокъ, не зачѣмъ было примириться; между католикомъ и кальвинистомъ, между легитимистомъ и якобинцемъ, при всей ихъ противуположности были общія данныя, общія истины, были идолы, которымъ поклонялись тѣ и другіе, святыни, чтимыя ими обоими. Между судьями и С. Симонистами ничего не было общаго. Они отвергали весь существующій порядокъ. „Да какъ-же это—говорили не только судьи, но и либералы—развѣ наша цивилизація рядомъ съ своими недостатками ничего не выработала прочнаго, дѣльнаго — кромѣ воротъ, которыми изъ нея выходятъ. . . . что же станется со всѣмъ этимъ міромъ богатства, просвѣщенія, искусствъ, промышленности, свободныхъ учрежденій?" И борьба ассизовъ сдѣлалась общественной борьбой. Либерализмъ, ополчаясь противъ соціализма, съ самаго начала громко возвѣстилъ міру, что онъ идетъ на защиту *цивилизаціи*, противъ новыхъ варваровъ.

Чего же такъ испугалось государство—этихъ блудныхъ сыновъ образованія, осмѣлившихся слабыми руками покачнуть столпы вѣковаго зданія? Того, что всѣ столпы и своды, дворцы и академіи были построены на карабельной палубѣ, отдѣленные досками отъ бездонной, дремлющей пропасти, отъ пропасти, пролетаріата и голода, изнуряющей работы и недостаточнаго вознагражденія за нее.

Борьба продолжалась-бы вѣроятно долго. Но послѣ пятнадцатилѣтняго застоя дѣла пошли быстро. Прогнали *возможнаго* Людовика Филиппа, провозгласили невозможную республику и невозможный suffrage universel. Груша была зрѣла для гніенія. Споръ перешелъ изъ книгъ и журналовъ на площадь. „Варвары" были побѣждены, цивилизація была спасена, Сенаръ отъ ея имени благодарилъ Каваньяка. Свобода, равенство и братство были обезпечены!

Но вотъ что странно, съ этой побѣдой что-то убыло, какой-то

нервъ былъ перерѣзанъ. Республика стала безсмысленна, народъ равнодушенъ къ ней, и отъ паденія до паденія Франція упала по горло въ Наполеона и успокоилась въ немъ. Что же случилось? Варвары были побѣждены, цивилизація торжествовала, а между тѣмъ—то будто Франціи было стыдно, то будто на совѣсти что-то неловко. Соціальныя идеи скрылись, взошли внутрь, и рядомъ съ тѣмъ, какъ на смѣхъ, нелѣпость республики обличилась до того. что одной темной ночью президентъ ея послалъ квартальнаго взять ее за шиворотъ и выбросить вонъ. Онъ ее и выбросилъ, при хохотѣ работниковъ, которые думали, что выбрасываютъ Шангарнье и квесторовъ.

Съ тѣхъ поръ умъ, пониманье отступили на столѣтіе во всей Европѣ. Одичалыя правительства безпрепятственно давили и гнали, заключали конкордаты, преслѣдовали мысль, что-то кровожадное снова развилось въ европейскихъ нравахъ, начались ненужныя войны. И въ третій разъ подогрѣтыя мнѣнія либерализма, снова гонимыя, стали подымать голову въ репейниковомъ вѣнцѣ и дѣлать дальніе намеки о парламентской трибунѣ, о свободномъ книгопечатаніи.

Зачѣмъ было выгонять Людовика Филиппа, онъ отлично уравновѣшивалъ своимъ безмѣномъ свободу и рабство, революцію и консерватизмъ. Я не говорю, чтобъ формы іюльской монархіи были особенно хороши, но онѣ были лучшія формы, до которыхъ Франція доросла. Людовикъ Филиппъ служилъ фонтанелью, оттягивающей въ себя четверную ненависть легитимистовъ, бонапартистовъ, республиканцевъ и соціалистовъ. Какъ только мартигалъ королевской власти былъ снятъ, партіи вцѣпились другъ другу въ волосы.

Монархическая власть вообще выражаетъ мѣру народнаго несовершеннолѣтія, мѣру народной неспособности къ самоуправленію, —ну къ какому же самоуправленію, къ какой же подачѣ всеобщихъ голосовъ была готова Франція? Она была готова къ деспотизму, онъ и явился подъ фирмой Бонапарта.

Но какъ бы то ни было, одна изъ главныхъ побѣдъ — *побѣда надъ соціализмомъ*, была сдѣлана, объ немъ перестали говорить.

„Не далѣе!“ сказалъ западный умъ и остановился, такъ какъ нѣкогда онъ уже останавливалоя по приказу Лютера и Кальвина. Можетъ предѣлъ былъ трагически необходимъ, но онъ необыкновенно кастрировалъ вольный полетъ мысли, съузилъ взглядъ и лишилъ способности понимать все, выходящее изъ предѣловъ стараго порядка вещей. Одинъ страхъ попасть въ соціальныя идеи самъ по себѣ заставляетъ теперь осматриваться, сжиматься, оговариваться и это тѣмъ труднѣе, что соціальныя идеи, какъ неминуемый силлогизмъ либеральныхъ посылокъ, стоятъ на каждомъ логическомъ шагу впередъ.

Середь этого застоя, вызваннаго противудѣйствіемъ естественному развитію, середь конфузіи, происходящей отъ постоянно поднимающихся выше и выше волнъ неотразимой реакціи, вдругъ

представляется русскій вопросъ *объ освобожденіи крестьянъ съ землею, объ общинномъ владѣніи.* Страна, которую знали за безобразнѣйшее самовластье, за кнутъ и взятки, за ея штыки, направленные противъ всякаго прогресса, за ея сѣкущее дворянство и мужиковъ, продаваемыхъ чуть не на вѣсъ, — эта страна является съ какимъ-то вопросомъ, сильно пахнущимъ соціализмомъ.— Что за вздоръ!

— Явное дѣло, что все это нелѣпость! — говорятъ западные западники.*)

— Явное! — отвѣчаютъ имъ восточные.

...Что касается до старой цивилизаціи, которая возвела свой бытъ въ науку, обобщила его въ законъ и все на свѣтѣ разрѣшаетъ по аналогіи съ собой, мы очень хорошо понимаемъ не только ея непонятливость, но и ея озлобленіе... два полюса всѣхъ ея ненавистей, два пугала, употребляемыя то властью, то народами, чтобъ стращать другъ друга — *Россія* и *соціализмъ* являются въ одномъ вопросѣ.

Не раздѣляя этой ограниченности, мы можемъ себѣ объяснить ее; но возвращаясь, какъ французы говорятъ, à nos moutons, мы совершенно перестаемъ понимать непониманіе русскихъ нѣмцевъ.

У насъ что засорило умъ?.. Какое великое воспоминаніе отклонило его?.. Этотъ почтенный вѣковой мохъ, эта сѣдая плѣсень на нашихъ мысляхъ что-то подозрительно и сильно сбивается на сженную хлопчатую бумагу, которой для новичковъ обвертываютъ бутылку молодаго вина... мы *прикидываемся* тѣмъ, чѣмъ европейцы стали на старости лѣтъ и — страстные актеры — оканчиваемъ добросовѣстно, но каррикатурно сживаясь съ маской.

На берегахъ Средиземнаго моря есть раковины, въ которыхъ живутъ крустацеи; это вещь очень смѣшная, креветка маленькая, находя пустую раковину, помѣщается въ ней; комнатка, отдѣланная перломутромъ, ей нравится, она ростетъ себѣ въ ней, выпуская клещи и ноги, и ростетъ до того, что вылѣзть не можетъ, и тогда креветка таскаетъ на себѣ всю раковину, едва передвигая ноги,—наши русскіе западники ужасно похожи на этихъ креветокъ въ маскарадномъ платьѣ, они даже, какъ раки вообще, пятятся назадъ, думая идти впередъ!

— —

*) Изъ европейцевъ стараго толка Гакстгаузенъ понялъ русскую сельскую общину. Но самъ Гакстгаузенъ находится въ какомъ-то исключительномъ положеніи, въ семейной ссорѣ съ современностію. Іезуитъ и патріархальный Freiherr, онъ изъ рыцарскихъ видовъ ненавидитъ бюрократію и централизацію, за то изъ католическихъ—монархистъ. Онъ плѣнился въ славянской общинѣ возможностью self-governement, допущающаго николаевскій деспотизмъ.

Отрывокъ четвертый.
(продолженіе)

III.

Бытъ европейскій, послѣднее слово тысячелѣтней исторической жизни, это ея результатъ, ея предѣлъ, до *этого* она выработалась. Россія, напротивъ, еще складывается и ищетъ своего устройства. у насъ все, кромѣ сельскаго быта, носитъ характеръ внѣшней необходимости, временной мѣры, чего-то переходнаго — стропилъ, лѣсовъ, карантина.

Это различіе возрастовъ и положеній поражаетъ русскаго, переѣзжающаго западную границу. Мы видимъ на каждомъ шагу слѣды старой, глубоко вкоренившейся цивилизаціи—личность независимѣе, образованіе шире, потребности развитѣе, намъ становится завидно и стыдно, вспоминая страну помѣщичьихъ и полицейскихъ розогъ, наглаго произвола и безотвѣтнаго молчанія.

Многіе изъ русскихъ, и между прочимъ Чаадаевъ въ своемъ знаменитомъ письмѣ, сѣтуютъ на отсутствіе у насъ того элементарнаго гражданскаго катехизиса, той политической и юридической азбуки, которую мы находимъ съ разными измѣненіями у всѣхъ западныхъ народовъ. Это правда, и если смотрѣть только на настоящее, то вредъ отъ этихъ неустоявшихся понятій объ отношеніяхъ, обязанностяхъ и правахъ дѣлаетъ изъ Россіи то печальное царство беззаконія, которое ставитъ ее во многихъ отношеніяхъ ниже восточныхъ государствъ.

Въ самомъ дѣлѣ, идея права у насъ вовсе не существуетъ или очень смутно, она смѣшивается съ признаніемъ силы или совершившагося факта. Законъ не имѣетъ для насъ другаго смысла, кромѣ запрета, сдѣланнаго власть имущимъ, мы не его уважаемъ, а квартальнаго боимся... Нѣтъ у насъ тѣхъ завершенныхъ понятій, тѣхъ гражданскихъ истинъ, которыми, какъ щитомъ, западный міръ защищался отъ феодальной власти, отъ королевской, а теперь защищается отъ соціальныхъ идей, или онѣ до того у насъ спутаны, искажены, обезображены, что самый яростный западный консерваторъ отъ нихъ шарахнется назадъ. Что въ самомъ дѣлѣ можетъ сказать въ пользу неприкосновенной собственности своей русскій *помѣщикъ-людоѣдъ*, смѣшивающій въ своемъ понятіи собственности — огородъ, бабу, сапоги, старосту?

Все это такъ. Но тутъ-то мы сейчасъ и разойдемся. Петровская метода избаловала насъ своей необычайной легкостью. Нѣтъ гражданскаго катихизиса, — взять нѣмецкій, переложить на наши нравы, какъ перекладываютъ французскіе водевили, переплести въ юфть, вотъ и будетъ катихизисъ. Такъ думаютъ девять десятыхъ изъ нашихъ просвѣтителей in spe. Такъ поступали англичане съ Индѣйцами: находя у нихъ какіе-то неразвившіеся зачатки патріархально-общиннаго управленія, они его замѣнили англійскимъ. Которое изъ двухъ законодательствъ — индѣйскаго или англійскаго — выше, кажется нельзя спрашивать. Посмотрите, что въ при-

ложеніи къ индѣйскимъ земледѣльцамъ сдѣлало это повышеніе въ юридическомъ чинѣ. Оно кретинизировало народъ, мѣстами убило его, мѣстами развило ту ненависть къ Англіи, которую мы видѣли годъ тому назадъ.

Князь Козловскій, встрѣтивъ на пароходѣ маркиза Кюстина, замѣтилъ ему, что въ нашемъ обществѣ большой пробѣлъ отъ недостатка рыцарскихъ понятій, съ которыми связано уваженіе къ себѣ и признаніе личнаго достоинства въ другихъ. Князь Козловскій совершенно правъ... Только подумайте, что было-бы au jour d'aujourdhui, еслибъ у насъ вмѣсто выслужившихся писарей и вахмистровъ, вмѣсто царской дворни и разныхъ Собакевичей и Ноздревыхъ, была бы напримѣръ аристократія въ родѣ польской? Для дворянъ это было бы лучше, нѣтъ сомнѣнія, они были бы свободнѣе, они шире бы двигались, они бы не позволяли ни царямъ обращаться съ собою какъ съ лакеями, ни лакеямъ на службѣ обращаться съ ними по царски — противъ этого спорить нельзя. Но какъ бы пошелъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ съ землею?... А потому врядъ не лучше-ли, что наши тамбовскіе Рогапы и калужскіе Ноальи не прошли рыцарскимъ закаломъ, а одѣлись только въ рыцарскіе доспѣхи... въ родѣ дикихъ на маркизскихъ островахъ, приходившихъ къ Дюмонъ Дюрвилю на корабль въ европейскихъ мундирахъ съ эполетами, но безъ штановъ.

Тоже самое придется сказать объ отсутствіи уваженія къ законности, съ обѣихъ сторонъ, со стороны народа и со стороны правительства.

На первый взглядъ совершенно ясно, что уваженіе къ закону и его формамъ, ограничило бы произволъ, остановило бы всеобщій грабежъ, утерло-бы много слезъ и тысячи вздохнули бы свободнѣе. . . но представьте себѣ *то великое и то тупое* уваженіе, которое Англичане имѣютъ къ своей законности, обращенное на нашъ сводъ. Представьте, что чиновники не берутъ больше взятокъ и исполняютъ буквально законы, представьте, что народъ *вѣритъ*, что это *въ самомъ дѣлѣ* законы — изъ Россіи надо было бы бѣжать безъ оглядки.

Стало быть серьезный вопросъ не въ томъ, которое состояніе лучше и выше—европейское сложившееся, уравновѣшенное, правильное, или наше хаотическое, гдѣ только однѣ рамы какъ-то сколочены, а содержаніе вяло бродитъ или дремлетъ въ какомъ-то допотопномъ растворѣ, въ которомъ едва сдѣлано различіе свѣта и тьмы, добра и зла. Тутъ не можетъ быть двухъ рѣшеній.

Остановиться на этомъ хаосѣ мы не можемъ — это тоже ясно; но для того, чтобы *сознательно* выйти изъ него, намъ предстоитъ другой вопросъ для разрѣшенія: есть-ли путь европейскаго развитія единый возможный, необходимый, такъ что каждому народу, гдѣ бы онъ ни жилъ, какіе бы антецеденты не имѣлъ — должно пройти имъ какъ младенцу прорѣзываніемъ зубовъ, сростаніемъ черепныхъ костей и пр.? Или оно само частный случай развитія,

имѣющій въ себѣ общечеловѣческую канву, которая сложилась и образовалась подъ вліяніями частными, индивидуальными, вслѣдствіе извѣстныхъ событій, при извѣстныхъ элементахъ, при извѣстныхъ помѣхахъ и отклоненіяхъ. И въ такомъ случаѣ не странно-ли намъ повторять теперь всю длинную метаморфозу западной исторіи, *зная впередъ* le secret de la comédie, т. е. что со всѣмъ этимъ развитіемъ рано или поздно насъ также причалитъ къ той межѣ, передъ которой вся Европа свернула паруса, и испугавшись, гребетъ назадъ...

Я могу понять русскихъ помѣщиковъ тридцатыхъ годовъ, возвращавшихся изъ чужихъ краевъ, корча буржуа и фабрикантовъ, съ умиленіемъ смотрѣвшихъ на французскій либерализмъ; я еще больше понимаю поклоненіе къ Германіи русскихъ ученыхъ, которые изъ Берлина привозили намъ въ сороковыхъ годахъ живое слово науки и тайкомъ передавали его намъ. Это было время Людовика Филиппа, конституціонной свободы, свободы мысли и преподаванія. Это было при Николаѣ, Западъ становился намъ дорогъ, какъ запрещенный плодъ, какъ средство оппозиціи... То ли дѣло теперь?

Мы столѣтіемъ отдѣлены отъ него.

И мы, и Европа совсѣмъ не тѣ, и мы, и Европа стоимъ у какого-то предѣла, и мы, и она коснулись черты, которой оканчивается томъ исторіи.

Тогда западные люди не знали еще своей границы, они свой бытъ высокомѣрно принимали за идеалъ всѣхъ народовъ, они соглашались, что въ немъ надобно кое-что почистить, но въ фондѣ никто не сомнѣвался. Гегель видѣлъ въ монархіи на манеръ Прусской, съ ея потсдамской религіей *абсолютную политическую и религіозную форму* государства. А если съ нимъ не были согласны Барбесъ и Годефруа Каваньякъ, то это потому, что они навѣрное знали. что абсолютная форма государственная — это французская республика на манеръ 1793 года, avec un pouvoir fort!

Тогда — униженные, забитые Николаемъ, и мы вѣрили въ западный бытъ, и мы тянулись къ нему.

Теперь — Западъ пошатнулся; мы вышли изъ оцѣпененія; мы рвемся куда-то, онъ стремится удержаться на мѣстѣ. Черта, до которой мы дошли, значитъ, что мы кончили ученическое подражаніе, что намъ слѣдуетъ выходить изъ Петровской школы, становиться на свои ноги и не твердить больше чужихъ задовъ. Въ идеѣ, въ меньшинствѣ мыслящихъ людей, въ литературѣ, на Исакіевской площади, въ казематахъ — мы прожили западную исторію, и будто теперь намъ надобно ее повторять оптомъ.

Европа перешла отъ скверныхъ проселковъ къ хорошимъ шоссе, а отъ нихъ къ желѣзнымъ дорогамъ. У насъ и теперь прескверные пути сообщенія, — что же намъ сперва дѣлать шоссе, а потомъ желѣзныя дороги? Эта педагогія напоминаетъ мнѣ Гейне, онъ находитъ очень хорошимъ, что въ нѣмецкихъ школахъ преподаютъ Римскую исторію такъ, какъ ее преподавали до Ни-

бура. Иначе, замѣчаетъ онъ, трудно было бы молодому поколѣнію оцѣнить всю заслугу великаго историка, доказавшаго, что всего, что ихъ заставляли учить, — сущій вздоръ.

IV

Наши отношенія къ Западу до сихъ поръ были очень похожи на отношенія деревенскаго мальчика къ городской ярмаркѣ. Глаза мальчика разбѣгаются, онъ всѣмъ удивленъ, всему завидуетъ, всего хочетъ отъ сбитня и пряничной лошадки съ золотымъ пятномъ на гривѣ, до отвратительнаго нѣмецкаго картуза и подлой гармоники, замѣнившей балалайку. И что за весселье, что за толпа, что за пестрота — качели вертятся, разнощики кричатъ, паяцы кричатъ, а выставокъ-то винныхъ, кабаковъ... и мальчикъ почти съ ненавистью вспоминаетъ бѣдныя избушки своей деревни, тишину ея луговъ и скуку темнаго, шумящаго бора.

Вслушиваясь въ толки нашихъ «ученыхъ друзей», мнѣ часто приходило въ голову это сравненіе. Одинъ тоскуетъ, отчего у насъ не развилась такая муниципальная жизнь, какъ въ Европѣ, отчего у насъ нѣтъ средневѣковыхъ городовъ, съ узкими улицами, по которымъ ѣздить нельзя, съ уродливыми домами, въ которыхъ жить скверно, съ переулками, копотью и памятниками XIII, XIV столѣтія... Другой не можетъ утѣшиться, что у насъ нѣтъ средняго состоянія въ западномъ смыслѣ — той настойчивой, трудолюбивой буржуазіи, которая такъ упорно боролась съ рыцарями и королями, такъ ловко защищала свои права и пр.

Мы не имѣемъ ничего въ защиту нашихъ уѣздныхъ селъ, называемыхъ городами, и сами жалѣемъ, что Николай Павловичъ, который все могъ, не велѣлъ въ нихъ построить древнихъ памятниковъ и узкихъ улицъ. Мы также ничего не имѣемъ въ защиту нашихъ мѣщанъ, отданныхъ въ крѣпость квартальнымъ, и нашихъ купцовъ, пожалованныхъ губернаторамъ. Тѣмъ не меньше остановимся на этомъ примѣрѣ. Неужели „ученые друзья“ наши, восхищаясь средневѣковыми зданіями, не замѣчаютъ, что односторонно развитая муниципальная жизнь Европы сдѣлала страшный разрывъ между сельскими и городскими жителями, и что этотъ антагонизмъ двухъ населеній составляетъ теперь вмѣстѣ съ постояннымъ войскомъ и настойчивой, трудолюбивой буржуазіей—твердѣйшій оплотъ реакціи? Между селомъ и городомъ—вѣка; иныя понятія, другая религія, другіе нравы, часто другой языкъ. Сельскія народонаселенія Запада намъ кажутся его резервомъ, народомъ *будущей* Европы, *по ту сторону* городской цивилизаціи и городской черни, по ту сторону правительствующей буржуазіи и по ту сторону утягивающихъ всѣ силы страны—столицъ.

Бѣдныя массы городовъ, безотраднѣйшія жертвы разработыванія лучшей жизни для другихъ, врядъ имѣютъ-ли будущность, онѣ изнурены, онѣ нервны, въ ихъ жилахъ больная кровь, унаслѣдованная отъ поколѣній, выросшихъ и умершихъ въ нуждѣ, духотѣ, сырости; у нихъ развивается иногда звѣриная хитрость, но не

умъ, міръ ихъ узокъ, не идетъ далѣе прибыли нѣсколькихъ копѣекъ; они идутъ въ Лаццарони. Люди полей смѣнятъ ихъ. Въ этомъ отсталомъ, но крѣпкомъ мышцами кряжѣ осталась бездна родоначальныхъ силъ, оно въ своей бѣдности и ограниченности не такъ истощало, не такъ обносилось, не такъ покрылось пылью, какъ городской пролетаріатъ и мелкое мѣщанство; оно работало на чистомъ воздухѣ, на солнцѣ и дождѣ. Гордая цивилизація пронеслась мимо деревень, не раскрывая тюковъ своихъ; но минуя сельскаго жителя, она спасла его отъ пошлаго полуобразованія и оставила при своей самобытной и простой поэзіи въ жизни и одеждѣ, въ рѣчи и пляскѣ, въ то время какъ бѣдный горожанинъ утратилъ все, вытягиваясь для каррикатурнаго подражанія аристократамъ.

Житель полей былъ всѣмъ обойденъ — не для него строились театры и академіи, не для него писались книги, на языкѣ почти незнакомомъ ему, не для него издавались журналы, — ему была оставлена дѣтская поэзія церкви и вмѣсто училища, каоедры, литературы, онъ былъ покинутъ на попа-невѣжду, стращавшаго своимъ библейскимъ колдовствомъ. И дѣйствительно сельское населеніе словно замерло на тяжелой работѣ, около убогихъ очаговъ своихъ. Оно не брало страстнаго участія въ политическихъ партіяхъ, раздиравшихъ города; оно платило подать, давало солдатъ и вовсе не понимало вопросовъ, которые *нѣкогда* казались такъ просты и въ которыхъ теперь всѣ перестаютъ что нибудь понимать.

Той необходимости, которая вызвала города и обусловила ихъ необходимость, больше нѣтъ; ту пользу, которую они могли принести — они принесли. Гдѣ теперь та трудность сообщеній, которая заставляла людей не разъѣзжаться, найдя выгодное мѣсто, гдѣ опасность феодальныхъ набѣговъ, противъ которыхъ люди лѣпились возможно тѣснѣе, окружали свои домы оградами, строили заставы и крѣпости? Обстоятельства измѣнились, послѣдній врагъ — пространство — побѣждено. Города продолжаютъ рости на томъ основаніи, на которомъ все живое ростетъ, но все живое имѣетъ свой предѣлъ, за которымъ смерть или страданіе.

Мы живемъ въ *городѣ городовъ* — въ Лондонѣ. Неужели вы думаете, что такая нелѣпость имѣетъ какую нибудь будущность?

Одна волна населенія за другой прибивалась къ этимъ докамъ вселенной и осѣдала, какъ саранча на падающія крупицы... и вотъ скипѣлась трехмилліонная толпа, заражающая воздухъ, заражающая воду, тѣснящаяся, мѣшающая другъ другу, и сросшіяся въ какіе-то плотные колтуны своими самыми больными частями... взгляните на темные, сырые переулки, на населеніе вросшее на сажень въ землю, отнимающее другъ у друга свѣтъ и землю, кусокъ хлѣба и грязное логовище, посмотрите на эту рѣку, текущую гноемъ и заразой, на эту шапку дыма и вони, покрывающую не только городъ, но и его окрестности... и вы думаете, что это останется, что это необходимыя условія цивилизаціи?

Сначала эта безконечность улицъ, эта огромность движенія, эти пять тысячъ омнибусовъ, снующихъ взадъ и впередъ, эта давка, этотъ оглушающій шумъ поражаетъ насъ удивленіемъ и мы, краснѣя, признаемся, что въ Москвѣ съ небольшимъ триста тысячъ жителей... но нельзя же остановиться на точкѣ зрѣнія нашего мальчика на ярмаркѣ. Простой человѣческій инстинктъ шепчетъ вамъ: „Тутъ быть бѣдѣ!"

Богатый Лондонъ, какъ будто чуя это, расползается, выходитъ самъ изъ себя по всѣмъ подгороднымъ окрестностямъ, и замѣтьте, онъ не продолжаетъ пристроиваться, какъ дѣлалъ двадцать лѣтъ тому назадъ, а кладетъ между собой и этимъ гнилымъ моремъ двѣ нитки желѣзной дороги.

Ну а бѣдный Лондонъ что сдѣлаетъ? Что сдѣлаетъ это выгорѣлое топливо цивилизаціи, этотъ слой мокрицъ, кишащихъ въ Бетналь-Гринѣ и въ Вейтъ-Чапелѣ, въ ирландскихъ кварталахъ и въ Ламбетѣ? Энергію искать другой судьбы — они давно потеряли, силы пробовать новое счастіе — утрачены, они *пошли назадъ*, запуганные не людьми, а гнетущимъ рокомъ, безжалостнымъ и нелицепріятнымъ, они не вѣрятъ въ себя, не вѣрятъ въ лучшую судьбу, у нихъ явилось, если не христіанское смиреніе, то смиреніе и покорность отчаянія, иногда только нарушаемое такимъ дикимъ взрывомъ страстей, такимъ страшнымъ преступленіемъ, что волосы дыбомъ становятся.... куда же они дѣнутся, — развѣ Темза поможетъ смести ихъ холерой и тифусомъ...

Я останавливаюсь на этомъ, моя цѣль не изслѣдовать, что будетъ съ Лондономъ, мнѣ хотѣлось только насторожить нашихъ правовѣрныхъ западниковъ и заставить ихъ остановиться передъ вопросомъ.

— Стало быть въ Россіи все очень хорошо и лучше, чѣмъ въ Европѣ?

—Нѣтъ, не стало.

Неужели вы въ самомъ дѣлѣ не видите въ чемъ дѣло. Историческія формы западной жизни—въ одно и тоже время будучи *несравненно выше* политическаго устройства Россіи, не соотвѣтствуютъ больше современной нуждѣ, современному пониманью. Это пониманье развилось на Западѣ, но съ той минуты, какъ оно было сознано и высказано, оно сдѣлалось общечеловѣческимъ достояніемъ всѣхъ понимающихъ. Западъ носитъ въ себѣ зародышъ, но желаетъ продолжать свою прежнюю жизнь и дѣлаетъ все, чтобъ произвести абортивъ. Кто изъ нихъ останется живъ — мать-ли, ребенокъ-ли, или какъ они примирятся, этого мы не знаемъ. Но что мать представляетъ больше воспоминаній, а зародышъ больше надеждъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Въ виду этой борьбы возникаетъ страна, имѣющая только маску, и то прескверную, западной гражданской жизни, только ея фасадъ и народный бытъ неразвитый, полудикій, но нисколько не похожій на народный бытъ европейскихъ народовъ. Онъ въ своей маскѣ также мало можетъ идти, какъ Европа въ своей кожѣ. Что

же ему дѣлать? Слѣдуетъ-ли ему пройти всѣми фазами западной жизни для того, чтобы дойти въ потѣ лица, съ подгибающимися колѣнами, черезъ рѣки крови — до того же выхода, до той же идеи будущаго устройства и невозможности современныхъ формъ, до которыхъ дошла Европа? И притомъ зная впередъ, что все это не въ *самомъ дѣлѣ*, а только для какого-то искуса. Да развѣ вы не видите, что это безумно? Довольно, что мы постоянно играемъ въ маневры и представляемъ мирную войну, зачѣмъ же еще представлять прошлую исторію цивилизаціи?

А потому существенный вопросъ въ томъ — *какъ* относится нашъ народный бытъ не къ обмирающимъ формамъ Европы, а къ тому новому идеалу ея будущности, передъ которымъ она поблѣднѣла, какъ передъ головой Медузы!

Отрывокъ пятый.
(Окончаніе)

V.

Въ исторіи бываютъ чудеса, мудренѣе всѣхъ сказочныхъ чудесъ, въ ней иногда спятъ крѣпче двѣнадцати спящихъ дѣвъ, въ ней точно такъ-же есть живая и мертвая вода, вода чрезвычайной памяти и удивительнаго забвенія.

Не чудо ли въ самомъ дѣлѣ, что въ продолженіи полутора вѣковъ, мы не имѣли никакого понятія о русскомъ народѣ. Все время, пока насъ вытягивали въ колоссальную имперію, пока намъ прививали цивилизацію и мы съ успѣхомъ учились тому и другому, у насъ не было никакого сознанія о нашемъ народѣ; были люди, знавшіе русскую исторію, но современнаго народа не зналъ ни одинъ человѣкъ.

Возлѣ, около, со всѣхъ сторонъ, на необозримомъ пространствѣ жило населеніе, считаемое десятками милліоновъ, единоплеменное съ нами, говорящее съ нами однимъ языкомъ, находившееся въ безпрерывномъ и самомъ тѣсномъ сношеніи съ нами, уже по тому самому, что оно намъ было отдано на кормленіе—и мы объ немъ не больше знали, какъ въ Англіи знаютъ объ индѣйцахъ, т. е. что его легко обирать.

Употребляя его въ снѣдь, тучнѣя отъ него, мы также мало думали о немъ, какъ о грешневой кашѣ или буженинѣ—питательно и хорошо. Народъ съ своей стороны не напоминалъ о себѣ, а только кланялся въ поясъ при всякомъ заѣденномъ поколѣніи помѣщиками и чиновниками, приговаривая: „Дай богъ на здоровье, мы на то ваши дѣти, вы на то наши отцы, чтобъ насъ кушать.“

Ну въ какой же сказкѣ, въ какомъ Бовѣ королевичѣ, въ какомъ Іерусланѣ Лазаревичѣ вы найдете что нибудь удивительнѣе?

Между тѣмъ западное образованіе прививалось не даромъ, мы въ немъ дочитались до того, что ни антропофагія, ни раболѣпіе

не составляютъ высокихъ качествъ человѣка, что человѣкъ, который сѣчетъ и насильничаетъ, очень легко получаетъ самъ пинки; и мало по малу началось у насъ складываться *либеральное мнѣніе*, сначала въ небольшомъ кругѣ образованныхъ.

Какъ только у насъ явилась мысль объ обузданіи правительственнаго произвола, рядомъ съ нею явилась, какъ дополненіе, мысль объ освобожденіи народа. Но долгій разрывъ высказался тутъ всего яснѣе тѣмъ, что развитое меньшинство, имѣя благородныя, общечеловѣческія стремленія, не знало быта народнаго и слѣдственно его истинныхъ потребностей.

Надо правду сказать, что либерализмъ нигдѣ не отличался глубокимъ знаніемъ народа, особенно сельскаго. Либерализмъ вообще явленіе переходное, развившееся въ городской цивилизаціи, необходимая расчистка мѣста между старой и новой постройкой. Онъ всегда довольствовался отвлеченнымъ понятіемъ о народѣ, риторическимъ образомъ его, въ которомъ были совмѣщены—простота геснеровыхъ патріарховъ, нравы дезульсровскихъ пастушекъ и свирѣпыя добродѣтели римскаго плебея допуническихъ временъ.

У насъ разстояніе между народомъ и либеральнымъ дворянствомъ казалось тѣмъ страшнѣе, что между ними ничего не было, какая-то безконечная пустота, въ которой едва замѣтно плетутся купцы, плетутся мѣшане, фельдъ-егери скачутъ взадъ и впередъ, помѣщики мелькаютъ, чиновники мчатся на слѣдствія—нисколько не сближая двухъ Россій, остающихся двумя враждебными станами.

И при всемъ томъ разрывъ этотъ въ нашей жизни вовсе не былъ слѣдствіемъ всей исторической жизни, какъ распаденіе крестьянъ съ горожанами, простолюдиновъ съ феодалами въ Европѣ. Разрывъ былъ сдѣланъ у насъ по указу, насильственно, съ педагогической цѣлью, и былъ до того сначала чуждъ, ненатураленъ, что въ предупрежденіе новаго сближенія — правительство выдумало ставить тавро на лица, своего рода обрѣзаніе, и стало мѣтить своихъ бритвой и ножницами, чтобъ они не мѣшались съ прочими. Однажды разрѣзанныя части цѣлаго, намѣренно поставленныя въ враждебное положеніе, по свойственной тѣламъ упругости, удалились другъ отъ друга съ какимъ-то отвращеніемъ. „Мужикъ!“ говорила съ высокомѣріемъ обритая и одѣтая въ ливрею Русь объ народѣ. „Нѣмцы!“ бормоталъ себѣ въ бороду съ затаенной злобой народъ, глядя на дворянъ.

Такъ и устроились мы. Съ одной стороны народъ въ угрюмомъ a parte, задавленный работой, полиціей, помѣщиками, живущій никому неизвѣстной жизнію расколовъ и неимѣющій ничего общаго съ просвѣщающимъ правительствомъ; съ другой стороны дворянство нераздѣльное съ правительствомъ, и потому само представляющее правительство. Русское повѣріе, что дворянинъ долженъ служить, иначе онъ теряетъ свое званіе, самое слово „недоросль“ доказываетъ, что у насъ дворянство принято народомъ за коронную службу.

Съ развитіемъ просвѣщенія возникаетъ удивительное зрѣлище.

Правительственная Россія дѣлится сама въ себѣ на правительство и оппозицію, такъ что одни чиновники представляютъ протестъ, либеральное начало, другіе консерватизмъ, начало авторитета — и оба остаются на службѣ, получая чины и отличія. Это одна изъ причинъ, отчего не только русскій народъ ничего не понимаетъ во всемъ этомъ, но и всѣ европейскіе.

„У насъ все дѣлается наизнанку — сказалъ умирающій Ростопчинъ, услышавъ вѣсть о 14 Декабря, — въ 1789 г. французская roture хотѣла стать въ ровень съ дворянствомъ и боролась изъ за этого, это я понимаю. А у насъ дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегіи,—тутъ смысла нѣтъ."

Ѳеодоръ Васильевичъ былъ умный человѣкъ, умѣвшій не хуже фонъ Амбурга обходиться съ Павломъ, не обжигаясь, и сжечь во время Москву, но и онъ не понялъ этого страннаго явленія съ своей философіей XVIII столѣтія. Можетъ въ раздвоеніи дворянскаго стана въ противность собственной выгодѣ — лежитъ лучшее доказательство, что порча его не глубока, и единственный путь искупленія.

Не имѣя за собой баласта народнаго населенія, разорвавшееся съ нимъ образованное меньшинство понеслось, какъ порожняя телѣга, быстро догоняя западное движеніе, подпрыгивая на тѣхъ кочкахъ, на которыхъ предшественники ломали себѣ шею.

По сравниваясь съ Европой, мы оставались въ петровскомъ отношеніи къ народу, т. е. смотрѣли на него какъ на грубую массу, которую намъ надобно очеловѣчить. Нѣмецкаго презрѣнія Бирона съ компаніей — у меньшинства разумѣется не было, оно замѣнилось чувствомъ болѣе мягкимъ сострадательнаго покровительства къ неразумнымъ дѣтямъ.

На этомъ насъ застаютъ два событія. Паденіе Европы передъ соціальнымъ вопросомъ. Соціальный вопросъ, поставленный Александромъ II, какъ призывъ Россіи къ жизни.

Западные публицисты съ тѣмъ несокрушимымъ упрямствомъ, которое имъ даетъ ненависть къ Россіи и невѣжество, смѣются, когда мы говоримъ о великомъ историческомъ значеніи нашего освобожденія крестьянъ съ землею. А намъ кажется вопросъ этотъ до того важнымъ, что одно постановленіе его ставитъ насъ совсѣмъ на другую ногу съ Европой и даетъ Александру II мѣсто въ числѣ величайшихъ государственныхъ дѣятелей нашего времени, какіе бы впрочемъ онъ промахи и шалости ни дѣлалъ.

Передъ *соціальнымъ* вопросомъ начинается наше равенство съ Европой, или лучше это дѣйствительная точка пересѣченія двухъ путей; встрѣтившись, каждый пойдетъ своей дорогой.

Западный міръ, дойдя до своего предѣла, самъ указалъ, что ему мѣшаетъ, и отрицательно опредѣлилъ свое искомое. Случайное распредѣленіе силъ, богатствъ, орудій работы, оставленное ему въ наслѣдство, окаменѣло давностью и, укрѣпленное всѣми новыми средствами, ставитъ стѣну, которую до сихъ поръ нельзя взять никакимъ приступомъ. Трудъ съ одной стороны, капиталъ съ дру-

гой, работа съ одной стороны, машина съ другой, голодъ съ одной стороны, штыки съ другой. Сколько соціализмъ ни ходитъ около своего вопроса, у него нѣтъ другаго разрѣшенія, кромѣ лома и ружья. Vivre en travaillant ou mourir en combattant — кричатъ работники. Qui a du plomb a du pain — отвѣчаетъ имъ Бланки.

Мирное рѣшеніе у нихъ было одно, но за то оно не было рѣшеніе. Соціальное меньшинство требовало у законодательнаго собранія *признаніе права на работу*. Подъ нимъ крылось министерство работъ, т. е. разрѣшеніе правительствомъ борьбы между капиталомъ и работой, доходомъ и трудомъ, завѣдываніе государствомъ всѣми производительными силами, иначе—промышленный деспотизмъ, прибавленный ко всѣмъ остальнымъ.

Сверхъ всего такое рѣшеніе могло только водвориться на полномъ устраненіи стараго порядка вещей, на полномъ отреченіи его отъ всѣхъ правъ своихъ. Но онъ вовсе не похожъ на качающійся зубъ, который стоитъ тронуть, чтобъ онъ выпалъ, а скорѣе на слоновый клыкъ, почернѣлый, испорченный, но глубоко вросшій въ челюсть.

Единственная органическая попытка и была сдѣлана—работничьими артелями и товариществами. При томъ общественномъ устройствѣ, въ которомъ капиталъ сверхъ своей силы гнететъ всею силой правительства, они не могли выдержать ни конкурренціи, ни полицейскаго преслѣдованія, — стало и тутъ не было выхода.

Либералы стараго толка, политическіе экономы стараго исповѣданія рѣшили, не безъ внутренняго удовольствія, что задача невозможная, что надобно все предоставить снова знаменитому laissez faire и, улучшая вообще существующія формы, ждать благодѣтельныхъ послѣдствій отъ увеличенія школъ и уменьшенія браковъ, отъ свободы торговли и техническихъ усовершенствованій. Пока они этого ждутъ, девять десятыхъ континента сломились подъ грубымъ солдатскимъ деспотизмомъ, народы раззорены содержаніемъ арміи, тѣнь политическихъ правъ исчезла и послѣдній остатокъ ихъ Франція употребила на то, чтобы противудѣйствовать Наполеону въ его замыслахъ свободной торговли.

За то въ Американскихъ Штатахъ осуществилось все, о чемъ либералы мечтали, да сверхъ того такое развитіе невольническаго труда, его признанія, его оправданія, о которомъ они не мечтали. Съ двадцатыхъ годовъ, когда американцы еще краснѣя говорили объ этомъ наслѣдственномъ злѣ, когда они проводили на своей картѣ рѣзкую черту, чтобъ отдѣлить себя отъ рабовладѣтелей, до нашего времени понятія такъ измѣнились въ пользу рабства, что оно теперь возводится въ одно изъ краеугольныхъ основаній союза, въ одно изъ неотъемлемыхъ правъ республики — и сынъ американца Сѣверныхъ Штатовъ, котораго отецъ убилъ бы всякаго осмѣлившагося охотиться на его землѣ по чернымъ, спокойно вяжетъ ихъ теперь и отдаетъ хозяевамъ на казнь. Рабство только терпимое прежде, сдѣлалось закономъ, основой, на которой по-

коится американская демократія. Въ то время, какъ мы это пишемъ, можетъ быть палачъ вѣшаетъ героевъ Герперсъ-Ферри.

И такъ вотъ къ чему пришелъ весь образованный міръ!...

Представьте же себѣ то удивленіе, которымъ было поражено наше образованное меньшинство, когда оно, обращая съ отчаяніемъ взглядъ свой средь этого кораблекрушенія, въ эту темную ночь, и не находя нигдѣ ни совѣта, ни помощи, ни указанія, ни маяка, увидѣло какой-то тусклый свѣтъ, и этотъ свѣтъ мерцалъ отъ лучины—зажженной въ избѣ русскаго мужика!

...Этотъ дикій, этотъ пьяный въ бараньемъ тулупѣ, въ лаптяхъ, ограбленный, безграмотный, этотъ парій, котораго лучшіе изъ насъ хотѣли изъ милосердія оболванить, а худшіе продавали на свозъ и покупали по счету-головъ, этотъ нѣмой, который въ сто лѣтъ не вымолвилъ ни слова, и теперь молчитъ — будто онъ можетъ что нибудь внести въ тотъ великій споръ, въ тотъ нерѣшенный вопросъ, передъ которымъ остановилась Европа, политическая экономія, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди?

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ онъ внести, кромѣ продымленнаго запаха черной избы и дегтя?

Вотъ подите тутъ и ищите справедливости въ исторіи, мужикъ нашъ вноситъ не только запахъ дегтя, но еще какое-то допотопное понятіе *о правѣ каждаго работника на даровую землю.* Какъ вамъ нравится это? Положимъ, что еще можно допустить *право на работу,* но *право на землю?...*

А между тѣмъ оно у насъ гораздо больше чѣмъ право, оно фактъ; оно больше чѣмъ признано, оно существуетъ. Крестьянинъ на немъ стоитъ, онъ его мѣритъ десятинами и для него его право на землю естественное послѣдствіе *рожденія* и *работы.* Оно такъ-же несомнѣнно въ народномъ сознаніи, такъ-же логически вытекаетъ изъ его понятія родины и необходимости существованія возлѣ отца, какъ право на *воздухъ,* пріобрѣтаемое дыханіемъ, вслѣдъ за отдѣленіемъ отъ матери.

Право каждаго на пожизненное обладаніе землею до того вросло въ понятія народа русскаго, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленнаго въ крѣпость, оно выразилось повидимому безсмысленной поговоркой: *Мы господскіе, а земля наша.*

Само собою разумѣется, что Русь дворянская, согласно съ западнымъ понятіемъ права собственности смотрѣла совсѣмъ иначе на вопросъ о крестьянахъ и землѣ. Наиболѣе образованные, допуская, что рано или поздно крестьяне, когда они окончатъ ихъ воспитаніе (барщиной и оброкомъ), выйдутъ на волю—были увѣрены, что *земля* останется неприкосновенной собственностью воспитателей. Но Александръ Николаевичъ не того мнѣнія, онъ не любитъ слишкомъ дорого платить за воспитаніе, онъ и Зиновьева отблагодарилъ табатеркой во время совершеннолѣтія наслѣдника—а тутъ дай полъ Россіи.

Счастіе, что мужикъ остался при своей нелѣпой поговоркѣ.

Она перешла въ правительственную программу, или лучше сказать въ программу одного человѣка въ правительствѣ, искренно желающаго освобожденія крестьянъ, т. е. государя. Это обстоятельство дало, такъ сказать, законную скрѣпу, государственную санкцію народному понятію.

И это не все. Сверхъ признанія права каждаго на землю, въ народномъ бытѣ нашемъ есть другое начало необходимо пополняющее первое, безъ котораго оно никогда не имѣло бы своего полнаго развитія. Это начало состоитъ въ томъ, что земля, на пользованіе которой каждый имѣетъ право, съ тѣмъ вмѣстѣ не принадлежитъ *никому лично и потомственно.*

Далѣе *право на землю* и *общинное владѣніе* ею предполагаютъ сильное *мірское устройство*, какъ родоначальную базу всего государственнаго зданія, долженствующаго развиться на этихъ началахъ. Мірское управленіе уцѣлѣло подъ гнетомъ иностраннаго правительства и помѣщичьей власти, такъ какъ въ Мореѣ уцѣлѣли коммунальныя и городскія права подъ владычествомъ Османлисовъ. Этотъ характеръ мірскаго управленія русскихъ деревень поразилъ Гакстгаузена, потомъ разныхъ американскихъ путешественниковъ и въ томъ числѣ извѣстнаго экономиста Каррея, который мнѣ самъ говорилъ, возвратясь изъ Россіи въ нынѣшнемъ году, „что въ мірскомъ началѣ нашихъ коммунъ лежитъ великая основа самоуправленія“.

И такъ элементы, вносимые русскимъ крестьянскимъ міромъ— элементы стародавніе, но теперь приходящіе къ сознанію и встрѣчающіеся съ западнымъ стремленіемъ экономическаго переворота, состоятъ изъ трехъ началъ, изъ:

1. *Права каждаго на землю,*
2. *Общиннаго владѣнія ею,*
3. *Мірскаго управленія.*

На этихъ началахъ и *только на нихъ* можетъ развиться будущая Русь.

VI

Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставимъ ее въ ея иконописномъ склепѣ. Не петербургскій періодъ долженъ продолжаться въ своемъ нѣмецкомъ мундирѣ; онъ не можетъ идти далѣе, не измѣнивъ себѣ, его граница обозначена тѣмъ же заборомъ, передъ которымъ остановилась Европа. Онъ намъ далъ широкое поле, сильное государство, онъ привилъ намъ внѣшнюю форму западнаго образованія, какъ прививаютъ оспу, а съ формою перешла само собою и внутренняя мысль его и стремленіе къ личной свободѣ, невыработавшееся въ общинной жизни нашего народа, ни въ служиломъ дворянствѣ нашемъ. Задача новой эпохи, въ которую мы входимъ, состоитъ въ томъ, чтобъ на основаніяхъ науки, сознательно развить элементъ нашего общиннаго самоуправленія до полной свободы лица, минуя тѣ промежуточныя формы, которыми по необходимости шло, плутаясь по

неизвѣстнымъ путямъ, развитіе Запада. Новая жизнь нашэ должна такъ заткать въ одну ткань эти два наслѣдства, чтобъ у свободной личности *земля осталась подъ ногами*, чтобы общинникъ былъ совершенно *свободное лицо*.

Лучшаго времени для внутренняго переворота нельзя найти. Въ началѣ нашего вѣка мы были слишкомъ подъ вліяніемъ западно-либеральныхъ идей, буржуазнаго гарантизма; ни мы, ни правительство не знали народа. Навѣрное тогда были бы сдѣланы страшныя ошибки, которыхъ не поправили бы вѣка; въ то время какъ теперь, настороженные опытомъ сосѣдей, мы должны иначе смотрѣть на свое и на чужое; самъ Западъ повернулъ угасающій фонарь свой на нашъ народный бытъ и бросилъ лучъ на кладъ, лежавшій подъ ногами нашими. Не достаточно счастливой случайности. Пришла и она.

Съ небольшимъ пять мѣтъ тому назадъ Россія лежала безмолвно у ногъ тупаго деспотизма и Яковъ Ростовцевъ спрашивалъ въ Петропавловской крѣпости у Петрашевскаго и его друзей — не было-ли у нихъ *преступныхъ* разговоровъ объ освобожденіи крестьянъ. Теперь царь сталъ во главѣ освобожденія и Іаковъ Ростовцевъ предсѣдатель въ комитетѣ освобожденія.

Не воспользоваться этимъ временемъ, чтобъ тихо, *безкровно* взойти въ новый возрастъ; или сбиться съ дороги, когда она такъ ясна — было бы великое несчастіе и великое преступленіе. Но что же мѣшаетъ?

Сверхъ невѣжества, окружающаго государя и чиновничества основаннаго на плутовствѣ, одинъ врагъ всего опаснѣе.

—Кто?—Войско?

— Нѣтъ. Войско безсмысленно какъ ножъ, въ чьи руки онъ попадетъ, тотъ имъ и рѣжетъ; войско имѣетъ одинъ постоянный характеръ — оно всегда дѣлаетъ вредъ и никогда не разсуждаетъ. Наше войско, я думаю, скорѣе ближе къ народу, чѣмъ другія.

—И такъ, барство?

—У насъ барство не имѣетъ ни нравственныхъ, ни физическихъ силъ. Оно по своему положенію слишкомъ зависимо отъ трона, оно все служилое и выслужившееся, богатства его жалованныя. У насъ нѣтъ торизма, который бы самъ въ себѣ представлялъ и охраняющую партію и реформу, упрямаго лорда Дерби и роднаго сына его лорда Стенли. Большая часть нашихъ аристократовъ люди совершенно недѣловые и неполитическіе, они вносятъ въ общество свое чванство, свои деньги, но никакой идеи. Тѣ же изъ нихъ, которые развились, тѣ оставили за собой многихъ западныхъ аристократовъ, но они не принадлежатъ больше ни къ своей кастѣ и ни къ какой другой, они стали просто людьми. Сверхъ того, *гдѣ* почва гражданской дѣятельности нашего барства —въ англійскомъ клубѣ, въ московскихъ гостинныхъ?... даже домовая церковь князя Сергѣя Михайловича Голицына закрылась. Наши аристократы не умѣли никогда воспользоваться ни дворянскими собраніями, ни дворянскими выборами. Послѣднее полити-

ческое право, которымъ они пользовались con amore, *право сѣчь себѣ подобныхъ* и съ нимъ они бѣдные разстаются теперь!

—Но тогда кто же мѣшаетъ ринуться Россіи впередъ?

—Прислушайтесь.

...Entendez vous dans les campagnes,
Mugir ees feroces Allemands,
Ils viennent...

Вотъ кого мы боимся, опять таки *русскихъ нѣмцевъ* и *нѣмецкихъ русскихъ*; ученыхъ друзей нашихъ, западныхъ доктринеровъ, донашивающихъ старое платье съ плечъ политической экономіи, правовѣденія и пр., централизаторовъ по французски и бюрократовъ по русски. Они дѣльнѣе барства, они честнѣе чиновничества, оттого-то мы и боимся ихъ; они собьютъ съ толку императора, который стоитъ безпомощно, и шаткое, едва складывающееся общественное мнѣніе. Они могутъ ихъ сбить, потому что ихъ воззрѣніе выше общаго уровня нашего образованія и очень доступно среднему пониманію. Ихъ мнѣнія либеральны, они въ пользу разумной свободы и умѣреннаго прогресса, они говорятъ противъ взятокъ, противъ произвола, они хотятъ улучшить *скверное само по себѣ*, и пожалуй заставятъ насъ уважать приказныхъ, полицію, земской судъ: сдѣлавши квартальнаго — Косьмой безсребрянникомъ и оберъ-секретаря—неподкупнымъ Робеспьеромъ. Они примирятъ насъ со всѣмъ тѣмъ, что мы презираемъ и ненавидимъ, и улучшивши — упрочатъ все, что слѣдовало выбросить за окно, что, оставленное въ своей гнустности, само собою выгнило бы, окруженное здоровыми силами народа русскаго.

Къ тому же, завися, какъ католическое духовенство, отъ чужой власти, они должны по стопамъ своихъ учителей питать зубъ противъ всего соціальнаго, а тутъ какъ нарочно на самомъ порогѣ „право на землю, общинное владѣніе". Вотъ почему мы думаемъ, что если они одолѣютъ, они помѣшаютъ взойти тѣмъ всходамъ чисто народнаго устройства, которому стоитъ не мѣшать, чтобъ урожай былъ хорошъ; а улучшенія, которыя они принесутъ намъ, хотя и будутъ улучшенія, но съ ними развѣ можемъ надѣяться, вѣка черезъ полтора, дойти до того состоянія, изъ котораго Пруссія стремится теперь выйти...

Знаемъ мы, что попы и монахи никогда не бываютъ свирѣпѣе, какъ наканунѣ паденія церкви. Іезуиты, эти зуавы св. Петра и всѣ жарившіе, вытягивавшіе у Гугенотовъ жилы, инквизиторы, явились послѣ Лютера и Кальвина. Но тѣмъ не меньше они упрочили и утвердили еще на цѣлые вѣка католическій порядокъ. Трудно своротить русскій народъ съ его родной дороги, онъ упрется, ляжетъ на ней, вростетъ въ землю и притаится спящимъ, мертвымъ. Петровская эпоха лучшее доказательство; но та-же эпоха доказываетъ, какъ на долго можно пріостановить его жизнь и какія страданія можно заставить его вынести однимъ матеріальнымъ гнетомъ, зачѣмъ же подвергать его имъ à propos délibéré.

Петръ I, конвентъ 1793 не несуть на себѣ той отвѣтственности за всѣ ужасы сдѣланные ими, которую хотятъ на нихъ опрокинуть ихъ враги. Они оба были увлечены, хотѣли великаго, хотѣли добра, ломали, что имъ мѣшало, и сверхъ того вѣрили, что это единственный путь. Но не такая отвѣтственность падетъ на наше поколѣніе, искушенное мыслію, когда оно примется ломать, искажать народный бытъ, зная впередъ, что за всякимъ насиліемъ такого рода слѣдуетъ ожесточенное противудѣйствіе, страшные взрывы, страшныя усмиренія, казни, раззореніе, кровь, голодъ.

Мы не западные люди, мы не вѣримъ, что народы не могутъ идти впередъ иначе, какъ по колѣна въ крови, мы преклоняемся съ благоговѣніемъ передъ мучениками, но отъ всего сердца желаемъ, чтобъ ихъ не было.

Еслибъ только наши доктринеры могли *просто* взглянуть на вопросъ, отрѣшаясь отъ магистрскаго диплома, безъ самолюбія, безъ той самонадѣянной гордости, которая даетъ сознаніе, что они хорошо учились, еслибы они какъ Фаустъ, который тоже хорошо учился и много, и назывался не только „магистромъ, но даже докторомъ"—умѣли бы останавливаться въ добросовѣстномъ раздумьи и отъ книги снова бы обращались къ непосредственной жизни, они сейчасъ поняли бы въ чемъ дѣло.

Отчего у естествоиспытателя нѣтъ ничего завѣтнаго передъ природой, къ ней онъ постоянно обращается съ сыновнимъ повиновеніемъ, безъ лукавства, въ ней онъ ищетъ повѣрки, ей онъ жертвуетъ вѣковой теоріей своихъ предшественниковъ и собственной системой, какъ только она требуетъ этого. Неужели смиренное самоотверженіе натуралиста основано единственно на томъ, что у него подъ руками—то камень, то трава, то звѣрь, и потому съ ними не можетъ быть личностей? Природа въ своей фактической безсознательности и безотвѣтственности такъ явно независима отъ человѣка, что онъ съ ней не пикируется, въ то время, какъ міръ людской ему кажется собственнымъ домомъ и его самостоятельную волю онъ принимаетъ за оппозицію и выходитъ изъ себя, особенно когда за него наука вѣковъ, ученая традиція.

Это помѣщичье чувство строптивости особенно развилось у насъ въ петербургскій періодъ, въ эту классическую эпоху насильственныхъ образователей и безпощадныхъ цивилизаторовъ. И тутъ странная смѣсь жалкаго и возмутительнаго. Цивилизаторы очень часто откровенно и благородно стремились къ добру, лелѣяли мысль напримѣръ объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ, готовы были жертвовать частью достоянія, говорили объ этомъ въ то время, когда это было опасно, изучали западное сельское устройство... и вдругъ, когда освобожденіе очью совершается, у крестьянъ открывается готовый бытъ, который они вовсе не хотятъ мѣнять; имъ кажется это неблагодарной дерзостью, и натура русскаго нѣмца беретъ верхъ... Та натура, въ которой такъ и вѣетъ сквозь австрійскаго писаря, прусскаго капрала — татарскимъ баскакомъ; которая, щуря безжизненные глаза и блѣднѣя отъ бѣ-

шенства, говоритъ безъ звука: «Да вы кажется разсуждаете, знаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите?» Или кричитъ раздавленнымъ голосомъ, какъ псковскій городничій, *молчать!* путешественнику только за то, что онъ въ *крестьянскомъ* армякѣ. Вѣдь и русскій-то нѣмецъ цивилизаторъ за то и сердится на нашъ крестьянскій бытъ, что онъ въ своемъ мужицкомъ кафтанѣ не слушается его, одѣтаго по нѣмецки.

Псковскій частный приставъ обиженъ тѣмъ, что человѣкъ, одѣтый по русски, т. е. состоящій внѣ закона, не подавленъ его величіемъ, властью, которую онъ представляетъ, воротникомъ, который онъ носитъ. Доктринеръ скандализованъ тѣмъ, что его экономическая наука, наука Робертовъ Пилей и Гускисоновъ не находитъ безпрекословнаго повиновенія, что ее, разработанную столѣтними усиліями, *хотятъ обратить вспять* къ общинному владѣнію, къ коммунизму въ лаптяхъ. „Помилуйте, говоритъ онъ, что вы суетесь съ вашимъ общиннымъ устройствомъ, какъ съ послѣдней новостью, оно было у германовъ временъ Тацита, общинное владѣніе *соотвѣтствуетъ* младенческому возрасту гражданскихъ обществъ и „разсѣвается отъ лица просвѣщенія, какъ тучи разсѣваются отъ лица солнца“, уступая *высшимъ* гражданскимъ формамъ. „Народы дикіе любятъ общинное владѣніе, народы образованные порядокъ“ и голодъ, добавимъ мы, видя, какъ девять десятыхъ населенія не наѣдаются досыта, для того, чтобъ собственность развивалась правильно.

—„Что же дѣлать, таковъ законъ общественнаго роста, *народы должны* пройти его фазами, каждая имѣетъ свое неудобство, но за то и свой прогрессъ. Сначала дикіе люди владѣютъ сообща, посемейно, родами, потомъ развивается сильнѣе и сильнѣе право личной и наслѣдственной собственности... Конечно было бы хорошо, еслибъ каждому можно было дать клочекъ земли, но такъ какъ на *право собственности* не всѣ приглашены природой, то.....“

Вотъ тутъ-то въ самомъ дѣлѣ намъ становятся пути провидѣнія *неисповѣдимы;* для того, чтобъ нѣсколько государствъ имѣли правильно развитую собственность, огромное большинство должно остаться безъ кола и двора! Библейскимъ языкомъ эдакой законъ прогресса по крайней мѣрѣ называется *проклятіемъ* въ родъ и родъ. Тогда уже знаешь à quoi s'en tenir и не обижаешься, а чувствуешь, что это справедливая месть божья — за какого нибудь Эноха или Іафета, что нибуть напакостившаго шесть тысячъ лѣтъ тому назадъ... А тутъ признай я разумомъ, своимъ собственнымъ разумомъ, что есть такой нелѣпой законъ!

Откуда экономическая наука вывела такой законъ? Она порядкомъ знаетъ только одно экономическое развитіе германо-романскихъ народовъ. Нельзя же по біографіи одного человѣка составлять антропологію, хотя въ ней непремѣнно есть общечеловѣческія стороны, но рядомъ и въ связи съ совершенно частными.

Къ тому же развѣ гражданственность, развѣ собственность въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ развивались нормально, или по крайней

мѣрѣ безпрепятственно. Развѣ общинное владѣніе и весь прежній порядокъ уступили внутреннему развитію, а не огню и мечу завоевателей. Или можетъ феодальная система была крутой экономической мѣрой, эдакимъ цезаревымъ сѣченіемъ, хирургически облегчившимъ нарожденіе правильной собственности?...

Но вѣдь и цезарево сѣченіе не дѣлается изъ подражанія надъ здоровой женщиной, а только по необходимости. Зачѣмъ же народъ, который никогда не былъ побѣжденъ, у котораго не враги отняли землю, а свои какъ-то *отписали ее*, долженъ непремѣнно пройти тѣми же фазами? Если же подражать, то давайте строить крѣпости въ городахъ, на которыя никто кромѣ полиціи не нападаетъ, будемте на ночь улицы запирать цѣпями и рогатками, пусть городской голова не спитъ, а ходитъ рундомъ, гласному бердышъ въ руки,—это будетъ по крайней мѣрѣ забавнѣе; а коли кто спроситъ, что мы дѣлаемъ — мы скажемъ, что проходимъ феодальную фазу развитія городской жизни...

Лѣтъ тридцать тому назадъ Н. А. Полевой заботился же о раскрытіи въ русской исторіи той борьбы двухъ началъ, которая такъ ясно представлена Август. Тьери въ письмѣ его о французской исторіи.

Пора же перестать ребячиться.

Не то важно, что у Кельтовъ, Германовъ, пожалуй у Кафровъ и Готентотовъ *было* общинное владѣніе въ дикомъ состояніи, а то, что у насъ *сохранилось* оно въ государственный періодъ.

А потому въ настоящемъ положеніи дѣлъ серьезно можно поставить только два вопроса:

Есть-ли личное, наслѣдственное, неограниченное владѣніе землею — *единственно возможное* для развитія личной свободы — и въ такомъ случаѣ, какъ спасти большинство населенія, неимѣющаго собственности--отъ рабства собственниковъ и капиталистовъ?

Есть-ли съ другой стороны поглощеніе лица въ общинѣ—*необходимое, неминуемое* послѣдствіе общиннаго землевладѣнія, или оно относится къ неразвитому состоянію народа вообще, и въ такомъ случаѣ какъ соединить полное, правомѣрное развитіе лица съ общиннымъ устройствомъ?

Объ этихъ вопросахъ мы просимъ нашихъ читателей подумать.

Колоколъ № 55
1 Ноября 1859 года.

СИНХЕДРІОНЪ МОСКОВСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ФАРИСЕЕВЪ.

Encore une étoile qui file... file...

Кажется московскій университетъ пережилъ эпоху своей славы. Смерть Грановскаго словно провела черту. Неужели нуженъ былъ гнетъ свирѣпаго николаевскаго пресса для того, чтобъ сплавлять учащихъ и учащихся въ одну семью?

Теперь слишкомъ свободно—и потому профессора, по крайней мѣрѣ ихъ большинство, представляютъ какую-то управу благочинія.

Годъ тому назадъ студенты перестали ходить на лекціи какого-то бездарнаго профессора Варнека; изъ этого университетское начальство раздуло исторію, окончившуюся исключеніемъ десяти студентовъ, и это ужъ конечно не вина ученаго синхедріона, что дѣло не приняло николаевскаго оборота. Мы давно знали эту безобразную исторію, но недавно доставили намъ ея подробности, которыя мы передадимъ вкратцѣ нашимъ читателямъ.

Студенты выбрали депутатомъ г. Жохова, который сказалъ Варнеку отъ лица товарищей: „Г. профессоръ, сегодня мы васъ не слушали и положили впредь не переступать порога той аудиторіи, гдѣ будете преподавать вы. Мы просимъ васъ дать намъ возможность имѣть другаго профессора.“

Университетское начальство, оскорбленное въ своемъ учено-полицейскомъ достоинствѣ, рѣшилось сломить волю крамольныхъ студентовъ — и начало свои дѣйствія *исключеніемъ Жохова*, объявивъ, что онъ исключенъ за неблагонамѣренные стихи, *по высочайшему повелѣнію покойнаго императора*, воля котораго не была до сихъ поръ выполнена, оттого что попечитель Назимовъ протежировалъ Жохову, а попечитель Ковалевскій какъ-то забылъ о немъ!..

Во вторыхъ, оно отобрало отъ студентовъ письменное обязательство посѣщать лекціи Варнека. Здѣсь очень любопытны хитрости и уловки, къ какимъ оно прибѣгало. Такъ напримѣръ инспекторъ требовалъ къ себѣ медиковъ въ 11 и 12 часовъ ночи, небольшими партіями, чтобы предупредить возможность стачки между ними; потомъ, также, разумѣется, не безъ задней мысли, онъ началъ подписку съ казеннокоштныхъ, которымъ приходилось выбирать одно изъ двухъ: согласиться, или идти въ фельдшера. Наконецъ необходимыя приготовленія были исполнены и 19 числа деканъ вывѣсилъ объявленіе, что завтра въ такомъ-то часу г-нъ Варнекъ будетъ читать въ анатомическомъ амфитеатрѣ. За долго передъ началомъ лекціи студенты уже толпились въ корридорѣ смежномъ съ амфитеатромъ. Въ половинѣ двѣнадцатаго стало появляться университетское чиновничество. Наконецъ пріѣхалъ и самъ попечитель Бахметевъ. Онъ раскланялся очень вѣжливо съ студентами и обратился къ нимъ съ такою рѣчью: „Господа, мы можемъ войти, пора!“ Эта фраза была произнесена имъ такимъ ровнымъ, ласковымъ голосомъ, какъ будто ему вовсе ничего не извѣстно о составившейся оппозиціи. „Не пойдемъ!“ загудѣла толпа.—„Но, господа, вспомните, вы дали честное слово инспектору.“ — „Изъ подъ палки... намъ грозили.“ — „Такъ вы положительно не хотите?“ — „Нѣтъ! нѣтъ!“ — „О! въ такомъ случаѣ прошу не пенять на меня. Я поступлю, какъ требуетъ *моя совѣсть*. Г. Ректоръ, потрудитесь назначить коммиссію для разбора этого страннаго дѣла. Каковъ бы ни былъ ея приговоръ, я не за-

думаюсь подписать его, если онъ будетъ *справедливъ*." Попечитель опять раскланялся съ студентами по прежнему вѣжливо и уѣхалъ, даже не повидавшись съ Варнекомъ.

Въ 7 ч. вечера нѣсколько человѣкъ медиковъ перваго курса позвали въ правленіе, гдѣ они уже застали Альфонскаго, Баршева, Лешкова, Крылова, а Армфельдъ уѣхалъ, не дождавшись, пока соберутся студенты, какъ носились слухи, разсорившись съ прочими членами за ихъ слишкомъ *честныя* намѣренія!..

Подсудимыхъ ввели въ залу и еще разъ пытались уговорить ихъ. „Отчего вы отказываетесь ходить къ Варнеку?" — „Оттого, что онъ дурно читаетъ."—„Кто вамъ сказалъ, что онъ дурно читаетъ? Откуда въ два мѣсяца вы набрались столько знаній, что беретесь судить профессора, человѣка ученаго. Вы молоды и легко можете ошибаться."—„Да не мы одни такого мнѣнія о его чтеніяхъ."—„Кто же еще?"—„Весь медицинскій факультетъ." —„Слышите, весь медицинскій факультетъ,—восклицаетъ Баршевъ, профессоръ уголовнаго права—стало быть у васъ заговоръ!"—„Попечитель изъ состраданія къ вашей молодости, продолжаетъ президентъ, хочетъ кончить эту исторію домашнимъ образомъ. Согласитесь слушать Варнека и васъ оставятъ въ покоѣ, никто не будетъ наказанъ. Подумайте хорошенько, упрямство, право, безполезно и даже опасно."

Студенты подумали и повторили, что слушать Варнека не станутъ. Ихъ отпустили. 23 числа медиковъ перваго курса потребовали въ минералогическій залъ, роздали имъ писанные вопросы и объявили, что никого *не выпустятъ* отсюда до тѣхъ поръ, пока онъ не дастъ отвѣтовъ на все. Студенты, чувствуя себя правыми, отвѣчали прямо и рѣзко, не справляясь съ полнымъ собраніемъ законовъ. Этого было довольно; члены ухватились за необдуманно жесткія фразы и на основаніи большей или меньшей ихъ рѣзкости раздѣлили подсудимыхъ на категоріи и передали дѣло на окончательное рѣшеніе въ академическій совѣтъ. Такимъ образомъ подверглись самому тяжелому наказанію нѣкоторыя личности, вовсе не участвовавшія въ послѣднихъ происшествіяхъ, *единственно за свои либеральныя мнѣнія!*

«Но прежде нежели скажу что нибудь о рѣшеніи университетскаго суда, говоритъ корреспондентъ, я остановлюсь на любопытномъ эпизодѣ, очень вѣрно характеризирующемъ *дружескія* отношенія профессоровъ къ студентамъ. Еслибы я назвалъ тѣхъ и другихъ двумя враждебными лагерями, то, право, не заслужилъ бы упрековъ отъ моихъ товарищей въ преувеличеніи...

Студентъ Кляузъ, испортивши во время допроса свой листъ, обратился къ секретарю съ просьбою, чтобы ему выдали новый. „Не давайте, вмѣшался Баршевъ, онъ сейчасъ выходилъ въ корридоръ къ товарищамъ и они велѣли ему сдѣлать ложныя показанія." — „Г. профессоръ, будьте осторожнѣе въ вашихъ обвиненіяхъ." — „Ну да, закричалъ Баршевъ, вы станете еще оправдываться."—„Я не оправдываюсь, а просто говорю, что вы лжете."

—„Арестуйте его“, приказалъ взбѣленившійся членъ инспектору. —„Это дѣйствительно не онъ выходилъ“, замѣтилъ Ильинскій. — „Въ такомъ случаѣ извините меня, г-нъ Кляузъ“, пробормоталъ сконфуженный профессоръ.

Тѣмъ, казалось, и долженъ былъ кончиться забавный анекдотъ; но. къ сожалѣнію, у насъ уже давно ничего не дѣлается такъ, какъ бы слѣдовало. На другой день *Кляузъ былъ исключенъ*. По чьей жалобѣ, кто исключилъ,— этого и теперь никто хорошенько не знаетъ: Баршевъ не жаловался, коммиссія и не подозрѣваетъ о наказаніи Кляуза! Не правда ли, поступокъ вполнѣ достойный защитниковъ устности и гласности въ судопроизводствѣ, за какихъ выдаютъ себя наши *мужи науки?*»

28-го собрался академическій совѣтъ, 29 на немъ предсѣдательствовалъ министръ Ковалевскій, 4 декабря было читано въ аудиторіяхъ рѣшеніе знаменитаго судилища, вотъ оно: „10 человѣкъ исключаются *съ дурнымъ поведеніемъ*, около 100 съ правомъ поступить черезъ годъ.“

Потомъ послѣдней категоріи позволили покаяться и предложили форму прошенія: „Я, нижепоименованный, обязуюсь впредь безусловно повиноваться всѣмъ распоряженіямъ начальства.“ И изо 100 человѣкъ только три отказались отъ позорнаго помилованія. Въ тотъ же день отъ имени министра студентамъ строжайше запрещено было собираться *толпами*, говорить рѣчи и пр. въ университетскомъ садикѣ и въ аудиторіяхъ.

Что же дѣлали въ это время студенты другихъ факультетовъ? А пуще всего что же дѣлали молодые профессора, доценты.... интересно бы имѣть списокъ поданныхъ мнѣній.

Вотъ опредѣленіе Университетскаго Совѣта. Этотъ документъ не долженъ исчезнуть въ университетскомъ архивѣ.

„Присутствію Совѣта доложена была записка коммиссіи по дѣлу о безпорядкахъ, произведенныхъ студентами медицинскаго факультета 1-го курса. Коммиссія объясняетъ, что поступокъ студентовъ 1-га курса медицинскаго факультета заключаетъ въ себѣ оскорбленіе дѣломъ профессора Варнека, при исполненіи имъ обязанностей его званія и состоитъ въ самовольномъ выходѣ изъ аудиторіи при началѣ лекціи г. профессора и въ формальномъ отказѣ отъ посѣщенія его лекцій. Проступокъ студентовъ отягчается:

„1) Повтореніемъ и 2) открытымъ сопротивленіемъ распоряженіямъ начальства скопомъ. Но есть въ дѣлѣ и обстоятельства уменьшающія вину студентовъ: 1, разные неблаговидные поступки г. профессора при чтеніи лекцій и въ обращеніи его съ гг. студентами, (основано на показаніяхъ гг. студентовъ, но еще должно быть доказано, если будетъ признано нужнымъ). 2, примѣръ такого же оскорбленія профессора въ филологическомъ факультетѣ студентами, который остался безъ всякаго наказанія, но не оставшійся безъ вліянія на другихъ студентовъ, какъ и должно

было ожидать (на этотъ примѣръ именно указываютъ въ своихъ отвѣтахъ, какъ на одну изъ побудительныхъ причинъ своего дѣйствованія нѣкоторые изъ студентовъ медицинскаго факультета 1-го курса). 3, молодость, къ сожалѣнію, во многихъ крайняя незрѣлость сужденія и свойственная молодымъ людямъ воспріимчивость ко всѣмъ хорошимъ и дурнымъ впечатлѣніямъ и вліяніямъ, отчасти также и 4, незнаніе университетскихъ постановленій. Но и при уменьшающихъ обстоятельствахъ вину студентовъ, проступокъ ихъ такъ важенъ, что, кромѣ нѣкоторыхъ немногихъ, всѣхъ виновныхъ въ немъ слѣдовало бы наказать самымъ высшимъ университетскимъ наказаніемъ: исключеніемъ изъ Университета; но не желая подвергать одинаковому наказанію менѣе виновныхъ съ болѣе виновными, слѣдственная коммиссія находитъ возможнымъ на основаніи отвѣтовъ, данныхъ гг. студентами на предложенные имъ вопросные пункты, раздѣлить ихъ на 4 разряда: 1-ый разрядъ, къ нему принадлежатъ тѣ изъ виновныхъ, которые высказываютъ въ данныхъ имъ отвѣтахъ полное одобреніе случившагося и прямо отказываются отъ повиновенія начальству, когда его распоряженія не согласны съ ихъ личнымъ убѣжденіемъ; сюда относятся поименованные въ запискѣ 14 человѣкъ. 2-ой разрядъ, къ нему принадлежатъ тѣ, которые признаютъ лишь совершенный ими проступокъ справедливымъ, но не отказываются вообще отъ повиновенія начальству, когда ихъ убѣжденія будутъ расходиться съ его убѣжденіями, или по крайней мѣрѣ не выражаютъ такъ дерзко, какъ первые, свое отреченіе отъ повиновенія въ подобныхъ случаяхъ; сюда относятся поименованные въ запискѣ 86 человѣкъ. 3-ій разрядъ, къ нему принадлежатъ участвовавшіе страдательно, или по увлеченію, или по незнанію, сюда относятся поименованные въ запискѣ 50 человѣкъ. 4-й *разрядъ: къ сему принадлежатъ совершенно неучаствовавшіе 17 человѣкъ. Наконецъ, не явившіеся къ слѣдствію по болѣзни и находящіеся въ отпуску, которыхъ числомъ 18 человѣкъ;* за тѣмъ остаются еще нѣкоторые неспрошенные студенты, неявившіеся къ допросу по неизвѣстнымъ причинамъ, за что и подлежатъ отвѣтственности, какъ виновные въ новомъ неповиновеніи, а именно 50 человѣкъ. Члены совѣта, по разсмотрѣніи вышеизложенныхъ разрядовъ, на которые коммиссія раздѣлила участвовавшихъ въ безпорядкахъ студентовъ и по обсужденіи сихъ разрядовъ, по ихъ письменнымъ показаніямъ, признали болѣе справедливымъ и сообразнымъ съ цѣлію — измѣнить ихъ такимъ образомъ: 1-ое, отъ наказанія освободить студентовъ 4-ой категоріи и тѣхъ изъ остальныхъ студентовъ 1-го курса, которые докажутъ, что были больны или находились въ отсутствіи изъ Москвы въ дни 30 Октября, 1 и 20 Ноября, когда были совершены проступки, и 23 Ноября, когда всѣ студенты 1-го курса медицинскаго факультета были вызываемы для отвѣтовъ первой категоріи, которые остались вторично на первомъ курсѣ медицинскаго факультета или перешли на оный, пробывъ уже одинъ годъ въ другихъ факультетахъ Московскаго Университета, признать не заслужива-

ющими снисхожденія и уволить изъ Университета безъ подачи ими о томъ прошенія. 3, остальныхъ студентовъ первой категоріи и тѣхъ студентовъ второй категоріи, которые остались вторично на первомъ курсѣ медицинскаго факультета или перешли на оный, пробывъ уже одинъ годъ на другихъ факультетахъ Московскаго Университета, признать заслуживающими наименьшей степени снисхожденія и уволить изъ Университета, представивъ имъ самимъ подать объ этомъ прошеніе. 4, изъ числа не явившихся къ отвѣту признать также заслуживающими наименьшей степени снисхожденія и уволить изъ Университета на томъ же основаніи, т. е. съ подачею о томъ просьбы, тѣхъ, которые остались вторично на 1-мъ курсѣ медицинскаго факультета, или перешли на оный, пробывъ уже одинъ годъ на другихъ факультетахъ Московскаго Университета. 5, студентовъ 1-го курса медицинскаго факультета, не подходящихъ ни подъ одинъ изъ вышеописанныхъ разрядовъ, подвергнуть слѣдующему наказанію: въ аттестатѣ за поведеніе они получаютъ отмѣтку *неудовлетворительно*, въ слѣдствіе чего они лишаются права перейти по истеченіи сего академическаго года на второй курсъ, но для ободренія лучшихъ изъ нихъ просить г. попечителя московскаго учебнаго округа о дозволеніи освободить отъ дѣйствія этой отмѣтки тѣхъ студентовъ, которые на переводномъ экзаменѣ получатъ въ среднемъ выводѣ не менѣе 4 баловъ и которыхъ инспекція засвидѣтельствуетъ, что они во все остальное время академическаго года не позволяли себѣ никакихъ противозаконныхъ поступковъ. Хотя всѣ таковыя подраздѣленія приняты были большинствомъ голосовъ, однако относительно послѣдняго разряда студентовъ многіе изъ членовъ совѣта, какъ справедливую мѣру наказанія за ихъ проступокъ, предлагали переименовать ихъ въ вольные слушатели, съ возложеніемъ на нихъ соединенныхъ съ симъ званіемъ обязанностей по уставу. Далѣе, какъ изъ обстоятельствъ разсматриваемаго дѣла видно, что между причинами безпорядковъ, произведенныхъ студентами, одною изъ важныхъ оказывается существующій недостатокъ инспекторскаго надзора, то члены совѣта единогласно положили представить объ этомъ университетскому начальнику съ цѣлію содѣйствовать инспекціи къ возвращенію утраченнаго ею нравственнаго вліянія на студентовъ. Наконецъ между причинами происшедшихъ безпорядковъ, по общему показанію студентовъ, обнаруживается неудовлетворительность преподаванія исправляющаго должность экстраорд. профессора Варнека, то совѣтъ университета на основаніи ст. 84 Устава, поручилъ это обстоятельство особому разсмотрѣнію физико-математическаго и медицинскаго факультетовъ съ тѣмъ, чтобы о результатахъ сего разсмотрѣнія было донесено безъотлагательно совѣту. Члены совѣта, ординарные профессоры *Калиновскій* и *Гитарра* уклонились отъ подачи голосовъ при обсужденіи мѣры наказаній виновныхъ студентовъ подъ тѣмъ предлогомъ, что назначеніе такого наказанія не требуется отъ университетскаго совѣта предложеніемъ г. попечителя московскаго учебнаго округа

отъ 20 сего Ноября, коимъ предписано только изслѣдовать причины безпорядковъ.

Опредѣлено: съ приложеніемъ именнаго списка студентовъ 1-го курса медицинскаго факультета съ обозначеніемъ, кто изъ нихъ къ какому изъ вышеозначенныхъ разрядовъ относится, донести о настоящихъ распоряженіяхъ совѣта г. попечителю московскаго учебнаго округа."

Что эти книжники—фарисеи или іезуиты?

—

Въ заключеніе мы обращаемся дружески и братски къ русскому юношеству съ совѣтомъ, или вѣрнѣе съ горячей просьбой.

Мы нисколько не обинуясь обвиняемъ военно-судныя наклонности московскаго профессорскаго аудиторіата. Въ нашемъ сочувствіи вамъ сомнѣваться грѣшно. Вся наша жизнь, всѣ ея отдѣльныя событія могутъ служить свидѣтельствомъ, что еслибъ даже мы были вознесены судьбою на мѣста Баршевыхъ и Крыловыхъ, то и тогда остались бы вѣрны нашимъ убѣжденіямъ, а потому съ чистой совѣстью и съ откровенностью любви, мы рѣшаемся умолять васъ *быть осторожными*, вы можете погубить не только себя, но гораздо больше.

Россія обязываетъ васъ къ этой жертвѣ. Есть стадіи развитія организма, требующія болѣе строгой гигіены. Россія именно теперь находится въ такомъ состояніи. Ничто старое не вырвано съ корнемъ, ничто новое не пустило еще корни. Опереться не на что. Внѣ благородныхъ инстинктовъ государя съ одной стороны и части общества съ другой, внѣ удвоенной умственной дѣятельности и того трепетнаго ожиданія, которое предваряетъ великое будущее — *ничего нѣтъ*, ничто не обезпечено! Не давайте же повода, чтобъ снова спустила на васъ присмирѣвшихъ андреевскихъ шакаловъ и дѣйствительныхъ тайныхъ палачей. Память Новосильцевыхъ и Пелика новъ не за горами и пятилѣтніе всходы не такъ сильны, чтобъ противустоять реакціи.

Возлѣ васъ великій примѣръ, взгляните на тихій океанъ крестьянскаго міра, ожидающаго въ величавомъ покоѣ уничтоженія позорнаго рабства. Какъ были бы рады плантаторы-помѣщики, еслибъ они могли вызвать бурю.

Силы ваши—силы Россіи, берегите ихъ для нея; не тратьте ихъ по пустому, намъ столько дѣла впереди, столько борьбы!

Колоколъ №№ 57 и 58.
1 Декабря 1859 года.

„PAS DE REVERIS!" ВЕДУЩЕЕ КЪ FAUX PAS!

Право лучше было бы государю сидѣть въ Петербургѣ, ѣздить на охоту, ѣздить въ Царское село, пожалуй въ самое большое изъ нихъ — въ Москву, а не „обтекать яко солнце своего государства." Югозападъ рѣшительно слишкомъ раздражителенъ сѣвер-

нымъ нервамъ. У насъ передъ глазами съ десятокъ газетъ и еще больше писемъ, описывающихъ послѣднее путешествіе. Досадно читать.

Въ Каменцѣ-Подольскомъ дворяне подаютъ адресъ, просятъ вздоръ, какихъ-то новыхъ *свободъ* католическому *рабству*, просятъ и дѣло — возвращеніе польскаго языка, выборовъ. За все за это не за что сердиться, все это не похоже на бунтъ. Но государь разобидѣлъ дворянъ, говоритъ, что онъ не любитъ такія *замашки*. Для чего это? Онъ обижается, не можетъ вынести, что его никто не принимаетъ за злаго человѣка. Странное самолюбіе!

Отецъ Фридриха II совсѣмъ напротивъ, до того ненавидѣлъ, что его боялись, что встрѣтивъ разъ гуляя въ Потсдамѣ евреевъ, спрятавшихся отъ него за дерево, онъ бросился на нихъ съ своей державной палкой. — „Зачѣмъ, бестіи, спрятались?" Несчастные евреи просили прощенія и говорили, что спрятались отъ испуга. — „Такъ вы боитесь меня? — Хорошо", сказалъ Фридрихъ Вильгельмъ, и принялся имъ отпускать палочные удары, приговаривая — „любить, разбойники, любить должны вы меня, а не бояться! "Какіе у царей бываютъ разные вкусы, только жаль, что средства почти одинакія.

Въ Варшавѣ евреевъ, хотѣвшихъ видѣть государя, заперли гдѣ-то обманомъ. А тѣ просто ничего не хотѣли просить, а желали только поблагодарить его. Скажутъ, что государь въ этомъ не виноватъ. Нѣтъ, виноватъ, — зачѣмъ герой великой ретирады, не ретируется изъ Варшавы, зачѣмъ присутствіемъ Муханова въ польскомъ министерствѣ продолжается николаевская обида благородному польскому народу.

Въ Харьковѣ — спичъ къ студентамъ. Послѣ извѣстной харьковской исторіи, въ которой Зиновьевъ-*братъ* погубилъ нѣсколько молодыхъ людей, двое студентовъ, зная въ какомъ искаженномъ видѣ дѣло было представлено, написали къ государю письма, разумѣется не подписавшись, и послали ихъ по почтѣ. Недоглядѣла-ли тайная полиція, или нарочно отдала, но письма дошли. И вотъ Александръ Николаевичъ говоритъ въ своемъ спичѣ: „Подло скрывать свое имя, всякій кто правъ, можетъ открыто искать справедливости; прежде я былъ доволенъ студентами, а теперь нѣтъ; попечитель и профессора должны будутъ отвѣчать мнѣ за поведеніе студентовъ."

Слышите, „всякій кто правъ"! Это мнѣ напомнило ужь не курфирста брандебургскаго, а 1794 годъ, именно какъ Дантонъ въ послѣднее свиданіе съ Робеспьеромъ требовалъ ограниченія революціоннаго суда, говоря, что правый и виноватый его трепещутъ... Робеспьеръ перебилъ его словами: — „Развѣ хоть одинъ правый былъ обвиненъ?" — Дантонъ раскрылъ ротъ, этого онъ никакъ не ожидалъ!

Въ заключеніе государь сдѣлалъ замѣчаніе о „необходимости соблюденія университетской формы." Въ одесскомъ Лицеѣ онъ замѣтилъ неодонобразность воротниковъ, потомъ безобразность во-

ротничковъ, выставленныхъ однимъ офицеромъ. Въ Харьковѣ, Кіевѣ тоже. Не хорошо, право не хорошо! Бывало отъ Николая, Михаила Павловича и не ждешь ничего другаго. — Экъ эта фельдфебельская немочь какъ взошла въ кровь нашей царской фамиліи; болѣзнь эта не русская, а пришла къ намъ, какъ красные тараканы, изъ Пруссіи. Хоть бы новое-то поколѣніе спасти.

Вотъ графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгоновъ подумалъ бы теперь, какъ исцѣлить отъ нѣмецкой болѣзни наслѣдника и другихъ великихъ князей. Нельзя-ли имъ какъ нибудь маленькимъ прививать — пуговку или выпушку, чтобъ припадки были слабѣе у взрослыхъ. А на счетъ бороды это еще легче, можно камеръ-лакеямъ, камеръ-герамъ, или другой прислугѣ привязывать раза два въ недѣлю бороду и водить мимо дѣтей — глазъ привыкнетъ.

Сверхъ оскорбительной грубости подобныхъ замѣчаній о формѣ, они могутъ имѣть и другое неудобство, какъ бы сосредоточивая свои силы и вниманіе на пустомъ, не пропустить сквозь пальцы — исторію.

Метернихъ, взойдя разъ съ докладомъ къ австрійскому императору, нынѣ уволенному отъ дѣлъ, засталъ его съ величайшимъ вниманіемъ углубленнаго въ тетрадь. Удивленный министръ остановился въ дверяхъ, мертвая тишина продолжалась. Вдругъ императоръ поспѣшно захлопнулъ тетрадь и съ восторгомъ сказалъ Метерниху: „Beide auf ein mohl!“ Онъ дѣйствительно очень удачно поймалъ листами двѣ мухи, прогуливавшіяся по тетради. Жаль только, что Австрію упустилъ!....

Колоколъ № 59.
15 Декабря 1859 года.

ПРАВИЛА
ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Эту подлую, іезуитскую, полицейскую мерзость прочли мы съ глубокимъ, глубокимъ горемъ. Мы привыкли съ юности къ любви, къ уваженію нашего университета и царскосельскаго лицея. При имени московскаго университета бьется наше сердце, и вдругъ видѣть его опозореннымъ какими-то пошлецами, сидящими въ его совѣтѣ.

Они свои приказанія выставляютъ въ видѣ объявленія при входѣ въ аудиторію. Мы ихъ „правила“ выставляемъ у позорнаго столба...

А. *Общія постановленія.*

1. Студентомъ московскаго университета признается только тотъ, кто имѣетъ отъ университетскаго начальства установленную Табель.

2. Какъ гражданинъ и вѣрноподданный, студентъ долженъ повиноваться безпрекословно всѣмъ общимъ гражданскимъ постано-

вленіямъ и не имѣетъ права, какъ и всѣ прочіе подданные, отговариваться незнаніемъ закона.[1])

3. Кромѣ общихъ гражданскихъ законовъ, студентъ обязанъ соблюдать и безпрекословно исполнять постановленія университетскаго начальства, которыя ему и излагаются въ этихъ правилахъ для руководства.

Б. *Обязанности студентовъ.*

§ 1. Казенные и своекоштные студенты, православнаго и другихъ христіанскихъ исповѣданій, должны говѣть и пріобщаться св. Таинъ ежегодно, и объ исполненіи этой важнѣйшей обязанности представлять своевременно инспектору законныя письменныя свидѣтельства.[2])

§ 2. Студенты обязаны посѣщать лекціи всѣхъ предметовъ, которые показаны у нихъ въ Табели.[3])

§ 3. Студенты должны заблаговременно[4]) собираться въ аудиторіяхъ, въ которыхъ назначено по росписанію чтеніе лекцій, и ожидать въ нихъ профессора; не производить сборишъ, не говорить рѣчей, *могущихъ* нарушить порядокъ и тишину, которые должны быть соблюдаемы постоянно.

§ 4. Во время лекцій студенты должны сохранять глубокое молчаніе; не должны позволять себѣ входить въ аудиторію, когда уже профессоръ началъ чтеніе, или же выходить изъ нея безъ крайней необходимости;[5]) не должны подниматься съ своихъ мѣстъ, послышавъ звонокъ, когда еще профессоръ не окончилъ чтенія; студенты другихъ курсовъ не должны отворять двери и входить въ аудиторію, когда еще профессоръ не окончилъ чтенія.

§ 5. Студенты не должны позволять себѣ никакихъ выраженій одобренія, или неодобренія, относительно профессорскаго чтенія.[6])

§ 6. Въ случаѣ *законныхъ* своихъ желаній должны обращаться съ просьбами къ декану, ректору, попечителю.

§ 7. Непремѣнно должны быть въ назначенное время на годичныхъ экзаменахъ; законною причиною неявки считается болѣзнь,

---

[1]) Одно только положеніе изъ Свода Законовъ почерпнулъ ученый совѣтъ, и именно самое недобросовѣстное изъ всѣхъ.

[2]) А что же должны дѣлать студенты изъ мусульманъ и евреевъ?

[3]) А Табель дается насильно или нѣтъ? Учащійся воленъ или неволенъ выбирать предметы для изученія и профессоровъ? Ученый совѣтъ хочетъ убить всякую самобытность, дресировать въ науку такъ какъ дресируютъ собакъ, такъ какъ при Николаѣ воспитывали кадетъ.

[4]) Школьно и недостойно университета.

[5]) Считается-ли большая или малаян нужда — крайней необходимостью? Физіологія насъ учитъ, что малая-то нужда и есть большая?

[6]) Очевидно сдѣлано въ пользу дураковъ, скверно читающихъ лекціи.

о которой своевременно было донесено и дѣйствительность которой засвидѣтельствована подписью студенческаго врача.[7]) Неявившіеся къ экзаменамъ по законной причинѣ могутъ быть допускаемы къ нимъ въ августѣ мѣсяцѣ, но не иначе какъ по всѣмъ предметамъ своего курса; неявившіеся безъ законной причины, къ новымъ испытаніямъ не допускаются и считаются не выдержавшими экзамена.

§ 8. Для перевода на высшіе курсы студентъ долженъ имѣть въ общемъ выводѣ баловъ по *всѣмъ предметамъ курса* не менѣе 3-хъ. при томъ въ *факультетскихъ предметахъ*[8]), по крайней мѣрѣ $3^1/_2$. а въ каждомъ не менѣе двухъ. Для полученія званія дѣйствительнаго студента, по всѣмъ спеціальнымъ предметамъ требуется общій балъ $3^1/_2$, а для степени кандидата $4^1/_2$.

§ 9. Студенты, начиная со втораго курса, заслуживающіе вниманіе начальства по своимъ отличнымъ успѣхамъ и *доброй нравственности*,[9]) сообразно утвержденнымъ постановленіямъ, могутъ быть приняты на казенное содержаніе, получать положенныя благотворительныя стипендіи и единовременныя пособія: просьбы объ этомъ должны быть подаваемы студентами деканамъ факультетовъ

§ 10. Для пользованія книгами университетской и студенческой библіотекъ студенты должны обращаться къ инспектору съ просьбой о выдачѣ особо заведенныхъ для сего печатныхъ листовъ, по которымъ производится для нихъ выдача книгъ библіотекаремъ.[10])

§ 11. Каждый своекоштный студентъ, за право слушанія лекцій, обязанъ вносить ежегодно по пятидесяти р. с. Сроки для вноса полугодовой платы назначаются: 1-го января и 1-го іюля, и считая съ этихъ чиселъ, платежъ производится всегда за полгода впередъ, хотя бы представившій плату поступилъ и не въ началѣ полугодія. Вновь поступающій представляетъ полугодовую плату при самомъ пріемѣ, а прочіе не позже, какъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, считая отъ начала полугодія. Невнесшіе своевременно платы увольняются изъ университета съ обозначеніемъ въ выдаваемыхъ имъ свидѣтельствахъ причины увольненія. На основаніи утвержденныхъ правилъ, плата можетъ быть уменьше-

---

[7]) А если у студента мать умирала въ деревнѣ, куда студенческій в ачъ не достигаетъ?... Отцы семейства не домекнулись.

[8]) Стало быть для перевода на другой курсъ студента филологіи—нужно имѣть 3 бала изъ математики? Или что такое? Какая разница между *всѣми* предметами курса и *факультетскими*? Ученый совѣтъ даже не можетъ логически и грамотно объясниться.

[9]) Доброй нравственности, съ какой точки зрѣнія? — Съ точки зрѣнія Никиты Крылова или Тимашева?

[10]) Во всей Европѣ, гдѣ есть библіотека при университетѣ, тамъ библіотекарь студентамъ даетъ книги, —для чего эти затрудненія, что за печатные листы, визы инспектора?

на въ половину, или вовсе не взиматься, только съ разрѣшенія попечителя московскаго учебнаго округа.[11])

§ 12). Подъ опасеніемъ взысканія, предписывается студентамъ соблюдать установленную форму.[12])

§ 13. При встрѣчѣ съ особами императорской фамиліи студенты должны отдавать честь, становясь во фронтъ и прикладывая правую руку къ шляпѣ [13]).

§ 14. Сохраняя честь носимаго мундира, студенты должны всегда и вездѣ служить образцомъ *благородства* и *вѣжливости*, строго соблюдать правила порядка и оказывать должное уваженіе къ *мѣсту* и лицамъ [14]).

§ 15. Всѣ приказанія и распоряженія начальства, касающіяся до студентовъ, выставляются въ видѣ объявленій при входѣ въ аудиторію. Каждый студентъ обязанъ знать объявленія и, въ случаѣ неисполненія отданныхъ въ нихъ *приказаній*, не можетъ оправдываться незнаніемъ [15]).

§ 16. При полученіи билетовъ на свободное жительство въ Москвѣ и отпускныхъ въ другіе города, студентъ обязанъ записать въ особую книгу мѣсто своего жительства и, въ случаѣ перемѣны, немедленно увѣдомить объ этомъ канцелярію инспектора.

§ 17. Въ аудиторіяхъ, клиникахъ, кабинетахъ и вообще въ университетскихъ зданіяхъ студенты подчиняются университетской полиціи [16]).

§ 18. По положенію комитета гг. министровъ, высочайше утвержденному, студенты внѣ университетскихъ зданій пользуются правами наравнѣ съ прочими гражданами и подчиняются полицейскимъ установленіямъ и надзору полиціи на общемъ основаніи.

---

[11]) Эти гнусныя распоряженія принадлежатъ ко времени николаевскаго гоненія. Тутъ важны не деньги, но затрудненіе и затрудненіе, дѣлаемое именно бѣднымъ; тутъ лицемѣріе, безнравственность и варварство спорятъ другъ съ другомъ.

[12]) Надѣть бы уже разомъ на студентовъ голубой мундиръ и сдѣлать Липранди попечителемъ. Оно было бы подло, но откровенно.

[13]) Лучше шляпу къ правой рукѣ!

[14]) Экой вздоръ, экая галиматья!

[15]) Отданныхъ приказаній! Макъ-Магонъ, Бурбаки, да и только. Такъ я и вижу Аркадія Алексѣевича маршаломъ и Никиту Крылова флигель-адъютантомъ, несущимся на конѣ *отдавать приказанія* университетскоу сторожу.

[16]) Что такое за полиція? Это нововведеніе, не бывшее даже при Николаѣ. Инспекторъ студентовъ до сихъ не считалъ еще себя ни квартальнымъ, ни будочникомъ; теперь ни одинъ порядочный человѣкъ не пойдетъ въ инспекторы студентовъ. О Платонъ Степанычъ Нахимовъ! Хорошо, благородный человѣкъ, что вы умерли; теперь пришлось бы вамъ съ глубокой скорбью идти въ отставку, чтобъ не сдѣлаться жандармомъ.

Въ случаѣ задержанія студентовъ за преступленія или проступки, подлежащіе судебному разсмотрѣнію, полиція немедленно увѣдомляетъ о томъ университетское начальство, для командированія къ слѣдствію депутата отъ университета.

§ 19. Въ университетскихъ зданіяхъ и на дворахъ ихъ студентамъ курить не позволяется [17]).

§ 20. Студентъ обязанъ имѣть постоянно при себѣ Табель и предъявлять по требованію инспекціи или мѣстной полиціи [18]).

§ 21. Въ собственныхъ частныхъ дѣлахъ студенты могутъ обращаться за совѣтомъ къ лицамъ, принадлежащимъ университету [19]).

В. *Отвѣтственность студентовъ за проступки.*

§ 22. Какъ за несоблюденіе общихъ гражданскихъ постановленій, студенты подлежатъ наравнѣ съ прочими гражданами общему гражданскому суду, такъ и за несоблюденіе университетскихъ постановленій судятся университетскимъ начальствомъ.

§ 23. Проступки студентовъ состоятъ или въ нарушеніи внѣшняго порядка и правилъ благоприличія и подчиненности, или въ открыто безнравственныхъ дѣйствіяхъ, не соотвѣтственныхъ ни съ понятіями собственнаго достоинства, ни съ понятіями чести.

§ 24, Къ первому роду относятся:

1. Несоблюденіе установленной формы.

2. Необъясненіе инспектору о мѣстѣ жительства, квартированіе въ неприличныхъ и подозрительныхъ мѣстахъ[20]) и самовольныя отлучки изъ города.

3. Ослушаніе университетской полиціи.

4. Несоблюденіе правилъ приличія въ аудиторіяхъ.

Виновные въ этихъ проступкахъ подвергаются: въ 1-й разъ — замѣчанію со стороны инспекціи, въ 2-й разъ — выговору въ присутствіи правленія, и въ 3-й разъ — увольненію изъ университета по прошенію.

5. Участіе въ студенческихъ сходбищахъ, для какой бы то ни было цѣли, безъ вѣдома инспектора.

6. Произнесеніе публичныхъ рѣчей — безъ дозволенія начальства.

7. Распространеніе злонамѣренныхъ сочиненій и ложныхъ слуховъ между товарищами и подстрекательство къ безпорядкамъ.

8. Неповиновеніе и грубость университетскому начальству.

9. Неуваженіе къ наставникамъ и неприличное обращеніе съ ними.

---

17) Когда это у насъ табачный дымъ выйдетъ изъ подозрѣнія въ либерализмѣ?

18) И спать съ Табелью?

19) Напримѣръ, если студентъ хочетъ купить корову, онъ можетъ посовѣтоваться съ ректоромъ или даже самимъ Исаковымъ.

20) Подъ этимъ кажется разумѣются квартиры, отдаваемыя въ наемъ студентамъ профессорами.

10. Предумышленное нарушеніе однимъ, или многими, тишины и пристойности въ аудиторіяхъ и другихъ университетскихъ собраніяхъ.

11. Предумышленное нарушеніе цѣлымъ курсомъ учебныхъ постановленій.

Виновные подвергаются, по суду и опредѣленію правленія, смотря по важности проступка и произведеннаго безпорядка: увольненію изъ университета по прошенію, или безъ прошенія, или же въ случаяхъ особено важныхъ—исключенію изъ университета 21).

§ 25. Къ проступкамъ открыто безнравственнымъ причисляются:

1. Предумышленное поврежденіе, истребленіе и въ особенности похищеніе университетскаго имущества 22).

2. Развратное поведеніе: пьянство, *оргіи*, буйство и посѣщеніе предосудительныхъ мѣстъ.

3. Безчестіе и оскорбленіе лицъ женскаго пола, и

4. Безчестіе, дерзкое и тяжкое оскорбленіе товарища, или лица, подвѣдомственнаго университету 23) — словами, или дѣломъ.

Эти проступки совершенно *несовмѣстны съ званіемъ студента* и сами собой разрушаютъ его; вслѣдствіе чего они влекутъ за собой немедленное исключеніе изъ университета.

§ 26. За несоблюденіе общей христіанской обязанности говѣнія и причащенія св. Таинъ во время великаго поста, студенты подвергаются: въ 1-й разъ — замѣчанію со стороны инспектора, во 2-й разъ — выговору въ присутствіи правленія, и въ 3-й разъ увольненію изъ университета по прошенію.

Примѣч. 1. Подъ несоблюденіемъ религіозныхъ обрядовъ въ 1-й разъ должно разумѣть неговѣніе въ великій постъ, во 2-й неговѣніе, послѣ сдѣланнаго замѣчанія инспекторомъ, и наконецъ въ 3-й неисполненіе этого долга и послѣ выговора въ присутствіи правленія 24).

Примѣч. 2. Замѣчанія и выговоры записываются въ особо установленную книгу и принимаются въ соображеніе при удостоеніи студентовъ ученыхъ званій и степеней.

Примѣч. 3. Съ выговоромъ въ присутствіи правленія всегда соединяется и лишеніе стипендіи для получающихъ ее 25).

Примѣч. 4. Форма студентовъ заключается въ слѣдующемъ:

---

21) Какимъ же образомъ университетскій совѣтъ становится въ своемъ дѣлѣ судья? Отчего же за проступки не судить просто по обычнымъ законамъ? Вѣдь еще не извѣстно, кто правъ, кто виноватъ — совѣтъ, или студентъ.

22) Воровство? — да на это есть XV Т. Свода Законовъ, студентъ-ли украдетъ что нибудь, или профессоръ — все равно.

23) А лица неподвѣдомственныя университету, можно?.... Шалуны вы эдакіе, не скрыли боязни за себя — и срѣзались.

24) Что за средневѣковая, католическая цивилизація!

25) Видите, какъ они пуще всего преслѣдуютъ бѣдность . . . Ты бѣденъ — въ бараній рогъ тебя. Да и зачѣмъ бѣдному учиться?

Въ присутствіи особъ императорской фамиліи студенты должны быть въ мундирахъ; также въ мундирахъ должны являться къ попечителю округа, помощнику его и ректору (если представляются не по требованію, а по собственной надобности). Равнымъ образомъ должны быть въ мундирахъ на университетскомъ актѣ, въ собраніяхъ и маскарадахъ [26]).

Во всѣхъ же прочихъ случаяхъ и на лекціяхъ въ университетѣ студенты могутъ быть разстегнуты, на улицахъ же должны быть всегда застегнуты [27]).

Ношеніе формы должно строго сообразоваться съ утвержденными образцами и выполняться установленнымъ порядкомъ. Волосы имѣть *коротко остриженными;* ношеніе усовъ, бородъ, эспаньелокъ воспрешается. Трости носить также воспрещается [28]).

Всякое отступленіе отъ указанной формы считается нарушеніемъ университетскаго постановленія.

—

Кто изъ профессоровъ подписалъ эти правила? Давайте ихъ имена сюда въ «Колоколъ», чтобы всѣ могли съ омерзеніемъ указывать на нихъ пальцемъ.

А кто изъ профессоровъ протестовалъ? Неужели никто?... Быть не можетъ! Давайте намъ и эти имена, чтобы выпуть ихъ чистыми изъ ямы.

Что они сдѣлали изъ университета всѣ эти доктринеры, проповѣдывавшіе о строгости вступительныхъ экзаменовъ? Они сыграли въ руку Тимашеву! Изъ 500 экзаменовавшихся принято только 152 человѣка. Доктринаризмъ, изъ факирства передъ наукой, забылъ, что многіе, вступая въ университетъ съ плохими свѣдѣніями, въ продолженіи курса выходятъ отличными студентами. Доктринаризмъ забылъ, что въ германскихъ университетахъ вовсе нѣтъ вступительныхъ экзаменовъ; но при выпускѣ экзамены строги, что совершенно справедливо; нельзя дать дипломъ невѣждѣ и право на ученое званіе или мѣсто по службѣ.

Правительство изъ николаевской маніи трусомъ дрожитъ передъ какимъ-то *вольнымъ духомъ*, правительство забыло, что чѣмъ больше учащихся въ университетахъ, тѣмъ больше у него хорошихъ чиновниковъ, хорошихъ офицеровъ, и что для того, чтобъ не бояться *вольнаго духа*, не науку надо гнать, а надо сдѣлаться просвѣщеннымъ правительствомъ — и только. Правительство забыло, что съ системой стѣсненія образованія оно дошло до паденія Севастополя, потому что правительству, стѣсняющему образованіе, кромѣ дураковъ и воровъ никто служить не станетъ.

---

26) Что это, императорская фамилія на ряду съ маскарадомъ! это страшно читать, ну какъ это дойдетъ до III отдѣленія?

27) Чтобъ не простудиться.

28) Это хорошо, а то въ самомъ дѣлѣ какъ же не дать по 50 палокъ такимъ предателямъ юношества.

Кто сочинялъ „правила для студентовъ“? Никита Крыловъ? Аркадій Альфонскій? Или самъ попечитель? Или самъ оберъ-форъ-шнейдеръ? Или самъ добродѣтельный Ковалевскій? Дайте намъ имя автора — къ позорному столбу!

Пусть оберъ-форъ-шнейдеры рѣжутъ жаренаго зайца, но да не смѣютъ они зарѣзывать русское юношество, которое еще быть можетъ составитъ славу нашего времени.

Выставляя на позоръ профессоровъ или министерство просвѣщенія, или министерство и профессоровъ, мы нисколько не думаемъ возбуждать студентовъ къ нетерпимости. Напротивъ того, мы приглашаемъ ихъ къ доблестному спокойствію. Сила не въ судорожныхъ взрывахъ, которое обличаетъ только нервное разстройство; сила — въ крѣпкой мысли и спокойномъ шествіи.

Колоколъ № 60.
1 Января 1860 года.

1860*)

I

Безъ преувеличенныхъ надеждъ и безъ преувеличенныхъ отчаяній входимъ мы въ *новое десятилѣтіе* — твердымъ, ровнымъ шагомъ стараго войска, знавшаго побѣды, знавшаго пораженія, и пуще всего знавшаго тяжелые переходы по песчанымъ, пыльнымъ, безотраднымъ степямъ. Спины понагнулись, волосы посѣдѣли, много рубцевъ, много шевроновъ... много товарищей въ землѣ, много чужихъ за роднымъ очагомъ... но старые солдаты, мы безъ заносчивости и страха шагомъ твердымъ и ровнымъ входимъ въ новое десятилѣтіе!

Еще шевронъ!...

...Что бы ни было, хуже чѣмъ было десять лѣтъ тому назадъ не будетъ. Тогда былъ медовый мѣсяцъ реакціи, тогда со слезой, замершей въ глазѣ, со злобой, кипѣвшей въ сердцѣ, смотрѣли мы на проигранную кампанію и проклинали позорное время, въ которое намъ пришлось жить.

„Когда многіе надѣялись, мы говорили имъ, что это не выздоровленіе, это румянецъ чахотки. Смѣлые мыслію, дерзкіе на языкъ, мы не боялись изслѣдовать зла, ни высказать его, а теперь выступаетъ холодный потъ на лбу. Я первый блѣднѣю, трушу передъ темной ночью, которая наступаетъ; дрожь пробѣгаетъ по кожѣ при мысли, что наши предсказанія сбываются такъ скоро, что ихъ совершеніе такъ неотразимо!“**)

---

*) Мы хотѣли начать новый годъ прекрасной статьей объ *Украйнѣ*, но ея размѣръ заставилъ насъ оставить ее до слѣдующаго листа.

**) Эпилогъ 1849 году. „Съ того берега“.

Мрачная туча, которую мы предчувствовали по лому въ мысли и въ сердцѣ, заволакивала больше и больше, все потемнѣло, спуталось, покосилось, стало тонуть... всплывали герои, безъ всякой пользы; говорились слова полныя мудрости, никто ихъ не понималъ... ударъ за ударомъ разилъ то и другое, сбивая осколки въ сѣрую, грязную массу, на вершинѣ которой поднимался яснѣе и яснѣе, какъ на своемъ пьедесталѣ, сфинксъ съ узенькими глазками, ухарски зачесанными висками и усами, свернутыми въ фидибусы.

Пять лѣтъ продолжалось это, и все было хуже и хуже.

...Помню я полутуманный лондонскій день и улицы, кипящія народомъ, домы, покрытые гирляндами, украшенные знаменами, войска въ парадныхъ мундирахъ, нарядныя дамы въ окнахъ, горсъгарды на коняхъ, пудреные кучера и лакеи, мѣщане съ сіяющимъ лицемъ, словомъ праздниковъ праздникъ, Наполеонъ III въѣзжалъ побѣдоноснымъ и гордымъ въ почтенные, средневѣковыя ворота *Темпль-Бара;* изъ готей Виндзора, королевы, онъ ѣхалъ въ гости къ царствующей буржуазіи въ *Меншенъ-Гаузъ.* Въ Виндзорѣ надпись „Ватерлооская зала" была стерта, въ Сити было стерто достоинство свободнаго народа; Наполеона встрѣтило чудовищное подобострастіе городскихъ властей, тѣмъ больше упоительное для него, что оно не было внушено насиліемъ, а падало передъ нимъ въ откровенно-рабскомъ униженіи.... То же восторженное ура проводило его назадъ, и „Теймсъ" трубилъ славу великаго союзника Англіи.

Дальше падать, глубже опускаться—нельзя. Это былъ переломъ креста.

Но переломъ креста состоитъ не изъ одного звука... а изъ двухъ.

Рядомъ съ Англіей, пѣвшей съ благоговѣніемъ и англійскимъ произношеніемъ — „Partant pour la Syrie"... другіе пѣвчіе пѣли —„Со святыми упокой!" у гроба въ Зимнемъ Дворцѣ.

Крестъ переломился!

II.

Отлегло на сердцѣ, мы перевели духъ! Дѣло пошло къ утру. Усмиренные опытомъ, укрощенные памятью, мы съ умиленіемъ привѣтствовали зорю новаго дня, занимавшуюся въ Россіи. Мы радовались не тому, *что* онъ намъ давалъ, а какъ выздоровляющіе послѣ перелома болѣзни радовались за *право на надежду.*

На эту полосу свѣта на родномъ небосклонѣ, усталые отъ всего, что насъ окружало, мы смотрѣли безъ заносчивыхъ требованій, безъ юношескихъ утопій. Мы ограничивались желаніемъ, чтобъ съ бѣднаго русскаго народа сняли грубыя желѣзныя цѣпи, для того, чтобы *развитіе сдѣлалось возможнымъ,* остальное, казалось намъ придетъ своимъ порядкомъ; можетъ послѣ насъ, даже весьма вѣроятно, — все равно, лишь бы видѣть самимъ, что на пути нѣтъ бревенъ.

Мысль наша, рѣчь наша не шли дальше —

Освобожденія крестьянъ отъ помѣщиковъ,

Освобожденія слова отъ цензуры,
Освобожденія суда отъ мрака канцелярской тайны,
Освобожденія спины отъ палки и плети.

Пока мы думали и говорили объ этомъ, вышелъ знаменитый рескриптъ къ дворянству трехъ польскихъ губерній.

Тотъ, кто понимаетъ глубину умиленія и молитвы, которая заставила Канта, при вѣсти о провозглашеніи французской республики, обнажить голову и, поднявши глаза къ небу, повторить слова Симеона Богопріимца: „Нынѣ отпущаеши!"—тотъ пойметъ, что происходило въ душѣ нашей, когда мы слышали робко произнесенное государемъ, но все-же произнесенное слово—*освобожденія крестьянъ*.

Мы помолодѣли, мы повѣрили въ себя, въ то, что наша жизнь не прошла напрасно.... а тутъ облегченіе цензуры, уничтоженіе позорнаго стѣсненія путешествовать, уничтоженіе кантонистовъ, военныхъ поселеній, проэкты о гласности судовъ. Мы стали от дыхать отъ ненависти.

Наша программа осуществлялась и намъ легко было сказать — „Ты побѣдилъ Галилеянинъ!" *(Колоколъ листъ 9). Такъ* побѣжденными мы хотѣли быть.

Самодержавная революція могла вести Россію къ великому развитію всѣхъ ея неистощимыхъ силъ, невѣдомыхъ возможностей, не проливши ни одной капли крови, не поставивши ни одной висѣлицы, и дѣлая изъ сибирскаго тракта путь богатства и обмѣна—вмѣсто пути слезъ и скрежета зубовъ.

Да, мы были правы, говоря Александру II при его возшествіи на престолъ: „Вы необыкновенно счастливы!"

Отчего же мы входимъ въ новое десятилѣтіе не съ тѣмъ свѣтлымъ упованіемъ, не съ той твердой надеждой, съ какой встрѣтили эпоху возрожденія Россіи.

Александръ II, какъ Фаустъ, вызвалъ духа не по силамъ, и перепугался. Какая-то истощающая силы нерѣшительность, шаткость во всѣхъ его дѣйствіяхъ и подъ конецъ совершенно ретроградные поступки. Онъ явнымъ образомъ хочетъ добра—и боится его.

Что же случилось?—Война? возстаніе? распадется ли государство? провинціи отлагаются, что ли? — Ничего! Финансы плохи, да вѣдь это обыкновенное русское хозяйство, видъ пышный и ни гроша за душой! Сверхъ того реакціей финансамъ не поможешь...

Чего же испугался государь? — А чего боятся люди на кладбищѣ?...

Въ томъ-то и состоитъ несовершеннолѣтіе людское, что оно боится вздора и не видитъ дѣйствительной опасности, что оно опирается на гнилое дерево возлѣ свѣжаго. Стремясь за фантазіями, оно упускаетъ изъ рукъ реальное; боясь призраковъ въ якобинской шапкѣ — гладитъ шакаловъ въ генеральскихъ эполетахъ; боясь демократической страницы въ журналахъ — не боится олигархическихъ грамотъ въ бархатной книгѣ.

Идти двумя путями невозможно.

Какимъ Янусомъ ни будь, нельзя разомъ идти въ двѣ противуположныя стороны, можно только одной половиной своей всякій разъ идти задомъ напередъ, мѣшая самому себѣ и безполезно качаясь на одномъ мѣстѣ.

Нельзя желать гласности—и усиливать цензуру.

Нельзя желать просвѣщенія—и гнать студентовъ отъ университетскихъ воротъ.

Нельзя уважать людей въ подданныхъ—и не позволять имъ дѣтей вывозить за границу.

Нельзя стать со стороны народа—и называться „первымъ дворяниномъ".

Нельзя желать гласнаго суда — и держать гайдука юстиціи Панина.

Нельзя желать законности—и имѣть къ своей собственной канцеляріи цѣлое отдѣленіе шпіоновъ.

Нельзя начинать новую постройку — и брать помощниковъ изъ богадѣльни прошедшаго.

Нельзя прогнать Клейнмихеля и Бибикова—и оставить Панина, Муравьева (который вѣшаетъ), Орлова, мухановскаго Горчакова и пр. и пр. Съ этими ядрами на ногахъ, даже знаменитый скороходъ въ «не любо не слушай» не ушелъ бы далеко.

Все это такъ же несовмѣстно, такъ же нелѣпо, какъ проповѣдывать министерствомъ внутреннихъ дѣлъ трезвую жизнь, медъ и млеко — а министерствомъ финансовъ въ то же время и тѣхъ же людей спаивать отравленной водкой.

Это то колебаніе и выводитъ насъ изъ терпѣнія—не въ отчаяніе, а въ глубокую горесть, тѣмъ больше, что оно совершенно не нужно и происходитъ отъ того, что декораціи принимаются за самое дѣло, вѣроятно по привычкѣ видѣть въ человѣкѣ прежде всего форму воротника и пуговицы.

Еслибъ государь всмотрѣлся, онъ сейчасъ бы увидѣлъ, что онъ окруженъ цѣлымъ міромъ призраковъ, что Панинъ напримѣръ не въ самомъ дѣлѣ министръ юстиціи, а маріонетка и очень плохо сдѣланная изъ шестовъ; что Горчакова совсѣмъ нѣтъ, а есть его мундиръ съ дырой сзади, въ которую фигляръ Мухановъ запустилъ пальцы и представляетъ, будто покойникъ живъ — на оскорбленіе польскаго народа...

Да кѣмъ замѣнить этихъ опытныхъ, маститыхъ слугъ престола? *Опытныхъ* въ чемъ? Неужели въ освобожденіи крестьянъ, въ учрежденіи гласныхъ судовъ?...

Къ тому же вотъ примѣръ, развѣ въ Москвѣ хуже стало послѣ Закревскаго? Тучковъ навѣрное въ десять разъ лучше его... А вѣдь не начитайся Закревскій французскихъ романовъ и не сдѣлай свой сентиментальный пассажъ à la George Sand — онъ и теперь давилъ бы Москву, и государь вѣрилъ бы, что онъ необходимъ для спокойствія первопрестольной столицы!

Шапка мономаха не только тяжела, но и велика, на глаза падаетъ... Еслибъ можно было на одинъ мигъ приподнять ее и показать государю не вѣрноподданнически, а просто по человѣчески все живое и мертвое въ Россіи, все, что пойдетъ съ нимъ, если онъ самъ не оставитъ пути развитія и освобожденія, и все, что пойдетъ противъ него... дорого бы можно было дать.

Какія странныя времена, *у насъ* нѣтъ тайнъ, мы страстно хотимъ государю показать всю подноготную. А Долгорукіе и Тимашевы, его уши *по ремеслу*, имѣютъ много тайнъ, отъ него и скрываютъ все, кромѣ вредныхъ сплетенъ. А всего тщательнѣе скрываютъ они то, что высшій слой благороднаго россійскаго дворянства не только не единственная, вѣрная опора престола, но само по хилости ищетъ на что нибудь опереться. Время, въ которое правительство петербургское существовало не только божіей помощью, но помощью олигарховъ-бояръ и нѣмцевъ-генераловъ — прошло. У нихъ тогда было *общее хозяйство* и круговая порука: правительство предоставляло дворянамъ грабить народъ и сѣчь его розгой, дворянство помогало правительству забирать чужія провинціи и сѣчь кнутомъ.

Съ тѣхъ поръ исподоволь все перемѣнилось. Съ тѣхъ поръ Россія Бирона и Остермана — состарѣлась, а Россія Ломоносова пошла впередъ. Съ тѣхъ поръ былъ 1812 г. и 14 Декабря 1825. Новая среда подкрадывалась незамѣтно клиномъ между народомъ и вельможами, въ ней встрѣчаются атомы всѣхъ другихъ слоевъ, но иначе кристализованные, къ ней принадлежатъ дѣти графовъ и князей и сынъ воронежскаго просола, въ этой средѣ образованіе, университеты, вся умственная дѣятельность, книги, а книги теперь власть.

Обо всемъ объ этомъ не знаютъ при дворѣ, такъ какъ графъ Гонфалоніери и его друзья не знали ничего, кромѣ смутныхъ слуховъ о революціи 1830, содержась въ Шпильбергѣ. До высочайшихъ казематъ Зимняго Дворца ничего не можетъ пройти, кромѣ особъ первыхъ трехъ классовъ. Кажется все идетъ по прежнему, тѣ же мундиры, шитые золотомъ, начинка мундировъ истлѣла, измельчалась, выжила изъ ума и изъ вѣка, умерла, но по ганалевой системѣ славно бальзамирована. Изъ за этихъ анатомическихъ, шитыхъ золотомъ шпалеръ государь не видитъ, что центры тяжести, фокусы силъ, все измѣнилось, что въ формулы русской жизни вошли элементы, о которыхъ при Петрѣ I не имѣли понятія, а при Екатеринѣ II знали по слуху, онъ не знаетъ, что теперь ни науку, ни литературу *запретить* нельзя, что есть вѣрованія и убѣжденія, общія каждому образованному человѣку, кромѣ большинства именно того высшаго дворянства, которое въ олигархическихъ книженкахъ представляется опорой престола.

Не видитъ онъ и того, что ему не нуженъ вовсе этотъ гнилой костыль, пока онъ не измѣнитъ началу своего царствованія. Когда, кто изъ русскихъ императоровъ имѣлъ разомъ за себя, какъ это

случилось въ вопросѣ освобожденія крестьянъ и введенія гласности, — народъ русскій и образованную Россію, промышленниковъ и литераторовъ, молодое духовенство и всѣхъ старообрядцевъ, наконецъ мнѣніе всего міра отъ величайшихъ органовъ публичности до смиренныхъ листовъ „Колокола"?

Только „единственная опора" престола „трона", ея рабское усердіе не идетъ дальше уменьшенія оброка... Se no—no! „Сѣку и служу, не сѣку и не служу!"

Но вѣдь отъ этой оппозиціи не государь сталъ слабѣе, а ему, у него исчезаетъ земля подъ ногами. Поддерживая самодержавіе подъ высочайшее плечо, въ сущности они сами опирались на него. Оставьте ихъ на свои силы и они въ четверть часа упадутъ съ своего «прекраснаго высоко» и сдѣлаются „comme tout le monde", по выраженію Сусаны Фигаро. Да это еще счастіе, а то какъ крестьянскій tout le monde догадается, что государь не поддерживаетъ больше ни Кочубеевъ, которые въ мирное время стрѣляютъ по австрійцамъ, ни Ивана Онуфріевича, сѣкущаго ежегодно на своихъ заводахъ, ни Панина, который хотѣлъ стянуть домъ, ни меньшихъ братій ихъ въ родѣ Гутцейта, насилующаго дѣтей, Кандыбы, оплакиваемаго Строгоновымъ, и сестрицъ въ родѣ Барановой, сажавшей на плиту живую дѣвушку... они тогда проведутъ очень непріятныя четверть часа...

Неужели государь боится, что эти выдуманные графы, напоминающіе аристократію Сулука, эти обнищалые князья, съ археологическими именами, при помощи губернскихъ Добчинскихъ и уѣздныхъ Бобчинскихъ, заставятъ его, какъ нормандскіе бароны, подписать *великую хартію* дѣйствительно-статскихъ свободъ и генералъ-маіорскихъ вольностей, или сведутъ его въ тюрьму, какъ Людовика XVI? Прежде для точности надобно ему побывать въ законодательномъ собраніи, гдѣ Бутковъ будетъ представлять Лафайета, а какой нибудь Кандыбинъ сынъ - Мирабо!

Все это ужъ по тому самому невозможно, что нормандскіе бароны наши не имѣютъ силы ни въ себѣ, ни въ народѣ, ни въ современной какой нибудь идеѣ, вся ихъ сила въ царской поддержкѣ.

Они могутъ одно сдѣлать — убить государя изъ за угла, на это никакой силы не надобно, а надо быть только злодѣемъ. Въ кастѣ, которая поджариваетъ на плитѣ живыхъ женщинъ и засѣкаетъ здоровыхъ мущинъ—найдется ихъ вѣроятно довольно. Этому впрочемъ каждый подверженъ, такъ какъ тифусу или холерѣ. Можетъ и не мѣшаетъ брать мѣры противъ такого покушенія, но это очень скучно и почти лучше благородно рисковать собой, какъ Генрихъ IV, чѣмъ день и ночь выдумывать съ какимъ нибудь русскимъ Эспинасомъ мѣры предохраненія своей священной особы.

Но намъ могутъ сказать, что государь вовсе не ихъ боится. Кого же?

Народнаго возстанія? Трудно себѣ представить, что русскій крестьянинъ, терпѣвшій вѣка свое бѣдственное положеніе, взбун-

товался бы за то, что его освобождаютъ, и сталъ бы требовать возвращенія крѣпостнаго права!

Чиновниковъ?—Люди, берущіе взятки, никогда не бунтуютъ.

Купечества? — Какой же имъ барышъ отъ этого? Откупщики первые лягутъ костьми за отеческое управленіе...

Смотрите, куда хотите въ Россіи, вездѣ есть всходы, вездѣ почки, вездѣ зерна наливаются, вездѣ что-то просится наружу, на развитіе; все хочетъ распрямить члены послѣ долгой, долгой неволи и нигдѣ ни одного элемента возстанія. Одинъ вопросъ, который можетъ поднять народъ, — это освобожденіе крестьянъ съ землею; но вѣдь онъ-то и находится въ рукахъ правительства.

Что же мутитъ, что мѣшаетъ государю идти по одной доскѣ?

Самыя рѣзкія, самыя печально-самовластныя распоряженія правительства были направлены противъ *литературы*, а теперь противъ *студентовъ*. Вотъ что пугаетъ, вотъ стало гдѣ опасность! Странно, больно, стыдно, но оно такъ! Съ цензурой государь няньчится, я думаю, третій годъ, уменьшаетъ ее, растягиваетъ, опрощаетъ, усложняетъ. Вдругъ «цензура требуетъ весь туалетъ!» —изъ каждаго министерства по цензору... Вдругъ совсѣмъ новая цензура, въ которой предсѣдатель долженъ быть *три человѣка*, въ числѣ которыхъ одинъ оберъ-форъ-шнейдеръ, одинъ начальникъ лазутчиковъ и одинъ Адлербергъ, извѣстный въ литературѣ только какъ плодовитый писатель векселей. Когда все это было сдѣлано, государь застыдился до того, что придумалъ одного главнаго цензора и того назвалъ начальникомъ V отдѣленія собственной канцеляріи (слава богу, что по ту сторону III-го), и для большей скромности ввѣрилъ это мѣсто *Модесту* Корфу, исторіографу 14 Декабря.

Въ продолженіи этого времени — исторія *Паруса*, исторія съ *Огрышкой*, нелѣпѣйшіе циркуляры Норова, Вяземскаго, Ковалевскаго указываютъ на какую-то судорожную раздражительность. Ясное дѣло, что журналы, что книги навлекли на себя гоненіе.

Отрѣзанные отъ всякой возможности (отвратительнымъ почтовымъ устройствомъ книжныхъ посылокъ изъ Россіи), — своевременно получать журналы, мы долго думали, что въ Россіи печатаются зажигательныя воззванія, еретическія книги Лютера и еретическія сочиненія Баркова.

Ни чуть не бывало. Получая въ ноябрѣ — мартовскую, а въ декабрѣ — февральскую книжку, мы все таки мало по малу перечитали почти все. Разница съ николаевскимъ временемъ большая. Задавленная мысль ожила, языкъ воротился, человѣческія мысли, интересы нашли отголосокъ въ „Обозрѣніяхъ". Всѣ журналы безъ исключенія поддерживали энергически, съ увлеченіемъ главную мысль царствованія—освобожденіе крестьянъ съ землею.

Въ чемъ же дѣло?... нельзя же было ждать, что бѣдная, раскованная колодница наша, снова заговоритъ языкомъ покойнаго кн. Шаликова, и чувствованіями еще здравствующаго Рафаила Зотова.

Дѣло по несчастію въ томъ, что у насъ въ извѣстной высотѣ надъ уровнемъ житейскаго моря — *слово человѣческое считается дерзостью*, и *мысль сама по себѣ подозрительна*. Думать и говорить (т. е. приказывать) должно правительство, для подданнаго это роскошь и ведетъ только къ пересудамъ дѣлъ *не касающихся до него*, напр., имѣютъ-ли право его безъ суда сажать въ Петропавловскую крѣпость, посылать за тысячу верстъ, не говоря причины и пр. Идеалъ государственнаго порядка и цивилизаціи для этой трехъ-первоклассной сферы, восточная сераль и прусскій вахтъ-парадъ. Сераль, въ которой люди, отрѣкаясь отъ своего зоологическаго достоинства, падаютъ на четвереньки передъ владыкой; и фрунтъ, въ которомъ человѣкъ придѣланный къ ружейному прикладу унижается до восковой фигуры, и четыре тысячи ногъ поднимаются подъ тѣмъ же угломъ и опускаются въ туже секунду. Отсюда идетъ супружеская любовь къ безгласному повиновенію, къ молчанію страха и любострастная невоздержность къ застегнутымъ пуговицамъ, къ формѣ воротника.

Въ послѣдней инструкціи — московскому цензурному комитету, сказано — что правительство считаетъ *ниже своего достоинства* — обращать вниманіе на факты, обличаемые печатной гласностью. Въ послѣднее десятилѣтіе, такъ обильное глупостями, я не думаю, чтобъ было сказано что нибудь глупѣе. Это геніально глупо. Точно будто одно благородное средство и есть узнавать истину— *шпіонство!*

То же самое относительно студентовъ. Цивилизующее правительство должно имѣть университеты и студентовъ, но ему хочется, чтобъ студенты были похожи на солдатъ въ арестантскихъ ротахъ.

...Чѣмъ раздра́жили студенты правительство до іезуитскихъ экзаменовъ, и дикихъ исключеній?—Да какъ же! исторія за исторіей. — Какія? Въ московской исторіи ни Берингъ, ни Закревскій не могли скрыть, что виновата была полиція. Въ харьковской — студенты не только были правы, но вели себя съ благородствомъ и тактомъ почти ровнымъ безобразнымъ дѣйствіямъ попечителя и университетскихъ властей. Въ Казани — студенты аплодировали Буличу. Въ Петербургѣ — студенты собрались, чтобъ узнать что такое было въ Казани, и это все преступленія???

Однако чего же требуютъ, въ самомъ дѣлѣ, эти господа отъ юношей?

Очень просто —*рабскаго* духа, *рабской* дисциплины, *рабскаго* молчанія! Что значитъ *высочайшее* повелѣніе *не аплодировать* профессорамъ?... И зачѣмъ государь исправляетъ должность педеля и инспектора?... Какъ иначе Пушкинъ разумѣлъ царское достоинство, заставивъ Годунова сказать сыну, что слово государя какъ благовѣстъ должно только раздаваться, возвѣщая великое событіе или великое несчастіе.

Одно изъ ужаснѣйшихъ посягательствъ прошлаго царствованія состояло въ его настойчивомъ стремленіи сломить отроческую

душу. Правительство подстерегало ребенка при первомъ шагѣ въ жизнь и развращало — кадета-дитя, гимназиста-отрока, студента-юношу. Безпощадно, систематически вытравляло оно въ нихъ человѣческіе зародыши, отучало ихъ, какъ отъ порока, отъ всѣхъ людскихъ чувствъ—кромѣ покорности. За нарушеніе дисциплины оно малолѣтнихъ наказывало такъ, какъ не наказываютъ въ другихъ странахъ закоснѣлыхъ преступниковъ.

Здоровая мощь русская была сильнѣе гнета, не удалось правительству осквернить всѣ души молодаго поколѣнія, свихнуть всѣ сердца, сдѣлать Клейнмихелями и розгами доносчиковъ изъ товарищей школы, палачей изъ старшихъ въ классѣ. Да, не удалось, но какой цѣной купили юные страдальцы святое святыхъ своей человѣческой души?

Посмотрите на это чахлое, нервное, тревожное внутри, невѣрующее болѣе ни во что свѣтлое, невѣрующее въ себя—поколѣніе, это та доля, которая *пережила* душевредительство правительственнаго воспитанія.

А сколько умерло, сложивши голову, не зная свѣтлаго дня послѣ вступленія въ корпусъ или школу?

Дѣйствительно, въ то время молчали, *не аплодировали, не собирались*. и еще больше, въ то время у несчастныхъ польскихъ матерей отрывали дѣтей насильно и малютки мерли на дорогѣ, въ то время, какъ полицейскіе *воспитатели* пьянствовали на украденную у нихъ пищу и теплую одежду.

За тѣмъ временемъ не угоняешься!

Безгласная страна, глотая слезы, не нарушила десциплины. Россія молчала и падала въ глазахъ всего міра до того, что ненависть къ ней была равнозначительна съ любовью ко всему человѣческому!...

III.

Тяжелы эти воспоминанія! Хотѣлось бы не съ ними вступать въ новое десятилѣтіе, но не мы вызвали черныя тѣни прошедшаго!

Каждый ударъ правительственной плетью по юношеству, по будущей Россіи, будитъ въ наболѣвшемъ сердцѣ страшные образы; намъ такъ и кажется, что не даромъ еще живы Пеликаны, Бибиковы, не даромъ Мухановъ оставленъ въ Варшавѣ — что они ракомъ вопьются въ молодое поколѣніе и потащутъ его назадъ или въ помойную яму III отдѣленія.

Да дайте же хоть одному поколѣнію, пресловутые просвѣтители, воспитаться человѣчески, глядя всему въ глаза, безбоязненно говоря свою мысль, открыто *рукоплеская*, открыто *собираясь*, такъ какъ это дѣлается въ Англіи во всякой школѣ.

Неужели передняя, гдѣ десять крѣпостныхъ лакеевъ молчатъ при баринѣ и молча его ненавидятъ — образецъ воспитанія? Неужели шопотъ рабовъ пріятнѣе вамъ, чѣмъ говоръ возникающихъ жизней ихъ звонкій смѣхъ и даже иногда заносчивое слово?

Ахъ, какъ еще наши просвѣтители неразвиты! Какъ они еще далеки отъ „человѣка“ и какъ близки къ Аракчееву, какъ замѣтенъ еще на нихъ вершокъ казарменной грязи и подъяческаго честолобія разночинца — который требуетъ *не уваженія къ лицу*, а *подчиненности, страха передъ его чиномъ!*

....Мы не такъ легко предаемся вѣрованіямъ, чтобъ ихъ легко оставлять и на вопросъ — думаемъ ли мы, что всей этой николаевской ветошью можно остановить Россію и возвратиться за 1855 —рѣшительно отвѣчаемъ *нѣтъ!*

Но съ другой стороны мы знаемъ, что путь, по которому Россія идетъ, можно исказить, покрыть грязью, усыпать битымъ стекломъ и изъ свѣтлаго, правильнаго шествія, сдѣлать утомительный переходъ и безпрерывную драку, въ которой правительство, какъ матеріально гораздо сильнѣйшее, погубитъ бездну людей, надѣлаетъ бездну несчастій безъ нужды и безъ пользы. Вотъ почему эти реакціи, эти возвращенія ко времени, которое надобно забыть, эти перевѣсы въ сторону прошедшаго — не повергаютъ насъ въ отчаяніе, но заставляютъ дрожать отъ гнѣва и досады. Вотъ почему мы входимъ съ раздумьемъ въ новое десятилѣтіе и, переступая послѣднюю черту прошедшаго, останавливаемся еще разъ, чтобъ сказать государю:

Государь, проснитесь, новый годъ пробилъ новаго десятилѣтія, которое можетъ будетъ носить ваше имя, но вѣдь нельзя одной и той же рукой ярко и свѣтло записывать свое имя въ исторіи какъ освободитель крестьянъ и подписывать нелѣпыя повелѣнія противъ свободной рѣчи и противъ молодости — юношей. Васъ обманываютъ, вы сами обманываетесь—это святки, все наряженые. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья Россіи и кто любитъ только свою частную выгоду. Вамъ это потому вдвое важнѣе, что *еще* друзья Россіи *могутъ быть* и вашими. Велите же скорѣе снять маски, Вы удивитесь—этотъ маскарадъ, васъ окружающій, не похожъ на тотъ, который дѣлали два года тому назадъ для великихъ князей въ кадетскомъ корпусѣ, тамъ дѣти представляли волковъ и вепрей, а тутъ вепри и волки представляютъ сановниковъ и отцовъ отечества!

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ
къ № 61 „колокола“.

I

Государь приказалъ черезъ министра внутреннихъ дѣлъ запретить дворянамъ на выборахъ разсуждать о крестьянскомъ вопросѣ.

Новгородское дворянство по прочтеніи циркуляра разъѣхалось, *не дѣлая выборовъ.*

Тверское (*лучшее* во всей имперіи относительно крестьянскаго дѣла), основываясь на ст. 112 и 113 Свода Законовъ, IX Тома—

протестовало. Вслѣдъ за тѣмъ въ явное нарушеніе ст. 133 „Собраніе дворянства ни по какому дѣлу не можетъ быть потребовано къ суду. Оно защищается повѣреннымъ изъ своей среды избраннымъ“ и ст. 134 „Собраніе дворянства ни въ какомъ случаѣ не подлежитъ стражѣ“. — Губернскій предводитель УНЬКОВСКІЙ былъ арестованъ жандармами, повезенъ въ Петербургъ и теперь содержится въ тюрьмѣ III отдѣленія.

II

Говорятъ, что князь Орловъ, Адлербергъ и другіе старцы всеподданнѣйше доложили Е. И. В., что они не согласятся ни за что явиться къ князю Барятинскому какъ къ фельдмаршалу. Государь *будто бы* сказалъ, что дѣлать нечего, такъ законъ велитъ, но что онъ попроситъ Барятинскаго имъ отдать визитъ. На счетъ князя Орлова рѣшено *будто бы*, что князь Барятинскій выйдетъ на подъѣздъ, представляя, что онъ самъ ѣдетъ къ нему....?

Сѣдые шалуны, плѣшивые шалуны, смѣшные шалуны, да неужели вы не понимаете, что между покореніемъ Шамиля и Полкавказа и покореніемъ почтоваго вѣдомства и третьяго отдѣленія — есть разница?

Колоколъ № 62.
1 Февраля 1860 года.

—Le Nord разсказываетъ — по своему обычаю, умалчивая собственныя имена — что въ Тамбовской губерніи крѣпостной человѣкъ убилъ своего помѣщика, вступившись за честь своей невѣсты. II превосходно сдѣлалъ, прибавимъ мы. Таковы нравственныя послѣдствія преступнаго и по счастію издыхающаго теперь крѣпостнаго права. Посмотрите на эту чудовищную альтернативу: или вамъ приходится сказать, что священный долгъ жениха, брата, отца почтительно молчать, когда насилуютъ его невѣсту, сестру, дочь, сказать что этого молчанія требуетъ нравственность, религія и чистота семейной жизни, или сознаться, что въ подобномъ случаѣ *еще нравственнѣе* расколоть топоромъ голову барину?—Что касается до насъ, мы предпочитаемъ послѣднее!

Nord совершенно правъ, говоря, что наказывать «по всей строгости законовъ» — плетью и каторгой такого преступленія нельзя, что это безобразно; особенно, прибавимъ мы, когда рядомъ «строгость законовъ» оказывается слабостью бабушки къ внучатамъ — въ отношеніи къ Затлеру.

Кстати, когда же намъ напишутъ, что сдѣлали съ орловскимъ помѣщикомъ *Гутцейтомъ*, насиловавшимъ дѣтей, или его оставили тоже *до перваго жениха?*

Эхъ вы, законодатели, администраторы!

— *Изъ Москвы.* — Университетъ больше и больше превращается въ дѣтскій пріютъ, за нимъ приставленъ въ родѣ мамушки — *Ави-*

ловъ, бывшій директоромъ 2-ой Гимназіи. Онъ и его помощники ходятъ по саду, ходятъ по двору—и отучаютъ студентовъ курить; говорятъ, что съ будущаго семестра инспекторъ и его помощники будутъ умывать руки студентамъ и причесывать ихъ, а курса черезъ два носить ихъ на рукахъ, водить по лѣстницѣ.

Письмо изъ Москвы, лежащее передъ нами, говоритъ между прочимъ: „Мѣсто Иноземцева занялъ теперь человѣкъ умный и дѣятельный—Басовъ. Адъюнктъ Иноземцева Матюшенковъ занялъ каѳедру Басова. Нужно избрать теперь адъюнкта Басову на мѣсто Матюшенкова. Достойнымъ этого мѣста является уже извѣстный университету, особенно медицинскому факультету, *Разсвѣтовъ*. Басовъ первый изъявилъ желаніе имѣть у себя адъюнктомъ Разсвѣтова, и всѣ профессора мед. факультета раздѣлили желаніе Басова. Въ совѣтѣ собираются профессора юридич., математ., филолог. и мед. факультетовъ. Люди *совершенно не знающіе медицины* и не понимающіе Разсвѣтова, положили ему черные шары, и Разсвѣтовъ не избранъ адъюнктомъ...

„Г. *Леонтьевъ*, профессоръ латинскаго языка на юридич. и филолог. факультетахъ сталъ въ глаза называть студентовъ, своихъ слушателей — глупцами, школьниками, мальчишками и т. п., прибавляя далѣе, что они заслуживаютъ розогъ. Заикнулись было нѣкоторые студенты, но ихъ тотчасъ-же исключили изъ университета.“

Колоколъ № 63.
15 Февраля 1860 года.

— Le Nord отъ 5 Февраля говоритъ, что уже оконченное положеніе объ освобожденіи крестьянъ начнутъ приводить въ исполненіе съ будущаго Сентября. Во время переходнаго срока отъ 10 до 12 лѣтъ (?!) въ каждомъ уѣздѣ будетъ *военный начальникъ съ полной властью* дѣйствовать въ случаѣ столкновеній между помѣщиками и крестьянами. То есть боятся, неизбѣжныхъ при переходномъ положеніи (и невозможныхъ, по ненужности, при немедленномъ учрежденіи выкупа), крестьянскихъ бунтовъ, и потому припасаютъ солдатъ и военноначальниковъ душить народъ, если онъ чуть гдѣ пикнетъ. Сомнѣваемся мы въ этомъ, но если это правда?... О святая предусмотрительность! Ну, а если солдатамъ противно будетъ изъ храбраго войска сдѣлаться палачами своихъ братьевъ мужиковъ? Тогда что?... Тогда первый умный полковникъ, который съ своимъ отрядомъ примкнетъ къ крестьянамъ, вмѣсто того, чтобъ душить ихъ—сядетъ на престолъ Романовыхъ.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ мы узнали объ отмѣнѣ окружныхъ въ государственныхъ имуществахъ и оставленіи однихъ волостныхъ управленій. Теперь, для устраненія грабежа волостныхъ головъ, мы нетерпѣливо ждемъ отмѣну палатъ и министерства государственныхъ имуществъ.

Колоколъ № 64.
1 Марта 1860 года.

РОСТОВЦЕВЪ и СТРОГОНОВЪ.

Я. П. Ростовцевъ умеръ. Графъ *С. Г. Строгоновъ* назначенъ на его мѣсто. Какъ шатко еще все у насъ, смерть одного дѣятеля и замѣна его другимъ наполняетъ какимъ то ужасомъ мысль нашу, привыкнувшую съ раннихъ лѣтъ не довѣрять всему, стоящему на снѣжныхъ горахъ петербургскихъ... Вспомните, графъ Сергій Григорьевичъ, что со дня, въ который вы взошли въ комнату, гдѣ обсуживается величайшій русскій вопросъ — вы стали передъ страшнымъ судомъ исторіи — положите на ваше имя благословеніе русскаго мужика. До сихъ поръ русскіе аристократы заслуживали только благодарность государей, они только имъ и служили, да иногда государству, — народу никогда; за то народъ ихъ ненавидитъ. Перемѣните эту традицію.

Мы не забыли того времени, когда мы васъ лично знали. Въ васъ было много благороднаго, вы любите Россію, покажите, графъ, что маіоратъ въ сорокъ тысячъ душъ не перетянетъ.

— *Опять розги.* — Корреспондентъ Le Nord (№ 53) пишетъ изъ С.-Петербурга отъ 30 Января (11 Февраля): „Съ вчерашняго дня носится слухъ, что въ послѣднемъ засѣданіи, комитетъ освобожденія крестьянъ, возвращаясь къ прежнему положенію, призналъ за помѣщикомъ право, по собственному усмотрѣнію (или черезъ сельскую расправу), наказывать свободнаго крестьянина, поселеннаго на его землѣ, и даже *наказывать тѣлесно*... Я самъ не читалъ отчета засѣданія, и потому не знаю въ какихъ словахъ выражено это положеніе; но что касается до содержанія, то, быстро распространенный слухъ отнюдь не лишенъ основанія.“

Такъ вотъ они спасители отечества! Россія опять вгоняется въ татарско-нѣмецкую, помѣщичьи-бюрократическую колею. Если это правда, пусть же первый топоръ, который они вызовутъ этимъ рѣшеніемъ, падетъ на ихъ преступныя головы.

Колоколъ №№ 65 и 66.
15 Марта 1860 года.

[redacted]

Невѣроятная новость о назначеніи *Панина* на мѣсто *Ростовцева* подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакціи — поставленъ главою освобожденія крестьянъ. Съ глубокой горестью узнали мы объ этомъ. Но горевать недостаточно, наше время слишкомъ бойко. Это вызовъ, это дерзость, это обдуманное оскорбленіе общественнаго мнѣнія и уступка плантаторской партіи. Тонъ царствованія измѣнился, съ нимъ должны измѣниться и всѣ отношенія.

Члены редакціонныхъ коммиссій, если имъ дорого ихъ дѣло, если имъ дорога память, которую они оставятъ въ исторіи, если они хотятъ, чтобъ имъ отпустили ихъ бюрократическія страстишки и дѣтскую привязанность къ розгамъ, должны тотчасъ подать въ отставку. Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять въ свои руки дѣло освобожденія крестьянъ. Ошибаться нечего, длинная фигура Панина можетъ служить шестомъ съ шляпой, чтобъ пугать, но она слишкомъ *узка*, чтобъ застить собою черты Николая втораго. Мы недавно совѣтовали государю сорвать маски съ своихъ приближенныхъ; онъ ее снялъ съ себя... и это не такъ дурно! *Истина прежде всего*, истина какая бы она ни была!

Что касается до насъ, наша дорога ясна, объ ней мы поговоримъ въ другое время.

ТОПИЛЬСКІЙ ВЪ НЕНУЖНОМЪ МѢСТѢ.

Ну прорвало плотину! вся грязь, мертвыя кошки, выброшенные голенищи, арбузныя корки — все понеслось за Панинымъ.... Михайло Ивановичъ, поздравляемъ васъ въ редакціонномъ „мѣстѣ“ (коммиссіей ее нельзя больше называть), ха, ха, ха, — признайтесь милый, услужливый, удобоуправляемый Топильскій, вы вѣрно расхохотались, когда прочли ваше назначеніе. Балагуры да и только!

„Прошка, Прошка“ — сказалъ бы Суворовъ — „зачѣмъ, дуракъ, не дожилъ до 1860 года, вотъ ты, Прошка, сидѣлъ бы теперь въ редакціонномъ мѣстѣ!

Михаилъ Ивановичъ, вы соберите новыхъ депутатовъ отъ дворянства — Гутцейта, помѣщицу Свирскую, казака Попова, Жадовскаго, нѣмца Вреде, стрѣлка Кочубея и другихъ членовредителей, насилователей, домо-крадовъ à la Panine, сѣкарей и иныхъ плантаторовъ!“

Колоколъ № 67.
1 Апрѣля 1860 года.

— *Набѣгъ Нѣмецкихъ Татаръ въ Тамбовскую губернію.* — Пятый листъ *Подъ Судъ* напечатанъ. Въ немъ разсказана возмутительная исторія безсмысленнаго и безнаказаннаго дранья розгами *больше ста* крестьянъ, генералъ-адъютантомъ Толстымъ, Тамбовскимъ губернаторомъ Данзасомъ и разными подъячими гражданскаго вѣдомства и палачами — военнаго. Дѣло изложено подробно, безъ фразъ, простымъ дѣловымъ слогомъ. Оно требуетъ изученія и вполнѣ заслуживаетъ его; въ этой службѣ правительства кабакамъ выразилась вся безнравственность петербургскаго періода, отсутствіе всѣхъ юридическихъ понятій и человѣческихъ чувствъ,

Такъ какъ при Петрѣ I, Меньщиковъ пристрѣливалъ стрѣльцовъ на Кремлевскихъ зубцахъ, не думая вовсе о томъ, что это работа палачева подмастерьи, — такъ и теперь, ни одному генералъ-адъютанту, флигель-адъютанту, плацъ-адъютанту и просто адъютанту въ голову не приходитъ, что *сѣчь*, даже и по высочайшему повелѣнію, *не совмѣстно* съ достоинствомъ порядочнаго человѣка. Они все еще представляютъ себя Татарами, пожалованными въ Нѣмцы, за завоеваніе Россіи.*)

Замѣчательно, что въ исторіи, напечатанной въ 5 листѣ *Подъ Судъ*, все беззаконно, начиная съ *беззаконной откупной* системы. Откупъ произвольно, въ ясное противорѣчіе условіямъ, *надбавляетъ* цѣны; плутующее съ нимъ правительство, подъ сурдинкой, шепчетъ министромъ финансовъ, что оно разрѣшило грабить народъ. Народъ, который не знаетъ ни высочайшаго банкрутства, ни высочайшаго разрѣшенія на продажу, требуетъ, въ небольшомъ уѣздномъ городѣ, вина по законной цѣнѣ; ему отказываютъ, грубятъ; нѣсколько горячихъ головъ разбиваютъ питейные дома, забывая, что отъ *безденежья* правительства — кабакъ поднялся въ рангъ церкви и дворца, что оскорбленіе кабака становится оскорбленіемъ величества. Кража вина — не просто кража, а *винотатство!*

Послѣ совершеннаго успокоенія и *послѣ* произведеннаго слѣдствія, при которомъ, разумѣется, сѣкли сколько душѣ угодно, является изъ Невской орды баскакъ Толстой и говоря, что *„судъ затянетъ дѣло“*, *безъ всякаго суда* деретъ *нѣсколько десятковъ* человѣкъ; потомъ деретъ Данзасъ—послѣ Данзаса деруть подъячіе. Окружный *Кидашенковъ*, одинъ исполнившій долгъ, кажется какимъ-то Римскимъ героемъ, въ звѣриной пещерѣ.

Добавимъ интересный разсказъ, небольшой подробностью, кладущей александровскій вѣнокъ на это происшествіе.

На другой день сѣченія крестьянъ, въ Спаскѣ офицеры Казанскаго полка давали Толстому завтракъ, на которомъ былъ Данзасъ, чиновники и разные дворяне. На этомъ завтракѣ полковой командиръ *Минковичъ-Петровскій* говорилъ рѣчь о преданности полка престолу, которую они *такъ ясно доказали на канунѣ*. Толстой ему отвѣчалъ.

При Николаѣ драли, ссылали, пытали, — но все было покрыто

---

*) При всемъ разглагольствованіи о прогрессѣ въ Россіи, дотѣлесныхъ наказаній не касаются. Пытки и мученія людей такъ глубоко взошли въ нравы, развращенные помѣщичьей властью и петербургской бездушной военщиной, что радикальные члены редакціонной коммиссіи отогрѣваютъ розги на груди своей; а морскіе и сухопутные офицеры отогрѣваютъ ихъ по прежнему на солдатской спинѣ.

Что за удивительная страна, въ которой каждый человѣкъ, въ свою очередь, охотно можетъ сдѣлаться звѣремъ — нѣтъ, хуже — катомъ, палачемъ, заплечнымъ мастеромъ!

молчаніемъ рабства, молчаніемъ повиновенія; а это царствованіе деретъ съ *репетиціей*, со спичами! Гласность, прогрессъ!

— —

— НАЧАЛО НОВЫХЪ ГОНЕНІЙ ВЪ РОССІИ. — Въ Петропавловской крѣпости велѣно приготовить казематы. На дняхъ ждутъ *двѣнадцать* студентовъ Харьковскаго и Кіевскаго университетовъ, обвиненныхъ въ революціонномъ образѣ мыслей и въ революціонныхъ замыслахъ!

—

— „Times“ отъ 24 марта подтверждаетъ страшную вѣсть объ арестаціяхъ въ Кіевѣ и Харьковѣ, прибавляя, что такія же арестаціи были въ Казани. Между арестованными находится профессоръ КАЧАНОВСКІЙ. Корреспондентъ „Теймса“ замѣчаетъ, что вѣроятно, по обычному усердію русской полиціи, какое нибудь *литературное* общество принято за заговоръ.

За работу, г. Тимашевъ! За работу, III отдѣленіе!... Батракъ вашъ Лужинъ доставилъ вамъ грубую матерію, прославьте царствованіе—гласности и мягкодушнаго прекраснодушія! А l'œuvre, господа!

Колоколъ №№ 68 и 69.
15 Апрѣля 1860 года.

СЛОВО ГРАФА ВИКТОРА ПАНИНА
КЪ ДЕПУТАТАМЪ.

„Господа,

„Вы помните слова государя императора, я ихъ глубоко запечатлѣлъ въ моей памяти и буду дѣйствовать сообразно имъ. Вы знаете, что предположенія редакціонной коммиссіи еще не утверждены, а потому не могу сказать ничего, *ни успокоительнаго*, *ни благопріятнаго* для васъ и надѣюсь, что вы воздержитесь отъ всего,что можетъ возбудить *большія надежды или опасенія* въ дворянствѣ. Хотя самъ *богатый* помѣщикъ, я не забуду интересы помѣщиковъ *не богатыхъ* и помня, что крестьяне не имѣютъ здѣсь своихъ представителей, я буду имѣть въ виду выгоды ихъ, тѣмъ болѣе, что вполнѣ убѣжденъ, что дѣло не можетъ обойтись безъ жертвъ со стороны дворянъ. Это дѣло, гг., наше *частное*, *семейное*, оно не должно выходить отсюда, а потому не надо *распространять его*, *а тѣмъ болѣе писать объ немъ ЗАГРАНИЦУ*. Теперь я имѣю къ вамъ еще просьбу, господа. Я слышалъ, что многіе изъ васъ собираются у графа Шувалова, гдѣ дворянство приготовляется къ выборамъ, а потому и прошу васъ *прекратить ваше посѣщеніе*, *потому что тамъ будутъ стараться завлечь васъ*.

„Дверь моя вамъ всегда открыта, для всѣхъ и каждаго, *но я прошу васъ не посѣщать меня*, чтобы не подать поводъ къ толкамъ, что я нахожусь подъ вліяніемъ того или другаго. И такъ, господа, совѣтую вамъ заниматься. Гг., въ этомъ отношеніи я

имѣю навыкъ; нѣтъ такого важнаго государственнаго дѣла, котораго нельзя было бы окончить въ *четырнадцать дней.*"

Безсмысленныя слова этого графа-чиновника — почти примирили насъ съ нимъ, намъ стало жаль эту длинную фигуру больнаго, у котораго на такой высотѣ размягчился мозгъ (и прежде не очень твердаго состава, по правдѣ). Онъ подлежитъ исключительно медицинскому суду; суду общественнаго мнѣнія подлежитъ тотъ, кто его посадилъ вмѣсто сумасшедшаго дома въ *освободительный!*

Замѣтьте, каждая фраза *плюсъ-минусъ — равна нулю.*

Что значитъ, что Панинъ не имѣетъ ничего *ни успокоительнаго, ни благопріятнаго?* Что онъ называетъ успокоительнымъ? — Оставить все по прежнему? Права на домокрадство, на постельную барщину, на шесть дней... розги, поборы?... Почему освобожденіе крестьянъ дѣло *частное и семейное*, почему его слѣдуетъ беречь подъ сурдинкой? Это дѣло земское, историческое, всероссійское, а вовсе не семейное *богатыхъ* помѣщиковъ, сердобольствующихъ *бѣднымъ.* А хорошо и это хвастовство своимъ состояніемъ! Представьте себѣ судью, который бы сказалъ просителю: „Не смотря на то, что я богатъ, а ты бѣденъ, я тебя буду защищать." За такую грубую пошлость министръ юстиціи (еслибъ онъ былъ не Панинъ) долженъ былъ бы сдѣлать ему черезъ Топильскаго выговоръ.

Страхъ передъ „Колоколомъ" намъ слишкомъ лестенъ, мы становимся на стулъ и цалуемъ его за это въ лобъ.

Доносъ на Шувалова и страхъ передъ нимъ — гадокъ, мелокъ. Впрочемъ хороши и мы, забыли нашего старика Крупова, — какого-же мы смысла доискиваемся въ словахъ больнаго, который все забылъ, даже Альфреда де Мюссе; иначе бы онъ зналъ: „Что дверь должна быть заперта или открыта!"

О Круповъ, прими его, возьми его, облей его холодной водой... еще.... еще и еще немного!

ПИСЬМА ИЗЪ РОССІИ.

....„Грустно, грустно и грустно! Не пришлось бы Россіи сказать Александру Николаевичу, какъ сказала Татьяна Онѣгину: *А счастіе было такъ возможно, такъ близко!*"

Этими поэтическими, но безконечно печальными строками оканчивается одно изъ множества писемъ, полученныхъ нами въ послѣдніе десять дней.

Письма эти сами по себѣ замѣчательны: у испуганныхъ, удивленныхъ людей, явилась потребность заявить свое негодованіе, свой крикъ боли, вслѣдъ за неожиданнымъ воскресеніемъ Николаевскаго времени.

Твердо перейдемъ время этого тяжелаго испытанія, станемъ добре, и не утратимъ вѣры въ Русское развитіе, оттого что сда-

бый государь, спотыкнувшись объ Панина, упалъ въ слякоть и грязь — Лужинскихъ доносовъ. Его жалчѣе насъ, „Послѣ пятилѣтняго царствованія, наполнившаго надеждами сердца Римлянъ— Цезарь измѣнился!“ Рѣчь шла о Неронѣ; отъ души желаемъ, чтобъ эти слова Римскаго лѣтописца не повторились будущимъ Карамзинымъ.

Насъ упрекнуть нельзя. Мы держались до послѣдней крайности, до открытой измѣны, до преступнаго назначенія Панина, до самоуправства въ дѣлѣ *Унковскаго и Европеуса*, до *полицейскаго* заговора, вслѣдствіе котораго нахватали студентовъ, профессора *Качановскаго*, и мы не знаемъ кого еще.*) Мы могли поддаваться и уступать, когда главный потокъ шелъ своимъ русломъ, теперь другое дѣло!

Прощайте, Александръ Николаевичъ, счастливаго пути! Bon voyage!... Намъ сюда.

— Какъ? Закричатъ снова рыбокровные мудрецы, наши Метернихи en herbe, наши Оксенштирны въ прозябаніи. — „Давно ли вы говорили...?“ — Пожалуста, гг. Сперанскіе in spe, обратитесь съ этимъ вопросомъ къ Александру Николаевичу. Изъ насъ двухъ —честь „шанже черезъ половину манежа“—принадлежитъ не намъ.

Люди умственной выправки и доктринерной шагистики, негодуютъ на наши увлеченія событіями, на то, что плывя рѣкой, мы вмѣсто прямой линіи слѣдуемъ ее извилинами. Невскіе стоики— стоящіе на неизмѣнной нравственной снѣговой линіи, не могутъ намъ простить ни смѣха нашего, ни нашихъ слезъ, и гордо издѣваются надъ слабымъ характеромъ, которому холодно въ декабрѣ и жарко лѣтомъ.

Но вѣдь это происходитъ отъ того, что наши положенія розны. *Они ведутъ* народъ, *внушаютъ* ему, для его собственной пользы, какъ слѣдуетъ идти на англійскій манеръ, какъ на французскій. Мы, матеріально оторванныя песчинки, проснувшейся толпы, массы въ Россіи—мы только сильны инстинктомъ, по которому угадываемъ, какъ у ней бьется сердце, когда она обливается кровью, и что она хочетъ сказать, да не можетъ.

На это мы воротимся. Теперь обращаемся къ письмамъ. Мы передадимъ только фактическую часть и слухи.

Миѳы и легенды, ходящіе о назначеніи Панина, очень замѣчательны. Одинъ корреспондентъ пишетъ, что: „Муравьеву и Панину поручено было опечатать кабинетъ Ростовцева. Государь самъ явился туда и засталъ Панина одного; ждетъ часъ, другой, Муравьева нѣтъ—„ну такъ я тебя назначаю предсѣдателемъ коммиссіи“. Ben trovato! Нелѣпости должны быть основаны на глупой случайности. Когда люди играютъ въ жмурки, въ томъ-то и забава, что они не знаютъ впередъ *кого именно* поймаютъ за полу

*) Теймсъ отъ 9 Апрѣля опять говоритъ объ обыскахъ, арестаціяхъ и между прочимъ о томъ, что у профессора *Павлова* захвачены бумаги.

А вѣдь еслибъ государь поймалъ и Муравьева — тоже бы не бобра убилъ. Досадно, что на эти petit jeux, приглашаются только свои дворовые, а то, пожалуй, случай бы палъ на парижскаго Киселева, понявшаго общину еще при Николаѣ, или на старѣйшаго бойца за освобожденіе крестьянъ съ землею Н. И. Тургева. Они повели-бы дѣло лучше прежняго. А то какъ весь embarras du choix, между Адлербергомъ старымъ, да Адлербергомъ молодымъ, Панинымъ долгимъ, да Долгорукимъ недальнимъ — тутъ выбора нѣтъ. Тутъ и Діогенъ съ своимъ фонаремъ, кромѣ Буткова ничего бы не сыскалъ.

Не хуже и другая легенда. Назначенію Панина (и это пишутъ двое корреспондентовъ) *содѣйствовала* императрица „вслѣдствіе экономическихъ и религіозныхъ идей своихъ, которыя не сходятся съ мыслію *освобожденія крестьянъ съ землею!*“

Дѣйствительно ни піетизмъ, ни политическая экономія не доведутъ до надѣла землею. Это мнѣніе чисто нѣмецкое, т. е. вредное, по logisch consequent. Христіанство требуетъ, чтобъ всѣ мы были нищими и немного бродягами; сверхъ того, оно поучаетъ, чтобъ мы заботились о ближнемъ, больше чѣмъ о самомъ себѣ, потому и не мудрено, что оставаясь еще въ мірскомъ довольствѣ, государыня возжелала *прежде* освободить крестьянъ отъ *временной* земли, облегчая имъ тѣмъ самымъ надѣлъ вѣчный — пашни райскія, десятинами безконечными, отъ вѣка засѣянными, и притомъ сѣменами не отъ житницы, не отъ зерна!

Мы не обвиняемъ императрицу въ томъ, что она думаетъ разомъ по ученію апостоловъ Христа и апостоловъ Мальтуса, и что она не знаетъ русскаго вопроса. Но зачѣмъ-же ей мѣшаться въ такія иностранныя дѣла, какъ освобожденіе *нашихъ* русскихъ крестьянъ, какъ надѣлъ ихъ *нашей* русской землей?

По третьему сказанію повѣствуется, что Панина назначилъ государю Ростовцевъ, умирая. Этому трудно повѣрить; неужели онъ хотѣлъ заключить свою карьеру какъ началъ, или развѣ онъ умеръ въ бреду?

Что касается до героя романа, то есть до Виктора Никитича, онъ тотчасъ началъ дѣйствовать какъ стрихнина, наводя столбнякъ и окаченѣніе на все живое, мертвящимъ формализмомъ и убійственной буквой. Вотъ чѣмъ занялась эта голова на шестѣ, призванная опошлить великое дѣло освобожденія: она велѣла „членамъ коммиссій являться въ виц-мундирахъ или фракахъ, велѣла составить *вѣдомость* дѣламъ рѣшеннымъ и нерѣшеннымъ, имѣющимъ быть обсуживаемыми и не имѣющими быть обсуживаемы“.

Но и сами коммиссіи, по какому-то ясновидѣнію, иногда посѣщающему людей, передъ смертью или бѣдой, ошалѣли, предупреждая стрихнинное дѣйствіе Ивана Великаго юстиціи. „Въ административномъ отдѣленіи князь Черкасскій снова возбудилъ вопросъ о розгахъ и числѣ ударовъ (это просто мономанія у этого человѣка!), ему возражали, что онъ уже отказался отъ розогъ

печатно, на это онъ отвѣчалъ, что „одно въ печати, а другое на дѣлѣ;“ прибавляя Карамзино-Ансильоновскимъ стилемъ: „Кто хочетъ популярности, тотъ можетъ говорить противъ розогъ (кто противъ бога и великаго Новгорода!) а кто *серьезно мыслитъ*, тотъ не можетъ не признать ихъ необходимости“. (Непремѣнно спрошу у Стюарта Миля, у Прудона, и за неимѣніемъ Гегеля — у Фейербаха, вотъ и узнаю, *серьезно*-ли они думаютъ или нѣтъ). Говорятъ, что ему сильно возражалъ Соловьевъ, и когда болотировали Черкаское предложеніе, оказалось что голоса раздѣлились пополамъ. Гамлетовскій вопросъ, переложенный на русскіе нравы—*бить или не бить и если бить, то сколькими ударами?* перешелъ въ общее собраніе; тамъ произошло тоже равенство. Голосъ предсѣдателя Булгакова (коего упражненія въ риторическомъ стилѣ мы имѣемъ) долженъ былъ дать перевѣсъ. Жаль сдѣлалось велерѣчивому предсѣдателю — сѣколюбиваго князя, и онъ склонился на сторону розогъ; они то послужатъ торжественными ваіями, которыми члены умилостивятъ у вратъ града Іакова, когда изъ Кафернаума юстиціи будетъ въѣзжать въ нихъ Панинъ, сидя на скромномъ Топильскомъ.

Говорятъ, что либеральные защитники *розогъ* извиняются тѣмъ, что разрѣшены только *двадцать ударовъ* (экіе дикіе татары, пусть прикинутъ на счетахъ 20+20+20+20=сколько будетъ?) А впрочемъ пусть останутся розги въ самомъ дѣлѣ, во все продолженіе нелѣпаго переходнаго состоянія — какъ памятникъ, гнусной, позорной, не аристократической касты, касты палачей и плантаторовъ. Честь и слава гражданамъ, *не ищущимъ популярности* и поддерживающимъ свирѣпые и кровавые апетиты сословія, которому можетъ безъ этого *народъ простилъ бы прошедшее!**)

---

*) Въ двухъ письмахъ, полученныхъ нами, есть противурѣчіе въ одномъ имени. Шутить этимъ нечего. Люди, подавшіе въ 1860 году голосъ за розгу, должны знать, что ихъ имена останутся у позорнаго столба. какіе бы они ни были бюрократы, администраторы или товарищи. Вотъ почему мы искренно просимъ сообщить намъ, вѣренъ ли этотъ списокъ именъ:

Противъ сѣченія.	*За сѣченіе.*
Гирсъ,	Кн. Черкасскій,
Соловьевъ,	*Самаринъ(!)*,
Доментовичъ,	*Милютинъ*,
Бунге,	Галаганъ,
Арапетовъ,	Семеновъ,
Кн. Голицынъ,	Семеновъ 2,
Любощинскій,	Булгаковъ,
Заблоцкій,	Татариновъ,
Кульчинъ,	Гродянко,
Калачовъ,	Залѣскій,
Булыгинъ.	Желѣзновъ.

Въ другомъ письмѣ совсѣмъ напротивъ, именно сказано, что

Колоколъ № 71.
15 Мая 1860 года.

НОВОСТИ ИЗЪ РОССІИ.

Начнемъ съ слѣдующей, пріятно успокоивающей, вѣсти, помѣщенной въ 74 № С. П. Вѣдомостей, подъ рубрикой *Россія*:

„Въ четвергъ, 31-го марта, въ Малой Церкви Зимняго Дворца сподобились пріобщиться Святыхъ Христовыхъ Тайнъ: Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ, Государыня Императрица Марія Александровна, Ихъ Императорскія Высочества: Великіе Князья Алексій и Сергій Александровичи, Великая Княжна Марія Александровна и Великіе Князья: Константинъ Николаевичъ, Николай и Константинъ Константиновичи, Николай Николаевичъ „младшій", Великія Княгини Александра Іосифовна и Александра Петровна и Великія Княжны Ольга и Вѣра Константиновны."

За тѣмъ сообщимъ читателямъ, что исполненіе священныхъ обязанностей не имѣло никакого вліянія на теченіе дѣлъ, а только собственно на русскій языкъ, который принямъ церковно мистическій оттѣнокъ. Мы читаемъ въ той же газетѣ.

«На докладѣ святѣйшаго синода о трехъ избранныхъ кандидатахъ на вакансію викарія санктпетербургской епархіи, епископа ревельскаго, въ числѣ которыхъ первымъ назначенъ былъ ректоръ санктпетербургской духовной семинаріи архимандритъ Леонтій, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе удостоенному епископскаго сана произвести въ Санктпетербургѣ — 5 марта, собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: *„Быть первому, а въ прочемъ быть по сему."*»

Вы поняли? Мы рѣшительно ничего!

— —

— *Переходное состояніе.* — Каждая эпоха имѣетъ свое помѣшательство, каждая страна свое. Русское помѣшательство на сію минуту—*переходное состояніе.* Переходнымъ состояніемъ плантаторы и бюрократы отдалили освобожденіе крестьянъ, переходнымъ состояніемъ начинается робко, едва замѣтно уничтоженіе розогъ, палокъ, плетей. Однодворцевъ не будутъ больше сѣчь; разумѣется это очень хорошо, но отчего же однихъ однодворцевъ исключили?.. Такъ это никого и не сѣчь? Какъ можно — надобно *переходное состояніе,*—за однодворцами не позволятъ сѣчь кучеровъ, потомъ поваровъ и т. д. Методъ всего важнѣе! Тѣмъ не менѣе это благое начало. Скажите, въ прочность чего вѣрить смертному, когда даже будущность розогъ въ Россіи сомнительна.

Самаринъ былъ совершенно противъ *Черкасскихъ* бичеваній.

Колоколъ № 72.
1 Іюня 1860 года.

ЗА ПЯТЬ ЛѢТЪ.*)

Прощайте, Александръ Николаевичъ,
счастливаго пути! Bon voyage!.. намъ сюда!

Колоколъ, 15 апрѣля 1860.

Случайно предпринятое изданіе политическихъ статей нашихъ, разбросанныхъ въ „Полярной Звѣздѣ" и „Колоколѣ" за послѣднее пятилѣтіе, получаетъ особенный смыслъ по угрюмымъ событіямъ, при которыхъ является нашъ сборникъ. Обстоятельства дѣлаютъ изъ него пограничный столбъ. Мы опять входимъ въ какую-то новую область хаоса и сумерокъ, и снова должны перемѣнить нашу одежду и нашъ языкъ — именно потому, что мы неизмѣнно остаемся вѣрными своимъ убѣжденіямъ. Извѣстная глубина необходима для плаванія, и выборъ фарватера зависитъ не отъ насъ, а отъ потока: мы сойдемъ по всѣмъ его изгибамъ — лишь бы идти впередъ къ нашей цѣли и не стать на мель.. воображая, что двигаемся. Пять лѣтъ тому назадъ мы въ первый разъ послѣ семи страшныхъ годовъ, проведенныхъ въ похоронахъ лицъ, народовъ, надеждъ, вѣрованій, взглянули нѣсколько сквозь на будущее, вздохнули какъ выздоравливающіе послѣ тяжелаго недуга.

Невѣрная полоса бѣлаго свѣта зажглась на русскомъ небосклонѣ. Мы ее предчувствовали, предсказывали среди темной ночи, но не ждали ее такъ скоро — на нѣй-то споткнулись мы всѣ наши обманныя упованія и осколки всѣхъ надеждъ. Запасу мы были уже на столько чужды, что его сумма не оставляла больше для насъ жизненнаго воздуха. Съ глубокимъ интересомъ, съ сочувствующей печалью, слѣдили мы за мрачно развивающейся трагедіей его, но укрѣпленные сознаніемъ, благословляя великое прошедшее—собирались, какъ бодрствуясь послѣ полнѣти і грацію, продолжать свой путь.

На всѣхъ мы не какъ упали—насъ оставляло какое-то болото безъ конца, которое мы не ждали, и которое грудитъ безъ шума и грома, неизвѣстно утянуть какъ на силы послѣдняя силы — тяжкой, скучной грязью, разнимая отчаяніе надежды и разрывая ненависть — скованнымъ.

Неужели мы опять ошиблись? Можетъ, но только не въ своемъ дѣлѣ, это можетъ; мы сами ошиблись въ времени, образованіе бѣдными разсѣчонъ: мы не имѣли тѣхъ стихійныхъ, неистовыхъ, непреодолимыхъ гуманнымъ, какъ которыми свѣтъ не имѣетъ власти, или должны бороться съ ними цѣлыя поколѣнія.

Роковая сила современной реакціи въ Россіи, — реакціи без-

*) Съ этимъ предисловіемъ вышла первая часть нашего сборника.

смысленной, ненужной, оттого такъ трудно сокрушима, что опирается на двухъ твердыняхъ гранитной крѣпости—на *тупоумій правительства и на неразвитости народа.*

Тупость пониманія—власть, сила, величайшая иронія надъ разумомъ и логикой. Неразвитіе не такъ упрямо, но оно уступаетъ только одному времени, долгому времени. Это-то насъ и повергаетъ въ отчаяніе, мы скорѣе готовы поступиться всѣмъ—достояніемъ, свободой, чѣмъ временемъ. Time is money, говорятъ англичане—какъ можно, гораздо дороже, гораздо больше: *время—мы!*

Но какъ бы ни была естественна досада, снѣдающая человѣка, когда онъ видитъ, „что счастье было такъ возможно, такъ близко"*) и ускользаетъ отъ неловкости пальцевъ; какъ ни естественъ тотъ ужасъ, овладѣвающій нами, когда мы кричимъ путнику, не замѣчающему пропасти подъ ногами, и чувствуемъ, что голосъ нашъ не достигаетъ, — все же надобно смириться передъ истиной и вмѣсто упорства и траты силъ въ отстаиваніи своихъ путей, занесенныхъ реакціей — идти той тропинкой, по которой можно дойти. Въ этой измѣняемости при постоянномъ стремленіи — состоитъ все творчество природы, все богатое многообразіе ея формъ, при единствѣ и простотѣ началъ и цѣлей.

Надобно найтиться въ новомъ положеніи. Правда, что мы выходимъ бѣднѣе изъ пятилѣтія *добрыхъ надеждъ*, но за то и грузу съ ними меньше на болотистый путь.

Мы думали, что самодержавіе можетъ еще въ Россіи совершить подвигъ *освобожденія крестьянъ съ землею*. Такого рода спутанные узлы, около которыхъ накипѣла старая неправда, гдѣ интересы перекрещиваются съ справедливостью и нравственныя понятія расходятся съ положительнымъ законодательствомъ, — громовой ударъ рѣшаетъ часто лучше всѣхъ контроверзъ и словопрѣній. Такъ мы и думали. Что-же вышло? Самодержавіе, никогда не задумывавшееся ни надъ чѣмъ, проливавшее кровь и слезы съ бездушіемъ локомотива встрѣчающаго препятствія, застѣнчиво остановилось, произнеся слово *освобожденіе съ землею* и стало совѣтоваться съ генералами и бюрократами, съ молодыми учеными и „вѣтхими" невѣжествомъ стариками. Этого было мало, оно созвало какихъ-то нотаблей, и велѣло имъ *молчать* свой совѣтъ. Все это вмѣстѣ невольное сознаніе, что у императорства нѣтъ больше вѣры въ свою нравственную силу, въ ту кровную связь съ народомъ, по которой правительство и революціонеръ чуютъ, что имѣютъ право *дерзнуть!*

Статья наша 1 января 1860 была послѣднимъ усиліемъ, которымъ мы *себѣ* еще доказывали возможность „улучшенія быта" императорскаго — освобожденіемъ его отъ грубой и невѣжественной дворни, отъ тлетворной, мертвящей бюрократіи.

Но уже Александръ II, испуганный какими-то призраками, дер-

*) „Колоколъ" листъ 68 и 69.

жался за безконечные фалды Панина и говорилъ ему: „Ты меня не обманешь!“

Это своего рода отреченіе.

Александръ II пустилъ прашу, и въ этомъ его историческое значеніе, куда она долетитъ — внѣ его власти, это даже независимо отъ того обманетъ его Панинъ или нѣтъ. Не есть-ли это царское колебаніе, своего рода vivos voco! Не есть-ли это колоколъ, напоминающій меньшинству совершеннолѣтнихъ, что пора свои дѣла дѣлать самимъ, что полно надѣяться всего отъ правительства. Оставимъ его при его административныхъ занятіяхъ и дипломатическихъ сплетняхъ. Отойдемте отъ его плацпараднаго мѣста, и займемся своими дѣлами, пусть оно стоитъ, какъ Невская пирамида, храминой, въ которой живетъ умершій.

Убѣдитесь, что отъ правительства ждать нечего. Безъ Ахиловой пяты для разума, занятое храненіемъ стараго ритуала и канцелярскихъ формъ, довольное пышнымъ облаченіемъ и матеріальной властью, оно будетъ иной разъ, подъ вліяніемъ современнаго тока идей, судорожно протягивать руки къ прогрессу, всякій разъ пугаясь на полдорогѣ... Все это, можетъ, продолжится долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока кто нибудь по смѣлѣе заглянетъ подъ занавѣсъ и увидитъ — не то что императоръ умеръ, а что правительство приказало „долго жить народу!“

Кому не случалось видѣть старыя цитадели, мрачно стоящія цѣлые вѣка? Съ тѣхъ поръ какъ онѣ разсылали смерть врагамъ, новая жизнь обростила ихъ вѣнкомъ улицъ, садовъ, дворцовъ, раздаваясь шире и шире въ полѣ и примыкая тѣснѣе и тѣснѣе къ бойницамъ, съ своими ржавыми пушками, возлѣ которыхъ ходитъ въ дѣловомъ бездѣльи часовой, а внутри воробьи вьютъ гнѣзда. Смѣняются поколѣнія и вдругъ всѣмъ представляется вопросъ: зачѣмъ эти стѣны, ни отъ кого не защищающія, зачѣмъ содержится гарнизонъ, о чемъ ходитъ рапортовать коменданту всякій вечеръ праздный шалунъ съ сѣдыми усами? Городу становится смѣшно; и вѣковая крѣпость идетъ на мусоръ, а жизнь быстро покрываетъ рубецъ своими полипниками и ячейками.

Такой грозный кремль представляетъ наше правительство. Все взято въ реквизицію комендантомъ, все, какъ и слѣдуетъ въ осадномъ положеніи, nolens volens *служитъ*. Россія представляетъ небывалое зрѣлище государства, въ которомъ все признанное человѣкомъ состоитъ сплошь *изъ чиновниковъ*, военныхъ или гражданскихъ.

Литература, университеты и крестьянская изба одни не участвовали положительно въ утвержденіи и поддержаніи самодержавнаго канцелярскаго порядка, принятаго за цѣль государства. На подавленную избу не обращали вниманія; одни расколы гналъ по временамъ экзекуторъ, какъ нарушеніе церковной *формы*. Литературу и университеты дѣйствительно и ненавидѣлъ знатокъ своего дѣла —Николай.

Цѣлый народъ былъ подъ опекой, какъ какой нибудь недоросль,

Покойный опекунъ дошелъ до того геркулесова столба, что частнымъ людямъ не позволялъ на свои *собственныя деньги* строить желѣзныя дороги!

За этимъ оставалось народу окончательно убѣдиться, что онъ недоросль, сдѣлаться зоологическимъ видомъ, и спокойно остановиться въ сосѣдствѣ съ хивинцами, бобрами, киргизами, лемурами. Но именно тутъ-то и оказывается, *гдѣ* жизнъ въ самомъ дѣлѣ. Рабъ, скованный по рукамъ и по ногамъ, прошнурованный и привязанный къ „дѣлу", безъ рѣчи, запутанный сѣтями бюрократіи, отданный въ солдаты и высѣченный, вздрогнулъ отъ нашествія иноплеменнаго врага, натянулъ свои мышцы, и на краю позора почувствовалъ свою силу и подозрительную крѣпость казенныхъ веревокъ—какъ будто и эти заготовляются въ коммиссаріатѣ.

Вздрогнулъ и царь, открылъ и онъ глаза.... молчаніе степи, — воровство возлѣ, воровство вдали, ни теплаго взгляда, ни человѣческаго лица, ни преданности, все застегнутые воротники, все по формѣ сшитые и хорошо пригнанные мундиры... внизу стонъ, арміи гибнутъ, раскаты пушекъ, зарево, корабли тонутъ, кровь течетъ... депеша изъ Евпаторіи вывалилась изъ рукъ и онъ умеръ.

Россія дала *пять лѣтъ ожиданія* за нѣсколько добрыхъ словъ, за желаніе добра. И что же вышло? Такое же доказательство неспособности, несостоятельности въ добрѣ, какое оказалось за пять лѣтъ, — *въ злѣ!*

Что же слѣдуетъ изъ этого? Пора перестать играть въ гарнизоны. Оставимъ *правительство* — *правительствовать* и будемте заниматься своимъ дѣломъ. Для этого пойдемте въ отставку, хозяйство разстроено, дѣтей надобно воспитывать, дѣлать ихъ ручными изъ баричей.

Ослабимъ правительство нашимъ неучастіемъ. Дѣла и съ нимъ стоятъ, а *дѣлопроизводство* не остановится. У него и безъ насъ довольно помощниковъ, оно развело во всѣхъ канцелярскихъ щеляхъ — писарей, бюрократовъ-нѣмцевъ, бюрократовъ-доктринеровъ. Они для него возвели чиновничество въ науку, оно для нихъ низвело правительство на степень управы благочинія. Изъ благодарности они должны остаться съ правительствомъ, какъ мыши съ тонущимъ кораблемъ....

А мы будемте *сами собой!*

Колоколъ №№ 73 и 74.
15 Іюня 1860 года.

АВГУСТѢЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЗБОЙ.

„*Государь Императоръ*, усмотрѣвъ изъ доставленныхъ отъ министра финансовъ свѣдѣній о податяхъ за вторую половину 1859 г., что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ съ государственныхъ крестьянъ поступили подати въ *количествѣ превышающемъ годовой окладъ*, Вы-

сочайше повелѣть соизволилъ, за успѣшныя дѣйствія по взысканію съ означенныхъ крестьянъ *податей* въ 1859 году, объявить Монаршее Его Императорскаго Величества благоволеніе палатамъ государственныхъ имуществъ: Виленской, Калужской, Кіевской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Владимірской. Вятской, Костромской, Курской, Нижегородской, Псковской, Подольской, Тульской и Харьковской." („С.-Петрб. Вѣд." 23 Апрѣля 1860)

„*Государь Императоръ*, усмотрѣвъ изъ доставленныхъ отъ министра финансовъ свѣденій о податяхъ за вторую половину 1859 г., что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ съ государственныхъ крестьянъ поступили подати болѣе годоваго оклада, Высочайше повелѣть соизволилъ: за успѣшныя дѣйствія по взысканію съ означенныхъ крестьянъ податей въ 1859 г. объявить Монаршее *Его Императорскаго Величества* благоволеніе палатамъ государственныхъ имуществъ: Пензенской, Саратовской, Смоленской и Пермской."

(„С.-Петерб. Вѣдом." 15 Мая 1860)

Послѣ этого такая же благодарность палатамъ государственныхъ имуществъ — Астраханской, Минской, Орловской и Курляндской.*) Очевидно, что вскорѣ во всей Россіи сберутъ податей больше годоваго оклада, государственнымъ бюджетомъ непредвидѣнныхъ и законнымъ образомъ не утвержденныхъ.

Что все это значитъ? Былъ ли это сборъ недоимки? — Тогда зачѣмъ же вещь не названа по имени? Но по смыслу рескрипта нельзя заключить иначе, какъ что съ крестьянъ были собраны подати, которыхъ имъ платить не слѣдовало, излишнія, беззаконныя подати, т. е. государственные крестьяне подверглись чиновничьему разбою, да не тайному, какъ взятки, а явному, съ раз-

*) По Памятной книжкѣ 1860 г. мы можемъ сообщить имена атамановъ, получившихъ благоволеніе за этотъ разбой. Предсѣдатели палатъ: Виленской—Антонъ Глушановскій, Владимірской—Владиміръ Калачевъ, Воронежской—Владиміръ Черепнинъ, Вятской—Николай Гартингъ, Калужской—Викторъ Юзефовичъ, Кіевской—Семенъ Шійко, Курской—Петръ Зиновьевъ (братъ Зиновьева, спасающаго наслѣдника русскаго престола отъ образованія и Зиновьева, знаменитаго набѣгомъ на Харьковскій университетъ), Нижегородской—Павелъ Бетлингъ, Подольской—Николай Ключаревъ, Псковской—Алексѣй Казначеевъ, Тверской—Владиміръ Коробьинъ, Тульской—Николай Павловичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, Харьковской—Михаилъ Мартыновъ, Ярославской—Евгеній Якушкинъ, Пензенской—Измаилъ Сумароковъ, Пермской—Константинъ Антоновъ, Саратовской — Николай Силичъ, Смоленской—Петръ Сильванской, Астраханской—генералъ-маіоръ Струковъ, Минской—Дмитрій Готовцевъ, Орловской—Сергѣй Моисеевъ, Курляндской—Константинъ Китеръ. Дѣйствовали ли эти господа по приказу министерства или по собственному усердію—не знаемъ. Но если и былъ подобный приказъ—то долгъ получившаго его скорѣе оставить службу, гдѣ такой приказъ возможенъ.

рѣшенія правительства, по его желанію, по признанному государственному разбою. Гдѣ это слыхано? Благодарность за разграбленіе крестьянъ! И это государь объявляетъ во всеуслышаніе, не краснѣя, не подумавши, какими страшными средствами вообще собираются у насъ подати. Или государь не читаетъ того, что подписываетъ... зачѣмъ же онъ не читаетъ? Или онъ читаетъ, да не понимаетъ... Зачѣмъ же онъ не понимаетъ? Или онъ хотѣлъ разбоя,потому что деньги понадобились?... Нельзя же однако царствовать какъ *Утѣшительный* изъ Гоголевскихъ игроковъ.

— —

РЕЛИГІОЗНОЕ ЗНАЧЕНІЕ «С.-ПЕТЕРБ. ВѢДОМОСТЕЙ.»

Журналъ не можетъ существовать безъ мнѣнія, безъ партіи — только мнѣніе и дѣлаетъ изъ него живую личность, только оно и даетъ ему нравственную силу. Кто не зналъ, *кто такое была Сѣверная Пчела* въ блаженныя времена Николая Павловича, Николая Ивановича и Ѳаддея Венедиктовича.

Нюансы журналовъ можно было различать даже въ тѣ времена, когда черная тѣнь Николая широко отбрасывалась на Россію, тѣмъ паче въ наше время *прогресса*.

Какое же мнѣніе, какую тѣнь, какой нюансъ представляютъ „С.-Пет. Вѣд.“? Долго отыскивая, мы пришли было въ отчаяніе, не за что ухватиться, въ нихъ нѣтъ ни свирѣпо-православнаго характера „Маяка“, ни англобѣсія, ни галломаніи, ни основательно-тупаго доктринаризма другихъ московскихъ и петербургскихъ журналовъ и газетъ.

Но вдругъ мы поняли, что „Спб. Вѣд.“ — органъ католической пропаганды въ схизматической Россіи, органъ іезуитовъ и папы. Только съ этой точки зрѣнія можно объяснить отвагу, съ которой „Спб. Вѣд.“ помѣстили похвальное слово Ламорисьеру — отступнику всѣхъ знаменъ, легитимисту, орлеанисту, республиканцу, палачу Іюньскихъ дней, тройному измѣннику — называя его Баярдомъ, героемъ, не знаю чѣмъ! Іезуиты такъ іезуиты, оно скверно, но все же лучше быть чѣмъ нибудь, нежели ничѣмъ. По крайней мѣрѣ по старой шуткѣ цитированной Гегелемъ, „что дурная погода все же лучше, чѣмъ еслибъ совсѣмъ погоды не было“.

Но мы не долго оставались въ заблужденіи.

Какой іезуитскій органъ. Ламорисьеръ—Баярдъ. Но Гладстонъ —„безспорно первый ораторъ нашего вѣка“ и „Вѣдомости“ съ протестантскимъ восторгомъ и англоманскимъ умиленіемъ выписываютъ двѣ колоны риторическаго fatras (въ родѣ Бунцена и К°), сказаннаго Гладстономъ въ Единбургскомъ университетѣ. По этому поводу преподобные „Вѣдомости“ подхваливаютъ англійское благочестіе, состоящее изъ лицемѣрства, отвратительнаго для всякой здоровой натуры.

„Ученые, кто бы они ни были — диссенденты, или низкіе, высокіе, широкіе церковники (low, high, churchmen), со всевозмож-

ными подраздѣленіями — остаются вѣрными этому направленію. Христіанскій духъ проникаетъ всѣ ихъ произведенія, всѣ ихъ изслѣдованія; германскій раціонализмъ имъ чуждъ; никогда не заподозрятъ они дѣйствительности и истинности откровенія; и свѣтлая, критическая, но никакъ не скептическая наука доставляетъ имъ только новые, богатые матеріалы для возведенія великолѣпнаго зданія Божественной истины.“

Но потомъ мы усомнились точно также въ кальвинизмѣ и пуританизмѣ схи-вѣдомостей.

Взявъ книгу какого-то поврежденнаго француза въ доказательство какъ англичане религіозны, онѣ соглашаются съ нимъ, что *разумомъ до понятія о Богѣ не дойдешь* (это то и называется атеизмомъ!), что познаніе Бога *единаго* — „есть *исключительный* результатъ откровенія Аврааму. И если мы съ дѣтства привыкли смотрѣть на Авраама какъ *на друга* Божія съ любовью и уваженіемъ, то намъ не мудрено понять, что этой *почтенной* личности — *Богъ довѣрился*.“ Это дружеское довѣріе пришлось ему не даромъ.

Минуй насъ пуще всѣхъ печалей
И барскій гнѣвъ и барская любовь.

«Подобно всѣмъ друзьямъ Божіимъ, онъ долженъ былъ выслушивать, какъ называли его безвѣрнымъ и атеистомъ; а въ наше время его сочли бы *безумцемъ* за одно намѣреніе убить своего сына. Вѣрою своею приведенъ былъ Авраамъ къ этому особенному откровенію, а не инстинктомъ, не отвлеченнымъ размышленіемъ, не восторженными видѣніями.»

Выписавши эту нелѣпость о *почтенной* личности Авраама, о его короткихъ сношеніяхъ съ Богомъ и о томъ, что Богъ ему *довѣрился* — „Вѣдомости“ даже и не замѣтили, что сломи себѣ шею Авраамъ до пріязни съ Богомъ, мы бы и понятія не имѣли о его другѣ.

Развѣ издатель „Спб. Вѣд.“ не знаетъ, что если онъ сидитъ дворникомъ при современности съ метлой въ рукахъ, то это для того, чтобъ отгонять грязь и соръ, а не загонять ихъ въ «ледакторскую» яму.

Пора подумать и о томъ, что при дикой нетерпимости въ дѣлахъ религіи, защищаемой синодомъ, сенатомъ, цензурой, квартальными и попами, въ свѣтскомъ журналѣ не слѣдуетъ помѣщать богословскихъ статей. Не только эти безотвѣтныя статьи не деликатны, но они не нужны, ихъ никто не проситъ, и еще больше, ихъ никто не читаетъ.

Мы хотя и увѣрены, что большая часть читателей «Спб. Вѣд.» не повѣритъ, что во *всѣхъ* отрасляхъ знанія въ Англіи преобладаетъ изувѣрство, но какъ противуядіе, противъ ужаливанія англійскихъ фарисеевъ и ихъ гезелей, мы рекомендуемъ съ своей стороны History of Civilisation in England by H. T. Buckle — трудъ добросовѣстный, ясный, глубокозадуманный и въ которомъ искры нѣтъ піетизма.

Его нѣтъ ни у Грова, написавшаго свою превосходную книгу «О соотношеніи физическихъ силъ.» Ни у Дарвина, въ его „Объ образованіи видовъ въ животномъ и растительномъ царствахъ. (On Species), ни у Д. Стюарта Милля, ни у Фарадая.

Отче-издателю, будьте отъ міра сего. Вамъ то не за что злосѣтовать на него!

Колоколъ № 75.
1 Іюля 1860 года.

РОЗГИ ДОЛОЙ!

Мы хотимъ сдѣлать очень простое и очень возможное предложеніе — образованному меньшинству дворянства, предложеніе, не влекущее за собой ни отвѣтственности, ни опасности. Мы предлагаемъ ему составить:

Союзъ воздержанія отъ тѣлесныхъ наказаній.

Степень образованія этого меньшинства, его поведеніе въ губернскихъ комитетахъ, его совершеннолѣтіе, выразившееся въ желаніи самоуправленія, — все это несовмѣстно съ дикимъ битьемъ и сѣченіемъ крѣпостныхъ. Во времена неразвитости и патріархальнаго звѣрства совѣсть наказывающаго было, до нѣкоторой степени, чиста, онъ вѣрилъ, что это не только его право, но думалъ, что это его долгъ. Теперь этому никто не вѣритъ, всякій знаетъ теперь, что наказаніе безъ суда, изъ личныхъ видовъ, есть своекорыстное употребленіе права сильнаго, — такая же пытка, какъ стяганье лошади. Крестьянъ и дворовыхъ бьютъ исключительно и единственно изъ денежныхъ выгодъ и мелкихъ удобствъ.

Правительство не можетъ препятствовать и не будетъ такому *отрицательному* союзу... Правительство не вмѣняетъ дворянству въ обязанность *сѣчь крѣпостныхъ*. Оно только дозволяетъ и отечески помогаетъ, когда помѣщикъ самъ выбивается изъ силъ, или когда *вбиваетъ* въ силу мужика.

Пусть помѣщики подумаютъ, что сѣчь и такъ остается недолго, въ слѣдъ за нелѣпостью переходнаго состоянія придется по неволѣ разстаться съ розгой... не лучше ли же добровольно отказаться отъ нея? Бросить розгу такъ, какъ французское дворянство 4 августа бросило въ огонь свои феодальныя грамоты.

Отказаться отъ права сѣчь въ виду Черкасской партіи, въ виду Самарина и Милютина, возсоединенныхъ съ Черкасскимъ — благородно. За кого въ самомъ дѣлѣ васъ принимаетъ правительство, думая, что вы требуете для себя правъ человѣческихъ и хотите сѣчь безъ суда, — и это въ то время, когда само правительство начинаетъ ограничивать въ военной службѣ побои?

Пусть въ каждой губерніи три-четыре помѣщика дадутъ между собою *честное слово никогда* не прибѣгать къ тѣлеснымъ наказаніямъ, никогда не допускать себя до побоевъ,—этого довольно для начала. Само собою разумѣется, что дѣло надобно дѣлать не въ

половину, мало не бить людей изъ собственныхъ рукъ и не посылать ихъ сѣчь... надобно запретить управляющимъ, старостамъ, дворецкимъ и запретить такъ, чтобъ крестьяне знали, чтобъ дворовые знали!

Не первый разъ приходится намъ стыдиться бѣдности нашихъ требованій... Да, многое надобно укротить въ себѣ, многое заставить молчать, чтобъ протянуть руку, прося какъ милостыню. . . . чего?.. признанія въ себѣ и ближнемъ человѣческаго достоинства!

Но лишь бы голосъ нашъ не оставался тщетнымъ, лишь бы напомнить однимъ, надоумить другихъ, что пришло время оставить палачество; лишь бы удалось на первый случай избавить нѣсколько мужиковъ отъ истязаній и нѣсколько помѣщиковъ отъ пятна.

Что помѣщики дѣлали прежде, мы знать не хотимъ. На прошедшее мы закрываемъ глаза, многое дѣлалось по невѣдѣнію, по привычкѣ, по скверному воспитанію, по безобразному примѣру родительскаго дома... Амнистія, забвеніе и тутъ необходимы. Но три года тому назадъ положеніе измѣнилось; и съ тѣхъ поръ, какъ вопросъ объ освобожденіи былъ поднятъ правительствомъ, обсуживался въ журналахъ, въ гостинныхъ и переднихъ, въ столицѣ и провинціяхъ, *съ тѣхъ поръ нельзя быть честнымъ и образованнымъ человѣкомъ и бить своихъ людей* (Разумѣется, мы исключаемъ теоретическихъ фанатиковъ розги, это поврежденные, они могутъ врать вздоръ и быть честнѣйшими людьми, какъ всякій сумасшедшій).

Давайте же другъ другу честное слово не сѣчь вашихъ мужиковъ, составляйте не одинъ союзъ, а сотни, въ разныхъ губерніяхъ, въ разныхъ уѣздахъ. Не бойтесь пуще всего вашей малочисленности, два дѣятельныхъ человѣка, твердо идущихъ къ своей цѣли, сильнѣе цѣлой толпы, никакой цѣли неимѣющей. Развѣ Уилберфорсъ, развѣ Кобденъ не начинали съ трехъ-четырехъ человѣкъ, столковавшихся въ клубѣ или въ тавернѣ?.. Вѣдь это одно самодержавіе изъ своихъ видовъ лишаетъ людей довѣрія къ себѣ, на этой мнимой безпомощности покоится опека рабства; человѣкъ —и слабъ какъ *искра*, и силенъ какъ *искра*, если вѣритъ въ свою силу и *во время* попадаетъ въ приготовленную среду.

Бросайте же подлую розгу и давайте другъ другу ваши руки на *Союзъ противъ тѣлесныхъ наказаній!*

Колоколъ №№ 77 и 78.
1 Августа 1860 года.

—*Законоучитель Полисадовъ и его мѣры распространенія Колокола.* — 21 іюня (1 іюля) въ 1 кадетскомъ корпусѣ происходила присяга нововыпущенныхъ изъ кадетскихъ корпусовъ офицеровъ. При присягѣ, разсказываютъ петербургскіе журналы, законоучитель спб. университета Полисадовъ произнесъ слово. Богокраснорѣчи-

вый проповѣдникъ совѣтовалъ ревностное занятіе *чтеніемъ*. „Что же читать?“ вопрошалъ онъ. „На это трудно отвѣтить“—благоотвѣтствовалъ онъ—„но легко сказать, чего читать не слѣдуетъ. Не слѣдуетъ читать тѣхъ запрещенныхъ сочиненій, которыя ходятъ тайкомъ и, какъ волки хищные, губятъ религію и государство.“

Послѣ этого мы обезпечены, каждый молодой офицеръ примется за хищныхъ волковъ.

Колоколъ № 82.
1 Октября 1860 года.

ПОСЛѢДНІЙ УДАРЪ!

Неужели это правда, что кейзеръ петербургскій сближается съ кейзеромъ австрійскимъ?...? Неужели мы доживаемъ съ нашими пятилѣтними надеждами до этого предѣла и до этой безконечности позора?

Это уже не ошибка, не слабость, не Панинъ, — это была бы измѣна, преступленіе... чѣмъ мы заслужили это? Несчастная Россія! И такъ ей не отпустится ни одно униженіе, ни одно поруганіе, ни даже *дружба* съ Австріей?

Князь Горчаковъ, выйдите въ отставку, если это такъ. Стачку нѣмцевъ противъ Россіи не долженъ скрѣпить своимъ именемъ русскій; у насъ есть довольно Адлерберговъ, Бенкендорфовъ, Гедерштремовъ и другихъ Герштенцвейговъ.

Министръ для преданія Россіи на позоръ у нихъ готовъ въ семьѣ, макро*)-министръ великій герцогъ гессенскій, ему надобно же что нибудь за куртажъ.

Ха, ха, ха, два банкрота соединяются для составленія такого капитала, чтобъ подорвать кредитъ Европы... ха, ха, ха... не принять ли въ пай неаполитанскаго короля, онъ стащилъ что-то изъ дворца, когда ѣхалъ въ Гаету. Купоньчикъ ему!

Въ мірѣ нѣтъ, не было положенія проще, яснѣе, какъ современное положеніе Россіи относительно Европы. Ей дѣла нѣтъ до ихъ внутренняго устройства. Ну что, съ тѣхъ поръ какъ въ Неаполѣ перестали пытать арестантовъ, меньше продаютъ отравленной сивухи откупщика? Или меньше будутъ ее продавать съ помощью губернаторовъ, генералъ-адъютантовъ и прочаго откупнаго начальства, оттого что Папу отошлютъ на сарацинское пшено къ Абдель-Кадеру или на португальскіе апельсины къ испанской королевѣ?

— Да, это все такъ. но, но Венгрія!

— Что же Венгрія?

— Да, это уже близко къ Польшѣ.

Вотъ оно что. Кровь четвертованной ими Польши подымается въ ихъ глазахъ всякій разъ, когда въ Европѣ освобождается народъ!

---

*) Отъ греческаго, — *большой*, а не отъ рыбы этого имени.

Да неужели Польша жива? Какіе оберъ-форъ-шнейдеры рѣзали ее, не Муханову чета, Екатерина, Фридрихъ, Іосифъ, все вторые и все великіе. А *вѣдь жива!* Что Леди Макбетъ, вы не думали, что у этого стараго народа такъ много крови?

И назначить мѣстомъ союза нѣмцевъ противъ славянъ—Варшаву! Нѣтъ, у нихъ нѣтъ ни смысла, ни сердца, ни совѣсти!

БОГО-МОКРИЦЫ И БОГО-САРАНЧА.

Разборъ основоначертательницы сребромудрія преподобныхъ отецъ нашихъ Башуцкаго, Бурачка и Аскочинскаго.

Какой-то бельгійскій докторъ хвастался недавно, что изобрѣлъ средство готовить въ прокъ живыхъ людей, т. е. останавливать на пять, на пятнадцать, на пятьдесятъ лѣтъ жизнь; а потомъ, когда случится надобность, спустить машину, и все пойдетъ по старому... сердце биться, глаза моргать, пятки чесаться. Прочитавши это, первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, была благодарность небеснымъ силамъ за то, что бельгійскій докторъ открылъ этотъ секретъ послѣ смерти Николая Павловича, а то пожалуй онъ бы его изъ въ Бозѣ почивающихъ, сдѣлалъ бы въ Бозѣ *проснувшимся.* Въ такомъ случаѣ, я тотчасъ поѣхалъ бы къ доктору, чтобы онъ меня завинтилъ лѣтъ на тридцать и повѣсилъ на крючекъ у себя въ подвалѣ (разумѣется если нѣтъ въ немъ крысъ).

Впрочемъ новаго тутъ ничего нѣтъ. Въ Лондонѣ, гдѣ все дѣлается на обширную скалу, есть цѣлыя общества филантропическія и религіозныя въ родѣ: *Общества духовныхъ особъ распространенія христіанско-нравственнаго по воскресеніямъ чтенія между недостаточными и недостигнувшими совершеннолѣтія прачками и швеями преимущественно шотландскаго происхожденія.* Эти общества мало по малу вянутъ, сохнутъ, — исчезаютъ съ лица земли... И вдругъ, когда меньше всего думаютъ о нихъ, лѣтъ черезъ десять, двадцать, — встаетъ цѣлое кладбище; пожелтѣвшій президентъ садится на свое мѣсто. плѣшивые, сѣдые члены, и все тѣ же члены собираются около него и тоже говорятъ и пьютъ тотъ же тостъ за распространеніе христіанскаго чтенія можду несовершеннолѣтними прачками, особенно шотландскаго происхожденія, и дряхлый секретарь дрожащимъ голосомъ читаетъ имена несовершеннолѣтнихъ прачекъ, которымъ ежегодно посылаютъ съ 1819 года Путь Пилигрима Буньяна, и „капли росы изъ священнаго писанія — dew drops!“

Теймсъ очень удачно сравнилъ эти общества съ мокрицами, которыя остаются живыми подъ извѣстью и щекатуркой, и которыя опять начинаютъ шевелиться, когда щекатурка отпадаетъ.

Чего въ Лондонѣ не дѣлается, — намъ пріятно, что въ Петербургѣ всякія мокрицы начали смертію смерть попирать, и являться даже въ трещинахъ зимняго дворца и именно на полови-

нѣ ея величества. А еще и того пріятнѣе поражаетъ насъ то, что ни могильная сырость, ни гниль монастырскихъ склеповъ не лишаетъ нашихъ мокрицъ ни народности, ни родныхъ привычекъ.

Въ Англіи, всѣ эти піэтическія, филантропическія и просто тропическія крустацеи ожидаютъ не только безкорыстно, но еще приплачиваютъ свои деньги, для перевода пророчествъ Исаіи на сандвическій языкъ для тамошнихъ швей (не смотря на то, что тамъ дамы ничего не носятъ, а мущины одинъ шнурочекъ), для посылки Reverend so-and-so, съ женой и дѣтьми, для внѣдренія истиннаго библейскаго образованія гон-лу-лускимъ прачкамъ. А наши-то родныя, только что изъ могилы, пошли бить по карманамъ. Это вмѣстѣ *Мокрицы* и *Саранча*.

А надобно признаться, славное изобрѣтеніе воскресать, а если удастся воскресать *по русски* то и очень прибыльное.

Я, напримѣръ, былъ увѣренъ, что умру спокойно, никогда не услышавши объ А. Башуцкомъ (*сынѣ*, объ отцѣ я всегда готовъ былъ слушать анекдоты), а еще меньше о Бурачкѣ, о морскомъ, православномъ, маячномъ Бурачкѣ. И вдругъ А. Башуцкій, краснобай и чуть не статсъ-секретарь, издатель *Нашихъ*, пекшійся о дѣтскихъ пріютахъ какъ *о своихъ*, желавшій поступить въ ангельскій чинъ, но принятый тамъ за *чужаго*, и Бурачекъ, подводный камень вѣры и ее маякъ, другъ Зеленаго *„по прозванію Бурачекъ“*, —живы; да и Аскочинскій, о которомъ я прежде ничего не слыхалъ, тоже опять живъ*), и не только живы, но засѣли на большой дорогѣ въ рай господень, да кто не идетъ, будь онъ жидъ или нѣмецъ: *„Шесть копѣекъ или крестъ въ зубы!“*

Мы увѣрены, что у читателей сейчасъ въ головѣ Башуцкій Ринальдо Ринальдини, Карлъ Мооръ „по прозванію“ Бурачекъ и Стенька Разинъ-Аскочинскій съ толпой кіевскихъ иноковъ, убившихъ въ вертоградѣ плотскихъ сестеръ, нѣкоего любострастнаго мытаря (см. *Кол.* 47) и отказавшаго въ неводѣ, для спасенія тонувшаго офицера (см. *Кол.* 57 и 58). Успокойтесь, нашъ вѣкъ совсѣмъ не такой вѣкъ — вѣкъ гласности и акцій. Они просто, видя, что дѣла идутъ плохо, предлагаютъ императрицѣ завести *торговый домъ благочестія*, учредить нѣчто въ родѣ *ставропигіальнаго* откупа, для распространенія, укрѣпленія и поддержанія православія; при центральномъ оптовомъ подвалѣ въ Петербургѣ, гдѣ будетъ духовный Бернардаки, заведутся и въ другихъ городахъ питейные домы слова Божія и выставки неподслащенныхъ и очищенныхъ даровъ св. Духа, и вся эта благодать устроится за бездѣльное право *обложить всю Россію шести-копѣечнымъ поборомъ съ души*, сверхъ добровольныхъ дателей, которые по службѣ должны быть увлечены примѣромъ императрицы и наслѣдника!

Св. Игнатій Лойіола моли бога о насъ!

---

*) Скромный, но благоуханный цвѣтокъ, выращенный при Кіевской духовной Академіи, и расцвѣтшій стараніями благочестиваго Дмитрія Гавриловича Бибикова.

Чужестранче, Шпанскія земли угоднику, моли богу о насъ бѣдныхъ!

А. Башуцкій, въ толстой промеморіи, представленной имъ императрицѣ и малолѣтнему сыну ея, говоритъ, что, видя приближеніе „празднества тысячелѣтія государства россійскаго", и онъ вздумалъ съ своей стороны поставить *памятникъ* „самый приличный и Богу пріятный, Россіи полезный".

Дѣйствительно памятникъ недуренъ. Представьте вы себѣ сѣть духовной полиціи, свѣтскаго образованія, которой генералъ будетъ въ Петербургѣ, подъ особеннымъ покровительствомъ императрицы, а агенты будутъ вездѣ. И какіе агенты — не жандармы, которыхъ всѣ боятся, не полицейскіе, отъ которыхъ всѣ прячутся; а таскающіеся по міру богомольцы, праздношатающіеся изувѣры, шныряющіе по деревнямъ, толкующіе со старухами и бабами!

Это уже не тимашевская полиція съ сыщиками въ родѣ Лужина и всѣми этими баронами и отставными штабъ-ротмистрами съ усами и съ бриліантовыми булавками — отъ которыхъ пахнетъ на пистолетный выстрѣлъ III отдѣленіемъ; нѣтъ, это истинное оскверненіе избы и церкви, надзоръ за совѣстью каждаго крестьянина, разрушеніе послѣдняго убогаго уголка жизни независимой—куда не заглядывалъ ни становой, ни окружной, которыхъ оставляла неприкосновенными самая церковь наша, не имѣющая раздражительной римской нетерпимости.

Замѣтьте, что уже промеморія толкуетъ „объ униженіи религіи *литературой*, о презрѣніи *науки* къ ея авторитетамъ, о *наученіи* всѣхъ классовъ и даже народа (уже читающаго во множествѣ періодическія изданія), что все, что касается вѣры и благочестія, чуждо интересамъ современнаго движенія", и что это есть „опасность великая, неотстранимая никакими въ мірѣ научными и матеріальными успѣхами".

На дикое и глупое вмѣшательство выжившаго изъ ума митрополита Григорія указано въ запискѣ, какъ на необходимое послѣдствіе научнаго растлѣнія.

Что, господа, запахло Соловецкимъ монастыремъ, покаяніемъ эпитимьей?..

Но не унывайте и тутъ.

Тинистая топь церковно-іезуитской риторики не скрываетъ главной цѣли, да и авторъ не настолько усвоилъ себѣ надмогильный покой, чтобъ съ равнодушіемъ говорить о молью точимой части проэкта. Совсѣмъ напротивъ, авторъ становится какъ-то взволнованъ и одушевленъ, приступая къ лептѣ вдовицы и динаріямъ вдовцевъ.

Цѣль проэкта состоитъ въ ежегодномъ сборѣ 4,183,813 руб. кромѣ частныхъ пожертвованій. Какъ только авторъ доходитъ до этого щекотливаго предмета, онъ боговзываетъ:

„Но какъ, откуда имѣть средства? А онѣ должны быть *весьма обширны и постоянны. Создавать—стоитъ*, не имѣя матеріала, идти

въ отпоръ *десяти тысячамъ* съ десятью не въ разумѣ мудрости *Евангельской.*

„И такъ средства денежныя, — вотъ *первый* вопросъ. *Средства денежныя* — продолжаетъ онъ — по обширности и требованію постоянно, неоскудѣвающаго притока ихъ, очевидно, не могутъ быть доставлены никакимъ вѣдомствомъ, ни всѣми вѣдомствами правительства совокупно, ни частными пожертвованіями тѣхъ богатыхъ лицъ, которыя сохранили бы въ себѣ весьма рѣдкое нынѣ желаніе постоянно и много жертвовать на дѣло вѣры и благочестія. Такія средства могутъ быть доставлены только *цѣлымъ государствомъ*, т. е. *всѣмъ народомъ русскимъ*; такъ какъ и дѣло это есть дѣло для *всего народа*, *для цѣлаго государства*, въ высшей степени необходимое.

„Въ виду пользы всеобъемлющей, всесодержащей и всѣхъ пользъ превысшей, стѣсняться, *устыжаться нѣкоторыхъ сужденій*, мнѣнія нѣкоторыхъ ученій, партій или лицъ, понятій утилитарнаго и *прогрессистскаго стана*, — было бы прямо сказанное самимъ Спасителемъ: „постыдиться Его предъ родомъ прелюбодѣйнымъ и лукавымъ.“

„Народъ, справедливо призываемый къ денежному содѣйствованію на содержаніе предметовъ жизни внѣшней, конечно необходимыхъ, какъ напримѣръ дорогъ, каналовъ, постоевъ, почтъ и пр.— закономъ неотложно къ сему *обязанный*, строгому, неуклонному взысканію подвергаемый,—по какимъ убѣжденіямъ, на основаніи какихъ умозрѣній или научныхъ началъ, не можетъ быть не обязанъ, а *спрошенъ* и *вызванъ*, къ невынужденному, но къ прямо-свободному, добровольному, и только при большинствѣ доброволій (т. е. только по согласительному рѣшенію *всѣмъ міромъ Русскимъ)*, *къ обязательному* уже для меньшинства пожертвованію, на дѣло важнѣйшее жизни внутренной, которымъ и все другое въ государств должно необходимо двинуться къ здравію и процвѣтнію? *Что за слогъ!)*

„Дѣло это должно быть *добровольнымъ дѣломъ всего народа.* Слѣдовательно народъ долженъ быть спрошенъ, приглашенъ къ нему; оно должно быть объяснено ему такъ просто, кратко, чисто, какъ есть въ существѣ своемъ, когда не затемняется мудрованіями лживой философіи. *Приглашеніе*, *возваніе* должно истекать отъ высокаго, ничѣмъ въ мірѣ *неподкупнаго*, несовратимаго, искренняго хотѣнія народу блага, отъ лица, которое всевѣдомо народу, ничего инаго желать ему не можетъ; отъ сердца истинно-материнскаго; отъ мысли истинно-православной; отъ воли сильной въ добрѣ и отъ сильной въ дѣлѣ руки; — отъ разума христіанскаго, а потому не лживаго.

„Мы желаемъ выразить симъ, какъ дерзаемъ думать то, что ея императорскому величеству, истинно благочестивѣйшей и народомъ благовѣрнымъ *во истину любимой* супругѣ императора православнаго, подобаетъ быть началомъ, главою, душею и двигателемъ дѣла сего присоединивъ себѣ въ содѣйствователи непосред-

ственнаго, ближайшаго и главнаго распорядителя, его императорское высочество, государя наслѣдника цесаревича.

„О формѣ возванія, объ изложеніи его, объявленіи, распространеніи, заявленіи народу о благословеніи его, не только сунодомъ, но хотя бы и соборомъ всѣхъ патріарховъ восточныхъ *(кѣмъ ни попало, лишь бы до 6 копѣечнаго сбора дойти!)*, о мірскомъ собраніи согласій и пр. и пр. здѣсь излагать и неумѣстно, и преждевременно; дѣло истины внушится, управится, обработается удобнымъ пособіемъ самой истины сей.

„*Возваніе*, изложивъ кратко и внятно великія убѣжденія эти, съ благословенія церкви, только *предложитъ* народу русскому заявить, *всемірнымъ судомъ своимъ*: желаетъ ли, или не желаетъ онъ, въ вѣчное, истинное благодареніе тому *Богу*, котораго мы преискренно и необманчиво всегда считаемъ „*съ нами*", — въ всемірное благодареніе за все благое уже пріятное нами, за все благое къ пріятію уготовляемое, и въ всенародное, вѣчное же, молитвенное прошеніе о благословеніи Богомъ на успѣхъ, для пользы истинной, всего начинаемаго; пожелаетъ-ли народъ, во свидѣтельство сихъ чувствъ, создать не роскошный и дивный памятникъ искусства, не на тщеславіе наше и на удивленіе свѣта, но сознательно, *добровольно и на всѣ времена существованія Россіи* принесть и *постоянно приносить отъ каждаго изъ сыновъ и гражданъ ея*, какъ лепту вдовицы, ничтожное пожертвованіе, господу угодное, а потому для Россіи всенесомнѣнно истинно-славное, во истину честное, великое, и необманчивою пользою навсегда и во всемъ полезное. Вотъ что спросится у народа.

„Сомнѣнія настоять неможетъ; за исключеніемъ мудрователей лживыхъ, не изъ народа, малѣйшей развѣ частицы его, недостойной ни имени Русскаго, ни великаго званія.

„Весь міръ Русскій (мы, *не обинуясь*, не исключаемъ и раскольниковъ), — громко и радостно откликнется, какъ одинъ человѣкъ, согласіемъ и крестнымъ знаменіемъ, на призывъ этотъ, благословляя имя благочестивой начинательницы дѣла великаго, по сердцу Божію! — Свободно равные, въ свободно-обязательной жертвѣ сей отъ царя до послѣдняго подданнаго, кто откажется ввергать *ежегодно* только *шесть копѣекъ* въ сокровищницу, изъ которой имѣетъ истекать для страны истинное благо?

„Пожертвованія особенныя, усиленныя добровольнымъ желаніемъ, по состоянію, положенію, участію, живѣйшему сочувствію и призванію, отвергаемы конечно быть не могутъ. Но здѣсь говорится лишь объ этомъ общемъ, *всемірномъ русскомъ приношеніи*.

„По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 1856 г. общее число народонаселенія имперіи составляло: 69,730,231 чел., — а за исключеніемъ царства Польскаго (4,790,379) и княжества Финляндскаго (1,639,977), — 63,306,975 человѣкъ. Означенное ежегодное *приношеніе*, одному лишь народу православному сродное, возможное и вполнѣ достойное его, составитъ въ послѣднемъ случаѣ: 3,798,418 руб., — а въ первомъ, т. е. считая всѣхъ, какъ и слѣдуетъ, ибо

всѣ суть граждане одной имперіи и братія одной семьи, 4,183,813 руб. ежегодно.

„Научное мудрованіе конечно назоветъ это *налогомъ прямымъ*, и въ настоящее время неудобнымъ. Но при изложенной выше формѣ *возванія*, при согласіи и желаніи народа, знающаго на что именно онъ свободно *жертвуетъ*, а *не вноситъ* по непремѣнному требованію; никакая научность не можетъ измѣнить сущности христіанскаго *приношенія* въ податной *налогъ*.

„И такъ *отъ трехъ съ двумятретьями до четырехъ слишкомъ* милліоновъ рублей ежегоднаго, неизсякаемаго никогда дохода, — вотъ возможное *денежное средство* для осуществленія предпріятія великаго."

Достаточно! Отвернемтесь отъ этой печальной попытки — сдѣлать новый поборъ для новыхъ цѣпей бѣдному русскому народу. Мы убѣждены, что при всѣхъ піэтическихъ наклонностяхъ императрицы, Она не станетъ во главѣ шестикопѣечнаго сбора на постройку духовнаго Цвингъ-Ури!

Колоколъ № 83.
15 Октября 1860 г.

ЛИШНІЕ ЛЮДИ И ЖЕЛЧЕВИКИ.

....Онѣгины и Печорины были совершенно истинны выражали дѣйствительную скорбь и разорванность тогда шней русской жизни. Печальный типъ *лишняго*, потеряннаго человѣка — только потому, что онъ развился въ *человѣка*, являлся тогда не только въ поэмахъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостинныхъ, въ деревняхъ и городахъ...

...Но время Онѣгиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нѣтъ *лишнихъ* людей, теперь напротивъ, къ нашимъ огромнымъ запашкамъ не достаетъ рукъ. Кто теперь не найдетъ дѣла, тому пѣнять не на кого, тотъ въ самомъ дѣлѣ *пустой* человѣкъ, свищъ или лѣнтяй....

Колоколъ 1859, л. 44.

Эти два разряда лишнихъ людей, между которыми сама природа воздвигла Обломовскій хребетъ, а генеральное межеваніе исторіи вырыло пограничную яму, именно ту, въ которой схороненъ Николай — постоянно смѣшиваются. А потому мы хотимъ съ Катоновскимъ пристрастіемъ къ дѣлу побѣжденныхъ вступиться за стариковъ. Лишніе люди были тогда столько же *необходимы*, какъ *необходимо* теперь, чтобъ ихъ не было.

Ничего нѣтъ плачевнѣе, какъ середь возникающей дѣятельности, неустроенной еще и угловатой, но полной стремленій и начинаній—встрѣчать этихъ оторопѣлыхъ, нервно разслабленныхъ юношей, теряющихся передъ упругостью практической работы и чаю-

щихъ дароваго разрѣшенія трудностей и отвѣтовъ на вопросы, которые они никогда ясно не могли поставить.

Мы этихъ вольноопредѣляющихся въ лишніе люди отводимъ, и такъ какъ французы признаютъ истинными гренадерами только les vieux de la vieille, такъ мы признаемъ почетными и *дѣйствительно* лишними людьми только *николаевскихъ*. Мы сами принадлежали къ этому несчастному поколѣнію и, догадавшись очень давно, что мы лишніе на берегахъ Невы, препрактически пошли вонъ, какъ только отвязали веревку.

Себя намъ стало нечего защищать, но бывшихъ товарищей жаль, и мы хотимъ оборонить ихъ отъ слѣдующаго за ними выпуска больныхъ изъ Николаевскаго лазарета.

Нельзя не раздѣлять здоровый, реалистическій взглядъ, который въ послѣднее время, въ одномъ изъ лучшихъ русскихъ обозрѣній сталъ выбивать тощую, моральную точку зрѣнія на французскій манеръ, ищущую личной отвѣтственности въ общихъ явленіяхъ. Историческіе слои, такъ-же худо какъ геологическіе, обсуживаются уголовной палатой. И люди, говорящіе, что не на взяточниковъ и казнокрадовъ слѣдуетъ обрушивать громы и стрѣлы, а на среду, дѣлающую взятки зоологическимъ признакомъ цѣлаго племени, напримѣръ *безбородыхъ русскихъ*—совершенно правы.

Мы только и желаемъ, чтобъ николаевскіе лишніе люди состояли на правахъ взяточниковъ и пользовались бы привилегіями, дарованными казнокрадамъ. Они это тѣмъ больше заслужили, что они не только лишніе люди, но почти всѣ люди умершіе; а взяточники и казнокрады живутъ и не только въ довольствѣ, но и въ историческомъ оправданіи.

Съ кѣмъ тутъ сражаться, надъ кѣмъ смѣяться, — съ одной стороны упавшіе отъ утомленія, съ другой помятые машиной; винить ихъ за это также не великодушно, какъ винить золотушныхъ и лимфатическихъ дѣтей за худосочіе ихъ родителей.

Серьезный вопросъ можетъ быть одинъ—точно ли болѣзненныя явленія были обусловлены средой, обстоятельствами?...

Кажется въ этомъ сомнѣваться трудно.

Нечего повторять о томъ, какъ туго, тяжело развивалась Русь. Кнутомъ и татарами насъ держали въ невѣжествѣ, топоромъ и нѣмцами насъ просвѣщали, и въ обоихъ случаяхъ рвали намъ ноздри и клеймили желѣзомъ. Петръ I такимъ клиномъ вбилъ намъ просвѣщеніе, что Русь не выдержала и треснула на два слоя. Едва теперь, черезъ полтораста лѣтъ, мы начинаемъ понимать, какъ раздвинулась эта трещина. Ничего общаго между ними; съ одной стороны—грабежъ и презрѣніе, съ другой—страданіе и недовѣріе. Съ одной стороны ливрейный лакей, гордый своимъ общественнымъ положеніемъ и надменно показывающій это — съ другой обобранный мужикъ, ненавидящій его и скрывающій это. Никогда турокъ, рѣзавшій, уводившій женщинъ въ гаремы, не тѣснилъ такъ систематически и не презиралъ такъ нагло Франка и Грека, какъ шляхетская Русь—Русь крестьянскую. Нѣтъ при-

мѣра въ исторіи, чтобы единоплеменная каста, взявшая верхъ, сдѣлалась бы до такой степени чужестранной, какъ наше служилое дворянство. Ренегатъ всегда доходитъ до крайности, до нелѣпаго и отвратительнаго; до того наконецъ, чтобъ сажать человѣка въ тюрьму, потому что онъ, будучи литераторомъ, *одѣвается по русски*, не пускать его въ трактиръ, потому что онъ въ кафтанѣ и подпоясанъ кушакомъ. Это колоссально и напоминаетъ индѣйскую Азію!

На закраинахъ этихъ дико противупоставленныхъ другъ другу міровъ развились странныя явленія, указывавшія въ самой сломанности своей на потаенныя силы, которымъ неловко, которыя ищутъ другаго. Сюда принадлежатъ на первомъ планѣ Раскольники и Декабристы, а потомъ всѣ Западники и Восточники, Онѣгины и Ленскіе, лишніе и желчевые люди — всѣ они, какъ ветхозавѣтные пророки, были вмѣстѣ протестомъ и надеждой; ими Россія усиливалась отдѣлаться отъ петровскаго періода или переработать его въ свое настоящее тѣло и въ свою здоровую плоть. Эти патологическія образованія (формаціи), вызванныя условіями имъ современной жизни, непремѣнно пройдутъ съ перемѣной условій, такъ какъ теперь уже прошли *лишніе люди*; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ они заслуживали судъ и осужденіе, развѣ только отъ своихъ младшихъ товарищей по службѣ? И это на томъ основаніи, на которомъ одинъ изъ жителей Бедлама съ негодованіемъ показывалъ на больнаго, называвшаго себя апостоломъ Павломъ, въ то время, какъ онъ, самъ Христосъ, навѣрное зналъ, что это не Павелъ апостолъ, а просто лавочникъ изъ Флитъ-стрита.

Вспомнимъ, какъ развились лишніе люди.

Казнь на Кронверской куртинѣ 13 іюля 1826 г. не могла разомъ остановить или измѣнить потокъ тогдашнихъ идей, и дѣйствительно въ первую половину Николаевскаго тридцатилѣтія продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиція Александровскаго времени и Декабристовъ. Дѣти, захваченныя въ школахъ, осмѣливались держать прямо свою голову — они не знали еще, что они арестанты воспитанія.

Такъ они и вышли изъ школъ.

Это уже далеко не тѣ свѣтлые, самонадѣянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими намъ являются при выходѣ изъ лицея Пушкинъ и Пущинъ. Въ нихъ уже нѣтъ ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущеннаго разгула Полежаева, ни даже свѣтлой грусти Веневитинова. Но еще въ нихъ хранилась вѣра, унаслѣдованная отъ отцовъ и старшихъ братьевъ, вѣра въ то, что *„она взойдетъ — заря плѣнительнаго счастья“*, вѣра въ западный либерализмъ, которому вѣрили тогда всѣ—Лафайетъ и Годефруа Каваньякъ, Берне и Гейне. Испуганные и унылые они чаяли выйти изъ ложнаго и несчастнаго положенія. Это та послѣдняя надежда, которую каждый изъ насъ ощущалъ передъ кончиной близкаго человѣка. Одни доктринеры, красные и пестрые все равно, легко принимаютъ самые страшные

выводы, потому что они ихъ собственно принимаютъ in effigie, на бумагѣ.

Между тѣмъ каждое событіе, каждый годъ подтверждалъ имъ страшную истину, что не только правительство противъ нихъ, съ висѣлицей и шпіонами, съ обручемъ, которымъ палачъ сжималъ голову Пестелю, и съ Николаемъ, надѣвавшимъ этотъ обручъ на всю Россію,—но что *и народъ не съ ними*, или по крайней мѣрѣ, что онъ совершенно чужой; если онъ и не доволенъ, то совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ они недовольны. Рядомъ съ этимъ подавляющимъ сознаніемъ, съ другой стороны, развивалось больше и больше сомнѣніе въ самыхъ основныхъ, незыблемыхъ основаніяхъ западнаго воззрѣнія. Почва пропадала подъ ногами; по неволѣ въ такомъ недоумѣніи приходилось въ самомъ дѣлѣ идти на службу, или сложить руки и сдѣлаться *лишнимъ, празднымъ*. Мы смѣло говоримъ, что это одно изъ самыхъ трагическихъ положеній въ мірѣ. Теперь лишніе люди анахронизмъ; но вѣдь Ройе Колларъ или Бенжаменъ Констанъ были бы теперь тоже анахронизмомъ, однако нельзя же за это пустить въ нихъ камнемъ.

Пока умы оставались въ тоскѣ и тяжеломъ раздумьи, не зная, какъ выйти, куда идти, Николай шелъ себѣ съ тупымъ, стихійнымъ упорствомъ, затапливая всѣ нивы и всѣ всходы. Знатокъ своего дѣла, онъ съ 1831 г. началъ воевать съ дѣтьми; онъ понялъ, что въ ребяческомъ возрастѣ надобно вытравлять все человѣческое, чтобы сдѣлать вѣрноподданныхъ по образу и подобію своему.

Воспитаніе, о которомъ онъ мечталъ, сложилось. Простая рѣчь, простое движеніе считалось такою же дерзостью, преступленіемъ, какъ раскрытая шея, какъ разстегнутый воротникъ. И это избіеніе душъ младенческихъ продолжалось тридцать лѣтъ!

Отраженный въ каждомъ инспекторѣ, директорѣ, ректорѣ, дядькѣ—стоялъ Николай передъ мальчикомъ въ школѣ, на улицѣ, въ церкви, даже до нѣкоторой степени въ родительскомъ домѣ, стоялъ и смотрѣлъ на него оловянными глазами безъ любви, и душа ребенка ныла, сохла и боялась, не замѣтятъ ли *глаза* какой нибудь ростокъ свободной мысли, какое нибудь человѣческое чувство.

А кто знаетъ, что за химическое измѣненіе въ составѣ ребячей крови и нервной пульпы дѣлаетъ застращенное чувство, остановленное слово, слово срывшееся, чувство подавленное?

Испуганные родители помогали Николаю; они скрывали отъ дѣтей единственное благородное воспоминаніе, чтобъ спасти ихъ невѣденіемъ. Молодежь росла безъ традицій, безъ будущаго — кромѣ карьеры. Канцелярія и казарма мало по малу побѣдили гостинную и общество, аристократы шли въ жандармы, Клейнмихели — въ аристократы; ограниченная личность Николая мало по малу отпечатлѣлась на всемъ, всему придавая какой-то казенный, правильный видъ — все опошляя.

Разумѣется середь этого несчастія не все погибло. Ни одна чума, ни даже тридцатилѣтняя война не избила всего. Человѣкъ живучъ. Потребность человѣческаго развитія, стремленіе къ не-

зависимой самобытности уцѣлѣло, и притомъ всего больше въ двухъ македонскихъ фалангахъ нашего образованія, въ московскомъ университетѣ и царско-сельскомъ лицеѣ; онѣ пронесли черезъ все царство мертвыхъ душъ, на молодыхъ плечахъ своихъ, кивотъ, въ которомъ лежала будущая Россія, ея живую мысль, ея живую вѣру въ грядущее.

Исторія не забудетъ ихъ.

Но въ этой борьбѣ и они по большей части утратили *молодость* своей юности, они затянулись и преждевременно перезрѣли. Старость ихъ коснулась прежде гражданскаго совершеннолѣтія. Это не *лишніе*, не праздные люди, это люди *озлобленные*, больные душой и тѣломъ, люди, зачахнувшіе отъ вынесенныхъ оскорбленій, глядящіе изъ подлобья и которые не могутъ отдѣлаться отъ желчи и отравы, набранной ими больше чѣмъ за пять лѣтъ тому назадъ. Они представляютъ явный шагъ впередъ, но все-же болѣзненный шагъ; это уже не тяжелая хроническая летаргія, а острое страданіе, за которымъ слѣдуетъ выздоровленіе или похороны.

Лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и *желчевики*, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро, они слишкомъ угрюмы, слишкомъ дѣйствуютъ на нервы, чтобы долго держаться. Жизнь не смотря на XIII вѣковъ христіанскихъ со крушеній, очень языческимъ образомъ предана эпикуреизму, и à la longue не можетъ выносить, наводящія унынія, лица Невскихъ Даніиловъ, мрачно упрекающихъ людей, зачѣмъ они обѣдаютъ безъ скрежета зубовъ и, восхищаясь картиной или музыкой, забываютъ о всѣхъ несчастіяхъ міра сего.

Смѣна имъ идетъ; мы уже видимъ какъ изъ дальнихъ университетовъ, изъ здоровой Украины, съ здороваго сѣверо-востока, являются совсѣмъ иные люди съ непочатыми силами и крѣпкими мышцами, и можетъ намъ старикамъ еще придется черезъ болѣзненное поколѣніе протянуть руку кряжу свѣжему, который кротко простится съ нами и пойдетъ своей широкой дорогой.

Типъ желчныхъ людей мы изучили не на мѣстѣ, и не по книгамъ, мы его изучили по экземплярамъ выѣзжавшимъ за Нѣманъ, а иногда и за Рейнъ съ 1850 г.

Первое, что насъ поразило въ нихъ, это легкость, съ которой они отчаявались во всемъ, злая радость ихъ отрицанія и страшная безпощадность. Послѣ событій 1848 г., они были разомъ поставлены на высоту, съ которой видѣли пораженіе республики и революціи, вспять идущую цивилизацію, поруганныя знамена — и не могли жалѣть незнакомыхъ бойцовъ. Тамъ гдѣ нашъ братъ останавливался, оттиралъ, смотрѣлъ нѣтъ ли искры жизни, они шли дальше пустыремъ логической дедукціи, и легко доходили до тѣхъ рѣзкихъ, послѣднихъ выводовъ, которые пугаютъ своей радикальной бойкостью, но которые, какъ духи умершихъ, представляютъ сущность уже вышедшую изъ жизни — а не жизнь. Въ этихъ выводахъ русскій вообще пользуется передъ европейцемъ страшнымъ преимуществомъ, у него тутъ нѣтъ ни

традиціи, ни роднаго, ни привычки. Всего безопаснѣе по опаснымъ дорогамъ проходитъ человѣкъ, не имѣющій ни чужаго добра, ни своего.

Это освобожденіе отъ всего традиціоннаго доставалось не здоровымъ, юнымъ натурамъ, — а людямъ, которыхъ душа и сердце были поломаны по всѣмъ составамъ. Послѣ 1848 г. въ Петербургѣ нельзя было жить. Самодержавіе дошло до геркулесовыхъ столбовъ нелѣпости, до инструкціи преподавателямъ военно-учебныхъ заведеній, до Бутурлинскаго проэкта закрыть университеты, до подписи цензора Елагина на трафаретахъ. Чему же дивиться, что юноши, вырвавшіеся изъ этой пещеры, были юродивые и больные?

Потомъ они завяли безъ лѣта, не знали ни свободнаго размаха, ни вольно сказаннаго слова. Они носили на лицѣ глубокій слѣдъ души помятой и раненой. У каждаго былъ какой нибудь тикъ, и сверхъ этого личнаго тика у всѣхъ одинъ общій —какое-то снѣдающее ихъ, раздражительное и *свернувшееся* самолюбіе. Отъ обидъ, отъ униженій, отъ отрицанія всѣхъ правъ личности, у нихъ развилось затаенное притязаніе на удивленіе; эти неразвившіеся таланты, неудавшіеся геніи скрывались подъ личиною униженія и скромности. Всѣ они были ипохондрики и физически больные, не пили вина и боялись открытыхъ оконъ, всѣ съ изученнымъ отчаяніемъ смотрѣли на настоящее, и напоминали монаховъ, которые изъ любви къ ближнимъ, доходили до ненависти ко всему человѣческому, и проклинали все на свѣтѣ изъ желанія что нибудь благословить.

Половина ихъ постоянно каялась, другая постоянно карала.

Да, у нихъ остались глубокіе рубцы на душѣ. Петербургскій міръ, въ которомъ они жили, отразился въ нихъ самихъ; вотъ откуда ихъ беспокойный тонъ, языкъ saccadé, и вдругъ расплывающійся въ бюрократическое празднословіе, уклончивое смиреніе и надменные выговоры, намѣренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятіе впередъ всѣхъ обвиненій и беспокойная нетерпимость директора департамента.

Этотъ fion директорскаго распекательнаго слога, презрительный и съ прищуренными глазами, для насъ противнѣе генеральскаго сиплаго крика, напоминающаго густой лай, остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положенію.

Тонъ не бездѣлица.

Das was innen—das ist draussen!

Добрѣйшіе по сердцу и благороднѣйшіе по направленію, они, т. е. желчные люди наши, тономъ своимъ, могутъ довести ангела до драки и святаго до проклятія. Къ тому же, они съ такимъ àplomb преувеличиваютъ все на свѣтѣ — и не для шутки, а для огорченія, что просто терпѣнія нѣтъ. На всякое „бутылками и пребольшими“, у нихъ готово мрачное „нѣтъ-съ бочками сороковыми!“

— Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ, (говорилъ намъ недавно одинъ желчевикъ sehr ausgezeichnet in seinem Fache), дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Oneghine?... Извольте видѣть они образовались иначе, имъ міръ ихъ окружающій слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То-ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и притомъ спокойно ѣсть да пить.

Мы было ввернули слово въ пользу нашего раздѣленія лишнихъ людей на вѣтхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ. Но Даніилъ и слушать не хотѣлъ о раздѣлѣ, ему не было дѣла ни до Обломовскаго хребта, ни до того, что въ мѣди отлитой Николай покоится въ бозѣ, и именно потому и отлитъ въ мѣди. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту, и пожимая плечами говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру инаго солнца и другихъ деревьевъ.

— Позвольте же мнѣ хоть на этомъ основаніи, и въ качествѣ homo Benkendorfii testes, защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали, или дѣлали вздоръ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило, да и того, правда, они не умѣли.

— Въ такомъ случаѣ я буду называть имена — напримѣръ, Чаадаевъ, онъ не умѣлъ взяться за топоръ, но умѣлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумѣніи о себѣ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Нѣмецъ Вигель обидѣлся за Россію, протестантъ и будущій католикъ Бенкендорфъ, обидѣлся за православіе и Чаадаева *высочайшей ложью* объявили сумасшедшимъ и взяли съ него подписку не писать. Надеждина, напечатавшаго статью въ *Телескопѣ*, сослали въ Усть-Сысольскъ, ректора старика Болдырева оставили, Чаадаевъ сдѣлался празднымъ человѣкомъ. Иванъ Кирѣевскій, положимъ, не умѣлъ сапогъ шить, но умѣлъ издавать журналъ; издалъ двѣ книжки—запретили журналъ; онъ помѣстилъ статью въ Денницѣ, цензора Глинку посадили на гауптвахту,—Кирѣевскій сдѣлался лишнимъ человѣкомъ. Н. Полеваго, конечно, нельзя обвинить въ лѣни; человѣкъ онъ былъ изворотливый, а все таки крылья *Телеграфа* подвязали, и признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ женатый человѣкъ, обремененный семьей, боится квартальнаго, я не смѣялся, а чуть не плакалъ.

— А Бѣлинскій умѣлъ писать, и Грановскій умѣлъ читать лекціи, они не сложили рукъ.

— Если являлись люди съ такой энергіей, что могли писать или читать лекціи въ виду тройки и казематъ, то не ясно-ли, что

множество людей съ меньшими силами были парализованы и глубоко страдали этимъ.

—Зачѣмъ же они въ самомъ дѣлѣ не пошли въ сапожники, въ дровосѣки, все лучше бы?

— Затѣмъ вѣроятно, что у нихъ было на столько денегъ, чтобы не нуждаться въ такой скучной работѣ; я не слыхалъ, чтобъ кто нибудь изъ удовольствія принялся шить сапоги. Одинъ Людовикъ XVI былъ королемъ по ремеслу и слесаремъ по страсти. Впрочемъ не вы первые замѣтили этотъ недостатокъ въ практическомъ трудѣ у лишнихъ людей; бдительное правительство наше, для пополненія этого недостатка, посылало ихъ въ каторжную работу.

— Ископаемый другъ мой, я вижу, что и вы еще на работу смотрите какъ-то сверху внизъ.

—Какъ на вовсе не веселую необходимость.

—Почему же имъ не дѣлить общей необходимости?

— Безъ сомнѣнія. Да во-первыхъ родились они не въ Сѣверной Америкѣ, а въ Россіи и по несчастію не такъ были воспитаны.

—Зачѣмъ не такъ воспитаны?

— Затѣмъ, что родились не въ податной Россіи, а въ шляхетской; можетъ это и въ самомъ дѣлѣ предосудительно, но находясь тогда въ неопытномъ положеніи церкаріевъ, они по малолѣтству за свои поступки отвѣчать не могутъ. А уже разъ сдѣлавъ эту ошибку въ выборѣ родителей, они должны были подвергнуться и тогдашнему воспитанію. Да кстати, на какомъ это правѣ вы требуете отъ людей, чтобы они дѣлаяи то или другое. Это какая-то новая принудительная организація работъ, что-то въ родѣ соціализма переложеннаго на нравы министерства государственныхъ имуществъ.

— Я не заставляю никого работать, я констатирую фактъ, это были праздные, пустые аристократы, жившіе покойно и хорошо, и не вижу причины, почему мнѣ сочувствовать имъ.

—Заслуживаютъ-ли они симпатіи или нѣтъ, это пусть себѣ рѣшаетъ каждый, какъ хочетъ. Всякое человѣческое страданіе, особенно фаталистическое, возбуждаетъ наше сочувствіе, и нѣтъ ни одного страданія, которому бы нельзя было не отказать въ немъ. Мученики первыхъ вѣковъ вѣрили въ искупленіе, вѣрили въ будущую жизнь. Римскіе Мухановы, Тимашевы, Лужины, заставляли христіанъ склоняться въ прахъ предъ августѣйшимъ изображеніемъ цезаря, христіане не хотѣли сдѣлать этой пустой уступки, ихъ травили звѣрями. Они были сумасшедшіе, Римляне полоумные, тутъ нѣтъ мѣста ни сочувствію, ни удивленію.... но тогда прощай не только Термопилы съ Голгоѳой, но и Софоклъ съ Шекспиромъ, да кстати и вся длинная, безконечная эпопея, которая безпрестанно оканчивается сумасбродными трагедіями и беспрестанно идетъ далѣе подъ названіемъ Исторіи.

Даніилъ нашъ, какъ и слѣдуетъ, въ спорѣ не сдавался. Мнѣ

стало все это надоѣдать и я, пользуясь моимъ палеонтологическимъ значеніемъ, сказалъ ему: „Воля ваша, а вѣдь это пустое дѣло гнать людей или умершихъ или приготовляющихся къ смерти, и гнать въ такомъ обществѣ, гдѣ почти всѣ живые хуже ихъ — военные и штатскіе, помѣщики и попы; знаете ли что, если васъ особенно прельщаетъ censura morum и суровая должность моралиста вамъ такъ нравится, возьмите что нибудь оригинальное. Я вамъ, пожалуй, укажу типы, вреднѣе не только мертвыхъ, но и живыхъ лишнихъ людей".

—Какіе же типы?

—Ну, да хоть бы литературнаго ruffiano.

—Не понимаю.

— Въ бѣдной и обиженной цензурой литературѣ нашей, до послѣдняго времени, было множество всякихъ чудаковъ, но большей частью это были люди чистые, люди честные. Аферисты, плуты, дѣлатели фальшивыхъ векселей и истинныхъ доносовъ, если и попадались, то они или были со стороны правительства, или шныряли гдѣ-то по подваламъ и никогда не лѣзли на видныя мѣста, точно лондонскіе тараканы, державшіеся въ кухнѣ и неявляющіеся въ салонѣ. Такимъ образомъ сохранилась у насъ наивная вѣра въ поэта и писателя. Мы не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать талантомъ, такъ какъ продажныя женщины лгутъ тѣломъ и продаютъ красоту, мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ въ ростъ свои слезы о народномъ страданіи, ни къ промышленникамъ, дѣлающимъ изъ сочувствія къ пролетарію оброчную статью. И въ этомъ довѣріи, давно не существующемъ на Западѣ, бездна хорошаго, и намъ всѣмъ слѣдуетъ поддерживать его. Повѣрьте, что гонитель неправды, сзывающій позоръ и проклятіе на современный срамъ и запустѣніе и въ тоже время запирающій въ свою шкатулку деньги, явно наворованныя у друзей своихъ, при теперешнемъ броженіи всѣхъ понятій, при нашей распущенности и удобовпечатлительности—вреднѣе и заразительнѣе всѣхъ праздныхъ и лишнихъ людей, желчевыхъ и слезливыхъ!

— Не знаю, согласился ли мой Даніилъ...

Колоколъ № 84.
1 Ноября 1860 года.

СЕРБЫ И ЧЕРНОГОРЦЫ.

Мало знакомые съ внутренними дѣлами Западныхъ Славянъ и исключительно занятые нашими Русскими вопросами, мы ни разу не обращали къ нимъ рѣчи, и ни разу не передавали ничего объ нихъ нашимъ читателямъ.

Революціонная декламація намъ ненавистна; дутыя фразы сочувствія, казенно-либеральные возгласы намъ противны, со временъ всемірно-риторическихъ упражненій, которыми занималась

вся Европа послѣ похоронъ февральской республики. Театральныя постановки въ серьезномъ дѣлѣ не въ нашемъ характерѣ. Русская воля, если она разовьется когда нибудь, то разовьется— здоровой, простой крестьянской, которой равно не нужно будетъ ни румянъ, ни бѣлилъ, чтобъ нравиться — ни римскихъ тогъ и цивическихъ причитываній, чтобъ полюбить.

Мы не говорили о Западныхъ Славянахъ потому, что намъ нечего было высказывать кромѣ нашей искренней братской любви, говорить объ одной любви мы не хотѣли.

Но въ виду сближенія *Невскихъ нѣмцевъ съ Вѣнскими*, но наканунѣ воскрешенія смердящаго въ гробѣ *Священнаго Союза*, этого источника смерти для всего стремящагося къ независимости, этого источника жизни для гнилой, расползающейся Австріи — въ виду такой измѣны Славянскому міру со стороны Петербурга, мы не должны молчать; тѣмъ больше, что именно теперь Сербы и Черногорцы вступаютъ въ новую фазу.

Старый Милошъ со своими старыми понятіями сошелъ въ могилу. Его преемникъ возвѣстилъ о своемъ воцареніи народу Сербскому языкомъ благороднымъ, твердымъ, современнымъ. Онъ не обѣщалъ продолжать царствованія *незабвеннаго* отца и благодѣтеля, онъ обѣщалъ царствовать лучше, царствовать «покоряясь законамъ» — свободнаго представительства народа.

Въ Черногоріи преемникомъ несчастнаго князя Данилы является юноша. Мы мало объ немъ знаемъ, но нѣтъ причины думать, чтобъ онъ бросился въ объятія истасканной, исхудалой старухи Австріи, давно грозящей своей клюкой его родинѣ и тѣмъ больше теперь, когда сѣдая колдунья снова ластится къ медвѣдю, съ которымъ прежде жила, и который готовъ опять защищать беззубую дульцинею. Если молодой князь Черногоріи будетъ *поменьше благодаренъ за свое воспитаніе* (за которое онъ вѣроятно заплатилъ изъ своихъ денегъ), онъ можетъ сдѣлать многое для славныхъ горцевъ своихъ.

Сказавъ это, мы прямо обращаемся къ нашему дѣлу и обращаемъ вниманіе Сербовъ и Черногорцевъ на одинъ фактъ первой важности. Въ наше время нельзя безнаказанно смѣшивать Россію съ ея правительствомъ. Пусть они будутъ увѣрены, что недостаточно продолжать ненавидѣть Турковъ и нетерпѣть Австріи, а что надобно *окончательно не надѣяться на Русское правительство*. Петербургская дружба стоитъ Турецкой вражды и Австрійскаго коварства, только гораздо опаснѣе, потому что въ нее вѣрятъ.

Пора Западнымъ братьямъ нашимъ убѣдиться въ томъ, что въ Россіи нѣтъ ничего меньше Русскаго, меньше Славянскаго какъ правительство. Зимній дворецъ это какая-то *нѣмецкая слобода на Невѣ*.

И это вовсе не зависитъ отъ царствующаго лица, а отъ царствующей мысли, отъ всей системы; тутъ больше чѣмъ завѣщаніе Петра I, котораго никогда не было; тутъ преемственно наслоившаяся почва, изъ которой Зимній Дворецъ получаетъ исключи-

тельно свой государственный умъ и свою государственную глупость. Въ ней гніютъ, заражая ее, страшные трупы, и сохраняются страшныя традиціи — отъ Бироновскихъ и Остермановскихъ до Аракчеевскихъ, и отъ нихъ до Николаевскихъ безъименниковъ.

Мы считаемъ Александра II, даже послѣ всѣхъ его ошибокъ, послѣ того какъ онъ упалъ до пояса въ Австрію — лучшимъ изъ всѣхъ Романовскихъ Меровинговъ.

Но гдѣ же у него сила Самсона, чтобъ своими мышцами порвать эти тысячи веревокъ и путъ, вязанныхъ по пятидесяти лѣтъ сряду какими нибудь Нессельродами на дипломатическихъ спичкахъ, и какими нибудь Паниными съ компаніей прошнурованныхъ, спутанныхъ и закрѣпленныхъ канцелярскими нитками. Къ тому же онъ привыкъ къ сѣтямъ съ самаго рожденія, онъ въ нихъ выросъ, въ нихъ воспитанъ; они ему мѣшаютъ видѣть и понимать. Какъ барабанъ 21 Января 1793 г. мѣшалъ слышать слова короля, такъ Александру II барабанъ мѣшаетъ слышать слова народа. Онъ думаетъ, что онъ воленъ дѣлать *добро*, а въ сущности ему только не мѣшаютъ дѣлать *зло*.

Одинъ разъ поступилъ онъ свободно—въ крестьянскомъ вопросѣ—и сдѣлалъ великій шагъ, который ему исторія зачтетъ... но на этотъ шагъ чуть ли не потратилась вся его сила!

Теперь онъ соединяется съ Австріей, испуганный Итальянскимъ освобожденіемъ. Что ему за дѣло до него? Пусть Славяне подумаютъ, что можно ждать отъ правительства, готоваго соединиться съ худшимъ, съ презрѣннѣйшимъ врагомъ—съ врагомъ ненавистнымъ всей Россіи, только для того, чтобъ поддерживать рабство народовъ и священный принципъ самовластія. Развѣ это не таже политика, по которой православный Александръ I не хотѣлъ помочь Грекамъ, по которой Николай I сдѣлалъ первую венгерскую кампанію — а Александръ II можетъ сдѣлаетъ вторую? Зимній Дворецъ съ вами поступитъ не лучше; не считайте на его родство, его славянская кровь подозрительной чистоты. Какъ онъ чувствуетъ свою соплеменность и помогаетъ Славянамъ — на это пусть вамъ отвѣтитъ Польша...

Когда Саломонъ велѣлъ разрубить ребенка, материнское сердце сказалось; ну — а *какъ сказалось* сердце матушки императрицы, когда она четвертовала Польшу съ союзными Нѣмцами? Или можетъ оно иначе сказалось, когда Николай бросилъ на водку Австріи одну изъ древнѣйшихъ столицъ Польши — Краковъ, а мѣщанская Европа, съ своей широкой совѣстію, позволила ей принять краденое добро?

Да будутъ вамъ судьбы Польши вѣчнымъ урокомъ. Прометея, прикованнаго къ Кавказу, ежедневно прилеталъ терзать одинъ коршунъ, однимъ клювомъ. Дальше воображеніе Грековъ не шло. А Польшу, прикованную къ Россіи, клюютъ день и ночь три орла, три урода — съ пятью клювами.

Что же сдѣлалъ для Польши Александръ II? Сыну шло, было прилично покрыть чѣмъ нибудь черную память страшнаго отца,

и просить ему, кротостью и льготами прощеніе, заставить забыть его. Историческій декорумъ, человѣческое сердце требовали этого. Далъ онъ какую-то амнистію, нехотя, съ ограниченіями, да и та отравлена дерзкими посольскими писаришками. Намѣстникомъ остается раболѣпный старикъ, уложившій тысячи Русскихъ подъ Черной, изъ подобострастнаго повиновенія нелѣпому царскому приказу, и до того выжившій изъ ума, что не узнаетъ дѣтей своихъ. Новый царь даже не умѣлъ (а впрочемъ можетъ и не хотѣлъ) прогнать въ зашеи субалтерновъ въ родѣ отвратительнаго Муханова, гнуснаго Абрамовича.

Обратитесь отъ Польши къ собственнымъ воспоминаніямъ.

Всякій разъ, когда Петербургскому правительству нужно, для того чтобъ оторвать какой нибудь кусочекъ Турціи или пугнуть Австрію, оно наводняетъ ваши страны агентами; это дѣлалось со временъ Миниха и Анны Іоановны, при Потемкинѣ и Екатеринѣ, при Александрѣ I и Николаѣ. Агенты толковали о православіи и привозили *кресты*, о свободѣ (къ которой вѣроятно особенно пріучились въ Петербургѣ); надежды были возбуждены, наболѣвшія сердца бились сильнѣе, обѣщана помощь, вы приготовляетесь, вы вѣрите, — между тѣмъ, тамъ, гдѣ нибудь подъ Кучукъ-Кайнарджи или въ Адріанополѣ, заключаетя миръ—агенты исчезаютъ, повѣрившіе народы проданы и Петербургское правительство, въ очкахъ и крошечнаго роста, объявляетъ по нѣмецки: dass es niemals solche scandalöse Hoffnungen gegeben habe — и Нѣмцы вѣрятъ Нессельроду или Мейендорфу, Алопеусу или Убри, Шредеру или Штакельбергу; а Австрія и Турція являются. съ своими гофратами и башибузуками, наказывать за вѣру въ Петербургъ.

Это повторялось двадцать разъ, а у васъ все покупали портреты Александра I, да Николая I. Пора же снять повязку.

По счастью Зимній Дворецъ не вся Россія, даже не весь Петербургъ, его золотое время, то время, когда онъ какъ фениксъ, по манію Клейнмихеля, возникалъ изъ огня на трупахъ работниковъ — прошло.

Другая Россія, внѣ дворца, внѣ табели о рангахъ—ростетъ; она слаба, но и Зимній Дворецъ не такъ крѣпокъ, онъ безъ гроша (развѣ Австрія дастъ въ займы?). Другая Россія привѣтствуетъ васъ своими братьями, протягиваетъ вамъ руку; не смѣшивайте же ее съ руками всѣхъ этихъ квартальныхъ пропагандистовъ, агитаторовъ съ Анной на шеѣ, дѣйствительныхъ статскихъ пилигримовъ, заѣзжающихъ къ вамъ *по дорогѣ* въ Іерусалимъ или на Аѳонскую гору; мужей консулярныхъ, визирующихъ уродливой птицей ненужные паспорты и пишущихъ всякій вздоръ въ Петербургъ.

— Да гдѣ она, эта другая Россія?

— Это трудно сказать — много постороннихъ насъ слушаютъ — но ищите, и обрящете. На первый случай мы предлагаемъ вамъ нашъ вольный заграничный органъ, чтобъ перекликнуться съ Россіей. Онъ слишкомъ слабъ, чтобъ служить мостомъ для легіоновъ;

но онъ можетъ служить доской, брошенной черезъ оврагъ, на которой могутъ встрѣтиться два брата, потолковать о своихъ дѣлахъ — и пожать другъ другу руки!

ПОЛИЦЕЙСКІЕ МАСКАРАДЫ ИГНАТЬЕВА.

Нынѣшній годъ нашу „Сѣверную Пальмиру“ ожидаетъ рядъ новыхъ пикантныхъ увеселеній. Игнатьевъ съ Потаповымъ будутъ давать уличные маскарады, на которые приглашены уже *бродячія женщины* и водимые мущины; венеціанскія маски будутъ раздаваться брантъ-маіоромъ, вѣроятно въ это время костюмеръ Александрійскаго театра будетъ тушить пожары.

Вотъ афишка антрепренеровъ:

Приказъ С. Петербургской Полиціи.
19 Сентября 1860 г. № 169.

„По открытіи проступка, полиція задерживаетъ совершившаго оный или подозрѣваемаго въ немъ и при пересылкѣ такихъ людей изъ одного мѣста въ другое, полицейскіе служители водятъ ихъ по городу, такимъ образомъ лица эти, прежде обвиненія, подвергаются позору и осужденію. Господинъ С. Петербургскій военный генералъ-губернаторъ, въ видахъ *уменьшенія преступленій для обереженія чувства стыда* отъ всякаго преждевременнаго оскорбленія, при пересылкѣ арестантовъ въ здѣшней столицѣ изъ временныхъ мѣстъ заключенія *изволилъ* признать полезнымъ—надѣвать на арестантовъ особенныя шапки, которыя закрываютъ верхнюю часть лица и голову пересылаемаго. Предписываю гг. приставамъ исполнительныхъ дѣлъ принять отъ г. брантъ-майора означенныя шапки, и постоянно употреблять ихъ при пересылкѣ арестантовъ изъ одного мѣста заключенія въ другое, а также при сборѣ *бродячихъ женщинъ*.

„Подписалъ исправляющій должность С. Петербургскаго оберъ-полицмейстера, свиты его величества генералъ-майоръ *Потаповъ*.“

Ей Богу Бедламъ!

Неужели послѣ этого Игнатьевъ не купитъ, т. е. не возьметъ у брантъ-маіора себѣ такую шапку „для сбереженія чувства стыда“, и не надѣнетъ ее? Потаповъ можетъ узнавать его по нижней части... лица.

А государь? — Тому давно надѣли шапку, только не для того, чтобъ его не видѣлъ народъ, а чтобъ онъ не видѣлъ, что дѣлается въ государствѣ.

Колоколъ № 85.
15 Ноября 1860 г.

Es reiten drei Reiter
Nach Warschau hinein!
Juhhe!

Aus Warschau drei Reiter
Sie reiten hinaus!
Juhhe!

И это самое лучшее, что они могли сдѣлать — *три всадника* — т. е. уѣхать изъ Варшавы. Пріѣзжать-то не зачѣмъ было.

„Варшава опустѣла!“ говоритъ Nord, все видящій при сѣверномъ сіяніи—и на душѣ стало какъ-то легче. Слава богу, разъѣхались!

Чѣмъ же это кончилось? Что вышло изъ этого?

Развѣ тѣмъ, что unter den Linden, какой нибудь прусскій офицеръ, бывшій въ Варшавѣ, встрѣчая другаго прусскаго офицера, не бывшаго въ Варшавѣ, раздавленнымъ голосомъ скажетъ: Die Manefren auf dem Provonskischen Felde—allerehrenwerth, Prince Prusse sehr zufrieden, russisch Majestät auch — Magniperbe, Bruder, Magniperbe!

А сверхъ того? Ну уже больше ничего.

Варшавскій съѣздъ дѣйствительно одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, онъ сдѣлаетъ эпоху въ международномъ правѣ. Люди явились безъ ясной мысли, безъ плана, заявили передъ всѣмъ свѣтомъ свое поползновеніе преступнаго вмѣшательства въ чужія дѣла и разъѣхались, ничего не сдѣлавши, но каждый *головою ниже*.

Прусскій регентъ, der liperale, показалъ своимъ участіемъ, что онъ другъ конституціи, другъ гражданскихъ правъ, но еще болѣе другъ правъ самодержавія.

Александръ II обидѣлъ Россію возможностію австрійскаго союза, обидѣлъ Польшу — созвавши въ домъ повѣшеннаго толковать о веревкѣ, обидѣлъ Италію, забывшую, что онъ сынъ Николая; и это не все, — букетъ въ томъ, что пуще ихъ всѣхъ онъ обидѣлъ австрійскаго императора. Призвалъ молодаго человѣка словно за тѣмъ, чтобъ ему показать, что его и въ Польшѣ также ненавидятъ, какъ въ Италіи; что въ Варшавѣ, какъ нѣкогда въ Миланѣ, всѣ бѣгутъ отъ него, какъ отъ появленія смертоносной заразы, дамы отказываются отъ бала, мущины отказываются отъ *передней* — и за все за это ни Суворова на выручку, ни Паскевича на выкупку. «Да вѣдь это прекрасно!» — Нисколько. Мы не знаемъ, что просилъ государь у Австріи за братскую помощь. Мы знаемъ, что торгъ не сладился; *но онъ могъ сладиться*, а тогда что? Наши бѣдные солдаты, наши бѣдные офицеры опять пошли бы душить Венгрію, или Познань, или Венецію, или вообще кого нибудь душить, приготовляя мягкое stofato человѣческое для Австріи. За неудачу мы не отпустимъ грѣха, такъ, какъ и намъ, во врмя оно, онъ не былъ отпущенъ — мы пять лѣтъ прожили въ ссылкѣ *за намѣреніе составить общество съ безнравственной цѣлью*.

Объ австрійскомъ императорѣ и говорить нечего, жалче роли, послѣ Святополка окаяннаго въ Червонной Руси, не видали и не было; я нисколько не удивляюсь, что Киселевъ, тронутый его судьбой, приласкалъ его у Горчакова на *мужскомъ* балѣ. Такъ бѣдный и проѣхалъ въ Шенбрунъ, не заѣзжая въ Вѣну.

Ужъ не нарочно ли *пряжка* провидѣнія спасла его отъ ножа Лебени, чтобъ въ немъ съ библейской злобой казнить габсбургскій домъ?

А вѣдь это по японски: чтобъ отомстить освобождающейся Италіи, наши самодержцы взяли да и нанесли сами себѣ раны въ свой тройной животъ. Какой Джузеппе, называйся онъ Гарибальди или Маццини, могъ бы имъ сдѣлать такую операцію! Помазанники божіи пришли съ Сѣвера, съ Юга, съ Запада, посмотрѣли другъ на друга, сглазили другъ друга и разошлись, ничего не сдѣлавъ!

Не значитъ ли и это свиданіе *бѣлаго* царя съ *бѣлымъ* императоромъ, какъ сонъ Сквозника-Дмухановскаго, что ревизоръ скоро будетъ? Чего добраго!

Хлестаковъ-то у насъ въ Европѣ давно готовъ и беретъ себѣ въ лавочкѣ на пробу вмѣсто балыка—то кусочекъ Италіи, то кусочекъ Швейцаріи, но вѣдь за Хлестаковымъ пріѣхалъ же и *настоящій* ревизоръ.

Вотъ потому-то и не надобно шалить въ конгрессы, того и смотри накличешь бѣду. Теперь какія времена—все газъ да телеграфъ—видно, слышно. Какихъ ни вымышляй пружинъ, даже допотопныхъ буйволовъ для представителей допотопныхъ идей—всѣ эти величественные съѣзды, съ ихъ пародіальными mise en scène, секретными пунктами и явной ложью не дѣйствуютъ на грубые нервы современнаго человѣка, или хуже, возбуждаютъ его смѣхъ. Время дипломатическихъ перешептываній, международныхъ плясокъ, попоекъ съ государственною цѣлью, переодѣваній изъ мундира въ мундиръ прошло вмѣстѣ съ вѣрой въ дипломатическія тайны, въ гаданье по кофею, въ „жизненный эликсиръ" и слабительное Леруа. Люди догадались, что исторія вовсе не такая аристократка, и что она дѣлается и не на балѣ, и не въ канцеляріи, и что пиши какой хочешь важный вздоръ, а Гарибальди придетъ и исторія пойдетъ съ нимъ подъ руку.

А все гласность, проклятая гласность все загубила, все разболтала. Бывало народы, ничего не зная, смотрятъ съ ужасомъ на какую нибудь конференцію, какъ на таинственную лабораторію народныхъ судебъ, гдѣ какіе-то золотомъ шитые старцы, покрытые звѣздами, какъ и слѣдуетъ астрологамъ, кашляя диктуютъ будущее, все цифрами да шифрами, и всемірная исторія нарождается подъ скрипъ канцелярскихъ перьевъ — а теперь — теперь никого не надуешь.

Всякая сволочь часа черезъ два по проволокѣ знаетъ всю подноготную. Вотъ отъ этого, когда случится опростоволоситься, какъ въ Варшавѣ, fiasco-то скрыть и нельзя; а народы съ дуру, не понимая, что это все таки помазанники божіи, и поднимаютъ грубый, гомерическій смѣхъ, смѣхъ проклято-здоровыхъ легкихъ. Выйдите на англійскую набережную, я увѣренъ, что изъ-за Балтійскаго моря къ вамъ донесется Британскій хохотъ, old merry England удержаться не можетъ на старости лѣтъ, такъ и катается со смѣху, какъ вспомнитъ о варшавскомъ свиданіи.

О, Немезида, Немезида! ты одна осталась отъ всего Олимпа, потому что ты умѣешь свои жертвы не только колоть кинжаломъ и покрывать саваномъ, но и колоть ироніей и покрывать смѣхомъ. Развѣ это не Немезида-иронія устроила, что всѣ собственники и обладатели *благопріобрѣтенной* Польши, всѣ ея вотчимы, въ кои-то вѣка собрались вмѣстѣ въ Варшавѣ для того, чтобъ съ какимъ-то аристофановскимъ комизмомъ показать свои дурныя намѣренія и безконечную неспособность исполнить ихъ.

Они явились и исчезли какими-то наводящими уныніе тѣнями давно прошедшаго, печально покачали головой, видя, что дѣлается въ Италіи, и не умѣвши сговориться между собой—какъ трупами цѣлыхъ армій запрудить новое русло, которое пробило себѣ народное освобожденіе—отшествовали въ свои мавзолеи.

Читаешь подробности объ этихъ казенныхъ праздникахъ и обязательныхъ иллюминаціяхъ, объ охотахъ и театрахъ, о смотрахъ и балахъ, и еще больше и больше не вѣришь, чтобъ въ ихъ рукахъ въ самомъ дѣлѣ были судьбы міра. Нравы народовъ стали серьезнѣе, понятія, обычаи, все измѣнилось; а они все еще въ тѣхъ временахъ, когда конгрессы *плясали*, и вахтпарады были нѣчто въ родѣ военной литургіи. Нѣтъ, уже если непремѣнно надобно вредить какому нибудь народу, то легче это дѣлать въ тихомолку да въ тѣни, чѣмъ при освѣщеніи плошками и шкаликами, со всѣми старинными агрементами и орнаментами, которые теперь только смѣшны и каррикатурны.

Представьте себѣ трехъ ученыхъ, трехъ докторовъ, жалающихъ совѣщаться о какомъ нибудь важномъ дѣлѣ, о трудно-больномъ. Люди занятые, они бросаютъ практику и ѣдутъ дня на два въ какой нибудь городъ. Что бы вы объ нихъ сказали, еслибъ вы услышали, что они только что пріѣхали и загуляли? Сначала, въ доказательство задушевной дружбы, докторъ А явился бы въ пальто доктора В и оба въ штанахъ С, на другой день С въ пальто В, и по извѣстной математической формулѣ переложеній и сочетаній, такъ и рядились бы три раза въ день. Одѣвшись въ чужое платье — на кутежъ, съ кутежа въ театръ, изъ театра на балъ, съ бала въ постель. — хорошо день потерянъ, за то на другой день, если голова не болитъ, можно и дѣломъ заняться. Ничуть не бывало, докторъ А будитъ ранехонько товарищей. скорѣй одѣваться въ чужое платье. Что случилось? „Поѣдемте за городъ, я покажу, какія у меня цѣпныя собаки; дружба моя дружбой, а коли когда не поладимъ. посмотрите молъ, что за зубы!“... и опять кутежъ.

Что за пустота, или что за угрызеніе совѣсти должно быть у людей, которые такъ бѣгутъ сосредоточенія и всякой серьезной мысли!

Но довольно о неудачномъ конгрессѣ. Еще одно слово, и это слово въ утѣшеніе.

Варшавское свиданіе будетъ внесено и въ другую лѣтопись, и въ ней скажется—что царское самовластье, не знавшее никакихъ предѣловъ, наконецъ натолкнулось на свою границу и вызвало то

страдательное противудѣйствіе молчанія и затаеннаго отвращенія, отъ которыхъ монархи блѣднѣютъ. Передъ позоромъ австрійскаго союза, передъ глупостью союза противъ Италіи—*Россія и Польша* соединились въ одно чувство порицанья и осужденья!

И если вѣнценосцы уѣхали изъ Варшавы головою ниже—*Россія и Польша выросли на голову!*

Колоколъ №№ 87 и 88
15 Декабря 1860 года.

ИМПЕРАТОРСКІЙ КАБИНЕТЪ И МУРАВЬЕВЪ-АМУРСКІЙ.

Мы увѣрены, что читатели наши не будутъ сѣтовать на насъ за то, что мы въ заключеніе 1860 года печатаемъ цѣликомъ вмѣсто *Колокола—Кабинетную поэму*. Послѣ *Мертвыхъ Душъ* мало поэмъ въ прозѣ писаны съ болѣе злымъ юморомъ.

Печатаемъ слово въ слово, во всей первобытной цѣлости, несмотря на длинноту, эту поэму о борьбѣ Муравьева-Амурскаго съ кабинетомъ его величества—борьбѣ здраваго смысла съ недобросовѣстностью и тупоуміемъ. На чью сторону склонился государь — на сторону Муравьева и здраваго смысла, или на сторону кабинета и грязной, безсмысленной лжи — неизвѣстно. Кажется, что кабинетъ торжествуетъ побѣду. Государя хотятъ заставить *украсть* у Россіи въ свою личную собственность государственное достояніе, и онъ — честный человѣкъ — *этого не замѣчаетъ!* Государя хотятъ заставить придержать въ рабствѣ задавленное народонаселеніе приписныхъ къ горнымъ промысламъ крестьянъ, и онъ — освободитель — этого не замѣчаетъ! Россію хотятъ грабить въ пользу управительства — и онъ смотритъ въ оба и ничего не видитъ. Не видитъ, что всѣ эти Адлерберги, Чевкины, Княжевичи и прочіе кабинетныхъ дѣлъ мастера хотятъ вовлечь его въ глупое и нахальное обманываніе русскаго народа только ради своей корысти. Да если уже государю, изъ за необдуманныхъ нашествій на Варшаву и на разные институты военные и невоенные, некогда обсуждать государственныя дѣла, то хоть бы онъ подумалъ, что Муравьевъ-Амурскій, положимъ и не лишенъ своихъ погрѣшностей, напр., поползновенія на деспотическое преобразованіе Сибири à la Pierre le Grand, не щадя людской жизни; но что все же онъ, Муравьевъ-Амурскій, безъ всякаго сравненія умнѣе, образованнѣе и честнѣе всего кабинета совокупно; хотя бы это простое и наглядное наблюденіе пришло государю въ голову — то конечно его величество остановилось бы и не изъявило бы высочайшаго согласія съ мнѣніемъ кабинета, равно гадкимъ и нелѣпымъ... Но пусть документы сами доказываютъ публикѣ горькую истину нашихъ словъ*).

---

*) Далѣе слѣдуетъ перепечатка оффиціальныхъ документовъ по возбужденному Муравьевымъ вопросу о преобразованіи Нерчин-

. . . . . .

Страшно становится по прочтеніи этого документа. Одинъ человѣкъ съ государственнымъ смысломъ, того не слушаютъ; кабинетъ и министръ финансовъ наглымъ образомъ обманываютъ государя; государь крадетъ собственность у государства... И какъ подумаешь, что въ то же время какой нибудь ворующій губернаторъ выключаетъ изъ службы какого нибудь становаго, обремененнаго семействомъ и укравшаго казенный полтинникъ, такъ и хочется оправдать становаго. Онъ дѣйствуетъ въ смыслѣ высшихъ, только крадетъ въ мелкомъ размѣрѣ, а тѣ въ крупномъ. Становые крадутъ, губернаторы крадутъ, кабинетъ крадетъ, министры крадутъ... Скромность и смутная надежда, впрочемъ съ каждымъ днемъ слабѣющая, что молъ добрый человѣкъ авось исправится,—мѣшаютъ намъ назвать верхній брусъ этой уродливой пирамиды, называемой нѣмецкимъ правительствомъ въ Россіи.

Колоколъ № 89.
1 Января 1861 года.

— *Тимашевъ, сидите дома какъ Бейстъ, не ѣздите какъ Гейнау!* Будущій графъ и настоящій, но не безкорыстный защитникъ главнаго общества желѣзныхъ дорогъ шатается по Европѣ, распространяя запахъ шпіонства, застѣнка, орудій пытки и проч. Говорятъ, что онъ былъ здѣсь — много-ли видно въ щели, хорошо-ли слышно за дверьми?

Вотъ тоже графъ, да еще настоящій, графъ Гейнау былъ однажды въ Лондонѣ и какъ настоящій нѣмецъ, сходилъ на поклоненіе мѣсту зачатія пива и портера, въ Берклееву пивоварню—и вышелъ оттуда *усомъ* меньше...

скаго округа. Недостатокъ мѣста не позволяетъ мнѣ къ сожалѣнію перепечатать эту „Кабинетную поэму", великолѣпно иллюстрированную многочисленными примѣчаніями Герцена. Суть дѣла въ томъ, что Муравьевъ старается возвратить Россіи округъ (800 верстъ длины, 300 верстъ ширины), съ какой-то стати захваченный царской фамиліей, и освободить крестьянъ, приписанныхъ къ округу и положеніе которыхъ по всеобщему признанію *хуже положенія каторжанъ*. Кабинетъ его величества (м. пр. Адлербергъ), равно какъ и министерство финансовъ (Княжевичъ), и сибирскій комитетъ (между прочимъ вел. князь Константинъ) стараются уничтожить эти планы и сохранить за имп. фам. захваченныя земли, а за чиновниками возможность грабить ихъ. Разумѣется, защитникамъ грабежа и захвата приходится выѣзжать на самой неубѣдительной софистикѣ, особенно постыдной для царя во всемъ, что касается стремленія не допустить освобожденія горнозаводскихъ крестьянъ. Мѣсто означенныхъ документовъ (всего съ примѣчаніями 41 столбецъ) означено у меня точками. *Л. Т.*

Молодой человѣкъ, III отдѣленія человѣкъ — да послужитъ сей *односторонній* примѣръ внушительнымъ назиданіемъ «для собственной вашей пользы», какъ выражался достойный предслушникъ вашъ Леонтій Васильевичъ Дуббельтъ. Сидите дома и кланяйтесь отъ насъ Лужину.

Какъ только заговоришь о шпіонахъ и палачахъ, такъ въ голову и идетъ нашъ добрый, почтенный, бидерманъ, kreuzbraver *Бейстъ*. Представьте положеніе этого почтеннаго бидермана — король его служитъ въ австрійскихъ шпіонахъ, ну ему и приходится играть роль шиндеркнехта. Такъ какъ они въ 1849 году выдали нашего Бакунина, такъ теперь передали графа Телеки въ Вѣну своимъ господамъ. *Король-шпіонъ!* это совершенно новое сочетаніе должностей. Зачѣмъ же Тимашеву въ графы, ему уже прямо въ короли Саксонскіе.

Какое постоянство въ злодѣйствѣ, и какое.... терпѣніе у этого нѣмецкаго народа—zu christlich!

Колоколъ № 90.
15 Января 1861 года.

КОНСТАНТИНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ АКСАКОВЪ.

Вслѣдъ за сильнымъ бойцемъ Славянизма въ Россіи, за *А. С. Хомяковымъ* — угасъ одинъ изъ сподвижниковъ его, одинъ изъ ближайшихъ друзей его—*Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ* скончался въ прошломъ мѣсяцѣ.

Рано умеръ Хомяковъ, еще раньше Аксаковъ; больно людямъ, любившимъ ихъ, знать, что нѣтъ больше этихъ дѣятелей благородныхъ, неутомимыхъ, что нѣтъ этихъ *противниковъ*, которые были ближе намъ многихъ *своихъ*. Съ нелѣпой силой случайности спорить нечего, у ней нѣтъ ни ушей, ни глазъ, ее даже и обидѣть нельзя, а потому со слезой и благочестіемъ, закрывая крышку ихъ гроба, перейдемъ къ тому, что живо и послѣ нихъ.

Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ — *сдѣлали свое дѣло*; долго ли. коротко ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъ-егерской тройки, посланной Петромъ, и въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика, чтобы тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей — то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей.

Съ нихъ начинается *переломъ русской мысли*. И когда *мы* это говоримъ, кажется насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.

Да. мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна* любовь, но не *одинакая*.

У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество—чувство безгранич-

ной, обхватывающей все существованіе любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума. И мы какъ Янусъ, или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время какъ *сердце билось одно.*

Они всю любовь, всю нѣжность, перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому что ее пѣсни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнаткѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ за серебрянныхъ окладовъ, все попы съ причетомъ пугавшіе несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастіи, раздиралъ наше сердце; мы знали, что у ней нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній — мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, — это нашъ меньшій братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство. А пока—

Mutter, Mutter lass mich gehen
Schweifen auf die wilden Höhen!

Такова была наша семейная разладица лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и мы встрѣтили *горный духъ*, остановившій нашъ бѣгъ, и они вмѣсто міра мощей, натолкнулись на живые русскіе вопросы. Считаться намъ странно, патентовъ на пониманіе нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому чтобъ они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.*)

---

*) Разъ только Н. Языковъ „стягнулъ“ оскорбительно Чаадаева, Грановскаго и меня. К. Аксаковъ не вынесъ этого, онъ отвѣчалъ поэту своей партіи рѣзкими стихами въ нашу защиту (V Пол. Зв. стр. 137). Аксаковъ такъ и остался вѣчнымъ восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей, онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни Славяне, ни мы не хотѣли больше встрѣчаться, я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. «Мнѣ было слишкомъ больно, сказалъ онъ, проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься.» Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ-же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцаловалъ. У ме-

На этой вѣрѣ другъ въ друга, на этой общей любви имѣемъ право и мы поклониться ихъ гробамъ и бросить нашу горсть земли на ихъ покойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могилахъ ихъ, на могилахъ нашихъ — разцвѣла сильно и широко молодая Русь!

Колоколъ № 91.
1 Февраля 1861 г.

Прошло *сто лѣтъ*...
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.

Прошло еще и не сто лѣтъ, а *четверть* вѣка, и *новой царицѣ* кажется скоро придется склониться и не передъ порфироносной соперницей... а передъ цѣлымъ хороводомъ дальнихъ сродницъ, не богатыхъ, не важныхъ по происхожденію и скорѣе степныхъ.... чѣмъ великосвѣтскихъ.

Вездѣ на Руси закипаетъ жизнь, вездѣ обнаруживается дѣятельность, иногда нескладная, но здоровая, молодая и самобытная.

Петербургъ, какъ глава Россіи, какъ средоточіе умственной и гражданской дѣятельности, не можетъ пережить Петровскую эпоху, ея мысль истощилась. Петербургъ можетъ оставаться правительственнымъ городомъ — по той мѣрѣ, по которой правительство пойдетъ врозь съ народомъ. Сила, захваченная, собранная имъ велика, она можетъ безъ сомнѣнія поддержать власть и задержать развитіе частей. Борьба бюрократіи, поддерживаемой штыками и поддерживающей централизацію—противъ областной самобытности —имѣетъ за себя много шансовъ. Мы обращаемъ вниманіе на живые зародыши, а вытравитъ ихъ мать или нѣтъ — это внѣ нашей физіологіи.

Вотъ что мы видимъ издали. Какъ только пахнетъ свѣжимъ воздухомъ, здоровымъ, обѣщающимъ весну, то это навѣрное съ Урала или изъ Казани, изъ Кіева или изъ Харькова, изъ Малороссіи или изъ Сибири, но не изъ Петербурга и не изъ Москвы. Стоитъ читать наши русскіе журналы и нѣсколько брошюръ, вышедшихъ за границей, чтобъ видѣть, какъ рядомъ съ олигархическими притязаніями потомковъ столбовыхъ петербургскихъ писцовъ, перемѣшавшихся съ флигель-адъютантами — дѣйствуетъ Тверской комитетъ съ Унковскимъ и съ Европеусомъ, съ выработанной мыслію, съ проэктомъ земскаго банка, съ готовностію освободить крестьянъ и отдать имъ ихъ землю; какъ рядомъ съ Котошихинскими *князьями*, *боярами* и *воеводами* первопрестольной

ня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры!

столицы, дошедшими до того, что самъ государь пристыдилъ ихъ за упорную отсталость — Владимірской адресъ, который пристыдилъ государя до несправедливаго поступка.

И люди, пріѣзжающіе изъ дальнихъ мѣстъ Россіи — энергичнѣе, юнѣе, безъ невскаго отчаянія, безъ больныхъ нервъ и сломанности, безъ московскаго столичнаго провинціализма, они имѣютъ больше своихъ чертъ. Иногда они наивны, иногда ошибаются, но имъ не до такой степени страшны какъ петербуржцу — вельможи и генералы отъ Ш-го отдѣленія, и они не до такой степени подавлены авторитетомъ сановниковъ Московскаго журнализма и Англійскаго клуба.

Все это заставляетъ насъ думать, что будущность Россіи не въ Петербургѣ и не въ Москвѣ. Конецъ Петербургомъ начатаго дѣла —*освобожденія крестьянъ*—будетъ началомъ *освобожденія областной жизни*. Петербургскій періодъ можетъ только продолжаться *періодомъ Николаевскимъ*.

— Но отчего же и вдовствующая столица должна съ нимъ вмѣстѣ сойти со сцены?

Мы этого не говоримъ. Такія средоточія народонаселенія, дѣятельности и торговли не сходятъ со сцены такъ быстро. Мы говоримъ о ихъ значеніи метрополіи, о ихъ нравственномъ самодержавіи, въ которомъ въ сущности и нужды нѣтъ никакой. Вопросъ — почему эта власть не переходитъ въ Москву — труденъ. Но факты передъ глазами.

Возьмемъ одинъ очень не важный, но близкій намъ. Какъ ни молодъ „Колоколъ", но онъ уже имѣетъ свою хронику, свои наблюденія и выводы. Изъ самыхъ дальнихъ концовъ Россіи мы получаемъ — dann und wann — письмо, слово симпатіи, разсказъ вопль негодованія; на Петербургъ тоже жаловаться нельзя, хотя отъ его общественнаго положенія и можно было бы больше требовать (въ невозможность посылать ни мы не нѣримъ, ни Тимашевъ), все же изъ Петербурга посылаютъ.

Изъ Москвы почти никогда, ни строки, цѣлые годы проходятъ безъ вѣсти. Москва любитъ поболтать, писать не охотница, да и недосугъ, время скоро идетъ, пора обѣдать, а тутъ тяжесть, такая усталь, да и ищи какъ послать, хлопоты...

Спите, братцы, почивайте!

И отчего Москвѣ не отдохнуть? Самъ Христосъ только *одинъ* разъ воскресалъ, и то не надолго. Москва совершила свой второй подвигъ. Она была во все продолженіе несчастнаго тридцатилѣтія воспитательнымъ домомъ Россіи, послѣднимъ убѣжищемъ мысли, науки, человѣческихъ убѣжденій. Она обучала иногда тайкомъ отъ отца, какъ жена Людовика XI. Въ Москвѣ возникла, развилась, расщепилась и возмужала современная русская мысль, качаясь въ своей колыбели между протестомъ Чаадаева и воззрѣніемъ славянофиловъ. И если впослѣдствіи *исполнительная* часть литературы, ея прилавокъ, перешелъ въ Петербургъ, то ея тема, мысль, задача—изъ Москвы, то ея люди—изъ Москвы. Лермонтовъ,

Бѣлинскій, Тургеневъ, Кавелинъ — все это наши товарищи студенты Московскаго университета.

Этотъ каѳедральный соборъ новаго русскаго образованія былъ больше чѣмъ кѣмъ нибудь оцѣненъ императоромъ Николаемъ. Онъ, мнительный и трусъ, ясновидѣніемъ ненависти понялъ, что значатъ эти бѣдныя каѳедры, на которыя всходили люди, изуродованные *малиновыми* воротниками на фракѣ, и которыхъ слушали какіе-то юноши, одѣтые конно-егерскими юнкерами. Онъ чуялъ, что въ этихъ аудиторіяхъ, какъ нѣкогда въ римскихъ катакомбахъ, есть молодые учители, крестившіе безшумно наукой и свѣтомъ истины одно поколѣніе за другимъ, и что эти ставленники ихъ ежегодно разсыпались во всѣ четыре стороны. Юбилей Московскаго университета праздновался всей Россіей, и, читая рѣчи, произнесенныя въ губернскихъ городахъ, у насъ вдали сильно билось сердце.

Чтобъ понять все различіе живой цистерны, въ которую каждая вена торопится снести свою кровь, и изъ которой черпаетъ каждая артерія, съ искусственной поддѣлкой органа, не сростающагося съ тѣломъ, но иногда полезнаго ему, стоитъ вспомнить, рядомъ съ Московскимъ университетомъ — *Петербургскую академію наукъ*. Безъ сомнѣнія, академики во всѣ времена были гораздо ученѣе московскихъ профессоровъ, но почему эта академія *русская?* Перевезите ее въ Пекинъ, въ Испагань, въ Александрію—ничего не перемѣнится; вмѣсто Владиміра имъ будутъ давать Льва и Солнца, вмѣсто портрета Александра Николаевича —портретъ китайскаго императора, и сердце ихъ также будетъ тронуто. Палласу и Гмелину вовсе не нужно было быть петербургскими академиками для того, чтобъ совершить свое путешествіе. Гумбольдту, Гакстгаузену и Тенгоборскому также мало было надобности для ихъ изученій Россіи, чтобъ на Васильевскомъ острову былъ академическій скитъ, какъ Ливингстону, чтобъ въ Африкѣ была какая нибудь Кафрская Сорбона.

Московскій университетъ соотвѣтствовалъ возникавшей народной потребности образованія; то же должно сказать о всѣхъ остальныхъ русскихъ университетахъ. Петербургская академія была вызвана потребностью орнаментировки цивилизующаго самодержавія, какъ циркуль и глобусъ, который ваятели прибавляли къ статуямъ самодержцевъ. Въ XVIII столѣтіи вельможи, богатыри, проходившіе спальней Екатерины II, любили заводить себѣ, на заработную плату, малороссійскіе и великороссійскіе Версали, и при нихъ непремѣнно „избранную библіотеку", при которой содержался французъ-библіотекарь, являвшійся на большихъ выходахъ безграмотнаго барина для вящаго благолѣпія. На томъ же основаніи зазвали въ Петербургъ нѣсколько иностранцевъ ученыхъ и бездомниковъ (Лейбницъ не бось не поѣхалъ!) для того, чтобъ они тѣ ученыя вещи, которыя бы писали въ Гетингенѣ или Тюбингенѣ, писали бы на Васильевскомъ острову. Каковы были эти колонисты науки, про то знаетъ М. В. Ломоносовъ. Заведеніе это

съ тѣхъ поръ такъ и осталось и, какъ всѣ нѣмецкія заведенія, напримѣръ Зимній Дворецъ, не только не обрусѣло, но онѣмечило всѣхъ русскихъ, случайно попадавшихъ въ храмъ Минервы—*Германіи*.

Второй вѣкъ идетъ съ ея открытія, но она такъ и осталась какой-то баркой, на которой плывутъ эмигранты-эксперты изъ любви къ наукѣ и къ злату, гдѣ нибудь въ Калифорніи, нисколько не заботясь ни о берегахъ, ни о мутной водѣ около нихъ.

Если Россія когда нибудь придетъ въ себя подъ бременемъ своего креста и скажетъ академикамъ между прочимъ, отирая кровавый потъ: „Ученые нѣмцы, что вамъ до меня, я васъ не знаю, и вы меня не знаете. Изучайте меня, живите, пишите, наблюдайте, считайте—но за что же мнѣ платить-то вамъ за это?" Она будетъ права!

Былъ ли со стороны академіи наукъ хоть одинъ протестъ, хоть одна слабая попытка защитить слово, образованіе, мысль во все время Николаевской Аракчеевщины. Что она сдѣлала для народа, кромѣ изданія мѣсяцеслова? Мы знаемъ имя того дерптскаго ректора, который не хотѣлъ склонить своей головы подъ фельдфебельское иго. Мы знаемъ профессора иностранца, высланнаго изъ Московскаго университета за то, что онъ сочувствовалъ германскому движенію. Укажите академика, пострадавшаго отъ чего нибудь, кромѣ гемороя, укажите живое слово, живой интересъ, человѣческое сочувствіе академіи... ей было не до насъ.

Нынѣшнимъ лѣтомъ *академикъ Якоби*, посланный министерствомъ финансовъ въ Германію, по экономическому дѣлу, съ такимъ усердіемъ занялся „платиной", что предложилъ, обобщая свое порученіе, и при томъ Княжевичу, которому дѣла нѣтъ до этого, устроить *плотину* противъ *распространенія* книги кн. П. Долгорукова въ Германіи. Химикъ находилъ это броженіе zu gefährlich для русско-нѣмецкихъ соединеній.

Если это правда (можетъ академія напечатаетъ это въ своихъ Pulletins), то это единственный случай извѣстный, въ которомъ академія сдѣлала что нибудь для русской гражданственности.

Переходя снова къ Московскому университету, и признавъ его огромное значеніе, мы должны сознаться, что онъ пережилъ свою героическую эпоху, свою исключительную гегемонію просвѣщенія. Его юбилей былъ его лебединой пѣснью, съ похоронъ Грановскаго онъ не оправлялся. Но въ то самое время, какъ его уровень мельчаетъ, уровень провинціальныхъ университетовъ подымается выше и выше, и подымается безъ малѣйшаго содѣйствія правительства, бросающаго деньги на одни вредныя и ненужныя школы, въ родѣ школы *ольденбургскаго правовѣденія*, юнкерскаго марсоводства и пр.

Провинціальные университеты забыты, министерство Ковалевскаго съ *нарѣзчикомъ* Мухановымъ заняты не тѣмъ. Ковалевскій напримѣръ видѣлъ своими глазами, что въ Казанскомъ универси-

тетѣ *восемь* пустыхъ каѳедръ и не меньше *пустыхъ* профессоровъ*), и что же сдѣлалъ? Тотчасъ сталъ хлопотать объ арендѣ, не Казанскому университету, *а себѣ*. Учителя гимназіи въ Петербургѣ и Москвѣ не идутъ въ провинціальные университеты, потому что оклады малы. Провинціальные профессора напротивъ при первой возможности переходятъ въ столицы. И со всѣмъ съ этимъ духъ этихъ университетовъ, духъ молодыхъ профессоровъ и студентовъ — превосходенъ.

Каждая новость изъ дальнихъ университетовъ проникнута свѣжей жизнію аудиторіи. Сколько юной страсти къ наукѣ, негодованія за скверное преподаваніе, какъ бьются эти молодые люди, чтобъ замѣнить бездарныхъ, тупыхъ, отсталыхъ преподователей — людьми свѣжими и молодыми мыслію, какъ дружно протестуютъ они, какъ составляютъ свои братскіе круги для выписки книгъ, журналовъ. Этого развитія скоро не искоренятъ ни сыщики Тимашева à la Лужинъ, ни сродники бывшаго дядьки наслѣдника à la Зиновьевъ, ни золотушная язва нѣмецкихъ вѣчно-цѣховыхъ ремесленниковъ науки, съ ихъ русскими подмастерьями на манеръ нѣмецкій. Тамъ, гдѣ жизнь круто завязывается, она чрезвычайно упорна, и дѣлай что хочешь, она найдетъ себѣ и щель къ свѣту и дорогу впередъ, противъ нея ни преступная небрежность министерства, ни преступное вниманіе шпіонства, ничего не сдѣлаютъ. Университетъ учитъ столько же, или еще больше аудиторіей, сколько каѳедрой, юнымъ столкновеніемъ, горячимъ обмѣномъ мыслей. Если есть два-три доцента, умѣющіе возбудить вопросы, научить ихъ ставить, умѣющіе указать, что дѣлаетъ наука на волѣ, то и довольно!

Если разсудить, то почти лучше, что правительство ничего не дѣлаетъ для провинціальныхъ университетовъ. Оно ихъ завело изъ хвастовства и поддерживаетъ настолько, чтобъ стѣны не упали

---

*) Намъ разсказывалъ одинъ бывшій казанскій студентъ о составѣ ихъ медицинскаго факультета... Тѣнь Побѣдоносцева и тѣни Котельницкаго, Ивановскаго, Ульрихса (отца, сынъ тоже нѣмецъ, но служитъ по тайной исторіи, а не по всеобщей и читаетъ не лекціи по Шреку, а чужія письма по *Шпекину*), гордо улыбаясь, пронеслись мимо насъ. Отъ *генерала* (отъ хирургіи) и *плантатора Франца Іосифовича Іелачича* (такъ и понесло Австріей), занимающагося накожной хирургіей съ своими мужиками и вовсе не занимающагося университетомъ, до *Егора Іоакимовича Блосфельда*, называющаго микроскопическія наблюденія onania moralis (Господи, что же послѣ этого телескопическія наблюденія, развѣ sodomia sideralis?) и отъ Блосфельда до нѣмца изъ казанскихъ уроженцевъ *Соколовскаго*, говорящаго, что критика теперь не въ модѣ, что ея даже нѣтъ и за границей! (Должно быть она, какъ Илія пророкъ, взята на небо) — все такъ и просится на исключеніе изъ университетскаго вѣдомства и на опредѣленіе къ другимъ дѣламъ и должностямъ.

отъ стыда. Пусть же молодежь пробивается сама, учится сама; за лишній трудъ она пріобрѣтетъ великое *право неблагодарности*, у ней не будетъ одолженій Петербургу, она себѣ и молодымъ труженикамъ науки будетъ обязана своимъ образованіемъ. *) Пусть же она отрясетъ прахъ со своихъ ногъ, и приметъ нашъ братскій совѣтъ — идти, не останавливаясь на препятствіяхъ, впередъ и впередъ!

Отъ души, съ глубокой любовью привѣтствуемъ мы изъ нашей дали, новыя фаланги будущей Руси, идущія намъ на смѣну; ихъ дружескія слова долетаютъ до насъ, снимаютъ много тяжелаго и скорбнаго, мы себя чувствуемъ съ ними какъ-то снова молодыми.

Колоколъ № 93.
1 Марта 1861 года.

НА КАНУНѢ.

Пришла великая суббота, скоро ударитъ колоколъ къ заутрени.... а на душѣ страшно и тяжело. Зачѣмъ намъ отравляютъ эту праздничную минуту? И мы, какъ наши бѣдные крестьяне, стоимъ въ раздумьи, съ неполной вѣрой, съ глубокимъ желаніемъ любви и съ непреодолимымъ чувствомъ ненависти.

Еслибъ можно было еще разъ сказать: „Ты побѣдимъ Галилеянинъ!“, какъ громко и какъ отъ души сказали бы мы это, и пусть какой нибудь одностворчатый доктринеръ, неподвижный фрунтовикъ школьной науки, издѣваясь надъ нами, вывелъ бы на справку, что мы не все *одно и тоже* твердимъ.

Столько для Россіи никогда не стояло на картѣ, ни въ 1612, ни въ 1812 году.

И хорошо, что въ день смерти Николая похоронятъ и Петровскую эпоху. Спасибо ей за тяжелую науку и забвеніе злу причиненному ею! сказали-бы мы. Но для этого зло должно умереть въ преступныхъ, нечистыхъ старикахъ, нераскаянныхъ въ стяжаніи и алчности.

Иностранные журналы говорятъ уже объ плантаторской оппозиціи инвалидовъ. Тяжела будетъ могила этимъ сѣдымъ скопцамъ, если имъ удастся изуродовать нарождающуюся Русь. Вѣдь это не просто взятки, не просто грабежъ, это ножъ воткнутый въ будущее. Смотрите Муравьевы и Гагарины, двойные измѣнники народа—который грабите, и царя—котораго обираете, если вы и успѣ-

---

*) Одно рекомендовали бы мы молодымъ ученымъ провинціальныхъ университетовъ, они должны оставаться въ своемъ краю, въ родной средѣ, а не тотчасъ переѣзжать по первому зову въ Петербургъ или Москву. Можетъ это и не совсѣмъ выгодно, но теперь не до домашней экономіи.

ете перебраться на болотистыя петербургскія кладбища, родъ вашъ*) будетъ отвѣчать передъ русскимъ народомъ.

Есть святыя, торжественныя минуты въ жизни людей и народовъ, въ которыя обиды не прощаются!

Колоколъ № 94.
15 Марта 1861 года.

ДУХУ НЕ ДОСТАЛО!

Отложили!.... Зачѣмъ?.... Неужели въ самомъ дѣлѣ по случаю масляницы?—что за пансіонскія затѣи! Развѣ они не знаютъ, что между кубкомъ и губами есть всегда мѣсто бѣдѣ.

Эта отсрочка, это ожиданіе—сверхъ силъ человѣческихъ; тоска, тоска и страхъ! Еслибъ было возможно, мы бросили бы все и поскакали бы въ Россію. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствія. Но выбора нѣтъ! потерянный вдали ведетъ, мы не можемъ безъ смѣны оставить нами самими избранный постъ и желали бы только, чтобъ помянулъ насъ кто-нибудь въ день великаго народнаго воскресенія.

Зачѣмъ русскіе, которые могутъ ѣхать и живутъ безъ дѣла, скучая и зѣвая въ Парижѣ, въ Италіи, въ Лондонѣ.... не ѣдутъ? Что за умѣренность и воздержность! Англичане ѣздили ватагами взглянуть на Гарибальди, на свободный Неаполь; а наши туристы —тянуть канитель за-границей, какъ будто обыкновенное, будничное время! Что это — эгоизмъ, неразвитіе общихъ интересовъ, разобщенность съ народомъ, недостатокъ сочувствія?

Мы разумѣется не говоримъ о дикихъ крѣпостникахъ, кричащихъ въ парижскихъ кабакахъ и лупанарахъ противъ освобожденія — съ остервенѣніемъ, возбуждающее отвращеніе гарсоновъ. Этимъ чужеяднымъ татарамъ надобны деньги, и какими-бы злодѣйствами они ихъ ни получали, имъ все равно. Насъ удивляютъ люди образованные, люди скорбящіе о народѣ, вздыхающіе о его несчастіяхъ—но не на столько, чтобъ побезпокоить себя, бросить привычную жизнь и явиться на лицо въ дни великаго историческаго событія.

VIVAT POLONIA!

И да здравствуетъ русскій воинъ, который отказался стрѣлять

---

*) Мы хотѣли сказать въ сыновьяхъ, но въ сыновьяхъ они уже наказаны. Россія знаетъ, кто такой Рязанскій губернаторъ Муравьевъ, о которомъ въ „Матеріалахъ по дѣлу объ освобожденіи“, сказано: „одинъ изъ подлѣйшихъ людей и сквернѣйшихъ губернаторовъ“ (стр. 265); а кто такой Гагаринъ, бывшій Пензенскій вице-губернаторъ, знаютъ читатели „Колокола“ (лист. 35).

въ безоружныхъ, *) не смотря на приказъ какого-то спадасина Заблоцкаго!

Передъ этимъ великимъ гражданскимъ подвигомъ мы съ умиленіемъ склоняемъ голову.

Не думалъ вѣроятно Заблоцкій, совершая преступленіе, что онъ совершилъ историческое событіе. Его залпъ разбудилъ многихъ, онъ показалъ, какія звѣриныя возможности гнѣздятся и живутъ, притаившись, въ кавернахъ зимняго дворца, и какія инструкціи даны полубезумнымъ и полутатарскимъ намѣстникамъ и баскакамъ. И не это одно обличилъ наибольшій царскихъ убійцъ. Онъ *обличилъ, что ихъ время миновало*, что русскій офицеръ пересталъ быть рабомъ, палкой, штыкомъ въ рукахъ Заблоцкихъ и другихъ негодяевъ, выслуживающихся кровію невинныхъ жертвъ. Отказавшійся исполнить преступный приказъ *спасъ честь Россіи!* Ему слѣдовалъ тотъ Георгій, который на смѣхъ общественному мнѣнію и въ поруганіе статута, брошенъ эксъ-королю неаполитанскому, не за взятіе крѣпости — а за сдачу ея.

Вѣроятно герой этотъ погибнетъ за Польшу, какъ погибъ *Караваевъ* за Конарскаго. Дайте намъ его имя, чтобъ мы могли святить его, чтобъ мы могли записать его въ наши святцы!

Съ безконечною гордостью видимъ мы, что мы не ошиблись въ упованіи нашемъ на молодыхъ офицеровъ. Съ гордостью видимъ, какой огромный успѣхъ сдѣлало нравственное развитіе съ 1831 и 1849 г. Тогда офицеры не выходили изъ рядовъ, не подавали въ отставку; но иногда раскаявались *потомъ* — получивши крестъ и чинъ; это легкое и дешевое раскаяніе мы нѣсколько разъ сами слышали отъ участниковъ въ венгерской кампаніи.

Не таковы офицеры, закаленные въ Севастополѣ — не таковы молодые товарищи ихъ. Они поняли, что довольно усмиряли *своихъ и чужихъ;* они почувствовали, что николаевскіе лавры вышли на нашемъ лбу какимъ-то каторжнымъ клеймомъ и хотятъ стереть его.

Гибнущіе братья-искупители! тяжела ваша участь; но идите въ арестантскія роты, въ крѣпости, казематы, на смерть — только не убивайте ни поляка, который хочетъ быть самимъ собой, ни крестьянина, требующаго свободы.

Напомните нашимъ воинамъ въ Польшѣ, что мы имъ говорили въ 1854 г. **)

„Ваша участь всѣхъ хуже: товарищи ваши въ Турціи солдаты,

---

*) „Теймсъ“ 14 Марта подробно разсказываетъ, какъ офицеръ или *сержантъ*, которому Заблоцкій велѣлъ командовать пальбу — отказался и вышелъ изъ рядовъ, а солдаты стрѣляли на воздухъ.

**) Два года тому назадъ Przegląd rzeczy Polskich спрашивалъ, почему мы не перепечатываемъ нашего воззванія, мы отвѣчали ему: „Развѣ есть возстаніе въ Польшѣ, развѣ русскіе приготовляются къ отпору? Зачѣмъ уговаривать не поднимать оружія, когда оно спокойно стоитъ въ сошкахъ?“

вы въ Польшѣ будете палачами. Ваши побѣды покроютъ васъ позоромъ, вамъ придется краснѣть вашей храбрости. Родная кровь трудно отмывается, не берите вторично грѣха на душу, не берите еще разъ на себя названіе Каина. Оно пожалуй останется на всегда при васъ.

„Знаемъ мы, что вы не по доброй волѣ пойдете на поляковъ, но въ томъ-то и дѣло, что пора вамъ имѣть *свою* волю. Не легко неволить десятки тысячъ людей, съ ногъ до головы вооруженныхъ, еслибъ между ними было какое-нибудь единодушіе...

„Разъ — не помню, въ какой губерніи — когда вводили новое управленіе государственныхъ имуществъ, крестьяне взбунтовались, какъ почти во всѣхъ губерніяхъ было. Привели войска, народъ не расходился. Генералъ пошумѣлъ, да и велѣлъ солдатамъ ружья зарядить; тѣ зарядили, думая, что это для острастки; народъ все не шелъ. Тогда генералъ далъ знакъ полковнику, чтобъ онъ велѣлъ стрѣлять, полковникъ скомандовалъ, солдаты приложились — и не выстрѣлили. Оторопѣлый генералъ подскакалъ къ фрунту: «шай, пли!...» солдаты опустили ружья и неподвижно остались на своемъ мѣстѣ.

„Что же вы думаете было съ ними? — ровно ничего. Генералъ и начальство такъ перетрусились, что дѣло замяли.

„Вотъ вамъ опытъ вашей силы.

„Поглощеніе Польши царской Россіей — нелѣпость, насиліе; насиліе очевидное по количеству войска, которое стоитъ въ Польшѣ съ 1831 года. Естественное-ли это дѣло, что черезъ 23 года правительство не смѣетъ вывести одного полка изъ Польши, не замѣнивъ его сейчасъ другимъ?

„Всѣ эти грубыя, насильственныя соединенія ведутъ не къ единству, а увѣковѣчиваютъ ненависть. Что Ломбардія и Венгрія стали австрійскими? Или Финляндія русской? Однимъ балтійскимъ нѣмцамъ пришлось по вкусу Голштейнъ-татарское управленіе, такъ что они первые послали дѣтей своихъ защищать православную церковь, съ лютеранской библіей въ карманѣ.

„Вы не русской народъ защищаете въ Польшѣ. Русской народъ не проситъ васъ объ этомъ, при первомъ пробужденіи своемъ онъ отречется отъ васъ и проклянетъ ваши побѣды. Вы въ Польшѣ защищаете неправое царское притязаніе.

„*На Польской землѣ не растутъ лавры для Русскихъ воиновъ*, она слишкомъ облита женскими слезами и мужескою кровью, пролитыми по винѣ вашихъ отцовъ—васъ самихъ можетъ быть; на берегахъ Вислы, близь Прагскаго кладбища и на кладбищѣ Воли... нѣтъ боевой славы для васъ. На нихъ васъ ждетъ иная слава — слава примиренія и союза!

„Что и какъ дѣлать,—вы узнаете, когда придетъ время. Исполнитесь въ ожиданіи событій истиною нашихъ словъ и присягните во имя всего святаго вамъ — *не поднимать оружія противъ Польши!*

„Эту присягу требуетъ не царь, а совѣсть народная, народное

раскаяніе и если васъ ждетъ самая гибель за это—она свята, вы падете жертвой искупленія и вашей мученической кровью запечатлѣется неразрушимый, свободный союзъ Польши и Россіи, какъ начало вольнаго соединенія всѣхъ Славянъ *въ единое и раздѣльное Земское Дѣло!*"

Говорятъ, что Александръ II хочетъ поступить *великодушно*. Это очень хорошо, но по несчастію тутъ нѣтъ мѣста великодушію. Что за рабское смѣшеніе понятій. Прощенія надобно ему просить у Польши, передъ лицемъ всего свѣта, за кровь пролитую въ Варшавѣ, за то, что у него звѣри между генералами. Надобно быть справедливымъ, а не великодушнымъ!

Быть виноватымъ, и прощать, что за вѣчная ложь и лесть! Время этихъ фантасмогорій миновало, да и многаго другаго. Русскіе офицеры отказываются стрѣлять въ польскихъ братій. Польскіе выходцы, собравшись при первой вѣсти о движеніи въ Варшавѣ, въ Виттингтонскомъ клубѣ, начали съ того, что еще разъ засвидѣтельствовали, не только отсутствіе вражды къ русскому народу, но сочувствіе съ нами. „Мы, сказалъ въ своей рѣчи г. Беньевскій,—*мы разстанемся съ ними дружески, безъ вражды, какъ два брата, которыхъ рука тюремщика сковала въ общія цѣпи, и которые стали въ тягость другъ другу, потому именно, что они были скованы вмѣстѣ.* Намъ нужно разстаться, чтобы вздохнуть свободно, чтобы расправить онѣмѣвшіе члены".

Они совершенно правы, намъ *надобно разстаться* для того, чтобы иначе посмотрѣть другъ на друга, чтобъ свободно подать другъ другу руку.

Мы много разъ говорили о будущемъ союзѣ всѣхъ Славянскихъ племенъ, мы и теперь вѣримъ въ него, но теперь *на череду не этотъ вопросъ*: ближайшее будущее, наступающее историческое дѣло Славянскаго міра -- *государственная ссмобытность Польши и соединеніе отрѣзанныхъ частей ея.*

И какъ величественно начала Польша свое новое воскрешеніе, *если въ самомъ дѣлѣ* въ засѣданіи *Земледѣльческаго Общества* въ Варшавѣ, польскіе помѣщики рѣшили *отдать* крестьянамъ полный надѣлъ земли!

Первый актъ возстановленія Польши долженъ былъ быть актомъ очищенія передъ земледѣльцемъ, актомъ искупленія, покаянія, справедливости. Надобно было доказать обдѣленному народу, что онъ не забытъ, что на этотъ разъ идетъ дѣло *общее*, земское, дѣло всей Польши, а не *одной шляхты.*

Сила народа въ землѣ. Мы не вѣримъ больше въ перевороты: аристократическіе, муниципальные, военные и статскіе, т. е. не вѣримъ въ ихъ прочность; то только и прочно, что запахано въ землю, то взойдетъ плодотворно, что посѣяно на нивѣ, что выросло на свѣжемъ воздухѣ полей и лѣсовъ. Не для народа то, что идетъ черезъ голову крестьянина, что съ трескомъ и пылью проѣзжаетъ мимо деревни, какъ курьеръ, не останавливаясь. Мы придаемъ величайшее значеніе рѣшенію польскихъ помѣщиковъ.

На этомъ святомъ актѣ справедливости и гражданскаго совершеннолѣтія мы привѣтствуемъ ихъ.

— Какъ *русское* правительство поступитъ? Трудно сказать, потому что въ Петербургѣ нѣтъ русскаго правительства. Изъ русскихъ тамъ одинъ Александръ Николаевичъ, а извѣстное дѣло — одинъ въ полѣ не ратникъ.

Бѣда наша въ томъ, что вся эта богадѣльня эполетъ, чающихъ движенія воды, несмышленныхъ стариковъ совѣта, сенаторовъ за негодность на всякую другую службу и пр. состоитъ изъ нѣмецко-русскихъ татаръ. Чисто русское въ нихъ только—невѣжество, привычка драться и говорить ты.

Правительство на нѣмецкій манеръ никогда не пойметъ, что для Россіи *сильная, независимая Польша, какъ союзница*, гораздо выгоднѣе, чѣмъ Польша четвертованная, оскорбленная, ненавидящая.

Познань и Галиція — это четвероугольникъ *съ другой стороны*, это *нѣмецкая* военная граница, а не русская; но петербургскіе нѣмцы не понимаютъ разницы между русскимъ и прусскимъ—однихъ господъ.... а въ Австріи венгерцы шалили въ 49-мъ, такъ *наши* господа посылали ихъ унимать...

И вотъ почему у насъ нѣтъ ни малѣйшаго довѣрія къ такту, къ пониманью нравственныхъ калѣкъ, пасущихъ Россію; а въ ихъ готовность наказывать, пытать, ссылать мы безусловно вѣримъ — они всю жизнь дѣлали одно и тоже.

Пренія по крестьянскому вопросу, въ которыхъ Александръ боролся съ цѣлой стаей жадныхъ крѣпостниковъ и кончилъ тѣмъ, что ихъ побилъ, подняли снова его акціи. И намъ иной разъ хочется сказать: будьте откровенно *русскимъ* на одинъ мѣсяцъ, и вы будете знать, какъ слѣдуетъ поступить съ Польшей и какъ довершить начатое вами; вамъ это легко, дайте волю себѣ. Въ душѣ вы русскій—оттого вамъ стало жаль мужика и двороваго, оттого вы хлопотали, чтобъ у крестьянина осталось землицы. Старики изъ нѣмцевъ и татаръ никогда не жалѣютъ русской народъ. Вы видѣли, какъ они шипѣли противъ васъ въ совѣтѣ, вы видѣли, какъ ваши собственные министры измѣнили вамъ. Вамъ мѣшаетъ ложный стыдъ, предразсудки, воспитаніе, мы все это знаемъ... одно усиліе.... вы освобождаете крестьянъ отъ старыхъ помѣщиковъ — освободите отъ нихъ и себя!

Свободная Польша исторгнетъ Россію и зъ нѣмецкихъ объятій. Разставшись съ нею, Русь пойдетъ мирно и вольно къ своему будущему, пойдетъ не дипломатическими закоулками, не международными грабежами, не канцелярскими уловками Остермановъ и Нессельродовъ—а открытой, столбовой гатью развитія и свободы!

Колоколъ № 95.
1 Апрѣля 1861 года.

МАНИФЕСТЪ!

Первый шагъ сдѣланъ! — Говорятъ, что онъ труднѣе прочихъ:

будемъ ждать *втораго* — съ упованіемъ, хотѣли бы ждать его съ полной увѣренностью; но все дѣлается такъ шатко, такъ половинно и тяжело!

Освобожденіе крестьянъ только *началось* съ провозглашенія манифеста. Не отдыхъ, не торжество ждетъ государя—а упорный трудъ; не отдыхъ, не воля ждетъ народъ — а новый, страшный искусъ.

Скорѣе,—скорѣе *второй* шагъ!

Александръ II сдѣлалъ много, очень много; его имя теперь уже стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ. Онъ боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя сострадания противъ хищной толпы закоснѣлыхъ негодяевъ — и сломилъ ихъ? Этого ему ни народъ русскій, ни всемірная исторія не забудутъ. Изъ дали нашей ссылки мы привѣтствуемъ его именемъ, рѣдко встрѣчавшимся съ самодержавіемъ, не возбуждая горькой улыбки, — мы привѣтствуемъ его именемъ *освободителя!*

Но горе, если онъ остановится, если усталая рука его опустится. Звѣрь не убитъ, онъ только ошеломленъ! Теперь, когда стоглавая гидра, которой каждая голова или Муравьевъ, или Гагаринъ, не совсѣмъ опомнилась, надобно покончить ее и освободить вмѣстѣ съ русскимъ крестьяниномъ новую русскую государственную мысль—и отъ нѣмецкихъ колодокъ, и отъ русскихъ татаръ, тучныхъ нашей кровью, нашими слезами, нашимъ изнуреніемъ.

Слово *освобожденія* сказано. Государь признался. Это дѣло великое, но не все—слово должно стать дѣломъ, освобожденіе быть истиной!

Выборъ в. кн. Константина Николаевича, кажется, удаченъ. Онъ необыкновенно выросъ, явившись опорой своего брата въ дѣлѣ освобожденія, и когда Александръ его обнялъ въ первомъ засѣданіи, его обняла вся Россія.

Какая огромная полоса славы передъ обоими. Вы оба, какъ говорятъ русскіе, родились въ сорочкѣ.

Борьба ваша, Константинъ Николаевичъ—легка; съ вашей стороны не только справедливость, но все думающее и все страдающее, меньшинство образованныхъ людей и большинство массы. А противъ васъ кто? Горсть пустыхъ стариковъ, алчныхъ невѣждъ, мощенныхъ звѣздами и переплетенныхъ лентами; вѣдь они только сильны вами; у нихъ опоры нѣтъ, кромѣ дворовыхъ людей, которыхъ рабство они зажилили еще на два года. Ихъ бояться нечего. Затѣмъ остается дикій, лѣсной помѣщикъ, еще менѣе опасный — на такихъ ли медвѣдей ходитъ вашъ братъ. Лѣсной, степной помѣщикъ былъ своеволенъ и неукротимъ подъ материнскимъ крыломъ полиціи, онъ буйствовалъ на основаніи царскихъ льготъ; отнимите отъ него руку и вы увидите, какъ онъ присмирѣетъ...

Но врядъ ли можно успѣть во многомъ, однимъ канцелярскимъ порядкомъ, одной бюрократіей. Окружите себя свѣжими, живыми людьми, не рутинистами, не доктринерами, а людьми понимающими,

любящими Россію, и, главное, не бойтесь гласности, какъ бы она ни была рѣзка!

Вспомните одинъ примѣръ.

Вольнѣе нашего никогда не раздавалась русская рѣчь. Что же говорила она, что распространяла, что поставила на своемъ знамени.

Нѣсколько дней послѣ 3-го Марта (19 Февраля) 1855 года мы писали, что Россія ждетъ отъ новаго государя: *освобожденія крестьянъ съ землею, уничтоженія тѣлеснылъ наказаній и гласности въ судѣ и печати.*

Прошло шесть лѣтъ, и нѣсколько дней спустя послѣ 3 Марта (19 Февраля) 1861 всенародно возвѣщено уничтоженіе крѣпостнаго права. Вы сами стараетесь вывести во флотѣ тѣлесныя наказанія.

Чередъ за гласностью!

Т. ШЕВЧЕНКО.

26 Февраля (10 Марта) угасъ въ Петербургѣ малороссійскій пѣвецъ *Т. Шевченко.* Жаль, что бѣдный страдалецъ закрылъ глаза такъ близко къ обѣтованному освобожденію. Кому было больше по праву пѣть этотъ день, какъ не ему? Но хорошо и то, что утренняя заря этого дня занялась при его жизни и освѣтила послѣдніе дни его.

— *День страха.* Чего боялся государь 5 Марта и 6? Зачѣмъ Адлерберги, Огаревъ... ночевали во дворцѣ? Зачѣмъ казачій полкъ стоялъ на готовѣ? Зачѣмъ не торжествовали великое событіе освобожденія, а украли у народа его праздникъ? Зачѣмъ такъ скомкали объявленіе? кто же сообщаетъ радость какъ горькую пилюль? Чего боялись? Народа. Да гдѣ же здравый смыслъ? какъ же народъ взбунтуется, когда его освобождаютъ? Мы знаемъ, что здраваго смысла искать нельзя у этихъ Игнатьевыхъ и Долгорукихъ, да Александру Николаевичу какъ не стыдно. Не народа ему надобно бояться, не литературы, не аудиторій, ему надобно бояться—татарвы плантаторовъ, его окружающихъ, они пройдутъ и между казаками, и за кавалергарды. Александръ Николаевичъ можетъ богу свѣчку поставить, если онъ проживетъ два года съ своей обстановкой. Отчего его докторъ не пропишетъ ему для здоровья удаленіе *всѣхъ крѣпостниковъ*, имѣющихъ входъ во дворецъ, начиная съ Муравьева-вѣшателя и Долгорукова-слушателя.

Колоколъ № 96.
15 Апрѣля 1861 года.

10 АПРѢЛЯ 1861
и
УБІЙСТВА ВЪ ВАРШАВѢ.

Праздникъ нашъ былъ мраченъ. Я не знаю дня, въ который-бы

разорванность давила безпощаднѣе и тяжелѣе, гдѣ бы плошки были такъ близки къ слезамъ. : . . Нѣтъ, русскій не долженъ забываться, не пришло еще время намъ торжествовать свѣтло и беззаботно, не пришло время прямо и гордо подымать взглядъ — нѣтъ, еще не отъ избытка радости, а съ горя и заглушая боль и стыдъ, будемъ мы пить наше вино!

Мы, какъ будто, помолодѣли вѣстью освобожденія крестьянъ. Все было забыто; съ упованіемъ на новую поступь Россіи, съ бьющимся сердцемъ ждали мы нашъ праздникъ. На немъ *въ первый разъ отъ роду* при друзьяхъ русскихъ и польскихъ, при изгнанникахъ всѣхъ странъ, при людяхъ какъ Маццини и Луи Бланъ, при звукахъ Марсельезы, мы хотѣли поднять нашъ стаканъ и предложить неслыханный при такой обстановкѣ тостъ за *Александра II, освободителя крестьянъ!* Мы очень хорошо знали отвѣтственность, которую на насъ обрушивалъ этотъ тостъ — мы подвергались тупому порицанію всѣхъ ограниченностей, желчной клеветѣ всѣхъ мелкихъ завистей. Намъ до этого дѣла не было; поступокъ нашъ казался намъ чистымъ и справедливымъ. Мы знали и другое, мы знали, что этотъ тостъ, произнесенный *нами* и у *насъ*, отозвался бы инымъ образомъ въ сердцѣ государя, чѣмъ подцензурная риторика допускаемыхъ похвалъ и отдаваемыхъ въ казенныя проценты восторговъ.

Но рука наша опустилась; черезъ новую кровь, пролитую въ Варшавѣ, нашъ тостъ не могъ идти. Преступленье было слишкомъ свѣжо, раны не закрылись, мертвые не остыли, имя царя замерло на губахъ нашихъ. Выпивши за *освобожденнаго русскаго крестьянина*, безъ рѣчей, безъ шума, съ тѣмъ печальнымъ благоговѣніемъ, съ которымъ люди берутъ иную чашу, инаго воспоминанія, въ которомъ также смѣшаны искупленіе и казнь, мы предложили одинъ тостъ:

За полную, безусловную независимость Польши, за ея освобожденіе отъ Россіи и отъ Германіи и за братское соединеніе русскихъ съ поляками!

На разрывѣ—только на разрывѣ Польши съ Россіей, мы поймемъ другъ друга! Офицеръ, переломившій шпагу, началъ новое братство... если онъ погибъ, какъ говорятъ журналы, если его въ самомъ дѣлѣ разстрѣляли, мы ему съ поляками воздвигнемъ пограничный памятникъ; его именемъ начнется новая эра!

А вы, Александръ Николаевичъ, зачѣмъ же вы отняли у насъ праздникъ: зачѣмъ вы отравили его? Развѣ у насъ ихъ такъ много, развѣ съ нашего рожденія мы что нибудь праздновали кромѣ похоронъ?

Вѣдь и тогда, когда Россія семь лѣтъ тому назадъ торжествовала ваше восшествіе—она собственно торжествовала смерть.

Зачѣмъ же вы отняли у насъ нашъ праздникъ? Зачѣмъ же грубо захлопнули наше сердце, лишь только оно стало открываться чувствамъ примиренія и радости?... Снова сжатое, оно болѣзненно подсказываетъ горькія слова.

Sire, pas de rèveries! pas de rèveries! *Вы Польшу потеряли.* Вы могли стать во главѣ славянскаго движенія, вы могли возстановить Польшу, безъ капли крови, — вы предпочли австрійскія драгонады. Pas de rèveries, sire! Вы Польшу потеряли, т. е. *живую*—зарѣзанная она можетъ и останется трофеемъ побѣдоносному войску вашего величества.

...Хоть бы вы положили какой нибудь срокъ между освобожденіемъ крѣпостныхъ и убійствомъ безоружныхъ, чтобъ мы, обратнымъ хозяйствомъ Гамлетовой матери, не ѣли праздничныхъ пироговъ у открытаго рва, куда прячетъ наша полиція убитыхъ. Видно, гдѣ есть въ основѣ неправда—тамъ ее трудно спрятать, и надобно ждать каждую минуту бѣды.

Лучше кончимъ нашъ праздничный разсказъ. Только слова два тѣмъ изъ поляковъ, которые, изъ чувства глубокаго состраданія къ намъ, не отказались присутствовать на пиру:

Вамъ, друзья, безконечная благодарность. Мы видѣли ваши лица и ваши слезы. Вы видѣли наши лица и наши слезы. Печальнымъ пиромъ нашимъ мы заключили, не говоря ни слова, новый союзъ. Вы въ нашемъ сѣтованіи не отказались выпить за освобожденіе русскаго крестьянина. Наша радость поблѣднѣла передъ вѣстью о варшавскихъ убійствахъ—и что-то свято-торжественное, печальное и полное глубокаго смысла обняло всѣхъ!

Пойдемте же вмѣстѣ! И пусть насъ сопровождаетъ брань дикихъ и узкихъ націоналистовъ обѣихъ странъ, дѣлающихъ изъ своего ревниваго, алчнаго и тупаго патріотизма какое-то нечеловѣческое, исполненное эгоизма и ненависти преступленіе!

Колоколъ № 97.
1 Мая 1860 года.

ОТВѢТЪ*) ГАРИБАЛЬДИ.**)

Любезный Гарибальди,

Я передамъ ваши симпатическія слова полякамъ и русскимъ

---

*) Мы надѣемся, что к. Трубецкой изъ Блевіо, отвѣчавшій въ le Nord на письмо Гарибальди ко мнѣ, не будетъ сѣтовать на меня, что я самъ отвѣчаю на него,—тѣмъ больше, что его вѣрноподданническія мнѣнія не ближе ко мнѣ мнѣній Journal de S. Petersbourg, который въ польскихъ дѣлахъ дошелъ до того цинизма, что обвиняетъ женщинъ въ томъ, что ихъ убивали. К. Трубецкой изъ Блевіо вѣроятно тотъ самый, который нѣкогда учился военному ремеслу подъ руководствомъ Радецкаго и потомъ (какъ было сказано въ „Колоколѣ“ № 54 Окт. 1859) уговаривалъ архіерея въ Комо идти на стрѣчу Урбана, какъ намъ подтвердилъ Подеста и сардинскій коммиссаръ Вепоста.

**) Письмо Гарибальди, на которое отвѣчаетъ Герценъ, помѣ-

офицерамъ. По счастью мы поступили согласно съ вашимъ совѣтомъ, прежде чѣмъ получили его. Достоинства въ этомъ большаго нѣтъ—намъ выбора не было. Правда, что мы мечтали о будущемъ союзѣ всѣхъ народовъ славянскаго происхожденія, но мы оставляемъ эти pia desideria иному, дальнему, грядущему. Настоящія событія требуютъ полную самозаконность Польши — *безъ фразъ*, ея безусловную независимость отъ Россіи и нѣмцевъ. Можно было думать, что императоръ Александръ, который такъ славно поступилъ въ крестьянскомъ дѣлѣ, пойметъ историческую необходимость возстановленія Польши. По несчастію въ немъ слишкомъ много прусскаго, австрійскаго, и сверхъ того монгольскаго. Холодно разсчитанный капканъ, разставленный Польшѣ, съ бездушнымъ восточнымъ лукавствомъ, въ которомъ характеръ кошки беретъ верхъ надъ тигромъ—ставитъ его внѣ вопроса.

Прежде полученія вашего письма я прочиталъ отрывокъ изъ него въ телеграфическихъ новостяхъ, и тотчасъ послалъ въ лондонскіе журналы небольшой отвѣтъ. Посылаю вамъ Daily News, если вы не имѣете ничего противъ, напечатайте его въ Deritto. Сверхъ того прилагаю небольшое воззваніе наше къ русскимъ войскамъ, стоящимъ въ Польшѣ, сдѣланное въ 1854 году.

Пользуюсь симъ случаемъ, любезный Гарибальди, чтобъ вамъ повторить то, что вамъ говоритъ весь свѣтъ, что мы удивляемся вамъ со всей полнотой симпатіи и любви.

Жму вашу руку

Orsett House, 19 Апрѣля. А. Герценъ.

щено въ этомъ же № „Колокола“. Вотъ оно:

Любезный Герценъ,

Недавно, слово освобожденія крестьянъ въ Россіи, было принято съ восторгомъ и удивленіемъ всей Европой. Государь, начавшій и совершившій это великое дѣло, однимъ этимъ ужь поставилъ себя въ числѣ величайшихъ благодѣтелей человѣчества. А теперь—я это говорю съ горестью—доброе дѣло запятнано невинной кровью. Теперь долгъ всѣхъ, которые рукоплескали великому поступку, поднять голосъ проклятія на совершителей отвратительнаго злодѣйства.

Пусть вашъ журналъ, справедливо оцѣненный въ Россіи, передастъ слово сочувствія отъ народа итальянскаго несчастной и героической Польшѣ и слово благодарности храбрымъ воинамъ русскимъ, которые, какъ Поповъ, сломали свою саблю, чтобъ не обагрить ее въ крови народа; передайте съ тѣмъ вмѣстѣ крикъ негодованія народовъ европейскихъ противъ виновника гнусной бойни.

Преданный вамъ

Д. Гарибальди.

Турикъ, 13 Апрѣля 1861 г. *Л. Т.*

— *Рейтернъ.* — Полковникъ Рейтернъ застрѣлился въ Варшавѣ, чтобъ не быть помощникомъ палачей. Миръ его праху, онъ герой, но зачѣмъ эта казнь обращенная на чистую грудь? Если разстрѣливать, такъ лучше разстрѣливать тѣхъ генераловъ, которые велятъ стрѣлять по безоружнымъ. Два, три примѣра остановятъ бездну мерзавцевъ. А что будетъ послѣ? Хуже смертной казни Рейтерна не будетъ.

— —

— *Александръ II и Мухановъ съ Вислы.* — Мухановъ былъ очень хорошо принятъ Александромъ II и приглашенъ имъ еще разъ для совѣщанія о Польшѣ!!! Sehr gut!

— —

— *У Кокорева свой Хрулевъ.* — На Волжской желѣзной дорогѣ, гдѣ участвуютъ Кокоревъ и К°, работники стали разбѣгаться отъ скверной пищи, бросая свои заработки. Контора дала объ этомъ знать подрядчику, тотъ бросился къ исправнику. Исправникъ вытребовалъ команду и перерѣзалъ дорогу работникамъ, заставляя ихъ силою возвратиться. Работники отказались идти назадъ. Дошло до матеріальнаго сопротивленія, исправникъ велѣлъ солдатамъ выстрѣлить, *и двое работниковъ были убиты*, остальные разбѣжались. Слѣдствіе кончилось тѣмъ, что *исправникъ и офицеръ* отставлены отъ службы и только, а Кокоревъ-Горчаковъ остался въ сторонѣ. Г. Кокоревъ, любитель гласности и поклонникъ русскаго народа — правда ли это?

— —

— *Царское самодержавіе и студентское самоуправленіе.* — Кіевскій генералъ-губернаторъ Васильчиковъ въ своемъ отчетѣ государю напуталъ какой-то неясной вздоръ о томъ, что попечитель учебнаго округа Пироговъ „устроилъ студентское самоуправленіе, судъ и расправу“, но что министръ возстановилъ обычный порядокъ. На первомъ замѣчаніи сдѣлана отмѣтка: *Ни съ чѣмъ не сообразно*, — на второмъ: *Слава Богу, давно пора*, и сдѣланы онѣ той рукой, которая такъ недавно подписала освобожденіе крестьянъ!

Что за смѣсь Іисуса Христа съ императоромъ Николаемъ въ этомъ человѣкѣ! И отчего же нѣтъ никого настолько ему приверженнаго, чтобъ сказать ему, что если онъ не умѣетъ идти по одной доскѣ, то никогда не попадетъ въ двери. Царскихъ мантій въ два цвѣта нѣтъ, и то, что считалось величайшимъ достоинствомъ Гарика, что онъ одной половиной лица смѣялся, а другой плакалъ, вовсе не идетъ къ Мономаховой шапкѣ.

Пироговъ вышелъ въ отставку, ему нечего было и дѣлать.

Колоколъ №№ 98 и 99.
15 Мая 1861 года.

ОТЕЧЕСКІЙ СОВѢТЪ.

Halte-là! Изъ уваженія къ человѣческому смыслу, кн. Горчаковъ,—уймите Journal de S. Petersbourg; онъ воображаетъ, что на него нѣтъ цензуры, такъ и можно городить всякій вадоръ. Для того, чтобы дурачить Европу, какъ она ни плоха, все же надобно гораздо больше ума, чѣмъ у вашихъ чиновниковъ по статейнымъ порученіямъ.

Во первыхъ самая задача невозможна. Представить мерзости, надѣланныя въ Варшавѣ — актомъ любви, милосердія и мудрости никакъ нельзя; ложь имѣетъ свои границы. Есть случаи, въ которыхъ людямъ и правительствамъ приходится или каяться, или молчать. Можетъ простять, можетъ позабудутъ!.. Тактика Роберъ-Макера, говорящаго: C'est vrai, j'ai eu tort envers lui, mais je lui ai pardonné—только раздражаетъ и увеличиваетъ ненависть.

Варшавское дѣло очень просто. Пока не было достаточно войска, ваше правительство, любящее драпироваться въ либерализмъ, прикинулось ручнымъ и кроткимъ, хотѣло поиграть въ великодушіе, обѣщало уступки, ничего не поправляющія, и осталось бы при своемъ вѣнкѣ изъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ махроваго прогресса—еслибъ удалось поляковъ надуть. Пока не знали, удастся это или нѣтъ, царь уступалъ

И собиралъ полки...

Поляки не приняли ваши „пузыри за фонари". — „А, такъ вы такъ-то, вы—того?" и русскій генералъ, генералъ—дантистъ, генералъ, вколачивающій въ гробъ не непріятельскихъ, а своихъ солдатъ, вскочилъ съ готовымъ кулакомъ и съ вопросомъ: „кого бить?"

Онъ дремалъ только отъ либеральнаго угара; это одинъ изъ элементовъ петербургскаго правительства — элементъ Петра I и Николая I, Салтычихи и Аракчеева, татарина и нѣмца, нагайки и фухтеля,—элементъ, непозволяющій *отвѣчать*, а тѣмъ больше не позволяющій спрашивать. Вотъ онъ-то и вспомнилъ, что онъ дома въ Петербургѣ и взялъ верхъ.

Пока вы, князь, писали ваши ноты, увлекаясь изяществомъ оборотовъ и тонкостью вашего стиля, —унаслѣдованныхъ вами (какъ разсказываетъ одинъ изъ панегиристовъ вашихъ) отъ самаго князя Талейрана, который поучалъ васъ за обѣдомъ исчезающимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пребывающимъ нюансамъ, съ которыми онъ предлагалъ говядину своимъ гостямъ, сообразно ихъ званію, общественному положенію, силѣ при дворѣ, характеру и талантамъ, генеральская ипостась правительства, протирая свои ньяные глаза, пошла по своему—«въ усъ да въ рыло».

Все это кончилось нѣсколькими десятками убитыхъ и изуродованныхъ людей, сраженіемъ съ безоружными, травлей по трауру, охотой по конфедераткамъ. Какими же тутъ нюансами à la Saint

Menehould вы представите Европѣ, что это мясничество было необходимо въ Варшавѣ для счастья Польши, для покоя Россіи? Попробуйте увѣрить, что женщины сами просили Хрулева, чтобы онъ велѣлъ въ нихъ стрѣлять, и что Хрулевъ, видя ихъ желаніе, не могъ удержаться и велѣлъ дать залпъ—par courtoisie!

А вѣдь ваши оправданія въ Journal de St. Petersbourg не многимъ лучше этого.

Во первыхъ, мы спрашиваемъ: что сдѣлалъ польскій народъ? Удивленный безсмысленнымъ закрытіемъ Земледѣльческаго Общества, вчера признаннаго полезнымъ, онъ хотѣлъ показать свое недовѣріе, свое неудовольствіе; чѣмъ же онъ это показалъ; повѣсилъ Коцебу или Штейгемана (entre nous soit dit бѣда была бы не велика), сжегъ дворецъ, ограбилъ казну?—совсѣмъ нѣтъ; толпы народа стояли на площади и просили младенца во старости, Горчакова, довести до государя ихъ желаніе; потомъ онѣ молились объ убіенныхъ братьяхъ,—„но они молились *съ намѣреніемъ*, и это не все — они были въ траурѣ — *съ умысломъ*, и многіе въ *конфедератках—съ премедитаціей.*"

Какъ можетъ сильное правительство сдѣлаться до того ничтожнымъ, до того мелкимъ, чтобы сражаться съ покроемъ фуражки, съ чернымъ крепомъ и стрѣлять по молитвамъ? Однообразіе нѣмецкой роты и ливрейный порядокъ барской передней не составляютъ идеала государственнаго порядка. Взглядъ портнаго, дворецкаго и фельдфебеля — слишкомъ тѣсенъ, чтобъ разглядѣть изъ Петерб урга, что надобно сдѣлать въ Варшавѣ. Неужели вы, съ вашими галопирующими прогрессами, все еще не отчалили отъ тѣхъ тупыхъ и позорныхъ временъ, когда питжакъ считался оскорбленіемъ величества, и отрощенная борода—измѣной государю?

Беремъ всѣ русскія газеты, т. е. бельгійскій Le Nord*), баварскую Allgemeine Zeirung, русскій-французскій Journal de St. Petersbourg: нигдѣ нѣтъ достаточной причины, чтобъ стрѣлять въ женщинъ, въ безоружныхъ мущинъ. Развѣ только, что прусскій консулъ приказалъ. Нѣмцы, само собою разумѣется, рады-радехоньки васъ покрыть кровью, а поляковъ землей. — „Да зачѣмъ же толпы не расходились?" А съ чего вы взяли, что ходить по улицѣ и стоять — уголовное преступленіе? Для чего вообще города, улицы, площади? неужели для того, чтобъ казаки скакали, пушки скакали, Горчаковы скакали? Вѣдь это только въ Петербургѣ дѣлали торцовыя мостовыя, чтобъ Александрѣ Ѳедоровнѣ было гладко ѣздить въ Смольный монастырь, и предлагали надѣть собакамъ намордники, въ предубѣжденіе, чтобы какая нибудь бѣшенная и напитанная якобинскими правилами собака не укусила какой нибудь высочайшій членъ августѣйшей фамиліи. Въ наше

*) A propos Le Nord находитъ, что выраженіе, употребленное „всѣми французскими журналами, что Поповъ сломалъ свою шпагу pour ne pas la souiller dans le sang polonais"—*неучтивымъ*, peu poli!

время, право, никто не вѣритъ, что человѣчество и города существуютъ для управленія; даже такіе мастера вѣровать во всякій вздоръ, какъ Аскочинскій, Бурачекъ и Башуцкій—и тѣ не вѣрятъ. Какъ мнѣ ни жаль васъ, князь, а я все таки скажу, что вы состоите министромъ иностранныхъ дѣлъ при русскомъ народѣ, а не русскій народъ состоитъ при вашемъ министерствѣ.

Я понимаю, что люди, воспитанные въ николаевскихъ кордегардіяхъ, не понимаютъ этого. Какъ прикажете растолковать что нибудь по человѣчески людямъ, которые могутъ писать такую безсмысленную галиматью, какъ слѣдующій приказъ варшавскаго генералъ-губернатора:

„По уваженію, что надѣваніе отличительныхъ знаковъ можетъ содѣйствовать къ раздраженію умовъ, равно для предупрежденія могущихъ послѣдовать столкновеній, запрещается носить всякія *необыкновенныя* одежды и *внѣшніе* знаки траура."

„Варшава, Марта 31 (Апр. 12) дня 1861 г." *(Оф. Г. Ц. П.)*

Но не старайтесь же увѣрять Европу, что „внѣшніе знаки траура" и „необыкновенныя одежды" обусловливаютъ дикое преслѣдованіе, дневной грабежъ и всѣ неистовства пьяныхъ солдатъ, управляемыхъ безотвѣтственными атаманами.

—„Да вѣдь и въ Парижѣ точно также разогнали бы толпу." — А вамъ что за дѣло? мало ли какія гадости дѣлаются на бѣломъ свѣтѣ. А вотъ въ Лондонѣ, такъ „по уваженію, что надѣваніе отличительныхъ знаковъ можетъ содѣйствовать къ раздраженію", ничего не дѣлаютъ. Сверхъ того въ Парижѣ не только „предупреждаютъ могущія послѣдовать столкновенія", но иногда рубятъ голову королю; ну что-жъ—и вамъ начать?

Пожалуйста, сдѣлайте одолженіе, уймите вашего департаментскаго Златоуста du Journal de St. Petersbourg,—не хорошо; довольно, что на насъ отсвѣчиваетъ кровь, на что же еще, чтобъ надъ нами хохотали?

— —

— *Министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской* оставилъ министерство. За нимъ останется почетная память: ни русскій народъ, ни исторія не забудутъ того изъ министровъ, который откровенно работалъ въ пользу освобожденія крестьянъ.

Колоколъ № 101.
15 Іюня 1861 года.

12 АПРѢЛЯ 1861.
(АПРАКСИНСКІЯ УБІЙСТВА)

Наша «Нѣмая изъ Портичи» созналась наконецъ въ пролитіи крестьянской крови въ Безднѣ. Ея оффиціальный разсказъ еще гнуснѣе и отвратительнѣе того, что было писано къ намъ.

Мозгъ разлагается, кровь стынетъ въ жилахъ, читая наивно-про-

стодушный разсказъ такого злодѣйства, какого не бывало съ аракчеевскихъ временъ.

Гдѣ родились эти кровожадные флигель-адъютанты, гдѣ воспитались эти импровизированные палачи? Какъ ихъ дрессировали въ такія бездушныя злодѣйства?

Правительство допускаетъ убійства за свое косноязычіе, безграмотность и двоедушіе! Не правда-ли, какъ *ясно* новый схоластъ Валуевъ*) отличилъ крѣпостную барщину — отъ барщины *во ожиданіи* освобожденія? И за то, что народъ не понимаетъ и вѣритъ, что правительство его не обманываетъ — пять залповъ.

Мы не узнаемъ Россіи... кровь дымится, трупы валяются!

Правительство прогресса, либеральныхъ идей, поддерживаемое штыками и статьями Погодина, лизнуло польской крови и пошло внизъ — кровь скользка!

Пятьдесятъ жертвъ, по собственному сознанію преступниковъ, и на этотъ разъ *благодушный* монархъ такъ обдержался, что и не спрашивалъ Апраксина: „а сколько убито солдатъ или ранено?"

Въ статьѣ прямо сказано, что военныя дѣйствія крестьянъ состояли въ томъ, что часть ихъ *пошла* за кольями.

И что за торопливость въ казни Антона Петрова? Кто его судилъ? Въ чемъ его судили? Видно скорѣе кровавые концы въ воду! Какія же въ самомъ дѣлѣ мягкодушный царь далъ инструкціи?

Пугачевъ судился при Екатеринѣ судомъ, а не пристрѣленъ подъ сурдинку.

Чортъ съ ними — съ окровавленными палачами!

А вы, несчастные братья-раскольники, вы много претерпѣвшіе, но никогда не мѣшавшіеся съ Россіей помѣщиковъ, палачей и стрѣлковъ по безоружнымъ — храните день новыхъ страстей, 12 Апрѣля, въ вашей памяти. Времена библейскихъ гоненій настаютъ; вы знаете изъ *Четы Миней*, какія избіенія христіанъ предпринимали императоры — вы знаете, кто одержалъ верхъ. Но верхъ не приходитъ безъ вѣры, не приходитъ безъ дѣлъ. Укрѣпляйтесь духомъ и помните крикъ, съ которымъ умерли безднинскіе мученики:

Воля! Воля!

Колоколъ № 102.
1 Іюля 1861 года.

Инквизиторъ В. Аскочинскій и его жертва.

„2-го Марта 1861 г. отправился изъ Петербурга *въ заточеніе*

*) Валуевъ уже заявилъ себя и не тѣмъ. Мальцевъ (плантаторъ) заковалъ восемь человѣкъ крестьянъ и отправилъ въ Калугу какъ бунтовщиковъ. Губернаторъ Арцемовичъ выпустилъ ихъ и хотѣлъ произвести слѣдствіе. Плантаторъ черезъ дѣвичьи и переднія, довелъ это до Петербурга, новый министръ принялъ сторону крѣпостника. — Cela promet!

навсегда, въ Никитенскій монастырь (въ Переяславлѣ Залѣсскомъ Владимірской губерніи) авторъ недавно отпечатанныхъ книгъ: а) *Объ отношеніи православія къ современности* и б) *3-хъ писемъ къ Гоголю*, писанныхъ имъ въ 1848 г. Книги эти, въ которыхъ почти впервые въ Россіи выступила богословская мысль на поприще свѣтской литературы, были причиною того, что св. синодъ(?) счелъ нужнымъ сослать автора ихъ, архимандрита Ѳеодора, бывшаго баккалавромъ московской академіи, потомъ инспекторомъ казанской академіи, и, наконецъ, членомъ цензурнаго комитета, въ заточеніе...

Г. Аскочинскій, получающій отъ митрополита Исидора нѣсколько тысячъ на поддержаніе своего пошлаго журнала, былъ одною изъ главныхъ причинъ политической смерти арх. Ѳеодора, разтолковавъ преосв. Исидору, что авторъ—архимандритъ, явившійся въ свѣтской литературѣ съ своими сочиненіями, есть лице неправославное, унижающее свой санъ похвалами и сочувствіемъ къ свѣтской литературѣ и т. п...

Вотъ какія вещи производитъ, *записавшійся въ святые*, Аскочинскій...

И такъ человѣкъ съ сильною душою, бывшій едва-ли не единою опорою для студентовъ казанской духовной академіи, желавшій развиваться, осужденъ жить до гроба среди необразованныхъ монаховъ, подъ началомъ какого-нибудь настоятеля — сомнительнаго образованія и добродѣтелей!!...

Однако пора перестать смѣяться надъ этимъ клоповникомъ православія и надъ его редакторомъ; это, наконецъ, не смѣшно, а отвратительно.

Колоколъ № 103.
15 Іюля 1861 года.

ПОЛЬСКІЙ АДРЕСЪ*).

Четвертаго Іюля нѣсколько польскихъ изгнанниковъ пришли ко мнѣ отъ имени своихъ товарищей, живущихъ во Франціи, чтобъ братски пожать руку и въ моемъ лицѣ сказать спасибо русскимъ, раздѣляющимъ наше мнѣніе о *правотѣ* польскаго дѣла. Они вручили мнѣ адресъ, подписанный *четырмя стами тридцатью шестью* польскими изгнанниками, живущими въ Парижѣ, съ приложеніемъ писемъ изъ департаментовъ съ *тридцатью пятью* подписями.**)

Этотъ актъ высокаго, братскаго признанія нашего сочувствія со стороны польскихъ изгнанниковъ я — случайный представитель мнѣнія цѣлаго круга нашихъ друзей въ Россіи — принялъ съ умиленіемъ и благодарностью. Онъ принадлежитъ не мнѣ, а всѣмъ

*) Этотъ адресъ „Колоколомъ“ опубликованъ не былъ. *Л. Т.*

**) Вчера полученъ еще адресъ отъ поляковъ изъ Алжира съ 46 подписями.

единомышленникамъ нашимъ. Себѣ оставлю я только письменный документъ, и завѣщаю его, какъ сказалъ депутація, моимъ дѣтямъ —это будетъ ихъ маіоратъ ссылки.

— *Крестный ходъ бого-мокрицъ въ гору просвѣщенія.* — Съ тѣхъ поръ, какъ reverend Путятинъ преобразился на горѣ *фавора* царскаго въ министры просвѣщенія—поползли изъ подъ камня православныя вѣры морскіе Бурачки, лужные Аскоченскіе; одинъ, говорятъ, будетъ товарищемъ просвѣщенія, другой какимъ-то оберъ-форъ-шнейдеромъ при цензурѣ. Зачѣмъ терять золотое время, благо съудили въ Тихомъ океанѣ такую свято-рыбицу въ министры просвѣщенія? Это своего рода экзаменъ. Если образованіе вошло въ нравы, сдѣлалось насущною потребностью, то самъ Бажановъ съ Башуцкимъ его не остановятъ; если же оно все еще одна служебная привилегія и императорская затѣя для хвастовства передъ Европой, то пожалуй и лучше его заткнуть Путятинымъ, сдѣлать изъ университетовъ Соловецкіе монастыри и, для благолѣпія придворнаго штата, выписать свѣжихъ нѣмцевъ на Васильевскій островъ.

Колоколъ № 104.
1 Августа 1861 года.

Храбрый Дренякинъ представлялъ къ наградѣ „молодцовъ", убивавшихъ крестьянъ, нашихъ братьевъ, русскихъ крестьянъ. Чѣмъ же ихъ наградить? Надобно выписать австрійскіе или прусскіе кресты—не русскимъ же награждать за русскую кровь! Въ сороковыхъ годахъ, Николай съ тѣмъ тактомъ, который его отличалъ, повелѣлъ въ бѣлорусскихъ губерніяхъ награждать отцовъ, которые сами выдаютъ дѣтей своихъ, скрывающихся отъ рекрутства, медалью и 200 р. сер. „Какую же медаль имъ дадутъ—сказалъ я разъ А. С. Хомякову — не ту ли, что даютъ крестьянамъ съ надписью: „за спасеніе погибавшихъ"? —„Непремѣнно—замѣтилъ Хомяковъ — только ужъ съ надписью: *за гибель спасавшихся*". Выбивши въ честь редакціонной коммиссіи и потомъ въ честь самого себя медали, правительство можетъ заняться и этой. Съ одной стороны, вѣнокъ изъ розогъ, связанный флигель-адъютантскимъ эксельбантомъ — а съ другой стороны: *„Симъ освобождаю!"*

Колоколъ № 105.
15 Августа 1861 г.

ЗАВОДИТЕ ТИПОГРАФІИ! ЗАВОДИТЕ ТИПОГРАФІИ!

Теперь самое время. Мы съ восторгомъ узнали, что у насъ начали печатать въ тиши, *не безпокоя* цензуру, мы видѣли даже

одинъ листокъ *Великороссa*. Это *второй*, необходимый шагъ; вездѣ такъ шло. Дома стѣсненная мысль ныряла и появлялась вдругъ гдѣ нибудь въ чужой странѣ; на время это удовлетворяетъ. Но какъ только мысли, печатаемыя за границей, начинаютъ осуществляться, имъ нужна родная почва, близость, вдохновенье дня. Печатайте ручными типографіями, печатайте кой-какъ, тутъ не до эльзевировскихъ изданій, имѣйте буквъ на поллиста, чтобъ разомъ можно было спрятать отъ *долгихъ* рукъ и *короткихъ* умовъ тайной полиціи. Нѣтъ въ Европѣ страны, гдѣ легче заводить типографіи, какъ у насъ, вездѣ тѣснѣе живутъ. Но не намъ васъ учить, да еще публично, мы ограничиваемся братскимъ совѣтомъ: *Заводите типографіи! Заводите типографіи!*

ИСКОПАЕМЫЙ ЕПИСКОПЪ, ДОПОТОПНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБМАНУТЫЙ НАРОДЪ*).

Шесть часовъ до своей кончины, въ декабрѣ 1846, воронежскій архіерей Антоній вспомнилъ, что за *шестьдесять* лѣтъ умеръ его предшественникъ Тихонъ, и «вмѣнилъ себѣ въ священный долгъ, *по особому* внушенію, засвидѣтельствовать *архіерейской совѣстью* предъ Николаемъ Павловичемъ о сладостномъ и претрепетномъ желаніи, да явленъ будетъ предъ очію всѣхъ сей свѣтильникъ вѣры и добрыхъ дѣлъ, лежащій теперь подъ спудомъ.»

За тѣмъ всѣ сдѣлали свое дѣло: Антоній умеръ, Николай не обратилъ никакого вниманія на предсмертный бредъ монаха — онъ же полагалъ, что Митрофаномъ отдѣлался навсегда отъ мощей и воронежской эпархіи; покойникъ продолжалъ покоиться подъ спудомъ.

Настали другія времена — времена прогрессовъ, освобожденій и обличеній. *Шесть* лѣтъ послѣ воцаренія Александра II и въ *шестой* (кажется) день святительства адмирала Путятина, корчемствующаго судно свѣтскаго просвѣщенія къ брегамъ вѣчной и нетлѣнной Японіи, синодъ и государь, Бажановъ и государыня, нашли *благовременнымъ* приступить къ *необходимымъ* распоряженіямъ для *обличенія* нетлѣнности тѣла святителя Тихона. Эта палеонтологическая работа была поручена Исидору кіевскому (нынѣ петербургскому), какому-то Паисію и другимъ экспертамъ. Думать надобно, что извѣстный читателямъ „Колокола“ крѣпостникъ и во Христѣ саперъ Игнатій завѣдывалъ земляными работами. Слѣдствіе вполнѣ удалось и ископаемый епископъ, „во благоуханіи святыни почившій“, пожалованъ государемъ въ святые, а тѣло его, за примѣрное нетлѣніе, произведено въ мощи, съ присвоеніемъ всѣхъ правъ

---

*) Событіе это, представленіе синода и указъ до такой степени пошлы, нелѣпы, что риторъ, защитникъ, хвалитель зимняго дворца, Le Nord, не нашелъ духу передать своимъ европейскимъ читателямъ такую глупость.

состоянія, т. е. пользованія серебряной ракой, лампадой, восковыми свѣчами и главное—кружкой для сбора, коею иноцы будутъ руководствоваться по *особому* внушенію божію и по крайнему разумѣнію человѣческому.

Мы останавливаемся передъ этой нелѣпостью и спрашиваемъ: для чего эта роскошь изувѣрства и невѣжества, эта невоздержность идолопоклонства и лицемѣрія?

Можетъ инокъ Тихонъ былъ честный, почтенный человѣкъ—но зачѣмъ же эта синодальная комедія, несообразная съ нашими понятіями, зачѣмъ же тѣло его употреблять какъ аптеку, на лекарство? Вѣдь въ врачебныя свойства Тихона, не смотря на „сорокъ восемь обслѣдованныхъ чудесъ"*), никто не вѣритъ, ни Исидоръ —прежде кіевскій, а теперь петербургскій—ни Паисій, ни Аскочинскій, ни Путятинъ, ни камилавки, ни ленты черезъ плечо.

Да это и *не для нихъ* дѣлается—*а ими!*

Чудесамъ повѣритъ своей дѣтской душой крестьянинъ, бѣдный, обобранный дворянствомъ, обворованный чиновничествомъ, обманутый освобожденіемъ, усталый отъ безвыходной работы, отъ безвыходной нищеты—онъ повѣритъ. Онъ слишкомъ задавленъ, слишкомъ несчастенъ, чтобъ не быть суевѣрнымъ. Не зная, куда склонить голову въ тяжелыя минуты, въ минуты человѣческаго стремленія къ покою, къ надеждѣ, окруженный стаей хищныхъ враговъ, онъ придетъ съ горячей слезой къ нѣмой ракѣ, къ нѣмому тѣлу—и этимъ тѣломъ, и этой ракой его обманутъ, его утѣшатъ, чтобъ онъ не попалъ на иныя утѣшенія. И вы, развратители, ограбивши несчастнаго до рубища, не стыдитесь употреблять эти средства? Вы хотите сдѣлать его духовнымъ нищимъ, духовнымъ слѣпцомъ, подталкивая его въ тьму изувѣрства — какіе вы всѣ черные люди, какіе вы всѣ злодѣи народа!

А тутъ толкуютъ о старообрядцахъ, о раскольникахъ, объ ихъ изувѣрствѣ, объ ихъ обманахъ, пишутъ побасенки въ клевету и уничиженіе гонимыхъ, которые не могутъ отвѣтъ держать. Нѣтъ, ваша полицейская церковь не выше ихъ образованіемъ, она только ниже ихъ жизнію. Ихъ убогіе священники, ихъ иноки, дѣлили всѣ страданія народа—но не дѣлили награбленной добычи. Не они помазывали мѵромъ петербургскихъ царей, не они проповѣдывали покорность помѣщикамъ, не они кропили войска, благословляя на неправыя побѣды; они не стояли, въ подломъ униженіи, въ передней бироновскихъ нѣмцевъ, они не совокупляли насильственнымъ бракомъ крѣпостныхъ, они не загоняли народъ въ свою молельню розгой капитанъ-исправника, ихъ пѣшихъ іерарховъ не награждали цари кавалеріями!

...О еслибъ слова мои могли дойти до тебя, труженикъ и страдалецъ земли русской! до тебя, котораго *та* Русь, Русь лакеевъ и швейцаровъ презираетъ, котораго ливрея зоветъ *чернымъ* на-

---

*) Кто дѣлалъ слѣдствіе, какъ? Хоть бы достать восемь—ужасно интересно было бы для характеристики нашихъ шамановъ.

родомъ, и издѣваясь надъ твоей одеждой, снимаетъ съ тебя кушакъ, какъ прежде сгимала твою бороду—еслибъ до тебя дошелъ мой голосъ, какъ я научилъ-бы тебя презирать твоихъ духовныхъ пастырей, поставленныхъ надъ тобой петербургскимъ синодомъ и нѣмецкимъ царемъ. Ты ихъ не знаешь, ты обманутъ ихъ облаченіемъ, ты смущенъ ихъ евангельскимъ словомъ — пора ихъ вывести на свѣжую воду!

Ты ненавидишь помѣщика, ненавидишь подъячаго, боишься ихъ —и совершенно правъ; но вѣришь еще въ царя и въ архіерея... не вѣрь имъ. Царь съ ними, и они его. Его ты видишь теперь— ты, отецъ убитаго юноши въ Безднѣ, ты, сынъ убитаго отца въ Пензѣ. Онъ облыжнымъ освобожденіемъ, самъ взялся раскрыть народу глаза, и для ускоренія послалъ во всѣ четыре стороны Руси флигель-адъютантовъ, пули и розги.

А пастыри-то твои въ сторонѣ—по своимъ Виеаніямъ да Халкидонамъ. Вотъ оттуда-то мы и желали бы „претрепетно" явить передъ очію всѣхъ добрыя дѣла духовныхъ свѣтильниковъ твоихъ.

Послѣ вѣковыхъ страданій, страданій превзошедшихъ всю мѣру человѣческаго долготерпѣнія, занялась заря крестьянской свободы. Путаясь перевязанными ногами, ринулась впередъ, на сколько веревка позволяла, наша литература; нашлись помѣщики, нашлись чиновники, отдавшіеся всѣмъ тѣломъ и духомъ великому дѣлу; тысячи и тысячи людей ожидали съ трепетомъ сердца появленія указа; нашлись люди, которые, какъ М. П. Погодинъ, принесли наибольшую жертву, которую человѣкъ можетъ принести— пожертвовали здравымъ смысломъ и до того обрадовались манифесту, что стали писать дѣтскій бредъ.

Ну, а что сдѣлала въ продолженіи этого времени всѣхскорбящая, сердобольная заступница наша, *новообрядческая* церковь наша со своими іерархи? Съ невозмущаемымъ покоемъ ѣла она свою семгу, грузди, вязигу; она выказала каменное равнодушіе къ народному дѣлу, то возмутительное, преступное бездушіе, съ которымъ она два вѣка смотрѣла изъ-подъ клобуковъ своихъ, перебирая четки, на злодѣйства помѣщиковъ, на насилія, на прелюбодѣянія ихъ, на ихъ убійства... не найдя въ пустой душѣ своей ни одного слова негодованія, ни одного слова проклятья!

Европа встрепенулась; въ Англіи, во Франціи чужіе привѣтствовали начало освобожденія, показали участіе. Укажите мнѣ слово, письмо, проповѣдь, рѣчь—Филарета, Исидора, Антонія, Макридія, Мельхиседека, Агаѳатокла? Гдѣ молитва благодарности, гдѣ радостный привѣтъ народу, заступничество за него передъ остервенѣлымъ дворянствомъ, совѣтъ царю? Ничего подобнаго — то же аѳонское молчаніе, семга, вязига, похороны, освященіе храма, купеческія кулебяки да вино—благо гроздія винолозы постныя суть. А тутъ, лѣтъ черезъ двадцать пять, „претрепетное желаніе" и они выставятъ „во благоуханіи почившаго" какого нибудь Трифона или Тихона съ кружечкой для благодатныхъ дателей! Что у васъ общаго

съ народомъ? Да что у васъ общаго съ людьми вообще? Съ народомъ развѣ борода, которой вы его обманываете. Вы не на шутку ангельскаго чина, въ васъ нѣтъ ничего человѣческаго.*)

Новообрядческая церковь отдѣлалась, на первый случай, острымъ словцомъ московскаго Филарета; въ одной изъ своихъ *привратныхъ* рѣчей, которыми онъ мѣшаетъ своимъ помазанникамъ входить въ Успенскій соборъ, онъ отпустилъ цвѣтословіе о томъ, что другіе властители покоряютъ народы плѣненіемъ, а ты молъ „покоряешь освобожденіемъ".

Говорили правда рѣчи архіереи послѣ объявленія манифеста, и то по губернаторскому наряду, т. е. также добровольно являлись они за налоемъ, какъ жандармы являются къ разъѣздамъ. Да и что же замѣчательнаго было ими высказано?

Медаль перевернулась скоро. Михаилъ Петровичъ еще бредилъ и не входилъ въ себя отъ радости, а изъ обнаженной и многострадальной груди Россіи сочилась кровь изъ десяти ранъ, нанесенныхъ русскими руками, и согбенная спина старика-крестьянина и не сложившаяся спина крестьянина-отрока покрывались свѣжими рубцами, темносиними рубцами освобожденія.

Крестьяне не поняли, что освобожденіе обманъ, они повѣрили слову царскому — царь велѣлъ ихъ убивать, какъ собакъ; дѣла кровавыя, гнусныя совершились.

Что же, кто нибудь изъ іерарховъ, изъ кавалерственныхъ архіереевъ пошелъ къ народу объяснить, растолковать, успокоить, посѣтовать съ нимъ? или бросился кто изъ нихъ, какъ въ 1848 католическій архіерей Афръ, передъ одичалыми опричниками, заслоняя крестомъ, мощами Тихона, своей грудью неповиннаго крестьянина, повѣрившаго въ простотѣ души царскому слову? Былъ ли хоть одинъ? Кто? Гдѣ?—Назовите, чтобъ я въ прахѣ у него просилъ прощенія... Я жду!

А покамѣсть еще разъ скажу народу: нѣтъ, это не твои пастыри; подъ платьями, которыя ты привыкъ уважать по преданію, скрыты клевреты враждебнаго правительства, такіе же генералы, такіе же помѣщики; ихъ зачерствѣлое, постное сердце не болѣетъ о тебѣ. Твои пастыри—темные какъ ты, бѣдные какъ ты; они говорятъ твоимъ языкомъ, вѣрятъ твоимъ упованьямъ и плачутъ твоими слезами. Таковъ былъ пострадавшій за тебя въ Казани иной Антоній; мученической, святою кровью запечатлѣлъ онъ свое болѣзное родство съ тобою. Онъ вѣрилъ въ волю вольную, въ волю истинную для русскаго земледѣльца — и, поднявши надъ головою ложную грамоту, палъ за тебя.

---

*) Мы говоримъ о высшемъ духовенствѣ; вѣроятно изъ священниковъ нашлись многіе, сочувствовавшіе народу. Мы помнимъ сверхъ того молодаго архимандрита казанской академіи Іоанна, помѣстившаго въ январской книжкѣ 1859 Православнаго Собесѣдника слово объ освобожденіи; но статья его тотчасъ вызвала дикій и уродливый отвѣтъ во Христѣ сапера.

Объ открытіи его мощей не попросить, за *шесть* часовъ, ни одинъ архіерей и не дозволитъ ни одинъ петербургскій царь. Да оно и не нужно—онъ принадлежитъ къ твоимъ святителямъ, а не къ ихъ. Тѣла твоихъ святителей не сдѣлаютъ сорока восьми чудесъ, молитва къ нимъ не вылечитъ отъ зубной боли; но живая память объ нихъ можетъ совершить одно чудо—твое освобожденіе.*)

— —

— *Заговоръ.* — Что за заговоръ открытъ? Что за сенаторъ, что за дамы? Timeo Danaos! Не лежитъ у насъ сердце къ этимъ заговорщикамъ первыхъ трехъ классовъ; тутъ навѣрное не убѣжденіе, не сочувствіе къ народу въ основѣ, а личныя выгоды, корысть, перемѣна лицъ, *тѣ же мундиры съ другой начинкой.* Или это опять пуфъ парижскихъ и бельгійскихъ журналовъ? Корреспондентъ Star'а говоритъ, что „высокопоставленные заговорщики имѣли сношенія съ русскими изгнанниками", конечно не съ нами. Мы съ народомъ русскимъ, мы съ мужиками, а не съ сенаторами.

Колоколъ № 108.
1 Октября 1861 года.

ПОДМЕТНЫЯ ПИСЬМА.

Мы на дняхъ получили два письма, оба не подписанныя, оба исполненныя брани и одно изъ нихъ площадныхъ ругательствъ.

Первое письмо брошено на почту 19 сентября въ Остендѣ, на

*) Недавно намъ разсказывали случай, бывшій года 1½ тому назадъ въ Хвалынскѣ. Полицейскій попъ, сговорившись съ какимъ то чиновникомъ, напали на старообрядческаго священника *Осипа Ѳедоровича Андреева*, ѣхавшаго съ женой и дѣтьми и снабженнаго паспортомъ, выданнымъ изъ самарской конторы. Попъ и исправникъ разбили ящикъ съ кладью, отобрали паспортъ и Андреева отправили скованнаго сначала къ исправнику Середѣ, а потомъ въ острогъ. Спустя девять мѣсяцевъ, тотъ же очевидецъ этого духовно-земскаго разбоя снова проѣзжалъ по Хвалынску и, вспомнивъ исторію, спросилъ о священникѣ Андреевѣ и узналъ слѣдующее: жену и дѣтей къ нему не допускали цѣлые полгода. Жена ѣздила въ Саратовъ; тамъ ее обругалъ и прогналъ протопопъ *Поляковскій* и грозилъ ее самое посадить въ тюрьму. Несчастная женщина, разоренная, безъ всякой помощи, написала письмо къ государю. Государь не отвѣчалъ — онъ самъ принадлежитъ къ церкви исправника и попа!

Въ Орловской губ.—пишутъ намъ—многіе попы до тѣхъ поръ отказывались отъ чтенія манифеста объ освобожденіи, пока крестьяне не дѣлали складчину, ими самимъ назначенную.

немъ написано по русски „нужное“ и на оборотѣ „для всеобщаго свѣдѣнія“.

Второе адресовано изъ Парижа отъ 22 сентября на имя госп. Трюбнера. Мы изъ уваженія къ читателямъ не помѣщаемъ ни того, ни другаго; во второмъ насъ и кн. Долгорукова ругаютъ *поматерно*. Намекъ на то, что на нашу жизнь есть покушеніе, и что если мы напечатаемъ о полученномъ письмѣ, то тутъ намъ и конецъ... заставляетъ насъ поступокъ этого мерзавца передать на общественный судъ.

Изъ за угла убить можно каждаго, мѣры кой-какіе мы возьмемъ, вѣдь мы живемъ въ Англіи; но заставить насъ замолчать матерными словами и угрозами, не удастся — ни III Отдѣленію, ни какому нибудь злодѣю-помѣщику, или взяточнику-чиновнику.

Александръ Герценъ
Николай Огаревъ.

Колоколъ № 109.
15 Октября 1861 года.

БРУТЫ И КАССІИ III ОТДѢЛЕНІЯ.
(ПИСЬМО КЪ РУССКОМУ ПОСЛУ ВЪ ЛОНДОНѢ)

Милостивый государь!

Вамъ вѣрно покажется очень страннымъ, что я къ Вамъ пишу; меня самаго это удивляетъ не меньше Васъ. Никогда я не рѣшился бы отнять нѣсколько минутъ Вашего драгоцѣннаго времени, еслибъ это не было въ выгодахъ правительства, имѣющаго счастье быть представленнымъ Вашимъ Превосходительствомъ.

Я буду очень коротокъ и сжатъ.

Можетъ быть Вамъ извѣстно, что мы съ Огаревымъ издаемъ здѣсь русской журналъ, подъ названіемъ *Колоколъ*. Въ послѣднее время мы стали, въ качествѣ редакторовъ, довольно часто получать подметныя письма, исполненныя большой роскошью площадныхъ ругательствъ*) и угрозами *убить* Огарева, князя Долгорукова (спѣшу Васъ успокоить, что рѣчь идетъ не о князѣ Васильѣ, начальникѣ жандармовъ — его жизнь совершенно безопасна — а о князѣ Петрѣ Владиміровичѣ) и меня. Все это не заставило бы меня писать къ Вамъ, Баронъ.

Но третьяго дня (9 Октября) я получилъ два письма (при свидѣтеляхъ, которымъ тогда же показалъ ихъ), въ которыхъ неизвѣстный другъ извѣщаетъ меня положительно, что третье отдѣленіе рѣшилось „похитить меня или убить“.

Первое изъ этихъ предположеній слишкомъ смѣшно, чтобъ быть возможнымъ. Разсудите, Баронъ, сами — что̀ я за Прозерпина съ бородой, и что̀ Шуваловъ за Плутонъ съ аксельбантами?

---

*) Обиліе ругательствъ такъ невоздержно, что я начинаю думать, что эти письма сочинены или въ монастырѣ, или въ консисторіи.

Остается угроза смерти.

Кто хочетъ убить меня? по чьему приказу? Обвиненіе естественно падаетъ на государя. Я не вѣрю, чтобъ онъ это приказалъ. Вы, можетъ быть, знаете, что я во многомъ расхожусь въ мнѣніяхъ съ Александромъ Николаевичемъ, но никогда не допущу мысли, чтобъ онъ сталъ подсылать спадассиновъ. Я бы не сдѣлалъ этого ни въ какомъ случаѣ. Да это и не въ его характерѣ и не въ традиціи императорскаго дома—что *они* за корсиканцы и за Борджіи, чтобы рѣзать изъ за угла! Я очень хорошо знаю, Баронъ, что они иногда участвовали въ ускореніи путей природы, въ предвареніи естественнаго теченія дѣлъ — но это дѣлалось въ самомъ интимномъ, задушевномъ кругу, между женой и мужемъ, сыномъ и отцомъ. Я не настолько знакомъ съ Александромъ Николаевичемъ, чтобы считать себя въ правѣ на такое родственное вниманіе и на такую фамильярность.

Стало не онъ. Кто-же?

Шуваловъ? Письмо прямо указываетъ на III отдѣленіе. Я не имѣю понятія о графѣ. Мѣсяца два тому назадъ онъ засадилъ въ Парижѣ въ тюрьму нѣкоего Зальцмана, обвиняемаго въ покушеніи на *свою* жизнь, сдѣланномъ княземъ Кочубеемъ (я согласенъ, что это не ясно); можетъ этотъ случай далъ Шувалову преувеличенное понятіе о всемогуществѣ III отдѣленія... пожалуй, что и онъ. Но вотъ въ чемъ бѣда, Шуваловъ-ли или другой, все равно, отвѣтственность, во всякомъ случаѣ, всѣмъ своимъ грузомъ падетъ на Александра *Невиннаго*. Намъ съ Вами надобно непремѣнно взять мѣры, чтобъ подобное обвиненіе не оставалось на правительствѣ, которое имѣетъ счастье считать Васъ своимъ представителемъ. Что-же хорошаго, что его заподозрять въ томъ, что оно ставитъ капканы и разсылаетъ полицейскихъ Брутовъ за моря и горы — den Dolch im Gewande.

Надобно обличить клеветниковъ, и это не все. Вы должны, Баронъ, отнынѣ беречь меня какъ зѣницу Вашего ока; каждый волосъ, который упадетъ съ головы моей—падетъ на русское правительство, скажутъ, что его Александръ Наколаевичъ выщипнулъ. Охранять меня, до такой степени въ интересахъ посольства, что я, отдавши за должной скрѣпой полученныя мною письма куда слѣдуетъ, не буду брать никакихъ мѣръ, зная, что Вы, хотя или не хотя, должны взять всѣ.

Поручая себя такимъ образомъ материнской попечительности императорскаго посольства, позвольте мнѣ, Господинъ Посланникъ, засвидѣтельствовать мое глубочайшее почтеніе.

Колоколъ № 110.
1 Ноября 1861 года.

ИСПОЛИНЪ ПРОСЫПАЕТСЯ!

Да, спящій „Сѣверный Колоссъ“, „Исполинъ, царю послуш-

ный" просыпается и вовсе не такимъ послушнымъ, какъ во времена Гавріила Романовича Державина.

Добраго утра тебѣ — пора, пора! богатырскій былъ твой сонъ — ну и проснись богатыремъ! Потянись во всю длину молодецкую, вздохни свѣжимъ, утреннимъ воздухомъ, да и чихни — чтобъ спугнуть всю эту стаю совъ, вороновъ, вампировъ, Путятиныхъ, Муравьевыхъ, Игнатьевыхъ и другихъ нетопырей; *ты* просыпаешься—пора *имъ* на покой. Есть нечистота движущаяся—всѣ эти прусаки, бого-мокрицы, насѣкомыя лишенныя крылъ, но не лишенныя апетита, несовмѣстныя съ дневнымъ свѣтомъ. Чихни, исполинъ — и отъ нихъ слѣда не останется, кромѣ несмываемыхъ пятенъ польской и крестьянской крови!

Господи, какой жалкій и смѣшной видъ у этого грознаго правительства! Куда дѣлась его вахмистерская наружность, его фельдфебельская выправка, гдѣ его сипло-армейскій голосъ, которымъ оно тридцать лѣтъ кричало: „Въ гробъ заколочу Демосѳена!" — Что, служивый, видно не тѣ времена, да и не тѣ силы, широкъ тебѣ сталъ мундиръ, насунулась каска на глаза.... Ступай, кавалеръ, въ больницу, не то въ инвалидъ!

Да что же случилось, отчего оно такъ оторопѣло? Революція, что-ли? Филаретъ взбунтовалъ Москву? Петръ Ольденбургскій провозглашенъ императоромъ въ школѣ правовѣденія? Отгадайте! А пока, возьмите *Теймсъ* и читайте его превосходныя корреспонціи.

Императоръ въ Ливадіи.*) Петербургомъ управляетъ комитетъ общественнаго спасенія, состоящій изъ Николая Николаевича и Михаила Николаевича; чтобъ Горчаковъ не посовѣтовалъ имъ чего нибудь дѣльнаго, при нихъ поставленъ *умоотводомъ* Игнатьевъ-Мальковскій. На улицахъ солдаты, жандармы, Шуваловы, якобинскій генералъ Бистромъ возмущаетъ солдатъ рѣчью самаго краснаго санкюлотизма: «Изъ нихъ — говоритъ онъ, указывая на безоружныхъ юношей — выйдутъ со временемъ подъячіе, подъячіе, которые грабятъ васъ, которые грабятъ народъ—дадимъ имъ урокъ!» Паткуль скачетъ на право, скачетъ на лѣво, одну лошадь заѣздилъ, другую заѣзжаетъ. Михаилъ Николаевичъ спрашиваетъ Николая Николаевича: зачѣмъ Паткуль скачетъ? Николай Николаевичъ, вставшій съ первыми пѣтухами, по общей любви къ курамъ, говоритъ Михаилу Николаевичу, что онъ не знаетъ зачѣмъ Паткуль скачетъ, но что должно быть *это возстаніе*. Тотъ (или этотъ) говоритъ, десять полковъ и онъ усмиритъ.... Кого? Гдѣ непріятельскія войска?

На университетскомъ дворѣ.

Грубое правительство, напуганное выжившимъ изъ ума Стро-

---

*) Ливадія куплена у гр. Потоцкой за 300,000 рублей, не смотря на то, что рядомъ съ Ливадіей лежитъ Оріанда, построенная на счетъ народнаго пота... А говорятъ, что денегъ нѣтъ!

гоновымъ — рядомъ мелкихъ преслѣдованій и униженій, начало оскорблять университеты: назначеніемъ Путятина, школьными стѣсненіями, бездушнымъ отталкиваніемъ неимущихъ. Студенты петербургскаго университета избрали депутатовъ и поручили имъ довести до начальства ихъ протестъ. Начальство поступило съ ними въ томъ родѣ, какъ поступали дикіе на сандвичевыхъ островахъ съ парламентерами, въ томъ родѣ, какъ Петръ *большой* поступилъ съ Полуботкомъ, а Николай *длинный* съ депутатами отъ старорусскихъ солдатъ, т. е. вопреки всякому понятію чести и нравственному стыду, захватило ихъ. Студенты рѣшились просить освобожденія своихъ товарищей — и вотъ отчего Бистромъ-Сантеръ бунтовалъ солдатъ, натравливая ихъ на другія сословія, Паткуль надорвалъ двухъ лошадей, а Игнатьевъ-Мальковскій шепталъ Филипсону: *„Все готово, можно начинать!“* Что начинать? бойню юношей, рѣзню на университетскомъ дворѣ?... Что къ этому прибавлять!

Но гдѣ же былъ, что дѣлалъ, что сказалъ душеспасительнаго нашъ японецъ, нашъ океанидъ, бого и человѣкоугодникъ Путятинъ? Отчего онъ не ѣздилъ на шлюпкѣ съ Сергіевскимъ взадъ и впередъ по Невѣ и Мойкѣ, въ то время когда Паткуль замыливалъ втораго жеребца? Онъ былъ гдѣ-то „подъ полой“ скрытъ отъ глазъ паціента, какъ ножъ или пила передъ хирургической операціей. Какъ безвозвратно запятналъ себя этотъ человѣкъ, какъ быстро сѣлъ на мель грязи этотъ шкиперъ просвѣщенія!

О Филаретъ, высокопреосвященнѣйшій Филаретъ! какой нехристіанскій совѣтъ далъ ты на старости святительства твоего кораблевождицѣ японійской; безъ твоего архипастырскаго благословенія жилъ бы онъ себѣ мирно и небезвозмездно въ Лондонѣ коммиссіонеромъ и купчиною адмиральтейства и кротко возносилъ бы мольбы свои къ подножью престола всевышняго между заказами снастей корабельныхъ и ихъ пріемомъ— а теперь, всѣхъ водъ, соленыхъ и прѣсныхъ, отъ береговъ синайскихъ до водохранильницъ мытищенскихъ, не довлѣетъ на омовеніе человѣка, принявшаго на себя величайшее преступленіе, преступленіе противъ духа, противъ просвѣщенія...

Въ Россіи закрыты университеты—въ Польшѣ церкви сами закрылись, оскверненныя полиціей. Ни свѣта разума, ни свѣта религіи! Куда они хотятъ вести насъ въ потьмахъ? Они сошли съ ума — долой ихъ съ козелъ, если не хотите съ ними грохнуться о землю!

Но куда же вамъ дѣться, юноши, отъ которыхъ заперли науку?... Сказать вамъ куда?

Прислушайтесь — благо тьма не мѣшаетъ слушать — со всѣхъ сторонъ огромной родины нашей: съ Дона и Урала, съ Волги и Днѣпра растетъ стонъ, поднимается ропотъ — это начальный ревъ морской волны, которая закипаетъ, чреватая бурями, послѣ страшно утомительнаго штиля. *Въ народъ! къ народу!*—вотъ ваше мѣсто,

изгнанники науки, покажите этимъ Бистромамъ, что изъ васъ выйдутъ не *подьячіе*, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русскаго!

Хвала вамъ! вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальнихъ намековъ, запрещенныхъ книгъ проходитъ. Вы *тайно* еще печатаете дома, но *явно* протестуете. Хвала вамъ, меньшіе братья, и наше дальнее благословеніе! О, еслибъ вы знали, какъ билось сердце, какъ слезы готовы были литься — когда мы читали *о студентскомъ днѣ* въ *Петербургѣ!*

P. S. Статья эта была написана, когда мы прочли въ *Теймсѣ* (отъ 22 октября) такое гнусное, такое подлое злодѣйство, что — при всей нашей безпредѣльной вѣрѣ въ безнравственность петербургскаго управительства — мы почти усомнились. *Тайная полиція* разослала подложныя приглашенія студентамъ собраться на площади, для того, чтобъ ихъ переловить; но студенты догадались и не пошли. Можно ли послѣ этого дивиться якобинской рѣчи Бистрома и тому, что онъ не подъ судомъ за эту рѣчь, тому, что III Отдѣленіе ласкало мысль украсть меня у Англіи изъ кармана, или прирѣзать изъ за угла, тому, что при арестѣ Михайлова,*) жандармы явились съ блядями (не краснѣйте Шуваловъ, не краснѣйте Паткуль, не краснѣйте Игнатьевъ, *слово* далеко не такъ позорно, *какъ дѣло)* которымъ поручили обыскивать дамъ.

И эту сволочь плутовъ, разбойниковъ и блядей, мы должны принимать за правительство!

— *Великоруссъ въ ученой Москвѣ.* — Намъ пишутъ, что гг. Бабстъ, Чижовъ и В. Коршъ, получивъ по почтѣ по экземпляру „Великорусса", снесли его тотчасъ въ полицію. Правда ли это? Мы готовы, какъ Фердинандъ въ Шиллеровой Kabale unb Liebe, просить, если это правда, чтобъ намъ солгали!

Колоколъ № 112.
15 Ноября 1861 г.

ТРЕТЬЯ КРОВЬ!

Къ польской, къ крестьянской крови прибавилась кровь лучшихъ юношей въ Петербургѣ и Москвѣ... Пусть этимъ святымъ общеніемъ три великія дѣла спаяются въ неразрывное единство—

*) *Михайловъ*, *Перцовъ* и офицеръ *Костомаровъ* были арестованы по дѣлу „Великорусса" и тайныхъ типографій. Times говоритъ, что *Краевскій*, графъ *Кушелевъ-Безбородко и Громека* подавали какой-то протестъ противъ беззаконнаго ареста Михайлова; намъ очень бы хотѣлось узнать подробности объ этомъ дѣлѣ.

Независимость Польши,
Земля крестьянамъ,
Свобода Россіи.

Не жалѣйте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей исторіи, вами Россія входитъ во второе тысячелѣтіе, которое легко можетъ быть начнется съ изгнанія варяговъ за море.

Ваша кровь во всякомъ случаѣ засвидѣтельствовала начало совершеннолѣтія и многое обличила... Она обличила сочувствіе къ вамъ всей Россіи, готовность идти съ вами — со стороны молодыхъ офицеровъ, со стороны всѣхъ учебныхъ заведеній. Она обличила, чего намъ ждать отъ *благодушнаго* Александра II и отъ его братцевъ, въ родѣ Михайлы-пушкаря, порывавшагося уничтожить васъ картечью. Она обличила — какъ подъячіе лакеи стоятъ во главѣ русскаго правительства. Въ Москвѣ студентовъ перебили, испугавшись проѣзда царскаго. Кровь ваша не просохнетъ на ихъ ливреяхъ — до страшнаго суда народнаго! *)

Значеніе университетской молодежи въ Россіи совершенно иное, чѣмъ въ другихъ странахъ. Въ университетахъ, лицеяхъ, академіяхъ и не большомъ кругѣ литераторовъ укрывалась и возросла русская мысль; во все время тридцатилѣтняго избіенія ея, тамъ жила надежда и жили вѣрованія, тамъ лились слезы и сердце билось человѣческимъ негодованіемъ—въ то время какъ вся шляхетная Россія — помѣщичья, военная и чиновная подло пресмыкалась передъ бездарнѣйшимъ злодѣемъ въ исторіи—за право сѣчь и грабить, за чечевицу оброка и барщины, за фольгу и стеклярусъ крестовъ, за потворство взяткамъ и казнокрадству. Да, въ то позорное время, когда во всей Россіи, отъ четырнадцатаго до перваго класса, не поднялось ни одного протеста—курсъ за курсомъ, школа за школой давали свою жертву... и Николай съ тупою злобой мялъ въ своихъ лапахъ юную душу до тѣхъ поръ — пока чахотка или черкеская пуля освобождала ее. Курсъ за курсомъ, не зная того, безъ формы и знаковъ, передавалъ таинственный пароль, завѣщанный мучениками 14 Декабря и этотъ пароль сказался теперь громко студентами въ Петербургѣ и Москвѣ. Тверская площадь прибавилась къ Исаакіевской. Иниціатива эта по праву принадлежала студентамъ — *они одни чисты*, гражданская мысль русская тайно воспиталась въ университетахъ, пусть же она и явится на бѣлый свѣтъ какъ — filia del regimento нашихъ аудиторій, изъ нихъ не труднѣе сдѣлать *Земскую Думу*, чѣмъ изъ залы Jeu de paume!

---

*) А пока не мѣшаетъ вести списки всѣхъ отличившихся по этому дѣлу. А—Адмиралъ Путятинъ, Б—Бистромъ, В—Великій князь Михайло, Т—Тучковъ и такъ до Ш—Шуваловъ.

Колоколъ № 113.
22 Ноября 1861 г.

ПО ПОВОДУ СТУДЕНТСКИХЪ ИЗБІЕНІЙ.

I

Одна изъ самыхъ тяжелыхъ минутъ для слѣдопроизводителя по уголовному дѣлу—та минута, когда онъ входитъ въ комнату, гдѣ совершилось злодѣйство: все тихо и спокойно.... пятна крови, сломанная мебель, опрокинутый стулъ, разбитое стекло... съ улицы слышенъ шумъ, трещатъ колеса, играетъ шарманка, хохочутъ дѣти, кричатъ разнощики—а нѣсколько часовъ тому назадъ тутъ, на этомъ мѣстѣ, слышались глухіе удары, вопль, брань, стонъ, тяжелое паденіе... и внутренно пробираетъ истерическая дрожь... а между тѣмъ выбора нѣтъ, по горячимъ слѣдамъ надобно производить слѣдствіе. Лишь бы нашлось довольно спокойствія духа, чтобъ не набросить на плечи преступнику еще больше вины, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ ему приходится несть.

Мы эти слѣдопроизводители.

Печально стоятъ передъ нами огромныя зданія, потерявшія смыслъ, холодныя, пустыя аудиторіи, нѣмыя каѳедры; безсмысленная сила прошла тутъ, тупо раздавила молодую жизнь, безраскаянно успокоилась, и все пошло по старой колеѣ, — только студентовъ нѣтъ, науки нѣтъ.

Кто виноватъ? Гдѣ виновники?—благодушный императоръ или бездушный Путятинъ? Шуваловъ или Строгоновъ? московская полиція или преображенская?

Всѣ виноваты, всѣ они играли роль добровольныхъ палачей, жестокихъ палачей; но вмѣстѣ съ тѣмъ они пользуются и выгодами, соединенными съ званіемъ заплечныхъ мастеровъ: они отвѣчаютъ только за исполненіе. Пусть ихъ замучитъ совѣсть, пусть ихъ замучитъ общественное презрѣніе. Пусть они наконецъ будутъ наказаны на томъ основаніи, на которомъ въ Англіи казнятъ звѣрей, причинившихъ смерть человѣку. Чортъ съ ними совсѣмъ. Ни ихъ виновность, ни ихъ казнь не объяснитъ дѣло.

Университетская исторія не случайность, не капризъ, а начало неминуемой борьбы. Борьба эта должна была завязаться тамъ или тутъ, она завязалась на самой естественной почвѣ. Противурѣчія, лежащія въ основѣ политической жизни нашей, раздвинулись до того, что никакой Александръ Николаевичъ не устоитъ Колоссомъ Родосскимъ. Несовмѣстимое противурѣчіе, которое бросается въ глаза между университетомъ и преображенскими казармами, не только существуетъ во всѣхъ сферахъ жизни, но, что особенно важно, приходитъ къ сознанію.

Первое обнаруженіе подавлено, второе, третье можетъ будетъ тоже подавлено, броженіе скроется внутрь, но непремѣнно обнаружится съ большей силой, а тогда—или петербургскій порядокъ погибнетъ, или Россія погибнетъ.

То лихорадочное чувство *не по себѣ*, которое овладѣваетъ всей

Россіей—вверху, внизу, въ крестьянской избѣ и въ самомъ зимнемъ дворцѣ, прямо обнаруживаетъ работу организма, посредствомъ котораго онъ стремится отдѣлаться отъ чего-то мертваго, отъ чего-то ядовитаго и гніющаго.

Исходъ борьбы можетъ быть тотъ или другой, но устраненіе борьбы невозможно. Нечеловѣческія усилія, сдѣланныя Николаемъ, задержали обнаруженіе ея на тридцать лѣтъ. Это Геркулесовъ столбъ, Николай дошелъ до того давленія, послѣ котораго вода въ насосѣ не подымается, сколько хочешь дави.

Петровскому императорству, пережившему себя, оставалось *одно живое дѣло*, на этомъ дѣлѣ оно могло искупить прошедшее. залечить раны, нанесенныя народу, обновиться—этимъ дѣломъ оно повязало себѣ веревку на шею... „Насильно спасать никого нельзя"—сказалъ маршалъ Бюжо Людовику Филиппу.

Сначала утратилась сила — потомъ смыслъ. Оптическій обманъ несокрушимости разсѣялся вмѣстѣ съ севастопольскимъ дымомъ, всѣ увидѣли, что это декорація силы, а не сила. Правительство ужаснулось своей ничтожности и своей нелѣпости; отсюда его судорожная готовность все измѣнять, чинить, перестроивать и съ тѣмъ вмѣстѣ отчаянно себя отстаивать всѣмъ на свѣтѣ — разстрѣливаніемъ крестьянъ, прикалываніемъ молящихся, преображенскими прикладами, жандармами, одѣтыми мужиками, публичными дѣвками на откупу... это — внутренній страхъ смерти у больнаго, это — подавляющее сознаніе, что его существованіе не имѣетъ достаточной причины. Вотъ отчего они мечутся изъ стороны въ сторону, вотъ отчего это безпокойное ощупываніе... вотъ отчего императрица по ночамъ молится передъ византійской иконой и читаетъ исторію Маріи Антуанеты, вотъ отчего они трепещутъ за свою династію, когда сотня молодыхъ людей не хочетъ покориться унизительнымъ формамъ, вотъ отчего они держатъ, какъ заряженный револьверъ подъ подушкой, своихъ преображенцевъ, своихъ жандармовъ. Они знаютъ, и это *худшее*, что можетъ знать человѣкъ, они знаютъ, *что ихъ не нужно больше!*

Восемь, десять лѣтъ тому назадъ я проповѣдывалъ испуганной Европѣ, съ ужасомъ поглядывавшей на мрачную фигуру императора въ ботфортахъ и кавалергардскомъ мундирѣ, стоявшую какимъ-то снѣжнымъ пугаломъ за балтійскими льдами — что *сѣнь этотъ таетъ*, что петербургскій тронъ вовсе не такъ крѣпокъ, какъ думаютъ, что онъ пережилъ свой смыслъ и не имѣетъ съ самой войны 1812 года ничего творческаго и созидающаго, что Николай по инстинкту самосохраненія свелъ всѣ силы на одно отрицательное противудѣйствіе — возникающимъ началамъ новой жизни.

Мнѣ не вѣрили—это было до крымской войны.

Старая исторія, что люди убѣждаются только грудами труповъ, взятыми курганами, сожженными городами. Макъ-Магонъ былъ счастливѣе меня.

Но не у одной Европы пала повязка съ глазъ отъ крымской

войны, она пала съ глазъ Николая и, когда онъ оглядѣлся и увидѣлъ хаосъ и пустоту, развитые имъ — легкія его перестали дышать.

Все царствованіе его была ошибка. Ограниченный деспотъ, безъ образованія, онъ не зналъ Европы, онъ не зналъ Россіи. Свирѣпый больше чѣмъ хитрый, онъ царствовалъ одной полиціей, однимъ гнетомъ. Испуганный 14 Декабремъ, онъ отшатнулся отъ дворянства, отъ единственной среды, связанной на животъ и на смерть съ петербургскимъ престоломъ—преступной круговой порукой крѣпостнаго права. Онъ въ немъ хотѣлъ подавить тѣ простыя, необходимыя стремленія къ гражданскимъ правамъ, которыя безъ ущерба себѣ имъ уступила бы каждая прусская и австрійская корона. Но отвязывая въ тихомолку императорскую барку отъ помѣщичьихъ плотовъ, онъ ничего не сдѣлалъ для народа. Ему хотѣлось бы *отнять* у дворянъ крѣпостное право, для того чтобъ ослабить ихъ касту, но не давая воли крестьянамъ. Онъ на нихъ смотрѣлъ съ обыкновенной офицерской точки зрѣнія, онъ не боялся ихъ, народъ не зналъ слова конституція, не требовалъ правъ, а считалъ только землю своей; впрочемъ, во всякомъ случаѣ съ нимъ было легче совладать, нѣмыя массы его можно было раздавить беззвучно, безотголосно.

Преемнику Николая доставалось наслѣдіе не легкое, ненужная и безславная война, разстроенные финансы, общее воровство, ропотъ, недовѣріе и ожиданье. Ему предстояли, какъ въ нашихъ сказкахъ, три дороги. Дать дѣйствительныя права дворянству, и попробовать уладить съ нимъ *лунную* свободу представительнаго правленія. Освободить крестьянъ съ землею — и начать новую эпоху народнаго и экономическаго освобожденія. Или вмѣсто того и другого продолжать давить всякое проявленіе жизни, до тѣхъ поръ пока лопнутъ мышцы у того, который давитъ, или у того, котораго давятъ. По какой же дорогѣ поѣхалъ нашъ Иванъ Царевичъ?

По всѣмъ по тремъ...

Эта шаткость, эта неувѣренность человѣка спросонья—отличительная черта новаго царствованія. Въ немъ есть что-то безхарактерное, безпомощное, картавое — и въ силу этого — всему уступки, всѣму измѣны. Дворянству, литературѣ, университетамъ — даются какія-то льготы, права— но недѣйствительныя. Крестьянамъ дается свобода — но безъ земли. Польшѣ возвращается народность — но безъ всякой самобытности. А недовольны — Апраксинъ, Дренякинъ, гвардейская полиція. Арестанту, котораго Николай гонялъ сквозь строй — позволяютъ отдохнуть, разсуждаютъ съ нимъ о вредѣ тѣлесныхъ наказаній, сулятъ ему золотыя горы —а какъ онъ только приподнимаетъ голову, барабанъ—и продолжай свою вторую тысячу зеленой рощи...

Университетская исторія—частный случай, въ которомъ во всей своей силѣ отразилась та-же самая блуждающая, безпутная правительственная мысль, — съ молодыми людьми поступили также

какъ съ поляками, также какъ съ крестьянами, и также какъ еще десять разъ поступятъ — если безсмысленное правительство будетъ ходить на волѣ.

Неужели опытъ насъ ничему не научитъ? чтоже ждать четвертой, пятой крови?.... Если мы ничего не будемъ дѣлать, мы дождемся страшныхъ бѣдъ — одинъ ножъ въ рукахъ безумнаго можетъ надѣлать страшныя бѣдствія — а пятьсотъ тысячъ штыковъ въ рукахъ испуганнаго и безсмысленнаго правительства?... Общественное спасеніе, спасеніе народа, требуетъ, чтобъ его не пускать по волѣ, требуетъ, чтобъ его связать.

Ну, такъ и закидывайте арканъ!

Колоколъ № 116.
15 Декабря 1861 года.

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ИЗЪ ВОЛЫНИ.

Мы получили около 15 Ноября изъ Волыни длинное письмо въ опроверженіе статьи *объ югозападной Руси*, помѣщенной въ 8 № „Будущности". Быстро несущіяся событія и небольшой размѣръ „Колокола" не дозволили намъ до сего времени дать о немъ отчетъ. Мы сознаемся откровенно, не желали-бы быть ареной политико-лингвистическихъ споровъ, особенно такихъ, которые имѣютъ въ виду не объективную истину, не существенную пользу народа, а разныя arrière pensées патріотическія, завоевательныя, религіозныя и проч.

Корреспондентъ „Будущности", находя, что югозападъ Россіи говоритъ на *двухъ языкахъ*, заключаетъ, что его слѣдуетъ судить и учить — *на третьемъ*. И при томъ на такомъ третьемъ, который Украйнѣ и Литвѣ, шляхтѣ польской и Руси людовой напоминаетъ ихъ страшнѣйшія историческія несчастія!

Согласиться съ этимъ невозможно. И что это за регламентація языка, что за правительственныя, административныя вмѣшательства въ букварь?... министерство грамматики, департаментъ спряженій! Неужели не ясно, что школа и судъ въ странѣ, въ которой два нарѣчія — *должны быть на обоихъ*.

Дайте школамъ волю, такъ и будетъ.

О судѣ и говорить нечего; малѣйшаго слѣдствія нельзя произвести, говоря на разныхъ языкахъ съ подсудимыми и свидѣтелями.

Хорошо обѣдню да молитву читать по латыни, въ нихъ нѣтъ ничего новаго, тутъ важно само чтеніе, а не то, что читается.

И такъ признаемъ-же разъ навсегда за непреложную истину, что *никого* не надобно ни *руссифицировать*, ни *полонизировать*, что никому не надобно мѣшать говорить и думать, учиться и писать, какъ ему хочется—ни остзейскому нѣмцу, ни остзейскому финну.

Съ какой стати украинецъ напр. промѣняетъ свою простодушную рѣчь — ту, на которой онъ говорилъ на свободныхъ радахъ, ту, на которой схоронена въ его пѣсняхъ вся исторія его — на

языкъ предательскаго правительства, постоянно обманывавшаго Малороссію, на языкъ той преступной женщины, которая одной рукой вооружала гайдамаковъ, другой предписывая указы объ укрѣпленіи казаковъ за своими заложниками? Развѣ великорусскій языкъ не является на западѣ Россіи языкомъ *николаевскимъ*, котораго Кирилъ и Меѳодій—Бибиковъ и Симашко? Пусть языкъ нашъ смоетъ прежде слѣды подобострастія, рабства, подлыхъ оборотовъ, вахмистерской и барской наглости—и тогда уже начнетъ поучать ближнихъ.

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ украинецъ учился по польски потому только, что „весь образованный классъ народа самый *значительный*, если не по числу, то по богатству, образованію и правамъ, классъ *исключительно* пользующійся гражданскими правами и имѣющій средства давать своимъ дѣтямъ воспитаніе—говоритъ по польски".

Въ этомъ-то и лежитъ все проклятіе, что одинъ классъ исключительно пользуется воспитаніемъ, а другой невѣжествомъ; что для одного класса есть и книги, и школы, а для другого ничего, ни даже письменнаго языка.

Авторъ письма ссылается на Финляндію, что-же изъ этого? И въ Финляндіи скверно. И не въ одной Финляндіи, тутъ въ примѣрахъ затрудненія не можетъ быть. Разъ какъ-то въ Брюсселѣ я гулялъ по городу, утромъ въ Воскресеніе. Въ церквахъ толпа страшная, вхожу въ одну — проповѣдь, вниманіе простаго народа меня поразило. Я пошелъ въ другую, въ третью церковь, то-же самое; что-же за причина? Все Лакордеры или Равиньяны? Нѣтъ, но попы проповѣдывали *по фламски*. Я изъ третьей церкви перешелъ въ кофейную, груда газетъ, всѣ французскія; я въ другую, то же; афишки, водевили, фарсы, драмы и оперы, все на французскомъ, романы и повѣсти—то-же самое, а потому все это дальше лакея и горничной не опускается. Народъ *по ту сторону* литературы оставленъ на поповъ, они его и образовываютъ на свой салтыкъ; а белги, говорящіе по французски, удивляются его изувѣрству. Точно то-же я видѣлъ въ Піемонтѣ.

На этомъ то раздвоеніи народовъ на два слоя, одного облитаго свѣтомъ и плавающаго какъ масло надъ глубью, другого глубокаго и темнаго, окруженнаго мглой — срѣзались всѣ революціи. Онѣ дѣлались *для значительнаго* (не по числу, а по правамъ) класса, *исключительно* пользовавшагося воспитаніемъ, массамъ до нихъ дѣла не было.

Начнемъ же, господа, прежде лингвистическаго завоеванія народа юго-русскаго, съ того, что отдадимъ ему его землю, а потомъ и посмотримъ, какъ онъ захочетъ говорить и учиться.

———

— *Лекарь Озерскій и его сообщники.* — Прибавлять къ разсказу, отъ котораго становится волосъ дыбомъ, помѣщенному въ прошломъ „Колоколѣ"—нечего. Тутъ все ужасно, все вызываетъ на

месть, отъ соленыхъ розогъ, отъ ударовъ ногами въ умирающаго, до шайки полицейски-судебныхъ плутовъ, скрывшихъ преступленіе, оправдавшихъ злодѣя-лекаря. Мы обращаемъ вниманіе нашихъ читателей (и въ особенности одного изъ нихъ—министра внутреннихъ дѣлъ *Валуева*) на тотъ замѣчательный фактъ, что наше правительство инстинктивно сознаетъ свою круговую поруку съ каждымъ подлымъ преступникомъ и прикрываетъ своей багряницей каждое злодѣйство. Это чрезвычайно замѣчательно и оригинально. Понятно, что юстиціи Панина и администраціи Валуева мало дѣла до того, согласна она съ нами во мнѣніи или нѣтъ. Но когда мы или кто-бъ то ни было говоритъ, — вотъ въ Орловской губерніи почтенный докторъ медицины Гутцейтъ изнасильничалъ ребенка и весь уѣздъ это знаетъ, — вотъ еще больше почтенный докторъ *полиціи* Сычинскій до смерти замучилъ несчастную жертву Марію Бредау, вотъ штабъ-докторъ Озерскій убилъ своего повара съ жестокостью, неслыханной у дикихъ, и слѣдопроизводители: стряпчій *Иваницкій*, исправникъ *Троицкій*, письмоводитель *Соломаха* и лекарь *Петровскій* скрыли это, и Озерскій не на каторгѣ, а спокойно живетъ возлѣ трупа своего повара — какое, казалось бы, дѣло правительству, откуда оно получаетъ вѣсть о совершенномъ преступленіи? Неужели Панинъ, съ его ростомъ, считаетъ, что иногда можно насиловать и дѣтей, или Валуевъ, съ его краснорѣчіемъ, что можно забивать поваровъ до смерти?

Къ чему можно отнести эту не пробиваемую шкуру носорога на совѣсти нашихъ управителей? Неужели въ нихъ нѣтъ тѣни человѣческаго сочувствія—къ страждущимъ?

Рѣшайте сами этотъ вопросъ, какъ знаете, а я знаю одно, что ни наша статья, ни это замѣчаніе не помѣшаютъ лекарю Озерскому преспокойно обѣдать на трупѣ своего повара.

И на это-то правительство люди надѣются!

Колоколъ № 118.
1 Января 1862 года.

MORTUOS PLANGO...

Поминать, такъ поминать!
Пушкинъ.

I

Новый годъ, какъ верстовой столбъ, всякій разъ заставляетъ подумать, скоро ли доѣдешь, и вспомнить, какова была дорога... плоха и очень плоха была, а вотъ и доѣхали до 1862 года, и на русской душѣ нашей словно легче и свѣтлѣе...

Когда я сравню теперешнее время съ тѣмъ, что было десять лѣтъ тому назадъ, морозъ пробѣгаетъ по кожѣ—нѣтъ, не все, что прошло, будетъ мило... Тогда было такъ тяжело, такъ тяжело, что одно желаніе и оставалось: „Бѣжать, уйти куда нибудь, уничто-

житься безслѣдно, безсознательно, лишь бы отдохнуть, лишь бы не видать, что дѣлается вокругъ";*) такъ тяжело, что когда разразился *послѣдній ударъ*, невольно вырвался изъ груди радостный крикъ: vive la mort!

Съ этимъ крикомъ вступили мы въ новый 1852 годъ.

Слишкомъ много было страданій, стоновъ вокругъ, какая-то духота. Похороны все лучше.

Что было потомъ — трудно сказать. Какая-то нравственная холера, нервы опустились, мысли потускли, тамъ-сямъ спасались люди, кто въ Англію, кто въ Америку; впрочемъ свирѣпыхъ гоненій, ужасныхъ казней и отвагъ, этой послѣдней поэзіи мрачныхъ эпохъ, не было. Люди изнашивались, затомлялись какъ-то исподволь пошлыми непріятностями, мелкими лишеніями, они старѣли, не вынося съ собой — выкупомъ за страданія — тѣхъ страшныхъ образовъ бурь и ураганов, которыми тѣшится морякъ, сидя на берегу. Объ этомъ времени *нѣтъ воспоминаній*.

...Хоронили Велингтона.

...Прусскій король сошелъ съ ума...

...А вслѣ хоронили цѣлый міръ идей и стремленій, не замѣчая того, и цѣлый міръ если не сходилъ съ ума, то съуживался въ умѣ. Легкомысленное непониманіе того, что совершалось, надменное самодовольство передовыхъ людей, передовыхъ журналовъ, общественнаго мнѣнія наводило тоску и ужасъ. На откровенныя слова, указывавшія грядущія бѣды, отвѣчали свистомъ и насмѣшками. У насъ въ Россіи разные доктринеры тоже натягивали на себя западную тупость, это явленіе, вызванное негодованіемъ, оппозицией — у насъ не имѣло корней; но видѣть на мѣстѣ, дома, обтерханныхъ людей, которые съ надменностью Донъ-Сезаръ де Базан'а величественно завертываются въ грязный, продырявленный плащъ съ полной увѣренностью, что ихъ дѣла завтра пойдутъ блестящимъ образомъ, и знать, что они завтра пойдутъ еще хуже и все хуже—это ужасно!

Годы шли и шли.... все больше дрогъ, распущенныхъ шляпъ, факеловъ... мало по малу мы стали догадываться, что это все хоронятъ *чужихъ* или дальнихъ родственниковъ, отъ которыхъ мы получаемъ въ наслѣдство все — за исключеніемъ горести объ умершемъ, *мы* — осмѣлившіеся надѣяться, когда ночь кругомъ становилась темнѣе, мы—вѣровавшіе въ Россію тогда, когда вѣра въ нее была безуміемъ, когда Россія была однимъ обширнымъ острогомъ, къ обмерзшимъ дверямъ котораго былъ приваленъ Николай.

II

А не пощадила Донъ-Сезаръ де Базан'а судьба, не обошла его ни одной каплей горечи, ни однимъ униженіемъ, ни однимъ ударомъ.

---

*) Письма изъ Франціи. Пис. XIV, 31 Дек. 1851 и Съ того берега, Эпилогъ 1849 года.

Была у гордаго старика одна мечта, одна надежда... казалось въ самомъ дѣлѣ сбыточная, онъ утѣшался, какъ король Лиръ, мыслью, что у него вдали есть дочь—богатая и вольная, которой онъ при жизни завѣщалъ свое лучшее достояніе, она-то, думалъ онъ, исполнитъ его послѣднюю волю. И въ тѣ минуты, когда старику дома становилось тяжко, онъ мечталъ объ ней и собирался къ ней перебраться.

Мы сами были увлечены и вѣрили въ нее.

Но не Корделіей оказалась и эта дочь.

...Разверните лѣтописи міра, отъ потопа, отъ Мельхиседека до вчерашняго дня, и найдите на Югѣ, на Востокѣ, гдѣ хотите, знамя гнуснѣе того, на которомъ написано: *Рабство или Смерть!* Было ли что нибудь чудовищнѣе въ библейскихъ бойняхъ, въ уничтоженіи Альбигойцевъ, во времена инквизиціи, исламизма.... Что передъ этимъ *самодержавіе*, во имя котораго убивалъ народы Николай, что передъ этимъ сумасшедшій бредъ *умнаго* прусскаго короля въ Кенигсбергѣ, отбросившаго Германію за Вестфальскій миръ?

Война за рабство! „За наше *святое дѣло!*" Какъ выразился южный президентъ въ рѣчи своей.

До Сѣверо и Юго-Американскихъ Штатовъ было рабство и крѣпостное состояніе, неправая война и неправое стяжаніе, но этотъ цинизмъ, эта наглость, эта преступная простота, это безстыдное обнаженіе—это ново и принадлежитъ Америкѣ.

— Та ли эта Америка? Та ли Франція? Какъ онѣ могли такъ измѣниться?

— Онѣ не измѣнились, только мы ихъ не знали прежде. Мы смотрѣли картинки, читали вывѣски... Революція проѣхала какъ императрица, картонныя избы упали, декораціи сельскаго благосостоянія сняты, новые кафтаны обобраны. Что же осталось? — Истина.

Страна Уильберфорса снащаетъ корабли, нехотя становясь за рабство; рѣками, можетъ, польется кровь въ Атлантическій океанъ, корабли погрузнутъ на его дно, „святая основа" южныхъ республикъ будетъ принята всей Европой.

А въ это время развѣ *онъ* будетъ сидѣть сложа руки?

...Римъ, Рейнъ, Бельгія, Востокъ—Ave Cæsar!

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это пятое дѣйствіе — трагедіи, начавшейся въ 1789?

— Если же такъ, куда послѣ театра?

— Не знаемъ, куда актеры, а мы ко дворамъ.

III.

У насъ въ стары годы все перекладывали французскіе водевили на русскіе нравы. Какъ бы не случилось теперь того же съ европейской трагедіей!

Она выйдетъ у насъ грубѣе, но гораздо проще. У насъ *старое*

то *ново* и не пустило корней; у насъ морщины на кожѣ, но кровь молода.

Упорная живучесть всего существующаго въ Европѣ прочно основана на всемъ быломъ ея. Ея многосложный бытъ сложился самъ по себѣ, выработался въ длинной и тяжелой борьбѣ; онъ ей естественненъ, у ней есть другіе *идеалы*, но другаго *быта* нѣтъ. Къ тому-жъ, въ обветшалыхъ и узкихъ формахъ ея захваченѣ бездна изящнаго и хорошаго. Оно-то и утратилось при *переложеніи на наши нравы*, удивляться этому нельзя.

Европейскій бытъ и цивилизація были надѣты на насъ въ томъ родѣ, какъ въ Лондонѣ мальчишки зашиваютъ, для продажи, плебейскаго происхожденія щенка въ волнистую шкуру аристократической собаченки; щенокъ, вымытый и расчесанный, бѣгаетъ въ своемъ *болонскомъ* кафтанѣ по гостиннымъ, спитъ на диванахъ — но увы, онъ ростетъ, и чужая шубенка лопаетъ по швамъ.

Какъ бы то ни было, но теперь вопросъ собственно вотъ въ чемъ: имѣя западную фасаду и формы безъ лучшей стороны содержанія, что́ намъ придется—разбить ли чужія формы или усвоить чужое содержаніе?

То, что въ Европѣ есть общечеловѣческаго — т. е. наука и больше ничего, — само собой принадлежитъ всѣмъ, какъ воздухъ принадлежитъ каждому, имѣющему легкія. Стало быть рѣчь не о наукѣ, а о томъ, могутъ ли другіе результаты западнаго развитія усвоиться нами, не мѣшая нашему собственному росту, или мы разовьемъ какіе нибудь иные историческіе элементы?

Конечно, было бы лучше воспользоваться тѣмъ и другимъ. Человѣкъ скупъ, стяжателенъ, ему жаль терять, онъ завистливъ, ему хотѣлось бы всего—всего. Но силъ нѣтъ на обладанье, нельзя же въ самомъ дѣлѣ быть разомъ средневѣковымъ монахомъ и Алкивіадомъ, кастильянскимъ грандомъ въ шляпѣ и якобинцемъ въ красной шапкѣ; такъ какъ нельзя, переѣзжая изъ города въ деревню, захватить съ собой всѣ городскія удобства, — довольно того, что въ городѣ вмѣстѣ съ ними останется и зараженный воздухъ, и пыль, и противная толкотня.

Не все новое и свѣтлое изъ жизни Эллады перешло въ Римъ, не все изящное античнаго міра осталось въ христіанствѣ и не все граціозное аристократической Европы сохранилось въ мѣщанской. И въ этомъ лежитъ великая печать личной самобытности каждой эпохи и ея художественная замкнутость.

Природа постоянно идетъ этими путями—развиваясь въ разныя стороны лучами, діагоналями, кривыми. Молча благоухаетъ роза, славно поетъ соловей, но совсѣмъ не пахнетъ. Не смѣйтесь надъ этимъ примѣромъ. Дѣло въ томъ, что все *удавшееся* въ природѣ—сохраняетъ свои особенности съ упорнымъ консерватизмомъ побѣдителя, поддерживая свои династическіе интересы и предоставляя новымъ parvenus доискиваться иныхъ завоеваній и формъ. На этомъ-то и основано страшное множество видовъ и родовъ. Въ природѣ нѣтъ табели о рангахъ, ни перевода изъ класса въ

классъ, иначе давнымъ давно всѣ животныя дослужились бы до человѣческихъ чиновъ, и на островѣ Цейлонѣ или на берегахъ Евфрата цвѣла бы демократическая и соціальная Атлантида.

Иными словами—переходъ отъ менѣе совершенныхъ видовъ къ болѣе совершеннымъ вообще не дѣлается развитіемъ *наименѣе несовершеннаго* вида въ болѣе развитой. *Онъ и такъ хорошъ*, и такъ дорого стоилъ, пусть же онъ и остается самъ по себѣ, въ то время, какъ ряды другихъ попытокъ на право, на лѣво, со всѣхъ сторонъ тянутся, гибнутъ, отстаютъ, *обходятъ*, *забѣгаютъ* существующій видъ.

Каждый видъ представляетъ поступательное развитіе съ одной стороны, и съ другой предѣлъ, т. е. препятствія, на которыя онъ натолкнулся съ *стремленіемъ ихъ перейти*. Это безсилье нисколько не мѣшаетъ другому виду, можетъ бѣднѣе организованному въ чемъ нибудь иномъ, перешагнуть именно *это* препятствіе.

— Мы понимаемъ, но гдѣ же предѣлъ европейскаго развитія, гдѣ препятствія, за которыя оно запнулось?

Во первыхъ въ сознаніи необходимости кореннаго переворота, въ сознаніи нелѣпости государственной, юридической и экономической жизни, отставшей вѣками отъ общественной и научной. Во вторыхъ *въ немогутъ, не только совершить этотъ соціальный переворотъ, но даже формулировать его.*

Вотъ на чемъ оборвались реформаціи и революціи, республики и конституціи, вотъ порогъ, за который запнулся смѣлый бѣгъ Запада, и смутившись бросился въ цезаризмъ, націонализмъ и въ тупой смѣхъ надъ соціальными вопросами, напоминающій намъ тупой смѣхъ римскихъ патриціевъ и доктринеровъ надъ Назареями. Плакать надобно, а не смѣяться. Мы ждали четырнадцать лѣтъ. Слово, если и было сковано, мысль не была скована, да и есть слова и мысли, которыхъ не скуешь ни смертію на Голгоѳѣ, ни погребеніемъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ. Гдѣ это слово? Гдѣ эта мысль? Что прибавилось къ торжественному протесту противъ общественной лжи и неправды, сдѣланному Сенъ-Симонистами и ихъ товарищами, что къ грозному обличенію, раздавшемуся средь кровавой бури Іюньскихъ дней?

Соціализмъ стоитъ тѣмъ-же гнѣвнымъ Даніиломъ, указывая страшныя, огненныя буквы, которыхъ полнаго смысла мы не знаемъ, которыя пророчатъ бѣду и молчатъ объ искупленіи...

Вотъ предѣлъ...

IV

Но предѣлъ-ли это для насъ, пріемышей, пасынковъ западной цивилизаціи?

Прошедшее Запада обязываетъ *его — не насъ*. Его живыя силы скованы круговой порукой съ тѣнями прошедшаго, съ тѣнями дорогими ему, не намъ. Свѣтлыя, человѣческія стороны современной европейской жизни выросли въ тѣсныхъ средневѣковыхъ переулкахъ и учрежденіяхъ; онѣ срослись съ старыми доспѣха

— онъ не поѣхалъ. Николай велѣлъ его судить. Сенатъ лишилъ его офицерскаго чина, дворянства и пр. Онъ уѣхалъ въ Парижъ.

Тамъ въ 1847 году, 29 Ноября, Бакунинъ произнесъ свою извѣстную рѣчь на польской трибунѣ, въ день годовщины варшавскаго возстанія. Въ первый разъ увидѣли русскаго, открыто протягивавшаго братскую руку полякамъ и всенародно отрекавшагося отъ петербургскаго правительства. Вліяніе его рѣчи было огромно. Гизо его выслалъ изъ Парижа, но едва Бакунинъ осмотрѣлся въ Брюсселѣ, Парижъ въ свою очередь выслалъ Гизо и Людвика Филиппа изъ Франціи. Бакунинъ возвратился въ Парижъ и бросился съ увлеченіемъ въ раскрывшуюся тогда политическую жизнь. Ламартино-Марастовское правительство косо смотрѣло на людей, принявшихъ республику за слишкомъ серьозную правду, и охотно сплавляло ихъ на право и на лѣво, лишь бы вонъ изъ Франціи. Оно обрадооалось, что Бакунинъ уѣхалъ. Въ затишьи славянскаго міра закипала тогда новая жизнь, въ Бреславлѣ собирался польско-славянскій съѣздъ. На немъ и еще болѣе на прагскомъ конгрессѣ Бакунинъ уже является сильнымъ дѣятелемъ, тамъ написалъ онъ свою соціально-славянскую программу, которую до сихъ поръ Чехи не забыли, и дѣйствовалъ за одно съ славянами *) до тѣхъ поръ, пока Виндишгрецъ не разогналъ конгресса австрійскими пушками. Оставивъ Прагу, Бакунинъ сдѣлалъ опытъ въ противность Палацкому соединить славянскихъ демократовъ съ Венгерцами, искавшими независимости, и съ нѣмецкими революціонерами. Союзъ этотъ былъ составленъ съ многими поляками, на него отъ венгровъ пріѣзжалъ графъ Л. Телеки. Бакунинъ, желая скрѣпить собственнымъ примѣромъ союзъ, принялъ главное управленіе въ защитѣ Дрездена, тамъ онъ покрылъ себя славой, которую никогда не отрицали его враги; послѣ взятія Дрездена Пруссаками, Бакунинъ отступилъ. Въ Хемницѣ онъ былъ предательски схваченъ съ двумя изъ своихъ товарищей и отправленъ въ Кенигштейнъ. Отсюда начинается его длинный мартирологъ.

Замѣтимъ мимоходомъ, что Бакунинъ такъ страшно заплатилъ за благородную ошибку, за несбыточную мечту общаго дѣйствія съ нѣмецкими демократами. У большей части нѣмцевъ слишкомъ развита племенная ненависть къ намъ. Мы знаемъ, что нѣмецкій общественный дѣятель работаетъ въ пользу нѣмецкаго народа, не удивляемся этому и уважаемъ его. Но нѣмецъ ждетъ отъ русскаго и славянина, чтобъ онъ презиралъ свой народъ и несъ бы нѣмецкую цивилизацію своимъ дикарямъ, забывая, что у насъ на это, сверхъ Петербурга, есть Кур-Эстъ и Лифляндія, а у Чеховъ и Западныхъ Славянъ Австрія.

Въ то самое время какъ Саксонскій король держалъ въ рукахъ перо, чтобъ подписать смертный приговоръ Бакунину, Гейбнеру

*) На конгрессѣ въ Прагѣ Бакунинъ не былъ одинъ русскій, съ нимъ вмѣстѣ участвовалъ въ немъ одинъ староверческой инокъ.

и Реккелю, нѣмецкіе публицисты писали въ журналахъ, что Бакунинъ русскій агентъ, т. е. агентъ русскаго правительства. Король пріостановился и измѣнилъ плаху на вѣчную тюрьму, Umwalzungsmänner'ы не остановились и года черезъ два-три повторяли свои обвиненія.

Въ Маѣ 1850, Бакунинъ былъ отправленъ скованный въ Прагу. Австрійское правительство хотѣло отъ осужденннаго *на вѣчную тюрьму* узнать тайны славянскаго движенія. Бакунинъ отказался отвѣчать, его около года оставили въ Грачинѣ, ничего не спрашивая. Въ Мартѣ 1851, испугавшись слуха, что Бакунина хотятъ освободить, его перевели въ Ольмюцъ, тамъ онъ просидѣлъ шесть мѣсяцевъ, *прикованный къ стѣнѣ*. За тѣмъ австрійское правительство выдало его русскому. Носился слухъ, что Бакунина, привезеннаго скованнымъ по рукамъ и ногамъ на русскую границу, расковали. Такихъ нѣжностей Николай не дѣлалъ. Австрійскія цѣпи были сняты съ него, какъ имперская собственность, и замѣнены отечественными, вдвое тяжелѣйшими желѣзами.

Три томныхъ года просидѣлъ Бакунинъ въ Алесѣевскомъ равелинѣ и вышелъ изъ него въ 1854 году для того, чтобъ ѣхать въ Шлиссельбургъ: Николай боялся какъ-бы Чарлисъ Непиръ не освободилъ узника...

Воцарился Александръ II, разныя амнистіи, половинныя и неловкія были обнародованы. О Бакунинѣ ни слова. Государь его самъ вымаралъ изъ списка; мать Бакунина улучила минуту и подала просьбу государю. Онъ принялъ ее и благодушно сказалъ: „tant que votre fils vivra, madame, il ne sera jamais libre". Въ 1857 году Бакунинъ былъ отправленъ на житье въ восточную Сибирь.

Въ 1860 былъ сдѣланъ еще разъ опытъ выпросить Бакунину разрѣшеніе переѣхать въ Россію; государь снова отказалъ, прибавивъ, указывая на его письмо, *писанное* къ Николаю *въ 1851*, „я не вижу въ немъ раскаянія!". Но не разрѣшая ему возвратиться, государь даровалъ ему право *вступить въ службу канцелярскимъ чиновникомъ 4-го разряда*. Это какая-то особенная категорія писцовъ, выдуманная для нѣжинскихъ грековъ и цыганъ. Бакунинъ не нашелъ себя способнымъ воспользоваться этой царской милостью 4-го разряда.

Ему, послѣ восьмилѣтнихъ казематъ и четырехлѣтней ссылки, предстояла послѣ отказа мрачная анфилада лѣтъ въ Сибири.

Трепетъ новой жизни пробѣгалъ по Россіи: разбитая Австрія отступила, итальянское знамя развѣвалось въ Миланѣ. Бакунинъ разсказывалъ намъ жадность, съ которой онъ въ Иркутскѣ слѣдилъ за Гарибальди, за полуостровомъ, выступавшимъ ярче и ярче на свѣтъ свободы. Обречь себя на эту роль страдательнаго зрителя въ дальней ссылкѣ, въ 47 лѣтъ отъ роду и чувствуя полный пульсъ, было тяжко. Довольно заплатилъ онъ за молодыя увлеченья, за вѣру въ возможность союза съ нѣмецкими демократами... Онъ рѣшился тайно оставить Сибирь.

Подъ предлогомъ торговаго дѣла онъ пробрался на Амуръ, сѣлъ на американской клиперъ и приплылъ въ Юкатану въ Японіи. Чуть-ли онъ не первый соціалистъ, первый политическій изгнанникъ, искавшій убѣжища у Японцевъ.

Изъ Японіи онъ приплылъ въ С. Франциско и перебрался черезъ панамской перешеекъ въ Сѣверные Штаты. Изъ Нью-Іорка онъ 26 Декабря приплылъ въ Ливерпуль и 27 былъ встрѣченъ нами въ Лондонѣ.

Но чтобъ ничего не доставало, человѣкъ этотъ, выходя послѣ 14 лѣтъ страданій, со знаками отъ цѣпей, которые не прошли еще, утомленный путемъ вокругъ свѣта, не только былъ встрѣченъ старыми друзьями, но и обвиненіями одной радикальной нѣмецкой газеты, напоминавшей, что онъ ein verdächtiger Character.

А впрочемъ пожалуй нѣмцы и правы! Бакунинъ и мы агенты *русскаго народа*, мы работаемъ для него, ему принадлежатъ наши силы, наша вѣра, и никакому народу развѣ его. Жаль только, что нѣмцы забываютъ, что петербургское правительство нѣмецкое.

На первый случай довольно. Заключимъ наши строки искреннимъ желаніемъ, чтобъ пророчество, сдѣланное императоромъ Александромъ крестьянамъ, *что имъ не будетъ другой воли*, также быстро не сбылось, какъ его пророчество о нашемъ другѣ Бакунинѣ.

ГОДОВЩИНА 14 ДЕКАБРЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Утромъ 14 Декабря (26) прочли передъ сытнымъ рынкомъ приговоръ *Михайлову*, онъ осужденъ *въ рудники на 6 лѣтъ*, и государь утвердилъ каторжную работу, за нѣсколько независимыхъ словъ... На сколько ступеней сошелъ онъ внизъ къ Николаю съ тѣхъ поръ, какъ, краснѣя, велѣлъ выпустить изъ крѣпости невинно посаженнаго туда Огрызку? Сенаторъ Бутурлинъ хотѣлъ еще полнѣе отпраздновать годовщину, онъ предлагалъ Михайлова повѣсить.

Шесть лѣтъ каторжной работы за то, что изъ груди, переполненной любви и негодованія, вырвалась страстная рѣчь... а впрочемъ — лишь-бы физическія силы выдержали.

Иди-же съ упованіемъ, молодой страдалецъ, въ могилу рудниковъ, въ подземной ночи ихъ, между ударами молота и скрипомъ тачки ты еще ближе услышишь стонъ народа русскаго, а иной разъ долетятъ до тебя и голоса твоихъ друзей—ихъ благословенье, ихъ слезы, ихъ любовь и гордость тобою. А тамъ... мало ли, что можетъ быть въ шесть лѣтъ.

Колоколъ № 121.
1 Февраля 1862 года.

МЯСО ОСВОБОЖДЕНІЯ.

Отъ русскихъ доктринеровъ и прогрессивныхъ консерваторовъ,

отъ очень молодыхъ людей, ищущихъ для скорости авторитетовъ и отъ очень лѣнивыхъ людей, любящихъ готовый хлѣбъ, слыхали мы много разъ упрекъ, зачѣмъ вмѣсто разбора существующаго, у насъ нѣтъ программы будущаго, зачѣмъ мы порицаемъ то, что есть, а не поучаемъ тому, что должно быть. Словомъ, зачѣмъ мы рушимъ, не созидая.... Косвенно мы отвѣчали нѣсколько разъ на эти нападки и вовсе не готовились говорить объ нихъ теперь. Но упреки переѣхали за-границу. Аугсбургская, подслѣпая, сѣдая старушенка, съ качающейся головой и вѣнскимъ бѣльмомъ на глазу, начала ворчать о томъ-же; за ней близорукій листъ, скроенный нѣмецкими работниками, по французскимъ выкройкамъ, зеленѣющій близь лабораторіи, въ которой Iohann Maria Farina троитъ для вселенной свою воду — сталъ намъ читать выговоры; а тутъ, черезъ *естественную границу* Франціи, вѣсти дошли до Парижа и тамъ подхватили кельнскую воду съ аугсбургскимъ букетомъ и давай насъ кропить да поливать, поливать да приговаривать, что „мы нравственно ломая старыя императорскія учрежденія и нападая на нихъ, не предлагаемъ никакихъ новыхъ порядковъ, которымъ-бы народъ повиновался и уважалъ-бы и пр.“*).

Особеннаго вниманія мы и на это не обратили-бы, не потому чтобъ мы не дорожили мнѣніемъ на Западѣ, но потому, что мы убѣдились, что журналисты не знаютъ ничего о Россіи и не хотятъ серьезно знать,**) къ томужъ у насъ есть интересы гораздо ближе, роднѣе намъ, чѣмъ желаніе оправдываться передъ ними.

Когда еще намъ были новы
Парижъ и Кельнъ и шумъ дубровы,

въ которой общественное мнѣніе шелеститъ печатными листами —отвѣчали и мы, воображая, что наше призваніе поучать Россію.

Helas, ce temps n'est plus,
Il reviendra, peut être,
En attendent...

мы будемъ говорить съ своими, и для нихъ теперь начинается рѣчь. Путешествующій упрекъ, скоро воротится изъ Парижа домой, удесятеренной силой верженія. Мы видали, какъ гордо возвращается домой изъ Англіи, отправляемая туда изъ Архангельска русская щетина — и продается уже въ четверо дороже. Въ отклоненіе такого усиленнаго рикошетнаго удара, мы рѣшились сказать нѣсколько словъ.

Упрекъ этотъ во-первыхъ, несправедливъ, передъ вами два то-

*) Siecle, 8 Janv. 1862.

**) Мы говоримъ всего больше о журналахъ псевдо-республиканской декламаціи, правительственныхъ демократій, нѣмецкой руссобоязни... Въ серіозныхъ періодическихъ изданіяхъ бываютъ замѣчательныя статьи о Россіи. Не далѣе какъ во 2-ой январской книжкѣ Revue des deux Mondes помѣщена очень интересная статья Charles de Mazade: La Russie sous le regne d'Alexandre II. Мы поговоримъ объ ней въ одномъ изъ слѣдующихъ листовъ.

ма *За Пять Лѣтъ*, передъ вами *Колоколъ* за прошлый годъ, въ нихъ нѣтъ законодательныхъ диссертацій, нѣтъ доктринерской схоластики — но вы найдете въ нихъ наше мнѣніе о томъ: что нужно народу, войску, помѣщикамъ и пр.

— Да нѣтъ, это все не то. Отчего вы *просто* не предлагаете проэктъ цѣлаго уложенія, ну по крайней мѣрѣ Code penal, уголовный сводъ.

—Душей-бы рады, да незнаемъ ни того, ни другаго.

—Ну, а незнаете такъ и не критикуйте существующаго, нельзя же шестидесяти милліонамъ жить безъ учрежденій, безъ суда, въ ожиданіи будущихъ благъ.

—И то... вотъ поляки въ XVIII столѣтіи дѣйствительно хорошо догадались, дома неурядица, согласиться не могутъ, они взяли да и пошли къ Жанъ Жаку Руссо: потрудитесь молъ написать намъ конституцію. Ну Жанъ Жакъ и написалъ.

— И что же?

— То же, что поляки *прочитали*, т. е. не всѣ поляки, а тѣ, которые знали по французски.

...Нѣтъ, господа, полно намъ изъ себя представлять громовержцевъ и Моисеевъ, возвѣщающихъ молніей и трескомъ волю божью, полно представлять пастырей мудрыхъ стадъ людскихъ! Метода— *просвѣщеній* и *освобожденій*, придуманныхъ за спиною народа, и втѣсняющихъ ему *его неотъемлемыя* права и *его* благосостояніе — топоромъ и кнутомъ, исчерпаны Петромъ I и французскимъ терроромъ.

Манна не падаетъ съ неба—это дѣтская сказка—она выростаетъ изъ почвы; вызывайте ее, умѣйте слушать, какъ ростетъ трава и не учите ее *колосу*, а помогите ему развиться, отстраните препятствія, вотъ все, что можетъ сдѣлать человѣкъ, и это за глаза довольно. Скромнѣе надо быть, полно воспитывать цѣлые народы, полно кичиться *просвѣщеннымъ* умомъ и абстрактнымъ пониманіемъ. Много сдѣлала Франція своими указами равенства и свободы, много Германія апріоричнымъ построеніемъ государства и доктринерской догматикой права?

Намъ досталось печальное богатство, но богатство; горькимъ, чужимъ опытомъ — мы богаты, тяжело нажитой мудростью старшихъ, ихъ бѣдами — мы богаты. Это юбилейная выгода бѣдныхъ народовъ, вступающихъ послѣ жнитва на историческую ниву. Въ этомъ вся сущность преемственно-круговаго поученія народовъ, называемаго совершенствованіемъ. Не спасетъ никакой опытъ и никакая мудрость вступающіе въ полную жизнь народы отъ увлеченій, отъ отклоненій, отъ всякихъ глупостей—но пусть же глупости эти будутъ *не тѣ же самыя*; если намъ суждено разбиться объ утесъ, такъ не о тотъ-же, о который разбился цѣлый рядъ шкунъ, барокъ, линейныхъ кораблей.

Общественный договоръ, объявленіе человѣческихъ правъ, уложеніе III года, VII года, опыты всеобщаго гражданскаго устройства и проч. имѣютъ совсѣмъ иное историческое значеніе, чѣмъ

отвлеченная схоластика нѣмцевъ. Но вовсе не въ практическомъ примѣненіи. Сознаніе людское отрѣшалось ими отъ религіозно-обязательной, несвободной традиціи, отъ роковаго, безапелляціоннаго государственнаго быта. Значеніе Contrat social только и было важно какъ великій фактъ освобожденія мысли, совѣсти въ сознаніи человѣческомъ, какъ утренняя заря, освѣтившая вершины. . . Человѣку, видящему свѣтъ, страшно тяжело оставить другихъ во тьмѣ. Проповѣль тиха, изученіе медленно, а власть быстра, и передовые люди, съ полной любовью и вѣрой, *приказали* другимъ видѣть въ темнотѣ, утѣшаясь, какъ наши предки, тѣмъ, что „поживутъ вмѣстѣ — слюбятся". Великая основная мысль революціи, не смотря ни на философскія опредѣленія, ни на римско-спартанскіе орнаменты своихъ декретовъ, быстро перегнула въ полицію, инквизицію, терроръ; желая *возстановить* свободу народа и признать его совершеннолѣтіе, для скорости обращались съ нимъ какъ съ матеріаломъ благосостоянія, какъ съ *мясомъ освобожденія*, chaire au bonheur public, въ родѣ наполеоновскаго пушечнаго мяса.

А тутъ по несчастію оказалось, что у народа именно мяса-то на костяхъ мало, да до того мало, что онъ на всѣ реформы, революціи, объявленія правъ отвѣчалъ:

Голодно, странничекъ, голодно!
Холодно, родименькой, холодно!

А вѣдь законодатели не только ломали, но и строили, не только обличали, но и поучали, да мало, что поучали, заставляли учиться и, что можетъ всего печальнѣе въ бо́льшихъ случаяхъ, они были правы...

За собственнымъ шумомъ и собственными рѣчами добрые квартальные правъ человѣческихъ и Петры I — свободы, равенства и братства долго не слыхали, что говоритъ *государь-народъ;* потомъ разсердились за навуходоносоровскій матеріализмъ его... Однако и тутъ не спросили его въ чемъ дѣло.

Они были убѣждены, что лучше народъ поучать, чѣмъ учиться у него, что лучше строить, чѣмъ ломать, что лучше писать у себя въ кабинетѣ счетъ безъ хозяина, чѣмъ его спрашивать у него... Не только Сіесъ и Сперанскій писали всякаго рода блѣдныя конституціи, но нѣмцы-то, нѣмцы что́ ихъ написали и что́ возвели въ науку!? А пропасть между ними и народомъ не только не уменьшалась, но увеличивалась, и это вслѣдствіе трагической, неотвратимой необходимости. Всякій успѣхъ, всякій шагъ впередъ увлекаетъ свѣтлый берегъ, онъ двигается быстрѣе, быстрѣе и становится дальше и дальше отъ темнаго берега и темнаго люда. Чѣмъ тутъ наполнишь пропасть — какимъ доктринерскимъ схоластицизмомъ тутъ поможешь, какая догматическая регламентація, какое академическое упражненіе хватитъ черезъ нее? Сдѣланъ былъ опытъ, не удался и опять таки потому, что соціалисты учили прежде чѣмъ знали, устроивали фаланстеры, не отыскавъ нигдѣ такой породы людей, которая хотѣла бы жить въ рабочихъ домахъ.

И вотъ изъ этой-то пропасти выходятъ, выплываютъ гильотины, красныя шапки на пикахъ, Наполеоны, арміи, легитимисты, орлеанисты, другая республика и наконецъ *Іюньскіе дни*. Дни, ничего не создавшіе, ничего не уложившіе, дни, въ которые самые лучшіе и самые несчастные изъ народа, гонимые нуждой и отчаяніемъ, вышли безумно, безъ плана, безъ цѣли, отъ отчаянія и сказали своимъ опекунамъ законодателямъ и воспитателямъ: *Мы васъ не знаемъ!* Мы были голодны — вы намъ дали парламентскую болтовню, мы были наги — вы насъ послали на границу убивать другихъ голодныхъ и нагихъ, мы просили совѣта, мы просили научить насъ, какъ выйти изъ нашего положенія — вы научили насъ риторикѣ; мы возвращаемся въ тьму сырыхъ подваловъ нашихъ, часть изъ насъ ляжетъ въ неровномъ бою — но прежде мы *вамъ*, книжники революціи, скажемъ громко и ясно:

Народъ не съ вами!

— —

ЮБИЛЕЙ.

...Юбилей Княжевича—Юбилей Вяземскаго—Юбилей Адлерберга — Юбилей Сухозанета и, наконецъ, Юбилей Россіи! Какъ ни смѣшна сама-по-себѣ мысль праздновать день въ день зачатіе какого-нибудь государства, особенно когда это зачатіе совершилось въ такой тиши и въ такой глуши, что знающіе люди спорятъ до сихъ поръ — кто былъ и кто не былъ отцомъ;*) но нападать на это мы не станемъ, какъ на дѣло невинное. Можно было-бы возразить, что всякаго рода излишнія траты теперь неумѣстны, но взявъ въ соображеніе, что юбилей — какого-нибудь безполезнѣйшаго, ничтожнѣйшаго человѣка, котораго всѣ заслуги состоятъ à la Maniloff въ нѣжной дружбѣ къ Николаю, стоитъ дороже десяти памятниковъ, мы готовы примириться и съ тратой. Насъ обижаетъ продолженіе лжи въ прошедшемъ, насъ обижаютъ барельефные обманы. Есть что-то малодушное и тупоумное въ преднамѣренномъ искаженіи исторіи—по высочайшему повелѣнію. Скрылъ ли Николай участіе Ермолова и Толя въ Бородинскомъ сраженіи тѣмъ, что выпустилъ на памятникѣ ихъ имена, скрылъ ли онъ отъ потомства, что Варшаву взялъ Толь, а не Паскевичъ? Для чего же это возведеніе во *временно-великіе люди* — Ртищева, Бецкаго, Потемкина, Кочубея, Воронцова, Паскевича, Лазарева, Корнилова, Нахимова и пр. и пр.

Мы ужъ не говоримъ о толпѣ всякаго рода архіереевъ, названныхъ *просвѣтителями*, и которыхъ каменосѣчныя обличія явятся въ числѣ историческихъ знаменитостей. Въ ихъ числѣ есть лица, о которыхъ никто не слыхивалъ, Гурій, Варсонофій; и есть такіе, о которыхъ мы привыкли слышать съ дурной стороны, въ родѣ интриганта Ѳеофана Прокоповича.

---

*) Пользуясь вѣроятно тѣмъ, что у насъ la recherche de la paternité не воспрещена, какъ въ французскомъ кодексѣ.

Если дѣло сдѣлано и каменосѣчныя обличія заказаны, то мы предлагаемъ дѣлать барельефы для *временно-великихъ людей* на подвижныхъ дощечкахъ, такъ чтобъ по мѣрѣ надобности и отшествія къ праотцамъ новыхъ знаменитостей замѣнять ихъ.

Тихона Задонскаго постника — *Адлербергомъ* отцомъ.

Митрофана Воронежскаго дѣвственника — *Барятинскимъ.*

Бездарнѣйшаго изъ военныхъ *Паскевича* — еще болѣе бездарнымъ изъ статскихъ *Панинымъ.*

Гурія и Варсонофія — *Путятинымъ и Аскочинскимъ.*

Ртищева, устроившаго въ 1648 году общество переводовъ съ греческаго — *Похитоновымъ*, устроившимъ въ 1858 году общество переводовъ со всѣхъ языковъ.

Лѣтъ черезъ пять и этихъ выбросить и вставить новыя дощечки... да такъ и мѣнять до осѣдлости мнѣній и утвержденія законной мѣры для великихъ людей, тогда народъ русскій въ свою очередь прокричитъ:

Лобъ или Затылокъ! *)

Колоколъ № 125.
15 Марта 1862 года.

— БЕЗЪ МАСОКЪ. -- „Я публикую мой проэктъ подъ своимъ именемъ, потому что думаю, что пора намъ перестать *бояться*... потому что, желая, чтобъ съ нами перестали обращаться какъ съ дѣтьми, мы должны перестать дѣйствовать по дѣтски, потому что тотъ, кто хочетъ правды и справедливости, долженъ умѣть безбоязненно стоять за нихъ."

Когда мы прочли эти слова, исполненныя героической простоты, *Н. Серно-Соловьевича* въ предисловіи къ его замѣчательной брошюрѣ о *крестьянскомъ дѣлѣ*, изданной въ Берлинѣ, мы были увѣрены, что отъ нихъ начнется новая эпоха заграничнаго русскаго слова, эпоха съ открытымъ забраломъ. Это огромный шагъ впередъ. И вотъ *А. Кошелевъ* издаетъ въ Лейпцигѣ свое рѣшеніе земскаго вопроса. Не можемъ себѣ отказать въ удовольствіи передать нашимъ читателямъ его предисловіе**).

---

*) Форма памятника намъ очень польстила, огромный *Колоколъ*, поставленный такъ, чтобъ звонить нельзя было. Все-же колоколъ! Но какой? Вѣчевой-ли, Новгородскій, или нашъ Лондонскій? Намъ кажется, что ни тотъ, ни другой, а колоколъ очень *сладкій*. его облѣпило видимо не видимо всякихъ фигурокъ, въ томъ числѣ одна приклеилась крыльями и такъ пламенно рвется прочь, что даже на головѣ загорѣлась какая-то плошка. *(Зри Спб. Мѣсячословъ на 1862 годъ).*

**) Далѣе слѣдуетъ предисловіе брошюры Кошелева. Въ послѣднее время она настолько извѣстна, что счелъ излишнимъ новую перепечатку. *Л. Т.*

Колоколъ № 130.
22 Апрѣля 1862 года.

СЕНАТОРАМЪ И ТАЙНЫМЪ СОВѢТНИКАМЪ ЖУРНАЛИЗМА.

Studiate la matamatica, e lasciate le donne!

Совѣтъ, данный Ж. Ж. Руссо маленькой итальянкой.

Вы, господа, не призваны къ *живой жизни*, вамъ не понятенъ ея странный, нестройный голосъ; вы слишкомъ хорошо знаете генералъ-басъ, чтобы вынести ея дисонансы, и умно дѣлаете, что не бросаетесь въ море, закипающее около васъ; но зачѣмъ же вы другихъ смущаете? Книжники почти всегда, вездѣ держатся въ сторонѣ отъ треволненій житейскихъ; не они дѣлаютъ исторію, они ее только пишутъ и являются послѣ битвы съ своимъ фонаремъ осмотрѣть раны падшихъ, сдѣлать опись покинутаго имущества и мудро разсудить — отчего побитые побиты, а побѣдители взяли верхъ, будущимъ поколѣніямъ въ наученіе, современнымъ въ назиданіе. Исторія, это—Мольеровъ мѣщанинъ, говорящій живо, краснорѣчиво иногда, но не знающій, что онъ говоритъ прозой; ученые историки не говорятъ въ этомъ шумѣ и гамѣ, похожемъ на извѣстную рыночную сцену въ „Севильскомъ Цирюльникѣ", но знаютъ, что Журденъ говорилъ прозой. Все это въ порядкѣ вещей, но надобно честь знать. Нельзя же позволить книжникамъ, какими бы сановниками они ни были, сбивать съ толку своей школьной контраверзой и общественное мнѣніе, и людей, идущихъ на жизнь и смерть, людей, готовыхъ на казематы и Сибирь; нельзя имъ позволить праздно таскаться по лагерю валленштейновымъ капуциномъ, нагоняя схоластической дичью тоску и недовѣріе на ратниковъ. Подъ руку человѣку, сосредоточенному на одномъ дѣйствіи, можетъ говорить или личный врагъ его, или врагъ дѣла —или человѣкъ до того занятый собой, что не въ состояніи думать о другомъ. Крикните Блондину, когда онъ середь каната, крикните ему изъ чистѣйшаго желанія показать, что вы знаете лучше его статику, а Блондинъ-то все таки упадетъ.

Такой силы наши тузы журнализма не имѣютъ, но вредъ, приносимый ими значителенъ. Въ личной жизни человѣка и въ извѣстныя эпохи народной жизни есть кризисы и переломы, есть торжественныя минуты усилій и увлеченій, въ которыя нервы до того подняты и натянуты, что неумѣстно сказанное слово разстроиваетъ гармонію, разрушаетъ строй, бросаетъ подъ ноги полѣно.

— Но такое ли время теперь въ Россіи?

— Нѣтъ.... этого вопроса не сдѣлаетъ, не можетъ сдѣлать *ни одинъ русскій* въ самомъ дѣлѣ! Каждый внутри своей груди, въ своей крови, въ волненіи, въ которомъ онъ живетъ, въ мучительномъ ожиданіи чувствуетъ, знаетъ—мыслью, любовью, ненавистью знаетъ. Замерзшій мозгъ на панинской вершинѣ и изсушенные, подъ бѣлымъ клобукомъ, мозги Филарета *знаютъ и боятся*. Неу-

жели же найдутся—не Панины, не нѣмцы, а литераторы, журналисты, публицисты до того *выучившіеся вонъ* изъ всякаго сочувствія съ поднимающей ихъ волной, что они не могутъ изъ за случайностей, брызговъ, шероховатостей, безпорядка морскихъ зыбей—разглядѣть величавый потокъ, захватившій и влекущій все: волостное правленіе, расколъ, университетъ, крестьянъ, дворянъ, суды, дворцы, царя?

Нѣтъ, это невозможно, до этого они не забыли родину. Вѣдь и Филарету съ дѣтства надобно было изуродовать душу, надобно было семьдесятъ лѣтъ отучать его отъ всего живаго, естественнаго, радостнаго, скоромнаго, чтобъ довести *его* — николаевскаго іерарха — до слезнаго сѣтованія и духовной защиты тѣлеснаго стяганія.

Зачѣмъ же берутъ на себя люди скучную до безконечности роль: резонеровъ старыхъ комедій, trouble fête, мухъ въ бокалѣ съ виномъ, тяжелыхъ гостей въ дружеской бесѣдѣ?

Зачѣмъ эта натянутая брюзгливость, эта начальническая раздражительность? Зачѣмъ они такъ распускаются — наши почетные попечители общественнаго мнѣнія, наши Гизо Леонтіевскаго переулка и гнейстущіе Кузени? Зачѣмъ это важничаніе нѣмецкихъ гувернеровъ, свысока смотрящихъ на молодежь въ пансіонахъ, потому что она состоитъ изъ русскихъ?

Добрѣйшіе педели нашего просвѣщенія, оберъ-нахъ-шнейдеры нѣмецкой науки, подумайте, нельзя же вносить всѣхъ привычекъ и всѣхъ пріемовъ школьнаго учителя въ окружающую васъ жизнь. Знаемъ мы, что каѳедральныя занятія невольно передаютъ человѣку что-то дидактическое и назидательное, поучающее съ властью и внушающее со строгостью въ формахъ и рѣчахъ. Купаясь въ рѣкѣ, можно узнать учительствующаго ученаго такъ-же легко, какъ военнаго фрунтовика, статскаго чиновника и соединяющаго въ себѣ обѣ службы—военнаго и партикулярнаго портнаго.

Учитель по должности, потому, что онъ сидитъ на каѳедрѣ, потому, что ему платятъ за это, долженъ не говорить, *а поучать*, долженъ больше знать чѣмъ ученики и не только не скрывать, что больше знаетъ ихъ, но застращивать своимъ непогрѣшительнымъ вѣденіемъ и безаппеляціоннымъ авторитетомъ.

Внѣ школы этого тона вынести нельзя, особенно когда къ нему примѣшивается снисходительное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сладострастное сознаніе своего превосходства. Этотъ тонъ рѣшительно больше возбуждаетъ отпора и озлобленія, чѣмъ всякая желчевая выходка и всякая злая иронія. Тамъ предполагается, что человѣкъ сердится, что онъ раздраженъ, можетъ быть страдаетъ, можетъ ему больно—это примиряетъ. А тутъ совсѣмъ напротивъ, въ каждомъ словѣ сквозитъ спокойное, олимпическое чувство самодовольства, готовое даже перегнуться въ скромность схимника, считающаго себя ниже червя и выше фельдмаршала. Это какое-то платоническое наслажденіе самимъ собою, эпикурейское душенеистовство, глядящее съ сожалѣніемъ на насъ смертныхъ, съ аттическою

солью шпыняющее надъ милліонами мелюзги, готовое и жалѣть ее, и журить, и поплакать объ ней, какъ плакалъ умирающій Неронъ, думая — какого тенора лишится въ немъ Римская имперія.

Къ этому fond присоединяется еще берлинское нѣмцо-поклонство тридцатыхъ годовъ, вердеревскихъ временъ и фатство графа Нулина, *патріотически* радующагося, „что умы у насъ ужъ развиваться начинаютъ“ и душевно желающаго, чтобъ à la fin des fins и мы „просвѣтились“.

„Если со временемъ“—внушаютъ сенаторы—„разовьется у насъ политическая жизнь и образуются партіи“, тогда мы съ вами поговоримъ. До тѣхъ поръ извините, великъ инструментъ, не по вашему мозгу.

„У насъ ничего нѣтъ похожаго на политическую жизнь. У насъ есть слова и нѣтъ дѣла... Наши кружки, наши партіи, ихъ борьба и ихъ сдѣлки, ихъ статьи и ихъ журналы — все это явленія воздушныя, все это чистѣйшій обманъ, призракъ, пустота“.

„Что пріятнѣе нашей жизни? Постоянная вѣчная игра! *Прежде* (вѣроятно во времена Станкевича, Бѣлинскаго. Бакунина), *играли* въ философскія партіи, теперь *играютъ* въ политическія партіи“ (Михайловъ? Обручевъ? высланные студенты? 13 мировыхъ посредниковъ въ зазематахъ?... Впрочемъ и прежде были шалуны. 14 Декабря *доигрались* они до висѣлицы...)

„Мы никогда не искали чести принадлежать къ какой нибудь изъ *нашихъ* партій, не только къ этимъ *шутовскимъ* партіямъ, но и къ партіямъ *серьознымъ, еслибы онѣ когда нибудь образовались у насъ, мы не могли бы примкнуть*“.

И это было сказано въ 1862, когда Михайловъ, скованный, шелъ въ Иркутскъ, когда дворянство нѣсколькихъ губерній порывается сбросить съ себя сословныя привиллегіи, когда весь народъ русской заявилъ еще разъ, спокойно и твердо, свое право на землю, когда московскіе профессора подали свой благородный протестъ противъ ссылки Павлова — т. е. я ошибся, московскіе профессора послали доносъ Путятину, это петербургскіе профессора, — когда вся Русь подымается отъ тяжелаго сна и идетъ на совершеніе судебъ, которыхъ главныя черты начинаютъ прорѣзываться изъ за несущихся тучъ, стѣсняющихся облаковъ, когда даже зимній дворецъ пріостановился и сталъ думать — Думу.

Господа, Studiate la matamatica e lasciate le donne!

Ни микроскопъ, ни телескопъ вамъ не помогутъ, тутъ надобно имѣть *простые* глаза, а вы ихъ то и испортили сѣрой нѣмецкой печатью. Лучше ужъ и не выходить изъ аулы, да изъ кабинета, а то какъ-бы вамъ не пришлось опростоволоситься, какъ это случилось съ вашими предшественниками, іерусалимскими профессорами богословскаго факультета—и не услышать грозный упрекъ:

„Я былъ среди васъ, и вы меня не узнали!“

— Да гдѣ? когда? Помилуйте!

Въ томъ-то и дѣло, что не узнали. Вы еще ждете Мессію по *писаніямъ*, въ церковномъ облаченіи, въ сіяніи и торжествѣ, въ

сопровожденіи самаго Молинари... а онъ родился опять въ *овчарнѣ*. Мы согласны съ вами, что̀ за мѣсто для потомка царя Давида — въ ясляхъ?

— Да чтожъ дѣлать!

Колоколъ № 133.
15 Мая 1862 года.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Въ отвѣтъ на нѣсколько писемъ, полученныхъ изъ Россіи, мы считаемъ нашей обязанностью сказать, что мы готовы учредить при редакціи Колокола *сборъ денегъ, предназначаемыхъ на* общее наше русское дѣло; *мы беремъ на себя не только обязанность храненія денегъ, но и тяжелую отвѣтственность употребленія ихъ. Что мы поступимъ съ полной чистотой и полнымъ вниманіемъ, въ этомъ, вѣроятно, предлагающіе прислать деньги не сомнѣваются. Само собою разумѣется, что мы будемъ вести строгую отчетность и отдадимъ* гласный отчетъ *тогда, когда онъ будетъ возможенъ.*

Александръ Герценъ
Николай Огаревъ.

ULTIMATUM.

р. р. с.

Пошлую клевету, выдуманную еще въ 1848, что *Бакунинъ* агентъ русскаго правительства, и распространенную теперь на насъ, снова подогрѣли мелкіе англійскіе и нѣмецкіе листы.

Для русскихъ намъ не нужно опровергать это вранье. Въ Россіи не найдется ни одного человѣка достаточно глупаго, чтобъ повѣрить, достаточно подлаго, чтобъ повторить это.

Такого рода нелѣпости осѣдаютъ только въ грязномъ, тинистомъ отстоѣ послѣднихъ политическихъ броженій—тридцати шести германскихъ отечествъ и всплываютъ въ тронутомъ мозгу *неузнанныхъ* государственныхъ мужей Великобританіи, несчастныхъ жениховъ власти, сошедшихъ съ ума и съ совѣсти отъ неудовлетворенной любви къ ней и корчащихъ роль тонкихъ, глубокихъ дипломатовъ передъ тощей и тупоумной толпой уѣздныхъ поклонниковъ и клубныхъ second rate политиковъ.

Жалкое стадо, принимая зависть за призваніе и желчь за геній, качаетъ своей глупой головой, повторяя: „одинъ человѣкъ и есть, который все знаетъ, все можетъ... и *онъ-то*, именно онъ-то не у дѣлъ!“ За эту скромную награду неудавшіеся министры готовы клеветать не только на какихъ нибудь русскихъ выходцевъ, но на Гарибальди и Маццини.

Мы протестовали, такъ какъ протестовали въ 1848 и въ 1854. *Они* продолжаютъ нести свою галиматью. Наконецъ это надоѣло. Впредь ни за себя, ни за друзей *мы вступаться не будемъ!*

Истина этимъ людямъ равнодушна.

Россію они ненавидятъ, и притомъ вовсе не правительство, а вообще все русское и всѣхъ русскихъ. Разбирать, что мы проповѣдуемъ, чего мы хотимъ, почему мы работаемъ въ *пользу* русскаго народа и противъ *нѣмецкаго* правительства въ Петербургѣ, что мы толкуемъ *о правѣ на землю*, о сельской общинѣ, о сельскомъ самоуправленіи, объ уничтоженіи сословныхъ правъ, почему мы, *русскіе*, хотимъ полной независимости Польши и не только отъ Петербурга, но и отъ Вѣны и Берлина, все это разбирать имъ недосугъ, скучно, да при общемъ невѣжествѣ образованія не легко. Гораздо проще — людей, которыхъ вся жизнь, фактъ за фактомъ, была посвящена народному дѣлу, которые съ первой юности до сѣдыхъ волосъ боролись съ русскимъ самодержавіемъ, которые лучшіе годы жизни провели въ ссылкахъ и тюрьмахъ, въ насильственномъ или добровольномъ изгнаніи, — выдавать за *агентовъ русскаго правительства*.

Тактика эта вовсе не новая, — руководствуясь ею, свели на гильотину Анахарсиса Клоца и обвинили Томаса Пена.

Протестъ нашъ былъ послѣднимъ знакомъ уваженія къ честнымъ людямъ среды, въ которой мы живемъ... Что касается до мнѣнія о насъ всякихъ Кауницовъ безъ мѣста и Метерниховъ безъ портфеля, намъ до него дѣла нѣтъ.

Мы — чужіе въ этомъ мірѣ, мы собственно живемъ не здѣсь, а дома. Было время, когда мы думали, что наше призваніе состояло между прочимъ и въ томъ, чтобъ *свидѣтельствовать* передъ Западомъ о возникающемъ русскомъ мірѣ. Это время прошло. Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ событіемъ мы становимся дальше и дальше отъ среды, въ которой жить осуждены нашей дѣятельностью. Мы этого не скрываемъ. Мы остаемся внѣ Россіи только потому, что тамъ свободное слово невозможно, а мы вѣруемъ въ необходимость его высказывать. Заграничная жизнь для насъ вовсе не partie de plaisir, а *жертва*, огромная жертва, которую мы приносимъ нашему дѣлу.

Мы не чувствуемъ благодарности за то, что живемъ здѣсь, и не просимъ ни признанія, ни гостепріимства, ни участія, мы беремъ по праву ту защиту закона, которую свободная страна безвозмездно даетъ всѣмъ преступникамъ; мы пользуемся той терпимостью, которую англійское уложеніе распространяетъ не только на выходцевъ другихъ странъ, но и на своихъ теоретическихъ измѣнниковъ, стремящихся ниспровергнуть вѣковыя, святыя учрежденія своего отечества—въ пользу Австріи и абсолютизма.

...И такъ vorwärts, господа! мы оставляемъ поле, мы дѣлаемъ вамъ теперь нашъ прощальный визитъ и поручаемъ себя вашимъ дружескимъ обвиненіямъ и братскимъ клеветамъ.

Твердые нашей чистотой,
Твердые святостью нашего дѣла,
Твердые вѣрой въ насъ русскихъ,
Позвольте намъ молча *презирать васъ*.

Колоколъ № 135.
1 Іюня 1862 года.

ПИСЬМО ОТЪ ОФИЦЕРОВЪ.

Мы получили на дняхъ письмо изъ Польши отъ одного русскаго офицера, писанное отъ имени нѣсколькихъ товарищей его. Много тяжелыхъ минутъ, много устали и горя стираютъ такія строки. Если больше будетъ такихъ офицеровъ, они легко очистятъ русское оружіе отъ ржавчины, которой его покрыла запекшаяся на немъ польская и крестьянская кровь...

Вотъ что онъ пишетъ между прочимъ: „Едва поляки замѣтили наши слабыя усилія сблизиться съ ними и смыть позорное пятно, лежащее на насъ, какъ братски подали намъ руку; имъ обязаны мы тѣмъ, что получаемъ *Колоколъ*, имъ, что можемъ переслать это письмо. Къ сожалѣнію они имѣютъ много правъ недовѣрять намъ —*потому что офицеры часто принимаютъ на себя роль шпіоновъ*".

(Слѣдуетъ небольшая перечень шпіонствующихъ офицеровъ, состоящихъ при варшавскомъ ордонансъ-гаузѣ. Мы просимъ корреспондента еще разъ провѣрить имена, и тогда мы охотно *ихъ напечатаемъ*, въ поощреніе другимъ).

„...Мы думаемъ, что съ нашей стороны необходима искупительная жертва, мы готовы на нее, и только ждемъ случая принести ее съ возможно большей пользою...

„.... Мы не на столько самолюбивы, чтобы не понимать, что мы вовсе не хватаемъ звѣздъ съ неба; мы трудимся *только изъ-за сознанія*, что въ общемъ ульѣ будетъ капля и нашего меду".

Съ этимъ сознаніемъ прошлаго грѣха, съ этой готовностью пасть жертвой искупленія, съ этимъ смиреніемъ можно надѣлать чудеса.

Вашу руку будущіе герои, будущіе мученики, будущіе воины русскаго земства!

— —

МОСКВА НАМЪ НЕ СОЧУВСТВУЕТЪ.

Еще р. р. с.

Прости Москва, пріютъ родимый!
Тройка.

Не можемъ удержаться, чтобы не выписать слѣдующихъ строкъ изъ письма, полученнаго нами изъ Москвы и притомъ отъ истаго москвича: „Москва рѣшительно не за васъ, скорѣе Петербургъ, Тверь.... Москва *вамъ не сочувствуетъ*, напротивъ. Мы всѣ здѣсь, къ какой-бы партіи ни принадлежали, люди *историческіе*, и радикализма мы переварить не можемъ. Не думайте, чтобъ я говорилъ про одинъ какой-либо кружекъ. Нѣтъ; я говорю о всѣхъ, исключая, разумѣется, небольшой части молодежи. У насъ уважаютъ искренность вашихъ убѣжденій, пользу отъ большей части сооб-

щаемыхъ вами извѣстій, и объ васъ говорятъ не иначе какъ съ любовью, но на этомъ и останавливается сочувствіе".

Мы догадывались и прежде, что *историческое* общество, легко переваривающее соборные доносы университетскихъ приставовъ науки, начальническія распеканія отцевъ доктринеровъ, шляхетную газетщину, которую ставятъ въ казну по столько-то за аршинъ, о розгѣ архипастырское умиленіе Филарета... многаго переваривать не можетъ и въ томъ числѣ — насъ. Но дорого намъ было узнать изъ прямаго, дружескаго источника, что и мы бѣдные, въ нашей дали, не забыты, что и намъ отведи скромное мѣсто на листахъ проскрипцій англійскаго клуба и византійскаго университета,—вмѣстѣ съ преступнымъ Михайловымъ, съ злокачественнымъ Великоруссомъ, съ крамольными студентами, непощаженными—ни православнымъ Днемъ, ни бироновскимъ профессорствомъ, ни даже самимъ полицмейстеромъ Сѣчинскимъ.

Прости Москва, пріютъ родимый!

...Какъ-же она измѣнилась съ тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ... съ тѣхъ временъ, когда Бѣлинскій начиналъ свое литературное поприще, Грановскій открывалъ свой курсъ! Что былъ тогда ея святой, ея непорочный университетъ, который тревожилъ подозрительнаго и сумрачнаго тирана въ Зимнемъ Дворцѣ? Что было тогда московское общество, съ своими литературными кругами, философскими спорами, съ своими „фрондерами", какъ ихъ называлъ Гакстгаузенъ?

Все, что впослѣдствіи развилось и вышло наружу, все, около чего теперь группируются мнѣнія и лица,—все зародилось въ эту темную, московскую ночь, за свѣчкой бѣднаго студента, за товарищеской бесѣдой на четвертомъ этажѣ, за дружескимъ споромъ юношей да отроковъ. Тамъ изъ неопредѣленной мглы стремленій, изъ горести и упованія отдѣлились мало по малу, какъ два волчьихъ глаза, двѣ свѣтовыя точки, два фонаря локомотива, растущія на всемъ лету, бросая длинные лучи свѣта—одинъ на пройденный путь, другой на путь предстоящій. Въ Москвѣ была умственная инициатива того времени, въ ней подняты всѣ жизненные вопросы, и въ ней на разрѣшеніе ихъ тратилось сердце и умъ, весь досугъ, все существованіе. Въ Москвѣ развились Бѣлинскій и Хомяковъ. Въ Москвѣ каѳедра Грановскаго выросла въ трибуну общественнаго протеста.

Москвѣ не доставало одного — простора, шири; накопившіяся мысли ныли по волѣ...

.... Прошло время—нѣтъ ни Николая, ни Закревскаго; веревку, которой была связана мысль, отпустили на палецъ, и Москвѣ фрондеровъ, Москвѣ университета и Московскихъ вѣдомостей — *нечего сказать*. Москва обойдена Тверью и Харьковымъ, Владиміромъ, Петербургомъ и двадцатью другими. Государь трясетъ за шиворотъ закоснѣлое дворянство, призываетъ его à la pudeur — оно ничего.... и вмѣсте Бѣлинскаго—Павловъ, въ университетѣ

проповѣдь рабскаго повиновенія, въ дворянскомъ собраніи—предложеніе Безобразова.

Трагическая судьба нашего первопрестольнаго города! Для широкой, свѣтлой стороны жизни у Москвы нѣтъ органа, нѣтъ силы. Она идетъ впередъ, когда Россія идетъ назадъ, и пятится назадъ, когда Россія идетъ впередъ. Она является въ исторіи на первомъ планѣ, когда бѣда грозитъ всему народу или уже разразилась; она является какъ врачъ, какъ духовникъ, какъ сестра милосердія, какъ вдова пекущаяся о сиротахъ.... Прошла бѣда, и Москва спитъ.

Татары-ли одолѣютъ Русь—вѣчевую, удѣльную, народную, и все склонится передъ ихъ *азіатской цивилизаціей;* въ ничтожной Москвѣ закипаетъ мысль освобожденія отъ варварскаго ига, и растетъ и растетъ — до Мамаева побоища, но на другой день послѣ побѣды надъ золотой ордой, Москва становится ордой бѣлокаменной и тѣснитъ свои русскіе улусы не хуже татаръ.

Польша-ли возьметъ верхъ — Москва опять становится городомъ народнымъ и кличетъ кличъ по всей Руси, и вся Русь встаетъ на ея выручку, льетъ свою лучшую кровь, тратитъ послѣдній алтынъ. Но лишь только Русь оправляется, Москва куетъ ее въ цѣпи, куетъ и Украину добровольно отдавшуюся, куетъ до тѣхъ поръ, пока выкуетъ самую чудовищную машину рабства — Петра I.

Она было хотѣла отшарахнуться отъ его цивилизующаго заетѣнка, но поздно—сзади стояли драбанты и сержанты, пришлось возвратиться къ до-татарской ничтожности и ждать новой напасти народной, чтобъ поднять голову. Ждала она цѣлый вѣкъ, наконецъ пришелъ Наполеонъ — и она подняла ее; передъ заревомъ Москвы „померкло солнце Аустерлица“.

Едва Москва обстроилась послѣ 1812 года, Россію *постигло* николаевское царствованіе.

Мертвящая сила царизма, схвативъ за горло молодую развивавшуюся жизнь, замерла въ тридцатилѣтней борьбѣ. Едва приходившая въ себя жизнь слабѣла, становилась блѣднѣе и блѣднѣе—потухала. Отчаяніе въ поэзіи, отчаяніе въ картинахъ, отчаяніе и пустота дома, въ гостинныхъ, Сибирь, Кавказъ, каторжная работа и опущенный шлагбаумъ на границѣ. Обезумѣвшій властелинъ скакалъ изъ угла въ уголъ имперіи, преслѣдуя — какъ квартальный или дядька — отросченныя бороды, растегнутые воротники, пиджакеты и тетрадки стиховъ; казалось онъ все утопталъ, какъ дворъ казармы. Только въ старомъ сердцѣ Москвы теплилась надежда, теплилась вѣра, и въ аудиторіяхъ, въ частныхъ бесѣдахъ, она шептала молодежи „погодите не-много — онъ не одолѣетъ, онъ не задушитъ... вѣрьте и работайте“.

Николай чутьемъ ненавидѣлъ Москву и гналъ ея университетъ, которому онъ *теперь* такъ охотно далъ-бы андреевскія и георгіевскія ленты съ бантами—на электрическія и пневматическія машины.

...*Теперь!* мало-ли что теперь!... Кто эти посторонніе, эти враги? Это наши *друзья!* Кто эти несочувствующіе, эти *историческіе* люди? Это наши хористы!

Пушкинъ отгадалъ только въ половину, сказавши: „*Въ Москвѣ не царь*, въ ней нѣтъ и *земскаго дѣла!*

Личное объясненіе.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ 6-декабря 1837, въ Вяткѣ, я произнесъ плохую рѣчь, исполненную уступокъ и очень дурно сдѣлалъ.

Двадцать пять лѣтъ спустя первое слово мое, вышедшее изъ гроба, въ которомъ было схоронено четырнадцать лѣтъ, все мною писанное, первая статья всплывшая гласно въ Россіи,—та самая *вятская рѣчь*.

Съ какой цѣлью „Сѣверная Пчела" (9/21 мая 1862), напечатала ничтожную рѣчь *6 декабря 1837 г.?*—Я не знаю. могу догадываться, но не мнѣ судить объ этомъ. Она имѣла на это право и воспользовалась имъ.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ сказана была вятская рѣчь: на мѣстѣ губернатора Тюфяева былъ Корниловъ; объ немъ у меня осталось хорошее воспоминаніе, я полагаю, что онъ былъ благородный человѣкъ и очень не глупый, хотя большой педантъ въ мелочахъ. Онъ присталъ ко мнѣ съ просьбой сказать рѣчь при открытіи библіотеки,—просьба губернатора для человѣка, состоящаго подъ надзоромъ, всегда убѣдительна. — Сначала я отказывался, потомъ написалъ черновую. Корниловъ расхвалилъ ее, но тутъ-же *собственной рукой* вписалъ *два-три* выраженія, говоря, что этого требуетъ haute convenance и что это не больше имѣетъ смысла какъ слова „вашъ покорнѣйшій слуга" въ концѣ письма,—я спорилъ. Наконецъ мы раздѣлили грѣхъ пополамъ.

Рѣчь была сказана, при чемъ пермскій архіепископъ Нилъ — шеллингистъ и страшный гонитель раскольниковъ, (такъ какъ бываютъ у насъ страшные гонители раскольниковъ — и либералы) меня благословилъ. Казалось-бы тѣмъ и кончено. Но этой рѣчи было на роду написано имѣть странную судьбу. Когда ее въ корректурныхъ листахъ показали Корнилову, онъ переправилъ нѣсколько выраженій, потомъ опять переправилъ—у меня осталось въ памяти, что онъ вымаралъ нѣсколько словъ, сказанныхъ въ похвалу Мордвинову. Это было передъ самымъ моимъ отъѣздомъ въ Владиміръ, бумага о моемъ переводѣ была получена. Жуковскій и Арсеньевъ писали, что они больше сдѣлать не могли, но они обѣщались хлопотать впослѣдствіи. Я уже предчувствовалъ Москву и волю. А Корниловъ опять поправлялъ несчастную рѣчь. Она мнѣ опротивѣла, я махнулъ рукой, забылъ объ ней и уѣхалъ.

Все вмѣстѣ было дурно.

И вотъ черезъ *двадцать пять лѣтъ* пожелтѣлые корректурные листы моей рѣчи поднимаются, какъ тѣнь Банко, жужжать на

пчелиныхъ крыльяхъ, цивически упрекаютъ и зовутъ меня къ отвѣту*).

Колоколъ № 137.
22 Іюня 1862 года.

Вѣсти изъ Петербурга исполняютъ душу какимъ-то ужасомъ ожиданья и боли: что это за огненная чаша страданій идетъ мимо насъ? Огонь ли это безумнаго разрушенія, кара ли, очищающая пламенемъ?... Да развѣ не довольно было несчастій и каръ?... И что довело людей до этого средства—и кто эти люди? Какія тяжелыя минуты отсутствующему, когда, обращаясь туда, гдѣ вся любовь его, все, чѣмъ живетъ человѣкъ — онъ видитъ одно нѣмое зарево.

ДУРНЫЯ ОРУЖІЯ.

Hamlet One!
Laertes No!
Hamlet Judgement.

Вотъ какія времена пришли, нашъ *монологъ* становится мало по малу *діалогомъ*, продолжая говорить и говорить безъ отвѣта, мы договорились таки до того, что начальство разрѣшило насъ упоминать, намъ отвѣчать, насъ бранить. Спасибо и на томъ.

„Современная Лѣтопись“ (№ 20) ударила насъ своей учительской линейкой, но сгоряча чуть ли не повредила себѣ больше чѣмъ намъ. Говорятъ, что если хочешь узнать характеръ знакомаго, то надобно посмотрѣть на него, когда онъ проигрываетъ въ карты. Не всѣ игроки, да еще поди жди проигрыша; а сердятся всѣ—стоитъ посмотрѣть на человѣка, *какъ* онъ сердится, *какъ* онъ даетъ отместку, *какими* оружіями нападаетъ, мститъ, и сейчасъ узнаешь—левъ ли это, заносящій лапу и готовый разорвать, оселъ ли, отвѣчающій копытомъ, да и то повернувшись задомъ, или звѣрь, который обороняется вонью... Примѣръ животныхъ впрочемъ не идетъ, средства ихъ очень ограничены, судьба ихъ ли-

*) Рѣчи этой у меня не было и я ее перечиталъ только теперь въ „Сѣверной Пчелѣ“, но объ ней я помнилъ, да и трудно было забыть—и по корректурамъ, и по Нильскому благословенію. Но въ прошедшемъ году я получилъ мою статью изъ „Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ (начала 1838 г.) объ открытіи публичной библіотеки во Владимірѣ. Та же рѣчь, но перефразированная. Сколько я ни ломалъ себѣ голову, этой статьи совсѣмъ не помню. А знаю навѣрное, что при открытіи библіотеки во Владимірѣ я не былъ. Очень вѣроятно, что я подписалъ статью, писанную моимъ товарищемъ по редакціи — кандидатомъ Небабой (см. „Былое и Думы“). Можетъ даже онъ составилъ ее по моей рѣчи.

шила мощныхъ человѣческихъ орудій—доноса и клеветы. Животное царство не имѣетъ третьяго отдѣленія скотнаго двора.

Статья наша „Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма“ попала въ цѣль. Сенаторы разсердились, и разсердились какъ слѣдуетъ сенаторамъ, не римскимъ, а московскихъ департаментовъ, т. е. до потери сознанія *о добрѣ и злѣ* средствъ, ими употребляемыхъ. Что избалованные люди, привыкшіе себя считать неприкосновенными—статсъ-дамами общественнаго мнѣнія, разсердились за нашъ совѣтъ заниматься *математикой* и не тормозить мертвящей схоластикой юные порывы просыпающейся страны—это понятно; что ученый гнѣвъ ихъ разразился тяжко и тупо — и это въ порядкѣ вещей. Но что насъ удивило — это отсутствіе того такта, того декорума, того нравственнаго чутья, по которому человѣкъ никогда не берется за нѣкоторыя оружія. Какъ могли они подъ вліяніемъ раздраженнаго самолюбія наклониться до полицейской лужи и съ ея дна брать каменья для своего праща, какъ будто они не знаютъ, что оттуда никуда не добросишь, а камень падаетъ назадъ? Какъ могли они подогрѣть обвиненія Елагина и повторить остроумныя замѣчанія III отдѣленія?

Насъ этимъ они не оскорбили, но пусть посмотрятъ на свои руки—чисты ли онѣ.

Неужели суждено (говоритъ лѣтописецъ) еще продлиться этому анархическому состоянію общественнаго мнѣнія, этому положенію вещей, въ которомъ раздраженныя и разлаженныя общественныя силы сталкиваются между собою, парализируя себя взаимно и предоставляя агитировать кому вздумается, какому нибудь *свободному артисту**), который уже серьозно воображаетъ себя представителемъ русскаго народа, рѣшителемъ его судебъ, распорядителемъ его владѣній, и дѣйствительно вербуетъ себѣ приверженцевъ во всѣхъ углахъ Русскаго царства, и самъ сидя въ безопасности, за спиною лондонскаго полисмена, для своего развлеченія высылаетъ ихъ на разные подвиги, которые кончаются казематами или Сибирью, да еще не велитъ „сбивать съ толку“ и „не говорить ему подъ руку?“ Къ этому острослову „*выболтавшемуся вонъ*“ (sit venia verbo) изъ всякаго смысла, кто даетъ ему эту силу и этотъ призракъ власти? Не даромъ же воображаетъ онъ себя Цезаремъ, презрительно ожидающимъ своихъ Брутовъ и Кассіевъ, и наконецъ „мессіей въ ясляхъ“. Легко смѣяться надъ безобразіемъ и безуміемъ; но явленіе, котораго мы коснулись, не смѣшно, а прискорбно. Въ этомъ цезарѣ и въ этомъ мессіи читаемъ мы ясно свое собственное безобразіе. Можетъ быть, намъ удастся поговорить нѣсколько подробнѣе объ этомъ; но мы не можемъ не замѣтить, что должно же быть въ настоящемъ порядкѣ вещей что нибудь радикально неправильное, если оно дѣлаетъ возможными подобныя явленія...“

---

*) Должно быть это какое нибудь новое ругательное слово, можетъ это значитъ воръ, доктринеръ или шулеръ? Ее богу, не знаемъ.

Мы обращаемся прямо къ совѣсти издателей „Современной Лѣтописи“ и спрашиваемъ ихъ. *Кого же это, когда*, при какомъ случаѣ погубилъ нашъ совѣтъ, кого свелъ въ казематы и Сибирь? Намъ достаточно одного имени. Если издатели не могутъ назвать его *(по обстоятельствамъ, отъ редакціи не зависящимъ)*, пусть назовутъ его самимъ себѣ... для насъ и этого довольно. Если рѣчь идетъ о Михайловѣ, то неужели вы, публицисты, журналисты, остались при первыхъ выдумкахъ, при *голубыхъ* уткахъ и московскихъ сплетняхъ? Его исторія теперь извѣстна, она не тайна съ тѣхъ поръ, какъ несчастный Михайловъ на каторгѣ... Да можетъ вы такъ сказали для тѣни, а жандармы-то въ Ш отдѣленіи радуются и ликуютъ, ударяя въ шпоры сладкогласныя!

Далѣе, чему вы обрадовались чужой остротѣ, что я считаю себя Цезаремъ? Какъ же вы то сами, Цицероны, не поняли всю нелѣпость этой уловки, надъ которой въ первый разъ можно было улыбнуться, а во второй нельзя даже зѣвнуть. Нѣтъ, господа, вы дурно сердитесь... И мы вамъ совѣтуемъ всего прежде успокоиться, дать улечься дурнымъ сокамъ, поднимающимся съ кровью въ вашу голову, и потомъ отвѣчать. А то посмотрите, вы въ азартѣ не понимаете простаго смысла фразъ; скажите на милость, можно ли человѣку, *сохранившему* здравый смыслъ, прибавить къ чужому Цезарю свою чужь объ ясляхъ*). Нѣтъ, господа, вы не умно сердитесь!

По словамъ вашего предшественника, Елагина, вы толкуете съ упрекомъ о томъ, что мы сидимъ *безопасно въ Лондонѣ за спиною полисмена*. Почему же полисмена, ученики Елагина, но и учени и Гнейста? Почему же не за спиной свободной англійской конст - туціи? Отчего это, когда вы писали вашу статью, васъ все безпокоили полицейскіе образы и тѣни?

И такъ, вы, подцензурные литераторы, журналисты въ колодкахъ, вы, вздыхающіе о свободѣ книгопечатанія, вы представляете актомъ самосохраненія нашу дѣятельность въ Лондонѣ, вы представляете трусостью, что русское свободное слово раздалось въ первый разъ, когда вы всѣ повѣсили носъ и притихли, какъ пойманные школьники въ худшее время николаевскаго террора... И что за наивное непониманіе, что свободное слово только и могло раздаться тамъ, гдѣ (употребляя ваше выраженіе) спина полицейскаго ограждаетъ человѣка отъ дикой власти, а не тамъ, гдѣ спина

---

*) Дѣйствительно, намъ приходится сомнѣваться въ добросовѣстности или въ здравомъ смыслѣ ученыхъ редакторовъ „Лѣтописи“, въ заключеніи моей статьи сказано: „Вы еще ждете Мессію по *писаніямъ*, въ церковномъ облаченіи, въ сіяніи и торжествѣ, въ сопровожденіи самого Молинари.... а онъ родился опять въ *овчарнѣ*. Мы согласны съ вами, что за мѣсто для потомка царя Давида—въ ясляхъ?“

И это будто они приняли за то, что я говорю о себѣ!

профессоровъ гнется передъ полицейскимъ начальствомъ — прося его о присылкѣ дикой власти въ университетъ.

Вамъ не нравится то, что́ мы печатаемъ за границей, — отчего же вы сами не печатаете? если мы ошибались, — отчего вы не возражали намъ? если мы сбивались съ пути, — отчего вы намъ не указывали его?.. Намъ кажется, что свободная рѣчь, какъ чистый воздухъ чахоточному, слишкомъ рѣзка для васъ. То ли дѣло съ сурдинкой. съ *важнымъ* не высказываемымъ, съ намекомъ на какую-то глубь премудрости... „Отворите мнѣ темницу, отнимите мнѣ цензуру и посмотрите, что за гималайская манна словъ посыплется на васъ...“ Ну какъ вы въ самомъ дѣлѣ, господа, накличете свободу книгопечатанія... вѣдь бѣда!

На первый случай довольно, впрочемъ, еще одно слово, и я не буду больше отнимать ваше драгоцѣнное *для математики* время. Вы кажется полагаете, что я изъ фанфаронства выдумалъ, или изъ безумнаго самолюбія повѣрилъ шуткѣ, и въ силу того передалъ общественному позору угрозы полицейскихъ Брутовъ и Кассіевъ, если вы *думаете такъ* (знать навѣрное вамъ нельзя, потому что для этого надобно имѣть знакомство съ III Отдѣленіемъ вообще и съ Шуваловымъ въ особенности, чего боже сохрани), то не хотите ли убѣдиться въ противномъ? *Именно теперь* я могу указать вамъ *одинъ изъ путей*, по которому я получилъ извѣщеніе, и лицо, *въ высокомъ нравственномъ достоинствѣ котораго вы не сомнѣваетесь*, можетъ вамъ сказать—была-ли это шутка или нѣтъ. Хотите?

Колоколъ № 139.
15 Іюля 1862 года.

МОЛОДАЯ И СТАРАЯ РОССІЯ.

Въ Петербургѣ терроръ, самый опасный и безсмысленный изъ всѣхъ, терроръ оторопѣлой трусости, терроръ не львиный, а телячій — терроръ, въ которомъ угорѣлому правительству, незнающему, откуда опасность, незнающему ни своей силы, ни своей слабости, и потому готовому драться зря, — помогаетъ общество, литература, народъ, прогрессъ и регрессъ...

„День“ запрещенъ, „Современникъ“ и „Русское Слово“ запрещены. воскресныя школы заперты, шахматный клубъ запертъ, читальныя залы заперты, деньги, назначенныя для бѣдныхъ студентовъ, отобраны, типографіи отданы подъ двойной надзоръ, два министра и третье отдѣленіе должны разрѣшать чтеніе публичныхъ лекцій; безпрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты въ казематахъ, инквизиторъ Голицынъ (jun. прежнихъ временъ) призванъ на совѣтъ въ зимній дворецъ съ Липранди.... котораго съ омерзеніемъ оттолкнулъ года три тому назадъ тотъ-же Александръ II.

Гдѣ свободныя учрежденія сверху внизъ, гдѣ революція къ верхъ ногами, гдѣ демагоги-абсолютисты министерства? Видно не,

удивимъ мы Европу въ тысячелѣтіе, видно николаевщина была схоронена за живо и теперь встаетъ изъ подъ сырой земли, въ форменномъ саванѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы — и государственный совѣтъ, и протодіаконъ Панинъ, и Аненковъ-Тверской, и Павелъ Гагаринъ, и Филаретъ съ розгой спѣваются за угломъ, чтобъ грянуть: *Николай воскресе.*

Воистину воскресе! скажемъ и мы этимъ неумершимъ мертвымъ; праздникъ на вашей улицѣ, только улица ваша идетъ не изъ гроба — а въ гробъ.

— Позвольте, позвольте, кто же виноватъ въ этомъ? Съ одной стороны, горитъ Щукинъ дворъ, съ другой—*Молодая Россія*...

— Да когда-же въ Россіи что нибудь не горѣло? Изъ этого петербургскаго удивленія передъ пожарами и поджогами только видно, что Петербургъ въ самомъ дѣлѣ иностранный городъ. Развѣ въ 1834 году не горѣло Лефортово, Рогожская, Якиманская часть? Развѣ прежде и послѣ не выгорали губернскіе и уѣздные города, села и деревни? Поджоги у насъ заразительны, какъ чума, и совершенно національное выраженіе: *пустить краснаго пѣтуха* — чисто народное, крестьянское.

— Очень хорошо, мы знаемъ, что поджигательства были всегда, но „Молодая Россія"?

— Да что это за «Молодая Россія»? спрашивали мы съ безпокойствомъ *).

О, это ужасная Россія! знаете, отрицаніе всего, — ничего святаго, такъ-таки ничего, ни власти, ни собственности, ни семьи, никакого авторитета; для нея „Великоруссъ" не далеко ушелъ отъ „Сѣверной Пчелы" и вы отсталой публицистъ.

Наконецъ-то этотъ листъ, ужаснувшій правительство и литературу, прогрессистовъ и реаковъ, цивилизованныхъ парламентаристовъ и цивилизующихъ бюрократовъ, дошелъ и до насъ.

Мы прочли его разъ, два, три раза... со многимъ очень не согласны (и въ другой статьѣ поговоримъ объ этомъ), но по совѣсти признаемся, не понимаемъ ни бѣлой горячки правительства, ни хныканья добросовѣстныхъ журналовъ, ни душесмятенія платоническихъ любовниковъ прогресса... Маловѣрные, слабые люди! какъ мало надобно вашимъ женскимъ нервамъ, чтобъ испугаться, бѣжать назадъ, схватиться за фалду квартальнаго; какъ мало надобно, чтобъ ваши парныя чувства простыли и свернулись; какъ мало — чтобъ и вы туда-же пустили свой камень въ преслѣдуемыхъ. И никому изъ васъ не пришло въ голову того, что сказали и Daily News и Star—неурядица въ Россіи и лихорадочное волненіе идетъ оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняетъ, что оно дразнитъ всѣ святыя стремленья человѣка и не удовлетворяетъ ни одному, что оно будитъ—и бьетъ по головѣ проснувшихся. Нѣтъ, господа, не попадете вы ни въ адъ, ни въ рай, Харонъ васъ отгонитъ весломъ на прѣсной берегъ,

*) Къ сожалѣнію мы получили ее не прежде 1 Іюля.

Дѣло другое — открытое, энергическое положеніе, оно понятно. Для насъ во всей этой оргіи страха совершенно ясно и рельефно, ясно, какъ на блюдечкѣ, положеніе Липранди и *литературныхъ* товарищей его въ Москвѣ. Липранди какъ-то нашелъ средство, въ самыхъ доносахъ, перейти Рубиконъ и свернулся; Николай не во время умеръ. Липранди поторопился съ своей академіей шпіонства, какъ-бы предупреждая по ясновидѣнію семейную переписку московскаго академическаго сената съ флотскимъ начальникомъ своимъ, словомъ Липранди попалъ не въ тонъ и, какъ тараканъ, упавшій на спину, долго не могъ справиться и само собою разумѣется, съ восторгомъ ухватился за «Молодую Россію», чтобъ стать опять на свои шесть ногъ. Для него „Молодая Россія“ точка опоры — и онъ поплелся устроивать свою карьеру да поправлять свои дѣла. Карьеру онъ составитъ, дѣла поправитъ, Филаретъ дастъ ему неба, которое нужно для души, государь дастъ ему земли, которая нужна для крестьянъ, все это понятно, тутъ есть логика. Литераторы, идущіе на пристяжкѣ III Отдѣленія, тоже понятны; они имѣютъ очень реальные виды, они пишутъ изъ денегъ, изъ мести, изъ зависти, изъ самохраненія и пр., они готовы своей доктринерской риторикой натягивать *круговую поруку* (знаменитое complicité morale!) между неосторожными словами юноши и зажженымъ углемъ, подброшеннымъ въ сарай, между заревомъ революціонныхъ идей и заревомъ Щукина двора; изъ за этого можетъ кого-нибудь и повѣсятъ, но гражданская доблесть выше всего! Столько же понятна и *третья* категорія, разрабатывающая пожары въ свою пользу, категорія мошенниковъ и воровъ, которые, пользуясь передрягой и общей бѣдой, обкрадывали погорѣлыхъ. Эта отрасль практическихъ эксплуататоровъ имѣетъ впрочемъ передъ своими товарищами одну огромную нравственную выгоду и неменѣе огромную практическую невыгоду, въ рискѣ и опасности, сопровождающимъ воровство и нисколько неугрожающимъ доносамъ и намекамъ.

Оставляя въ сторонѣ *смирительную* литературу и будущихъ жильцовъ смирительнаго дома, мы обращаемся къ дѣйствительно честнымъ, но слабымъ людямъ и спрашиваемъ ихъ: они то чего испугались „Молодой Россіи“? Добро бы они вѣрили, что русскій народъ такъ и схватится за топоръ по первому крику: «да здравствуетъ соціальная и демократическая республика Русская!» Нѣтъ, они всѣ хоромъ говорятъ, что это невозможно, что народъ этихъ словъ не понимаетъ, и напротивъ, озлобленный за пожары, готовъ растерзать тѣхъ, которые ихъ произносятъ. И все таки каждый *честный* человѣкъ считаетъ себя обязаннымъ ругнуть молодыхъ людей, осыпать упреками и проклятіями — считаетъ себя обязаннымъ ужасаться, возводить глаза горѣ.

Разберите-ка, господа, построже ваше чувство, и вы со стыдомъ увидите, что васъ поразила не опасность, не ложь, не вредъ, *а продерзость* вольнаго слова; чувство *іерархической дисциплины* обижено, не по лѣтамъ и не по чину говорятъ...

Если молодые люди (а для насъ не подлежитъ сомнѣнію, что летучій листъ этотъ писанъ очень молодыми людьми), въ своей заносчивости наговорили пустяковъ—остановите ихъ, вступите съ ними въ споръ, отвѣчайте имъ, но не кричите о помощи, не подталкивайте ихъ въ казематы, III отдѣленіе fara da se; а шпіоновъ не хватитъ — у него есть вспомогательная литература, которая только ждетъ конца русскаго, секретнаго, застѣночнаго слѣдствія, чтобъ обвинить ихъ въ зажигательствѣ.

И такъ все это страшное дѣло, поставившее Россійскую Имперію и Невскій проспектъ на край соціальнаго катаклизма, разорвавшее послѣднюю связь между хроническимъ и острымъ прогрессомъ, сводится на юношескій порывъ, неосторожный, несдержанный, но который не сдѣлалъ никакого вреда *и не могъ сдѣлать*. Жаль, что молодые люди выдали эту прокламацію, но винить ихъ мы не станемъ. Ну что упрекать молодости ея молодость, сама пройдетъ, какъ поживутъ... Горячая кровь, il trorpo juvenil'bollore, тоска ожиданія, растущая не по днямъ, а по часамъ, съ приближеніемъ чего-то великаго, чѣмъ воздухъ полонъ, чѣмъ земля колеблется и чего еще нѣтъ, а тутъ святое нетерпѣніе, двѣ, три неудачи — и страшныя слова крови, и страшныя угрозы срываются съ языка. Крови отъ нихъ ни капли не пролилось, а если прольется, то это будетъ ихъ кровь—юношей фанатиковъ.

Въ чемъ-же уголовщина?

Еслибъ правительство умѣло понимать и не хранило бы важную серьезность швейцара съ булавой, какъ бы оно громко расхохоталось теперь, глядя на испугъ мужественныхъ либераловъ, гранитныхъ прогрессистовъ, отважныхъ защитниковъ правъ и свободы книгопечатанія, неустрашимыхъ обличителей становыхъ приставовъ и квартальныхъ надзирателей, глядя какъ они, голубчики, побѣжали подъ крылышки той же полиціи, того же правительства, требуя даже мощнымъ органомъ *рижской* газеты примѣрнаго наказанія. А вы знаете, что такое примѣрное наказаніе по образцовому своду нашему? Посмотрите-ка уголовные законы, съ особенной любовью отработанные кроткимъ и добрымъ царемъ Николаемъ, съ еще болѣе добрымъ и кроткимъ рабомъ его и легистомъ Губе... Стыдно вамъ! Вы всю жизнь молчали отъ страха передъ дикой властью, помолчите-же сколько нибудь отъ страха будущихъ угрызеній совѣсти.

„Молодая Россія" намъ кажется двойной ошибкой. Во первыхъ, *она вовсе не русская;* это одна изъ варіацій на тему западнаго соціализма, метафизика французской революціи, политическо-соціальныя desiderata, которымъ придана форма вызова къ оружію. Вторая ошибка — ея неумѣстность — случайность совпаденія съ пожарами усугубила ее.

Ясно, что молодые люди, писавшіе ее, больше жили въ мірѣ товарищей и книгъ, чѣмъ въ мірѣ фактовъ; больше въ алгебрѣ идей съ ея легкими и всеобщими формулами и выводами, чѣмъ

въ мастерской, гдѣ треніе и температура, дурной закалъ и раковина, мѣняютъ простоту мѣханическаго закона и тормозятъ его быстрый ходъ. Рѣчь ихъ такою и вышла, въ ней нѣтъ той внутренней сдержанности, которую даетъ или свой опытъ, или *строй организованной партіи.*

Но, сказавъ это, мы прибавимъ, что неустрашимая послѣдовательность ихъ, одна изъ самыхъ характеристическихъ чертъ русскаго генія, *отрѣшеннаго отъ народа.* Исторія намъ ничего не оставила завѣтнаго, у насъ нѣтъ тѣхъ *уважаемыхъ почтенностей*, которыя мѣшаютъ западному человѣку, но которыя ему дороги. За рабство, въ которомъ мы жили, за чуждость съ своими, за разрывъ съ народомъ, за безсилье дѣйствовать, намъ оставалось печальное утѣшеніе, но утѣшеніе—въ наготѣ отрицанія, въ логической безпощадности, и мы съ какой-то радостью произносили тѣ послѣднія, *крайнія* слова, которыя губы нашихъ учителей едва шептали, блѣднѣя и осматриваясь. Да, мы произносили ихъ громко, и будто становилось легче — въ ожиданіи бури, которую вызовутъ они. Намъ нечего было терять.

Обстоятельства перемѣнились. Русское земское дѣло началось. Каждое дѣло идетъ не по законамъ отвлеченной логики, а сложнымъ процессомъ эмбріогеніи. Въ помощь нашему дѣлу нужна мысль Запада и нуженъ его опытъ. Но намъ столько-же не нужна его революціонная декламація, какъ французамъ была не нужна римско-спартанская риторика, которой они говорили въ концѣ прошлаго вѣка. Говорить чужими образами, звать чужимъ кличемъ — это не пониманіе ни дѣла, ни народа, это не уваженіе ни къ нему, ни къ народу. Ну есть-ли тѣнь вѣроятія, чтобъ народъ русскій возсталъ во имя соціализма Бланки, оглашая воздухъ кликомъ изъ четырехъ словъ, въ числѣ которыхъ три длинныхъ для него не понятны?

Вы насъ считаете отсталыми, мы не сердимся за это, и если отстали отъ васъ въ мнѣніяхъ, то не отстали сердцемъ —а сердце даетъ тактъ. Не сердитесь-же и вы, когда мы дружески оборотимъ ваше замѣчаніе и скажемъ, что вашъ костюмъ Карла Мора*) и Гракха Бабефа на русской площади, не только старъ, но сбивается на маскарадное платье. Французы народъ смѣшливый, но почтительный; ихъ можно было озадачить Римской латиклавой и языкомъ Сенекиныхъ героевъ; у насъ.... народъ требовалъ головы несчастнаго Обручева.

---

*) Дѣйствительно, въ „Молодой Россіи“ столько-же Шиллера сколько Бабефа. Благородные и нѣсколько восторженные и метафизическіе порывы Шиллера, облекались очень часто въ кровавыя сентенціи Мора. Позы, Фердинанда, за которыми билось его любящее, вѣчно юное сердце. За одинъ эпиграфъ его въ „Разбойникахъ“, московскіе сенаторы подвели-бы его подъ первые два пункта, какъ уличеннаго зажигателя. „Quæ medicamentæ non sanant, ferrum sanat, que ferrum non sanat, ignis sanat.“

....И вотъ опять слышится хоръ—не подземный, а бельэтажный хоръ трусовъ, разслабленныхъ, чающихъ легкаго движенія прогресса.

— Да, да, кричатъ они, посмотрите, что дѣлаетъ хваленый народъ, это дикій звѣрь, вотъ что насъ ждетъ. Подите объясните имъ, что мы теперь не помѣщики, а замлевладѣльцы, что мы хотимъ не баршину—а думу, не оброка—а правъ гражданина.

Тугонекъ народъ на пониманье и не можетъ такъ быстро сообразить, что вѣковой, кровный врагъ его, который его грабилъ, позорилъ его семью, морилъ его съ голоду, унижалъ, вдругъ впалъ въ такое раскаяніе—„братъ, говоритъ, родной!“ да и только...

Бываютъ страшныя историческія несчастія, черные плоды черныхъ дѣлъ; передъ ними, какъ передъ грозой, смолкаетъ человѣческая мудрость и покрываетъ своими руками свои глаза, полные горькихъ слезъ.

Наши жертвы искупленія, какъ Михайловъ, какъ Обручевъ, должны вынести двойное мученичество; они не станутъ народной легендой, какъ братья Бандьеры и Пизакане, народъ ихъ не знаетъ, нѣтъ—хуже, онъ знаетъ ихъ за дворянъ, за враговъ. Онъ не жалѣетъ ихъ, онъ не хочетъ ихъ жертвы.

Вотъ куда привелъ разрывъ. Народъ намъ не вѣритъ и готовъ побить камнями тѣхъ, которые за него отдаютъ жизнь. Темной ночью, въ которой его воспитали, онъ готовъ какъ великанъ въ сказкѣ, перебить своихъ дѣтей, потому что на нихъ чужое платье.

Не за себя несутъ наши мученики тяжкую кару народной ненависти, а за другихъ. Эти *друніе* слишкомъ торопятся получить амнистію; съ своей стороны они, кажется, не были такъ великодушны, и что-же они сдѣлали такого—потерявши устрицу рѣшаются бросить раковину! Развѣ шляхетная Магдалина своимъ собственнымъ сердцемъ дошла до раскаянія? развѣ слово *освобожденія* было сказано ею, развѣ она не упиралась, пока думала, что можно упираться? Такъ легко и съ такой недовольной миной не дѣлаются искупленія и не прощаются вѣковые рубцы.

Очень печально, безгранично печально явленіе на петербургской площади, но вы бѣдные страдальцы, не предавайтесь отчаянію. Довершите вашъ подвигъ преданности, исполните великую жертву любви и, съ высоты вашей Голгоѳы, и изъ подземелій вашихъ рудниковъ, отпустите народу невольную обиду его, и скажите *тѣмъ* строгимъ-то, что *онъ имѣетъ право на это заблужденіе, что вы благословляете его!*

ПИСЬМО ГГ. КАТКОВУ И ЛЕОНТЬЕВУ.

Милостивые государи и ученые редакторы!

Еслибъ вы, въ вашей полемикѣ противъ насъ, держались въ

общихъ сферахъ и въ общихъ грубостяхъ, я не позволилъ бы себѣ утруждать васъ письмомъ—съ одной стороны, очень уважая многосложность вашихъ занятій, а съ другой — вовсе не уважая ни васъ, ни вашихъ мнѣній.

Но вы позволили себѣ публично сдѣлать намекъ чрезвычайно неопредѣленный, но явно относящійся къ частной жизни нашей, и тѣмъ дали намъ и въ особенности мнѣ, какъ несчастному виновнику статьи, раздражившей васъ — право требовать отъ васъ поясненія. Публичные намеки и клеветы имѣютъ большое неудобство передъ келейнымъ злословіемъ и служебными доносами, до поры до времени покрываемыми канцелярской тайной.

Вотъ ваши слова: „*наши заграничные* refugiés (*мы хорошо знаемъ, что это за люди...*“ *Совр. Лѣт.)*

Вѣроятно вы не станете отрекаться, что подъ словомъ *заграничные* refugiés (и при этомъ я долженъ признаться, что я до сихъ поръ думалъ, что всѣ refugiés и эмигранты болѣе или менѣе заграничные) — вы разумѣли насъ, *издателей* „Колокола“ и потому позвольте васъ спросить.

Какіе-же мы люди, г. Катковъ?

Какіе-же мы люди, г. Леонтьевъ?

Вы вѣдь *хорошо* знаете, какіе мы люди, — ну какіе-же?

Если въ васъ обоихъ есть малѣйшая искра чести, вы не можете не отвѣчать; не отвѣчая, вы меня приведете въ горестное положеніе сказать, что вы сдѣлали *подлый намекъ*, имѣя въ виду очернить насъ въ глазахъ вашей публики.

Говорите все... въ нашей жизни, какъ въ жизни каждаго человѣка, жившаго не только въ латинскомъ синтаксисѣ и нѣмецкомъ учебникѣ, но въ толокѣ дѣйствительной жизни, есть ошибки, промахи, увлеченья, *но нѣтъ поступка*, который бы заставилъ насъ покраснѣть передъ кѣмъ-бы то ни было, который мы бы хотѣли скрыть отъ кого бы то ни было.

Если вы тоже можете сказать, поздравляю васъ г. Катковъ, поздравляю васъ г. Леонтьевъ... Хотя я и не сомнѣваюсь, что вы можете.

Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, смотримъ въ ваши ученые глаза.. кто кого пересмотритъ?

Можетъ вы слыхали, какъ въ 1849 году, въ народномъ собраніи въ Парижѣ Прудонъ, задѣтый такимъ-же образомъ Тьеромъ, сказалъ ему спокойно, стоя на трибунѣ, превратившейся въ ту минуту въ страшный судъ: „говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу это принять за личность и тогда я не картель вамъ пошлю, а предложу вамъ другой бой, здѣсь, съ этой трибуны я разскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что нибудь пропущу или забуду. *И потомъ пусть разскажетъ мой противникъ свою жизнь*“.

За тѣмъ позвольте надѣяться, что вы, милостивые государи, испросите у вашего начальства разрѣшеніе напечатать это письмо

въ многоуважаемой Лѣтописи вашей. Вы слишкомъ любите гласность и англійскую ширь оправданія, чтобъ намъ можно было сомнѣваться въ этомъ.

Желаю въ заключеніе, чтобъ письмо это застало васъ въ добромъ здоровьи.

Колоколъ № 140.
1 Августа 1862 г.

АРНГОЛЬДТЪ, СЛИВИЦКІЙ И РОСТКОВСКІЙ.

Какъ незамѣтно пролилась кровь трехъ русскихъ мучениковъ въ Польшѣ. . . . „Инвалидъ“ помѣстилъ канибальскій приговоръ, иностранные журналы пролепетали, не безъ ошибокъ, ихъ имена —и все прошло! Неужели такъ легко скатывается съ императорской мантіи и крестьянская и офицерская кровь? Николаю—тридцать лѣтъ не могли простить пять висѣлицъ.... а вѣдь имъ предшествовалъ громадный заговоръ, возмущеніе на площади, поднятіе оружія . . . . а здѣсь—гдѣ необходимость пролитой крови, гдѣ извиненіе убійства?. . . . Нельзя-же ссылаться въ самомъ дѣлѣ то на барскій задоръ Апраксина, то на военное звѣрство Лидерса?

Убить трехъ человѣкъ за то, что они читали „Великорусса“ и „Историческій Сборникъ“ и *что-то* говорили о священной особѣ государя! Это напоминаетъ гнуснѣйшія времена религіозныхъ и политическихъ гоненій. А *его* еще называютъ добродушнымъ, мягкосердымъ!

Или трехъ несчастныхъ въ самомъ дѣлѣ пожертвовали Хрулеву? И Хрулевъ это допустилъ — и государь допустилъ? Мы даже не повѣрили-бы этому, еслибъ не было оффиціальныхъ опроверженій.

Можетъ что-нибудь скрыто подъ фразой, „возбуждать къ возстанію“? Развѣ правительство думаетъ, что для публики *пріятнѣе* знать, что оно купается въ крови безъ достаточной причины?

А само не можетъ въ себя придти отъ „Молодой Россіи“ и, разстрѣливая съ какой-то наглостью и свирѣпостью, не можетъ надивиться, что подстрѣлили Лидерса, подписавшаго приговоръ!

Какъ Константинъ Николаевичъ не предупредилъ казни? Своя кровь скользка!

16 іюня 1862 г. совершилось великое преступленіе.... Черный день этотъ будетъ памятенъ и вамъ, поляки, за которыхъ умерли три русскихъ мученика, и ихъ товарищамъ, которымъ они завѣщали великій примѣръ, и намъ всѣмъ, которымъ они указали — не только какъ это правительство, набѣленное прогрессомъ, легко убиваетъ — но какъ проснувшіеся къ сознанію офицеры наши геройски умираютъ!

Колоколъ № 141.
15 Августа 1862 г.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Помѣщая въ нынѣшнемъ листѣ „Колокола" приглашеніе г-на Блюммера, которое поддерживаемъ всѣми силами, мы скажемъ нѣсколько словъ о нашемъ сборѣ денегъ на общее дѣло. Мая 15 въ 133 листѣ мы объявляли, что въ отвѣтъ на нѣсколько писемъ, полученныхъ изъ Россіи, мы готовы учредить при редакціи „Колокола" сборъ денегъ. До 15 Августа нами получено около *тысячи франковъ*)*.

Сумма эта до такой степени мала, что ея даже недостаточно для пособія русскимъ эмигрантамъ, число которыхъ возрастаетъ, благодаря безумному террору, царящему въ Петербургѣ.

Существованіе заграничной кассы для общаго дѣла необходимо, мы молчали объ ней до вызова и дѣлали, что могли, на свои средства. Просьба, повторяемая съ разныхъ сторонъ, заставила насъ заявить нашу готовность. Къ чему же это привело? Мы просимъ нашихъ друзей въ Россіи серьозно подумать объ этомъ.

———

Отчего правительство притаилось съ слѣдствіемъ о зажигательствѣ. Отчего оно не объявляетъ имена тѣхъ политическихъ фанатиковъ, соціалистовъ, коммунистовъ, которые жгли С.-Петербургъ?

Не была ли это такая же гнусная продѣлка, какъ натравливаніе обманутаго народа на студентовъ?

———

ЖУРНАЛИСТЫ И ТЕРРОРИСТЫ.

Еще и еще камень — ну этотъ мимо, и вотъ еще... этотъ не камень, что-то рыхлое, ледящееся, это изъ-за Черной Грязи.

Почти всѣ, владѣющіе прашею въ русской журналистикѣ, явились одинъ за другимъ на высочайше разрѣшенный *тиръ* и побиваютъ насъ... По счастью, у нихъ рука невѣрна, словно дрожитъ отъ волненія, отъ угрызенія совѣсти, отъ воспоминаній; другіе нарочно пускаютъ мимо, а третьи бросаются грязью, это очень гадко, но не больно.

Потѣшайтесь, господа, мы только того и хотѣли, чтобъ какъ нибудь возвратиться къ вамъ, мы возвращаемся мишенью, и такъ à vos pièces canonniers!

Ну ужъ этотъ проклятый 94 годъ! — „Почему — скажутъ намъ наши противники — почему вы вспомнили именно 8 Термидоръ и команду якобинскаго генерала Ганріо?"

Одна изъ самыхъ странныхъ странностей войны противъ насъ

---

*) И въ то же время мы получили съ особымъ назначеніемъ для студентовъ и пр. 6,000 фр.

состоитъ въ томъ, что «Пожилая Россія» обвиняетъ насъ въ жаждѣ взрывовъ, насильственныхъ переворотовъ, въ террористическихъ поползновеніяхъ, чуть не въ поджигательствѣ, и въ то же время „Молодая Россія" упрекаетъ насъ за то, что мы утратили революціонный задоръ и потеряли «всякую вѣру въ насильственные перевороты».

«Пожилой Россіи», впредь до непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, мы отвѣчать не будемъ. Чѣмъ же убѣдишь людей, которые намъ толкуютъ о chair à canon послѣ „мяса освобожденія"? Что сказать людямъ, наивно признающимся, что еслибъ мы *тѣхъ-то* побранили, а *этихъ* полюбили, то все было бы ладно? Что же дѣлать, что намъ дерзкій шалунъ, бросающій камень въ фонарь, не такъ отвратителенъ, какъ какой нибудь самодовольный лимфатическій клопъ, читающій ему *нотацію*.

А потому мы и обращаемся къ „Молодой Россіи". Она думаетъ, что „мы потеряли всякую вѣру въ насильственные перевороты".

Не вѣру въ нихъ мы потеряли, *а любовь къ нимъ*. Насильственные перевороты бываютъ неизбѣжны; можетъ будутъ у насъ, это отчаянное средство, ultima ratio народовъ, какъ и царей, на нихъ надобно быть готовымъ; но выкликать ихъ въ началѣ рабочаго дня, не сдѣлавъ ни одного усилія, не истощивъ никакихъ средствъ, останавливаться на нихъ съ предпочтеніемъ, намъ кажется также молодо и незрѣло, какъ *неразсчетливо и вредно* пугать ими.

Кто знакомъ съ возрастомъ мыслей и выраженій, тотъ въ кровавыхъ словахъ „Юной Россіи" узнаетъ лѣта произносящихъ ихъ. Терроръ революцій съ своей грозной обстановкой и эшафотами нравится юношамъ, такъ какъ терроръ сказокъ съ своими чародѣями и чудовищами нравится дѣтямъ.

Терроръ легокъ и быстръ, гораздо легче труда, „гнетъ не паритъ, сломитъ не тужитъ", освобождаетъ деспотизмомъ, убѣждаетъ гильотиной. Терроръ даетъ волю страстямъ, очищая ихъ общей пользой и отсутствіемъ личныхъ видовъ. Оттого-то онъ и нравится гораздо больше, чѣмъ *самообуздание въ пользу дѣла*.

Было время, громовые раскаты девяностыхъ годовъ захватывали и нашу душу; человѣкъ легко увлекается кровью, даже дикія пѣсни военнаго каннибальства, называемыя патріотическими гимнами — пьянятъ и увлекаютъ своимъ грубымъ алканіемъ крови, своимъ ликованіемъ на грудахъ незнакомыхъ труповъ людей, не сдѣлавшихъ убійцамъ никакого вреда. И это до того истинно, что тѣ же самые мирные граждане, которые дошли до несказаннаго ужаса и риторическихъ проповѣдей при чтеніи „Молодой Россіи", готовы со слезами подтягивать какой нибудь героической кантатѣ —объ избіеніи турокъ или нѣмцевъ. Турки, нѣмцы, пушки, Севастополь, все это далеко, и всю эту отвагу и славу мы узнаемъ изъ газетъ, а „Молодая Россія" ближе, возлѣ. Къ тому же старый монополь всему „шпоры носящему"—на убійство.

Мы давно разлюбили обѣ чаши полныя крови, штатскую и военную, и равно не хотимъ ни пить изъ черепа нашихъ боевыхъ

враговъ, ни видѣть голову герцогини Ламбаль на пикѣ.... Какая бы кровь ни текла, гдѣ нибудь текутъ слезы, и если иногда слѣдуетъ перешагнуть ихъ, то безъ кровожаднаго глумленія, а съ печальнымъ, трепетнымъ чувствомъ страшнаго долга и трагической необходимости...

Къ тому же и Май смерти, какъ и Май жизни, цвѣтетъ только одинъ разъ und nicht wieder. Терроръ девяностыхъ годовъ повториться не можетъ, онъ имѣлъ въ себѣ наивную чистоту невѣдѣнія, безусловную вѣру въ правоту и успѣхъ, которыхъ послѣдующіе терроры не могутъ имѣть. Онъ развился, какъ тучи развиваются, и разразился, когда былъ слишкомъ переполненъ электричествомъ; оттого-то въ его мрачномъ характерѣ есть какая-то дѣвственная непорочность, въ его безпощадности—дѣтское добродушіе. И при всемъ этомъ терроръ нанесъ революціи страшнѣйшій ударъ.

Французскій терроръ всего менѣе возможенъ у насъ. Революціонные элементы во Франціи стекались изъ городовъ въ Парижѣ, тамъ троились въ клубахъ и конвентѣ и шли съ мечемъ и топоромъ въ рукѣ проповѣдывать филантропическіе идеалы и философскія истины до послѣдняго городскаго вала, до послѣдняго *горожанина*, рѣдко далѣе. Крупицы падали и мужикамъ, но случайно. Революція, какъ стремительный потокъ, захватывала берега полей, подмывала ихъ, но не теряла своего главнаго, муниципальнаго русла.

Децентрализація, первое условіе нашего переворота, идущаго отъ нивы, отъ поля, отъ деревни и вовсе не въ Петербургъ — откуда народъ, до 19-го Февраля 1861 года, ничего не получалъ кромѣ бѣдствій и униженій. И не въ Москву, гдѣ рядомъ съ мощами почиваютъ и живые, довольные, какъ Симеонъ богопріимецъ, тѣмъ, что увидѣли нарождающуюся Русь.

Да и обстоятельства совершенно иныя.

Франція революціонная хотѣла отрѣшиться отъ традиціоннаго быта, вѣками окрѣпнувшаго, благословленнаго мощной церковью и зарубленнаго мечемъ побѣдителя на землѣ и на сердцѣ побѣжденнаго. Революція возвѣщала новое, небывалое право, право человѣка, и на немъ стремилась установить разумный союзъ общественный; разрываясь съ прошедшимъ, котораго представители были очень сильны, она, по колѣна въ крови, торопилась возвѣщать міру новость земнаго равенства и братства. Ей надобна была республика, собранная въ одинъ узелъ, une et indivisible, ей надобенъ былъ комитетъ общественнаго спасенія, соединявшій въ одну волю всѣ лучи революціи и ковавшій изъ нихъ молніи. Молніи эти дѣйствительно разгромили монархическую Францію, но республики не создали. На тронъ облитой кровью сѣла централизованная полиція. Революціонная идея была не по плечу народу.

У насъ нѣтъ ни новыхъ догматовъ, ни новыхъ катехизисовъ для оглашенія. Нашъ переворотъ долженъ начаться съ сознательнаго возвращенія къ народному быту, къ началамъ, признаннымъ на-

роднымъ смысломъ и вѣковымъ обычаемъ. Закрѣпляя право каждаго на землю, т. е. объявляя землю тѣмъ, чѣмъ она есть—*неотъемлемой стихіей*, мы только подтверждаемъ и обобщаемъ народное понятіе объ отношеніи человѣка къ землѣ. Отрекаясь отъ формъ, чуждыхъ народу, втѣсненныхъ ему полтора вѣка тому назадъ, мы продолжаемъ прерванное и отклоненное развитіе, вводя въ него новую силу мысли и науки.

Истинктивное чувство, которое навело правительство на мысль объ освобожденіи, смутно бродитъ въ немъ; но закоснѣлое въ рутинѣ и предразсудкахъ, оно не можетъ рѣшиться идти одной дорогой, а качается какъ маятникъ, касаясь то одной стороны, то другой. Въ этомъ колебаніи долгое время оставаться нельзя, не сидѣть-же въ самомъ дѣлѣ народу цѣлый вѣкъ сложа руки, при томъ возбужденіи вопросовъ, которое есть, ожидая пока сваи петербургскаго правительства, подгнивающія снизу и вывѣтривающіяся сверху, сами рухнутся. Гнилые лѣса стоятъ долго и большей частью стоятъ до бури. Но прежде всякой бури пробовали-ли кто нибудь сильной рукой или сильнымъ голосомъ указать путь.

Императорская власть у насъ *только власть*, то есть сила, устройство, *обзаведеніе*, содержанія въ ней нѣтъ, обязанностей на ней не лежитъ, она можетъ сдѣлаться татарскимъ ханатомъ и французскимъ комитетомъ общественнаго спасенія, — развѣ Пугачевъ не былъ императоромъ Петромъ III? Что общаго между Алексѣемъ Михайловичемъ и Петромъ, одна неограниченная власть, пытки и казни? Николай подъ самодержавіемъ разумѣлъ сочетаніе власти азіатскаго шаха и прусскаго вахмистра. Народъ подъ *земскимъ* царемъ представляетъ себѣ какую-то соціальную республику, накрытую мономаховой шапкой.

Середь неопредѣленности и неурядицы настоящаго, когда никто не сказалъ своего послѣдняго слова, когда все бродитъ, все ждетъ — одни думу, другіе землю; когда народъ, что ни объявляй самъ государь, какъ ни ораторствуй губернаторы, по русски и по малороссійски, упорно вѣритъ въ *другую* волю—вы его зовете противъ царя и дворянства, то есть противъ ненавистной ему касты, *къ которой онъ причисляетъ васъ* и противъ власти, въ которой онъ видитъ своего защитника. Ошибается онъ или нѣтъ—все равно. Онъ увѣренъ, что онъ не ошибается и по этому онъ съ вами не пойдетъ, и вы погибнете. Никакое меньшинство изъ образованныхъ, не можетъ сдѣлать у насъ неодолимаго переворота безъ власти или безъ народа—такъ стали вопросы; пока деревня, село, степь, Волга, Уралъ покойны, возможны одни олигархическіе и гвардейскіе перевороты, лейбъ-преображенская передержка липъ, Анна Леопольдовна, нѣтъ—Елизавета Петровна.

До сихъ поръ народъ былъ глухъ и нѣмъ ко всѣмъ революціоннымъ стремленіямъ, потому что онъ не понималъ, чего не достаетъ господамъ. Но въ настоящей борьбѣ народъ замѣшанъ живой силой; вопросъ объ освобожденіи сталъ черезполосным во-

просомъ обѣихъ Россій — вершинной и полевой; народъ и дворянство его такъ и поняли. Столкновеніе неминуемо. До сихъ поръ не видно, чтобъ народъ готовъ былъ уступить землю, или дворянство—дешево отдать ее. Оба обращаются къ общему посреднику—къ правительству. Чтожъ оно сдѣлало? Дало землю? Нѣтъ. Отняло? Нѣтъ. Есть поползновеніе сдѣлать то и другое. Пусть оно попробуетъ вырвать у крестьянъ землю изъ подъ ногъ, то есть сдѣлать то, чего не могли ни Петръ I, ни крѣпостное право. Народъ уже заявилъ свое страдательное Veto. Не даромъ не подписываетъ онъ ни уставныхъ грамотъ, ни переходитъ съ барщины на оброкъ; онъ ждетъ земли.

Но пока земля *фактически* за нимъ, народъ не подымется. Для народа подняться трудно, это не рискъ своимъ лицомъ, не каторга, не палачи, а полное разореніе семьи, невспаханное поле, голодныя дѣти, саранча постоя. Вотъ отчего крестьянинъ терпитъ, ужасно долго терпитъ и только изрѣдка, когда уже мѣра переполнена, онъ является въ какомъ-то мрачномъ отчаяніи и убиваетъ гуртомъ не только враговъ, но и своихъ собственныхъ дѣтей, чтобъ они не сдѣлались военными поселенцами.

Звать къ оружію можно только на канунѣ битвы. Всякій преждевременный призывъ — намекъ, вѣсть данная врагу и обличеніе передъ нимъ своей слабости.

А потому оставьте революціонную риторику и займитесь дѣломъ. Соединяйтесь плотнѣе между собой, чтобъ вы были сила, чтобъ вы имѣли единство и организацію, соединяйтесь съ народомъ, чтобъ онъ забылъ вашъ отколъ; проповѣдуйте ему не Фейербаха, не Бабефа, а понятную для него *религію земли*... и будьте готовы. Придетъ роковой день, станьте грудью, лягте костьми, но не зовите его какъ *желанный день*. Если солнце взойдетъ безъ кровавыхъ тучъ, тѣмъ лучше, а будетъ-ли оно въ мономаховой шапкѣ или въ фригійской — все равно. Развѣ французы мало доказали вамъ, что за переводъ съ феодально-монархическаго языка мѣстъ и чиновъ на римско-республиканскій — не стоитъ проливать не только крови но и чернилъ.

Стань царская власть въ главу народнаго дѣла, гдѣ найдется достаточная сила, могущая бороться съ ней и ей противодѣйствовать во имя своекорыстныхъ интересовъ касты, сословія?

Все недовольное, шумящее теперь у насъ отъ vieux boyards moscovites—до русскихъ нѣмцевъ, отъ николаевскихъ генераловъ — до мелкопомѣстныхъ плантаторовъ, исчезнетъ, сотрется. Какъ? Куда? А куда исчезаютъ мыши и крысы при первыхъ лучахъ свѣта, куда пропадаютъ днемъ сверчки? Иной мышенокъ и попадетъ въ мышеловку, иного сверчка и ошпарятъ горячей водой, но тутъ не дойдетъ ни до какого библейскаго избіенія по домамъ и стогнамъ, ни до мясничества Петра I, ни до прогуливающейся гильотины со своими букетами нойядъ и митрильядъ.

Но для того, чтобъ власть царская стала властью народной, ей надобно понять, что волна, которая ее подмываетъ и хочетъ под-

нять, въ самомъ дѣлѣ волна морская, что ее нельзя ни остановить, ни сослать въ Сибирь, что приливъ начался и что нѣсколько раньше, нѣсколько позже, а ей придется сдѣлать выборъ между кормиломъ народной державы и иломъ морскаго дна.

Свидѣтельствуйте объ этомъ всѣми свидѣтельствами, кричите ей объ этомъ денно и нощно, она крѣпка на ухо и на умъ! Пусть она выскажется—и только послѣ ея отвѣта вы узнаете, что говорить народу и къ чему его звать.

Колоколъ № 143.
1 Сентября 1862 г.

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТОВЪ.

Первая присылка записокъ получена нами. Мы не имѣемъ словъ, чтобъ выразить всю нашу благодарность за нее. Наконецъ-то выйдутъ изъ могилъ великія тѣни первыхъ сподвижниковъ русскаго освобожденія, и большинство, знавшее ихъ по Блудову и по Корфу—узнаетъ ихъ изъ ихъ собственныхъ словъ.

Мы съ благочестіемъ средневѣковыхъ переписчиковъ апостольскихъ дѣяній и житія святыхъ, принимаемся за печатаніе „Записокъ Декабристовъ"; мы чувствуемъ себя гордыми, что на долю нашего станка досталась честь обнародыванія ихъ.

Всѣ вырученныя деньги, за расходами на печать и бумагу, мы раздѣлимъ по поламъ. Одну половину перешлемъ для вспомоществованія лицамъ сосланнымъ въ Сибирь, вслѣдствіе политическихъ гоненій, *другую* — оставимъ въ Лондонѣ для вспомоществованія русскимъ, которые вынуждены будутъ покинуть отечество, по причинѣ тѣхъ же гоненій. Если же эмигрантовъ будетъ не много, то по прошествіи года мы и эти деньги присоединимъ въ Сибирскій фондъ.

Мы предполагаемъ издавать Записки отдѣльными выпусками и начать съ записокъ „И. Д. Якушкина" и князя «Трубецкаго». За тѣмъ послѣдуютъ записки князя «Оболенскаго, Басаргина, Штенгеля, Люблинскаго, Н. Бестужева», далѣе о 14 Декабрѣ «Пущина», „Бѣлая церковь", „Воспоминанія князя Оболенскаго о Рылѣевѣ и Якушкинѣ", „Былое изъ разсказовъ Декабристовъ", „Списокъ слѣдственной коммиссіи", статья „Лунина" и разныя письма.

О подробностяхъ изданія извѣстимъ въ послѣдствіи.

Колоколъ № 144.
8 Сентября 1862 года.

Отвѣтъ „г. поляку" на статью и письмо.

Милостивый государь,

Вашъ отвѣтъ Бакунину и „вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣтъ всѣмъ рос-

сійскимъ публицистамъ, пишущимъ о Польшѣ", мы получили мѣсяцъ тому назадъ и думали, что наше молчаніе будетъ достаточнымъ заявленіемъ нашего нежеланія служить органомъ мнѣнія, съ которымъ мы согласиться не можемъ.

Но второе письмо ваше отъ 28 Августа не позволяетъ намъ молчать. Вы полагаете, что мы не помѣстили *Отвѣтъ Бакунину*, потому что вы не подписали вашего имени. Вы ошибаетесь... Что же намъ въ вашемъ имени? Мы не помѣстили вашего отвѣта потому, что считаемъ его *вреднымъ*.

Все наше стараніе, всѣ наши усилія идутъ къ тому, чтобъ *независимость* польскаго народа и *свободу* народа русскаго основать на совокупномъ, братскомъ дѣйствіи противъ петербургскаго деспотизма. Первое, что для этого надобно—это тѣсный союзъ, это взаимное довѣріе и уваженіе между людьми движенія — обѣихъ странъ. Такова, повторяемъ мы, наша основная мысль. Во имя ея мы помѣщали статьи въ родѣ: „Vivat Polonia" и „Mater Dolorosa"; во имя ея заклинали русскихъ воиновъ скорѣе лечь костьми на землѣ польской, чѣмъ стрѣлять въ поляковъ... Вы вѣроятно полагаете, что мы ошибаемся, — пишите противъ насъ, продолжайте худосдержаннымъ озлобленіемъ и неловко прикрытой ироніей раздувать чувства племенной ненависти и родственной вражды (горькій плодъ которыхъ—современное состояніе Польши), но не обращайтесь къ посредству „Колокола". Мы представляемъ *очень рѣзко, очень пристрастно, очень односторонне наше мнѣніе*, и вовсе не обѣщались помѣщать статьи, несогласныя съ нимъ.

Теперь русскихъ заграничныхъ органовъ нѣсколько, не говоря уже о польскихъ —вѣроятно партія, къ которой вы принадлежите, имѣетъ свой.

Мы не скроемъ отъ васъ, что тонъ вашего втораго письма удивилъ насъ. Вы пишете о грубомъ выраженіи въ журналѣ кн. Долгорукова противъ одного изъ вашихъ соотечественниковъ, и на насъ вымещаете его. Чѣмъ могли мы это вызвать, чѣмъ дали вамъ это право? Князь Долгорукій и теперь издаетъ журналъ; онъ не состоитъ подъ нашей опекой. Видѣли вы въ „Колоколѣ" бранныя слова?

Это ужъ въ родѣ южныхъ американскихъ генераловъ, которые, въ отместку жестокостей федеральныхъ начальствъ, вѣшаютъ плѣнныхъ, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія о нихъ. Можетъ это въ междуусобіи и идетъ,—да дѣло-то все въ томъ, что мы всѣми силами стараемся съ корнемъ выполоть всякое чувство ненависти между поляками и русскими.

Въ заключеніе позвольте намъ пожалѣть, что до васъ статья Бакунина дошла не въ оригиналѣ, а въ какомъ-то неизвѣстномъ намъ переводѣ на французскій языкъ. Переводъ, изъ котораго вы дѣлаете выписки, не вѣренъ; въ немъ есть цѣлыя фразы, которыхъ нѣтъ въ текстѣ, напримѣръ — неужели вы вѣрите, что Бакунинъ могъ написать такую нелѣпость: „La question du Christ, c'est-à-

dire la question panslaviste."*) Вѣдь это совершенное безуміе, а нашъ другъ Бакунинъ, слава богу, здоровъ.

Позвольте, милостивый государь, надѣяться, что наша переписка этимъ окончится.

Издатели „Колокола".

Колоколъ № 147.
15 Октября 1862 года.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛЬСКОМУ КОМИТЕТУ ВЪ ВАРШАВѢ.**)

Милостивые Государи,

Письмо Ваше къ намъ, помѣщенное въ прошломъ листѣ „Ко-

---

*) Думаемъ, что рѣчь идетъ вотъ о какомъ мѣстѣ: „и такъ, весь вопросъ о границахъ возвращается къ тому-жъ: что прежде осуществится: *Хлопская Польша* или *Крестьянская Россія?* Дай богъ, чтобъ онѣ осуществились вмѣстѣ, и чтобъ между нами было не Апеллесово и не Павлово, а Христово, т. е. *Обще-Славянское Дѣло.*"

**) Вотъ письмо Ц. П. К., на которое отвѣчаетъ Герценъ:

Милостивые государи,

Характеръ настоящаго польскаго движенія не всѣми Русскими понимается въ настоящемъ видѣ. Всѣ свѣдѣнія о немъ получаются въ Россіи изъ оффиціальныхъ объявленій, изъ нѣмецкихъ газетъ, часто подкупныхъ, почти всегда враждебныхъ, и изъ нѣкоторыхъ журналовъ французскихъ, мало знакомыхъ съ нашими дѣлами. Въ силу этого, многіе изъ Русскихъ остаются при старыхъ понятіяхъ возстанія шляхетской Польши, стремящейся одной силою возстановить свои историческія границы.

Все это не такъ.

Союзъ Поляковъ съ русскими на дѣло общаго освобожденія, представляетъ такую очевидную пользу для обѣихъ сторонъ, что мы рѣшаемся черезъ Васъ объяснить вашимъ друзьямъ основы новаго польскаго движенія.

Основная мысль, съ которой Польша возстаетъ теперь, совершенно признаетъ *право крестьянъ на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбою.*

Цѣль этого письма дать Вамъ возможность утвердительно сказать, что Вамъ извѣстны наши понятія объ этихъ краеугольныхъ вопросахъ народнаго дѣла нашего.

Крестьянскій вопросъ у насъ рѣшенъ уже всею Польшей, безъ различія политическихъ партій; всѣ согласны, что крестьянамъ слѣдуетъ отдать ихъ поземельный надѣлъ, на основаніи выкупа. Общее согласіе на этотъ счетъ дало намъ, стоящимъ во главѣ движенія, возможность выразить въ нашей политической программѣ, что народная организація въ первую минуту возстанія надѣлитъ сельскихъ обывателей землей, нынѣ ими обработываемой, а Народное Правительство возьметъ на себя вознагражденіе помѣщи-

локола", отмѣчаетъ новую эпоху въ великой эпопеѣ польской

ковъ изъ общихъ государственныхъ суммъ. Далѣе сказано въ программѣ, что народная организація стремится уничтожить всякаго рода сословныя права и доставить обиженнымъ доселѣ классамъ польскаго общества возможность стать на одинъ политическій уровень съ доселѣ привиллегированными сословіями, дабы въ новомъ польскомъ обществѣ былъ *одинъ народъ* изъ вольныхъ и равныхъ гражданъ.

Вы видите, что основныя идеи польскаго движенія — чисто народныя, что въ нихъ нѣтъ ни тѣни шляхетскаго консерватизма, что онѣ стремятся къ уничтоженію сословныхъ различій и къ обезпеченію крестьянъ землею.

Разница, существующая относительно крестьянскаго дѣла между нами и вами, происходитъ отъ различія общественныхъ началъ и обстоятельствъ, въ которыхъ мы находимся. Русское движеніе *земское;* наше *національное.* Въ Россіи соціальное движеніе разовьетъ политическую свободу; у насъ реорганизація общества можетъ быть только послѣдствіемъ освобожденія и возстановленія нашего края.

Вотъ основанія, на которыхъ мы надѣемся, что ваши друзья пойдутъ съ нами рука объ руку—пойдутъ такъ, какъ шли тѣ русскіе воины, которые запечатлѣли мученической кровью своей правоту нашего дѣла и освятили ею союзъ нашъ съ ними, во имя нашего освобожденія и русскаго земскаго дѣла.

Переходимъ ко второму вопросу. Вы и въ немъ увидите, что нѣтъ предполагаемой разницы въ воззрѣніи на право свободныхъ народовъ распоряжать своей судьбой.

Мы были лишены политическаго существованія насильственно. Мы этого насилія никогда не признавали, не могли и не можемъ признавать. Поэтому мы не признаемъ ни новыхъ границъ, ни *правительствъ*, основанныхъ на развалинахъ нашей свободы. Для насъ нѣтъ Польши *раздѣленной*, для насъ Польша единая, та, которая состоитъ въ соединеніи *Польши, Литвы и Руссиновъ*, безъ всякой гегемоніи котораго нибудь изъ трехъ народовъ.

Выходя изъ этой точки зрѣнія, мы стремимся къ возстановленію Польши въ прежнихъ ея границахъ, *оставляя народамъ, въ нихъ обитающимъ, т. е. Литвинамъ и Руссинамъ, полную свободу остаться въ союзъ съ Польшею или распорядиться собою согласно ихъ собственной волѣ.* Въ настоящихъ-же нашихъ пріуготовительныхъ дѣйствіяхъ мы почитаемъ нашею святѣйшею обязанностью употребить всѣ усилія для того, чтобы Литва и Украйна шли параллельно съ Польшею и чтобы народное возстаніе одновременно охватило всѣ части угнетенной родины нашей.

Высказавъ нашъ образъ мыслей въ нашей программѣ, мы высказываемъ его и теперь откровенно, искренно, безъ всякой задней мысли, и повторяемъ, что мы даемъ полное удостовѣреніе въ нашемъ уваженіи къ полноправности народовъ, соединенныхъ съ

борьбы за независимость. Начала, на которыхъ Вы призываете народъ польскій къ возстанію, такъ широки и современны, такъ ясно высказаны Вами, что мы не сомнѣваемся въ глубокомъ, дѣятельномъ сочувствіи, которое возбудятъ ваши слова во всѣхъ русскихъ, желающихъ свергнуть съ себя устарѣлое и оскорбительное иго правительственной опеки.

Что касается до насъ, намъ легко съ Вами идти; Вы идете отъ признанія правъ крестьянъ *на землю, обработываемую ими; Вы признаете право всякаго народа располагать своей судьбою.*

Это наши основы, это наши догматы, наши знамена.

Съ радостью передали мы ваши слова нашимъ соотечественникамъ, и благодаря Васъ отъ всего сердца за то, что вы избрали насъ посредниками вашего сближенія съ русскими, мы не можемъ ничѣмъ достойнѣе отвѣчать Вамъ, какъ печатая прилагаемое письмо къ русскимъ офицерамъ, стоящимъ въ Польшѣ. Письмо это отвѣтъ; мы медлили цѣлые мѣсяцы, и очень рады, что медлили — Вы дали намъ „возможность утвердительно сказать, что намъ извѣстны ваши понятія о краеугольныхъ началахъ народнаго дѣла вашего.“

Во имя ихъ да воздвигнется Польша, независимая, искушенная въ несчастьяхъ, окрѣпнувшая въ боѣ — да воздвигнется она безсословная, отбросивъ средневѣковые доспѣхи, безъ кольчугъ и аристократическаго щита, пусть она явится славянскимъ поюнѣвшимъ атлетомъ, подающимъ одну руку — бѣдному хлопу, а другую—равноправному сосѣду.

Во имя ихъ примите и нашу дружескую руку, слабую силами, но неизмѣнную въ убѣжденіяхъ; мы ее подаемъ Вамъ *какъ русскіе,*

Польшею и страдавшихъ вмѣстѣ съ нею. Требовать отъ насъ, чтобъ мы, находясь подъ гнетомъ нашихъ враговъ, не имѣя свободы и возможности распоряжаться собою, отреклись отъ союза, который существуетъ и въ настоящее время, несмотря на раздѣлы; требовать отъ насъ, чтобы мы, на основаніи правъ, которыя мы признаемъ у другихъ народовъ, не стремились къ возстановленію Польши въ прежнихъ границахъ — значитъ, требовать отъ насъ признанія раздѣловъ и отреченія отъ силы, которую придаетъ дѣлу нашей свободы союзъ трехъ, въ одно цѣлое соединенныхъ народовъ.

Изложивъ вамъ, какъ представителямъ свободной русской мысли, начала, на которыхъ мы призываемъ нашу родину къ великой борьбѣ, мы увѣрены, что братскій союзъ между Русскими и Поляками, на нашей польской землѣ, дастъ равно новую силу обоимъ на исполненіе тѣхъ судебъ, къ которымъ стремятся освобождающіеся народы.

Примите, Милостивые Государи, увѣреніе въ нашемъ глубокомъ уваженіи къ трудамъ вашимъ и истинномъ сочувствіи къ усиліямъ вашимъ.

Варшава, 20 (8) Сентября 1862 года. *Л. Т.*

мы любимъ народъ нашъ, мы вѣруемъ въ него и его будущность, и именно потому подаемъ Вамъ ее *на дѣло справедливости и свободы!*

10 окт. 1862 г. **Издатели „Колокола“.**

— —

РУССКИМЪ ОФИЦЕРАМЪ ВЪ ПОЛЬШѢ.

Друзья и Братья!

Долго не отвѣчали мы вамъ на два письма ваши. Труденъ былъ вашъ вопросъ, многое останавливало нашъ отвѣтъ, но время шло, обстоятельства росли, гроза становилась ближе, и медлить нельзя было больше. Удаленные отъ мѣста дѣйствій, не дѣлящіе вашей опасности, мы долго отказывались отъ печальной роли заграничныхъ совѣтниковъ. Но всѣ личныя неудобства должны замолкнуть передъ общимъ дѣломъ, передъ опасностью ошибки съ вашей стороны. Не высказать нашего мнѣнія при теперешнихъ обстоятельствахъ было бы слабостью, почти предательствомъ. Наша любовь къ родинѣ, наша религіозная преданность ея благу, наша искренность въ томъ, что мы говоримъ — заслужили намъ вашъ повторенный вопросъ; мы благодарили васъ, и были готовы отвѣчать съ чистой совѣстью, со страхомъ истины и съ благочестіемъ къ судьбѣ вашей, на вашъ вопросъ — *что должно дѣлать русскимъ офицерамъ, находящимся въ Польшѣ, въ случаѣ польскаго возстанія?*

Общій отвѣтъ простъ — идти подъ судъ, въ арестантскія роты, быть разстрѣленнымъ, какъ Сливицкій, Аргольдъ и Ростковскій, быть поднятымъ на штыки, какъ вамъ грозилъ вашъ дикій кондотьеръ Хрулевъ, *но не подымать оружія противъ поляковъ*, противъ людей, отыскивающихъ совершенно справедливо свою независимость.

Поддерживать силою оружія правительство, составляющее польское и наше несчастіе, вамъ невозможно, не совершивъ сознательно преступленія или не унизившись до степени безсознательныхъ палачей. Время слѣпаго повиновенія миновало. Дисциплина не обязательна тамъ, гдѣ она зоветъ на злодѣйство, — не вѣрьте этой религіи рабства, на ней основаны величайшія бѣдствія народовъ. Не подымать оружія противъ поляковъ заставляетъ васъ совѣсть, уваженіе къ правотѣ ихъ дѣла, къ достоинству человѣка и наконецъ уваженіе къ нашему русскому земскому дѣлу.

Нельзя начинать эру свободы въ своей родинѣ, затягивая веревку на шеѣ сосѣда; нельзя себѣ требовать правъ и тѣснить во имя матеріальной силы и политическихъ фантазій другой народъ. На этихъ властолюбивыхъ притязаніяхъ, на развитіи грубыхъ страстей стяжанія и захватывавія держались и держатся уродства военныхъ монархій, заслоняющихъ мнимымъ величіемъ и побѣдоносными знаменами внутреннее неустройство и безвыходное рабство подданныхъ.

Клянитесь, хотѣли мы вамъ сказать, не подымать оружія противъ

поляковъ — и чувствовали, что отвѣтъ нашъ *не полонъ*, чувствовали, что это отвѣтъ *отрицательный*, что онъ только говоритъ, чего вамъ не дѣлать, а надобно подумать о томъ, *что дѣлать*, даже для того, чтобы вы не были въ необходимости погибнуть жертвами искупленія. Мученичество свято и прекрасно, когда оно необходимо. Каждая капля крови вашей дорога русскому народу; передъ нимъ вы будете отвѣчать не только за себя, но за каждаго солдата, т. е. за каждаго вооруженнаго крестьянина, насильственно оторваннаго правительствомъ отъ своей земли. Историческіе грѣхи искупаются легко и безъ крови, однимъ отрицаніемъ отъ нихъ.

Дѣятельный союзъ вашъ съ поляками не можетъ ограничиться однимъ отторженіемъ Польши отъ Россіи. онъ долженъ стремиться къ тому, чтобъ это отторженіе помогло въ свою очередь нашему земскому переустройству, и поэтому степень вашего дѣятельнаго участія зависитъ отъ того, какой характеръ, относительно главнаго земскаго вопроса и относительно провинцій, будетъ преобладать въ польскомъ возстаніи.

Тяготившее насъ сомнѣніе разрѣшено. Мужественный, открытый языкъ *Варшавскаго Комитета* снялъ камень съ нашей груди, онъ намъ указалъ на основную мысль союза поляковъ съ русскими. Отвергая всякій характеръ *сословно-шляхетскій*, завоевательный, Комитетъ прямо указалъ на *поземельное право* крестьянъ и на *самоправность* областей устроиться по ихъ желанью, какъ на основныя начала современнаго движенія.

Земля крестьянамъ, самобытность областямъ—на этомъ основаніи, *и только на немъ*, можетъ утвердиться дѣятельный союзъ вашъ съ польскими братьями. Опираясь на него, вамъ легко обратиться къ народу русскому, къ русскимъ войскамъ, передъ которыми вы обязаны отчетомъ за себя и за солдатъ, и объяснить имъ, почему вы идете съ вольными людьми за волю. Вы имъ скажете, что народъ польскій не врагъ Россіи, а врагъ императорскаго деспотизма, что онъ хочетъ своей независимости и признаетъ независимость другихъ народностей, соединенныхъ прежде съ Польшей.

Что Польша желаетъ остаться въ федеральномъ союзѣ со всѣми народами, входившими въ цѣлость Рѣчи Посполитой, это совершенно естественно, и что она не можетъ признать насильственнаго раздѣленія, не отрекаясь отъ самобытности своей, тоже ясно. Еслибъ это было иначе, то Варшава, какъ Петербургъ, признала бы Галицію—Австріей, Познань—Пруссіей.

Съ своей стороны поляки должны понять, что сохранить тотъ же федеральный союзъ будетъ стремленіемъ не только правительства русскаго, но и всего русскаго народа. И это фактъ, который не слѣдуетъ упускать изъ вида. Какой же русскій не считаетъ и притомъ совершенно справедливо — *Кіевъ* такимъ же русскимъ городомъ какъ *Москву?*

Что касается до нашего мнѣнія, мы ровно не принимаемъ ни *матеріальную силу за право*, ни *историческое право за силу*. Мы

признаемъ не только за каждой народностью, выдѣлившейся отъ другихъ и имѣющей естественныя границы, право на самобытность, но за каждымъ географическимъ положеніемъ. Еслибъ Сибирь завтра отдѣлилась отъ Россіи, мы первые привѣтствовали бы ея новую жизнь. Государственная цѣлость вовсе не совпадаетъ съ народнымъ благосостояніемъ.

Въ силу этого намъ было-бы очень жаль, еслибъ Малороссія, напр., призванная свободно выразить свою мысль, не умѣла бы остаться при полной независимости. Память того, что́ она выстрадала послѣ Богдана Хмѣльницкаго чрезъ присоединеніе къ Москвѣ, и память того, что́ заставило Хмѣльницкаго идти въ царскую кабалу, могли-бы послужить ей великимъ урокомъ.

При теперешнемъ положеніи знать, чего желаетъ Литва, Бѣлоруссія, Малороссія, очень трудно; гнетъ русскаго правительства не даетъ ни малѣйшей возможности высказаться и тотъ-же гнетъ заставляетъ ихъ смѣшивать все русское съ правительственнымъ.*) Изъ этого ясно, что и самый вопросъ надобно оставить, не предрѣшая его безъ тѣхъ, кто единственно имѣетъ право его рѣшить... Скажемъ вмѣстѣ съ Поляками: *быть Литвѣ, Бѣлоруссіи и Украйнѣ съ кѣмъ они быть хотятъ или ни съ кѣмъ, лишь бы волю ихъ узнать не поддѣльную, а дѣйствительную.*

Обращаемся теперь къ вашему внутреннему устройству, къ пути, который, намъ кажется, вамъ слѣдуетъ держать.

Вступая какъ русскіе въ союзъ съ поляками, вы должны вступить въ него *какъ самобытная организація*, и потому требовать участія и голоса въ совѣщаніяхъ. Не распуститься въ польскомъ дѣлѣ должны вы, а сохранить себя въ немъ для русскаго дѣла; польское возстаніе для васъ случайность, вы ее не вызывали, вамъ нельзя ее отклонить; врядъ ли можно уклониться отъ участія, въ этомъ все трагическое вашего положенія, но участвуя въ немъ, по роковой необходимости, вы должны стремиться къ тому, чтобъ вашъ союзъ съ Польшей двинулъ бы наше земское дѣло. Вы частный случай его. Вы одинъ кругъ цѣлой системы круговъ, которыхъ средоточіе сложится. Помните это и старайтесь соединить общимъ планомъ польское движеніе съ движеніемъ русскимъ. Только отъ этой солидарности и можно ждать дѣйствительнаго успѣха, только тогда вы можете требовать, чтобы поляки

---

*) Сколько намъ извѣстно: господскіе домы, города, капиталы, образованіе, сила умственнаго и промышленнаго развитія со стороны Польши; народъ, села, массы, если не противъ Польши, то вѣроятно и не за нее. Тутъ мѣсто широкому, законному вліянію польской цивилизаціи. Пропаганду вообще мудрено остановить полицейскими мѣрами, но пропаганду искупленія, отреченія отъ старыхъ злоупотребленій, отъ своихъ правъ на поземельную собственность, *невозможно остановить* никакому правительству въ мірѣ. Это путь къ завоеванію массъ, противъ котораго мы не скажемъ ни слова.

пріостановились въ своемъ движеніи. А это *одна изъ первыхъ* необходимостей—*преждевременный взрывъ въ Польшѣ ее не освободитъ, васъ погубитъ и непремѣнно остановитъ наше русское дѣло.*

Причинъ на это много, мы укажемъ двѣ главныхъ.

У насъ ничего не готово. Крѣпко устроенный кругъ офицерскій существуетъ, сколько намъ извѣстно, только у васъ. успѣхъ вашъ правда колоссаленъ. Въ нѣсколько мѣсяцевъ вы бросили мостъ черезъ пропасть, отдѣляющую дворянина въ эполетахъ отъ крестьянина съ ружьемъ въ рукѣ, вселили братское довѣріе въ поляковъ и четырьмя мучениками показали міру непреодолимую мощь вашихъ убѣжденій. Казнь товарищей вашихъ въ Модлинѣ имѣетъ безмѣрное значеніе для Россіи: по одному и *тому же дѣлу*, по которому разстрѣляны два офицера, палъ унтеръ-офицеръ отъ тѣхъ же палаческихъ пуль и умеръ засѣченный солдатъ. Солдатъ и унтеръ-офицеръ погибли за то, что не выдали офицеровъ. Благословенна могила ихъ, могила двойнаго примиренія — русскаго воина съ полякомъ, русскаго офицера—съ солдатомъ!

Но не увлекайтесь, это только начало; офицерскіе круги должны учредиться вездѣ внутри Россіи, во всѣхъ арміяхъ, во всѣхъ краяхъ, вездѣ должны они сблизиться не только съ солдатомъ (это первая обязанность, безъ которой всякая пропаганда вздоръ), но съ народомъ. Полно ему смотрѣть на русскаго офицера какъ на враждебнаго опричника, полно самому офицеру смотрѣть на себя какъ на царскаго слугу, употребляемаго въ мирное время на то, чтобъ быть палачемъ.

Но это еще не сдѣлано; предварительный трудъ, обширный, неутомимый лежитъ на васъ и на друзьяхъ вашихъ. Соединяйтесь въ круги, дѣлайте пропаганду и прислушивайтесь, что дѣлается на великой Руси, какой гулъ тамъ идетъ, чтобъ она васъ не застала въ расплохъ.

На Руси, въ сію минуту, врядъ можетъ-ли быть возстаніе.

Помните, что мы русскіе, по превосходству народъ сельской и что надѣлъ землей—основной догматъ нашего земскаго дѣла.

Русскій народъ не возстанетъ ни за какіе фантастическіе идеалы, онъ не пойдетъ ни въ какой крестовый походъ изъ-за гроба, намъ нужно не фантастическое царство, а царство *земное*, т. е. мы хотимъ собственную нашу землю, чужой намъ не надобно.

Народъ русскій, мрачно молчавшій столѣтія въ своей невзгодѣ, два раза въ нашъ вѣкъ поднималъ голову. Въ 1812 году, испугавшись за цѣлость *земли русской*, онъ превратился въ ополченіе; теперь онъ боится не за землю русскую, а за свою пахатную, луговую землю; освобожденный въ половину, онъ сторожитъ ее. Оторопѣлое правительство не съумѣетъ ему отдать честно и прямо землю. Вилять послѣ окончанія переходнаго состоянія, т. е. весною будущаго года, нельзя больше. Крестьянинъ землею не поступится, онъ навѣрное упрется; возстанетъ тогда Польша, броситесь вы, съ вашими и съ ихъ солдатами въ Литву, въ Малороссію, во имя крестьянскаго права на землю и гдѣ найдется

сила противодѣйствовать? Волга и Днѣпръ откликнутся вамъ. Донъ и Уралъ!

Вы знаете, что земля, т. е. *право на нее* зевледѣльцевъ—составляетъ ту прочную и самобытную основу, на которой зиждутся всѣ наши надежды на будущность Россіи. Русскимъ отношеніемъ крестьянина къ землѣ, возведеннымъ и обобщеннымъ въ законъ, можетъ только искупиться передъ русскимъ народомъ—монгольско-московское и петербурго-нѣмецкое плѣненіе. Намъ многіе говорили, что мы поземельному вопросу даемъ перевѣсъ. Дѣйствительно, въ русскомъ развитіи онъ перевѣшиваемъ, но это сдѣлали не мы. Этотъ перевѣсъ ему данъ духомъ, геніемъ русскаго народа извнутри, и несостоятельностью всѣхъ политическихъ революцій—извнѣ. Наше переустройство является по преимуществу съ характеромъ сельскимъ, общиннымъ, земскимъ... Вызванное сверху, оно поднимается отъ нивы, полей и дубравъ; оно идетъ отъ плуга, отъ надѣла землей, и безъ земли ни на шагъ. Оно стремится къ сочетанію, на существующихъ народныхъ обычаяхъ, *общиннаго самоуправленія*—съ полнымъ владѣніемъ землей. Ходъ этотъ удивляетъ, конфузитъ, онъ необыченъ, въ немъ не соблюдена западная форма, революціонная рутина, къ которой люди переворотовъ привыкли. Что-же дѣлать! Можетъ этотъ путь труднѣе и тише, но за то имъ не дойдешь до вопроса: „Хлѣба или свинца?“ ни до отвѣта. „У кого есть снинецъ, у того есть хлѣбъ!“ Хлѣбъ у насъ будетъ, потому что надѣлъ землею *долженъ быть*.

Не принимайте хлѣба насущнаго легко, не вѣрьте празднымъ риторамъ и пустымъ идеалистамъ.

Бѣдствія Европы, много выстрадавшей въ своихъ исполинскихъ борьбахъ, оправдываютъ вполнѣ народъ русскій.

Нѣтъ освобожденія безъ земли!

Нѣтъ свободы—безъ куска хлѣба!

На знамени Таборитовъ, была *чаша съ кровью искупленія душъ*, на нашемъ будетъ дискосъ съ хлѣбомъ полей крестьянскихъ, *съ хлѣбомъ искупленія тѣлъ*.

Не краснѣйте славянской простоты этихъ символовъ, они полнѣе человѣческимъ смысломъ всѣхъ хищныхъ звѣрей, друглавыхъ птицъ съ когтями, нелѣпыхъ драконовъ, окровавленныхъ мечей и дымящихся пушекъ, служащихъ эмблемами дикой силы и кровожаднаго стяжанія народовъ, которыхъ неразвитая и испорченная фантазія ихъ избрала.

Съ новой хоругвью, пойдемъ мы на исполненіе новыхъ судебъ нашихъ. Двери прошедшаго захлопнуло само правительство пошлымъ праздникомъ тысячелѣтія, и не хотя признаться, что для Россіи настаетъ иное время, но оно нами самими должно водвориться; теперь не явится больше Петръ, просвѣтитель съ кнутомъ, это вы знаете.

Вотъ все, что мы хотѣли вамъ сказать на первый разъ, въ отвѣтъ на ваши письма. Вы, друзья, не скажите, что мы не имѣли

права вамъ совѣтывать—вы вызвали нашъ отвѣтъ, и Поляки этого не скажутъ — они насъ избрали своими посредниками, и совѣсть наша этого не говоритъ.

Скажутъ, это—люди, которыхъ духъ сломился отъ рабства, которые, привыкнувъ съ дѣтства къ молчанію передней и фронта, все еще думаютъ, что право говорить объ общемъ дѣлѣ, принадлежитъ присутственному мѣсту и квартальному надзирателю. Пожалѣемъ объ нихъ, и будемъ съ вѣрой продолжать наше дѣло.

Издатели *Колокола.*

Колоколъ № 149.
1 Ноября 1862 года.

¿ Три раза спрашивали мы, чѣмъ кончилось знаменитое слѣдствіе о зажигательствахъ, по которому сидѣли сотни человѣкъ въ крѣпости и въ частныхъ домахъ. Отвѣта не было, а потому мы сами теперь отвѣчаемъ: Все это былъ полицейскій обманъ, который долженъ былъ испугать императора сверху и слабыхъ внизу. Зажигателей внѣ полиціи не нашли—а въ полиціи *не искали*... Не попробовать-ли??

Колоколъ № 151.
1 Декабря 1862 года.

ПОДТАСОВАННЫЙ НАБОРЪ.

„Трудную задачу задало себѣ русское правительство — оно хочетъ соединить начала англо-саксонскаго гражданскаго строя съ монгольскимъ управленіемъ“, сказалъ какъ-то одинъ корреспондентъ *Теймса* въ статьѣ „О Польшѣ“.*)

Дѣйствительно задача трудная!

Можно-ли что-нибудь выдумать безобразнѣе подтасованнаго рекрутскаго набора въ польшѣ? Какое оправданіе имѣетъ невская орда, устраивая эту систематическую, расчитанную за угломъ кражу людей—изъ мести, изъ трусости?

Такъ вотъ она великая миссія примиренія, на которую поѣхалъ нашъ сухопутный адмиралъ, государевъ братъ, состоящій въ должности Батыя въ Польшѣ—да и не Батыя—Батый былъ полководецъ, побѣдитель, а Константинъ Николаевичъ еще ничего не покорилъ—кромѣ сердца Головнина.

Какъ же онъ, прогрессистъ императорскаго дома, не бросился самъ въ Петербургъ, не растолкалъ нѣмецкую татарву и не объяснилъ своему брату, что брать по выбору администраціи людей въ рекруты чудовищно, безобразно? что Поляки не могутъ этого вынести—что изъ за этого набора польется кровь?

Или они того и хотятъ?

---

*) 13 ноября 1862 г.

Полноте, господа Зимній Дворецъ, дурачить свѣтъ! Нельзя въ самомъ дѣлѣ соединить habeas corpus, въ дурномъ переводѣ, съ усовершенствованными монгольскими кандалами.

Въ то время какъ мы, завѣдомые анархисты — умоляли Поляковъ выждать, не торопиться съ возстаніемъ, умоляли русскихъ офицеровъ употреблять всѣ усилія, чтобы устранить, отдалить преждевременное возстаніе—въ то самое время *отцы* и *дяди* отечества, консерваторы по положенію, устраиваютъ воровской наборъ въ Польшѣ, какъ будто для того чтобъ вызвать *возстаніе отчаянія*.

Видно и въ этомъ пожарѣ, зажигателями будутъ они сами. Да падутъ-же на ихъ голову — рушащіеся своды и перегорѣлыя балки.

А мы все терпимъ. Долго-ли же мы будемъ молча смотрѣть на этихъ поврежденныхъ, слѣпыхъ, глухихъ ямщиковъ, которые насъ непремѣнно опрокинутъ въ страшную трясину несчастій и позора, и у которыхъ отчета нельзя спросить по малоумію и калечеству? Чего мы ждемъ?—Пока сзовутъ думу? Да ее никогда не сзовутъ—надобно, чтобъ она собралась. Мининъ не ждалъ царска о указа, чтобъ начать свою агитацію для спасенія Руси. Дума, Соборъ — нужны не Зимнему Дворцу, а народу русскому; ее надобно *имъ* втѣснить—и, если мы хотимъ, мы можемъ это.

Недовольно имъ войны на Кавказѣ—войны, которая продолжается *послѣ* барятинскаго покоренія, еще польскую войну имъ надобно. Да что-же въ самомъ дѣлѣ за палачи — русскіе солдаты и офицеры?

Поляки весьма вѣроятно не вынесутъ такой наглый произволъ, такую грубую несправедливость, такое удесятереніе тягости — самой тяжкой повинности. Съ жребіемъ человѣкъ можетъ еще мириться, съ назначеніемъ полицейскихъ лазутчиковъ никогда. Передъ такой обидой нечего разсчитывать силъ. Да и вообще возстанія начинаются не большинствами, а энергическимъ меньшинствомъ. Еслибъ мысль возстанія имѣла за себя силу съ самаго начала, тогда возстаніе было-бы не нужно. Такой примѣръ дала на дняхъ Греція. Она, соединивши всѣ воли въ одну ногу, преспокойно вытолкнула за дверь баварца, съ меньшими хлопотами чѣмъ въ Англіи отставляютъ отъ мѣста швейцара.

И такъ Варшавѣ — еще разъ придется поднять свою покрытую рубцами и закованную руку на защиту дѣтей своихъ отъ людокрадовъ. Наши офицеры, наши солдаты долею станутъ съ ними, потому что противъ нихъ идти позорно и русская кровь польется съ обѣихъ сторонъ, и все это изъ-за чего?—Изъ-за капризной мести трусливаго правительства, которое, не давая никому отчета, слѣдуетъ поэтическимъ внушеніямъ своего разстроеннаго воображенія.

Подъ опеку Думы его! подъ опеку Собора Земскаго! . . . . или мы дойдемъ до страшныхъ бѣдствій.

Колоколъ № 152.
15 Декабря 1862 года.

ПУТИ! ПУТИ!

Намъ становится неловко молчать на постоянно повторяемое обвиненіе въ дороговизнѣ русскихъ книгъ, печатаемыхъ въ Лондонѣ. Разъ навсегда мы объяснимъ нашимъ читателямъ, что цѣна русскихъ книгъ зависитъ не отъ насъ, *а отъ нихъ*.

При заведеніи русской Типографіи въ Лондонѣ не было въ виду *торговаго оборота*. Все дѣлалось и дѣлается единственно съ цѣлью пропаганды.

До 1857 года не только печать, но и бумага не окупалась. Съ тѣхъ поръ всѣ издержки покрываются продажей, далѣе наши финансовыя желанія не идутъ.

Что касается собственно *до избытка* отъ продажи, то его *только что достаетъ* на покрытіе ущерба — отъ *перехватываемыхъ* тремя полиціями экземпляровъ; отъ экземпляровъ. которые мы считаемъ необходимымъ посылать безденежно и на нашъ собственный счетъ; отъ экземпляровъ, за которые не платятъ, но которые мы посылаемъ, потому что они доходятъ въ Россію.

Печать въ Лондонѣ очень дорога, это не новость. Лондонскія цѣны на печать и бумагу извѣстны*). Зачѣмъ мы печатаемъ въ Лондонѣ? За тѣмъ, что въ Европѣ нѣтъ вѣрнаго угла, въ которомъ бы можно было печатать. Мы и живемъ въ Лондонѣ вовсе не по пристрастію къ его нравамъ, дороговизнѣ и туманамъ.

Тѣмъ не менѣе и лондонскія изданія можно было бы свести на половинную цѣну. Кто же виноватъ въ томъ, что они продаются такъ дорого?

Вы, а не мы.

Открыть новые пути сообщенія мы не можемъ, это ваше дѣло; этого требуетъ справедливость, нельзя же, чтобъ мы все дѣлали, а вы дарили-бы намъ одну благосклонность читателя. Всѣ русскіе, съ которыми намъ случалось говорить, увѣряли насъ, что пути провоза книгъ черезъ русскую границу устроить *очень легко* — тѣмъ лучше—мы вовсе не хотимъ васъ обременять тяжкимъ трудомъ, сдѣлайте легкое, но *сдѣлайте въ самомъ дѣлѣ*. Когда вы устроите постоянные и *прямые* пути. тогда мы будемъ печатать вмѣсто каждой тысячи—десять тысячъ, и съ каждой тысячью цѣна будетъ больше и больше падать на цѣну бумаги. Тогда русская типографія станетъ независимо отъ трехъ книгопродавческихъ этаповъ. Тогда мы не будемъ въ необходимости набавлять *пятьдесятъ* процентовъ. Тогда и цѣна въ Россіи не будетъ возвышена срывщиками, надъ которыми мы контроля имѣть не можемъ.

---

*) Печатный листъ большаго формата тысяча экземпляровъ, на русскомъ языкѣ, стоитъ больше 150 фр. въ Лондонѣ, и около 75 фр. на Континентѣ.

Безъ вѣрныхъ, правильно устроенныхъ путей не будетъ дешевыхъ книгъ.

Не умѣете, не хотите, скучаете искать вѣрныхъ путей (не смотря на то, что это очень легко), оставайтесь подъ монополью предпріимчивыхъ книгопродавцевъ и платите имъ втрк-дорога.

Наконецъ, если это для васъ легче, перепечатывайте внутри Россіи всѣ наши изданія, Россія велика, какъ не спрятать въ ней типографскаго яшика, когда въ Варшавѣ выходитъ „Рухъ", „Стражница" и пр. подъ носомъ Віелепольскаго и всѣхъ шпіоновъ, которымъ еще не обрѣзали уши какъ Фелькнеру.

Впередъ позвольте намъ на это не возрашаться.

Издатели „Колокола".

Колоколъ № 153.
1 Января 1863 года.

MDCCCLXIII.

Въ походахъ даютъ солдатамъ черезъ два-три дня дневку, для того чтобъ собраться съ силами, исправить амуницію, осмотрѣть подковы, почистить ружья и пр.; время чернорабочее не самый день, *а канунъ* относительно будущаго и *отдыхъ* относительно прошедшаго. 1862 годъ былъ дневкой для насъ, отдыхомъ послѣ манифеста 19 Февраля, сочельникомъ передъ *созваніемъ Земскаго Собора* — поэтому, отдавая ему равнодушную справедливость, мы провожаемъ его въ могилу безъ слезъ и радости. Много въ немъ *„басковъ перелопалось"**) у старой реакціонной гитары, много старовѣровъ покривилось, пало преждевременно на ноги, но всѣ они еще дышатъ; въ немъ также многое и зародилось, стремится обнаружиться, но не вышло еще на свѣтъ.

Между этимъ яровымъ житвомъ и озимовыми всходами набралось много любопытнаго и полезнаго со стороны правительства и много пророческаго, бросающаго свѣтъ впередъ со стороны народа.

Начнемъ, какъ подобаетъ, съ правительства.

Мы ему обязаны, во первыхъ, истиной, что когда нѣтъ поджо-

---

*) Одинъ мой знакомый, *московскій помѣщикъ* (какъ Александръ Николаевичъ), часто бывающій за границей, ѣздилъ недавно въ симбирскую и тамбовскую губ. (у него, какъ у Александра Николаевича, помѣстья въ разныхъ губерніяхъ), гдѣ онъ не былъ года два. Онъ не могъ придти въ себя отъ перемѣны, произошедшей въ помѣщичьемъ кругу — 19 февраля изсушило ихъ и положило въ лоскъ. „Едва я могъ узнать старыхъ пріятелей, тѣже люди, но *баски полопались*, кто ногу тащитъ, кто водки не пьетъ, кого совсѣмъ перекосило, нѣтъ веселья, всѣ сердятся, желчные, исхудалые; солонъ пришелся имъ манифестъ!" *Полопавшіеся баски* должны остаться въ исторіи вмѣстѣ *съ ослушнымъ днемъ и желаннымъ часомъ.*

говъ, то очень трудно сыскать зажигателей и чрезвычайно легко наполнить тюрьмы невинными жертвами.

Мы ему обязаны новыми доказательствами библейской истины, что богъ, отдѣливши при сотвореніи міра воду отъ земли, такъ и животныхъ приладилъ, чтобъ морскіе жили въ морѣ, а сухопутные на сушѣ, въ силу чего бобръ не строитъ подъ водою, а рыба не занимается земледѣліемъ. Морская болѣзнь нашего правительства сдѣлала эту истину очевидной. Морякъ Путятинъ, морякъ Константинъ Николаевичъ, морякъ Головнинъ*) обнаружили рѣдкую неспособность „во всѣхъ родахъ различныхъ". Одинъ не съумѣлъ погубить просвѣщеніе, другой не съумѣлъ его возстановить, третій (по правдѣ ему и задача по мудренѣе досталась) не съумѣлъ разомъ губить и возстановлять Польшу.

Но есть истины болѣе черныя, открытыя во всемъ безчеловѣчномъ ужасѣ отеческимъ правительствомъ въ Петербургѣ и тутъ на первомъ планѣ страшная, ненужная, ничѣмъ неоправданная, чудовищная казнь *Арнгольдта*, *Сливицкаго*, *Ростковскаго и Щура*. Ничего подобнаго не было со временъ императрицы Елизаветы... ни даже при Николаѣ, ссылавшемъ людей за то, что они слушали молча, но съ улыбкой, письмо Бѣлинскаго къ Гоголю. Этотъ нероновскій поступокъ, сдѣланный лицемѣрно, чужими руками, подъ фирмой Лидерса, даетъ великое поученіе—тупѣйшіе люди могутъ понять, что въ данную минуту можетъ сдѣлать благодушное правительство, которому дано безконтрольное право убійства съ утайкой причины. Намъ остается благодарить, что оно такъ скромно пользуется этимъ невиннымъ удовольствіемъ.

Самодержавные апетиты ростутъ быстро; какой шагъ они сдѣлали отъ произвольнаго ареста Огрызки до приговора на шесть лѣтъ каторжной работы Михайлова, приговора, намѣренно прочитаннаго въ великую годовщину 14 Декабря! И какой шагъ отъ шести лѣтъ—до шести пуль въ грудь юношей пылкихъ, горячихъ и ничего не сдѣлавшихъ выходящаго изъ общихъ дисциплинарныхъ правилъ.

Но такъ какъ государь еще молодъ и росту самодержавныхъ апетитовъ трудно предвидѣть предѣлъ, то не очевидно-ли, что этому росту надобно поставить земскую плотину и, подражая краснорѣчію его величества, сказать государю: „Здравствуйте, московскій помѣщикъ! Мы рады васъ видѣть, мы вамъ оставляемъ свободу управлять нами, но помните, управлять по законамъ, а не по своеволью. Требуемъ за тѣмъ отъ васъ точнаго исполненія установленныхъ постановленій. Мы хотимъ, чтобъ уставная грамота между нами была немедленно составлена; за тѣмъ, послѣ составленія ея къ 19 Февраля будущаго года, не ожидать никакой новой власти и никакихъ новыхъ льготъ. Слышите-ли? Не слушайте толковъ, которые ходятъ по переднимъ зимняго дворца, не

*) Иные говорятъ, что онъ землеводный, ни то, ни се — намъ кажется се.

вѣрьте ни графамъ, ни князьямъ, ни Адлербергамъ, ни Гагаринымъ, ни Коцебу отъ Коцебу рожденнымъ, ни нечеловѣческимъ сынамъ III отдѣленія, а вѣрьте однимъ словамъ народа вашего, собравшагося въ Земскій Соборъ. Теперь прощайте, богъ съ вами!"

Простившись съ правительствомъ, въ его высшемъ воплощеніи, намъ остается опуститься въ низменныя сферы народной жизни. Сходя лѣстницу за лѣстницей зимняго дворца, опускаясь отъ генералъ-адъютантовъ до флигель-адъютантовъ, отъ флигель-адъютантовъ до свитскихъ офицеровъ, отъ свитскихъ офицеровъ до гофъ-фурьеровъ, этихъ литераторовъ зимняго дворца, издающихъ потаенный журналъ *Его Время* (въ родѣ *Нашего Времени*, издаваемаго Павловымъ), мы встрѣчаемся наконецъ съ народомъ въ караульной.

— Ну, народъ, что у тебя бродитъ на душѣ, скребетъ на сердцѣ? съ чѣмъ ты переходишь въ 1863 годъ? что ты придумалъ и выдумалъ?

— Какой же это народъ?—это солдаты.

— Да солдаты развѣ не народъ?

— Что вы! посмотрите во Франціи, въ Пруссіи.

— Мы говоримъ о Россіи, можетъ въ Россіи солдатъ не такъ далекъ отъ народа.

— Sehen Sie—какъ-то замѣтилъ мнѣ одинъ нѣмецкій революціонеръ, вѣровавшій, что изъ русскаго безъ палки и нѣмца ничего не сдѣлаешь — was für unser einem zu ominös ist in diesem Muschik Volke—man kann nicht klug aus ihm werden.

— Chaotische Verwirrung der Barbarei, отвѣчалъ я ему.

— Ja, ja, eine ganz fatale Vervirrung. So ein Volk von Troglodyten des Herodotes.

Въ самомъ дѣлѣ, что за хаосъ эта русская жизнь, все вверхъ ногами, все внизъ головой, всѣ играютъ роли, и всѣ не то, что представляютъ; никого не узнаешь по платью, а всѣ одѣты въ форму, да въ мундиръ. Гдѣ тутъ нѣмцу провести свою статсъ-классификацію, когда табель о рангахъ, при помощи всевозможныхъ поощреній отъ звѣздъ, чиновъ и крестовъ до каторжной работы и шпицрутеновъ, осталась, въ родѣ линнейевой системы растеній, чѣмъ то наружнымъ. Сумбуръ да и только. Вчера человѣкъ былъ рабомъ, а землю считалъ своей собственностью. Аристократъ, вельможа, сановникъ у насъ личность наиболѣе стертая, далеко не имѣющая самобытности земскаго исправника или степнаго помѣщика. Генералы завѣдуютъ штатскими дѣлами, генералы сидятъ за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ синодѣ, за то архіереи въ кавалеріяхъ черезъ плечо. Выслужившійся истопникъ царскій, сѣдой и бѣлой какъ лунь, производится за отличіе въ придворные арапы...

— Да это мы все знали до 1862.

Но вотъ что мы чуяли, подозрѣвали, но не знали и что началъ намъ раскрывать 1862 г. — это, что наши солдаты — народъ, что

наши офицеры—наши братья, что мундиръ, какъ короста, остался между пальцами, а въ глубь не пошелъ. Кутерма петровскаго разгрома сбила всѣхъ съ толку; при трескѣ барабановъ и свистѣ шпицрутеновъ, при „музыкѣ въ шпорахъ“ и съ „зубами, выбитыми начальствомъ“, солдаты и офицеры потеряли голову, потеряли сердце и сдѣлались колесомъ машины заготовленія канцелярскихъ бумагъ и военной выправки. Гнусенъ былъ тогда русскій офицеръ, въ каждомъ сидѣлъ свой Аракчеевъ; палачъ былъ тогда русскій солдатъ, и дивиться надобно ихъ храбрости.

Но времена измѣнились, по мѣрѣ того, какъ просыпается Россія и приходитъ въ себя, съ ней вмѣстѣ просыпается и русскій солдатъ, и сверхъ собственной совѣсти, его будитъ русскій офицеръ—не палкой, а дружеской рукой, заповѣднымъ словомъ; онъ его будитъ на забвенье былаго и на общее спасеніе отъ жгучихъ пятенъ мученической крови поляка и крестьянина.

Разстрѣленная Хрулевымъ молитва въ Варшавѣ, разстрѣленное недоумѣніе крестьянъ въ Безднѣ—испугало войско, оно раскрыло ему глаза, куда эти господа его ведутъ. Казаку на Кавказѣ стало противно бить независимаго черкеса. Хмѣль крови, забіячества, военное опьяненіе проходитъ, оставляя мѣсто неумолкаемому упреку за утраченную жизнь, горькому угрызенію совѣсти и сознанію своей вины передъ народомъ. Солдаты и офицеры поняли теперь то, что мы имъ говорили въ 1854 г.: „Не легко неволить десятки тысячъ людей, съ ногъ до головы вооруженныхъ, если между ними будетъ какое нибудь единодушіе...“*)

И откуда вышли, гдѣ образовались эти благородные юноши, офицеры - граждане, офицеры - народъ, эти герои Севастополя, не имѣющіе хрулевской храбрости бить дѣтей и женщинъ, эта передовая фаланга земскаго дѣла, на которую опирается наше *право на надежду*—откуда они?

Изъ николаевскихъ кадетскихъ корпусовъ, -- въ которыхъ имъ преподавали, что главнѣйшая добродѣтель Іисуса Христа состояла въ повиновеніи властямъ, и гдѣ танцовальному учителю было поручено внушать танцами духъ покорности.

(Ja, ja, ganz barbarische Vervirrung!)

Это не мы вамъ говоримъ и не польскіе пропагандисты, это вамъ говорятъ разстрѣленные мученики, это вамъ говорятъ—Обручевы, Григорьевы, Игнатьевы, Трувелеры, Красовскіе и десятки другихъ, это вамъ говорятъ секретные циркуляры**) изъ милютинскихъ прилавковъ, предупреждающіе пуще всего сближеніе офицеровъ съ солдатами.

Нѣтъ, не доживемъ мы до того срама, которымъ гордился высокомѣрный Римъ и его дѣти, прижитыя со всякими нѣмками, того срама, что цѣлая дружина побѣдоносныхъ легіонеровъ зарыдала, когда Юлій Цезарь, не зная чѣмъ ихъ хуже обругать, назвалъ ихъ

*) Къ русскому войску въ Польшѣ. Лондонъ, 1854 г.
**) „Колоколъ“ листъ 152.

гражданами. До этого нравственнаго паденія, до этого извращенія всего человѣческаго мы не падемъ.

„Мы не солдаты, мы народъ“, говорятъ русскіе офицеры. „Мы не дворяне, мы народъ“, говоритъ тверское дворянство. „Я не императоръ, я *московскій помѣщикъ*“, говоритъ государь, и стоитъ ему купить себѣ имѣнье въ Тверской губерніи, чтобы понять себя не *первымъ дворяниномъ*, а первымъ изъ народа.

Не за упокой свели мы на этотъ разъ нашу рѣчь о новомъ годѣ. Кончимъ же ее заздравнымъ кубкомъ въ хвалу и славу русскихъ воиновъ, офицеровъ и рядовыхъ, понявшихъ свое кровное родство съ народомъ. Мы съ этимъ тостомъ торжественно вступаемъ въ 1 Января и поздравляемъ васъ *съ новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ!*

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ КОНТРЪ-АДРЕССЪ.*)

Дюпонъ де Леръ.—Я напечатаю.
Людвигъ Филипъ.—А я напечатаю, что это неправда.
Дюпонъ де Леръ.—Изъ насъ двоихъ врядъ вашему-ли величеству повѣрятъ.

Анекдотъ 1830 года.

. . . . . .

— *Отъ издателей Колокола.*—Любопытный документъ этотъ присланъ намъ изъ Варшавы однимъ русскимъ офицеромъ, изъ числа *тѣхъ, которые подписали* адресъ Константину Николаевичу. Документъ этотъ, говорятъ, сочинилъ начальникъ штаба *Минквицъ.* Для полученія подписей было употреблено не замысловатое, но удачное средство: разославши по гвардейскимъ полкамъ, въ Варшавѣ, литографированную копію «Минквицевой идиліи военнаго

*) Въ мѣстѣ, обозначенномъ точками, Герценъ перепечатываетъ вынужденный *адресъ* русскихъ офицеровъ, протестующихъ противъ письма русскихъ-же офицеровъ, помѣщеннаго въ номерѣ 148-мъ „Колокола“, и адресованнаго великому князю Константину. Въ этомъ послѣднемъ письмѣ офицеры войскъ, стоящихъ въ Польшѣ, выясняютъ великому князю весь ужасъ своего положенія, въ которомъ имъ приходится либо быть „палачами Польши“ либо измѣнять русскому правительству. Они просятъ великаго князя „спасти войско“. убѣдивши государя „перестать дразнить и угнетать поляковъ и не доводить ихъ до взрыва“. Это письмо было перепечатано въ Теймсѣ. Тогда начальство, чтобы уничтожить впечатлѣніе, произведенное письмомъ на Европу, сфабриковало среди тѣхъ-же войскъ, расположенныхъ въ Польшѣ, протестъ, подписанный 355 офицерами, и отправленный редактору Теймса. Подробности всей этой исторіи см. № 148, 153, 156 „Колокола“. Объ этомъ-то „оффиціальномъ контръ-адрессѣ“ и говоритъ Герценъ. *Л. Т.*

рабства», пригласили офицеровъ подписаться — *либерально* предоставивъ право, если кто изъ нихъ не хочетъ—*изложить письменно по какой причинѣ онъ не подписывается.* Со всѣми этими *французскими* гарантіями свободной подачи голосовъ, кой-куда по арміи циркуляръ не посылали, что и выражено въ идиліи Минквица слѣдующими словами: «Остальные товарищи наши не могли принять участія единственно по недостатку времени и *по разбросанности расположенія* войскъ въ краѣ».

Куда-же было торопиться? Къ кому-же, если дѣйствительно по милости петербургскаго правительства, Сибирь стала похожа на Польшу, то Польша отъ этого не имѣетъ еще размѣровъ Сибири — чтобъ *разбросанность расположенія*, представляла *непреодолимость подписанія.* Къ тому же *торопились медленно*, адрессъ доставленный намъ въ половинѣ октября. былъ напечатанъ 22 октября, а *до сихъ поръ* „Теймсъ" не получилъ *сосредоточенность расположенія* вѣрноподданническихъ чувствованій Минквица съ *будущими!...* Все это ясно само по себѣ, и намъ начинаетъ сдаваться, что документъ этотъ, и не переѣзжалъ вовсе границы всѣхъ Россій. Это было pro domo suo.

Въ заключеніи одному изъ насъ — именно мнѣ остается лично благодарить за несокрушимую вѣру, что адрессъ писанъ мною. Онъ написанъ очень хорошо, и потому увѣренность Минквица мнѣ польстила. Я въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ былъ Хлестаковъ; тотъ приписывалъ самъ себѣ все, что считалъ хорошимъ, Юрія Милославскаго, Фенеллу и Сумбеку. А мнѣ *другіе* приписываютъ все красное и якобинское.

C'est la faute de Voltaire, c'est la faute de Rousseau...
Si Dieu a noyé la terre,
C'est la faute de Voltaire;
S'il a laché beaucoup d'eau,
C'est la faute de Rousseau!

Но такъ какъ ни скромность, ни самолюбіе мнѣ не дозволяютъ украшать себя чужими зубами, имѣя свои собственные, то я съ полной благодарностью за довѣріе начальника штаба, *даю мое честное слово*, что я не писалъ адресса,—а писалъ „письмо къ офицерамъ" (15 окт. 1862, *Кол.* № 148), въ отвѣтъ *на три письма*, полученныя мною. Придетъ время, мы представимъ доказательства; но теперь, разумѣется, скорѣе подвергнемся всякому нареканью, чѣмъ станемъ помогать главному штабу отыскивать въ *разбросанности расположенія* — благородныхъ воиновъ, которые, какъ Красовскій, не хотятъ быть палачами. Они нужны для Россіи на лучшее чѣмъ на гибель за адрессъ.

Адресъ возбудившій *сосредоточенность* вѣрноподданнической ревности, еще показываетъ довѣріе къ уму, къ справедливости, къ сердцу Константина Николаевича.... офицеры просятъ его взойти въ ихъ положеніе, спасти ихъ честь... Послѣ эпистолы Минквица, офицеры цидулокъ къ великимъ князьямъ писать не будутъ...

Колоколъ № 155.
1 Февраля 1863 года.

RESURREXIT!

Туча, которую мы указывали мѣсяцы, разразилась!

Возстаніе зажглось, горитъ и распространяется въ Польшѣ. Что сдѣлаютъ петербургскія пожарныя команды?.... Зальютъ его кровью—или нѣтъ?... Да и тушить-ли кровь?

Неужели этому царствованію, которое такъ легко могло быть кроткимъ, человѣчественнымъ, суждено заступить глубже и глубже въ кровь? Кровью не вездѣ можно перейти въ бродъ; а плохіе пловцы въ зимнемъ дворцѣ.

Возстаніе это всѣ предвидѣли, оно не могло не быть при безобразномъ полицейскомъ наборѣ;*) объ немъ предупреждали, и мы, и десять другихъ журналовъ; были даже люди, которые предупреждали великаго князя и государя—*они* не хотѣли отстранить возстанія, *они избрали кровь!*

Ну, Константинъ Николаевичъ! Какъ вы сладите съ вашей совѣстью? Ужь не ѣхать-ли куда-нибудь на горькія или кислыя воды? Зачѣмъ, бога ради, зачѣмъ вы пріѣзжали въ Польшу? Кто этотъ личный врагъ вашъ, который вамъ далъ эту несчастную мысль?

И вы, маркизъ, не даромъ старались ваше длинное имя записать въ польскую исторію! Выскоблить его оттуда будетъ трудно — потому что торжественно хороша страница, въ которую оно попало кровавымъ пятномъ—одна изъ лучшихъ въ хроникахъ вашего отечества.

Въ самомъ дѣлѣ, что за геройство, что за несокрушимая отвага, что за ненизлагаемая любовь! Въ виду цѣлаго войска, двухъ, трехъ войскъ, съ злѣйшими врагами за спиной, открыто поднять знамя возстанія и, бросая перчатку дикому самовластію, громко сказать: „Довольно! мы не хотимъ больше терпѣть. Ступай вонъ, или клюй вороном нашн трупы".

Да, Поляки братья, погибните-ли вы въ вашихъ дремучихъ мицкевичевскихъ лѣсахъ, воротитесь-ли свободными въ свободную Варшаву, міръ ровно не можетъ вамъ отказать въ удивленіи. Начинаете-ли вы новую эру независимости и развитія, заключаете ли вашей смертью вѣковую, безпримѣрную борьбу — вы велики. Въ васъ благословенна родина ваша; она, въ своемъ терновомъ вѣнцѣ, можетъ гордиться сыновьями. Въ васъ благородно, изящно сочетались два великихъ наслѣдства двухъ великихъ покойниковъ; все чистое, восторженное и преданное рыцаря со всѣмъ доблестнымъ и могучимъ древняго римскаго гражданина.

Хвала вамъ!

....И когда мы, возлѣ васъ идущихъ на смерть, на каторгу,

*) Что такое этотъ татарскій наборъ, можно ясно видѣть изъ превосходныхъ статей „Daily Telegraph".

представляемъ себѣ бѣднаго русскаго воина — мы готовы рыдать какъ дѣти. Онъ долженъ краснѣть своихъ побѣдъ и бояться своихъ успѣховъ. Его положеніе страшно, *быть палачемъ людей вызванныхъ на возстаніе, или идти противъ своихъ* — гдѣ тутъ воля выбора?

Горе властямъ такъ искушающимъ, такъ бросающимъ смятеніе въ душу — насильственно разсѣкая совѣсть, и противупоставляя одинъ долгъ другому, одну любовь другой... святыню самобытной совѣсти и нравственнаго права личности — святынѣ родовой связи, преданія, крови.

Нѣтъ, это не народная война—это полицейское усмиреніе войсками: это тѣ ружья, которыя стрѣляли въ Безднѣ, это тѣ приклады, которыми били петербургскихъ студентовъ, это тѣ штыки, которые завтра будутъ колоть крестьянина русскаго, по командѣ тѣхъ-же русскихъ нѣмцовъ, за то, что онъ хочетъ *съ волей землю*.

Большое несчастіе, что польское возстаніе пришло рано; многіе, и мы въ томъ числѣ, дѣлали все нашимъ слабымъ силамъ возможное, чтобъ задержать его.... Велепольскій и его Телемакъ рѣшили иначе.... Передъ совершающимся событіемъ — смиреніе, а не судъ; иныя силы, не сила слова рѣшаетъ вопросъ.

— „Что-то сдѣлаетъ Европа? Она не допуститъ? Допуститъ-ли она еще разъ?“

Допуститъ.

Она устами другаго монарха обезпечитъ: „что національность польская не погибнетъ“ и успокоитъ народныя сочувствія извѣстіемъ съ трибуны: „что порядокъ царствуетъ въ Варшавѣ.“

Въ Англіи будутъ ненужные, безсильные, но очень великодушные митинги, и одна Германія приметъ искреннее участіе своей радостью—что Славяне, во всякомъ случаѣ, будутъ бить Славянъ!

БРАТСКАЯ ПРОСЬБА КЪ РУССКИМЪ ВОИНАМЪ.

Несправедливый, подтасованный, польскій наборъ совершился! Сила одолѣла еще разъ правду; еще черное дѣло прибавилось въ формуляръ русскаго правительства, еще черная тѣнь отбросилась на васъ, на весь народъ русскій. Безсильное отстранить ударъ отъ многострадальной груди польской, намъ надобно употребить всѣ средства, чтобъ облегчить его боль участіемъ, смягчить горе дѣятельнымъ сочувствіемъ. За этимъ-то мы и обращаемся къ *ротнымъ начальникамъ и офицерамъ, къ старымъ солдатамъ, дядькамъ и учителямъ.*

Въ ваши роты, команды, взводы вскорѣ поступятъ несчастныя жертвы польскаго набора,вырванныя безъ очереди изъ семействъ, по указанію полиціи, оторванныя отъ отечества — онѣ, невинные колодники, отправляются въ мрачный, дальній край, о которомъ они слыхали однѣ ужасныя преданія, въ снѣжныхъ тундрахъ котораго безвѣстно погибли ихъ дѣды, ихъ отцы, лучшіе люди ихъ,

— ихъ ведутъ туда служить годы и годы чужому царю, чужому дѣлу, чужому народу . . . . безъ друзей, безъ языка, безъ родины, которую-бы защищали, безъ этого послѣдняго утѣшенія для рекрута.

Друзья, братья, русскіе воины — примите новыхъ товарищей съ распростертыми объятіями; покажите имъ, что русскій народъ добрѣе, лучше русскаго правительства. У васъ есть общее поле, не весела и ваша жизнь; разскажите имъ объ вашей горькой долѣ, о двадцатилѣтней лямкѣ, о голодѣ, о воровствѣ начальства, о томъ какъ васъ наказывали, и какъ вами наказывали крестьянъ; скажите имъ, что и у васъ — послѣ Севастополя — пала повязка съ глазъ, что и ваше терпѣніе приходитъ къ концу, что крестьянская кровь, которую васъ заставляли лить, васъ душитъ, бродитъ въ вашихъ жилахъ, не даетъ спать.... что отъ нее испытанные герои какъ Красовскій пошли на каторгу, юноши какъ Сливицкій и Арнгольдъ на тотъ свѣтъ. Да, скажите имъ это!

А главное, *полюбите* ихъ, остальное все само сдѣлается.

Подъ сѣрой солдатской шинелью легко хранится здоровое, теплое сердце. Человѣкъ, обреченный на кровавое, безжалостное ремесло, тамъ гдѣ-то — на днѣ души бережетъ запасъ великой и простой нѣжности. Черезъ сѣдые усы, по загорѣлымъ щекамъ воина, наглядѣвшагося богъ знаетъ какихъ ужасовъ, участвовавшаго въ нихъ, чаще льется слеза, чѣмъ по толстенькой щечкѣ мирнаго гражданина, сдѣлавшаго изъ семейнаго эгоизма и безучастія ко всему внѣ своего забора добродѣтель. Одинокій безсемейникъ артели и казармъ, лишенный всякой ласки и всякой улыбки—солдатъ ищетъ возлѣ себя полюбить что-нибудь и крѣпко привязывается.

Полюбите-же друзья, выкраденныхъ польскихъ рекрутовъ какъ меньшихъ братій, какъ дѣтей полка, и да будетъ надъ вами благословленіе несчастныхъ матерей и сестеръ ихъ. Матерей, которыя съ 1831 года только проважали сыновей своихъ на казнь, въ ссылку, въ изгнаніе. . . . Сестеръ, которыя не знаютъ другаго цвѣта какъ черный цвѣтъ траура!

Колоколъ № 156.
15 Февраля 1863 года.

ПРЕСТУПЛЕНІЯ ВЪ ПОЛЬШѢ.

Слова порицанія умалкиваютъ передъ роскошью злодѣйства, двоедушія и глупости, которую выказало петербургское правительство... и все это не оставляя своего лепета о прогрессѣ и либерализмѣ.

Мы имѣемъ предъ собой, сверхъ русскихъ газетъ, иностранныя всѣхъ цвѣтовъ, отъ совершенно независимыхъ до окончательно подкупленныхъ. Стало быть не трудно составить приблизительно вѣрную картину *русской ночи* въ Варшавѣ. Тутъ все преступно,

отъ скрытаго плана до явнаго, отъ средствъ до цѣли, отъ самаго дѣла до образа совершенія его, до лжи, которая оскорбила нахальствомъ своимъ всю страну, и послужила послѣдней каплей, послѣ которой кровь полилась рѣкой.

Этимъ наборомъ русское правительство поставило себя сразу не только ниже турецкаго, но ниже австрійскаго. Оно уже аплодировало себѣ, что придумало такую ловкую штуку, ужь начинало признаваться въ ней *), и разсылать телеграммы чуть не о радости, съ которой рекруты идутъ — да вдругъ и срѣзалось.

Народъ бѣжалъ изъ Варшавы, въ лѣсахъ собирались вооруженныя толпы; онѣ отбивали рекрутъ—кричавшихъ такъ усердно въ „Нордѣ" *ура* великому князю, поившему ихъ водкой... и правительство стало разсказывать объ ужасахъ, чтобы отвести глаза Европы и возбудить дикія страсти солдатъ... съ какой-же иной цѣлью говорилъ свою рѣчь Александръ II на измайловскомъ парадѣ? Не только-же для того онъ ее произнесъ, чтобъ вопреки мнѣнію подкупныхъ журналистовъ—заявить, что въ числѣ офицеровъ есть люди, которымъ „роль палача", (какъ они сказали въ адресѣ Константину) надоѣла. Это у него сорвалось съ языка, но онъ говорилъ объ ужасахъ, о которыхъ онъ не могъ знать ничего положительнаго.

„Я и послѣ этихъ злодѣйствъ не хочу обвинять весь польскій народъ..." — Скажите пожалуста? J'ai eu tort envers lui, cher Bertrand — mais je lui ai pardonné**).

Въ то же время J. de S.-Petersbourg печаталъ о *Варѳоломѣевской ночи*, о избіеніи русскихъ солдатъ во время сна...

---

*) „Сѣв. Пчела" отъ 11 (23) Января, не знаемъ по какимъ необходимостямъ, напечатала удивительную корреспонденцію изъ Варшавы, тамъ между прочимъ сказано:

„Объ этомъ рекрутскомъ наборѣ я намѣренъ поговорить въ моемъ слѣдующемъ письмѣ, потому что его нужно разсматривать въ связи съ другими, и прошедшими, и настоящими обстоятельствами и со всею политикою гр. Велепольскаго. Теперь достаточно будетъ сказать вамъ, что въ самой Варшавѣ наборъ долженъ коснуться *2,000 людей подозрительныхъ и находящихся на замѣчаніи у властей.* Нѣкоторые ожидаютъ по этому случаю большихъ смутъ. Могу увѣрить васъ напередъ, что ничего не будетъ, и что спокойствіе въ Варшавѣ не будетъ нарушено, вопреки увѣреніямъ партіи дѣйствія, которая, если вѣрить слухамъ, объявила, что скорѣе рѣшится, очертя голову, произвести возстаніе, чѣмъ дать осуществиться этому набору, который лишитъ ее цѣлаго легіона ея приверженцевъ и послѣдователей."

Хороши оффиціозные пророки! Но важнѣйшее тутъ, это сознаніе, что наборъ *коснется* именно подозрительныхъ людей—лучше-бы разрѣшить полиціи просто бить ихъ до смерти на улицахъ.

**) „Я былъ виноватъ передъ нимъ, любезный Бертранъ", говоритъ Роберъ Макеръ, „но — я простилъ ему!"

Чего собственно у нихъ недостаетъ, мозга или сердца?

Подъ видомъ набора дѣлаютъ набѣгъ, кого схватили, увезли въ цитадель, гдѣ не нашли помѣченныхъ шпіонами, тамъ *взяли аманатовъ*, кого попало—отцовъ, матерей, женъ, дѣтей. Не будь тутъ шпіоновъ, представителей бюрократической цивилизаціи Петербурга, эту ватагу разбойниковъ, можно было-бы принять за какое нибудь монгольское нашествіе. А *онъ* говоритъ: „я не виню Польши!“ Во дворцѣ часы отстали—у нихъ XIII столѣтіе, а не XIX.

Нельзя сказать, чтобъ мѣра эта сама по себѣ требовала столько-же изобрѣтательности, сколько животнаго бездушья. Наборъ этотъ—примѣненіе одного изъ обыкновенныхъ злоупотребленій помѣщичьяго права къ цѣлому народу. Такъ, какъ прежде сего крѣпостники отдавали своихъ людей въ солдаты не по очереди, а по барской злобѣ, такъ маркграбій съ своимъ великокняжескимъ воспитанникомъ, хотѣли отдать въ солдаты ту Польшу, противъ которой у нихъ есть зубъ.

„Люди стали бѣжать“... какъ же не бѣжать отъ вооруженныхъ шаекъ, вламывающихся въ дома.

«Стали защищаться». — Еще бы! Но стало быть центральный комитетъ приготовилъ оружіе? Да какъ же было не готовить оружіе, вѣдь онъ зналъ съ какими гаротерами имѣлъ дѣло.

Наборъ этотъ безъ возстанія не могъ обойтиться. Это знали русскіе точно также, какъ поляки. Иностранная газета назвала того русскаго, который ѣздилъ въ Варшаву умолять Константина Николаевича не дѣлать этого набора. Великій князь, магнитизируемый Велепольскимъ, не только не послушался, но къ ранѣ прибавилъ насмѣшку—разсылая вѣсть о тишинѣ и довольствѣ. Послѣ этого будто найдутся рабскія души, которыя будутъ винить центральный комитетъ?... Тутъ некогда было думать ни о силѣ, ни о побѣдѣ. Надо было спасти великую, историческую личность *многострадальную Польшу*, надобно было нравственно спасти ее: пройди этимъ балтійскимъ Гуннамъ *даромъ* это преступленіе—ореола мученическая потерялась бы, великое преданіе было бы порвано, великое право на независимость было бы потрясено, Маркграбій былъ бы доволенъ...!

— „Да, да... Но зачѣмъ эти жестокости?“ — Ни вы, ни *я*, мы объ нихъ мало знаемъ, но я вообще думаю, что война не бываетъ безъ убійствъ и что убійства не обходятся безъ ужасовъ. Но чему же удивился кроткосердый монархъ, дозволившій гаротировать цѣлый народъ, что у людей, доведенныхъ до отчаянія — онъ не нашелъ ни мягкости фрейлинъ, ни уступчивой нѣжности ихъ?

А между прочимъ приверженные русскому правительству, публичные листы разсказываютъ, какъ инсургенты, взявъ какую то кордегардію саперовъ, приставили револьверъ ко лбу каждаго, потребовали ихъ оружіе, взяли его и ушли, не убивши ни одного. Какой же въ мірѣ генералъ отъ Каструччіо Кастракане и Монтекукули — до русскаго генерала Коцебу и французскаго генерала

Бурбаки, не сдѣлалъ бы — не долженъ бы былъ сдѣлать то же?

А propos къ офицерскому *долгу*. Ну, господа, подписавшіе Минквицовской maladresse—довольны вы путемъ, по которому васъ повелъ Маркграбій? Знаете ли, кому вы нанесли страшный ударъ —Польшѣ? Нѣтъ, она снова высоко поднялась въ глазахъ всѣхъ народовъ. Россіи нанесли вы его. Имя русское вы сдѣлали снова ненавистнымъ, какъ при Николаѣ, ненавистнымъ отъ одного края земнаго шара до другаго.

Міръ вправѣ спросить, что это за народъ, который въ продолженіи вѣка изъ поколѣнія въ поколѣніе приходитъ терзать несчастную страну, не хотящую быть съ нимъ, не дѣлящую его вкуса къ рабству?

Міръ въ правѣ спросить, что-же сдѣлало въ Россіи, при вѣсти о польскомъ наборѣ, это *возбужденное* общественное мнѣніе, о которомъ столько говорили? То-ли, что оно напечатало въ Nord'ѣ, адрессъ готовности бить поляковъ?

Прежде по крайней мѣрѣ, засѣкая цѣлыя деревни для аракчеевскихъ поселеній, усмиряя крестьянъ отъ Пугачева до Бездны, офицеры молчали, можетъ они не понимали, что дѣлали. Теперь и этого оправданія нѣтъ. Они идутъ съ полнымъ сознаніемъ, они подписываютъ адрессы добровольной преданности.

И все это падетъ на народъ. Его обвинятъ въ племенной ненависти, въ алчной стяжательности, его обвинятъ въ томъ, что для него дороже воли—*сила*, что, упоенный своей гордыней, онъ готовъ быть рабомъ для того, чтобъ покичиться тѣмъ, что можетъ въ цѣпи ковать другихъ... Что-же послѣ этого можетъ быть естественнѣе, какъ ненависть къ такому народу, всѣхъ остальныхъ?

...Еслибъ мы вѣрили, что русскій народъ въ своемъ азіатскомъ раболѣпіи любитъ господство надъ другими народами, и въ силу этого выноситъ рабство, и въ силу этого станетъ теперь за правительство, противъ Польши — намъ осталось-бы только желать, чтобъ Россія, какъ государство, была унижена, обезславлена, разбита на части; желать, чтобъ оскорбленный и попранный народъ русскій, началъ *новую жизнь*, для которой память прошедшаго была-бы угрызеніемъ совѣсти и грознымъ урокомъ.

Но не будемъ клеветать на него, нѣтъ доказательствъ, что онъ за эти злодѣйства? Что-же онъ сдѣлалъ?... Вѣдь не онъ подписывалъ адрессъ Минквица...

И не только не онъ, но и не всѣ офицеры.

И вотъ почему при безпредѣльномъ горѣ, при всемъ ужасѣ, который обдаетъ насъ при чтеніи страшныхъ словъ „*Двое русскихъ офицеровъ, взятые въ числѣ инсургентовъ, разстрѣляны*", мы съ умиленіемъ и растерзаннымъ сердцемъ, готовы пасть ницъ и молиться памяти ихъ, какъ нѣкогда молились памяти юношей, брошенныхъ другими палачами въ пещь огненную — чтобъ они святые мученики наши, заступники за Россію, своей жертвой, своей непорочной кровью, вымолили прощенье человѣчества русскому народу, еще разъ опозоренному своимъ правительствомъ!

Изъ Петербурга. Procès monstre. Нашъ давнишній знакомый А. Ѳ. Голицынъ, инквизиторскій помощникъ въ 1834, инквизиторъ en chef въ 1863 (двадцать девять лѣтъ, какова карьера и вѣрьте послѣ этого исправленію людей!) готовитъ чудовищный процессъ для вящей славы либеральнаго царствованія Александра II. Въ Москвѣ, въ Петербургѣ хватаютъ людей, на право и на лѣво, по всей Европѣ ищутъ черезъ консуловъ, поповъ, пословъ — русскихъ всѣхъ лѣтъ и возрастовъ. Посмотримъ, чѣмъ этотъ *рекрутскій наборъ* окончится и что сдѣлаетъ изъ процесса Голицынъ. Кстати дѣло о зажигательствѣ такъ и кануло, его-бы прежде кончить... Литературные защитники правительства, скажите-же словечко объ зажигателяхъ.

Колоколъ № 157.
1 Марта 1863 года.

ПРЕСТУПЛЕНІЯ ВЪ ПОЛЬШѢ.

I

Печаленъ нашъ удѣлъ, скрѣпя сердце, помѣчать главныя черты неровнаго боя польскаго Лаокоона съ петербургскимъ чудовищемъ... Съ одной стороны героизмъ до безразсудства, поэзія, любовь, великія преданія, воля, безпомощность и смерть. Съ другой —властолюбивый капризъ, забитое повиновеніе, угрызеніе совѣсти, сила и *прусская помощь.*

Дѣйствительно, неугомонный народъ эти поляки, около ста лѣтъ не могутъ умереть. Кажется все кончено; проходятъ поколѣнія, все тихо, finis Poloniæ, Европа успокоивается на безплодномъ чувствѣ сожалѣнія—что же тутъ дѣлать, мертваго не воскресишь, да и гдѣ же было пережить столько ранъ и ударовъ. Забытъ гордый боецъ подъ землей—и вдругъ отъ одного конца міра до другаго раздается стонъ, потрясающій всѣ совѣсти, мѣщающій всѣмъ снамъ, стонъ заживо-схороненнаго народа, приподнимающагося въ своихъ кровавыхъ ранахъ и ржавыхъ цѣпяхъ и возвѣщающаго, что *онъ не умеръ!*

Нѣтъ, онъ не умеръ! Мертвые не могутъ возбуждать столько преданности, самоотверженія, столько фанатическаго восторга, столько юныхъ силъ.

Поляки *исчезаютъ* въ Европѣ; гдѣ ихъ было десять — ихъ два, гдѣ два и тѣхъ нѣтъ. Идетъ и юноша съ пробивающимся усомъ, идетъ и сѣдой изгнанникъ 1831, идетъ, бросая мѣсто, работу, которой онъ не найдетъ больше въ тѣснотѣ и давкѣ западной конкурренціи, убогое достояніе продано; Польша возстала, Польшѣ ихъ нужно, о чемъ же тутъ разсуждать, надобно идти.

Къ мертвымъ такъ не ходятъ; вѣдь и тѣ, которые ходили къ гробу въ Іерусалимъ, ходили не къ мертвому, а къ воскресшему.

Правъ былъ Юльянъ Клячко въ своей рѣчи въ батиньольской школѣ, когда онъ сравнивалъ польскую эмиграцію съ тѣмъ схим-

никомъ, спасавшимся вдали отъ людей, который на вопросъ одного изъ цезарей, „что онъ дѣлаетъ?“ отвѣчалъ „Remeo! *Возвращаюсь!*“

Польская эмиграція не бросила корней, не осѣла, не взошла въ свою мебель, *она возвращалась!*

Полякамъ что-то говоритъ, не смотря на ихъ гордую увѣренность, что они принадлежатъ къ тѣсному родству западныхъ народовъ—*что они здѣсь не дома.*

Нѣмецъ, прожившій гдѣ нибудь лѣтъ десять, теряетъ все національное, кромѣ дурнаго акцента, вживается во всѣ интересы страны, кормящей его, не стремится въ свое отечество, не болитъ о немъ. А полякъ какъ бы долго ни жилъ—*возвращается.* И оттого, при первомъ призывномъ звукѣ трубы съ береговъ Вислы, изгнанникъ польскій встаетъ въ Италіи, встаетъ въ Англіи, беретъ бѣдную свою котомку и идетъ нести свою кровь общей, всѣхъ скорбящей, страшно несчастной и страшно любимой матери.

...Какая черная доля быть палачемъ этой матери, затягивать веревку на ея шеѣ и хладнокровно сто противъ одного прирѣзывать ея дѣтей!

Можетъ только одно положеніе въ мірѣ еще хуже нашего. Это положеніе добровольнаго помощника при экзекуціи, помощника сильному противъ слабаго.... положеніе сыщика, полицейскаго, ждущаго на дорогѣ. Нѣтъ, не быть тебѣ, Пруссія, во главѣ германскаго единства; нѣтъ, ты сама развалишься, государство безъ народности, военная нелѣпость, созданная королемъ-энциклопедистомъ; на твоемъ юнкерскомъ лбѣ нѣтъ помазанія, ты останешься военной семинаріей рода человѣческаго, экзерцизъ-гаузомъ философіи и аванъ-постомъ петербургской управы благочинія.

II

„Теймсъ“ говоритъ:

„Рядомъ съ дико-звѣрскими подвигами непріятельскаго войска въ Польшѣ, рядомъ съ сожженными деревнями, убитыми женщинами, разграбленными домами—идетъ безобразіе казенной и откупной журналистики. Эти риторическія погремушки, привязанныя къ разъяренному медвѣдю, эта кровавая грязь, липнущая къ пушечнымъ колесамъ — заставляетъ содрогаться.“

Если въ чемъ нибудь прогрессъ несомнѣненъ въ Россіи, то это въ литературномъ растлѣніи. При Николаѣ всякое заявленіе политическихъ мнѣній было запрещено. Журналистъ молча передавалъ урѣзанный фактъ и читатели догадывались, о чемъ онъ умалчиваетъ. Два, три закупленные журналиста пользовались всеобщимъ презрѣніемъ и не имѣли никакого вліянія на общественное мнѣніе. Все это измѣнилось. Теперь всякій казенный публицистъ начинаетъ съ оды на свободу, съ гимна о несокрушимомъ правѣ, съ проклятія цензуры... и такъ ведетъ, ведетъ читателя по форумамъ и капитоліямъ... да вдругъ и очутится съ нимъ въ III Отдѣленіи, и уже пахнетъ не Вашингтономъ, не Мирабо, а чисто Але-

ксандромъ Ѳедоровичемъ Голицынымъ. . . . Около капитальныхъ статей красуется наивный вѣнокъ такой безстыдной лжи, такого основательнаго невѣжества, такой пошлости наконецъ, что середь величайшаго отвращенія нельзя не смѣяться.

Статья „Journal de S.-Petersbourg“ поразила всю Европу своей безцеремонностью, своимъ обличеніемъ неслыханнаго отсутствія всякаго нравственнаго чувства въ петербургскомъ правительствѣ. Противъ нея вышли «Московскія Вѣдомости» съ либеральнымъ началомъ и англійскимъ заключеніемъ, онѣ не принимаютъ сознанія „Journal de S.-Petersbourg“ и находятъ, что рекрутскій наборъ — *по выбору полиціи — совершенно законенъ*... Мы думали, что дальше идти нельзя, но 21 № „Вѣдомостей“ оставилъ за собой все предыдущее. Начавъ одну статью похвалой польскому патріотизму и пожуривъ въ другой правительство за то, что плохо смотрѣло за поляками и мало брало мѣръ осторожности, «Московскія Вѣдомости» говорятъ: „...Паскевичъ, остановивъ наши полки у валовъ Варшавы, хотѣлъ избѣжать ужасовъ пражскаго штурма въ 1794 году; за это великодушіе, спустя тридцать два года, намъ заплатили новою варѳоломеевскою ночью, благодаря тому, что мы простерли свое *новое великодушіе до самозабвенія*...“

Такого канибальства мы не встрѣчали съ тѣхъ поръ, какъ „Отеч. Записки“ въ бреду отъ страха (который, слава богу, прошелъ) требовали какихъ-то неслыханныхъ казней зажигателямъ — которыхъ и поднесь не нашлось.

Самое замѣчательное состоитъ тутъ въ томъ, что этой варѳоломеевской ночи не было. И не только не было, но само собой разумѣется, что объ ней никогда никто, кромѣ полицейскихъ композиторовъ, не думалъ — тѣхъ самыхъ, которые наканунѣ взрыва писали, что „рекруты *довольны* тѣмъ, что рекрутство избавило ихъ отъ притязательности революціонной партіи“. Тѣхъ самыхъ, которые на другой день взрыва начали кричать объ ужасахъ и до сихъ поръ не унимаются. Кстати къ этимъ ужасамъ.

Тотъ, кто сколько нибудь знаетъ, что такое возстаніе, — возстаніе въ двадцати пунктахъ, безъ сосредоточенности, безъ плана, безъ правильнаго веденія, тотъ пойметъ легко, какіе несчастные случаи могутъ совершиться. Но клепать на народъ, геройски поднявшійся и бросившій перчатку такой силѣ, такъ-же мало рыцарски, какъ при первомъ выстрѣлѣ броситься къ прусскому дяденькѣ съ крикомъ: „Караулъ, караулъ, helfen sie mir, Onkelchen!“

И что могутъ значить отдѣльные случаи жестокости — въ сравненіи съ разграбленными домами, выжженными деревнями и наконецъ казнями, приказанными полковникомъ Бедрягой, какъ говоритъ „Теймсъ“ (18 Февр.)? И при всемъ этомъ есть полковники plus royalistes que le roi, которые упрекаютъ Николая и Паскевича въ излишней мягкости и неосторожномъ великодушіи! Мы скоро дойдемъ до того, что сдѣлаемъ изъ Аракчеева сентиментальнаго Вертера, который отъ избытка нѣжности засѣкалъ дюжинами солдатъ

Обращаемся къ Валуевской Почтѣ, вотъ какую, напримѣръ, галиматью печатаетъ она съ нѣмецкихъ голосовъ:

„До настоящей минуты (28 января) благодаря военному положенію, въ Варшавѣ все спокойно. Съ 9-ти часовъ вечера рѣдко показывается военный на улицѣ; но въ казармы, также какъ и въ цитадель, никто не допускается. Извѣстія, полученныя до сегодня, *успокоительны и благопріятны* для правительства. Ни Плоцкъ, ни Радомъ и ни одинъ изъ другихъ городовъ не находятся въ рукахъ мятежниковъ; временное правительство, о которомъ такъ много говорили, не объявлено. Нападенія въ Плоцкѣ и Бодзентынѣ были всего опаснѣе, а впрочемъ инсургенты, хотя и собираются толпами, но какъ только замѣчаютъ, что численное превосходство ихъ надъ войсками не слишкомъ значительно — тотчасъ-же обращаются въ бѣгство, и скрываются въ лѣсахъ. Наружный видъ пойманыхъ бѣдняковъ самый жалкій. Голодные, оборванные, часто босые, они представляютъ самую грустную картину нищеты. *О военной выправкѣ, о какой бы то ни было дисциплинѣ или о правильномъ вооруженіи, жалованьи и продовольствіи, нѣтъ и помина*“.

На счетъ продовольствія инсургентовъ сказано, что имъ дается *поллота хлѣба и кварта водки въ день!*

„При Мылеевѣ, толпа въ 40 человѣкъ встрѣтила двухъ здѣшнихъ жандармовъ. Между инсургентами нашелся нѣкто, привезенный въ прошломъ году, однимъ изъ этихъ жандармовъ, въ Варшаву. Этотъ инсургентъ объявилъ, что сейчасъ же убьетъ жандарма: но другіе удержали его отъ такого намѣренія тѣмъ доводомъ, что было бы безчестно, еслибъ столько людей напали на двоихъ, и умертвили-бы ихъ. Кончилось тѣмъ, что жандармовъ обезоружили, отняли у нихъ лошадей, платье и отпустили ихъ въ крестьянской одеждѣ. Пока всѣ эти печальныя дѣйствія происходятъ *въ полѣ, въ шинкахъ польки пляшутъ съ русскими*“.

Это букетъ, выше этого ничего нѣтъ. Столоначальникъ помѣстившій эту статью заслуживаетъ одобрѣнія высшаго начальства.

Генералъ-лейтенантъ Синельниковъ везъ 100,000 руб., на него напали инсургенты и обезоруживъ его, взяли деньги и дали росписку. Генералъ лейтенантъ Синельниковъ объявилъ въ „Сѣвер. Пч.“, что деньги у него не брали и что онъ далъ не росписку, *а свои револьверы*, такъ были учтивы инсургенты. Оказывается стало на дѣлѣ, что оба дурно поступили, генералъ отдавши оружіе и инсургенты не взявши денегъ.

Кто такое Франковскій по русскимъ газетамъ?

Франковскій—миѳъ.

Франковскій—зять Эпштейна.

Эпштейнъ—зять Франковскаго.

Франковскій—генералъ Высоцкій.

Его взяли въ плѣнъ, и сейчасъ газеты перепечатываютъ біографію генерала Высоцкаго, вотъ молъ мы какую птицу взяли въ полонъ, а Высоцкій въ Парижѣ.

III.

Предѣлъ злодѣйства достигается рѣдко, оттого что преступленіе рѣдко достигаетъ той степени нелюдскаго безобразія и голой безнравственности, что оно равно поселяетъ отвращеніе въ старомъ и маломъ; прогрессивному правительству въ Петербургѣ удалось достигнуть этого Геркулесова столба и вотъ оно стоитъ передъ судомъ Европы, окровавленное, гадкое, двуличное, съ печальными солдатами, съ прусской родней, въ вѣнкѣ изъ подкупныхъ листьевъ и присяжные всѣхъ народовъ признаютъ *его осужденіе.*

Возбудить негодованіе, ненависть, проклятіе всей Европы, Европы усталой, старой, католической, протестантской—это страшный успѣхъ.

Какъ-то наши англикующіе журналисты сладятъ съ засѣданіями парламента и со всей англійской журналистикой? Россель-то не находитъ, что людокрадство, не выходитъ изъ законности. Опять *стрѣлокъ* сенаторъ промахнулся. Трудная должность быть литературнымъ адвокакомъ злодѣйствъ и гласностью укрывать и прихорашивать преступленія.

IV

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧѢМЪ НИКОГДА.

Какъ ни странно намъ, какъ ни удивляетъ насъ самихъ это, но мы готовы привѣтствовать отъ всей души Австрію на ея новомъ пути и пожелать ей, чтобъ она не сбилась съ него.

Мы не вѣримъ ни въ возможность наказаній за гробомъ, ни въ справедливость уголовныхъ каръ, мы не признаемъ ни смертныхъ грѣховъ ни смертныхъ казней. Всякое окончательное осужденіе, всякій безаппеляціонный приговоръ ограничиваетъ мысль и мѣшаетъ дальнѣйшему пониманію съ одной стороны и возстановленію съ другой. Мы готовы всегда измѣнить наши сужденія, не отступая ни на волосъ отъ общихъ началъ нашего воззрѣнія.

Какъ-бы поздно ни возвращался грѣшникъ блуднымъ сыномъ или *блуднымъ дѣдомъ*, лишь бы онъ это дѣлалъ *сознательно и откровенно*—велимъ радостно заколоть лучшаго теленка.

Воротиться никогда не поздно и не трудно, лишь-бы увидѣть свою ошибку, а поправить ее всегда легко. Вся бѣда въ томъ, что преступники невольно „скверные счетчики". Мозгъ у нихъ такъ забитъ и такъ мало развитъ, что они рѣдко могутъ одолѣть сложную бухгалтерію жизни.

Еслибъ мы могли послать Австріи всѣ знаменитыя ариѳметики, отъ ариѳметики Мих. Магницкаго и ариѳметики штыкъ юнкера Войтяховскаго до ариѳметики Меморскаго, мы сейчасъ послали-бы въ Вѣну. Немножко пропорцій, немножко тройнаго правила и *Австрія* гордо поднимаетъ свою голову показывая индульгенцію народовъ и отпущеніе былаго за подвигъ настоящаго.

Немножко ариѳметики!

...На бѣломъ австрійскомъ мундирѣ далеко видно черное клеймо, выжженное вѣковымъ проклятіемъ рода человѣческаго; на вѣтхой габсбургской мантіи бездна пятенъ, рѣки крови лились по ней, и рѣки слезъ. Мѣста такого нѣтъ въ обширной имперіи, гдѣ въ воздухѣ не носился-бы стонъ задушенной безжалостно народности, гдѣ-бы не валялись цѣпи перержавѣвшія на живыхъ костяхъ.

Сколько бѣдствій, униженій вынесла она за холодное хищничество свое, за ревнивое властолюбіе. Грозныя несчастія шли одно за другимъ—Сольферино за Мажентой—напоминая вѣтхому грѣшнику, что мѣра его дѣлъ исполняется, что пора каяться... Австрія запустивъ глубоко свои когти въ льва св. Марка — думала думу.

Можетъ въ самомъ дѣлѣ результатъ этой думы — ея настоящее положеніе относительно польскаго вопроса.

Пусть она выдержитъ начатое, не собьется съ дороги, и ея былые грѣхи задвинутся. И она можетъ все это сдѣлать, не теряя ничего, чего терять не надобно, и выигрывая гегемонію Германіи, и... и—это почти роскошь—и втаптывая въ грязь презрительную Пруссію — протестантскую будку православнаго петербургскаго царя.

Но пусть же Австрія помнитъ, что не всякій день на ея улицѣ будетъ праздникъ. Она можетъ къ себѣ приложить слова своего знаменитаго противника:

„Oggi o mai!“

Колоколъ № 158.
8 Марта 1863 года.

ПЛАЧЪ.

Братья, братья, что-же съ нами дѣлаютъ эти люди, эти нѣмцы? Что-же они дѣлаютъ изъ нашихъ солдатъ, что они дѣлаютъ изъ нашего отечества?

Неужели вы все это покроете слабодушнымъ молчаніемъ, молчаніемъ рабовъ — эти убійства, эти пожары, эти грабежи... послѣ *этого набора?*

Вотъ зажигатели-то, вотъ разбойники-то, непризнающіе права собственности, коммунисты его императорскаго величества! и объ этихъ шайкахъ пьяныхъ убійцъ, одичалыхъ грабителей, звѣрей, падшихъ въ состояніе царскихъ опричниковъ, объ этихъ несчастныхъ жертвахъ голода, побоевъ, нравственной слѣпоты и казарменной дрессировки, „Инвалидъ“ печатаетъ: „Войска наши во всемъ блескѣ выказали тѣ свойства, которыя составляютъ славу и красу каждой арміи“.

А! такъ вы берете на себя отвѣтственность за каннибальскую войну съ акомпаниментомъ грабежа, поджоговъ и убійствъ.

Вотъ какъ Александръ Николаевичъ вздумалъ сдѣлаться *земскимъ царемъ* — царемъ и Стенькой Разинымъ вмѣстѣ!

Высочайше утвержденная жакри! Полиціей и штабомъ устроенное избіеніе помѣщиковъ и разграбленіе ихъ домовъ!

Ну, солдатики, вы хорошо отслужили вашу службу въ Польшѣ, не забудьте и дома какъ вы весело жгли господскія усадьбы, каково попили винца изъ панскихъ погребовъ, каково поразбивали сундучки съ ихъ добромъ, „при всемъ блескѣ пожара.“ Не все-же поляковъ, да поляковъ — вы уже не оставьте вашей милостью нашихъ-то русскихъ...

...Николай, когда ему предлагалъ вѣшающій Муравьевъ гайдамачину, отпрянулъ съ ужасомъ; онъ понялъ, что освященныя Екатериной ножи обоюдоостры, что одной стороной *мать отечества* могла рѣзать головы помѣщиковъ, а другой стороной такой ножъ пожалуй какому-нибудь *отцу отечества* кисть отрѣжетъ до локтя.

А благодушный монархъ не отпрянулъ!

Ну въ Стеньки Разины идти, такъ въ Стеньки Разины, тогда нечего разыгрывать нѣмецкаго генерала и перваго дворянина — бороду, кушакъ, топоръ въ руки, да *землю и волю* народу русскому... тутъ будетъ смыслъ... А представлять разомъ и Петра I, и хлопа, и московскаго помѣщика, для выгоды—стара штука.

Видите-ли какъ мы были правы, когда говорили, что у *нихъ* нѣтъ никакого нравственнаго начала; Николай, цинически поставившій *самодержавіе* на своемъ знамени, былъ только наивно откровененъ.

Выжившіе изъ исторіи Меровинги, пора имъ пасть или пора *пасть Россіи.* Только паденіе этой династіи нѣмецкихъ татаръ можетъ смыть съ насъ копоть пожаровъ, невинную кровь и виновное повиновеніе.

Потому то не молчите. Горе, если вы будете молчать, молчать можно изъ страха, изъ равнодушія — или изъ тупости, не замѣчая какъ нашъ Гаррикъ одной половиной лица обѣщаетъ льготы и свободы, а другой мигаетъ своимъ рейтерамъ, чтобъ они жгли, грабили, казнили... Если польское избіеніе пройдетъ даромъ, то имѣя въ рукахъ „красу арміи“ вновь отмоченную въ крови и закаленную въ грабежѣ и убійствахъ, Романовы проучатъ васъ!

Было время, въ которое высоко цѣнилась тихая слеза сочувствія, рукожатье и шопотомъ сказанное слово участья съ глазу на глазъ.

Этого мало теперь.

Тогда все молчало. Власть молча продавливала грудь, молча ѣхали кибитки, молча плелись ссыльные, молча смотрѣли имъ въ слѣдъ оставшіеся. Говорить было трудно, что-то не понималось, не было ясно; мы ни себя, ни народа порядкомъ не знали... былъ общій катехизисъ, очищавшій насъ, но далекій отъ приложенія.

Время измѣнилось. Вы потому уже не можете молчать, что власть говоритъ не умолкая; литература подкуплена ею; журналистика въ рукахъ камеръ-лакеевъ гласности; холопы — риторы составляютъ новую придворную капеллу славославящую и превоз-

носящую всякое дѣйствіе правительства, даже тогда, когда оно низко лжетъ, обвиняя восторженныхъ юношей въ пожарѣ апраксинскаго двора. Правительство въ высокомѣріи легкихъ побѣдъ, доставленныхъ ему смертью ненавидимаго предшественника, надменное отсутствіемъ пороковъ покойника—зазналось; это отсутствіе пороковъ, *это ничего*—оно приняло за добродѣтель, умилилось и начало воспѣвать себя передъ собой. Оно забыло, что татарское самовластье должно быть безграмотно, что его удары *и насланія бѣдъ* не должны возводиться въ рѣчь, не должны помѣчаться кровью; оно забыло что Азія не имѣетъ исторіи, что ея перевороты похожи на наводненія, на катаклизмы природы, на повальныя болѣзни — одинъ слой покрывается другимъ, осѣдаетъ на немъ, тутъ нѣтъ ни права, ни оправданія, тутъ одинъ законъ — законъ тяготѣнія. А наша нѣмецкая Азія хочетъ, оставаясь звѣремъ, прибавить къ зубамъ и когтямъ, какъ въ басняхъ Крылова, людское краснорѣчіе; она хочетъ отмахиваться не только кнутомъ, но и словомъ.

Передъ говорящимъ молчитъ рабъ. Слово ровно принадлежитъ мнѣ *и ему*. Слово принадлежитъ всякому, слово начало свободы. Говорите-же, говорите, потому что вамъ нельзя молчать. Отъ васъ ждутъ рѣчи!

Они будутъ упрекать Николая и Паскевича въ излишнемъ великодушіи, а поляковъ въ Варѳоломеевской ночи, которой не было—а вы будете молчать?

Они, стоя въ болотѣ польской крови, на грудахъ польскихъ труповъ, на пеплѣ сожженныхъ уѣздовъ, будутъ подзадоривать безъ того обезумѣвшихъ солдатъ на месть*) — они будутъ доносить клеветать, ругаться... А вы будете молчать?...

Вы должны говорить, чтобъ мы, встрѣчаясь съ иностранцемъ, не краснѣли какъ краснѣетъ сынъ опозоренной матери...

Дайте мнѣ вамъ разсказать одно изъ самыхъ унизительныхъ событій моей жизни, о которомъ я старался забыть, забылъ даже писавши мои воспоминанія, и вспомнилъ, благодаря государю императору, только теперь.

Весной 1848 года я былъ въ Римѣ. Республика 24 февраля была уже провозглашена, Европа колыхнулась, Ломбардія начинала борьбу съ Авствіей, и въ Римѣ революція изъ торжествен-

---

*) Мы знаемъ подробности объ несчастномъ убійствѣ солдатъ при начальномъ возстаніи, знаемъ ихъ *отъ очевидца*. Мы со временемъ разскажемъ этотъ печальный эпизодъ съ именами; вредъ произведенный этимъ, вовсе не приготовленнымъ событіемъ, былъ огроменъ; поляки сами съ отчаяніемъ порицали поступокъ одного изъ отдѣльныхъ начальниковъ. Съ тѣхъ поръ мы спрашиваемъ „Моск. Вѣдом.“, Ш отдѣленіе и главный штабъ Константина Николаевича гдѣ-же было что-нибудь подобное, гдѣ это повторилось, какія доказательства что тутъ былъ планъ? Гнусно сильному звать на помощь не только пруссаковъ, но клевету.

но-мирнаго, восторженнаго характера переходила въ угрюмый, подозрительный и страстный. Разнесся слухъ, что австрійцы одолѣваютъ. Piazza del popolo съ утра кипѣло народомъ, мрачнымъ, ожесточеннымъ, толпы громко обвиняли папу и его министровъ въ измѣнѣ; въ открытыхъ колясках стояли тамъ-сямъ ораторы, и проповѣдывали; я былъ на площади возлѣ одной изъ импровизированныхъ трибунъ, въ ней стояли все знакомые — Гонзалесъ съ знаменемъ въ рукѣ, Леопольдъ Спини. Народъ густѣлъ, давилъ, тѣснился. Итальянская толпа самая учтивая во всемъ мірѣ, римскій плебей аристократъ; итальянская чернь ведетъ себя изящнѣе на площади, чѣмъ англійская „бѣль" въ Ковенъ-Гарденѣ. Къ тому жъ итальянцы чрезвычайно вѣжливы съ иностранцами, но въ этотъ день кровь слишкомъ кипѣла въ жилахъ, лихорадка темнила мозгъ. Меня кто-то толкнулъ, и я толкнулъ; толкнутый разсердился, посмотрѣлъ на меня, пробормоталъ что-то, слово-два перелетело между сосѣдями, громче и громче, и около сдѣлался ропотъ.... „Кто это? Зачѣмъ онъ здѣсь? Онъ не здѣшній? Зачѣмъ впереди? Зачѣмъ слушаетъ? — Tedesco? Austriaco?" Голоса подымались, ближніе мрачно поглядывали на меня и на людей въ коляскѣ. Гонзалесъ все это видѣлъ и, подавая мнѣ руку, помогъ мнѣ влѣзть въ ихъ экипажъ, потомъ обращаясь къ возлѣстоящимъ, сказалъ имъ: „Братья, это нашъ другъ, одинъ изъ нашихъ."

— E forestiere?

— Si, si, é Polacco—сказалъ Гонзалесъ, и та же толпа разразилась крикомъ: e vviva il Polacco!

Для чего вы выдали меня за поляка? — замѣтилъ я Гонзалесу, Jo sono Russo! кричалъ я имъ, но толпа меня не слушала, кто-то говорилъ рѣчь.

— Вы, сказалъ мнѣ Гонзалесъ, наклоняясь ко мнѣ, меня простите, объяснять теперь нѣтъ никакой возможности, а въ этомъ раздражительномъ положеніи шутить нечего, *да и намъ неловко было бы*... Дайте утихнуть горячкѣ, потомъ объясняйте какъ хотите... Толпа двигалась съ крикомъ: all'armi! all'armi!—Ей было не до меня.

...Не вставайте, сказалъ Николай Павловичъ, положивъ руку на плечо больному князю Козловскому на балѣ у Паскевича.

— Еслибъ я и хотѣлъ встать, в. в., я не могъ бы, шестьдесятъ милліоновъ рукъ удерживаютъ меня...

Да, въ эту минуту я былъ придавленъ не только шестьюдесятью милліонами рукъ, но и рядомъ вѣковъ, событій, несчастій, преступленій. О, еслибъ я могъ тогда сказать примирительное слово, еслибы я могъ оправдать—не себя, мое оправданіе было легко— а народъ русскій!

Я вѣдь чувствовалъ, что онъ *не такъ* виноватъ — *не въ томъ* виноватъ... «Послушайте, добрые люди»... и я пятнадцать цѣлыхъ лѣтъ стоялъ въ коляскѣ Гонзалеса и защищалъ, защищалъ нашу общую, родную мать.

Я—и этого вѣнка я не дозволю сорвать съ себя ни чьимъ ру-

жамъ—я видѣлъ, какъ западные люди внимательнѣе и внимательнѣе всматривались, иначе смотрѣли... Смерть Николая мнѣ помогла.

..Что же вы, анаѳемы, сдѣлали изъ всѣхъ усилій нашихъ, все, что мы лѣпили по песчинкѣ — смыли ваши помои, унесла ваша грязь, и черезъ пятнадцать лѣтъ я снова, идя по улицѣ, *боюсь, чтобы не узнали, что я русскій*....

— —

— *Нѣмцы и не-нѣмцы въ зимнемъ дворцѣ.*—Иностранные журналы повѣствуютъ намъ, что *нѣмецкая* партія побѣдила старо-русскую (вѣроятно *Аксакова?*), панславистскую (вѣроятно *Погодина?*) и что въ силу этого Адлербергъ былъ посланъ въ Польшу. Какъ будто Адлербергъ имѣетъ какое-нибудь мнѣніе, представляетъ что-нибудь уловимое не только всей Россіи, но и кредиторамъ своимъ? Все это похоже на дичь. Но для насъ въ этой дичи важна *миѳическая* правда. Отчего нѣмецкая партія притихаетъ, когда дѣлается что нибудь путное, и свободно дышетъ, оживаетъ, какъ только въ Россіи снова начинается бироновщина, военныя экзекуціи, Ordnung und strenge Disciplin?

Колоколъ № 159.
15 Марта 1863 года.

GREAT WESTERN.

Прочно, незыблемо установилось старое зданіе Европы, долго устроивалось и перестроивалось оно, урѣзывало куски отъ живаго мяса, приставляло ихъ какой-то политической ринопластикой къ чужому тѣлу, ставила контрфорсы съ той и другой стороны, тратило всѣ свои доходы для того, чтобъ *вести* миръ—но за то сложная задача ея равновѣсія разрѣшена торжественно, плодъ мудрыхъ уступокъ, насильственныхъ браковъ, преднамѣренныхъ воздержаній, глубокообдуманныхъ комбинацій и хитро завязанныхъ дипломатическихъ узловъ — увѣнчался.

Равновѣсіе это усилилось косностью и привычкой, мудрымъ равнодушіемъ къ добру и злу, христіанскимъ смиреніемъ, съ которымъ принимается всякое несчастіе ближняго и всего больше мощной рукой капитала, притягивающей поводья всѣхъ страстей — своимъ credit и debit.

Пока вѣтеръ не дуетъ, дѣйствительно все держится благополучно, но кто можетъ отвѣчать за штиль? Взаимное уничтоженіе силъ для равновѣсія отдаетъ его на произволъ всякой случайности, всякому толчку. Не только достаточно явиться геніальной личности, геніальной мысли, ряду преданныхъ людей, ряду восторженныхъ фанатиковъ—но стоитъ какому нибудь ослу лягнуть, чтобы старый успокоившійся маятникъ снова началъ биться изъ угла въ уголъ.

— Только упереться то ослу придется въ воздухѣ...

— Помилуйте, король прусскій уже онъ-ли... Архимедъ, а вѣдь нашелъ-же точку, въ которую упираясь задними ногами, чуть не сдвинулъ Францію на Рейнъ, а можетъ и сдвинетъ; но я не стану спорить ни объ ослиныхъ копытахъ, ни объ бранденбургскихъ конвенціяхъ. Тѣмъ больше, что въ послѣднемъ случаѣ могутъ возразить, что всякій король, Архимедъ или нѣтъ, представляетъ сводную силу всѣхъ подданныхъ, особенно въ такой странѣ какъ Пруссія, которая хотя и ворчитъ доктринерски, но послушна какъ негръ.

Мы говоримъ о тѣхъ буряхъ, которыя, пробуждаясь въ какой-нибудь незамѣтной точкѣ, растутъ, растутъ, подымаютъ цѣлыя массы и грозятъ сорвать съ якоря Great Western.

Что кажется значитъ одинъ человѣкъ, сто человѣкъ, даже тысяча—а эта капля и переполняетъ сосудъ, а отъ этой-то песчинки паровозъ срывается съ рельсовъ.

...Что сказали-бы вы, еслибъ, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, кто-нибудь показалъ-бы вамъ, въ небольшой комнатѣ лондонскаго boarding-hous'a средней руки, шесть человѣкъ тихо бесѣдующихъ около чайнаго стола и прибавилъ бы: „Вотъ эти господа рѣшились разрушить равновѣсіе Европы". Тутъ не было ни Гарибальди, ни Ротшильда. Совсѣмъ напротивъ, это были люди безъ денегъ, безъ связей, люди заброшенные на чужбину волей, а вдвое того неволей. Одинъ изъ нихъ только что возвратился изъ русской каторжной работы, другой шелъ туда прямой дорогой, третій самъ оставилъ Сибирь, четвертый бросилъ свой полкъ, чтобъ не быть палачемъ друзей.

— И они хотѣли разрушить равновѣсіе Европы?

— Вопросъ только шелъ о времени.

— Это ужасно смѣшно...

— Какъ-же не смѣшно, но знаете-ли, что всего смѣшнѣе?

— Что?

— То, что они исполнили свое желаніе.

— Кто-же были эти люди?

— „Что въ имени тебѣ", двое были членами варшавскаго центральнаго комитета.

Много можетъ воля человѣка, его сила страшна, ей почти нѣтъ предѣла, стоитъ ей быть чистой, беззавѣтно отдающейся дѣлу и чувствовать внутри себя — океанныя теченія.

Эта самодержавная мощь, независимая отъ табели о рангахъ, глубоко сердитъ и оскорбляетъ нашихъ отечественныхъ камеръ-лакеевъ прогресса. Они, напыщенные своимъ званіемъ редакторовъ отъ полиціи, не могутъ вынести дерзости лицъ, имѣющихъ притязаніе не по *чину брать участіе* въ исторіи, имѣющихъ наглость вмѣшиваться *въ чужія дѣла*, въ дѣла цѣлаго народа, безъ всякаго права и приглашенія. Одинъ только громадный успѣхъ заставляетъ этихъ строгихъ аристократовъ передней вспомнить обязанности ливреи, перемѣнить ея цвѣтъ, признавая новую власть и на нее переводя старое раболѣпіе.

Генеалогія этого взгляда у нашихъ чинъ-чина почитающихъ писателей и писарей понятна. Это приложеніе къ высшимъ сферамъ крѣпостнаго состоянія, при патріархальныхъ понятіяхъ котораго женитьба сына и непорочность дочери — было дѣло не отца съ матерью, *а дѣло барское*. Но крѣпостное состояніе окончилось. Не пора-ли отбросить другія части рабскаго кодекса и на людей внѣ царской службы не смотрѣть какъ на *недорослей?*

Пока мы будемъ держаться за сарафанъ кормилицы, боясь буку, пока мы будемъ прятаться за другихъ, боясь генераловъ, мы свое дѣло будемъ считать *барскимъ*. Пусть кто посмѣлѣе заглянетъ за печку, буки тамъ нѣтъ. Пусть заглянетъ за кавалергардовъ зимняго дворца — *силы* тамъ нѣтъ.

— Да по какому праву?

По какому праву? Да вотъ по тому, по которому тѣ неизвѣстные, тѣ подземные, какіе-то мытари и грѣшники, какіе-то рыбаки —сдѣлались кормчими человѣчества на цѣлые осьмнадцать вѣковъ. По которому какіе-то каторжные, сосланные сказали Италіи: „возьми одръ твой и иди!“ — И Италія отъ Этны до Монблана встала и пошла.

По какому праву?

По праву — сильной любви.

По праву — сильной вѣры.

По праву — святой отваги.

По тому праву, по которому пошелъ Христосъ на крестъ *за чужое дѣло* — за грѣхи человѣчества.

Всякой имѣетъ право звать съ собой ближнихъ и дальнихъ. Не пойдутъ за тѣмъ, кто ошибся *въ дѣлѣ*, не пойдутъ за тѣмъ, кто ошибся *въ себѣ*. Но силенъ будетъ голосъ того, у кого въ сердцѣ глубоко и громко звучатъ тѣ ноты, которыя непреодолимо волнуютъ его окружающія массы, составляя ихъ религію, ихъ поэзію, ихъ идеалъ, ихъ радость и печаль, ихъ *хорошія* слезы и человѣческую боль... Если при этомъ тотъ, кто зоветъ, весь отдается дѣлу, не имѣетъ *кумира развѣ его* — народы пойдутъ съ нимъ.

Мы, глядя на герольдовъ, на тамбуръ-мажоровъ, на скороходовъ, думаемъ, что они ведутъ процессію, потому что впереди, это большая ошибка. Движеніе дается рулемъ, опущеннымъ въ воду, золоченная грудь корабля съ своимъ флагомъ повинуется ему или тонетъ. Кто не боится схватиться за руль, тотъ и поведетъ корабль.

Въ этой-то отвагѣ та сила поляковъ, передъ которой русская императорская власть осунулась, армія сдѣлалась разбойничьей шайкой, великій князь малымъ княземъ, прусской король квартальнымъ надзирателемъ — та сила, отъ появленія которой черствое сердце Европы дряхлой, усталой, занятой, равно встрепенулась въ Стокгольмѣ и Неаполѣ, во Флоренціи и Шотландіи. Европа содрогнулась отъ ужаса за безумную кучку людей, которая гордо стала передъ нелѣпой, глупой лавиной, грозящей раз-

давить послѣднюю хижину ея матери, говоря ей: „Прежде ты помѣряешься съ нами... увидимъ, чья возьметъ... только знай впередъ, побѣдить насъ нельзя... *насъ не будетъ больше*, когда ты одолѣешь!“ Лавина двинулась. Стонъ ужаса вырвался изъ груди всѣхъ народовъ; сонъ и равновѣсіе Европы поколебались. Еще и еще геройства оттуда, еще и еще судорожный крикъ — и куда дѣнется вѣнской трактатъ и sie sollen ihn nicht haben... все пагнулось и подалось — императорская Франція и цезарская Германія, сардинская Италія и скандинавскій полуостровъ, тяжелый на подъемъ славянскій міръ и тяжелый на ходу, перегруженный англійскій корабль...

Отваги схватиться за руль—у насъ нѣтъ; мы скорѣе согласны просто погибнуть, мы боимся отвѣтственности—оттого поляки дѣйствуютъ, а мы разсуждаемъ. Для поляка *все въ общемъ дѣлѣ*—любовь, религія, традиція, семья, свобода, честь. Для насъ *общее дѣло* представляетъ *благородный интересъ*, мы имъ занимаемся, какъ дилетанты искуствомъ, между *настоящимъ дѣломъ*, т. е. ничѣмъ не жертвуя.

...„Мы видѣли вчера, говоритъ одинъ франицузскій журналъ, какъ отправлялись къ своимъ *братьямъ въ лѣсу* — дѣти народа-страдальца (nation douloureuse), и были глубоко потрясены. Матери, сестры провожали ихъ, видно было, что онѣ удерживали слезы. Старецъ вышелъ впередъ и сказалъ прощальное слово отрокамъ, шедшимъ въ легіонъ отчаянія—и вотъ чѣмъ онъ утѣшалъ ихъ: „Если вы падете, помните, что ваша смерть послужитъ новымъ доказательствомъ, что Польша безсмертна“.

И дѣти отправились.....

Что говорятъ наши старцы русскимъ отрокамъ? Что сестры и матери—одинъ женскій голосъ раздался и то съ Украины—хоть бы онѣ учили отстраниться, идти въ отставку, вѣдь это не то, что посылать на смерть.....

Проснитесь-же, пока есть время, чтобъ спасти русскій народъ и себя.

Колоколъ № 160.
1 Апрѣля 1863 года.

ПРОКЛАМАЦІЯ „ЗЕМЛИ И ВОЛИ“.

Наконецъ сказалось въ Россіи живое слово участія къ польскому дѣлу—сказалось путемъ *подземной* литературы, какъ и слѣдовало ожидать въ странѣ, въ которой, за мнѣніе, публицистовъ держатъ больше полугода въ казематахъ, а потомъ ссылаютъ на каторжную работу, — сказалось «ЗЕМЛЕЙ и ВОЛЕЙ». Прокламація, разсѣянная 19 Февраля (3 Марта) въ Москвѣ и Петербургѣ *(которой текста мы не получали)*, была о Польшѣ. Писавшіе ее подаютъ руку полякамъ во имя юной Россіи и обращаются къ

солдатамъ и офицерамъ, удерживая ихъ отъ преступнаго повиновенія.

Этотъ голосъ былъ необходимъ, съ него начнется реабилитація Россіи — и потому глубокая благодарность людямъ, сдѣлавшимъ ее возможной.

Холопы слова, литературные опричники и полицейскіе *вѣстники*, доморощенные и проживающіе in partibus, называютъ ихъ и насъ измѣнниками Россіи, говорятъ, что мы стоимъ въ рядахъ злѣйшихъ враговъ ея и пр.*)

Имъ мы не будемъ отвѣчать. Они за тѣмъ нравственнымъ цензомъ, за которымъ нѣтъ ни оскорбленій, ни обидъ. Они пользуются особыми привилегіями, какъ объявленные банкруты, какъ публичныя женщины, какъ ихъ страдательные собратья, не пишущіе въ пользу правительства, а подслушивающіе ему въ пользу.

Съ ними говорить нечего.

Но можетъ быть въ числѣ друзей нашихъ найдутся люди, не вполнѣ освободившіеся отъ традиціонныхъ предразсудковъ, не ясно разграничившіе въ своемъ сознаніи *отечество съ государствомъ*, смѣшивающіе родственную любовь къ своему народу, готовность страдать объ немъ и для него, готовность отдать ему трудъ, жизнь—съ готовностью безсмысленно повиноваться всякому правительству. Имъ-то мы и хотимъ сказать нѣсколько словъ.

Мы съ Польшей, потому что мы за Россію. Мы со стороны поляковъ, потому что мы русскіе. Мы хотимъ независимости Польши, потому что мы хотимъ свободы Россіи. Мы съ поляками, потому что одна цѣпь сковываетъ насъ обоихъ. Мы съ ними, потому что твердо убѣждены, что нелѣпость имперіи, идущей отъ Швеціи до Тихаго океана, отъ Бѣлаго моря до Китая—не можетъ принести блага народамъ, которыхъ ведетъ на смычкѣ Петербургъ. Всемірныя монархіи Чингизовъ и Тамерлановъ принадлежатъ къ самымъ начальнымъ и самымъ дикимъ періодамъ развитія — къ тѣмъ временамъ, когда сила и обширность составляютъ всю славу государства. Онѣ только возможны съ безвыходнымъ рабствомъ внизу и неограниченнымъ тиранствомъ на верху. Была ли нужна или нѣтъ наша имперская формація, намъ на сію минуту дѣла нѣтъ — она фактъ. Но она сдѣлала свое время и занесла одну ногу въ гробъ—это тоже фактъ. Мы стараемся отъ всей души—помочь другой ногѣ.

Да, мы противъ имперіи, потому что мы за народъ!

— —

*) Въ другомъ мѣстѣ нашего листа мы выписываемъ изъ III-го Отдѣленія „Русскаго Вѣстника“ нѣсколько ругательствъ противъ прокламаціи и фразу изъ манифеста правительствующей реакціи. Пусть читатели сами измѣрятъ глубину паденія московскихъ доктринеровъ.

1831—1863*).

I

— Можно ли было думать, чтобъ у этого старика было такъ много крови... говорилъ Макбетъ.

— Что-жъ это, кровь-то не смывается?—воды!... дайте воды!... говорила его жена.

Дѣйствительно, есть старики, у которыхъ крови не только много, но у которыхъ кровь молода... и до того марка, что ее нѣтъ никакой возможности смыть.

Россія испытываетъ все это... и дай богъ, чтобъ не было *убитаго въ лѣсу*, котораго тѣнь стала бы являться на каждую пирушку.

Польское возстаніе провело глубокую черту. Въ будущихъ учебникахъ на немъ будетъ оканчиваться одна глава русской исторіи и начинаться другая. Тутъ переломъ — продолжать прежнюю жизнь можно, но переломъ будетъ чувствоваться, но черты стереть нельзя. Та же жизнь по ту сторону, нравственно будетъ *не та*. Россія будетъ помнить, что въ жилахъ старика было очень много крови, что эта кровь лилась все по ея рукамъ... и что она ничего не сдѣлала, чтобъ ее смыть.

— А развѣ у Польши меньше было крови въ 1831 году?

— Нѣтъ, но у Россіи было меньше совѣсти, то есть сознанія. За полусознанныя злодѣйства, за преступленія, сдѣланныя въ полуснѣ, исторія не наказываетъ, а даетъ англійскій вердиктъ temporary insanity. Вопросъ весь въ томъ: имѣетъ ли Россія 1863 столько же права на этотъ вердиктъ, какъ Россія 1831?

Мы рѣшительно отрицаемъ это.

Польское возстаніе, слѣдовавшее черезъ пять лѣтъ послѣ 14-го Декабря, застало Россію въ расплохъ, подавленную и въ глубокомъ раздумьи. Чуть ли не въ первый разъ тогда русскіе подумали въ самомъ дѣлѣ о себѣ. Серьезное пониманіе у народовъ является очень поздно, плодомъ большихъ испытаній, потрясеній, неудачъ; самые развитые народы ошибаются вѣка цѣлые подъ вліяніемъ мечтаній и фантазій. Франція около вѣка воображала себя либеральной и даже республиканской. Русское раздумье было совершенно на мѣстѣ. Кичась государственнымъ значеніемъ и вліяніемъ въ европейскихъ дѣлахъ, петровская Россія воображала, что ей также легко будетъ заимствовать у сосѣдей политическую свободу, какъ военно-полицейскую имперію. Удесятеренный деспотизмъ заставилъ призадуматься тѣхъ, кого не пришибъ окончательно, они начали сомнѣваться въ своихъ путяхъ; стремленіе ихъ было истинно, но оно удовлетворялось готовыми рѣшеніями, не подходившими къ явленіямъ русской жизни. Тяжелое чувство отсутствія корней не меньше давило все мыслящее и пробужден—

*) Соединенныя здѣсь статьи были помѣщены въ №№ 160, 161 и 163 „Колокола“. *Л. Т.*

ное, какъ правительственный гнетъ. Выходъ былъ не ясенъ, слабость очевидна.

Польскій вопросъ былъ смутно понимаемъ въ то время. Передовые люди, люди, шедшіе на каторжную работу за намѣреніе обуздать императорское самовластіе — ошибались въ немъ, и становились, не замѣчая того, на узкую государственно-патріотическую точку зрѣнія Карамзина. Стоитъ вспомнить факты, разсказанные Якушкинымъ, негодованіе М. Орлова, статью Лунина и проч. У нихъ была своего рода ревность къ Польшѣ; они думали, что Александръ I больше любилъ и уважалъ поляковъ, чѣмъ русскихъ. Они были еще подъ обаяніемъ петровской традиціи; мы и моложе ихъ, но всѣ воспитались въ ней, и не такъ-то давно отдѣлались отъ нея.

Таково было настроеніе общества въ 1830.

О народѣ не могло быть и рѣчи; это было спящее озеро, котораго подснѣжныя теченія никто не зналъ, и на замерзнувшей поверхности котораго стояли помѣщичьи усадьбы, присутственныя мѣста и всякія будки и казармы.

Николай — нѣсколько оправился отъ 14 Декабря къ тѣмъ порамъ и успокоился, сгубивъ цѣлыя арміи тифомъ и голодомъ въ балканскихъ дефилеяхъ и смѣнивъ опаснаго Ермолова на Кавказѣ бездарнымъ Паскевичемъ. Вдругъ на него обрушилась вѣсть парижской революціи 1830 г. Онъ потерялся. Онъ гвардейскимъ офицерамъ, середь совершеннѣйшаго мира, объявилъ, что скоро придется сѣсть на лошадь, и велѣлъ ставить армію на военную ногу. Онъ Людвигу Филиппу нагрубилъ безъ всякаго вызова. Только развѣ въ 1848 г. онъ превзошелъ 1830 г. въ стѣсненіи всякой заявленной мысли, всякаго слова, несогласнаго съ началами всепоглощающаго абсолютизма. Въ это время онъ въ первый разъ водрузилъ свое дикое знамя — „Самодержавія, Православія, Народности"... съ этого времени, въ противуположность тому, что дѣлалось въ Европѣ, началось въ его головѣ то обоготвореніе въ себѣ царскаго титла, которое довело его наконецъ черезъ двадцать пять лѣтъ до совершеннаго затмѣнія умственныхъ способностей, до того, что на маневрахъ, передъ атакой, онъ плакалъ въ три ручья, снимая каску и вслухъ прося — „о дарованіи побѣды благочестивѣйшему императору Николаю Павловичу—яко съ нами Богъ"...

Но если никто не вѣрилъ въ божественность императорской власти, то въ силу ея вѣрили всѣ, любившіе ее и ненавидѣвшіе, свои и чужіе, герцогъ Велингтонъ и маршалъ Себастіани, Метернихъ и Казиміръ Перье, ораторы, нападавшіе на Россію, и Пушкинъ, писавшій имъ отвѣтъ въ стихахъ.

И такъ, съ одной стороны смутное стремленіе сбросить съ себя деспотическую опеку, парализованное сознаніемъ чуждости съ народомъ; съ другой — подавляющій призракъ чудовищной власти императорства, противъ которой можно было вести подземныя мины, но бороться лицомъ къ лицу нельзя было и думать.

Какой же протестъ былъ возможенъ въ пользу Польши въ 1831?

Скрытое сочувствіе—оно было, были стихи, вырвавшіеся со слезами, были горячіе пріемы сосланныхъ, университетская молодежь (по крайней мѣрѣ въ Москвѣ) была за Польшу. Журналы, литература не имѣли никакого политическаго значенія при тогдашней цензурѣ. Общество сильно падавшее, оставалось равнодушнымъ, хотя и было меньшинство, воспитанное подъ западнымъ вліяніемъ и ненавидѣвшее Николая за безцеремонность его деспотизма—оно радовалось неудачамъ Дибича и глупостямъ Паскевича.

Диѳирамбомъ дикой власти штыковъ съ кулачной угрозой клеветникамъ Россіи и неслыханными въ послѣднія столѣтія гоненіями дѣтей, стариковъ, цѣлаго поколѣнья,—оканчивается возстаніе 1831.

Затѣмъ тянется печальный рядъ годовъ самой прозаической эпохи николаевскаго царствованія. Уцѣлѣвшая Польша ушла за границу, разсказывая народамъ о звѣриномъ усмиреніи. Народы европейскіе, еще не испытавшіе пятидесятыхъ годовъ, еще полные упованій и самонадѣянности, печально слушали польскаго выходца, и ненависть къ Россіи становилась общимъ чувствомъ женщинъ, дѣтей, аристократовъ и плебеевъ. Лондонская чернь ворчала вслухъ при посѣщеніи Николаемъ Англіи, лордъ Дудлей Стюартъ послалъ ему подписку въ пользу поляковъ. На насъ лежала капля крови, мы были помѣчены побѣдой надъ поляками.

Дома продолжался сухой деспотизмъ. Николай, окруженный посредственностями, своими Бенкендорфами и Клейнмихелями, вколачивалъ неподатную Россію въ рамы передней, обращая статскихъ дворовыхъ въ военные деньщики, и все это холодно, грубо, безпощадно, отравляя жизнь.

Еслибъ этими мѣрами ему удалось остановить внутреннюю работу, развитіе Россіи остановилось бы на долго, для зимняго дворца возвратились бы счастливыя времена „Очакова и покоренія Крыма“; для Европы времена татарскихъ нашествій, приведенныхъ въ регулярно-нѣмецкую форму, которыми ее стращалъ іезуитской памяти Донозо Кортесъ.

Но мысль, взошедшая внутрь, назрѣвала, слово, насильственно возвращенное назадъ, разъѣдало грудь, подтачивало тюремныя стѣны и если фасадъ острога остался тотъ-же, то внутри многое измѣнилось.

Сначала боль, утрата близкихъ надеждъ, оскорбленія были слишкомъ живы, униженія слишкомъ раздражали. Много энергическихъ, благородныхъ натуръ сломились, зачахли физически или нравственно. Печеринъ искалъ спасенія въ католицизмѣ, Полежаевъ въ разгулѣ и оргіи.

Вопросъ о выходѣ изъ этого ада, изъ этого чистилища становился такимъ мучительнымъ вопросомъ для мыслящаго человѣка, что не находя разрѣшенія, одни, какъ мы сейчасъ сказали, бросились въ бѣгство, потерялись, другіе отрицали возможность выхода — какъ Чаадаевъ. *Отрава* раздумья шла глубже и глубже, скептицизмъ и иронія были литературными признаками внутренняго пожирающаго огня. Байронизмъ Пушкина и Лермонтова, не

былъ просто подражаніемъ, онъ былъ также своевременъ и *національнъ* петровской Руси, какъ потрясающій смѣхъ Гоголя.

Слой, въ которомъ совершалась эта работа, не былъ доступенъ правительству; такъ глубоко не рѣжетъ кнутъ. Николай былъ человѣкъ совершенно необразованный и скверно окруженный; тайная полиція его, составленная изъ шулеровъ, битыхъ офицеровъ, воришекъ пойманныхъ на кражѣ казенныхъ денегъ, мелко плавала. Они боялись дерзкаго слова, бархатнаго берега à la Karl Sand, сигары на улицѣ; они искали классическихъ конспираторовъ съ кинжалами, плащами и присягами, которыя страшно произнести при нервныхъ женщинахъ.

Открытую, огромную конспирацію, проникавшую въ душу безъ присяги и ходившую по улицамъ безъ калабрской шляпы, они не могли уловить; ихъ пальцы были слишкомъ грубы.

Въ этой конспираціи участвовало все, не только не сговариваясь, но и не подозрѣвая того — такъ наливаются въ одно и тоже время, подъ вліяніемъ одной и той-же атмосферы, назависимыя другъ отъ друга почки, составляющія общій характеръ весны.

Кто не были ея агентами? Студентъ, знавшій на память стихи Рылѣева, Полежаева и ѣхавшій *на кондицію* въ помѣщичій домъ, лекарь, отправлявшійся на службу въ дальній край,*) семинаристъ, пріѣзжавшій на вакаціонные мѣсяцы въ родное село, учитель, читавшій словесность кадетамъ, и вся словесность и всѣ университеты, лицеи, духовныя и военныя академіи, театры, корпусы, западники и славянофилы, самые разные характеры и самыя противоположныя направленія — Чаадаевъ и Полевой, Бѣлинскій и Гоголь, Грановскій и Хомяковъ.

Одна Русь не петровская, Русь народная оставалась въ сторонѣ отъ этого движенія. Она той Руси, въ которой происходило движеніе, не знала — да и ее не знали тамъ. До этой работы мысли, до внутренняго протеста, пожалуй до этого угрызенія совѣсти ей дѣла не было и это совершенно естественно. Не она оторвалась отъ своего быта и всплыла надъ нимъ, не въ ней могли и должны были зародиться сомнѣнія въ путяхъ своихъ; она *продолжала* свой непосредственный бытъ подъ тяжелымъ гнетомъ крѣпостнаго состоянія, чиновничьяго грабежа и бѣдности.

Та часть народа, которая отвернулась отъ прежняго быта и оторвалась отъ прежняго единства съ поспѣшностью измѣны, та безъ сомнѣнія и должна была сперва придти къ сознанію своего

---

*) Въ 1835 г., во время моей ссылки въ вятскую губернію, я нашелъ въ уѣздномъ городѣ Сарапулѣ прекрасно составленную библіотеку, въ которой получались всѣ новыя книги и журналы на русскомъ языкѣ. Участники брали эти книги на домъ, и имѣли читальную залу. Все это было заведено, съ невѣроятными усиліями, жертвами и съ огромной настойчивостью, уѣзднымъ лекаремъ, вышедшимъ изъ московскаго университета. Фамилія его, кажется, Чудновскій.

страннаго положенія совершенной разобщенности—разобщенности *въ обѣ стороны:* потерявъ связь съ народомъ, она осталась чужой міру той цивилизаціи, которой платья и фасады были ею приняты, а сущность осталась не усвоенной. Первая минута, въ которую она протрезвилась въ своемъ маскарадномъ платьѣ, отъ грома побѣдъ, отъ ломки и перестройки, отъ безпрерывныхъ служебныхъ дѣлъ и военныхъ ученій, въ которую она поняла, что нѣмецкіе кафтаны и французскія слова не даютъ европейскихъ условій жизни, она очутилась съ глазу на глазъ съ императорскимъ самовластіемъ. Воображая себя Европой или народомъ, она хотѣла схватить его подъ уздцы, но лишенная всякой правомѣрной основы, выработанной на Западѣ и всякаго народнаго сочувствія — она была побѣждена. И, какъ мы сказали, съ этого пораженія начинается тотъ мучительный трудъ мысли, который, перебирая ноту за нотой, еще не достигалъ ни до какого результата въ 1831 году; но въ тридцать послѣдующихъ лѣтъ сдѣлалъ огромные шаги.

Христіанство, съ своей необычайно глубокой психологіей, связывало искупленіе съ раскаяніемъ и исповѣдью. Это равно относится къ лицу и цѣлымъ народамъ. Надобно было совѣсти русской не только раскаяться въ *любви* къ силѣ и забіячеству военной имперіи, въ гордости штыками и суворовскими бойнями, но и привести это къ слову, надобно было ей исповѣдаться.

И съ исповѣди начинается ея пробужденіе.

Послѣ покоренія Польши, лѣтъ пять осаживались въ Россіи николаевскіе порядки, въ угрюмой тишинѣ. Общество больше и больше падало, литература молчала или дѣлала дальніе намеки; только въ стѣнахъ университета слышалось иногда живое слово и билось горячее сердце.... да время отъ времени могучая пѣснь Пушкина, противурѣча всему что дѣлалось, будто пророчила, что такая здоровая и широкая грудь многое вынесетъ.

Лично люди спасались — кто наукой, кто искусствомъ, кто вымышленной дѣятельностью. Лично люди отворачивались отъ всего окружающаго и наблюдали въ недосягаемой дали движеніе западныхъ свѣтилъ — но внутренняя боль, недоумѣнія, не могли успокоиться, они должны были дострадаться до истины и найти въ себѣ выраженіе. Чаадаева письмо представляетъ первую, осязаемую точку перегиба, отъ которой идутъ два расходящіеся ряда пониманья.

....«Посмотрите вокругъ себя. Все какъ будто на ходу. Мы всѣ какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія, нѣтъ ни добрыхъ обычаевъ, не только правилъ, нѣтъ даже семейнаго средоточія; нѣтъ ничего что-бы привязывало, что-бы пробуждало ваши сочувствія, стремленія; нѣтъ ничего постояннаго, непремѣннаго; все проходитъ, течетъ мимо, не оставляя слѣдовъ. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ.

«Истинное общественное развитіе не начиналось еще для наро-

да, если жизнь его не сдѣлалась правильнѣе; нашъ нравственный міръ находится въ хаотическомъ броженіи, подобномъ переворотамъ, которые предшествовали настоящему состоянію планеты».*)

Mea culpa, mea maxima culpa!

Далѣе отрицательное сознаніе идти не могло, чуть-ли этотъ *нигилизмъ* не трагичнѣе новаго. Что было дѣлать послѣ такого сознанія? Вздохнуть, сложить руки и смиренно нести на себѣ крестъ родины.

На этомъ сознаніи долженъ былъ обличиться переворотъ, *если только силы на выздоровленіе* были въ груди. И дѣйствительно, мрачная исповѣдь Чаадаева вызвала сильной отпоръ. Отпоръ человѣка заживо погребаемаго. Отпоръ *инстинктивной* вѣры—одностороннему сомнѣнію. Вновь выходившая русская мысль, какъ царь Иванъ Васильевичъ, одержимая болѣзнью и слабая, слышала за дверями какъ Чаадаевъ ей читалъ отходную — и покидая одръ свой, бросилась заявить свои права на жизнь.

Во имя чего? Во имя народнаго блага и *до-петровской Руси* т. е. обходя съ тѣмъ-же отвращеніемъ—*имперію*, съ которымъ смотрѣлъ на нее ихъ противникъ. „Это временный наростъ, говорили они, иностранное рубище, приросшее правда къ тѣлу, но только къ кожѣ, его можно отодрать...“

—„А тамъ-то что?“ говорили скептики, качая головой.

Границы турнира были обозначены.

До 1848 года только въ этой *литературной* борьбѣ и чувствовался пульсъ живаго сердца.

II

Не мы свели вопросъ на книжной споръ, а такъ было на самомъ дѣлѣ. Вся умственная жизнь Россіи въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ сводилась на литературу и преподаваніе. Споръ этотъ занималъ конечно не больше двухъ, трехъ сотъ головъ, изъ которыхъ половина были очень молоды. Но эта ариѳметическая слабость, когда всѣ остальныя ничѣмъ не заняты, ничего не значитъ. Меньшинство съ возбужденной мыслью, вѣрой, сомнѣньемъ, выдѣляясь изъ массы не имѣющей никакого опредѣленнаго направленія, изъ массы дремлющей, равнодушной, становится по необходимости свѣтскимъ духовенствомъ, т. е. начиная пропагандой и проповѣдью, часто оканчиваетъ властью а ведетъ паству по своей дорогѣ.

Кругъ умственной дѣятельности того времени былъ внѣ правительства, совершенно отсталаго и внѣ народа, молчавшаго въ отчужденности, онъ былъ въ книгѣ и аудиторіи, въ теоретическомъ спорѣ и въ ученомъ кабинетѣ. И дѣйствительно, только въ литературѣ и университетахъ приходилось еще правительству отражать и сдерживать; только тамъ еще жизнь пыталась выступить изъ

*) Чаадаевъ.

тѣсныхъ береговъ цензуры и надзора, только тамъ еще чувствовалась упругость. Литература и учебныя заведенія были единственными граждански-доблестными, честными сферами дѣятельности неподатной Россіи того времени.

Сенатъ и синодъ, гражданское вѣдомство и военныя власти, дворянскія собранія и beau monde боялись не только оппозиціи, но всякой самобытности, боялись, чтобъ на нихъ не пало подозрѣніе въ *мнѣніяхъ*. Солидные люди съ внутреннимъ ужасомъ смотрѣли на отвагу Н. С. Мордвинова, дерзавшаго не только имѣть, но и подавать *мнѣнія*. Николай едва сдерживалъ свою ярость противъ дерзкаго старца.

Одна литература, одни аудиторіи протестовали постоянно, протестовали на сколько могли—молчаніемъ и пропусками тамъ, гдѣ нельзя было словомъ; *запрещенными* стихами, ходившими по рукамъ и намеками, ускользавшими подъ пальцами цензора. Теперешнее растлѣніе литературы и учебныхъ заведеній начинается съ нынѣшняго царствованія. Откупная журналистика и полицейскіе профессора, проповѣдующіе философію рабства и пишущіе доносы цѣлой конференціей, явленія совершенно новыя и разумѣется во все николаевское время не было аудиторіи, которая съ сочувствіемъ стала бы слушать доктрину слѣпаго повиновенія; юноши-консерваторы и гувернементалисты тогда вовсе не существовали; развитіемъ этой нравственной собачьей старости, которая сильно распространяется, мы обязаны послѣднимъ годамъ преподаванія и журналистики.

И такъ, не мы придали учено-литературному спору тридцатыхъ годовъ историческую важность въ умственномъ развитіи Россіи, а такъ было на дѣлѣ. О самомъ спорѣ мы не будемъ распространяться, о немъ писали много, мы только напомнимъ, что одна сторона стремилась продолжать петровскій переворотъ въ смыслѣ *революціонномъ*, усвоивая Россіи все выработанное народами съ 1789, и перенося на нашу почву англійскія учрежденія, французскія идеи, германскую метафизику. Считая западныя формы гражданственности выше формъ топорной работы Петра I и его наслѣдниковъ, они были совершенно правы; но принимая ихъ за *единоспасающія*, общечеловѣческія формы, идущія ко всякому быту, они впадали въ вѣчную ошибку французскихъ революціонеровъ. Противники ихъ возражали имъ, что формы, выработанныя западной жизнью, хотя бы и имѣли общечеловѣческое развитіе, но рядомъ съ нимъ должны были сохранить и свои частно народные элементы, что эти элементы останутся намъ чужими и не удовлетворятъ насъ, потому что у насъ другія притязанія и другія препятствія, другое прошедшее и другая обстановка въ настоящемъ. Къ этому присоединялась вѣра въ элементы, лежащіе въ бытѣ народномъ, и раздражительная обидчивость за прошедшее.

До ясности не договорились ни тѣ, ни другіе, но по дорогѣ было возбуждено множество вопросовъ; въ полномъ разгарѣ спора его настигла февральская революція. Она является тѣмъ третьимъ

который своею кровью поставилъ точки на і. Мрачное время для Россіи между 1848 годомъ и крымской войной имѣетъ для насъ большое значеніе, на которое кажется не было обращено достаточнаго вниманія.

Гоненія, начавшіяся послѣ революціи 48 года, противъ печатнаго слова и преподаванія, перешли всѣ границы тупаго и гнуснаго; они были гадки, они были смѣшны—они довели литературу до угрюмаго молчанія, *но говорить въ смыслѣ николаевскаго консерватизма не заставили ее.* Тоже было въ преподаваніи; наружно подавленное, оно внутри осталось вѣрнымъ своему святому призванью пропаганды, очеловѣченія. И если столичные профессора были иногда стѣсняемы докучливымъ надзоромъ и доносами, то преподаваніе шло своимъ чередомъ въ провинціальныхъ университетахъ, гимназіяхъ, семинаріяхъ, кадетскихъ корпусахъ и пр. Эта децентрализація образованія, чрезвычайно важна не только географически, но и пониженіемъ, такъ сказать, ценза его; она просачивалась глубже и терялась на самыхъ границахъ грамотности. Мѣры правительства ни къ чему не привели.

Педагогія противустояла даже своего рода chef d'œuvr'у — ростовцевской инструкціи преподавателямъ военно-учебныхъ заведеній.

Кто-же сдѣлалъ это?

Это сдѣлалъ новый кряжъ людей, возставшій внизу, и вводившій исподволь свои новые элементы въ умственную жизнь Россіи. Онъ пріобрѣталъ больше и больше права гражданства въ ней, въ продолженіи того времени какъ Николай сбивалъ верхушки и грубыми ударами уродовалъ оранжерейныя и нервно развитыя организаціи.

Отщепленцы всѣхъ сословій, эти *новые люди*, эти нравственные разночинцы, составляли не сословіе, *а среду*, въ которой на первомъ планѣ были учители и литераторы, литераторы работники, а не дилетанты, студенты окончившіе и не окончившіе курсъ, чиновники изъ университетскихъ и изъ семинаристовъ, мелкое дворянство, оберъ-офицерскія дѣти, офицеры выпущенные изъ корпусовъ и проч. Новые люди, маленькіе люди, они были не такъ замѣтны и нравственно столько-же свободнѣе прежнихъ, сколько связаннѣе матеріально. Бѣдность дастъ своего рода осмотрительную силу и строй.

Дворянски-помѣщичья Русь, въ которой до этого времени преимущественно сосредоточивалось умственное и литературное развитіе, была—помимо преслѣдованій—въ фальшивомъ положеніи. Она не могла серьезно провести ни одной мысли, не переходя черезъ ограду, оберегавшую ея сословныя права. Связанная образованіемъ съ формами европейской жизни, связанная крѣпостнымъ состояніемъ съ петербургскимъ регментомъ, она должна была отречься отъ своихъ монополій или невольно вносить противурѣчіе во всякій вопросъ. Для нея, какъ касты, была одна бу-

дущность — ограничить верховную власть царя олигархической думой; на это не было матеріальной силы. На выходъ изъ сословія не доставало силы нравственной. Типъ англомановъ и либераловъ помѣщиковъ захваченныхъ на своемъ стремительномъ пути къ парламентской свободѣ — освобожденіемъ крестьянъ съ землею, останется на надгробномъ памятникѣ россійскаго благороднаго дворянства — въ родѣ каррикатурныхъ уродцевъ, которыми средневѣковые зодчіе украшали капители церковныхъ колоннъ.

Аристократическая Россія отступала на второй планъ, ея голосъ сталъ слабѣть; можетъ она, какъ Николай, была сконфужена событіями 1848 года. Чтобъ оставаться народной въ литературѣ, ей пришлось оставить городскую жизнь, взять охотничье ружье, и бить, по землѣ и на лету—дичь крѣпостнаго права.

Другая сила шла на смѣну, другая шеренга становилась на мѣсто истощившихся вождей и бойцовъ.

Еще въ людскихъ ушахъ раздавался звукъ погребальной проповѣди Чаадаева, которая, шевеля многое въ груди, не давала ничего кромѣ утѣшеній *на томъ свѣтѣ* какого-то далекаго будущаго—а уже свѣтлые звуки малороссійскаго напѣва, неслись издали вмѣстѣ съ жартами и смѣхомъ, если и не добродушнымъ, то смѣхомъ здоровой груди — а ужъ въ стертой журналистикѣ, скучной въ Москвѣ и истасканной въ Петербургѣ вырѣзывались сильнѣе и ярче черты настоящаго представителя молодой Россіи, дѣйствительнаго революціонера въ нашей литературѣ.

Бѣлинскій былъ человѣкъ необыкновенно свободный, его ничто не стѣсняло, ни предразсудки схоластики, ни предразсудки среды, онъ является полный вопросовъ—ищетъ разрѣшеній, не подтасовывая выводовъ и не пугаясь ихъ. Онъ откровенно ошибается и искренно ищетъ другаго разрѣшенія; у него была въ виду одна истина и ничего развѣ ея. Бѣлинскій вышелъ на сцену безъ герба, безъ знамени, безъ диплома, онъ не принадлежалъ ни къ какой церкви и ни къ какому сословію, онъ ничѣмъ не былъ связанъ и никому не присягалъ. Ему нечего было щадить, но за то онъ могъ всему сочувствовать... Въ первую минуту, когда онъ, искушаемый зміемъ нѣмецкаго любомудрія, увлекся *разумностью всего сущаго*, онъ безбоязненно написалъ свою бородинскую статью. Какую страшную чистоту надобно было имѣть, какую самобытную независимость и безконечную свободу, чтобъ напечатать что-нибудь въ родѣ оправданія Николая въ началѣ *сороковыхъ годовъ?*

Эту *чистоту ошибки* поняли тѣ самые люди, которые не могли простить двухъ стихотвореній Пушкину, которые отвернулись отъ Гоголя за его „переписку съ друзьями". На Бѣлинскаго многіе (и я въ томъ числѣ) сердились, но чувствовали, что заблужденіе искренне, что онъ воротится. Такъ и было.

Въ Бѣлинскомъ мы встрѣчаемъ ту великую отрѣшенность отъ впередъ идущихъ понятій и авторитетовъ, которая составляетъ

отличительную черту и силу русскаго генія, ее смутно провидѣлъ Чаадаевъ, объ ней и мы говорили много.*)

Можетъ эта отрѣшенность, эта внутренняя свобода съ внѣшнимъ рабствомъ, лишила нашу жизнь многихъ теплыхъ минутъ, многихъ привязанностей, можетъ она внесла въ нее сломанность, которая выражалась господствомъ ироніи. Но она дала намъ страшную независимость. Мы какъ дѣти незнавшіе ни отца, ни матери, были бѣднѣе, но свободнѣе; наша мать и нашъ отецъ были идеалы и потому не они стѣсняли насъ, а мы имъ втѣсняли очищенный образъ свой и свое подобіе.

Идеалъ Бѣлинскаго, идеалъ нашъ, наша церковь и родительскій домъ, въ которомъ воспитались наши первыя мысли и сочувствія былъ *западный міръ* съ его наукой, съ его революціей, съ его уваженіемъ къ лицу, съ его политической свободой, съ его художественнымъ богатствомъ и несокрушимымъ упованіемъ.

Идеалъ Хомякова и его друзей былъ въ прошедшемъ народа русскаго, въ его бытѣ преображенномъ въ небывалой чистотѣ. Но апотеоза какъ-бы ни была преувеличена, все-же въ ней главныя черты истинны. *Житье* необходимо при всякомъ причисленіи къ лику святыхъ и въ идеалѣ Славянъ, сохранившемъ бытовыя особенности нашего народа, было великое пророчество принимаемое ими за воспоминаніе.

Которому изъ идеаловъ суждено было одолѣть? Или на чемъ они могли помириться и идти объ руку?

Элементы къ разрѣшенію этого вопроса принесла революція 1848 съ своими послѣдствіями.

По крайней мѣрѣ съ тѣхъ поръ споръ, о которомъ мы говорили, измѣнился.

III

О переворотѣ 1848 г. мы говорили много. Мы были имъ увлечены, какъ весь міръ; онъ даже увлекъ своихъ противниковъ, они тоже не устояли на мѣстѣ, и пошли гораздо дальше въ свою сторону.

Увлеченіе не долго продолжалось, но люди долго не могли придти въ старое русло. Собственно революціонный приливъ перегнулся съ страшной быстротой, и всѣ скрывавшіеся подводные камни, скалы и отмели гордо подняли свою вновь вымытую голову.

Послѣдняя карта *прежней* революціи была дана, отыграться *этой колодой* она не могла. Она это чувствовала не ясно, но чувствовала. Февральская республика начиналась разочарованіемъ, не вѣрой въ себя, а сомнѣніемъ. Она явилась робко, неоткровенно, дурно одѣтая и окруженная мѣщанской родней.

---

*) .... Nous sommes une immense spontanéité... l'intelligence russe est l'intelligence unipersonelle par excellence.

Tchaadaeff. Lettres à Al. Tourgeneff.

Достигнутъ-ли идеалъ или нѣтъ — это все равно, онъ останется живъ и силенъ въ сердцѣ человѣческомъ, но бѣдное осуществленіе убиваетъ его.

Люди гораздо больше поэты и художники чѣмъ думаютъ.

Республика 1848 года была слишкомъ раціональна, чтобъ быть религіей и слишкомъ религіозна, чтобъ сосредоточиться на экономическомъ вопросѣ. За нее не могли люди фанатически умирать, какъ они умирали за *непонятные* догматы, именно потому, что въ ней не было этого *непонятнаго;* а понятная программа ея не на столько была выгодна, чтобъ ее защищать своей жизнію. Самое безпристрастіе ея къ врагамъ, ея будничная справедливость дѣлала людей равнодушными. Она представляла голыя стѣны пустаго зданія — мощный духъ 1792 года не наполнялъ его больше. Тогда знали, что зданіе неокончено, что прежде чѣмъ его достроивать, надобно его отстоять отъ внутренняго и внѣшняго врага. Республика являлась тогда не столько достигнутымъ благосостояніемъ, какъ протестомъ и пророчествомъ, мстительницей за вѣковую несправедливость, за кровныя обиды. Она, Немезида, сулила людямъ братство и свободу, и ей вѣрили; она давала только надежды, и ими довольствовались. Вторая обѣщала меньше, а требовали отъ нея больше. Работники ей давали *только* три мѣсяца голода—не больше. Она заплатила въ срокъ, только не золотомъ, а свинцомъ и желѣзомъ.

Старая, уже *безплодная* республика побѣдила новую, еще *не плодоносную*, и тотчасъ сама оказалась побѣжденной. Съ нея сорвали фригійскую шапку—народъ молчалъ, у нея отняли пику—народъ молчалъ, у нея отняли имя — народъ молчалъ, пчелы облѣпили ея мантію — народъ молчалъ.

Новый идеалъ былъ отринутъ. Соціальный Адонаи не былъ такъ счастливъ какъ Юпитеръ, не увлекъ Европу. Онъ не имѣлъ еще той творческой возмужалости, которая увлекаетъ, нарождаетъ. Въ немъ было много школьнаго, отвлеченно-теоретическаго; его еще занимали пансіонскія попытки пересоздать родъ человѣческій въ какомъ нибудь запустѣломъ монастырѣ, въ саду въ пять квадратныхъ десятинъ... Къ тому же его гнала со свѣта ревниво и страстно— не церковь съ инквизиціей, не тронъ съ гвардіей, а полицейская республика. Она, какъ императрица Екатерина II, забыла сына въ наслѣдникѣ и, боясь его правъ, старалась извести его. Мать и сынъ пали въ этой борьбѣ. Выигрыши были даже не со стороны монархическаго принципа, а со стороны *полиціи*, со стороны управы благочинія и внѣшняго уличнаго порядка.

И въ то самое время, когда революція, побитая на всѣхъ точкахъ, уступала все пріобрѣтенное съ 1789, испуганное самодержавіе въ Россіи, со всей свирѣпостью трусости и невѣжества, безъ нужды и смысла раздавивши Венгрію, бросилось на преслѣдованіе мысли, науки, всякаго гражданскаго стремленія.

Казалось, все оставило возникавшее русское развитіе, казалось, что оно исчезнетъ какъ неудачная попытка, и мы погрузимся въ

новое тысячелѣтіе крѣпостнаго состоянія, варварства, византизма.

Свѣтъ, входившій изъ Европы въ трещины нашей острожной стѣны, сталъ меркнуть, трудно было что нибудь различить; на Западѣ одни темныя облака неслись, толкали другъ друга, мѣняли случайныя очертанія, сгущались, обѣщая грозу и разрѣшаясь осеннимъ дождемъ и слякотью. И этотъ-то мракъ самодержавная полиція лишила послѣдняго утѣшенія, послѣдняго признака жизни. звука, человѣческаго слова. Россія онѣмѣла. Тогда-то, долго терпѣвши и не видя выхода, Грановскій, утомленный, измученный, благословлялъ судьбу умершаго Бѣлинскаго и завидовалъ его смерти!.. Тогда-то онъ, страстно любившій Россію, просилъ найти ему какую нибудь каѳедру въ Бельгіи, потому что, если и были у него силы умереть за Россію, то жить въ ней не было больше.

А жизнь шла своимъ чередомъ.

Живуча русская жизнь — всѣ невыгоды, всѣ удары сошли ей съ рукъ. Отчего? Не отъ того ли, что они не по тѣмъ мѣстамъ били, отъ которыхъ *зависѣли жизнь и ростъ этого страннаго организма?*

Въ самый пущій разгаръ деспотизма и гоненій въ Россіи и реакціи въ Европѣ, — въ Москвѣ и въ Петербургѣ господствующее направленіе умовъ начинаетъ заботиться о другихъ вопросахъ. Хомяковъ, К. Аксаковъ и ихъ кругъ обращаютъ особенное вниманіе на русскую *сельскую общину*, *на общинное владѣніе землей.* Кругъ Петрашевскаго въ Петербургѣ программой своихъ занятій дѣлаетъ изученіе *соціально-экономическихъ теорій.*

Славянофилы выходили этимъ путемъ изъ археологіи.

Кружкомъ Петрашевскаго начинается обратное движеніе, которое по необходимости овладѣло умами послѣ 14 Декабря. Практическое движеніе, ушедшее тогда въ книгу, рвалось снова изъ книги въ практическую дѣятельность. Кружокъ Петрашевскаго сложился въ общество; правительство его приняло за заговоръ. Заговора не было, но Липранди, какъ трюфельная ищейка, чуялъ его.

Петрашевцевъ вывели на площадь, сдѣлали маневры разстрѣливанія и разослали въ цѣпяхъ по „мертвымъ домамъ", по каторгамъ; а ихъ мысли бродили, высказывались въ частныхъ спорахъ, бесѣдахъ.

Одно ужасало всѣхъ — непреодолимая сила императорской власти. Всѣ человѣческія стремленія бились безплодно въ какія-то неприступныя гранитныя ограды...

Вѣра въ эту непреодолимую силу самого Николая спасла Россію — она привела въ Ботническій заливъ флотъ Sir Charles Napier'a.

Николай съѣздилъ посмотрѣть на него и воротился съ состарившимися глазами, съ осунувшимся лицомъ.

Онъ понялъ бѣду... чары исчезали.

Съ каждымъ залпомъ въ Крыму, громовое эхо потрясало Петербургъ; стѣны зимняго дворца разсѣдались. Всѣ стали догадываться, что только обшивка была гранитная, а внутри щебень. При

исторически казенной постройкѣ всероссійскаго императорства, какъ при всѣхъ казенныхъ постройкахъ, какое нибудь интендантство крало.

Николай понялъ, что скрыть этого нельзя; бродя безъ сна какимъ-то привидѣніемъ по заламъ своего дворца и заставляя часовыхъ молиться на колѣняхъ о побѣдѣ, онъ сталъ обдумывать *измѣны* — *измѣны* всему, что считалъ святымъ, за что вытравилъ въ себѣ человѣческое сердце и сгубилъ два, три молодыхъ поколѣнья. Онъ хотѣлъ кликнуть кличъ къ славянамъ, возстановить ненавистную Польшу и поставить на ноги только что задавленную имъ Венгрію—лишь бы снова зимній дворецъ сталъ незыблемъ и грозенъ, лишь бы гранитную обшиву снова приняли за сплошную скалу—лишь бы не было больше видно колеблющихся мачтъ Sir Charles Napier'a и не слышно эхо севастопольскаго грома... Пусть ополчается крестьянинъ, пусть дружины сами выбираютъ себѣ начальниковъ!

Это былъ конецъ темнаго петербургскаго царства. Далѣе полицейскія плотины не могли удерживать напора, да и самъ вахтеръ не могъ далѣе удержаться.

Мрачно подавленное неудовольствіе приподняло голову, шептанье замѣнилось ропотомъ: „что же это такое? за кровь, за деньги, за лишеніе всѣхъ правъ человѣческихъ они не умѣютъ защитить земли отъ непріятеля, живущаго за тридевять земель и приплывшаго на корабляхъ.“ Нельзя печатать—рукописныя тетради ходятъ изъ рукъ въ руки, читаются вслухъ, нѣтъ прежняго страха. *Онъ* умеръ, чего-же бояться? всѣ забыли, что *другой онъ* — живъ. И вотъ, сквозь прорвавшуюся плотину понесся мутный и пѣнящійся потокъ либеральныхъ и консервативныхъ помоевъ, увлекая съ собою всякую всячину, черепки философскихъ системъ, обломки соціальныхъ мыслей, трупы утопшихъ экономическихъ ученій, скелеты конституцій, словомъ все прибитое къ цензурнымъ стѣнамъ и лежавшее тамъ годы всплыло въ старомъ костюмѣ, съ тиной и мохомъ. За это-то и сердились солидные люди, имъ хотѣлось, чтобъ изъ объятій Николая Россія вышла Минервой — при совѣ, глобусѣ и циркулѣ.

Большой бѣды въ этомъ столпотвореніи вавилонскомъ не было, не въ самомъ же дѣлѣ мысль русская сдѣлалась бы *зрѣлье* въ курткѣ каторжнаго, въ которой держалъ ее Николай. Вообще *гигіеническая* воздержность въ ожиданіи зрѣлости вовсе ненатуральна.

Какъ только человѣкъ видитъ возможность принять участіе, дѣйствовать, дѣйствіе становится для него физіологической необходимостью. Оно можетъ быть преждевременно, необдуманно, даже ложно, *но не можетъ не быть*. Никакая религія, никакая общественная теорія не доходитъ до полноты сознанія прежде начала осуществленія. Въ приложеніи она узнаетъ свои односторонности, выполняетъ ихъ, отрекается отъ нихъ. „Зелена жизнь и сѣда наука“, говорятъ сами нѣмцы, утратившіе, за плоды изъ древа тео-

ретическаго вѣдѣнія, не только всякое значеніе въ кругу народовъ, но всякое уваженіе ихъ.

Всплывшій вздоръ уплываетъ, а движеніе волнъ остается. Привычка участія, заявленія своей воли, своей мысли—не пройдутъ.

Тамъ, гдѣ есть движеніе, нечего бояться и приходить въ отчаяніе. Неподвижна смерть и трупъ молчаливъ, жизнь не пропала тамъ, гдѣ говорятъ всякую всячину; а тамъ, гдѣ вѣка повторяютъ одно и тоже, какъ на Аѳонской горѣ, тамъ, гдѣ говорятъ готовыми фразами, готовыя понятія и застывшія мысли. Сверхъ того говорить *дѣло* у насъ не было легко; намъ все приходилось говорить *вновь* и къ тому же еще надобно было перечить почти всему сказанному нашими учителями, принятому давнымъ давно всѣми. Освобождаясь втихомолку отъ идолопоклонства самодержавія, мы, не замѣчая, попадали на тропинку къ другой церкви, къ другому идолопоклонству, но вѣры въ себѣ въ него не нашли. Для всякаго западнаго народа переходъ отъ теологической монархіи къ теологически либеральному православію былъ легокъ. Наше счастье и несчастье въ томъ, что мы довольствуемся меньшимъ чѣмъ они, а требуемъ гораздо больше. Дай намъ протестантизмъ, мы сдѣлаемся духоборцами. Коснись до крѣпостнаго права, мы требуемъ и землю. Чувство говоритъ намъ отставшимъ, намъ рабамъ, что общественная религія опередившихъ насъ *не наша*, что же удивительнаго, что все это выражалось неловко, хаотически, съ отчаяннымъ нигилизмомъ и безнадежнымъ православіемъ; себѣ самой уясняласъ мысль, всякими крайностями переходя изъ ребяческаго состоянія инстинкта въ возможность сознанія.

Правильны или неправильны были результаты, было-ли въ нихъ больше *зрѣлости* чѣмъ *сѣмянъ* или на оборотъ: одно не подлежитъ сомнѣнію—это былъ новый взмахъ жизни, новый плескъ освобожденной волны; оставаясь въ тѣхъ-же цѣпяхъ, подъ тѣми-же затворами, мы стали больше свободными людьми.

Въ подтвержденіе этого, я приведу замѣчательный фактъ, на который мало обращали вниманія. Рядомъ съ подкупной литературой, съ журналами на казенныхъ подрядахъ, съ III Отдѣленіемъ на университетскихъ каѳедрахъ, общественная нравственность чрезвычайно поднялась. Мужество своего мнѣнія, утраченное окончательно въ прошлое царствованіе, появляется снова, не боясь отвѣтственности.

Съ декабристами у насъ исчезаетъ *гражданская доблесть*. Борьбой этихъ побѣжденныхъ, но не низложенныхъ титановъ, оканчивается героическій періодъ оппозиціи. Во все царствованіе Николая тонъ политическихъ подсудимыхъ былъ уклончивымъ и основывался на запирательствѣ. Равнодушіе общества убивало безплодную отвагу.

Это измѣнилось въ послѣднее время.

Человѣкъ, гонимый за свои мнѣнія, за слово, снова гордо стоитъ передъ судомъ; онъ за стѣной чуетъ сочувствіе хора, онъ

знаетъ, что его слово жадно слушается, онъ знаетъ, что его примѣръ будетъ великою проповѣдью.

Грустно, твердо явился *Михайловъ* передъ сенатомъ. Богадѣльня стариковъ, судившихъ его, обомлѣла, разинула ротъ; въ прохожденіи ихъ долголѣтней военной и гражданской службы они ничего подобнаго не слыхали. Рьяный Бутурлинъ требовалъ смертной казни за дерзость подсудимаго.

Спокойно, мужественно стояли юноши—*Арнгольдтъ, Сливицкій и Ростковскій* передъ рейтерами, которымъ велѣно было ихъ осудить на смерть.

— „Вы писали это неподписанное письмо къ Лидерсу?“ спрашиваетъ презусъ Арнгольдта. „Я, отвѣчаетъ Арнгольдтъ, но я не успѣлъ его кончить“, беретъ перо и подписываетъ свое имя.

И это не отдѣльные примѣры, не исключенія, это становится нормой; такъ поступили другіе офицеры, Обручевъ напр.; такъ поступилъ заслуженный, покрытый ранами подполковникъ Красовскій и молодой гардемаринъ Труведлеръ.

„Я публикую мой проэктъ подъ своимъ именемъ; пора намъ перестать бояться и если мы хотимъ, чтобъ съ нами перестали обращаться какъ съ дѣтьми, намъ надобно перестать дѣйствовать по дѣтски: тотъ, кто хочетъ правды и справедливости, долженъ умѣть безбоязненно стоять за нихъ“.

Когда я прочелъ эти строки въ брошюрѣ Серно-Соловьевича, мнѣ казалось, что я, мы выросли; такія слова, такія выраженія не существовали въ николаевское время, они дѣлаютъ грань въ исторіи, по которой можно мѣрить сколько верстъ мы отъѣхали отъ *незабвеннаго* этапа.

Когда люди такъ *забываются*, такъ закоснѣли, такъ дерзко выдаютъ себя, тогда въ самомъ дѣлѣ имъ *нужна правда и справедливость*, а не милость царская и монаршая ласка.

Эти слова, эти отвѣты передъ судомъ палачей, въ виду заряженныхъ ружій, въ виду каторги, молодое поколѣнье можетъ положить на вѣсы; они лучше всего оправдаютъ *дѣтей* противъ *отцовъ*, еслибъ отцы въ самомъ дѣлѣ нападали на нихъ. Ими они легко искупятъ и угловатость формъ и заносчивый языкъ.

Это нравственно-доблестное отношеніе, сильно заявляющее себя въ русскомъ обществѣ, не оставляетъ ему выбора, не только между царемъ и Польшей, но между *молчаніемъ и словомъ*. Забитый, потерявшійся человѣкъ, молчавшій на все, могъ молчать облитый невинной кровью — но послѣ Михайлова и «Великорусса», послѣ разстрѣленныхъ офицеровъ и Красовскаго, послѣ того какъ вся Россія видитъ необходимость Земскаго Собора, чтобы взять въ опеку правительство неспособное и туда-же злое—*мы не можемъ молчать* передъ убіеніемъ цѣлаго народа. Передъ убіеніемъ, которое совершается нашими руками, на наши деньги, нашимъ повиновеніемъ.

У насъ даже тѣхъ печальныхъ правъ нѣтъ, на которыя моглибы опереться западные народы. Гдѣ у насъ изувѣрство, заставля-

щее человѣка поддерживать честь знамени въ какомъ бы безчестномъ дѣлѣ оно ни являлось? У насъ нѣтъ алчнаго патріотизма, теряющаго всякую идею справедливости, когда можно стяжать клочекъ земли. У насъ нѣтъ и того педагогическаго кретинизма ученаго раба, помогающаго своему ландесфатеру не выпускать на волю народы, подпавшіеся одному ошейнику съ нимъ--потому что эти народы не кончили еще ихъ academische Studien.

Проснувшіеся русскіе не имѣютъ права на такой патріотизмъ. онъ ниже ихъ мысли, сознаніе обязываетъ еще больше чѣмъ дворянство.

Торопитесь-же заявить свой голосъ!

Торопитесь для того, чтобъ во время отвязать вашу лодку отъ императорской барки и заявить вашъ не казенный флагъ. Торопитесь, чтобъ защитить народъ русской. Торопитесь, чтобъ не остались безъ протеста подлые, подкупные органы, натравливающіе русскихъ солдатъ на поляковъ, чтобъ нечистая рѣчь ихъ потерялась за вашимъ крикомъ негодованья.

Мы ждемъ васъ! *Земля и Воля* дали вамъ примѣръ.

Колоколъ № 161.
15 Апрѣля 1863 года.

РУССКІЕ ОФИЦЕРЫ ВЪ РЯДАХЪ ИНСУРГЕНТОВЪ.

Подложный адрессъ офицеровъ в. кн. Константину оказывается *настоящимъ*. Корреспондентъ „Теймса“ (3 Апрѣля), говоря о 2-хъ русскихъ братьяхъ *Рыковыхъ*, стоящихъ во главѣ литовскаго движенія съ *Рогинскимъ* и гр. *Тишкевичемъ*, прибавляетъ: „Въ рядахъ инсургентовъ много русскихъ офицеровъ. Это подтверждаетъ, что чувства, выраженныя въ извѣстномъ адрессѣ в. кн. не были вымышленныя. Никто не говорилъ, что число подписей было огромно; можетъ адрессъ подписала какая нибудь сотня офицеровъ. Я и теперь не думаю, чтобъ въ числѣ инсургентовъ было сто русскихъ офицеровъ, но во всякомъ случаѣ ихъ много.“

Мы къ этому прибавимъ, что на дняхъ намъ сказывалъ полякъ, пріѣхавшій съ театра войны, что онъ *самъ видѣлъ* русскихъ офицеровъ въ стану возставшихъ.

Есть печальныя эпохи, въ которыя любовь къ отечеству заставляетъ однихъ разорвать съ нимъ племенную солидарность, другихъ, которымъ невозможно по своему положенію остаться въ сторонѣ, идти въ ряды не своихъ—а *правыхъ* и сдѣлать на большемъ размѣрѣ то, что дѣлаютъ ежедневно наши офицеры, недозволяющіе солдатамъ грабить и жечь*). Свободный человѣкъ не мо-

*) Кстати къ грабежамъ и разбою, интересно посмотрѣть, какими инвалидными средствами правительство опровергнетъ отвратительную исторію съ англійскимъ купцомъ *Финкенштейномъ*, подробности ея въ „Теймсѣ“ и другихъ журналахъ.

жетъ признать такой зависимости отъ своего края, которая бы заставляла его участвовать въ дѣлѣ, противномъ его совѣсти.

Если еще есть между русскими солдатами въ Польшѣ люди чистые, воины честные, исполнявшіе свой долгъ, слѣпо вѣря въ присягу, но исполнявшіе его *безъ восторга*, о которомъ говоритъ „Инвалидъ", пусть они подумаютъ — не правы ли тѣ офицеры, которые бросили ряды палачей? Пусть они подумаютъ сами и остерегутся отъ подкупныхъ *подстрекателей*, которые очень хорошо знаютъ, что дѣло русскаго правительства самое черное, но которые еще лучше знаютъ, что проба его серебра самая высокая.

Остерегитесь отъ сердобольныхъ друзей, умиляющихся надъ долготерпѣніемъ „христолюбиваго воинства, два года оскорбляемаго поляками". Спросите ихъ, отчего они не умилялись, когда васъ обкрадывали въ пищѣ, гоняли сквозь строй, морили въ лазаретахъ безъ лекарствъ? — Поляки, видите, осмѣливались пѣть гимны, не смотря на хрулевскія пули; поляки осмѣливались носить конфедератки, не смотря на то, что это господамъ въ Петербургѣ не угодно... А вы должны были все это терпѣть! — Не вѣрьте ихъ жалости, не вѣрьте, когда они говорятъ: „Вы подвергаетесь всѣмъ лишеніямъ партизанской войны, но утѣшьтесь, вы стоите за общенародное, русское дѣло."

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Проклятое дѣло вытравливанія цѣлаго народа изъ народныхъ семей не есть наше общенародное, русское дѣло.

Мало мѣста у насъ, что ли? Мало у насъ *своихъ*? Пусть выходитъ помѣриться кто угодно, пусть попробуетъ нашу силу. Или мы клиномъ сошлись, что безъ Польши жить не можемъ?

И отчего же намъ съ Польшей, съ Украйной, съ Финляндіей не жить какъ вольный съ вольными, какъ равный съ равными? Отчего же все мы должны забирать себѣ въ крѣпостное рабство? Чѣмъ мы лучше ихъ? Развѣ нѣмцами, состоящими у насъ въ должности правительствующихъ татаръ въ Петербургѣ?

Воскресите въ себѣ честныхъ воиновъ — чадъ крови улегается, угаръ бѣшенства проходитъ—спросите свое сердце, свою совѣсть и гоните прочь прикладами всѣхъ этихъ чернильныхъ искаріотовъ, подбивающихъ васъ на ненависть и притѣсненіе несчастнаго народа.

Еще слово объ офицерахъ. Вообще мы знаемъ по газетамъ и еще больше *изъ разсказовъ*, что молодые офицеры, особенно армейскіе ведутъ себя человѣчески, стараются всѣми силами удерживать солдатъ отъ грабежа и убійства и съ горестью видятъ, что солдаты ихъ не слушаютъ. Причина очевидна — нравственной связи между офицерами и солдатами нѣтъ, довѣрія нѣтъ. Пріобрѣтать его на улицахъ города, въ которомъ солдатамъ позволили безнаказанно грабить, приготовивши ихъ къ тому голодомъ и холодомъ, нищетой и водкой — *поздно. Объ этомъ надобно было прежде думать.*

По несчастью прошедшаго не воротишь, но урокомъ этимъ

слѣдуетъ офицерамъ воспользоваться, тѣмъ больше, что *ближайшее будущее Россіи ни отъ кого столько не зависитъ, какъ отъ офицеровъ и отъ ихъ союза съ солдатами.*

Не даромъ нашъ православный Меродъ — Милютинъ въ своемъ іезуитскомъ циркулярѣ такъ настойчиво предписываетъ начальству смотрѣть, чтобъ не было сближенія между офицерами и солдатами. Опыты сближенія были въ Петербургѣ и въ Польшѣ, въ Южныхъ губерніяхъ и на Кавказѣ, Аргольдъ и Сливицкій пали подъ царскими пулями за бесѣды съ солдатами; а сколько офицеровъ были исключены, переведены, даже разжалованы за учрежденіе чтеній, воскресныхъ школъ для солдатъ?.... Надобно продолжать, надобно расширить кругъ дѣятельности, надобно заставить солдата забыть въ офицерѣ помѣщика, дворянина, надобно пріобрѣсти его любовь — тогда придетъ и довѣріе. Чему дивиться, что солдатъ теперь еще не довѣряетъ офицеру? Пусть офицеры спросятъ свою собственную совѣсть — *заслужили-ли они довѣріе солдатъ?*

Колоколъ № 163.
15 Мая 1863 года.

ЧЕГО ОНИ ТАКЪ ИСПУГАЛИСЬ?

Или чѣмъ *ихъ всѣхъ* такъ настращали, что нельзя больше удержать вопль, крикъ, плачъ, завываньe патріотизма, усердіе безъ границъ, преданность безъ смысла? Адрессы, панихиды, молебны на чистомъ воздухѣ и въ воздухѣ продымленномъ ладономъ, адрессы отъ грамотныхъ и безграмотныхъ, отъ старообрядцовъ и новообрядцовъ, отъ кур-эст и лиф-ляндскихъ русскихъ, отъ временно-обязанныхъ крестьянъ и безсрочно раззоренныхъ помѣщиковъ, отъ старшинъ рогожскаго кладбища и отъ школярей кладбища науки, называемаго московскимъ университетомъ.

Да гдѣ-же опасность, бѣда, съ которой стороны идутъ двунадесять языковъ? Гдѣ ихъ полки, флоты, пушки, цари, вожди?

Неужели столько чувства, души, славянскихъ оборотовъ и вѣрноподданническаго лиризма, вызвано этими „жалкими шайками мятежниковъ въ Польшѣ“, съ которыми „здравомыслящая“ часть народа не сочувствуетъ, которыхъ крестьяне выдаютъ за легкую плату съ головы и которыхъ наши „молодцы солдаты“, всякой разъ какъ сколько-нибудь обдосужатся отъ грабежа и воровства, уничтожаютъ и уничтожаютъ *по нѣсколько разъ?*

Полно, такъ-ли слабы были эти шайки? Какъ-же бы имъ держаться съ 21 Января, не смотря на тріумфы Шильдеръ-Шульднера, викторіи Витгенштейна, Ностица, не смотря на замѣну Бергомъ—*одной половины* Константина Николаевича, Велепольскаго и архіерея Фелинскаго?

Чѣмъ-же держатся *шайки?*

Оружія не пропускаются. Цѣпная Пруссія бѣгаетъ на веревкѣ

по всей познанской границѣ, лаетъ, кусаетъ и лижетъ казакамъ смазные сапоги. Австрія, утомленная двухмѣсячнымъ благородствомъ, раскаивается въ *красныхъ* поползновеніяхъ и тоже припираетъ дверь. Остальныя державы помогаютъ *платонически*, сочувствіемъ, корпіей, статьями и концертами, въ которыхъ послѣднюю ноту поетъ Горчаковъ. Дѣло сведется на то, что Польшѣ только и было помощи и одобренія, что изъ Петербурга, сначала рекрутскимъ наборомъ, а потомъ наборомъ словъ, выданнымъ подъ ироническимъ названіемъ амнистіи 31 Марта.

Предположимъ, что всѣ новости „Инвалида" ложны и всѣ вѣсти „Сѣв. Почты" лишены истины; предположимъ, что эти „шайки" цѣлая Польша, которая хочетъ независимости и умѣетъ умирать за нее, предположимъ, что русскіе генералы изъ рукъ вонъ плохи, солдаты больше по части промысла, а офицеры съ отвращеніемъ участвуютъ въ убіеніи народа—все-же нѣтъ резона надѣлать такого патріотическаго скандала, словно покойникъ Ростопчинъ бѣгаетъ съ зажженной спичкой по Москвѣ, а покойникъ Наполеонъ ѣдетъ изъ Филей къ драгомиловскому мосту.

Помилуйте, нѣмые возглаголили и говорящіе возбредили, государь императоръ и московскіе профессора, раскольники и протестанты, головы съ думами, дворянство безъ думы и головы, все это начало вдругъ увѣрять въ своей готовности царствовать, преподавать, молиться по старымъ книгамъ, торговать и ничего не дѣлать, съ единственной цѣлью посрамленія врага и отстаиванія неприкосновенности предѣловъ любезнаго отечества нашего.

То, что было величественно въ 1812 году, теперь не только пошло, но отвратительно.

Потому-то намъ и кажется, что Потаповъ, ѣздившій по распоряженію высшаго начальства въ Москву раздражать патріотизмъ до истерики адрессовъ и до университетскихъ конвульсій, сдѣлалъ ошибку; что высшее начальство, пославшее его, сдѣлало ошибку, что государь съ своимъ предупредительнымъ „нетронь меня" сдѣлалъ ошибку.

Изъ польскаго дѣла мы себѣ почетнаго знамени не выкроимъ — полицейскому усмиренію и казни цѣлаго народа ни восторги, ни лавры не идутъ.

Есть дѣла, которыхъ не надобно приводить къ рѣчи, которыми можно только въ тихомолку пользоваться, но нельзя окружать громкими словами, благородными порывами. Это слишкомъ обижаетъ истину, всякое нравственное чувство человѣка. Мы много темнаго выносимъ въ тѣни, чего не можемъ вынести на бѣломъ свѣтѣ и еще менѣе при звукѣ трубъ и литавръ, при демонстраціяхъ, адрессахъ и пр.

„Все это дѣлается не противъ Польши, а противъ Европы". будто это лучше? *Народу*, молчавшему цѣлое тысячелѣтіе, можно было помолчать еще недѣли двѣ, чтобъ услыхать хоть одну угрозу, хоть одинъ военный звукъ, нельзя-же впередъ испугаться, впередъ придти въ восторгъ и усердіе. Нельзя-же призывать въ

зимній дворецъ двухъ генералъ-губернаторовъ, одного декана и одного ректора, дворянскихъ предводителей и другихъ патріотовъ, для того, чтобъ государь прочелъ имъ свою антикритику и возраженіе на статьи „Opinion National“ или „Daily News“.

Дѣлая все хорошее съ воздержаніемъ и постепенностью, останавливая розгу на 201 ударѣ, уничтожая цензуру на 21 листѣ, правительство показало, что оно вполнѣ цѣнитъ всю важность *задержанія въ прогрессѣ;* зачѣмъ-же было такъ необдуманно спускать на волю горячечный патріотизмъ, лихорадочный страхъ и пр. И все-то это оттого, что нашлись въ Европѣ журналы, неразделяющіе мнѣнія „Московскихъ Вѣдомостей“,*) оттого, что въ Швеціи хорошо приняли Чарторижскаго.

---

*) Намъ досадно и совѣстно, что мы такъ часто поминаемъ „Моск. Вѣдом.“, тѣмъ больше, что статьи противъ насъ ихъ издателей даютъ этому характеръ личный. Возрастающій цинизмъ этой черной газеты дѣлаетъ невозможнымъ молчаніе. Мы смѣло говорили, что въ русской литературѣ еще не было ничего подобнаго, ни во времена Ѳ. Булгарина ни во времена предшественника г. Каткова, К. Шаликова. Есть граница, передъ которой обыкновенно проданная литература останавливается, лицемѣрно или искренно, въ свирѣпомъ требованіи преслѣдованій, деспотическихъ мѣръ, казней и пр. Героическая редакція „Моск. Вѣд.“ не знаетъ этихъ пороговъ, останавливающихъ робкія и слабыя души. Напр.:

„Хотимъ ли мы удовлетворить нынѣшнимъ притязаніямъ польскаго патріотизма, и пожертвовать ему существованіемъ Россіи? Въ такомъ случаѣ надобно намъ выводить изъ Царства Польскаго войска, отступать все далѣе и далѣе къ Уральскому хребту, и готовиться къ мирной кончинѣ. Если же этого мы не хотимъ, если всякая мысль о чемъ-либо подобномъ кажется намъ нелѣпостью и приводитъ насъ въ негодованіе, то никто, ни даже сами Поляки, не въ правѣ были бы сѣтовать на правительство, еслибъ оно сочло нужнымъ принять болѣе рѣшительныя мѣры, для того, чтобъ избавить Польшу отъ безплоднаго и изнурительнаго раздраженія, а Россію отъ лишней траты крови и силъ въ борьбѣ, которая можетъ превратиться въ европейскую войну. Въ настоящее время всякое наружное угожденіе національному чувству въ Царствѣ Польскомъ станетъ гибелью и для Польши, и для Россіи. Война, такъ война; военное положеніе, такъ военное положеніе. При теперешнемъ ходѣ дѣлъ, правительство имѣетъ полное основаніе сосредоточить всѣ власти въ Царствѣ Польскомъ въ рукахъ людей, недоступныхъ обольщеніямъ польскаго патріотизма и революціоннымъ устрашеніямъ. До тѣхъ поръ пока не прекратится возстаніе, пока порядокъ въ Царствѣ Польскомъ не будетъ возстановленъ, всякая уступка національному чувству будетъ не примирять насъ съ Поляками и Европой, а напротивъ только усиливать вражду, распаляя съ одной стороны требованія,

Какой недостатокъ такта, чутья, декорума!

Еслибъ въ русскомъ правительствѣ были серьезные люди, люди честные, положимъ исполненные патріотическихъ, монархическихъ, барскихъ предразсудковъ, но съ любовью къ народу, они поберегли-бы изъ внутренняго, религіознаго благочестія, простое сердце простыхъ людей, которые безхитростно поддались оффиціальному обману и, помня недавнее освобожденіе, воображаютъ, что отечество въ опасности и отдаются чувству ненависти къ несчастному, героическому сосѣду, который добивается своей независимости и

а съ другой — заставляя прибѣгать все болѣе и болѣе къ жестокимъ мѣрамъ для ихъ отраженія.

„Итакъ, прежде всего державы желаютъ прекращенія происходящихъ теперь смутъ въ Польшѣ, а потомъ, въ будущемъ, устраненія причинъ, которыя ихъ пораждаютъ. Этого именно желаетъ и сама Россія, и желаетъ, конечно, гораздо искреннѣе чѣмъ любая изъ трехъ державъ, жалующихся на польскія смуты.—(Моск. Вѣд. 19 Апр.).

„На Россіи лежитъ обязанность какъ можно скорѣе отнять у нихъ всякій поводъ къ жалобамъ. Польское возстаніе тревожитъ эти державы: онѣ должны быть довольны, *если оно будетъ какъ можно скорѣе прекращено.* Однѣ военныя усилія Россіи оказываются пока недостаточными для этого; актъ верховнаго милосердія не обезоружилъ мятежниковъ: чтобы можно было хотя отчасти удовлетворить жалобы великихъ державъ приходится *принять мѣры административнаго порядка*, которыя лишили бы революціонный польскій комитетъ возможности вооружать новыя шайки на мѣсто разбитыхъ, взимать съ этою цѣлью налоги, устрашать мирныхъ гражданъ казнями или, вѣрнѣе, тайными убійствами. Административныя средства, существующія въ Царствѣ съ 1861 года, до сихъ поръ оказывались для этой цѣли недостаточными; если и по истеченіи срока амнистіи, мятежъ не прекратится и существующія административныя средства не начнутъ дѣйствовать съ большимъ успѣхомъ, то очевидно, необходимо будетъ установить въ Царствѣ, на время мятежа и войны, русскую военную администрацію, которая, *какъ можно надѣяться, скоро покончитъ съ польскимъ возстаніемъ*".—(Моск. Вѣд. 20 Апр.).

Каковъ Père Duchêne III Отдѣленія!

Не знаемъ чему больше дивиться, бездушію мысли, *смѣлости* признаться въ ней за какую-бы цѣну-то ни было, или *шаловливой ироніи* второго отрывка, напоминающей иронію поручика Жеребятникова, надъ несчастнымъ арестантомъ, котораго ведутъ наказывать. „Ну такъ ради сиротскихъ слезъ твоихъ, милую я тебя. — Катай его, — жги его, лупи, лупи, обжигай, — еще ему, крѣпче сиротѣ,—ха, ха..."

Не забудьте, что поручикъ Жеребятниковъ не проповѣдывалъ англійскаго парламентаризма, свободы печати, уваженія къ личности.

ничего больше не хочетъ. Эта обманутая любовь, это простодушное заблужденіе, которое можетъ привести къ рѣкамъ крови, безконечно оскорбляетъ насъ. Бѣдный народъ, и онъ понесетъ съ усердіемъ свою охабку дровъ, чтобъ лучше разжечь мученическій костеръ, и совѣсть его останется спокойна, какъ совѣсть льва, которому римскіе Потаповы бросали христіанскихъ отроковъ на съѣденіе.

... Что намъ за дѣло, что дворянство, обгладывающее послѣднее мясцо съ кости крѣпостнаго права, говоритъ о своей готовности сражаться съ супостатомъ. Что намъ за дѣло, что купцы, въ постоянномъ сознаніи неправаго стяжанія, готовы откупиться отъ правительства; еще меньше намъ дѣла до витійства *хамовъ или космополитовъ* казенной науки, до этой нечистоты, разведенной со временъ Тредьяковскаго въ университетскихъ щеляхъ. Ниже ученыхъ и журналистовъ никто не падаетъ въ раболѣпіе передъ властью. Это замѣтилъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ императоръ Александръ Шатобріану. И какъ ни больно было видѣть московскій университетъ, пресмыкающійся съ своимъ тяжелорабскимъ адрессомъ у подножія трона, но это больше по старой памяти*). Онъ вполнѣ заслужилъ сдѣлать этотъ починъ и дать этотъ примѣръ союза мертвой науки съ мертвящей полиціей. Но народа намъ жаль — намъ жаль, что онъ вѣритъ въ правоту неправаго дѣла, что награбленное нѣмецкими императорами есть законное пріобрѣтеніе.

Охъ, братцы, помолчите немного, вамъ не привыкать стать, не выкликивайте себѣ рекрутскихъ наборовъ да ополченій. Не ваша это борьба. Что вамъ соваться съ помѣщиками, куда пустятъ вашъ сѣрый армякъ, куда вамъ съ наемными школярами!.. оставьте вы ихъ подслуживаться да ершиться съ ревельскими и митавскими нѣмцами, а вамъ, столько страдавшимъ, вамъ не приходится оскорблять несчастный народъ польскій!

— —

ДОНОСЪ НА „СПБ. ВѢДОМОСТИ“.

Послѣ ряда ругательствъ, обращенныхъ къ намъ и за которыя мы не вправѣ сердиться, чувствуя, что и мы не особенно щадили полицейски-литературную шваль III отдѣленія, всѣхъ этихъ публичныхъ мужчинъ, продающихъ красоту своего слога, всѣхъ этихъ камелій по тысячи р. с. въ мѣсяцъ съ пера, и дѣйствительныхъ статскихъ репейниковъ по триста р. съ уха — и такъ послѣ ряда

*) Адрессъ Московскаго Университета написанъ старо-семинарскимъ, тяжелымъ слогомъ. Замѣчательно, что всѣ остальные адрессы не только лучше написаны, но человѣчественнѣе. Въ нихъ говорятъ объ освобожденіи крестьянъ, объ амнистіи, о преобразованіяхъ. Въ Университетскомъ адрессѣ ничего подобнаго, раболѣпіе его не смягчено ни однимъ словомъ.

ругательствъ въ нашу пользу, „Московскія Вѣдомости“ приступаютъ къ своему служебному дѣлу и прямо, явно, недвусмысленно *доносятъ* на то, что „Пет. Вѣд.“ (т. е. *Валентинъ Коршъ)* не горячъ въ патріотизмѣ и мирволитъ полякамъ. Поступокъ этотъ необыкновенно много выигрываетъ отъ того обстоятельства, что В. Коршъ *личный врагъ* Каткова, бывшій издатель „Мос. Вѣд.“, братъ Е. Корша, бывшаго соиздателя «Рус. Вѣстн.». Упечь изъ личности своего противника въ Потапницу, quel sort plus digne d'envie?

Думалъ-ли Головнинъ, когда онъ защищалъ въ Парижѣ *теорію* подкуповъ (ругая взятки!) и восхищался продѣлками французскихъ министровъ, какой онъ безнравственный починъ сдѣлалъ въ Россіи растлѣніемъ журналистики? А потомъ эти гг. примутся кричать, когда восторженный юноша, не отдавая себѣ порядкомъ отчета прирѣжетъ нѣмца Коцебу; а потомъ женѣ пенсію, восклицанія и притворное участіе, когда невидимая рука казнитъ Манишевскаго,

А и этотъ доносъ на „Пет. Вѣд.“ имѣетъ свои морали. Усобица въ редакціи „Рус. Вѣстн.“ памятна всѣмъ. Кто не оплакивалъ непреклонной Агари, бѣжавшей въ безплодныя степи Атенея, въ то время какъ Леонтьевъ захватилъ съ патріархомъ своимъ все хозяйство и сталъ пасти стадо тучныхъ барановъ подъ кровомъ брачнаго ложа. Агарь не безупречно вела себя въ степяхъ своихъ, у нея родился тамъ ребенокъ отчаянія и протеста, зараженный французской централизаціей и благоговѣніемъ къ просвѣтительной силѣ австрійскаго жандарма.

Пусть Измаилы попробуютъ теперь отечественнаго *будочника*... Въ тѣ времена противъ нихъ возсталъ вооруженный учебниками объ англійской конституціи Катковъ, тотъ-же Катковъ, который теперь ведетъ въ будку В. Корша!

Tempora mutantur—было время и не такъ-то отдаленное, когда тоже *не другой* Катковъ посѣтилъ насъ въ Лондонѣ, а теперь актъ этотъ онъ называетъ позорнымъ, „пиллигримствованіемъ къ вольноотпущеннымъ сумасшедшаго дома“.

Да это не доносъ-ли ужь? Вотъ что значитъ потереться на съѣзжей!

Нѣтъ, *свои люди — сочтутся!*

Колоколъ № 166.
20 Іюня 1863 года.

ПОДЛЫЕ!

Монахъ Конарскій и Генрихъ Абихтъ были *повѣшены* въ Варшавѣ.

Муравьевъ разстрѣлялъ ксендза С. Ишору, потомъ *повѣсилъ* Болеслава Колышку.*)

---

*) Мы взяли имена пострадавшихъ изъ русскихъ газетъ. По-

Женщинъ содержавшихся за пѣніе гимна сѣкутъ, мущинъ при допросѣ засѣкаютъ, собираются наказывать за трауръ и пр.

„Покажи мнѣ, какъ ты испугался, я скажу тебѣ, кто ты такой."

Подлость низкихъ, ограниченныхъ, пошлыхъ натуръ, во всей грязи своей выступаетъ при страхѣ и чувствѣ своего безсилія. Злодѣи разстрѣливали плѣнныхъ начальниковъ, вещь неслыханная по сю сторону Африки. Но... становится страшнѣе—первый дворянинъ вооружаетъ мужиковъ, Толль бьетъ помѣщиковъ по зубамъ... еще степень страха, ну какъ въ самомъ дѣлѣ французъ-то двинется — что мы сдѣлаемъ, силенки наши малыя, дѣло сиротское, *такъ давай вѣшать*, т. е. давай прибавлять къ смерти оскорбленіе, ослѣпить человѣка, но прежде наплевать ему въ глаза.

Роману Сангушкѣ, да что Роману Сангушкѣ — Христу плевали въ глаза, потомъ его повѣсили. Знаете вы ту великую картину, гдѣ Іисусъ съ связанными руками кротко смотритъ на бѣснующуюся полицейскую чернь, которая его бьетъ розгами, — передъ этимъ образомъ молились вѣка, что-же много взяли палачи и ихъ начальники?

Ни сердце, ни умъ, ни опытъ, ничему ихъ не учатъ, отъ того, что они *подлые*.

Всѣ прежніе грѣхи, всѣ настоящіе недостатки Польши искупаютъ ей—ея мученики и наши мучители. Они смертью своей убиваютъ враговъ своихъ. Каждое замученное тѣло, брошенное грязными палачами въ землю польскую, освобождаетъ ее и освобождаетъ насъ самихъ отъ призрачнаго патріотизма.

Нѣтъ, мы не вѣримъ, чтобъ юное поколѣніе Россіи приняло на себя эти капли непорочной крови, эти веревки срѣзанныя съ висѣлицы. Чтобъ оно изъ любви къ имперіи россійской стало со стороны палачей, грабителей, со стороны пытки, для этого надобно быть самому подлымъ, проданнымъ, или сумасшедшимъ.

Колоколъ № 167.
10 Іюля 1863 года.

ПОЛЬСКІЙ МАРТИРОЛОГЪ.

УБІЕНІЕ ПЛѢННЫХЪ И РАНЕНЫХЪ.

Русскими солдатами по приказу начальства убиты:
Въ Люблинѣ ФРАНКОВСКІЙ, тяжело раненый.
Въ Кіевѣ ЗЕЛИНСКІЙ.
Въ д. Варки КОНОНОВИЧЪ, САДОВСКІЙ, ЛАБЕНСКІЙ.
Въ Динабургѣ графъ ПЛАТЕРЪ, взятый не на полѣ битвы, не съ оружіемъ въ рукахъ...
Въ Вильнѣ Юліанъ ЛѢСНЕВСКІЙ.
Въ Сѣдльцахъ Константинъ МИЦЕВИЧЪ, Александръ ЧАРНЕЦКІЙ.

иностраннымъ, прибавляютъ еще нѣсколько убитыхъ виленскимъ злодѣемъ—въ томъ числѣ графа Платера и помѣщика Лешковича.

Чему же дивиться, что солдаты добиваютъ раненыхъ, у нихъ есть цѣль—снять сапоги. А эти отчего убиваютъ? Оттого что они звѣри, оттого что они мерзавцы. Нѣтъ, не то, ни звѣря такого нѣтъ, ни слова.

Покойтесь святые мученики! Авось либо русское имя, запятнанное вашею кровью, отмститъ русской местью за васъ! И да погибнутъ палачи ваши!

Мы кончили кровавый списокъ, когда прочли, что раненый СѢРАКОВСКІЙ *повѣшенъ* въ Вильнѣ. А въ г. Лидѣ разстрѣлянъ ксендзъ ФАЛЬКОВСКІЙ.

...Далѣе разбой, насиліе и палачество идти не могутъ. Такъ вели тридцатилѣтнюю войну, такъ оканчивали Богемію, такъ дикіе въ Азіи и Африкѣ истребляютъ цѣлыя поколѣнія...

И есть рабы риторы и рабы доктринеры, прославливающіе это злодѣйское царствованіе! И есть безумные, простодушно защищающіе это кровавое правительство и подзадоривающіе его!... Тотъ, кто любитъ народъ русскій, тотъ долженъ во искупленіе его звать на главу его кару очистительныхъ несчастій.... На сколько поляки счастливѣе насъ—имъ предстоитъ только честная кончина—позоръ завѣщается намъ!

...Чего ждетъ старый міръ, міръ цивилизаціи, гуманности? Краснорѣчіемъ палатъ и журналовъ не развяжешь ни одной петли, затягиваемой царемъ, не отведешь ни одного дула отъ груди приговоренныхъ.

Пора, наконецъ, разрѣшиться вопросу, кто изъ насъ правъ.... мы-ли въ нашемъ недовѣріи къ Европѣ, или ея поклонники въ своей вѣрѣ?

Много горя приняли мы за нашу дерзость отъ нашихъ ученыхъ соотчичей, пока имъ *служба* не мѣшала быть рабами и Европы... Кого же оправдаетъ она?

....Въ самомъ началѣ возстанія мы отвѣчали на вопросъ: „Что-же Европа, развѣ допуститъ усмирить Польшу какъ въ 1831?“—*Допуститъ!*

Тоже повторили мы черезъ четыре мѣсяца. И теперь черезъ полгода намъ кажется, что она *допуститъ гораздо больше чѣмъ* въ 1831 году.

Конечно, Европа можетъ сказать, что это не ея дѣло, и даже будетъ права по тому высокому понятію братства народовъ и круговой ихъ поруки, которымъ такъ кичится Англія, и которое называется *невмѣшательствомъ*. Безъ сомнѣнія она имѣетъ полное право сложа руки смотрѣть какъ лучшій, поэтическій, рыцарскій, доблестный представитель ея — Польша, гибнетъ, терзаемая грубымъ, плотояднымъ животнымъ, паразитно выросшимъ на несчастномъ, забитомъ народѣ, и еще больше — смотрѣть съ тѣмъ наслажденіемъ, съ которымъ, по словамъ Лукреція, человѣкъ сидящій на берегу, смотритъ на утопающаго.

Все это такъ—но Европа исходитъ участіемъ.... она гуманная, сострадательная, вовсе не радуется, а кричитъ утопающему: „ра-

ботай, держись, выбивайся изъ силъ.... я тебѣ подамъ.... если не руку, то прекрасный совѣтъ и слезу сердца — не очень молодаго, но все-же чувствительнаго!"

Да и кому она повинна отвѣтомъ?

Не поможетъ — такъ и не поможетъ. Неужели ей смотрѣть на то, что какой нибудь сумасшедшій датскій принцъ скажетъ: „Однѣ публичныя женщины и судомойки воютъ и причитываютъ тогда, когда надобно дѣйствовать!"

„КОЛОКОЛЪ" И „ДЕНЬ".
(Письмо къ г. Касьянову)

Милостивый Государь,

Послѣ той доброй и благочестивой женщины, которая года четыре тому назадъ такъ усердно сокрушалась обо мнѣ, или по крайней мѣрѣ о будущихъ судьбахъ моей души — вы первый русскій, пожалѣвшій меня и признавшійся въ этомъ въ русскомъ журналѣ, выходящемъ въ Россіи — какъ же мнѣ не быть благодарнымъ и не отвѣчать вамъ. Журнальные или, лучше сказать, *дежурные* противники мои ограничиваются обыкновеннымъ полицейскимъ краснорѣчіемъ и думаютъ, что, обругавъ меня, они исполнили все, что требуетъ отъ нихъ служба.

Вы, если и *на патріотизмѣ*, то все же не на службѣ, и я чрезвычайно радъ поговорить съ партикулярнымъ соотечественникомъ.

Вы сказали въ вашемъ письмѣ изъ Парижа, что *искренно* меня жалѣете — и я не хочу въ этомъ сомнѣваться, но, по несчастію, можно быть очень искреннимъ и очень ошибаться. Вы меня считаете въ этомъ положеніи, и вѣроятно ничего не имѣете противъ того, чтобъ я вамъ платилъ тою же монетой.

Какъ самый искренній человѣкъ, подъ вліяніемъ страстнаго увлеченія, можетъ, любя истину, принимать за правду всякую ложь—это я вамъ сейчасъ докажу. Еслибъ вы не были одержимы острымъ патріотизмомъ, могли ли бы вы повѣрить „въ варѳоломеевскую ночь Польши, гдѣ *нѣсколько тысячъ человѣкъ русскихъ* были умерщвлены самымъ *предательскимъ* образомъ?"

Гдѣ, въ какомъ мѣстѣ была эта варѳоломеевская ночь? Когда погибли эти *нѣсколько тысячъ человѣкъ, предательски* убитыхъ? Нѣсколько тысячъ труповъ не могутъ пропасть какъ булавка? Дѣлали ли вы эти вопросы? Спросили ли вы имена погибшихъ полковъ, имена городовъ и селъ, въ которыхъ они погибли?

Повторяя канибальскую клевету, выдуманную полиціей, подумали ли вы, какой страшный вредъ вы дѣлаете? Пока полицейскую фантазію *муссировали* (какъ говорятъ у васъ въ Парижѣ) *на вѣсъ* покупаемые журналисты, которыхъ всѣ презираютъ — а поляки иногда въ самомъ дѣлѣ *вѣшаютъ*, порядочные люди не вѣрили; но видя то же самое въ журналѣ, представляющемъ хотя и крайнее мнѣніе, но все же мнѣніе, а *не вѣдомство*, многіе убѣ-

дятся, что въ самомъ дѣлѣ было такъ — и вы плеснули масла въ разжигаемую правительствомъ племенную ненависть...

Встрѣчая вашей вѣрой варѳоломеевскую ночь Польши, вы, вмѣсто грома проклятій *русскому*, „радующемуся избіенію нѣсколькихъ тысячъ соотечественниковъ“—„жалѣете“ объ немъ. Въ этой непослѣдовательности я вижу что-то въ родѣ сомнѣнія на счетъ варѳоломеевской ночи, и съ своей стороны начинаю жалѣть, что меня не было съ вами, когда вы были удручены ужасной вѣстью. Какой елей пролилъ бы я на вашу скорбь — я сказалъ бы вамъ, что эти нѣсколько тысячъ убитыхъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ человѣкъ — слава Богу здоровы и значительно поправили свое бѣдственное положеніе, *молодчики* ограбивши пол-Польши.

Въ началѣ возстанія, въ двухъ-трехъ мѣстахъ, нѣсколько солдатъ, застигнутыхъ въ расплохъ, были убиты. Эти кровавыя и ненужныя жестокости повредили повстанцамъ больше десяти *телеграфическихъ* побѣдъ Шильдеръ-Шульдера, Витгенштейна, *Миллера*, *Шульца* и другихъ нѣмецкихъ Пожарскихъ, спасающихъ Россію въ виду Кракова, предательски отданнаго Австріи отцемъ нынѣшняго государя.

Изъ этихъ отдѣльныхъ фактовъ выдумали сказку о предполагаемой варѳоломеевской ночи для поощренія солдатъ и патетическаго введенія ихъ въ пугачевскій день. Объ нѣсколькихъ тысячахъ я и не слыхалъ, не смотря на то, что съ Января мѣсяца слѣжу съ сердечнымъ трепетомъ и самымъ напряженнымъ вниманіемъ за ходомъ дѣлъ въ Польшѣ. Я знаю многихъ изъ главныхъ дѣятелей, я видѣлъ, какъ люди ѣхали въ Польшу, и видѣлъ, какъ возвращались, я говорилъ съ людьми, которые едва успѣли вымыть руки отъ пороху и отъ крови своихъ ранъ, и могу васъ увѣрить, что ничего не слыхалъ похожаго на разбой русскихъ солдатъ, грабежъ ихъ начальниковъ, добиванье, разстрѣливанье плѣнныхъ и раненыхъ. Въ послѣднее время явилось съ польской стороны больше ожесточенія чѣмъ прежде; пенять не на кого — это вызвано пожарами, грабежемъ, убійствами и начальническими зуботычинами.

Не говорите пожалуста объ этихъ интересныхъ жертвахъ, которыхъ караетъ таинственная, но жестокая рука вемическаго суда, надъ которыми не могутъ довольно наплакаться *ихъ товарищи по службѣ*.. Приподнимите немного виноградные листья „Journal de S. Petersbourg“, и съ другой стороны банные листы „Московскихъ Вѣдомостей“, и вы ясно увидите, что эти невинныя жертвы —шпіоны, доносчики, переметчики.

Они имѣютъ конечно отъ природы право на жизнь, но пріобрѣли тоже своимъ трудомъ право на побои и на всѣ другія послѣдствія ими избранной карьеры.. Что прикажете дѣлать съ этой растлѣнной тварью, ползающей по окровавленному полю, подслушивая, подглядывая, продавая, передавая своихъ? Какъ съ ними быть не только въ разгарѣ междоусобія, но на мирныхъ берегахъ Москвы

рѣки? Что напримѣръ прикажете дѣлать съ... что это?... будто кто то испугался?... а я нарочно сказалъ, у меня и имени собственнаго никакого въ головѣ не было...

Если вы этихъ негодяевъ жалѣете, то сдѣлайте одолженіе — не жалѣйте меня. Да и что вамъ объ нихъ печалиться?... ночные гады, подслушивающіе во мракѣ и тишинѣ, по своему званію враги *Дня и Колокольнаго звона.*

И что значитъ уничтоженіе шпіоновъ и переметчиковъ въ сравненіи съ разстрѣливаніемъ этихъ героическихъ людей, отвагѣ, преданности которыхъ удивляется весь свѣтъ? За рядами солдатъ, за крѣпостной стѣной сидитъ спокойно и безопасно какой-то презусъ Семяка и приговариваетъ къ разстрѣливанію—сегодна Нечая, завтра Падлевскаго, послѣзавтра Франковскаго. Правительство, перетоваривая съ Европой и корча гуманное лицо, торопится въ полумракѣ на скорую руку, пока ее кто нибудь не схватитъ за обшлагъ, убить, придушить наибольшее число вождей, которымъ оно само можетъ только поставить въ вину ихъ фанатическую любовь къ отечеству. И ваше сердце молчитъ, когда на крѣпостномъ валу проклятыхъ цитаделей одинъ молодой трупъ падаетъ за другимъ—не въ бою, а по Семякину суду?...

...Такъ какъ вы повѣрили въ варѳоломеевскую ночь, не смотря на то, что петербургская исторія зажигательствъ могла вамъ дать мѣру правительственнаго вранья, такъ увлеченные ревнивымъ патріотизмомъ, вы повѣрили всякимъ газетнымъ сплетнямъ, которыя удятъ и продаютъ à la ligne, въ низменныхъ политическихъ болотахъ, тощіе рыболовы нѣмецкихъ газетъ—и громите Бакунина. бросая въ человѣка, много вынесшаго за свои убѣжденія, рядъ нелѣпыхъ обвиненій. Зачѣмъ же у васъ такъ мало памяти, такъ мало критики — и, простите меня, такъ мало сердца? Я не принадлежу къ числу сентиментальныхъ поклонниковъ всякаго страданія и всякаго мученичества, но признаюсь откровенно, что прежде чѣмъ бы я рѣшился на рѣзкое порицаніе человѣка, вышедшаго послѣ двѣнадцатилѣтнихъ казематъ и ссылокъ съ тою же вѣрой и съ полной готовностью снова идти въ казематъ, съ которой взошелъ въ нихъ, я десять разъ подумалъ бы или по крайней мѣрѣ поискалъ бы доказательствъ. Можетъ ваши московскіе круги очень обильны этими несокрушаемыми энергіями, этими цѣльными характерами—все же это не резонъ.

Бакунинъ, послѣ своего пріѣзда въ Лондонъ, нѣсколько разъ высказывалъ свое мнѣніе объ Литвѣ и Волыни, о Подолѣ и Украйнѣ. Оно *совершенно согласно съ нашимъ мнѣніемъ*, заявленнымъ не одинъ, а двадцать разъ съ 1848 года. Что наши мнѣнія не совершенно ошибочны — въ этомъ насъ удостовѣряютъ три свидѣтельства. Съ нами соглашались дѣятельные, передовые представители польскаго возстанія. Съ нами соглашались русскіе офицеры и вообще русскіе независимые, т. е. не несущіе на себѣ креста патріотизма и не ищущіе анненскаго креста въ петлицу. Наконецъ, съ нами соглашались—и это важнѣе остальнаго—Украинцы. Авторъ

превосходной статьи въ „Колоколѣ“ 1860, лис. 61, заключаетъ слѣдующими словами, сжато представляющими все воззрѣніе наше: „Пусть же *ни великоруссы, ни поляки* не называютъ *своими* земли, заселенныя *нашимъ народомъ*“.

Мы признаемъ отдѣльнымъ провинціямъ полное право на всяческую аутономію, на вольное соединеніе, на полное слитіе, на полное расторженіе. Кто изъ насъ будетъ оспаривать права остзейскихъ провинцій на неразрывную связь съ петербургской имперіей? Ихъ къ этому паразитизму влечетъ, сверхъ симпатіи и химическаго сродства, ихъ гадкое отношеніе къ финнамъ; нѣмецкій элементъ безпомощно потерялся бы на балтійскихъ берегахъ безъ огромной полицейской руки поддерживающей его; по этому мы находимъ напр. совершенно естественнымъ адрессъ Езеля и другихъ его товарищей. Ну, а Финляндія—она вовсе не проситъ полицейской поддержки, она вообще ничего не проситъ отъ Петербурга кромѣ того, чтобъ онъ ее оставилъ въ покоѣ; на какомъ же справедливомъ основаніи можно ей, противъ ея воли, втѣснять благодѣянія полиціи, цензуры, III отдѣленія?

Разумѣется, что мысль федерализаціи и расчлененія, также какъ мысль національности, можно довести до каррикатуры преувеличеніями. Но это будетъ шалость, а не возраженіе; только тѣ группы, провинціи, тѣ части государства и будутъ добиваться до самобытности, которыя имѣютъ дѣйствительные элементы на особность, на самобытность. Съ какой стати калужская губернія или тульская скажетъ, что она хочетъ быть *своей*, какъ Украйна?

Мы не вѣримъ ни въ благосостояніе, ни въ прочность чудовищныхъ имперій, намъ не нужно столько земли, чтобъ любить родину. Желаніе географическихъ расширеній принадлежитъ къ росту народовъ, и если оно переживаетъ ребячество, то это свидѣтельствуетъ только о неспособности такого народа къ совершеннолѣтію. Все неразвитое — органическая пластика, начальное искусство — бросается на количественную категорію, все не разумное опирается на силу кулака.

Между вами, нами, русскимъ народомъ и имперіей всероссійской совсѣмъ нѣтъ столько общаго, какъ думаютъ. Мы знаемъ, какъ сильны предразсудки въ этомъ отношеніи, но вѣдь и другіе предразсудки были сильны и также облиты были кровью жертвъ и кровью преданныхъ, а гдѣ они теперь? Цѣлость агломерата, храненіе его наростовъ, отстаиваніе насильно проглоченныхъ кусковъ, которыхъ желудокъ не перевариваетъ, все это постороннее судьбамъ народа, враждебное имъ. Во имя сильной, несокрушимой имперіи народъ былъ раздавленъ, обобранъ, во имя ея держалось крѣпостное право, чиновничество, рекрутчина. И это не все. Отнимая всѣ гражданскія права у простаго человѣка, у этого круглаго раба, поддержали въ немъ кичливую мысль о непобѣдимости россійской имперіи, въ силу которой у него развилось, вмѣстѣ съ высокомѣріемъ относительно иностранцевъ, смиреннѣйшее раболѣпіе передъ непобѣдимыми своими властями.

Неужели и православный „День“ принимаетъ бусурманскую мысль нѣмецкихъ любомудровъ, что цѣль народа — государство, такъ какъ цѣль мужа и жены бракъ? Кромѣ нѣмца или доктринера никто не будетъ поддерживать такія школьныя нелѣпости. Оставьте государственнымъ людямъ, какъ Катковъ и Горчаковъ, проповѣдывать цѣлость имперіи. Они по своему положенію должны защищать ими представляемое государство. Катковъ сознается, что не можетъ безъ боли думать о потерѣ Польши, онъ страдаетъ, какъ будто у него отнимаютъ ногу или казенныя объявленія. Вашъ День-то зачѣмъ хочетъ владѣть католиками? Эта патріотическая жадность никуда не годится, и можно, вовсе не дѣлая преступленія, отдать чужое. Никто не обвиняетъ англійскихъ министровъ въ измѣнѣ за то, что они отдаютъ Іоническіе острова. Лордъ Чатамъ вѣкъ тому назадъ говорилъ, что Америка настолько *зрѣла*, что не останется подъ опекой метрополіи и что потому умнѣе ее оставить въ покоѣ.

Ни сила безъ права, ни право безъ силы ничего не рѣшаютъ. Историческія воспоминанія, археологическіе документы также недостаточны для возстановленія національности, какъ насиліе для ея подавленія. Преданіе и statu quo составляютъ своего рода *выборку* — одно погибло, другое осталось, измѣнилось; разные элементы, разные слѣды прошедшаго переплелись въ *настоящемъ* жизни народной, создали свои стремленія, запросы. Чего хотятъ народы, они умѣютъ заявить.

Навязать рѣшеніе гораздо мудренѣе, чѣмъ кажется, и равно трудно правительству и революціи. Что сдѣлала прусская камера, призывая народъ, не имѣющій смысла политической свободы, къ защитѣ конституціи? Что сдѣлало русское правительство съ Польшей тридцатью николаевскими годами? Поляки *въ самомъ дѣлѣ* хотятъ независимости и идутъ одинъ противъ десяти, коса противъ ружья, револьверъ противъ пушки.

Изъ сказаннаго вы видите, что ни одинъ изъ насъ не *предрѣшалъ* ни одного вопроса, относящагося до провинцій. Мы присматривались, изучали этотъ предметъ, но не рѣшали ничего. Изучали не въ польскихъ воспоминаніяхъ, не въ мнѣніяхъ русскихъ государственныхъ людей, а въ самихъ совершавшихся событіяхъ, насколько они доходили до насъ.

Вы помните можетъ торжество, устроенное народомъ Ковенской губерніи осенью 1861? Цѣлыя деревни, старый и малый, съ богородицами и хоругвями, съ своими ксендзами и женами, шли брататься съ польскимъ населеніемъ въ воспоминаніе соединенія Литвы съ Польшей.

Испуганное правительство тотчасъ схватилось за оружіе и, вслѣдъ за другой демонстраціей въ Вильнѣ, подвергло весь край военному положенію. Какое же еще доказательство можетъ быть яснѣе, *что Литва дѣйствительно тянетъ къ Польшѣ?*—„Да это, видите, не литовскій народъ, а нѣсколько помѣщиковъ, потерянныхъ въ цѣломъ народонаселеніи, и нѣсколько горожанъ, составляющихъ

ихъ Петербургъ, и *вашу* Москву, и всю эту отвратительную имперію, которой пульсъ мѣряется кнутомъ и пролитой кровью мучениковъ, и которой каждая побѣда — обида всему, что дорого человѣку.

Мы не можемъ измѣнить нашему воззрѣнію, это сильнѣе насъ, да и не хотимъ вовсе. Пусть все идетъ прочь, пусть идутъ старые друзья.... ихъ столько ушло, что остальныхъ жалѣть нечего. Пусть, читая на память свѣжіе уроки своихъ профессоровъ рабства, идетъ прочь часть молодаго поколѣнія. Жаль его, но мы знаемъ, какъ его воспитали нравственные кастраты, испугавшіеся *слишкомъ большой воли*, захватившей ихъ послѣ смерти Николая, трусы торопившіеся подтянуть паруса, чтобъ избѣгнуть бурь и кораблекрушеній въ корытѣ...

Мы останемся въ смиренной грусти ждать другаго прилива.... придетъ онъ или нѣтъ, придетъ на радость или на горе, мы все-же не измѣнимъ ни истинѣ, ни русскому народу... и если не можемъ ничѣмъ другимъ ему быть полезными, то будемъ полезны тѣмъ, что искупимъ его и васъ въ глазахъ грядущихъ поколѣній, свидѣтельствуя, что были же трезвые люди, когда вы всѣ опьянѣли на царской попойкѣ, отъ страха передъ Европой и отъ дешевой, поддѣльной Валуевки.

Придетъ время, и вѣроятно оно не за горами, мы скажемъ своимъ и чужимъ, что мы дѣлали во время кровавой борьбы.... Ошибались мы или нѣтъ — не знаемъ, но знаемъ, что любовь наша равно не измѣнила ни роднымъ, ни друзьямъ, что мысль наша ни на волосъ не отошла отъ тѣхъ основаній, на которыхъ мы жили всю нашу жизнь, во имя которыхъ говорилось каждое слово наше.

Вы понимаете, что это время не пришло, червь не источилъ еще трупы мучениковъ и падшихъ воиновъ, раны не закрылись на столько, чтобъ можно было касаться къ нимъ, кровь льется какъ изъ ведра — и въ рукахъ полиціи тупой и безчеловѣчной, бездна дорогихъ людей.

Вотъ главное, что я хотѣлъ вамъ сказать. Теперь, что вы тамъ толкуете о *моемъ союзѣ* съ Франціей, съ Наполеономъ, съ аристократической Англіей, это—будемте откровенны—такой вздоръ, что тутъ просто хочется хохотать... Вѣдь вы это все употребили такъ, для тѣни, вѣдь *вы не вѣрите этому*...

Сами-же вы напомнили (хотя и не совсѣмъ вѣрно) о крымской войнѣ. Я не скрывалъ передъ разсвирѣпѣвшимъ старымъ міромъ моего мнѣнія и говорилъ его съ варварской откровенностью въ лицо, говорилъ и послѣ, когда еще *Русскій Вѣстникъ* ползалъ, тяжелымъ и безкрылымъ насѣкомымъ, около ногъ Англіи.... я и теперь тоже говорю. Но мое мнѣніе объ Европѣ нисколько не мѣшаетъ мнѣ еще откровеннѣе отзываться о казняхъ, грабежѣ и гнусностяхъ, дѣлаемыхъ въ Польшѣ. „Языкъ мой — врагъ мой“;

но ищите смѣло, можетъ сыщите двухъ враговъ, но двойнаго языка не найдете.

...Если-же вы обвиняете меня за то, что діапазонъ нашихъ статей измѣнился, что тонъ ихъ другой—то въ этомъ трудно оправдаться. Хороши-бы мы были, нечего сказать, еслибъ разсуждали теперь съ тѣмъ философскимъ спокойствіемъ о польскихъ дѣлахъ, съ которымъ я писалъ объ нихъ въ 1859 году.

Какъ будто тонъ живаго разговора зависитъ исключительно отъ одного изъ участниковъ? Разскажу вамъ въ заключеніе одинъ случай, который вамъ покажетъ, что камертонъ не всегда у насъ въ рукахъ.

Въ началѣ 60 года, въ нашемъ изгнаніи готовился праздникъ—праздникъ странный, небывалый. Русскіе выходцы сзывали изгнанниковъ на свободной британской землѣ, сзывали представителей самаго краснаго радикализма, самыхъ крайнихъ соціальныхъ ученій; на этомъ праздникѣ, при громѣ Марсельезы, я долженъ былъ провозгласить тостъ за «Александра II — начавшаго освобожденіе крестьянъ!»

Что бы ни говорили съ точки зрѣнія чиновной Vornehm thuerei, бюрократической Blasirtheit и доктринерскаго лакейства — а этотъ тостъ раздался-бы далеко... Не ищите въ этихъ словахъ ни хвастовства, ни высокомѣрія. О значеніи нашего праздника, мы можемъ догадываться a contrario, взявъ въ счетъ то нѣжное вниманіе, которымъ правительство насъ окружаетъ, посылая одного лазутчика за другимъ присматривать за нами, и заставляя двухъ-трехъ журналистовъ безпрестанно, но небезплатно обругивать насъ.

Пришло 10 апрѣля. Все было готово и вдругъ депеша о варшавскихъ убійствахъ. Сжалось сердце. Стало какъ-то не ловко отъ праздничныхъ приготовленій.... принесли письма отъ польскихъ друзей; они не могли идти въ бродъ по свѣжей крови и перешагнуть черезъ родные трупы, чтобъ праздновать съ нами, и я глубоко чувствовалъ, что они правы. Украли у насъ и этотъ день. Все точившее нашу жизнь, все исполнявшее желчью наше слово и пріучившее къ ненависти наше сердце, снова всплыло.... Отложить праздникъ не было никакой возможности, стали собираться гости, иностранцы щадили насъ, русскіе краснѣли съ нами вмѣстѣ. О тостѣ за императора и помину не было, съ тяжелымъ сердцемъ, безъ рѣчей, а со слезами выпили мы *за освобожденныхъ крестьянъ и освобождающихся поляковъ*, и грустно опустили бокалы.

Вотъ какъ мѣняется тонъ.

На первый разъ довольно; если вы будете отвѣчать, то позвольте мнѣ обратиться къ вамъ съ просьбой, вы въ вашей статьѣ говорите о какихъ-то подложныхъ манифестахъ. Что-же, вы и ихъ намъ приписываете, что-ли? Пожалуйста увѣдомьте готоваго къ услугамъ вашимъ.

Колоколъ № 168.
1 Августа 1863 года.

ПРОТЕСТЪ.

Если останутся въ изгнаніи десять французовъ, я останусь въ ихъ числѣ, если двое, я буду одинъ изъ нихъ: если останется одинъ, я буду этотъ одинъ!

Викторъ Гюго.

...Десять разъ клали мы перо, чтобъ придти въ себя, чтобъ подавить горе и негодованіе. Слишкомъ много ужаса и позора! Кровь пьянитъ *ихъ*... *они* глумятся, *они* обругиваютъ идущихъ на смерть, они оскорбляютъ трупы и пятнаютъ вдовъ и женъ падшихъ и сражающихся—и все это русскіе, грамотные, *воспитанные*, пишущіе въ журналахъ... Въ нашей литературѣ ничего подобнаго не было.

Все скверное въ русской натурѣ, все искаженное рабствомъ и помѣшичествомъ, служебной дерзостью и безправіемъ, палкой и шпіонствомъ, все всплыло наружу, украшенное *либеральными* бубенчиками, всплыло, совмѣщая въ себѣ въ какомъ-то чудовищномъ соединеніи Аракчеева и Пугачева, крѣпостника, подъячаго, капитанъ-исправника, голь кабацкую, Хлестакова, Тредьяковскаго и Салтычиху...

И въ этомъ-то чаду убійствъ, пытокъ, стона, рукоплесканій палачамъ, въ этомъ свирѣпомъ шабашѣ разъяреннаго патріотизма—дрожащаго передъ Европой и фордыбачащагося передъ связаннымъ и раненымъ арестантомъ, просыпается, воскресаетъ народъ русскій отъ долгой смерти подъ двумя гробовыми крышами! Неужели эта грязь, смѣшанная съ кровью, послужитъ цементомъ, которымъ сплотятся сословія и касты — *въ одинъ народъ?*.. Неужели выходъ изъ петровской эпохи будетъ со всей петровской безчеловѣчностью и со всей допетровской исключительной національностью?

Что дѣлается въ народѣ — мы не знаемъ. Продѣлка адрессовъ ничего не значитъ. Но за то знаемъ, что *общество*, что дворянство, вчерашніе крѣпостники, либералы, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены; въ ихъ соки и ткани всосался *патріотическій сифилисъ*. Какъ далеко пошелъ ядъ, Москва доказала по своему стерлядями. Тостъ Муравьеву—историческое событіе. Въ пущее время разгара французской революціи мы не помнимъ, чтобъ въ Парижѣ пили за Карье или Фуше, ни даже, чтобъ дѣлали оваціи—литературнымъ помощникамъ Фукье Тинвиля, журнальнымъ pourvoyeurs de la guilliotine „поставщикамъ гильотины“.

Передъ такимъ паденіемъ молчать нельзя, надобно, чтобъ честное меньшинство заявило свое veto, свой протестъ, чтобъ оно заявило свой разрывъ съ обществомъ, потерявшимъ голову и сердце. Пусть они аппеллируютъ „отъ пьяной Россіи къ Россіи

трезвой", пусть они положатъ начало очищенія *Россіи* въ глазахъ всѣхъ народовъ, потому что теперь бѣснующійся Саулъ—не одинъ Николай, а вся дворянская, служебная Россія.

Если никто не сдѣлаетъ этого протеста, мы одни будемъ протестовать. На голосъ человѣческаго негодованія никакого права не надобно, тутъ нѣтъ ни ценза, ни табели о рангахъ; тутъ достаточно имѣть совѣсть и не имѣть безучастнаго хладнокровія. Личность человѣка вовсе не такъ поглощена государствомъ и не такъ подвластна ему, какъ проповѣдуютъ по нѣмецкимъ теоріямъ великорусскіе патріоты. Втѣснять человѣку поневолѣ племенную солидарность въ преступленіяхъ — послѣднее отрицаніе всякаго нравственнаго достоинства его. Въ правѣ свободныхъ людей не дѣлать злодѣйствъ и не хвалить ихъ никто не сомнѣвался. Наши патріоты толкуютъ, что передъ страшной опасностію, грозящей Россіи, должны умолкнуть совѣсть и умъ. Гдѣ эта опасность? Трусость—худой критеріумъ. Если кому нибудь грозитъ опасность, то развѣ одряхлѣвшей, неспособной въ своихъ старыхъ, нѣмецкихъ формахъ имперіи, которая ничего не умѣетъ предупредить, ничего не умѣетъ поправить, и полгода борясь съ нѣсколькими кучками повстанцевъ, отъ бѣшенства и досады, что не можетъ ихъ побѣдить, принялась убивать раненыхъ, вѣшать больныхъ и грабить помѣщиковъ. Чѣмъ скорѣе эта имперія развалится, тѣмъ лучше.

А они для спасенія этой имперіи хотятъ поглотить всякую личную инициативу, заглушить вольный голосъ казеннымъ хоромъ; затерять лицо въ массахъ, распустить его въ стихіяхъ, влекомыхъ безотчетными приливами и отливами, и которыхъ именно оттого легко увлечь.

Если въ самомъ дѣлѣ вся Россія повѣритъ имъ, что теперь слѣдуетъ обняться съ Муравьевымъ и протянуть руку III отдѣленію, если она будетъ на столько *патріотична*, что не содрогнется ни отъ казней, ни отъ ихъ апотеозы въ журналахъ, то, одолѣвши возстаніе, россійская имперія сложится въ огромное славянское затишье, военной Китай, стоячій и скучный, который замретъ въ своемъ безвыходномъ рабствѣ и личной стертости.

Вотъ почему надобно протестовать.

Для оппозиціи молчанія мало. При Николаѣ еще можно было молчать, онъ самъ молчалъ или стдавалъ приказы. Велерѣчіе правительства и его *статьешниковъ*, его канцелярій энтузіазма, его фабрики адрессовъ не даютъ мѣста молчанію.

Бываютъ минуты утомленія и горечи, въ которыя кажется, что надобно переждать, что ничего не сдѣлаешь противъ стихійнаго бѣшенства, спущеннаго съ цѣпи и намѣренно разъяреннаго, что не пересилишь словомъ горячешный бредъ и не совладаешь доводами съ дикимъ безуміемъ... вовсе не ищущимъ себѣ логическихъ оправданій. На дѣлѣ выходитъ не такъ. Нѣтъ силъ молча выжидать оттого, что нѣтъ возможности отсрочивать боль и печаль... оттого, что тутъ и схоронено, и посѣяно все, что у насъ

есть. Мы не монахи, чтобъ стоять нѣмыми свидѣтелями ужасовъ, совершающихся около насъ, у нихъ была за временными бѣдствіями цѣлая вѣчность и за слезой молитва, у насъ нѣтъ ни молитвы, ни вѣчности; наша любовь, наши упованья, наши интересы, всѣ временные, даже локальные и мы не имѣемъ интересовъ развѣ ихъ.

Если нашъ вызовъ не найдетъ сочувствія, если въ эту темную ночь ни одинъ разумный лучъ еще не можетъ проникнуть и ни одно отрезвляющее слово не можетъ быть слышно за шумомъ патріотической оргіи, *мы останемся одни съ нашимъ протестомъ*, но не оставимъ его. Повторять будемъ мы его для того, чтобъ было свидѣтельство, что во время общаго опьянѣнія узкимъ патріотизмомъ, были же люди, которые чувствовали въ себѣ силу отречься отъ гніющей имперіи, во имя будущей, нарождающейся Россіи, имѣли силу подвергнуться обвиненію въ измѣнѣ, во имя любви къ народу русскому. Можетъ, наша рѣчь, иной разъ, какъ угрызеніе совѣсти, помѣшаетъ пирующимъ между кулебякой Каткову и кубкомъ Муравьеву!

— —

„ДЕНЬ“ И „КОЛОКОЛЪ“.

Богомольная старушка въ комедіи Островскаго разсказывала любопытный фактъ о какомъ-то салтанѣ Махнутѣ, который творилъ судъ *по неправдѣ*, такъ что и рѣшеніе у него всякій разъ выходило *неправое*.

Издатель *Дня*, отодвинувшій на второй планъ г. Касьянова, сильно смахиваетъ на этого Махнута. Конечно, г. Аксаковъ воленъ тоже думать о насъ, но на то есть третейскій судъ, и въ этомъ случаѣ довольно обширный, т. е. весь родъ людской. *Судъ по правдѣ* понятенъ всякому нормальному человѣку, въ какой губерніи онъ бы ни родился, любитъ Москву или Петербургъ, ходитъ подъ благословеніе папы римскаго, попа русскаго или бѣлокриницкаго владыки. Судъ *по неправдѣ*, какъ постукиваніе духовъ, доступенъ только вѣрующимъ и посвященнымъ.

Правда обязываетъ до нѣкоторой степени всякаго человѣка не лишеннаго здраваго смысла и не награжденнаго *смысломъ больнымъ*. Вѣра не обязательна нисколько для ближняго и самъ г. Аксаковъ прекрасно доказалъ это въ своемъ назиданіи кн. Августина Голицына. Издѣваясь надъ раскольническими вѣрованіями простаго народа, онъ нѣсколько кощунствуя въ монополь господствующей церкви, обзываетъ, не безъ остроумія, ихъ догматы, *ихъ* святую вѣру „фокусъ — покусами спасенія“, и въ тоже время прибавляетъ, что они могутъ быть совершенно *искренни*. Августинъ Голицынъ вѣроятно съ своей стороны находитъ аксаковскій синодальный фокусъ-покусъ подозрительной пробы, да на бѣду еще имѣетъ за собой весь католическій міръ. Повѣрка тутъ одна—инквизиція и костеръ. Но для этого надобно имѣть на своей сторонѣ

полицію, свободу жечь людей—къ тому-же все это очень больно, но ничего не доказываетъ.

Издатель „Дня“ имѣетъ и другой критеріумъ, онъ основанъ на „значительной доли русскости“. Тутъ тоже бѣда. Не всякій родится русскимъ, кто захочетъ. Какъ же убѣдить того несчастнаго, который съ рожденіемъ принесъ въ крови значительную долю андалускости или скандинавскости?... а такихъ очень много. Придется и тутъ внушать русскость муравьевщиной, то есть казня людей, лошадей, воловъ, усадьбы, поля и лѣса...

Мы считаемъ *неправдами тѣ правды*, которыхъ доказательства зависятъ отъ стихій внѣшнихъ разуму и которыя такъ близки къ костру и висѣлицѣ.

Двадцать лѣтъ тому назадъ я съ ужасомъ отпрянулъ отъ славянофиловъ изъ за ихъ рабства совѣсти. Я долгое время не умѣлъ понять дѣльную сторону воззрѣнія, окруженнаго эпитемьями, отлученіемъ, изувѣрствомъ, духомъ гоненія и нетерпимостію. Они на меня сердились за то, что я говорилъ — попадись имъ власть въ руки, они за поясъ заткнутъ III отдѣленіе и что не смотря на всѣ возгласы о Петербургѣ и нѣмецкой имперіи, въ нихъ самихъ дремлетъ Николай, да еще постриженный въ русскіе попы. Ne reveillez pas le chat qui dort!

По счастію сущность ихъ ученія не зависитъ отъ нихъ. Московскіе магикане славянофильства пройдутъ скоро, а то что было истиннаго въ ихъ воззрѣніи, найдетъ мозги и сердца больше человѣчественные и меньше патріотическіе.

«Наши чужекрайные русскіе, говоритъ г. Аксаковъ, обезпокоились; они хлопочутъ *теперь* о томъ, какъ бы примирить житье бытье за границей съ „любовью къ отечеству“, съ живымъ участіемъ въ его судьбахъ. Однимъ словомъ: они хотятъ любить Россію издали, и прослыть любящими ее — не расходуясь на эту любовь никакими пожертвованіями, не раздѣляя съ Россіей ея бѣдъ и напастей, не подсобляя нести общую ношу.

«Они избрали часть весьма благую: пользоваться удобствами чужестраннаго быта и въ то же время не тянуть никакой лямки —ни той, которую тянутъ народы, среди которыхъ они проживаютъ въ качествѣ *гостей*; ни той, которую тянемъ мы всѣ у себя дома ...*) Намъ *рѣшительно непонятны* притязанія тѣхъ русскихъ, которые слишкомъ откровенно и явно выдѣлили себя изъ среды русскаго общества и народа, стали не тайными, а гласными эми-

---

*) Какія-же это особенныя тяги несутъ у насъ издатели? Что они пошли на войну, или пожертвовали полсостоянія? Не раззорился-ли ужъ издатель „Моск. Вѣдомост.“? Не проигралъ-ли Павловъ на бивуакахъ „Наше Время“? Въ Англіи мы плотимъ и income tax и другіе поборы, здѣсь другихъ тягъ не требуютъ. Конечно, мы въ Европѣ гости, но во Франціи меня трактовали совершенно за своего и высылали, и осматривали бумаги, и не пускали десять лѣтъ.

грантами, въ той или другой формѣ явились отступниками русской народности, нарушили духовное общеніе съ русскимъ народомъ; намъ *непонятны ихъ притязанія* считаться русскими *наравнѣ* со всѣми нами, пользоваться правомъ нравственнаго гражданства въ русскомъ обществѣ.

Китайское обвиненіе человѣка за то, что онъ живетъ по ту или по другую сторону границы внѣ Азіи и Сачгры, совершенно непонятно. Кажется англичанъ мудрено обвинить въ недостаткѣ энергическаго патріотизма, но когда, въ какое время цѣлыя семьи англичанъ не жили и не умирали на континентѣ, въ Америкѣ, и пришло-ли кому нибудь въ голову ставить имъ это въ преступленіе? А я еще смѣялся въ 1848 надъ Арман'Марастомъ за то, что онъ опредѣлялъ свободу признаннымъ правомъ d'aller et venir... Трудно, особенно у насъ, прививаются самыя простыя элементарныя понятія личной свободы. Мы все еще внутри себя „временно-обязанные" и долго не будемъ умѣть ни себя считать не вольноотпущенными, а вольными, ни ближнимъ уважать его личную независимость, все хочется по помѣщичьи распоряжаться человѣкомъ *на его пользу*, не замѣчая, что этимъ путемъ люди доходятъ до военныхъ поселеній и до страшнѣйшей полицейской бюрократіи.

Г. Аксаковъ врагъ путешествій, какъ Николай Павловичъ, помѣщаетъ меня въ число тѣхъ русскихъ, которые *теперь* хлопочутъ о „примиреніи житья-бытья за границей — съ живымъ участіемъ къ судьбамъ Россіи", и заключаетъ тѣмъ, что ему рѣшительно непонятны мои притязанія быть русскимъ *на равнѣ съ нимъ и другими*.

Ну это *теперь* продолжается довольно давно, а именно *четырнадцать* лѣтъ. Въ 1849 я писалъ моимъ друзьямъ въ Россію (у меня были тогда друзья въ Россіи), что я остаюсь на Западѣ, *исключительно* для того, чтобъ начать свободную русскую рѣчь, устроить для Россіи безцензурный органъ, и *исключительно* занимался этимъ съ тѣхъ поръ. Чего же мнѣ было дожидаться касьяновскаго Дня, чтобъ заявлять мое живое участіе и таковую же преданность?

Притязаній на равенство въ „русскости" съ г. Аксаковымъ и всѣми русскими вообще я тоже никогда не покидалъ, и оно только не всегда было такъ *совершенно непонятно* славянофиламъ какъ теперь. Я сберегъ нѣсколько писемъ, дорогихъ для меня по глубокому сочувствію къ моей дѣятельности, писемъ отъ людей серьезныхъ и высоко стоявшихъ въ томъ станѣ, къ которому принадлежитъ редакторъ Дня. „Дѣло вами начатое, сказано въ одномъ изъ нихъ, займетъ не послѣднее мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія, *Колоколъ* единственный органъ, къ которому прислушивается правительство... онъ замѣнилъ въ немъ совѣсть". Почему же мнѣ было не считать себя русскимъ на равнѣ со всѣми русскими. Не могъ же я думать, что все это была ложь или мистификація, поддерживавшая меня въ пагубномъ заблужде-

нія со стороны людей, которымъ я не дѣлалъ никакого зла, которыхъ любилъ, не смотря на разномысліе—но сужденія которыхъ *я не спрашивалъ*.

Не понимая—почему я имѣю притязаніе на нравственное гражданство въ русскомъ обществѣ, г. Аксаковъ естественно не понялъ, почему я хотѣлъ, чтобъ мое письмо было напечатано въ *Днѣ*, (хотя я и сказалъ, что отвѣчать г. Касьянову буду въ другомъ мѣстѣ, что и сдѣлалъ въ прошл. листѣ *Кол.*). Правительство, запрещавшее до шедоферотьевской брошюры произносить мое имя, разрѣшило меня ругать. Льготой этой жадно воспользовались квартальные надзиратели журналовъ благочинія. Я ждалъ нападку въ независимомъ листѣ, чтобъ пріобрѣсти право отвѣта, не поступивши въ полицію. Мнѣ казалось, что издателю будетъ совѣстно обвинять человѣка съ завязаннымъ ртомъ, и не ошибся. Письмо съ моей подписью въ русскомъ журналѣ увеличиваетъ мое нравственное гражданство въ русскомъ обществѣ.

„Что же касается до начальническаго разрѣшенія обвинять его и Бакунина, заключаетъ г. Аксаковъ, то гг. Герценъ и Бакунинъ, ставши явно въ ряды противниковъ русскаго народа и принявъ участіе въ настоящемъ кровопролитіи, сами дали разрѣшеніе обвинять ихъ, безъ всякаго на то оффиціальнаго дозволенія. *Никому и въ голову не прійдетъ спрашивать или давать разрѣшеніе*, чтобы обвинить Лангевича, Свѣнторжецкаго, Чарторижскаго и имъ подобныхъ. Точно также никому и въ голову не прійдетъ *заботиться* о томъ, можно-ли будетъ помѣстить возраженіе Лангевича, Свѣнторжецкаго и другихъ „бандитовъ“, когда имъ открыто поле всей европейской журналистики“...

И такъ издатель Дня признается, что въ Россіи никто не считаетъ нужнымъ, осыпая бранью и обвиненіями какого нибудь „бандита“, (кто не знаетъ, что на русскомъ языкѣ, да и на всѣхъ кромѣ итальянскаго „бандитъ“ не значитъ изгнанникъ, а разбойникъ) въ родѣ Лангевича — заботиться позволять ему отвѣчать или нѣтъ. Вотъ какъ азіатски безцеремонно у насъ еще обходятся съ лицами, находящимися подъ гнѣвомъ правительства. Это бросаетъ печальный свѣтъ на популярность Муравьева, вѣшающаго зря, и на Москву, запивающую шампанскимъ его труды...

Положимъ, что исключительный *патріотизмъ* г. Аксакова идетъ до грубости—Бакунину, мнѣ, всякому русскому, осмѣливающемуся иначе понимать благо Россіи, чѣмъ петербургскіе нѣмцы и иначе любить народъ русскій, чѣмъ московскіе славяне; но такъ по генеральски обращаться съ поляками, несущими не *меньше его тягу* своей родины, любящими *свое* отечество, столько-же сколько г. Аксаковъ *свое*—это непонятно! Въ чемъ состоитъ удовольствіе назвать „бандитомъ“ молодаго героя, чистаго поляка, который съ горстью юношей бросилъ перчатку пресловутому Колоссу, продержался нѣсколько мѣсяцевъ безъ порядочнаго оружія, безъ воиновъ пріобыкшихъ къ строю, подвергаясь ежечасно смерти, дрался какъ левъ, и кротко, безшумно, сошелъ съ диктаторскаго

кресла въ австрійскую тюрьму?... Да еще при этомъ наивно признаваться, что про Чарторижскаго, Лангевича можно печатать чортъ знаетъ что, не заботясь о томъ разрѣшатъ-ли полицейскіе напечатать ихъ отвѣтъ и зная навѣрное, что иностранные журналы, въ которыхъ онъ будетъ, останутся за границей цензуры и имперіи! Жалкое паденье!..

...Но идемъ далѣе.

Pièce de resistance, Малаховъ курганъ непріятельскихъ дѣйствій противъ меня составляетъ Бакунинъ, на немъ и имъ издатель «Дня» хочетъ уличить меня во лжи, двоедушіи, двусмысленномъ языкѣ, словомъ во всемъ, что дѣлаетъ изъ чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ прекраснаго дипломата, а изъ неслужащаго человѣка отъявленнаго негодяя.

На главное обвиненіе Бакунина я уже отвѣчалъ въ письмѣ г. Касьянову (прошл. л. „Кол.“), мнѣніе Бакунина о самозаконности провинцій *осталось неизмѣнно*, я не читалъ ни въ одной рѣчи, ни въ одной статьѣ, чтобъ онъ отъ него отказался. Можетъ онъ иной разъ не возражалъ на какую нибудь ультра-экзальтированную выходку поляка, но развѣ онъ не сказалъ въ своемъ первомъ посланіи къ Славянамъ,*) что русскіе всего меньше имѣютъ права возставать противъ ошибокъ поляковъ, «что мы слишкомъ грѣшны противъ Польши, чтобъ судить ее». Нечистая совѣсть, незаглаженное преступленіе, кровь на рукахъ обязываетъ насъ къ большой скромности.... сколько разъ я эгоистически желалъ полнаго торжества польскаго дѣла, чтобъ, наконецъ, стать съ ними на равную ногу...

„Изъ Англіи отправляется пароходъ, нагруженный оружіемъ и цѣлымъ польскимъ отрядомъ для высадки на русскомъ берегѣ. *Всѣмъ извѣстно*, что пароходъ попалъ въ Швецію случайно, вслѣдствіе отказа англійскаго шкипера продолжать плаваніе до Либавы. Съ этимъ-же отрядомъ находился на пароходѣ, *по увѣренію всѣхъ газетъ* и Бакунинъ“.

А сверхъ всѣхъ *есть еще многіе*, которые знаютъ, что Бакунинъ поѣхалъ въ Стокгольмъ *мѣсяцемъ раньше* экспедиціи Лапинскаго и Демонтовича и что его поѣздка не имѣла никакого отношенія къ экспедиціи, о которой тогда вѣроятно не думалъ самъ Демонтовичъ. Положимъ, что Бакунинъ имѣлъ самыя несбыточныя цѣли, самыя фантастическія надежды, но все-же онъ не имѣлъ цѣлью *предводительствовать польскимъ отрядомъ;* да и врядъ-ли было-бы это сообразно желанію поляковъ, особенно въ экспедиціи, которой начальствовалъ такой опытный, знающій и отважный партизанъ—какъ Лапинскій.

Въ Швецію пароходъ попалъ *не случайно.* Не капитанъ завезъ экспедицію въ Швецію, а воспользовался тѣмъ, что коснулись земли, чтобъ привести въ исполненіе планъ, съ которымъ онъ, вѣроятно, поѣхалъ изъ Соутенда.

---

*) „Колоколъ“ 15 февраля 1862.

Вѣра въ писанія журнальныя вещь хорошая, но критика вещь страшно полезная. Издатель „Дня“, повѣрилъ даже *морской уткѣ*, пущенной на берегъ русскими крейсерами, боясь *вахтъ* «и продолжительныхъ и хладныхъ».

„Бакунинъ, говоритъ „День“, остался въ Швеціи, когда, послѣ долгой стоянки, экспедиція Лапинскаго попыталась вновь пробраться къ курляндскому берегу, *но, завидѣвъ крейсеровъ и сославшись на бурю*, возвратилась въ Швецію“.

И такъ г. Аксаковъ въ самомъ дѣлѣ воображаетъ, что Лапинскій возвратился, испугавшись грозныхъ Аргусовъ нашихъ и выдумалъ бурю? Не нарочно-ли онъ утопилъ двадцать товарищей своихъ бывшихъ на одной изъ двухъ лодокъ, спущенныхъ въ виду земли? Имена ихъ извѣстны, большая часть были французы и итальянцы. Лапинскій не только не бѣжалъ отъ крейсеровъ, но *былъ уже на берегу* съ экипажемъ маленькой лодки, когда большая лодка стала тонуть,*) ему ничего не оставалось дѣлать, какъ плыть назадъ. Вторая экспедиція Лапинскаго не удалась, но это было верхъ отваги.

Издатель „Дня“ вѣрилъ не только гардемаринской уткѣ, но и сухопутнымъ лебедямъ первой величины, напр. онъ вѣритъ тому, что «русскихъ военныхъ начальниковъ въ Польшѣ упрекаютъ въ излишней и неумѣренной деликатности съ поляками» и не вѣритъ, (не вѣрить очевидностямъ—такой же актъ вѣры, но съ другой стороны) въ страшный рядъ грабежей русскихъ солдатъ, выжиганіе городовъ и селъ, въ убійство раненныхъ (которое теперь приняло на себя правительство, а сначала предоставлялось охотникамъ). Офицеры испугались деморализаціи солдатъ, солдаты грубили имъ, офицеръ генеральнаго штаба, Мехеда, былъ убитъ, останавливая русскихъ солдатъ. Многіе изъ начальниковъ помогали разбою и принимали львиную часть добычи; составились рынки, на которыхъ открыто продавались вещи, награбленныя у жителей, не принимавшихъ никакого участія въ возстаніи, сотни семействъ бѣжали въ Галицію укрыться отъ этого организованнаго разбоя. Все это дѣлалось въ самомъ началѣ возстанія и продолжалось мѣсяцы. *Инвалидъ*, *Сѣвер. Почта* и даже *Моск. Вѣд.* не могли вполнѣ скрыть тѣхъ ужасовъ, которыми запятнали себя солдаты, а издатель *Дня*, публицистъ, будто никогда не слыхалъ ни слова объ этомъ — упрекаетъ насъ, что мы выкапываемъ отдѣльные факты, не выгодные для храбраго россійскаго войска, и смягчаемъ звѣрскіе поступки поляковъ, въ родѣ убійства какого то жандармскаго капитана.

Въ моемъ письмѣ г. Касьянову я признался, что дѣйствительно мы очень мало жалѣемъ жандармовъ и сыщиковъ, и вовсе не

---

*) На этой лодкѣ были большей частію молодые люди, большая часть французовъ и итальянцевъ, когда не было больше никакого спасенія, они громко прокричали на общемъ имъ языкѣ Vivat Polonia! и погибли.

жалѣемъ шпіоновъ, казенныхъ журналистовъ и другихъ чиновниковъ III отдѣленія . . . туда имъ и дорога. А то, если дать волю сентиментальности, придется плакать, когда какой нибудь полякъ пристрѣлитъ Муравьева—зачѣмъ же намъ отбивать хлѣбъ у *Моск. Вѣдомостей?*

Далѣе издатель *Дня* ставитъ рядъ фактовъ и послѣ каждаго упрекаетъ, что мы не протестовали. Почему онъ знаетъ, противъ чего мы протестовали и противъ чего не протестовали? Развѣ только одно средство и есть протестовать? Славянофилы въ старые годы лучше понимали строй партіи. Въ прошломъ *Колоколѣ* мы сказали: „Придетъ время, и вѣроятно оно не за горами, мы скажемъ своимъ и чужимъ, что мы дѣлали во время кровавой борьбы.... Ошибались мы или нѣтъ — не знаемъ, но знаемъ, что любовь наша равно не измѣнила ни роднымъ, ни друзьямъ, что мысль наша ни на волосъ не отошла отъ тѣхъ основаній, на которыхъ мы жили всю нашу жизнь, во имя которыхъ говорилось каждое слово наше. „Вы понимаете, что это время не пришло, червь не источилъ еще трупы мучениковъ и падшихъ воиновъ, раны не закрылись на столько, чтобъ можно было касаться къ нимъ, кровь льется какъ изъ ведра—и въ рукахъ полиціи, тупой и безчеловѣчной, бездна дорогихъ людей".

Ну и довольно...

Хотѣлъ я эту статью кончить иначе, снова явилось желаніе высказать еще разъ нашъ символъ вѣры. Одинъ періодъ нашей заграничной дѣятельности явнымъ образомъ пришелъ къ своему рубежу. На его-то предѣлѣ, вступая въ грозное и черное время, хорошо было бы пріостановиться, провѣрить себя, сказать еще разъ, кто мы и почему мы считаемъ себя русскими не хуже издателя Дня — и въ тоже время „съ злобной радостью" видимъ, какъ разсѣдается петербургская имперія, въ которой для насъ совмѣстилось все, что мы ненавидимъ по мелочи на Западѣ, все, что отравляло жизнь нашу съ молодыхъ лѣтъ — отъ скованнаго слова, отъ отсутствія воли, отъ безпрерывнаго зрѣлища наглаго насилія и безвыходнаго рабства — до начальническаго тона, генеральскаго „ты" и помѣщичьяго сѣкущаго раболѣпія.*) Хотѣлось намъ потомъ спросить, что же удивительнаго, что боль отъ страданій народа, не бравшаго никакого участія въ оргіяхъ имперіи, стоявшаго молча и печально подъ ея же изнуряющими ударами,

---

*) Есть что-то безконечно возмутительное въ постоянномъ противупоставленіи русскаго дворянства польской *шляхтѣ*, точно оно въ самомъ дѣлѣ было демократичнѣе ея. Не тѣмъ ли, что соединяло въ себѣ все *хлопское* передъ царемъ, со всѣмъ *шляхетнымъ* относительно хлопа? Да и давно ли же отняли изъ безчеловѣчныхъ рукъ помѣщиковъ-сѣкарей русскихъ крестьянъ? Ложь и постоянная ложь! Мало что намъ выдумали цѣлую хлестаковскую исторію петровскаго періода, намъ выдумываютъ настоящее, и наговорятъ до того, что кто нибудь и повѣритъ.

вмѣстѣ съ одинакой кровью въ нашихъ жилахъ, до того тѣсно сростила насъ, что мы, любя и жалѣя его за его несчастное прошедшее, за бѣдственное настоящее, мало по малу уловили нѣсколько чертъ его *будущаго*, и этому *будущему* посвятили нашу жизнь, такъ какъ Альфіери посвятилъ свои трагедіи — Al popolo italiano libero futuro?...

Но оставимъ это до другаго раза. Не мѣсто въ этой статьѣ внутреннему голосу, въ ней его примутъ за оправданіе, а намъ не передъ кѣмъ оправдываться. На злые нападки, на узкія обвиненія нельзя отвѣчать исповѣдью, тутъ надобно парировать удары противника, а не открывать ему свою грудь.

...А ДѢЛО ИДЕТЪ СВОИМЪ ЧЕРЕДОМЪ.

> The emperor of Russia is himself at this moment the first revolutionist in Europe... It is a popular insurrection against property, and the emperor is at the head of it...
>
> Лордъ Элленборо (Рѣчь 24 Іюля 1863).

Въ этомъ-то и состоитъ вся непреодолимая сила *дѣла*, вся нѣкогда умилявшая чувствительныхъ естествоиспытателей *упорная экономія* и настойчивость природы. Весь секретъ ея состоитъ въ томъ, что если дѣло хорошо заквашено—то вертись какъ хочешь, оно пойдетъ своимъ чередомъ, ему все на пользу, какъ иному обжорливому ребенку, ѣстъ себѣ всякую всячину, животъ болитъ, а самъ ростетъ.

Много разъ ставили мы вопросъ — кому служатъ всѣ ужасы, дѣлаемые въ западныхъ губерніяхъ, кому они идутъ въ прокъ, въ *чью* игру играютъ? И намекали на *суженаго, котораго конемъ не объѣдешь* (Колок. л. 165), на наши слова мало обращали вниманія. Но вотъ наконецъ явился лоръ Элленборо, который съ британской откровенностью, въ полномъ парламентѣ, да еще въ высшемъ, сказалъ въ *чью* и назвалъ суженаго. — „Россійскій императоръ первый революціонеръ въ Европѣ, онъ становится во главѣ освобожденныхъ крестьянъ противъ ихъ прежнихъ господъ, противъ землевладѣльцевъ, противъ собственности."

Мы воображаемъ, какіе глаза Юноны сдѣлаетъ Александръ Николаевичъ, прочитавши эти слова лорда Элленборо.—„Михаилъ Николаевичъ—будетъ онъ телеграфить Муравьеву2—помилуйте, я забылъ вамъ старые грѣшки, неплоченые прогоны, отложенныя деньжонки, противодѣйствіе освобожденію крестьянъ и послалъ васъ царскимъ бульдогомъ православія, народности и самодержавія, послалъ на усмиреніе мятежа, тапежа, революціи и конституціи, а вы, забывъ генералъ аншефское званіе и вензель на эполетахъ, пошли въ Прудоны, въ Кабэ... Обо мнѣ въ лондонскомъ дворянскомъ собраніи какой-то уѣздный предводитель открыто сказалъ... страшно вымолвить, того и гляди, что отецъ и благодѣтель забудетъ, что

онъ исключенъ за смертію изъ списковъ, встанетъ въ ботфортахъ, какъ... открыто сказалъ, что *Мы первый революціонеръ въ Европѣ*— мы, сказавшіе, что мы первый дворянинъ московскій? Съ нами Богъ—и да расточатся поляцы!"

Какъ будетъ отвѣчать бульдогъ православія, обтерши кровь съ губъ, мы не знаемъ, а знаемъ то, что мѣсяцъ тому назадъ мы сказали, что самъ царь, когда хочетъ возбудить русскій народъ съ какой бы своекорыстной цѣлью ни было, сейчасъ ударится въ Пугачевы. Еслибъ Александръ Николаевичъ читалъ „Колоколъ" какъ прежде, его Элленборо не удивилъ бы и непришлось бы ему краснѣть.

Тамъ онъ могъ бы прочесть еще два, три назидательныя мѣста и между прочимъ узналъ бы нашу философію *дѣла, идущаго своимъ чередомъ*, и зародыша, развивающагося путемъ *безумнымъ*, когда ему нѣтъ разумнаго выхода.

Какимъ хочешь будь *самодержцемъ*, все же будешь поплавкомъ на водѣ, который дѣйствительно остается на верху и будто завѣдуетъ ею, а въ сущности носится водой и съ ея уровнемъ подымается и опускается. Человѣкъ очень силенъ, человѣкъ, поставленный на царское мѣсто, еще сильнѣе, но тутъ опять старая штука, силенъ-то онъ только *съ теченьемъ* и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ онъ его больше понимаетъ, но теченье продолжается и тогда, когда онъ его не понимаетъ и даже если противится ему; запруженный потокъ обходитъ плотину, низвергается порогами, вертится круговоротами, увлекаетъ въ омуты, бросаетъ на отмели.

...Что можетъ быть противоположнѣе усмиренію возстанія, какъ революція? А Элленборо совершенно правъ, муравьевское усмиреніе политически-національнаго возстанія—аграрная коммунистическая революція, пугачевщина, организованная самимъ правительствомъ.

Что правительство русское хватилось за это средство, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, сколько разъ толковали мы, что петровская имперія—диктатура, не имѣющая никакихъ нравственныхъ началъ, ничего завѣтнаго, что она изъ мономаховой шапки можетъ сдѣлать все—отъ дурацкой прусской каски до фригійской шапки, ея цѣль *власть и династія*. Императоръ Спартакъ насъ также мало удивляетъ, какъ гайдамачущая императрица. Важный вопросъ не въ этомъ, а вотъ въ чемъ, почему мѣры, именно эти, мѣры экспропріаціи шляхты и землевладѣльцевъ, отдачи земель крестьянамъ, первыя представились правительству *естественными, необходимыми и возможными?*

Объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующей статьѣ. А теперь прибавимъ еще одинъ вопросъ.

Почему съ своей стороны центральный комитетъ польскій съ самаго начала поставилъ общей основой уступку земли крестьянамъ и выкупъ ея правительствомъ. Почему при началѣ возстанія въ Литвѣ земля провозглашена принадлежностью крестьянъ?

Колоколъ № 169.
15 Августа 1863 года.

ВЫВОДЪ ИЗЪ ВЛАДѢНІЯ.

Конфискація дѣло не новое, и тутъ мудрено отличиться даже Муравьеву. Когда убійство возводится въ добродѣтель, а казнь противника въ любовь къ отечеству—чему же дивиться, что право собственности такъ-же улетучивается, какъ право на жизнь. Конфискація относится къ грабежу такъ, какъ оптовая торговля къ мелкой, и доказываетъ только, что правительства въ сущности никогда серьезно не принимали за право — право собственности. Что оно очень условно и вовсе не состоитъ въ правѣ d'user et d'abuser, въ этомъ конечно не мы будемъ спорить; но конфискація гнуснѣе всякой экспропріаціи тѣмъ, что она заключаетъ въ себѣ *не мѣру*, вызванную необходимостью, безличную, а наказаніе, месть. Тутъ вся безконечная разница рекрутскаго набора вообще и рекрутскаго набора по выбору полиціи, какъ это было въ Варшавѣ. Одно просто несчастіе, другое несчастіе и обида.

Новое въ споліаціи польскаго дворянства состоитъ не въ отобраніи ихъ имѣній подъ безсмысленными предлогами*), не *въ выводѣ ихъ изъ владѣнія*, а *въ вводѣ во владѣніе ихъ имуществомъ крестьянъ*.

Планъ правительства очевиденъ, оно хочетъ, per fas et nefas, вытѣснить изъ западнаго края польское населеніе и привязать къ Россіи населеніе православное, руссинское — узами болѣе крѣпкими, чѣмъ статьи М. П. Погодина и филологическія изслѣдованія великороссійскихъ патріотовъ.

Рѣшиться на азіатскую мѣру всеобщаго изгнанія, насильственнаго переселенія не хватило духу; это было бы свирѣпо, несправедливо,но сильно. Низкое средство обвиненій частныхъ, основанныхъ на доносахъ, т. е. растлѣній крестьянъ. показалось ему пріятнѣе. Не надобно думать, чтобъ петербургское правительство вообще церемонилось употреблять такія *радикальныя* средства; считая себя по восточному понятію собственникомъ земли и населенія, оно никогда не останавливалось ни передъ чѣмъ и не стѣсняясь брало мѣры, которыя берутъ хозяева со стадами. Въ Псковѣ голодъ, въ Тобольскѣ хлѣбъ уродился хорошо; Николай приказываетъ гуртомъ столько-то тысячъ семействъ — гнать изъ Пскова въ Тобольскъ. Въ западныхъ провинціяхъ задача была мудренѣе. Въ Псковской губерніи дѣло шло о мужикахъ... баталіонъ солдатъ. нѣсколько казаковъ въ должности пастушескихъ собакъ, возъ розогъ, и съ богомъ въ дальнюю дорогу. Въ западныхъ провинціяхъ — дворяне, шляхта, ксендзы, горожане, и все

*) „Кельнская Газета" напр. разсказываетъ о конфискаціи имѣнія, принадлежавшаго фамиліи *Комаръ*, за то, что одинъ изъ ихъ фамиліи, какой то молодой человѣкъ 16 лѣтъ, былъ взятъ въ числѣ повстанцевъ.

это не молча страдаетъ отъ голода, а громко требуетъ воли и отчизны. Ограбить ихъ просто какъ-то неловко, тутъ и дворянская грамота и грамота, которую они знаютъ,—гласность, шумъ. Что же дѣлать?.. А духи-то подземные шепчутъ, какъ въ Фаустѣ: „Отдай неправое стяжаніе крестьянамъ, отдай землю крестьянамъ, ты видишь, и начальный комитетъ польскій и наши *заграничные* рефюжье и рефюжье, оставшіеся въ границахъ, только и бредятъ о томъ, чтобъ землю отдать крестьянамъ... Отдай самъ!"

И вотъ Гретхенъ-Муравьевъ спрашиваетъ ihr Fläschchen (mit Tinte) Nachbarin и пишетъ:

„Во время настоящаго мятежа, въ числѣ лицъ разныхъ сословій, принявшихъ участіе въ ономъ, находится значительное число мелкой шляхты, а также однодворцевъ, имѣющихъ притязаніе на свое нѣкогда шляхетское происхожденіе. Лица эти, состоя большею частію поселенными на земляхъ, принадлежащихъ обществамъ крестьянъ, какъ казенныхъ, такъ и временно-обязанныхъ, оставляютъ свои жилища и хозяйство и присоединяются къ мятежникамъ, или, оставаясь на мѣстѣ своего жительства, содѣйствуютъ мятежническимъ шайкамъ, снабжая оныя различными припасами, скрывая отъ военныхъ командъ ихъ мѣстопребываніе и давая въ своихъ жилищахъ пристанище злоумышленникамъ. Почитая справедливымъ лишить такія *лица права пользованія тѣми выгодами и удобствами*, какія представляются вѣрному своему долгу и присягѣ крестьянскому сословію, среди котораго они поселены, я предлагаю вашему превосходительству сдѣлать распоряженіе, чтобы земляные участки съ усадьбами, на которыхъ водворены однодворцы, шляхта и другіе разночинцы, были немедленно отобраны отъ тѣхъ лицъ, которыя присоединились къ мятежнымъ шайкамъ, или оказываютъ содѣйствіе онымъ, и таковые участки вмѣстѣ съ находящимся на оныхъ хозяйствомъ передать въ распоряженіе казенныхъ или временно обязанныхъ крестьянскихъ обществъ, въ составѣ которыхъ оные находятся, съ тѣмъ: 1) чтобы общества предоставляли такіе участки въ пользованіе крестьянамъ—огородникамъ и бобылямъ или кутникамъ, которые не имѣютъ полевыхъ надѣловъ; 2) чтобы участки эти отдаваемы были обществами тѣмъ изъ крестьянъ, которые отличаются порядочною жизнію и преимущественно оказавшимъ особыя услуги по содѣйствію своему къ преслѣдованію и уничтоженію мятежниковъ; и 3) чтобы вводъ во владѣніе этими участками былъ производимъ не иначе, какъ по мірскому приговору. Затѣмъ, прошу ваше превосходительство приказать прочитать во всѣхъ крестьянскихъ обществахъ, на полномъ сходѣ, настоящее мое предписаніе, объявить, что, будучи увѣренъ въ преданности этихъ обществъ государю и правительству, я поручаю ихъ заботливости, чтобы они не допускали со стороны крамольной шляхты вѣроломныхъ поступковъ и удерживали какъ шляхту и однодворцевъ, такъ и прочихъ разночинцевъ и дворовую челядь, живущую на землѣ, принадлежащей обществу, а также офиціалистовъ и помѣщичью прислугу отъ участія въ

мятежѣ и содѣйствія оному; всѣхъ же, кто окажется виновнымъ, или будетъ заподозрѣнъ въ сношеніи съ мятежниками, задерживали, безъ различія званія и состоянія, и передавали ближайшимъ военнымъ командамъ, и еслибы по какому либо случаю нашелся между крестьянами такой, который, измѣнивъ вѣрноподданническому долгу, отлучился съ мѣста жительства для присоединенія къ шайкамъ мятежниковъ, или былъ уличенъ въ содѣйствіи онымъ, то съ участкомъ и хозяйствомъ и такого крестьянина общество обязано поступить по приведенному выше указанію"*).

(11/23 Іюня 1863)

Попавъ на эту похвальную дорогу, Муравьевъ и пошелъ, и пошелъ. „Эту землю ты на аренду взялъ?.. на столько-то лѣтъ, есть условіе, платишь какъ надобно? Хорошо, а гимнъ пѣлъ? Вотъ тебѣ твое условіе, вотъ тебѣ твоя аренда. А вы чего зѣваете, въ надѣлъ его аренду."

Во всемъ этомъ нельзя не замѣтить наивность, достойную просвѣщенныхъ временъ и политической экономіи персидскаго Кира и библейскаго Нимврода. Признаніе права собственности *наградой за порядочное поведеніе!* царской милостью — что скажете? Кого люблю, того дарю!

Далеко шелъ Гракхъ Бабефъ, но Западомъ и администраціей ни онъ, ни Конвентъ 1794 г., ни коммунисты не могли подняться до того, до чего естественно дошелъ нашъ татарскій Гракхъ; вотъ что значитъ черпать премудрость изъ прямыхъ источниковъ Востока.

...Если правительство въ самомъ дѣлѣ распространитъ эти спартаковскія мѣры во всей Россіи и найдетъ такихъ рьяныхъ исполнителей, то пожалуй людямъ, проповѣдывавшимъ права крестьянъ на землю и землю государственной почвой, никому собственно не принадлежащей, придется тоже строчить адрессъ Александру Николаевичу и благодарить его за то, что онъ державными руками (хотя и надѣвъ Муравьева рукавицами) изволилъ взять на себя все скорбное, насильственное, противное будущаго *земскаго переворота.*

---

*) Мы взяли этотъ образчикъ какъ одинъ изъ самыхъ характеристичныхъ, хотя и сознаемся, что Муравьевскіе приказы, предложенія, распоряженія по этой части слѣдовало бы перепечатать подъ заглавіемъ *Энхиридіонъ Споліаціи* — это образцовый кодексъ отобранія собственности у цѣлаго сословія по мелочи. Если будущій Пугачевъ предпочтетъ такія воровскія и нечистыя средства — *откровенному объясненію*, то ему стоитъ только муравьевскія распоряженія перевести на свой языкъ, и ни одинъ русскій помѣщикъ не ускользнетъ и ни одинъ больше рубашки, да развѣ трубки, съ собой не унесетъ.

Колоколъ № 170.
1 Сентября 1863 года.

ВЪ ЭТАПЪ.

Насъ лягаютъ... по слабости и формѣ копытъ не трудно догадаться, что за звѣри торопятся не отстать отъ жандармскхъ одношерстыхъ лошадей и отъ водовозныхъ патріотическихъ клячъ, откровенно убѣжденныхъ, что міръ перестанетъ ѣсть овесъ и утратитъ всѣ добродѣтели конюшни, если снять отечественную дугу Ихъ усердіе, предпріимчивость и безцеремонность ясно доказываютъ, что мы *въ немилости* не только у зимняго дворца, но и у большинства читающей Россіи.

Мы привыкли къ опалѣ, мы всегда были въ меньшинствѣ, иначе мы и не были бы въ Лондонѣ, но до сихъ поръ насъ гнала власть, теперь къ ней присоединился хоръ.

Союзъ противъ насъ полицейскихъ съ доктринерами, филозападовъ съ славянофилами, своего рода отрицательное признаніе нашего „нравственнаго гражданства" въ Россіи. За настоящимъ квартальнымъ и поддѣльнымъ зипуномъ поплелось отъ насъ все слабое, шаткое, ни то ни се — нищіе духомъ, разслабленные тѣломъ, приживалки литературныхъ круговъ. Лазари, питающіеся крупицами съ доктринерскаго стола—перешли на другую сторону и туда перенесли оптическій обманъ своего существованія. Они представляютъ ложную силу, думаешь, будто это мышцы, а на дѣлѣ опухоль, во время борьбы это опасно, а потому они хорошо сдѣлали, что ушли. Мы признаемся откровенно, что рѣшительно не боимся ни оставаться въ меньшинствѣ, ни даже совсѣмъ въ пустой комнатѣ.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ мы были въ такомъ же положеніи передъ европейской реакціей, мы не уступили ей ни на іоту, и только высказавши всю свою мысль отошли въ сторону, сохраняя сознаніе, что *правда* съ нашей стороны*).

Въ настоящемъ случаѣ мы не отойдемъ и не замолчимъ, въ русскомъ дѣлѣ намъ недостаточно сознанія своей правоты, мы хотимъ участья въ немъ. Оно развивается уродливо, безумно, преступно — *но идетъ своимъ чередомъ.*

Западный міръ былъ намъ чужой не потому, что онъ за Тауроге́номъ и Вержболовымъ, а по другому. Мы не признаемъ ни генеральнаго, ни спеціальнаго межеванья въ общечеловѣческихъ дѣлахъ; у насъ, какъ у Ноздрева, по эту сторону границы и по ту — все наше. Люди имѣютъ полное право мѣшаться во все и особенно въ то, что дѣлается около нихъ. Философію собакъ, которую недавно намъ проповѣдывалъ одинъ великорусскій журналъ, мы отвергаемъ, какъ отвергаемъ пошлую non-intervention дипломатовъ; можетъ съ борзой или гончей точки зрѣнія не слѣ-

*) 179 стр. „Съ того берега".

дуетъ приставать „чужой собакѣ, когда свои дерутся“, но съ антропологической не такъ, и Донъ-Кихотъ, мѣшающійся не въ свои дѣла, въ тысячу разъ больше человѣкъ, чѣмъ какой нибудь лавочникъ, которому ни до чего нѣтъ дѣла, кромѣ до чужихъ денегъ. Королева Елизавета, вызвавшая своего посла изъ Франціи послѣ варѳоломеевской ночи, и пивовары Берклея и Перкинса, выдравшіе усъ Гейнау, безъ сомнѣнія играли лучшую роль, чѣмъ министры королевы Викторіи, которые пьютъ портеръ Берклея съ Бруновымъ въ то время, какъ гнусный царскій сатрапъ изводитъ поляковъ. Называя Европу чужой, мы вовсе не думали о разноплеменности, разноплеменность снята единствомъ образованія.

Чужимъ западный міръ былъ для насъ (и для многихъ своихъ), такъ какъ ветхозавѣтная Іудея была *чужой* для христіанъ. Давно сложившійся юдаическій міръ, успокоенный въ своемъ консерватизмѣ, осѣлся въ своихъ предѣлахъ и привыкъ къ нимъ; безъ тоски по лучшему, безъ угрызенія совѣсти, онъ свелъ жизнь на обрядъ, на ритуалъ, выработалъ форму для всѣхъ мелочей и для всѣхъ подробностей. Такой міръ былъ *чуждъ* протесту жизни, задыхавшейся въ немъ, и подавлялъ силой стремленіе вырваться изъ коченѣющей среды. Точно такъ и западный міръ своимъ *Назареямъ* противупоставляетъ законченный организмъ установившихся отношеній, недопускающихъ сомнѣнія въ своихъ основахъ. Захватывая человѣка съ самаго рожденія въ свою сложно сплетенную паутину, онъ увлекаетъ его съ безпощадностью рока, не позволяя ему ни одного движенія *не по формѣ*, ни одного вопроса, ни одного сомнѣнія далѣе извѣстныхъ границъ, уродуя его мысль лжеаксіомами, съуживая его горизонтъ заборами, отнимая у него всякій досугъ и сталкивая его въ омутъ мелочей, называемый по преимуществу *практической* сферой.

Выбьется западный человѣкъ или нѣтъ на волю, мы не знаемъ. Процессъ длится и далеко не конченъ. Во всякомъ случаѣ задача его трудна; нитки крѣпки, узлы спутаны и все не только взошло въ тѣло, но вросло въ него.

Мы вовсе не въ этомъ положеніи; окончательнаго склада наша жизнь не приняла. Въ ея шаткости, въ ея противорѣчіяхъ бездна дурнаго, но не объ этомъ рѣчь. Рѣчь о томъ, что мы не вступили въ *консервативную эпоху* нашего существованія, что у насъ консерватизмъ — или полицейское сопротивленіе, или доктринерское подражаніе Западу; въ обоихъ случаяхъ не вызванная необходимостью помѣха.

Бытовое существованіе народа едва теперь приходитъ къ сознанію и слову; полное силъ и указаній, самобытности и способностей—оно бѣдно развитіемъ. Другая жизнь, больше обозначенная, представляетъ у насъ западную цивилизацію, переложенную на наши нравы. Народному характеру русскому не всѣ стороны западной жизни соотвѣтствуютъ, это онъ доказалъ страдательнымъ non possumus внизу и путаницей понятій на верху.

Въ западной жизни выработались нравственныя понятія совершенно независимыя отъ всякаго географическаго опредѣленія; это рядъ истинъ, которыя, однажды будучи открытыми, принадлежатъ всѣмъ, становятся вѣчнымъ достояніемъ, присущимъ извѣстному развитію, т. е. извѣстному возрасту мозга. Но бытъ Запада не на нихъ основанъ, онъ *своимъ бытомъ до нихъ дошелъ* и онѣ оказались въ явномъ противурѣчіи съ нимъ.

По мѣрѣ усвоенія ихъ, начинается рядъ столкновеній съ ними преданій, привычекъ, сословныхъ интересовъ и монополій — разрѣшающихся рядомъ сочетаній, уступокъ, компромиссовъ. Эти компромиссы, по большей части постепенно сложившіеся съ случайными перевѣсами и искаженіями той или другой стороны, по большей части едва прикрываютъ страшныя противурѣчія существующаго и логики, и едва держатся на матеріальныхъ выгодахъ и на неразвитости массъ. И ихъ-то хотѣло сначала правительство втѣснить намъ подъ предлогомъ порядка и образованія, а теперь втѣсняютъ умники подъ предлогомъ, что западный государственный и общественный бытъ—единая спасающая церковь цивилизаціи.

Они не заботятся даже о томъ, что если и у насъ должны быть компромиссы, то они должны идти отъ *другаго быта* и отъ другихъ столкновеній.

Неопредѣленность и безпорядокъ русской жизни, доводящій ее до безобразныхъ крайностей и противурѣчій, до безпокойнаго отыскиванія началъ и безсмысленнаго хватанья за все на свѣтѣ— съ одной стороны; элементарная прочность, выносливость народнаго быта, безучастность его къ экспериментальнымъ реформамъ и улучшеніямъ — съ другой — доказываетъ ясно, что жизнь наша не приняла окончательнаго склада, не натолкнулась на формы, ей соотвѣтствующія, не развила ихъ изъ своего быта, не можетъ найтись въ чужихъ домахъ, не можетъ осѣсться и живетъ на кочевьи.

Первый разъ, когда на своей закраинѣ встрѣтились двѣ жизни, двѣ Россіи, первый разъ когда вопросъ, ихъ занимавшій, разрѣшился не кнутомъ —онъ разрѣшился *не по западному*. По западному даже *поставить* этого вопроса нельзя. Съ того дня, въ который правительство косвенно признало право крестьянъ на землю, въ который литература принялась обсуживать, съ землей или безъ земли слѣдуетъ освобождать крестьянъ, и если съ землей, то какъ ею владѣть, общинно или лично, начался первый серьезный компромиссъ между русскимъ народнымъ бытомъ и идеаломъ западной цивилизаціи. Вотъ почему молчавшій вѣка крестьянинъ заговорилъ и заговорилъ дѣло.

Теперь послѣ этого перваго, можетъ самаго труднаго шага, теперь намъ надобна ширь сличеній, воля мысли, открытыя во всѣ стороны заставы, пуще всего снятыя стропилы, отброшенныя модели, которыхъ оригиналы оказались негодными на Западѣ. И теперь, въ это самое время нашлись „измѣнники", проповѣдующіе западно-восточный консерватизмъ петербургскихъ балагановъ.

То, чего не сдѣлала цивилизующая имперія, собираются сдѣлать доктринующіе цивилизаторы.

Веревки, которыми насъ опутало правительство, легко порвать; это дѣло мышцъ, *а не совѣсти* — какъ на Западѣ. Литературные Мураньевы хотятъ затянуть петли, да еще увѣрить насъ, что все это для нашего блага, они хотятъ не только подавить властью, но и развратить убѣжденіемъ. Они теперь, въ эпоху, въ которую намъ надобно разбить нашъ планъ, поставить вѣхи — хотятъ съузить нашу мысль, стыдятъ ее варварской необузданностью, ея неустановившейся многосторонностью, хотятъ привить намъ консервативное старчество Европы и прививаютъ только ея застарѣлыя болѣзни; а то что восполняетъ тупую покорность закону, оторопѣлую неразвязность мысли въ Англіи, то что восполняетъ въ романской Европѣ, ея давно утраченную молодость, то что сгладилось отъ долгаго трѣнія, этого они не могутъ захватить; ни таможня, ни цензура не пропускаютъ, да врядъ и хотятъ-ли. Они сами легко умѣютъ обходиться безъ свободныхъ учрежденій, безъ свободы книгопечатанія и поздравляютъ себя съ побѣдой надъ *революціей* 1862 года въ Петербургѣ, о которой никто изъ насъ не слыхалъ.

Эту лишнюю, скучную страницу нашего учебника надобно выдрать. Довольно муштровали насъ въ петровскую эпоху, и нѣтъ необходимости, уничтожая тѣлесныя наказанія, вводить духовныя.

Мы съ своей стороны на сколько есть силъ, (много-ли ихъ все равно, подаютъ-же воинственные адрессы деревеньки въ два дома и киргизскія кибитки) будемъ мѣшать мандаринамъ-паукамъ заплетать насъ въ эту паутину, будемъ противудѣйствовать этому второму и ненужному вторженію нѣмцевъ. А что они насъ будутъ осаживать задомъ жандармскихъ лошадей, при одобрительномъ ржаніи и братской помощи ихъ единоутробныхъ подражателей, это насъ не остановитъ. Жаль только, что они передъ ляганьемъ не обтираютъ копыть, грязи уже очень много; a la guerre comme à la guerre.

POST SCRIPTUM.

Нельзя дальше идти не бросивъ взгляда на путь пройденный отъ послѣдняго этапа.

Пока мы плелись, прокладывая скромную дорогу нашему русскому станку, шли и событія — и дошли до какого-то поворота; тѣни явнымъ образомъ прокладываются въ другую сторону.

Десять лѣтъ тому назадъ Россія молчала и передъ нами стоялъ одинъ врагъ — правительство. Оно не имѣло защитниковъ въ литературѣ и яростныхъ партизановъ въ обществѣ. Литература молчала объ немъ, общество боялось его. Литература, за исключеніемъ всѣми презираемыхъ органовъ полиціи, была оппозиціонная. Общество не было оппозиціонно — равнодушное и сонное, оно не имѣло мнѣнія, оно *жуировало*, подъ кровомъ самодержавія.

Потомъ общество раздѣлилось; одна часть возненавидѣла пра-

вительство за освобожденіе крестьянъ, другая полюбила за него. Вся литература стала въ этомъ вопросѣ за правительство, а съ легкой руки этого вопроса, стало за него и въ нѣкоторыхъ другихъ. Литераторы въ первый разъ увидѣли возможность и удовольствіе оставаться при всѣхъ выгодахъ либерализма, безъ всѣхъ невыгодъ оппозиціи. Такимъ образомъ исподволь началась система *надеждъ и упованій* со стороны литературы и система *хорошаго по немножку (постепенности съ хроническимъ задержаніемъ прогресса)* со стороны правительства. Россія жила въ какомъ-то оптическомъ обманѣ: правительство ничего не уступало, литература и доля общества были увѣрены, что они берутъ все. Правительство даже тѣ мелочи, которыя допускало, не узаконивало и могло всегда взять назадъ. Литература, имѣя анонимную гласность и временно-смягченную цензуру, вообразила себѣ, что мы наканунѣ радикальнаго переворота, что конституція дописывается или уже переписывается, что свобода книгопечатанія est garantie, что недостаетъ нѣкоторыхъ формальностей, а главное дѣло сдѣлано. Увѣровавшіе журналы приняли тотчасъ чрезвычайно европейскій характеръ — нѣсколько консервативный, но далеко впрочемъ отъ прогресса—они заговорили о политическихъ партіяхъ, объ оппозиціонныхъ листахъ, о демократическихъ, федеральныхъ, соціальныхъ — забывая, что у насъ много полиціи и мало правъ, что цензура въ *самомъ дѣлѣ*, а судъ *только по формѣ*, и облегчая такимъ образомъ значительно работу третьяго отдѣленія.

Журналистика и правительство въ этотъ медовой мѣсяцъ казеннаго либерализма были въ отношеніяхъ делекатнѣйшей учтивости. Журналы показывали величайшее довѣріе къ реформирующему начальству, правительство толковало о горести, что оно не можетъ такъ скоро улучшить и исправить всѣ учрежденія, какъ ему хочется, толковало о своей любви къ гласности и ненависти къ откупу.

Они были похожи на двухъ благородныхъ людей, спорившихъ другъ съ другомъ въ вѣжливости—одинъ, требуя долгъ, говорилъ, что онъ вполнѣ чувствуетъ, какъ должнику его пріятно заплатить; другой отсрочивалъ, увѣряя, что онъ дѣлаетъ жертву, отдаляя наслажденіе уплаты.

Это надоѣло и не безъ причины, особенно правительству. Въ какую щель ни пропусти свѣтъ, онъ освѣтитъ что-нибудь нескромное, въ какой искаженной формѣ ни давай волю слова, она доведетъ до дѣлъ. Правительство хмурилось, ждало какихъ-нибудь безпорядковъ, чтобъ имѣть предлогъ: безпорядковъ не было, пришлось взять мѣры рѣшительныя. Выдумали матрикулы и Путятина, набили биткомъ петропавловскую крѣпость студентами, набили самихъ студентовъ на тверской площади въ Москвѣ, но дѣло не удалось. Возникавшее общественное мнѣніе не было въ пользу драгонадъ, журналистика, еще державшаяся въ границахъ стыда, не заявила ни любви къ матрикуламъ, ни нѣжности къ Путятину, ни одобренія къ уличнымъ сраженіямъ съ безоружными, барышни

не хотѣли танцовать съ преображенскими побѣдителями. Драгонады не удались; правительство, чтобъ скрыть ошибку, вытолкало Путятина и Игнатьева. *Революція* въ Петербургѣ (Московскія Вѣдомости) продолжалась, терроръ продолжался, правительство не знало что выдумать, какія новыя матрикулы... по счастью пожаръ выручилъ. Не даромъ народъ русскій любитъ поджогъ.

Москва въ 1812 пожаромъ освободила страну отъ иноплеменнаго ига, Петербургъ черезъ пятдесятъ лѣтъ тѣмъ-же средствомъ освободилъ императорскую власть отъ ига либерализма и многихъ публицистовъ отъ насилія притворяться благородными людьми.

Революція, терроръ, были побѣждены. Туча, нависнувшая надъ головами, прошла, плита лежавшая на груди превратилась въ Станислава 1-ой степени.... Испуганное общественное мнѣніе жалось къ правительству, журналистика была за него. Въ это время показываются первые опыты доносовъ въ печати, первыя требованія *энергическихъ* мѣръ, т. е. казней. Правительство, видя это настроеніе, воспользовалось имъ.

Что сказалъ-бы нашъ незабвенный Чичиковъ, еслибъ онъ увидѣлъ, какъ на развалинахъ мнимыхъ баррикадъ и на пеплѣ толкучаго рынка, Головнинъ и Валуевъ учредили открытые рынки, на которыхъ покупались „Мертвыя Души“ *литературнаго міра?* Ремонтеры были посланы въ Москву, гдѣ ни одной живой души не было послѣ смерти Грановскаго и слѣдовательно мертвыхъ тьма тьмущая.

Вскорѣ въ нашей журналистикѣ нельзя было никого узнать,

Все измѣнилось подъ нашимъ зодіакомъ.

Какъ перемѣнились наши публицисты.... такъ-ли какъ образа *мѣняются*, или по убѣжденію — знаетъ о томъ Н. Ф. Павловъ, а не мы. Мы знаемъ одно, никогда нельзя было думать прежде, чтобъ Щукинъ дворъ былъ такъ близокъ къ ихъ душѣ; только при утратѣ его можно было оцѣнить, какъ онъ глубоко вросъ въ сердце Нашего Времени, Моск. Вѣдомостей и другихъ Пчелъ и Записокъ.

Съ поджоговъ, лишенныхъ поджигателей, начинается циническая близость полиціи и печати, *открытая связь* правительства съ журналистикой. Государь рука объ руку съ Катковымъ на балѣ московскаго дворянства напоминаетъ прогулку Нерона съ Пиѳагоромъ по улицамъ Рима.

Сконфуженное общество не знало куда повернуться; пожары его настращали, но ихъ не было, правительство лыняло отъ всякаго объясненія по этому дѣлу и начинало пробовать смертныя казни, каторгу за статьи.... снова было начался ропотъ, но тутъ на счастье правительства возстала Польша. Дворянство, отшарахнувшееся отъ престола за освобожденіе крестьянъ, страстно ринулось къ нему при первой вѣсти о порабощеніи Польши и заявило готовность принять въ немъ участіе.

И вотъ передъ нами вмѣсто одного Николая, трое враговъ —

правительство, журналистика и дворянство—Государь, Катковъ и Собакевичъ.

— —

ИЗЪ ЗАВЕДЕНІЯ А. А. КРАЕВСКАГО.

....„Таково.. (каково было поведеніе французскихъ эмигрантовъ первой революціи) свойство всѣхъ выходцевъ, неумѣющихъ дѣйствовать въ трудныя минуты отечества, котораго они не знаютъ и не любятъ, а принимающихъ на себя разныя красивыя позы агитаторовъ *издали, съ того берега*...

„Съ нашими эмигрантами таже исторія. Именно въ то время, когда Россія приготовлялась къ обновленію и наиболѣе нуждалась въ людяхъ талантливыхъ, честныхъ, дѣльныхъ и знающихъ; когда готовилась уже крестьянская реформа, поднявшая народный духъ и оживившая весь организмъ государства; когда мы напрягали всѣ силы, чтобы вступить на путь новой гражданской жизни —эти господа почли за благо *распродать* свои имѣнія съ своими *крѣпостными*, собрать деньги и уѣхать изъ родной земли, чтобы тамъ, на другомъ берегу, спокойно наслаждаться зрѣлищемъ болѣзней, переносимыхъ обновляющейся Россіей, и утѣшать себя тѣмъ, что вотъ они, эмигранты, такъ высоко поставлены натурою и такъ великодушны, что не могутъ перенести русскихъ порядковъ, предоставляя намъ, чернорабочимъ, трудиться на самомъ дѣлѣ: они-же будутъ только издали писать намъ наставленія, похваливать изрѣдка за прилежаніе, или пускать въ насъ каламбурами, если что не по нихъ дѣлается... Гаже этой роли — трудно что нибудь придумать!..."—*(Голосъ № 195)*.

Еслибъ ученый авторъ этихъ достопримѣчательныхъ строкъ спросилъ у своего принципала, онъ увидалъ бы, что очень легко не только придумать, но вспомнить роли гораздо гаже. Андрей Александровичъ Краевскій, занимаясь двадцать пять лѣтъ пристанодержательствомъ въ русской литературѣ, много видѣлъ и много помнитъ.

Дѣйствительно, судьба этого замѣчательнаго содержателя литературныхъ притоновъ сама по себѣ очень интересна и можетъ служить примѣромъ несправедливости и безаппеляціонности нашего суда. Краевскій состоитъ четверть столѣтія въ подозрѣніи *грамотности и образа мыслей*—обнаруженнаго въ рядѣ статей, писанныхъ другими, но подшитыхъ листъ къ листу имъ самимъ. Напрасно люди, принимавшіе участіе въ немъ, оправдывали его, говорили, что грамота грамотѣ рознь, что есть три грамоты, одна читаетъ, одна пишетъ, одна счеты сводитъ, и что Краевскій только дошелъ до первой и отличился въ послѣдней. Мало ли, говорили они, примѣровъ у насъ, читать человѣкъ читаетъ, а писать не пишетъ, другой не пишетъ и не читаетъ — а на счетахъ пощелкиваетъ, словно орѣхи грызетъ. Но противники Краевскаго и тутъ нашлись, они говорятъ, это не доказываетъ, что у него нѣтъ образа мыслей,

онъ не писалъ, но онъ диктовалъ — одному Бѣлинскому томовъ десять продиктовалъ, а Бѣлинской-то, сами знаете, что такое за человѣкъ. Такъ и остался Краевскій въ подозрѣніи имѣнія образа мыслей. Двадцать пять лѣтъ не шутка — кабы мнѣніе его было безпорочное, можно было бы его представить къ пряжкѣ, вмѣсто которой онъ исходатайствовалъ бы у Головнина денежное вознагражденіе. Это впрочемъ одно предположеніе. Безпорочнаго образа мыслей у насъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ онъ не называется *образомъ мыслей.*

Открывая свои притоны приходящимъ—Краевскій не могъ отвѣчать за нравственность и умъ посѣтителей. Радикалы и полицейскіе, натуралисты и богословы, кто не завертывалъ въ горькую минуту къ нему. Дѣло Краевскаго было торговое, теткинское, онъ искалъ сбить цѣну товара, покупалъ иногда гнилой; но прежде у него была сметка, чутье, а съ лѣтами и богатствомъ — все это притупилось. Мы ему совѣтуемъ, по старому знакомству, возбудить свою бдительную осторожность; она можетъ съ успѣхомъ замѣнить благородство.

Статья, изъ которой мы выписали нѣсколько строкъ, направлена противъ кн. П. В. Долгорукова, и онъ въ долгу не остался — но по дорогѣ задѣты и мы.

О правѣ и значеніи эмиграціи, о томъ, полезна или нѣтъ была наша десятилѣтняя дѣятельность, мы съ Краевскимъ и его лаборантами разсуждать не будемъ. Этого дѣла не разрѣшишь въ коммерческомъ судѣ, на это есть инстанціи повыше. Мы возьмемъ предметъ, больше доступный практическому взгляду негоціанта, а именно: *продажу имѣнія съ крѣпостными людьми.* Положимъ, честнѣйшій Андрей Александровичъ, что вашъ фельетонщикъ не знаетъ продавалъ я или нѣтъ *Крещеную Собственность, но вы-то знаете,* что я не продавалъ никогда никакого имѣнія, никакихъ людей; я смѣло говорю, *что вы это знаете.* Не отговаривайтесь тѣмъ, что я не названъ по имени—это только *гаже*—говоря языкомъ вашего фельетонщика; за прямое обвиненіе есть отвѣтственность, а въ прозрачномъ намекѣ всегда остается возможность ее отклонить. „Съ того молъ берега, это не значитъ съ вашего, коли есть цѣпной мостъ, стало есть и у Ш отдѣленія и тотъ и этотъ берегъ“.

И такъ, вы, безсребреннѣйшій Андрей Александровичъ, помѣстили *эту клевету совершенно сознательно,* чтобъ подслужиться Головнину, угодить Валуеву, подладиться Долгорукову и вы воображаете, что поступили разсчетливо. Гдѣ ваше чутье? Великій... *(далѣе цензура не пропустила).*

ЧИСТАЯ ЛОЖЬ.

Не смотря на пошлую нелѣпость, напечатанную сначала въ од-

номъ австрійскомъ журналѣ и перепечатанную въ нѣсколькихъ нѣмецкихъ и даже въ лондонскомъ „Daily Telegraph'ѣ" — я всеже считаю небезполезнымъ заявить, что я никогда ни въ какой перепискѣ съ императоромъ Александромъ не былъ, что ни онъ и вообще никто у меня никакихъ проэктовъ не спрашивалъ и слѣдовательно я не посылалъ. Подобныя новости распространяются русскими агентами съ явной цѣлью поселять недовѣріе къ намъ со стороны польскихъ друзей нашихъ. Съ этой-же цѣлью вѣроятно были посланы на мое имя *три письма* (два изъ Парижа и одно изъ Варшавы). Автора парижскихъ писемъ *мы наконецъ узнали.* Изъ Варшавы ждемъ отвѣта, кажется и варшавское письмо изъ той-же фабрики — мы не преминемъ сообщить ея фирму.

Колоколъ № 171.
1 Октября 1863 года.

МИХАИЛЪ СЕМЕНОВИЧЪ ЩЕПКИНЪ.

Пустѣетъ Москва.... и патріархальное лицо Щепкина исчезло.... а оно было крѣпко вплетено во всѣ воспоминанія нашего московскаго круга. Четверть столѣтія старше насъ, онъ былъ съ нами на короткой, дружеской ногѣ роднаго дяди или старшаго брата. Его всѣ любили безъ ума, дамы и студенты, пожилые люди и дѣвочки. Его появленіе вносило покой, его добродушный упрекъ останавливалъ злые споры, его кроткая улыбка любящаго старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другаго, находить облегчающія причины — была школой гуманности.

И при томъ онъ былъ великій артистъ. Артистъ по призванію и по труду. Оно создалъ *правду* на русской сценѣ, онъ первый сталъ *нетеатраленъ* на театрѣ, его воспроизведенія были безъ малѣйшей фразы, безъ афектаціи, безъ шаржи; лица имъ созданныя были Теньеровскіе, Остадовскіе.

Щепкинъ и Мочаловъ безъ сомнѣнія два лучшихъ артиста изо всѣхъ видѣнныхъ мною въ продолженіи тридцати пяти лѣтъ и на протяженіи всей Европы.*) Оба принадлежатъ къ тѣмъ *намекамъ*

---

*) Въ 1847 я еще успѣлъ видѣть два, три превосходныя созданія Фредерика Леметра, и его я охотно поставилъ-бы въ сторонѣ отъ больше или меньше талантливаго гаерства парижскихъ театровъ; но по мѣрѣ старости и потери настоящихъ силъ, Фредерикъ Леметръ замѣнялъ ихъ преувеличеніемъ и впадалъ въ такое неделикатное ставленіе точекъ на і, что я на него смотрѣлъ какъ на развалину ярко раскрашенную пестрыми красками, въ томъ родѣ какъ наше художественное правительство бывало бѣлитъ и размазываетъ памятники. Въ историческихъ воспроизведеніяхъ и

на сокровенныя силы и возможности русской натуры, которыя дѣлаютъ незыблемой нашу вѣру въ будущность Россіи.

Въ разборъ таланта и сценическаго значенія Щепкина мы не войдемъ; замѣтимъ только, что онъ былъ вовсе не похожъ на Мочалова. Мочаловъ былъ человѣкъ порыва, не приведеннаго въ покорность и строй вдохновенія: средства его не были ему послушны, скорѣе онъ имъ. Мочаловъ не работалъ, онъ зналъ что его иногда посѣщаетъ какой-то духъ, превращавшій его въ Гамлета, Лира или Карла Мора, и поджидалъ его... а духъ не приходилъ и оставался актеръ, дурно знающій роль. Одаренный необыкновенной чуткостію и тонкимъ пониманіемъ всѣхъ оттѣнковъ роли, Щепкинъ напротивъ страшно работалъ и ничего не оставлялъ на произволъ минутнаго вдохновенія. Но роль его не была результатомъ одного изученія. Онъ также мало былъ похожъ на Каратыгина, этого лейбъ-гвардейскаго трагика, далеко не безталаннаго, но у котораго все было до того заучено, выштудировано и приведено въ строй, что онъ по темпамъ закипалъ страстью, зналъ церемоніальный маршъ отчаянія и. правильно убивши кого надобно — мастерски дѣлалъ на погребеніе. Каратыгинъ удивительно шелъ николаевскому времени и военной столицѣ его. Игра Щепкина, вся отъ доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изученіе роли не стѣсняло ни одного звука, ни одного движенія, а давало имъ твердую опору и твердый грунтъ.

Но вѣроятно о талантѣ Щепкина и о его значеніи будетъ у насъ довольно писано. Мнѣ хочется разсказать мою послѣднюю встрѣчу съ нимъ.

Осенью 1853 г. я получилъ письмо отъ М. К. изъ Парижа, что такого-то числа Щепкинъ ѣдетъ въ Лондонъ черезъ Булонь. Я испугался отъ радости.... въ образѣ свѣтлаго старика выходила молодая жизнь изъ-за гробовъ; весь московскій періодъ... и въ какое время... десять разъ говорилъ я о страшныхъ годахъ между 1850—1855, объ этомъ пятилѣтнемъ безотрадномъ искусѣ въ многолюдной пустынѣ. Я былъ совершенно одинокъ въ толпѣ чужихъ и полузнакомыхъ лицъ.... Русскіе въ это время всего меньше ѣздили за границу и всего больше боялись меня. Горячешный терроръ, продолжавшійся до конца венгерской войны, перешелъ въ равномѣрный гнетъ, передъ которымъ понизилось все въ безвыходномъ и безпомощномъ отчаяніи. И первый русскій, ѣхавшій

въ необыкновенной спѣтости игры — Théatre Français сдѣлалъ много; великихъ артистовъ онъ не развилъ, но развилъ необыкновенно умныхъ артистовъ и превосходную труппу, играющую прескверныя пьесы. Мы преимущественно говоримъ о мущинахъ; женщинами европейская сцена богаче. Несмотря на всѣ нѣмецкіе возгласы русскихъ цѣновщиковъ, Рашель была великая художница; а Франція реставраціи, Франція Беранже, послѣдняя веселая Франція имѣла своимъ живымъ, веселымъ, геніальнымъ представителемъ—Дежазе.

въ Лондонъ, не боявшійся по старому протянуть мнѣ руку, былъ Михаилъ Семеновичъ.

Ждать я не могъ, и утромъ въ день его пріѣзда отправился съ экспресомъ въ Фокстонъ.

— Что-то онъ мнѣ разскажетъ, какія вѣсти привезетъ. какой поклонъ, какія подробности, чьи шутки... рѣчи? *Тогда я* еще такъ многихъ любилъ въ Москвѣ!

Когда пароходъ подошелъ къ берегу, толстая фигура Щепкина въ сѣрой шляпѣ, съ дубиной въ рукахъ, такъ и вырѣзалась; я махнулъ ему платкомъ и бросился внизъ. Полицейскій меня не пускалъ. я оттолкнулъ его и такъ весело посмотрѣлъ, что онъ улыбнулся и кивнулъ головой, а я сбѣжалъ на палубу и бросился на шею старика. Онъ былъ тотъ-же, какъ я его оставилъ, съ тѣмъ же добродушнымъ видомъ, жилетъ и лацконы на пальто такъ-же въ пятнахъ, точно будто сейчасъ шелъ изъ троицкаго трактира къ Сергѣю Тимоѳѣевичу Аксакову. „Экъ куда его принесло, это ты пріѣхалъ эдакую даль встрѣчать!“ — сказалъ онъ мнѣ сквозь слезы.

Мы поѣхали вмѣстѣ въ Лондонъ; я разспрашивалъ его подробности, мелочи о друзьяхъ. мелочи, безъ которыхъ лица перестаютъ быть живыми и остаются въ памяти крупными очерками. профилями. Онъ разсказывалъ вздоръ, мы хохотали со слезами въ голосѣ.

Когда улеглось нервное раздраженіе, я мало по малу замѣтилъ что-то печальное, будто какая-то затаенная мысль мучила честное выраженіе его лица. И дѣйствительно, на другой день мало по малу разговоръ склонился на типографію, и Щепкинъ сталъ мнѣ говорить о тяжеломъ чувствѣ, съ которымъ въ Москвѣ была принята сначала моя эмиграція, потомъ моя брошюра Du Developpement des idées révolutionaires и наконецъ лондонская типографія. „Какая можетъ быть польза отъ вашего печатанія? Однимъ или двумя листами, которые проскользнутъ, вы ничего не сдѣлаете, а Ш-е отдѣленіе будетъ все читать да помѣчать, вы сгубите бездну народа, сгубите вашихъ друзей...“

— Однакожъ, М. С., до сихъ поръ богъ миловалъ, и изъ за меня никто не попался.

— А знаете ли вы, что послѣ вашихъ похвалъ Бѣлинскому, объ немъ запрещено говорить въ печати.

— Какъ обо всемъ остальномъ. Впрочемъ я и тутъ сомнѣваюсь въ моемъ участіи. Вы знаете, какую роль играло знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю въ дѣлѣ Петрашевскаго. Смерть спасла Бѣлинскаго—мертвыхъ я не боялся компрометировать.

— А Кавелинъ-то кажется не мертвый?

— Что же съ нимъ было?

— Да то, что послѣ выхода вашей книги, гдѣ говорится объ статьѣ о родовомъ началѣ и о спорѣ съ Самаринымъ, его призвали къ Ростовцову.

— Ну!

— Да что же вы хотите? Ну ему и сказалъ Ростовцовъ, чтобъ *онъ впередъ былъ осторожнѣе.*

— Михаилъ Семеновичъ, неужели вы уже и это считаете мученичествомъ — пострадать при четверовластникѣ Іаковѣ совѣтомъ быть осторожнѣе?

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ, я видѣлъ ясно, что это *не только* личное мнѣніе Щепкина; еслибъ оно было такъ — въ его словахъ не было бы того императивнаго тона.

Разговоръ этотъ для меня очень замѣчателенъ, въ немъ слышны первые звуки *московскаго консерватизма*, не въ кругѣ кн. Сергія Михайловича Голицына, праздныхъ помѣщиковъ, праздныхъ чиновниковъ, а въ кругѣ образованныхъ людей, литераторовъ, артистовъ, профессоровъ. Я слышалъ въ первый разъ это мнѣніе, выраженное такимъ образомъ; оно меня поразило, хотя я тогда былъ очень далекъ, чтобъ понять, что изъ него впослѣдствіи разовьется то упрямо-консервативное направленіе, которое изъ Москвы сдѣлало въ самомъ дѣлѣ Китай-городъ.

Тогда это еще была *усталь, загнанность*. теперь сознаніе своего безсилія и материнская боязнь за дѣтей. Москва нагло и отважно пьетъ за Муравьева...

— А. И., сказалъ Щепкинъ, вставая и прохаживаясь съ волненіемъ по комнатѣ, вы знаете, какъ я васъ люблю и какъ всѣ наши васъ любятъ... я вотъ на старости лѣтъ, не говоря ни слова по англійски, пріѣхалъ посмотрѣть на васъ въ Лондонъ; я сталъ бы на свои старыя колѣна передъ тобой, сталъ бы просить тебя остановиться, пока есть время.

— Что же вы, Михаилъ Семеновичъ, и ваши друзья хотите отъ меня?

— Я говорю за одного себя, и прямо скажу: по моему, поѣзжай въ Америку, ничего не пиши. дай себя забыть, и тогда года черезъ два. три мы начнемъ работать, чтобъ тебѣ разрѣшили въѣздъ въ Россію.

Мнѣ было безконечно грустно, я старался скрыть боль, которую производили на меня эти слова, жалѣя старика, у котораго были слезы на глазахъ. Онъ продолжалъ развивать заманчивую картину счастья — снова жить подъ умилостивленнымъ скипетромъ Николая, но видя, что я не отвѣчаю, спросилъ: Не такъ ли, А. И.?

— Не такъ, Михаилъ Семеновичъ. Я знаю, что вы меня любите и желаете мнѣ добра. Мнѣ больно васъ огорчить, но обманывать я васъ не могу: пусть говорятъ наши друзья, что хотятъ, *я типографію не закрою*; придетъ время, они иначе взглянутъ на рычагъ. утвержденный мною въ англійской землѣ. Я буду печатать, безпрестанно печатать... Если наши друзья не оцѣнятъ моего дѣла. мнѣ будетъ очень больно, но это меня не остановитъ, оцѣнятъ другіе. молодое поколѣніе, будущее поколѣніе.

— И такъ ни любовь друзей, ни судьба вашихъ дѣтей?

Я взялъ его за руку и сказалъ ему: Михаилъ Семеновичъ. зачѣмъ вы хотите мнѣ испортить праздникъ свиданья—я въ Аме-

рику не поѣду, я въ Россію при этомъ порядкѣ дѣлъ тоже не поѣду, печатать я буду, это единственное средство сдѣлать что нибудь для Россіи, единственное средство поддержать съ ней живую связь; если же то, что я печатаю дурно, скажите друзьямъ, чтобъ они присылали рукописи — не можетъ быть, чтобъ у нихъ не было тоски по вольномъ словѣ.

— Никто ничего не пришлетъ, говорилъ уже раздраженнымъ голосомъ старикъ; мои слова его сильно огорчили, онъ почувствовалъ приливъ въ головѣ и хотѣлъ послать за докторомъ и піявками.

На разговоръ этотъ мы не возвращались. Только передъ отъѣздомъ въ амбаркадерѣ онъ грустно сказалъ, качая головой: „Много, много радости вы у меня отняли вашимъ упрямствомъ.“

— М. С., оставьте каждаго идти своей дорогой, тогда можетъ иной и придетъ куда нибудь.

Онъ уѣхалъ; но неудачное посольство его все еще бродило въ немъ, и онъ, любя сильно, сильно сердился и, выѣзжая изъ Парижа, прислалъ мнѣ грозное письмо. Я прочиталъ его съ той же любовью, съ которой бросился ему на шею въ Фокстонѣ и — *пошелъ своей дорогой.*

Прошло пять лѣтъ послѣ моего свиданья съ Михаиломъ Семеновичемъ и русскій станокъ въ Лондонѣ снова попался ему на дорогѣ. Дирекція московскихъ театровъ задерживала какія-то экономическія деньги, которыя слѣдовали въ награду артистамъ. Тогда было время *рекламаціи* и артисты избрали Щепкина своимъ ходатаемъ въ Петербургѣ. Директоромъ тогда былъ извѣстный Гедеоновъ. Гедеоновъ началъ съ того, что отказалъ на отрѣзъ въ выдачѣ денегъ за прошлое время, говоря, что книги были контролированы и возвращаться на сдѣланныя распоряженія было невозможно.

Разговоръ сталъ крупнѣе со стороны Щепкина и, какъ разумѣется, дерзче со стороны директора.

— Я долженъ буду безпокоить министра, замѣтилъ артистъ.

— Хорошо, что вы сказали, я ему доложу о дѣлѣ, и вамъ будетъ отказъ.

— Въ такомъ случаѣ я подамъ просьбу государю.

— Что вы это — съ такими дрязгами соваться къ его императорскому величеству? Я какъ начальникъ запрещаю вамъ.

— Ваше превосходительство, сказалъ откланиваясь Щепкинъ, деньги эти принадлежатъ, въ этомъ и вы согласны, бѣднымъ артистамъ, они мнѣ поручили ходатайствовать объ ихъ полученіи: вы мнѣ отказали и обѣщаете отказъ министра. Я хочу просить государя, вы мнѣ запрещаете, какъ начальникъ.... мнѣ остается одно средство, я передамъ все дѣло въ „Колоколъ“.

— Вы съ ума сошли, закричалъ Гедеоновъ, вы понимаете ли, что вы говорите, я васъ велю арестовать. Послушайте, я васъ извиняю только тѣмъ, что вы сгоряча это сказали. Изъ эдакихъ

пустяковъ дѣлать кутерму, какъ вамъ не стыдно. Приходите завтра въ контору, я посмотрю.

На другой день сумма была назначена артистамъ, и Щепкинъ уѣхалъ домой.*)

...А какъ-то потухала его жизнь?.. декораціи, актеры и самая пьеса еще разъ измѣнилась... что дѣлалъ старикъ, дожившій съ одной стороны до осуществленія своей вѣчной мечты объ освобожденіи крестьянъ — въ средѣ пресыщеннаго либерализма, патріотизма кровожаднаго по службѣ, въ средѣ доносовъ университетскихъ, литературныхъ, окруженный измѣнниками своей юности, своихъ благороднѣйшихъ стремленій — рукоплескающими возгласами Писемскаго, статьями „Московскихъ Вѣдомостей" и казнями Муравьева?

Колоколъ № 175.
15 Декабря 1863 года.

ВЪ ВѢЧНОСТЬ ГРЯДУЩЕМУ 1863 ГОДУ.

....„Все было готово къ приступу. Генералъ Толь осмотрѣлъ еще разъ передовыя орудія, и остановился; онъ вынулъ часы: время, данное для отвѣта, не прошло. Наступила страшная тишина... у всѣхъ билось сердце, такъ прошло нѣсколько минутъ. Генералъ показалъ стоящимъ возлѣ часы и положилъ ихъ въ карманъ — сигнальная ракета взвилась со свистомъ, лопнула и разсыпалась. Пушки грянули разомъ, — приступъ начался. Черезъ полчаса ничего нельзя было разобрать въ дыму, огнѣ и шумѣ страшнаго боя..."

Такъ разсказывалъ мнѣ когда-то очевидецъ о приступѣ и взятіи Варшавы въ 1831 году.

Мы, Европа, весь міръ — находимся теперь въ томъ самомъ положеніи: генералъ вынулъ часы. Кто этотъ генералъ? — Наполеонъ III, Александръ II, лордъ Россель, кн. Горчаковъ? — Ни одинъ изъ нихъ, всѣ они, да еще кто-то, анонимный. Жаль, что въ нашъ скептическій вѣкъ не вѣрятъ даже въ діавола, часы были бы по праву у него и онъ по крайней мѣрѣ былъ бы отъ души радъ, а теперь всѣ, съ внутреннимъ ужасомъ чуя грозныя послѣдствія, поджидаютъ ракету, которая должна быть сигналомъ общему несчастію всей Европы.

Исторія продолжаетъ развивать свою импровизацію путями безумія крови. Почти всякій разъ все можно предупредить, отвратить, иначе направить; почти всякій разъ ничего не предупреждено, не отвращено. Народы и правительства дивятся, какъ Гоголевъ Селифанъ: „что вѣдь вотъ видѣли, что колесо сломано, да ничего и не сдѣлали."

---

*) Анекдотъ этотъ, тогда же переданный намъ изъ очень прямаго источника, мы не печатали по понятной причинѣ.

Утромъ, когда всѣ спятъ съ закрытыми ставнями, рано проснувшіеся видятъ по зарѣ, что день будетъ бурный; ихъ свидѣтельству не вѣрятъ, небо кажется яснымъ, противъ грозы никто не беретъ мѣръ — а день возвращается къ своей программѣ утра, и когда всего менѣе ждутъ, черная туча шлетъ свою ракету.

Кто ждалъ при тихомъ и невзрачномъ началѣ 1863 г., что онъ насъ поставитъ лицемъ къ лицу передъ столкновеніемъ, которое казалось далекимъ и которое теперь стоитъ грозно и можетъ неотвратимо передъ нами?

Борьба, которую пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ предвидѣлъ Наполеонъ, которой прелюдія разыгралась нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Черномъ морѣ, о которой доктринеры отзывались, пожимая плечами, какъ о пустой мечтѣ — завязалась на стародавней трагической почвѣ, „гдѣ каждая горсть земли — прахъ мученика, мощи.“

Россія является на барьеръ, облитая польской кровью, дикая, свирѣпая, сбитая съ толку, потерявшая всякое различіе между добромъ и зломъ, между своимъ и чужимъ, между любовью и ненавистью. Она идетъ съ прежнимъ знаменемъ военнаго деспотизма, въ той-же ливреѣ чужой цивилизаціи, во имя которой поднимаются на нее западныя державы. Она одна. Кромѣ нѣмца камердинера, который остался вѣренъ русской передней, догадавшись, что онъ существуетъ только силою штыковъ и покровительсвомъ сосѣдняго барина—съ ней нѣтъ никого.

Противъ нея — союзъ непримиримыхъ между собой враговъ. Они долго не подымали перчатки. Старый міръ охотно оставилъ-бы Польшу на усмиреніе; его нервы не испугаешь какимъ нибудь Муравьевымъ, разграбленными домами и невинными жертвами. Что ему до Польши? Но передъ дерзостью русскихъ отвѣтовъ и, главное, передъ ихъ обнародываніемъ, онъ не могъ остаться въ долгу. Хотѣла ли Россія, безъ денегъ, едва оправившись отъ крымской кампаніи, не умѣвшая въ десять мѣсяцевъ покорить возстанія, додразнить Европу до войны,—мы не знаемъ. Вѣроятно нѣтъ; правительство хотѣло скорѣе похвастаться передъ своими, и повторило ошибку, которую сдѣлалъ Николай: онъ тоже разсчитывалъ на то, что Европа не вынетъ меча изъ ноженъ; она бы и не вынула ни изъ за Турціи, ни изъ-за Іерусалимскихъ ключей, но Франція вынула его изъ за того, что онъ не назвалъ *братомъ* Наполеона. Дуэль, по западнымъ понятіямъ, очень рѣдко дѣлается изъ за дѣла, а почти всегда изъ за оскорбленія чести. Point d'honneur Европы задѣтъ русскими нотами. Старые бойцы долго не обижались, долго отходили, отступали, давали всѣ средства Россіи сдѣлать amende honorable, но Петербургъ закусилъ удила, и Европа тяжело и нехотя надѣваетъ на себя доспѣхи, съ надеждой, что на годъ, на полгода борьба отдалена; союзники чуютъ важность борьбы, ихъ мучитъ взаимное недовѣріе, грозныя предчувствія, а можетъ и встревоженная совѣсть.

Между ними Польша представительница юности и доблести ста-

раго міра, послѣдній вѣнокъ живыхъ цвѣтовъ на латинскомъ крестѣ. Польша, не знающая предѣла преданности, отдающая четвертаго сына послѣ трехъ падшихъ, пятаго послѣ четырехъ,—мужественная, неуловимая, исходящая кровью, гибнущая здѣсь и возраждающаяся возлѣ. Въ ней апотеоза Запада, въ ней великая и честная кончина стараго міра. Десять мѣсяцевъ борьбы, горсть людей противъ арміи — какая эпопея представляетъ что нибудь героичнѣе? А это правительство, обругиваемое ежедневно подлой, шпіонской журналистикой въ Россіи, это правительство, скрывающееся въ звѣриныхъ когтяхъ разъяреннаго врага, и управляющее, между его пальцами, страною! Будущія поколѣнія не повѣрятъ этому... Что бы съ Польшей ни было, но это возстаніе, эти десять мѣсяцевъ борьбы ставятъ ее на необыкновенную высоту.... и что-бы ни было съ Россіей, она долго не смоетъ съ себя усердія къ усмиренію и сквернословія своихъ подкупныхъ и даровыхъ клевретовъ.

И есть печальная отрада въ томъ, что Польша въ своемъ преображеніи оставалась одинокой, и приготовляясь къ своей Голгоѳѣ, подымалась на своемъ Ѳаворѣ безъ вѣтхозавѣтныхъ Моисеевъ и Илій западнаго міра.

Для Россіи польское возстаніе было несчастіемъ;*) оно врыва

*) Какой-то г. Питкевичъ напечаталъ sub auspiciis Шедо-Ферроти (Скедо-Ферроти по „Моск. Вѣдом.") письмо къ польскому правительству. Не имѣя передъ глазами самой брошюры, выписываемъ изъ Моск. Вѣдом, мѣсто относящееся до насъ. „Г. Герценъ и Ко (кого онъ считаетъ въ этой компаніи, мы не знаемъ, издатели „Колокола" не составляютъ цѣлую компанію съ г. Герценомъ, ихъ только двое, Герценъ и Огаревъ) увѣряли, что находятся во главѣ обширнаго заговора, обнимающаго цѣлую Россію, и простирали свое фанфаронство до того, что предлагали Польшѣ содѣйствіе какого-то *русскаго революціоннаго комитета*. Г Питкевичъ разсказываетъ, что польскіе патріоты требовали у этихъ господъ доказательствъ ихъ вліянія. Но, продолжаетъ онъ, „вмѣсто всякихъ доказательствъ редакторы „Колокола" могли представить только хвастливыя увѣренія въ своемъ революціонномъ могуществѣ; а потому безъ всякихъ церемоній и не щадя ихъ самолюбія, *они устранили ихъ*, какъ отъявленныхъ вралей". Г. Питкевичъ очень доволенъ, что польскіе патріоты не уронили своего достоинства формальнымъ союзомъ съ врáлями; но, продолжаетъ онъ, „зачѣмъ же польскіе патріоты не были на столько проницательны, чтобы убѣдиться, что не только роль признанныхъ вождей русскаго возстанія, на которую претендовалъ лондонскій тріумвиратъ, но и самые элементы возстанія, которые, по ихъ увѣреніямъ, будто бы существуютъ въ Россіи, чистая выдумка? Гдѣ эти симпатіи студентовъ къ польскому дѣлу, тайныя общества, составленныя русскими офицерами, рѣшеніе будто принятое солдатами не сражаться съ *братьями поляками*, стачка расколь-

лось въ начатое русское дѣло, путало его, усиливало правительство и будило въ народѣ чувства звѣриныя и кровожадныя. Остановить польское движеніе было трудно; русское правательство дѣлало ошибку за ошибкой. Людей готовыхъ на гибель, сознательно идущихъ на нее, вообще останавливать нельзя. Да и что же можно было сказать полякамъ? „Подождите, не чувствуйте боли, не чувствуйте оскорбленій, дайте себѣ связать руки и ноги, дайте лучшихъ изъ васъ отдать въ солдаты, — подождите: мы *еще* не готовы".—И это въ то самое время, когда торжественно праздновалось тысячелѣтіе нашего *ребячества!*

Смиряясь передъ фактомъ, мы говорили польскимъ друзьямъ нашимъ: «Если ваше возстаніе неотвратимо, да совершится судьба его. Помните, что у васъ только *одна* хоругвь можетъ быть общая съ нами; свято и высоко держа ее, вы не встрѣтите противъ себя Руси народной, а будете имѣть дѣло съ Россіей — оффиціальной, перербургской, петровской, карамзинской, погодинской, той, которая держала до нельзя народъ въ крѣпостномъ состояніи, той, которая на кнутахъ и штыкахъ, на казематахъ и

никовъ для ниспроверженія верховной власти? Все это существовало только въ хвастливыхъ столбцахъ „Колокола", редакторы котораго лгали, и лгали завѣдомо, для того только, чтобъ доставить себѣ ребяческое удовольствіе прослыть вождями могущественной революціонной партіи..."

Какъ ни противно намъ касаться до поры до времени нѣкоторыхъ вопросовъ, и какъ ни противно дотрогиваться до этой выписки, удобренной какъ слѣдуетъ самой крѣпкой и жирной *катковиной*, нельзя-же терпѣть такой вредной лжи, такой полной клеветы. Пусть укажутъ хоть одну строку „Колокола", „Полярной Звѣзды" или чего бы то ни было изъ нашихъ изданій, въ которой-бы мы себя выдавали «вождями могущественной революціонной партіи,» въ которой-бы мы говорили, что Россія готова возстать, подстрѣкали поляковъ и пр. Но, печатая одно, мы могли писать и говорить другое. А потому мы просимъ всѣхъ поляковъ и не-поляковъ, бывшихъ въ сношеніяхъ съ нами, привести хоть *одно слово*, сказанное нами въ смыслѣ цитаты. Мы позволяемъ всѣ нескромности, развязываемъ всѣ языки. Само собою разумѣется, что цитируя „Колоколъ", надобенъ № листа, а цитируя человѣка, надобна *его фамилія*.

Повторять по этому поводу наши убѣжденія, которыя мы повторяли сто разъ, мы не станемъ. Печатать документы и притомъ *подписанные*, не время. Но чиновники брошюрнаго департамента насъ обязали бы искренно, сказавши *кто эти* поляки, устранившіе насъ, и устранившіе съ такой ловкостью, что мы по простотѣ сердечной и не замѣтили этого. Не тѣ ли, которые писали подметныя письма съ *поддѣльной* печатью народнаго польскаго правительства?

каторгахъ упрочила сильную державу, основанную на отрицаніи всѣхъ человѣческихъ правъ».

Мы знали, какъ тяжело будетъ полякамъ нести нашу простую хоругвь и всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ желали, чтобъ они нашли силу—не противъ врага, въ этомъ у нихъ недостатка нѣтъ, а противъ собственныхъ предразсудковъ.

ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМЪ, ВОЛЮ ОБЛАСТЯМЪ.

И то и другое, съ западной точки зрѣнія — нелѣпость, и то и другое, съ исторической точки зрѣнія, чуть не предательство!

Западныя воззрѣнія стали намъ чужды; историческаго знамени у насъ нѣтъ; мы его видимъ въ будущемъ, мы не *возвращаемся* къ нему, а *къ нему идемъ*. И это вовсе не фантасмагорія и мечта а ясный простой фактъ.

Мы любимъ русскій народъ и Россію, но не одержимы никакимъ патріотическимъ любострастіемъ, никакимъ бѣшенствомъ руссоманіи; и это не потому, чтобъ мы были стертыми космополитами, а просто потому, что наша любовь къ отечеству не идетъ ни до вымысловъ несуществующаго, ни до той стадной солидарности, которая оправдываетъ злодѣйства и участвуетъ въ преступленіяхъ. Для насъ всегда существовали интересы выше и дороже всѣхъ патріотизмовъ въ мірѣ; мы никогда не подкрашивали объективной истины никакими красками личными, семейными или племенными, и также не обинуясь, говоримъ *теперь* о будущности русскаго народа, какъ, не оглядываясь и не разсчитывая, стали со стороны Польши съ самаго начала возстанія.

Народъ русскій, для насъ, *больше чѣмъ родина*. Мы въ немъ видимъ ту почву, на которой разовьется новый государственный строй, почву, не только не заглохшую, не истощенную, но носящую въ себѣ всѣ зерна всхода, всѣ условія развитія. Будущность ея для насъ логическое заключеніе.

Тутъ рѣчь не о священной миссіи, не о великомъ призваніи, весь этотъ юдаическій и теологическій хламъ далекъ отъ нашей мысли. Мы не говоримъ, видя беременную женщину, что ея миссія быть матерью, но безъ сомнѣнія считаемъ себя въ правѣ сказать, что она родитъ, если ей не помѣшаютъ.

Убѣжденіе наше, что въ Россіи осуществится часть соціальныхъ стремленій — совершенно независимо отъ того, что мы родились въ Россіи. Физіологическое сродство, кровная связь съ народомъ, съ средой, можетъ предшествовали пониманью, ускорили, облегчили его — но *выводъ* однажды достигнутый — или вздоръ, или долженъ стать независимо отъ пристрастій и случайностей. Человѣкъ, родившійся въ Берлинѣ, или Потсдамѣ, вѣроятно имѣетъ какую нибудь привязанность къ родинѣ; но что же можетъ онъ вывести изъ своей любви къ отечеству, кромѣ необходимости разложенія уродливаго прусскаго королевства?

То, что дѣлается теперь въ Россіи, въ эту черную полосу, которая оставитъ по себѣ страшныя угрызенія совѣсти, ничего не

доказываетъ противъ нашихъ упованій. Вся эта оргія палачества и пьянаго патріотизма, обнаруживаетъ больше и больше только то, что такими мерзкими абортивами внутренняго движенія остановить нельзя. Само правительство, срываясь съ своей обычной колеи, всякій разъ уносится въ какую-то Пугачевщину. Имѣя въ виду одно уничтоженіе польскаго возстанія, изводя польскій элементъ въ Литвѣ, оно не сознавая того, ведетъ Россію вовсе не туда, куда думаетъ... „Не намъ, не намъ, а имени твоему!" такъ и останется, съ легкой руки Павла, девизомъ его внучатъ.

Это, наконецъ, стали отчетливо понимать злѣйшіе противники Россіи.*) Этого только не понимаютъ наши жандармствующіе литераторы и принѣмечивающіе доктринеры—ихъ обращать на путь истины не наша забота. Но въ послѣднее время, безнравственная и безстыдная пресса затемнила возникавшее и укрѣплявшееся сознаніе. Честные люди, люди не забившіе свой умъ схоластикой, ни сердца усердіемъ къ престолу, исполняются сомнѣніемъ. И дѣйствительно, надобно имѣть страшную силу вѣры и любви, чтобъ не отпрянуть отъ бѣснованія не однаго Саула, а цѣлаго общества съ нимъ, общества полуобразованнаго и дерзко мутящаго нѣмое море чуждой ему жизни народной, вызывая изъ его глубины демоническія страсти, которыхъ разгаръ и кругъ дѣйствій не ему очертить и обуздать.

Передъ этими сомнѣніями, передъ этимъ смѣшеніемъ понятій— наше дѣло ясно. Мы торопимся прочитать отходную въ вѣчность грядущему году, и снова поставимъ на первый планъ развитіе нашей мысли — о будущности нарождающейся Россіи. Оставляя всѣ другіе вопросы, мы будемъ слѣдить шагъ за шагомъ, пульсъ за пульсомъ, за движеніями младенца, за его ростомъ и указывать и обличать безсиліе и нелѣпость палачей, врачей, заклинателей и всѣхъ подкупленныхъ повивальныхъ бабокъ, призванныхъ извести его.

Польскому дѣлу мы принесли что могли, далѣе намъ приходится повторять одно и тоже. Мы горды тѣмъ, что за него лишились нашей популярности, части нашей силы; мы горды той бранью, той клеветой, той грязью, которой бросали въ насъ за Польшу — ярыги патріотизма и *содержанцы* III отдѣленія. Ни нападенія подлыхъ враговъ, ни сожалѣнія слабодушныхъ и слабоумныхъ друзей не своротили насъ съ дороги.... Мы съ злой радостью смотрѣли на бѣгущія отъ насъ стада кабановъ и барановъ, сопровождаемыхъ чириканьемъ ихъ пернатыхъ товарищей... смо-

*) Мы очень рекомендуемъ нашимъ читателямъ брошюру, вышедшую нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ Парижѣ, подъ заглавіемъ: La Pologne et la cause de l'ordre. Авторъ ненавистью понялъ тоже что мы — любовью. Католицизмомъ, цезаризмомъ, консерватизмомъ дошелъ до того — до чего мы дошли мыслью свободной отъ всякихъ изувѣрствъ и отъ всякой традиціи. Какое же доказательство можетъ быть полнѣе?

трѣли, какъ ихъ Долгоруковъ загонялъ на скотный дворъ Муравьева и въ свои собственные птичники — не завидуя ни тому, что однимъ отдадутъ поношенное платье, награбленное у литовскихъ пановъ, а другихъ научатъ еще лучше пѣть по органчику III отдѣленія. Чертъ съ ними!

Мы остались вопреки всему вѣрными польскому дѣлу и вѣрными русскому народу. Время справедливости не за горами. Но далѣе, мы чувствуемъ наше безсиліе во всемъ внѣ русскаго вопроса. Потому-то мы и будемъ говорить исключительно о немъ— съ людьми, которымъ дорога не кровавая, не терзающая Польшу Россія, а Россія вспахивающая въ тиши съ своими полями—поле будущаго развитія. Ихъ будемъ мы звать нашимъ *Колоколомъ* вмѣстѣ съ молодымъ поколѣніемъ, которое надобно спасать во что-бы ни стало отъ казенныхъ лжеучителей и нравственно растленныхъ бездѣльниковъ.

Пять лѣтъ мы безъ устали *сзывали живыхъ*. Теперь благо мертвые ушли, и никто отъ мертвыхъ не остался, будемъ звонить къ самой *обѣднѣ*, звать къ сознательному дѣлу!

Колоколъ № 176.
1 Января 1864 года.

1864

„Пять лѣтъ мы безъ устали *сзывали живыхъ*. Теперь благо мертвые ушли, и никто отъ мертвыхъ не остался, будемъ звонить къ самой *обѣднѣ*, звать къ сознательному дѣлу!“

Колоколъ 15 Декабря 1863.

...И это середь мрачной ночи, изъ которой Россія не выходила середь общаго оподленья, измѣны вчерашнихъ друзей, распутства мысли, безстыдства слова, при видѣ цѣлаго общества, лобызающаго руки палачамъ, цѣлой литературы духовно-свѣтскихъ доносовъ....

Да, середь этой ночи мы начинаемъ нашъ новый звонъ, внутренній голосъ говоритъ намъ, что *ночь переломилась*, и что теперь каждый размахъ маятника—шагъ къ выходу изъ нея.

Слишкомъ рано радовались казенные враги наши — нашему отчаянію. Ихъ слизистое сердце не могло понять ни жгучей скорби, которую мы вынесли, ни того, что мы выйдемъ изъ нея. Мы и не думали скрывать ни нашей боли, ни нашего стыда, ни нашихъ слезъ. Многое умерло возлѣ насъ; но мы возвращаемся съ кладбища упорнѣе и неисправимѣе чѣмъ когда нибудь; мы не только не утратили прежнюю вѣру, а удесятерили ее всѣми лишеніями, очищеньями, всѣмъ вынесеннымъ горемъ, всей чудовищной силой того гніенія, которое грозитъ сгубить всходы—а кончитъ удобреніемъ почвы.

Тотъ, кто не чуетъ этого, кому не ясно, что наше *общее дѣло* продолжается подъ землей, продолжается въ воздухѣ, продолжа-

этся середь оргіи крови и раболѣпья, для того слова наши, какъ для полицейскаго содержателя публичнаго листа въ Москвѣ, будутъ „бредомъ помѣшанныхъ“.

Но есть другіе люди, ихъ голосъ доходитъ до насъ, они поймутъ наши упованья. Наши слова ободрятъ ихъ, такъ какъ ихъ слова ободряли насъ.

— Да много ли ихъ?

— *Нѣтъ, не много*, по крайней мѣрѣ сколько мы знаемъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ слабые, шаткіе, мелкіе, робкіе ушли, одни отъ испуга, другіе по глупости; оставшіеся тѣмъ меньше замѣтны, что они должны молчать подъ тройнымъ надзоромъ — явной, тайной и литературной полиціи.

Много вѣры, много преданности, много *истины* надобно, а число головъ придетъ. Это не рекрутство и не подушный сборъ. Въ пещерахъ, слабые числомъ, христіане росли въ силу, въ подземныхъ ходахъ сплачивались они въ тѣ несокрушимыя общины *святыхъ безумцевъ*, съ которыми не могло совладать ни дикое варварство одного міра, ни маститая цивилизація другого. И это не смотря на то, что они шли на прямое ниспроверженіе всякаго государственнаго строя, и искали не исполненія судебъ, приготовленныхъ цѣлымъ развитіемъ, а замѣну ихъ судьбами новыми, небывалыми и вообще неосуществимыми.

Русская задача вовсе не такъ колоссальна, она гораздо проще, соизмѣримѣе, это задача не другого міра, а *міра сего*, и потому въ ней вѣра не противурѣчитъ логикѣ, совсѣмъ напротивъ. Никто не хочетъ у насъ ломать ничего народнаго, основного, никто ничего создавать по отвлеченному идеалу, все это старая консервативная болтовня. Хотятъ устранить препятствія, снять ненужныя преграды, хотятъ развязать руки, развязать мысль, отрицаютъ *собственно отрицательное*, мѣшающее, искажающее, гнетущее, полумертвое. Хотятъ дать волю народному складу и мысли, искусившейся опытомъ другихъ. Все это вовсе не утопія; элементы, основанія у насъ даны: *Народный русскій бытъ и наука Запада*, въ ихъ сочетаніи наша сила, наша будущность, наше преимущество. Безъ предрасположеннаго народнаго быта—общественная наука теряется въ соціальномъ бредѣ; безъ всеобобщающей науки—народный русскій бытъ возводится въ бредъ славянофильства.*)

Народный бытъ и наука—Земля и Воля. Что можетъ быть проще

---

*) А славянофильство можетъ идти объ руку съ нѣмецкимъ императорствомъ именно потому, что для него не дорога *воля*, что для него есть сокровища дороже ея, напр. въ ужасъ приводящее своей силой Московское государство. Оттого честные, но сбитые умы жалѣютъ о томъ, что у правительства нѣтъ людей. Какъ же они не понимаютъ, что у него не могутъ быть люди, *не должны быть*, что уничтоженіе взяточничества и пр. прежде уничтоженія правительственнаго своеволья — величайшее бѣдствіе, которое можетъ постигнуть Россію.

и яснѣе? Но до этой простоты и ясности мы доходимъ вѣковыми страданіями нашего народа и вѣковыми усиліями западной исторіи. Передъ нами свѣтло и дорога пряма. Европейскіе народы искали въ теми своего пути, сбивались съ него, обливали его кровью и постоянно встрѣчали врага, останавливавшаго всякое стремленіе и лишавшаго плодородія всякій посѣвъ. Передъ нами тоже *сильный врагъ*, но *умнаго* врага нѣтъ; протикъ насъ борится не великое преданіе, не относительная правда, не вѣками освященные предразсудки, а палисады безъ корней, стѣны подъ гранитъ, имперія „фасадъ", имперія съ иголочки, иностранная и до того безсмысленная, что ей нуженъ Катковъ, чтобы объяснить ей самой, что ей надобно отстаивать и что беречь. Противъ насъ *овдовѣвшее* дворянство, крѣпостники, не умѣвшіе ни отстоять рабовладѣніе, ни поступиться имъ. Ненавидимое народомъ, неуважаемое правительствомъ, оно чувствуетъ свое безсиліе, заискиваетъ милости, подличая передъ палачами и оплакивая плачемъ Рогнѣды въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" утрату „материка" рабства и грабежа... Намъ ли унывать съ такими врагами?

Не такъ поставлены задачи будущаго у другихъ народовъ. На дняхъ два ветерана, два уважаемыхъ всей Англіей бойца, слегка, издали коснулись одного вопроса въ Рочделѣ, едва намекнули гдѣ зло — какъ насторожившій уши Церберъ капитала и монополіи поднялъ сторожевой лай, и все испугалось, оцѣпенѣло, отрелкось... Правда Кобденъ ударилъ и больно ударилъ Цербера, но не въ основномъ вопросѣ.

Что же за ужасъ сказалъ старикъ Кобденъ, этотъ испытанный вождь торговой свободы, этотъ атлетъ, вынесшій на своихъ плечахъ тридцать лѣтъ тому назадъ corn law?

И что за страшную Медузу показалъ ему, Брайту Англіи, „*Теймсъ*"?

Кобденъ и Брайтъ догадались наконецъ, что *воля безъ земли* нелѣпость, и что для англійскаго пролетарія - работника нѣтъ ни воли, ни конституціи, такъ какъ ему нѣтъ голоса, ни представительства. Они замѣтили, и главное дерзнули намекнуть на митингѣ, составленномъ не изъ аристократовъ мѣщанства, что у англійскаго работника не только нѣтъ воли, но нѣтъ и выхода, потому что законы, дѣлаемые собственниками, скорѣе стремятся сосредочивать большія поземельныя собственности въ однихъ рукахъ, чѣмъ ихъ раздроблять и способствовать къ пріобрѣтенію ихъ работниками.

— Такъ вы указываете на антагонизмъ собственниковъ и работниковъ, сказалъ „Теймсъ", блѣдный отъ злобы, да вы не хотите ли *аграрныхъ* законовъ?

И все отпрянуло съ ужасомъ отъ Кобдена и Брайта—и Кобденъ, не дожидаясь пѣтушьяго крика, сталъ защищаться въ томъ, что онъ невиненъ въ agrarian outrage...

У насъ—ничего подобнаго. У насъ консервативная партія такая же нелѣпость безъ корней, какъ табель о рангахъ, какъ дворянская грамота. Сегодня сила—завтра слѣда нѣтъ. Нашъ настоящій

консерватизмъ начинается тамъ, гдѣ оканчивается правительство.

Насъ не застращаешь медузиной головой, какія бы змѣи у нея ни были вмѣсто кудрей. То, что *можетъ* у насъ погибнуть, тогонамъ не жаль... Пусть рухнется эта имперія, выработавшая свой типъ въ Аракчеевѣ, пусть пойдетъ по міру дворянство, отбивавшее два вѣка кусокъ хлѣба у народа, пусть пропадетъ наконецъ это мишурное образованіе, ложное, безнравственное, умѣвшее прежде ужиться съ крѣпостнымъ правомъ, а теперь съ палачами и доносчиками... Народъ русскій не погибнетъ ни съ петербургской династіей, ни съ англійскимъ клубомъ въ Москвѣ... не нужно ему хранить школы, изъ которыхъ учители-рабы посылаютъ адрессы Бергу и Муравьеву.

На этомъ глубокомъ сознаніи нашей свободы и соотвѣтствіи нашихъ стремленій съ бытомъ народнымъ, незыблемо основана наша вѣра, наша надежда. И вотъ почему, середь скорби и негодованія мы далеки отъ отчаянія и протягиваемъ вамъ, друзья, нашу руку на общій трудъ и зовемъ нашимъ звономъ къ *дѣлу* и *борьбѣ!*

Колоколъ № 177.
15 Января 1864 года.

ПИСЬМО КЪ ГАРИБАЛЬДИ.

Любезный, глубокоуважаемый другъ, maestro — все, что хотите, только позвольте мнѣ не прибавлять къ вашему имени слово генералъ, оно до такой степени мелко для васъ, что не переходитъ черезъ мое перо, и я скорѣе отказался бы отъ удовольствія писать къ вамъ, чѣмъ назвать васъ генераломъ.

Я собирался посѣтить васъ, мнѣ хотѣлось еще разъ пожать вашу руку съ глубокимъ уваженіемъ и полнымъ сочувствіемъ. Я слышалъ, что вы не забыли меня. Но обстоятельства устроились иначе, я покидаю Италію раньше чѣмъ думалъ, и хочу воспользоваться поѣздкой къ вамъ общаго друга нашего, чтобъ посѣтить васъ письменно.

При этомъ я имѣю особую цѣль. Мрачная и свирѣпая борьба съ Польшей еще разъ обнаружила всю безчеловѣчность и жестокость петербургскаго правительства. Какъ только Зимній Дворецъ попускаетъ себя на рѣзню и всякіе ужасы, кровавое зарево падаетъ на насъ. Эту незаслуженную круговую поруку мы готовы сносить. съ горестью, но не протестуя. По несчастію, ею не ограничивается дѣло. Свирѣпости правительства, крикъ развратнаго и подлаго журнализма. рукоплесканія толпы растлѣнной или обманутой заставляютъ думать, что вообще *русское движеніе* было или преднамѣреннымъ обманомъ, или мечтой больнаго воображенія. Этого мы вынести не можемъ. Мы себя чувствуемъ слишкомъ живыми для того, чтобы позволить себя молча похоронить. И я

пишу къ вамъ для того, чтобъ свидѣтельствовать, что мы вовсе не умерли, что движеніе русское вовсе не подавлено, и вообще по сущности своей *неподавляемо*.

У меня страстное желаніе сказать это именно *вамъ, мужу народовъ*. Вы понимаете, вы любите массы, такъ какъ онѣ есть, безъ римской тоги, безъ параднаго цивизма, и очень естественно, что именно потому народъ васъ призналъ своимъ патрономъ, своимъ заступникомъ*), что онъ изъ вашей *красной рубахи* сдѣлалъ свое святое облаченіе, свою camicia santa, и что женщина—этотъ *другой народъ*, съ своимъ ясновидѣніемъ сердца, сняла почти вездѣ корсажъ и замѣнила его рубашкой вождя слабыхъ, ищущихъ воли. Послѣ преображенія римской висѣлицы въ святыню, я не знаю полнѣйшаго торжества. И именно потому мужъ *красной, святой рубахи* не имѣетъ права не знать, что дѣлается въ темныхъ глубинахъ народнаго моря, понимающаго съ одной стороны долины восточной Азіи, а съ другой—прикасающагося Пруссіи и Австріи.

Что народъ русскій вышелъ изъ своего видимаго оцѣпенѣнія, что крымская война пробудила его и что съ тѣхъ поръ обнаружилось въ немъ какое-то движеніе, безпокойство въ поляхъ и городахъ, въ дворцахъ и хижинахъ, что съ тѣхъ поръ что-то передѣлываютъ, къ чему-то стремятся — это извѣстно всѣмъ. Но чего хочетъ Россія, куда идетъ она? Хочетъ-ли она возстановить свою свободу, свою независимость, возвратиться, какъ Польша къ славному прошедшему?—Нѣтъ. Народъ русскій никогда не былъ свободенъ и никогда не терялъ независимости, ему нечего возстановлять, ему нечего вызывать изъ угрюмой исторіи своей; что прошедшее завѣщало ему, то вошло въ его плоть и кровь, это не воспоминанія, не учрежденія, а *стихіи*, рѣзко характеризованная народность, своеобразное понятіе о *правѣ на землю*, вотъ и все—особенно если мы прибавимъ отвагу самонадѣянности и дерзость вѣры въ себя середь несчастій. Остальное — заборъ, под-

*) До какой степени это справедливо, я былъ свидѣтелемъ въ Неаполѣ. Лодочники носятъ тамъ часто вмѣстѣ съ мѣднымъ медальончикомъ Богородицы другой съ изображеніемъ какого нибудь святого или *Гарибальди*. Одна дама сказала шутя лодочнику—что это грѣшно. Лодочникъ отвѣчалъ, что онъ не думаетъ этого, что можетъ впрочемъ оно и такъ, „но что онъ навѣрное знаетъ, что *во время бури образокъ Гарибальди очень помогаетъ*“.—Въ Украйнѣ, въ Польшѣ, въ Сербіи, народъ ждалъ Гарибальди. Въ „Матеріалахъ къ исторіи освобожденія крестьянъ въ Россіи“, авторъ разсказываетъ о своемъ разговорѣ съ извощикомъ въ Петербургѣ, который сомнѣвался въ дѣйствительности освобожденія, и говорилъ: „развѣ ужъ когда придетъ господинъ Галибардовъ“.—Популярность Гарибальди такъ велика въ Италіи, что неаполитанская чернь по всякому поводу кричитъ Viva Garibaldi. Monier замѣчаетъ, что возвратись Франческуло, народъ и его встрѣтитъ крикомъ Viva Garibaldi.

мостки искуственной, иностранной имперіи. пережившей свое время.

Соціальная религія народа русскаго состоитъ въ признаніи неотъемлемыхъ правъ каждаго члена общины владѣть извѣстнымъ паемъ земли. Стоитъ вспомнить, что пространства, составляющія собственно Россію, заселялись послѣдовательной колонизаціей и скорѣе поглощали, принимали въ себя слабыя населенія аборигеновъ, чѣмъ побѣждали ихъ—стоитъ вспомнить, что поселенцы эти, осѣвши однажды на своихъ мѣстахъ, никогда не были завоеваны, (татарское иго не касалось ни внутренней жизни, ни народнаго быта) — чтобъ объяснить, какимъ образомъ развилось понятіе о правѣ народа на землю. Оно пережило всѣ судьбы государства, и едва первое дыханіе жизни обнаружилось въ немъ, какъ вопросъ объ освобожденіи съ землей естественно сталъ на чередъ. Отнять землю у русскаго крестьянина такъ-же невозможно, какъ отнять море у лаццарони. потому что лаццарони также незыблемо вѣритъ, по выраженію одного нашего соотечественника, въ свое *право на море*.

Между тѣмъ поземельная собственность въ Россіи стремится раздробиться въ частное и личное владѣніе, или сосредоточиться въ рукахъ правительства. По счастью, до настоящаго времени большая часть земель оставалась въ неотъемлемомь владѣніи общинъ, но тѣмъ не меньше надобно всѣми силами стараться остановить это колебаніе, избѣгая съ одной стороны пропасть пролетаріата, которая рано или поздно поглотитъ весь образованный міръ собственниковъ и съ другой правительственный коммунизмъ, въ которомъ погибла бы личность человѣка или сдѣлалась бы приговоренной къ каторжной работѣ. Для того, чтобъ найти діагональ, мы имѣемъ два указанія, самый бытъ и устройство нашей сельской общины и результаты экономической, соціальной науки, такъ какъ они выработались на Западѣ, не найдя себѣ тамъ приложенія. Сельская община представляетъ у насъ ячейку, которая содержитъ въ зародышѣ государственное устройство, основанное на самозаконности, на мировомъ сходѣ, съ избирательной администраціей и выборнымъ судомъ. Ячейка эта не остается обособленною, она составляетъ клѣтчатку или ткань съ сопредѣльными общинами, соединеніе ихъ -- *волость*—также управляетъ своими дѣлами и на томъ-же выборномъ началѣ. Волостью оканчивается народное устройство, ею оно касается императорской полиціи и всего казеннаго управленія. Далѣе волости нѣтъ свободы—но есть привилегіи; нѣтъ самозаконности, а царитъ величайшій правительственный произволъ. До освобожденія крестьянъ крестьянская община билась о помѣщичье право, волость бьестя до сихъ поръ объ нелѣпую власть правительства.

Одна изъ заставъ, останавливавшихъ развитіе — пала. Освобожденіе крестьянъ, при всей недостаточности своей, признало личную свободу крѣпостнаго, *не отрицая* его права на землю.

Пора раскачать столбы другой.

Освобожденіе крестьянъ было послѣдней картой правительства; давши ее, оно въ самомъ дѣлѣ касается свободныхъ учрежденій. Реформы, о которыхъ оно столько говоритъ, не дѣлаются, потому что онѣ для него невозможны, потому что онѣ касаются его собственныхъ привилегій, которыя для него гораздо дороже привилегій дворянства. Правительство хочетъ сохранить ихъ и дѣлать реформы. Противурѣчіе очевидно—оно его не могло побѣдить, и истощалось, билось въ логическомъ кругу.

Ждать, чтобы оно износилось до послѣдней нитки, было невозможно. Оно раззоряло народъ и приготовляло полнѣйшую реакцію, оно возвращалось къ николаевскимъ временамъ и снова начинало преслѣдованіе каждой независимой мысли, прикрываясь своимъ умѣреннымъ либерализмомъ. Надобно было поставить предѣлы этому своеволью и затормозить колеса старой машины; но для этого надо было прежде всего уяснить, чего мы хотимъ, что можемъ и чего хочетъ въ самомъ дѣлѣ народъ. Для достиженія этого надобно было подвинуть правительство на созваніе Собора безсословнаго, всенароднаго, безъ различія вѣроисповѣданій, съ предоставленіемъ *каждому избирать каждаго*.

Еслибъ правительство согласилось—тѣмъ лучше, много спаслось бы крови и несчастій. Если же нѣтъ, надобно было его заставить созвать соборъ, или созвать его помимо правительства. Такъ думали многіе.

Что же было бы потомъ? Это бы мы увидѣли тогда. Первый шагъ былъ бы сдѣланъ.

Говоря о созваніи Собора, я упомянулъ о безразличіи вѣроисповѣданій, это слѣдуетъ пояснить. Въ Россіи считается милліоновъ до двадцати старообрядцевъ, поставленныхъ внѣ закона. Теперь ихъ меньше преслѣдуютъ, на нихъ смотрятъ сквозь пальцы —этого мало, надобно, чтобъ они пользовались общимъ правомъ. Старообрядцы составляютъ самую энергическую, здоровую часть огромнаго земледѣльческаго населенія Россіи. Закаленные вѣковымъ гоненіемъ, воспитанные съ ребячества въ борьбѣ съ существующимъ порядкомъ вещей, они никогда ничего не уступали, а пріобрѣли вмѣстѣ съ строгими нравами, желѣзную волю. Изъ этой среды естественно выйдутъ дѣйствительные представители народныхъ стремленій. Они никогда не признавали имперіи, которую они презираютъ какъ нѣмецкую и которой гнушаются какъ нечистой. Сбитые съ толку агентами правительства, нѣкоторые изъ нихъ посылали недавно свои вѣрноподданническіе адрессы, они сдѣлали ложный поступокъ въ надеждѣ льготъ и обманулись: правительство ничего не сдѣлало для нихъ.

Старообрядцы принесли бы на общій совѣтъ народную идею, народный геній, преданіе, бытъ и обычай — идея современная, наука была бы представлена другой средой — той неопредѣленной, смѣшанной средой, которую во времена Людовика Филиппа называли *способностями* (capacités), въ нее входитъ все — мелкое дворянство, офицеры, студенты, окончившіе курсъ, дѣти духовнаго

происхожденія, сословіе, нигдѣ не существующее кромѣ Россіи, сословіе очень ученое, очень эманципированное и ненавидящее дворянство и власть; возлѣ него дѣти разночинцевъ, небольшихъ статскихъ чиновниковъ, бѣдные, презираемые сверху, страшные для народа, они многое ненавидятъ. многому завидуютъ, имъ многое приходится искупить и нечего терять.

Дворянство, какъ замкнутый классъ, потеряло всякое значеніе, ему остается одно—низшимъ слоемъ своимъ распуститься въ народъ, предоставляя вершины печальной судьбѣ замиранья въ величавой праздности и придворной службѣ (domesticité). Послѣ освобожденія крестьянъ русское дворянство потеряло свою почву, свою силу, причину своего существованія, и оно это понимаетъ. Дворянство цѣлыхъ губерній (напр. Тверское) просило государя какъ милости право сложить съ себя нелѣпыя привилегіи, которыя, не принося никакой выгоды, мѣшаютъ простымъ отношеніямъ съ другими сословіями. Государь отказалъ.—Почему?—Вѣроятно онъ самъ не знаетъ причины. Имѣть дворянство—застарѣлая привычка дворца.

Желая остановить возникшее движеніе во чтобъ ни стало, правительство выдумало исторію политическихъ пожаровъ и додразнило студентовъ до манифестацій, давшихъ ему тѣнь права сбросить съ себя поддѣльный либерализмъ и прямо перейти въ реакцію. Съ этого времени оно начинаетъ гуртовой подкупъ журналистовъ и писателей, и постоянно распускаетъ слухъ о реформахъ находящихся въ работѣ, и которыя наградятъ Россію — почти французской свободой и дадутъ ей почти австрійскія учрежденія. Одни слабые люди, люди ищущіе приличнаго предлога, чтобъ стать со стороны власти, сохраняя видъ либерализма, дались въ обманъ. Тайно печатные и распространяемые листы обличали въ чемъ дѣло и какъ зарницы пророчили бурю, свидѣтельствуя объ электрическомъ напряженіи среды.

Еще разъ, позвольте сказать, въ чемъ состояло наше положеніе.

Народъ крестьянъ, мы шли на развитіе сельской общины такъ какъ она существуетъ, съ ея аграрнымъ владѣніемъ, съ ея круговой порукой и самосудомъ — мы хотѣли и хотимъ расширенія выборнаго начала на весь административный и судебный порядокъ, за предѣлами волости и провинціи, мы хотимъ облегчить *ликвидацію* дворянства чужеяднаго и вреднаго, мы хотимъ уничтоженіе правительства противународнаго и противучеловѣческаго.

Меньшинство людей независимыхъ, безъ обязательныхъ преданій, безъ наслѣдій достойныхъ уваженія, безъ всѣхъ достопочтенностей (venerabilia) связывающихъ старую цивилизацію—мы смѣло беремъ, безъ сожалѣнія и пощады все что западная рево
намъ даетъ и принимаемъ какъ драгоцѣнное наслѣдіе—соціа люціи
идею ея и ея мечту о нравственной свободѣ. льную

Мы вмѣстѣ съ крестьяниномъ говоримъ: „нѣтъ воли безъ земли“ и прибавляемъ только: „что земля не крѣпка безъ воли“.

Наше знамя очень прозаическое. Души чувствительныя, умы превыспренніе находятъ его матеріальнымъ. Мы это знаемъ, да знаемъ и то, по печальному примѣру Запада, чего стоитъ свобода, которая какъ воздушный шаръ имѣетъ надъ собой прелестную лазурь, безъ всякой матеріальной точки опоры.... Годъ тому назадъ я говорилъ нашимъ друзьямъ русскимъ офицерамъ въ Польшѣ: „Первые возставшіе славяне Табориты имѣли на знамени своемъ *Чашу съ виномъ*. Мы возьмемъ другую часть эвхаристіи — *Дискосъ съ хлѣбомъ!*“ Это бѣдно.... но вѣдь и красная рубаха, la camicia santa, не римская латиклива и не порфира подбитая горностаями. Дѣло въ томъ, что народъ поэтъ, но вовсе не идеалистъ.

Середь этого процесса выработыванія и разложенія, середь броженія поднимавшагося съ самаго дна жизни народной, подъ вліяніемъ освобожденія крѣпостныхъ крестьянъ съ одной стороны, и начала организаціи, сосредоточенія силъ меньшинства, съ другой — середь величайшаго правительственнаго смятенія и колебанія Зимняго дворца между либерализмомъ и самовластіемъ, между реформами и консерватизмомъ—застало насъ польское возстаніе.

Для насъ оно было скорѣе несчастіемъ и только правительствомъ подкупленный журнализмъ обвиняетъ насъ въ томъ, что мы подстрѣкали поляковъ, увѣряя ихъ, что Россія готова возстать. Мы очень хорошо знали, что ничего не было готово, что были только зародыши, что офицерскія общества только что начали слагаться*). Кровь нашу дали бы мы за то, чтобъ остановить на годъ или на два польское возстаніе.

Но что мы могли сдѣлать? Разумѣется не рекрутскій наборъ произвелъ возстаніе, наборъ былъ той каплей, послѣ которой вода течетъ черезъ край, шляпа Геслера, оскорбленіе вызвавшее сицилійскую Вечерню. Дѣйствительно, не было человѣчтской возможности вынести эту травлю на людей. Во всякомъ случаѣ опредѣлить время возстанія, его необходимость, принадлежало полякамъ. Намъ предстояло принять ихъ рѣшеніе и стать со стороны справедливости и свободы.

Такъ мы и поступили. И когда благородное меньшинство русскихъ офицеровъ обратилось къ намъ за совѣтомъ что имъ дѣ-

---

*) Русское правительство растрѣлявши *Арнольда*, *Сливицкаго* и пр., сославши въ каторжную работу полковника *Красовскаго*, *Обручева* двадцать другихъ, продолжаетъ отрицать самое существованіе комитетовъ и достовѣрность адрессовъ напечатанныхъ въ „Колоколѣ“, и это въ то время, когда членъ офицерскаго комитета, привозившій къ намъ въ Лондонъ адрессъ, *Потебня*, погибъ подъ Песчанной Скалой, сражаясь въ польскихъ рядахъ. Неужели правительство отрѣчется и отъ трупа юнаго героя и отъ множества другихъ, которыхъ оно знаетъ? (Прим. въ письмѣ).

По возвращеніи въ Лондонъ, я прочиталъ въ «русскихъ газетахъ» о 40 русскихъ офицерахъ перешедшихъ къ возстанію.

лать въ случаѣ польскаго возстанія, мы не обинуясь сказали имъ, что лучше оставить ряды, перейти въ противный станъ, быть убитымъ, чѣмъ сражаться противъ Польши, которая для насъ имѣетъ больше чѣмъ историческое право, больше чѣмъ право героизма—право на наше *искупленіе*. Съ своей стороны мы не предъявляли ничего, кромѣ желанія, чтобъ польская революція приняла за основу наше *аграрное начало*, чтобъ война, начинающаяся за независимость одного народа, признала *волю областей*. Съ этимъ знаменемъ Польша имѣла бы дѣло съ царемъ, а не съ народомъ русскимъ.

Въ началѣ возстанія общественное мнѣніе въ Россіи вовсе не было враждебно Польшѣ, народъ съ своей стороны былъ безучастенъ. Правительство старалось всѣми средствами возбудить народную ненависть, пускало въ ходъ клеветы и преувеличенія, посылало вереницы агентовъ министерства внутрен. дѣлъ для вызова вѣрноподданническихъ адрессовъ, пугало народъ европейской войной и пр. Въ этомъ почетномъ дѣлѣ правительство нашло себѣ отличнаго и не слишкомъ дорогаго помощника — явилась цѣлая литература, цѣлая журналистика, писанная продажными негодяями и заслоненная цензурой отъ отвѣтовъ и возраженій. Онѣ-то и принялись за обработываніе мнѣнія *образованныхъ* сословій, въ то время какъ агенты правительства дѣйствовали на народъ.

Мы знали, а правительство знало это лучше насъ, что трудно возбудить въ русскомъ народѣ дѣятельное ожесточеніе противъ Польши, и очень хорошо избрало свою почву. На вымыслахъ въ родѣ Варооломеевской ночи трудно было далеко уйти. Это годилось для солдатъ и то при дозволеніи грабежа. Для народа этого было мало. Правительство стало выдавать польское возстаніе за враждебное крестьянамъ и греческой церкви, за возстаніе исключительно шляхетское и католическое — такимъ образомъ оно становилось защитникомъ массъ и греческаго православія, придавая себѣ видъ болѣе революціонный и демократическій, чѣмъ революція. Императоръ Александръ II. бывшій въ Нижнемъ, молился колѣнопреклоненный у могилы Минина, доблестнаго гражданина, поднявшаго въ 1612 г. государство противъ поляковъ, прося бога поддержать его противъ врага, т. е. противъ „нѣсколькихъ сотенъ повстанцевъ безъ оружія и уже давно побѣжденныхъ", какъ постоянно печатали объ нихъ въ русскихъ журналахъ.

Жаль, что народное правительство въ Польшѣ не знало этихъ продѣлокъ. Тогда слѣдовало бы ему стать во весь ростъ и громко объяснить то, что оно сказало въ письмѣ къ намъ,*) громко повторить, что оно не дожидалось русскаго правительства, чтобъ признать землю крестьянской и прибавить, что не смотря на его желаніе возсоединенія областей, желаніе основанное на томъ, что поляки никогда не принимали факта раздѣла, оно предоставляетъ судьбу ихъ — свободной волѣ народа, (народа въ самомъ дѣлѣ, а

*) «Колоколъ», л. 146, 1862.

не представленнаго русскими агентами, само собою разумѣется).

Великая интрига улетучилась бы и весь этотъ разожженный ужасомъ дикій, кровожадный патріотизмъ выдохся бы, не успѣвши отравить умъ и сердце простыхъ и честныхъ людей.

Вызывая чувство ненависти и свирѣпаго озлобленія, убивая противниковъ съ монгольскимъ безчеловѣчіемъ, отбирая имущества у помѣщиковъ западнаго края, правительство не имѣло другой цѣли, какъ усмиреніе возстанія и сохраненіе власти въ областяхъ. Но если петербургское правительство *предполагаетъ*, то иная сила *располагаетъ*.

Когда развивается сильный организмъ, все ему служитъ, даже болѣзни. Возбужденіе противъ Польши пройдетъ, но движеніе имъ вызванное останется. Для того чтобъ имѣть адрессы, правительство допустило политическія сходки; въ городахъ и деревняхъ люди собирались, чтобъ обсуживать объ опасностяхъ отечества, о мирѣ и войнѣ. Въ Литвѣ правительство проповѣдывало противъ дворянъ и отдавало крестьянамъ конфискованную землю; первымъ послѣдствіемъ этого былъ отказъ кіевскихъ крестьянъ работать на русскихъ помѣщиковъ. Правительство разбудило силы, которыя оно не такъ легко усыпитъ и сообщило движеніе массамъ, которое трудно остановить. То чего не могло сдѣлать ни потаенное книгопечатаніе, ни пропаганда изъ за моря, дѣлаетъ противъ своей воли само правительство. Похожее на японца, который въ припадкѣ бѣшенства распарываетъ свой животъ, чтобъ отомстить врагу — петербургское правительство дѣлается революціонно-террористическимъ, изъ ненависти къ Польшѣ. Гдѣ оно остановится? Кто знаетъ, но во всякомъ случаѣ оно накладываетъ на себя руки!

Людямъ независимымъ, группамъ выдѣляющимся изъ массъ и соединяющимся около одной идеи, около общаго стремленія, группамъ начинающимъ тяготѣть къ одному средоточію дѣятельности—слѣдуетъ воспользоваться движеніемъ, вызваннымъ рукою дерзкой и нечистой.

На сію минуту наша дѣятельность заторможена. Патріотическое безуміе, полицейская пропаганда, военное положеніе, нелѣпость, глупость, страхъ передъ этой доброй, мирной, благоразумной Европой, все намъ мѣшаетъ...

....О, еслибъ вы знали, съ какимъ страстнымъ нетерпѣніемъ мы ждемъ окончанія этой проклятой борьбы. Независимость Польши —наше освобожденіе! Наши головы клонятся подъ тяжестью преступленій, совершаемыхъ руками нашими, и будьте увѣрены, что мы не меньше желаемъ освободиться отъ Польши, чѣмъ Польша желаетъ освободиться отъ Россіи.

Въ тотъ день, когда Польша будетъ независима, мы бросимъ покровъ на страшныя улики, пока до великаго дня суда и осужденія, и пойдемъ твердымъ шагомъ впередъ—отрѣкаясь отъ гнуснаго прошедшаго, попирая ногами вчерашніе кумиры — твердымъ шагомъ пойдемъ осуществлять наше будущее, разрушая по доро-

тѣ эту имперію, составляющую бѣдствіе шестой части земнаго шара, раздирая этотъ камзолъ каторжнаго, надѣтый на плечи исполину, пока онъ спалъ.

Проснулся ли онъ въ самомъ дѣлѣ? Если вы мнѣ сдѣлаете этотъ вопросъ, любезный и уважаемый другъ, или всякій другой, я охотно буду отвѣчать въ другомъ письмѣ.

Теперь примите еще и еще увѣреніе въ моемъ сочувствіи, уваженіи, удивленіи къ вамъ.

Колоколъ № 178.
1 Февраля 1864 года.

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ГАРИБАЛЬДИ*).

Прочитавъ эти строки, у меня навернулись на глазахъ слезы— горькія слезы стыда и боли. Какъ ни издѣвались надо мной наши мраморные gamins, наши доктринерскіе застрѣльщики, принимавшіе безсердечіе за умъ — я не могу отучиться отъ глубокой грусти...

Гарибальди совершенно правъ: кого не поразитъ это безучастіе къ казнимому народу, это нѣмое бездушье возлѣ стона, вопля, крови. Но онъ далеко отсталъ, его воображеніе не шло дальше равнодушья—а у насъ *нѣжность* къ казнямъ, мы ласкаемъ палачей, „лобызаемъ ихъ доблести", по выраженію одного изъ православныхъ іерарховъ, мы пируемъ, ликуемъ въ ихъ честь, пьемъ за ихъ здоровье, подносимъ имъ иконы... У насъ все добровольно, con amore запачкалось въ крови: нѣмецкій университетъ въ Москвѣ и нѣмецкая биржа въ Петербургѣ, уѣздные крѣпостники и столичные газетчики... государь андреевской лентой и серебряными рублями показалъ, что казни — не печальная необходимость, при которой верховный судья накрываетъ свою голову одеждой сѣтованія, а награждаемая доблесть... Церковь, уклонявшаяся передъ самимъ Петромъ отъ прямаго участія въ казняхъ, поставила православный алтарь свой скамейкой для вѣшающаго палача.

Эта позорная полоса нашей исторіи тѣмъ больше отвратительна, что она вовсе не нужна. Вызванная трусостью, подхваченная съ одной стороны раболѣпіемъ, съ другой свирѣпымъ патріотизмомъ — она не имѣетъ оправданія. Она пройдетъ и пройдетъ скоро, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, *но слѣдъ ея останется*; и какъ исчезнувшій рубецъ кнута выступаетъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ, такъ и она будетъ выступать подъ перомъ каждаго грядущаго историка. Этотъ маіоратъ пойдетъ на долго. Прошлое злодѣйство искупается, обязываетъ къ смиренію, заглаживается — но

---

*) Гарибальди пишетъ Герцену (въ этомъ же 178 № «Колокола»), что хотя вѣритъ въ неповинность собственно народа русскаго въ истязаніяхъ Польши, но полагаетъ, что страданія послѣдней должны были бы возбудить въ лучшей части русскаго общества „протестъ болѣе торжественный, чѣмъ слова". *Л. Т.*

не проходитъ до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ память человѣческая.

Въ тупой и наглой кровожадности общества оправданіе всѣхъ ужасовъ петербургскаго періода: отъ собственноручныхъ упражненій державнаго палача до военныхъ поселеній, отъ превращенія каждой съѣзжи въ домъ пытокъ до превращенія каждаго помѣщичьяго дома—въ съѣзжу.

Самодержавная имперія, основанная на явныхъ штыкахъ и канцелярской тайнѣ, не русское изобрѣтеніе. Но отчего же переложенная на русскіе нравы, она утратила все человѣческое? Отчего ни въ Пруссіи, ни въ Австріи она не развилась ни въ Павла, ни въ Аракчеева, ни въ Николая...?

Не вся отвѣтственность падетъ тутъ на правительство. Правительство не выдумываетъ порохъ, а жжетъ его. Оно и въ настоящихъ казняхъ только прибавило къ слову—*дѣло*, но слово сказано не имъ. Первое слово сказано тѣми, которые въ отвѣтъ на плоскую выдумку о зажигателяхъ, требовави какихъ-то безпримѣрныхъ казней...

Мѣсяцы ходило правительство кошкой, съ разгорѣвшимися глазами, около висѣлицы и примѣривалось, прислушивалось — то попробуетъ разстрѣлять русскаго юношу, то кого нибудь отошлетъ на каторгу, то повѣситъ полька и спрячется опять за ширмы „Реформъ", выжидая, что будетъ. Но когда оно увидѣло, что общество вошло во вкусъ крови, что не только *публичные мущины* которымъ оно приплачиваетъ, но и ворчащее дворянство, которое само сильно поплатилось — стоитъ за казни и *энергію*, тогда оно разомъ откинуло западную часть маски и. засучивъ рукава, схватило Муравьева и пошло мѣсить кровь, вѣшать, давить, пытать, словомъ пошло тѣшиться сколько безпощадному сердцу монгольскаго нѣмца угодно. Смѣло было передъ лицомъ всего міра казнить ежедневно враговъ, взятыхъ съ оружіемъ въ рукахъ; это противно собственной военной религіи петербургскаго императорства. Смѣло было нести раненыхъ на казнь, вѣшать людей безъ памяти на *вздержку*, (какъ убили благороднѣйшаго Сѣраковскаго). Польша и Литва не Старая Руса, не Казанская губернія, это не бѣдные крестьяне, которыхъ тѣла стоитъ исключить изъ подушнаго оклада и дѣло кончено — тутъ офицеры, помѣщики, тутъ близко границы. Тѣмъ не меньше правительство рискнуло — и что же? При видѣ этихъ ужасовъ, обѣды еще жирнѣе, стерляди еще больше, пьяная ватага реветъ ура, шлетъ адрессы, шлетъ телеграммы, пуассарды Зимняго дворца, государынины робеспьеровскія трикотезы, ханжи изъ царской дѣвичьей сооружаютъ иконы... Работай, Муравьевъ, мы народны!.. И насъ хотятъ увѣрить и бѣлымъ. и аксаковскимъ днемъ, что это любовь къ отечеству! Лучше не имѣть никакого отечества.

Не вчера же однако родился этотъ характеръ, близнецомъ съ польскимъ возстаніемъ—его дворянское родословіе идетъ гораздо дальше. Переберите типы, выработавшіеся у насъ въ верхнихъ *паражахъ* и въ паражахъ чернильныхъ, въ казармахъ и около

домашняго очага, вспомните вашу собственную молодость, тишину родительскаго крова, вашихъ родныхъ, особенно постарше... и вы увидите, что удивляться тому, что дѣлается, нельзя.

Петръ I страстно любитъ флотъ, цивилизацію и не знаю что, но еще страстнѣе любитъ доносы, сплетни, слѣдствія, пытки—и вдругъ все около него дѣлается доносчиками. Преображенскій приказъ заваленъ дѣлами—хрустятъ барскія и не барскія кости на дыбѣ... Откуда явилась бы эта готовность на царскую потѣху ставить людей, не щадя ни родныхъ, ни друзей, еслибъ не было къ ней предрасположенія?

Лишь только верхи наши образовались, обзавелись иностранной академіей, силлабическими виршами и профессоромъ элоквенціи, какъ является замѣчательнѣйшее trio. Рядомъ съ нѣмецкимъ берейторомъ всея Россіи, стегающимъ ее по всѣмъ правиламъ верховой школы, является помѣщичья оппозиція Волынскаго, нечистаго на руку, надменнаго въ счастьи и подобострастнаго въ бѣдѣ, бьющаго по шекамъ Третьяковскаго, этого полнаго представителя императорски-казеннаго образованія.

Въ жалкой и подлой фигурѣ пресмыкающагося профессора, требующаго плату за побои и дѣлающаго доносъ на Волынскаго, когда онъ былъ въ цѣпяхъ, въ фигурѣ этого шута и „поэты", воспѣвающей *императрицѣ* Анну Іоанновну и ея берейтора, такъ и видишь патріарха современной журналистики и ур-ректора посылающаго, чертъ знаетъ почему, телеграммы Бергу и Муравьеву съ своего обѣда. А Волынскій то какъ живо и ясно представляетъ плантаторскій либерализмъ, отъ двухъ-трехъ тысячь душъ, либерализмъ экзотическій, размашистый, неопредѣленный и всегда готовый, какъ Осипъ, клясться, что онъ не валялся на барской постели, что ему вовсе не нужно на ней валяться.

Изъ этихъ элементовъ, въ разныхъ сочетаніяхъ, и разныхъ костюмахъ, изъ этой круговой поруки правительства и общества, питающихъ другъ друга своимъ ядовитымъ молокомъ, и составляется тотъ характеръ безпощадности—со стороны правительства и потворства со стороны общества, сдѣлавшій возможнымъ все на свѣтѣ—заливаніе малороссіянъ холодной водой на морозѣ при Биронѣ, засѣканье сотнями людей при Аракчеевѣ, вздергиваніе раненыхъ на висѣлицу при Александрѣ II...

Жестокости дѣлались вездѣ, жестокость вообще слишкомъ общечеловѣческая черта, чтобъ принадлежать какой нибудь странѣ, но мы обращаемъ вниманіе на особый характеръ жестокостей, совершаемыхъ въ Россіи. Пугачевъ вѣроятно былъ-бы казненъ вездѣ въ Европѣ, но нигдѣ не нашелся бы Панинъ, который бы ему, скованному, далъ пощечину. Вездѣ есть болтающія бабы, доносчики и полицейскія преслѣдованія, но нигдѣ не было, чтобы изъ столицы въ столицу ѣздилъ Шишковскій сѣчь барынь, статсъ-дамъ по вычочайшему повелѣнію... такъ какъ нигдѣ не было за послѣднія два столѣтія слѣдствія, подобнаго тому, которое дѣлалось въ Новѣгородѣ послѣ убійства грязной любовницы Аракчеева.

— Откуда же взялся этотъ характеръ?

Какимъ образомъ мы дошли до того, что какой нибудь юноша, воспитанный на женскихъ рукахъ и на французскомъ языкѣ, дѣлаясь офицеромъ, хладнокровно сѣкъ солдатъ и билъ ихъ собственными руками; дѣлаясь чиновникомъ — кралъ, допрашивалъ подъ розгами и подавалъ шинель и калоши начальнику, или требовалъ, чтобъ другіе чиновники подавали ему?

Все это выросло на томъ *материкѣ*, на которомъ укрѣпилась, какъ говоритъ литераторъ крѣпостниковъ, россійская имперія.

Развѣ каждый господскій домъ не представлялъ полную школу рабства, разврата и тиранства, отсутствіе всякаго уваженія къ сѣдымъ волосамъ, всякаго сожалѣнія къ дѣтскому возрасту, къ дѣвичьему стыду; гарантированный правительствомъ, поддерживаемый полиціей, судомъ, войскомъ, церковью, произволъ, безгранично идущій до встрѣчи съ властью, передъ которой сѣкущій, гордый, помѣщикъ дѣлался вдвое большимъ холопомъ, чѣмъ его несчастный рабъ. Чему же дивиться, что окончившіе курсъ воспитанія въ этихъ заведеніяхъ, несутъ на всю жизнь слѣды его?

— Гдѣ Иванъ? — спрашиваетъ барыня за обѣдомъ, видя, что супъ подаетъ Семенъ.

— Мамаша, отвѣчаетъ какой нибудь мальчикъ десяти лѣтъ — папа его послалъ въ часть.

— Я его, мошенника, велѣлъ поучить, онъ давича мнѣ грубо отвѣчалъ... c'est un caractère acariatre.

И мальчишка думаетъ, что это и резонъ, что Ивана слѣдуетъ высѣчь за то, что онъ неучтиво отвѣчалъ «папасѣ». Онъ съ малыхъ лѣтъ инстинктомъ понимаетъ, *что это материкъ*. Отъ этого ни ему, ни его нѣжной сестрицѣ въ голову не приходило, что кучеръ мерзнетъ часовъ пять, что форейторъ совсѣмъ замерзъ— на то материкъ.

Теперь замѣтьте, что эти школы плантаторства начали закрывать почти вмѣстѣ съ воскресными школами, года два тому назадъ, а вѣдь *Муравьеву объѣдаютъ* не трехлѣтнія дѣти. . . . Что же удивительнаго, что такое прочное основаніе безчеловѣчья, подавляемое умомъ, образованіемъ, при первомъ случаѣ выступаетъ во всемъ своемъ безобразіи. Можетъ удивительнѣе то, что помѣщичье общество, „лобызающее съ Витебскимъ архіереемъ доблести Муравьева“, поддерживается яростно писаками, которыхъ скромное начало теряется между заднимъ крыльцомъ и людской.

Революція 1848 года показала намъ, что самые откровенные и послѣдовательные демократы тѣ, которые по роду и воспитанію принадлежали къ аристократіи, какъ Де-Флотъ, какъ графъ Ворцель. Точно также не было у насъ свирѣпѣйшихъ защитниковъ дворянскихъ правъ, какъ ихъ управляющіе, которые обыкновенно не отличаются столбовымъ происхожденіемъ.

Къ тому же у насъ между дворянствомъ и народомъ развился не одинъ дворовый человѣкъ передней, но и дворовый человѣкъ государства — подъячій. Бѣдная амфибія, мѣщанинъ безъ бороды,

помѣщикъ безъ крестьянъ, „благородный“ чернорабочій безъ роду и племени, безъ опоры, безъ военной посадки, сведенный вмѣсто оброка на взятки, вмѣсто „исправительной конюшни“ на канцелярію и регистратуру, трусъ, ябедникъ и несчастный человѣкъ... подозрѣваемый во всемъ, кромѣ несчастности... Научите его думать, писать не на гербовой бумагѣ, и онъ сдѣлается гигантомъ протеста, или исполиномъ подлости, Бѣлинскимъ, или — вы его назвали...

Страшный опытъ доказалъ намъ, опозоривши насъ передъ честными людьми всего міра, сколько грязи осталось отъ нашего *материка* на насъ; сколько дикаго, въ самомъ дѣлѣ, осталось подъ внѣшней цивилизаціей... Пора намъ въ баню. Прошлый годъ показалъ, что не смотря на освобожденіе дворянъ отъ крѣпостнаго состоянія, въ нихъ осталась не только гнилая кровь крѣпостниковъ, но сохранились съ усовершенствованіемъ всѣ пороки дворни, не выкупленные ни однимъ хорошимъ качествомъ крестьянина.

Пора начать намъ свое нравственное очищеніе, пора ужаснуться тому, что надѣлали въ 1863 году!

— —

РУССКАЯ КОНСТИТУЦІЯ И АНГЛІЙСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Никогда не надобно ни въ чемъ закаяваться. Il ne faut jurer de rien, мы это знали безъ Альфреда Мюссе, а съ нимъ узнали вдвое. И все же человѣкъ такъ слабъ, что все-таки закаявается, и такъ не крѣпокъ—что измѣняетъ слову.

Сколько разъ мы брали твердое и окончательное рѣшеніе не поднимать вздору, который пишутъ здѣшніе журналы и французскіе о Россіи, не поправлять ихъ промахи, не заводить съ ними полемики. Что имъ до насъ за дѣло, и что намъ до ихъ мнѣній.

Два года тому назадъ по поводу гнусныхъ нападокъ на Бакунина, мы напечатали нашъ ультиматумъ, въ которомъ говорили: „Мы протестовали — они продолжаютъ нести свою галиматью.... Наконецъ это надоѣло, впредь ни за друзей, ни за себя мы вступаться не будемъ. Истина этимъ людямъ равнодушна. Россію они ненавидятъ и притомъ *вовсе не правительство*, а вообще все русское и всѣхъ русскихъ. Разбирать, что мы проповѣдуемъ, чего хотимъ — имъ недосугъ, скучно и при общемъ *невѣжествѣ образованія* не легко...

„*Мы чужіе* въ этомъ мірѣ, мы собственно живемъ не здѣсь, а дома. Было время, когда мы думали, что наше призваніе состояло между прочимъ и въ томъ, чтобъ *свидѣтельствовать* передъ Западомъ о возникающемъ русскомъ мірѣ. Это время прошло. Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ событіемъ мы становимся дальше и дальше отъ среды, въ которой жить осуждены нашей дѣятельностью. Мы этого не скрываемъ. Мы остаемся внѣ Россіи только потому, что тамъ свободное слово невозможно, а мы вѣруемъ въ необходимость его высказывать.... Мы не чувствуемъ

благодарности за то, что живемъ здѣсь, и не просимъ ни признанія, ни гостепріимства, ни участія, мы беремъ по праву ту защиту закона, которую свободная страна, безвозмездно, даетъ всѣмъ не преступникамъ"...

И такъ мы года два тому назадъ, *во второй или третій*, послѣдній разъ закаялись отвѣчать иностранной прессѣ и рѣшительно видимъ, что это свыше силъ человѣческихъ. Пока идетъ рѣчь объ насъ, объ людяхъ намъ близкихъ, можно молчать — но когда говорятъ о всемъ народѣ русскомъ, о всей будущности Россіи, и какой-нибудь органъ, пользующійся уваженіемъ Европы (такъ какъ нѣкогда князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ пользовался уваженіемъ Москвы и никто не зналъ почему), начинаетъ судить и рядить о судьбѣ нашей, умѣряя тупость сужденій — ненавистью и смягчая недостатокъ свѣдѣній — избыткомъ страха, молчать невозможно.

Глубже всѣхъ европейцевъ вмѣстѣ чувствуемъ мы, какъ много ненависти *заслужила* Россія и какъ естественны, справедливы, необходимы при отвратительномъ зрѣлищѣ барскихъ пировъ у подножія висѣлицъ, слова строгаго негодованія, порицанія, проклятья. Но мы въ правѣ требовать, чтобъ Россію ненавидѣли за то, что въ ней ненавистно, и насъ возмущаетъ, когда наши *мирные враги* готовы примириться и съ русскими политическими тюрьмами, и съ судьбами Польши и съ мѣрами Муравьева; но не могутъ переломить досады и ненависти ко всякому человѣческому, свободному развитію Россіи, даже еслибъ оно было только въ предположеніи правительства, т. е. мертвое до рожденія.

Аугсбургская газета когда-то откровенно, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, призналась, что Россія свободная, съ своими соціальными стремленіями, опаснѣе Россіи царской, императорской.

Недавно взгрустнулось одному французскому журналу при видѣ русскихъ желѣзныхъ дорогъ и телеграфическихъ линій, и въ пламенномъ порывѣ міроосвобожденія и братства народовъ, онъ съ ужасомъ и мрачнымъ видомъ Даніила, предсказывалъ о страшномъ времени, когда дороги кончатся, телеграфы проведутся—и Россія развернетъ всѣ свои силы.

Мы крѣпились еще. Но вотъ на дняхъ раздался тяжелый, густой, *сытый* голосъ, и мы признаемся, терпѣніе наше лопнуло.

Вотъ въ чемъ дѣло.

Услышалъ *Теймсъ*, и, съ той легковѣрностью, съ которой вообще капиталисты, банкиры и биржевики вѣрятъ всякому вздору, повѣрилъ что Александръ II даетъ конституцію, и даже *обязанъ* ее дать. При этомъ каждый ждетъ, что самый конституціонный органъ самой конституціонной въ мірѣ страны, съ радостью протянетъ свою жирную лапу — странѣ, вступающей въ англійскую колею. Не тутъ-то было, *Теймсъ* обезпокоился, взволновался. . . . Онъ начинаетъ на манеръ извѣстнаго героя фонъ-Визинской комедіи „жалѣтъ матушку, что она устанетъ бить батюшку", печаловаться о затрудненіяхъ, которыя долженъ встрѣтать государь.

Россія, говоритъ онъ, такая страна, что и самъ Сіэсъ отшарахнулся бы отъ задачи *выдумать для* нея конституцію. И это говоритъ не французъ XVIII вѣка, не Вольней, не ученикъ Руссо, а серьезный англійскій журналъ въ 1864 г. отъ Р. Х. — *Выдумать* эту конституцію особенно трудно, потому что если ее дать одному барству, то всѣмъ будетъ хуже и царю и народу — конечно, стоитъ-ли давать такую конституцію!... тутъ мы согласны съ *Теймсомъ*. — Есть классъ хорошій, которому стоитъ дать конституцію, онъ ее во зло не употребитъ, классъ умѣренный и осторожный, но на бѣду, этого класса въ Россіи *нѣтъ*. А конституцію дать надобно, такая слабость у Александра II.

Отстранивши *барство*, котораго у насъ очень много и *буржуазію*, которой у насъ очень мало, *Теймсъ* примѣчаетъ, что есть еще одинъ житель въ нашемъ любезномъ отечествѣ, именно *народъ русскій—мужичики*. И тутъ вдругъ на него нападаетъ паническое негодованіе и благородный страхъ. Дай имъ представительство, они съ дуру представятъ въ Собраніи свои интересы, они увлекутъ „государя въ исполненіе своихъ коммунистическихъ видовъ". Конечно, соединеніе государя съ народомъ разрѣшаетъ бездну затрудненій, сословныхъ, политическихъ, „но, говорятъ, (хитрая инсинуація) государь не согласенъ на это. И пусть онъ хорошенько обдумаетъ прежде чѣмъ рѣшится промѣнять свое теперешнее положеніе во главѣ *блестящей* (вѣроятно шитьемъ на мундирахъ —знаетъ кого чѣмъ взять—что значитъ гостинодворское воспитаніе перваго гостинаго двора въ мірѣ!) аристократіи и должность земнаго провидѣнія надъ обширной страной—на диктатуру огромной демократической вотчины (predial), едва вышедшей изъ рабства и стоящей *ниже* политическихъ интересовъ (below the region of politics), народа невѣжественнаго, фанатическаго, *непостояннаго*, неразумнаго". А потому правительство хорошо сдѣлаетъ, если отыграется отъ конституціи областными учрежденіями—„вмѣсто того чтобъ отдать власть въ руки слѣпаго произвола, невѣжества, глупости и скотства (ignorance stupidity and brutality)". Дѣло сводится на слѣдующую дилемму: дать конституціонныя права, исключивъ этихъ скотовъ—смѣшно; дать и имъ эти права — печально, потому что они представятъ интересы крестьянства. „Крѣпостное рабство—заключаетъ *Теймсъ*—можно было упразднить измѣненіемъ закона, Польшу можно покорить саблей и штыкомъ, но за тѣмъ Россіи предстоитъ борьба съ своимъ внутреннимъ варварствомъ; оно равно не можетъ ни подчиниться, ни быть вбито въ разумъ (dragooned into intelligecne). А потому *прежде чѣмъ* давать конституцію, государь долженъ *воспитать* новое поколѣніе къ пониманью своихъ правъ и къ исполненію своихъ обязанностей".

Что-же это, Катковъ что-ли издаетъ и эти Вѣдомости?

Или не готовитъ-ли его *Теймсъ* изъ ненависти къ Россіи въ іеровоспитатели „цѣлаго поколѣнія всея Россіи?"

Считать народъ, сохранившій подъ двойнымъ рабствомъ крѣ-

постнаго состоянія и государственной бюрократіи свое общинное самоуправленіе, народъ удержавшій свои экономическія начала противъ напора иностраннаго законодательства, не утратившій ни выборности общинныхъ должностей, ни своего смысла расправы и суда, который онъ доказалъ на другой день послѣ своего освобожданія—устройствомъ волостныхъ судовъ (столь ненавистныхъ москворѣцкому Теймсу и прочимъ крѣпостникамъ), считать его неспособнымъ *къ справедливому пониманью* своихъ интересовъ, и ставить его не только на равнѣ, но ниже лаццарони западной цивилизаціи, *варваровъ* буржуазныхъ государствъ, могутъ только люди никогда не думавшіе ни о Россіи, ни о своей будущности.

И это не все — рядомъ съ этимъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ къ народу русскому, съ этимъ наименнымъ желаніемъ оттѣснить его въ сферы зоологіи, похвальное слово юнаго и неопытнаго М. Р. Гран'Дофа русскимъ политическимъ тюрьмамъ въ *Вильнѣ* и *Варшавѣ*. Что русское начальство, обманывающее ежегодно при ихъ путешествіяхъ, одного государя, четырехъ великихъ князей, неопредѣленное число министровъ, ихъ товарищей, ревизоровъ, контролеровъ, инспекторовъ, директоровъ, бросило пыль въ глаза путешественнику, насъ не удивляетъ; еще меньше удивляемся мы отроческой наивности, безхитростному простосердечію англійскаго туриста. Ихъ милая простота, дѣтское незнаніе и удивленіе, едва-ли уступаютъ дѣвичьему простодушію тирольскихъ молочницъ. Но мы вправѣ удивляться, что *Теймсъ*, помѣщающій мѣсяцевъ десять къ ряду разсказы объ ужасахъ, совершаемыхъ въ русскихъ судахъ и тюрьмахъ, поднявшій страшную исторію о женѣ и матери Сѣраковскаго, помѣстилъ безъ малѣйшей оговорки это школьное упражненіе пера, въ которомъ Муравьевъ представляется строгимъ, но добрымъ отцомъ подсудимыхъ, которыхъ имѣетъ слабость вѣшать ежедневно, а полковникъ Лебедевъ сестрой милосердія, съ усами и шпорами.*)

Случайно-ли попали эти статьи въ близкое сосѣдство, или нѣтъ, намъ все равно. Обѣ бросаютъ легкій свѣтъ на внутреннюю мысль Теймскаго воззрѣнія на Россію.

Что ему за дѣло какъ содержатъ и какъ вѣшаютъ поляковъ да и русскихъ?.... польскій вопросъ имъ давно надоѣлъ. Неумытный судъ Муравьева и попечительность Лебедева о тюрьмахъ никогда не перейдутъ въ Англію. Это такъ, но чего-же онъ печалится о томъ, что наша безпутная, рабская „аристократія“ потонетъ какъ ручей въ морѣ — въ народномъ представительствѣ? Почему ему хочется, чтобъ императоръ Александръ былъ окруженъ блестящей „аристократіей“? чего онъ боится русской конституціи, и отдаляетъ ее по крайней мѣрѣ на пятнадцать лѣтъ?

—Да все эти проклятые „коммунистическія стремленія“... *Пра-*

---

*) Письмо Гран'Дофа, какъ и слѣдовало ожидать, не только воспроизведено въ Nord'ѣ и „Моск. Вѣд.“, но и наказано похвалой ихъ редактора.

во на землю—aggrarian outrage, а какъ оно-то признается.... это ужъ будетъ не *аграрная обида*, а аграрный примѣръ, хуже всего что проповѣдуетъ Кобденъ, Брайтъ и вся манчестерская партія съ ними.

Колоколъ №№ 180 и 181.
1 Марта 1864 года.

ПИСЬМА КЪ БУДУЩЕМУ ДРУГУ.

NB. Авторъ этихъ писемъ былъ въ большомъ затрудненіи, и только недавно вышелъ изъ него. Ему хотѣлось писать о всякой всячинѣ, т. е. исключительно о русской всякой всячинѣ, для этого форма письма самая широкая, она свободна какъ женская блуза, нигдѣ не шнуруетъ и нигдѣ не жметъ. По несчастью, у него не оказалось въ наличности ни одного отсутствующаго друга, по крайней мѣрѣ такого, который желалъ бы что нибудь знать, ни такого, которому хотѣлось бы что нибудь писать. Единственный человѣкъ, который могъ бы выручить автора, живетъ съ нимъ черезъ корридоръ, что дѣйствительно не мѣшаетъ имъ иногда переписываться, но все же не въ такой степени, чтобъ изъ ихъ переписки сдѣлать литературную корреспонденцію.

Занятый этимъ предметомъ, авторъ вспомнилъ *предвареніе человѣка*, открытое императорскимъ почтамтомъ въ Россіи (кому въ самомъ дѣлѣ и умѣть открывать все запечатанное для другихъ, какъ не ему?). Если можно путешествовать по подорожной съ *будущимъ*, отчего же съ нимъ нельзя переписываться. Авторъ самъ былъ *будущимъ* въ одномъ, *давно прошедшемъ* путешествіи, а *настоящимъ* былъ Васильевъ, рядовой жандармскаго дивизіона.

Взявъ все это въ разсчетъ, авторъ рѣшился писать къ *будущему другу*, желая отъ всей души, чтобъ онъ сохранилъ свое доброе здоровье до первой встрѣчи съ нимъ, впередъ радуясь пріятному будущему знакомству.

Письмо Первое.

Будущій другъ,

Извините, что я къ вамъ пишу, не зная порядкомъ, сколько вы заняты и много ли у васъ времени праздного или лучше скучнаго, которое вы хотѣли бы разсѣять невеселой бесѣдой человѣка, начинающаго старѣть и продолжающаго ворчать...

Я долго крѣпился... но силъ не стало. Русскія новости и русскіе журналы дѣйствуютъ на меня какъ дурманъ или какъ пневматическая машина, я чувствую безпокойство чижа въ безвоздушномъ пространствѣ, я задыхаюсь, мнѣ кажется, что я, вы, мы оскорблены, унижены тѣмъ, что съ нами, при насъ, смѣютъ такъ говорить—злоба кипитъ, является желаніе мести, самозащищенія...

Долго думалъ я, что бы сдѣлать, чтобъ отвести душу, сначала

придумалъ составить небольшую хрестоматію à la Noël et Chapsal изъ образцовыхъ усердій, преданностей, фискальствъ и проч. Журналы забываются, хрестоматіи — остаются. Обложилъ я себя, какъ Лазарь, всѣмъ гноемъ, привезеннымъ за Декабрь мѣсяцъ изъ-за Бельта и Зунда, съ бреговъ счастливой Невы и благоразумной Москвы-рѣки.

Сначала все шло хорошо, я пріискалъ заглавіе и началъ, какъ ветошникъ, удить въ отечественныхъ канавахъ нашей журналистики.... На всякій случай я вамъ сообщу, мой любезный будущій другъ, мой futur, написанный мною проспектъ-специменъ:

Перлословіе.

Подъ этимъ многознаменательнымъ названіемъ вознамѣрились мы низать крупицы, падающія съ богатаго стола нынѣ пирующихъ сановниковъ и іерарховъ русской мысли. Мы равно будемъ низать на наши четки, на наши ожерелья — духовно-полицейскіе апофтегматы Аскоченскаго и военносудныя сентенціи Каткова, бусы максимъ Громеки и капли оффиціознаго воска, очищенныя отъ меда сѣверныхъ пчельниковъ и иныхъ вертоградарей россійскихъ, ежедневниковъ и мѣсячниковъ, наиболѣе апробованныхъ, поощренныхъ и взысканныхъ милостями высшаго начальства. Безъ излишней самонадѣянности думаемъ мы, что такое ожерелье равно пригодится старцу, женщинѣ, квартальному и ребенку для образованія ума, сердца и руки — да и руки. Ибо рѣдкое перлословіе не напоминаетъ прописей — здоровая мысль въ здоровомъ почеркѣ, гораздо важнѣе, чѣмъ думаютъ нигилисты.

Но такъ какъ самыя пламенныя „пожеланія“,*) все-же имѣютъ

*) Желанія — c'est commun, vulgar, монархи, архіереи и сильные міра сего говорятъ въ важныхъ случаяхъ „пожеланія“. Эта та извѣстная разница Сергѣя и Сергія, сорочки и рубахи, которую мы не разъ объясняли. Послѣ новаго года государь-редакторъ „Моск. Вѣд.“ обратился къ крѣпостникамъ разныхъ областей своихъ, „къ князьямъ, боярамъ, воеводамъ, пришедшимъ (письменно) за Донъ отыскивать свободу крѣпостнаго права и благодарить Е. в. за поддержку Муравьева — съ слѣдующими царственными словами: „Мы заключаемъ истекающій годъ изъявленіемъ благодарности нашимъ читателямъ, которые выраженіемъ своего сочувствія подкрѣпляли насъ въ нашей дѣятельности и теперь напутствуютъ насъ на дальнѣйшій трудъ. Эти сотни писемъ, которыя приходятъ къ намъ со всѣхъ концовъ Россіи отъ людей всѣхъ классовъ и званій. мы сохранимъ какъ дорогое свидѣтельство, что дѣятельность наша была не безплодна, и что она дѣйствительно была органомъ русскаго общественнаго мнѣнія. Никогда еще, сколько мы знаемъ, между газетою и обществомъ не устанавливалась такая несомнѣнная связь, какая въ настоящемъ году соединила „Московскія Вѣдомости“ съ ихъ читателями. Мы были бы не въ состояніи отвѣчать на каждое изъ этихъ заявленій; но мы не мо-

преграды, не смотря на эпиграфъ „Man kann was man will“ избранный Н. А. Полевымъ, (столь преждевременно опочившимъ отъ полезныхъ трудовъ своихъ, не предвидя какъ много послѣ него разведется въ отечествѣ нашемъ — Телеграфовъ и Булгариныхъ), то мы и признаемся откровенно, что по дальности мѣстожительства, не имѣемъ возможности слѣдить за всѣми сокровищами, поистинно-обильной словесности нашей, особенно съ незабвенныхъ временъ, въ которыя отечество наше было постигнуто прогрессами. А потому—мы съ благодарностью примемъ каждую крошку и крупицу, смѣтенную съ лукулловскаго стола отечественныхъ Музъ, возлежащихъ пышнымъ вѣнкомъ голубыхъ васильковъ около чадолюбивой Паллады-Головнина.

Не стѣсняясь излишне строгой классификаціей, мы однако будемъ придерживаться системы, съ успѣхомъ употребленной въ народныхъ пѣсенникахъ, издававшихся въ началѣ нашего столѣтія.

Всѣ афоризмы, апофтегматы, изрѣченія, сентенціи и максимы мы будемъ дѣлить на:

I. Любовныя a) *Любовь къ доносамъ*,
b) *Любовь къ „энергіи“*,
c) *и проч.*

II. Военныя *Съ включеніемъ корпуса жандармовъ.*

III. Мирныя *Съ включеніемъ управы благочинія и Московскихъ Вѣдомостей.*

IV. Театральныя и т. д.

Но передъ первой рубрикой мы помѣстимъ какъ и слѣдуетъ безъ цифры (числа и мѣры нѣтъ!) отдѣлъ

Богословскій a) *Богословіе смирительное*,
b) *Богословіе уголовное или сѣкобогословіе.*

NB. Барковъ православія Аскоченскій и Катковъ безпоповщинцовъ Ермиловъ, облегчатъ намъ весьма этотъ важный по нравственному значенію отдѣлъ. Эти великіе сподвижники и ратаи блѣднѣющей власти духовной — не холодные „Камни Вѣры“, а такъ сказать каменная болѣзнь православной церкви и неправославнаго кладбища.

Иногда мы дозволимъ себѣ, и то только въ нужныхъ мѣстахъ, приличныя поясненія, но никогда не дозволимъ неприличныя.

жемъ не упомянуть о нѣкоторыхъ полученныхъ нами коллективныхъ письмахъ. Мы благодаримъ дворянъ *Пензенскаго* уѣзда, и чувствуемъ всю силу нравственнаго обязательства, которое возлагаютъ на насъ ихъ добрыя *пожеланія*; мы благодаримъ также дворянъ разныхъ уѣздовъ *Рязанской* губерніи,“ и проч. и проч. и проч.

Въ рескриптѣ, данномъ на дняхъ генералу Граббе, другой государь говоритъ: „Павелъ Христофоровичъ! Выраженныя вами отъ лица войска донскаго *пожеланія* по случаю наступленія новаго года, я пріемлю, какъ — ну, т. е. какъ Катковъ принимаетъ усердіе своихъ Пензяковъ, Рязанниковъ и проч.“

Напримѣръ, когда маститый М. П. Погодинъ говоритъ, а *Моск. Вѣд.* повторяютъ о томъ, „что прежде нежели думать объ освѣщеніи московскихъ улицъ газомъ или фотогеномъ, нужно подумать о томъ, чтобъ городъ имѣлъ полицію“ — не слѣдуетъ комментировать, стоитъ только пожалѣть бѣдное и обширное отечество наше, все имѣющее, и свободу, и законы, словомъ все, и неимѣющее *полиціи*.

Или когда самъ Катковъ въ статьѣ, направленной противъ Суворова (Моск. Вѣд. 31 Декаб.) и слабыхъ душъ въ правительствѣ не купающихся съ наслажденіемъ въ польской крови, велерѣчиво говоритъ: „Эти люди въ польскомъ помѣщикѣ готовы видѣть жертву, но русскаго помѣщика, *который былъ главнымъ орудіемъ государственной жизни Россіи*, они готовы бы были затравить всѣми собаками“.... Что-же тутъ прибавлять, развѣ ободреніе помѣщикамъ, что отъ всѣхъ людей и отъ всѣхъ собакъ ихъ спасетъ, ихъ упокоить и отогрѣетъ редакція Московскихъ Вѣдомостей.

Но когда максима Громеки упрекая (не безъ оговорокъ въ взаимномъ уваженіи) Каткова въ томъ, что онъ „воздвигъ гоненія даже на малороссійскія азбуки“, ставитъ ему въ вину, что онъ „приглашаетъ прекратить гоненія на всю раскольничью литературу, на твердо организованныя секты, на изувѣровъ, непризнающихъ ни *бога*, ни властей, ни брака, ни собственности“, восклицаетъ: «Развѣ расколъ не интрига!» — нельзя не сказать нѣсколько словъ.

Отдавая полную справедливость искусному движенію краснорѣчія и вполнѣ соглашаясь, что если *брака нѣтъ*, то конечно это *интрига*, читатель все-же въ правѣ спросить, какія же именно секты не признаютъ *бога?* Конечно тутъ считано на одно ораторское движеніе и на рикошетъ, конечно similia similibus можно приложить къ доносамъ, но тогда надобно быть увѣрену, что контръ-доносъ можетъ быть вреденъ одному Каткову. Въ сущности что за бѣда, что Муравьевъ кого-нибудь не повѣситъ, Катковъ кого нибудь помилуетъ, кому нибудь смирволитъ.... Петербурцы думаютъ, что все дѣлается изъ корысти—нѣтъ, многое дѣлается и просто изъ выгоды, изъ обмѣна братскихъ послугъ...

...Au clair de la lune
Mon ami Katkoff,
Prête moi ta plume,
Je signe Ermiloff!

...На этой пѣсни я запнулся и далѣе ни мой specimen-prospectus, ни мое низаніе перловъ не пошло. Мнѣ попалась такая жемчужина, что я остановился:..

Беру свѣжій листъ «Московскихъ Вѣдомостей» и читаю:

„Мятежные помѣщики (августовской губ.) не забыли и слабыхъ сторонъ человѣческаго сердца, (для привлеченія крестьянъ къ возстанію) они во многихъ мѣстахъ простили чиншъ крестьянамъ и подарили имъ землю, подъ условіемъ ратовать совмѣстно съ

ними за отчизну; но и это не пошло имъ впрокъ; крестьяне чинша не заплатили, а возмутителей выдали".

Есть гнусности, надъ которыми смѣшное не имѣетъ призу, онѣ слишкомъ гадки, гадки до какой-то нѣмой печали. Какъ долженъ былъ пасть отъ рабства народъ, который одной рукой беретъ даръ, а другой сѣдлаетъ клячу, чтобъ скакать съ доносомъ на того, котораго сей часъ благодарилъ за его даръ. Это ужасно. И замѣтьте, что коронный журналистъ передаетъ это, не только безъ малѣйшаго порицанія, но чуть ли не съ улыбочкой.

Бросаю „Вѣдомости" и беру „Русскій Вѣстникъ". Развертываю статью о „Гайдамачинѣ" и читаю (дѣло идетъ о взятіи Желѣзняка). «Генералу Кречетникову велѣно было отправиться подъ Умань, гдѣ находился Желѣзнякъ. . . . Казаки не знали, зачѣмъ явились войска. Кречетниковъ, *избѣгая кровопролитія*, рѣшился захватить гайдамаковъ хитростью. Устроивъ свой обозъ, онъ послалъ просить къ себѣ Желѣзняка и старшинъ; велѣлъ сказать имъ, что у него есть до нихъ важное дѣло. Казацкіе старшины отказались ѣхать къ Кречетникову. Тогда, взявъ съ собой нѣсколькихъ офицеровъ, онъ самъ отправился въ казацкій лагерь. И генералъ, и офицеры старались быть какъ можно *любезнѣе съ казаками* и предлагали имъ вмѣстѣ идти противъ конфедератовъ. Послѣ этого перваго посѣщенія, Кречетниковъ *ежедневно* бывалъ въ казацкомъ лагерѣ, и скоро успѣлъ уничтожить въ казацкихъ старшинахъ всякую тѣнь подозрѣнія.

«Такъ прошло нѣсколько дней. Остальныя войска уже приближались и Кречетниковъ рѣшился приступить къ развязкѣ. Однажды онъ объявилъ старшинамъ, что уже пришло время идти *противъ конфедератовъ*, и пожелалъ передъ походомъ обозрѣть войско въ боевомъ порядкѣ и осмотрѣть оружіе и прочія походныя принадлежности. *Ничего не подозрѣвая*, старшины велѣли казакамъ собраться вмѣстѣ, пригнать лошадей и сложить въ одно мѣсто для обзора сѣдла, оружіе и прочую аммуницію.

«Послѣ смотра Кречетниковъ позвалъ казаковъ на пиръ. У него было заранѣе приготовлено большое количество вина, меду и другихъ напитковъ. Русскіе солдаты получили приказаніе остерегаться много пить, а болѣе подчивать казаковъ. Старшины были приглашены въ ставку генерала, гдѣ Кречетниковъ не жалѣлъ для нихъ вина. Казаки загуляли, вино лилось рѣкой. Это былъ послѣдній казацкій пиръ: *впереди ихъ ожидала тяжелая участь.*

«Ночью, когда въ казацкомъ лагерѣ все спало мертвецкимъ сномъ, Кречетниковъ отдалъ приказъ полку донскихъ казаковъ, еще во время пира незамѣтно приблизившемуся къ лагерю и ожидавшему условленнаго сигнала двинуться въ лагерь, захватить сложенное въ одномъ мѣстѣ оружіе, забирать лошадей, вязать казаковъ, но не стрѣлять, чтобы не надѣлать шуму. Войска въ точности выполнили приказъ. Оружіе было взято и сонныхъ, безоружныхъ казаковъ начали вязать. Желѣзнякъ и Гонта были захвачены вмѣстѣ съ другими старшинами и атаманами. На слѣду-

ющее утро плѣнники спросили Кречетникова, что значитъ этотъ плѣнъ и его поступокъ съ ними. Кречетниковъ отвѣчалъ, что по приказанію русскаго правительства, онъ долженъ былъ взять ихъ какъ разбойниковъ. Запорожцы были отправлены въ Кіевъ; поселянъ и казаковъ заднѣпровскихъ Кречетниковъ отдалъ польскому рейментарю Іосифу Стемпковскому и субальтерну его Якову Комаровскому. Желѣзнякъ пошелъ въ Кіевъ, Гонта остался въ рукахъ поляковъ.

«По произведенному въ Кіевѣ слѣдствію 154 казака были разосланы во внутренніе гарнизоны; 6 человѣкъ пошли въ Сибирь; нѣкоторые были наказаны кнутомъ.

«Надъ гайдамаками заднѣпровской Украйны, отданными въ руки польскаго правительства, былъ учрежденъ генеральный военный судъ. Исполнителемъ приговоровъ этого суда былъ рейментарь украинской партіи, Стемпковскій. Какъ отъ суда, такъ и отъ жестокой личности рейментаря Стемпковскаго нельзя было ожидать гайдамакамъ ни пощады, ни милосердія. Стемпковскій хотѣлъ было казнить Гонту тотчасъ-же по взятіи его, но имѣя въ отрядѣ только 400 человѣкъ, онъ боялся остаться лишній день и повелъ Гонту съ товарищами къ Могилеву на Днѣстрѣ. Тамъ, недалеко отъ Могилева, въ селѣ Сербовѣ, остановились палачи съ своими жертвами. Гонтѣ былъ прочитанъ приговоръ, по которому казнь распредѣлялась на четырнадцать дней. Онъ выслушалъ приговоръ хладнокровно и стоически приготовился къ смерти. Началась лютая казнь. Гонта героически вынесъ ее, не просилъ ни пощады, ни помилованія. Отрубленную голову его воткнули на колъ, а тѣло было разрублено на 14 частей и развѣшено въ различныхъ мѣстахъ на 14 висѣлицахъ».

И народъ долго помнилъ казнь Гонты и пѣлъ—

Підкинувшись підъ Умань, Гонту изловилы.
Вони-жь іого на самъ передъ барзо привітали,
Черезъ сімъ дней зъ іого кожу на полі здирали.
И голову облупили, сілью насолили,
Потімъ ему якъ чесному назадъ положили.

И такъ вотъ нравственный результатъ великаго *материка* рабства. . . . вотъ каково было *главное* орудіе государственной жизни въ Россіи, и вотъ что сдѣлано этимъ орудіемъ изъ народа. Вѣдь это страшно! Масса — потерявшая чувство *правды* отъ двойнаго гнета. Холопская аристократія, генералы и офицеры, играющіе роль царскихъ капканщиковъ—дружески бесѣдуютъ, пьютъ цѣлые дни, чтобъ безъ малѣйшей опасности перехватать людей вѣрившихъ и не безъ основанія, въ помощь Россіи, и выдать ихъ — ихъ злѣйшему врагу...

Какое-же искупленіе будетъ достаточно и народу, и правительству, и его дворнѣ и развратникамъ слова наши?...

Прощайте—невозможно продолжать.

—

Письмо Второе.

Отлегло не много на сердцѣ... я опять къ вамъ... ну надѣвайте-ка охотничьи сапоги, съ высокими голенищами, и пойдемъ мѣсить грязь и продираться разными чапыгами родныхъ болотъ и сѣчей.

Куда идти? — Да вотъ по дорогѣ, страшная, двухмѣсячная маремма „Отечественныхъ Записокъ", рыхлая, глинистая... лѣтъ двѣнадцать тому назадъ и она, какъ нѣкогда болота понтійскія, была плодоносна... но вы знаете что подъ солнцемъ—(а, можетъ, и надъ нимъ) ничто не непрочно.

Съ „Отечественными Записками" былъ между прочимъ года два тому назадъ переломчикъ; обожглись онѣ самымъ непріятнымъ образомъ на пожарѣ Апраксинскаго двора, явившись на пепелищѣ онаго, безъ всякой нужды, какими то саперами предкатковитами и требуя небывалыя казни *зажигателямъ*, тоже небывалымъ. Ошибка была очевидна: начальство, скупавшее тогда подешевымъ цѣнамъ на конной въ Москвѣ — игроковъ, шулеровъ, школярей, риторей, не приняло „Отеч. Записки" *за свои*, а честная сторона публики отшарахнулась отъ нихъ, (это было до патріотической моровой язвы). Сердится Андрей Александровичъ, сердится Громека, „все это крайнія мнѣнія, рѣзкія сужденія, не надобно крайнихъ мнѣній, не надобно рѣзкихъ сужденій—надобно ничего не рѣжущій, обоюдотупой мечъ, чтобъ всякій разъ, когда вы ничего не рѣжете, каждый, не чувствуя боли, могъ-бы думать, что вы рѣжете его противника".

За тѣмъ вершины „Отечественныхъ Записокъ", для перемѣны декораціи, подернулись туманомъ благоразумія и потеряли очертанія односторонностей; величественная масса облаковъ, которыя можно принять за верблюда и за рыбу, какъ въ Гамлетѣ, и которыя въ сущности *ни рыба ни мясо*, покрыли ихъ. Своей двуснастной натурой, онѣ напоминаютъ намъ во-первыхъ опять таки болото, которое не земля, да и не вода, во-вторыхъ одного русскаго помѣщика, проживавшаго въ Парижѣ лѣтъ 15 тому назадъ. Онъ довелъ свое бѣгство отъ крайностей и свою многосторонность до того, что лишился всякой способности заказать себѣ штаны или сюртукъ. „Мнѣ бы хотѣлось", толковалъ онъ портному, „просто сюртукъ, чтобъ можно было гулять утромъ, разумѣется, все-же чтобъ запросто вечеромъ можно было въ немъ куда-нибудь идти—вы ужъ пожалуйста не очень узко пускайте, иногда въ дурную погоду придется его вмѣсто пальто надѣть, только сдѣлайте одолженіе не слишкомъ широко, такъ чтобъ и пальто можно было сверхъ него надѣть".

По несчастію сбивчивость понятій обязываетъ не меньше дворянства, не только къ безвредной и прѣсной галиматьѣ, но и къ дѣйствительностатскосовѣтническому взгляду на дѣла людскія, важно скрывающему неважное содержаніе свое, къ жаждѣ чиновитой *респектабельности*, къ привычкѣ говорить нѣсколько въ носъ о

заблужденіяхъ молодежи и къ легкому усилію соединять съ несомнѣннымъ либерализмомъ полицію и справедливость къ благодѣтельнымъ видамъ правительства.

Все это очень старо и потому вынести можно; но когда какой нибудь литературный охотникъ Записокъ ставитъ почтеннаго автора „Записокъ Охотника“ на ряду съ моей внучатной бабушкой Фаеной Егоровной, этого допустить нельзя. Но я забылъ, что вы обязаны знать, кто сочинитель „Записокъ Охотника“, но вовсе не обязаны знать кто была Фаена Егоровна. Ихъ было двѣ, т. е. не двѣ Фаены Егоровны, а у нея была сестра не Фаена Егоровна; у каждой сестры былъ мужъ въ незапамятныя времена и тогда-же умеръ. Не-Фаена Егоровна поселилась въ Троицкосергіевской Лаврѣ и занялась исключительно богомольемъ. Фаена Егоровна поѣхала въ Орловскую деревню, и занялась не только духовнымъ хозяйствомъ, но и сельскимъ. Она иногда, года черезъ два-три наѣзжала въ Москву; все это принадлежитъ къ тѣмъ временамъ, когда гражданинъ Бушо преподавалъ мнѣ сюбжонктивы и французскую революцію, а гражданинъ московскаго университета Думы Рылѣева и ариѳметику.

Пріѣзжаетъ такимъ образомъ однажды Фаена Егоровна сперва въ Москву, потомъ въ нашъ домъ. Вышла она за чѣмъ-то въ дѣвичью, и видитъ, что пожилая горничная учитъ грамотѣ какую-то дѣвочку. — „Мать пресвятая богородица“—взговорила, остановившись въ дверяхъ Фаена Егоровна. „Это что? съ какой это стати и къ чему дѣвочкѣ знать грамотѣ—въ полномъ-ли умѣ баринъ-то вашъ? Гдѣ ты-то сама безстыдница набралась въ книжку читать, вѣдь я тебя помню когда ты босикомъ бѣгала и мать твою курносую дуру помню“ и разсерженная старуха съ нѣкоторой горестью и участіемъ къ дѣвочкѣ, говорила моему отцу: „Не хорошо, мой другъ, не хорошо (слово *несвойственно*, не употреблялось въ тѣ патріархальныя времена)—къ чему, подумай, она выучится читать — раба!.... служить надобно, покоить господъ.... а тутъ то-ли на умѣ... пѣсни гадкія прочтетъ... Чего добраго, выучится читать—выучится писать, и напишетъ любовную цидулку“.

По странному стеченію географическихъ случайностей, въ то время какъ Орловская помѣщица проповѣдывала этотъ путятинскій взглядъ на народное образованіе, въ той-же Орловской губерніи беззаботно бѣгало въ своемъ саду въ красненькой рубашечкѣ, подпоясанной торжковскимъ пояскомъ двухъ-трехлѣтнее дитя, о которомъ вотъ что пишутъ въ четверомѣстной книжкѣ „Отечеств. Записокъ“:

„Г. Тургеневъ, желая выразить, до какой уродливости можетъ доходить эмансипація дѣвушки, вывелъ въ своемъ романѣ „Отцы и дѣти“ нѣкую Кукшину, занятую въ Гейдельбергѣ эмбріологіей. Онъ думалъ, что этимъ поразитъ на голову несвойственныя женщинамъ занятія. И однакожъ, онъ рѣшительно не достигъ цѣли, сколько можемъ судить по существующимъ и процвѣтающимъ у насъ Кукшинымъ. Спрашивается отчего, казалось бы, ударъ, на-

правленный такъ вѣрно, не удался? Предполагаемая ложь осталась жувущей въ обществѣ, и намъ случилось читать одинъ рукописный разсказъ, гдѣ именно, на перекоръ г. Тургеневу, молодая дѣвушка, бесѣдуя въ самомъ интимномъ tête à tête, разсказываетъ своему *милому* цѣлый курсъ эмбріологіи. Повѣсть именно написана для доказательства, что ни чувство дѣвической скромности, ни та стыдливость, которая выработана двухтысячелѣтнею христіанскою цивилизаціей, нисколько не шокируется подобнымъ разговоромъ, подобнымъ занятіемъ.

„Все это доказываетъ только, что г. Тургеневъ слишкомъ вскользь коснулся того вліянія, тоторое требовало болѣе всесторонней разработки, которое проявляется не въ однихъ безобразныхъ Кукшиныхъ".

Не смѣю сомнѣваться въ словахъ ученаго критика, но признаюсь откровенно, онъ не убѣдилъ меня. Я читалъ все, что писалъ Тургеневъ, не только хорошее, но и дурное. Тургеневъ очень умный человѣкъ, у него бездна образованія, такта и вкуса. Какъ же я повѣрю, что онъ „думалъ Кукшиной поразить на голову *несвойственныя* занятія женщинамъ", понимая подъ ними *физіологію?* Не вѣрю, да и только. Лице Кукшиной вообще неудачно и пошло... Тургеневъ слабъ и даже плохъ тамъ, гдѣ онъ, насилуя свой талантъ, пишетъ на заданную политическую и полемическую тему; онъ впадаетъ въ шаржу и Кукшина также не типъ, а карикатура, какъ князь Луповицкій К. Аксакова. Особеннаго вреда въ этимъ паясничествахъ нѣтъ; назначаемыя для потѣхи извѣстнаго райка, намалеванныя яркими красками, иногда избалованной кистью зазнавшагося мастера, иногда памфлетистомъ для того, чтобъ пріударить противниковъ, они не имѣютъ серьезнаго значенія, и тѣмъ паче такого громаднаго значенія, какъ г. критикъ приписалъ Тургеневу. Вѣдь не у Тургенева размягчился мозгъ въ Парижѣ, чтобъ можно было думать, что онъ поддерживаетъ мнѣніе Фаепы Егоровны объ исключеніи женщинъ изъ науки и о томъ, что плохой фарсой „онъ на голову побилъ" вопросъ, стоящій теперь на первомъ планѣ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ.

Что женщина, занимающаяся эмбріологіей, можетъ быть очень смѣшна и очень противна, это правда; но и то правда, что въ комедіяхъ Островскаго вы найдете женщинъ еще смѣшнѣе и еще противнѣе, никогда не занимавшихся теоретической эмбріологіей. Стало быть, если за это кого нибудь надобно казнить, то не теоретическую и не практическую эмбріологію, а женщинъ вообще.

Запретить ихъ какъ нибудь на французскій манеръ конечно можно и дѣло пойдетъ какъ по маслу:

§ 1. Женскій полъ отмѣняется.

§ 2. Родъ человѣческій раздѣляется по сбразу кавалеріи на два мужскихъ пола:

a) Тяжелый мужской полъ.

b) Легкій мужской полъ (прежде бывшій женскій).

Тогда у женщины не отнимется возможность изъ *матери-самки*

перебраться хоть черезъ Кукшину, но все таки къ человѣческому значенію. Тогда не будутъ имъ запрещать учиться вообще или дозволять учить только до такой-то главы, какъ въ старые годы гувернанты особенно назначали барышнямъ тѣ страницы, которыхъ читать не надобно.

Говорить о несвойственности эмбріологіи для того и другого пола—безумно. Можно заниматься эмбріологіей съ чистотой пречистой дѣвы и читать библію какъ Фоблаза. Грязенъ не предметъ, грязенъ человѣкъ и разумѣется всего грязнѣе монахъ, боящійся чего-то развратнаго во всемъ тѣлесномъ.

Не знаю, приводилось ли слышать издателямъ „Отечественныхъ Записокъ" о томъ, что лѣтъ двѣсти тому назадъ жилъ одинъ еврей, (евреи бываютъ очень богатые люди,*) по прозванію Барухъ Спиноза; оттого-ли, что ему, какъ еврею, не доставало стыдливости, выработанной „двухтысячелѣтней христіанской цивилизаціей", или оттого, что онъ не родился въ Орловской губерніи, но только онъ тогда еще проповѣдывалъ, что природа вообще не нравственна и не безнравственна, и что слѣдственно ея знаніе само по себѣ не можетъ быть ни цѣломудренно, ни пахабно; а цѣломудріе и пахабство вносится лицомъ, въ томъ родѣ какъ въ простонародномъ повѣріи человѣкъ въ желтухѣ, пристально смотря на рыбу, передаетъ ей желчь. Ту же нехристіанскую мысль имѣлъ и христіанинъ Шекспиръ, говоривши, что человѣкъ придаетъ предмету его высоко-эстетическое значеніе или грязно-гадкое.

Но кто прежде Шекспира и Спинозы выразилъ это не на словахъ, а на дѣлѣ—это искуство; первый „ударъ по головѣ" монашеской стыдливости нанесли кисти и рѣзцы всѣхъ великихъ художниковъ. Лишь только искуство стало на свои ноги и оперилось послѣ церковнаго мрака, духоты, подавляющаго молчанія, оно начало срывать съ себя рясы и покровы; снова голое человѣческое тѣло стало обнажаться во всей пластической апотеозѣ своей, и что-же вышло изъ подъ не стыдливаго рѣзца, не цѣломудренной кисти? Образа, *одни образа!*

Обернулись люди, съ историческимъ угрызеніемъ совѣсти, въ отверженное былое, порылись между развалинами беспутной Греціи, распутнаго Рима. (Извѣстно, что древніе безстыдники, лишенные двухтысячелѣтняго воспитанія въ тѣлобоязнь и тѣлоумерщвленіе, ваяли свои статуи такъ таки нагишемъ, какъ мать родила, и откопали нѣсколько грѣховныхъ истукановъ ихъ). Что-же вышло? И это *все образа*, и человѣкъ невольно очищается и молится передъ ними.

Надобно было все вліяніе „двухтысячелѣтняго воспитанія" въ развратѣ празднаго, несыто-холостаго, клерикальнаго воображенія, чтобъ попамъ пришло въ голову въ Римскихъ галлереяхъ наградить статуи виноградными листами—и натянуть черезъ это печи-

*) Замѣчаніе для directeur en chef „Отечественныхъ Записокъ".

стый намекъ. Дѣвственники вы мои, цѣломудренники Иваны Орлеанскіе, какъ вы мелко плаваете!

И неужели критиканъ „Отечественныхъ Записокъ“ думаетъ, что достаточно было бы Тургеневу уговорить Кукшину, (что вѣроятно при ея леченіи шампанскимъ и не представило бы большихъ затрудненій) стать возлѣ Венеры въ флорентійскихъ Уффиціяхъ на пьедесталѣ и снять съ себя рубашку, что онъ и поразитъ на голову *несвойственное* неглиже статуй и что искуство снова лишится великаго, единаго идеала своего—красоты человѣческаго тѣла?

И знаете-ли, что всего страннѣе, передъ полиціей виноватыми остались бы не Венера и не Кукшина, а Тургеневъ, vir pudicus, который привелъ пьяную дуру въ порядочное общество. Вотъ и ищи справедливости въ мірѣ.

Сказанное объ искуствѣ относится и къ наукѣ. Простое отношеніе къ природѣ, къ ея наивной наготѣ, къ ея святой, чистой наготѣ, никогда не загрязнитъ ничьего воображенія.

Не *эмбріологія несвойственна*; а болѣзненная, натянутая цивилизація, вгоняющая равно все страстное и свѣтлое, всякое естественное чувство и здоровое отношеніе внутрь—*несвойственна* больше человѣку. Она такъ исказила воображеніе, что все естественное приводитъ его въ краску при *свидѣтеляхъ*, она его, сверхъ того, привела къ тому ряду тайныхъ и постныхъ грѣховъ, въ которыхъ страсть нераздѣльна съ преступленіемъ, ложью и двуличіемъ.

Не естественныя науки образовали игуменью Дидро, эту несчастную мученицу нелѣпаго обѣта.

И я готовъ сослаться даже на какого нибудь путешественника къ святымъ мѣстамъ, что *голый* мальчикъ Фландрена напр., *и ему* не навѣялъ ничего чувственнаго.

Все это кажется ясно и можно бы кончить. Но тутъ по дорогѣ является вотъ какая дилемма. Если женщинѣ несвойственно заниматься эмбріологіей, то тѣмъ болѣе несвойственно заниматься и акушерствомъ, или всѣ повивальныя бабки и акушерки должны быть поставлены au banc de la société, какъ палачи, сыщики, шпіоны, люди, сгубленные въ общественномъ мнѣніи въ пользу общественной нужды. А мѣжду тѣмъ я, ненаходящій ничего несвойственнаго для женщины заниматься эмбріологіей, совершенно раздѣляю отвращеніе русской женщины отъ акушера. Надобно и тутъ было ниспроверженіе всѣхъ понятій, что-бы въ странѣ, въ которой слово „shoking“ гораздо выше поставлено, чѣмъ слово „безнравственно“, чтобъ тамъ пріучить женщину родить, и родить въ первый разъ, на рукахъ у какого-нибудь атлета 30 лѣтъ, съ проборомъ сзади и спереди. На Западѣ, благодаря католико-пуританскому воспитанію—это сдѣлалось необходимостью; повивальныхъ бабокъ, акушерокъ, сколько-нибудь смыслящихъ дѣло, нѣтъ, нѣтъ почти нигдѣ; тутъ, стало, и выбора нѣтъ. Америка первая возстала противъ этого. Въ Россіи, при университетахъ, при воспитательныхъ домахъ, образовались и образуются повивальныя бабки —что-же не закрыть-ли во имя Кукшиной всѣ эти школы по *не-*

свойственности эмбріологіи съ цѣломудріемъ и двухтысячелѣтней стыдливостью?...

Въ заключеніе, разскажу вамъ одинъ случай, бывшій на моихъ глазахъ. Одинъ мальчикъ лѣтъ тринадцати, занимался у одного изъ моихъ друзей сравнительной анатоміей. Естественно въ молодомъ человѣкѣ явилась подъ вліяніемъ обычныхъ намековъ и укрываній рьяность узнать все относящееся до тайны зачатія, беременности и пр...

—„Погодите, сказалъ мнѣ натуралистъ, я вылечу молодого человѣка. — Такъ ты, другъ мой, очень интересуешься рожденіемъ дѣтей, беременностью? Что-же, дѣло похвальное, брось пока остальныя занятія, мы займемся исключительно эмбріологіей, и начнемъ съ самыхъ простыхъ животныхъ".

Натуралистъ этотъ извѣстный Карлъ Фогтъ; молодой человѣкъ, мой сынъ. Какъ онъ его выдержалъ мѣсяца два-три на разныхъ препараціяхъ, да потребовалъ сверхъ препараціи знанія до мелочей всѣхъ органовъ, частей, съ звѣздчатыхъ начиная—какъ рукой снялъ шаловливый интересъ.

Конечно жаль, что Карлъ Фогтъ не догадался сказать мальчику, что это несвойственно съ его двухтысячелѣтнимъ воспитаніемъ въ христіанскую стыдливость. . . . Я ему напишу завтра объ этомъ для руководства. А теперь прощайте.

Письмо Третье.

Любезный другъ,

Моя любовь къ вамъ, съ которымъ я никогда не встрѣчался, можетъ служить завѣреніемъ, какъ я люблю людей, съ которыми встрѣчался хоть одинъ разъ, и вы нисколько не удивитесь, когда я вамъ скажу, что я съ радостью увидѣлъ записки Ф. Вигеля въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Ф. Вигеля я встрѣчалъ въ 1845—46 годахъ. Онъ слылъ человѣкомъ злорѣчивымъ, самолюбивымъ, обидчивымъ, колкимъ и „умнымъ"; онъ былъ извѣстенъ объясненіемъ Пушкина, почему портной Бригель кроитъ иначе платья, когда ему заказываетъ ихъ Вигель. Чаадаевъ былъ увѣренъ, что онъ въ Петербургѣ поднялъ офиціальное гоненіе на его извѣстное письмо. За всѣ эти достоинства, мягкое московское общество принимало его съ нѣкоторымъ почетомъ.

Съ первой встрѣчи онъ сдѣлался мнѣ противенъ; жеманно-натянутый, онъ кокетничалъ злословіемъ; привыкнувъ говорить съ людьми меньше его образованными, онъ придавалъ вѣсъ своимъ обыденнымъ замѣчаніямъ; дѣльнаго или дѣйствительно умнаго, я отъ него ничего не слыхалъ. Такимъ онъ является и въ своихъ запискахъ.

Вигель называетъ себя „посредственнымъ", считая, что читатель отнесетъ это къ его скромности; но именно его *посредственность*, его не глупость и не умъ, его узкій взглядъ придаетъ достоин-

ство его разсказамъ. Кругъ, освѣщенный его фонаремъ — не великъ, но онъ не подкрашиваетъ предметы, а только, какъ всѣ дурныя стекла, дѣлаетъ около нихъ рамки. Вигель ни на волосъ не выше той среды, въ которой жилъ свою жизнь. Онъ исполненъ всѣми предразсудками того накожнаго и нездороваго кряжа, къ которому онъ принадлежалъ и у котораго все заимствовалъ, даже *нѣмецкую* любовь къ русскому отечеству. Отъ того онъ и намѣренно не могъ настолько исказить гуртовые факты, или настолько отойти отъ истины чтобъ это мѣшало дѣлу. Человѣкъ лжетъ по образу и подобію своему.

„Семейная хроника С. Т. Аксакова, простодушныя записки честнаго Болтина, и вовсе не добродушные разсказы Вигеля помогаютъ намъ сколько нибудь узнать наше неизвѣстное прошедшее —не VIII столѣтія, его знаетъ М. П. Погодинъ, а XVIII и XIX. Прошлый вѣкъ — канцелярская тайна, мы его знали по оффиціально-газетной риторикѣ, и то чрезвычайно мало. Оттого то намъ и кажется, что Россійская имперія, какая-то стародавняя всегдашность, изъ подъ вѣковаго гнета которой трудно выйти, что ея учрежденія окрѣпли и посѣдѣли, распускаясь вѣтвистыми корнями въ глубь глубины.

А все это еще не просохло и едва построено въ чернѣ, все грубо, кое-какъ наброшено и очень недавно стало осѣдать и принимать почтенный видъ правильнаго государственнаго организма.

Въ половинѣ XVIII столѣтія имперія представляетъ собой продолжающееся военно-гражданское занятіе обширной и малонаселенной страны, мирно завоеванной какой-то петербургской лейбъ-компаніей. Тянутся еще дворяне—сеттлеры расчищать лѣса, заводятъ пашни въ степяхъ, строятъ усадьбы, скупаютъ рабовъ, сгоняютъ ихъ на плантаціи, наполняютъ житницы хлѣбомъ, сѣкутъ мужиковъ и бабъ, а иногда и собственныхъ женъ. Судъ, земская полиція почти неизвѣстны, а въ случаѣ несчастья есть у нихъ милостивцы въ Петербургѣ. Плетутся еще чиновники на кормленіе службой—голодные и алчные, но съ краснымъ воротникомъ и съ пропорціональной долей царской власти и осѣдаютъ саранчей на города и уѣзды... тяжелѣютъ и сливаются съ общей массой помѣщиковъ, гибнутъ въ грязи и бѣдности, или вновь тянутся къ источнику всѣхъ благъ—къ канцелярской родинѣ своей на берега Невы, чтобъ плестись оттуда въ иные вѣдомства и края.

Закабаленные *туземцы*, отданные во власть военно-гражданской компаніи, еще не были окончательно сломлены и порывались сбросить съ себя кучку пришлецовъ и пройдохъ. Но цивилизаторы побили дикихъ; крамольный кацикъ нашихъ православныхъ индѣйцевъ — Пугачевъ, замученъ въ Москвѣ, и крѣпостной порядокъ мирно и невозмущаемо упрочился до 19 Февраля 1861 года. Возстанія были степныя, сельскія, полевыя, которыя иногда овладѣвали городами, но въ самихъ городахъ все обстояло благополучно и это потому, что они по большей части были выдуманы и существовали для администраціи и чиновниковъ-побѣдителей.

Но что это за каста, что за народъ, который побѣждаетъ и усмиряетъ, расчищаетъ лѣса и пишетъ протоколы, водитъ солдатъ и подводитъ законы.

Невѣроятнѣйшій сбродъ всего на свѣтѣ составлялъ эту петербургскую *сѣчь* — сказали-бы мы, еслибъ намъ не жаль было бѣдныхъ запорожцевъ. Бритые русскіе князья и бояре, иностранная сволочь, шедшая на добычу, рейтеры и ланскене всѣхъ краевъ міра, пасторскіе дѣти и профессора, шулера и военноплѣнные, остзейцы, финляндцы, шведы, поляки, молдоване, сербы, греки, татары, нѣмцы и нѣмцы... Чего и чего тутъ не было—отъ свѣлѣйшаго князя Кантеміра до чернаго инженеръ-генерала, оставившаго Пушкину въ наслѣдство курчавые волосы и африканскія черты. П. В. Кирѣевскій говаривалъ, что разсадникъ великихъ фамилій, окружавшій Петра I, представлялъ тотъ элементъ въ народѣ нашемъ, который онъ самъ выразительно называетъ *голью кабацкой*; она то — какъ нормандскіе бароны Англію — раздѣлила Россію на вѣдомства и управленія, провинціи и округи и пошла володѣть ею.

Откуда и какъ идутъ эти новые Рюрики и Синавы, можно ясно прослѣдить въ генеалогіи нашего героя.

Не предвидя своего будущаго патріотизма, Вигель долго гордился своимъ шведскимъ происхожденіемъ и пересталъ не потому чтобъ Россію предпочелъ Швеціи, а потому что узналъ, что прадѣдъ его былъ финъ, да еще низкаго происхожденія. Чтобъ придать себѣ важности, финъ прибавилъ къ своей фамиліи латинское us и сдѣлался *Вигелусъ*. Но это окончаніе не понравилось дѣду нашего повѣствователя, и онъ снова возвратился къ фамиліи Вигель. Служилъ онъ съ самаго дѣтства въ шведской военной службѣ и капитаномъ драбантскаго полка былъ взятъ русскими подъ Полтавой. Въ Сибирь его не послали, думаетъ его внукъ, потому, что „изъ числа ссылаемыхъ были изъяты владѣльцы остзейскихъ провинцій, содѣлавшіеся новыми подданными Петра I“.

„Новаго своего отечества не полюбилъ дѣдъ мой, говоритъ Вигель, и не хотѣлъ ему служить. Онъ спрятался на мызѣ, женился, плакалъ при имени Карла XII и постоянно ненавидѣлъ Россію“. У него было семь сыновей. Четырехъ онъ отправилъ на службу Фридриха II; одинъ старшій сынъ уцѣлѣлъ, трое другихъ погибли, сражаясь противъ русскихъ. „Младшихъ сыновей своихъ рѣшился онъ посвятить Россіи, *на то были особенныя причины*. Карлъ Петръ Ульрихъ, герцогъ голштинскій былъ наслѣдникомъ престола. Почти въ ребячествѣ привезенный въ Россію и крещенный въ нашу вѣру, онъ никакъ не умѣлъ *сдѣлаться* русскимъ. Нѣмцы *надѣялись воскресить времена Бирона*. Подъ его покровъ поставилъ дѣдъ трехъ маленькихъ сыновей, можетъ быть видя въ нихъ тайно *будущихъ мстителей*, будущихъ повелителей въ ненавистной странѣ. Ихъ приняли въ кадетскій корпусъ и когда половина моего семейства проливала русскую кровь, другая содержалась и воспитывалась на русскія деньги“.

Изъ этихъ трехъ сыновей, старшій былъ забубенный малый и умеръ преміеръ-маіоромъ и комендантомъ Орской крѣпости. Онъ былъ женатъ на *одной* женѣ, а именно „на дочери какого-то гарнизоннаго офицера Семенова, что я упоминаю только потому, что я ее зналъ, и намѣренъ сказать объ ней нѣсколько словъ. Другой былъ женатъ *на восьми женахъ*, и всѣ онѣ его пережили".

Браки этой почтенной семьи вообще были курьезны. Вигель разсказываетъ, что родственникъ его отца Сандерсъ, выигралъ жену свою на биліардѣ у князя Яблоновскаго. Выигранная старикомъ жена обманывала его, холила и „*за нѣсколько лѣтъ* до смерти была посредницей между нимъ и красавицами, въ которыхъ онъ влюблялся", а умеръ онъ 90 лѣтъ отъ роду 1 января 1836, на лѣстницѣ зимняго дворца, куда явился въ полной генералъ-лейтенантской формѣ для поздравленія съ новымъ годомъ.

Таковы нѣмецко-финскія составныя части дворянской русской семьи Вигелей.

Взглянемъ теперь на ея славянскій элементъ. Мать Ф. Вигеля, была дочь какого-то пензенскаго уроженца Лебедева. Оставшись сиротой, она воспитывалась подъ покровительствомъ дальняго родственника Чулкова, о которомъ за его доброе дѣло Вигель желаетъ сохранить *трогательное* семейное преданіе.

„Родившись въ низкомъ званіи, онъ неизвѣстно какъ попалъ въ придворные истопники на половину цесаревны Елизаветы Петровны. По усердію своему онъ сталъ извѣстенъ ей и *близокъ*. Почести посыпались на него съ ея воцаренія; онъ сдѣлался дѣйствительнымъ каммергеромъ, александровскимъ кавалеромъ и *даже наконецъ генералъ ан-шефомъ, хотя въ военной службѣ никогда не былъ*. Тогда-то „дворянка Кривская, урожденная хотя татарская, но все-таки княжна (Мещерская), съ благодарностью приняла его предложеніе и вышла за него замужъ".

Наслышался Вигель отъ матери своей, бывшей въ такомъ высокопоставленномъ обществѣ, о жизни императрицы Елизаветы. Во внутренности дворца, она была окружена толпою женщинъ изъ простонародія, болтуній, сплетницъ. Суевѣріе, ложные слухи производили въ ней безсонницу, и эти женщины болжны были сначала разсказывать ей сказки, а потомъ шопотомъ говорить между собой. Генералъ анъ-шефъ Чулковъ долженъ былъ также тутъ находиться, онъ каждую ночь приносилъ свой тюфякъ, *клалъ его на полъ* и какъ безсмѣнный стражъ ложился у ея ногъ... Случалось, что она вставала раньше старика, тащила его, шутила съ нимъ, а онъ приподнимаясь, легонько *потрепывалъ* ее, говоря, „*охъ ты моя лебедка-бѣлая*".

Мать Вигеля забыла прибавить къ этой трогательной семейной картинѣ, что Елизавета ложилась почти всегда спать пьяная.

Далѣе идетъ разсказъ о скитаніи по губерніямъ. Поселившись по дѣламъ службы въ Саратовѣ, отецъ Вигеля часто посѣщалъ Пензу. Пензу онъ предпочиталъ Саратову, городу торговому и плебейскому, но сынъ отзывается такъ объ ней: „Между дворяна-

ми, вездѣ почти одинаковая, невѣжественно-*олигархическая(?)* спѣсь, въ простомъ народѣ встрѣчаешь почти *одинаковую холопью дерзость или низость*".

При этомъ нашъ хронистъ, пораженный величіемъ Екатерины II, восклицаетъ: „Геній и улыбка ея творили чудеса. Желѣзная трость Петра Великаго, переходя изъ рукъ въ руки, обратилась въ магическій жезлъ, какъ скоро коснулась ея сія могущественная очаровательница. Сія новая Цирцея хотѣла и умѣла *скотовъ образовать* въ люди!"

Послѣ разныхъ переселеній по казенной надобности и перемѣщеній по службѣ, отецъ Вигеля находитъ гавань въ Кіевѣ; тамъ онъ усаживается съ 1788 года комендантомъ и будетъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока безумный Павелъ его прогонитъ, безъ всякой причины. Около, возлѣ продолжается переселеніе и перемѣщеніе чиновниковъ, все это только пріостанавливается и идетъ туда, сюда; лица мелькаютъ, да и не лица, а ранги, разница собственно въ томъ, что одни нѣмцы русскаго происхожденія, другіе русскіе нѣмецкаго происхожденія, къ нимъ впослѣдствіи начинаютъ примѣшиваться французскіе скитальцы: эмигранты, дѣлающіеся чиновниками, виконты, дѣлающіеся гувернерами.

Какъ они странно оклиматизировались, доказываетъ почтенный инженеръ-генералъ Шардонъ, завѣдывавшій инженерной частью въ Кіевѣ; онъ *не хотѣлъ умѣть* по русски, всѣ дѣла обдѣлывалъ на французскомъ языкѣ, кромѣ одного: при малѣйшей неисправности солдатъ, онъ очень спокойно приказывалъ по-русски: «Клади его на сюртюрокъ и давай ему сто палкъ».

Вигелю самому кажется странной физіономія городовъ, въ которыхъ собственно нѣтъ туземцевъ. „Въ Россіи есть города, кои слѣдуетъ назвать казенными, потому что въ нихъ встрѣчаются по большей части одни должностныя лица, помѣщики бываютъ въ нихъ только иногда по дѣламъ. Въ нихъ безпрестанно мѣняется картина общества, которая черезъ десять лѣтъ можно сказать возобновляется въ своемъ составѣ".

Гдѣ тутъ органическая связь съ народомъ, гдѣ прочность такой жизни, ея естественный ростъ? Вигель и не замѣтилъ, какъ рѣзко выступаетъ въ его разсказѣ противуположность *настоящихъ* жителей края съ забѣглымъ наплывомъ. Богатые кіевскіе помѣщики, говоритъ онъ, рѣдко покидаютъ свои хуторы, прежде ихъ отталкивали поляки, а со временъ Петра, „начальствующіе москали и нѣмцы". Съ своимъ народомъ имъ было роднѣе. У польскихъ аристократовъ, являющихся въ разсказѣ, рѣзкая самобытность. Въ нихъ жизнь сложилась, выработалась, во многомъ очень дурно, но вездѣ съ своимъ характеромъ, съ своими пороками и своей поэзіей. Въ то время какъ у казенной Россіи, у Россіи петербургскаго слоя, характеристична одна нахальная власть и та принадлежитъ „не имъ, не имъ, а имени царскому", передъ которымъ они холопы. Отъ Казани и Рязани, до Кіева и Перьми, одна общеармейская и общеканцелярская физіономія чиновничьяго дво-

рянства; тотъ-же кулакъ, обращенный внизъ и таже выправка вверхъ... прямолинейная для военныхъ, понурая для штатскихъ.

Мы вовсе не кручинимся объ этомъ, но заявляемъ фактъ и фактъ для насъ чрезвычайно утѣшительный. Тамъ, гдѣ нѣтъ ни воспоминаній, ни традицій, ни своихъ нравовъ, ни своихъ вѣрованій, тамъ гдѣ не просвѣчиваетъ историческая жизнь, а только формулярный списокъ, не только легче сдѣлаться злодѣемъ, но и легче сдѣлаться человѣкомъ.

Наша аристократія—предразсудокъ, въ который вѣрили отчасти выслужившіеся чиновники и богатые наслѣдники; я говорю *отчасти*, потому что большинство никогда объ этомъ не думало; оно пользовалось, не мудрствуя лукаво, тѣмъ, что казна уступала и дозволяла. Княгиня Голицына, о которой разсказываетъ Вигель, вовсе не изъ аристократіи, порола земскаго засѣдателя за то, что дорога была дурна; доказательствомъ этому служитъ, что она разъ оттаскала за волозы гостью у себя въ домѣ, что уже вполнѣ противурѣчитъ всякому аристократическому чутью — она это дѣлала гораздо наивнѣе, потому что была племянница Потемкина и жена фельдмаршала Голицына.

До какой степени у насъ новы западно-аристократическія понятія, вы можете видѣть у Вигеля. Онъ разсказываетъ, какъ графиня Чернышева, въ послѣдствіи княгиня Наталья Петровна Голицына начала распространять аристократическую *вѣру*, вывезенную ею изъ Сенъ-Жерменскаго предмѣстья. „Находясь въ Парижѣ во время революціи, сія знаменитая дама схватила священный огнь, угасающій во Франціи и возжгла его у насъ на Сѣверѣ. Сотни свѣтскаго и духовнаго званія эмигрантовъ способствовали ей.... Составилась компанія на акціяхъ, куда вносимы были титулы, богатства, кредитъ. . . . Присвоивъ себѣ ложныя привилегіи, компанія сія *называлась* высшимъ обществомъ и правила французской аристократіи начала прилаживать къ русскимъ нравамъ... Екатерина благопріятствовала сему обществу, видя въ немъ одинъ изъ оплотовъ престола противъ вольнодумства“.... (на этомъ мѣстѣ цензура чего-то не пропустила). „Не одинъ разъ придется мнѣ, продолжаетъ Вигель, говорить о семъ высокомъ сословіи, *не болѣе какъ съ полсотни* лѣтъ у насъ образовавшемся“...

То, что Вигель говоритъ о высшемъ обществѣ, то относится ко всѣмъ нашимъ кастамъ и сословіямъ. Масса русская не идетъ въ правильную слойку, на этомъ держится доля деспотизма, но за то и доля всѣхъ надеждъ. При чрезвычайной впечатлимости и поверхностной подражательности, у насъ все перенималось — и ничего не пустило корней. Всѣ монополи, исключительныя права, привилегіи, сословныя разграниченія являлись съ каррикатурными преувеличеніями, грубо, дерзко и нестерпимо ярко, но краски (большею частью казенныя) были линючи, не могли выдержать перваго ливня. Одна сильная мятель и все изчезнетъ — какъ изчезли военныя поселенія, стоившія столько-же жизней, какъ сраженіе и вдвое больше страданій, чѣмъ цѣлая война. И

какъ изчезнетъ?*) не оставляя по себѣ ни жалости, ни другаго слѣда, кромѣ пыльныхъ бумагъ въ архивѣ, да изумленія *что это было, что это могло быть* въ самомъ дѣлѣ.

Еслибъ присноприпѣвающіе панегиристы „вѣрности Россіи бытовымъ началамъ своимъ", такъ просто и говорили-бы, что у насъ ужасно мерзко, но что всѣ эти прививные институты и учрежденія быстро нарываютъ и быстро проходятъ, какъ коровья оспа, съ ними можно-бы столковаться. Но обращая свои смѣлыя надежды въ смѣлыя воспоминанія, они пишутъ оффиціальные памфлеты, сводящіе съ ума простыхъ людей и наводящіе *на умъ* правительство. И вотъ причина почему безъ глубокаго негодованія нельзя читать напримѣръ такія строки: „Внутренняя исторія Польши представляетъ уродливое непомѣрное развитіе одного органа на счетъ всѣхъ другихъ, — общества *на счетъ государства* и простаго народа. Государство расплылось въ общество — въ шляхту; простой народъ, который *во всѣхъ* славянскихъ земляхъ составлялъ и составляетъ необходимое условіе полноты общественнаго развитія, именно *какъ* простой народъ, какъ живая, непосредственная, самородная сила, подобная силѣ зерна или корня въ организмѣ растеній,—простой народъ былъ лишенъ *всякаго политическаго значенія, духовно презрѣнъ и низведенъ на степень вещественнаго матеріала.* Польская шляхта не только не удостоивала признавать въ немъ присутствіе какой либо органической силы, — не только отвергала въ крестьянинѣ его значеніе, какъ поляка, но и его достоинство, какъ человѣка. Польская шляхта не только именовала себя „польскими государями" (историческое выраженіе), но и «польскимъ народомъ», „польскою націею", — и дѣйствительно, слово „Польша" — и въ исторіи и въ жизни было тождественно съ словомъ: „польская шляхта". Развитіе пошло въ древесину и листву, въ ущербъ корѣ и корню; вытянувшійся и почти обнаженный стволъ едва держался на отощавшемъ корню"... *(День № 9.)*

И такъ *стало быть* въ Россіи простой народъ не былъ лишенъ всякаго политическаго значенія, былъ духовно уважаемъ и возведенъ на степень органическаго матеріала — который впрочемъ продавался гуртомъ и въ одиночку, вырывался изъ семьи, переселялся, брался во дворъ, шелъ на барскій развратъ, тратился поколѣніями на черную работу и притомъ безпрерывно сѣкся.

Представлять русское дворянство уважавшимъ бытъ народный, въ противуположность польскому шляхетству—вопіющая неправда. Всѣ мы, воспитанные въ помѣщичьихъ домахъ, жившіе по деревнямъ часть года, знаемъ какъ русское дворянство уважало человѣческое достоинство товара, который оно сотнями посылало на дороги, отдавало на фабрики, переселяло и проч. Неужели

*) Nord говоритъ, что Бахтинъ работаетъ надъ проэктомъ распространенія рекрутчины на дворянъ. Encore une étoile qui file!

г. Аксаковъ, жившій всю жизнь въ этой сферѣ, ѣздившій на изученіе ярмарокъ, участвовавшій при слѣдствіяхъ, не знаетъ этого? Какъ не знать—но онъ изъ патріотизма не помнитъ.

Исторію о Надеждѣ Ивановнѣ Вигель я поберегу до слѣдующаго письма, а съ вами теперь прощаюсь.

Письмо Четвертое.

Любезный другъ,

Хотѣлъ было я къ вамъ писать о двухъ пріятельницахъ моего дѣтства, о милѣйшей старушкѣ Надеждѣ Ивановнѣ Вигель, кочевавшей послѣ комендантства въ Орской крѣпости лѣтъ тридцать по разнымъ чужимъ домамъ, прежде чѣмъ успокоилась въ одномъ изъ нихъ, и о ея соперницѣ Варварѣ Якимовнѣ, заключившей свои долгія странствованія собственнымъ комендантствомъ въ московскомъ острогѣ, гдѣ она начальствовала надъ прекраснымъ поломъ. Хотѣлъ я при этомъ разсказать о томъ, какъ княгиня Хованская пресерьезно запрещала Надеждѣ Ивановнѣ кашлять по ночамъ, и о томъ, какъ одна близкая родственница Ф. Вигеля, дѣвствовавшая въ преклонныхъ лѣтахъ и въ губернскомъ городѣ Пензѣ, изобрѣла особый способъ—неоцѣненный ни графиней Антониной Блудовой, ни Аскоченскимъ, ни другими іерархами дворцоваго благочестія — прикладываться къ высоко поставленнымъ иконамъ. Старушка-барышня клала поцѣлуи свои на набалдашникъ своего посошка и возносила ихъ на немъ къ образу... Хотѣлъ я рядомъ съ ними, по поводу Вигелевской всеобщей исторіи его семейства, воскресить еще двѣ-три комическія личности, но... оставлю до другого раза.

Старое письмо, попавшееся на глаза, спугнуло всю эту семью сѣдыхъ совъ въ бѣломъ чепчикѣ, воронъ порхающихъ съ задняго двора на задній дворъ.... Я остался въ прошедшемъ, но не въ томъ, которое шло между дѣвичьей княгини и передней моего отца, а въ томъ, которое неслось между аудиторіей и ссылкой.

Сколько людей осталось незатронутыми въ моихъ воспоминаніяхъ, людей погибшихъ безъ малѣйшаго слѣда, забытыхъ, какъ забываются прошлогодніе листья, вчерашнія облака.

Человѣкъ, котораго письмо мнѣ попалось, умеръ, года два тому назадъ, въ небольшомъ городѣ на Ронѣ. Подробности объ его смерти я узналъ мѣсяцевъ черезъ шесть. Никто не шелъ за его гробомъ, никто не былъ пораженъ вѣстью о его смерти. Печальное существованіе его, переброшенное на чужую землю, сѣло какъ-то незамѣтно, не исполнивъ ни своихъ надеждъ, ни ожиданія другихъ. *Бѣгунъ* образованной Россіи, онъ принадлежалъ къ тѣмъ празднымъ, лишнимъ людямъ, которыхъ когда-то поэтизировали безъ мѣры, а теперь побиваютъ каменьями безъ смысла. Мнѣ больно за нихъ. Я многихъ зналъ изъ нихъ и любилъ за родную мнѣ тоску ихъ, которую они не могли пересилить и ушли — кто въ могилу, кто въ чужіе края, кто въ вино.

Много разъ хотѣлось мнѣ поговорить объ ихъ *трудѣ существованія*... и я останавливался всякій разъ съ той внутренней дрожью, которую испытываетъ физіологъ, дотрогиваясь до разоблаченныхъ готовалень жизни.... Удастся-ли мнѣ побѣдить это чувство — не знаю, а хотѣлось бы. Каждая эксцентрическая жизнь, къ которой мы близко подходили, можетъ дать больше отгадокъ и больше вопросовъ, чѣмъ любой герой романа, если онъ несуществующее лицо подъ чужимъ именемъ.*) Герои романовъ похожи на анатомическіе препараты изъ воска. Восковой слѣпокъ можетъ быть выразительнѣе, нормальнѣе, *типичнѣе;* въ немъ можетъ быть изваяно все что̀ зналъ анатомъ, но нѣтъ *того чего онъ не зналъ*, нѣтъ дремлющихъ въ естественномъ равнодушіи, но готовыхъ проснуться отвѣтовъ—отвѣтовъ на такіе вопросы, которые равно не приходили въ голову ни прозектору, ни ваятелю. У слѣпка, какъ у статуи, все снаружи, ничего за душой, а въ препаратѣ засохла, остановилась, оцѣпенѣла сама жизнь, со всѣми случайностями и тайнами.

Къ тому-же у насъ необходимѣе чѣмъ гдѣ-нибудь снимать маски и портреты, мы ужасно легко распадаемся съ только-что прошедшимъ. У насъ жизнь не продолжается исподволь, а перескакиваетъ отъ одного направленія къ другому. Недостатокъ корней и баласта дѣлаетъ эти перескакиванія чрезвычайно легкими для верхняго слоя. Я не хвалю и не порицаю этого, а только констатирую.

Близкое прошедшее, впрочемъ, вездѣ становится рѣзко отчуждаемымъ, почти враждебнымъ съ настоящимъ; противоположности, разницы не примирены еще далью и перспективой—не оправданы пониманіемъ. Мы скорѣе узнаемъ близкое и родное въ шитыхъ бархатныхъ и гродетуровыхъ кафтанахъ, въ пудреныхъ парикахъ, въ якобинскомъ костюмѣ и въ англійскомъ фермерскомъ фракѣ временъ Питта и Фокса, чѣмъ въ таліи на затылкѣ и рукавахъ съ буфами двадцатыхъ годовъ. Тотъ только схватываетъ единство въ этихъ превращеніяхъ, кто самъ носилъ суконныя тунели на шеѣ, вмѣсто воротника, сплющенные воротники въ четверть шириною, а теперь носитъ исчезающій, едва замѣтный воротникъ нынѣшняго покроя.

Я въ этомъ отношеніи былъ счастливо поставленъ, потому-то мнѣ и хочется этимъ воспользоваться.

Жизнь моя сложилась рано и я долго оставался молодъ. Воспоминанія мои переходятъ за предѣлы николаевскаго времени; это имъ даетъ особый fond, онѣ освѣщены вечерней зарей другого, торжественнаго дня, полнаго надеждъ и стремленій. Я еще

---

*) Какъ напр. *Бэкки Чарпъ* въ Vanity Fair. Кстати, вторыя лица, едва набросанныя, стоящія на дальнемъ планѣ, нравятся намъ обыкновенно больше героевъ, просто оттого, что авторъ не даетъ себѣ труда ихъ изобрѣтать. Это все сосѣди, пріятели, слуги, путешествующіе incognito.

помню блестящій рядъ молодыхъ героевъ, неустрашимо, самонадѣянно шедшихъ впередъ.... Въ ихъ числѣ шли поэты и воины, таланты во всѣхъ родахъ, люди увѣнчанные лаврами и всевозможными вѣнками.... Я помню появленіе первыхъ пѣсенъ „Онѣгина" и первыхъ сценъ „Горе отъ ума!".... Я помню какъ, перерывая смѣхъ Грибоѣдова, ударялъ словно колоколъ на первой недѣлѣ поста — серьезный стихъ Рылѣева и звалъ на бой и гибель, какъ зовутъ на пиръ...

И вся эта передовая фаланга, несшаяся впередъ, однимъ декабрскимъ днемъ сорвалась въ пропасть и за глухимъ раскатомъ исчезла...

Въ странѣ мятелей и снѣговъ,
На берегахъ широкой Лены...

Я четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ плакалъ объ нихъ, и обрѣкалъ себя на то, чтобъ отмстить ихъ гибель.

Время свѣтлыхъ лицъ и надеждъ, свѣтлаго смѣха и свѣтлыхъ слезъ кончилось. Порядкомъ понялъ я это послѣ, но впечатленія того времени, переплетаясь съ миѳическими разсказами 1812 года, составили въ моей памяти то золотое поле иконописи, на которомъ еще чернѣе выходятъ лики святыхъ.

Когда немного улегся терроръ и шумъ николаевскаго вѣнчанья на царство, начали показываться какіе-то потерянные люди, несчастные, *ненужные*, незнающіе куда идти, т. е. незнающіе ни цѣли, ни дороги, но чувствующіе, что *такъ жить нельзя*, что выйти надобно — люди откуда-то оторванные и покинутые въ опасномъ мѣстѣ, какъ «Дѣти въ лѣсу». Старшіе изъ нихъ были уцѣлѣвшіе Декабристы, мы замыкали ихъ процессію, какъ уличные мальчики замыкаютъ уходящій полкъ, и сами росли въ лишнихъ людей. За нами шло уже поколѣніе безъ воспоминаній, кромѣ дѣтской и годовъ школы, оскорбленное грубымъ притѣсненіемъ, безъ прямой связи съ прошедшимъ, безъ прямого упованія на будущее, болѣзненное, чахлое, оно вяло въ листѣ и безотрадно гибло на полдорогѣ. Многіе изъ нихъ умерли моложе насъ лѣтами и старѣе сломившимся духомъ.

Не много въ ихъ числѣ развилось энергіи, но много ея сгублено въ внутренней работѣ и въ внутренномъ разладѣ, въ поднятыхъ вопросахъ, въ поднятыхъ сомнѣніяхъ и въ неимовѣрной тяжести жизни. Грѣшно въ нихъ бросать камни. Вообще *лишнимъ* людямъ тѣхъ временъ обязано новое поколѣніе тѣмъ, что оно не лишнее.

...Въ тридцатыхъ годахъ меня поразили двѣ личности, двѣ уцѣлѣвшія античныя колоны на топкомъ грунтѣ московскаго великосвѣтскаго campo vaccino. Они стояли рядомъ, напоминая своей печальной, своей изящной ненужностью, что-то рухнувшееся — что именно, было трудно сказать, полиція подобрала всѣ развалины и всѣ осколки. Орловъ и Чаадаевъ были первые *лишніе люди*, съ которыми я встрѣтился.

Они были розны (я писалъ объ обоихъ*). Я лучше многихъ зналъ ихъ недостатки, но для меня они были библейскими личностями, живыми легендами, я ихъ принималъ какъ они есть, не торгуясь, не бракуя, и потому-то, можетъ, лучше другихъ понялъ ихъ трагическое явленіе. Они были сломанные люди; одинъ совершенно déраузé, другой оскорбленъ; ихъ упрекали за это люди, которые никогда не рѣшились-бы упрекнуть человѣка съ переломленной ногой, что онъ хромаетъ.

Косо посматривалъ мой отецъ на то, что я дичась общества почтенныхъ и солидныхъ людей, съ такой горячностью и готовностью бѣжалъ по первому приглашенію Орлова—„конечно умнаго, но опаснаго человѣка". Я тогда только что вышелъ изъ Карловъ Моровъ и поступилъ въ московскій университетъ; особаго рода восторженность, которая сопровождаетъ переходъ отъ отрочества въ юность еще не проходила.

Впечатлѣніе сдѣланное на меня первыми лишними людьми было до такой степени сильно, что послѣ долгой разлуки съ ними, оно всего сильнѣе осталось въ памяти.

Переведенный изъ Вятки во Владиміръ, я принялся описывать подъ именемъ Малинова вятское житье-бытье. Сначала я писалъ**) весело, потомъ мнѣ сдѣлалось тяжело отъ собственнаго смѣха, я задыхался отъ поднятой пыли и искалъ человѣческаго примиренія съ этимъ омутомъ пустоты, нечистоты, искалъ выхода хоть въ отчаяніи, но только въ разумномъ, сознательномъ, и ничего не найдя, наклепалъ на Малиновъ-Трензинскаго, и не думая-не гадая, сдѣлалъ портретъ Чаадаева, даже наружность взята съ него: „Нѣжное, бѣлое какъ мраморъ лицо, сѣроголубые глаза, холодная улыбка, чело какъ черепъ голый" — такъ рѣзко осталась его личность въ моей памяти.

Когда я воротился въ Москву, Орловъ угасалъ и вскорѣ угасъ. Чаадаевъ былъ еще высочайше утвержденнымъ сумасшедшимъ и стоялъ какъ-то особнякомъ между новыми людьми и новыми вопросами.

Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Россіи, на прощальномъ ужинѣ, я предложилъ прежде всѣхъ тостовъ выпить за старшаго изъ насъ — за Чаадаева. Чаадаевъ былъ тронутъ, но тотчасъ принялъ свой холодный видъ, выпилъ бокалъ, сѣлъ и вдругъ опять всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, пожелалъ намъ счастливаго пути и со словами: „простите меня, мнѣ пора", вышелъ вонъ. Я его не удерживалъ и проводилъ до дверей; стройная, прямая въ старости фигура Чаадаева исчезла въ дверяхъ средь пріутихшаго пира, и такъ осталась въ моей памяти; я его больше не видѣлъ.

Жаль, что два послѣднихъ поколѣнія не знали такихъ предшественниковъ. Имѣя много ненавидѣть и презирать, имъ почти не-

---

*) „Былое и Думы".

**) „Записки одного молодаго человѣка"—„Отечеств. Записки", 1840—41 г.

чего было любить и уважать. Цѣлыя стороны внутренней жизни остаются непонятными, на глухо и на вѣки заросшими—въ сердцѣ человѣка не перешедшаго ни безпредѣльной любовью къ матери, ни восторженнымъ уваженіемъ къ своимъ отцамъ Maestri.

Прошло пятнадцать лѣтъ послѣ того, какъ Чаадаевъ исчезъ въ дверяхъ. Я пережилъ цѣлый томъ исторіи, да свою цѣлую жизнь и вдругъ въ 1861 году возобновилась одна изъ встрѣчъ 1831 года и я опять чувствовалъ себя молодымъ студентомъ.

Старикъ, величавый старикъ, лѣтъ восьмидесяти, съ длинной серебряной бородой и бѣлыми волосами, падавшими до плечъ, разсказывалъ мнѣ о тѣхъ временахъ, о *своихъ*, о Пестелѣ, о казематахъ, о каторгѣ, куда онъ пошелъ молодымъ, блестящимъ и откуда только-что воротился сѣдой, старый, еще болѣе блестящій, но уже инымъ свѣтомъ...

....Я слушалъ, слушалъ его—и когда онъ кончилъ, хотѣлъ у него просить напутственнаго благословенія въ жизнь — забывая, что она уже прошла.... и не одна она.... Между висѣлицами на Кронверкской куртинѣ и висѣлицами въ Польшѣ и Литвѣ, этими верстовыми столбами императорскаго тракта — прошли, смѣняя другъ друга въ холодныхъ, темныхъ сумеркахъ *три шеренги*.... скоро стушуются ихъ очерки и пропадутъ въ дальней синевѣ. Пограничные споры двухъ поколѣній, поддерживающіе ихъ память, надоѣдятъ — и имъ предоставятъ амнистію забвенія. Изъ за нихъ всплывутъ тѣни старцевъ-хранителей и черезъ кладбище сыновей своихъ, призовутъ внуковъ на дѣло и укажутъ имъ путь.

Пусть они и идутъ по немъ. Но пусть-же поймутъ и то, что тоской и стремленіемъ выйти изъ насильственнаго бездѣйствія, томной затратой себя, промежуточныя поколѣнія людей лишнихъ и праздныхъ приблизили, сгладили его — и мирно благословятъ ихъ разбросанныя могилы.

...Зачѣмъ у меня нѣтъ такого таланта какъ у И. Тургенева, какую-бы я составилъ группу праздныхъ и затерянныхъ людей, для того чтобъ помирить *дѣтей съ отцами*.

Но за неимѣніемъ его, прощусь съ вами, мой милый будущій другъ, вы меня простите, что я говорилъ съ вами о прошедшихъ друзьяхъ (пожалуйста не смѣшивайте ихъ съ *утедшими* друзьями.... о тѣхъ писать еще не настало время), я чувствую, что это неделикатно, но полагаюсь на вашу снисходительность. Не могу вамъ сказать, какъ я доволенъ, что не знаю васъ и что вы мнѣ никогда не отвѣчаете, это мнѣ даетъ страшную волю и я не стѣсняясь пускаюсь въ письмахъ къ вамъ какъ Комоэнсъ—nel largo Oceano.

—

Письмо Пятое.

(Америка и Европа, Эдгаръ Кине и его послѣдняя книга—Письмо къ нему).

Давно я не писалъ къ вамъ, около двухъ лѣтъ.... и какихъ....

которые стоятъ двадцати самыхъ скверныхъ.... а между тѣмъ опять накопилось на душѣ много горечей и хочется о нихъ говорить, только не съ близкими знакомыми, они сами все знаютъ и все рѣшили — а съ близкими незнакомыми, которыхъ я могу предположить не до такой степени герметически законченными. Вы такъ дружески исполняли два года тому назадъ эту роль, что вѣрно не откажетесь теперь, тѣмъ больше что вы мнѣ этимъ сдѣлаете большое облегченіе.

Облегченіе отъ чего? Отъ устали, думаете вы, и ошибаетесь.... гораздо хуже.... отъ невозможности устать. Это состояніе очень похоже на тщетное усиліе уснуть когда не спится. Я отъ души завидую труженикамъ честно прошедшимъ бразду свою и спокойно идущимъ—поставивъ плугъ свой подъ навѣсъ—на палати погрѣть ломаныя кости, распрямить сгорбленные члены и такъ иной разъ потолковать о настоящемъ и еще больше о быломъ, вспоминая о немъ въ томъ примиренномъ, успокоенномъ и холодномъ видѣ, который получаетъ все лежащее въ гробу.

Кажется чего-бы лучше.... клубка доставшагося нашему времени *теперь* не распутаешь, вихрь революцій и реакцій увлекъ и перепуталъ все старое и новое... старое не уцѣлѣетъ и новое не погибнетъ, но всему надобно отстояться, дойти до химическаго соединенія, до покоя творчества. Все что можетъ придти въ ясность изъ этого хаотическаго, клокочущаго, бродящаго раствора придетъ въ ясность, но ее насильственно не заставишь родиться, прежде чѣмъ зародышъ созрѣетъ и ясли будутъ готовы... до тѣхъ поръ *искомое* останется путеводной звѣздой для волхвовъ, а не солнцемъ освѣщающимъ всѣхъ. Можетъ, въ пользахъ новорожденнаго это и очень хорошо.... да.... да haben Sie werten gelernt?.... Куда!

Какіе удары нашему безпокойному самолюбію и нашей страсти спасать міръ нанесли—и Астрономія, и Геологія, и Физіологія, а пуще всего новая исторія... все ничего. Знаемъ, что планеты не около земли вертятся, что земной шаръ и безъ людей жилъ очень хорошо, что наши дѣдушки и бабушки были ближе къ обезьянамъ, чѣмъ мы къ китайцамъ.... а намъ все кажется, что мы какіе-то Зевсы или Іеговы, и можемъ создавать міры по образу и подобію нашему—что вздумалъ выросшій вѣками и сросшійся горемъ и кровью бытъ перестроить на фаланстеры и — тотчасъ брошены деревни и города, соборы и театры, рестораны и дворцы; попы и жандармы, офицеры и ростовщики, судьи и лоретки такъ и побѣгутъ въ фалангу работать—каждый по своей страсти.

Тутъ обыкновенно разочарованіе.... упреки роду человѣческому и новыя усилія грудныхъ дѣтей убѣжденіемъ сдѣлать въ шесть мѣсяцевъ взрослыми.... и новыя проклятія за ихъ лѣнь, тупость, глупость, за то что они не умѣютъ скоро рости.

Есть время *острой* работы, но есть время и труда выжидающаго, наблюдающаго. Секунды не можетъ потерять хирургъ и мѣсяцы борется докторъ съ болѣзнью.

Одинъ изъ умнѣйшихъ людей нашего времени Людвигъ Фейербахъ, на вопросъ зачѣмъ онъ замолкъ и почти ничего не пишетъ — отвѣчалъ: «Главное, что у меня было на душѣ я высказалъ. пусть читаютъ». Не думая нисколько себя сравнивать съ Фейербахомъ, я все-же имѣю право ему завидовать... Мнѣ не разъ приходило въ голову грѣховное искушеніе, именно мысль языческаго эпикуреизма: удалиться куда нибудь въ пустыню возлѣ большаго трактира нѣмецкихъ водъ, и устроить тамъ какое-нибудь шале, съ диваномъ превращающимся въ ванну, съ аквэріумомъ въ которомъ плаваютъ стерляди и икра, съ садомъ, въ которомъ порхаютъ бекасы... но исполнить ее не достаетъ силъ.

Недавно я совсѣмъ было изготовился на зимнія квартиры, взялъ спеціальную карту Висбадена, Пирмонта и какъ на смѣхъ вмѣстѣ съ ней попались газеты — тутъ Message Американскаго президента, ну и къ чорту шале и къ чорту аквариумъ съ икрой... «Здѣсь великая земля свободнаго труда, въ которой работа вознаграждается больше чѣмъ гдѣ нибудь, трудовой хлѣбъ вкусенъ сознаніемъ гражданскаго участія работника въ дѣлахъ отечества; здѣсь умъ человѣческій не знаетъ цѣпей и можетъ вольно ринуться во всѣ четыре стороны.... Очищенные горемъ, укрѣпленные борьбой, повторимъ обѣтъ нашихъ отцовъ, возлагавшихъ на насъ побѣду республиканскихъ началъ на нашемъ материкѣ. Мы не дѣлали пропаганды въ Европѣ, оставляя народы тамошніе заниматься своими династическими интересами. . . . но такое поведеніе съ нашей стороны возлагаетъ и на нее свои обязанности».

Вотъ и Guai chi la tocca !... Да горе, каковъ портной? А еще пьяница?...

И какъ-то свѣжо поднялась грудь — и не хочется думать о диванѣ на кислыхъ водахъ. . . . Новый свѣтъ! молодой свѣтъ! Ужъ лучше тамъ шале.... Все въ немъ не по европейски, не по людски. Восемьсотъ тысячъ войска распущены и тотчасъ поглощены работой, сотни генераловъ, которыхъ отвагѣ удивлялись нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, которые были облечены диктаторской властью, были покрыты славой и лаврами, гдѣ они? Одинъ пашетъ свои поля и продаетъ хлѣбъ, другой въ главѣ торговаго предпріятія, третій просто трактирщикомъ. . . . ни мундировъ, ни эполетъ, сабля въ углу.... пусть себѣ ржавѣетъ. Война не ремесло, а несчастіе, злая необходимость. Обѣ стороны дрались страшно, доказывая по дорогѣ что для большой, для колоссальной войны вовсе не нужны постоянныя арміи, вѣчная опричина всякаго деспотизма, вѣчно раскрытая артерія, которой истекаетъ государство деньгами въ миръ, кровью въ войну. . . . «Намъ скоро можно будетъ сговориться, съ той минуты какъ сила оружія рѣшила судьбу — нѣтъ ни побѣдителей, ни побѣжденныхъ» и велѣлъ свести войско *на пятьдесятъ тысячъ человѣкъ.*

А наша-то Нинона Ланкло, беззубая и сѣдая, ей и въ Бельгіи мало пятидесяти тысячь, не смотря на то, что она ни съ кѣмъ изъ сосѣдей воевать не можетъ.... За то вѣдь какіе интересы....

Бисмаркъ I, Метернихъ II... Папа производитъ во святые какихъ то изувѣровъ и въ свои защитники разбойниковъ, дипломаты въ затрудненіи кому отдать Молдавію, кому Валахію, одни думаютъ нельзя-ли вымѣнять Венецію на Бухарестъ, Мексику на Яссы, точно мы еще живемъ между Вестфальскимъ миромъ и Вѣнскимъ конгресомъ. И не странно-ли что вящшіе защитники, послѣдніе чичисбеи Нинины всѣ на Невѣ, такъ какъ тамъ-же были и послѣдніе эмигранты и послѣдніе мальтійскіе кавалеры — они слова не даютъ сказать объ Европѣ, объ общей матери, учительницѣ, наставительницѣ, какъ будто кто нибудь виноватъ, что учительница устарѣла и наставительницу надобно водить подъ руки?

„Все это славянофильство!"... Тутъ Америка ужасно кстати является на выручку, ужъ ученье-то Монро и Джонсона врядъ-ли изъ „Дня" идетъ!

А впрочемъ и славянофильствомъ трудно испугать. . . . правда, что оно какъ то всегда противно припахивало ладономъ и рясой, а теперь еще противнѣе выпачкалось въ крови... ну да вѣдь и все остальное выпачкано въ крови. . . . остается попробовать славянофильство разстричь въ свѣтское званіе и тогда посмотрѣть, что въ немъ приму играетъ: попъ или бытъ народный. Нельзя-же славянофильства съ лица Россіи гнать за то, что первые проповѣдники его черезъ край хватили православной благодати.

Почему-же намъ не дѣлать съ ними того, что всякій мыслящій читатель дѣлаетъ напр. съ какимъ-нибудь Яковомъ Бемомъ, спокойно отыскивая въ лѣсу мистическихъ образовъ и видѣній, его глубокое пониманіе, оправленное въ средневѣковую рѣзьбу? Бемъ не подозрѣвалъ настоящей своей силы и еслибъ кто-нибудь назвалъ его, положимъ пантеистомъ, онъ точно также обругалъ-бы пантеизмъ, какъ Аксаковъ ругаетъ соціализмъ, всякій разъ когда онъ ему подвернется на языкъ.

Рьяность нашихъ западниковъ, въ числѣ которыхъ есть люди стоящіе съ нами на одномъ берегу, объясняется исключительнымъ положеніемъ нашего общества. Стоя за Западъ, ему все еще кажется что онъ уличаетъ *не Западъ*, а домашнюю неурядицу, забывая, что петербургское правительство, не смотря на всѣ шалости послѣдняго времени—*арчи-западное*. Въ Европѣ такихъ неистовыхъ защитниковъ *ея* какъ у насъ вовсе нѣтъ, особенно между серіозными умами. Они часто молчатъ. . . . какъ молчалъ тотъ знаменитый математикъ, который вычисливъ и провѣривъ свое вычисленіе о близости трещины земнаго шара, испугался и скрылъ свои выкладки... но невыносимая тяжесть иной разъ беретъ верхъ и тогда являются такія книги какъ Стюарта Миля On liberty, и Французомъ пишутся такія строки:

„. . . . Міръ видѣлъ уже въ глубокой древности нѣчто подобное тому, что совершается теперь. Съ одной стороны старая цивилизація, осѣвшая подъ окаменѣлыми преданіями—Персія, Вавилонъ, Халдея, Египетъ не способныя оторваться отъ своего прошедша-

го, отъ храмовъ, мумій, лабиринтовъ, гробницъ, міръ многопроизводящій, богатый караванами, торговлей, пышный, сладострастный, покрытый жемчужными цѣпями... Съ другой стороны нарождающаяся Греція, брошенная въ иную форму, грубая, но свободная.... и такой свободой, которую міръ до того времени не видывалъ.... міръ начинающійся съ дорійскихъ Пуританъ—къ великому негодованію Азіи".

И онъ указываетъ на старую Европу, выковавшую на самое себя, съ чрезвычайными усиліями, узорчатыя и золоченыя цѣпи, изъ которыхъ она не можетъ выйти—въ то время, какъ на противуположномъ берегу Океана, юная страна, не заботясь о старыхъ распряхъ „въ героической молодости своей душитъ гидры, убиваетъ немейскихъ львовъ... и оскорбляетъ своей отвагой, своей свободой, созданіемъ своихъ городовъ и государства — дряхлый міръ, не смѣющій ни подражать ей, ни вступить съ ней въ борьбу".*)

....Эдгаръ Кине, около полу-столѣтія слѣдившій за всѣмъ, что дѣлалось во Франціи, пришелъ къ одному заключенію, къ одному упованью, къ упованью *на другой міръ, на Соединенные Штаты.*

....Кине печаленъ, угрюмъ, для него его взглядъ безотраденъ, онъ имъ удрученъ. Французъ не можетъ переносить свои Лары въ дальнія страны, да еще за океанъ. Латинскіе народы принадлежатъ латинской землѣ—для Кине осталась послѣ этого отрѣченья, послѣ этого нравственнаго Фонтенебло.... своя Св. Елена. Даже пустой культъ человѣчества у него разбился: „Я слишкомъ близко видѣлъ этотъ кумиръ человѣчества.... и не склоню колѣна передъ тѣмъ, кто самъ стоитъ на обоихъ — передъ всякой торжествующей силой.... Преклоняться передъ этимъ пресмыкающимся звѣремъ, на своихъ милліонахъ ногъ?... Нѣтъ, отдайте мнѣ лучше Ибисовъ и священныхъ змѣй Нила".

И тотъ космополитическій прогрессъ *гдѣ нибудь*, который можетъ утѣшить бойкую сангвиническую философію Бокля, не заживитъ раны сосущей Француза, утратившаго Францію. Оставалась для него одна дверь, *онъ ее-то и захлопнулъ съ озлобленіемъ.*

Неужели легче умирать въ разваливающемся домѣ, чѣмъ строить другой или идти вонъ? Горе обладателямъ наслѣдственныхъ, каменныхъ палатъ.... то-ли дѣло жить въ собственноручной избѣ, старая плоха—взялъ да и срубилъ новую.... былъ-бы топоръ да лѣсъ!

... Тутъ мы стучимся опять головой въ упрямое non possumus отходящаго міра.

Кине съ необычайной отвагой для француза произвелъ слѣдствіе объ отравѣ революціи католицизмомъ. Съ искуствомъ великаго художника и ясностью діалекта, указываетъ онъ, какъ новая Весь изнемогаетъ, и не можетъ переварить яда даннаго въ гостіи, накрытой фригійской шапкой.

---

*) Edgar Quinet, „La Révolution".

И тотъ же человѣкъ остановился испуганный, какъ передъ Медузиной головой, передъ юридической церковью, передъ догматомъ римскаго права безграничной собственности. Въ посягательствѣ на ея самовластье видитъ онъ гибель личной свободы, объявляетъ его *чуждымъ* генію латинскихъ народовъ и указываетъ вдали на наши степи... „Коммунизмъ и рабство, казнитесь молъ, вотъ куда вы идете!“

Мнѣ больно было за него и за насъ, я не вытерпѣлъ и написалъ ему:

„Мы представляемъ починъ *иного* отношенія человѣка къ почвѣ, наша задача состоитъ въ опытѣ развитія личной свободы безъ потери *права на землю*, въ опытѣ ограниченія самодержавія недвижимой собственности неотъемлемымъ правомъ на поземельное владѣніе, словомъ, сохраненія общинной собственности рядомъ съ личнымъ пользованіемъ. Посельщики, сами разработавшіе нашу землю, привычные къ полевымъ передѣламъ, безъ слоя завоевателей на нашихъ плечахъ, намъ легче другихъ Европейскихъ народовъ осуществить одно изъ рѣшеній соціальной задачи. Отношеніе человѣка къ землѣ, такъ какъ мы его понимаемъ, не новое изобрѣтеніе въ Россіи, это первобытный фактъ, *естественный*, прирожденный въ нашемъ бытѣ, мы его нашли родившись, потомъ забросили, не поняли, и теперь хотимъ, съ искреннимъ раскаяніемъ развить его при помощи науки и опыта западнаго міра.

„Отнимите у насъ эту задачу и мы снова впадемъ въ варварство, изъ котораго едва вышли, или останемся ордой завоевателей.

„И вотъ причина почему мы не промѣняемъ нашъ аграрный законъ, въ его неразвитіи, ни на старое латинское право, ни на англо-саксонское законодательство. Религія собственности по римскому закону, по французскому кодексу, убила бы намъ впередъ наше будущее, такъ какъ убила въ союзѣ съ церковью вашу великую революцію. Ясно, что съ двумя такими абортивами республика девяностыхъ годовъ, не могла родить ничего живого.

„Народъ парижскій понялъ это, когда поднимая въ первый разъ голову послѣ бурь террора, онъ заявилъ свою нужду въ конвентѣ мрачнымъ крикомъ: „хлѣба!“ Его отпустили, ничего не сдѣлавши для него. Онъ съ тѣхъ поръ пересталъ мѣшаться въ дѣла, и былъ правъ.

„Безуміе Бабефа, утопіи почти всѣхъ соціальныхъ ученій, нисколько не опровергаютъ началъ. Напротивъ, степень жара, бреда, свидѣтельствуетъ о силѣ болѣзни. Припадки соотвѣтствуютъ страданіямъ — даютъ право на патологическое заключеніе. Если терапія не удалась, изъ этого не слѣдуетъ, что вопросъ леченья слѣдуетъ обойти. Къ тому-же, какъ мы видимъ, это невозможно. Соціальный, экономическій вопросъ — Magnum Ignotum нашего времени. А потому то мы всякій разъ обращаемъ, когда представляется случай, вниманіе нашихъ старшихъ, нашихъ patres conscripti въ наукѣ и цивилизаціи на то, что прозябаетъ въ нашихъ степяхъ. До сихъ поръ на Россію смотрятъ, какъ на лави-

ну, угрожающую паденіемъ. Мы хотимъ показать, что подъ снѣгомъ есть земля, владѣемая иначе, чѣмъ историческая земля стараго міра.

„Такова была причина, которая заставила меня въ 1851 г. написать длинное письмо къ знаменитому другу вашему, (теперь и моему скажу я) Мишле. Вообще послѣ неудачи Февральской революціи я только объ одномъ этомъ и проповѣдую... Вы мнѣ это навѣрное поставите въ облегчающую причину. Восхищаясь строгой, величавой картиной, полной силы и отваги, которой вы изобразили самоубійство революціи католицизмомъ, я невольцо вспомнилъ о *другомъ врагѣ.*“

... *Его-то* мертвыми руками изъ за гроба попробовалъ схватить за горло... боецъ инаго закала, Прудонъ... но въ могилу себѣ не стащилъ. И такъ какъ Кине все таки оставилъ щель захлопнувши дверь, такъ Прудонъ не настолько раскрылъ ее, чтобъ можно было пройти...

—Cordon, s'il vous plait!

... Il faut donc, messieurs, qu'une porte soit ouverte ou fermée!

Колоколъ № 184.
1 Мая 1864 года.

17 АПРѢЛЯ 1864.

За *юную* Россію, которая страдаетъ и борется—за *новую* Россію, которая разъ одолѣвъ Россію царскую, будетъ очевидно въ своемъ развитіи имѣть огромное значеніе въ судьбахъ міра!

Изъ тоста Гарибальди.

Тостъ вашъ дойдетъ до нашихъ друзей, дойдетъ до казематъ и рудниковъ....

Изъ отвѣта на него.

Мы обѣщали статью о путешествіи Гарибальди въ Англіи; теперь, когда оно такъ *неожиданно* окончилось, мы убѣдились въ историческомъ значеніи его. Но та статья впереди. Теперь мы хотимъ только передать нашимъ друзьямъ нѣкоторыя подробности о посѣщеніи Гарибальди у насъ. Да, и эти подробности будутъ собственно состоять изъ короткихъ рѣчей Маццини и Гарибальди. Англійскіе журналы до того перегружены описаніемъ пріемовъ, встрѣчъ, блюдъ, гирляндъ, и проч., что мы также мало хотимъ вступать съ ними въ состязаніе, какъ мало могли соревновать съ валтазаровскими и аристократическими пирами въ честь революціоннаго вождя.

Нашъ праздникъ былъ скроменъ, на немъ не было и двадцати приглашенныхъ гостей.*) Въ „Daily News“, въ „Morning Star'ѣ“,

---

*) Въ ихъ числѣ, не считая Гарибальди и Маццини, были нѣсколько близкихъ имъ людей, *Саффи* бывшій тріумвиръ въ Римѣ,

въ „Листкѣ“ князя Долгорукаго было сказано, какъ толпился народъ передъ рѣшеткой сада, кричалъ *ура*, (когда Гарибальди входилъ, его чуть не сшибли съ ногъ, дамы цѣловали руки, края шинели) и пр. — все такъ какъ было во всѣхъ домахъ, въ которые пріѣзжалъ *невѣнчанный король*.

За завтракомъ Маццини всталъ и, поднявъ свой бокалъ, сказалъ слѣдующее:

— „Въ провозглашенномъ мною тостѣ я соединяю все то, что мы любимъ, все то, за что мы боремся—

„За свободу народовъ,

„За союзъ народовъ,

„За того человѣка, который въ наше время представляетъ живое воплощеніе этихъ великихъ идей, за *Джюзеппе* Гарибальди!

„За несчастную, святую, героическую *Польшу*, которой сыны въ молчаніи дерутся болѣе года и умираютъ за свободу.

„За *юную Россію*, которая подъ знаменемъ *Земли* и *Воли* въ скоромъ времени подастъ Польшѣ братскую руку, признаетъ ее равенство, независимость и изгладитъ воспоминаніе о Россіи царской.

„За тѣхъ *русскихъ*, которые вслѣдъ за другомъ нашимъ Герценомъ наиболѣе трудились для развитія этой Россіи.

„За религію долга, которая даетъ намъ силы на борьбу и смерть за эти идеи!“

Тогда всталъ Гарибальди и, съ *рюмкой марсалы* въ рукахъ, сказалъ:

— «Я хочу сегодня исполнить долгъ, который уже давно слѣдовало бы исполнить. Между нами здѣсь человѣкъ, оказавшій величайшія услуги и моему родному краю и свободѣ вообще. Когда еще я былъ юношей, и имѣлъ однѣ неопредѣленныя стремленія, я искалъ человѣка, который-бы могъ быть путеводителемъ, совѣтникомъ моей юности, искалъ его какъ жаждущій ищетъ воды. . . . Я нашелъ его. Онъ одинъ бодрствовалъ, когда все спало кругомъ. Онъ сдѣлался моимъ другомъ и остался имъ навсегда, въ немъ никогда не потухалъ священный огонь любви къ отечеству и къ свободѣ. Этотъ человѣкъ *Джюзеппе* Маццини — я пью за него, за *моего друга*, *за моего наставника!*»

Въ голосѣ, въ выраженіи лица, съ которымъ были сказаны эти слова, было столько захватывающаго и потрясающаго, что онѣ были приняты не шумомъ, а слезами.

Послѣ минутнаго молчанія Гарибальди всталъ со словами:

«Маццини сказалъ нѣсколько словъ о несчастной Польшѣ, съ которыми я совершенно сочувствую. За Польшу, отчизну мучениковъ, за Польшу идущую на смерть за независимость и подающую великій примѣръ народамъ.

«Теперь выпьемъ за *юную* Россію, которая страдаетъ и борет-

Мордини продиктаторъ Сициліи, *Гверцони* и пр. Въ числѣ дамъ была M-me Stansfeld.

ся какъ мы и побѣдитъ какъ мы, за новый народъ, который, освободившись и одолѣвъ Россію царскую, очевидно призванъ играть великую роль въ судьбахъ Европы.

«За *Англію* наконецъ, за страну независимости и свободы, страну, которая своимъ гостепріимствомъ и сочувствіемъ къ гонимымъ, заслуживаетъ полную благодарность нашу. За Англію, которая даетъ намъ возможность собраться дружески вмѣстѣ какъ теперь»...

....Послѣ отъѣзда Гарибальди я написалъ ему слѣдующее письмо:

„Я былъ такъ взволнованъ вчера, что не сказалъ вамъ того, что хотѣлъ и ограничился одной благодарностью во имя *наступающей* Россіи, притѣсненной не менѣе Польши, во имя Россіи умирающей въ казематахъ и рудникахъ и *живущей* въ сознаніи народа, просыпающагося съ своимъ идеаломъ неразрывности *Земли и Воли*, да въ меньшинствѣ гонимомъ за то, что оно высказало это народное стремленіе.

„Съ радостью услышатъ наши дальніе друзья сочувствующія слова ваши; онѣ имъ нужны, на ихъ страданія рѣдко бросаютъ вѣнки; отблескъ преступленій, совершающихся въ Польшѣ, падаетъ на насъ всѣхъ.

„Въ сущности я и не жалѣю, что ничего не прибавилъ къ словамъ благодарности. Что могъ я прибавить? Тостъ за Италію? То, что я чувствовалъ, дурно умѣщалось въ тостъ. Я смотрѣлъ на васъ обоихъ, слушалъ васъ съ юнымъ чувствомъ піэтета, которое мнѣ уже не подъ лѣта, и видя какъ вы, два великихъ путеводителя народовъ, привѣтствовали зорю восходящей Россіи, я благословлялъ васъ подъ скромной крышей нашей.

„Вамъ я обязанъ лучшимъ днемъ моей зимы, днемъ ясности безусловной и за то еще разъ обнимаю васъ съ пламенной благодарностью, съ глубокой любовью и безграничнымъ уваженіемъ“.

Колоколъ № 186.
15 Іюня 1864 года.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКІЙ.

Чернышевскій осужденъ на *семь лѣтъ каторжной работы* и на вѣчное поселеніе. Да падетъ проклятіемъ это безмѣрное злодѣйство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гоненіе, раздула его изъ личностей. Она пріучила правительство къ убійствамъ военноплѣнныхъ въ Польшѣ, а въ Россіи къ утвержденію сентенцій дикихъ невѣждъ сената и сѣдыхъ злодѣевъ государственнаго совѣта... А тутъ жалкіе люди, люди-трава, люди-слизняки говорятъ, что не слѣдуетъ бранить эту шайку разбойниковъ и негодяевъ, которая управляетъ нами!

„Инвалидъ“ недавно спрашивалъ, гдѣ-же *новая Россія*, за кото-

рую пилъ Гарибальди. Видно она не вся „за Днѣпромъ“ когда жертва падаетъ за жертвой. . . . Какъ-же согласовать дикія казни, дикія кары правительства и увѣренность въ безмятежномъ покоѣ его писакъ? Или что-же думаетъ редакторъ „Инвалида“ о правительствѣ, которое безъ всякой опасности, безъ всякой причины разстрѣливаетъ молодыхъ офицеровъ, ссылаетъ Михайлова, Обручева, Мартьянова, Красовскаго, Трувелье, двадцать другихъ, наконецъ, Чернышевскаго въ каторжную работу.

И это-то царствованіе, мы привѣтствовали лѣтъ десять тому назадъ!

P. S. Строки эти были написаны, когда мы прочли слѣдующее въ письмѣ одного очевидца экзекуціи: „Чернышевскій сильно измѣнился, блѣдное лицо его опухло и носитъ слѣды скорбута. Его поставили на колѣни, переломили шпагу *и выставили на четверть часа у позорнаго столба.* Какая-то дѣвица бросила въ карету Чернышевскаго вѣнокъ—ее арестовали. Извѣстный литераторъ П. Якушкинъ крикнулъ ему „прощай!“ и былъ арестованъ. Ссылая Михайлова и Обручева, *они* дѣлали выставку въ 4 часа утра, теперь бѣлымъ днемъ!..“

Поздравляемъ всѣхъ различныхъ Катковыхъ—надъ этимъ врагомъ они восторжествовали! Ну что легко имъ на душѣ?

Чернышевскій былъ вами выставленъ къ столбу на четверть часа,*)—а вы, а Россія на сколько лѣтъ останетесь привязанными къ нему?

Проклятіе вамъ, проклятіе—и если возможно месть!

Колоколъ № 187.
15 Іюля 1864 года.

VII ЛѢТЪ.

Семь лѣтъ тому назадъ вышелъ первый листъ *Колокола* въ Іюлѣ 1857. Съ тѣхъ поръ много разъ останавливались мы, свѣряя свой путь съ событіями и спрашивая себя туда-ли мы идемъ, такъ-ли идемъ? Цѣль наша, наши основные догматы были неизмѣнны; задача наша таже, но способы разрѣшенія ея должны были мѣняться. Малъ-ли, великъ-ли ручей, путь его зависитъ не отъ него, а отъ общихъ склоновъ и скатовъ материка.

Но приближаясь къ семилѣтью, насъ занималъ другой вопросъ и именно, слѣдуетъ-ли намъ вообще *продолжать* или *пріостановиться* и переждать пароксизмъ безумной реакціи?

---

*) Неужели никто изъ русскихъ художниковъ не нарисуетъ картины, представляющей Чернышевскаго у позорнаго столба? Этотъ обличительный холстъ будетъ образъ для будущихъ поколѣній и закрѣпитъ шельмованье тупыхъ злодѣевъ, привязывающихъ мысль человѣческую къ столбу преступниковъ, дѣлая его товарищемъ креста.

Россія явнымъ образомъ сорвалась съ пути, на который попала въ 1855, и несется третій годъ рядомъ преступленій и нелѣпостей—къ ряду бѣдствій, которыя переработаются можетъ быть, но навѣрное не пройдутъ ей даромъ.

Ревъ, вой, шипѣнье казеннаго, свирѣпаго патріотизма — заглушаетъ всякое человѣческое слово. Образованная Россія оказалась гораздо больше варварской, чѣмъ Россія народная. На этомъ варварствѣ ея стали возможными ужасныя дѣла и ужасныя слова — казни въ Польшѣ, каторги въ Россіи, раненый Сѣраковскій вздернутый на висѣлицу, Чернышевскій бѣлымъ днемъ выставленный у позорнаго столба, и всѣ прочія неистовства правительства и общества.

Пока продолжается этотъ „запой" кровью, для чего наша рѣчь? Съ кѣмъ намъ говорить, для кого писать, печатать?

Еслибъ не было такъ больно замолчать, мы замолчали-бы... Замолчать, значитъ отвернуться, позабыть на время—это свыше нашихъ силъ. У насъ слишкомъ много осталось любви и вѣры, слишкомъ много накопилось негодованія и ненависти, чтобъ молчать. Въ душѣ нѣтъ мира и покоя; нѣтъ ни безучастія, ни отчаянія наконецъ, послѣ котораго человѣкъ опускаетъ руки и ждетъ скоро-ли упадетъ завѣса.

Прошлое обязываетъ. Мы имѣли довольно голоса и смѣлости, чтобъ начать рѣчь. . . . мы ее продолжали середь рукоплесканій сверху и снизу—надобно имѣть духъ продолжать ее пока пьяные отрезвятся. Продолжать для того, чтобъ не умолкъ послѣдній протестъ, чтобъ не заглохло угрызеніе совѣсти, чтобъ не было вдвое стыдно потомъ, чтобъ иной разъ опять выжечь клеймо позора на узкомъ лбѣ палачествующаго правительства, обнищавшаго дворянства и шпіонствующей журналистики.

И такъ нашъ звонъ по прежнему будетъ *сзывать живыхъ*, до тѣхъ поръ пока они придутъ, или мы убѣдимся, что ихъ нѣтъ.

Не ждали мы, начиная нашу пропаганду, что придемъ къ такому страшному времени, что будемъ въ необходимости такъ говорить—но развѣ кто нибудь ждалъ?

Въ 1855 и въ 1857 гг. передъ нами была просыпавшаяся Россія. Камень отъ ея могилы былъ отваленъ и свезенъ въ Петропавловскую крѣпость. Новое время сказалось во всемъ—въ правительствѣ, въ литературѣ, въ обществѣ, въ народѣ. Много было неловкаго, неискренняго, смутнаго, но всѣ чувствовали, что мы тронулись, что пошли и идемъ. Нѣмая страна пріучалась къ слову, страна канцелярской тайны—къ гласности, страна крѣпостнаго рабства—роптать на ошейникъ. Правительство дѣлало, какъ іерусалимскіе поломники, слишкомъ много нагрѣшившіе, три шага впередъ и два назадъ, одинъ все-же оставался. Партія дураковъ, партія стариковъ была въ отчаяніи, крѣпостники прикидывались конституціонными либералами...

Съ половины 1862 г. вѣтеръ потянулъ въ другую сторону. На неполное освобожденіе крестьянъ потратились всѣ силы прави-

тельства и общества—и заторможенная машина двинулась назадъ.

Мы спрашиваемъ всѣхъ дѣятелей, явившихся послѣ смерти Николая, отъ Константина, Горчакова и Суворова, до братьевъ Милютиныхъ, пусть они скажутъ, положа руку на сердце—предвидѣлъ-ли изъ нихъ кто-нибудь крокавую грязь, въ которую Россія въѣхала по ступицу всѣми четырьмя колесами, благодаря такимъ кучерамъ какъ Муравьевъ и подстегивающимъ лакеямъ какъ Катковъ?

Предвидѣли-ли они, что смертная казнь сдѣлается у насъ ежедневнымъ, обыкновеннымъ дѣломъ, что военноплѣнныхъ будутъ разстрѣливать, что раненыхъ будутъ вѣшать? Что будутъ въ день казнить по шести человѣкъ, по приказу какого-нибудь ничтожнаго генерала?*)

Что за тайно напечатанный листокъ юношескихъ мечтаній и теоретическихъ утопій будутъ ссылать на *каторжную работу* и вѣчное поселеніе—людей молодыхъ, честныхъ, чистыхъ, безъ уваженія къ ихъ таланту, къ ихъ непорочному имени?

Что политическихъ сосланныхъ будутъ хуже содержать чѣмъ при Николаѣ и что найдутся звѣри, которые предложутъ въ Акатуевскѣ селюлярную тюрьму?

Что у насъ будутъ закрывать школы за то, что ученики не хотятъ цѣловать руку попу?

Что у насъ разовьется литература доносовъ и она сдѣлается литературой дня, что языкъ журналистовъ оподлѣетъ до языка перебраниваю щихся будочниковъ и жандармовъ, что мы развертывая газету переходимъ въ переднею III отдѣленія и въ канцелярію съѣзжаго дома?

Что Муравьевъ, которымъ гнушалась вся Россія и самъ государь, сдѣлается героемъ, и что его въ Москвѣ будутъ сравнивать съ Ермоловымъ и Суворовымъ, а въ Петербургѣ носить на креслахъ; что Катковъ будетъ выгонять сенаторовъ изъ англійскаго клуба и серьезно принимать себя за будущаго Сперанскаго?

„Въ газету „Голосъ“ пишутъ изъ Иркутска, что тамъ двое ссыльныхъ и три крестьянина, дѣти каторжныхъ, зарѣзали цѣлое семейство бурятъ, а чтобы спрятать концы въ воду, сожгли юрту зарѣзанныхъ. Злодѣевъ отыскали и схватили. Ихъ судили военнымъ судомъ, *по полевому военному* положенію. Четверо изъ преступниковъ приговорены *къ разстрѣлянію*, а пятый сосланъ въ каторжную работу“. Послѣ Петра I и Бирона ничего подобнаго не видала Россія. Кровь льется царскими палачами какъ вода. Казни, къ которымъ скрѣпя сердце, едва осмѣливалась прибѣгать Екатерина II, отъ которыхъ сдерживался самъ Николай, теперь совершаются ежедневно. Смертная казнь введена по мимо Свода, какимъ то заднимъ крыльцомъ въ уголовное законодательство. Какое полевое военное положеніе во время мира, зачѣмъ Сибирь въ осадномъ положеніи?

Нѣтъ, этого никто не могъ предвидѣть. Ужасы, отъ которыхъ сердце обливается кровью и занимается духъ — дѣлались и при Николаѣ сплошь да рядомъ. Забитое и трусливое общество молчало, не показывало участія, лгало на себя сочувствіе, но не аплодировало. Своекорыстные исполнители дѣлались холодными палачами. Теперь общество рукоплещетъ, палачи казнятъ съ горячностью, дѣлаются виртуозами, идутъ далѣе приказа.

Мы не можемъ привыкнуть къ этой страшной, кровавой, безобразной, безчеловѣчной, наглой на языкъ Россіи, къ этой литературѣ фискаловъ, къ этимъ мясникамъ въ генеральскихъ эполетахъ, къ этимъ квартальнымъ на университетскихъ каѳедрахъ, къ этимъ робеспьеровскимъ трикотезамъ Зимняго Дворца, старымъ, сѣдымъ, беззубымъ дѣвкамъ и бабамъ, къ этимъ Катковымъ въ юбкѣ и Аскоченскимъ въ кринолинахъ, съ ихъ просвирками вынутыми за здравіе Михаила Николаевича, безобразными образами посланными ему въ благословеніе — къ этимъ волчицамъ безъ молока, безъ Ромула и Рема, которыя перенесли ревность дикихъ самокъ въ любовь къ отечеству.

Ненависть, отвращеніе поселяетъ къ себѣ эта Россія. Отъ нея горишь тѣмъ разлагающимъ, отравляющимъ стыдомъ, который чувствуетъ любящій сынъ, встрѣчая пьяную мать свою, кутящую въ публичномъ домѣ.

...За чѣмъ, Россія, за чѣмъ твоя исторія, шедшая темными несчастьями и глухою ночью, должна еще идти водосточными трубами? За чѣмъ на другой день послѣ освобожденія, когда ты могла міру въ первый разъ отъ роду, съ радостно поднятой головой, показать какое руно сохранила ты, бѣдная, подъ розгами помѣщика, подъ палкой полиціи, подъ царскимъ кнутомъ—за чѣмъ ты дала себя стащить въ эту канаву, въ эту помойную яму? Терпи теперь, народъ русскій, на чужомъ пиру похмѣлье, неси на могучихъ плечахъ твоихъ, какъ богатырь-каторжникъ въ одной сказкѣ,*) темными, длинными, гадкими, вонючими, скользкими, ледящимися переходами твоего *будущаго сына*. Ты одинъ выйдешь чистъ. Лишенный досуга мысли, ты не повиненъ въ ими избранномъ пути, тебѣ насильно брили лобъ, насильно дали ружье и ты пошелъ, безсмысленно слушаясь, убивать и грабить съ голода. Только ты не кичись этимъ—на томъ-же основаніи право и море утопившее корабль и волкъ заѣвшій путника...

Ну а вы. *не-народъ*, опора нынѣшняго порядка дѣлъ, отцы отечества, интелигенція, цивилизація, прочные интересы, *демократическая* шляхта, командиры и учители... вы вѣдь не достойны участи каторжника, вы-же ничего не несете—вы ужь такъ и оставайтесь. С.-петербургскій оберъ-полицмейстеръ и николаевскій генералъ-адъютантъ Кокошкинъ, вашъ Курцій, далъ вамъ прекрасный примѣръ...

Такъ вотъ до чего выработались вы въ полтора вѣка дресиров-

*) Jean Valgean, Hugo.

ки, купленной потомъ, голодомъ, холодомъ цѣлаго народа, рубцами на его спинѣ?... Такъ этому-то васъ научили нѣмцы, академіи, корпуса, университеты, лицеи, институты, смольные монастыри, гувернеры, гувернанты? Видно конюшня родительскаго дома учила краснорѣчивѣе, видно натура холопа-рабовладѣтеля не такъ легко затыкается за поясъ французской грамматикой? Поздравляемъ васъ, на вашей улицѣ праздникъ, только онъ необыкновенно коротокъ. Вы даже того не сообразили, что шли въ комнату, а попали въ другую; вы не знаете кому вы подали руку, вы никогда не были разборчивы, а только надменны. Вы не узнали Емельяна Пугачева одѣтаго не Петромъ III для службы народу, а квартальнымъ надзирателемъ для царской службы. . . . Вы еще не подумали, что значитъ голштино-аракчеевская, петербургски-царская демократія, скоро почувствуете вы, что значитъ красная шапка на петровской дубинкѣ. Вы погибнете въ пропасти, которую роете вмѣстѣ съ будочниками, и на вашей могилѣ съ деревяннымъ крестомъ (мраморовъ будетъ не на что ставить) посмотрятъ другъ другу въ лицо — сверху лейбъ-гвардіи императоръ, облеченный всѣми властями и всѣми своевольями въ мірѣ — снизу закипающій, свирѣпѣющій океанъ народа, въ которомъ вы пропадете *безъ вѣсти*.

Кто кого сглазитъ?

Мы догадываемся, но не знаемъ. Вотъ что касается до васъ, то бога ради не подумайте, что намъ васъ жаль. Помилуйте. Вамъ пора сойти со сцены, вы свое сдѣлали; сдѣлали вы нехотя, и за то вамъ нѣтъ уваженія, сдѣлали вы, думая только о себѣ, и за то нѣтъ вамъ благодарности. Вы были той пустой средой, тѣмъ прозрачнымъ проводникомъ, которымъ свѣтъ западной науки освѣтилъ нашу темную жизнь — дѣло сдѣлано и пойдетъ безъ васъ. Вы какъ воздухъ, пропуская лучи, не захватили себѣ свѣта — увидѣли другіе и знаютъ теперь, что у насъ есть въ хатѣ и чего не достаетъ. Эти другіе пойдутъ работать, а вы прощайте. Только за чѣмъ вы такъ скверно гніете?

Вмѣсто того, чтобъ со словъ квартальныхъ демократовъ и демагоговъ III отдѣленія — ругать польское дворянство, вы, милые крѣпостники вчерашняго дня, поучились-бы у нихъ честной кончинѣ. Какое прошедшее не искупится такимъ принесеніемъ себя на жертву. Ихъ очистительный, примирительный подвигъ пойдетъ изъ вѣка въ вѣка, будя юношу и мужа и заставляя биться всякое благородное сердце. Ну а васъ, *демократическая* аристократія, чѣмъ поминать, чѣмъ вы искупаете вашу чужеядную жизнь, ваше пьявочное существованіе?.... За что васъ пожалѣть? За то-ли, что Іоаннъ грозный васъ пилилъ, а вы ему пѣли псалмы? За то-ли, что до Петра васъ изъ за государева стола водили постегать за мѣстничество, и вы выпороные приходили доѣдать курей верченыхъ и пироги пряженые? За то-ли, что послѣ Петра—васъ снёмъ рубаху, били батожьемъ, а вы цѣловали его державную руку, а потомъ руку конюха Бирона и его нѣмцевъ, а когда при-

шелъ нѣмецъ, которому сдуру васъ стало жаль и онъ не велѣлъ васъ бить, такъ вы его отравили и задушили въ Ропшѣ. За то-ли, что дѣды ваши при Николаѣ плясали у него на коронаціи, когда ихъ сыновья шли скованные на каторжную работу? *Развѣ за этихъ сыновей?*

За нихъ, за нашихъ великихъ путеводителей, да, за нихъ многое можно бы отпустить ихъ предкамъ.

Но что же сказать о ихъ сыновьяхъ?

У нихъ не было ихъ, у нихъ были пріемыши, имъ они и оставили наслѣдство. Они оставили его той средѣ, съ которой подымается и растетъ на свѣтъ *Новая Россія*, крѣпко подкованная на трудный путь, закаленная въ нуждѣ, горѣ и униженіи, тѣсно связанная жизнью съ народомъ, образованьемъ съ наукой. Ей доставалась одна обида сверху и одно недовѣріе снизу. Ей достается великое дѣло развитія народнаго быта изъ неустроенныхъ элементовъ его—зрѣлой мыслью и чужимъ опытомъ. Она должна спасти народъ русскій отъ императорскаго самовластія и отъ *него самого*. Ее не тяготитъ ни родовое имущество, ни родовое воспоминаніе, въ ней мало капиталовъ и вовсе нѣтъ привязанности къ существующему. Она стоитъ свободная отъ обязателствъ и историческихъ путъ.

Предшественникомъ ея былъ плебей Ломоносовъ, могучій объемомъ и всесторонностью мысли, но явившійся слишкомъ рано. Среда затертая между народомъ и аристократіей—около вѣка послѣ него билась, вырабатывалась въ черномъ тѣлѣ. Она становится во весь ростъ только въ Бѣлинскомъ и идетъ на наше русское крещенье землею — на каторгу въ лицѣ Петрашевцевъ, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. Ея разстрѣливаютъ въ Модлинѣ и разбрасываютъ по Россіи въ лицѣ бѣдныхъ студентовъ, ее наконецъ—эту *новую* Россію — Россія *подлая* показывала народу, выставляя Чернышевскаго на позоръ.

Среда пестрая, хаотическая, среда броженія и личнаго выработыванія, среда алчущая и неудовлетворенная, она состоитъ изъ всего на свѣтѣ—изъ разночинцевъ и поповскихъ дѣтей, изъ дворянъ-пролетаріевъ, изъ приходскихъ и сельскихъ священниковъ, изъ кадетъ, студентовъ, учителей, художниковъ; въ нее рвутся пѣхотные офицеры и иной кантонистъ, писаря, молодые купцы, прикащики. . . . въ ней образцы и осколки всего плавающаго въ Россіи надъ народнымъ растворомъ. Вступая при новомъ броженіи въ иныя химическія соединенія, они всплываютъ изъ народа и распускаются въ немъ. Это почва зародышей, засѣянное поле, на удобреніе котораго пойдутъ гніющіе и разлагающіеся *верхи*, чтобъ и они не остались, какъ купецъ Коробейниковъ, не взнесканными всепрощающей амнистіей исторіи и всепереработывающимъ круговоротомъ жизни.

Ударъ за ударомъ бьетъ эту среду, она побита на голову, но *дѣло* не побито, оно меньше побито чѣмъ 14 Декабря—плугъ пошелъ дальше и глубже. Зерна царскаго посѣва не пропадаютъ на

каторгѣ, онѣ проростаютъ толстыя тюремныя стѣны и снѣгомъ покрытые рудники.

Для этой новой среды хотимъ мы писать и прибавить наше слово дальнихъ странниковъ — къ тому чему ихъ учитъ Чернышевскій съ высоты царскаго столба, о чемъ имъ говорятъ подземные голоса изъ царскихъ *кладовыхъ*, о чемъ денно и нощно проповѣдуетъ царская крѣпость — наша святая обитель, наша печальная петропавловская Лавра на Невѣ.

Середь ужасовъ насъ окружающихъ, середь боли и униженій, намъ хочется еще и еще разъ повторить имъ, что *мы* съ *ними*, что мы живы духомъ... и не хотимъ больше ни исправлять неисправимыхъ, ни лечить неизлечимыхъ, а хотимъ вмѣстѣ съ ними работать надъ отысканіемъ путей русскаго развитія, надъ разъясненіемъ русскихъ вопросовъ.

— —

DIE HEILIGE TRIPEL ALLIANZ.

И такъ нѣтъ ни одного срама, ни одного позора, въ который бы насъ не окунуло петербургское правительство отъ страха, тупости и отсутствія всякихъ началъ!

Сердце рвется на части, и все хочется, по старой привычкѣ, спросить: Да за что-же это? За что?

Неужели мы не довольно страдали отъ Московской глупости и отъ Петербургскаго ума, отъ нашихъ побѣдъ и отъ нашего величія?

Неужели намъ недостаточно нѣмцевъ, ненавидящихъ насъ, и нужны еще нѣмцы союзники?

И вы, князь Горчаковъ, были сводчикомъ этого дѣла... Зачѣмъ же вы не вышли въ отставку, за чѣмъ вы не на столько любите Россію? Народность, которую вы пріобрѣли прошлогодними нотами—уничтожена прикосновеніемъ Бисмарка.

...Ровно черезъ пятьдесятъ лѣтъ повторяется несчастный союзъ трехъ нѣмецкихъ правительствъ, держащихъ подъ своимъ игомъ Славянскіе народы. Какъ будто Зимній дворецъ, рядившійся годъ цѣлый въ Минины и Пожарскіе, не знаетъ все отвращеніе русскаго народа отъ нѣмецкаго союза, всю его ненависть племенную, кровную къ нѣмцамъ?

Въ 1815 году былъ по крайней мѣрѣ приличный предлогъ. Соединились монархи въ отпоръ врагу, который такъ долго и много ихъ билъ, что бояться его и брать противъ него мѣры казалось естественнымъ. Подъ этимъ предлогомъ скрывалась стачка трехъ деспотическихъ армій, на поддержаніе устарѣлаго государственнаго быта, основаннаго на поглощеніи народа государствомъ, на поддержаніе самовластной опеки надъ народами — посредствомъ военной аристократіи и канцелярскаго управленія.

Самый характеръ — доктринерскій, мистическій, схоластическій, послѣдовательный до нелѣпости, бездушный, какъ все отвлечен-

ное, дѣлалъ изъ тройнаго союза 1815 года чисто *нѣмецкое* произведеніе. Петербургская Россія фигурировала въ немъ, какъ одна изъ нѣмецкихъ державъ, и въ этомъ почетномъ качествѣ участвовала въ преслѣдованіи нотами и штыками всякаго свободнаго движенія, гдѣ бы оно ни было—въ Италіи, Испаніи, Греціи...

Новый союзъ циничнѣе, у него предлога нѣтъ. Онъ дѣлается въ виду слабаго государства, отстаивающаго свои очень небольшія территоріи и несчастнаго, четвертованнаго народа, отстаивающаго свое существованіе.

Гдѣ опасность? Неужели Данія хочетъ завоевать Поцдамъ? Или поляки исправить ошибку Яна Собесскаго и занять Вѣну? Да еслибъ и такъ, гдѣ тутъ опасность для Петербурга, для Москвы?

Этотъ союзъ дѣлается въ предупрежденіе Скандинавской федераціи.

Этотъ союзъ дѣлается чтобъ стереть имя польское съ лица земли.

Петербургское правительство гарантируетъ Австріи и Пруссіи ихъ польскія владѣнія. Какое-же это славянское правительство? Какая же это славянская династія? Николай закабалилъ нѣмцамъ Краковъ, сынъ его закрѣпляетъ за ними Галицію и Познань и проситъ за это, чтобъ нѣмцы ему гарантировали Польшу... Давно-ли Россія стала такъ слаба, давно-ли она боится развалиться, если нѣмецъ ее не поддержитъ?...

Раздѣлъ Польши, какъ камень привязанный къ шеѣ, стягиваетъ Россію па дно нѣмецкаго болота...

Неужели возможно, чтобъ русскія войска еще разъ явились, какъ въ 1849 году, жандармами-усмирителями, или палачами на нѣмецкой службѣ?

Лишь-бы не дожить до этого позора...

....Послѣ свиданья въ Варшавѣ трехъ *нѣмецкихъ* потептатовъ,*) возстала Польша; что-то будетъ послѣ союза, заключеннаго на горькихъ нѣмецкихъ водахъ...?

Колоколъ № 190.
15 Октября 1864 года.

КОЛОКОЛЪ НА 1865 будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ и въ томъ же духѣ.

Разнесся слухъ о прекращеніи *Колокола*, вѣроятно русская полиція облекла скромное желаніе свое въ выдуманный фактъ. Сой-

---

*) Можно быть на русской службѣ какъ всѣ Бенкендорфы, Мейендорфы, Ренсдорфы, Берги, Адлерберги, и въ сущности оставаться нѣмцами. Можно даже усвоить себѣ кой-какія русскія ухватки, и особенно пороки, передразнивать московскихъ царей, говорить церковнымъ языкомъ, сдѣлаться ярымъ русскимъ патріотомъ, и все-таки остаться нѣмцемъ — Карлъ Ифанычемъ, Ифанъ Ифанычемъ.

ти со сцены теперь—значитъ окончательно усомниться въ Россіи. Такого торжества мы не дадимъ еще закоснѣлымъ врагамъ свободнаго слова въ Россіи.

Колоколъ, при нашей жизни, только прекратится уничтоженіемъ всякой цензуры въ Россіи. И то если это уничтоженіе будетъ не австрійское, не прусское, а дѣйствительное. До тѣхъ поръ кажется еще много воды утечетъ.

10 Октября 1864.

Александръ Герценъ
Николай Огаревъ.

Колоколъ № 191.
15 Ноября 1864 года.

ПИСЬМА КЪ ПРОТИВНИКУ.*)

Письмо Первое.

Сегодня первое тихое утро послѣ свиданья съ вами и ряда нашихъ разговоровъ. Я перебралъ слышанное отъ васъ и старался, на сколько могъ, спокойно обдумать и привесть въ порядокъ сказанное вами. Мы какъ-то сбиваемся на генерала Ли и генерала Гранта, служа оба двумъ *распавшимся частямъ одного цѣлаго:* мы, какъ они, ничего не уступаемъ и, какъ ни мѣняемъ позиціи, все находимся во враждебномъ положеніи. Мнѣ кажется, что съ нами можетъ случиться тоже, что съ ними, почти навѣрное будетъ, т. е., что миръ заключатъ другіе за спиной нашей, пока мы будемъ продолжать старую войну.

Принимаясь за перо, я не имѣю притязанія васъ побѣдить, ни предчувствія быть побитымъ вами: но полагаю, что если мы и не дойдемъ до общаго пониманья, то все же не будетъ безполезно опредѣленнѣе высказаться. Въ два послѣднихъ года всѣ понятія и оцѣнки, всѣ люди и убѣжденія такъ измѣнились въ Россіи, что не мѣшаетъ напомнить друзьямъ и противникамъ—*кто мы.* Пусть одни хвалятъ, другіе бранятъ, зная кого они гладятъ по головѣ и кого бьютъ.

Я васъ слушалъ честно и добросовѣстно, но вы не убѣдили меня, и это не личное упрямство и не упорство партіи. Объективная истина для меня и теперь такъ же свята и дорога, какъ во времена юныхъ споровъ и университетскихъ препинаній. Мнѣ не надобно было внѣшняго побужденія, чтобъ заявить въ пятидесятыхъ годахъ на сколько я ошибался въ спорѣ съ нашими славянами и я не очень испугался западныхъ авторитетовъ, обличая и уличая ихъ революціонную несостоятельность, такъ какъ она мнѣ раскрылась въ 1848 г.

Ваше оправданіе тому, что въ Россіи теперь дѣлается, я рѣши-

---

*) Соединенныя здѣсь статьи помѣщены въ NN° 191, 193, 194 "Колокола". *Л. Т.*

тельно отвергаю. Изъ глубины моей совѣсти, изъ глубины моего сердца подымается крикъ протеста и негодованія противъ казней въ Польшѣ, противъ террора въ Россіи, противъ мелкихъ преслѣдованій и добиваній послѣ побѣды и, само собою разумѣется, еще больше противъ всякаго посягательства ихъ оправдывать. Защищающіе дикую расправу правительства „изъ высшихъ государственныхъ интересовъ“ берутъ на себя страшную отвѣтственность за растлѣніе цѣлаго поколѣнія. Оправданіе того, что дѣлается въ Россіи, не въ смыслѣ объясненія причинъ, а въ смыслѣ сочувствія и солидарности, ниспровергаетъ всякое простое, прямое, человѣческое пониманье, всякую нравственность и тѣмъ больше оскорбляетъ, что оно вовсе ненужно. Дикая сила имѣетъ верхъ и того съ нея довольно; какія оправданія нужны напору стихій, сибирской язвѣ, наводненію?

Это я долженъ былъ заявить съ самаго начала, объ остальномъ я готовъ разсуждать съ вами. Тутъ я не сдѣлаю ни одной уступки и не имѣю права. Я не на столько религіозенъ, чтобъ съ холодной улыбкой шагать черезъ трупы и назидательнымъ взглядомъ укора провожать мучениковъ мысли и преданности на висѣлицу и каторгу.

За тѣмъ мнѣ хотѣлось бы также въ самомъ началѣ указать въ чемъ мы согласны. Еслибъ у насъ не было ничего общаго, то о чемъ же намъ было бы говорить. Мы махнули бы другъ на друга рукой и пошли бы одинъ въ свою сторону, другой въ свою.

Дѣйствительно, трудно себѣ представить двухъ человѣкъ, которыхъ весь нравственный бытъ и строй, все святое святыхъ, всѣ идеалы и стремленія, всѣ упованія и убѣжденія были-бы до такой степени противуположны, какъ у меня съ вами.... мы люди разныхъ міровъ, разныхъ вѣковъ, и при всемъ томъ и вы, и *я служимъ одному дѣлу*, преданы ему искренно и такими признаемъ другъ друга,

Разными путями дошли мы до *одной точки*, въ которой согласны. Я знаю, что вы не допустите возможности не одинакимъ образомъ доходить до истины, но фактъ противъ васъ. *Исторически* почти всѣ истины открывались путемъ ломанымъ, кривымъ, фантастическимъ; однажды сознанная истина—освобождается отъ случайныхъ эмбріогеническихъ путей и получаетъ не только признаніе помимо ихъ, но и примыкаетъ къ методѣ — вмѣсто личнаго, относительно-случайнаго проселка, она потомъ создаетъ свой логическій, широкій путь.

Насъ занимающій вопросъ не въ теоріи и не въ методѣ, насъ занимаетъ практическая, прикладная сторона его. Дѣло для насъ не въ точкѣ отправленія, не въ личномъ процессѣ, не въ діалектической *драмѣ*, которыми мы отыскиваемъ истину, а въ томъ *истинна-ли истина*, которая стала нашей плотью и кровью, нравственнымъ основаніемъ всей жизни и дѣятельности, и вѣрны-ли пути, которыми мы осуществляемъ ее. Что слово *драма* или романъ идутъ къ процессу развитія живыхъ ученій, это мы знаемъ

по опыту. Вспомните борьбу славянофиловъ съ нами въ сороковыхъ годахъ и сравните ее съ тѣмъ, что теперь дѣлается. Два противуположные стана, какъ два бойца перемѣнили въ продолжительномъ состязаніи мѣсто, перемѣшали оружія. Славянофилы сдѣлались западными террористами, защитниками нѣмецкихъ государственныхъ идей — а часть западниковъ (и мы въ томъ числѣ), отрѣкаясь отъ salus populi и кроваваго прогресса, стоитъ за самоправность каждой области, за общину, за право на землю. При этомъ круженіи, при этомъ обмѣнѣ сторонъ и оружій, осталась неизмѣнной та точка, около которой совершилось все это. Мое воззрѣніе отчасти вамъ извѣстно, я думаю что знаю ваше, а потому *точку* опредѣлить не трудно. Господствующая ось, около которой шла наша жизнь—это *наше отношеніе къ русскому народу, вѣра въ него, любовь къ нему* (которую я также, какъ и *День*, не смѣшиваю съ больше и больше ненавистной мнѣ добродѣтелью патріотизма) и *желаніе дѣятельно участвовать въ его судьбахъ.*

Любовь наша не только физіологическое чувство племеннаго родства, основанное исключительно на случайности мѣсторожденія, она сверхъ того тѣсно соединена съ нашими стремленіями и идеалами, она оправдана вѣрой, разумомъ и потому она намъ легка и совпадаетъ съ дѣятельностью всей жизни.

Для васъ русскій народъ преимущественно народъ *православный*, т. е. наиболѣе христіанскій, наиближайшій къ *веси небесной.* Для насъ русскій народъ преимущественно *соціальный*, т. е. наиболѣе близкій къ осуществленію одной стороны того экономическаго устройства, той *земной веси,* къ которой стремятся всѣ соціальныя ученія.

Не мы перенесли на народъ русскій свой идеалъ, и потомъ, какъ это бываетъ съ увлекающимися людьми, сами же стали имъ восхищаться какъ находкой. Мы просто встрѣтились. Событія послѣднихъ годовъ и вопросы возбужденные крестьянскимъ дѣломъ, открыли глаза и уши слѣпымъ и глухимъ. Съ тѣхъ поръ, какъ огромная сѣверная лавина двинулась и пошла, чтобы ни дѣлалось, даже самаго противуположнаго въ Россіи, она идетъ отъ одного соціальнаго вопроса къ другому.

Соціалистъ я не со вчерашняго дня. Тридцать лѣтъ тому назадъ я высочайше утвержденъ Николаемъ Павловичемъ въ званіи соціалиста — cela commence à compter. Черезъ двадцатъ лѣтъ я напомнилъ объ этомъ его сыну въ письмѣ, которое вы знаете, и черезъ десять другихъ говорю вамъ, что я рѣшительно не вижу выхода изъ всеобщаго импаса образованнаго міра, кромѣ старческаго обмиранія или соціальнаго переворота—крутаго или идущаго исподволь, наростающаго изъ жизни народной или вносимаго въ нее теоретической мыслью — все равно. Вопросъ этотъ нельзя обойти, онъ не можетъ ни устарѣть, ни сойти съ череды, онъ можетъ быть оттертъ, заставленъ другими, но онъ тутъ, какъ скрытая болѣзнь — и если онъ не постучится въ дверь, когда всего меньше думаютъ, то постучится смерть.

Политическая революція, пересоздающая формы государственныя, не касаясь до формъ жизни, достигла своихъ границъ; она не можетъ разрѣшить противурѣчія юридическаго быта и быта экономическаго, принадлежащихъ разнымъ возрастамъ и воззрѣніямъ — а оставаясь при ихъ противурѣчіи нечего и думать о разрѣшеніи антиномій, и прежде существовавшихъ, но теперь пришедшихъ къ сознанію—въ родѣ безусловнаго права собственности и неотрицаемаго права на жизнь, правомѣрной праздности и безвыходнаго труда... Западная жизнь, чрезвычайно способная ко всѣмъ развитіямъ и улучшеніямъ, некасающимся перваго плана ея общественнаго устройства, оказывается упорно консервативной какъ дѣло доходитъ до линіи фундамента. Феодально-муниципальное устройство его стоитъ твердо и втѣсняетъ себя, ужъ не какъ разумный или оправданный фактъ, а какъ существующій и привычный. За городовымъ валомъ своимъ онъ не боится сельской нищеты и полеваго невѣжества окружающихъ его. Противъ оторванныхъ отъ земли, противъ номадовъ цивилизаціи, сражающихся съ голодною смертью, онъ защищенъ — арміей, судомъ, полиціей. Внизу — готизмъ, католицизмъ, піэтизмъ и дѣтское состояніе мозга. На вершинахъ—отвлеченная мысль, чистая математика революціи, стремящаяся примирить безуміе существующаго съ разумомъ водворяемаго компромисомъ между готизмомъ и соціализмомъ. Этотъ half and half и есть *мѣщанское государство*.

Когда я спорилъ въ Москвѣ съ славянофилами (между 1842 — 1846 годами), мои воззрѣнія въ основахъ были тѣ-же. Но тогда я не зналъ Запада, то есть зналъ его книжно, теоретически и еще больше я любилъ его всею ненавистью къ николаевскому самовластью и петербургскимъ порядкамъ. Видя какъ Франція смѣло ставитъ соціальный вопросъ, я предполагалъ, что она хоть отчасти разрѣшитъ его, и оттого былъ, какъ тогда называли, *западникомъ*. Парижъ въ одинъ годъ отрезвилъ меня—за то этотъ годъ былъ 1848. Во имя тѣхъ-же началъ, во имя которыхъ я спорилъ съ славянофилами за Западъ, я сталъ спорить съ нимъ самимъ.

Обличая революцію, я вовсе не былъ обязанъ переходить на сторону ея враговъ — паденіе февральской республики не могло меня отбросить ни въ католицизмъ, ни въ консерватизмъ, оно меня снова привело *домой*.

Стоя въ стану побитыхъ, я указалъ имъ на народъ носящій въ бытѣ своемъ больше условій къ экономическому перевороту, чѣмъ окончательно сложившіеся западные народы. Я указывалъ на народъ, у котораго нѣтъ тѣхъ нравственныхъ препятствій, о которыя разбивается въ Европѣ всякая новая общественная мысль, а напротивъ есть *земля подъ ногами* и вѣра что *она его*.

И вотъ пятнадцать лѣтъ я постоянно проповѣдую это. Слова мои возбуждали смѣхъ и негодованіе, но я шелъ своей дорогой. Пришла Крымская война, смѣхъ замѣнился свистомъ, клеветой.... но я шелъ своей дорогой. По странной ироніи мнѣ пришлось на развалинахъ французской республики проповѣдывать на Западѣ

часть того, что въ сороковыхъ годахъ проповѣдывали въ Москвѣ Хомяковъ, Кирѣевскіе... и на что я возражалъ.

Годъ тому назадъ я встрѣтилъ на пароходѣ между Неаполемъ и Ливорной русскаго, который читалъ сочиненія Хомякова въ новомъ изданіи. Когда онъ сталъ дремать, я попросилъ у него книгу и прочелъ довольно много. Переводя съ апокалиптическаго языка на нашъ обыкновенный и освѣщая дневнымъ свѣтомъ то, что у Хомякова освѣщено паникадиломъ, я ясно видѣлъ какъ во многомъ мы одинакимъ образомъ поняли западный вопросъ, не смотря на разныя объясненія и выводы. Патологическое описаніе Хомякова — вѣрно, но изъ этого не слѣдуетъ, что я согласенъ съ его теоріей и съ его объясненіями зла. Тоже самое въ его оцѣнкѣ бытовыхъ элементовъ русской жизни, на которыхъ возникаетъ наше развитіе. Хомяковъ, наприм., полагаетъ, что вся исторія Запада, т. е. почти *вся* исторія полуторатысячи лѣтъ, не удалась оттого, что Германо-Романскіе народы приняли католическую вѣру, а не греческую и даетъ чувствовать, что спасеніе ихъ собственно возможно на томъ основаніи, на которомъ у насъ берутъ во дворъ нѣмецкихъ принцессъ, при перемѣнѣ одного христіанскаго исповѣданія на другое. Я считаю что такія длинныя, хроническія болѣзни, далеко неизлѣчимы такими простыми, *симпатическими* (какъ говаривали встарь) средствами, ни такимъ гомеопатическимъ вышибаніемъ клина клиномъ. Вообще я ни прежде, ни теперь не могъ понять—отчего все христіанство за стѣнами восточной церкви *не-христіанское*, и оттчего Россія представляетъ ученіе о свободѣ (разумѣется не на практикѣ...) а Западъ—ученіе, основанное на необходимости. Это становится еще темнѣе, читая католическія любезности той-же пробы на счетъ схизматиковъ. . . . . .

....На этомъ мѣстѣ меня застало ваше письмо.... Оно измѣняетъ температуру. Изъ вашего письма и изъ его сильнаго одушевленія, я вижу что былъ совершенно правъ, „отмахиваясь“ отъ богословско-метафизической контроверзы. Я зналъ что она не приведетъ къ добру и не принесетъ того огня, который свѣтитъ и грѣетъ, а раздуетъ тотъ, которымъ жарили еретиковъ и невѣрующихъ.

Дѣлить людей на агнцевъ и козловъ—дѣло не хитрое и не новое; ставить въ одну категорію всѣхъ людей религіозныхъ и преимущественно православныхъ, а въ другую всѣхъ остальныхъ и преимущественно матеріалистовъ — легко. Жаль только, что это дѣленіе имѣетъ одинъ важный недостатокъ — полнѣйшую невѣрность въ практикѣ. Вамъ, какъ всѣмъ идеалистамъ и теологамъ, это все равно, вы строите міръ a priori, вы знаете какой онъ *долженъ быть* по откровенію — ему-же хуже если онъ не такой какой долженъ быть! Еслибъ вы были просто наблюдатель, васъ остановили-бы факты противурѣчащіе вашему мнѣнію, они заставили-бы васъ возвратиться къ перебору началъ и рѣшить — исторія-ли и жизнь нелѣпы, или ученіе ложно. Увѣренные въ непо-

грѣшительности ученія, вы шагаете черезъ. Что вамъ за дѣло, что возлѣ мартиролога христіанства—мартирологъ революціи. Исторія вамъ указываетъ какъ язычники и христіане, люди не-вѣрившіе въ жизнь за гробомъ и вѣрившіе въ нее, умирали за свое убѣжденіе, за то что они считали благомъ, истиной, или просто любили. . . . а вы все будете говорить, что человѣкъ считающій себя скученіемъ атомовъ, не можетъ собою пожертвовать: а человѣкъ который считаетъ свое тѣло искусными, но презрѣнными ножнами души — жертвуетъ собой по праву, не смотря на то что исторія вовсе не доказываетъ, чтобъ матеріалисты 93 года были особенные трусы, а вѣрующіе по ремеслу — попы, монахи были-бы (кромѣ Польши) особенно падки на самоотверженіе и героизмъ. Дѣло въ томъ, что всѣ эти *первые мотивы* и метафизическія міросозерцанія вовсе не имѣютъ такого рѣшительнаго и рѣзкаго вліянія на характеръ и дѣйствія какъ вы полагаете. Большое счастіе, что голодъ и жажда развиваются прежде, чѣмъ человѣкъ обдумаетъ — стоитъ-ли кормить ничтожные атомы и достойно-ли поить презрѣнныя ножны. Привычка сдѣлана и ѣда идетъ своимъ чередомъ, а трансцендентальная психологія — своимъ. Матери не нужно ни религіи, ни атеизма чтобъ любить своего ребенка; человѣку вообще не нужно ни откровеній, ни сокровеній чтобъ быть привязаннымъ къ своей семьѣ, своему племени и, если случится, вступиться за нихъ; а кто вступается, тотъ иной разъ ложится костьми — изъ ничтожныхъ-ли атомовъ онѣ или изъ творческаго вовсе ничего, это все равно.

Обо всемъ этомъ можно наговорить бездну интересныхъ вещей, бездну вещей давно сказанныхъ, не говоря ни слова о русскомъ вопросѣ, который меня занимаетъ гораздо больше этихъ безвыходныхъ параллелей, въ которыхъ можно биться до конца жизни, не двигаясь ни на шагъ и не выплывая на берегъ.

Вы находите, напр., непослѣдовательнымъ, что человѣкъ, невѣрующій въ будущую жизнь, вступается за настоящую жизнь ближняго. А мнѣ кажется что *только онъ* и можетъ дорожить *временной* жизнію своей и чужой; онъ знаетъ, что лучше этой жизни для существующаго человѣка ничего не будетъ и сочувствуетъ каждому въ его самохраненіи. Съ теологической точки зрѣнія смерть представляется совсѣмъ не такой бѣдой; религіознымъ людямъ была нужна заповѣдь „не убей“, чтобъ они не принялись людей спасать отъ грѣховнаго тѣла, смерть собственно одолжаетъ человѣка — ускоряя его вѣчную жизнь. Грѣхъ убійства состоитъ вовсе не въ актѣ плотоумерщвленія, а въ самовольномъ повышеніи паціентовъ въ высшій классъ. Наши вѣшающіе генералы съ религіозной точки легко оправдываются, они отсылаютъ подсудимыхъ въ высшую инстанцію, тамъ они могутъ оправдаться и чѣмъ невиннѣе окажутся, тѣмъ лучше будетъ ихъ судьба. Вы дивитесь почему мы дорожимъ такъ кровью, будучи „матеріалистами“ (я для васъ повторяю это слово, оно и не выражаетъ дѣла и очень школьно) — изъ этого ясно что вы, съ вашей точки, имѣете пол-

ное право состраданія—отчего-же вы имъ не пользуетесь? Отчего я въ вашихъ словахъ, въ вашемъ письмѣ не видалъ ни одного слова участья и сострадания къ казнимымъ, къ идущимъ на каторгу? Почему вы думаете, что все это виновные, какъ будто бываютъ тысячи виновныхъ, какъ будто въ числѣ казнимыхъ нѣтъ людей чисто преданныхъ своему дѣлу?.... Да и наконецъ еслибъ всѣ былѣ виноваты, кто-же за ихъ вину васъ-то наказалъ безучастіемъ къ судьбамъ ихъ? Отчего вы вообще гораздо больше заняты опредѣленіемъ *вмѣненій*, наказаній, чѣмъ оправданіемъ обвиняемыхъ?

Вы меня даже спрашиваете—какими нравственными наказаніями я замѣняю тѣлесныя и не тѣлесныя-ли наказанія тюрьма, ссылка и пр.—какъ будто я когда-нибудь брался, какъ князь Черкасскій, находить дѣтскія или старческія, свѣтскія или духовныя розги и ихъ эквиваленты? Изъ того что я говорилъ о нелѣпости, о гнусности полосовать человѣку спину за прошлый поступокъ, не слѣдуетъ вовсе, что я тюрьму считаю умной и раціональной, а штрафъ справедливымъ.

—„Хотите уничтоженія холеры?"—Безъ сомнѣнія.

—„Но какой-же заразой ее замѣнить? И легче-ли будетъ новая зараза?"—Такого вопроса ни одинъ докторъ не разрѣшитъ.

Розги и тюрьмы, грабежъ судомъ выработаннаго и насильственная работа виновнаго, все это *тѣлесныя* наказанія, и могутъ быть только замѣнены инымъ общественнымъ устройствомъ.

Матеріалистъ Оуэнъ не искалъ ни преступниковъ, ни наказаній, ни уравненій между кандалами и побоями, а думалъ какъ найти такія условія жизни, которыя не наводили-бы людей на преступленія. Онъ началъ съ воспитанія; испуганные безнаказанностью дѣтей, піэтисты закрыли его школу.

Фурье попытался самыя страсти, причиняющія въ своемъ необузданномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ стѣсненномъ состояніи, всѣ преступные взрывы и отклоненія, направить на пользу общества,—въ немъ замѣтили одну смѣшную сторону...

Цѣлыя страны существуютъ безъ тѣлесныхъ наказаній, а у насъ еще ведутъ контроверзу о томъ сѣчь или не сѣчь? Если сѣчь—чѣмъ сѣчь? Если не сѣчь—сажать-ли на цѣпь или въ клѣтку?... Что лучше, розга или клѣтка?... Какова клѣтка, какова розга?—Дѣтская розга хороша, а дѣтская клѣтка никуда не годится.

„Уничтоженіе наказаній невозможно", скажете вы съ точки зрѣнія религіи, которая сдѣлала себѣ спеціальностью все прощать, все прощать. Можетъ быть — но вѣдь изъ этого не слѣдуетъ, что наказанія надобно выдавать за правду, а не за то что они есть—за печальную необходимость, за несчастное послѣдствіе. О самихъ вмѣненіяхъ хлопотать нечего, они найдутся. Пока будетъ судейское ремесло, пока останется кровавый кодексъ общественной мести и средневѣковое невѣжество массъ—хирургъ правосудія — палачъ, не умретъ безъ работы.

Но оставимте, наконецъ, всѣ эти общія диссертаціи, я еще

разъ „отмахиваюсь“ отъ нихъ и перехожу къ нашимъ домашнимъ дѣламъ.

Письмо Второе.

Вы строго насъ судите. „Ваша пропаганда, говорите вы, подѣйствовала на цѣлое поколѣніе какъ гибельная, *противуестественная привычка*, привитая къ молодому организму, еще не успѣвшему сложиться и окрѣпнуть. Вы изсушили въ немъ мозгъ, ослабили нервную систему и сдѣлали его неспособнымъ къ сосредоточенію, выдержкѣ и энергической дѣятельности... Причина всему этому злу—*отсутствіе почвы*, заставляющее васъ продолжать безъ вѣры какую то *революціонную чесотку*, по старой памяти“.

Что у насъ есть *почва* и даже отчасти общая съ *вами*, я вамъ сказалъ. Мы на нашей почвѣ—очень реальной, стоимъ очень реально; почва обыкновенно бываетъ подъ ногами; у васъ есть другая надъ головой; вы богаче насъ, но, можетъ, по этому земные предметы вамъ представляются обратными.

Что касается до „чесотки“, объ ней поговоримъ послѣ, а теперь позвольте васъ спросить—да въ самомъ-ли дѣлѣ у новаго поколѣнія изсушенъ мозгъ и ослаблена нервная система, въ самомъ-ли дѣлѣ оно не способно къ *выдержкѣ* и *энергіи*? Я ставлю сильный вопросительный знакъ.

Какъ бы намъ старикамъ не пришлось себя винить въ противуестественныхъ привычкахъ, вмѣсто молодаго поколѣнія? И вы, и мы по положенію, по необходимости были рефлектерами, резонерами, теоретиками, книжниками, *тайнобрачными* супругами нашихъ идей. Все это было умѣстно, необходимо послѣ перелома русской жизни въ 1825 году; надобно было сойти поглубже въ себя, добраться до какого нибудь свѣта, все это такъ—но *энергией, но дѣломъ, но мужествомъ* мы мало отличились. Вы скажете, что когда нѣтъ войны, нѣтъ и случая показать свою военную отвагу—безъ сомнѣнья, но нечего-же и бросать каменья въ юношей, рвущихся на бой, за то, что они пошли слишкомъ задорно и—главное—не дочитали своихъ учебниковъ. Исторія и географія вещи хорошія, но за ихъ незнаніе нельзя предавать цѣлое поколѣніе проклятію и разодравши сертуки наши, съ злобной радостью видѣть когда его посылаютъ на каторгу. Въ 1812 году мальчики шли на войну и никто не бранилъ ихъ за то, что они, не кончивъ курса, брали георгіевскіе кресты.

Невѣжество—тамъ гдѣ оно не роковая необходимость, а слѣдствіе лѣтъ и небрежности—я конечно ненавижу не меньше вашего; но во-первыхъ я желалъ бы знать что вы разумѣете подъ невѣжествомъ? — Изученіе филологіи, *классическое* образованіе составляли прежде все образованіе; теперь больше другихъ спеціалистовъ; теперь больше занимаются естественными науками. А во-вторыхъ есть въ исторіи народовъ полосы, въ которыя пульсъ усиливается и мѣшаетъ обыкновенному строю, въ которомъ все

кругомъ колеблется, измѣняется, другія потребности овладѣваютъ умами, чѣмъ во времена застоя, и увлекаютъ ихъ. Россія, явнымъ образомъ, въ этомъ положеніи съ Крымской войны. Спокойно, кабинетно заниматься врядъ-ли было возможно, не только молодежи, но и сѣдымъ головамъ.

Намъ учиться былъ страшный досугъ. Мы кромѣ книги ни за что и не брались, мы удалялись отъ дѣла, оно было или такъ черно или такъ невозможно, что не было выбора; люди какъ Чаадаевъ, какъ Хомяковъ, исходили болтовней, ѣздили изъ гостинной въ гостинную спорить о богословскихъ предметахъ и славянскихъ древностяхъ. Мы всѣ были отважны и смѣлы только въ области мысли. Въ практическихъ сферахъ, въ столкновеніяхъ съ властью являлась большей частію несостоятельность, шаткость, уступчивость; Хомякову было за сорокъ лѣтъ, когда ему Закревскій велѣлъ обриться, и онъ обрился. Бывши подъ слѣдствіемъ въ 1834 году, я скрывалъ свои мнѣнія, мои товарищи тоже. Не знаю что скажутъ другіе бывшіе по крѣпостямъ и призываемые въ III отдѣленіе, но мнѣ кажется, что послѣ Декабристовъ до Петрашевцевъ всѣ лыняли. Самая революціонная натура николаевскаго времени, *Бѣлинскій*, и онъ былъ сведенъ на эстетическую критику, на Гегелеву философію и дальніе намеки.

Все печально сидѣло по щелямъ, читало книги, писало и, по большей части украдкой, показывало потомъ статьи. Вдругъ, когда всего меньше ждали, въ Петровскомъ тюремномъ кораблѣ открылась течь. Обезумѣвшій шкиперъ первый растерялся и умеръ. Середь мрачной и мертвой тишины, вѣсть о его смерти сверкнула молніей и все зашевелилось, подняло голову, подняло голосъ, всѣ готовы были ринуться, исполненные надеждъ, ожиданій... Куда?... Этого еще никто не зналъ, а только спрашивали: когда же? что же?... да скоро ли?

Минуты великія, въ которыя начинается пробужденіе цѣлой страны, на вершинахъ всѣхъ слоевъ занимается заря... и всѣ чувствуютъ, что начинается другое время, новый день...

И вы могли думать, что молодежь, что шестнадцати, семнадцатилѣтніе юноши останутся спокойно и благонравно доучиваться, съ тѣмъ втѣсненнымъ безучастіемъ къ жизни и отчаяннымъ усердіемъ, съ которымъ мы сидѣли на университетскихъ лавкахъ? И это не смотря даже на то, что у нихъ не было больше профессоровъ какъ Грановскій и со всѣхъ сторонъ врывался въ аудиторію говоръ объ общественныхъ дѣлахъ? Какой же вы плохой знатокъ человѣческаго сердца!

Что собственно васъ сконфузило и испугало? Что студенты стали дѣлать сходки, посылать депутатовъ къ начальству, говорить рѣчи? Отчего же студентамъ не дѣлать сходки? Зачѣмъ молчаніе монастыря, передней или фрунта? Больныхъ въ комнатѣ не было, а была горячая молодежь, которой разрѣшили немного погромче говорить. За чѣмъ вы и ваши друзья принесли на эти весенніе праздники угрюмую фигуру недовольныхъ учителей, монаховъ на

пирушкѣ? За чѣмъ вы видѣли въ этомъ естественномъ взрывѣ молодыхъ силъ одинъ безпорядокъ и нарушеніе строя (и какого строя!)? За чѣмъ въ языкѣ, который обращался къ молодежи, былъ слышенъ клерикальный и начальническій тонъ? Одно мягкое братское слово могло сдѣлать больше впечатлѣнія, чѣмъ томы черствыхъ проповѣдей. Вы оскорбили молодежь безучастіемъ и порицаніемъ въ минуты дорогія для нея. Чему же дивиться, что и та часть ея, которая слушала васъ прежде, отстранилась и ускользнула отъ васъ?

Новые дѣятели, выступившіе на сцену, мало по малу оставленную старыми актерами, испугавшимися, что піэса, которую они весь вѣкъ представляли, начинаетъ превращаться въ быль, двинули молодежь въ иномъ направленіи и если они меньше учили ее по книгѣ, то учили больше примѣромъ. Оттого молодое поколѣніе стало складываться съ большимъ мужествомъ, съ большей выдержкой и съ большей готовностью на бой—вамъ это можетъ не нравиться, но все же это совершенно противуположно той *энервацiи*, о которой вы говорите.

Хотите примѣры, я вамъ напомню три-четыре случая, извѣстные всей Россіи; мало ихъ, я готовъ привести двадцать. Боюсь одного, что они не полѣйствуютъ на васъ; для того чтобъ вы оцѣнили подвигъ преданности, любви, вамъ надо чтобъ онъ былъ въ Чети Минеяхъ, или по крайней мѣрѣ въ Болгаріи или Сербіи, а это все примѣры свѣтскіе, петербургскіе и иногородные.

Передъ какимъ-нибудь римскимъ центуріономъ, смѣло читавшимъ „запрещенныя“ молитвы, не боясь ни своего леґіонера, ни дикихъ звѣрей, религіозные люди умиляются тысячу восемсотъ лѣтъ; а когда гардемаринъ *Трувеллеръ* прямо и открыто говоритъ: «Да, я давалъ эти листы, эти книги солдатамъ, потому что въ нихъ заключается правда»; или, когда *Сливицкій* на вопросъ кто писалъ письмо, служившее единственнымъ доказательствомъ противъ него, говоритъ, что писалъ письмо онъ, и подписываетъ его, зная что онъ подписываетъ свой приговоръ; когда *Муравскій*, больной, безъ всякихъ средствъ, встаетъ передъ судьями и говоритъ имъ все что накипѣло въ его душѣ,—тогда почитатели центуріона называютъ это мальчишничествомъ, дерзостью, западной демонстраціей.

Что — *энервированный* Михайловъ просилъ пощады? Обручевъ валялся въ ногахъ царя? Чернышевскій отрекся отъ своихъ убѣжденій? Нѣтъ, они ушли на каторгу съ святою нераскаянностью. И у Мартьянова нервы не особенно были слабы, когда обиженный враждебнымъ отношеніемъ всей Европы къ Россіи, онъ предалъ самъ себя земскому царю.

Я ни въ тридцатыхъ, ни въ сороковыхъ годахъ не помню ничего подобнаго.

Двѣнадцатаго Апрѣля 1861 года русская земля обагрилась русской кровью. Пятдесятъ крестьянскихъ труповъ легло на мѣстѣ, восемдесятъ тяжело раненныхъ умирали безъ всякой помощи по

избамъ. Фанатикъ, который ихъ велъ, простой крестьянинъ, какъ Мартьяновъ, вѣровавшій въ земскаго царя и золотую волю, былъ разстрѣлянъ Апраксинымъ. Съ казни Антона Петрова началась та кровавая полоса новаго царствованія, которая съ тѣхъ поръ не перемежаясь, продолжается и растетъ, но не одна она. Съ этой же казни начался мужественный, неслыханный въ Россіи протестъ, не въ тихомолку, не на ухо, а всенародно, въ церкви—на амвонѣ. Казанскіе студенты служили панихиду по убіеннымъ, казанскій профессоръ произнесъ надгробное слово. Слабодушнымъ этого поступка назвать нельзя.

Публицистъ, не имѣющій возможности при капризной цензурѣ нашей сказать свое слово о крестьянскомъ вопросѣ, печатаетъ свою брошюру въ Германіи, подписываетъ ее, говоря въ предисловіи, что настала пора открытыхъ поступковъ. . . . Публицистъ этотъ третій годъ уже ждетъ въ казематѣ приговора на каторжную работу.

Гдѣ-же доказательства той нравственной распущенности, той неспособности къ энергическому дѣлу, въ которой вы обвиняете молодое поколѣніе? Изъ-за чего вы такъ осерчали противъ него? Неужели только изъ-за того, что оно мало и дурно учится? У насъ съ поконъ вѣка учились мало и скверно, и неужели молодежь, шедшая въ юнкера и выходившая изъ кадетскихъ корпусовъ, училась больше? Отчего-же вы объ ней не кручинились?

Правительство гонитъ молодое поколѣніе потому, что оно его боится, оно увѣрено, что пожаръ былъ отъ „Молодой Россіи“ и что еще двѣ-три прокламаціи, и въ Петербургѣ насталъ-бы 93-й годъ. Правительство до „Молодой Россіи“ и послѣ „Молодой Россіи“ вовсе не похожи другъ на друга — она дѣйствительно произвела переворотъ. Министры прогресса и директоры либерализма, гуманная полиція и столоначальники освобожденія — все исчезло какъ прахъ отъ ужаса и словъ „Молодой Россіи“. Правительство стремилось возвратиться въ николаевскую смирительную гавань... По счастію къ ней плыть было тоже страшно и оно остановилось, какъ пароходъ безъ угля и парусовъ, со всѣми неудобствами качки, но безъ движенія впередъ. Страхъ наведенный небольшой кучкой энергической молодежи былъ такъ великъ, что черезъ годъ Катковъ поздравлялъ правительство и всю Россію съ тѣмъ, что она миновала страшную революцію. Гоненія правительства стало быть объяснены—у страха глаза велики.

Вы совсѣмъ въ другомъ положеніи. Вы увѣрены, что всякая революціонная попытка въ Россіи невозможна, что «русскій народъ не пойдетъ противъ своего царя, что дворянство безъ него безсильно и что надобно быть поврежденнымъ чтобъ предположить, что нѣсколько студентовъ, не кончившихъ курсъ, сдѣлаютъ въ Россіи переворотъ прокламаціями à la Babœuf».—Прекрасно, ну такъ и оставьте это безсиліе и не дѣлайте изъ него силу. Люди настолько въ самомъ дѣлѣ становятся сильны, на сколько сами вѣрятъ и вѣрятъ ихъ окружающіе.

— «Да, но они ошибаются, ихъ надобно поставить на путь истинный». —Но вѣдь ошибаются и тѣ, которые столы вертятъ и которымъ Юмъ ходитъ по головѣ, что-же вы не направите паяльную трубку вашу на нихъ?

Если васъ испугалъ самый фактъ „подпольной литературы", то это только доказываетъ нашу великую дѣвственность въ этихъ дѣлахъ. Въ какой-же странѣ, гдѣ существовала ценсура и правительственный произволъ, когда въ ней возбуждалось умственное движеніе и желаніе воли, не было тайныхъ типографій, тайнаго распространенія рукописей? Это такой-же естественный фактъ, какъ печатаніе за границей, какъ эмиграція. Все христіанство распространилось подпольной литературой, въ родѣ нашей раскольнической.

Нѣтъ, тутъ что-то другое, все это не объясняетъ священнаго гнѣва вашего. Ужъ не особенно-ли сердитъ васъ *то ученіе*, которое легло въ основу новаго направленія?

Не гоните-ли вы въ молодомъ поколѣніи *матеріализмъ*, такъ какъ гоните въ полякахъ *католицизмъ?*

Въ раздраженіи вашемъ, въ томъ что вы меня обвинили, что я гибельно подѣйствовалъ на цѣлое поколѣніе, нѣтъ-ли у васъ особаго чувства dépit, отъ котораго надобно чрезвычайно остерегаться и въ которомъ невольно лежитъ сознаніе, что ваша пропаганда не смотря *ни на тяжелыя бесѣды, ни на нелегкіе дни*, не имѣла никакого успѣха въ молодомъ поколѣніи, не соблазнила бы его безъ патріотическихъ конфортативовъ. Еслибъ я выражался съ той патологической откровенностью, съ которой вы выражаетесь, я сказалъ бы что васъ приводитъ въ гнѣвъ то, что наша *революціонная чесотка* взяла верхъ надъ *богословскими паршами* свѣтскихъ пастырей нашихъ, идущихъ по стопамъ богоотецъ своихъ Магницкихъ, Руничей и пр.

Безпощаднымъ порицаніемъ молодаго поколѣнія вы оканчиваете схоластическую контроверзу, а правительство находитъ въ немъ оправданіе своимъ гоненіямъ. Вы сердитесь діатрибами, а правительство каторгой, казнями. Неужели вамъ можетъ нравиться этотъ неравный бой? Воля ваша, а это дурной методъ вести учено-богословскіе споры.

Письмо Третье.

Съ тою же несправедливостью, но съ гораздо большей жестокостью отзываетесь вы объ молодыхъ офицерахъ, писавшихъ намъ изъ Польши. Офицеровъ всегда строже наказываютъ военные судьи, но мы съ вами статскіе.

Чудеса надѣлало петровское воспитаніе, оно лишило насъ всякаго смысла свободы и независимости. Нашей освобождаемости едва хватило на пять лѣтъ, слѣдовавшія за смертью Николая. Стоило наткнуться на двѣ, на три прокламаціи, на матрикулы и на

разсуждающихъ офицеровъ, чтобъ съ испугомъ бѣжать назадъ подъ кровъ квартальныхъ нянекъ и правительственной опеки. Мы торопимся завѣсить, какъ Сен'Жюстъ, „статую свободы и права человѣка", забывая, что у насъ ея нѣтъ, а вмѣсто правъ человѣка —покамѣсть только уничтоженіе крѣпостнаго права.

Говорятъ, что Англія любитъ свободу, но не любитъ равенства: что Франція любитъ равенство, но не любитъ свободы. Россія ихъ опередила: она равно не имѣетъ ни пристрастія къ равенству, ни *ежкости* къ свободѣ. Это такъ и ведетъ отъ Аракчеевскаго императорства—къ императорству Пугачевскому.

Первое мы знаемъ хорошо. Сухая, безпощадная, фрунтовая выправка, вѣчное молчаніе, безсмысленное повиновеніе, механическій порядокъ — идеалъ великаго курфирста въ колосальныхъ размѣрахъ и въ колосальномъ развитіи. Въ мѣщанскомъ мизерѣ нѣмецкой жизни фельдфебельству негдѣ было расправить члены; на русскомъ черноземѣ, благодаря помѣщичьему закалу, оно быстро развилось до заколачиванія въ гробъ и до *музыки въ шпорахъ*. Вся педагогія Петра и его наслѣдниковъ состояла въ варіаціяхъ на эту музыку, т. е., въ переложеніи на русскіе нравы нѣмецкой казарменной дисциплины. Составились общіе катихизисы, философскія сентенціи въ родѣ знаменитаго совѣта; „Ты мнѣ изъ десяти рекрутъ выправь одного солдата, да чтобъ былъ *солдатъ*", т. е. девять остальныхъ забей, убей, изуродуй, но чтобъ у десятаго была музыка въ шпорахъ. Самое удивительное во всемъ этомъ то, что любовь къ этой музыкѣ просочилась во всѣ слои штатскаго общества, мужскаго и женскаго.

Васъ сердитъ, что молодые офицеры обратились ко мнѣ—„какъ къ своему directeur de conscience". Васъ сердитъ, что они готовы были скорѣе перейти въ ряды освобождающихся поляковъ, чѣмъ стрѣлять въ нихъ. Вы упрекаете меня, что я *»не догадался* объяснить имъ все злодѣйство человѣка, *носящаго русскій мундиръ, изъ рукъ русскаго правительства получающаго жалованье* и *власть* надъ солдатами, который замышляетъ *во время войны* пристать *къ врагамъ*".

И такъ мундиръ дѣлаетъ изъ человѣка спадасина безъ воли и нравственности! А подкупъ жалованьемъ низводитъ спадасина на степень наемнаго убійцы. Ваши доводы мнѣ напомнили того вольтеровскаго солдата, который, на вопросъ путника „изъ за чего война?" отвѣчаетъ: „Это до меня не касается. Мое ремесло состоитъ въ томъ, чтобъ убивать, быть убитымъ и этимъ жить, объ остальномъ знаетъ начальство".

По этой теоріи мундира и жалованья, какъ критеріума нравственности, ни одинъ народъ никогда не вышелъ бы изъ зависимости вооруженной шайки. Возмущеніемъ противъ безнравственныхъ приказовъ, отказомъ исполнять ихъ, начались всѣ освобожденія въ мірѣ. Офицеры нигдѣ не считали себя *на содержаніи* у государя; они вездѣ знали, что жалованье *выдаетъ* правительство, а платитъ народъ; вездѣ знали, что есть предѣлъ, далѣе котораго

повиновеніе не идетъ. Неужели генералы, полковники и офицеры, которые годы цѣлые засѣкали на смерть цѣлыя деревни, для водворенія ненужныхъ военныхъ поселеній, поступили доблестнѣе подполковника Красовскаго, сказавшаго своимъ солдатамъ: „не стрѣляйте, братцы, въ своихъ родныхъ, не бейте крестьянъ", и пошелъ за то на каторгу?

Вы упомянули слово *война*. *Польской войны* вовсе не было, а было *польское возстаніе*, что совершенно мѣняетъ дѣло. Сверхъ того офицеры писали къ намъ гораздо до возстанія. Они писали къ намъ осенью 1861 года, спрашивая что имъ дѣлать, если Польша возстанетъ, а ихъ пошлютъ усмирять? Мы совѣтовали имъ идти въ отставку и ни въ какомъ случаѣ не драться противъ людей, ищущихъ независимости своей родины.

Почти черезъ годъ получили мы другое письмо, (оба писалъ отъ имени товарищей А. Потебня). Офицеры извѣщали насъ, что отвѣта нашего не получали, (вѣроятно благодаря родственной прусской почтѣ), что ихъ пропаганда идетъ быстро и что они рѣшились въ случаѣ возстанія идти съ поляками, но что имъ бы очень хотѣлось узнать мое мнѣніе. Вы смѣетесь надъ этимъ и называете меня ихъ directeur de conscience. Отчего же это смѣшно? Не отъ того-ли, что у меня нѣтъ *директорскаго* мундира и я не получаю *жалованья*, ну хоть изъ синода, за мою духовную работу? Что-же смѣшнаго, что къ человѣку, который *тридцать лѣтъ* проповѣдывалъ одно и то же, обратились за совѣтомъ молодые люди, разбуженные можетъ его словами, въ минуту мучительнаго противурѣчія человѣческаго долга съ долгомъ служебнымъ?...

Не успѣли мы обдумать отвѣтъ, какъ страшная вѣсть напомнила намъ съ какимъ звѣремъ офицеры имѣютъ дѣло. Іюня 16-го 1862 были разстрѣляны Арнгольдтъ, Сливицкій и Ростковскій—за пропаганду между солдатами, „за дерзкія рѣчи" и „*превратныя* толкованія".

Рубиконъ былъ перейденъ. Испуганное журнальными алармистами и николаевскими генералами, правительство дерзнуло *казнить* безъ крайности, безъ опасности; казнь Антона Петрова указала дорогу. Пріученіе непривыкшаго общества и народа къ судебнымъ убійствамъ, къ крови—фактъ чудовищной безнравственности. Мы думали, что по крайней мѣрѣ кнутомъ, клеймомъ, рваньемъ ноздрей, плетьми, палками, розгами, фухтелями, шомполами, шпицрутенами и пр. — русскій народъ откупился отъ висѣлицъ, эшафотовъ и *смерти свинцомъ*, не тутъ то было. Дверь палачу была открыта черезъ кордегардію. Ужасъ передъ смертной казнью исчезъ, нервы укрѣпились. Можно было предвидѣть и того безумнаго генералъ-губернатора, который разстрѣлялъ въ Нижнемъ разбойника *по подозрѣнію*, и ту развратную журналистику, которая рукоплескала казнямъ и дальше подталкивала разсвирѣпѣвшее правительство. Вы, какъ богословъ, очень хорошо знаете, что есть заповѣдныя святыни, которыя твердо и несокрушимо держатся пока никто не касается до нихъ — и падаютъ какъ только допуска-

ются исключенія. Въ Россіи человѣкъ ничего не стоилъ, или стоилъ по справочнымъ цѣнамъ столько-то за душу и на рекрутскія квитанціи, но жизнь человѣческая была *почему-то* свята, послѣдовательно или нѣтъ— все равно. Въ совѣсти правительства и въ совѣсти народа было отвращеніе отъ смертной казни. У насъ казнили въ послѣднее время только въ чрезвычайныхъ случаяхъ и то больше для царскаго удовольствія, чѣмъ по внутреннему чувству справедливости. Уничтоженіемъ смертной казни мы хвастались передъ другими народами.

Вдругъ *три* жертвы, три молодыя жертвы, безпощадно разстрѣлянныя, не уваженныя даже *царской скрѣпой приговора*... И во всей литературѣ не нашелся ни одинъ органъ, ни одинъ публицистъ, ни одинъ поэтъ, во всемъ обществѣ не осмѣлился ни государственный человѣкъ, ни женщина, ни іерархъ церкви поднять голосъ и указать весь ужасъ этого *почина* крови; не нашелся ни одинъ человѣкъ, ни одинъ членъ царской фамиліи, который бросился бы передъ царемъ и остановилъ его руку, пока она не обагрилась русской кровью... Одна молодежь, „энервированная нашей пропагандой", одни несчастные офицеры, считающіе насъ за своихъ „directeurs de conscience", помянули казненныхъ торжественной панихидой, да нашъ дальній Колоколъ печально прозвонилъ имъ вѣчную память—и успокоеніе съ нашими святыми.

Смерть Арнгольдта и его товарищей произвела то, что всегда производятъ мученичества — удвоенную энергію, удвоенную ненависть; казнь не запугала никого, офицерскій кружокъ крѣпче сплотился около Потебни. Для меня совершенно понятно, что никакой мундиръ, даже гусарскій или шитый, никакое жалованье, даже съ прибавленіемъ столовыхъ и подъемныхъ, не могли заглушить совѣсти офицеровъ въ виду этой начинавшейся оргіи казней, крови и бѣшенаго патріотизма. Не дождавшись нашего отвѣта, они прислали въ Лондонъ Потебню.

Личности больше симпатичной въ великой простотѣ, въ великой преданности, въ безусловной чистотѣ и безкорыстности своей, въ трагическомъ пониманіи своей судьбы — я рѣдко встрѣчалъ. Въ статьѣ Огарева „Надгробное слово", (Кол. 1 Мая 63 г.) нѣтъ тѣни увеличенія. Потебня принадлежалъ къ числу тѣхъ воплощеній вѣковой боли цѣлаго народа, которыми онъ изрѣдка отбываетъ страданія, скорбь и угрызенія совѣсти. Онъ плохо вѣрилъ въ успѣхъ, но шелъ, шелъ потому, что онъ не могъ примириться съ мыслью, что русское войско, что русскіе офицеры безъ протеста, холодно и безпощадно пойдутъ бить людей, съ которыми два года жили въ близости, за то, что они хотятъ быть вольными. Смерть трехъ товарищей его, разстрѣлянныхъ въ Люблинѣ, бродила въ его крови, и онъ погибъ, потому что хотѣлъ погибнуть, и потому что твердо вѣровалъ, что смерть его искупаетъ повиновеніе другихъ. „Я ѣду, писалъ онъ, отправляясь въ Польшу, а въ ушахъ у меня раздается; „мы, на смерть идущіе, вамъ кланяемся!„

Мы предвидѣли гибель ихъ и всѣми силами старались задержать

возстаніе. Правительство напротивъ, утомленное quasi-законностью, торопилось скорѣе покончить „польское затрудненіе“.

Офицеры сдѣлали послѣдній торжественный шагъ, послѣдній протестъ, они написали адрессъ...

Вмѣсто того, чтобъ приходить въ дисциплинарное негодованіе и оффиціальный ужасъ отъ офицерской продерзости, подумайте объ ней. Освободитесь на минуту отъ *петербургской* раздражительности передъ словомъ сказаннымъ „не по начальству“, передъ дѣломъ написаннымъ не по формѣ, передъ всякимъ свободнымъ актомъ человѣка, и скажите, чтó преступнаго въ томъ, что наканунѣ междоусобицы офицеры доводятъ до брата государя, до намѣстника края о томъ, чтó у нихъ на душѣ и просятъ ихъ *спасти* отъ измѣны себѣ — или долгу? „Мы въ невыносимомъ положеніи въ Польшѣ, пишутъ они, мы не хотимъ быть измѣнниками русскому народу, но не хотимъ быть и палачами!“ Во время Севастопольской осады подобныя сомнѣнія не возникали и подобныхъ вопросовъ не ставилось. Еслибъ Константинъ Николаевичъ въ свою очередь подумалъ объ этомъ (по несчастію имъ всегда недосугъ думать) то можетъ быть вмѣсто того, чтобъ поручать Минквицу составленіе контръ-адресса, надъ которымъ смѣялся весь міръ, онъ довелъ бы его до государя, и сколько бѣдствій, крови было бы спасено... Но какъ допустить подобную дерзость, не только офицерамъ, но и генералъ-ан-шефамъ! Отчего-же идущій на смерть по службѣ не имѣетъ права осужденнаго па казнь сказать свое послѣднее слово, выразить свое желаніе? Еслибъ въ 49 году Паскевичи и Ридигеры довели до Зимняго дворца настроеніе русскихъ войскъ и офицеровъ въ Венгріи, мы не видали-бы преступнаго, отвратительнаго зрѣлища—русской арміи, бьющей дружески расположенный къ намъ народъ въ пользу своего злѣйшаго врага.

Петербургское правительство всегда, во всемъ шло на проломъ, ломало все что попадалось подъ ноги, лишь-бы дорога была посыпана пескомъ и, главное, была-бы вытянута прямолинейно по шнуру. Оно ни разу не останавливалось ни передъ чѣмъ и топтало безъ зазрѣнія совѣсти все дорогое и святое человѣку. Человѣческій оборотъ дѣла, если и приходилъ изрѣдка ему въ голову, то всегда поздно. Во всемъ, вездѣ, сначала дикая сила, ломанье и когда дѣло въ половину погибло на корню, тогда принимаются залечивать. Сперва столкнутъ цѣлое населеніе къ морю, чтобъ отъ него отдѣлаться, а потомъ догадаются, по иностраннымъ газетамъ, что меньше нельзя сдѣлать, какъ дать имъ корабли.

Человѣческіе пути дальше и сложнѣе, пути насилія коротки и казисты. Для того, чтобъ ихъ употреблять, надобно имѣть отсутствіе сердца, очень ограниченный умъ и совсѣмъ не ограниченную власть, надобно имѣть исполнителей, которые никогда не спрашиваютъ — такъ-ли это и почему такъ? Имѣть все это, при счастливыхъ обстоятельствахъ, бездарностью и ограниченностью можно надѣлать чудеса нелѣпостей и богъ знаетъ что загубить:

„Петрополь вызвать изъ блатъ“, Зимній дворецъ изъ пепла, сдѣлать изъ деревень — военныя поселенія, изъ военныхъ поселеній —деревни...

....Наканунѣ польскаго возстанія представлялись два средства для того, чтобъ его остановить: депортація нѣсколькихъ тысячь человѣкъ подтасованнымъ *наборомъ* и *освобожденіе крестьянъ*, какъ оно сдѣлалось черезъ годъ послѣ рѣзни и террора.

Я не встрѣчалъ ни одного человѣка съ здравымъ смысломъ, котораго-бы вѣсть о наборѣ не ошеломила. Князь Орловъ поскакалъ въ Варшаву уговаривать великаго князя; говорятъ, что вел. князь самъ былъ въ раздумьи, телеграфировалъ государю. Но дѣло было zu petersburgish.... наборъ не отмѣнили. Всѣ усилія, просьбы, доводы, которыми многіе старались остановить, задержать возстаніе—исчезли какъ прахъ передъ наборомъ.

«Вы видите, говорилъ намъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ Сигизмундъ Падлевскій въ Лондонѣ, можно-ли медлить и въ нашей-ли волѣ остановить возстаніе? Если эта варварская травля на людей сбудется, мы можетъ всѣ погибнемъ, но возстаніе будетъ навѣрное». И онъ поѣхалъ съ Потебней въ Польшу.

Знаменитая бранка была въ Варшавѣ 15 Января, 21-го Января вспыхнуло возстаніе, а мѣсяца черезъ три не было уже ни Потебни, ни Падлевскаго—кровь лилась рѣкой и на мрачномъ горизонтѣ Россіи подымались два тусклыя пятна—вѣшателя и его ритора, именами которыхъ будетъ помѣчена эпоха начавшаяся съ конца 1862...

Напрасно хотятъ покрыть это темное время—однимъ патріотическимъ взрывомъ и возбужденнымъ чувствомъ національнаго достоинства. Одна непомѣрная спутанность понятій и наглость языка можетъ ставить годъ *казней* на ряду съ годомъ *побѣдъ*, годъ великой и малой полиціи съ великимъ 1812 годомъ. Что кастратскій задоръ западныхъ нотъ могъ взбѣсить всю Россію, и она показала готовность отпора — это понятно, что по сей вѣрной оказіи многимъ захотѣлось, наконецъ, сбросить нравственное иго Европы,*) въ которомъ насъ держали всякіе фамулусы Гнейста и подмастерья нѣмецкихъ гелертеровъ — также понятно. Но вглядитесь въ результатъ всей агитаціи. Когда вчерашніе почитатели Англіи, громко презиравшіе все русское, премудро сдѣлавшіе „шанже черезъ половину манежа“, раздули вмѣстѣ съ откровенными кликушами и бѣснующимися о Россіи, патріотическія искры въ длинное пламя, которому не доставало одного — сожигаемаго матеріала, т. е. непріятеля, слѣдовало-бы успокоиться на сознаніи и заявленіи своей силы. Не тутъ-то было. Все это возбужденіе, вся готовность сразиться съ Европой — перешла въ *полицію*. Прокофіи Ляпуновы и Минины Сухорукіе — почувствовали себя квартальными и частными приставами; доносчики, сыщики—Фиг-

*) О чемъ мы проповѣдывали (не говоря уже о славянофилахъ) пятнадцать цѣлыхъ лѣтъ.

нерами и Сеславиными; Муравьевъ — княземъ Пожарскимъ. Не имѣя ни отечества для спасенія, ни міра для покоренія — всѣ бросились на полицейское усмиреніе Польши, на полицейское водвореніе русскаго элемента, на полицейскую пропаганду православія, на чиновничью демократизацію края.. Такой истокъ патріотизма слишкомъ сдаетъ нашимъ Петербургомъ, и мы не видимъ въ немъ русскаго народнаго чувства. Русскій народъ положилъ-бы въ котомку свой черствый, черный хлѣбъ и пошелъ-бы на войну за Русь, но онъ отроду не считалъ Польшу Русской — что ему до нея за дѣло! Онъ слишкомъ занятъ заботой дня, своимъ поземельнымъ и выкупнымъ дѣломъ, чтобъ заниматься Польшей.

Да еслибъ и въ самомъ дѣлѣ народъ, которому грозили войной изъ за Польши, котораго увѣряли, что въ каждомъ пожарѣ участвуетъ полякъ, заразился-бы полицейской чумой образованныхъ сословій, мы и съ нимъ не взяли-бы круговой поруки противъ нашей совѣсти, какъ не беремъ ее съ вами. Мы не рабы любви нашей къ родинѣ, какъ не рабы ни въ чемъ. Такого языческаго, азіатскаго поглощенія своей воли и своего разума племенемъ, народомъ не только нѣтъ больше въ *новомъ мірѣ*, но никогда не было въ мірѣ христіанскомъ, по крайней мѣрѣ въ томъ, который основался и развился, „не на свободѣ“, а „на логической необходимости“.

Подъ какой-бы логической или стихійной необходимостью мы ни были, мы не отречемся отъ нашего нравственнаго самоопредѣленія — отъ святой, самодержавной независимости нашей, мы никогда не поставимъ критеріумъ нашей совѣсти въ чемъ-бы то ни было внѣ ея. Оттого-то намъ родственно понятенъ голосъ юношей, остановившихся въ раздумьи передъ кровопролитьемъ и спросившихъ себя: «Да слѣдуетъ-ли въ самомъ дѣлѣ быть слѣпымъ орудіемъ правительства?» Оттого-то они для насъ недосягаемо выше тучи „охотниковъ“, пошедшихъ на помощь правительству распинавшему Польшу—и перемѣнившихъ военный мундиръ на полицейскій.

И въ то время, когда эти несчастные додѣлываютъ свое дѣло мести и ненависти, когда они не могутъ уняться и послѣ побѣды и рвутся, какъ тотъ гвардейскій офицеръ, который бросился къ Павлу, чтобъ дать еще пинька умирающему, въ то время кровь Потебни и его товарищей кладетъ основу забвенію прошедшаго и будущему союзу для новой жизни обоихъ народовъ. Русскіе юноши смертью въ польскихъ рядахъ засвидѣтельствовали не рознь свою съ народомъ русскимъ, а единство славянскаго міра, понимающаго всѣ отрасли одного дерева.

Нельзя прилагать уголовный сводъ и полицейскій уставъ, военный артикулъ и кабальное право мундира и жалованья къ такимъ трагическимъ событіямъ; тутъ ни лица, ни дѣла не подходятъ подъ мѣрку судебной инстанціи, не исключая самаго правительствующаго сената со всѣми департаментами своими.

Вы хорошо знакомы съ религіознымъ воззрѣніемъ на наши мірскія дѣла. Вспомните, что дѣлали монахи (когда они были истиной) на окровавленныхъ поляхъ дикихъ битвъ. Они не упрекали раненыхъ, не отравляли послѣднія минуты умирающихъ, они безъ различія стороны молились о тѣхъ и другихъ и утѣшали послѣднихъ будущностью, какъ они ее понимали.... У религіи не одна сторона *нетерпимости* и *гоненій*. Зачѣмъ-же вы берете только ее?

Колоколъ № 192.
1 Декабря 1864 года.

ЧТО-ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Борьба Польши съ Россіей, одна изъ самыхъ страшныхъ трагедій въ исторіи. Мы ее досмотрѣли съ тѣмъ ужасомъ, со которымъ человѣкъ съ берега наблюдаетъ, шагъ за шагомъ, крушенье корабля, на которомъ плывутъ близкіе ему люди.... и на душу падала больше и больше та глухая, тяжелая, подавляющая боль, которая сопровождаетъ совершеніе всякаго безвыходнаго несчастія. А борьба эта была *безвыходна*.... Бой могъ не завязываться, завязаться иначе, въ другое время, но когда однажды онъ вспыхнулъ, спасенія не было, да не было и выбора со стороны Польши. Какой-то грозный архангелъ стоялъ за польскими бойцами, не позволяя отступить и указывая имъ то на близкую земную помощь и лавровый вѣнокъ, то на вѣчную награду и мученическую ореолу.

Сила одолѣла. Польша измученная, исходящая кровью, опустила мечъ, но и теперь, когда смерть носится передъ ея глазами, она высоко держитъ свое знамя костенѣющими руками и продолжаетъ вѣрить въ помощь родственнаго ей Запада и въ небесную помощь.

Побѣды надъ несчастіемъ тяжелы. Самъ Петербургъ не радуется, не торжествуетъ. Злоба, уже падающая теперь, скоро замѣнится темнымъ сознаніемъ, что совершились страшныя судьбы, страшныя событія, которыхъ ни порицать, ни праздновать нельзя, но которыя *обязываютъ обѣ стороны къ другому будущему* и, прежде всего, къ крѣпкой думѣ.

Польскія и русскія статьи и брошюры послѣдняго времени неудовлетворительны, ихъ грань мелка, имъ не дорога правда. Въ однихъ неукротимое раздраженіе, въ другихъ безконечные пересуды, пустая болтовня праздныхъ на мѣстѣ несчастія, полицейское слѣдствіе, процессъ обѣихъ сторонъ и скучныя антикварскія диссертаціи. Какъ будто дѣла въ исторіи рѣшаются судейскими приговорами и живыя событія ищутъ себѣ оправданіе ex fontibus. Пора вынырнуть изъ дикихъ возгласовъ и дипломатическихъ тонкостей, изъ историческаго права и наглости права сильнаго, пора

оставить обязательныя фразы, угрозы, ругательства и взглянуть прямо въ глаза фактической истинѣ и послѣднему результату. Скажемъ больше, пора самой искренней горести, самому святому сѣтованію принять больше мужественную форму. Нельзя вѣчно оставаться плакальщиками на кладбищѣ. Жизнь и сила не удовлетворяются ни плачемъ и сѣтованіемъ, ни ненавистью и бранью, имъ надобно пониманье и дѣло. Искренная слеза прошедшему и твердый взглядъ впередъ. Le roi est mort—vive le roi! Это крикъ всей природы, всего живаго — мы говорили это въ стану другихъ побѣжденныхъ и повторяемъ теперь.

Насъ оскорбляетъ, что дѣла идутъ не по нашей программѣ, что пути ихъ не разумны, не чисты; взволнованные рядомъ жертвъ и злодѣйствъ, мы забываемъ, что они все-же *идутъ*. Исторія не создается à priori, не творится изъ одной мысли. Разумъ не имѣетъ столько власти надъ фактами, чтобъ заправлять ими, не принимая постоянно въ разсчетъ *событій совершившихся* — они составляютъ необходимую базу его операцій. Элементы не создаются ни въ исторіи, ни въ химіи, ихъ надобно брать какъ они есть, имъ надобно подчиняться для того, чтобъ надъ ними владычествовать. Только въ этомъ сочетаніи фактическаго матеріала съ сознательнымъ идеаломъ и состоитъ историческое дѣяніе.

Польскій вопросъ, такъ какъ онъ ставился съ 1831 года, врядъ ли можетъ ставиться въ будущемъ — но не видно-ли изъ за него цѣлаго ряда другихъ вопросовъ, выдвигающихъ на первый планъ Славянскую федерализацію, въ которой сохранится народъ польскій и распустится имперія всероссійская въ равноправномъ *славянскомъ союзѣ?* Казенные патріоты кричатъ съ ужасомъ о *сепаратизмѣ*, они боятся за Русскую имперію, они чуютъ въ освобожденіи частей отъ старой связи и въ федеральномъ ихъ соединеніи конецъ самодержавію...

. . . . При словѣ *союза, федераціи славянъ*, мы предвидимъ тотъ взрывъ негодованія и возгласовъ людей практическихъ, наторѣлыхъ дѣльцовъ, который встрѣчалъ, нѣкогда, наши слова „о правѣ на землю, объ общинномъ владѣніи“—до тѣхъ поръ пока, такъ или иначе, то и другое не было признано самимъ правительствомъ. Мы не боимся ихъ канцелярской мудрости; послѣдніе годы показали ясно мѣру способностей людей, ничего не видящихъ дальше своего носа и за то очень подробно знающихъ, что у нихъ передъ носомъ. Что поняли, предвидѣли, предупредили, отвратили министры всѣхъ дворовъ и при всѣхъ дворахъ всей Европы—въ Польскомъ, Датскомъ, Итальянскомъ вопросахъ? А ужъ конечно Росселей и Пальмерстоновъ нельзя назвать идеологами.

Надъ идеологами любятъ смѣяться Наполеоны, что имъ не мѣшаетъ лѣтъ черезъ десять исполнить ихъ программу.

Славянскій міръ идетъ къ федеральному союзу, по дорогѣ его останавливаютъ двѣ имперіи; одна ужъ всѣми елеями „посвящена богомъ“, другая кажется сильной и молодой. Но не она сильна и молода, а народъ русскій, съ неустоявшимися и съ полупро-

снувшимися силами своими. Мы не вѣримъ, чтобъ кто нибудь могъ серьезно принимать временную государственную форму, которой Россія управлялась послѣднія полтораста лѣтъ, за окончательную и вѣковѣчную. Императорство русское представляетъ общій, западный, военный деспотизмъ, въ самой грубой, наглой формѣ, съ примѣсью деспотизма восточнаго. Это диктатура въ европейскомъ смыслѣ слова и завоевательная азіатская династія. Постоянная революція помимо воли народной, постоянное усмиреніе всякаго свободнаго стремленія. У него нѣтъ законовъ, а разныя мѣры; у него нѣтъ собственно родины; петербургское императорство *дошло умомъ* до необходимости быть національнымъ —въ продолженіи полутораста лѣтъ оно было до того чужое народу, что дворянство, желая походить на него. старалось быть наименѣе русскимъ. Одна нѣмецкая религія des Staates, государства, могла у насъ развить петербургскій патріотизмъ. Одна ненависть къ полякамъ могла привести славянофиловъ къ идолопоклонству передъ нѣмецкой имперіей—прежде они ясно понимали всю невозможность народнаго развитія съ этимъ ядромъ на ногахъ. Въ самомъ титулѣ, которымъ императоры называли себя въ сношеніяхъ съ Европой, проглядываетъ сознаніе, что Невская имперія не единое, органическое цѣлое, а какое-то скученіе — de toutes les Russies. Потому-то мы и привѣтствуемъ все что можетъ освободить *всѣ Россіи* отъ смычки, на которой ихъ пасло самодержавіе со временъ Петра.

Послѣ освобожденія крестьянъ *внутренній* смыслъ императорства утратился и можетъ за нимъ осталось одно *внѣшнее*, кровавое дѣло.

Трагедіей 1863—64 г. ничего не разрѣшилось, ничего не окончилось. Ею, какъ Шекспировымъ Іоанномъ, не замыкается, а начинается длинная эпопея, которой конца мы не увидимъ. Она ставитъ насъ наканунѣ огромнаго столкновенія, которое предвидѣли многіе, выходя съ самыхъ противуположныхъ сторонъ, и надъ которыми смѣялись и смѣются дипломаты, доктринеры и вообще умные дураки и глупые резонеры.

Съ Польшей, ратующей за независимость и католицизмъ, съ Польшей рыцарской и набожной, демократической и революціонной, *побито чѣмъ-то другимъ передовое войско Западной Цивилизаціи*, ея guardia nobile. Польша служила плотиной, въ которую ударялось русское море, она сдерживала его. Теперь оно надвинулось и ближе подступило къ *нѣмцамъ*, *стоящимъ на славянской землѣ*. Вмѣстѣ съ тѣмъ просасывается и подымается съ низменныхъ мѣстъ другая Польша, Польша отстраненная, бѣдная, крестьянская и занимаетъ мѣсто Польши *отсутствующей*, сосланной въ Сибирь, ушедшей на чужбину, легшей костьми за независимость.

Съ старой Польшей, съ *Польшей польской* выбываетъ окончательно рыцарскій элементъ изъ европейской жизни. Пора было ему распуститься въ городскомъ мѣщанствѣ и армейской демо-

кратіи — въ ожиданіи больше человѣческихъ превращеній, но нельзя-же его не пожалѣть. Польша представляла рыцарскую традицію въ новомъ строѣ европейскихъ народовъ, въ ея сочетаніи съ традиціей революціонной. Полная старостью и юностью, полная идеаломъ, героизмомъ, католицизмомъ, она касалась разомъ среднихъ вѣковъ и 1789 года, крестовыхъ походовъ и великой арміи. Въ то время когда западные народы, охлажденные долгою жизнію, больше и больше бросали мечты и предавались купеческому дѣлу, одинъ народъ продолжалъ жить дворяниномъ и торопился жертвовать кровью, дѣтьми, достояніемъ—за возстановленіе родины, во всѣхъ лучахъ ея миновавшей славы. Побитый силой, полякъ уносилъ свое *право* за предѣлы родины и продолжалъ свою борьбу. Польская эмиграція была съ 1831 года какимъ-то потерявшимся на чужбинѣ и уцѣлѣвшимъ остаткомъ иного міра; въ ней середь XIX вѣка встрѣчались странствующіе рыцари, паломники—съ характеромъ который мы знаемъ изъ легендъ и съ прибавкой нашей размашистой славянской распущенности. Конечно, ни нѣмецкій риттеръ и баронъ съ своимъ юнкертумомъ, ни французскій дворянинъ въ демократіи, ни допотопный англійскій тори, держащійся однимъ богатствомъ, не спасутъ отходящій элементъ—послѣднимъ представителемъ котораго остается польскій выходецъ, этотъ пилигримъ-воинъ, „безпрерывно возвращающійся“ къ святымъ гробамъ своихъ отцовъ и, съ двумястами товарищами, объявляющій войну шестой части земнаго шара. Возвращался онъ съ восторженной вѣрой, съ несбыточными надеждами, возвращался онъ съ мрачнымъ отчаяніемъ, заявляя права своей родины и складывая голову за это заявленіе. Въ этомъ актѣ полной преданности заключается все христіанское значеніе рыцарства и все рыцарское Польши.

Для поляковъ отчаяніе было новой силой, опасность новымъ вдохновеніемъ. Во всей польской поэзіи послѣднихъ десятилѣтій бродятъ страшныя пророчества, повторяются страшныя слова, звучитъ мрачная, но фанатическая и крѣпкая струна, она вызвала мессіанизмъ и товянщизну, она воспитала цѣлыя поколѣнія на *религіи смерти*, на вѣрованіи, что Польша живая или мертвая — призвана на жертву искупленія за другіе народы. за грѣхи былого. Земные идеалы блѣднѣютъ у Красинскаго передъ идеаломъ народа-мученика, знающаго свою участь и благословляющаго ее. Только такое настроеніе могло создать типы новыхъ Ніобей и Ифигеній.... эти великіе траурные типы польской матери, жены, дочери, типы до того вселяющіе уваженіе, что грязное копыто русской полиціи и сквернословіе русской журналистики не оставили ни малѣйшаго пятна на черномъ мраморѣ этихъ Ecce Mulier... Тотъ кто видѣлъ рядомъ съ вдовой, съ состарившимися отъ слезъ глазами, осьмнадцатилѣтняго ребенка съ чахоткой на лицѣ, растерявшихъ половину своихъ, и безропотно провожающихъ на гибель остальныхъ — пойметъ насъ. Не „народъ въ траурѣ“, какъ сказалъ Монталамберъ, а „народъ въ мученичествѣ“, народъ на

Голгоѳѣ. Выше этой преданности, этой любви и жертвы жизнь человѣческая ничего не имѣетъ.... Оттого-то ореола распинаемаго народа дѣлаетъ чудеса. одна она могла бросить послѣдній лучъ, кроткій и человѣческій на тонущій въ мракѣ и старчествѣ Ватиканъ, освѣщая Папу, окруженнаго кардиналами и архіереями и благословляющаго рукою св. Петра возставшій за свою независимость народъ...

За тѣмъ consumatum est начинаются новыя судьбы. На мѣста убитыхъ, на мѣста женщинъ въ траурѣ, гордыхъ пановъ и беспокойной шляхты, садится петровская голь и Пугачевъ, пѣна и осадокъ Петербурга. Такъ-какъ за польскимъ повстанцемъ виднѣется Папа, Наполеонъ, европейскій консерватизмъ и европейская революція — вся армія Западной цивилизаціи — такъ за нѣмецкими генералами, за правительственными нивелерами, за чиновниками, гвардейцами, казаками въ Польшѣ виднѣется несмѣтная масса народа русскаго—съ необъятнымъ горизонтомъ какъ море и съ однимъ уровнемъ какъ оно. Какой-то міръ съ чужой цивилизаціей на поверхности, стремящійся къ *своей*, которой еще нѣтъ и которая должна соотвѣтствовать его быту, міръ, несущій силу и способность, а не заработки, міръ черный, полевой, земледѣльческій, съ примѣсью „туранской" и всяческой крови, міръ общинный, совершенно противуположный городскому міру западной Европы и дружинному, панскому, шляхетскому міру старой Польши.

Кто не помнитъ оперу Глинки?

....Съ одной стороны великорусское село, міръ въ сборѣ—мужички толкуютъ о земскомъ дѣлѣ, о земской бѣдѣ... поются унылыя пѣсни хоромъ, тишина, бѣдность, грусть и въ то-же время готовность постоять за свою землю. Съ другой польская ставка, все несется въ мазуркѣ, шпоры гремятъ, сабли гремятъ, притопываютъ каблуки. Вотъ гордый панъ стольникъ, какъ его описывалъ Мицкевичъ, высокомѣрно взглянулъ на соперниковъ, дотронулся до шапки и пошелъ и пошелъ.... а за ставкой опять поля, поля, избушки на косогорѣ, дымящіеся овины, тихій хороводъ подъ безконечную пѣсню... и мужичекъ, оттачивающій топоръ на супостата.

Но эти два міра имѣли еще кой-что общаго — любовь къ простору и шири, общую славянскую небрежность и спустя рукава. Скрытое, подавленное желаніе разгула и необузданности было и у русскихъ, самая семейная распря соединяла ихъ съ полякомъ. Между ними былъ казакъ, была Украйна, *не польская* и *не русская*, но родственная въ обѣ стороны. Теперь Россія, опершись на ружья, смотритъ на передовые прусскіе и австрійскіе пикеты.... Міръ избы и хаты, села и деревни и міръ мѣщанъ и городовъ, міръ sollen и міръ haben, міръ довольный собой и своей цивилизаціей и міръ незнающій себя и безъ цивилизаціи. Польша какъ то скрывала ихъ другъ отъ друга, католическая и славянская, она имѣла симпатіи и антипатіи къ обоимъ. Теперь они слишкомъ близко придвинулись и не вынче—завтра они могутъ заспорить. Сла-

вянскій вопросъ, вопросъ между Россіей и нѣмцами. Не Турція же, которую водятъ подъ обѣ руки, его рѣшитъ. Для борьбы все готово... большія арміи, военныя правительства, безправные народы, народная ненависть, une grande idée à défendre, съ одной стороны спасеніе цѣлой цивилизаціи, съ другой возстановленіе цѣлой народности... разные возрасты, разныя стремленія и общія границы. Сверху вопросы государственные, вопросы національные, внизу вопросы соціальные.

На сію минуту трехглавый нѣмецкій орелъ, довольный что заклевалъ Данію, въ дружбѣ съ своимъ византійскимъ товарищемъ... Искуственный миръ можетъ также продолжаться, какъ естественный бой начаться... и тѣ же нѣмецкіе и на манеръ нѣмецкихъ генералы поведутъ русскихъ солдатъ на Галицію, на Познань, тамъ также есть Польша на *умиротвореніе*. Опять петровская голь впередъ, опять саранча чиновниковъ, воровъ замкнетъ христолюбивое воинство — и кто знаетъ гдѣ она осядетъ, если ее не предастъ какой-нибудь измѣнникъ въ Зимнемъ Дворцѣ, какъ это сдѣлалъ Петръ III.

Прусско-ли-австрійскій жандармъ „носитель цивилизаціи“ или грабящій казакъ „коммунистъ“ возьметъ верхъ, все равно, по дорогѣ навѣрное погибнетъ бездна стараго, размоется не одна плотина и унесется не одно бревно, загораживающее теперь дорогу.... погибнетъ вѣроятно рядомъ съ нимъ кой-что хорошаго, съ этимъ дѣлать нечего. Такіе катаклизмы безъ потерь не обходятся.

Какой-нибудь клочекъ земли, съ стародавнихъ временъ покрытый лѣсами, въ которыхъ важно бродили мамонты и ихъ животныя *ровни*, вдругъ заливается водой вслѣдствіе волканическаго потрясенія. Тонутъ мамонты, мастодонты.... тонутъ хвойные лѣса, на ихъ мѣсто являются цѣлыя населенія рыбъ, молюсковъ, зоофитовъ, медузъ, все это по зоологической табели о рангахъ, гораздо ниже допотопныхъ уродовъ, дышавшихъ легкими. Море сноситъ на дно всякую всячину, смытые и погибнувшіе лѣса, трупы животныхъ и рыбъ осѣдаютъ, потомъ вода убываетъ, басейнъ начинаетъ просыхать, превращаться въ болото, въ долину и на родинѣ мамонтовъ, покрытой тучной почвой, безъ возвышенныхъ скалъ и сумрачныхъ гранитовъ, кишитъ цѣлый міръ животныхъ и птицъ.

Все это такъ, но зачѣмъ все это нужно? Неужели нѣмцамъ съ своей стороны и русскимъ съ своей, нѣтъ другого дѣла, какъ вцѣпиться другъ другу въ волосы? Никто и не говоритъ что это нужно въ смыслѣ разумной необходимости, а обстоятельства такъ сложились.

Два противоположные потока европейской жизни мѣшаютъ всякому развитію, всякому единству, губятъ въ ней всякую энергію. Одинъ изъ нихъ долженъ взять верхъ, чтобъ Западъ могъ ринуться впередъ, или пойти откровенно назадъ — до тѣхъ поръ

нѣтъ возможности сдѣлать ни одного рѣшительнаго шага, ни одного не колеблющагося дѣйствія. Это не компромиссъ, не путь по діагонали, а искуственный застой при страшной тратѣ силъ, мѣшающихъ другъ другу. Во всемъ домогаются противоположнаго. Европа хочетъ быть либеральной и консервативной, прогрессивной и католической или протестанской, военной и мирной. Она ставитъ своимъ знаменемъ non-intervention, отрѣченіе отъ дѣлъ сего мира и мѣшается—вредно и неловко—во все на свѣтѣ. Она не можетъ допустить гибели Польши, разчлененія Даніи, но она не можетъ изъ за нихъ идти на войну. Мѣры на подавленіе революціи поглощаютъ всю внутреннюю дѣятельность правительствъ; вооруженное отстаиваніе мира стоитъ дороже войны. Въ этомъ самоуничтоженіи силъ ничего не можетъ успѣшно развиваться, кромѣ разложенія.

Неспѣтая политика Запада допустила Россію сокрушить Польшу и стать лицомъ къ лицу къ Германіи. Взаимно-уничтожающая другъ друга политика Англіи и Франціи, позволила Германіи взять роль не свойственную ей, позволила ей разтерзать Данію и съ кровью на губахъ стать лицомъ къ лицу къ Россіи, вѣшающей Польшу—вотъ и все; остальное, при свирѣпыхъ инстинктахъ народовъ, при возбужденности страстей и правительственной алчности, сдѣлается само собой.

Польскій вопросъ и Датская война, двѣ огромнѣйшія ступени внизъ, по той стремнинѣ, по которой сходитъ старый міръ. Въ минуты самаго чернаго пессимизма, никто не предполагалъ, что страны, путеводившія народы, безъ боя и крайности откажутся отъ своей гегемоніи, оставляя за собой старушечье право ворчать и читать морали за каждое дѣйствіе двухъ господствующихъ казармъ, какъ будто всего того что онѣ дѣлаютъ нельзя было предвидѣть. Какъ Крымъ сгубилъ престижъ Николаевской имперіи, такъ Данія и Польша отняли страхъ передъ Западными державами. Исторія не брезглива, она также какъ природа не разбираетъ путей, нельзя пройти сухой дорогой, она идетъ грязью, нельзя идти Англіей и Франціей, она идетъ Пруссіей и Австріей. А тамъ, что гордый Альбіонъ получилъ заушеніе отъ Горчакова и какъ настоящій христіанинъ подставилъ другую ланиту Бисмарку, и удивляясь какъ они больно дерутся, съ важностью Римскаго сенатора спокойно пошелъ на рынокъ; а тамъ что Германію раздѣлятъ между Вѣной и Берлиномъ, до этого никому, кромѣ паціентовъ, нѣтъ дѣла. Это можетъ сердить, занимать на минуту, но главное, существенное не въ томъ, а въ томъ, что „Катилина“ ближе къ дверямъ съ тѣхъ поръ какъ двери эти перенеслись на Дунай и Вислу—съ Темзы и Сены.

Послѣдній политическій геній Запада, котораго сумрачная фигура замыкаетъ собой революцію, другими словами предсказывалъ „Катилину“ и за полвѣка угадалъ молчащее море за императоромъ Александромъ I. Десять лѣтъ онъ то ссорился съ нимъ, то протягивалъ ему руку и кончилъ тѣмъ, что двинулъ на него всю

Европу... Россія взяла *ее-же* и пошла по пятамъ его въ Парижъ.

Съ 1812 года начинается наша новая исторія и кончается старая исторія Запада.

Людвигъ XVIII никогда не могъ примириться съ мыслью, что русскій царь посадилъ его на тронъ, и былъ совершенно правъ. Королевская власть спасенная 21 Января 1793 года гильотиной, погибла, привезенная казаками въ Тюльери. Освобожденная Россіей, Германія сдѣлалась смѣшна какъ государство; она управлялась русскими секретарями посольства и сосланный императоръ видя все это, пророчилъ, что Европа *будетъ черезъ пятьдесятъ лѣтъ* républicaine ou cosaque. Сперва боялись этихъ словъ, потомъ стали надъ ними издѣваться, разумѣется не давая себѣ ни труда вникнуть въ смыслъ ихъ, ни даже подождать ариѳметическаго срока. Оттого страшенъ „Катилина" и оттого страшенъ казакъ, что не только старый міръ не оправится отъ ударовъ революціи, но что и революція, не оправится отъ ранъ имъ нанесенныхъ ей. Революція потеряла силу, которой она вела полки, подымала народы. Она замѣшала въ дѣло массы и пала отъ ихъ равнодушія, въ ту минуту когда онѣ поняли, что она не могла сдѣлать для нихъ того, что хотѣла. Революція была, скажемъ мы перефразируя Робеспьера, *слишкомъ аристократична*, чтобъ долго остаться народной; она опиралась на образованную, буржуазную демократію, ея умственный цензъ былъ высокъ. Ея молодой, раціональный фанатизмъ свободы, равенства и братства—сокрушился о старый мистическій фанатизмъ церкви и трона, ея обобщающій гуманизмъ былъ подавленъ исключительной національностью.

Теряя власть и почву, гонимая во всей Европѣ, революція снова отступила въ литературу, въ школу, въ пропаганду, но въ пропаганду нетерпѣливую, постоянно срывавшуюся на площадь, увлекая за собой одинъ и тотъ-же подвижный слой общества — то трехцвѣтнымъ знаменемъ побѣдъ и началъ 1789 г., то краснымъ знаменіемъ мести и истребленія въ пользу „неизвѣстнаго бога". Несостоятельность политической революціи и незрѣлость соціальной, бросались въ глаза. Отъ послѣдней люди пятились съ испугомъ, первая была побѣждена не только на площади и на баррикадѣ, но и въ сердцахъ людскихъ.

Массы не пойдутъ больше драться какъ въ концѣ XVIII столѣтія, какъ еще недавно, изъ-за политическаго катихизиса, изъ-за алгебры правъ человѣка, изъ-за хартій, камеръ, банкетовъ. Ихъ можно только расшевелить племенной независимостью, такъ сказать зоологическими вопросами о народности, которые выдвигаютъ на первый планъ, и вопросами *соціальными*, которые всѣми силами отталкиваютъ на послѣдній, что не мѣшаетъ имъ глубоко бродить по мастерскимъ и фабрикамъ.

Соціалисты 1848 года попробовали сдѣлать соціальный переворотъ средствами политическаго coup d'état. Ихъ банкрутство было неминуемо и послѣдняя вѣра народовъ отлетѣла. Народы снова покорились прежнимъ властямъ, но покорились не прежними.

Они покорились имъ, какъ необходимому злу, которое искоренить дорого стоитъ—особенно не зная чѣмъ его замѣнить.

Умъ, талантъ, наука, искусство еще меньше возвратились къ унисону съ старыми порядками, снова взявшими верхъ въ правительственныхъ сферахъ. Все живое, сознательное ищетъ обойти эту темную мощь, эту полицейскую тріаду—войска, церкви и дипломатіи, заправляющую міромъ. Оттого-то онъ и не идетъ въ самомъ дѣлѣ, и его сильныя по видимому ноги оказываются въ параличѣ.

Въ виду этого-то разслабленнаго міра закипаетъ невѣдомое море, поглотившее Польшу, поглотившее Кавказъ, окровавленное на закраинахъ, грязное на поверхности и непонятно тихое въ глубинѣ. Оно смываетъ берегъ за берегомъ, слѣдуя естественному влеченію и, такъ сказать, историческому склону, и чѣмъ ближе подходитъ къ міру *недоносившему* свой соціальный плодъ, тѣмъ яснѣе видитъ свою *способность*, готовность принять его, кормить его своею грудью, взять Катилину въ казаки...

...Странны встрѣчи русскаго народа съ старымъ міромъ. Византія въ началѣ и Парижъ въ концѣ.

Выходя изъ стихійнаго хаоса, дикій народъ спускается по невозможнымъ дорогамъ, изъ Новгорода до Чернаго моря, садится на какія-то скорлупы и плыветъ въ Византію; тамъ прибиваетъ онъ щитъ свой къ ея стѣнамъ и беретъ съ собой оттуда *свою вѣру*, противорѣчащую Перуну, подъ знаменами котораго онъ шелъ. Въ то время, когда *православіе* едва тлѣло на Востокѣ подъ пятой Ислама, дикій народъ этотъ разнесъ его отъ Чернаго моря до Бѣлаго, до Балтики, до Тихаго океана...

Прошло около тысячелѣтія .... темнаго, тяжелаго тысячелѣтія— и тотъ-же народъ прошелъ всей Европой, прошелъ нѣмецкими городами, перешелъ Рейнъ — съ своими казаками и калмыками, финами и башкирцами, занялъ *Парижъ* и вмѣсто всякихъ трофей вывезъ изъ него съ своими пушками *другую вѣру*, враждебную другому Перуну. Онъ ее сохранилъ подъ спудомъ, въ едва замѣтномъ меньшинствѣ, и когда въ самой Европѣ, въ самомъ Парижѣ она уступала напору реакціи и новый богъ революціи заставилъ отпрянуть отъ себя съ ужасомъ прежнихъ поклонниковъ, онъ бросилъ намъ неожиданный свѣтъ подъ ноги—и тамъ гдѣ Западъ останавливается съ ужасомъ передъ чудовищемъ соціализма, русскій узнаетъ преображеніе своего народнаго быта и привѣтствуетъ въ немъ свою будущность. И самая царская власть мететъ дорогу соціальному перевороту, вовсе не догадываясь о существованіи такого звѣря!

Насъ упрекали въ какой-то злобной радости, съ которой мы говорили о возможности будущаго столкновенія; въ нашихъ предсказаніяхъ находили что то schadenfroh. Это неправда. Мы только безъ риторическихъ учтивостей и сентиментальныхъ возгласовъ говорили что видѣли и какъ видѣли. Мы только смѣло смотрѣли въ глаза событіямъ и не жалѣли о томъ, что рухнетъ отъ старо-

сти, что пора бросить за бортъ—когда главное цѣло и существенное спасено.

Если Западный міръ не имѣетъ въ себѣ силъ обновленія — для него-же лучше если явится новый Аттила—американскій или русскій, казакъ изъ за Дона, изъ за Урала, пираты изъ за океана, пожалуй оба вмѣстѣ, чтобъ разбить старыя формы и достигая своихъ частныхъ цѣлей и личныхъ местей, расчистить дорогу будущему. Если-же напротивъ у Запада есть эти силы—или борьбы не будетъ, или онъ побьетъ русскую имперію. Въ томъ и другомъ случаѣ народъ русскій ничего не теряетъ. Пораженіе петербургской имперіи будетъ точно также началомъ для Россіи федеральной эры, какъ освобожденіе Россіей славянскаго міра.

А потому мы и смотримъ спокойно на то, что Катилины и казаки у воротъ старой Европы.

Колоколъ № 193.
1 Января 1865 года.

1865

Въ виду тяжелыхъ событій послѣднихъ двухъ лѣтъ, намъ приходилось не одинъ разъ высказывать наши убѣжденія, мы считаемъ, вступая въ новый годъ, излишнимъ повторять нашъ символъ вѣры и нашъ протестъ.

Мы продолжаемъ нашъ путь, а не вступаемъ въ другой.

Колоколъ остается чѣмъ онъ былъ — *органомъ соціальнаго развитія въ Россіи.* Онъ будетъ, какъ прежде, противъ всего что мѣшаетъ этоту развитію и за все что ему способствуетъ.

Мѣшаетъ ему — военно-канцелярское управленіе, сословныя права, господствующее духовенство, невѣжество образованныхъ, сбивчивыя понятія, идолопоклонство передъ государствомъ, которому жертвуютъ всѣмъ — благосостояніемъ лицъ и массъ, умомъ и сердцемъ. Все это вмѣстѣ не сломитъ тѣхъ началъ, глубоко заключенныхъ въ бытѣ народномъ, на которыхъ основано наше упованіе. Не сломили-же ихъ ни татары, ни нѣмцы, ни Москва, ни Петербургъ — сколько ни задерживали развитія, сколько ни искажали его, марая народъ ненужной кровью и незаслуженной грязью.

Противъ этихъ темныхъ силъ, опертыхъ на невѣденіи однихъ и на корысти другихъ, мы будемъ бороться, какъ прежде, и еще больше чѣмъ прежде зовемъ на помощь.

Пора сосредоточить мысль и силы, уяснить цѣли и сосчитать средства.

Пропаганда явнымъ образомъ распадается на-двое. Съ одной стороны слово, совѣтъ, анализъ, обличеніе, теорія; съ другой — образованіе круговъ, устройство путей, внутреннихъ и внѣшнихъ сношеній. На первое мы посвящаемъ всю нашу дѣятельность,

всю нашу преданность. Второе не можетъ дѣлаться за границей. Это дѣло, котораго мы ждемъ въ *ближайшемъ* будущемъ.

А. Герценъ, Н. Огаревъ.

Колоколъ № 194.
1 Февраля 1865 года.

П. Ж. ПРУДОНЪ.

Прудонъ умеръ 19 Января въ Пасси. Ему было едва 56 лѣтъ.

Быстро сходятъ со сцены мощные бойцы борьбы—не оконченной, но пріостановившейся за туманомъ въ которомъ трудно стало узнавать своихъ и чужихъ, борьбы ослабнувшей отъ неопредѣленныхъ цѣлей и неяснаго пониманья исхода.

Прудонъ принадлежалъ къ сильнѣйшимъ двигателямъ общественнаго самосознанія, именно въ то время, въ которое по Франціи пробѣгала соціальная дрожь и она, чтобъ выйти изъ старыхъ путъ, пробовала все—фаланстеры и проповѣди Сен-Симонистовъ, іюньскія баррикады и американскія Икаріи. Прудонъ не разрѣшилъ великихъ вопросовъ, не снялъ страшныхъ сомнѣній, онъ не основалъ школы, но оставилъ діалектическій таранъ. Можетъ онъ и думалъ, что умѣетъ лечить, но сила его была не въ леченіи, а въ разсѣченіи труповъ. Прудонъ не создавалъ, онъ ломалъ, онъ воевалъ, а главное онъ *двигалъ*, онъ все *двигалъ*, все покачивалъ, все затрогивалъ, отбрасывая условныя уваженія, освященныя навыкомъ понятія и принятый безъ критики церемоніалъ. Надобно вспомнить внутреннюю робость романской мысли—дерзкой снаружи, волнующейся на поверхности, быстро несущейся въ извѣстномъ слоѣ и упорно хранящей въ глубинѣ своей завѣтныя начала, занесенныя вѣковой тиной—туда-то проникалъ Прудонъ и не смотря на крикъ негодованія и скрежетъ зубовъ, своей крѣпкой, плебейской, крестьянской рукой толкалъ эти мнимые клады въ общій потокъ. Это была своего рода *ликвидація*—нравственно недвижимыхъ имуществъ.

Когда-нибудь мы поговоримъ о его подвигѣ, теперь намъ хотѣлось бросить и нашу горсть земли на гробъ учителя.

....Serrez les rangs, serrez les rangs! Да, старое меньшинство *юныхъ стариковъ* таетъ не по днямъ, а по часамъ во Франціи. Не долго послѣднимъ ветеранамъ простоять на часахъ. . . . угрюмо смотрятъ они вдаль дороги, не идетъ-ли *смѣна*. Много идетъ. . . . все мимо, все чужое, все мелкое, все безъ помазанія. Иногда кажется вотъ закипаетъ мысль, вотъ является энергія, завязывается узелъ, выступаютъ новыя силы.

....Сестра Анна, сестра Анна, что, идутъ-ли?—Пылитъ дорога, раздается топотъ, это они, это *наши*.... Нѣтъ, это идетъ какое-то стадо...

Тяжелая перемычка для всей Европы!

Колоколъ № 195.
1 Марта 1865 года.

ПРИВИВКА КОНСТИТУЦІОННОЙ ОСПЫ.

Она какъ роза жила одинъ день, утромъ распустилась и увяла къ вечеру! Magna Charta и Coup d'état, гордые Норманы жмудскаго происхожденія и Бисмарки петербургскаго, Нотабли и 18-е Брюмера—все это поднялось и исчезло ровно въ столько времени сколько нужно писарю настрочить листъ отъ заголовка до министерской подписи и вагону допариться отъ Петербурга до Москвы.

Царь *земщины* отдѣлался на первый случай удачнѣе—*безземельнаго* царя.

Мы вовсе не противъ попытки звенигородскихъ, можайскихъ и всякихъ другихъ лордовъ бархатной книги и сенатской геральдіи. Вреда они сдѣлать не могутъ, олигархическая конституція была возможна, да и то на нѣсколько дней при воцареніи Анны Іоановны, а конечно не теперь. Если-же всякому народу, развивающемуся на западный манеръ, надо пройти дворянской конституціей, хорошо что мы такъ скоро отдѣлались отъ нея. Остается поберечься нѣсколько дней, какъ послѣ коровьей оспы, да и въ путь по своимъ дѣламъ.

Типъ нашей цивилизаціи вообще — прививная оспа. Мы продѣлываемъ по немногу и въ тѣсно очерченной сферѣ воспаленья— тѣ великія лихорадки исторіи, тѣ страшныя болѣзни ея роста, отъ которыхъ государства обливались кровью, дѣлались уродами, дробились, останавливались, умирали. У насъ послѣ петровской прививки шла собственно не исторія, а какой-то особенный курсъ ея *въ лицахъ*; форсированнымъ маршемъ догоняя западъ, мы продѣлывали маневры цивилизацій и революцій.

. . . . Потѣшныя войска, образцовые полки, учебные баталіоны, учрежденія вводимыя „въ видѣ опыта", опыты вводимые „въ видѣ учрежденій", также натуральны петербургскому управленію, какъ быстрое усвоенье себѣ наукъ и идей, воззрѣній и системъ, Вольтеровъ и Гегелей, Гете и Байроновъ, натурально нашему всеѣдному обществу. Все это какъ-то *и въ самомъ дѣлѣ и не въ самомъ дѣлѣ*, все это „еще не служба, а службишка, служба молъ еще впереди". Мы отъ всего сердца и отъ всего помышленія вѣримъ этому.

Да, это не служба, а ученье и долею прескверное и претяжелое, такъ что поневолѣ вспоминаешь, думая о дидактической имперіи нашей, извѣстные стихи солдатской пѣсни:

Намъ ученье ничего,
Впрочемъ очень тяжело.

Съ самаго начала петербургской эпохи правительство видя, что съ такой огромной массой, какъ Русь, не съорудуешь, начало отдѣлять отъ живаго великана небольшой кусокъ филейнаго мяса, и его приняло за государство дѣятельное, учебное, эксперимен-

тальное, за образцовую ферму и военно-гражданскій экзерцигаузъ. Эта вырѣзанная среда, это „очищенное“ государство было неразрывно связано съ правительствомъ, долею находилось у него на содержаніи, долею содержало себя по его милости. Остальное народонаселеніе, т. е. весь народъ, безъ филейнаго куска, былъ отданъ ему на прокормленіе, отопленіе, одежду и обувь въ награду за хорошее ученіе и послушанье. Правительство вѣрное своему цивилизующему призванію стоитъ во главѣ школы и лабораторіи и съ утра до ночи дѣлаетъ штатскіе и военные опыты и главное учитъ—учитъ всему, безпрестанно учитъ, прививаетъ все, безпрестанно прививаетъ — шведскіе законы, нѣмецкіе кафтаны, брандербургскій артикулъ, голштинскія цукли, французскія министерства, прусскія каски. Имперія всероссійская начинается собственно съ парикмахерскаго урока — гдѣ носить волосы и гдѣ не носить, съ высочайше утвержденной выправки спинокъ и талій и оканчивается замѣчаніемъ министра Панина, говорившаго, что онъ *молодыхъ* сенаторовъ не любитъ пускать за границу, зная, что юнѣйшему отроку изъ нихъ все-же было за пятьдесятъ лѣтъ. Ничего не оставлено произволу самобытности, даже преданію. Стараго и малаго ровно посылали въ ассамблеи и въ церкви, заставляли плясать и говѣть, одѣваться по-нѣмецки и говорить по-французски. Если курсъ не всегда оканчивался, то конечно не отъ недостатка ученыхъ пособій. Кто виноватъ, что въ главной школѣ, напр. — въ арміи, половина рекрутъ умирала, не кончивъ пространнаго курса военнаго столбняка и метанья ружьемъ. Были неудачные опыты и въ другихъ сферахъ. Правительство, не ограничиваясь одними государственно-патологическими и государственно-хирургическими опытами надъ людьми, хотѣло распространить свое воспитаніе на растительный и минеральный міръ, но тутъ оно встрѣтило неожиданную оппозицію. Какъ ни старался, напр., графъ Аракчеевъ, чтобъ на всѣхъ полосахъ у поселенцевъ рожь была одной вышины, цѣль не была достигнута. Геологія оказалась еще упорнѣе, и не смотря на высочайшую волю Николая, самъ Мурчисонъ не могъ найти каменнаго угля въ той части, въ которой государю было угодно, чтобъ онъ былъ.*)

Составъ педагогической конференціи, окружавшей главнаго педагога имперіи, былъ чрезвычайно разнообразенъ и состоялъ, ра-

*) Когда Мурчисонъ возвратился изъ своего путешествія по Россіи въ Петербургъ, Николай пригласилъ его на вечеръ и подойдя къ нему, спросилъ: „Нашли-ли вы каменный уголь?“ — Нѣтъ, государь.—„И не надѣетесь найти?“—Въ той части, въ которой я былъ, не надѣюсь. — Николай измѣнился въ лицѣ и сказавъ: „Вы первый рѣшились мнѣ это сказать“, отошелъ. Но спохватившись, снова адрессовался къ геологу: „Мнѣ уголь нуженъ, гдѣ же я его возьму?“—„В. в. будете его покупать въ Ньюкестелѣ и другихъ англійскихъ портахъ“. За тѣмъ Николай уже не адрессовался больше къ нему.

зумѣется, большею частью изъ нѣмцевъ, но также и изъ своихъ. Тутъ были и дѣти лютеранскихъ пасторовъ, и дѣти русскихъ поповъ, были и Канкрины изъ евреевъ. и Бироны изъ конюшни и Клейнмихели совсѣмъ изъ ничего. Космополитическій характеръ этихъ учителей особенно хорошо выразился въ канцлерѣ Несельродѣ, родившемся въ лисабонскомъ порту, на англійскомъ кораблѣ, отъ нѣмецкихъ родителей, находившихся въ петербургской службѣ — такъ что ученый министръ иностранныхъ дѣлъ былъ своею личностію до нѣкоторой степени краткимъ руководствомъ къ географіи. Участвовали конечно и столбовые русскіе дворяне въ общемъ государственномъ поученіи, но ихъ глубокое незнаніе дѣлало ихъ мало способными къ самобытной педагогіи, они больше играли роль крѣпостныхъ бурмистровъ при нѣмцѣ управляющемъ, т. е. били не на животъ, а на смерть, кого Иванъ Ивановичъ, или Карлъ Ивановичъ прикажетъ. За то на болѣе скромномъ попришѣ — передней, конюшни и гумна каждый изъ нихъ самъ становился Петромъ I, отцомъ просвѣтителемъ. Сколько свѣжихъ и здоровыхъ людей, поколѣній легло въ могилу, было искалѣчено прежде чѣмъ приватное дворянство дворни обучилось артистически подавать шубу, эстетически священнодѣйствовать съ тарелкой въ рукѣ и не хуже Вателя приготовлять артишоки à la Barigoule! Сколько деревень, селъ, волостей было въ конецъ раззорено на заведеніе „въ видѣ опыта“ невозможнаго хозяйства и ненужныхъ фабрикъ!

Словомъ, такого поучающаго государства міръ не производилъ, исторія не помнитъ. Цѣлыя существованія людскія проходили въ трудѣ и потѣ на пользу воспитанія ближняго; и эти ближніе, происходя въ чины, снова занимались ученіемъ другихъ и сами были поучаемы до гробовой доски. «Сладкаго плода» науки, о которомъ говоритъ пословица никто не вкушалъ. Семидесяти-пятилѣтній лакей моего отца—Яковъ Игнатьевичъ Бакай, о которомъ я уже имѣлъ случай говорить, въ преклонныхъ лѣтахъ своихъ съ утра до ночи училъ, т. е. таскалъ за волосы и билъ двухъ мальчиковъ, взятыхъ во дворъ и одну ньюфаундленскую собаку, жившую на дворѣ — не смотря на то, что воспитанье мальчиковъ и собаки, ему вовсе не было поручено; это все въ силу Петровскаго толчка. Вел. кн. Михаилъ Павловичъ съ нѣжнаго возраста восьми лѣтъ *училъ* солдатъ. Разъ сбился съ дороги, вздумалъ въ самомъ дѣлѣ взять крѣпость, положилъ свое войско подъ подорванными стѣнами Браилова, махнулъ рукой, отказался отъ пустыхъ лавровъ и пошелъ опять учить и выправлять солдатъ, и училъ и выправлялъ до дня своей кончины.

Здѣсь кстати замѣтить всю вѣрность взгляда цесаревича Константина, что война портитъ армію. Война вообще мѣшаетъ *ученью*. Послѣдствія 1812 года были плачевны въ смыслѣ педагогическомъ. Весь современный безпорядокъ идетъ оттуда. Пожаръ Москвы былъ страшной прорухой въ дисциплинарномъ порядкѣ: сожги ее Наполеонъ — было-бы очень хорошо, сожги ее Растоп-

чинъ по формѣ, по высочайшему приказу — все было-бы въ порядкѣ вещей. Но правительство не приняло на себя отвѣтственности, а французовъ, кромѣ Шишкова, никто въ пожарѣ серьезно не обвинялъ. Укрѣпилась пагубная мысль—что жители сами сожгли свои дома и что это геройскій подвигъ.... какъ будто городъ не казенное добро и не государственное имущество? Результатъ самовольнаго поджога и рядъ побѣдъ былъ тотъ, что лучшіе ученики захотѣли учиться по своимъ книжкамъ, а не по казеннымъ, имъ казалось, что они не маленькіе, если дѣлаютъ такія огромныя дѣла.

Петровская традиція въ нихъ осталась и имъ тоже хотѣлось дѣлать опыты и учить, но не для приращенія казеннаго интереса, а собственнаго своего. Глаза ихъ были тоже обращены на Западъ, но уже они не останавливались на однихъ формахъ, фасадахъ, покрояхъ, а изучали внутреннее устройство жилья, быстро усвоивали себѣ сущность западнаго воззрѣнія. Эта усвояемость несомнѣнно свидѣтельствуетъ о шири пониманья и ловкости соображенія, но не надобно забывать, что въ этомъ усвоеніи и состоялъ *весь* ихъ подвигъ. Труднѣйшая часть всякой теоріи—ея приложеніе, ея фактическое, а не діалектическое развитіе, ея практическое примѣненіе. Ея прикладная, т. е. жизненная сторона вопроса — она была внѣ ихъ возможности. При первомъ опытѣ непокорныхъ учениковъ выйти на свѣтъ и волю, ученое правительство раздавило ихъ, т. е. перевѣшало, посадило на снѣгъ и руду, заперло ихъ въ петропавловскій карцеръ. На первое время все казалось ладнымъ, такъ что незабвенный больше изъ роскоши и шалости забрилъ нѣсколькимъ московскимъ студентамъ лобъ и послалъ другихъ въ ссылку. Но въ сущности правительство раздавило только *людей*, мысли остались, взошли внутрь и бродили... Николай Павловичъ подозрѣвалъ это и держалъ тридцать лѣтъ кого-то за горло, чтобъ тотъ не сказалъ *чего-то*, и только что Мандтъ доложилъ ему, что онъ высочайше скончался, какъ *кто-то* закричалъ во все горло и на всю Россію: „Теперь баста!“

Сотней головъ мы продѣлывали въ тридцатилѣтнемъ загонѣ вѣковыя драмы западнаго развитія, жили ими, страстно принимали ихъ къ сердцу, страдали ихъ прошедшими страданіями—надѣялись ихъ надеждами... отдавались имъ беззавѣтно, откровенно и быстро изнашивали ихъ знамена самой стремительностью и преувеличеніемъ. Догнавши старшихъ, мы вмѣстѣ съ ними хоронили одну фазу ихъ развитія за другой и, не оставаясь на могилѣ, торопились на встрѣчу наслѣднику. Мы пережили въ темную, глухую ночь — рядомъ сновидѣній—всю западную эпопею. Пасхаль говоритъ, что царь спящій полсутокъ и видящій во снѣ что онъ пастухъ, и такой же сонливый пастухъ также видящій во снѣ что онъ царь— равны. Къ нашему меньшинству это совершенно идетъ, тѣмъ больше, что сны наши не были простые. Мы дремали—слыша сквозь сонъ какой-то стонъ разлитой въ воздухѣ, дремали — придавленные свинцовой гирей, и при томъ сны были такъ ярки, такъ яс-

ны, что ихъ можно назвать временнымъ переселеніемъ душъ, Такъ какъ древніе ходили въ преисподнюю, такъ мы отступали въ прошедшее, становились на время предками и жили напр. всю революцію отъ ослѣпительнаго утра ея въ 1789—до „закладки", которую судьба положила въ ней, какъ самъ себя назвалъ Наполеонъ... Кто изъ насъ не слыхалъ громовыхъ рѣчей Мирабо и Дантона,— кто не былъ якобинцемъ, террористомъ, другомъ и врагомъ Робеспьера, даже солдатомъ республики у Гоша и Марсо?... Даже сумеречныя времена и неясныя фигуры временъ реставраціи и Людвига Филиппа отражались въ насъ со всѣми своими вопросами и гнѣвами. *Мы* обижались. что *иностранцы* посадили Бурбоновъ па тронъ и плакали съ Беранже объ утраченномъ знамени, забывая, что побѣдители мы и что наше знамя было твердо и высоко въ рукахъ какого-то Преображенскаго троглодита...

...Всѣ эти сны — сны революціи, сны философіи, сны поэзіи — были долею на яву и въ этомъ-то ихъ важность. Прививная оспа все же дѣйствительная оспа, не смотря на то, что она слаба, снята съ другого организма и не заставляетъ сильно страдать. Еслибъ этого не было, она не предохраняла бы отъ натуральной, она не имѣла бы смысла.

Прошедши въ лунатизмѣ по стремнинамъ и утесамъ, намъ возвращаться не нужно, дорогу мы все же сдѣлали. Мы такъ же пережили Руссо и Робеспьера, какъ французы; Шелинга и Гегеля, какъ нѣмцы. Но все выжитое нами, все пріобрѣтенное было въ сферѣ мысли и сознанія, въ практическій міръ новыхъ оспопрививателей не пускали, генералъ штабъ докторъ въ ботфортахъ стоялъ у дверей.

Отъ этого мы въ прикладномъ мірѣ сильно отстали, тамъ намъ слѣдуетъ протверживать „зады", читать по складамъ, да и то азбуку. Дивиться нечему; мы, рѣзко и смѣло критиковавшіе нѣмецкую философію, французскую республику, англійскую конституцію, не смѣли явно усомниться ни въ святости крѣпостнаго права, ни въ пользѣ тѣлесныхъ наказаній.

Лиха бѣда была отчалить. Какъ только правительство нанесло ударъ рабству, съ дня на день можно было ждать рядъ конституціонныхъ попытокъ. Вмѣсто Земскаго Собора, Земской Думы, потребовали Думу боярскую, явилась попытка жмудскихъ нормановъ и татарскихъ бароновъ, сто лѣтъ тому назадъ избавленныхъ Петромъ Федоровичемъ отъ тѣлесныхъ наказаній и выросшихъ теперь до требованій временъ крестовыхъ походовъ — ограничить бѣлой, дворянской костью царскій произволъ. Бѣды нѣтъ, успѣхъ невозможенъ, а за починъ имъ спасибо. Оспа снятая съ торизма оказалась очень кроткой и доброкачественной, benigna (какъ выражались старинные врачи), отъ нея едва останется рябина на нѣжномъ плечикѣ московскаго дворянства, вотъ и все. Словомъ, вреда никакого, а путь указанъ, слово произнесено, печать молчанія сломана—не въ главномъ заведеніи, въ которомъ все подпечатываютъ—а всенародно, въ дворянскомъ собраніи.

Вотъ существенное, *субстанція*, какъ выражался въ Іеговѣ почившій Спиноза, остальное „атрибуты, аксиденціи“.

Ну и надобно признаться, что касается до этихъ акциденцій и атрибутовъ... это своего рода саро d'opéra... Тутъ комизмъ такъ перемѣшанъ съ отвратительнымъ, Офросимовъ съ Катковымъ, молодое желаніе свободы съ старыми заступниками крѣпостнаго права, что человѣкъ равно чувствуетъ невозможность смѣха и плача, гуловаго осужденія и откровеннаго сочувствія.

Для насъ фарса съ рѣчью, подсунутой Офросимову (какъ ее разсказываетъ Indépendance)—неоцѣненна. Революція, начинающаяся съ фальша, съ лубочной арлекинады, должна была окончиться въ чернильницѣ Валуевскаго писаря, или въ примѣненіи Черкасскихъ розогъ къ шалунамъ, обманувшимъ безграмотнаго старика.

Хорошъ также и à propos. . . . мы долго думали, что за муха укусила англійскій клубъ и лордовъ его.... Отчего вдругъ Безобразову стало ужъ такъ маркотно жить безъ ограниченія царской власти, а Орлову-Давыдову—такъ не въ мочь терпѣть l'arbitraire? — Мы все искали Чацкаго, который произвелъ всю эту кутерму. И вышло, что этотъ Чацкій — Константинъ Николаевичъ — l'impénétrable, ничего не дѣлающій послѣ пріѣзда въ Петербургъ, какъ ничего не дѣлалъ въ Варшавѣ. Видите, испугались, что его назначеніе остановитъ палачей въ Литвѣ и въ „Моск. Вѣдом.“, что не всю Польшу вывѣшаютъ и ушлютъ въ Сибирь, что не весь Катковъ будетъ печататься. Неукротимые бароны и мирзы, дѣти степной воли и англійскаго клуба, этого не могли вынести. Они-то встрепенулись и кликнули кличъ по всѣмъ уѣздамъ московскимъ: Постоимъ-де братцы за Иверскую божію матерь, не дадимъ въ обиду нашихъ. Пойдемъ за свободу дѣйствій Муравьева и за вольное катковское слово!

Нѣтъ, господа, этимъ путемъ до свободы не дойдете и не доѣдете, ни даже съ двумя форейторами и одчимъ гайдукомъ.

Колоколъ № 197.
25 Мая 1865 года.

ПИСЬМО КЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II.

Государь,

Судьба неумолимо, страшно коснулась Васъ. Грозно напомнила она Вамъ, что не смотря на помазаніе, ни Вы, ни ваша семья, не освобождены отъ общаго закона — Вы подъ нимъ. Она два раза отмѣтила семейство ваше, разъ остріемъ косы и разъ ея тупой стороной — смертью вашего сына, и странными слухами на счетъ его брата.

Къ безчисленному числу польскихъ семей, повергнутыхъ въ глубокое горе, потерявшихъ сыновей своихъ, прибавилась еще

семья въ траурѣ—это ваша семья, Государь. Она счастливѣе ихъ, ея горе не будетъ оскорблено. Между нами, противниками вашей власти, не найдется ни одного бездушнаго негодяя, который проводилъ бы гробъ вашего сына обидой, который хотѣлъ бы сорвать трауръ съ матери или сестры, отнять тѣло у родителей и могилу у слезъ... всего того, что̀ дѣлали и дѣлаютъ ваши Муравьевы въ Польшѣ.

Въ жизни людской есть минуты грозно торжественныя, въ нихъ человѣкъ пробуждается отъ ежедневной суеты, становится во весь ростъ, стряхаетъ пыль—и обновляется. Вѣрующій — молитвой, невѣрующій—мыслью. Минуты эти рѣдки и невозвратимы. Горе, кто ихъ пропускаетъ разсѣянно и безслѣдно! Вы въ такой минутѣ, Государь—ловите ее. Остановитесь подъ всей тяжестью удара съ вашей свѣжей раной на груди и подумайте, только безъ сената и синода, безъ министровъ и штаба, подумайте о пройденномъ — о томъ, гдѣ Вы и куда идете.

Если и смерть сына не можетъ Васъ разбудить, исторгнуть изъ дребезжащей и призрачной среды, въ которую Васъ поставило ваше рожденіе, то что̀ же Васъ разбудитъ? Развѣ одно лишеніе престола, т. е. пустота и печальный досугъ, всегда сопровождающіе вдовство этого рода. Но такое позднее пробужденіе будетъ можетъ хорошо для Васъ, но безполезно *для другихъ*. А эти другіе, когда рѣчь идетъ о Васъ — *весь народъ русскій*. Вотъ это-то и нудитъ меня неотступно опять писать къ Вамъ.

Первое письмо мое не прошло даромъ. Невольный крикъ радости, вырвавшійся изъ дали добровольной ссылки, подѣйствовалъ на Васъ. Вы на минуту забыли, что я по рангу не имѣю права говорить съ Вами.

Языкъ свободнаго человѣка былъ для Васъ новъ, Вы въ его рѣзкихъ словахъ поняли искренность и любовь къ Россіи — Вы тогда еще не ссылали утопіи на каторгу, не привязывали къ позорному столбу человѣческой мысли. Это былъ медовый мѣсяцъ вашего воцаренія, онъ заключился величайшимъ актомъ всей династіи вашей—*освобожденіемъ крестьянъ*.

Побѣдившій Галилеянинъ, Вы не умѣли воспользоваться вашей побѣдой. Вы не умѣли удержаться на той высотѣ, на которую Васъ ставилъ манифестъ 19 Февраля. Вашу шаткость замѣтили, Вы были дурно окружены, Васъ увлекли.... и Вы сошли съ вашего піедестала при свѣтѣ какого - то горящаго рынка, опираясь на тайную полицію и явно подкупленную журналистику. Вы испугались, повѣривши нелѣпой клеветѣ, и не догадались что это клевета—даже и тогда, когда всѣ ваши инквизиціи и инквизиторы, работая до поту лица цѣлый годъ, съ той ширью средствъ, съ той безотвѣтственностью, которыми располагаетъ русская полиція, не нашли ни одного виновнаго.

Васъ испугали нѣсколько печатныхъ листковъ, въ которыхъ раскованное слово, послѣ тридцатилѣтняго молчанія, перешло цензурную мѣру. Васъ испугалъ крикъ вашими же министрами под-

купленныхъ журналовъ и голосъ тѣхъ-же совѣтниковъ, которыхъ корыстные совѣты Вы отвергли въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, и Вы начали бой съ молодымъ поколѣніемъ, бой грубой власти, штыковъ, тюремъ—противъ восторженныхъ идей и вдохновенныхъ словъ. Вашъ предшественникъ воевалъ въ Польшѣ съ дѣтьми, Вы воюете въ Россіи съ юношами и отроками, повѣрившими Вамъ и вашимъ органамъ, что для Россіи настала новая эпоха.

Съ потухающимъ заревомъ этого несчастнаго пожара — и Вы блѣднѣете, черты ваши теряются, Вы отступаете на второй планъ, и вмѣсто Васъ выставляется знакомая намъ система отпора и угнетенья, безправья лицъ, беззаконности судныхъ коммиссій — система вашего отца съ прибавленіемъ риторики и крови.

Русской крови во-первыхъ.

Какой несчастный, черный день былъ для Россіи и какой черный грѣхъ Вы приняли на душу, когда подъ вліяніемъ паническаго страха и клеветы вашихъ клевретовъ, Вы разрѣшили себѣ *кровь*—и еще хуже—облекли вашихъ генераловъ правомъ ее лить, какъ будто Вы не знали кто они.

Неужели Вы спокойно спали, когда падали, сраженные пулями, то Антонъ Петровъ, то Арнгольдтъ, Сливицкій и др. Неужели Вы не оцѣпенѣли отъ ужаса когда въ Нижнемъ разстрѣливали по подозрѣнію, а въ Кіевѣ—за драку и грубые отвѣты. Вы не могли привыкнуть къ убійству и не могли шутя тушить жизни какъ карнавальныя свѣчки—между Вами и Петромъ полтораста лѣтъ.

Прошедшее нѣмо, самодержавіе не простирается на него. Убитыхъ Вы не воротите. Искупите вину вашу передъ живыми и, стоя у гроба вашего сына, отрекитесь отъ кровавой расправы. Возвратите намъ нашу гордость, что при всей неразвитости нашего законодательства, въ немъ не было смертной казни и палачъ показывался на помостѣ, пугая цѣлыя поколѣнія своимъ *незаконнымъ* появленіемъ, разъ или два въ столѣтіе.

... Подумайте, какъ измѣнилось ваше положеніе съ тѣхъ поръ какъ Вы сѣли на престолъ. Тогда Вамъ стоило свободно идти, вести, Вы освобождали крестьянъ, отъ Васъ всѣ ждали добра, чего-то хорошаго—тогда Вы хоронили прошедшее... Теперь мрачно около Васъ, дѣла застряли, денегъ нѣтъ, избивается цѣлый край, юноши идутъ на каторгу, учители народа идутъ на каторгу, на гласисахъ крѣпостей вѣшаютъ, разстрѣливаютъ, и Вы хороните ваше *будущее*.

Да, Государь, теперь настала минута, въ которую Вамъ надо рѣшиться, который изъ вашихъ путей Вамъ продолжать... Надгробный памятникъ вашего сына становится на дорогѣ указательнымъ знакомъ и грознымъ напоминовеніемъ.

Рѣшитесь, не дожидаясь втораго удара — можетъ тогда будетъ поздно, можетъ онъ будетъ слишкомъ силенъ.

Вы видете ясно, и едва можете скрыть, что старая машина, ржавая и скрыпучая, устроенная Петромъ на нѣмецкій ладъ и прилаженная нѣмцами на русскій — негодна больше. Вы видите,

что нельзя больше управлять народомъ въ семьдесятъ милліоновъ, какъ дивизіей. Фрунтъ не стоитъ больше „смирно“. Есть люди говорящіе, думающіе, недовольные, догадавшіеся въ Крыму, что команда плоха. Есть люди знающіе, что подъ Альмой, подъ Инкерманомъ, на Черной — пала не Россія, а петербургскій региментъ. Вы знаете, кто не пережилъ Евпаторіи и кто пережилъ самый Севастополь, утеръ слезу и порохъ и пошелъ впередъ. Вы все это прожили и пережили, и думаете, что замѣною откупа—акцизомъ и земскаго Собора — земскими учрежденіями, Вы удовлетворили Россію?

Если вы это думаете, то это оттого, что Вы не знаете — ни о чемъ страдаетъ Россія, ни чего она хочетъ. И какъ-же Вамъ знать? Печать не свободна, да и вы мало читаете. Видите Вы однихъ слугъ, зависящихъ отъ васъ, лгущихъ передъ Вами! Свободныхъ людей, поднимающихъ голосъ, Вы казните. Былъ человѣкъ, убѣжденный, что Вы хотите добра Россіи, молодой, чистый и благородный, онъ пробился до Васъ. Вы велѣли Орлову его поцѣловать въ 1859 году, а въ 63 бросили его въ казематъ. гдѣ онъ теперь въ ожиданіи сентенціи—это Серно-Соловьевичъ. Былъ крестьянинъ, вѣровавшій въ Васъ, видѣвшій въ Васъ своего „земскаго царя“, восторженный фанатикъ; онъ откровенно, горячо написалъ Вамъ письмо, въ которомъ говорилъ о нуждахъ народныхъ. Написалъ его изъ Лондона и самъ передалъ себя въ ваши руки, Вы его послали въ рудники. Вы съ безпримѣрной свирѣпостью осудили единственнаго замѣчательнаго публициста, явившагося въ ваше время. А знаете-ли что писалъ Чернышевскій? Въ чемъ состояло его воззрѣніе? Въ чемъ опасность, преступность? Можете-ли Вы на этотъ вопросъ отвѣчать самому себѣ? Изъ нелѣпѣйшей сенатской записки Вы ничего не могли понять.

Ясно , что нужны голоса громче и сильнѣе, чтобъ перекричать трубы и литавры Васъ окружающія, чтобъ слова перешли за кавалергардовъ, за «опричниковъ», какъ недавно было сказано..... Для чего же Вы отдаляете истину, для чего Вы обманываете себя, что Вы—помимо народнаго совѣта и вольной рѣчи—вывезете садящуюся на мель петровскую барку въ широкое русло?

Дѣлайте что хотите, разстрѣливайте или давайте кресты, посылайте на каторгу или на кормленье, склоняйтесь на сторону Муравьева и его русскихъ заплечныхъ мастеровъ, или на сторону нѣмцевъ и ихъ балтійскихъ цивилизаторовъ — самовластья въ его николаевской дѣвственности и чистотѣ Вы не сохраните и не возстановите.

. Вы сильнѣе вашихъ предшественниковъ, но Вы сильнѣе ихъ — *освобожденіемъ*. Союзъ вашъ съ народомъ не долженъ Вамъ отводить глаза. Въ вѣнцахъ изъ колосьевъ и сельскихъ цвѣтовъ, которые Вамъ подносятъ старосты и войты, есть опасные терніи и семена вреныхъ растеній для власти. Вы стали ближе не во имя консервативной идеи, а во имя *революціоннаго начала*, во имя демократическаго нивелированія дворянъ и признанія аграрнаго на-

чала въ поземельномъ надѣлѣ. Вѣтшавшая Петровская порфира упрочена подкладкой Пугачевскаго кафтана.

Взгляните ясно и просто съ Монблана, на который Васъ поставила судьба, разгоняя стаи галокъ и воронъ, имѣющихъ право пріѣзда ко двору, и Вы увидите что лавированіемъ между казеннымъ прогрессомъ и полицейской реакціей, Вы далеко не уѣдете и сведете себя на одинъ безплодный отпоръ, и притомъ на отпоръ неоткровенный и лишенный единства.

Не лучше-ли же, не доблестнѣе-ли порѣшить общія дѣла общими силами, и созвать съ разныхъ концовъ Россіи, со всѣхъ слоевъ ея — выборныхъ людей. Среди ихъ Вы услышите строгія сужденія и свободныя рѣчи, но будете безопаснѣе чѣмъ былъ вашъ дѣдъ, окруженный рвами, стѣнами и лейбъ-гвардейскими эспонтонами въ подобострастной нѣмотѣ Михайловскаго дворца.

Судьба, касаясь холодной рукой смерти до вашей семьи, остановила Васъ—воспользуйтесь этимъ. Вы собирались идти дальше тѣмъ страшнымъ путемъ, которымъ Вы идете съ половины 1862 года. Возвратитесь съ похоронъ вашего сына на прежнюю дорогу. Нигдѣ не бываетъ раскаяніе легче и очищеніе полнѣе какъ у близкаго намъ гроба. Оно Вамъ необходимо для того, чтобъ приготовиться къ великому Земскому дѣлу.

... Но прежде всего остановите руку палача, возвратите сосланныхъ и прогоните внѣзаконныхъ судей, которымъ поручалась царская месть и неправое гоненіе.

Не для невинныхъ жертвъ вашихъ, не для пострадавшихъ мучениковъ нужно всепрощеніе. *Оно нужно для Васъ.* Вамъ нельзя человѣчески идти дальше безъ амнистіи отъ нихъ.

Государь, заслужите ее!

ПИСЬМА КЪ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.*)

Письмо Первое.

Вы меня забросали вопросами — и что дѣлается, и что дѣлать, и что читать? Какіе люди, какія книги, что внутри, что снаружи, куда идутъ, куда идемъ, гдѣ мы, что мы и правда-ли то-то, и правда-ли это-то? О каждомъ вопросѣ можно продумать годъ, написать томъ, пожалуй два.... дайте-же срокъ, дайте привесть въ порядокъ ваши вопросы и собственныя мысли, а главное дайте прежде всего васъ поздравить.... не съ тѣмъ что вы пріѣхали, а съ тѣмъ, что вы уѣзжали, съ тѣмъ что васъ сначала 1863 года вовсе не было ни въ Россіи, ни въ Европѣ. Вы чище насъ всѣми событіями, которыхъ вы не видали, вы моложе насъ всѣмъ временемъ, котораго васъ не было на лицо, вы крѣпче насъ всѣмъ здоровымъ, могучимъ, суровымъ воздухомъ, которымъ ды-

*) Письма, здѣсь соединенныя, помѣщены въ №№ 197, 199, 200 201, 202, 203 „Колокола". *Л. Т.*

шали по ту сторону океана... въ то время какъ мы задыхались и исходили стыдомъ.

Кстати я очень радъ, что вы полюбили Соединенные Штаты, что вамъ понравилась ихъ дебелая, рѣзкая красота въ противоположность сѣдымъ и повиснувшимъ прелестямъ Европы. Американская война надѣлала страшную кутерьму и окончательно спутала тощія идейки, которыми пробавлялись государственные мозги глубокомысленныхъ политиковъ...

Неправда-ли, какъ демократіи и республики, управляемыя „чернью", безтолковы, безпомощны и только годны для маленькихъ кантоновъ и большихъ диссертацій, какъ федеральность слаба? Да и что-же можно сдѣлать безъ постоянныхъ войскъ, состоящихъ въ должности саранчи въ мирное время, безъ крѣпкой централизаціи, администраціи и главное полиціи? Все это хорошо въ книгахъ, все это утопіи, «остроумныя мечты»! Какой урокъ, какой ударъ! Гдѣ та монархія, имперія, королевство, гдѣ тотъ священный или проклятый союзъ помазанныхъ и непомазанныхъ царей, который устоялъ-бы противъ такого распаденія и такого междоусобія, который выдержалъ-бы такую войну, на такомъ протяженіи — годъ, два, три, четыре? Тутъ все непонятно человѣку „стараго материка",*) потому что все ново, все въ первый разъ. Непонятно не только дипломатамъ, финансистамъ, стратегамъ, рутинерамъ, дѣльцамъ, эмпирикамъ нашего „Западно-восточнаго дивана" (à la Gœthe, сочиненнаго на нѣмецкомъ языкѣ), но также непонятно чисто *западнымъ* диванамъ на Сенѣ и Темзѣ. Сегодня войско побито, завтра оно-же идетъ впередъ... сегодня не вѣрятъ послѣднему выпуску бумажныхъ денегъ, завтра ихъ выпускаютъ втрое больше и дѣло поправлено. „Отечество въ опасности", полъ-тѣла отщепилось и возстало, успѣхи не рѣшительны, потери страшны, и вмѣсто понурой головы, какъ въ Австріи послѣ двухъ итальянскихъ сраженій, и вмѣсто потерянной головы, какъ во Франціи послѣ Ватерлоо — транзатлантическій кондоръ не только дерзко смотритъ въ глаза стараго міра, но еще вызываетъ его помѣриться въ открытую войну, вмѣсто контрабандной и воровской.

Иногда такъ и кажется, что этотъ старый міръ на новыхъ квартирахъ и есть именно *тотъ свѣтъ*, въ которомъ сохранилось все энергическое и живучее, умершее *въ этомъ* — Кромвель и 1789 годъ, пуритане и энциклопедисты, Гошъ и Марсо, суровыя личности конвента и суровые послѣдователи Кальвина. Новыя основы гражданственности въ старомъ мірѣ осѣлись въ трясинахъ вѣками накопившагося невѣжества и были занесены пылью и пескомъ всевозможныхъ развалинъ и обломковъ. Въ Америкѣ не было ни песку, ни рухнувшихся памятниковъ, въ ней не было лацароніевскаго осадка, низвергнутаго на дно для того, чтобъ верх-

*) Полагаю что вы не забыли, что и нашихъ „предковъ" дѣлятъ на „обезьянъ стараго континента и обезьянъ новаго континента".

ніе слои прозрачнѣй отстоялись. Американское общество *не безъ гущи*, но за то мышцы у него покрѣпче, это очень оскорбляетъ слабонервныхъ дѣтей европейской цивилизаціи...

Вы все это видѣли, осязали и жалѣете, что васъ не было ни здѣсь, ни въ Россіи. Полноте, пожалуйста! Счастье тѣмъ сыновьямъ Ноя, которыхъ не было дома, когда безобразно пьяный отецъ буянилъ и полунагой валялся на полу. Оттого что васъ не было на лицо, вамъ легче связать конецъ 1862 г. съ началомъ 1865, чѣмъ намъ; онъ немного обсохъ отъ крови и грязи, и вы не знаете, какъ онъ былъ мокръ, и какъ онъ былъ грязенъ.

Мы испытали на себѣ эти два года и теперь выходимъ изъ нихъ словно изъ больницы или дома умалишенныхъ, щупая не обрита-ли голова. Мы жили въ чаду, въ горячкѣ, въ раздорѣ съ собой, мы измѣняли разуму, слѣдуя сердцу, и измѣняли сердцу, слѣдуя разуму. Битые тяжестью каждаго дня, оскорбляемые событіями, оскорбляемые людьми, оставленные на однѣ свои силы, на свой неподдержанный протестъ, отрѣзанные отъ края, мы подвязывали парусъ за парусомъ, ожидая когда у пьянаго Ноя затрещитъ голова, а можетъ и совѣсть, но хмѣль былъ силенъ и продолжителенъ. Едва теперь протрезвляются у насъ. *Звѣри становятся какъ-то смирнѣе*, они извиняютъ совершившееся, ищутъ причинъ и объясненій; годъ тому назадъ они хвастались страшными, вопіющими дѣлами и едва теперь прежняя мысль всплываетъ надъ печальнымъ полемъ, на которомъ не обсохла еще кровь послѣ совершившейся исторической уголовщины.

Да, это было страшное испытаніе, лишь-бы оно не прошло даромъ.

Смиреннѣе должны мы идти впередъ. Намъ предстоитъ трудъ, о которомъ мы не думали, намъ слѣдуетъ перевоспитать весь нравственный бытъ нашъ. Послѣдніе два года страшно обличили сколько дикаго, звѣрскаго, узкаго, тупо-жестокаго дремало въ нашей душѣ, сколько каждый изъ насъ квартальный, помѣщикъ и палачъ. Всѣ прошлыя злодѣйства Петербурга и Зимняго Дворца общество покрыло съ роскошью. Апотеоза Муравьева была амнистіей Бирону и Аракчееву; рукоплесканья, съ которыми встрѣчали дикія, позорныя, отвратительныя мѣры, запрещавшія полякамъ говорить по польски, запрещавшія женщинамъ носить трауръ, рукоплескали съ тѣмъ вмѣстѣ избіенію стрѣльцовъ, гоненію кафтановъ и бородъ; оправданъ Петръ I, оправданъ Николай. Не въ нихъ лежало начало этого наглаго вмѣшательства силы въ послѣднія святыни личности, не въ нихъ, а *въ насъ*. Москва и провинціи рукоплескали чему-то родному, знакомому; они сочувствовали тому, что дѣлалось въ Литвѣ и Полшѣ, потому что въ душѣ лучшихъ остались элементы помѣщика и холопа, потому что у каждаго изъ нихъ была своя Литва въ деревнѣ и свои мятежники въ передней.

Ни слова о правительствѣ, ни слова о статскихъ и военныхъ генералахъ. Правительство никакого мнѣнія не имѣетъ — развѣ

Адлербергъ и К—нія за него; правительство съ Муравьевымъ и съ Суворовымъ, съ братьями Милютиными и съ собственнымъ братомъ Константиномъ. Генералы имѣютъ мнѣнія генеральскія, присвоенныя ихъ рангу. Все это одѣто въ мундиръ и вѣрно своей ризѣ и своей ливреѣ. Пора перестать дивиться, что штыкъ колетъ, жандармъ доноситъ, а правительство вѣшаетъ и по надобности въ Сибирь заточаетъ. Въ послѣднихъ событіяхъ важно то, что кровавая гидра поднявшая голову была безъ краснаго и безъ шитаго воротника, это была гидра партикулярная, гидра англійскаго клуба и дворянскихъ сходокъ, гидра литературы и салоновъ, гидра журналистики, профессорскихъ конференцій, гидра всей псевдо-образованной Россіи. Вотъ отчего она намъ такъ ненавистна, вотъ отчего она такъ пятнаетъ насъ.

Никто послѣ Горчаковскихъ нотъ и отвѣтовъ на нихъ не вѣрилъ ни въ какой 1812 годъ. Но чѣмъ безопаснѣе становилось наше положеніе, чѣмъ больше ослабѣвалъ противникъ, тѣмъ наглѣе становились мы, тѣмъ свирѣпѣе патріотствовали... Грубое, отвратительное чувство, чисто помѣщичье, чисто чиновническое *„дать себя знать“* непокорнымъ, наказать, унизить ихъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ подслужиться — вотъ что являлось во всемъ цинизмѣ на канибальскихъ банкетахъ, на изгнаніяхъ изъ англійскаго клуба порицателей Муравьева. Если не веревкой и не пулей, если не жертвуя ни шкурой, ни деньгами — то кулебяками и телеграмами, то оскорбленіемъ несчастнаго народа и сквернословіемъ принять участіе въ его казни...

... А тутъ добрые люди воображаютъ, что мы должны *сочувствовать* конституціонному прорѣзыванію зубовъ у этихъ московскихъ шакаловъ, которые съ самаго перваго слова, безъ малѣйшей нужды привѣнчали себя Муравьеву и висѣлицѣ, *вотируя* свою чернильницу благодарности *Московскимъ Вѣдомостямъ*. „И на насъ каплю крови, и на насъ комокъ грязи, дайте и намъ потянуть кончикъ веревки, хоть послѣ казни“! Пожалуй, палачъ можетъ имъ дать кончикъ веревки, такъ какъ кучера даютъ баричамъ возжу пристяжной; но пусть же они не освобождаютъ отечества, не дѣлаются ни Гемпденами, ни Лафайетами, а остаются родовымъ потомствомъ Ноздрева, дѣтьми Собакевича и внучатами Фамусова.

И сколько при всей лжи, при всемъ раболѣпіи, коварствѣ — сколько глупости въ людяхъ, кичащихся дворянской грамотой, на ней строящихъ свои законодательныя притязанія и становящихся за уничтоженіе польской аристократіи! Чему радуются наши помѣщики, что правительство такъ поступаетъ съ литовскимъ дворянствомъ?

Мы можемъ смотрѣть, какъ на необходимую мѣру на польское освобожденіе крестьянъ съ землей. Вспомните, что писали мы съ поконъ вѣка, что писалъ полякамъ Бакунинъ, вырвавшись изъ Сибири. Но что-же нравится въ раззореніи и оскорбленіи польскаго дворянства—таковому жъ россійскому? Неужели они не понимаютъ что стоитъ имъ еще побаловаться конституціонными кубаря-

ми, да попасть неловко въ царскую ногу, съ ними сдѣлаютъ точно то же, и прогонятъ ихъ сквозь строй такихъ-же мѣръ и такихъ-же Муравьевыхъ. За свѣжимъ Катковымъ, который воспоетъ ихъ гибель, какъ достославную побѣду, дѣло не станетъ. Вѣроятно мы и тогда не будемъ на ихъ сторонѣ, *да они-то сами зачѣмъ не на своей сторонѣ?* Они-то что за Японцы, что точутъ ножи на свой собственный животъ? Вѣдь имъ ужъ объ этомъ докладывалъ ихъ собственный дворовый листокъ...

„Но—но большая разница между польской аристократіей и нашимъ барствомъ, между эхиднымъ литовскимъ паномъ и *кроткимъ* степнымъ помѣщикомъ нашимъ“... Можетъ до васъ въ Америкѣ не дошло новое открытіе, что наше русское, столбовое дворянство *ужасъ какое демократическое*, что крѣпостное право у насъ было временнымъ затмѣніемъ братскихъ отношеній, недоразумѣніемъ между старшимъ и младшимъ, что въ сущности помѣщики и крестьяне нѣжно любили другъ друга, господа были отцы-матери своихъ мужичковъ, ѣли въ тѣ-же дни какъ и они постное, парились по субботамъ въ банѣ и ходили по воскресеньямъ въ ту-же церковь къ обѣднѣ. Словомъ, еслибъ наши крупнопомѣстные и мелкопомѣстные демократы не засѣкали мужиковъ и дворовыхъ до смерти, не морили-бы ихъ на барщинѣ и оброкѣ, не дрались-бы безпрестанно въ передней, не насиловали женщинъ и не обирали-бы мужчинъ, то ихъ самихъ по правамъ и обычаямъ, особенно же по отношенію къ высшему начальству можно-бы было принять за самыхъ радикальныхъ смердовъ въ мірѣ, или (такъ какъ они ходятъ по нѣмецки) за ихъ собственныхъ лакеевъ...

Часть нашихъ журналовъ—этимъ путемъ приравненія къ передней и избѣ поднимала русское дворянство для того, чтобъ оправдывать дикія мѣры правительства и обвинять польское шляхетство, во многомъ не правое, но котораго кровь въ это время лилась всѣми жилами, котораго сыновья падали на полѣ битвы или шли на висѣлицу, жены—въ Сибирь, старики въ изгнаніе, казна — на содержаніе тайной полиціи враждебнаго повелителя и на преміи за доносы.

Институтъ, который для своего сохраненія долженъ прикидываться не самимъ собой и класть свое знамя въ карманъ—не прочень. Его собственные защитники спасаютъ его такъ, какъ спасали помѣщиковъ во время Пугачевщины, накинувъ на барскія плеча мужицкій бараній тулупъ... Плакать о немъ не станутъ. Прошедшее нашего барства сѣро и темно,.. и эта темнота его счастье. Въ немъ одинъ свѣтлый день — 14 Декабря 1825 года, въ немъ одна свѣтлая полоса—та, которая идетъ къ этому дню, та, которая идетъ изъ него. Если дворянство и сдѣлало что нибудь, то сдѣлало исключительно для правительства, для государства, для царя; для народа ничего, для защиты правъ, обороны личности, совѣсти — ничего. *Какъ сословіе*, оно не можетъ пережить вѣрную подругу свою — крѣпостное право; ему приходится зачахнуть въ безплодныхъ усиліяхъ, овладѣть движеніемъ (если нельзя остано-

вить его), или откровенно снять съ себя очень некрасивый дворянскій мундиръ, отцѣпить очень тупую дворянскую шпажку и выйти изъ залы благороднаго собранія — простымъ смертнымъ на чистый воздухъ.

Замѣчаніе графа Ростопчина становится пророчествомъ. La roture, единственная гавань, въ которую можно спрыгнуть съ тонущаго дворянскаго судна. Пришлось изъ кобенящихся пергаментовъ переписываться въ ревизскія сказки. Рекрутчина уже занесла свою лапу на молодое поколѣніе—и ловитъ его за бархатный воротникъ.

Дождевыя капли, притянутыя на время солнцемъ, должны снова упасть на землю, сверкнувши въ радугѣ и поносившись туманомъ по воздуху. Россія царство крестьянское, сельское. Все уходившее по дѣлу и по бездѣлью изъ села—воротится въ него. Взятые во дворъ и попавшіеся въ рекруты, отданные въ науку и бродившіе по міру—воротятся дрожжами и солью въ нѣсколько прѣсную сельскую «опару» и внесутъ въ нее движеніе, котораго ей не доставало. Долгое введеніе наше въ исторію, долгій и тяжелый искусъ, которымъ мы проходили наше нѣмецкое плѣненіе, окончатся — вмѣстѣ съ монополемъ привилегированныхъ сословій. А что мы идемъ къ *безсословности*, въ этомъ трудно сомнѣваться.

Безсословная, демократическая Америка и идущая къ безсословности крестьянская Русь, остаются для меня по прежнему странами *ближайшаго будущаго*. Исторія, вопреки агрономамъ, заводитъ трехпольное хозяйство и пока Европа, истощенная своими богатыми урожаями, лежитъ подъ паромъ — она пашетъ и боронитъ два другія поля.

На первый взглядъ кажется страннымъ, отчего именно этотъ народъ колонистовъ съ угловатыми нравами, съ какой-то цивилизованной грубостью, съ непріятной свободой и всякими эксцентричностями и другой — едва пробуждающійся отъ рабства, избитый и покорный, отчего именно они призваны къ дѣятельному совершенію своихъ судебъ, именно теперь. Для того, чтобъ понять это —необходимо ярко отдѣлить ядро отъ скорлупы. Послѣдняя война показала не только мощь Америки, но и ея слабыя стороны. Линкольнъ въ одной изъ послѣднихъ рѣчей своихъ выразилъ своимъ мистическимъ языкомъ печальное сознаніе, „что войной провидѣніе наказало обѣ стороны, что обѣ согрѣшили передъ Богомъ“. Недостатки Россіи не только бросаются всѣмъ въ глаза, но въ нихъ признаются всѣ: правительство и литература, заголовки реформъ и дворянскія собранія. Сознаніе своихъ недостатковъ—великое дѣло, его высказываютъ или въ минуты отчаянія и смерти, или въ началѣ новой жизни, по крайней мѣрѣ жизни обновленной. Оттого, что наше современное состояніе такъ скверно и мы это знаемъ, оттого-то мы и идемъ впередъ. Самодовольство косно, гордое suffisance не двигается. Англія знаетъ, что она первая страна въ мірѣ, Франція — что она великій народъ, чего же имъ еще? Америка и Россія страны недозрѣлыя внутри и перезрѣлыя снаружи, обѣ съ здоровой кровью и накожными сыпями, съ юны-

ми мышцами и старческими привычками. Въ послѣдніе годы Америка открыла, что у нея бездна чернаго бѣлья, а Россія — что у ней вовсе нѣтъ чистаго. Стирка сдѣлалась необходимостью.

Послѣ нея онѣ пойдутъ впередъ, но пойдутъ онѣ розно. Америка, съ лавровымъ вѣнкомъ и фригійской шапкой, торжественно выходитъ изъ гигантскаго боя. Россія, съ опущеннымъ покровомъ, смиренно и печально пройдетъ не тріумфальными воротами, а скромной калиткой, которую отворяютъ беременной женщинѣ, осужденной, виновной, но въ которой хотятъ спасти «плодъ чрева ея»!

Кто онъ? чей онъ? — Объ этомъ мы поговоримъ въ другомъ письмѣ.

Письмо Второе.

Сѣверо Американскіе штаты и Россія—два полюса той соціально-гражданской антиноміи, къ которой примыкаетъ западное развитіе, со всѣми своими перестройками и переворотами. Они оба *за границей* старой арены, представляютъ два противоположныя, но *неоконченныя* рѣшенія и потому скорѣе дополняющія другъ друга, чѣмъ исключающія. Полная жизни и развитія, противоположность—безъ замкнутости, безъ законченности, безъ физіологической розни, не вызовъ на вражду и бой, не условіе на безучастную посторонность, а на трудъ для снятія чѣмъ нибудь болѣе широкимъ *формальнаго* противорѣчія, хотя-бы взаимнымъ пониманіемъ и признаніемъ.

Самую рѣзкую и типическую противоположность въ Европѣ представляютъ два народа, наиболѣе связанные другъ съ другомъ былымъ и настоящимъ, географіей и торговлей, интересами и образованіемъ. Провивоположное воззрѣніе Англіи и Франціи, *отвердѣвшее* въ своей исключительной непереходимости, перешло въ видовой habitus, въ особенность сложившуюся, окостенѣвшую, и отъ которой отдѣлаться очень трудно. Тутъ дошли до дна, задачи разрѣшены, шаткаго мало, сомнительнаго мало, обѣ стороны стоятъ слишкомъ близко и слишкомъ довольны собой, чтобъ уступить что-нибудь. Сѣверная Америка и Россія не рѣшили задачи, а *разрѣшаютъ ее* на разныхъ основаніяхъ, ни та ни другая не достигли до *безъаппеляціонныхъ рѣшеній*. Постановленіе задачи взято ими изъ тѣхъ-же источниковъ, изъ той-же западной школы, но матеріалъ для разрѣшенія явился подъ руками совсѣмъ другой. Школа для нихъ не обязательна, наслѣдственныхъ долговъ на нихъ нѣтъ. Съ прошедшимъ ихъ не связываетъ ни родовая честь, ни дворянскій point d'honneur, они могутъ отказаться отъ него, не безславя отцовскаго имени, его никто не знаетъ. У нихъ нѣтъ маіоратовъ полученныхъ на рядѣ условій — въ Америкѣ все благопріобрѣтенное, въ Россіи однѣ засѣянныя поля. Тамъ гдѣ Европа останавливается, спотыкается, оттуда идутъ новые народы;

то что въ Европѣ считается невозможнымъ, нелѣпымъ, гибельнымъ, тамъ воочію совершается и вотъ почему для меня гораздо интереснѣе все, что творится въ Америкѣ и въ Россіи, чѣмъ все, что дѣлается въ Европѣ, отъ Стокгольма до Лисабона.

Можно-ли въ самотъ дѣлѣ страстно принять къ сердцу вопросы теперь находящіеся въ западной работѣ, разрѣшаемые кровью и преніями, арміями и камерами? Гольштейнъ и Данія, Пруссія и Австрія, Наполеонъ и Наполеонъ; тутъ Тьеръ защищаетъ папу, тамъ Викторъ Эмануилъ возвращается какъ библейскій сынъ къ Римскому отцу и отецъ не приказываетъ даже убить лучшаго барана для него; „Польша, Польша! идемъ за Польшу!“ и вдругъ Польша забыта, предана на пропятіе, даже безъ замѣны Варавой. Все это носитъ тотъ характеръ случайности или внѣшней необходимости, который бываетъ въ ежедневныхъ встрѣчахъ, нельзяже чтобъ чего-нибудь да не случилось—сегодня одно, завтра другое, а можетъ и третье. Научное движеніе, чужое окружающему, какъ быстрая рѣка, несется своей дорогой, орошая берега, обогащая ихъ и не останавливаясь на нихъ.

Была минута въ началѣ нынѣшняго года, сердце дрогнуло, но и она прошла и затерлась въ общей тинѣ — церковь и государство показали другъ другу свои старые зубы. Помните Байроновское преставленіе свѣта.*) Середь общей гибели и мрака тихо поднимаются два исхудалыхъ умирающихъ старика, послѣднія живыя существа гибнущаго міра и два заклятыхъ врага. Они узнали другъ друга, ихъ черты искаженныя наступающей смертью, исказились злобой, они задержали кончину и вперили другъ въ друга стеклянный взглядъ, въ которомъ агонія смѣшалась съ ненавистью. Мы видѣли эти двѣ головы и видѣли этотъ взглядъ; церковь и государство приподняли голову надъ старческимъ бредомъ энциклики и поняли еще яснѣе не только какъ они другъ друга ненавидятъ, но и какъ они другъ другу необходимы. Убѣдившись въ этомъ, счастливѣе байроновскихъ героевъ, они остались живы, и, побранившись, успокоились.

Америка и Россія натолкнулись на вопросы, поставленные въ родѣ сфинксовъ на всѣхъ выходахъ и бастіонахъ старой западной фортеціи, и онѣ ихъ обойти не могутъ и не хотятъ. Сецессія и федерализаціи, индивидуализмъ и коммунизмъ, обезпеченье землей и обезпеченье правами, товарищество работниковъ и сельская община, круговая порука и личная независимость, раздѣлъ заработка и общинное владѣніе землей. Все это въ Европѣ сдано въ архивъ, за неимѣніемъ средствъ къ разрѣшенію и все это на первомъ планѣ въ Америкѣ и Россіи. Президентъ громко говорящій: „не вы для насъ, для государства, а мы, правительство, а государство для васъ“ и мужикъ повторяющій съ незыблемой вѣрой: „что земля его, что онъ не можетъ быть безъ землянаго надѣла“, ставятъ цѣлую программу будущаго.

---

*) The Darkness.

Къ ея-то осуществленію Америка и Россія идутъ противоположными путями.

Америка родилась изъ готовой головы и въ полномъ вооруженіи. Новая колонія, она глубоко пустила старые англо-саксонскіе корни въ непочатую почву. *Новаго принципа* она съ собой не принесла, но принесла крѣпко закаленный и очищенный старый, это былъ выселокъ меньшинства, наибольше развитаго въ извѣстномъ смыслѣ и притомъ меньшинства недовольныхъ старыми порядками. Протестантизмъ, пуританизмъ имѣли въ себѣ сильно революціонную закваску, они *протестовали* противъ одной части европейскихъ традицій и ее не взяли съ собой за океанъ, они *очистились* отъ нея. Религіозная экзальтація нисколько не мѣшаетъ революціонной, школа Руссо и вся суровая часть горы съ Робеспьеромъ и Сен'-Жюстомъ слишкомъ *рѣзко* доказали это. Привезенная колонистами цивилизація, явилась въ Америкѣ при совершенно новыхъ условіяхъ развитія и въ совершенно новой средѣ. Непочатая природа, дремучіе лѣса и степи, не перерѣзанные дорогами, дикость почти необитаемаго края, исчезающія племена другой формаціи — встрѣтились лицомъ къ лицу съ послѣднимъ результатомъ образованія, съ наукой, съ развитой гражданственностью. Иди американцы на сѣверѣ со всѣмъ вѣковымъ баластомъ, во всѣхъ рыцарскихъ доспѣхахъ, какъ испанцы на югѣ —они не далеко-бы ушли. Сѣверные колонисты, переходя въ новую среду, оставляли свою рыбью оболочку за собой, какъ головастики; отдѣлавшись отъ нея, имъ было легче работать и легче принять въ кровь и плоть гражданское ученіе, озарявшее вершины философской Европы. Они начали свою самобытную жизнь съ провозглашенія *правъ человѣка.*

Россія тоже колонія, но колонія иныхъ вѣковъ и иныхъ условій; стекая въ незапамятныя времена съ востока, славянское племя ничего не могло принести съ собой кромѣ себя. Россія, обживая почву, вростая въ нее, изъ нея выростала и росла, инстинктивно распространяясь въ далеко разбросанное и далеко вѣтвившееся сельское государство. Всю европейскую исторію она оставалась въ сторонѣ, въ тѣни. Объ ея медленномъ, задержанномъ и потомъ переломленномъ развитіи говорили у насъ и говорятъ много, но мало обращаютъ вниманія на то, *что ей не было слѣда развиваться быстрѣе и въ другое время.* Тутъ не фатализмъ, а историческая физіологія. Сначала Русь тихо осѣдала, обживалась, потомъ обособилась отъ чужаго, собрала, стянула свои части, и стала складываться въ земство. Смутное государство было нелѣпо, оно какъ-то сбивалось на допотопныя формы зоологическаго творчества, на тѣхъ неповоротливыхъ животныхъ, которыя въ самыхъ формахъ своихъ, колоссальныхъ и неуклюжихъ, носили доказательство незрѣлости. Нелѣпое царство не выдержало и превратилось въ нелѣпую имперію, въ военную тиранію съ западными формами и пріемами, и безъ западнаго содержанія и смысла. Вся жизнь искусственно вызванная и поднятая,

моржей и тюленей, и ни солнечный зной, ни разливъ Нила, ни міазмы труповъ ему не напомнятъ грѣха. Англичанинъ смиряется передъ нелѣпостью одной части своихъ законовъ, потому что онъ въ другой видитъ защиту своихъ правъ и, главное, своей собственности, которая у него такой-же догматъ irréductible, какъ наше право на землю. Французъ считаетъ законъ обязательнымъ (всѣ будничные дни, кромѣ праздниковъ, т. е дней революціонныхъ), повинуется имъ изъ point d'honneur'a, изъ религіи дисциплины, изъ уваженія *къ будто-бы* имъ установленнымъ властямъ. Оттого тотъ и другой чувствуютъ себя внутренно оскорбленными судебнымъ приговоромъ, а русскій чувствуетъ одинъ матеріальный вредъ наказанія — также мало думая, что онъ нравственно уничтоженъ имъ, какъ человѣкъ сломившій себѣ ногу или схватившій горячку.

Французскій и англійскій радикалъ считаетъ свои законы усовершаемыми, но въ тоже время очень *совершенными*. Вотъ отчего революціонные люди въ Европѣ съ бѣшенствомъ нападаютъ на людей осмѣливающихся касаться не до частныхъ недостатковъ, а до религіозныхъ, юридическихъ или экономическихъ основаній. У насъ святость этихъ святынь подозрительна. Человѣка привыкнувшаго съ малыхъ лѣтъ къ тому, что *мужикъ есть собственность*, не удивишь сказавъ ему, что *собственность есть кража*.

Все это не ново и было высказываемо много разъ нами и не нами, но въ общее сознаніе не перешло. Большимъ не меньше дѣтей нужно протверживать зады. Забывая ихъ, мы теряемъ ключъ къ пониманью того что дѣлается и случайно блуждаемъ, прикидывая то футъ, то метръ къ явленіямъ, къ которымъ прилагается другая мѣра. Безъ своей единицы, глядя на сумбуръ реформъ, прогрессовъ, регрессовъ, казней, учрежденій, приговоровъ, проэктовъ, патріотическаго неистовства, конституціонныхъ слабостей —можно придти въ отчаяніе, сойти съ ума.

Россіи мы съ пути не собьемъ нашимъ непониманьемъ; ее ни татары, ни нѣмцы, ни самъ Петръ Алексѣевичъ не своротили съ дороги. Она уперлась на петербургскомъ трактѣ какъ лошадь съ норовомъ, стягай сколько душѣ угодно. Но намъ-то стыдно теперь не понимать, когда европейскіе *дальніе* горизонты сливаются съ нашими *близкими* и европейская выстраданная наука ярко освѣщаетъ наши поля и наши проселки.

Сырой матеріалъ нашего быта оставался въ тѣни за дворянской грамотой, за массами войскъ, за императорской порфирой, за либеральными идеями. Мы его не знали, и онъ въ самомъ дѣлѣ былъ непонятенъ, для разрѣшенія его формулы не доставало какого-то элемента, не доставало опредѣленія чего-то неизвѣстнаго. Его намъ указали соціальныя теоріи. Мы представляемъ *частный случай* новаго экономическаго устройства, новой гражданственности, *одно* изъ ихъ приложеній.

Такъ какъ Сѣверная Америка начала съ послѣдняго слова революціонной философіи, съ алгебры *правъ человѣка*, такъ мы нач-

немъ съ приложенія соціальныхъ ученій къ бытовой практикѣ нашей.

Исторія развитія мысли человѣческой и сознанія дошла, спускаясь съ вершинъ государственныхъ сферъ, конституціонныхъ хартій, правительственныхъ формъ, до вопросовъ о насущномъ хлѣбѣ и хозяйствѣ, о работѣ и выработанномъ, о голодѣ и капиталѣ, о грамотѣ и правѣ.... Вопросы мало разрѣшились, но поставлены они ясно наукой и ихъ-то свѣтъ, падая на наши низменныя поля, говоритъ будто съ Кольцовымъ:

Что ты спишь мужичекъ,
Вѣдь весна на дворѣ.

Наше дѣло на череду. Наши десять заповѣдей, нашъ гражданскій катехизисъ—въ соціализмѣ.

— „Да неужели соціализмъ, этотъ незрѣлый плодъ тридцатыхъ годовъ, выкинутый самой Франціей, еще существуетъ?“

Еслибъ онъ и въ самомъ дѣлѣ умеръ и былъ схороненъ въ Европѣ, то и тогда это мало-бы имѣло вліянія на насъ. Наслѣдство свое онъ передалъ намъ при жизни — но сверхъ того я сильно сомнѣваюсь въ его смерти. Онъ, какъ евангельская дѣвица, *не умеръ, а спитъ.*

Письмо Третье.

Вотъ какой случай случился со мной нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Одинъ человѣкъ, игравшій большую роль въ своей родинѣ, и какъ революціонеръ, и какъ администраторъ, спорилъ со мной о соціализмѣ. Онъ, и надобно признаться, что онъ не одинъ въ этомъ случаѣ, а имѣетъ даже такихъ товарищей какъ Маццини,*) убѣдившись, что движеніе 1848 года погибло отъ примѣси соціализма къ чисто политическому движенію, опрокинулся на соціализмъ съ тѣмъ ожесточеніемъ, съ которымъ онъ прежде гналъ реакцію. Сколько я ни ораторствовалъ, мой противникъ стучалъ кулакомъ по столу, выходилъ изъ себя и говорилъ въ заключеніе такого рода вещи: „Посмотрите, какіе законы я провелъ, посмотрите, какъ ограждены работники, я самъ всѣми силами поддерживаю работничьи сходки, у насъ нѣтъ ни одного нищаго и на все на это мнѣ не было нужно никакого соціализма...

—А только почти деспотическая диктатура.

... этого, прододжалъ онъ, не слушая меня, этого проклятаго соціализма, этой выдумки іезуитовъ, которой они затормозили революцію, раздѣлили нашъ станъ и сбили всѣ понятія у слабыхъ людей.

—Теперь я вижу, что въ сущности мы съ вами гораздо ближе чѣмъ я думалъ. Вамъ собственно не нравится слово *соціализмъ*,

---

*) Нельзя надивиться скудости знанія и пониманья полицейско-консервативныхъ органовъ; они постоянно называютъ Маццини соціалистомъ, не смотря на его брошюры, статьи и пр.

Попробуемъ то, что всѣ называютъ соціализмомъ, называть *Клеопатрой* и дѣло пойдетъ какъ по маслу.

Уступку, которую я дѣлалъ моему "Діонисію тирану Сиракузскому", я не сдѣлаю ни для васъ, ни для кого изъ русскихъ читателей.

Въ гоненіи на соціализмъ, поднятомъ у насъ въ подражаніе Западу, есть что-то неимовѣрно безсмысленное и тупоумное, трусливое и невѣжественное. Европа боялась соціальнаго переворота потому, что онъ былъ страшенъ для нее; встрѣтивъ суровый отпоръ, онъ шелъ путемъ отчаянія и насилія на разрушеніе узкаго, но вѣками слѣпленнаго и привычнаго государственнаго устройства... У насъ *этотъ бытъ* не привыченъ, у насъ онъ чужой; гдѣ же, въ чемъ вредъ, причиненный Россіи соціализмомъ, или чѣмъ можетъ онъ повредить ей? Развѣ освобожденіе крестьянъ *съ землею* не *соціальный переворотъ*? Развѣ общинное владѣніе и право на землю *не соціализмъ*, (какъ тамъ себѣ ни голоси наши славянофильскія кликуши)? Ненависть къ соціализму крѣпостника, оплакивающаго землю свою и барщину свою, понятна, такъ какъ понятенъ былъ страхъ откупщика, боявшагося отмѣны откупа; но нашихъ теоретическихъ, литературныхъ враговъ соціализма нельзя понять.

Когда же для насъ будетъ ясно то, что было ясно слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ для Бентама, говорившаго Александру I въ Лондонѣ о „счастіи, что Россіи не мѣшаетъ ни Римское право, ни феодальный хламъ, ни католическая церковь"? Когда же у насъ перестанетъ болѣть голова съ чужаго похмѣлья?

Въ самой Европѣ преслѣдованіе соціализма безумно. Какъ будто какое нибудь развитіе на череду, какое нибудь логическое послѣдствіе ряда осуществившихся посылокъ можно остановить кулакомъ и бранью, не убивая организма или не дѣлая изъ него урода. Нашли-ли главные соціальные вопросы рѣшенія или нѣтъ —все равно, ошибочны-ли эти рѣшенія или односторонни — все равно, они не менѣе живы и не менѣе стучатся во всѣ двери и бьются во всѣ стороны, ломая и подмывая стѣны и заборы мѣшающіе имъ.

Вообще ни ошибочныя рѣшенія, ни одностороннія, не влекутъ съ собою въ гибель вопросъ или задачу. Какихъ чудовищностей не наглядѣлись мы въ одинъ нашъ вѣкъ, напр. въ медицинѣ—отъ кровопролитій Бруссе, до наводненій Пристница, отъ *нигилизма* гомеопатіи, до всевозможныхъ леченій голодомъ, холодомъ, парами, молокомъ, гальванизмомъ, магнитизмомъ... тѣмъ не меньше и не смотря ни на мистическій эмпиризмъ, ни на традиціонную алхимію медицины, въ возможности патологіи и терапіи никто не сомнѣвается.

Соціальныя идеи не убиты и не отстранены, ихъ побѣжденный авангардъ безъ знамени и шума занялъ множество непріятельскихъ мѣстъ и не одинъ *новый* Діонисій Сиракузскій дѣлалъ соціализмъ, какъ Мольеровъ Журденъ дѣлалъ прозу, не зная того. Не только

С.-Симонизмъ и Фурьеризмъ не прошли безслѣдно, но неопредѣленныя стремленія, нашедшія отголосокъ въ поэзіи Гюго, въ романахъ Сю, въ цѣлой литературѣ 30-хъ годовъ, женскій протестъ Ж. Санда, Индѣйская тріада Пьера Леру, полемика Прудона — все это не только разбудило людей и направило ихъ мысли въ извѣстную сторону, но все это принялось, прозябло и проросло старую почву. Вглядитесь внимательно и вы найдете соціальные оттѣнки въ тюльерійскихъ декретахъ и прусскихъ министерскихъ указахъ; слѣды проповѣдей менильмонтанской улицы остались въ оборотахъ Перейры, въ ликвидаціяхъ недвижимой собственности; добродушная голова старика Р. Оуэна просвѣчиваетъ со дна всѣхъ англійскихъ кооперативныхъ обществъ. Какимъ образомъ Гладстонъ дошелъ до порицанія безусловнаго права собственности и до государственной организаціи страховыхъ обществъ... и почему Стюартъ Миль остановился въ раздумьи передъ общиннымъ владѣніемъ, не рубя съ плеча вопроса, какъ наши молинарьевскіе подмастерьи? О чемъ робко и не выступая изъ парламентскихъ формъ хлопочетъ Брумъ? Всѣ они пролагаютъ, отнѣкиваясь и открещиваясь, дорогу соціальному пересозданію государственнаго строя.

Въ тотъ день, когда несостоятельность юридическихъ, административныхъ и политическихъ реформъ оказалась очевидной, когда сама французская революція погибла въ крови и въ *теоретическомъ* освобожденіи меньшинства, а реальные умы догадались, что въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ искали разрѣшенія вопроса — *его нѣтъ*, въ тотъ день отрицательно была поставлена вся задача соціализма. Ей не доставало имени, имя явилось какъ-то само собой.

Разумѣется, что соціализмъ только въ антитетическомъ смыслѣ противупоставляется переворотамъ чисто политическимъ, въ сущности онъ представляетъ ихъ исходъ. Политическій переворотъ дѣлается внутри извѣстныхъ государственныхъ учрежденій, которыя идутъ впередъ какъ неоспоримыя условія государственной жизни—будь это монархія или республика, централизація или федерализмъ. Тамъ, гдѣ анализъ, критика идутъ далѣе, тамъ, гдѣ вовлекаются въ споръ и борьбу сами эти условія, т. е. гдѣ съ ними дѣлается то же самое, что реформа дѣлала съ панской, а революція съ королевской властью—тамъ мы переходимъ въ соціализмъ. Разграниченіе между политикой и соціализмомъ условное, двѣ разныхъ станціи одной и той же дороги.

Всѣ государственные и политическіе вопросы, всѣ фантастическіе и героическіе интересы по мѣрѣ совершеннолѣтія народа стремятся перейти въ вопросы народнаго благосостоянія. Принимая существующій результатъ историческихъ развитій за неизмѣнный въ своихъ основахъ, мы ихъ не разрѣшимъ; историческій бытъ, такъ какъ онъ посильно сложился, подъ вліяніемъ совсѣмъ иныхъ идей и цѣлей, не совмѣстенъ съ обще-народнымъ благосостояніемъ. Это то и хотѣлъ сказать американецъ Брейсбенъ, котораго слова я ужъ не разъ приводилъ, парижскимъ работникамъ

въ 1848 году, говоря, что «въ Америкѣ республика дала все, что могла, что политическое устройство, основанное при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, но на старыхъ основаніяхъ, дало все, что могло, но вопросовъ, занимающихъ работниковъ, не *разрѣшило и не можетъ разрѣшить*»,—тутъ ея предѣлъ, а разрѣшить необходимо.

Я такъ и жду обыкновеннаго возраженія: что за разрѣшеніе ломать зря и устроивать общество насильно, на какой-то каторжный манеръ?... а соціализмъ только такъ и разрѣшалъ вопросъ.

Онъ ошибался и горько пострадалъ за это. Но кто же сказалъ, что онъ только *такъ* хотѣлъ разрѣшать и только *такъ и могъ* ихъ разрѣшать?...

Прудонъ упрекалъ въ этомъ соціализмъ, разумѣя подъ соціализмомъ организацію работъ Луи Блан'а, коммунизмъ Теста, отца Кабэ, а не соціализмъ вообще. Не будьте ни Аппелесомъ, ни Павломъ и тогда вы не будете клясть церковь изъ за Аппелеса или Павла.

Возставая противъ соціализма подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ хочетъ зря ломать и насильственно строить, люди со всѣми своими прогрессивными стремленіями становятся на сторону закоснѣлаго консерватизма и защищаютъ падающіе институты, составляющіе главное препятствіе развитію. Развѣ не на нашихъ глазахъ въ 1848 году республиканцы сдѣлались гонителями и дали тотъ въ прокъ пошедшій урокъ, который научилъ всѣхъ царей и всѣ власти, какъ надобно подавлять противниковъ.

Противниковъ они подавили и съ тѣмъ вмѣстѣ ихъ односторонность—идеи остались, вопросы остались. Выброшенные полиціей за дверь, они за нею притаились и постоянно готовы взойти во всякую щель.

По несчастію ихъ останавливаетъ не одна грубая рука насилія, ихъ останавливаетъ столько же, если не больше, роковое несчастіе массъ—ихъ невѣжество и *роковое просвѣщеніе* другихъ сословій, ученыхъ, нехотящихъ переучиваться, монополистовъ, нехотящихъ поступиться ни одной привилегіей и оттого могущихъ потерять всѣ, и совершенно справедливо; они отстаиваютъ свои права безъ вѣры, наивное пониманье, исключающее вину и отвѣтственность, давно возмущено и перервано выстрѣлами на площади и спорами вездѣ—въ книгахъ и сходкахъ, въ камерахъ и журналахъ. Невѣденіемъ соціализма въ наше время отговариваться нельзя.

И это не все, соціализмъ былъ не меньше задержанъ въ развитіи внутренними причинами какъ и внѣшними. Чувство боли отъ общественной неправды было очень ясно, желаніе выйти изъ сознанно-сквернаго положенія очень справедливо, но отъ этого до леченія далеко. Соціализмъ, страстно увлеченный, съ желаніемъ кары и мести, бросилъ свою перчатку старому міру прежде чѣмъ узналъ силу свою и опредѣлилъ мысль свою. Сѣдой боецъ поднялъ ее — и не Голіаѳъ, а Давидъ палъ. Съ тѣхъ поръ ему

было много досуга обдуматься въ горькой школѣ изгнанія и ссылки. Додумался-ли онъ до того, чтобъ не бросать перчатки, не имѣя силы, не зная что будетъ послѣ битвы, кромѣ казни врага?—Не знаю.

Не воиномъ, не судьей долженъ онъ явиться... судъ онъ держалъ, пусть же онъ явится исполнителемъ судебъ, въ иномъ смыслѣ слова, пусть онъ «увѣнчаетъ зданіе» и завершитъ революцію. *Ему* слѣдуетъ столкнуть послѣднюю глыбу, мѣшающую идти впередъ своей *неподсудимостью* — въ рвущійся потокъ мысли и водрузить на ея мѣстѣ знамя разумныхъ отношеній людскихъ и дѣйствительныхъ, трезвыхъ, логическихъ законовъ общежитія. Не уничтожить и разбить долженъ онъ политическую экономію, а превратить ее изъ эмпирическаго свода разсужденій и наблюденій, несмѣющихъ касаться до святыхъ твердынь существующаго — въ экономическую науку, посягающую на все.

Но для этого нуженъ огромный внутренній трудъ и огромный нравственный подвигъ. Для водруженія новаго знамени надобно отбросить старое; знамя непримиримаго раздора, исключительно враждебнаго антагонизма. Военные крики его до того сбили понятія самыхъ передовыхъ бойцевъ, что они какъ Казимодо бросаютъ каменья и льютъ свинецъ на truanderie, пришедшую спасти цыганку, которую онъ защищаетъ.

Пойметъ-ли наконецъ звонарь, что врагъ сзади, что онъ не *ее* спасаетъ, а помогаетъ *ему*, и броситъ-ли онъ его черную фигуру съ колокольни?... это покажетъ будущее. Но во всякомъ случаѣ тѣмъ, которые стоятъ со стороны соціализма, надобно яснѣе и покойнѣе высказаться, а для этого необходимо яснѣе и проще понять задачу.

Лихорадочный, острый періодъ нарожденія для соціализма прошелъ

Страстная, вдохновенная форма, въ которой является новое ученіе, глубоко захватывающее жизнь отъ очага до площади, его церковныя ризы, его фантазія, незнающая предѣловъ, его фанатизмъ, незнающій сомнѣній, его юная нетерпимость, его ревность прозелитизма—все это на мѣстѣ въ началѣ. Безъ идеаловъ, безъ поэзіи люди не оставляютъ одръ свой, чтобъ идти за учителемъ, но за яркими цвѣтами зари настаетъ дневная работа, съ помѣхами и ошибками, съ дождемъ и ведромъ, съ каменистой почвой и болотами, съ отклоненіями и уступками, съ компромисами и діагоналами. Для этой работы нужны не кадилы, и не рипиды, а простыя орудія труда и простыя формулы разума.

Фразы, отъ которыхъ билось сердце, текли слезы и кровь, всѣ эти молитвы гражданской литургіи въ началѣ революціи, съ которыми массы шли на бой, сгубили ее потомъ. У всякаго возраста свой языкъ и свой смыслъ словъ. Псалмы Давида были марсельезой Гугенотовъ. Порицать языкъ другого времени также нелѣпо какъ и говорить имъ. Соціальныя идеи пережили свою героическую интродукцію, ни бархатный жилетъ верховнаго отца Анфантэна,

ни фаланстеръ Фурье, ни государственная барщина, ни communa bonorum, ни разрушеніе семьи, ни отрицаніе собственности — ничего не сдѣлаютъ теперь, сверхъ того что они сдѣлали для вызова на сцену и постановки вопросовъ.

Поле повидимому стало бѣднѣе, но замѣчательно очистилось, много выяснилось въ томъ, гдѣ искать отвѣты и гдѣ ихъ не можетъ быть.

Люди недовольны экономическими условіями труда, упроченнымъ неравновѣсіемъ силъ, ихъ потерей, рабствомъ работы, злоупотребленіемъ накопленныхъ богатствъ—но они

не хотятъ переѣзжать въ рабочія казармы,
не хотятъ чтобъ правительство гоняло ихъ на барщину,
не хотятъ разрушать семьи и очага,
не хотятъ поступиться частной собственностью,

т. е. они хотятъ при обновленіи, при перерожденіи сохранить на сколько возможно свою привычную жизнь, согласуя ее съ новыми условіями. На какихъ-же разумныхъ основаніяхъ можно сдѣлать, согласить такія сложныя и противорѣчащія потребности? Въ этомъ-то и задача, весь соціальный вопросъ такъ и становится, освобожденный отъ громовыхъ тучъ своихъ и молній.

Есть-ли рѣшенья?

Въ прошломъ письмѣ я взялъ на себя смѣлость, j'ai hasardé сказать, что одно изъ *дѣйствительныхъ* рѣшеній представляетъ русскій народный бытъ въ его современномъ развитіи. Бѣдное село наше, съ своей скромной общинной жизнію, съ своимъ общиннымъ землевладѣніемъ, наша черная Русь и крестьянская изба, невольно вырѣзываются па сценѣ, съ которой больше и больше исчезаютъ въ туманѣ—фаланстеры, Икаріи, національныя рабочія, государственные подряды и пр.

Возраженія, которыя я слышалъ па эту стародавнюю мысль мою, всѣ безъ исключенія, не только не переубѣдили меня, но вообще были не серьезны и походили на богословскія доказательства *текстомъ*, имѣющія вѣсъ только для тѣхъ, кто самъ принимаетъ текстъ за критеріумъ истины.

Письмо Четвертое.

Прежде чѣмъ мы будемъ продолжать нашъ *аргументъ*, какъ говорятъ здѣшніе школьники, я долженъ вамъ разсказать о разговорѣ, который былъ у меня съ однимъ изъ вашихъ друзей, по поводу моихъ писемъ къ вамъ. Онъ прямо изъ Москвы, и тутъ-то я увидѣлъ, какъ былъ правъ, что поздравлялъ васъ съ долгимъ отсутствіемъ изъ Россіи. Разговоръ, о которомъ идетъ рѣчь, близокъ къ нашему предмету и мы имъ, какъ маленькимъ проселочнымъ объѣздомъ, незамѣтно выѣдемъ на нашу большую дорогу. „Вы престранный человѣкъ, говорилъ онъ, и я не могу вамъ надивиться, въ вашей мысли два потока, я думаю что вы

пишете двумя разными перьями, изъ двухъ разныхъ чернильницъ. Съ одной стороны вы болѣзненно ясно понимаете все страшное положеніе наше и безпощадно клеймите его; съ другой—вы полны прежнихъ надеждъ и вѣрованій. Какъ будто ничего не было, какъ будто правительство не рѣзало Польши и общество не плескалось съ дикимъ упоеньемъ въ ея крови, какъ будто литература не превратилась, консерваторская — въ доносъ, прогрессивная — въ извощичью брань, какъ будто вы не знаете какая сонная, сытая, ко всему безучастная апатія овладѣла обществомъ, которое бѣсновалось, года три-четыре тому назадъ, въ „восторгѣ нѣкомъ пламенномъ", говоря о своемъ либерализмѣ, гуманизмѣ, прогрессизмѣ"...

За тѣмъ, такъ какъ это не въ первый разъ, я ужъ и ждалъ:... „еслибъ вы только могли провести мѣсяцъ или два въ Петербургѣ или Москвѣ, какъ-бы вы отрѣзвились"...

—Не думаю...

— Хорошо говорить издали, а посмотрѣли-бы что дѣлается по ближе. Люди, рвавшіеся на дѣятельность, люди, которые были готовы идти на каторгу съ Михайловымъ и Обручевымъ, стояли сложа руки, когда Чернышевскій былъ у позорнаго столба; люди, находившіе васъ отсталымъ, люди шедшіе на площадь, соціалисты, демократы—теперь...

—Вольно-же вамъ было пыль поднявшуюся передъ грозой принять за самую грозу... все легкое и пустое прежде всего уносится вѣтромъ, кружится въ воздухѣ, а потомъ опять падаетъ на мостовую, въ канаву, это явленіе не новое, но ново то, что у насъ приходятъ въ отчаяніе оттого, что сухіе листья и бумажные змѣи приняли за небесныхъ герольдовъ и архангеловъ. Мы проходимъ скверной полосой, но мы не сядемъ въ ней и нашъ ропотъ, исполненный безнадежностью, происходитъ отъ непривычки къ борьбѣ съ ея капризными приливами и отливами. Въ этомъ отношеніи есть чему поучиться намъ у западныхъ людей, особенно у англичанъ. Мы ужасно скоро бросаемся на все и ужасно скоро все бросаемъ. Ни выдержки, ни терпѣнья. Выбиваемся изъ силъ отъ всякой неудачи, непредвидѣнное препятствіе конфузитъ насъ, ошибка заставляетъ теряться, пораженіе опускать руки. Вѣры мало, дыханіе коротко. Оттого-ли это, что мы не находимъ все еще своего настоящаго дѣла, или отчего другого — все это очень печально—тѣмъ не меньше въ настоящемъ случаѣ, въ этой невыдержкѣ лежитъ залогъ, что и бѣснующійся патріотизмъ также скоро пройдетъ, износится, какъ прошелъ галопирующій либерализмъ. Перестрадавъ весь позоръ этой печальной эпохи, мы предвидимъ ея конецъ. Неужели вы думаете, что судьбы Россіи измѣнятся отъ этой катковско-муравьевской грязи по ступицу. Лапти по ней кой-какъ пройдутъ, а если увязнутъ кой-какіе сапоги, особенно нѣмецкой работы, бѣда право не велика.

—Да вѣдь и мы съ вами ихъ носимъ...

— Я и не вижу особой необходимости ни въ васъ, ни во мнѣ;

но въ этомъ случаѣ вы ошибаетесь, мы выйдемъ можетъ босыми, можетъ потонемъ, но съ чистой совѣстью, съ чистыми ногами.

— А если не потонемъ, то куда-же пойдемъ? Я не спорю, мало-ли чего можетъ быть „лѣтъ черезъ пятьсотъ", по пушкинскому выраженію; но теперь то, когда все молодое состарилось за ночь, когда потухли таланты, въ университетахъ пьютъ тосты за Муравьева, когда журналы...

— Опять старая исторія. Прежде чѣмъ требовать и негодовать, слѣдовало-бы опредѣлить себѣ въ чемъ состояла *общественная задача европеизма въ общей экономіи русскаго развитія*, не та задача, которую сами себѣ ставили люди, или которую мы за нихъ ставили, а та, которая досталась имъ на часть по самому теченію жизни. Вы ихъ клянете и браните, а мнѣ кажется что они *свое дѣло сдѣлали*, и теперь сходятъ со сцены по минованіи надобности. И это въ тоже время, какъ по другой лѣстницѣ спускается другая Россія, Россія англійскаго клуба, мертвыхъ и ревизскихъ душъ, гумна и конюшни.

— Ну эти пьэсу свою сыграли до конца, а какая-же пьэса была у нашихъ?

—Пьэсу-то вы и проглядѣли... Она преинтересная и называется „Знакомство двухъ незнакомцевъ, или новая смѣсь французскаго съ нижегородскимъ".

—Ничего не понимаю.

— Чтожъ мнѣ съ вами дѣлать. Общественная задача западной цивилизаціи въ Россіи, состояла въ *объясненіи соціальныхъ началъ русскаго быта и въ усвоеніи соціальныхъ идей Запада*. . . . Двадцать лѣтъ тому назадъ едва осмѣливались намекать на это Славянофилы, Гакстгаузенъ, мы, и потомъ то новое поколѣніе, на которое вы нападаете, оно-то и заявило свои соціальныя стремленія и вмѣстѣ съ тѣмъ стремленія чисто русскія, это фактъ и его изъ сознанія топоромъ не вырубишь. Люди, участвовавшіе въ этомъ, могутъ цвѣсти или завянуть, писать романы или и не читать ихъ, жить долго или скоро умереть—все равно, свою службу они отправили. Очень вѣроятно, что имъ мерещилось гораздо больше, а именно, что они будутъ призваны на осуществленіе своихъ идеаловъ. . . . это не удалось. До полнаго приложенія много еще пройдетъ случаевъ и ужасовъ, ужасы почти всегда пропорціональны силѣ власти, неразвитости массъ и количеству войска; а тутъ еще наткнемся на какую-нибудь глупую войну, на какую-нибудь глупую дворянскую конституцію, на какую-нибудь „счастливую случайность", какъ выражался Александръ I, или на какую-нибудь „несчастную"... Все можетъ быть, но лишь-бы продолжалось то соціальное развитіе, которое прозябаетъ на нашихъ поляхъ. Наша сила тутъ, какъ Самсонова была въ волосахъ.

—Все это хорошо... да гдѣ-же взять столько голландской флегмы или философскаго спокойствія?

— Хотите, я вамъ открою секретъ моей философіи? Онъ можетъ равно пригодиться для частной и для общей жизни, вся тай-

на заключается въ текстѣ: „Мареа, Мареа, печешеся о многѣ, *едино-же* есть на потребу“. Узнать, опредѣлить для себя это *единое* и оставить все, отца, мать и прилѣпиться къ нему; за нимъ слѣдить со всей настойчивостью, страстью, ревностью, къ которой человѣкъ способенъ, допуская всему остальному мѣняться, измѣнять, уклоняться, совсѣмъ лопать. Человѣкъ глубокососредоточенный на одномъ, долженъ быть *легкомысленнымъ* во всемъ другомъ, иначе онъ растеряется и ни во что не принесетъ полной силы. Отчего Ротшильды богаты и богатѣютъ? Оттого, что все ихъ существованіе постоянно подчинено главной цѣли. Основной тонъ жизни Кобдена была свобода торговли, и онъ во всѣхъ событіяхъ, во всѣхъ вопросахъ смотрѣлъ прежде всего и послѣ всего на free trade. Передъ всякой войной и послѣ всякой войны Кобденъ обсуживалъ могущія быть отъ нихъ стѣсненія или расширенія международныхъ торговыхъ отношеній. Во Франціи революція — Кобденъ расчитываетъ шансы трактата, во Франціи другая—Кобденъ посылаетъ проэктъ. А тамъ *Намъ*-ли министромъ въ Лондонѣ, Персиньи-ли въ Парижѣ, ограбили-ли нѣмцы бѣлымъ днемъ Данію или нѣтъ — это не то чтобъ было все равно, но не на первомъ планѣ. Равнодушны ли мы къ кровавымъ путямъ, по которымъ идетъ правительство наше, поддерживаемое обществомъ. —это вы знаете.... два года изъ нашей груди не вырвалось свѣтлаго звука, два года мы постоянно были на похоронахъ, униженные, словно и мы участвовали въ убійствѣ, и при всемъ томъ живой о живомъ и думаетъ, и пока Россія не своротила съ главнаго тракта, пока она *туда идетъ*, какая-бы скорбь ни была на душѣ, мы не впадемъ въ отчаяніе и не поступимся нашей вѣрой. Въ 1862 году я говорилъ:*) „Только тотъ, кто призванный къ дѣятельности, пойметъ бытъ народа, не утративъ того, что ему дала наука, кто затронетъ народныя стремленія и на осуществленіи ихъ оснуетъ свое участіе въ общемъ земскомъ дѣлѣ, тотъ только и будетъ *женихомъ грядущимъ*.

„Кто-же будетъ этотъ суженый?

„Императоръ-ли, который, отрѣкаясь отъ Петровщины, совмѣститъ въ себѣ царя и Стеньку Разина? Новый-ли Пестель? Опять ли Емельянъ Пугачевъ, казакъ, царь и раскольникъ, или крестьянинъ и пророкъ какъ Антонъ Безденежскій?

„Трудно сказать.

„Но ктобъ онъ ни былъ, наше дѣло идти къ нему на встрѣчу съ хлѣбомъ и солью“.

Вотъ вся тайна моей философіи, весь мой макіавелизмъ. Многіе догадываются о ней, но никто не рискуетъ прямо высказать, такъ еще мало свободенъ нашъ разумъ и нашъ языкъ отъ разныхъ картонныхъ драконовъ и отставныхъ святынь. Къ тому-же мы мало привыкли избирать *единое на потребу* и идти постоянно къ нему. Есть люди, которые постоянно въ жизни видятъ ея из-

*) „Полярная Звѣзда“, VII кн., II Вып. В. Н. Каразинъ.

нанку, ея шероховатую сторону, ея случайные недостатки, и изъ за нихъ теряютъ всю гармонію, всю картину свѣтлой, лицевой стороны ея. Организаціи желчно-раздражительные и нетерпѣливые спеціалисты, неловкіе въ обобщеніи. затерявшіеся въ мелочахъ, они дѣлаются въ общественной жизни тѣмъ, что на языкѣ французской революціи называлось *алармистами;* они охлаждаютъ каждый порывъ, бросаютъ сомнѣнія тамъ, гдѣ нужна вѣра — они стягиваютъ въ подробности тамъ, гдѣ ихъ надобно забыть и всего больше *во лжи*, тогда когда *правы*, потому что лѣстница отъ частнаго къ общему у нихъ потеряна, потому что правда ихъ плоска и ихъ взаимное отношеніе утрачено. Если оптимизмъ большая глупость, то пессимизмъ большое несчастіе, и какъ ни жаль ихъ, но удивляться мудрено тому, что комитетъ общественнаго спасенія рубилъ головы алармистамъ.

— Сила крестная съ нами—сказалъ вашъ пріятель расхохотавшись—да это вы меня просто прочите на гильотину.

— Непремѣнно, если вы воротитесь съ вашими привычками въ 1794 годъ.

Вы, мой милый путешественникъ, я знаю, не дѣлите нетерпѣливаго и капризнаго взгляда этого, но его дѣлятъ многіе и это дурной признакъ. Старцы Сибири, возвратились черезъ тридцать лѣтъ каторги, съ молодыми надеждами, съ горячей вѣрой? Мы сами вынесли длинное путешествіе черезъ николаевскую Саару и чего, чего не было на пути. Разбуженные 1825 годомъ, мы росли имѣя за собой страшную судьбу предшественниковъ, возлѣ страшное безучастіе среды и впереди страшное *ничего*. Грубые факты, глупые факты гнали слово, мысль съ лица земли, а умственная дѣятельность росла въ тиши, въ ту мѣру, въ которую бѣднѣла общественная жизнь. Люди спасались отъ погрома, отъ дикой силы, удаляясь въ отвлеченную науку или отыскивая между полусогнившими костями отгадку новыхъ бѣдъ и наталкиваясь именно на тѣ тайники русской жизни, о которыхъ мы говорили.... Сѣдые волосы показались на нашей головѣ. . . . перешли и мы за тридцать.... за сорокъ лѣтъ. Сильнѣйшіе бойцы, съ крѣпкими мышцами гибли одинъ за однимъ, Бѣлинскій умеръ, Гоголь шелъ въ сумасшедшій домъ, Петрашевскій съ друзьями шли на каторгу — еще тише.... одинъ грустный голосъ Грановскаго раздавался какъ псалтырь у похороненнаго тѣла и пророчилъ сквозь слезы жизнь будущаго вѣка и вѣру въ судьбы человѣчества... Молча смотрѣло новое поколѣніе, зачатое въ плачѣ и скорби, изуродованное до хилости, оскорбленное до юродства, сознававшее свое безсиліе, свое безправіе. Я жилъ тогда вдали — что было въ этой дали, вы знаете по преданіямъ. Все, все измѣнило, потерянный въ лондонскомъ туманѣ, свидѣтель голодной смерти единаго свободнаго народа и мученичества эмиграціи, я проповѣдывалъ о будущности Россіи, а Николай, Медуза Николай, былъ еще живъ. Теперь *есть борьба, есть работа.*

Будучи въ меньшинствѣ собирающагося войска, матеріяльная

сила не съ нашей стороны, за то у противной громады кромѣ ея и привычки ничего нѣтъ — ни ума, ни образованія, ни единства цѣли, ни плана. Правительство безпрестанно отталкиваетъ напоръ, кричитъ „смирно!“ ловитъ забѣжавшихъ впередъ — это дѣло полицейское, но чтожъ оно хочетъ сказать въ этомъ *смирно*, что сдѣлать на расчищенномъ плацъ-парадѣ?—*Какъ что? Извѣстно что.* А въ сущности вовсе не извѣстно, и всего меньше правительству. Оно не злѣе и не хуже прежняго, но оно больше мечется, кидается, теребитъ, оно больше боится. Развѣ этотъ страхъ—не наша побѣда? Рядомъ съ „пороньемъ горячки“ оно дѣлаетъ бездну несправедливостей, глупостей, ошибокъ—къ этому пора привыкнуть. Да и кто же ждалъ отъ него ума, гуманности, справедливости? Вѣдь это все же продолженіе Николая, Павла и пр.

Вотъ когда оно по нѣмецкому совѣту и по наговору помѣщичьихъ журналистовъ подталкиваетъ всякими распоряженіями и искушеніями крестьянъ на замѣну общиннаго пользованія землей — наслѣдственнымъ раздѣломъ ея въ собственность, тогда дѣйствительно морозъ деретъ по кожѣ. Мало-ли что можно напортить, имѣя въ своихъ рукахъ такую безконтрольную власть, такой приманчивой вещью какъ буржуазная собственность, покупаемая со льготами. Правительство, умѣвшее поддержать двѣсти лѣтъ крѣпостное состояніе и ввести его въ XVIII вѣкѣ тамъ, гдѣ его не было, имѣетъ слишкомъ богатыя средства и слишкомъ широкую совѣсть, чтобъ его не бояться. *Буржуазная оспа* теперь на череду въ Россіи, пройдетъ и она какъ *дворянски-конституціонная*, но для этого не надобно дразнить болѣзнь и „высочайше“ способствовать ей.

Если мы вынесемъ эти посягательства, не протестуя, мы не будемъ имѣть даже того извиненія, которое имѣли наши цивилизаторы; они или вовсе не понимали, или вѣрили въ пользу вколачиваемаго образованія, скроеннаго по иностраннымъ шаблонамъ. Тутъ мѣсто борьбѣ и обличенію, мѣсто энергіи и страсти, тутъ мы должны преслѣдовать, клеймить безъ устали и остановки. А вести войну съ частными промахами и гнусностями правительства, хотя и должно, но это не можетъ стоять на первомъ планѣ.

То же приходится сказать о нашемъ благородномъ обществѣ, о томъ, которое называло увлекавшихся юношей — зажигателями, которое рукоплескало ссылкѣ Чернышевскаго, казнямъ поляковъ и посылало телеграмы Муравьеву и его литературному дрягилю... Кто же составляетъ основу и ядро этого общества, этой Россіи, которой Зимній дворецъ — въ двухъ англійскихъ клубахъ, а крѣпости и будки во всѣхъ помѣщичьихъ домахъ? Та же прежняя матушка Россія—Россія Недоросля и Мертвыхъ душъ, Горя отъ ума и Разсказовъ Охотника. Пѣночкинъ сталъ либеральнымъ государственнымъ человѣкомъ, но все же остался Пѣночкинымъ, Ноздревъ сталъ *краснымъ* патріотомъ, муравьевскимъ якобинцемъ, оставшись Ноздревымъ... Развѣ мы этой Россіи, идущей отъ Петровскихъ заводовъ, отъ разныхъ Салтычихъ и Бироновъ не зна-

ли прежде? Развѣ не пѣли мы ей на всѣ голоса de profundis и „со святыми упокой“? Чему же дивимся мы, что она не изящно умираетъ; она не Римскій гладіаторъ, а просто русскій помѣщикъ, отдающій богу душу, дѣлающій до конца глупости и заботящійся, какъ Николай въ послѣднюю минуту, можно-ли или нѣтъ причащаться, не выбривши бороды.

Какъ сословіе, дворянство имѣетъ меньше жизненной силы, чѣмъ правительство, послѣдняя, матеріальная сила его улетучилась — оно обнищало.

И передъ этими-то врагами наша молодежь хочетъ сложить руки— въ уныніи... Полноте, это мимолѣтныя минуты отчаянія и досады, въ которыхъ мѣшается гнѣвъ и любовь, плачъ о павшихъ и чувство матеріальнаго безсилія. Онѣ должны пройти.

—

Письмо Пятое.

Васъ еще удивляетъ, оскорбляетъ глубокое непониманье нашихъ старшихъ братій *о цивилизаціи?*.... Удивлялся и я, негодовалъ и я — и теперь едва покоряюсь темной силѣ. Злые духи, разъ поселившись въ человѣкѣ, да еще имѣя за себя давность — упорны; ихъ изгнаніе или заговариваніе никогда не было дѣломъ легкимъ. Нѣтъ людей подъ рукой, они бросаются, какъ вы знаете по писаніямъ, въ стадо многокопытныхъ и съ ними мутятъ воду. Развѣ изобрѣтутъ какую-нибудь машину для *дренажа человѣческаго ума*, а то одной логикой не много сдѣлаешь.

Человѣкъ увѣренъ, убѣжденъ, что истина, сказанная имъ, выведенная имъ, доказанная имъ убѣждаетъ и другихъ. Ему возражаютъ—онъ отвѣчаетъ, ему приводятъ новыя сомнѣнія—онъ приводитъ новые доводы и думаетъ, что дѣло сдѣлано. Противники соглашаются, восторгаются — и вы можете быть увѣрены, съ той несомнѣнностью, съ которой вы ждете луннаго затмѣнія, что черезъ два-три мѣсяца явятся тѣже возраженія, тѣже сомнѣнія, тѣже озлобленія, въ родѣ утокъ, въ извѣстной дѣтской игрушкѣ, которыя постоянно выходятъ изъ правой башенки и отправляются въ лѣвую, безъ всякаго конца, потому что все это однѣ и тѣже.

Годы цѣлые бьешься, бьешся о непобѣдимую мощь непониманья, думаешь: ну! сколько-нибудь выигралъ... не тутъ-то было, все на одномъ мѣстѣ... Послѣ десятаго разговора, вамъ возражаютъ точно тоже что при началѣ перваго—*совершенно соглашаясь со всѣмъ, что было говорено въ промежуткахъ.*

Казалось-бы оставить ихъ въ покоѣ, горбатаго лечитъ одна могила — силъ нѣтъ. Человѣкъ не можетъ съ рыбьимъ хладнокровіемъ смотрѣть на другого, когда тотъ идетъ не по настоящей дорогѣ, да еще того и гляди попадетъ подъ колеса почтовой кареты, въ которой скачетъ сама исторія.

Откуда эта лѣнь ума, эта робость силлогизма, это желанье не идти дальше, набросить покрывало?.... Давно-ли, кажется, запад-

ный человѣкъ, освобождаясь отъ двухъ самыхъ грубыхъ опекъ, рвался впередъ съ отвагой въ мысли и дѣлѣ, отрицая все неоправданное разумомъ, потрясая все существующее—и по дорогѣ создавая науку и ставя огромный вопросъ современности? Его-то онъ и испугался, какъ Фаустъ вызваннаго имъ духа. Смѣлъ онъ былъ въ ожиданіи, въ теоретическомъ отрицаніи, въ ломаніи внѣшнихъ цѣпей—чередъ пришелъ до приложеній и западный человѣкъ сталъ *революціоннымъ консерваторомъ* — краснымъ бѣлаго цвѣта. Порогъ-ли это, за который онъ запнулся, или его предѣлъ —покажетъ время, но до тѣхъ поръ у насъ съ нимъ нѣтъ языка. Выходя изъ отвлеченныхъ сферъ, мы встрѣчаемъ въ немъ закоснѣлаго врага или непонимающаго друга. Послѣдній хуже. Для меня нѣтъ ничего противнѣе, *какъ непониманье съ сочувствіемъ* и съ нѣкоторой любовью.

„Что вамъ нравится въ моихъ статьяхъ?", говаривалъ я многимъ и многимъ изъ западныхъ друзей, „дайте себѣ отчетъ и вы увидите, что мы стоимъ на противоположныхъ полюсахъ. Вы — или увлекаетесь дружбой ко мнѣ, или моимъ слогомъ, сущность моей мысли не принята вами и скорѣе противна вамъ, чѣмъ симпатична. Для меня это безконечно печально, печально за васъ и за вашихъ, и я васъ прошу не восхищайтесь моими статьями, или поймите ихъ. Въ 1848 году вы сдѣлали fiasco — за тѣмъ реакція, апатія: на землѣ имперія порядка, на небѣ воздушный шаръ соціальныхъ теорій, плавающій по воздуху безъ вожжей, руля и почвы, куда-бы спуститься. Вы всѣ говорите, что видите прошлыя ошибки, что ищете новыхъ рѣшеній, вы всѣ жалуетесь, что старинныя стѣны и развалины вамъ не даютъ ступить шага, вы ждете въ раздумьи и не можете ума приложить, что дѣлать. Являются какіе-то люди, *которые* приносятъ вамъ вѣсть о странѣ, въ которой существуютъ искони задатки иного соціальнаго устройства, на поляхъ которой нѣтъ развалинъ, а есть только что поставленные острожные частоколы, нѣтъ устарѣлыхъ правъ, а есть надоѣвшее безправіе, нѣтъ консервативныхъ вѣрованій, а есть силой удерживающіяся цѣпи и веревки.

„Что-же вы сдѣлали съ этими вѣстями? Изслѣдовали-ли вы — справедливы или ложны показанія этихъ людей и въ чемъ состоитъ это *естественное* рѣшеніе вопроса? Нѣтъ. Вы продолжали, съ одной стороны, риторическую войну возгласовъ на старые беранжеровски-либеральные напѣвы, которые насъ такъ и переносятъ въ блаженныя времена тьеровскаго либерализма и оппозиціи Гизо. Съ другой — вы все еще хотите намъ перелить въ жилы вашу старую кровь, съ вашей старой мудростью, съ которой вы дошли до втораго пришествія имперіи.

„Изъ вашей цивилизаціи намъ только и нужно то, что вы въ ней считаете варварскимъ, то чему вы запираете двери и то, что одно могло-бы васъ спасти, такъ какъ спасетъ насъ. А вы вмѣсто пониманья, хотите насъ учить вашему кодексу, вашему канцелярскому и камерному порядку. *Намъ ваше пониманье* не нуж-

но, намъ нужна ваша наука, скрыть ее вы не можете: она родилась у васъ, но она не ваша. Вамъ нужно насъ знать, иначе вы можете поримски поплатиться за старческое невниманіе къ варварамъ, за аристократическое пренебреженіе новыхъ народовъ".

Такъ какъ въ Гамлетѣ трагедія представляется въ трагедіи и на сценѣ сцена, такъ я хочу въ письмѣ къ вамъ передать другое письмо, писанное мною года три тому назадъ. Вы увидите, какъ вопросъ этотъ мало двигается. Въ 1862 г., одинъ нелѣпый лондонскій журналъ снова напалъ на Бакунина и по дорогѣ зацѣпилъ и насъ, я отвѣчалъ нѣсколькими словами съ откровенностью македонскаго солдата и съ учтивостью русскаго гарнизоннаго офицера.

Вслѣдъ за тѣмъ я получилъ письмо отъ одной англичанки...

Перебирая всю мою жизнь за границей, я долженъ сознаться, не сбижая многихъ и многихъ мнѣ близкихъ и дорогихъ людей, полное пониманье нашего вопроса я встрѣтилъ *одинъ разъ*—и это не въ мущинѣ, а въ женщинѣ и при томъ въ англичанкѣ.

Письмо было отъ нее. Она испугалась тона полемики и того озлобленія, которое могло идти за предѣлы жалкаго листка. Письмо ея было такъ благородно и полно дружбы, что мнѣ пришло въ голову серьезно разъяснить вопросъ въ рядѣ писемъ къ ней. Пока я собрался, дѣла приняли другой оборотъ — насъ покрыло дымнымъ и кровавымъ туманомъ петербургской реакціи и польскаго возстанія. Ненависть ко всему русскому еще разъ оправдалась. Гдѣ тутъ было дѣлать различіе между оффиціальной Россіей и той, о которой мы говорили! Къ тому-же дворянская и литературная чернь заткнула за поясъ правительство и полицію.

Я оставилъ въ портфелѣ письмо написанное къ ней. И съ горестью сложа руки, ждалъ чѣмъ кончится это испытанье. Вотъ вамъ оно:

...„Мнѣ трудно отвѣчать на ваше письмо, за ваши добрыя, дружескія слова, я кромѣ сердечной благодарности не могу ничего сказать хорошаго или утѣшительнаго. Я боюсь за свою откровенность, но не могу, писавши къ вамъ, остановиться на полдорогѣ. Не сердитесь-же на лампу за то, что она освѣщаетъ. Вообще дѣла людскія хороши en gros. Исторія, какъ Альпы, красива издали.... вблизи сѣрые камни, замаранный снѣгъ, обрывы и все еще бездна дороги, и при томъ дурной, тяжелой дороги впереди...

„Позвольте мнѣ напомнить начало нашего знакомства. Вы протянули мнѣ руку, не зная меня лично и протянули ее во имя дѣла, которое я дѣлалъ, и во имя міра, о которомъ я свидѣтельствовалъ. Не знаю, какимъ вдохновеніемъ, какимъ наитіемъ вы почувствовали *живые всходы* подъ нашими снѣгами и отгадали, что мрачный и нѣмой міръ нашъ не *отходилъ*, а *нарождался*. Вы привѣтствовали его во мнѣ, когда я случайно попался на вашей дорогѣ, и я безконечно вамъ благодаренъ за это—но что сдѣлали другіе? Что сдѣлала *старая гвардія* цивилизаціи, съ которой я сблизился на ея Ватерлооскомъ полѣ, что сдѣлали покрытые сѣ-

динами и шевронами колонновожатые рода людскаго, которые завели его въ болото и потеряли путь?

„Сначала они меня слушали съ тѣмъ молчаніемъ, съ которымъ слушаютъ, находясь не въ авантажѣ, даже безвредныхъ сумасшедшихъ. Потомъ, когда половина предсказаннаго стала осуществляться, они, какъ римскіе сенаторы въ дѣлѣ Сципіона, закрыли глаза... А вы говорите: объясняйте имъ, толкуйте.

„Ненависть къ Россіи, никакъ не надобно ошибаться, не относится исключительно къ правительству, къ дворянству или „схизматическому" духовенству, а просто на просто *гуломъ ко всему русскому*. Вы составляете исключеніе, можетъ еще два три человѣка, да и то если вы безъ ненависти смотрите на народъ русскій, то скажите откровенно, *любите-ли вы Европу?* Ненависть къ Россіи не взаимна, совсѣмъ напротивъ, Россія сначала XVIII-го вѣка находила въ Европѣ свои модели, свои выкройки, свои прописи, тянулась за ней во всемъ, подражала ей и едва теперь начинаетъ сторожить уши. Съ тридцатыхъ годовъ либеральная Европа привыкла на нашей спинѣ, съ спартанской педагогической несправедливостью, наказывать гадости всѣхъ правительствъ; чѣмъ больше она теряла право критики домашнихъ дѣлъ, тѣмъ свирѣпѣе сѣкла она Россію, не замѣчая, что она хлещетъ не только по той Россіи, которая все ломитъ и все давитъ, а и по той, которую все давитъ и все ломитъ. Это зрѣлище довольно новое. Слыхали ли вы, чтобъ за неаполитанскихъ Бурбоновъ кто нибудь сталъ позорить крестьянъ на terra di lavoro, горцевъ въ Калабріи, или за австрійское удушливое императорство бросать грязью въ Тирольца или Морава? *Тутъ* ненависть къ правительству и къ силамъ его поддерживающимъ, *тамъ* зоологическое, инстинктивное отвращеніе, *консервативная* ненависть старой расы встрѣчающейся съ неизвѣстнымъ intrus, съ новой расой, бродящей по границѣ и словно засматривающей въ глаза. А вѣдь мы смотрѣли до сихъ поръ, вовсе не такъ какъ Францъ Мооръ, спрашивая своего дряхлаго отца: „чтожь ты, вѣчно хочешь жить что-ли?" Мы смотрѣли отъ внутренней тоски, мы искали совѣта и науки. Встрѣчая въ послѣднее время надменную ненависть, и мы, наконецъ, начинаемъ хмуриться. Изъ этого могутъ вырости бѣды, кровавыя столкновенія, вы хотите ихъ устранить. Хотѣлъ-бы и я, но гдѣ-же возможность, гдѣ элементы?.... Вы говорите: «продолжайте ваше апостольство, раскрывайте глаза западнымъ людямъ, не прибавляйте яду и озлобленія въ натянутое положеніе». Простите меня, я не узнаю тутъ вашу самобытную, безбоязненную мысль: sans peur ni reproche! Гдѣ-же ваше гордое смиреніе передъ фактической необходимостью? Васъ исполняетъ ужасомъ „собирающаяся борьба двухъ разныхъ цивилизацій", и я смотрю на нее съ ужасомъ, но не могу-же я кинуться на встрѣчу лавинѣ!...

„Вы сомнѣваетесь въ *достаточности* причинъ, вы сомнѣваетесь въ ненависти и относите ее къ недоразумѣнію, вы говорите, что

это чувство новое. Я былъ-бы радъ согласиться съ вами, но мнѣ сдается, что причинъ больше чѣмъ надобно, больше чѣмъ ихъ было во всѣхъ роковыхъ столкновеніяхъ „двухъ цивилизацій", міра греческаго, напр., съ міромъ персидскимъ, міра германскаго протестантизма съ міромъ романскаго католицизма, міра романской революціи съ міромъ германскаго консерватизма...

„Мы разумомъ побѣждаемъ въ себѣ, т. е. мы—нѣсколько человѣкъ, порывы физіологическихъ антипатій, и то при малѣйшемъ поводѣ они берутъ верхъ.

„Ну, а тамъ гдѣ всякое очеловѣченіе неизвѣстно и гдѣ ненависть раздуваютъ всѣми силами — изъ видовъ, изъ риторики, изъ непониманія? Вы правы, это чувство ненависти не всегда существовало, но на этомъ-то я и основываю его страшную будущность, *оно въ ростѣ*.

„Пока Россія являлась ученицей, антагонизму не было мѣста, философы XVIII-го вѣка ласкали ее, поощряли, льстили ей; лицемѣрный, литературный либерализмъ Екатерины II былъ принятъ au pied de la lettre. Хваля ее, бранили своихъ, (обратная игра той, которую я отмѣтилъ выше). При Наполеонѣ Европа съ Россіей помѣрились, узнали, что имъ другъ друга не сломить, и успокоились на дипломатіи и конгресахъ; вопросы были спутаны, дѣло шло не о „двухъ цивилизаціяхъ", а о завоевательномъ началѣ въ борьбѣ съ національнымъ. Полъ-Европы было съ Россіей, русскіе побѣды были нѣмецкими побѣдами, русская политика была обще-европейской, ультра-консервативной, спеціально-нѣмецкой, но не національной, не русской. Открытый антогонизмъ между Европой и оффиціальной Россіей начался съ 1830 года. Дерзкая, обуховая политика Николая, гоненія дома, а всего больше въ Польшѣ, вооружили общественное мнѣніе всего міра противъ Россіи. Россія казалась постояннымъ тормазомъ, задерживавшимъ всякое движеніе Европы, мѣшавшимъ всякому прогрессу.

„Но и этотъ антогонизмъ не былъ еще серьезенъ. Борьба Ормузда и Аримана рѣшена впередъ. Европа представляла все хорошее — свободу, науку, цивилизацію, гуманность; Россія матеріальную силу, безправіе, крѣпостное состояніе, самовластіе, Сибирь, рудники, кнутъ. Чисто отрицательное начало не можетъ выдерживать войну съ началомъ положительнымъ. И какъ бездарно ни была ведена крымская война, со стороны союзниковъ, но она показала не одну, а нѣсколько Ахиловыхъ пятъ Россіи. Она показала, что народъ не былъ за войну, что общество не было за войну, что литература не была за войну. Она показала общее неудовольствіе, общій ропотъ. Мрачное отчаяніе, съ которымъ защищали Севастополь, выражало только народное „не тронь меня" и свидѣтельствовало о той силѣ, которую могла-бы возбудить народная борьба. Для прочной, долгой борьбы, для серьезнаго историческаго антагонизма необходимъ *нерѣшенный вопросъ*, необходимо, чтобъ *правда* и *неправда* была съ обѣихъ сторонъ и чтобъ вопросъ былъ на животъ и на смерть.

„Гдѣ же вопросъ, на которомъ „двѣ цивилизаціи“ могли-бы торжественно слиться, отрѣкаясь отъ всѣхъ антагонизмовъ или окончательно расшибиться другъ объ друга, въ дикомъ единоборствѣ? Вы его ставили много разъ съ такой ясностью, что мнѣ, еслибъ я не къ вамъ писалъ, пришлось-бы переписать ваши слова“...

Первое письмо этимъ оканчивалось, втораго я не писалъ. Польское возстаніе, какъ я сказалъ, захватило все вниманіе и надолго смѣшало карты. Озлобленіе, ненависть къ намъ Европы удесятерились, не только дѣйствіями русскаго правительства, но и чувствомъ собственнаго безсилія, невольной измѣны, стыда.

Въ этомъ хаосѣ страстей долженъ былъ-бы потухнуть послѣдній лучь пониманья. Совсѣмъ напротивъ, именно въ это время, по какому-то ясновидѣнію ненависти, заклятѣйшіе враги начали разглядывать *дѣйствительную почву* нашего антагонизма.... а наши западные друзья не раскусивъ смысла, подхватили ихъ слова и начали бить, не отдавая себѣ никакого отчета *кого они бьютъ*.

Въ 1863 году, вышла въ Парижѣ брошюра писанная полякомъ „La Pologne et la cause de l'Ordre“.*) Она ставила вопросъ совершенно ясно и указывая Европѣ, консервативной и либеральной, въ чемъ ей грозитъ опасность отъ Россіи и почему она должна всѣми мѣрами стараться стереть главу этой гидры. Католикъ, писавшій эту книгу, пошелъ дальше Донозо Кортеса: Донозо Кортесъ стращалъ одной покорной массой войскъ и единствомъ воли располагающей ими. Авторъ брошюры прямо говоритъ, что Россія сверхъ дикой силы, неустановившейся и готовой на все, представляетъ хаотическое отрицаніе западныхъ государственныхъ формъ, что во всѣхъ проявленіяхъ, внутри бродящей силы ея, страшный ферментъ *соціализма*, незаарканеннаго и мечущагося во всѣ стороны, который ничего не пощадитъ, ни передъ чѣмъ не остановится, ни передъ духовной, ни передъ гражданской святыней...

Наконецъ-то, то что мы проповѣдывали столько лѣтъ, стало являться на площади въ полномъ парадѣ, въ Санъ Бенито, съ зажженными свѣчами въ рукахъ, бросающими длинныя черты тѣни... Кто будетъ теперь сомнѣваться въ нашихъ словахъ?—ихъ подтверждаютъ враги. *Міръ порядка* отлучаетъ насъ, міръ *ниспроверженія* его—протянетъ намъ руку...

Не тутъ-то было.

Они говорили объ оффиціальной, окровавленной, казнящей Россіи. Не въ Зимнемъ же Дворцѣ, не въ казармахъ и канцеляріяхъ *тотъ страшный ферментъ*, о которомъ говорилъ авторъ брошюры... Загляните подъ казенное, красное сукно.

—Нѣтъ, нѣтъ, кричатъ радикалы со всѣхъ сторонъ: знаемъ мы васъ, вы не лучше, вы всѣ *коммунисты, соціалисты!*

—А вы, господа, такъ и хочется имъ отвѣтить: вы все таки

*) Совѣтуемъ не читавшимъ этой брошюры ее прочесть.

вдвое ближе къ всероссійскому императорству, которое ругаете по привычкѣ, чѣмъ къ вольнымъ людямъ, ищущимъ дѣйствительной свободы и дѣйствительной правды.

Съ ними, caro mio, будьте увѣрены, не скоро сговоримся мы.

Письмо Шестое.

На этотъ разъ, любезный другъ, я пишу къ вамъ не письмо, а скорѣе post scriptum къ двумъ прошлымъ письмамъ.

Меня паки и паки упрекаютъ въ недомолвкѣ, въ неясности, требуютъ, чтобъ я сказалъ категорически въ чемъ дѣло, отчего Россія guter Hoffnung, а Европа въ импассѣ...

Да вѣдь если я, двадцать лѣтъ говоря одно и то же, не дошелъ до того, чтобъ растолковать свою мысль, трудно себѣ представить, чтобъ мнѣ удалось теперь. Къ тому же разсказать въ чемъ дѣло, значитъ ни больше, ни меньше какъ изложить цѣлый курсъ соціализма и разсказать историческое развитіе

отъ Ромула до нашихъ дней.

Это мнѣ не подъ силу. Что касается до общихъ мѣстъ, до сентенцій и афоризмовъ, они большей частью оттого и безжизненны, что общи. Въ частныхъ развитіяхъ и примѣненіяхъ живѣе передается мысль. Къ тому же я не могу забыть, что и М. П. Погодинъ писалъ когда-то историческіе афоризмы.

Я черезъ два три часа ѣду, и хочу въ отвѣтъ на полученное мною замѣчаніе только поставить нѣсколько точекъ на *i*. Предупреждаю въ одномъ, что все это ужасно старо и можетъ скорѣе служить попрекомъ за невниманіе, чѣмъ новымъ постановленіемъ вопроса.

Государства, таковъ нашъ главный тезисъ, сложились, какъ все сложилось въ природѣ, по неопредѣленнымъ стремленіямъ, по открывавшимся возможностямъ, прилаживая и измѣняя внутреннія потребности къ внѣшнимъ обстоятельствамъ. По мѣрѣ развитія мысли, сознанія — является желаніе разумнѣе, цѣлесообразнѣе устроиться. Французская революція была колоссальной попыткой замѣнить политическій, юридическій, религіозный бытъ, такъ какъ онъ выросъ подъ разными вліяніями — разумнымъ, такъ какъ его понимали тогда. Книжный, философскій идеалъ энциклопедистовъ былъ совершенно достаточнымъ въ рукахъ меньшинства, чтобъ разрушить сѣдыя стѣны старой Бастильи.... но, опрокидывая могучимъ потокомъ все церковно политическое устройство, революція остановилась передъ экономическимъ вопросомъ, такъ какъ реформація передъ текстомъ св. Писанія. Ни реформація со своими сектами, ни революція со своими, не могутъ *шагу идти дальше*, не выходя — первая изъ христіанства, вторая—не касаясь экономическаго вопроса.

Предоставить орудія работы, экономическія силы, творчество и производительность, скученіе богатствъ и распредѣленіе ихъ, случаю и привычному праву — несообразно съ разумомъ съ совре-

меннымъ пониманіемъ. Бездна матеріала пропадаетъ безъ рукъ, бездна рукъ гибнетъ безъ матеріала, огромныя богатства безъ производительности, огромные запасы безъ сбыта, избытокъ и голодъ, наконецъ — большинство всѣхъ народовъ, страдающее въ нуждѣ и невѣжествѣ, именно отъ случайнаго распредѣленія силъ и орудій. Въ этомъ хаосѣ нельзя жить, понявши его, невѣденіемъ теперь отзываться нельзя — страстное желаніе исторгнуть жизнь изъ старыхъ формъ совершенно послѣдовательно. Но между прошедшимъ, за которое никто не отвѣчаетъ, и будущимъ, за которое *мы будемъ отвѣчать*, съ одной стороны *сознаніе необходимой перемѣны*, съ другой—*выгода отстаиванія пріобрѣтеннаго*.

Недостаточность прежнихъ гражданскихъ идеаловъ ясна не только для тѣхъ народовъ, которые прошли ими, но и вообще для всѣхъ народовъ *идущихъ*. Для насъ это особенно важно. Намъ нѣтъ никакой необходимости переходить *всѣми* фазами политической эволюціи, для того, чтобъ вступить въ фазу экономическаго развитія.

Чѣмъ прочнѣе и больше выработаны политическія формы, законодательство, администрація, чѣмъ дороже они достались, тѣмъ больше препятствій встрѣчаетъ экономическій переворотъ. Во Франціи и Англіи, ему представляется больше препятствій, чѣмъ въ Россіи, чѣмъ въ Молдо-Валахіи. Тутъ нѣтъ ни гордости, ни униженія, это фактъ, бросающійся въ глаза. Само собой разумѣется, что одна неразвитость гражданскихъ формъ не обусловливаетъ еще соціальнаго развитія, иначе Турція была-бы ближе всѣхъ странъ къ нему. Въ Россіи есть почва въ бытѣ народномъ, въ народномъ характерѣ — почва невоздѣланная, но готовая принять первое сѣмя, сѣмя это принесено къ намъ съ Запада. Признаніе за народомъ права на землю, величайшая побѣда, сдѣланная народнымъ смысломъ и *соціальной идеей*. Консервативная партія въ экономическомъ смыслѣ у насъ только что слагается, ея росту надобно помѣшать. Императорская власть чисто внѣшняя, у ней сила, а не смыслъ. Препятствія на пути нашего развитія искусственныя, это не рвы, а бревна, но бревенъ могутъ натаскать много, если мы будемъ сидѣть сложа руки. Вотъ все, что мы проповѣдывали. Я и теперь еще убѣжденъ, что мы можемъ идти далѣе по пути соціальнаго развитія, безъ общихъ потрясеній, безъ экспропріаціи, безъ колонизаціи, безъ всѣхъ тѣхъ страшныхъ вещей, которыми въ Европѣ останавливаютъ, какъ Медузиной головой, естественный ходъ дѣлъ.

Именно на этой помѣхѣ естественному росту основано все безуміе современнаго состоянія напр. во Франціи. Сила имперіи и реакціи въ этомъ avortement революціи.

Революцію, такъ какъ она шла съ 1789 года, не могли своротить съ дороги ни обѣ имперіи, ни обѣ реставраціи, ее остановила громадность соціальной задачи и парализовало необыкновенное отношеніе къ ней дѣятельной среды, развитого меньшинства. Гока дѣло шло о политическихъ правахъ, все образованное стояло

со стороны движенія; дошедши до соціальнаго вопроса, сдѣлалось новое расщепленіе. Нѣсколько человѣкъ остались вѣрными логикѣ и движенію, но масса образованныхъ отступила и очутилась, при своихъ оппозиціонныхъ замашкахъ, съ консервативной стороны. Народъ, за котораго прежній революціонеръ становился ходатаемъ, снова палъ на руки попамъ или вовсе остался безпомощнымъ въ потемкахъ низменныхъ сферъ жизни; адвокаты его, скрывавшіе за собой его дѣтскую неразвитость, разступились, и мы увидали нѣсколько пророковъ на горѣ, а внизу—спящую тяжелымъ сномъ народную массу. Идти впередъ боялись идти назадъ было невозможно, вѣра въ прошедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать пріобрѣтенное, отталкивать новое. Такому положенію дѣлъ простой деспотизмъ имперіи, т. е. самодержавной полиціи, естественнѣе конституціонной монархіи.

Колеблющаяся среда либерализма, основанная на освобождающемся разумѣ и держащаяся за обязательныя преданія, среда неискренняя, полная страховъ и угрызенія совѣсти, въ которой сосредоточивается вся дѣятельная сила Франціи, падаетъ изъ ошибки въ ложь, изъ лжи въ ошибку. Она не вѣритъ и поддерживаетъ католицизмъ, она боится соціализма и хлопочетъ о народномъ образованіи, она не имѣетъ храбрости открыто звать на помощь невѣжество и великую узду голода. Изъ такого нравственнаго сумбура жизнь не можетъ осѣсть серьезно, а безпрерывно расползается, чинится, мѣняется, безпрерывно торопится, не зная куда, за чѣмъ, въ какомъ-то чаду противурѣчій.

„Имперія миръ!“ кричатъ передъ войной.

„Даровое ученье, всеобщее ученье, и да погибнетъ соціализмъ!“ —говорятъ республиканцы.

Работникъ мрачно смотритъ на все, говоря: „Работы, работы, и не нужно мнѣ вашихъ свободъ“, забывая, что не будетъ обезпеченной работы—безъ обезпеченной свободы.

И эти хаотическіе сумерки выдаютъ намъ за лучшій цвѣтъ цивилизаціи.. Что̀ за вздоръ!

... Неужели и вы находите что нибудь неяснаго въ этомъ сжатомъ изложеніи, гдѣ? въ чемъ? Пишите, я готовъ отвѣчать.

Колоколъ № 200.
15 Іюля 1865 года.

ДѢЛО СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА.

Одинъ изъ благороднѣйшихъ, чистѣйшихъ людей въ Россіи Н. А. Серно-Соловьевичъ, отправленъ на вѣчное поселеніе. „Умное правительство, сказалъ одинъ изъ членовъ государственнаго совѣта, старалось-бы имѣть за себя такихъ людей“.—да!... *умное!*

Мы умоляемъ друзей нашихъ прислать намъ in extenso сенатскую записку этого дѣла. Приговоръ колоссальностью нелѣпости,

отсутствіемъ единства и какой-то небрежной растрепанностью, (времени не было порядкомъ написать!), далеко оставляетъ за собой прежнія юридическія маски, которыми прикрывались царскія мести. Около *трехъ лѣтъ* держали людей въ казематахъ, изрѣдка доходили мрачные слухи о важности дѣла... Сенатское стадо приговаривало ихъ къ каторгѣ, потомъ само увидѣло, что перебрело всѣ границы и побрело назадъ. Въ чемъ-же дѣло? Да въ томъ, что его *нѣтъ*. Отнимите у приговора маскарадныя слова, подъяческія выраженія, полицейскіе микроскопы, и останется тощій процессъ первой инстанціи. Серно-Соловьевичъ былъ знакомъ съ *лондонскими пропагандистами*, читалъ ихъ изданія, давалъ ихъ читать другимъ и встрѣтился съ *юридической рѣдкостью первой величины* (кто тутъ удержится, чтобъ не знакомиться?), съ *неосужденнымъ государственнымъ преступникомъ* Кельсіевымъ, который представленъ вдали какимъ-то Тамерланомъ, потрясающимъ имперію всероссійскую.... Далѣе все тайна: когда Кельсіевъ возведенъ въ новое званіе—не объяснено, въ чемъ состояли его неосужденныя преступленія до поѣздки его въ Россію—не сказано. Равно умолчано, отчего Кельсіевъ преступникъ, если онъ не осужденъ, и зачѣмъ онъ не осужденъ, если онъ преступникъ, какъ будто не судятъ отсутствующихъ. Все это страшная белиберда, но «неосужденный государственный преступникъ» останется скромной лептой, внесенной въ XIX-мъ столѣтіи русскимъ судопроизводствомъ въ сравнительное законовѣденіе.

Вина Ветошникова, Владимірова и другихъ менѣе наказанныхъ, само собою разумѣется еще ничтожнѣе. Тутъ приговоръ отличается удивительной казуистикой. Серно-Соловьевичъ наказывается за распространеніе *заграничныхъ сочиненій ихъ преступнаго содержанія* (и запятой даже нѣтъ), а Ветошниковъ и Владиміровъ только *за распространеніе преступныхъ сочиненій* (безъ содержанія?). Далѣе одна глупость за другой—Лялинъ наказанъ за *подозрѣніе* въ перепискѣ съ Бакунинымъ. Англійскаго подданнаго *А. Бени*, за *недоведеніе* до свѣдѣнія правительства о прибытіи Кельсіева *въ Петербургъ* — выдержавъ въ тюрьмѣ, а за недоведеніе до свѣдѣнія правительства о прибытіи Кельсіева *въ Россію*—оставить въ сильномъ подозрѣніи и за тѣмъ выслать за границу. По какому трактату англійскіе подданные обязаны дѣлать такія любезности русской полиціи, мы не знаемъ и обращаемъ на это вниманіе Foreign office'a. Дѣвицу *Марію Челищеву*, за имѣніе у себя запрещенныхъ сочиненій и изображеній, веѣлѣно выдержать *подъ арестомъ* десять дней. Въ пущіе дни бѣшенства нашего незабвеннаго Саула, не было ничего болѣе гнуснаго. Недоносъ—уголовное преступленіе!

Вотъ и все — остальное канцелярская фіоритура, арматура, гарнитура, hors d'œuvre и неловкое извиненіе самодержавной, но нечистой совѣсти въ свирѣпости преслѣдованій и звѣрствѣ приговоровъ.

Судьба Серно-Соловьевича и его товарищей смягчена. Приговоръ *преднамѣренно* напечатанъ вслѣдъ за похоронами Наслѣдни-

ка, съ которыми онъ также мало имѣетъ общаго, какъ приговоръ вольнопрактикующаго врача *Ганценбаха*, *востроумно* прибавленный въ газетахъ къ приговору Серно-Соловьевича (чья это выдумка? Интересно-бы знать). Огорченнаго государя хотѣли оставить въ подозрѣніи, что онъ смягчилъ участь приговоренныхъ, но Е. В. заговѣлся на трехъ разбойникахъ, которыхъ великій кн. заставилъ разыграть роль повѣшенныхъ и на нѣсколькихъ тысячахъ *казенныхъ* денегъ, посланныхъ погорѣлымъ. Въ смягченіи участи Серно-Соловьевича и подсудимыхъ, *онъ не участвовалъ*. Ихъ отстоялъ одинъ изъ членовъ государственнаго совѣта, пораженный благородствомъ, откровенностью, силой отвѣтовъ Серно-Соловьевича; онъ перебралъ дѣло и удивленный инквизиторскимъ и съ тѣмъ вмѣстѣ тупо-полицейскимъ характеромъ его — отстоялъ, сколько могъ, Серно-Соловьевича, вопреки разной ветоши и, говорятъ, разныхъ нѣмецкихъ нахлѣбниковъ, въ родѣ Петра Ольденбургскаго.

Если у высочайшей мести нѣтъ больше изобрѣтательныхъ оберъ-секретарей, которые умѣли бы тотчасъ *вдумать* въ дѣло — комплотъ, поджегъ, покушеніе, клятву на кинжалѣ и проч., то ужъ лучше отказаться отъ тиранскихъ преслѣдованій, или по-николаевски давить людей втихомолку, а кто хватится о задавленномъ, того втрое: „много молъ будешь знать, скоро состаришься".

Что отвѣты Серно-Соловьевича поразили порядочнаго человѣка, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Серно-Соловьевичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ избранныхъ на великій примѣръ сосудовъ, тѣхъ впередъ помазанныхъ на мученичество лицъ, которыя спокойно идутъ своей дорогой и ясно смотрятъ въ глаза бѣснующимся судьямъ—передъ этими людьми власть срѣзывается и потому неохотно поднимаетъ на нихъ руку. Ихъ нельзя, по поучительному примѣру Тиверія, осквернить въ тюрьмѣ, чтобъ сдѣлать достойнымъ казни. Таковъ былъ Грановскій и Николай обошелъ его. Милосердый Александръ II, цѣловавшій Серно-Соловьевича губами князя Орлова, не такъ разборчивъ.

Колоколъ № 203.
1 Сентября 1865 года.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Инвалидъ напечаталъ, а другія русскія газеты перепечатали статью „О пожарахъ въ сѣверозападномъ краѣ", составленную будто бы по полицейскимъ, оффиціальнымъ свѣдѣніямъ. Въ этой статьѣ обвиняютъ насъ въ томъ, что мы участвовали вмѣстѣ съ какимъ то польскимъ комитетомъ, о существованіи котораго мы не слыхивали, въ поджогахъ.*)

---

*) Дней пять тому назадъ „Моск. Вѣд." намекали, что мы и фальшивые монетчики... не участвовали-ли мы еще въ убійствѣ

Правительство-ли такъ глупо, что его этимъ обманываютъ, или оно такъ безнравственно, что употребляетъ такія средства противъ своихъ враговъ - намъ все равно. *Мы объявляемъ, что это ложь, ложь нелѣпая, очевидная для всѣхъ знающихъ нашу жизнь, наши мнѣнія.*

Съ какой цѣлью можемъ мы участвовать въ несчастныхъ поджогахъ? Странное captatio benevolentiæ.

Если бы что нибудь подобное было напечатано въ странѣ, имѣющей сверхъ шпіоновъ и доносчиковъ — судъ и расправу по законамъ, мы отвѣчали-бы или сдѣлали-бы *Инвалиду* процессъ. Въ Россіи это невозможно

Но внѣ Россіи возможно другое.

Мы требуемъ отъ этихъ оффиціальныхъ негодяевъ доказательствъ и готовы отвѣчать не только въ печати, но передъ судомъ въ Англіи или Швейцаріи. Намъ интересно будетъ узнать, кто этотъ достопочтенный банкиръ Т... и кому онъ платилъ деньги; а Европѣ еще интереснѣе будетъ ознакомиться съ тѣмъ, что за вертепъ разврата, клеветы, бездушья и подлости—русская полиція и русская оффиціальная журналистика.

Вотъ главныя мѣста статьи:

„Общественное мнѣніе въ Россіи издавна указываетъ на польскую революціонную партію, какъ на главнѣйшую виновницу поджоговъ. Обвинять всю эту партію поголовно было-бы несправедливо; мы имѣемъ, напротивъ того, данныя, удостовѣряющія, что между членами этой партіи встрѣчаются и такія лица, которыя открыто отказываются отъ солидарности съ поджигателями, и что поджоги входятъ въ систему дѣйствій преимущественно партіи *красныхъ*, то есть той самой грязной партіи, которая хозяйничала въ Польшѣ въ теченіи 1863 года, которая придумала жандармовъ-вѣшателей и революціонный терроръ, освящала кражу и клятвопреступленіе, и которая вселила къ себѣ отвращеніе даже въ полякахъ, столь намъ недоброжелательныхъ. Солидарность этой партіи съ партіей поджигателей дѣйствительно отвергать невозможно. Къ этой же гнусной партіи слѣдуетъ причислить и извѣстную горсть нашихъ заграничныхъ ренегатовъ, которые, будучи окончательно опозорены въ общественномъ мнѣніи Россіи, добиваются нынѣ, но что бы то ни стало, возстановить свою незавидную извѣстность, хотя-бы геростратовскими средствами.

„Отрывочныя свѣдѣнія о нынѣшнемъ положеніи вопроса о поджогахъ не могутъ быть точными уже и потому, что слѣдствіе продолжаетъ еще производиться весьма дѣятельно. При всемъ томъ они могутъ служить подтвержденіемъ справедливости молвы народной—что приписывать пожары однимъ случайностямъ значило бы закрывать глаза отъ истины и что поджоги дѣло не отдѣльныхъ

Бригса?... не украли-ли носовой платокъ у Каткова, когда онъ являлся къ намъ съ почтеніемъ въ Фуламѣ и увѣрялъ насъ, что „*Колоколъ* сила“, нисколько не сердясь за это?

личностей, а цѣлой организаціи. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ еще организаціи этой вполнѣ, хотя и случалось нападать на слѣды ея. Вотъ, между прочимъ, свѣдѣнія, которыя имѣются объ этомъ изъ-за границы и которыя добыты также путемъ слѣдствій надъ нѣсколькими политическими преступниками, задержанными въ послѣднее время.

Въ настоящее время за границей существуютъ двѣ шайки революціонныхъ поджигателей: 1) шайка польскихъ эмигрантовъ и 2) шайка самыхъ красныхъ русскихъ революціонеровъ, (молодая Россія).

„Польская эмиграція, разсѣявшись по Европѣ, раздѣлилась на многочисленныя партіи и занимается въ настоящее время политическими спорами и распрями, составленіемъ проэктовъ о различныхъ революціонныхъ предпріятіяхъ и отысканіемъ людей для приведенія проэктовъ этихъ въ исполненіе. Между этими партіями существуетъ и тайная партія поджигателей, главнымъ притономъ которой служитъ Швейцарія, затѣмъ Парижъ и Лондонъ, и наконецъ Турція. Большинство лицъ, составляющихъ эту страшную партію, извѣстно. Покуда мы не назовемъ ихъ. Въ составъ партіи въ Парижѣ входятъ многія лица, занимавшія въ послѣднее возстаніе должности революціонныхъ организацій въ Литвѣ и Царствѣ Польскомъ. Они занимаются нынѣ высылкой поджигателей въ западный край, а можетъ быть и въ Польшу. Людей для этого находятъ они въ изобиліи между эмигрантами, поселившимися въ Швейцаріи. Сильно нуждаясь въ средствахъ къ существованію, весьма многіе изъ нихъ готовы всегда на все. Парижскій комитетъ не отказываетъ въ средствахъ на подобныя предпріятія. Лица, отправляемыя на поджоги, снабжаются особымъ легко воспламеняющимся составомъ изъ угля, сѣры и фосфора. Въ теченіе 1863 года жидкость эта изготовлялась въ Варшавѣ, въ аптекѣ Младенца Іисуса, высланнымъ нынѣ въ каторжную работу аптекаремъ Стронь-скимъ, откуда и разсылалась въ нѣкоторые города. Эта самая жидкость была употреблена при пожарѣ ратуши въ Варшавѣ; съ помощью ея же была подожжена крыша казармъ около замка, но пожаръ былъ во время замѣченъ и потушенъ. Эта же жидкость была употреблена при покушеніи на жизнь графа Берга, 8-го Сентября 1863 г., при чемъ составъ ея былъ силенъ до такой степени, что она горѣла еще на слѣдующій день на каменной мостовой.

„Шайка польскихъ эмигрантовъ поджигателей, сносясь съ тѣми изъ поляковъ, которые, будучи замѣшаны въ мятежѣ, высланы на жительство внутрь имперіи, въ то же время сносится съ подобною себѣ шайкой русскихъ ренегатовъ, называющеюся *„агенціей Герцена“* и сосредоточенною въ Тульчѣ. Эта послѣдняя шайка, развившись сильно въ Турціи, при помощи бѣжавшихъ изъ Россіи липовановъ, скопцовъ и другихъ выходцевъ, избрала поприщемъ своихъ преступныхъ дѣйствій Южную Россію.

„Обѣ эти шайки состоятъ подъ покровительствомъ лондонскаго общества „Ognisko revolucyjne“ (революціонное пламя), дѣлами

котораго завѣдываетъ польскій эмигрантъ; онъ же выдаетъ и денежныя пособія злоумышленникамъ. *Въ Маѣ 1864 г. онъ привозилъ деньги „агентству Герцена“ и жилъ нѣкоторое время въ Тульчѣ. Самое же общество революціонеровъ получаетъ деньги отъ члена своего, лондонскаго банкира Т...., сердечнаго пріятеля Мадзини.*

„Ограничиваясь на первый разъ перечнемъ голыхъ фактовъ, предоставляемъ читателямъ выводить изъ нихъ свои заключенія. Свѣдѣнія нами почерпнуты изъ оффиціальныхъ источниковъ. Будемъ надѣяться, что обнародованіе ихъ послужитъ къ общему благу“.

Ну, господа, выходите изъ вашихъ норъ и застѣнковъ. Мы ждемъ. Полно играть въ темную поддѣльными документами, какъ въ дѣлѣ Чернышевскаго Являйтесь обвинителями бѣлымъ днемъ, передъ свободными судьями свободнаго народа — дайте посмотрѣть на ваши лица... Мы готовы!

Колоколъ № 204.
15 Сентября 1865 года.

ВЪ РЕДАКЦІЮ „ИНВАЛИДА“.

Господинъ Редакція,

Вы не человѣкъ, вы мѣсто, вы чернильница, вы не несете никакой отвѣтственности, за то, что вы печатаете, вы ниже нравственной отвѣтственности, ваша нравственность въ начальствѣ. Объ немъ-то мы и хотимъ съ вами поговорить, можетъ наши слова возбудятъ въ васъ негодованіе, и вы взбунтуетесь. Оно употребило васъ на черное дѣло, оно вами гнуснымъ образомъ оклеветало меня. Мы васъ жалѣемъ и дивимся Милютину *военному*, что онъ допустилъ *безполезное* преступленіе и при томъ такое, которое не могло не вызвать отпора. Мы считали, что онъ умнѣе, но въ наше перемѣнчивое время никого узнать нельзя и братья Милютины—эти Гонорій и Аркадій русской имперіи—становятся какими-то сфинксами... бюрократы и либералы, организаторы и децентрализаторы, вчера западники, сегодня — славянофилы. завтра... кто ихъ знаетъ что?

Обвинить меня косвенно и съ недомолвками въ поджогахъ, не только ложно, но глупо. Мои воззрѣнія извѣстны, я не скрывалъ ихъ, а старался всѣми мѣрами обнародовать ихъ. Моя общественная дѣятельность вся на виду, на совѣсти у меня нѣтъ не только пожара или наводненія, но даже тѣхъ легкихъ облаковъ, которыя носятся въ воспоминаніяхъ *другихъ* типографовъ и журналистовъ, ловко устроившихъ свое обзаведеніе на чужой счетъ.

Ни съ лондонскаго банкира Т., друга Маццини, ни съ московскаго раскольника С., экс-пріятеля Каткова, я денегъ не бралъ и кричи объ этомъ все третье отдѣленіе и оба брата Милютины, ни одинъ умный человѣкъ, ни одинъ честный человѣкъ этому не повѣритъ.

Къ чему-же вся эта клевета? Она только показываетъ, а показывать это, конечно, не хотѣли ваши шефы, что наши акціи подымаются, что общественное мнѣніе снова въ нашу пользу и что насъ хотятъ донять не мытьемъ, такъ катаньемъ.

Да мы не дадимся, а будемъ безпрерывно требовать доказательствъ, суда. . . . Я отъ васъ не отстану, пока вы не отвѣтите словами, что доказательствъ нѣтъ, что начальство солгало, или молчаніемъ дадите мнѣ право клеймить ваше заведеніе готовальней фальшивыхъ обвиненій.

Что-же вы выиграли? т. е. не вы, а набольшіе ваши? Не могъ же думать ни Долгорукій, ни кто другой, что мы оставимъ дѣло безъ отвѣта.

Еслибъ все это было въ странѣ не только православной, но съ честнымъ правительствомъ во главѣ, я не сталъ-бы къ вамъ приставать, а пошелъ-бы дальше и выше. Я написалъ-бы къ государю письмо, я попросилъ-бы его sauf conduit, пропускъ въ Россію и изъ Россіи; тамъ сталъ-бы я добровольно передъ гласнымъ судомъ и втопталъ-бы въ грязь поставщиковъ живаго матеріала въ казематы и двора его величества фурнисеровъ и вербовщиковъ каторжной работы, а потомъ воротился-бы за свой станокъ.

Возможно-ли это? — Спросите министерію и весь генералитетъ. Много-ли генераловъ и не генераловъ возьмутъ на свою отвѣтственность, *на свою честь, передъ всѣмъ свѣтомъ*, что такая проволка будетъ имѣть оба конца? Слову государя я довѣрился-бы, но что его слово, когда дуэтъ московскихъ кастратовъ можетъ его перекричать.

— „Однако вы придаете важность этому обвиненію“ — скажете вы, можетъ быть.—А то какъ-же?

Три передовыя статьи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, три сряду, о моемъ участіи въ поджигательствахъ, три статьи писанныя чернилами III-го отдѣленія

съ слюною бѣшеной собаки,

т. е. Каткова. Три статьи, въ которыхъ этотъ *публичный мущина* всея Россіи ругается, какъ сыщикъ при допросахъ въ московскомъ острогѣ, имѣя такъ-же какъ и онъ передъ своими зубами не только щеку, но и руку императора и все пространство имперіи.

Статья вашего полицейскаго корреспондента послужила подножкой, чтобъ дальше прыгнуть Каткову. Онъ былъ нездоровъ, голоденъ, скучалъ — Серно-Соловьевича съ товарищами сослали за то, что они читали *Колоколъ*, Бени за то, *что не донесъ* — крѣпость пуста, Корніолинъ Пинскій безъ дѣла, надобно подзадорить полицію, напугать публику, и вотъ Катковъ подхватилъ инвалидную трубу и трубитъ, по той методѣ, по которой трубилъ въ Дантовскомъ аду одинъ изъ тамошнихъ жандармовъ.

На меня собственно онъ лаетъ, но кусаетъ другихъ, его цѣли ближе, они въ Петербургѣ, его цѣль выдать Головнина за зажига-

теля, Константина Николаевича за зажигателя, его цѣль засадить въ застѣнокъ *Голосъ*, *Петерб. Вѣдомости* и другихъ личныхъ враговъ.

Что касается до меня, онъ не только не вѣритъ, чтобъ я участвовалъ въ поджогахъ, *но положительно знаетъ*, что это клевета; у него и у его корреспондентовъ одна рука въ Долгорукомъ, другая въ Муравьевѣ, одна въ канцеляріи намѣстника польскаго, другая въ III отдѣленіи—какъ-же онъ можетъ вѣрить наравнѣ съ какимъ-нибудь княземъ *Васильемъ Баюшевымъ**) въ такой вздоръ?

---

*) „Не можемъ не перепечатать изъ «Москов. Вѣд.» отрывокъ изъ наивнаго письма симбирскаго жителя, князя Василія Баюшева. пусть читатели судятъ:

„Во время самихъ пожаровъ взяты поляки по подозрѣнію въ поджогахъ и не простымъ народомъ, раздраженнымъ и безсознательнымъ, а людьми, вполнѣ владѣвшими собой и дѣйствовавшими разумно къ охраненію своихъ домовъ и имуществъ. Въ послѣдствіи нѣкоторые изъ арестованныхъ въ то время поляковъ найдены дѣйствительно подозрительными, такъ что и до сего времени содержатся въ острогѣ; къ нимъ присоединены и другіе личности польскаго происхожденія, даже изъ чиновнаго круга. Потомъ богохульныя и ругательныя надписи на польскомъ языкѣ, усмотрѣнныя на цоколѣ собора, такъ варварски истребленнаго, и на рѣшеткѣ перилъ, проведенныхъ по *валу* близь того мѣста, гдѣ были зарыты зажигательные матеріалы, приготовленные, вѣроятно, для истребленія города, часть коихъ употреблена зажигателями въ дѣло, а остальная часть была взорвана отъ загорѣвшагося на этомъ мѣстѣ разнаго, вынесеннаго изъ домовъ, имущества, и, наконецъ, всенародное провозглашеніе польскаго фанатика о мести поляковъ, какъ о причинѣ истребленія города, могутъ служить достаточными основаніями установившагося мнѣнія о виновности нѣсколькихъ поляковъ въ погибели города. Впрочемъ мнѣніе, что поляки были единственными дѣятелями поджоговъ, принадлежитъ большею частью простому народу и не только въ Симбирскѣ, но и во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ только бывали пожары. Большинство же образованныхъ симбирскихъ жителей полагаетъ, что бѣдствія эти проистекаютъ отъ дѣйствій общеевропейской революціонной партіи, въ которой участвуютъ не только поляки, но люди всѣхъ націй, въ томъ числѣ и наши доморощенные агитаторы школы Герцена, эта нечистая накипь нашего общества. *Причины-же*, побудившія это скопище негодяевъ направить свой ударъ преимущественно на Симбирскъ, *заключаются въ особенномъ патріотическомъ настроеніи симбирскаго общества, въ неизмѣнной преданности престолу и въ любви къ отечеству, въ восторженномъ пріемѣ сдѣланномъ почившему въ Бозѣ Цесаревичу*, а также въ высказанномъ публично сочувствіи лицамъ, стоявшимъ неуклонно (Катковъ и Муравьевъ!) на стражѣ великихъ интересовъ земли Русской, что сильно противодѣйствовало цѣлямъ заговорщиковъ“.

онъ не настолько одурѣлъ отъ величія своего положенія, отъ побѣдъ надъ министрами и великимъ княземъ, съ его стороны это обдуманная клевета. Совѣсть невольно сказалась въ томъ, что онъ минуетъ называть меня лично, и толкуетъ о *новыхъ герценистахъ*, о *герценовской агенціи*. Вѣрь онъ одну минуту, что мы изъ Лондона черезъ Тульчу подожгли Симбирскъ, мы первые отпустимъ ему не только брань его статей, но и ихъ скуку, ихъ повторенія, ихъ длинноту.

Откуда-же взялся азартъ, пафосъ, въ которомъ писаны статьи, откуда языкъ казнящаго попа и проповѣдывающаго палача, откуда ярый гнѣвъ, горячечный патріотизмъ у этой лимфатической натуры? Тутъ новаго мало, искусство ложныхъ раздраженій и натянутыхъ страстей всегда цвѣло у *ноктурнъ* Маріи Бредау, только онѣ никогда не употребляли его съ такими гнусными цѣлями, какъ *журналисты*-доносщики.

Если чему дивиться, такъ это отсутствію *страсти* у обвиненныхъ, у запутанныхъ въ дѣло, у поставленныхъ на порогъ третьяго отдѣленія, имъ грозитъ каторга, поселеніе, отставка, нѣмецкія горькія воды — смотря по тому кто просто литераторъ, кто не просто, кто министръ просвѣщенія и кто великій князь. Какъ-же всѣ они не положатъ предѣлъ этой московской чумѣ, пятнающей Россію и губящей ихъ? Какъ-же они въ свою очередь не обличатъ этотъ заговоръ реакціи, нео-крѣпостниковъ, всѣхъ этихъ Коцебу съ пушкинской рифмой?

А впрочемъ.... а впрочемъ это ихъ дѣло.... слабыхъ учить силѣ мудрено...

Но ложь Каткова, ложь вашего корреспондента, нисколько не отнимаетъ важности самаго обвиненія, совсѣмъ напротивъ, оно особенно важно коли высшіе профессора доносовъ, виртуозы шпіонства избрали именно это средство, и вотъ почему я хочу оправдаться.

Вы можете мнѣ способствовать въ этомъ, и навѣрное хотите. Я дѣлаю отчаянное предположеніе, что вы не зная того послужили шпанской мухой, натянувшей такую обильную дрянь изъ Каткова, и съ тѣмъ вмѣстѣ даю вамъ средство поправить дѣло. Упросите Милютина, если надобно двухъ, Долгорукова и все третье отдѣленіе, чтобъ они обидѣлись и напечатали-бы мнѣ на зло документы, на основаніи которыхъ они меня обвиняютъ, не запамятовали-бы, кстати, имя банкира Т., друга Маццини и пр.,— а всего лучше послали-бы сюда не ритора, не спадасина, на эти штуки насъ не поддѣнешь, а военнаго или гражданскаго чиновника, пожалуй попа или протопопа, для уличенія меня передъ федеральнымъ или кантональнымъ судомъ. Посылаютъ-же они офицеровъ и статскихъ за всякимъ вздоромъ, за изученіемъ почтовыхъ марокъ, прусскихъ мундировъ... посылаютъ-же они дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ и кавалеровъ, какъ Хотинскій, подслушивать у дверей, чего-же имъ стоитъ послать на казенный счетъ какого-нибудь титулярнаго совѣтника вовсе безъ ордена въ

Швейцарію. для того чтобъ доказать соприкосновенность нашу въ дѣлѣ поджоговъ. Faites cela!

Между нами, скажу вамъ, мнѣ совершенно все равно какъ обо мнѣ думаютъ — не только такой чирій на Россіи какъ Катковъ, но всѣ государственныя и *сепаратистическія*, коронныя и дворянскія полиціи; я не боюсь ни управы благочинія, ни англійскаго клуба, они могутъ меня ad libitum считать зажигателемъ или отравителемъ, воромъ или фальшивымъ монетчикомъ. Есть вѣроятно въ управѣ добрые люди, найдутся они и въ англійскомъ клубѣ, можетъ и они повѣрятъ такому вздору—жаль, но за чѣмъ же они глупы?

Меня заботитъ другое — я боюсь, что эти мерзавцы оклевещутъ меня передъ народомъ русскимъ. Любовь моя къ нему оскорблена, мое служеніе ему очернено, и вотъ почему я не хочу молчать и не хочу оставить на себѣ ни одной пылинки, ни одной брызги полицейской пѣны. У меня ничего нѣтъ, ни вашей религіи, ни вашего патріотизма, ни вашего общественнаго положенія; я изгнанникъ усыновленный другой страной, но у меня есть своя религія, своя любовь. свое положеніе, до нихъ я не позволю касаться всякой полицейской швали, особенно когда она увѣряетъ, что я кому-то далъ уголь въ руки и сказалъ: „Иди и жги избу русскаго мужика!" Мужика, котораго неволя, котораго нищета, котораго бѣдствія были страданіемъ всей моей жизни, объ освобожденіи котораго я мечталъ съ дѣтскихъ лѣтъ.... да ужъ не совѣтовалъ-ли я возстановить крѣпостное право, развить пролетаріатъ, разбить общинное владѣніе, отдать крупной поземельной собственности въ кабалу мелкую? А, главное. не хлопоталъ-ли о возстановленіи *тѣлесныхъ наказаній?*.... За послѣднее не ручаюсь. Видите, жечь не только избы, но и Каткова благопріобрѣтенный домъ въ Москвѣ я не хотѣлъ-бы: сосѣдній домъ загорится, пожитки кучера или горничной пожалуй сгорятъ... ну а высѣчь коновода клеветниковъ — было-бы очень хорошо. Издатель *Московск. Вѣдом.* такъ убѣдилъ насъ, что есть неисправимо падшія натуры, для которыхъ одно средство спасенія — тѣлесныя наказанія, что, конечно, не ему пѣнять, если мы желая его (т. е. коновода) исправленія — желаемъ чтобъ онъ былъ *послѣднимъ сѣченнымъ въ Россіи.*

Колоколъ № 205.
1 Октября 1865 года.

ПИСЬМО КЪ ИЗДАТЕЛЮ *ОТГОЛОСКОВЪ.*

Мы послали 9 Сентября слѣдующее письмо г. Издателю *Отголосковъ.* Оно не было напечатано въ его журналѣ до 30 Сентября, а потому печатаемъ его въ *Колоколѣ.*

Милостивый Государь,

Вы перепечатали нѣсколько словъ изъ моей протестаціи, по-

звольте мнѣ поблагодарить Васъ и просить, чтобъ Вы дали мѣсто въ вашемъ журналѣ моему письму.

Мнѣнія наши розны, но въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ не о мнѣніяхъ, а объ обличеніи лжеца. Кто нибудь да лжетъ, мои обвинители или я. Мнѣ кажется, что не вовсе лишено интереса вывести на чистую воду лгуна. Можетъ лгу я, ну и покончить со мной навсегда. Такого случая долго не придетъ опять.

Я торжественно утверждаю:

1. Что никогда, нигдѣ не сказалъ ни одного слова, не написалъ ни одной строки, изъ которыхъ можно-бы было заключить, прямо или косвенно, что я одобряю поджоги бывшіе въ Россіи.

2. Что я никогда не былъ ни въ какихъ сношеніяхъ съ обществомъ „революціоннаго пламени", въ существованіи котораго сильно сомнѣваюсь.

3. Что я ни отъ банкира Т., ни отъ кого другого денегъ для пересылки въ Тульчу не получалъ и въ участіе Кельсіевыхъ въ поджогахъ не вѣрю.

Впрочемъ послѣдній пунктъ можно считать рѣшеннымъ. *Мож. Вѣд.* въ 183 № помѣстили подробную статью объ *агентствѣ* (откуда взялось это безобразное названіе?) *Герцена въ Тульчѣ*, изъ которой можно вывести что угодно, кромѣ двухъ вещей, *моего участія въ агентствѣ и участія агентовъ въ поджогахъ.*

Истину моихъ словъ я готовъ утверждать въ безцензурной печати и въ свободномъ судѣ—въ Англіи или Швейцаріи.

Позвольте, М. Г., заключить мое письмо увѣренностію, что Вы не откажетесь помѣстить его въ *Отголоскахъ.*

Готовый къ услугамъ Вашимъ...

Колоколъ № 209.
1 Декабря 1865 года.

ЗАПРОСЪ

ГГ. ИЗДАТЕЛЯМЪ РУССКИХЪ ПАРТИКУЛЯРНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Почтеннѣйшіе Сотоварищи,

Уничтоженіе предварительной цензуры ставитъ русскую независимую журналистику на болѣе совершеннолѣтнюю ногу. О запретѣ статей по одному имени писавшаго ее, или прославшаго, не можетъ быть и рѣчи.

Ясно, что помѣщеніе статей зависитъ отъ ихъ достоинства, отъ ихъ сообразности съ духомъ журнала, и, наконецъ, отъ степени личной храбрости издателя — въ ней, почтеннѣйшіе сотоварищи, мы не сомнѣваемся...

Совсѣмъ напротивъ, мы такъ увѣрены въ ней, что предлагаемъ вамъ посильные труды наши и съ нетерпѣніемъ ждемъ вашего отвѣта.

Радуясь съ вами вмѣстѣ началу освобожденія русскаго слова,

мы нашимъ предложеніемъ, даемъ вамъ средство измѣрить его глубину и искренность.

Напечатаніе этого письма въ почтенныхъ журналахъ, издаваемыхъ вами, мы примемъ за особенное одолженіе, и впередъ благодаримъ за него.

Желая вамъ всякаго успѣха и всякой дали отъ субсидіи, арендъ, казенныхъ афишъ и иныхъ правительственныхъ поощреній, остаемся готовыми къ услугамъ вашимъ

А. Герценъ. Н. Огаревъ.

— —

КЪ КОНЦУ ГОДА.*)

I

Переживаемъ мы и 1865 годъ, какъ пережили 1863 и 1864.

Послѣ двухлѣтней бѣлой горячки наступаетъ утомительное выздоровленіе, медленное, неоткровенное, съ продолженіемъ горячешныхъ явленій, съ возвращеніемъ бреда. Яркаго перелома, въ который вѣрили старые доктора, не было, но припадки бѣшенства видимо ослабли и, взявъ все въ соображеніе, дѣла идутъ не хуже. Для насъ даже положительно лучше.

Съ нынѣшней весны звонъ нашъ опять сталъ проникать въ Россію, опять сталъ будить однихъ, безпокоить другихъ, насъ больше бранятъ, къ намъ больше пишутъ, у насъ больше корреспонденцій и читателей... А мы идемъ все *тѣмъ-же, своимъ путемъ* и вовсе не намѣрены его мѣнять, т. е. самаго пути, за тонъ и освѣщеніе мы не отвѣчаемъ, они зависятъ отъ событій, а не отъ насъ; это мы говорили много разъ.**)

Идти своимъ путемъ, при обстоятельствахъ, при которыхъ мы шли послѣдніе три года, было трудно и мы никогда не скажемъ, чтобъ при царившей путаницѣ идей, страстей, при противоположно несущихся потокахъ, *насъ не уносило иной разъ въ сторону* по съ главной линіи мы не сбились, ни подъ неистовымъ ругательствомъ своекоштныхъ и казеннокоштныхъ враговъ, ни подъ совѣтами строптивыхъ друзей.

Колоколъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ, остался *самимъ собой*, онъ представлялъ ту-же мысль и не представлялъ ни-какой котеріи. Брошенный почти всѣми, онъ не бросился ни въ патріотическую реакцію, ни въ демагогическій алармизмъ.

Стоять на одномъ мѣстѣ и говорить одно и то-же — еще не находка Можетъ мы почему-то и неправы, что твердимъ какъ Платонъ Михайловичъ Горичъ — седьмой годъ тотъ-же дуетъ a moll'ный. Упираясь на одномъ мѣстѣ, мы дали опередить себя, упорствуя идти по одной дорогѣ, мы не замѣтили, что Россія пошла по другой. Все это для журналиста, для публициста — смертный

---

*) Эти двѣ статьи помѣщены въ №№ 209 и 210 „Колокола". *Л. Т.*

**) „Малъ-ли, великъ-ли ручей, путь его зависитъ не отъ него, а отъ общихъ склоновъ и скатовъ материка". («Колок.» 1864).

грѣхъ и стойкая добродѣтель Сумеона Столпника всего меньше идетъ ему.

Что враги наши пошли по другой дорогѣ и захватили съ собой девять десятыхъ друзей, это мы знаемъ и видимъ. Но долго-ли за ними пойдетъ читающій русскій людъ — этого мы не знаемъ и не видимъ, а вѣдь мы пишемъ только для него. Не говоря о томъ, что мы не могли слѣдовать на путяхъ кроваваго и дикаго патріотизма за нашими врагами, намъ кажется, что по мѣрѣ того какъ онъ будетъ стынуть, по мѣрѣ того какъ опротивятъ *Моск. Вѣдомости* и муравьевскія мѣры, по той мѣрѣ будутъ возвращаться наши читатели.

Что лично сильные люди, бойкіе таланты, полные юной свѣжести могли опередить насъ, должны были опередить, мы это не только знаемъ, но радуемся этому, какъ всякій человѣкъ расчистившій путь, радуется, что по немъ идутъ далѣе, но опередили-ли нашу пропаганду общественное мнѣніе въ Россіи, этого мы не знаемъ и сильно сомнѣваемся.

Теоретическое преподаваніе ex cathedrà идетъ по другимъ законамъ, чѣмъ журнальная рѣчь. Кругъ *чистой* науки шире, выше и отвлеченнѣе; лекція уже потому независимѣе отъ аудиторіи — чѣмъ журналъ отъ общественнаго настроенія, что она говоритъ съ юношами. Тутъ поневолѣ надобно вспомнить раздѣленіе труда и различіе средствъ сообразныхъ разнымъ цѣлямъ. Первое условіе успѣха практической пропаганды—быть по плечу своему хору, всегда шагомъ впередъ и никогда двумя. Мы должны хору уяснить *его* собственныя стремленія, *его* смутныя мысли, ставить силлогизмы *его* посылкамъ, ставить точки на *его* і. Если мы уйдемъ отъ него далеко, онъ не пойдетъ за нами. если уклонимся —онъ оставитъ, если отстанемъ—онъ задавитъ или обойдетъ насъ. Интересовъ его нельзя выдумывать или „конструировать", какъ дѣлали нѣмцы, ихъ надобно брать у него и развивать. Мало-ли въ мірѣ интереснаго и хорошаго, но если оно не на череду, оно такъ-же мало пойдетъ въ ходъ, какъ квакерская агитація Peace Society во время крымской войны. Апостолъ Павелъ говоритъ своимъ пропагандистамъ: «будьте все со всѣми, съ подзаконными будьте подзаконными и съ свободными—свободны».

Ни отвлеченнее мышленіе, ни дальніе идеалы, ни логическая строгость, ни рѣзкая послѣдовательность, сами по себѣ не помогутъ дѣлу житейской пропаганды, если въ ней не будутъ уловлены ближніе идеалы, сегодняшнія стремленія, сомнѣнія массъ. Площадь и клубъ, зала и всякій сходъ людей тѣмъ и отличается отъ замкнутаго круга школьныхъ друзей, что одни слушаютъ, другіе учатся или должны бы были учиться.

Слѣдить издали за мѣняющимся потокомъ мнѣнія, особенно такого молодаго, необузданнаго и только на половину раскованнаго какъ наше—было не легко и мы только довѣрясь своему чутью пролавировали, кой-какъ, темной и бурной ночью, между противоположными маяками, да и то потеряли весь баластъ.

Въ этомъ, впрочемъ, мы себя не винимъ. Соотвѣтствіе съ направленіемъ общества имѣетъ предѣлъ, далѣе котораго оно становится *измѣной*. Звуки *Колокола* терялись, возбуждали гнѣвъ и негодованіе по той мѣрѣ, по которой росла популярность Муравьева и „Моск. Вѣдомостей". Муравьева откинули, «Моск. Вѣдомости» перешли свою апогею *и навѣрное будутъ блѣднѣть*, худшее время мы пережили и скоро на нашъ звонъ снова явятся блудные дѣти наши съ сѣдыми волосами и совсѣмъ безъ волосъ изъ патріотическаго стада, въ которомъ не они пасли, а въ которомъ ихъ пасли.

По счастію время, которое они провели Навуходоносорами, не прошло даромъ, въ немъ выработались силы, которыхъ никто не зналъ и которыя могутъ быть иначе употреблены, чѣмъ на поддержку и защиту „скотнаго двора" и его пастуховъ — но объ этомъ потомъ.

Теперь возвращаемся къ нашей Via Mala съ ея двумя противоположными пропастями. Ни одинъ схимникъ въ пустынѣ не былъ такъ преслѣдуемъ, такъ искушаемъ—съ правой и съ лѣвой стороны.

Это началось не со вчерашняго дня. Когда въ 1858 году напалъ на насъ *Червь* съ своимъ доктринерски-административнымъ актомъ, мы уже имѣли нѣсколько пурпурно-красныхъ писемъ, упрекавшихъ насъ въ модерантизмѣ и пукъ брани за соціализмъ, якобинизмъ, разныя неуваженія, продерзости и пр.

Съ тѣхъ поръ одни постоянно считали насъ анархистами,

другіе—гувернементалистами,

одни—губертистами,

другіе—маркизами Поза,

одни—кровожадными террористами,

другіе—постепеновскими прогрессистами,

одни — говорили съ ужасомъ: „они зовутъ къ топорамъ и пишутъ воззванія!"

другіе—съ скрежетомъ зубовъ: „они не зовутъ къ топорамъ и пишутъ не только къ государю, но и къ государынѣ".

На дняхъ мы получили два письма. Одно отъ стародавняго друга, другое отъ стародавняго противника: „Вы выбиваетесь изъ силъ, пишетъ другъ, вы гибнете, вы садитесь на мель оттого, что не имѣете храбрости плыть на всѣхъ парусахъ, вы воображаете, что развитіе пойдетъ мирнымъ путемъ, а оно мирнымъ путемъ не пойдетъ; пожалуй вы еще надѣетесь въ этотъ несчастный одинадцатый часъ на правительство, а оно можетъ только дѣлать вредъ; вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась да и стоитъ вѣка въ китайской неподвижности, съ своимъ правомъ на землю; зовите людей, собирайте ихъ, кликните кличь, великое настаетъ время, оно близко"...

„Вы тонете, пишетъ противникъ, въ какой-то тинѣ и мнѣ васъ жаль. По временамъ у васъ вырываются Прометеевскіе вопли, но все таки вы погружаетесь глубже и глубже въ свою бездну.

Вы должны перемѣнить атмосферу, забыть прошедшее, обновиться, освѣжиться, пріобрѣсти другой языкъ. Теперь вашу рѣчь намъ русскимъ читать тяжело, ни *одного добраго слова мы отъ васъ не слышимъ.* Вы не встрѣчаете въ отечествѣ *ни малѣйшей хорошей черты*, точно какъ будто русскіе составляютъ какой-нибудь отверженный народъ.... Двадцать пять милліоновъ крѣпостныхъ крестьянъ и двадцать пять милліоновъ казенныхъ получаютъ свободу и землю. Дворянское сословіе переноситъ свою нужду съ терпѣніемъ и покоемъ, раздаются свободные голоса, въ думахъ, земскихъ собраніяхъ, въ печати. Войска узнать нельзя. Духовенство обновляется.... неужели все это *не находитъ отзыва въ душѣ, любящей истинно* отечество? Нѣтъ, вашъ *Колоколъ* треснулъ, благовѣстить вы не можете, а зловѣстить есть преступленіе... Прозвоните-же de Profundis, напишите эпилогъ"...

Такъ и хочется читая посыпать голову пепломъ и идти въ Соловецкій монастырь, а потомъ привести себя въ распоряженіе свѣтскаго начальства.

Новое обвиненіе, прибавившееся къ прежнимъ *одно* то „что мы добраго слова не говоримъ о Россіи", то „что мы равнодушны къ великимъ событіямъ совершившимся тамъ", словомъ, что *мы ненавидимъ Россію и народъ русскій.* Этого, помнится, ни *Чернь* и вообще ни одинъ человѣкъ изъ нападавшихъ на насъ до патріотической проказы, 1863 и 1864, никогда не говорилъ.

Трещина, о которой упоминаетъ нашъ уважаемый противникъ, оптическій обманъ, это черная полоса пролагаемая съ берега висѣлицами, позорными столбами и столбами, къ которымъ привязываютъ растрѣливаемыхъ.

Но при постоянствѣ этихъ обвиненій, напоминающихъ споръ о кафтанѣ Недоросля, не надобно выпускать изъ виду и третьяго постоянства — именно насъ, занимающихъ роль Тришки, мы не гибнемъ, не тонемъ, не вязнемъ, не грузнемъ, слушаемъ гласы сиреньи справа и слѣва и идемъ своей дорогой. За туманомъ и черными волнами насъ не было видно, теперь становится посвѣтлѣе—челнокъ опять на горизонтѣ, съ тѣмъ-же знаменемъ...

Какое-же это знамя у насъ? Мы, не нарушая законовъ скромности, думаемъ, что его пора-бы знать. Знаютъ-же цвѣтъ „Дня", цвѣтъ „Вѣсти"...

„Мы глубоко убѣждены, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго человѣческаго развитія — путю развитія кроваваго, но съ тѣмъ вмѣстѣ такъ-же искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе—застою Николаевскаго statu quo".

Въ этихъ словахъ, сказанныхъ нами во второмъ листѣ *Колокола* (1 Августа 1857) не символъ нашей вѣры, его знали всѣ прежде, а такъ сказать практическій артикулъ нашъ, notre gouverne, объясненіе нашихъ путей. Мы съ нихъ не сбились и такъ же послѣдовательно говорили: „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!" когда государь сталъ открыто со стороны освобожденія крестьянъ,

какъ послѣдовательно спрашивали его: „Куда вы?“ и прибавляли „прощайте, намъ съ вами не по дорогѣ“, когда онъ, шаткій и колеблющійся, склонялся больше и больше въ реакцію и подогрѣвалъ въ 1860 г. нелѣпый священный союзъ.

Союзъ не удался — опять Александръ могъ двинуться впередъ во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ и опять, освобождая крестьянъ, онъ пятился и упирался во всемъ.

Насъ мучило сознаніе, что *великое пересозданіе* «такъ близко, такъ возможно» и такъ безпричинно упускается изъ рукъ, долгое время гнались мы за императоромъ, хватали его за шинель, становились съ *Колоколомъ* за пуговицей на его дорогѣ (онъ тогда еще читалъ насъ) — и указывали ему кротко и дерзко, прося и раздражая—что онъ сворачиваетъ съ дороги. Но куды, державный кучеръ заломилъ себѣ мономахову шапку—и несся по волѣ лошаковъ, запряженныхъ въ придворный рыдванъ.

Намъ было жаль его. У насъ не было ни систематической оппозиціи, ни демагогической, натянутой ненависти; мы первые привѣтствовали его свободнымъ русскимъ словомъ при его возшествіи на престолъ, мы хотѣли съ изгнанниками стараго міра, съ главами европейской революціи, пить за освободителя крестьянъ и непремѣнно сдѣлали-бы это, еслибъ страшная вѣсть изъ Варшавы 10 Апрѣля 1861 года не залила наши бокалы и плошки польской кровью.

Надъ этой кровью мы призадумались, и печально спрашивали себя: „Наконецъ кто-же онъ такой и куда идетъ?“ Конечно Польскій вопросъ наболѣлъ у нихъ, Польшу онъ боится, тѣмъ не меньше дразнить надеждами и стрѣлять въ безоружныхъ... это слишкомъ!

Вдругъ выстрѣлъ съ другой стороны — Антонъ Петровъ палъ разстрѣлянный, на груду убитыхъ крестьянъ...

Неужели ошибка, страхъ могутъ идти до того?... Онъ обманутъ —это клевета крѣпостниковъ, ихъ месть.

Еще блескъ молніи—Арнгольдтъ, Сливицкій, Ростковскій... Это ужъ не ошибка, это преступленіе...

А тутъ и пошло—одно дѣло за другимъ... дѣло Михайлова, Обручева, студентское дѣло, гоненіе на журналы, аресты, ссылки, выдумка политическихъ пожаровъ, поощреніе растлѣнной литературы... Нѣтъ, все это не ошибка, а какой-то нелѣпый и безнравственный заговоръ.

—„Да, но 1862 годъ!“

—Ну что-же было въ этомъ пресловутомъ 1793 году на Невѣ? Вѣдь четвертый годъ пошелъ съ тѣхъ поръ, пора людямъ, закрывшимъ глаза отъ страха—ихъ раскрыть и покраснѣть до ушей. Надобно было всю гадкую злобу педанта, надъ которымъ смѣялись юноши, всю мстительность вздутой ничтожности, поднятой несчастными событіями на высоту полицейскаго, безконтрольнаго обвинителя, чтобъ увѣрять, что правительство и общество ходятъ по подкопамъ, сдѣланнымъ „Молодой Россіей“ и что два дня поз-

же —и кучка студентовъ съ двумя-тремя офицерами провозтласитъ на Адмиралтейской площади Республику, окруженную Нигилизмомъ и Пугачевщиной.

Правительство представило испуганный видъ, хотѣло испугаться. Его начали безпокоить свободныя рѣчи, оно шутило въ либерализмъ, шутка эта начала ему надоѣдать, и оно, придравшись къ пожару, не имѣвшему ничего общаго съ тайно напечатанными листами, подняло общее преслѣдованіе.

... Если такъ, то безъ сомнѣнія было-бы лучше, чтобъ кровь лилась за дѣло и люди гибли-бы, сдѣлавъ больше тайно напечатанныхъ прокламацій и шиллеровскихъ professions de foi...

Безъ сомнѣнія—но имѣла-ли она силу литься за дѣло—мученичество не во время, всегда остается великимъ примѣромъ, *но не есть дѣло*.

Въ этомъ-то состоялъ главный вопросъ. Не знаемъ, какъ его рѣшали тѣ и другіе, мы сомнѣвались въ положительномъ рѣшеніи его. Сколько мы ни смотрѣли и ни разглядывали, мы не видѣли въ Россіи 1862 года ни одного элемента достаточно крѣпкаго и зрѣлаго, ни одного вопроса достаточно разработаннаго и общаго, чтобъ во имя его могла собраться мощь, и мощь достаточная, чтобъ бросить перчатку правительству—съ увѣренностью, что ее поддержатъ въ борьбѣ.

Развѣ могъ удаться какой-нибудь лейбъ-гвардейскій переворотъ. Такіе перевороты дѣлаютъ и холера, и тифъ, и воспаленіе съ Мандтомъ.

Ни одна задача изъ возбужденныхъ задачъ не была ни такъ разработана, ни такъ обща, ни такъ ясна, чтобъ сдѣлаться хоругвью. Чисто политическій вопросъ не занималъ. Вопросъ крестьянскій съ поземельнымъ надѣломъ и общиной не совпадалъ съ экзотическимъ соціализмомъ литературы, дворянскій либерализмъ—шелъ въ разрѣзъ тому и другому. Правительство неуловимо шаткое, отъ отсутствія всякой опредѣленности, было сильно этой шаткостью и всякими отрицательными силами — сильно ожиданіемъ народа, нескончаемостью крестьянскаго вопроса, боязнью дворянства, упованіями литературы... Тутъ не могло быть ни прочности, ни взрыва. Элементы росли и казенное платье поролось по швамъ. Съ пожара въ Петербургѣ начиная, правительство было готово разить—и глядя кругомъ, оно, какъ библейская Гофолія, находило одного врага — отрока, отроковъ, не боящихся говорить слова истины. Оно набросилось на молодое поколѣніе и непремѣнно срѣзалось бы, еслибъ ему на помощь не явился его злѣйшій, его законнѣйшій стародавній врагъ—*Польское возстаніе*.

Польское возстаніе, опирающееся на Европу, разомъ остановило броженіе и ростъ стихій, разъѣдавшихъ обвѣтшалый организмъ русскаго императорскаго государства—и дало правительству точку опоры и оправданіе.

Мнѣніе *Колокола* о Польшѣ и польскомъ дѣлѣ было высказано въ рядѣ писемъ (1859—60), мы его никогда не мѣняли ни на іо-

ту; что Польша имѣетъ полное право на независимое государственное положеніе, въ этомъ не можетъ сомнѣваться ни одинъ добросовѣстный человѣкъ. Польшу можно подавить, убить, вывести къ Сибирь, вытолкать въ Европу—все это зависитъ отъ силы, это можетъ сдѣлать Россія, такъ какъ могъ сдѣлать прежде Чингисъ-Ханъ, Тамерланъ и не знаю кто — это будетъ фактъ, какъ кораблекрушеніе и будетъ имѣть свое физическое объясненіе — но не больше. На зарѣзанномъ человѣкѣ ставится крестъ — нѣмымъ протестомъ противъ злодѣйства, надъ убитымъ народомъ носится его исторія—и кто знаетъ, что она, переселяясь изъ поколѣнія въ поколѣніе, не воскреснетъ снова въ одномъ изъ нихъ.

Греція воскресла меньше полувѣка тому назадъ.

Ирландія не сдѣлалась Англіей.

Венеція молчитъ, какъ молчалъ Миланъ. Мы знаемъ, что значитъ это безмолвіе.

Но признавая право Польши, остается вопросъ — во время-ли она его предъявила. Мы думаемъ и думали, что несчастнѣе минуты нельзя было избрать. Все, даже длинный трагическій прологъ, все было противъ возстанія. Войска послѣ Крымской кампаніи—отдохнули, Европа и не думала поднимать крестовый походъ изъ за *чужаго права*.

Мы знали какого звѣря будили и дразнили поляки своими демонстраціями и выстрѣлами—и трепетали за нихъ и за Россію и до конца умоляли ихъ остановиться; мы говорили имъ, что въ Россіи все готовится и *ничего не готово*, что движеніе, которое они видятъ, истинно и глубоко, но далеко отъ той „организаціи", о которой они мечтали, мы повторяли сто разъ, что Европа пальцемъ не тронетъ чтобъ ихъ спасти, что всѣ ея симпатіи и разглагольствованія — „упражненія въ стилѣ". Мы говорили имъ, что самое участіе русскихъ офицеровъ было больше *отрицательное*, что они не хотѣли быть палачами... Мы это знали и *вмѣстѣ съ ними* умоляли и правительство и Константина Николаевича — пощадить русскую кровь, русскую честь и не искушать офицеровъ противурѣчіемъ долга и совѣсти. Такова была наша рѣчь наканунѣ Велепольскаго набора — и на другой день послѣ того, какъ кровь ужъ лилась въ царствѣ.

И послѣ этого насъ обвинили, что мы подстрекали поляковъ ложными увѣреніями о томъ, что Россія готова возстать на Волгѣ и Донѣ, въ Украйнѣ и Сибири.

Слабыя слова наши, которыми мы старались удержать трепетавшихъ отъ негодованія бойцовъ, ничего не могли сдѣлать и исчезли какимъ-то дальнимъ, непризнаннымъ сторожевымъ крикомъ.

Бѣда распахнулась во всей силѣ... горѣли деревни и мѣстечки, солдаты грабили и убивали, начальники грабили и вѣшали, поляки начинали мстить, русскій народъ подымали слухами о новомъ 1812 годѣ; ненавидимый всей Россіей Муравьевъ ѣхалъ въ Вильно—общество рукоплескало его назначенію.

Положеніе наше было невыносимо тяжело. Броситься на сто-

рону побѣдителя, свирѣпаго и сильнаго, встрѣтиться съ Муравьевымъ и Катковымъ, подтянуть хору палачей и придворныхъ Эвменидъ... этого отъ насъ никто не ждалъ, ни даже враги наши. Съ Западомъ, обманувшимъ Польшу, не оставалось ни одной теплой, искренней связи. Въ польскомъ дѣлѣ мы все же были посторонними. Общественное настроеніе въ Россіи наводило ужасъ и отвращеніе... Наша журналистика превзошла все видѣнное въ самыя печальныя эпохи политическихъ распрей и клеветъ. Давая себѣ видъ демократически-вѣрноподданный, она довела свой самодержавный якобинизмъ и православное санкюлотство — до барковскаго сквернословія *Московскихъ Вѣдомостей*, до безстыдства образовъ и просвирокъ Муравьеву.

*Мы протестовали**), т. е. сдѣлали все, что̀ можетъ сдѣлать лично человѣкъ передъ дикой силой, мы заявили нашъ голосъ для того, чтобъ онъ въ будущемъ свидѣтельствовалъ, что такой развратъ общественнаго мнѣнія и публичной рѣчи не могъ пройти безъ отпора, безъ слабаго, отдѣльнаго, затеряннаго, но неизгладимаго Veto.

Были минуты, въ которыя намъ хотѣлось замолчать, но насъ уже не оставляли въ покоѣ ни клевета, ни безпрерывно повторявшіяся преступленія. Наглость росла, уступить ей мѣсто было сверхъ силъ.

Въ эту темную ночь были написаны слѣдующія строки:

„Ни вблизи, ни вдали нѣтъ ни успокоенія, ни отрады *(Колоколъ*, Октябрь 1863 г., *письмо изъ Неаполя)*, такое положеніе рѣдко встрѣчалось въ исторіи. Развѣ въ первыя вѣка христіанства испытывали подобную скорбь, *чуждости въ обѣ стороны* — монахи германскаго происхожденія, развившіеся въ римскихъ монастыряхъ. Спасать языческій міръ, не ихъ было дѣло, его паденіе они предвидѣли, но не могли же они сочувствовать дикимъ ордамъ единоплеменниковъ, безсмысленно шедшимъ на кровавую работу совершающихся судебъ. Имъ оставалось одно, идти съ крестомъ въ рукахъ и съ словомъ братскаго увѣщанія къ разсвирѣпевшимъ толпамъ, стараясь добраться до чего нибудь человѣческаго въ ихъ загрубѣлыхъ сердцахъ. Креста у насъ нѣтъ... слово осталось, но до человѣческаго чувства мы еще не договорились.“

И при всемъ этомъ замолчать было рѣшительно невозможно. Другой мощный голосъ, рядомъ съ отчаяніемъ, громко говорилъ, что наше будущее выбьется изъ этой грязи и крови...

II.

.... „Но замолчать было невозможно. Другой мощный голосъ громко говорилъ, что наше будущее выбьется изъ этой грязи и крови“.... Этими словами заключили мы прошлую статью и ими начинаемъ ея второй отдѣлъ.

Совершившееся зло было велико, обличившееся нравственное

---

*) *Колоколъ*, 1 Августа 1863 г.

растлѣніе безмѣрно. Петербургское правительство, вышедшее изъ школы Бирона и Аракчеева отстало, общественное мнѣніе толкало его дальше и дальше въ кровавую пропасть. „Мы втѣснили Петербургу Муравьева“, говорилъ мнѣ одинъ изъ „свирѣпыхъ“ въ 1864 году въ Лондонѣ. Общество поощряло доносы *Моск. Вѣдомостей*. Помраченіе совѣсти дошло до того, что честный и независимый отъ *свѣтскихъ* властей органъ — *День*, помѣщалъ статьи ничѣмъ не лучше Катковскихъ. Люди, которыхъ мы знали лѣтъ двадцать къ ряду врагами всякаго насилія, не краснѣя толковали о государственной необходимости всѣхъ нечеловѣческихъ мѣръ и полицейскихъ неистовствъ въ Литвѣ и Польшѣ.

Что-же значилъ голосъ поддерживавшій насъ въ самыя тяжелыя минуты?

. . . . ¿ Голосъ вѣчной надежды и утѣшенья, который вмѣстѣ съ предсмертнымъ бредомъ раздается въ ушахъ умирающаго, суля ему выздоровленіе или обѣщая рай?... Голосъ, который изъ вѣка въ вѣкъ пророчитъ Іудеямъ славу Іерусалима и возстановленіе храма Соломонова?

Нѣтъ — это былъ голосъ здоровый, сильной груди, голосъ, повидимому непослѣдовательно отрѣкавшійся середь преступленій и злодѣйствъ — отъ отвѣтственности за нихъ, во имя какихъ-то иныхъ началъ и какой-то грядущей жизни. . . . Какъ будто намъ вмѣсто казни и каторги слѣдовали вѣнки и плоды!

Нашей людской нравственности и справедливости не надо искать ни въ природѣ, ни въ исторіи: евангельское „имущему дастся“, одно исполняется въ мірѣ стихій и ихъ развитій. Исторія быль, а не басня, она имѣетъ часто въ концѣ періода урокъ, но никогда не имѣетъ нравоученія. Право сильнаго, крѣпкаго, право перваго захватившаго мѣсто, право дерзкаго, сунувшагося впередъ — одно признано безусловно. Тотъ кто раньше вышелъ на работу и трудился пока другіе спали... тому наименьшая жатва и самый тяжелый трудъ. Тотъ кто первый отправился въ путь — плетется себѣ какимъ-нибудь проселкомъ въ телегѣ, а тотъ кто опоздалъ, обгоняетъ его въ вагонѣ, да еще посмѣивается изъ окошка, какъ другой вязнетъ въ грязи. Но обыкновенно трубить побѣду не приходится ни тому, ни другому.... по большей части *оба* остаются въ дуракахъ и кто-нибудь *третій*, который вовсе не ѣздилъ и не работалъ, воспользуется и трудомъ и вагономъ— и это потому только, что онъ, не зная опасности, не боится ѣхать за протянутую цѣпь или за торную дорогу, не боится искать на свой страхъ бродъ — или еще проще потому, что стоитъ по ту сторону оврага.

Одинъ народъ за другимъ, выбиваясь изъ силъ, идетъ къ *свѣту* и *свободѣ*, ноги скользятъ, теряется грунтъ, течетъ кровь.... они подаются назадъ... начинаютъ снова свой путь, кто тихо, кто быстро и, далеко не доходя ни до свободы, ни до свѣта, натыкаются на границу, на опущенный шлагбаумъ и на громовое Halte! У нихъ подкашиваются ноги, опускаются руки, они пятятся и стро-

ятся передъ какой-то неизвѣстной бѣдой, упираясь на одномъ мѣстѣ. Смѣльчаки, стыдя ихъ, идутъ за кордонъ, ихъ побиваютъ каменьями какъ *дезертировъ въ будущее.*

Halte! и французская республика отступаетъ въ имперію, строится въ имперію, потеряны дальніе горизонты, брошены трубы, которыми „великій народъ" трубилъ всему міру послѣднюю великую *повѣстку* въ 1848 г., забыты смѣлыя идеи, вездѣ благочинный порядокъ, словно ждутъ непріятеля и *самъ народъ чувствуетъ, что остановиться было пора,* что еще шагъ и онъ упалъ-бы въ зіяющую пропасть...

Можетъ это самое худшее, самое печальное въ современной драмѣ.

...Бывало наши солдаты на постоѣ у крестьянъ проводили черту мѣломъ по полу и все что попадалось за нее отбирали. Жаловаться, тому кому не хотѣлось имѣть вмѣсто одной черты на полу — сотню на спинѣ, было невозможно. Такимъ образомъ вся изба вмѣсто того, чтобъ дѣлать дѣло, занималась карауломъ и обращеніемъ вспять неугомонныхъ куръ и цыплятъ переходившихъ линію. Но самый замѣчательный фактъ во всемъ этомъ состоялъ въ томъ, что ни солдатъ, проводившій мѣломъ черту, ни крестьянинъ, не смѣвшій ее стереть, *не вѣрили въ нее.* Одинъ, не вѣря въ свое право, насильствовалъ, благо власть въ рукахъ; другой, не вѣря въ его право, повиновался — это очень дурно, очень скверно, очень безнравственно, но легче проходитъ чѣмъ то, когда тѣснятъ съ вѣрой и повинуются съ религіей.

Слѣды нашего рабства позорны и бросаются въ глаза какъ слѣды розогъ и какъ слѣды розогъ остаются на поверхности.

Ни правительство, ни барство, ни крѣпостные, ни духовенство, ни сенатъ, ни синодъ, никто въ сущности не вѣритъ въ истину своей власти или своего безвластія. Оттого-то всѣ и боятся всего, а иные всего надѣятся, оттого-то всѣ и порятъ безпрестанно горячку. Съ одной стороны *они* видятъ какъ распускается, таетъ этотъ государственный бытъ, съ другой—они чувствуютъ, что не на чемъ стоять, а поддерживать надо выгодный для нихъ механизмъ, они и поддерживаютъ его — чѣмъ попало, вздувая наше парное православіе въ какой-то иконописный іезуитизмъ, раздѣляя Россію на военные удѣлы и предоставляя удѣльнымъ генераламъ право на жизнь и смерть ихъ подданныхъ и прочее. И при всемъ этомъ печатный листокъ въ тайной типографіи, странно вспыхнувшій лабазъ приводитъ ихъ въ ужасъ, всякій юноша, выходящій впередъ свободнымъ человѣкомъ, заставляетъ трепетать. Они боятся Михайлова, боятся Чернышевскаго. Орловъ-Давыдовъ проситъ конституцію, чтобъ отражать Бокля и Бунцена, Безобразовъ благодаритъ публично Каткова за спасеніе отечества и попраніе *Колокола.*

Правительство, словно обрадовавшись польскому возстанію и пожарамъ, пошло съ конца 1862 г. прямѣе осаживать на всѣхъ путяхъ, на всѣхъ точкахъ.... Съ тѣхъ поръ оно безпрерывно шу-

метъ, давитъ, кричитъ, ставитъ барьеры, дерется, убиваетъ, претъ народъ назадъ своей грудью и лошадинымъ задомъ, т. е. тайной полиціей и *Московскими Вѣдомостями*. Никто явно не препятствуетъ ему и ничего не идетъ *назадъ*, все только жмется и подается то вправо, то влѣво.

Не будь каждый шагъ этого сумбура политъ кровью, сопровождаемъ казнями, казематами, каторжной работой, то зрѣлище, представляемое теперь Россіей, было-бы исполнено всемірно историческаго комизма и ироніи, до которой не доходила ни одна ни божественная, ни діавольская комедія. Это какое-то столпотвореніе вавилонское, шабашъ, геологическій переворотъ, приложенный къ пластамъ гражданской жизни. Все странно, громадно и спутано. Правительство насильственно ломаетъ, либеральное дворянство дѣлается болѣзненной *обструкціей* на дорогѣ къ выходу, консервативенъ собственно одинъ аграрный коммунизмъ, и весь этотъ растворъ подъ надзоромъ полиціи, которая ни во что не мѣшается, а спрашиваетъ „кого бить?“ и бьетъ.

Страшная путаница.

Да, господа, и да здравствуетъ она! Благословите жмурки, въ которыя мы играемъ. Въ этомъ хаосѣ, въ этомъ броженіи, въ этомъ творилѣ устоятся новыя нормы, скристализуются иныя основанія, тѣ, которыя близки душѣ нашей и которымъ было-бы труднѣе пробиться при готовыхъ понятіяхъ, принятыхъ порядкахъ, при вѣрѣ, что солдатъ по праву протягиваетъ мѣломъ черту.

На Западѣ реакція имѣетъ единство и смыслъ. Ея ломанныя линіи представляютъ уклоненія и изгибы, приспособленія и уступки *одного пути*, въ ея выступающихъ и входящихъ частяхъ, въ ея острыхъ и тупыхъ углахъ есть планъ. Западная реакція вовсе не есть дѣло одного правительства, одного плана, а дѣло всѣхъ существующихъ властей и силъ—академіи и церкви, литературы и биржи, исполнительной власти и парламента. Есть *одни* и *тѣ-же* слова, предметы, точки, которыя неминуемо когда вы ихъ коснетесь—вызовутъ во всей Европѣ грозно *постукивающихъ* духовъ. По ихъ появленію можно вѣрно начертить пограничную *линію*, за которую европейская жизнь не идетъ, за которой она окапывается на долгія зимнія квартиры...

Говорите о всеобщей подачѣ голоса, объ уничтоженіи смертной казни, о свободѣ книгопечатанія, вѣроисповѣданій, митинговъ, у васъ будутъ сторонники, будутъ противники, пожалуй явятся постукивающіе жандармы, но *постукивающихъ духовъ* вы не вызовете. Но рядомъ есть вопросы отъ которыхъ равно встрепенутся и отпрянутъ Папа и Маццини, архіерей Дюпанлу и Эдгаръ Кине, вчерашній Бернскій консиліумъ соціальныхъ лѣкарей и завтрашній Туринскій, Sacré College въ Римѣ, и Европейскій комитетъ въ Лондонѣ.

Въ Россіи пограничная линія эта, мѣстами такъ какъ и *снѣжная* теряется. *Мы за ней, мы по ту сторону.*

Отсюда ясно, что правильной реакціи у насъ быть не можетъ,

въ ней нѣтъ дѣйствительной *необходимости*... А какъ скоро реакція безсмысленна, то она и должна носить тотъ безсмысленный характеръ, въ которомъ она является у насъ. Случайные поводы, случайныя мѣры, капризы, непониманія, власть необузданная разумомъ и небоящаяся отвѣтственности, азіатскія привычки и казарменное воспитаніе, никакого плана и никакой системы. Главный отпоръ всегда былъ устремленъ на наружное, на слово, а не на дѣло. Къ половинѣ гоненій примѣшана трусость неспокойной совѣсти и правительственная обидчивость. Типъ петербургскихъ мѣръ остается бритье бородъ, стрижка волосъ, возвращеніе дѣльной бумаги изъ канцеляріи потому что она *не по формѣ написана*. Самъ Николай, тридцать лѣтъ оборонявшій Россію отъ всякаго прогресса, отъ всякаго переворота, ограничивался только *фасадой* строя, не порядкомъ, а *видомъ порядка*. Ссылая Полежаева, Соколовскаго за смѣлые стихи, вымарывая слова „вольность", „гражданственность" въ печати — онъ пропустилъ сквозь пальцы Бѣлинскаго, Грановскаго, Гоголя и сажая на гауптвахту цензора за пустые намеки, не замѣтилъ, что литература съ двухъ сторонъ быстро неслась въ *соціализмъ*.

Снова вступая въ пути отпора и реакціи, правительство «освобожденій и реформъ» показало, что и оно не поумнѣло.

Лицъ оно сгубило бездну съ бездушіемъ и жестокостью, которыя ужаснули-бы всякаго Бенкендорфа и Дуббельта, вотъ и все. Движенія оно не остановило, даже не всгнало его внутрь какъ это было при Николаѣ.

А между тѣмъ правительство никогда не было сильнѣе. Хорошее и дурное, Севастополь и Парижскій миръ, освобожденіе крестьянъ и возстаніе Польши, пустыя угрозы Европы и реформы in spe, все было ему на руку. Литература измѣнила, журналы сдѣлались казанчами III отдѣленія, университетскія каѳедры полицейскими будками, дворянство парализовало себя тоской по крѣпостному праву, крестьяне продолжали ждать воли отъ царя.

Правительство такъ поставленное могло сдѣлать *чудеса по плюсу и по минусу*. Что-же оно сдѣлало?

Постоянно испуганное и на сторожѣ, оно казнило и казнитъ на право и на лѣво, чего никогда не дѣлаютъ правительства чувствующія твердую почву подъ собой. Оно казнило поляковъ побѣдивши ихъ оружіемъ. Оно казнило поджигателей, объявляя потомъ, что тѣхъ поджоговъ, о которыхъ кричали его литературные шпіоны, вовсе нѣтъ; оно ссылало за воззванія, за перехваченныя письма, за чтеніе *Колокола* и било сплеча и безъ разбора каждаго человѣка выдававшагося впередъ не по начальству, не *по формѣ*. Идетъ съ чужбины домой крестьянинъ Мартьяновъ, съ поэтической вѣрой въ земскаго царя, съ довѣріемъ, которое тронуло-бы любого не только помазаннаго, но и разрисованнаго африканскаго самодержца, хвать и Мартьянова дубиной по головѣ да на каторгу.

И въ то-же время ростутъ другія силы возлѣ, вдали, вблизи и переростаютъ *оффиціальную* силу, живущую въ зимнемъ дворцѣ.

Даже тѣ силы, которыя самъ зимній дворецъ вызвалъ, купилъ, воспиталъ и наградилъ—оказываются змѣями отогрѣтыми на груди его.

Правительство разнуздало дикія заявленія патріотизма, поддразнило народную ненависть и религіозную нетерпимость, клеветой своихъ журналовъ, оно призвало народъ въ судьи. Какъ въ 1812 году передъ занятіемъ Москвы французами, графъ Растопчинъ вывелъ на площадь Верещагина и отдалъ его разсвирѣпѣвшей толпѣ, такъ наше *гласное* правительство отдавало своихъ противниковъ стаѣ грязныхъ борзописцевъ, останавливая прикладомъ цензуры всякое оправданіе и всякую защиту. Народныя сходки, открытое обсуживаніе земскаго дѣла, заявленіе своихъ сочувствій къ правительственнымъ лицамъ и мѣрамъ, политическіе банкеты, демагогическіе тосты, террористическія иконы — все было разрѣшено. Государственные мудрецы потирали себѣ руки и не могли нарадоваться какъ „славно подожгли" общественное мнѣніе и какъ злы, кровоохочи спущенные ими агенты литературно-полицейской своры. Глубокіе психологи съ портфелью воображали, что привыкнувши къ людскому стону и людской крови, звѣри ихъ, какъ крыловскія дворняшки полаютъ и перестанутъ, какъ только хозяева свиснутъ—не тутъ-то было.

Двухъ съ половиною лѣтъ не прошло, какъ перейденное въ своемъ собственномъ смыслѣ, правительство захотѣло заарканить свою свору и не могло. У одного министра искусана рука, у другихъ исподнее въ клочьяхъ. Да и что министры, особенно изъ *штатскихъ!* Самъ Константинъ Николаевичъ не нашелъ спуску. *Моск. Вѣдом.* затеребили его, онъ и на кислыя воды отъ нихъ и въ нѣмое предсѣдательство — нѣтъ отбоя, и теперь только покажется изъ Совѣта, въ которомъ притаился, такъ они и зальются опять, такъ и наровятъ изорвать адмиралтейскую шинель...

Правительство съ какимъ-то тупымъ остолбененіемъ видитъ передъ собой, до сихъ поръ неизвѣстную ему власть, которую хочетъ по минованіи надобности прогнать — и которая упирается.... Зачѣмъ было замѣшивать въ семейный концертъ постороннихъ музыкантовъ?

Комическое единоборство министра просвѣщенія съ казеннымъ листомъ, издающимся противъ него подъ фирмой одного изъ подвѣдомственныхъ ему мѣстъ, пройдетъ, пройдетъ и то гнусное настроеніе общественнаго мнѣнія, на которое опирается гнусная газета, но *сознаніе того что можетъ сдѣлать журналъ, когда общественное мнѣніе за него—останется.*

Тоже самое мы видимъ въ другой сферѣ, больше близкой къ самому дѣлу.

Патріотическіе банкеты замолкли, никто не пьетъ больше Муравьеву, ни просто, ни по телеграфу, никто не шлетъ больше любовныхъ адресовъ государю, и время, въ которое будутъ краснѣть вспоминая эту роскошь раболѣпія — не за горами. А привычка сходки, коллективнаго обсуживанія и челобитья останется.

Адресъ московскаго дворянства, въ которомъ они хотятъ не только *любить* государя, но и говорить съ нимъ безъ свидѣтелей, безъ опричниковъ и говорить именно о чиновничьемъ безобразіи — станетъ началомъ конституціонной агитаціи, которая обойдетъ всю Россію и въ свою очередь разбудитъ иную агитацію чѣмъ ту, о которой мечтаютъ Безобразовы и Давыдовы-Орловы. Еслибъ Александръ II, руководствуясь примѣромъ родителя, молча душилъ поляковъ и молча посылалъ-бы на каторгу своихъ, вопросъ о взятіи подъ опеку самодержавія не поднялся-бы такъ скоро...

Ne reveillez pas le chat qui dort.!.. Только на бѣду будить кошку или нѣтъ не такъ зависитъ отъ личной воли какъ кажется. И въ этомъ нѣтъ никакого фатализма, а одна эмбріогенія, однѣ фазы органическаго развитія. Вчера плодъ не былъ зрѣлъ и кошка спала мертвымъ сномъ, сегодня онъ зрѣлѣе. . . . и кошка спитъ сномъ дѣвичьимъ и какъ нарочно ее всѣ будятъ.

Дѣло въ томъ, что *наша груша зрѣетъ* не по днямъ, а по часамъ и потому все будитъ насъ — императоръ Александръ и Молодая Россія, московскіе дворяне и петербургскіе нигилисты, льготы и каторги, ведра и ненастья. Пора намъ твердо убѣдиться въ этомъ и дѣйствовать сообразно убѣжденію.

Дойдемъ мы, конечно, куда идемъ безъ компаса и секстанта, если сила—новая и неожиданная—не остановитъ: но сознаніе освѣтитъ путь и предупредитъ пустое шатаніе изъ стороны въ сторону, смутные шаги назадъ и грубыя ошибки. Намъ надобно впередъ знать *въ какой зодіакальный знакъ* мы вступаемъ.

Мы какъ будто робѣемъ ставить нѣкоторые вопросы. Робость эта почтенна, это тотъ страхъ вмѣстѣ съ вѣрой, съ которымъ христіане звали къ пріобщенію тѣломъ и кровью, къ участію въ „тайнѣ"—но и его необходимо побѣдить. Не все-же иностранцамъ указывать намъ, что у насъ подъ ногами, какъ это сдѣлалъ Гакстгаузенъ. Досадно видѣть, что они ненавистью больше понимаютъ чѣмъ мы любовью—а дѣйствительно понимаютъ.

Оставляя въ сторонѣ враждебные голоса, завывающіе въ ежедневной прессѣ, мы сошлемся на стараго мыслителя, у котораго кровь обращается покойно, который много жилъ въ прошедшемъ, много видѣлъ въ настоящемъ и много думалъ объ обоихъ. Рѣчь идетъ объ Эдгардѣ Кине. Онъ до сихъ поръ мало говорилъ объ Россіи, онъ ею не занимался. Но пораженный теперь „аграрнымъ характеромъ" освобожденія крестьянъ и вглядѣвшись въ него, онъ, нѣсколько испуганный, принялся упрочивать мнѣніе, что Конвентъ, что революція, что 1793 годъ, что Робеспьеръ и его товариши, разрушая все общественное зданіе, касаясь до всего, до головы живаго человѣка, до церковныхъ колоколенъ, до верховной власти, никогда не касались до «собственности» и всего больше до „поземельной собственности", до этой животворящей, единоспасающей основы общества, образованія, семьи, личности, *свободы*. Гражданскій кодексъ — величайшій памятникъ Конвента—

освятилъ и упрочилъ ее. Для Кине *бабувизмъ* (соціализмъ) *чуждый* элементъ не совмѣстный съ геніемъ народовъ франко-гальскихъ, который сбиваетъ революцію съ величавыхъ путей ея, переходитъ предѣлы ей назначенные и теряетъ изъ-за своихъ аграрныхъ грабежей и чечевичной похлебки то, изъ-за чего она сама лила столько крови и пота—*Свободу.*

И вотъ онъ указываетъ вдали на какія-то необозримыя степи рабства и коммунизма, въ которыхъ едва замѣтно и почти молча рухнулась колоссальная поземельная собственность двухъ дворянствъ, прибавляя какъ будто съ ироніей, что «терроръ Конвента никогда такъ далеко не ходилъ—*онъ только убивалъ!*»

...Оно и немудрено, что такъ мало отъ него осталось...

Передъ такого рода сужденіями пора и намъ громко и поднявъ голову сказать нашимъ судьямъ: — „Да, вы правы, мы народъ иначе понимающій поземельную собственность, для васъ соціализмъ былъ заходящимъ солнцемъ, для насъ восходящимъ.... Мы шли за вами, пути наши пересѣклись и мы снова пойдемъ не по одной дорогѣ — *вы пролетаріатомъ къ соціализму, мы соціализмомъ къ свободѣ*".

Колоколъ № 211.
1 Января 1866 года.

КРѢПОСТНИКИ.

Tu te reveilles, belle endormie!

Правой-ли, лѣвой-ли ногой вступитъ Россія въ Новый Годъ, ы не знаемъ, и скорѣе думаемъ *лѣвой*, но во всякомъ случаѣ ждый шагъ ея въ немъ будетъ чрезвычайно интересенъ.

Мертвые, полусгнившіе выходятъ изъ могилъ, не хотятъ лежать въ землѣ, если она отходитъ крестьянамъ.

Правительство безсмысленно хлещетъ по соціальнымъ теоріямъ, крѣпостники прогуливаются съ распущенными знаменами.

Мы слыхали, что передъ смертью выходятъ рубцы кнута у наказаннаго, но никогда не слыхали, чтобъ они выступали и у палачей.

Годъ тому назадъ самъ Катковъ, замаранный всѣми грязями, нагло улыбавшійся, когда его называли „доносчикомъ", отталкивалъ отъ себя обвиненіе крѣпостничества.

Теперь совсѣмъ напротивъ, цѣлая банда бывшихъ рабовладѣтелей открыто плачетъ объ утраченномъ крѣпостномъ правѣ. Она вспоминаетъ о 19 Февралѣ 1861, какъ о днѣ великаго несчастія, въ томъ родѣ какъ французскіе республиканцы вспоминаютъ о 2 Декабрѣ. Чувства эти у нихъ были всегда, мы въ этомъ не сомнѣвались, но они ихъ скрывали. Что же развязало ихъ языкъ?

Два года террора царской демагогіи, плаванья въ крови и насильяхъ, два года подкупной клеветы и казенной журналистики.

Это первый плодъ того растлѣнія общественнаго мнѣнія, кото-

рое такъ мастерски вело правительство, того дикаго, кровожаднаго настроенія, въ которомъ его защитники поддерживали и разжигали умы съ 1862 года. Это первые лавры съ польскихъ побѣдъ, позорныхъ столбовъ въ Петербургѣ, со ссылокъ, казней, пытокъ...

Безцеремонность, съ которой является у насъ крѣпостническая реакція, не часто встрѣчается въ исторіи. Оплакивающіе прошедшее стараются обыкновенно придать ему видъ почтенныхъ мощей, нравственный смыслъ, на его безчестныя раны и грязныя наготы набрасываютъ покрывало. Ничего подобнаго у нашихъ нео-крѣпостниковъ: они жалѣютъ своего права на чужую работу и сердятся на помѣху, такъ какъ воры сердятся на руку закона, мѣшающую имъ красть. Въ нашъ вѣкъ только одна страна доходила до этихъ геркулесовыхъ столбовъ разврата мысли и слова, это Сѣверо-Американскіе Южане, когда они передъ войной являлись въ церквахъ и журналахъ защищать рабство. Свой своему по неволѣ братъ.

Черезъ какія же бѣдствія пройдетъ Россія, если она можетъ производить такой ядъ и не умѣетъ отдѣлываться отъ него? Гнилое худосочіе, унаслѣдованное нами отъ цѣлыхъ поколѣній, родившихся въ развратѣ рабовладѣнья, бродитъ въ нашихъ жилахъ, притупляя сердце, помрачая умъ и доводя горесть за утрату неправой корысти до деркаго протеста — какъ будто одна страсть къ даровому стяжанью въ состояніи вывести насъ изъ апатической дремоты и страдательнаго повиновенія.

Юбилей въ *вольномъ* экономическомъ обществѣ далъ случай обличиться нашимъ нео-крѣпостникамъ. Что такое это *вольное* общество, знаетъ всякій, а кто не знаетъ пусть прочтетъ отчетъ В. Безобразова. Это одна изъ тѣхъ неискусныхъ декорацій, которыми Екатерина II обманывала Европу, въ родѣ картонныхъ деревень, которыми Потемкинъ обманывалъ ее. Пустое, безсмысленное и безжизненное, оно дожило до ста лѣтъ съ той же пользой, съ которой доживаютъ до нихъ попугаи и вороны. Зная съ кѣмъ имѣетъ дѣло, правительство разрѣшило столѣтнему *вольному* обществу собрать со всѣхъ концовъ Россіи сельскихъ хозяевъ, посовѣтоваться съ ними и въ случаѣ нужды сдѣлать свои представленія, т. е. правительство давало ему право собрать конгрессъ по важнѣйшему вопросу народной жизни и предоставило право петиціи, въ которомъ отказало московскому дворянству.

Этотъ конклавъ, этотъ конвентъ сельскаго хозяйства захотѣлъ показать, что и онъ живой и рѣшился... на что вы думаете?... Отгадайте!...

Наши милые трутни подъ вывѣскою пчелъ рѣшились безпокоить правительство? *О принятіи законодательныхъ мѣръ, способствующихъ распаденію сельской общины.* Самому предсѣдателю отдѣленія стало совѣстно и онъ этимъ непроходимымъ рабамъ замѣтилъ, что о такихъ вещахъ судятъ и разсуждаютъ, но не просятъ распоряженій начальства.

По счастью нашелся въ залѣ человѣкъ, который не вытерпѣлъ и сталъ за общину. Рѣчь свою (которую петербургскія газеты имѣли небрежность передать въ нѣсколькихъ словахъ) г. Панаевъ заключилъ тѣмъ, что рѣшать вопросъ о мѣрахъ къ уничтоженію общины въ собраніи представителей капитала и безъ представителей труда было-бы несправедливо. „Самъ-же г. Панаевъ видитъ въ общинѣ лучшее рѣшеніе вопроса объ отношеніи капитала къ труду—великое начало существующее только у насъ. Это начало *право человѣка на землю*".—„*Право на землю*, замѣтилъ г. Бушенъ, то-же самое что извѣстное *право на трудъ!*"*).

Этимъ *намекомъ* дѣло не кончилось, а только началось, букетъ приготовилъ издатель *Вѣсти* г. Скарятинъ: „бойко, внятно и самодовольно сказалъ онъ длинную рѣчь.... въ защиту крѣпостнаго права. Говоря, что защитники общины поставляютъ ея заслугою невозможность пролетаріата, батрачества, г. Скарятинъ нашелъ, что *въ этомъ-то и состоитъ вредъ* общины, ибо по его мнѣнію, *батрачество* (пролетаріатъ) *полезно для государства*, такъ какъ оно отдаетъ рабочія руки во власть искусныхъ домохозяевъ и собственниковъ. До сего времени, по мнѣнію г. Скарятина, благодѣтельную роль, въ этомъ отношеніи играло крѣпостное право. Крѣпостное право была великая производительная сила, говорилъ г. Скарятинъ, пересчитывая благодѣянія крѣпостнаго права, состоящія въ томъ, что помѣщикъ слѣдилъ за хозяйствомъ крестьянина, помогалъ ему, поощрялъ трудолюбивыхъ, исправлялъ нерадивыхъ, и заключилъ такъ: „*Отъ этого порядка вещей выигрывали всѣ: весь этотъ порядокъ рухнулъ 19 февраля 1861 г.* Община не можетъ замѣнить его, и поэтому (въ виду распространенія батрачества) и слѣдуетъ ее уничтожить".

И человѣкъ публично сказавшій это цѣлъ и невредимъ?

Да дѣло-то въ томъ, что вовсе не одинъ человѣкъ, а легіонъ. Вотъ что проповѣдуетъ г. П. Бланкъ:

„Г. Петръ Бланкъ положительно отрицаетъ у всего, что не изображаетъ изъ себя россійскаго патриція, право вмѣшиваться въ управленіе общественными дѣлами; обязанность и право заботиться „объ общественномъ благосостояніи, спокойствіи и порядкѣ", по его мнѣнію, принадлежитъ исключительно однимъ патриціямъ. „Эту лепту обязано дворянство нести на алтарь своего отечества, *въ возмездіе за трудъ рабочій—его питающій и за дѣла торговыя, обезпечивающія его домашнюю жизнь и удовлетворяющія его потребностямъ*". Онъ говоритъ: *рабочіе* люди, куда естественно отнесемъ весь болѣе бѣднѣйшій классъ народонаселенія, по самому названію своему, имѣютъ обязанность, вызываемую *и нуждою* къ содержанію себя (и нуждою, стало быть чѣмъ-то другимъ еще? можетъ быть, необходимостью питать россійскихъ патриціевъ?) и своего семейства, работать на другихъ жителей государства и тѣмъ извлекать средства жизни, а иногда и выгоды для

*) Выписки сдѣланы нами изъ „Спб. Вѣд.", № 293 и др.

самихъ себя“ (но только *иногда*, замѣтьте; постоянно-же не болѣе, какъ на содержаніе себя и при томъ такъ, какъ привыкъ содержать себя рабочій русскій человѣкъ).

«Вы напечатали вашу сказку, говоритъ *Голосъ*, въ газетѣ именующей себя, говорятъ, *представительницею и защитницею интересовъ россійскаго дворянства;* если никто изъ этого дворянства *не уличитъ васъ въ томъ, что вы зашли дальше, нежели требуетъ, по меньшей мѣрѣ, приличіе*, то намъ остается думать, что вашъ взглядъ раздѣляется всѣми россійскими патриціями, то есть, что всѣ они, *вопреки закону*, отрицаютъ у народа, у рабочихъ людей, право на участіе въ дѣлахъ земства, право, предоставленное ему недавнимъ закономъ, чуть-ли не отрицаютъ даже право на образованіе, подъ тѣмъ предлогомъ, что рабочій человѣкъ, будто-бы, и «не гонится за большимъ образованіемъ». Между тѣмъ, въ томъ же номерѣ газеты, гдѣ помѣщена статейка г. Петра Бланка, говорится, что какіе-то „тайные враги дворянства стараются внушить (кому?) будто оно недовольно, раздражено уничтоженіемъ крѣпостнаго права“, и говорятся громкія фразы по поводу того, что „законодатель имѣлъ въ виду уничтожить великую неправду; онъ хотѣлъ возстановить *право людей*, которыхъ прежній порядокъ приравнивалъ къ вещи“. Да развѣ проповѣдывать, что *рабочіе люди* обязаны только вѣкъ свой работать „на другихъ жителей государства“ и только „*иногда*, ради выгоды, для самихъ себя“, не значитъ въ сущности стремиться къ этому прежнему порядку?

Что, господа адресные и неадресные дворяне, какъ вы вывернетесь, какъ уклонитесь отъ нескромно поставленнаго вопроса *Голосомъ?*

Или вы тоже вѣрите по Аристотелю и Бланку, что есть натура рабская и натура человѣческая и что если гдѣ нѣтъ пролетаріата, такъ *его надобно разводить?**)

И вы, г. Голохвостовъ, «живущій вѣрою хоть въ день смерти поклониться Россіи, какъ самой великой, самой могучей и самой *свободной* державѣ въ мірѣ»?

И вы, г. Орловъ-Давыдовъ, графъ-богословъ, любомудръ**) и ученикъ Эдинбургскаго университета?

---

*) Какъ жаль, что помѣщики поздно догадались о грядущемъ запросѣ на пролетаріатъ, они могли-бы, при тѣхъ поощрительныхъ и христіанскихъ средствахъ, которыя имъ давалъ законъ до несчастнаго 19 Февраля, поставить большое количество матеріала.

**) Извѣстному противнику Бунцена и Бокля титулъ богослова принадлежитъ давно, но истиннымъ любомудромъ явился графъ въ послѣдніе „дебаты“, гдѣ онъ съ такой новой ясностью истолковалъ московскому дворянству различіе между олигархіей и аристократіей. „Аристократія и олигархія, сказалъ сіятельный ораторъ, это два понятія совершенно несогласныя между собой. Олигархія есть стремленіе сосредоточить власть въ рукѣ *немно-*

Не можетъ быть.

Конечно не можетъ быть — но дайте намъ медъ вашихъ рѣчей, а то какъ-бы и васъ не постигла участь, которой одинъ изъ васъ „между жаркимъ и бланманже“ пугалъ клеветниковъ дворянства, говоря, „что они преступники передъ *человѣчествомъ* (ennemis du genre humain!) и что ихъ ждетъ проклятіе потомства и разныя историческія непріятности“.

. . . . И куда дѣлись всѣ рьяные, матерые друзья и защитники меньшихъ братій, общины, общиннаго землевладѣнія?...

Гдѣ И. Аксаковъ?

Гдѣ Ю. Самаринъ?

Не лучше-ли было-бы вмѣсто *духовнаго* Дня издавать День *свѣтскій* — и ломать копья за наше *право на землю* — чѣмъ отвѣчать цѣлыми печатными листами убійственной скуки какому-то отцу Мартынову, котораго письма никто не читалъ и читать не будетъ?

Проснитесь Бруты! Пока вы ликовали побѣду надъ Польшей и занимались уничтоженіемъ іезуитовъ — посмотрите какую безобразную голову подняло православное помѣщичество.

Колоколъ № 214.
15 Февраля 1866 года.

УЖАСЪ ВЪ ВРАЖЬЕМЪ СТАНУ.

Соціализмъ!—будто соціализмъ существуетъ?—Прудонъ, пережившій его, самъ умеръ; никто во всей Европѣ не занимается имъ, не боится его, spectre rouge былъ электоральной уловкой бонапартизма. Утописты и мечтатели образумились, кто въ Каенѣ, кто въ конторѣ у Перейры, кто въ Сенатѣ...

Такъ кричатъ консерваторы и тонкіе политики, а съ ними и вся золотая посредственность въ Европѣ.

То же, но съ ругательствами и грубостями повторяетъ наша мѣдная посредственность, наши свѣжепросольные тори, нео-крѣпостники и славяно-идіотствующіе братія.

А на сердцѣ у нихъ все что-то не ладно. Нѣтъ, нѣтъ—а что-то страшно и все страшнѣе, будто и spectre rouge не бредъ, будто и не весь соціализмъ въ конторѣ Перейры, будто они ходятъ по кратеру...

Кому не случалось быть свидѣтелемъ увѣренности чахоточныхъ въ томъ, что болѣзнь прошла и они выздоравливаютъ, и вдругъ

ихъ людей, тогда какъ аристократія стремится привлечь къ управленію *лучшихъ* людей“. Изъ этого ясно, что демократія старается набрать въ управленіе что ни есть хуже негодяевъ. Какая-же будущность у нея? Мы рекомендуемъ составителямъ прописей и христоматій, не упускать изъ виду эту дѣтскую, но глубокую сентенцію Графа.

глухой, странный кашель изъ пустой груди пугаетъ больного, безпомощно смотритъ онъ на васъ большими глазами, какъ-бы спрашивая: „Какъ вы думаете, кажется это не простой кашель?“

Чахоточные больные очень жалки, этого нельзя сказать о нашихъ Собакевичахъ консерватизма.

Газета крѣпостниковъ, шпынявшая надъ соціалистами, шпынявшая надъ нами, послѣ того какъ *Моск. Вѣдомости* насъ убили, вдругъ закашлялась, поперхнулась чѣмъ-то зловѣщимъ, и передъ испуганными глазами пронеслось все ненавистное—Положенія 19 Февраля и *Колоколъ* (который такъ ничтоженъ, такъ ничтоженъ...), и право на землю, и *батраки*, домогающіеся его... Что же это говоритъ Газета: „Прежде соціализмомъ занимались гимназисты, *юные канцеляристы* и умственные недоросли, а теперь занимаются имъ люди серьезные и гдѣ же?—въ самомъ правительствѣ и еще подъ чьей эгидой?—подъ эгидой Положеній 19 Февраля, послужившихъ *рѣшительнымъ* шагомъ къ усиленію у насъ соціализма... При такомъ ходѣ дѣла соціализмъ дѣлается серьозной опасностью, подъ право собственности (какъ его понимаетъ газета) подкапываются люди практическіе, имѣющіе *опредѣленную цѣль*... Собственности угрожаютъ люди *способные*, *энергическіе*, *дѣльцы*... Что значатъ передъ этими дѣльцами такіе младенцы какъ Прудонъ, Луи Бланъ? Эти послѣдніе говорили праздныя рѣчи и умѣли бунтовать чернь, съ которой легко справляться картечью, какъ это сдѣлалъ Каваньякъ. Первые же дѣлаютъ свое дѣло втихомолку, но *прочно и основательно*.“

Не зная какъ быть, Газета бросается очистить правительство отъ пагубнаго признанія *права на землю* въ принципѣ: „Этотъ принципъ дѣйствительно провозглашенъ и поддерживался настойчиво, но гдѣ?—въ лондонскомъ журналѣ *Колоколъ*. Отсюда до введенія права на землю, какъ принципа, въ русское законодательство еще далеко.“

Далью насъ не испугаешь... мы и почтовыхъ лошадей ждать умѣемъ, и на своихъ привыкли ѣздить изъ степныхъ деревень въ Москву. А что на *фактѣ* право на землю признано—этого топоромъ не вырубишь. Если *фактъ* постоитъ за себя, такъ взойдетъ и въ законъ, обобщится и въ принципъ, и въ право.

„Крестьяне освобождены съ землею не потому, чтобы законъ призналъ *какое-то право* работника на обрабатываемую имъ землю, а потому, что законодатель опасался предоставить неизвѣстности 20 милліоновъ людей.“

Эта-то *опасность* и сдѣлается закономъ (nécessité fait loi), эта-то необходимость, не имѣя передъ собой болѣе энергическаго препятствія, какъ возгласы нѣсколькихъ крѣпостниковъ, и станетъ правомъ. Или можетъ праву придается мистическій, теологическій смыслъ, тогда это не по части шляхетной *Вѣсти*, а принадлежитъ въ бозѣ преставившемуся *Дню*. но *День*-то именно и проповѣдывалъ „право на землю“, точно такъ, какъ и мы грѣшные соціалисты.

Въ заключеніе *Вѣсть* обращаетъ серьезное вниманіе всѣхъ русскихъ собственниковъ на этотъ новый фактъ соціализма:

„Пусть они всмотрятся серьезно въ положеніе дѣла и зорко слѣдятъ за люльми, которые стали заниматься соціализмомъ не изъ любви къ искусству, а потому что это сдѣлалось выгоднымъ(?) Пусть они не послужатъ жалкимъ орудіемъ въ рукахъ людей корыстныхъ. Или право собственности, или соціализмъ, какъ въ тамбовской, такъ и въ лифляндской губерніи. Если батраковъ, людей свободныхъ, не крѣпостныхъ, слѣдуетъ надѣлить помѣщичьею землею въ курляндской губерніи, то слѣдуетъ же и московскихъ мѣщанъ надѣлить чьею нибудь землею. Повторяемъ, или право собственности, или соціализмъ. Или Европа, или киргизская степь. Середины тутъ нѣтъ."

Ну, а какъ есть?

Колоколъ № 215.
1 Марта 1866 года.

ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ И КАВАЛЕРЪ М. С. ХОТИНСКІЙ.

(Эпизодъ изъ исторіи нашего заморскаго шпіонства).

М. С. Хотинскій, прочли мы съ мѣсяцъ тому назадъ въ русскихъ газетахъ, умеръ; онѣ отмѣтили его ученые труды, его 65 лѣтъ, ловкій переводъ популярной астрономіи Араго, и забыли его *походъ въ Лондонъ*. Желая пополнить этотъ пробѣлъ, мы разскажемъ его.

Въ началѣ 1863 года, какой-то старикъ явился въ нашу типографію въ Лондонѣ и, послѣ разныхъ приготовленій и околичнословій, сказалъ Чернецкому, что у него есть тетрадь какихъ-то отрывковъ непропущенныхъ цензурой, что онъ хотѣлъ-бы дать ихъ мнѣ, но боится что я окруженъ шпіонами. Онъ спрашивалъ: не возьмется-ли Чернецкій ихъ передать. Чернецкій обѣщалъ ему сказать мнѣ и совѣтовалъ просто заѣхать въ Orsett house. Онъ отказался. . . . Нѣсколько разъ приходилъ въ типографію, бралъ книги и *Колоколъ* и, наконецъ, все таки рѣшился, не смотря на опасность, ѣхать ко мнѣ. Два раза онъ не засталъ меня, я поѣхалъ къ нему. Наружность Хотинскаго, (онъ-же порусски былъ въ грязномъ, засаленомъ халатѣ на распашку и въ грязномъ бѣльѣ), очень не понравилась мнѣ. Онъ былъ учтивъ до униженья, шамшилъ беззубые комплименты, не могъ придти въ себя отъ радости, отъ волненія, что видитъ меня. И вдругъ началъ мнѣ разсказывать, что и онъ на старости лѣтъ гонимъ, что его призывали въ Ш отд. за какіе-то стихи въ пользу студентовъ, потомъ, чтобъ похвастать поэтическимъ дарованіемъ своимъ, сталъ мнѣ декламировать отвратительно-циническое стихотвореніе à la Barkoff. Когда онъ кончилъ, я промолчалъ и не улыбнулся. Онъ нѣсколько сконфузился и замѣтилъ, что онъ эти стихи читалъ

Потапову въ свое оправданіе въ III отдѣлен. „И вѣрно съ успѣхомъ", прибавилъ я.

Что это, просто-ли развратный, плюгавый старичишка, вырвавшійся изъ общества въ которомъ „оправдываются" похабными стихами, или хуже? Во всякомъ случаѣ я рѣшился быть съ нимъ очень осторожнымъ.

Вечеромъ, въ одно воскресенье онъ явился ко мнѣ, я предупредилъ всѣхъ, что *я за него не отвѣчаю*. Онъ распрашивалъ о русскихъ и полякахъ, и показался мнѣ до того подозрительнымъ, что я его шутя спросилъ во второе посѣщеніе: „А что, какъ вы думаете, слѣдуетъ, или не слѣдуетъ колотить шпіоновъ если подвернутся?" — „Что за доказательство колотить, отвѣчалъ Хотинскій, исколотить можно всякаго, если есть сила въ рукахъ". — „Вы мирный гражданинъ", сказалъ я ему и подумалъ: „онъ боится, это очень подозрительно, надобно отъ него отдѣлаться".

Онъ былъ раза два еще и тоже вечеромъ въ воскресенье. Пока я придумывалъ какъ ему затворить дверь, приходитъ письмо. Знакомый почеркъ извѣщаетъ меня о томъ, что Хотинскій отправленъ шпіономъ изъ Петербурга, съ 1000 фр. жалованья въ мѣсяцъ, слѣдить за мной и моими знакомыми. Въ истинности письма я не имѣлъ никакого сомнѣнія.

Здѣсь надо пріостановиться и сказать, что подобнаго рода письма мы получали не разъ. Искренняя и глубокая благодарность анонимнымъ друзьямъ, дѣлавшимъ намъ или лучше *нашему дѣлу* такую великую услугу.

Первое письмо извѣщало насъ о *Михайловскомъ*, сидѣльцѣ у Трюбнера. Онъ предложилъ свои услуги черезъ Хребтовича (тогдашняго русскаго посла въ Лондонѣ) и обѣщался, за 200 фунтовъ въ годъ, доставлять списки лицъ, посѣщающихъ насъ, образчики рукописей, выкраденныхъ изъ типографіи, по мѣрѣ возможности узнавать пути, по которымъ посылается „Колоколъ", (отъ Трюбнера онъ же самъ посылалъ), и имена корреспондентовъ. Вышло затрудненіе: кто долженъ платить эти 200 фунтовъ. Князь Горчаковъ отказался, князь Долгорукій тоже не хотѣлъ, рѣшились спросить государя. Пока шли переговоры, мы получили письмо, уличили Михайловскаго, прогнали его отъ Трюбнера и напечатали въ журналахъ.

Дѣло было въ 1857 году, въ тѣ времена, когда государю „еще новы были всѣ наслажденья самовластья" и шумъ льстецовъ, и сонмъ шпіоновъ.

—Кто велѣлъ составить этотъ листъ? спросилъ Александръ Николаевичъ, бросая образцовый списокъ нашихъ гостей въ каминъ.

—Его представилъ Хребтовичъ.

—Онъ меня компрометируетъ.

И Хребтовичу достался нагоняй.

Бруновъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ дѣлать что нибудь подобное. Тайные агенты при немъ перестали дѣйствовать явно.

Второе письмо извѣщало насъ о Шуваловской родомонтадѣ,

грозившей извести меня. Это письмо, послужившее косвеннымъ образомъ моему воскрешенію изъ мертвыхъ въ русской печати и прямымъ отвѣту отъ Шедо-Ферроти на мое письмо къ Брунову, — было получено въ двухъ экземплярахъ, одно было адресовано на имя Ліонеля Ротшильда и прочтено мною въ его присутствіи, другое на имя одного изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ литераторовъ, который тотчасъ мнѣ его доставилъ.

И вотъ третье письмо, предупреждающее о Хотинскомъ. Обличить стараго негодяя было необходимо. Съ письмомъ въ рукѣ отправился я къ князю П. В. Долгорукову, 10 Апрѣля 1863 года, онъ только что пріѣхалъ въ Лондонъ и жилъ въ Альбермаль отелѣ. Онъ Хотинскаго знавалъ еще въ Петербургѣ и не подозрѣвалъ, но письмо, мною полученное, его не удивило. Дѣйствительно, въ Хотинскомъ было что-то впередъ подтверждавшее всякаго рода обвиненія.

Рѣшили мы пригласить астронома ко мнѣ и прочесть ему при свидѣтеляхъ письмо. Я бралъ на себя обвинить его въ глаза; далѣе программа не шла, мнѣ особенно хотѣлось ее оставить импровизаціи, вдохновенію минуты. Чтобъ сговориться о времени, мы послали одного изъ нашихъ знакомыхъ звать вечеромъ кой-кого изъ назначенныхъ къ Долгорукову; распорядившись, я пошелъ читать газеты, а Долгоруковъ обѣдать въ Wellington. Тутъ счастливая звѣзда помогла астроному-наблюдателю. Онъ случайно тоже обѣдалъ въ Wellington'ѣ, подошелъ къ князю и объявилъ ему свое желаніе идти къ нему вечеромъ. Такимъ образомъ встрѣча съ нимъ, по его собственной винѣ, была не у насъ.

Когда я взошелъ къ Долгорукову, я засталъ почти всѣхъ и между прочими Хотинскаго, покойно развалившагося на диванѣ, онъ былъ въ прекраснѣйшемъ расположеніи духа, хорошо поѣлъ, хорошо выпилъ и, ничего не подозрѣвая, ждалъ чаю.

—А вотъ и А. И., сказалъ онъ, вставая и подавая мнѣ руку.

—Погодите, прежде чѣмъ я вамъ подамъ руку, я хочу вамъ прочесть письмо.

Всѣ кругомъ молчали. Хотинскій взглянулъ на меня, на нихъ, и совершенно измѣнился въ лицѣ.

—Что такое? Очень радъ.

—Садитесь... онъ сѣлъ къ столу, я взялъ другой стулъ, сѣлъ возлѣ и громко прочелъ письмо, напирая на слово *шпіонъ*.

Старикъ вскочилъ и, растерянно глядя то на меня, то на другихъ, сказалъ: Гдѣ? кто? кто этотъ злодѣй, этотъ подлецъ, который меня обвиняетъ, его имя?—дайте его письмо!

—Да вѣдь не меня, а *ваше превосходительство* обвиняютъ въ шпіонствѣ, а если я вамъ скажу имя, дамъ письмо, я такой же буду шпіонъ.

—Господа, сказалъ онъ, этого я не ожидалъ... Что же это, и онъ вдругъ, понижая голосъ и кривляясь, плаксиво простонадъ: Вспомните, у меня есть дочь, пощадите *честное* имя старика... вы его запятнаете по извѣту...

—Объ вашей дочери слѣдовало прежде думать, сказалъ я, съ презрѣніемъ глядя ему въ глаза.

Хотинскій закричалъ: Что это, guet-apens?...

Огаревъ, вѣчно тихій, закричалъ на него еще сильнѣе. Онъ срѣзался.

Какъ невыразимо гадокъ былъ этотъ грязный старичишка, каждая черта его выражала страхъ, стыдъ, безсильную злобу пойманнаго звѣря, онъ былъ увѣренъ, что его поколотятъ; еслибъ не князь Долгоруковъ и не Albermal Hôtel, можетъ его довѣріе и оправдалось бы. Я конечно не препятствовалъ бы. Этого рода тварей въ сущности ничѣмъ не проберешь, кромѣ тѣлесной боли и лишеніемъ средствъ, но послѣднее не возможно.

Я усталъ, глядя на него, нервы не выдержали столько гадости —и почти не принималъ никакого участія въ финалѣ.

Хотинскій обернулся ко всѣмъ бывшимъ въ комнатѣ и вопіющимъ гласомъ спросилъ: Неужели, господа, вы меня считали за доносчика?

—Считали, отвѣчали всѣ.

—Вы меня спрашивали имя банкира, которому можно вѣрно поручить деньги *въ Петербургѣ*. для пересылки въ *Общій Фондъ*.

—Вы три раза допытывались узнать отъ меня фамилію молодого русскнго, котораго вы встрѣтили въ Orsett House.

Наступило минутное молчаніе.

— Князь, сказалъ я, вы хозяинъ, освободите насъ отъ его присутствія.

— Вы понимаете, сказалъ ему Долгоруковъ, что единственное одолженіе, которое вы можете намъ сдѣлать—это выйти вонъ.

Хотинскій хотѣлъ что-то сказать.

— Возлѣ васъ колокольчикъ, сказалъ Долгоруковъ.

Слово колокольчикъ подѣйствовало. „Я иду, я оставляю васъ — бормоталъ дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ, я прерываю всѣ сношенія — я такъ уважалъ“ и онъ бросился, забывъ свое пальто и внутренно радуясь цѣлости щекъ и реберъ.

Пальто ему бросили въ слѣдъ, а Долгоруковъ громко сказалъ лакею внизу: „этого человѣка не пускать больше.“

Мы пошли по домамъ, въ грустномъ расположеніи, сцена сама по себѣ была гадкая, и чего-то не доставало...

... Знаменитый физіологъ Лонже, гуляя какъ-то со мною въ Montpellier и жалуясь на боль, оставшуюся въ боку отъ сильной плёрези, сказалъ мнѣ: „А знаете-ли отъ чего у меня была эта проклятая плёрези? Вы не повѣрите—а я васъ увѣряю, что такъ. Вы знаете, что мы заклятые враги съ ***.“ Онъ назвалъ одного академика. „Разъ этотъ злой старичишка до того меня разсердилъ, что я схватилъ его за руку и внѣ себя отъ бѣшенства сказалъ ему: „если вы не замолчите, еще одно слово...“ Онъ замолчалъ и я его не поколотилъ—а пришелъ домой въ лихорадкѣ и слегъ въ постель. Поколоти я этого изверга, у меня не было бы плёрези.“

Въ 161 листѣ *Колокола* (15 Апрѣля 1863) мы напечатали о вѣсти, полученной нами на счетъ астронома Хотинскаго, и прибавили: „Предоставляя г. Хотинскому всѣ средства подтвердить или опровергнуть оффиціальность своего ученаго порученія, мы съ своей стороны готовы всегда способствовать благодѣтельнымъ видамъ правительства и, убѣжденные что въ Англіи всего труднѣе дѣлать знакомства — постараемся *слѣдующаго миссіонера-наблюдателя* рекомендовать англійскому народу.“

Послѣ сцены въ Albermal Hôtel, Хотинскій скрылся — и мы стали забывать его, какъ вдругъ снова письмо: „Хотинскій опять отправляется въ Лондонъ, вѣроятно онъ будетъ тамъ вмѣстѣ съ этимъ письмомъ и проч.“ Неимовѣрная глупость этого шпіонскаго *рецидива*, заставила меня сначала усомниться, а потомъ вдвое повѣрить въ нее.

Нѣсколько дней прошло—ни слуха, ни духа. Русскіе, не говорящіе поанглійски, останавливаются обыкновенно въ грязныхъ французскихъ отеляхъ на Лестеръ-Скверѣ и на улицахъ и переулкахъ къ нимъ притекающихъ. Это центръ лондонскаго разврата, ночныхъ кабаковъ, ночныхъ сильфидъ. Кафе-шантанъ, Аргайльрума и всѣхъ другихъ румовъ, съ музыкой и безъ музыки. По химическому сродству и этнографической необходимости, наши соотечественники средней руки льнутъ къ этимъ мѣстамъ. Хотинскій по всѣмъ правамъ долженъ былъ осѣсть тамъ, да тамъ онъ и прежде жилъ. Я отправился сначала на его старую квартиру, хозяйка сказала, что у нея онъ не былъ, (она продавала газеты), но что кажется *она его видѣла на улицѣ*.

За тѣмъ я пошелъ въ Sablonnière Hôtel. Помните-ли вы, сказалъ я консьержу, мѣсяца два тому назадъ у васъ стоялъ такой-то? Мнѣ говорили, что онъ опять пріѣхалъ.

—Нѣтъ не помню.

—Да онъ такой, такой—старый, беззубый.

—Позвольте, онъ польскій генералъ?

—Можетъ быть.

И консьержъ справился въ книгѣ. M. Chotinski, général polonais, да онъ съѣхалъ.

—Гдѣ-же генералъ теперь живетъ?

Коммиссіонеръ стоявшій у входа, сказалъ что онъ живетъ возлѣ, на Лестеръ-Скверѣ, въ такомъ-то №.

—Пожалуйста сходите къ нему, и спросите дома-ли онъ?

Коммиссіонеръ пошелъ. А я, обратясь къ консьержу и гарсонамъ, сказалъ: Вы не подумайте, что я знакомъ съ этимъ человѣкомъ, или что онъ въ самомъ дѣлѣ польскій генералъ, онъ русскій шпіонъ. Если вамъ случится кому-нибудь это разсказать, даже ему самому, то не забудьте отъ кого слышали — и я передалъ консьержу карточку, къ великому удовольстію его и его товарищей.

Коммиссіонеръ возвратился. Дѣйствительно Хотинскій жилъ тамъ, но его не было дома.

Оставить Хотинскаго въ покоѣ было невозможно. Я началъ съ того, что пошелъ въ ближнее кафе и написалъ короткое извѣщеніе о возвращеніи „русскаго агента Хотинскаго въ Лондонъ“, предостерегая поляковъ нашихъ друзей и отмѣтивъ его квартиру. Съ этой запиской пошелъ я въ Daily News. Въ редакціи засталъ я Эдуарда Пигота. Напечатаете? спросилъ я — „Да, если вы подпишете“.—Письмо подписано. Отъ Пигота я пошелъ лабиринтомъ крошечныхъ, продымленныхъ переулковъ, каждый съ своимъ скверным запахомъ, отдѣляющимъ Флитъ Стритъ отъ Соо. Тамъ въ одномъ изъ наиболѣе продымленныхъ переулковъ, держалъ крошечный кафе, бывшій мой поваръ, отличнѣйшій и прекраснѣйшій старикъ Валеріано Тассинари. Романьолъ, старый солдатъ итальянскаго возстанія, рефюжье со временъ римской кампаніи 1849 года, одна изъ тѣхъ цѣликомъ выдѣлавшихся плебейскихъ натуръ, недальнихъ, честныхъ, простыхъ, героическихъ, для которыхъ la patria, l'unita, l'indipendenza italiana — религія, долгъ нравственность, семья; для которыхъ Маццини и Гарибальди — Богъ и Папа. Уставши жариться у плиты нѣсколько часовъ къ ряду, старикъ завелъ свое маленькое заведеніе, едва доставлявшее ему пропитаніе. Къ нему-то я и явился часу въ девятомъ вечера. Старый левъ печально сидѣлъ съ трубочкой въ зубахъ, передъ бутылкой какого-то итальянскаго вина, положа свою сѣдую бонаротіевскую голову на руку, онъ крѣпко думалъ. . . . объ Италіи-ли думалъ онъ, или объ томъ, что финансы плохи?

— Тассинари, я къ вамъ съ просьбой. Онъ поднялъ голову. Я разсказалъ ему первую исторію съ Хотинскимъ, а потомъ мое новое обрѣтеніе честнаго старца.

—Birbone!—говорилъ старикъ, и лице его все больше и больше оживлялось.—Faut-t-il lo battr'ъ?

—Pas encore, отвѣчалъ я смѣясь, но надо его взять подъ надзоръ, чтобъ онъ не уѣхалъ, не переѣхалъ, не пропалъ-бы изъ виду. Гдѣ его въ Лондонѣ потомъ сыщешь?

—Je capite perfetemente, je capite, будьте покойны.

„Le vieux coursier a senti l'aiguillon“.

Старикъ скучалъ, былъ безъ дѣла, единственное развлеченье, которое у него было „эскармуши“ съ его супругой, француженкой и съ мальчикомъ сыномъ, котораго онъ любилъ безъ души и колотилъ, чтобъ сдѣлать „человѣкомъ“, ему надоѣло, онъ былъ безъ дѣла, безъ занятія. Вдругъ Iddio посылалъ ему заботу, хлопоты и въ перспективѣ надежду поколотить un agente del Tzar... и Тассинари помолодѣлъ—налилъ мнѣ стаканъ ужаснаго итальянскаго вина, увѣряя что оно очень хорошо—и что онъ его получаетъ прямо съ корабля какого-то капитана; послѣднее могло быть справедливымъ, но о вкусахъ спорить не велѣно.

Daily News утромъ, Express, Evening Star и проч. вечеромъ возвѣстили на другой день Лондону о пріѣздѣ шпіона и о его мѣстѣ жительства. Хотинскій, съ христіанскимъ смиреніемъ схлеб-

нувшій все что было въ Albermal street, увидя свое имя въ англійскихъ газетахъ, написалъ мнѣ слѣдующее письмо *(Кол., листъ 165, 10 Іюня 1863)*:

„Мм. Гг. Въ № 161 «Колокола» я прочелъ статью, въ которой вы извѣщаете о полученномъ вами увѣдомленіи, что какой-то профессоръ Ходинскій или Хотынскій отправленъ отъ Ш отд. наблюдателемъ въ разныя страны и между прочимъ въ Лондонъ, съ жалованьемъ по 12,000 фр. или руб., за симъ вы прибавляете, что какой-то д. с. с. Хотинскій проживаетъ въ Лондонѣ и занимается разными наблюденіяли и пр.

„Я не отвѣчалъ тотчасъ-же на это извѣщеніе, потому что находился въ Россіи. Нынѣ, возвратясь на короткое время въ Лондонъ, спѣшу настоящимъ отвѣтомъ, покорнѣйше прося васъ, мм. гг., во имя *правды*, которой защитниками вы себя объявляете, напечатать это письмо въ ближайшемъ номерѣ вашего журнала.

„До профессора Ходинскаго или Хотынскаго, котораго я вовсе не знаю, мнѣ нѣтъ никакого дѣла, равно какъ и до сдѣланнаго ему будто-бы порученія. Что-же касается до меня нижеподписавшагося, то я долгомъ считаю довести до вашего и всѣхъ вашихъ читателей свѣдѣнія, что я ни отъ кого подобныхъ порученій не принималъ, да вообще исполнять такія порученія несогласно съ моимъ характеромъ и убѣжденіями. Я, въ теченіи слишкомъ двадцати лѣтъ занимаюсь постоянно науками, а въ послѣднее время присоединилъ къ тому еще промышленно-торговое предпріятіе; къ соглядатайству-же и миссіонерству чувствую себя совершенно неспособнымъ. Что касается до средствъ моихъ къ жизни, то хотя до этого никому нѣтъ никакого дѣла, но я могу откровенно сказать вамъ, что, не говоря о собственномъ небольшомъ состояніи, я напечаталъ болѣе двадцати томовъ учено-литературныхъ трудовъ и сотрудничалъ во многихъ русскихъ журналахъ, что доставляло мнѣ постоянно около 4,000 руб. въ годъ и мѣнятъ этого *честнаго труда* на тотъ, который вы мнѣ навязываете, я не намѣренъ и даже не вижу выгоды.

„Если вы имѣете какія-либо положительныя доказательства, что я продалъ себя, то напечатайте ихъ и пусть публика судитъ насъ. Если-же этихъ доказательствъ нѣтъ, то взводимое на меня обвиненіе есть чистая *клевета!* Спрашиваю васъ и каждаго—позволительно-ли бросать грязью на честное имя человѣка изъ за подозрѣнія, неимѣющаго никакихъ положительныхъ основаній? Вызываю васъ доказать мою виновность и если вы не докажете (что я энергически утверждаю), то пусть весь стыдъ клеветы падетъ на ея изобрѣтателя. Я былъ въ Лондонѣ и теперь нахожусь здѣсь по моимъ частнымъ дѣламъ и занимаюсь покупками, да посѣщеніями здѣшнихъ ученыхъ учрежденій, а не присматриваніемъ за кѣмъ-бы-то ни было, или вывѣдываніемъ какихъ-либо тайнъ политической пропаганды.

„Повторяя просьбу мою о напечатаніи этого письма въ ближайшемъ номерѣ „Колокола“, я желаю вамъ, мм. гг., того-же

спокойствія совѣсти, которымъ самъ наслаждаюсь.—М. Хотинскій, 31, Leicester Square, London."

Мы отвѣчали въ томъ-же „Колоколѣ":

„Для насъ эта исповѣдь наивнаго сердца также мало опровергаетъ связи ученаго автора „двадцати томовъ" съ III отд. канцеляріи е. в., какъ его личное объясненіе у князя П. В. Долгорукова, которое г. Хотинскій запамятовалъ, не смотря на то, что „Листокъ" могъ ему легко напомнить.

„Требовать отъ насъ доказательствъ *документальныхъ* — старая шутка. Мы можемъ доказать только доносомъ на того кто писалъ, но доносовъ мы не дѣлаемъ, или дѣлаемъ ихъ на основаніи similia similibus, исключительно на шпіоновъ. Письмо, въ которомъ насъ извѣщали о служебныхъ рекреаціяхъ г. Хотинскаго, я *ему читалъ вслухъ* при пяти свидѣтеляхъ, и онъ не изъявилъ никакого сомнѣнія въ его матеріальной достовѣрности. Но дѣло не ограничивается этимъ письмомъ. Мы были извѣщены и о *послѣдующихъ дѣйствіяхъ* ученаго корреспондента потаповскаго заведенія; мы знали, что онъ снова ѣдетъ въ Лондонъ (въ чемъ можемъ сослаться на кн. П. В. Долгорукова и на нѣсколько другихъ свидѣтелей) и не знали чему больше дивиться—цивическому-ли мужеству г. Хотинскаго, или нелѣпости Потапова, посылающаго того же тайнаго корреспондента въ тотъ-же городъ, гдѣ его тайный трудъ былъ такъ ясно оцѣненъ — забывая, что маскарадная шутка оканчивается тамъ, гдѣ падаетъ маска.

„За симъ, издатели „Колокола", отказываются отъ помѣщенія всякаго рода писемъ и статей г. Хотинскаго — кромѣ „Колокола" есть много органовъ для такихъ продуктовъ".

. . . . Черезъ день послѣ того какъ я посѣтилъ Тассинари, онъ явился ко мнѣ часовъ въ 8 утра, причесаный и веселый, онъ принесъ мнѣ рапортъ, что Хотинскаго отдалъ подъ надзоръ, что questo birbante труситъ чего-то, никого не принимаетъ, не открываетъ ставни въ спальной и что ему принесли вчера на домъ три бутылки Porto и шесть портера.

—Allez! il est sous une bonne sourveillanse.—J'ai là, au rez-de chaussée, un perroquet, qui me dit tout...

Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на итальянца.

—Si, si, il est des nostres ce perroquet, è da Forli...

Давно-ли это попугаи извѣстные за болтовню употребляются по части шпіонства за шпіонами?

—Lui m'a arrangé la barba stamatine, c'est un grand ami à moi.·.

Тутъ только я понялъ, что дѣло шло не о попугаѣ, а о *парикмахерѣ*, который жилъ въ одномъ домѣ съ Хотинскимъ.

Я не могъ не разсказать этотъ комическій инцидентъ, который насъ тогда необыкновенно смѣшилъ.

Хотинскій замѣтилъ надзоръ и, вѣроятно раза два встрѣтивъ Тассинари, не вынесъ его глаза и однимъ добрымъ утромъ уѣхалъ изъ Лондона *„въ Тенерифъ дѣлать наблюденія надъ солнечнымъ затмѣніемъ"*, какъ онъ объявилъ хозяину.

Похожденія его какъ шпіона въ Лондонѣ и сцена въ домѣ у Долгорукова разнеслись, но такъ велико растлѣніе русскаго общества, что лазутчикъ осмѣлился явиться ораторомъ въ географическомъ обществѣ, и считающія себя честными газеты — помянули его добрымъ словомъ послѣ его смерти.

Годъ тому назадъ мнѣ разсказывалъ одинъ флотскій капитанъ, что его товарищъ, бывшій въ 1863 году въ Лондонѣ, съ своимъ кораблемъ, сказывалъ ему, что Хотинскій пріѣзжалъ на его корабль, предлагалъ молодымъ офицерамъ, штурманамъ и гардемаринамъ „Колоколъ" и «Полярную Звѣзду», говорилъ, что знакомъ со мной, что бываетъ у Долгорукова и спрашивалъ не хотятъ-ли они познакомиться. Быть представленнымъ Хотинскимъ никто не хотѣлъ, но молодые люди взяли у него книги и „Колоколъ", *а онъ донесъ объ этомъ въ III отдѣленіе*, и еслибъ, говорилъ мнѣ капитанъ, не братъ начальника того корабля, то молодые люди попались-бы по милости этого негодяя въ бѣду.

Какой почтенный старецъ и какое почтенное правительство, употребляющее такія средства!

Колоколъ № 217.
1 Апрѣля 1866 года.

1789

Еще шагъ, и мы увидимъ États Généraux на Невѣ. Мы прямо идемъ къ 1789. Насъ это не удивляетъ, мы это говорили съ перваго листа *Колокола*. Глубину, силу, неотразимость *движенія*, поднявшагося послѣ крымской войны и смерти Николая, мы давно оцѣнили и поняли. Такого рода движенія иногда сбиваются съ дороги, иногда вязнутъ въ грязи, но не останавливаются, особенно не останавливаются полицейскими мѣрами, случайными жестокостями и безсмысленными ссылками.

Петербургское самовластье только могло держаться, не замѣчая дряхлости своей, въ нѣмой тишинѣ рабства и косномъ застоѣ всѣхъ живыхъ силъ. При первомъ колебаніи Архимедова точка ускользнула изъ правительственныхъ рукъ, у нихъ остались однѣ перегорѣлыя возжи и одинъ перержавѣвшій тормазъ... а склонъ съ каждымъ шагомъ круче и круче... Куда доѣдемъ, мы не знаемъ, *но остановиться нельзя!*

... Казалось, что „сердечное согласіе" правительства съ общественнымъ мнѣніемъ по польскому вопросу поглотитъ *движеніе* — нисколько! *Движеніе* въ немъ окрѣпло, стало сильнѣе, оно убѣдилось въ слабости правительства и въ своей силѣ, оно видѣло его растеряннымъ въ минуту опасности, и кровожаднымъ отъ страха передъ крикунами, оно видѣло Зимній дворецъ въ зависимости двухъ англійскихъ клубовъ и перестало его уважать, оно видѣло государя болтающаго, плачущаго, желающаго остановиться, увле-

каемаго противъ воли—и перестало его бояться. Человѣкъ, который въ минуту первой опасности вызывалъ адрессы преданности, долженъ принимать и другаго рода адрессы. Князь Щербатовъ совершенно справедливо замѣтилъ это въ своей рѣчи.

Инцидентъ въ петербургскомъ дворянскомъ собраніи имѣетъ значеніе историческаго событія, событія революціоннаго, оппозиціоннаго, съ полнымъ букетомъ 89 года и съ разными оригинальностями, какъ и слѣдовало ожидать, съ Суворовымъ напр., который (по свидѣтельству Nord'a) съ душевнымъ прискорбіемъ передалъ дворянству veto „исполнительной власти", заторопившейся до того, что отвѣчала прежде оффиціальнаго вопроса, стало быть по доносу какого нибудь лазутчика.

Подробности читатели наши знаютъ лучше насъ, мы не читали даже, благодаря скромности *свободныхъ* газетъ русскихъ, текста четырехъ пунктовъ, предложенныхъ Щербатовымъ, особой корреспонденціи мы еще ждемъ, а потому разсказывать не считаемъ нужнымъ.

Но сказать наше мнѣніе о новой фазѣ революціоннаго движенія мы не считаемъ неумѣстнымъ.

Мы не со стороны дворянства—какъ сословія.

Мы не со стороны правительства въ его петровской формѣ.

У правительства съ дворянствомъ свои счеты. За чѣмъ оно сначала подкупало его, отдавая ему землю и народъ? За чѣмъ оно сперва изъ него сдѣлало опричину и дворню, а потомъ стало отбирать неправо отданное отцамъ у дѣтей?

За чѣмъ дворянство позволяло себѣ на головѣ колъ тесать пока правительство отдавало ему на грабежъ и сѣченіе народъ и сдѣлалось нетерпѣливо-лихорадочно либеральнымъ, когда *часть* добычи стали отнимать?

Въ ихъ семейную ссору мы не вступимъ.

Но если мы не со стороны дворянства и не со стороны правительства, то безусловно со стороны *движенія*.

Все что можетъ подмыть, смыть казарму и канцелярію, все что можетъ увлечь въ общій потокъ и въ немъ распустить бюрократію и сословные монополи, военную администрацію штатскихъ дѣлъ, писарей, обкрадывающихъ казну, казну, обкрадывающую народъ, все это будетъ принято нами съ радостью и восторгомъ —*чьими бы руками ни было сдѣлано*. Ломайте, господа, ломайте пуще всего другъ друга. На эту ломку уйдетъ вся ваша и вся наша жизнь... Дѣти наши потомъ сосчитаются. Революціи вообще оставляютъ не маіораты, а полудостигнутые идеалы и вновь раскрытые горизонты.

Странная вещь, два бойца схватились, а побѣда зависитъ отъ *третьяго*, къ кому онъ примкнетъ союзникомъ, тотъ и одолѣетъ, и этотъ третій — безмолвный народъ, нѣмое множество. Онъ *еще молчитъ* и держится за землю.

Только увлекая его въ движеніе, дѣлая изъ своего дѣла—дѣло

общее, дѣло народное, земское, только отрѣкаясь отъ монополей, можетъ дворянство вести серьезную рѣчь съ правительствомъ.

А правительство только и можетъ подорвать олигархическія притязанія, поставивъ ихъ лицомъ къ лицу съ народнымъ большинствомъ, съ народной волей, которая хочетъ отстоять и отстоитъ свое право на землю.

—

Въ то самое время какъ князь Щербатовъ доказывалъ невозможность идти далѣе, канцелярски управляя Россіей, вышла въ Парижѣ книжка „Revue des Deux Mondes" съ новой статьей Мазада о *Россіи*. Вѣроятно читатели наши помнятъ его примѣчательную статью, напечатанную года два тому назадъ. Статья эта опечалила Александра Николаевича, надѣлала много шума и была поддержана возраженіемъ Жомини fils'а. Мы находимъ вторую статью еще вѣрнѣе и замѣчательнѣе, не смотря на то, что во многихъ случаяхъ мы не дѣлимъ мнѣній г. Мазада. Французы поняли наконецъ какого рода силы проснулись въ Россіи и какая работа двигаетъ и подымаетъ этотъ материкъ—а у насъ еще есть желчевики, остающіеся въ старческомъ брюзжаніи или узкомъ отчаяніи.

Мы надѣемся въ слѣдующемъ листѣ „Колокола" ближе ознакомить читателей съ трудомъ Мазада.

Колоколъ № 220.
15 Мая 1866 года.

НОВОСТИ ИЗЪ РОССІИ.

Новости изъ Россіи безконечно печальны.

Выстрѣлъ 4 Апрѣля ростетъ не по днямъ, а по часамъ въ какую-то *общую бѣду* и грозитъ вырости въ еще страшнѣйшія и въ еще больше незаслуженныя Россіей бѣдствія.

Полицейское бѣшенство достигло чудовищныхъ размѣровъ. Какъ кость, брошенная разсвирѣпѣлымъ сворамъ, выстрѣлъ вновь раздорилъ злобу грызшихся и сдулъ слабый пепелъ, которымъ начало было заносить тлѣвшій огонь; темныя силы еще выше подняли голову и испуганный кормчій ведетъ на всѣхъ парусахъ чинить Россію въ такую черную гавань, что при одной мысли объ ней, цѣпенѣетъ кровь и кружится голова.

Выстрѣлъ безуменъ, но каково нравственное состояніе государства, когда его судьбы могутъ измѣняться отъ случайностей, которыхъ ни предвидѣть, ни отстранить невозможно, именно потому что онѣ безумны. Мы рѣшительно не вѣримъ ни въ серьезный, ни въ огромный заговоръ... Заговоръ создается, выдумывается теперь — такъ какъ Фуше выдумывалъ якобинское участіе въ „адской машинѣ" улицы Никезъ. Такого рода вещи могутъ быть местью отходящаго, личнымъ отчаяніемъ, но не водвореніемъ новаго...

Кому полезенъ былъ-бы успѣхъ? Развѣ консерваторамъ-крѣпостникамъ.

Жизнь народная превосходно поняла выстрѣлъ. Она его превратила въ торжество. Какая овація, коронація, какой елей или sainte chrème могли больше утвердить тронъ, больше укрѣпить личную силу государя, какъ этотъ выстрѣлъ, съ рукой спасающаго крестьянина, со всей обстановкой. Тутъ-то бы государю и стать во весь ростъ, во всей полнотѣ великодушнаго забвенья.... а стрѣлявшаго предоставить обыкновенному суду, но суду гласному. Онъ и этого не сдѣлалъ и не можетъ сдѣлать—онъ окруженъ другимъ заговоромъ, онъ окруженъ *русскимъ тайнымъ жондомъ*. Темная интрига сдѣлала себѣ изъ выстрѣла знамя гибели, то знамя, которое на старинныхъ нѣмецкихъ картинкахъ мы видимъ въ рукахъ смерти вмѣстѣ съ косой... Да. жондъ будетъ косить направо и налѣво, косить прежде всего своихъ враговъ, косить освобождающееся слово, косить независимую мысль, косить головы, гордо смотрящія впередъ, косить народъ, которому теперь льстятъ, и все это подъ осѣненіемъ знамени возвѣщающаго, что *они* спасаютъ царя, что *они* мстятъ за него. Горе Россіи, если царь *окончательно* повѣритъ, что тайный жондъ его спасаетъ. Мы пройдемъ страшнѣйшей бироновски-аракчеевской эпохой, мы пройдемъ застѣночнымъ ханжествомъ новыхъ Магницкихъ. мы пройдемъ всѣми ужасами свѣтскаго инквизиторства николаевскаго времени, да еще со всѣми усовершенствованіями вводимыми поддѣльной гласностью и полицейской, сквернословящей литературой.

При Николаѣ—мучили, пытали, бросали въ казематы и ссылали на каторгу—молча. *Не было обиды*. Теперь никакая казнь, никакая каторга, не можетъ предохранить отъ ругательствъ и клеветъ казенныхъ лаятелей. Безстыдные, злые и подлые—они бьютъ лежащихъ, они оскорбляютъ трупы... для нихъ предѣловъ нѣтъ.... это опять таки наша „голь кабацкая", но употребленная на полицейское дѣло... Отъ лицъ они перейдутъ къ идеямъ, къ институтамъ... и ничего не устоитъ противъ этихъ *нигилистовъ консерватизма*... Развѣ мы не слышали уже крикъ противъ образованія бѣдныхъ, противъ слишкомъ легкой доступности къ наукѣ?... Развѣ мы не читали доносы, восходящіе въ могилы, гдѣ похоронены трупы, и въ могилы, гдѣ похоронены живые... развѣ не везутъ изъ каторжной работы, изъ рудниковъ какія-то тѣни въ цѣпяхъ... Они хотятъ судить исторію и привязать ее къ позорному столбу, какъ привязывали Чернышевчкаго...

... И во всей-то толпѣ шитой золотомъ, во всей Памятной книжкѣ, во всемъ Адрессъ-календарѣ не найдется ни одного человѣка съ душой честной и правдивой, ни одного преданнаго.... дѣлалъ же имъ государь добро... который сводилъ-бы его, не на другой день послѣ варѳоломеевской ночи, а наканунѣ, за тайныя кулисы... Это былъ-бы второй Комисаровъ.

Ну что же, есть между вами *живъ человѣкъ?*

Колоколъ № 221.
1 Іюня 1866 года.

ПИСЬМО КЪ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II.

Государь,

Было время, когда Вы читали „Колоколъ“ — теперь Вы его не читаете. Которое время лучше, то или это, время-ли освобожденій и свѣта или время заточеній и тьмы — скажетъ Вамъ ваша совѣсть. Но читаете Вы насъ или нѣтъ, этотъ листъ *Вы должны прочесть*.

Вы кругомъ обмануты и нѣтъ честнаго человѣка, который смѣлъ бы Вамъ сказать правду. Возлѣ Васъ пытаютъ, вопреки вашему приказанію, и Вы этого не знаете. Васъ увѣряютъ, что несчастный, стрѣлявшій въ Васъ былъ орудіемъ огромнаго заговора, но ни большаго, ни малаго заговора *вовсе не было;* то, что они называютъ заговоромъ—это возбужденная мысль Россіи, это развязанный языкъ ея, это умственное движеніе, это ваша слава рядомъ съ освобожденіемъ крестьянъ. Васъ ведутъ отъ несправедливости къ несправедливости, Васъ приведутъ къ гибели, если не въ этомъ свѣтѣ, то въ будущемъ свѣтѣ исторіи. Васъ приведутъ къ гибели заговорщики. въ самомъ дѣлѣ Васъ окружающіе, не потому чтобъ они этого хотѣли. а потому что имъ это выгодно. Они пожертвуютъ Вами, такъ какъ они жертвуютъ теперь сотнями невинныхъ, которыхъ невинность они знаютъ, такъ какъ они жертвуютъ честью семей, выдавая позорные билеты честнымъ женщинамъ...

Что Вамъ не можетъ это нравиться, я въ этомъ убѣжденъ, и оттого-то рѣшаюсь писать къ Вамъ. Но этого мало. Узнайте *сами* истину — и проведите *свою волю*, какъ Вы ее провели при освобожденіи крестьянъ.

Четвертый разъ выхожу я на дорогу, по которой Вы идете, и останавливаюсь на ней, чтобъ обратить ваше вниманіе, не на себя, а на Васъ самихъ.

„Отъ Васъ ждутъ кротости отъ Васъ ждутъ человѣческаго сердца“, писалъ я, когда Вы садились на престолъ. „Вы необыкновенно счастливы!“ — „И до сихъ поръ ждутъ, вѣра въ Васъ сохранилась“, прибавилъ я черезъ два года съ половиной.

Прошло семь лѣтъ, и какъ много прошло въ эти семь лѣтъ! Я былъ на югѣ Франціи когда потухалъ вашъ сынъ. Первая вѣсть, услышанная мной въ Женевѣ, была вѣсть о его кончинѣ. Я не выдержалъ и, бранимый многими, взялся за перо и написалъ Вамъ третье письмо, въ которомъ говорилъ: „Судьба неумолимо, страшно коснулась Васъ; въ жизни людской есть минуты грозно торжественныя. Вы въ такой минутѣ, ловите ее. Остановитесь подъ всей тяжестью удара и подумайте, только безъ сената и синода, безъ министровъ и штаба, подумайте о пройденномъ и о томъ, куда Вы идете. Рѣшитесь, не дожидаясь второго удара.“

Вы не рѣшились. Судьба еше разъ коснулась Васъ, и пусть ме-

ня называютъ сумасшедшимъ и слабымъ, я пишу къ Вамъ, такъ трудно мнѣ окончательно разстаться съ мыслью, что Вы вовлечены другими въ тотъ историческій грѣхъ, въ ту страшную неправду, которая совершается возлѣ Васъ.

Вы не можете желать зла Россіи за ея любовь къ Вамъ. Это неестественно. Станьте же во весь ростъ за нее, изнемогающую подъ тяжестью клеветы и испуганную тайнымъ судилищемъ и явнымъ произволомъ.

По всей вѣроятности это послѣднее письмо мое къ Вамъ, Государь. Прочтите его. Одно безконечное, мучительное горе о гибнущей юной, свѣжей силѣ подъ нечистыми ногами нечестивыхъ стариковъ, посѣдѣлыхъ во взяткахъ, каверзахъ и интригахъ, одна эта боль могла меня заставить еще разъ остановить Васъ на дорогѣ и еще разъ поднять голосъ.

Вниманія, Государь, вниманія къ дѣлу. Его имѣетъ право требовать отъ Васъ Россія.

ИЗЪ ПЕТЕРБУРГА.

Наконецъ-то письмо изъ Петербурга. Передаемъ главную часть его: „Аресты самые безобразные, самые безпричинные продолжаются. Во что бы то ни стало хотятъ запугать государя и увѣрить его, что онъ своей кротостью и благодушіемъ далъ созрѣть охватившему всю Россію заговору, что необходимы рѣшительныя мѣры. Зло, причиняемое доносящими журналами, безмѣрно. Все общество сначала было увѣрено, что не нынче - завтра раскроютъ огромный заговоръ, всѣ готовы были помогать полиціи и на первомъ планѣ помогали *гвардейскіе офицеры*. Тайна, въ которой ведется дѣло, послѣ обѣщанной Муравьевымъ гласности, охладила многихъ — начинаютъ подозрѣвать интригу. Но дѣло сдѣлано и толчокъ данъ... Изъ полиціи Треповъ выгоняетъ всѣхъ, кто по его понятію не способенъ быть злымъ гонителемъ всего молодого и живаго, изъ учебныхъ заведеній гонятъ учителей, на урокахъ которыхъ ученики держатъ себя развязнѣе. Шпіоновъ бездна здѣсь, много отправлено въ Москву, въ провинціи и въ чужіе края, особенно въ Швейцарію *(милости просимъ!)*. Муравьевъ удвоилъ имъ жалованье.

„Каракозовъ не признаетъ себя Каракозовымъ и не признаетъ двоюроднаго брата его признавшаго. Муравьевъ требовалъ выписать изъ Сибири Чернышевскаго, *на что государь не согласился*. Изъ лицъ извѣстныхъ арестованы: *Благосвѣтловъ* (въ самомъ началѣ), *Зайцевъ*, *Курочкины*, *Худяковъ*, полковникъ *Лаговъ*, *Елисѣевъ*, *Европеусъ* съ женой и его братъ, *Ковалевскій*, *Слѣпцовъ*, арестовано много дѣвицъ и женщинъ (нигилистокъ). Изъ послѣднихъ нѣкоторые выпущены и вмѣстѣ съ тѣмъ награждены *желтыми билетами, которые выдаютъ публичнымъ женщинамъ*.

— „Отысканы-ли слѣды какого нибудь общества?“ — спросилъ одинъ знакомый Муравьева. „Общества нѣтъ никакого, но будетъ, если не истребить вредные *задатки*“. Муравьевъ ищетъ этихъ задатковъ вездѣ, даже за границей. Онъ хочетъ приплести къ дѣлу 4/16 Апрѣля не только обличителей, отрицателей и нигилистовъ, находящихся здѣсь, но и тѣхъ которые за границей. Говорятъ, что вольный слушатель медицинской академіи *Бѣльскій* (или *Бельгинъ*), здоровый, красивый малый, находясь подъ арестомъ заболѣлъ и отправленъ въ секретное отдѣленіе военносухопутнаго госпиталя. Въ прошлую Субботу 30 Апр. [12 Мая], утромъ въ 9 час. въ своей каморкѣ онъ повѣсился. На стѣнѣ найдена надпись: „меня по приказанію Муравьева пороли нагайками“.

„Говорятъ, что Каракозова, пытали разными оригинальными средствами. Онъ твердо отвѣчалъ при первомъ допросѣ. Ночью допросы опять начались, и продолжались безпрерывно *трое сутокъ*. Пытать его хирургическими средствами не смѣютъ; *утверждаютъ, что государь не приказалъ*, а потому прибѣгли къ новымъ *безсльднымъ* пытаніямъ и къ наукѣ. Сначала его ставили въ какой-то футляръ, но докторъ *Здекауеръ* сказалъ, что онъ или умретъ, или совсѣмъ сойдетъ съ ума, а потому ученый врачъ и посовѣтовалъ футляръ замѣнить раздражающимъ электрическимъ токомъ. (Здекауеръ пожалованъ 16/28 Апрѣля въ *тайные* совѣтники!). Несчастный паціентъ заболѣлъ, пересталъ принимать пищу, говорятъ онъ при смерти. Многіе увѣряютъ, что онъ умеръ 2/14 Мая(?). (Что сдѣлаетъ Муравьевъ, развѣ поставитъ свѣжаго Каракозова?)...

.... „Въ день выстрѣла графиня Ридигеръ сказала императрицѣ, что она давно слышала, что будетъ покушеніе, что она слышала это отъ Потоцкой и говорила Анненкову, который не повѣрилъ. Потоцкая посажена въ тюрьму и сошла съ ума (этотъ фактъ мы прежде читали въ Times). Партія Муравьева и *Московскихъ Вѣдомостей* старается изъ подъ руки бросить подозрѣніе на Константина Николаевича.... Муравьевъ разсорился уже съ Шуваловымъ“.

P. S. Курочкиныхъ выпустили.

Передъ этимъ письмомъ мы остановились съ какой-то безконечной, жгучей болью... вотъ куда пришло это царствованіе *освобожденія* и виноватъ не царь (изъ письма видно ясно какъ онъ бьется и упирается въ потемкахъ сдѣланныхъ около него)—а *общество*, превратившееся въ полицію, и безнравственная *пресса*, сдѣлавшаяся общественнымъ доносчикомъ и обвинителемъ при Муравьевѣ.

Несчастный народъ, въ которомъ могла зародиться и назрѣть такая среда, наглая и уродская, которая безнаказанно учитъ палачей, рукоплещетъ имъ и натравливаетъ ихъ!

„Мы еще не созрѣли“, говорилъ кто-то въ Петербургѣ, и всѣ сердились на него, а *ужъ сгнили*, прибавимъ мы—*страшно сгнили*.

У насъ была готова статья, но прочитавши письмо, мы ее изо-

рвали, все слабо и бѣдно, словъ не достаетъ, мы это глубоко чувствуемъ!

Но нельзя-же и руки сложить въ праздномъ озлобленіи, нельзя же замолчать съ проклятіемъ на губахъ! Нѣтъ, это была-бы измѣна всей нашей жизни, а ея не много впереди. Мы остатокъ ея употребимъ на обличеніе передъ міромъ историческаго преступленія, совершающагося въ Россіи и на подкрѣпленіе и утѣшеніе несчастнаго молодого поколѣнія, идущаго на мученичество за свою святую любовь къ истинѣ, за свою юную вѣру въ Россію. Мы, старики, станемъ у изголовія гонимыхъ, отирая пятна клеветы и благословляя погибающихъ провозвѣстниковъ *будущей Россіи.*

Ее они не запутаютъ, отъ нея Здекауеръ не вылечитъ новымъ электрическимъ токомъ.

... А хорошо это употребленіе электричества. Наука и пресса, исполняющія должность палача и орудія пытки... Далѣе паденіе человѣческое идти не можетъ.

Что-же въ самомъ дѣлѣ прибавить? Развѣ *желтые билеты,* выданные дѣвицамъ и женщинамъ за то, что онѣ остригли волосы и мечтали, что лучше жить работой, чѣмъ на чужой счетъ, и — тотъ журналъ, который въ нихъ же и бросилъ грязью...

Насъ упрекали недавно, что мы, смѣясь, говоримъ о мерзостяхъ и неистовствахъ, дѣлающихся теперь въ Россіи.

Не поняли нашего смѣха.

Но пусть такъ; будемъ говорить серьозно—и во первыхъ поставимъ вопросъ, откуда явилась эта удесятеренная нетерпимость въ обществѣ, окружающемъ какъ вѣнокъ слѣдственную фабрику, на которой Муравьевъ тачаетъ несуществующій заговоръ? Откуда это новое остервененіе противъ „нигилизма", подъ которымъ теперь разумѣютъ всякую свободную, независимую мысль, всякое ученіе не похожее на то, что проповѣдуютъ нео-крѣпостники?

Неужели просто изъ любви къ Александру Николаевичу, освободившему большую часть ярыхъ обличителей отъ половины дохода — столько сентиментальности въ нихъ нѣтъ: и тутъ корни видно идутъ дальше.

....Два года тому назадъ, въ первый разъ на дворянскихъ вершинахъ Россіи, заявилась потребность совершеннолѣтнихъ учрежденій, высказалось желаніе гражданской свободы и собственнаго участія въ своихъ дѣлахъ. Это было въ Москвѣ—чего-же лучше?

Но вотъ что уже не такъ хорошо. *Первое* слово сказанное въ московскомъ дворянскомъ собраніи, было враждебно независимой печати и вслѣдъ за благодарностью журналисту-донощику, явился съ своей плоской рѣчью Орловъ-Давыдовъ, требуя ограниченія самовластья и *книгопечатанія* (у насъ-то!), браня произволъ чиновниковъ и переводъ Бокля...

По химическому сродству, среда, которая не могла выносить свободнаго слова, соединилась съ инквизиторами и палачами. До Каракозова, или какъ онъ тамъ называется, дѣла имъ нѣтъ, его тотчасъ-же оттерли на второй планъ, доносы въ ихъ журналахъ

обвинили въ атентатѣ—все *свободомыслящее въ Россіи*, восходя отъ нигилистовъ до Чернышевскаго, отъ Чернышевскаго до Петрашевскаго, добираясь до Бѣлинскаго и т. д. Умри Каракозовъ, живи онъ — имъ совершенно все равно, за тѣмъ-то и *тайна* передъ публикой — а вдвое того передъ государемъ, который долженъ вѣрить во что-бы ни стало *въ вселенскій заговоръ*.

Какую-же *свободу* нужно было этимъ азіатскимъ рабамъ съ ихъ боязнью мысли и слова? На что она имъ? Оплакивать крѣпостное состояніе они и теперь могутъ — они сами не знаютъ каково имъ будетъ безъ ливреи, она приросла къ нимъ, имъ будетъ жутко и холодно на вольномъ воздухѣ... Это тѣ-же помѣщики и тѣже чиновники, въ другомъ изданіи. Орудія у нихъ взяты изъ съѣзжихъ, изъ уголовныхъ палатъ, литература у нихъ слѣдственное дѣло, въ серьезный споръ ни они, ни ихъ журналы не идутъ. Въ серьезномъ спорѣ мы первые готовы поднять перчатку, нашлись-бы и другіе дома, еслибъ возраженіе имъ не пахло петропавловской крѣпостью. Они не спорятъ, а жалуются по начальству, они обращаются не къ противникамъ, а доносятъ о безпорядкахъ; они вызываютъ не возраженія, а экзекуціи, они хотятъ не убѣждать, а *усмирять*.

Пока консервативно-либеральное дворянство было одно съ своими литературными дворецкими, со своей слабонервной оппозиціей, оно было смѣшно; но когда съ нимъ испугъ Россіи, Муравьевъ, да три полиціи, да армія, да электрическіе токи, да самъ Валуевъ *изволитъ* быть съ ними—тогда не до шутокъ.

Вмѣстѣ они представляютъ ту темную силу, которая влечетъ слабаго государя отъ одного преступленія къ другому и толкаетъ Россію въ ея прежній хаосъ.

.... Да за чѣмъ-же у государя нѣтъ энергіи вырваться изъ опеки? За чѣмъ онъ не сдѣлаетъ того, что умѣлъ сдѣлать Наполеонъ I съ Салой, и не допроситъ самъ Каракозова, для того чтобъ узнать не только правду о выстрѣлѣ, но правду о томъ, какъ въ Россіи, во второй половинѣ XIX вѣка дѣлаютъ слѣдствія?

Зачѣмъ? ..

Колоколъ № 222.
15 Іюня 1866 года.

ОТЪ ГОСУДАРЯ КНЯЗЮ П. П. ГАГАРИНУ.*)

...И такъ вотъ оно послѣднее эхо на выстрѣлъ!

---

*) Рескриптъ Алекс. II кн. Гагарину служитъ гласнымъ объявленіемъ правительства о вступленіи его на дорогу реакціи. Александръ II объявляетъ, что выстрѣлъ Каракозова открылъ „глаза „Россіи“ на тѣ опасности, которыми грозятъ превратныя лжеученія, и на необходимость твердаго поддержанія разныхъ основъ. Рескриптъ перепечатанъ въ томъ-же № «Колокола». *Л. Т.*

Страхъ передъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ, благочестивыя, но не новыя размышленія, дурной слогъ, безъименные намеки, заученный урокъ, и нравственный coup d'état...

Мы рѣшились цѣликомъ перепечатать эту тяжело думанную и тяжело написанную диссертацію*), потому что видимъ въ ней своего рода историческій, пограничный столбъ—дурно сдѣланный, дурно окрашенный, неуклюжій межевой знакъ, но все же знакъ.

Будь это риторическое упражненіе о развращеніи умовъ и сердецъ, о лжеученіяхъ и теоріи собственности писано не только Деляновымъ, туда-же пустившимся въ краснобайство, но и самимъ Толстымъ министромъ *духовныхъ дѣлъ*, мы не обратилибы на него ни малѣйшаго вниманія. Такія-ли чудеса мы читали въ журналахъ, ставшихъ поперегъ дороги русскаго развитія. Но высочайшая діатриба, брошенная съ той высоты, на которой стоитъ тронъ, совсѣмъ другое дѣло. Какъ-бы она ни была лишена собственнаго вѣса, она должна долетѣть до нашихъ низменныхъ полей пушечнымъ ядромъ, и что нибудь разбить, или разбиться.

Внимательно разсматривая эту царскую грамоту, напоминающую намъ въ своемъ свѣтскомъ любомудріи духовную иконопись, которой изукрасилъ митрополитъ Филаретъ манифестъ объ освобожденіи крестьянъ, насъ прежде всего поражаютъ *три вещи*.

Во-первыхъ изъ нея выходитъ ясно какъ день, что заговора примыкающаго къ выстрѣлу 4/16 Апрѣля (какъ мы говорили и повторяли) *не было—до того не было*, что его не могли натянуть, не смотря ни на потемки, въ которыхъ дѣлалось слѣдствіе, ни на выборъ слѣдопроизводителя, ни на средства, употребленныя имъ. Заговоръ и поляки, участіе нигилистовъ и всемирной революціи — все это интрига, ложь, клевета. Ее вложить въ уста государя даже они не осмѣлились. Осталось выѣхать на *нравственномъ соучастіи* т. е. на безнравственной complicité morale — перехватавши дружескія и семейныя переписки, помѣченныя для себя мысли, запутать ими все мыслящее въ молодомъ поколѣніи, все проснувшееся къ умственной жизни смертью Николая и вздохнувшее свободно послѣ нея. О какихъ виноватыхъ говоритъ письмо, понять невозможно. По дѣлу Каракозова могли быть виноватыми одни *сопричастные ему*, а не всѣ люди, думающіе что русское правленіе не есть идеалъ всѣхъ правленій и разсуждающіе о правѣ собственности. Прудонъ очень много писалъ о собственности, но никогда не былъ обвиняемъ ни въ какомъ атентатѣ. Это младенческое неразвитіе самыхъ первоначальныхъ юридическихъ понятій, какъ-то грустно поражаетъ.... Тѣмъ не меньше

*) По всей вѣроятности письмо это писалъ „самъ къ себѣ" Гагаринъ. Все это продолженіе системы, начатой съ извѣстнаго пожара въ Петербургѣ, системы интимидаціи государя. Его увѣряютъ и стращаютъ, онъ увѣряется, стращается и подписываетъ, какъ будущій конституціонный императоръ, не зная что - il regne, mais ne gouverne pas.

отрицательное признаніе, что заговора нѣтъ, мы отмѣчаемъ какъ первую и великую побѣду правды надъ интригой мелкаго петербургски-московскаго жонда.

Одинъ противникъ указанъ и признанъ, безъ имени, живою силой и мощью—соперникомъ, съ которымъ надобно считаться, который ростетъ и будетъ рости, если его не задушить теперь, словомъ, признанъ и объявленъ государемъ за *беллигерантную сторону.*—Кто этотъ противникъ съ опущеннымъ забраломъ?—Вѣрно либеральное дворянство, такъ упорно и самостоятельно стремившееся ограничить самодержавіе, оппозиціонное, петиціонное?.... О немъ ни слова. . . . Гигантъ въ колыбели, котораго правительство боится, въ которомъ чуетъ будущаго наслѣдника—это *соціальныя ученія*, это идеи нѣсколькихъ ничтожныхъ литераторовъ. молодыхъ людей, нигилистовъ, и насъ грѣшныхъ. Характеръ того движенія, которое стремится къ разложенію старыхъ формъ русской жизни, мѣшающихъ сложиться выростающимъ силамъ ея, инстинктивно сознанъ *соціальнымъ**)... и потому правительство становится за вѣчный утесъ консерватизма и реакціи, за поземельную собственность: ее оно хочетъ защищать, ею оно хочетъ защищаться... на помощь ей зоветъ катихизисъ, домашнее воспитаніе, соглядатайство, начальниковъ и всѣ свои силы, т. е. всѣ свои полиціи.

Эту царскую инвеституру мы принимаемъ за *вторую побѣду.*

Третья побѣда — „не намъ, не намъ", но и не *народу русскому.* Кстати къ народу, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ фактовъ письма къ Гагарину—это полнѣйшее отсутствіе *народа*, которому такъ недавно льстили. . . . ни одного ласковаго слова, ни одного привѣтствія, ни даже спасибо за спасеніе жизни! Пейзаны надоѣли. Комисарова лишили правъ состоянія, зачислили по дворянству, и довольно съ нихъ. Третья побѣда — прежнему, старому, царскому другу дѣтства, — *помѣщичеству.***) Его какъ слабаго

---

*) Само собою разумѣется, что ни одно серьезное соціальное ученіе никогда не нападало на право собственности съ точки зрѣнія грабежа. Читатели наши видѣли недавно изложеніе Прудоновой новой теоріи. Критика собственности — грабежъ дѣлается только имперскими соціалистами въ западныхъ губерніяхъ. Однимъ изъ главъ этого ученія самъ П. П. Гагаринъ. Мы знаемъ его мнѣніе при обсуживаніи въ государственномъ совѣтѣ Милютинской инструкціи. Ультра соціальныя и нивеляторскія тенденціи князя (хотѣвшаго въ 1849 арестовать Милютина по дѣлу Петрашевскаго) тѣмъ больше удивили, что князь былъ одинъ изъ яростнѣйшихъ крѣпостниковъ когда дѣло шло о земельномъ надѣлѣ русскихъ крестьянъ.

**) Дворянство такъ это и поняло, «Вѣсть» (№ 38) въ своихъ комментаріяхъ къ Эпистолѣ, прямо говоритъ: «что не понимаетъ, какъ послѣ рескрипта оставаться на государственной службѣ людямъ, которые не могутъ не сознаться въ своей враждѣ къ *дво-*

цыпленка, двуглавый орелъ беретъ подъ оба крыла, за него вѣчнаго недоросля правительство, какъ мамка Митрофанушки, готова выцарапать глаза каждому. Письмо *кладетъ предѣлъ* — всякому гласному обсуживанію великаго процесса — помѣщиковъ съ крестьянами.

Вотъ все.

За тѣмъ государь сообщаетъ сквозь Гагарина народу, что онъ хочетъ вести Россію *другимъ* путемъ. *Какимъ?* Этого кажется онъ и самъ еще порядкомъ не сообразилъ, но ясно, что *дурнымъ*. Изъ всего письма видно раздраженіе, желаніе управлять круче, подтянуть поводья короче, тѣснить больше, давить крѣпче.... Съ этой цѣлью державный корреспондентъ князя Гагарина предлагаетъ сдѣлать изъ всѣхъ начальниковъ — соглядатаевъ для своихъ подвластныхъ, а потомъ *предписать* имъ „имѣть въ виду содѣйствіе *тѣхъ другихъ*, здравыхъ, охранительныхъ и добронадежныхъ силъ, которыми Россія обильна".

Тутъ мы признаемся, ничего не понимаемъ, это въ родѣ того, что поется въ сибирской пѣснѣ: „разговоръ мой дорогой, разговаривалъ со мной". Тутъ явнымъ образомъ Гагаринъ за Гагарина зашелъ..

Къ этой-то *энергической и удобоисполняемой* мѣрѣ, ничего не прибавлено, кромѣ увѣренности, что: «Соблюденіемъ этихъ общихъ началъ положится предѣлъ» всему злу и все пойдетъ какъ по маслу.

....Мы воображаемъ себѣ какъ государь проскучавъ это длинное посланіе Гагарина къ Гагарину, обтеръ потъ съ державнаго лица, и бросая перо, которымъ подписывался, сказалъ: «Ну слава богу, спасъ тронъ, алтарь, дворянство, собственность, нравственность, порядокъ.... Правда, тяжелыми періодами надобно спасать всѣ эти хорошія вещи, ну да разъ въ жизни, куда ни шло.... За то дѣло сдѣлано!».

Теперь Павелъ Павловичъ извольте-ка всѣмъ начальникамъ — не исключая ни горныхъ, ни соляныхъ, ни медицинскихъ, ни морскихъ — вмѣнить въ строжайшую обязанность вызывать *тѣ, другія и благонадежныя силы*.

Государь отдохнетъ.

И дворянство, съ 1860 года дрожавшее отъ страха и гнѣва, такъ-же отдохнетъ... не нужно ни тратиться на *Вѣсть*, ни Сазикову заказывать золотую песочницу временно-задержаннымъ *Моск. Вѣдомосмямъ*, ни дѣлать видъ, что коли такъ — такъ-такъ, а не такъ—такъ давай конституцію, хотимъ молъ учрежденій.... à l'anglaise...

Спите, братцы, почивайте!...

А вы, бѣдные сосланные, въ неволѣ заключенные, уцѣлѣвшіе

рянству». Поздравляемъ служащихъ, они не только на службѣ государства, народа, но и *дворянства*, такъ какъ ихъ дворня, людская, кучера, прачки...

въ цѣпяхъ, работающіе въ рудникахъ, гонимые друзья — мужайтесь. Мы дожили съ вами до великаго времени. Не даромъ вы страдаете, не даромъ и мы работали цѣлую жизнь. *Это заря страднаго дня, но дня, который мы ожидали.*

....Когда императоръ Троянъ посылалъ Плинія на слѣдствіе о лжеученіи Назареевъ, когда Сенатъ Римскій задумывался надъ распространеніемъ нелѣпой и безнравственной секты казненнаго Іудея, а Тертуліанъ защищалъ ее отъ гнусныхъ обвиненій въ *убійствахъ*, когда еще прежде Неронъ сваливалъ на нихъ какъ на *поджигателей* вину извѣстнаго пожара, а другіе цезари травили ихъ *гласно и всенародно* наивными Муравьевыми изъ звѣринца —Дѣло Христіанства было выиграно.

И мы послѣднимъ писаніемъ Кесаря шагнули впередъ. Намъ дарованъ, за царской скрѣпой, патентъ, мы не забудемъ 13/25 Мая 1866 года.

Это начало борьбы... это начало войны.

Конца ея мы не увидимъ.... врядъ увидятъ-ли младшіе изъ юныхъ. Туго развивается исторія, упорно защищается отходящее, медленно, смутно нарождается водворяемое... но самый процессъ, самая драма исторической беременности полна поэзіей. Всякому поколѣнью свое, мы не ропщемъ на нашъ пай, мы дожили не только до красной полосы на Востокѣ, но и до того, что враги наши ее видятъ. Чего-же больше ждать отъ жизни, особенно когда человѣкъ, положа руку на грудь, съ чистой совѣстью можетъ сказать: и я участвовалъ въ этой гигантской борьбѣ, и я внесъ въ нее свою лепту...

...А вы Павелъ Павловичъ пишите еще письмо къ себѣ, какой нибудь комментарій къ царскосельскому посланію или какъ Плиній jun. пишите самому цезарю о низложеніи новыхъ Назареевъ, о ихъ ничтожности, о вашемъ къ нимъ презрѣніи.... только пишите!

Колоколъ № 223.
1 Іюля 1866 года.

ВОЙНА.

И такъ опять кровь и кровь...

На черномъ фондѣ Польши и тупой реакціи въ Россіи зарево вспыхнувшей войны еще зловѣщѣе отражается, чѣмъ въ 1859 году.

Оправдывать эту войну или обвинять ее — дѣло праздное. Что за прокъ обвинять или оправдывать чуму, холеру? Придетъ холера, надо склонить голову, лечить ее раненныхъ, хоронить убитыхъ, а главное — надо искать причины бѣдствій и стараться ихъ устранить.

Мы знаемъ, что холера всходитъ и прозябаетъ въ ямахъ, наполненныхъ гніющими нечистотами, и если не особенно усердно ихъ чистимъ, то все же собираемся чистить. Война прозябаетъ и всхо-

дитъ, напротивъ, на вершинахъ, еще больше наполненныхъ другаго рода гніеніемъ — тамъ ее и слѣдуетъ предупреждать. Для массъ война имѣетъ тотъ же характеръ роковой, безсознательный—какъ моръ. Она только и сильна отсутствіемъ сознанія внизу и отсутствіемъ совѣсти и правды на верху. Разумѣется для всякой драки есть *достаточныя причины*—но вѣдь и для холеры есть. Причины теперешней войны лежатъ въ насильственныхъ соединеніяхъ и расторженіяхъ народностей, въ avortement нѣсколькихъ революцій, въ лихорадочномъ состояніи умовъ, которымъ политическіе перевороты много обѣщали и мало дали, въ разнообразныхъ наростахъ или выростахъ—въ родѣ Пруссіи, въ застарѣлыхъ обструкціяхъ и уродскихъ срощеніяхъ — какъ Австрія.... И для холеры организмъ долженъ быть расположенъ и воспитанъ, — у нее своя логика, если не дипломатическая, то химическая.

Весь европейскій вопросъ и на этотъ разъ сводится въ сущности на вопросъ *дренажа* — вопросъ очищенія ямъ и вершинъ, очищенія засоренныхъ мозговъ и провѣтриванія подваловъ и дворцовъ, на вопросъ свѣта и воздуха.

Одинъ самоотверженный легіонъ „мортусовъ", одно преданное братство нравственныхъ „золотарей", открыто проповѣдуя опасность труповъ и похороны мертвыхъ, устраненіе всего живого отъ всего гніющаго—водружая открыто свою хоругвь, проповѣдуя всенародно, а не изподтишка свое апостольство—могутъ въ будущемъ поставить предѣлы мору, гуртовымъ избіеніямъ и тупоумному позору кровавой славы...

Гдѣ они, эти „ночные работники", какъ ихъ называетъ Англія и которыхъ мы зовемъ на бѣлый свѣтъ? Кто имъ дастъ patent, кто ихъ услышитъ? До нихъ-ли, когда весь блескъ, весь шумъ, вся тревога, весь лирическій безпорядокъ, вся поэзія войны поглощаетъ уши, глаза и умъ. Война пьянитъ, ожиданіе крови, кровавыхъ новостей пьянитъ.... Чѣмъ меньше мысли, тѣмъ больше задора.

Думаетъ-ли кто нибудь (кромѣ Италіи, которая пользуется сей вѣрной оказіей), изъ-за чего вся эта кровавая кутерма? Нельзя же драться изъ-за того, что Пруссія и Австрія ругаются какъ двѣ судомойки, или какъ два русскихъ консервативныхъ журнала...

... Нѣмецъ на нѣмца возстаетъ и оба знаютъ, что который бы ни побѣдилъ, всѣмъ нѣмцамъ будетъ хуже.

Что за пиръ безумія:

Венгерецъ противъ Италіи.

Венгерецъ за Италію.

Полякъ противъ Италіи.

Полякъ за Италію.

Галиція противъ Познани.

Познань противъ Галиціи.

Галиція за Познань.

Познань за Галицію.

А тутъ кроаты, далматы, русины, хорваты, словомъ наши дво-

юродные братья славяне — будутъ драться съ усердіемъ *противъ всѣхъ и за всѣхъ* только *не за себя;* они еще не обзавелись со временъ Кирила и Меѳодія своимъ домомъ и своимъ хозяйствомъ...

... Прусское ополченіе нехотя идетъ проливать свою кровь за будущаго втораго Фридриха Втораго, за лучшаго короля и за лучшаго Бисмарка... Оно идетъ хмурясь и ворча, но все же *пойдетъ и будетъ драться.* Тутъ-то и лежитъ тайна и сила великаго нравственнаго міазма и мозговаго поврежденія, великаго обмана и великой глупости. Если тысячи откажутся идти, нѣсколько десятковъ падутъ подъ пулями, а остальные будутъ цѣлы. Если же они всѣ пойдутъ противъ своей воли, тысячи падутъ и только десятки воротятся домой. Кажется разсчетъ немудренъ. Бентамъ называлъ преступниковъ дурными счетчиками, какъ будто всѣ другіе хорошо считаютъ? У преступниковъ только ошибки грубѣе, самобытнѣе — а ариѳметика у всѣхъ слаба. Да и что всѣ эти ничтожныя *частныя* ошибки, которыя такъ удачно поправляетъ зубъ за зубъ уголовнаго закона—передъ гуртовыми ошибками высшаго порядка! Что значитъ въ самомъ дѣлѣ вся масса убійствъ, членовредительствъ, грабежей, воровства, плутовства въ продолженіи десяти лѣтъ—передъ однимъ мѣсяцемъ войны и двумя дипломатическихъ фальшивыхъ нотъ, искреннихъ увѣреній и задушевныхъ ультиматумовъ? Все это исчезаетъ „какъ капля въ море опущенна". Подумайте объ этомъ.

По счастью мы посторонніе, не призваны брать прямого участія въ этомъ кровавомъ безуміи, мы даже не намѣрены говоритъ о разныхъ стадіяхъ болѣзни. Но намъ казалось, что разъ должно было обозначить наше отношеніе къ войнѣ.

Удержать собравшуюся грозу никто не можетъ, развѣ какая нибудь нелѣпость колоссальнѣе суммы тѣхъ, которыя ее вызвали. На это считать нельзя. А потому. принимая войну за неотразимый фактъ, мы отъ души желаемъ избавленія Венеціи, желаемъ гибели Австріи, но съ тѣмъ вмѣстѣ гибель Пруссіи... Желаемъ такъ, какъ желали бы, чтобъ будущая холера обошла нашихъ друзей, честныхъ, добрыхъ людей. и если ей необходимо моритъ, уморила бы Муравьева, его литературныхъ адъютантовъ, квартальныхъ журналистовъ и другихъ соглядатаевъ и доносщиковъ.

Далѣе наши скромныя желанія не идутъ. Да и большаго эта война дать не можетъ. Въ ней слишкомъ много неклеющагося дерется за одно и слишкомъ ясно видна чья то передергивающая рука въ должности руки провидѣнія.

Намъ особенно противны журналисты и писатели, зовущіе войну, толкающіе въ нее народы. Повели бы мы всѣхъ этихъ кабинетныхъ любителей баталій, военныхъ столкновеній, атакъ и отступленій — на поле сраженія, пожалуй послѣ битвы, чтобъ они ознакомились съ чудовищемъ, которому кадятъ чернилами. Дантъ блѣднѣетъ въ своей хирургической поэзіи, въ своихъ описаніяхъ божественнаго безчѣловѣчья—передъ очерками Эркмана и Шатріана, передъ Толстовскими иллюстрированными *реляціями* 1805,

Полно смотрѣть свысока на одни инспекторскіе смотры, на одну парадную форму! что́ вы за генералъ-ан-шефы? ступайте въ перевязную, въ лазаретъ, въ избу, лишенную отца, въ мансарду лишенную хлѣба...

... И эта старая, бѣдная Европа опять увидитъ не на театрѣ, а на самомъ дѣлѣ Шиллеровскій Wallensteinslager.... А впрочемъ почему же и не увидать?... Чего же не достаетъ для постановки? Все мертвое цѣло — и германскій императоръ, и протестантскій король, и капуцинъ съ своей ломанной проповѣдью, и пасторъ съ своей скучной предикой, и даже та Гейневская маркитанка вѣрно найдется, которая такъ удивительно начинаетъ свою пѣсню:

Und die Husaren lieb ich sehr
Ich liebe sehr dieselben;
Ich liebe Sie ohne Unterschied
Die Blauen und die Gelben,
Und die Musketiere liebe ich sehr
Ich liebe die Musketiere...

... Вы хотѣли все сохранить и старое, и новое, вы хотѣли быть разомъ дѣдомъ и отцомъ, отцомъ и сыномъ, піэтизмомъ и наукой, попомъ и мыслителемъ, вы хотѣли свободу и короля, папу и свободу, постоянныя права и постоянныя войска... Вотъ вамъ за это Валленштейновъ лагерь и канунъ тридцатилѣтней войны.

— А потомъ?

— А потомъ болотами крови и грудами костей старый міръ дотащится на деревяшкѣ и съ пластыремъ героизма на глазу до Вестфальскаго или Вѣнскаго конгресса, который ничего не рѣшитъ, никого не удовлетворитъ, но на время хлороформизируетъ инвалида. А инвалидъ однимъ все таки останется очень доволенъ — что, лишившись ноги и глаза, семьи и состоянія, онъ сохранилъ и своего короля, и свою церковь, и все, что надобно для спасенія души на томъ свѣтѣ и гибели свободы и благосостоянія на этомъ.

— Гдѣ мой профессоръ*), который такъ трогательно и краснорѣчиво читалъ о великихъ успѣхахъ международнаго права въ то самое время, какъ Сольферинскія пушки гремѣли въ Италіи?..

Колоколъ № 227.
1 Сентября 1866 года.

ПОЛЬША ВЪ СИБИРИ И КАРАКОЗОВСКОЕ ДѢЛО.

Трудно убивать народы, даже со всѣмъ монгольскимъ бездушьемъ, съ адвокатами какъ Катковъ, съ катами какъ Муравьевъ, и со всякими православными краснобаями изъ инженернаго вѣдомства и лютеровой ереси à la Кауфманъ. Добивали, добивали Поль-

*) *Колоколъ*, л. 144, 1862, „Концы и Начала“ (Письмо IV).

шу... а она все жива... Она возстала въ Сибири—безнадежная, отчаянная, но все-же предпочитающая смерть—рабству. Наши читатели знаютъ подробности изъ русскихъ газетъ: „Поляки ретировались въ лѣсъ *(до лясу*, острятъ мокрыя кровью *Моск. Вѣдом.)*. Лѣсъ окружили войсками и понятыми людьми, большей частью тунгусами и бурятами, отличными стрѣлками". Интересно было-бы знать, что обѣщали „отличнымъ стрѣлкамъ" со штуки? Небось гривенъ по восьми, да сапоги подстрѣленнаго?

Подумать страшно, что съ ними будетъ.... что-бы ни было, все занесетъ снѣгомъ и будетъ нѣмо и бѣло, какъ саванъ.

Да въ самомъ дѣлѣ, уже эти поляки какой безпокойный народъ. . . . чего имъ хотѣлось?—Ну, сослали въ Сибирь *безъ суда*, стало обиды нѣтъ. Корреспондентъ *Моск. Вѣд.* справедливо вспылилъ на нихъ: „Вотъ, говоритъ, какова благодарность за то, что всѣмъ осужденнымъ полякамъ, находящимся въ Сибири, государь облегчилъ участь".

Буряты облегчатъ ее радикальнѣе.

...А машина-то все таки не идетъ. Сорвалась съ рельсовъ послѣ покойника Николая Павловича, бьетъ народъ направо и налѣво.... чадитъ, шипитъ, а въ рельсы не попадаетъ — то Путятинскіе матрикулы, то Каракозовская пуля, то нигилисты переведутъ Фогта, то соціалисты заведутъ артель, то неблагодарные поляки не перестаютъ изъ благодарности быть поляками.

Видно и идеи то-же трудно убивать, какъ народы. Это намъ доказываютъ подробности Каракозовскаго дѣла, напечатанныя въ *Сѣверной Почтѣ.*

Чтобы припутать къ нему всѣхъ, кто подъ руку попался, изъ людей несогласныхъ въ мнѣніяхъ съ обновленнымъ правительствомъ и сдѣлать изъ *частнаго случая, не имѣющаго никакой связи* со всѣмъ остальнымъ—палицу для пораженія всей юной Россіи—*Сѣверная Почта* разсказала факты, гораздо болѣе интересные, чѣмъ выстрѣлъ, который надоѣлъ всѣмъ до смерти.

Всѣ люди, слабые вѣрой, думали, что страшные удары, которыми правительство било по молодому поколѣнію за все—за пожары, въ которыхъ оно не участвовало, за польское возстаніе, за воскресныя школы, за возбужденную мысль, за чтеніе книгъ, которыя читаетъ вся Европа, за мнѣнія, сдѣлавшіяся ходячей монетой, за общечеловѣческія стремленія, даже за желаніе работать — пріостановили движеніе, начавшееся послѣ Крымской войны. Нисколько. Оно только въѣлось глубже и дальше пустило корни. Въ Москвѣ (въ этомъ городѣ всѣхъ реакцій), разсказываетъ *Сѣверная Почта*, существовало уже нѣсколько лѣтъ общество между молодыми людьми, принявшими въ 1865 г. общее названіе *Организація.* Оно имѣло цѣлью распространять соціалистическія ученія и приготовлять переворотъ. Средствами для сего должны были служить:

а) „Пропаганда между сельскимъ населеніемъ, съ объявленіемъ, что земля составляетъ собственность всего народа.

б) „Возбужденіе крестьянъ противъ землевладѣльцевъ, дворянства и вообще противъ властей.

в) „Устройство разныхъ школъ, артелей, мастерскихъ, переплетныхъ, швейныхъ и иныхъ ассоціацій, дабы посредствомъ ихъ сближаться съ народомъ и внушать ему зловредныя ученія соціализма.

г) „Заведеніе въ провинціяхъ библіотекъ, безплатныхъ школъ и разныхъ обществъ, на началахъ коммунизма, которыя, въ рукахъ членовъ главнаго общества, могли-бы удобнѣе привлекать и приготовлять новыхъ членовъ и въ то-же время состояли-бы въ зависимости отъ центральнаго общества въ Москвѣ и получали-бы отъ него дальнѣйшее направленіе.

д) „Распространеніе въ народѣ соціалистическаго ученія, посредствомъ воспитанниковъ семинарій и сельскихъ учителей; и

е) „Пропаганда по Волгѣ, пользуясь удобствомъ пароходныхъ сообщеній.

„Общество подраздѣлялось на разные отдѣлы съ различными наименованіями, какъ то: „взаимнаго вспомоществованія", „переводчиковъ и переводчицъ", „поощренія частнаго труда". Всѣ эти отдѣлы, для прикрытія революціонной цѣли главныхъ распорядителей, предполагалось облечь законною формой, испросивъ на то утвержденіе правительства.

„Полагалось, устройствомъ безплатныхъ школъ, швейнь и библіотекъ, объединять свои мысли, сближаться съ различными кружками университета и иныхъ учебныхъ заведеній, и вообще привлекать въ общество разныхъ лицъ.

„Независимо отъ сего означенное общество стремилось входить въ ближайшія сношенія съ соціалистическими кружками и дѣятелями въ Петербургѣ и другихъ мѣстахъ имперіи, которые поддерживались, съ одной стороны, направленіемъ преподаванія въ значительной части учебныхъ заведеній, а съ другой большею частью журналистики".

Такъ вотъ какъ былъ убитъ и похороненъ *соціализмъ* и *нигилизмъ*, скромными органами которыхъ были и мы! *Отцы*, думавшіе идти за гробомъ *дѣтей*, могутъ отереть слезы — *дѣти живы*. Правительство второй разъ замучитъ, убьетъ ихъ.... *а они останутся живы!* Муравьевъ — умретъ, Катковъ—будетъ министромъ и Адлербергомъ—*а они останутся живы!*

Въ самую мрачную эпоху помѣщичества, въ самую безвыходную, полную экзекуцій и розогъ, наши мужички *не вѣрили* въ крѣпостное право, не вѣрили, что земля не ихъ. Ни православная церковь, кропившая водой и благословлявшая всѣ ужасы рабства, ни полиція, кропившая поля кровью, ни царскіе, ни домашніе палачи не могли исторгнуть у нихъ этой безумной вѣры. Мужичка сѣкутъ—иногда засѣкаютъ. Сѣчетъ его становой, сѣчетъ управляющій, колотитъ баринъ изъ своихъ рукъ, а иногда барыня... а онъ, изувѣченный, идетъ себѣ на полати, иногда въ моги-

лу.... и думаетъ.... дай срокъ, несчастье пройдетъ, *придетъ воля и земля*, помому что земля-то, что ни толкуй—наша.

Мы, подъ старость, точно какъ наши мужички, хранимъ святую, горячую вѣру...

На этомъ и остановимся—и подождемъ второй страницы мрачнаго процесса, который Старая Россія дѣлаетъ Молодой.

Къ забавнымъ шалостямъ полицейской редакціи принадлежитъ слѣдующая фраза, свидѣтельствующая о томъ, какъ наши наивники III отдѣленія, патріоты по обязанностямъ службы, мало знаютъ отечественную исторію. „Нынѣ признается возможнымъ передать слѣдующія извѣстія объ обстоятельствахъ. сопровождающихъ *неслыханное еще въ Россіи преступленіе—покушеніе на цареубійство*".

То есть, что-же *неслыханное?* Развѣ то, что покушеніе не удалось.

Неужели литераторы при Муравьевѣ не слыхали объ убійствѣ на улицѣ Дмитрія царевича.

Объ убійствѣ на площади единственнаго порядочнаго человѣка, бывшаго русскимъ царемъ, Дмитрія Самозванца.

Объ убійствѣ Бориса Годунова и сына его.

Объ убійствѣ Петра III любовниками жены его.

Объ убійствѣ Іоанна Антоновича тою-же добродѣтельной дамой.

Объ убійствѣ Павла I всѣмъ генералитетомъ, съ соучастіемъ неутѣшнаго сына — и объ убійствѣ царевича Алексѣя, по высочайшему повелѣнію нѣжнѣйшаго изъ родителей?

Неужели литераторы при Муравьевѣ не слыхивали французскую поговорку о «самодержавіи, ограниченномъ убійствами» (tempéré par l'assassinat). Это была наша Magna Charta. Къ яду, ножу и шарфу—мы прибавили еще два ограниченія: *взятки и грязь.*

Вторая шутка даже не забавна, и всего менѣе забавна для государя, которому дѣлается, sub rosa, выговоръ за опущеніе по должности:

„Часть изъ участниковъ, сознаваясь чистосердечно въ оныхъ, и нѣкоторые, раскаяваясь въ своихъ заблужденіяхъ, высказываютъ откровенно, что они были вовлечены въ соціалистическія и противоправительственныя стремленія, *кромѣ допущеннаго ослабленія вообще наблюдательной власти,**) тѣми органами нашей литературы, которые систематически распространяли всевозможныя разрушительныя начала. При незатруднительности пріобрѣтенія запрещенныхъ иностранныхъ и русскихъ книгъ, при губительномъ вліяніи вообще революціонной литературы, на неопытные и воспріимчивые умы молодежи и подъ вліяніемъ воображенія, бре-

---

*) Основываясь на этомъ, храбрый Сеславинъ доносовъ въ „Моск. Вѣд." указалъ безъ имени на экс-министра Головнина и на Чернышевскаго, котораго полиціантъ не можетъ иначе называть какъ преступникомъ. Головнинъ, умрите или экспатрируйтесь — и васъ, и вашего великаго князя, Катковъ доѣдетъ. Tenez vous pour averti.

дившаго о возможности достигнуть общаго равенства, какъ относительно безграничной личной свободы, такъ и правъ собственности".

— За чѣмъ это Муравейникъ такъ хлопочетъ сдѣлать государя *недобрымъ*, онъ — богъ съ нимъ, и безъ него самъ до этого очень успѣшно достигаетъ.

Колоколъ № 228.
1 Октября 1866 года.

ВИСѢЛИЦА И МУРАВЬЕВЪ.

Двухъ личностей, занимавшихъ Россію почти цѣлые полгода, *нѣтъ больше.*

Трагическая и печальная личность фанатика-мстителя*) и грубая фигура свирѣпаго старика-инквизитора исчезли почти вмѣстѣ.

Судьбы совершились прежде надъ палачемъ, чѣмъ надъ осужденнымъ.

Разлагающійся трупъ *Муравьева*, на дорогѣ къ висѣлицѣ *Каракозова*, такое страшное, громкое поученіе, такая грозная притча, что ихъ не обойдешь въ суетной разсѣянности, какъ бы она ни была велика.

За четыре дня до казни Каракозова, въ деревенской глуши, темной ночью, безъ свидѣтелей, безъ словъ раскаянія, безъ близкихъ и поповъ, безъ слезъ и помощи, задохнулся отвалившійся отъ груди Россіи вампиръ.—Какіе образы пугали его нѣмую агонію, отъ кого ринулся онъ, умирая безъ голоса, не приходила-ли „черная женщина", та, котсрая являлась князю Горчакову.... не шелъ-ли рядъ молодыхъ героевъ съ веревкой на шеѣ?—За чѣмъ бѣжалъ задыхающійся старикъ отъ царскихъ имянинъ, отъ какого барскаго слова?... За чѣмъ Зимній дворецъ не остановилъ его, а бросилъ на окоченѣлый трупъ бриллiантовые знаки Андрея?

Ни государь, ни общество не смоютъ пятна, которое имъ завѣщалъ умершій палачъ. Имя Муравьева останется выжженнымъ на царскомъ плечѣ, какъ имя Аракчеева на плечѣ Александра I. Разница въ томъ, что Аракчеева ненавидѣла тогдашняя Россія, а Муравьева носила на рукахъ современная. Разница въ томъ, что Александръ I любилъ Аракчеева и зналъ его честность, а Александръ II терпѣть не могъ Муравьева и зналъ его корыстолюбіе. Разница въ томъ, что Александръ I втѣснилъ Аракчеева безгласной имперіи, а Муравьева втѣснила реакція, (какъ намъ лично хвастался одинъ изъ представителей ея), безгласному государю.

Висѣлица зловѣще проводила американцевъ, ее послѣднюю видѣли они, отплывая... Что за хаосъ! Смерть, казнь, самодержецъ, ничего самъ не держащій, огромная клевета заговора, лопнувшая

---

*) Одни глупцы могутъ заподозривать, что мы слову „фанатикъ" придаемъ смыслъ бранный.

какъ мыльный пузырь... и звуки „Янки дудель“, перемѣшанные съ „комаринскимъ мужикомъ“.... Какія-то дикія, мрачныя группы, сорвавшіяся изъ Бонаротьевскаго Guidizio, выступающія изъ „не божеской комедіи“.

Гдѣ найти Тацита и Данта вмѣстѣ, чтобъ уловить, остановить, заклеймить эту исторію во всемъ безуміи, во всей гадости настоящаго, съ ея раболѣпіемъ, ханжествомъ, съ ея успѣхами крѣпостниковъ, дураковъ — *не утративъ пророческій смыслъ бѣснованья, не забывая, что этотъ тяжелый, кровавый, грязный періодъ—періодъ родовъ, а не предсмертнаго бреда и бѣшенства.*

... Будемъ съ нетерпѣніемъ ждать продолженія *безгласнаго* процесса. Теперь пойдетъ одна ложь, только ложь. Личность Каракозова стоитъ одинокая и разобщенная, никого возлѣ.... Это ясно. Но безъ *огромнаго* заговора выпутаться неловко. Лишь бы эти кровавые гаеры, играющіе въ потемкахъ, сократили число жертвъ и антракты.

Передъ казнью въ 1826 году было напечатано Блудовское донесеніе, съ полнымъ приговоромъ суда. Не правда-ли, какъ въ *сорокъ лѣтъ*, послѣ всѣхъ криковъ, хвастовства и шарлатанства, подвинулась у насъ гласность, законность, понятіе юридической защиты, права?...

Колоколъ № 229.
1 Ноября 1866 года.

ЗАГОВОРА НЕ БЫЛО!

Не было, такъ какъ не было *зажигателей* между нигилистами, такъ какъ не было ни одного доказаннаго преступленія со стороны *Чернышевскаго* и *Серно-Соловьевича*. Обманъ не удался. За то посмотрите, какъ бѣснуется Катковъ. Онъ не можетъ достаточно оплакать, что Худякова не повѣсили, онъ дѣлается нелѣпъ, глупъ, онъ дѣлается черствъ въ своей статьѣ (202 № *Моск. Вѣдомостей*), но страсть превозмогаетъ.... Что это за чудовищное явленіе! Какова жизнь, каково прошедшее, въ которомъ могъ развиться такой гнилой чирій?... Какова лужа-среда, которая его поддержала! Передъ этимъ дѣйствительно останавливаешься съ холоднымъ потомъ на лбу, и спрашиваешь: какое очищеніе возможно этой среды? Чему-же дивиться, что *Марксъ* искалъ облегчительную причину въ томъ, что ядъ имъ былъ данъ противъ крысъ и литератора Каткова?...

Когда же Россія умоешься Ты отъ этой грязи, отъ этой сукровицы, отъ этихъ гадовъ...

....Дай намъ, твоимъ дѣтямъ на чужбинѣ, страстно тебя любящимъ, дай намъ возможность жить съ поднятой головою, тебя защищать, тебя проповѣдывать, тебя открыто любить.... обмойся отъ Катковыхъ, оботрись, на твоихъ губахъ остался скверный слѣдъ поцѣлуевъ Муравьева.

„GMINA“

Подъ этимъ заглавіемъ вышелъ первый листъ новаго польскаго періодическаго изданія въ Женевѣ. Отъ души привѣтствуемъ его — и не можемъ иначе привѣтствовать его, такъ сочувственно-братски онъ намъ протягиваетъ руку. „Съ вашимъ трудомъ мы приходимъ соединить наши юныя усилія“, пишутъ къ намъ издатели *Гмины*. «Рожденные въ другомъ мѣстѣ, въ другомъ времени и окруженные иной обстановкой, можетъ, мы не въ одинъ тактъ будемъ звонить къ общей обѣднѣ — можетъ, нашъ голосъ прежде замретъ чѣмъ вы сзовете на великое Вѣче вашъ народъ, замретъ въ той борьбѣ страстей, которая изъ вашего отечества сдѣлала палача, изъ нашего мученицу — но пока пойдемте вмѣстѣ — вы такъ-же страдаете нашимъ страданіемъ, какъ мы краснѣемъ вашимъ стыдомъ».

Программа, высказанная *Гминой*, широка: она хочетъ проповѣдывать „преобразованіе общественнаго порядка въ земляхъ, составлявшихъ польскую республику, на основаніи древняго общиннаго устройства, примѣняя къ нему все, къ чему идутъ современныя стремленія“. Отъ этихъ словъ вѣетъ юнымъ, свѣжимъ — и мы искренно протягиваемъ наши руки молодымъ товарищамъ—въ общемъ походѣ.

Колоколъ № 230.
1 Декабря 1866 года.

ПОРЯДОКЪ ТОРЖЕСТВУЕТЪ!*)

L'ordre règne à Varsovie!
Sébastiani (1831).

I

Если Содомъ и Гомора гибли такъ интересно, какъ гибнутъ *старые порядки* въ Европѣ, я нисколько не дивлюсь, что Лотова жена не во время обернулась, зная, что ей за это солоно придется.

Едва мы подходимъ къ концу 1866 года, такъ и тянетъ оглянуться.

Ну годъ!... *и въ гостяхъ, и дома*—хорошъ онъ былъ, бѣдностью событій его попрекнуть нельзя...

О Западѣ мы почти никогда не говоримъ. Безъ насъ о немъ говорятъ много и громко, онъ самъ говоритъ еще больше и еще громче, помощи нашей ему не нужно, перекричать его мы не можемъ. Къ тому-же было время, — мы высказали наше мнѣніе до тла. Но событія становятся до того крупны и рѣзки, несутся такъ быстро, что по необходимости передъ ними останавливаешься, повѣряешь и сличаешь думанное съ совершающимся.

---

*) Эти статьи помѣщены въ №№ 230, 231-232, 233-234 *Колокола*.
Л. Т.

Старый порядокъ вещей, упорно державшійся на своихъ правахъ давности, сталъ распадаться съ отчаянной быстротой. „Гнилая рыба“,*) о которой говоритъ Гёте, валится кусками съ костей, на первый случай въ прусскую каску. Хороша будетъ уха сваренная въ ней!

Разложеніе *стараго* міра не пустая фраза, теперь въ этомъ трудно сомнѣваться. Характеръ органическаго разложенія состоитъ именно въ томъ, что элементы, входящіе въ данное взаимное отношеніе другъ къ другу, дѣлаютъ вовсе не то, что они назначены дѣлать, что они хотятъ дѣлать, а это-то мы и видимъ въ Европѣ.

Охранительная сила, консерватизмъ гонитъ въ зашеи *законныхъ* королей и властителей, рветъ свои трактаты, рубитъ сукъ, на которомъ сидитъ.

Революція рукоплещетъ замѣнѣ глупыхъ и слабыхъ правительствъ сильнымъ военнымъ деспотизмомъ.

Все дѣлается — въ этомъ единственный смыслъ реакціи — для прочности, покоя, равновѣсія, и всѣ чувствуютъ, знаютъ, что Европа, сшитая *прусскими иголками*, сшита на живую нитку, что все завтра расползется, что это не въ самомъ дѣлѣ, что въ самомъ дѣлѣ будущность міра, этого великаго, цивилизованнаго, историческаго міра, виситъ на ниткѣ и зависитъ, какъ въ сказкѣ о „Заколдованной розѣ“, отъ почекъ, но не розы—а пятидесяти-восьми-лѣтняго человѣка. Вотъ куда реакція спасла міръ. Міръ, стоявшій на трехъ китахъ, былъ прочнѣе.

Давно извѣстно, да и Байронъ повторялъ, что нѣтъ человѣка, который не обрадовался бы, услышавъ, что съ его другомъ случилось несчастье, которое онъ предвидѣлъ и отъ котораго предостерегалъ. Относительно политическаго міра и это удовольствіе притупилось для насъ. Восемнадцать лѣтъ тому назадъ насъ прозвали „Іереміями, плачущими и пророчащими на развалинахъ іюньскихъ баррикадъ“, и съ тѣхъ поръ каждый годъ сбывается что-нибудь изъ того, что мы предсказывали; сначала это льстило самолюбію, потомъ стало надоѣдать.

Былъ въ Европѣ больной человѣкъ, до него-то и добивался Николай Павловичъ, самъ не очень здоровый,—теперь вся Европа больница, лазаретъ и, главное, домъ умалишенныхъ. Она рѣшительно не можетъ переварить противорѣчій, до которыхъ дожила, не можетъ сладить съ переломленной революціей внутри, съ двойной цивилизаціей, изъ которыхъ одна въ наукѣ, другая въ церкви, одна чуть не двадцатаго столѣтія, а другая едва XV. Да и легко-ли спаять въ одно органическое развитіе — буржуазную свободу и монархическій произволъ, соціализмъ и католицизмъ, право мысли и право силы, уголовную статистику, объясняющую дѣло, и уголовный судъ, рубящій голову, чтобъ она поняла.

---

*) Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch.

Иной разъ кажется, будто Европа успокоилась, но это только кажется. Она въ своихъ задачахъ нигдѣ, никогда не доходила до точки, а останавливалась на *точкѣ съ запятой*. Парижскій трактатъ—точка съ запятой, Виллафранкскій міръ—точка съ запятой, завоеваніе Германіи Пруссіей—*семиколонъ*. Отъ всѣхъ этихъ недоконченныхъ революцій и передрягъ, въ крови старой Европы бродитъ столько волненій, *страховъ и безпокойствъ*, что она не можетъ заснуть, а ей этого хочется. Лишь только она задремлетъ, кто-нибудь—добро еще Наполеонъ, а то Бисмаркъ—подниметъ такой трескъ и шумъ, что она, испуганная вскакиваетъ и спрашиваетъ; гдѣ горитъ и что? И гдѣ-бы ни горѣло, и что-бы ни горѣло—погорѣлая она, кровь течетъ ея, деньги приплачиваются ею.... Петръ I какъ-то оттаскалъ за волосы невиннаго арапченка, думая, что онъ его разбудилъ; въ Европѣ не только не кому оттаскать виновнаго, но еще передъ нимъ всѣ становятся на колѣни. Оно, впрочемъ, и лучше, что есть будильники, а то и не такую бѣду наспалъ бы себѣ міръ.

Люди по натурѣ безпечны и, не ударь громъ, они и не перекрестятся, какъ говоритъ пословица. Человѣкъ завелъ садъ и жену, развелъ цвѣты и дѣтей, обманулъ всѣхъ сосѣдей, продавая имъ въ три дорога всякую дрянь, обобралъ всю мышечную силу окрестныхъ бѣдняковъ за кусокъ хлѣба и, благодаря прочному, законами утвержденному порядку, легъ спать вольнымъ франкфуртскимъ купцомъ, а на другой день проснулся подданнымъ прусскаго короля, котораго всю жизнь ненавидѣлъ и котораго долженъ любить больше жены и цвѣтовъ, больше дѣтей и денегъ. Въ домѣ его бражничаютъ прусскіе драгуны, цвѣты его съѣли лошади, дѣтей съѣстъ рекрутчина... Вотъ онъ и подумаетъ теперь, что ему обезпечило *государство и реакція*, въ пользу которыхъ онъ платилъ деньги, кривилъ душой, безъ вѣры молился и безъ уваженія уважалъ. Вмѣстѣ съ нимъ подумаетъ и эта ватага калѣкъ перехожихъ, слѣпыхъ и безумныхъ королей Лировъ, пущенныхъ по міру въ оборванныхъ порфирахъ — не народами, а своимъ братомъ, Hohenzollern hochverschwistert.

Другіе народы и другіе вѣнценосцы тоже подумаютъ теперь о смыслѣ и крѣпости *присяги, преданности престолу*, о *святости законныхъ династій*.

Постдамскій лейбъ-пасторъ настрочилъ молитву для ганноверскихъ церквей и заставилъ ихъ сегодня молиться за вчерашняго врага въ безконечно смѣшныхъ выраженіяхъ. Этого не дѣлалъ и Батый.

Кажется, что можетъ быть смѣшнѣе и нелѣпѣе всего этого... а есть роль смѣшнѣе, именно революціонеровъ.

Правительства, сколачивающія единства и сортирующія людей и области по породамъ не для составленія родственныхъ *группъ*, а для образованія сильныхъ, *единоплеменныхъ государствъ*, знаютъ по крайней мѣрѣ, что дѣлаютъ; но помогающіе имъ, если не руками,

то крикомъ и рукоплесканіями, революціонеры и эмигран нимаютъ-ли они, что творятъ?

Въ этомъ-то безсмысліи и заключается одна изъ тайнъ : тической путаницы въ головѣ современнаго человѣка, въ онъ живетъ. *Старымъ умамъ*, въ ихъ логической лѣни, ле вать другихъ и быть ими убитыми, чѣмъ дать себѣ отчетъ что они дѣлаютъ, легче *вѣрить въ знамя*, чѣмъ разобрать, войско за ними.

Они мечтали о *свободѣ, равенствѣ и братствѣ*, ими взбу ли умы, но дать ихъ не умѣли и не могли: „Нельзя же все да разомъ, и Римъ не въ одинъ день былъ построенъ", а для постепенности, они помирились съ реакціей на то вмѣсто свободы лица, будетъ свобода государства, націо независимость, словомъ, та *свобода*, которою искони бѣ п ся Россія и Персія. Все шагъ впередъ. Только жаль, что равенства будетъ племенное различіе, и вмѣсто братства · висть народовъ, сведенныхъ на естественныя границы.

Въ 1848 году реакція явилась *реакціей*, она обѣщала п т. е. полицію, и порядокъ, т. е. *полицейскій*, она возстанов лѣтъ въ десять смирительный домъ безъ развлеченья безплодное, отрицательное знамя полицейскаго отпора и стройства износилось. И вотъ мало по малу начало пока новое, какъ бы это сказать, земноводное, амфибическое оно водрузилось между реакціей и революціей, такъ что принадлежало той и другой сторонѣ, какъ Косильеръ по безпорядку. Освобожденіе національностей отъ чужеземн *никакъ не отъ своего*, сдѣлалось общимъ бульваромъ враж началъ.

Лопнувшія гранаты Орсини возвѣстили новую эпоху, и поръ пошли всякія чудеса: латинскій міръ въ Мексикѣ, прусскій въ Даніи, Пруссо-Австрія другъ въ другѣ, за Венеціи пораженіемъ Италіи на сушѣ и на морѣ; Франція, ляющая *противъ себя* Рейнскую границу, присоединеніе п маніи къ Пруссіи — къ государству безъ отечества, и должно бы было первое распуститься въ нѣмецкое ge Vaterland.

И какъ всегда бываетъ, возлѣ крупныхъ событій нес какой-то неистовой „пляскѣ смерти" .... личности, случ подробности, отъ которыхъ волосъ становится дыбомъ.

Возьмите хоть эту женщину, переплывающую океанъ, чт сти поддѣльную корону своего мужа, которую она прини настоящую *латинскую*. Родной братъ не даетъ ей наслѣдст единственный покровитель пожимаетъ плечами и показы статуи Кановы, она падаетъ въ обморокъ, и когда раск глаза, передъ ней стоитъ *онъ* съ стаканомъ воды, и она, ун поврежденная, съ крикомъ: „меня хотятъ отравить" бѣжи бѣжитъ къ папѣ. Въ Ватиканѣ встрѣчаются эти два безсм двѣ лжи. Старикъ, которому скоро нечего будетъ благос

„ни въ городѣ, ни во вселенной“, видя у ногъ своихъ полуразвѣнчанную, вѣрующую въ него женщину, приходитъ въ бѣшенство.

Она держитъ его за сутану и проситъ чуда, — грубый старикъ отталкиваетъ ее, осыпаетъ бранью, чтобъ скрыть, что у него нѣтъ чудотворной силы. Совсѣмъ *сумасшедшую*, ее везутъ изъ Ватикана, а она шепчетъ: „меня хотятъ отравить“.

Около выжившаго изъ ума старика и безумной летятъ осколки всевозможныхъ коронъ, большихъ и малыхъ, увлекая съ собой и другую стародавность, другую *подагру*, которую не могутъ поддержать ни чахлые эрцгерцоги, ни жирные монсиніоры.

На расчищенномъ мѣстѣ ставятся на зиму военные бараки. На этихъ бивакахъ будетъ продолжаться исторія.

Все разсортировано по зоологіи, и признано по національностямъ: одна заштатная Австрія отстала, не зная какую кокарду прицѣпить къ надтреснутой коронѣ — *Славянскую*, *Нѣмецкую* или *Венгерскую*. Догадаться, что она прежде всего федерація, и что она только путемъ федераціи можетъ воскреснуть — не трудно, но не достаетъ мозговъ.

Этотъ актъ финала сыгранъ превосходно, быстро, отчетливо, съ поразительнымъ ensembl'емъ.

Остались кой-какія „слабости“, до которыхъ не коснулись и которымъ предоставили роль маленькихъ звѣрковъ, сажаемыхъ въ львиную клѣтку, для обнаруженія великодушія „царя звѣрей“.

... О Ромье! забытый Ромье, какъ онъ былъ правъ, проповѣдуя необходимость противоставить какъ плотину—напору соціальныхъ волнъ—національные вопросы.

Но великодушіе—великодушіемъ, надобно-же знать и мѣру. До сихъ поръ одинъ *наружный* порядокъ былъ возможенъ... его подтачивали тысячи подземныхъ кротовъ, его подмывали тысячи подземныхъ ручьевъ. Что сдѣлаешь, пока рядомъ съ вольными типографіями есть желѣзныя дороги, пока легкость передвиженья и трудность преслѣдованія *за границей* — помогаютъ другъ другу. Годъ тому назадъ парижскіе студенты ѣздили вмѣстѣ съ нѣмецкими въ Льежъ, а въ нынѣшнемъ французскіе и нѣмецкіе работники сходились на совѣщаніе съ англійскими и швейцарскими въ Женевѣ. Простая логика говоритъ, что Франція и Пруссія не могутъ, не должны терпѣть на европейскомъ континентѣ безъ явной опасности для себя, безъ вопіющей непослѣдовательности, терпѣть на иномъ основаніи республикъ или свободныхъ государствъ, какъ терпѣлась безгласная республика Санъ-Марино и оперная Валь д'Андоръ...

. . . . Тутъ поневолѣ приходитъ на умъ, такъ сильно грѣшащая противъ національной сортировки, молитва:

Gott protège la Svizzera!*)

---

*) Когда въ Швейцаріи вводили одинакую монету во всѣхъ кантонахъ, въ федеральномъ собраніи представился вопросъ: на какомъ языкѣ сдѣлать надпись кругомъ монеты, чтобъ не обидѣть

Да, Швейцаріи жаль, истинно, глубоко жаль!

Трудно, больно себѣ представить, что вѣковая, готическая свобода изгонится изъ ея ущелій, съ ея вершинъ, что на Альпахъ будутъ развиваться прусскіе флаги и трехцвѣтное знамя французовъ. А съ другой стороны такъ ясно, что подобныя противорѣчія, при огромномъ неравенствѣ, рядомъ существовать не могутъ. Всѣ эти клочки свободныхъ государствъ, терпимые, какъ игорные и публичные дома, по разнымъ соображеніямъ, по разнымъ снисхожденіямъ, то какъ лайка между двумя камнями, то изъ боязни, чтобъ другая рука не протянулась за своимъ паемъ—утратили свое право на слабость, свою привилегію на край гибели. Никакихъ соображеній, никакихъ уваженій не осталось. Франція и Пруссія до того сильны, что они остановились: Франція не взяла береговъ Рейна, Пруссія не добрала всей Саксоніи, все равно, все божье, да ихъ, нынче не взято, завтра можно взять.

Одинъ кусокъ не по челюстямъ — Англія. Не даромъ Франція такъ рвется черезъ каналъ.... привести въ порядокъ ненавистную страну, съ ея ненавистнымъ богатствомъ...

Англія поблагоденствуетъ еще: въ ней будетъ уже не всемірная выставка, а всемірный складъ всего, до чего доработалась цивилизація, въ ней дѣйствительно увѣнчается и пышно развернется послѣдняя фаза средневѣковой жизни, свободы, собственности. Все это до тѣхъ поръ, пока туго понимающій, *но понимающій* работникъ—выучитъ по складамъ, но твердо такія простыя правила, какъ: „мало habeas corpus'а, надобно еще кусокъ хлѣба“, и французскую комментарію къ ней въ англійскомъ переводѣ: „У кого есть дубина, у того есть хлѣбъ!“*)

... Да, смертельно жаль Швейцаріи — ея недостатки, ея грѣхи, мы знаемъ, но вѣдь она не за нихъ будетъ наказана, а за то, что осталась свободная, федеральная, республиканская — между двухъ деспотическихъ армій.

Смотримъ, смотримъ — откуда можетъ придти спасеніе — и не видимъ.

Есть добрые люди, которые думаютъ, что французскій солдатъ

ни одну изъ національностей. Одинъ изъ представителей, шутя, предложилъ вырѣзать: Gott protège la Svizzera, и этимъ кончилъ вопросъ. Собраніе велѣло чеканить монету безъ всякихъ фразъ, а просто съ означеніемъ цѣнности.

Не замѣчательно-ли, что въ двухъ странахъ, въ которыхъ республика вошла въ жизнь и въ кровь—въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ и въ Швейцаріи—спаяны вмѣстѣ нѣсколько народностей —одна состоитъ изъ всесвѣтныхъ пришельцевъ и бродягъ, другая изъ разноплеменныхъ союзниковъ.

*) Мы просимъ нашихъ читателей вспомнить, что въ 1853 и 1854 мы предсказывали, что Европа придетъ къ этому съ своей реакціей, въ рядѣ писемъ подъ заглавіемъ: Le vieux Monde et la Russie.

остановится передъ святымъ словомъ: "Республика", передъ святыми Альпами, дававшими убѣжище его отцамъ и братьямъ. Въ прошломъ столѣтіи онъ смѣло переходилъ горы и рѣки, *съ нимъ была революція*, но во имя реакціи онъ не пойдетъ безславно душить кучку вольныхъ гражданъ...

... Эти добрые люди не знаютъ, что такое французскій солдатъ нашего времени, воспитанный Алжиромъ, зуавами, туркосами...

Есть другіе хорошіе люди, которые думаютъ, что сама Швейцарія должна проснуться, забыть ежедневную суету, федеральныя и кантональныя сплетни, комерцію горами и иностранцами, и сдѣлать теперь *все то, что она сдѣлаетъ, но слишкомъ поздно*, т. е. схватиться за карабинъ, кликнуть кличь народнымъ массамъ сосѣднихъ государствъ и указать имъ весь ужасъ, грозящій отъ этихъ ново вавилонскихъ и ассирійскихъ монархій. Конечно, это было бы недурно, и во всякомъ случаѣ дало бы Швейцаріи хорошую, великую кончину...

Но кто же можетъ откликнуться?

Бельгія, что-ли?... Сила, нечего сказать.

Или ужъ не Австрія-ли пойдетъ на деревяшкѣ выручать *свободу* міра, съ побитыми войсками и побѣдоносными іезуитами?

И въ сущности, какое дѣло народнымъ массамъ, что изъ нихъ составляютъ вавилонскую или ассирійскую монархію. Развѣ черезполосица, урѣзки и прирѣзки Вѣнскаго конгреса были лучше? развѣ имъ было когда нибудь лучше? о нѣмецкихъ мелкопомѣстныхъ короляхъ, герцогахъ и говорить нечего. Надобно прочесть рѣчь баденскаго министра иностранныхъ дѣлъ въ камерѣ,*) чтобъ подивиться, какими разбойниками управлялись нѣмцы. до тѣхъ поръ, пока не пошли на округленіе прусскихъ владѣній.

Правда, что массы и прежде возставали всегда безсмысленно, но онѣ бѣжали за какой-нибудь радугой, была какая-нибудь повальная мономанія, фанатическая вѣра, которая для нихъ дѣлалась дороже семейнаго крова и своей жизни. Гдѣ теперь эта радуга, это слово, этотъ идеалъ? Швейцарецъ будетъ защищаться въ своихъ горахъ, какъ левъ, какъ вепрь — до послѣдней капли крови; онъ будетъ защищать свое, стародавнее, родное, онъ знаетъ, *что* отстаивать. Ну а другимъ что за дѣло? Другіе просто не поймутъ; да и въ самомъ дѣлѣ, какъ понять, когда для защиты человѣческихъ правъ приходится становится съ — *австрійской стороны*...

Хорошъ сумбуръ, къ которому привела спасительная *реакція* нашихъ западныхъ стариковъ, за то:

Революція—побѣждена,

---

*) Выведенный изъ терпѣнія нападками въ камерѣ, онъ разсказалъ, какъ Австрія и Баварія вступали съ Баденомъ въ союзъ, и въ то же время тайно между собой приготовлялись присоединить Баденъ къ Баваріи... Слово разбойникъ потому тутъ не идетъ —что разбойники между собою-то по крайней мѣрѣ честны...

Красные—побѣждены,
Соціализмъ—побѣжденъ,
Порядокъ—торжествуетъ,
Тронъ—упроченъ,
Полиція—сажаетъ,
Судъ—казнитъ,
Церковь—благословляетъ...

Радуйтесь и благословляйте въ свою очередь!

... Стало, такъ таки просто голову въ перья и ждать, когда бѣда разразится?

Бѣда-то разразится, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но головы прятать ненужно. Лучше самоотверженно ее поднять, прямо посмотрѣть въ глаза событіямъ, да и въ свою совѣсть кстати.

Событія столько же создаются людьми, сколько люди событіями; тутъ не фатализмъ, а взаимодѣйствіе элементовъ продолжающагося процесса, безсознательную сторону котораго можетъ измѣнять сознаніе. Историческое дѣло, только дѣло живого *пониманья* существующаго. Если десять человѣкъ понимаютъ ясно, чего тысячи темно хотятъ, тысячи пойдутъ за ними. Изъ этого еще не слѣдуетъ, что эти десять поведутъ къ добру. Тутъ-то и начинается вопросъ совѣсти.

На какомъ основаніи Наполеонъ и Бисмаркъ ведутъ Европу? что *они поняли?*

Наполеонъ понялъ, что Франція *измѣнила* революціи, что она остановилась, что она испугалась; онъ понялъ ея *скупость* и то, что все остальное подчинено ей. Онъ понялъ, что старое, сложившееся общество, въ которомъ сосредоточены дѣятельныя силы страны, всѣ вещественныя и невещественныя богатства, хочетъ не свободы, а ея представительной декораціи, съ полнымъ правомъ d'user et d'abuser. Онъ понялъ, что новое общество, идущее прямо къ соціальному перевороту, ненавидитъ старое—но безсильно. Онъ понялъ, что масса не знаетъ ни того, ни другого, и внѣ Парижа, да въ двухъ, трехъ большихъ центрахъ—живетъ готическими фантазіями и дѣтскими легендами. Онъ все это понялъ — посреди шума и возгласовъ, оканчивающейся реепублики 1848 года, посреди самонадѣянныхъ притязаній разныхъ партій и неугомонной оппозиціи; оттого-то онъ и молчалъ, и выжидалъ, когда „груша поспѣетъ“.

Съ своей стороны и Бисмаркъ не хуже Наполеона оцѣнилъ своихъ филистеровъ; на лаккахъ франкфуртскаго парламента ему былъ досугъ ихъ раскусить. Онъ понялъ, что нѣмцамъ политическая свобода столько же нужна, сколько реформація имъ дала религіозной, что и эта свобода имъ нужна только der Theorie nach, что они власти повиноваться привыкли, а къ строгой англійской самозаконности вовсе не привыкли. И этого было-бы довольно; но онъ больше понялъ,—онъ понялъ то, что въ настоящую минуту нѣмцы снѣдаемы завистью къ Франціи, ненавистью къ Россіи, что они бредятъ о томъ, чтобъ быть сильнымъ госу-

дарствомъ, сплотиться... за чѣмъ?... еслибъ это можно было объяснить, тогда это не было-бы помѣшательствомъ. Итальянская Unità—спать не давала нѣмецкому Einheits патосу. Что выйдетъ изъ итальянской Unità, мы не знаемъ. Но необходимость ея, для того чтобъ прогнать австрійцевъ, Бурбоновъ и Папу — очевидна. Нѣмцы не для своего освобожденія хотѣли единства, а съ агрессивной цѣлью; ихъ столько обижали, что имъ самимъ захотѣлось обидѣть другихъ. Бисмаркъ все это понялъ... Опозоривши, унизивши народное представительство въ Берлинѣ до той степени, до которой въ исторіи нашего вѣка не доходило ни одно правительство, онъ присмотрѣлся: народъ молчитъ. А... если такъ... патріотическій вопросъ о Шлезвигъ-Голштейнѣ впередъ и давай бить датчанъ. Вся Германія рукоплескала нерожному бою. Нѣмецкіе выходцы въ Лондонѣ, въ Нью-Іоркѣ, въ Парижѣ, праздновали побѣды: *Австріи и Пруссіи*. Послѣ этого опыта, нечего было бояться, нечего церемониться, маска долой, и Бисмаркъ изъ Германіи пошелъ сколачивать имперію пруссаковъ, употребляя на пыжи клочья изорванной конституціи. „Вы хотѣли сильнаго государства, вотъ вамъ оно, Франція съ нами теперь посчитается... Вы хотѣли униженія Австріи, мы вамъ ее забили почти до возрожденья — Liebchen, was willst du den mehr?...“ „Свободы, графъ, свободы!“ —Ну ужъ это извините, да вамъ ее и не нужно. Пользуйтесь вашимъ величіемъ, молитесь—за будущаго императора пруссовъ — и не забывайте, что рука, которая раздавила цѣлыя королевства, раздавитъ всякую неблагодарную попытку съ вашей стороны съ неумолимой строгостью. Sie sind entlassen meine Herrn!—

... Если отрѣшиться отъ нашихъ симпатій и антипатій, забыть, что намъ лично дорого и что ненавистно, то особенно кручиниться о томъ, что дѣлается въ Европѣ, врядъ-ли придется. Военныя диктатуры и беззаконныя имперіи ближе къ выходу, чѣмъ традиціонныя королевства и законныя монархіи. Въ нихъ Европа не застрянетъ, а подведется къ одному знаменателю... а перегоритъ, и миромъ или войной дойдетъ до страшной пустоты. Эта пустота и будетъ могилой всего отжившаго.

Прудонъ какъ-то съ ужаснымъ безчеловѣчьемъ упрекалъ Польшу, что „она не хочетъ умирать“. Мы гораздо справедливѣе можемъ это сказать о *старой* Европѣ. Она всѣми силами удерживается въ жизни, а болѣзнь, а смерть все подвигаются. Сознаніе, мысль, наука и всѣ ея приложенія давно переросли готическія и мѣщанскія формы стараго государства. Духъ въ разладѣ съ тѣломъ—изнуренное, узкое и полное недуговъ, оно сковываетъ его. Французская революція 1789 года, тогда еще испугалась этого, и оттого вся сбилась въ войну и политику; она рада была внѣшнимъ занятіямъ — и изъ „правъ человѣка“ развился кодексъ *мѣщанскаго права*.

Какъ ни была шатка и блѣдна революція 1848, но и она сильно рванулась продолжать перерванное политикой перерожденіе, и тутъ то началась послѣдняя борьба умирающаго старика, отстаивающа-

го дни свои, вооруженнаго цѣлымъ арсеналомъ вѣковыхъ оружій — съ отрокомъ сильнымъ одной мыслью, одной вѣрой, одной истиной, который въ первой схваткѣ пустилъ пращу и не попалъ. Кажется, чего лучше — старый Голіаѳъ побѣдилъ, а умираетъ-то онъ, а не отрокъ; еще два, три такихъ судорожныхъ припадка кроваваго бѣшенства, какъ окончившаяся война, еще два, три геройскихъ леченія доктора Бисмарка, и больному нечего бояться ни испанской чахотки, ни голландской водяной...

— Но вѣдь можетъ же онъ передъ смертью придушить мальчишку, дерзко напоминающаго ему, что пора умирать.

Можетъ. Хотя это далеко невѣрно.

— Что-же тогда?...

Идеи сѣются не въ землю. Наука, мысль — не glebæ adscripti, не *крѣпки поивѣ..*

...Нѣтъ мѣста евангелію въ Іудеѣ, его несутъ въ Римъ, его проповѣдуютъ варварамъ; нѣтъ молодому работнику простора въ отеческомъ домѣ, на родныхъ поляхъ, онъ уйдетъ въ Америку.... не знаю куда....

Мы это говоримъ не въ первый разъ, но считаемъ необходимымъ иногда повторять, и особенно необходимымъ повторить теперь, когда у насъ все покрыто такими темными тучами, и все такъ быстро, быстро пріуныло.

II

Да, но онъ обманулъ, онъ не сдержалъ слова, онъ не далъ покоя, онъ не далъ мира, онъ не далъ жизни, а продолжилъ смерть; онъ отвелъ глаза отъ опасности, замаскировалъ пропасть декораціями и самой войной не достигъ ни до какой прочности. Лишь только умолкли барабаны.... поднимается прежнее негодованіе и тотъ-же грозный вопросъ: „что мы сдѣлали съ Авелемъ?“ раздается въ ушахъ стараго міра, призывая его къ страшному суду.

Приходится сложить *балансъ*, но задача ликвидаціи *старой фирмы* ужасно сложна, слишкомъ много всякаго добра, нажитаго потомъ и кровью, наслѣдственнаго и купленнаго на трудовую копѣйку. Какъ-бы ни была очевидна *справедливость*, но трудно-же безъ боя и сопротивленія все пустить съ молотка. Проволочками, пальятивами ищетъ старый домъ отдалить банкрутство.

Только двѣ страны изъ всѣхъ вступившихъ въ большое русло, состоятъ на особыхъ правахъ у исторіи и иначе обращены къ будущему.

Ихъ задача проще.

Ихъ положеніе менѣе сложно.

Ихъ не тревожитъ въ настоящее время „ненужное воспоминаніе и неразрѣшимый споръ“.*)

---

*) Много разъ приводили мы эти превосходные стихи Гете объ Америкѣ.

Dich stört nicht im Innern

О Сѣверо-Американскомъ союзѣ нечего хлопотать, онъ выплыветъ на всѣхъ парусахъ, au large.

Россія еще легче могла-бы найти свой фарватеръ, но она сбилась съ дороги за какими-то туманами, сама выдумала себѣ обязательное прошедшее, сама потопила старые корабли, набросала каменья въ своемъ морѣ и боится ударить весломъ.

Объяснить что-нибудь правительству—гигантскій подвигъ, за который мы не возьмемся, оно скорѣе набредетъ темнымъ инстинктомъ, натолкнется ощупью на дѣло, чѣмъ что нибудь пойметъ.

Намъ хочется другого, очистить снова нашъ основной вопросъ — отъ всего хлама и ила — и сказать падающимъ въ вѣрѣ друзьямъ нашимъ то, что сказалъ своимъ товарищамъ Сіэсъ послѣ знаменитаго „Allez dire“ Мирабо: „Мы сегодня то-же что были вчера—будемъ продолжать“.

...Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, я долго бесѣдовалъ съ однимъ старцемъ. Онъ *половину* своего слишкомъ шестидесятилѣтняго существованія провелъ въ тюремномъ заключеніи; его гнали всю жизнь, гонятъ теперь, не только враги, но свои. Человѣкъ этотъ, забытый въ тюрьмѣ, явился въ 1848 г. изъ могилъ Mont-Saint Michel'я какимъ-то привидѣніемъ середь ликованій Февральской революціи и когда отъ него ждали радостнаго привѣта, крика, восторга, онъ громко сказалъ: *мы тонемъ* и толпа, выпустившая его изъ тюрьмы отступила отъ него, какъ отъ злодѣя, какъ отъ юродиваго или зачумленнаго.... *„И топите насъ вы, а не враги наши,“* продолжалъ онъ. Его посадили опять въ клѣтку и пользуясь его заключеніемъ, оклеветали его,—а *республика потонула и потопили ее они.*

Новые пятнадцать лѣтъ смотрѣлъ онъ, изъ за тюремныхъ рѣшетокъ, на гибель всѣхъ начинаній, всѣхъ упованій,—сѣдой какъ лунь вышелъ онъ на этотъ разъ изъ тюрьмы; старика встрѣтила прежняя ненависть, прежняя злоба, и сломленный физически, въ страшной бѣдности, въ совершенномъ одиночествѣ исчезъ онъ въ горахъ, внѣ своей родины.

Старикъ этотъ *Огюстъ Бланки.*

Силы и время тратятся по пустому.

У правительства недостатокъ *пониманья*, у насъ—*вѣры.*

Весь успѣхъ нашей вновь испеченной, изъ затхлой европейской муки, реакціи—основанъ на этомъ.

Нѣкогда грозный трибунъ, потрясавшій массы, заставлявшій блѣднѣть своихъ судей съ лавки обвиняемыхъ, сталъ тихъ, его рѣчь полная мысли стала мягче, сдержаннѣе—но когда я съ недовѣріемъ отозвался о роли Франціи, глаза его сверкнули. — „Европѣ одно спасенье—Парижъ.... подавленный, молчащій Парижъ.... вы не знаете, что бродитъ и зрѣетъ въ парижскихъ массахъ.... па-

---

Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

рижскій работникъ выручитъ Францію, Республику.... всю Европу". И какая-то юная улыбка показалась на губахъ его. Онъ всталъ—худой, сѣдой, однѣ кости и кожа—прошелся по комнатѣ и молча остановился, глядя въ даль, потомъ покачалъ головой, и сказалъ: „Если я не очень скоро умру, я еще увижу это, а вы и подавно". Вотъ онъ—апостолъ Петръ, Кальвинъ, Сенъ-Жюстъ, наши старцы 14 Декабря, „каторжные вѣры", какъ выразился Кокрель о гугенотахъ.... мнѣ представился умирающій Ворцель—и склоненный къ его изголовью Маццини.

Да, это та вѣра, которая двигаетъ горы, которой чудотворную власть едва можно измѣрить, которая больному говоритъ: «Возьми одръ твой и иди за мной» и больной идетъ!

Бланки ушелъ. Я былъ подавленъ имъ, и что-то темное всплывало на душѣ — на столѣ лежала книга, я ее взялъ, увѣренный, что найду ложь, грязь, клевету*)—и не могъ отъ нея оторваться, другой рядъ мучениковъ, неусыпныхъ дѣятелей, юныхъ и старыхъ бойцовъ явился передо мной. *Виленская* оффиціальная литература, поставила удивительный памятникъ — *польской эмиграціи.* Даже съ точки зрѣнія съѣзжей и съ миросозерцаніемъ квартальныхъ надзирателей, — она велика вѣрой и любовью, настойчивостью и несокрушаемостью. Обвинительный тонъ памфлета, грубыя выраженія и грубыя насмѣшки надъ преданностью и несчастьемъ, даже безграмотный языкъ, какъ будто съ большей рельефностью представляютъ эту геройскую кучку, этотъ Ecce homo, заушаемый и въ терновомъ вѣнкѣ. Съ 1831 до 1866, она работаетъ, работа рушится; она начинаетъ вновь — она рушится опять, она опять начинаетъ. Правительства давшія ей убѣжище, такъ-же тѣснятъ ее какъ тѣ, которыя отогнали ее отъ границъ своихъ; она теряетъ лучшихъ людей, скитается изъ страны въ страну и нигдѣ не привыкаетъ, и отвсюду только *возвращается* въ свою родину, неся въ груди неисторгаемую вѣру въ наступающее ея освобожденіе и готовность лечь за нее костьми.

Отчего-же у насъ такъ *мало* вѣры—отчего наша вѣра такъ слаба? Отчего такъ многіе у насъ повѣсили голову и опустили руки при первой неудачѣ, при первыхъ несчастныхъ опытахъ, не давая *себѣ отчета даже въ томъ, что не ошибочно-ли сдѣланы они были?*

Неужели для того, чтобъ вѣрить *великой вѣрой*, нужно отчаянное положеніе или мистическое помѣшательство?

Что въ самомъ дѣлѣ перемѣнилось въ нашемъ внутреннемъ вопросѣ?.... Мы проходимъ темной четвертью мѣсяца, въ ненастной ночи совершаются ужасы, говорятся мерзости — вотъ и все; но гдѣ-же характеръ прочности, необходимости, живучести этого

*) *„Польская эмиграція, до и во время послѣдняго мятежа"* (изъ „Вѣстника Западной Россіи") Вильно 1866. Мы когда-нибудь еще возвратимся къ этому кому грязи, такъ замѣчательно не попавшему въ цѣль.

явленія? гдѣ наткнулись мы на предѣлъ, на родовую ограниченность, на племенную неспособность, какіе элементы *общей надежды* разрушились, оказались ложными? Изслѣдовали-ли мы *силу*, насъ побѣдившую—и причину почему она такъ легко насъ побѣдила? Съ просонья, безъ опредѣленной цѣли, на новомъ для насъ перепутьи мы быстро увлекаемся въ ту или другую сторону, потому, что не имѣемъ опредѣленной дороги и увлекаемся *такъ* — по англійскому выраженію by and by — и оттого тотчасъ готовы идти назадъ, въ сторону. Спотыкнувшись, мы впадаемъ въ отчаяніе, мы натягиваемъ невѣріе, чтобы сорвать сердце и равнодушіе, чтобъ отомстить за боль. Это короткое дыханье, эта способность *измѣны*, доказываютъ, что все бывшее *одно введеніе*, что это еще не «служба—службишка, а служба будетъ впереди».

Борьба у насъ едва завязывается, едва обозначается.

Самой реакціи нѣтъ полныхъ *пяти лѣтъ*. Пали великія жертвы, цѣлый народъ, нехотящій быть съ нами, зарѣзанъ. Муравьевъ былъ великимъ человѣкомъ и Катковъ великимъ писателемъ, общество заявило себя мерзѣе Муравьева и Каткова вмѣстѣ, крѣпостники подняли голову съ наглостью, честное, независимое слово задавлено, люди пошли на каторгу по фальшивымъ документамъ, судъ надъ врагами существующаго порядка дѣлался въ непроницаемой тайнѣ, правительство запершись на ключъ, судило само въ своемъ дѣлѣ, противно началамъ имъ признаннымъ, смертная казнь, беззаконно введенная, сдѣлалась чѣмъ-то обыденнымъ, гражданскихъ преступниковъ судятъ офицеры, утверждаютъ генералы, разстрѣливаютъ солдаты, какъ будто всякій человѣкъ дѣлаетъ *военнымъ*, какъ только кого-нибудь зарѣжетъ или ограбитъ.

Все это печально и на половину ненужно, даже съ *ихъ* точки зрѣнія. Но развѣ можно было ждать, что *это* правительство, послѣдній плодъ, выращеный въ оранжереяхъ Зимняго дворца, поступитъ дѣльно и безстрастно, что оно поступитъ умно и человѣчески? Развѣ можно было ждать, что общество, составленное изъ людей выросшихъ въ развратѣ помѣщичьей жизни, привыкнувшее съ дѣтскихъ лѣтъ къ самоуправству и рабству, къ зрѣлищу страданій и истязаній, что общество, воспитавшееся на взяткахъ и ябедахъ, въ канцеляріяхъ и шемякиныхъ судахъ, что общество, составленное изъ дѣйствующихъ лицъ Островскаго, изъ звѣринца „Темнаго царства"—поступитъ умно и человѣчески? что оно какъ Савлъ ослѣпнетъ негодяемъ и прозрѣетъ апостоломъ?

Нельзя-же было ждать, чтобъ Александръ Николаевичъ заснулъ за чтеніемъ „Что дѣлать?" или *Колокола*, проснулся-бы съ рьянымъ желаніемъ отдать землю народу и начать въ Зимнемъ дворцѣ женскія и мужскія мастерскія?

Тогда и борьба была-бы не нужна, достаточно было-бы чуда.

Въ мрачномъ зданіи петербургскомъ дѣйствительно повѣяло другимъ воздухомъ, тамъ-сямъ явились вѣхи и заглавія, посулы и намѣренія — но съ другой стороны старая николаевская плющильная машина осталась и была въ полномъ ходу.

Прессъ, которымъ сдавливалась каждая человѣческая мысль въ головѣ въ продолженіе тридцати лѣтъ, былъ тутъ; все осталось цѣло — армейское управленіе гражданской частью, барская олигархія, подъяческая бюрократія. И вы мечтали, что со всѣмъ этимъ, правительство сдалось-бы безъ боя, такъ какъ думали московскіе и петербургскіе либералы-помѣщики, что стоитъ потребовать la charte — такъ государь тотчасъ ее и закажетъ Буткову или Корфу.

Въ правительственной жизни русской одинъ новый элементъ развился въ послѣднее время, и его мы цѣнимъ очень дорого — это царскій языкъ, безпрестанно болтающій, это полиція, справляющая свои нужды съ трещеткой въ рукахъ, это литературная декастерія, ежечасно поддерживающая царское величіе и православную святость, это вольнонаемная и временно-обязанная журналистика, защищающая престолъ-отечество...

Этотъ шагъ въ грязь—огромный шагъ впередъ.

Грязь высохнетъ и отстанетъ, но замолчать нельзя будетъ. Жаль грубое, невѣжественное уничтоженіе честныхъ органовъ, но намъ было-бы вдвое жаль, еслибъ упразднились безчестные органы.

Не то важно *что* правительство говоритъ, а то почему оно говоритъ. Оно говоритъ потому, что у него *вѣры нѣтъ*. Оно чувствуетъ потребность не только другихъ, но и себя убѣдить — что оно *сильно* по прежнему, очень *сильно*. Будь у него николаевская самоувѣренность, оно стало-бы разить не раскрывая рта. Оно говоритъ потому, что *боится*. Въ безотвѣтной нѣмотѣ, окружающей его — что-то не то что было прежде, слышна мышья бѣготня исторіи...

А мы — молчимъ, снѣдаемые въ свою очередь невѣріемъ и страхомъ.

Изъ этого нелѣпаго положенія надобно выйти. Боясь моря, мы страдаемъ отъ качки — удерживаясь на одномъ мѣстѣ въ какомъ-то невозможномъ равновѣсіи. Счастье наше, что корабль не идетъ ни назадъ, ни на мѣль не садится.

—„Да что намъ дѣлать? говорите опредѣленнѣе, формулируйте".

Требованіе отъ насъ, чтобы мы формулировали нашу мысль о русскомъ дѣлѣ, повторяется довольно часто. Оно удивительно, и заставляетъ насъ невольно улыбнуться наивному доказательству того невниманья и той небрежности, съ которой люди вообще читаютъ. Вся наша дѣятельность, вся наша жизнь была только *формулированіемъ одной мысли, одного убѣжденія* — именно того, о которомъ спрашиваютъ. Можно сказать, что мы всю жизнь ошибались, можно сказать, что наша мысль гибельна и убѣжденіе нелѣпо, но сказать, что мы нашего воззрѣнія *не формулировали* — съ общечеловѣческой логикой и памятью въ головѣ—*нельзя*.

Можетъ подъ „формулами" друзья наши понимаютъ какъ французы *рецепты*, то есть впередъ данныя снадобья и приказы какъ поступать въ такомъ случаѣ и въ такомъ. Дѣйствительно, у насъ такихъ формулъ нѣтъ. Да ихъ и ненужно. Серьезные рецепты

импровизируются — на общихъ основаніяхъ науки и на частномъ изслѣдованіи даннаго случая.

Усвойте себѣ общій взглядъ, общую формулу, и вы почти никогда не ошибетесь въ частномъ приложеніи.... если не измѣните ей сознательно или безсознательно.

Итакъ, прежде чѣмъ продолжать нашъ обзоръ, протвердимъ еще разъ нашу алгебру.

Для этого намъ необходимо, прежде всякаго формулированія, напомнить кое-что изъ *школьныхъ тетрадей*. Все, что мы хотимъ сказать, очень не ново... даже чрезвычайно старо, но не имѣя въ виду этого стараго, можно легко сбиться. Всякая формула ничего не значитъ безъ яснаго пониманья элементовъ, изъ которыхъ она составлена.

Животныя, достигая возможнаго органическаго совершенства, останавливаются на немъ, повторяясь, или продолжаютъ исподволь примѣняться къ средѣ, оставляя въ наслѣдство измѣненные или улучшенные органы. Человѣкъ отличается отъ животныхъ *исторіей:* характеръ ея въ противоположность животному развитію состоитъ въ преемственности, больше или меньше сознательныхъ усилій, для устройства своего быта — въ наслѣдственной, родовой усовершимости инстинкта, пониманья, разума, при помощи памяти.

Ясно, что стадная жизнь, составляетъ такое-же необходимое условіе историческаго развитія, какъ и самыя лица.

Начало исторіи — непокорность лица поглощающей его семьѣ, стремленіе стать на свои ноги — и невозможность на нихъ удержаться. Племеннымъ безразличіемъ замыкается животный міръ. Міръ человѣческій въ *Библіи* начинается *грѣхопаденіемъ*, и *убійствомъ*, разрушающимъ семейную связь, то есть постановленіемъ своей воли выше заповѣди и выше перваго условія сожитія.

Своеволье и законъ, лице и общество, и ихъ *нескончаемая* борьба съ безчисленными усложненіями и варіаціями, составляютъ всю эпопею, всю драму исторіи. Лице, которое только и можетъ *разумно* освободиться въ обществѣ, бунтуетъ противъ него. Общество, не существующее безъ лицъ, усмиряетъ бунтующую личность.

Лице ставитъ себя цѣлью.

Общество—себя.

Этого рода антиноміи (намъ часто приходилось говорить объ нихъ) составляютъ полюсы всего живаго, онѣ не разрѣшимы: потому, что собственно ихъ разрѣшеніе—безразличіе смерти, равновѣсіе покоя—а жизнь только *движеніе*. Полной побѣдой лица или общества — исторія окончилась-бы—хищными *людьми* или мирно пасущимся стадомъ...

Руссо говорящій, что человѣкъ родился *быть свободнымъ* и Гете говорящій, что человѣкъ не можетъ *быть свободнымъ* — оба правы, и оба не правы.

Личность не могла оторваться отъ общества, общество не мог-

ло закабалить лица, но притязанія свои они подняли въ высшую сферу—въ сферу *права*. Оно разработалось всей новой исторіей, всѣмъ европейскимъ развитіемъ:

до юридической самосохранности—въ Англіи,
до правъ человѣка—въ 1789,
до правъ разума—въ наукѣ.

Съ другой стороны власть противопоставила не только свое право, но и свою *силу*—основанную на отвлеченномъ понятіи государства, какъ цѣли личностей, на античномъ Salus populi, на христіанскомъ порабощеніи личной совѣсти — совѣстью общественной.

Теоретически освобожденная личность очутилась въ какой-то логической, отвлеченной пустотѣ; слабая—практически она стала лицемъ къ лицу передъ правительственной силой, опертой на государствѣ и церкви.

Волна индивидуализма дошла до перегиба.

Права лица и мысли остаются пріобрѣтеніемъ миѳическимъ, книжнымъ, великимъ какъ догматъ, ничтожнымъ какъ приложеніе. Между ними и ихъ осуществленіемъ — какъ непереходимая пропасть — *бѣдность и невѣжество*. Личности мало правъ, ей надобно *обезпеченіе и воспитаніе*, чтобы воспользоваться ими. Человѣкъ, не имѣющій собственности—безличенъ. Право на ея пріобрѣтеніе несостоятельно. Одна артель можетъ выручить неимущаго. Артель, основана на круговой порукѣ, на *пожертвованіи* части личности—для общаго дѣла.

Съ собственности готической, аристократической, феодальной, цѣховой, городской сняты всѣ тяги, она не несетъ на себѣ никакихъ *обязанностей* относительно бѣдныхъ массъ, и вообще никакихъ—кромѣ обязанности найма сторожей въ свое охраненіе, судей въ свое оправданье. Милостыня, которую даютъ нищей братіи, состраданіе къ нимъ — чувство хорошее, но не обязанность относительно нуждающихся. Съ тѣхъ поръ, какъ массы поняли это, онѣ не поддерживаютъ политическаго, революціоннаго движенія и враждебно смотрятъ на мѣщанство, главнаго представителя индивидуализма. Боясь ихъ, мѣщанство ищетъ опоры и защиты въ правительствѣ, опертомъ на невѣжествѣ тѣхъ-же массъ. Отсюда неслыханная ни въ какія времена сила новыхъ полицейскихъ правительствъ.

Выходъ одинъ. Его указала Франція, второй разъ принимая міродержавную иниціативу. Соціальный вопросъ, поставленный ею —*открытый вопросъ для* всей Европы.

Устранить его невозможно, разрѣшить его на пути національномъ, политическомъ, на пути реформъ, замѣняющихъ меньшимъ зломъ большее — невозможно; тутъ не поможетъ ни Итальянская Unita, ни Бисмаркова Пруссія, ни даже manhood suffrage въ Англіи.

Между Европой и Азіей, развивается страна на иныхъ основаніяхъ. Она выросла колонизаціей, захватывая въ свою жизнь вся-

кую всячину, она окрестилась безъ католицизма, она сложилась въ государство безъ римскаго права и сохраняя, какъ народную особность свою — оригинальное понятіе объ *отношеніи человѣка къ землѣ*. Оно состоитъ въ томъ, что будто-бы всякій работающій на этой землѣ, *имѣетъ на нее право, какъ на орудіе работы*. Это сразу ставитъ Россію на соціальную почву и при томъ на чрезвычайно новую.

О *землѣ* не поминала ни одна революція, домогавшаяся *воли*, по крайней мѣрѣ послѣ крестьянскихъ войнъ. Ни съ горныхъ высотъ конвента, ни съ высотъ іюньскихъ барикадъ, мы не слышали слова *земли*. Понятіе землянаго участка такъ чуждо европейскому пониманью, что Лассаль старался вытолкнуть землю изъ подъ ногъ работника, какъ гирю мѣшающую его свободной личности.

У насъ право на землю не утопія, а реальность, бытовой фактъ, существующій на своей естественной непосредственности и который слѣдуетъ возвести въ фактъ вполнѣ сознательный. Все сельское населеніе принимало съ поконъ вѣка это *естественное право* свое, не разсуждая о немъ. Его только не знали въ высшихъ слояхъ, образованныхъ на западный ладъ.

Сельская община, при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ она развивалась, цѣной *воли* продала землю общиннику. Личность, имѣющая право на землю, сама становилась крѣпка землѣ, крѣпка общинѣ. Вся задача наша теперь состоитъ въ томъ, чтобъ развить полную свободу лица, не утрачивая общиннаго владѣнія и самой общины.

Возможно-ли это?—Въ этомъ, въ свою очередь, нашъ вопросъ будущаго.

Большое счастье, что наше право на землю такъ поздно приходитъ къ сознанію. Оно прежде не выдержало-бы одностороннаго напора западныхъ воззрѣній. Теперь они сами являются въ раздумьи, съ сомнѣніемъ въ груди. Соціализмъ далъ намъ огромное подспорье.

Середь ночи слѣдовавшей за 14 Декабремъ, за польскимъ возстаніемъ 1831 г., середь поразительной легкости, съ которой николаевскій гнетъ придавилъ всѣ ростки — первые, закричавшіе *земля*, были московскіе славянофилы, хоть и они лѣвой ногой стали на дѣйствительную почву, но все-же первые.

Они поняли нашу экономически-соціальную особность въ надѣлѣ землей, въ передѣлѣ земли, въ сельской общинѣ и общинномъ землевладѣніи; но понявши одну сторону вопроса, они опустили другую—*волю*, къ которой рвалась личность закабаленная селомъ, царемъ, церковью. Поклонники старины *на зло* петровскимъ порядкамъ, истые націоналисты, *преднамѣренные* православные, они съ неблагодарностью забыли что имъ дала единоспасающая цивилизація Запада, при свѣтѣ которой — они нашли свой кладъ въ землѣ и разглядѣли его.

Европа, плывшая тогда на всѣхъ парусахъ буржуазнаго либе-

рализма, не имѣла понятія о томъ, какъ живетъ въ сторонѣ нѣмой міръ Россіи; сами образованные русскіе мѣшали ей видѣть что-нибудь другое, кромѣ плохихъ копій съ ея собственныхъ картинъ.

Первый піонеръ, пошедшій на открытіе Россіи, былъ Гакстгаузенъ. Случайно попавши на слѣды славянскаго общиннаго устройства, гдѣ-то на берегахъ Эльбы, вестфальскій баронъ поѣхалъ въ Россію и, по счастью, адресовался къ Хомякову, К. Аксакову, Кирѣевскимъ и др. Гакстгаузенъ былъ дѣйствительно одинъ изъ первыхъ, повѣстившихъ западному міру о русской сельской коммунѣ и ея глубоко автономическихъ и соціальныхъ началахъ — и когда?

Наканунѣ Февральской революціи, т. е. наканунѣ перваго широкаго, но неудачнаго опыта ввести соціальныя начала въ государственный строй. Европѣ было недосугъ — за своимъ печальнымъ fiasco, она не замѣтила книгу Гакстгаузена. Россія оставалась для нихъ, тѣмъ-же непонятнымъ государствомъ, съ самовластнымъ императоромъ во главѣ, съ огромнымъ войскомъ, грозящимъ всякому свободному движенію въ Европѣ.

За Гакстгаузеномъ, почти непосредственно идутъ наши опыты ознакомить Западъ съ неоффиціальной Россіей.

Цѣлыхъ семь лѣтъ *учили* мы, на сколько могли, гдѣ могли — Россіи. Пиѳагорово число мало помогло.*) Насъ слушали разсѣянно до Крымской войны, съ ненавистью во время ея, безъ пониманья прежде и послѣ.

„Трудно себѣ представить въ какомъ безвыходномъ, запаянномъ на глухо кругѣ понятій бьется современный европейскій человѣкъ и какъ ему трудно достается, какъ его сбиваетъ съ толку, какъ ему становится ребромъ—всякая мысль, неподходящая подъ заученныя имъ правила, подъ заготовленныя имъ рубрики. Рядовые литераторы и журнальные поденщики стоятъ на первомъ планѣ. У нихъ для ежедневнаго обихода есть запасъ мыслей, знаній, сужденій, негодованій, восторговъ и, главное, прилагательныхъ словъ, которыя у нихъ идутъ на все; ихъ по мѣрѣ надобности сокращаютъ, растягиваютъ, подкрашиваютъ въ ту или другую краску. Эта трафаретная работа необычайно облегчаетъ трудъ; ее можно продолжать во всякомъ расположеніи, съ головною болью, думая о своихъ дѣлахъ, такъ какъ старухи вяжутъ чулокъ. Но все это идетъ пока дѣло вертится около знакомыхъ предметовъ. Новое событіе, неизвѣстный фактъ принимается напротивъ съ скрытой злобой — какъ не званный гость, его стара-

*) Vom andern Ufer—1850.
Du develop. des idées revolution. en Russie—1851.
Le Socialisme et le peuple russe, lettre à I. Michelet—1851.
Le vieux monde et la Russie—1854.
Статьи въ жерсейскомъ журналѣ L'homme и пр.

ются сначала не замѣчать, потомъ выпроваживать за дверь, а если нельзя иначе—оклеветать".

Строки эти были написаны въ 1858 году. Тогда уже дверь въ Россію была не совсѣмъ закрыта, и мы оставляя Западъ, обратили наше слово къ Россіи. Пробуждаясь, она, послѣ смерти Николая —жадно искала свободной рѣчи.

Съ чѣмъ-же мы явились передъ ней?

III

Со смертью Николая языки развязались. Накопившіяся, подавленныя, затаенныя и желчныя мысли выступали на свѣтъ и разсказывали о своихъ грезахъ, каждая на свой ладъ. Въ тогдашней Россіи было что-то праздничное, утреннее, весеннее и совершенно хаотическое.

Удивительная смѣсь разныхъ возрастовъ человѣчества, разныхъ направленій, воззрѣній — давно исчерпанныхъ и едва початыхъ— явились на сценѣ. Это былъ оперный балъ, въ которомъ ярко мелькнули всевозможные костюмы — отъ либеральныхъ фраковъ съ воротникомъ на затылкѣ временъ первой реставраціи, до демократическихъ бородъ и причесокъ. Нѣмецкій доктринаризмъ рабства и абсолютизма, забытыя общія мѣста политической экономіи шли рядомъ съ православнымъ соціализмомъ славянофиловъ и съ западными соціальными ученіями „отъ міра сего". И все-то это отражалось не только въ общественномъ мнѣніи, не только въ полураскованной литературѣ, но и въ самомъ правительствѣ.

Многіе ждали, что оно погнется въ легко конституціонномъ смыслѣ; правительство устояло, хотя и само чувствовало, что остаться по прежнему *военно-судной имперіей* было невозможно. Въ сущности одно *дѣло* и было для него возможно — дѣломъ этимъ оно наносило себѣ японскій ударъ, воображая имъ обновиться.

Вся проснувшаяся Россія искренно жаждала независимаго слова, слова не потертаго цензурнымъ ошейникомъ, и не было ни одного вольнаго станка въ отвѣтъ этой потребности—кромѣ Лондонскаго. Мы оставили Западъ въ сторонѣ и обратили всѣ силы на то родное дѣло, къ которому стремились съ дѣтства черезъ всю жизнь.

Полярная Звѣзда и *Колокольъ* являются въ самый разгаръ переѣзда и перестановки мебели, въ то возбужденное время неустоявшагося броженія, въ которое каждое слово могло сдѣлаться зачатіемъ и точкой отправленія. Что же мы, обрушившіе на себя отвѣтственность первой свободной русской рѣчи, сказали? Съ чѣмъ явились передъ едва протиравшимъ себѣ глаза исполиномъ?

Вся положительная, созидающая часть нашей пропаганды сводится на тѣ же два слова, которыя вы равно находите на первыхъ страницахъ нашихъ изданій, въ ихъ послѣднихъ листахъ—на *Землю и Волю*, на развитіе того, что нѣтъ *Воли безъ Земли* и что *Земля не прочна безъ Воли.*

Мы были глубоко убѣждены, что аграрныя основанія нашего сельскаго быта выдержутъ напоръ западнаго изувѣрства собственности, какъ выдержали нѣмецкій деспотизмъ, что *Земля* останется при деревнѣ и крестьянинъ при надѣлѣ, что имѣя землю и слѣдственно избу, что имѣя выборное начало и сельское самоуправленіе, русскій человѣкъ непремѣнно дойдетъ *до Воли* и превратитъ насильственную связь съ общиной въ добровольно соглашенную, въ которой личная независимость будетъ не менѣе признана круговой поруки. Мы были убѣждены, и теперь еще не совсѣмъ въ этомъ разубѣдились, что *починъ*, что первые шаги нашего переворота совершатся безъ *кровавыхъ потрясеній*.

Главнымъ камнемъ на дорогѣ лежало чудовищное *крѣпостное право*, его обойти нельзя было ни конституціонной хартіей, ни какимъ нибудь собраніемъ „нотаблей". Противъ крѣпостнаго права и были устремлены всѣ наши удары, всѣ усилія; устраненію его мы подчинили всѣ интересы.

Рядомъ съ освобожденіемъ крестьянъ мы неотступно требовали *освобожденія слова*, какъ условія, какъ той атмосферы, безъ которой нѣтъ народнаго совѣта въ общемъ дѣлѣ. Одна гласность, одна печать могла замѣнить безсословный соборъ, который до освобожденія крестьянъ былъ невозможенъ; одно живое, не связанное никакими формами, никакимъ цензомъ *представительство слова* могло уяснить вопросы и указать, что въ самомъ дѣлѣ и насколько созрѣло въ народномъ разумѣніи.

Около были частныя борьбы и частные случаи, возникали вопросы изъ событій и совершались событія, путавшія всѣ карты, вызывавшія страстные отпоры и увлеченья, но срываясь съ пути, мы постоянно возвращались къ нему и постоянно держались нашихъ двухъ основныхъ идей.

И вотъ почему, когда государь призналъ въ принципѣ, освобожденіе крестьянъ *съ землей*, мы безъ малѣйшей непослѣдовательности и совершенно искренно сказали наше: „Ты побѣждаешь, Галилеянинъ!" — за которое насъ столько порицали съ обѣихъ сторонъ.

Скажемъ мимоходомъ, что наше простое отношеніе къ правительству не хотѣли понять ни доктринеры вѣрноподданничества, ни пуритане демагогіи. Оппозиціонный характеръ нашей пропаганды, такъ точно какъ и обличительный, составляли для насъ одну изъ практическихъ необходимостей, а не цѣль, не основу; твердые въ нашей вѣрѣ, мы не боялись никакого *мерщенья* и легко мѣняя оружіе, продолжали ту же битву. Сбиться съ дороги было для насъ невозможно.

Не смѣшно-ли человѣку второй половины XIX столѣтія, вынесшему на своихъ плечахъ, стоптавшему своими ногами столько правительственныхъ формъ, однихъ бояться, передъ другими идолопоклонствовать? Форма, какъ ее разумѣютъ на языкѣ военныхъ приказовъ — „мундиръ" и онъ поневолѣ прилаживается къ живому содержанію.... а не прилаживается, такъ внутри слабо и

пусто. Поправляйте живое тѣло — мундиръ непремѣнно лопнетъ, если узокъ. И будьте увѣрены, что нѣтъ ни очень хорошихъ, ни безусловно скверныхъ мундировъ. Для насъ мѣщанская камера народныхъ представителей, не представляющая народа, также противна, какъ правительствующій сенатъ, ничѣмъ не правящій.

Мысль о переворотѣ безъ кровавыхъ средствъ намъ дорога, все что было говорено противоположнаго объ насъ, такое же вранье, какъ то, что *мы* увѣряли поляковъ, что Россія была готова къ возстанію въ 1862 г. Въ ней, впрочемъ, не было ничего фантастическаго; въ русской жизни нѣтъ тѣхъ непримиримыхъ, упорныхъ, взаимно уничтожающихъ силъ, которыя вели западную жизнь отъ одного кроваваго конфликта къ другому. Если такая непримиримость существовала, то это между крестьяниномъ и помѣщикомъ, но она-то первая и разрѣшилась мирно, и разрѣшилась бы вовсе безъ крови, еслибъ трусливое правительство и враждебные крестьянскому дѣлу исполнители его—не натянули ее безъ нужды.

Наше императорство и наше барство безъ корней и знаютъ это. Они приготовлялись собороваться масломъ въ 1862 году—и ожили только когда имъ на выручку явились: петербургскій пожаръ, катковское клеветничество и польское возстаніе. Народъ любитъ царя, какъ представителя защиты, справедливости (фактъ общій всѣмъ неразвитымъ народамъ), и не любитъ императора. Царь для него идеалъ, императоръ — антихристъ. Императорская власть — держится войскомъ и бюрократіей, т. е. машинами. Войско бьетъ всякаго по приказу, безъ разбора, бюрократія переписываетъ и исполняетъ волю начальства безъ разсужденія. Такого рода правительства не вырубаются топоромъ, а при первой весенней теплотѣ распускаются въ волнахъ жизни народа и тонутъ въ нихъ.

Мы твердо были убѣждены въ послѣднемъ. Уничтожалось же помѣщичество на нашихъ глазахъ, какъ исчезающія картины, блѣднѣя и превращаясь въ разныя тусклыя уродства. Русское императорство имѣетъ цѣли внѣшней политики, цѣли своего самосохраненія и огромную власть, но принципа не имѣетъ, то же слѣдуетъ сказать о средѣ, его окружающей, и это съ самаго Петра. Со дня смерти Николая до его похоронъ дворъ и штабъ, министерство и общество умѣли сдѣлаться либеральными — „поверхностно, лицемѣрно". Но кто-же сказалъ, что прежде всѣ были глубокими и искренними абсолютистами?

Русское правительство было на дорогѣ къ какому-то превращенію, но испугавшись, круто своротило съ нея. Главная ошибка наша — была ошибкой во времени, да сверхъ того, соображая всѣ стихіи, всѣ силы, мы забыли одну изъ самыхъ могучихъ силъ —*силу глупости*. На ней снова укрѣпилось старое.

Освобожденіе крестьянъ, ропотъ помѣщиковъ, настроеніе общества, журналистики, нѣкоторыхъ правительственныхъ круговъ... и все это вмѣстѣ неминуемо вело *къ первому шагу*, т. е. къ созванію думы или собора. Опыты московскаго и петербургскаго дворянства доказываютъ это очевидно, но они, какъ и слѣдуетъ

помѣщикамъ, опоздали. Когда они подняли голосъ, государь былъ второй разъ вѣнчанъ на царство во всемъ самодержавіи своемъ —европейскими угрозами и народными оваціями.

Силы патріотической реакціи, мы не предвидѣли. Одушевленіе 1612 и 1812 годовъ, только понятны при дѣйствительной опасности отечества; ея не было, но было желаніе всякаго рода демонстрацій,—нѣмые пользовались языкомъ.

Мы смотрѣли на реакцію, какъ на несчастье дня и продолжали на первомъ планѣ разборъ и обсуживаніе экономическаго и административнаго переворота, въ одномъ и томъ-же духѣ и направленіи *русскаго соціализма*.

Отстаивая на первомъ планѣ право на землю, мы проповѣдывали развитіе выборнаго самоуправленія, отъ села къ волости, отъ волости къ округу, отъ округа къ области — дальше мы не шли, *не должны были* идти—дальше мы указывали съ одной стороны безобразіе личнаго самовольства, военно - канцелярскаго управленія страной, серальнаго безчинства и помѣщичьяго звѣрства; съ другой на виднѣющійся вдали соборъ, выбранный вольнымъ союзничествомъ областей—для обсужденія *земскаго дѣла*.

Одинъ изъ самыхъ труднѣйшихъ вопросовъ — не по трудности содержанія — а по закоснѣлости предразсудковъ, обороняющихъ противоположный взглядъ, былъ вопросъ объ «общинномъ владѣніи землею». Мы добивались у *нашихъ* экономистовъ и либераловъ того вниманья, которое намъ далъ Стюартъ Миль, сказавъ, что „общинное владѣніе", неизвѣстное, нигдѣ неразвившееся и слѣдственно неисчерпанное, носящее въ себѣ возможности многихъ формъ и результатовъ и составляетъ вопросъ. Въ то время, какъ личная собственность, по римскому праву дала все. . . . всѣ приложенія и съ ними и *оказалась* далеко не состоятельной.*)

Мы предвидимъ улыбку многихъ при словѣ *русскій соціализмъ*. Чему люди не смѣялись прежде пониманья? Это одна изъ принадлежностей той міродержавной силы, которая нами не была взята въ расчетъ.

Мы *русскимъ соціализмомъ* называемъ тотъ соціализмъ, который идетъ отъ земли и крестьянскаго быта, отъ фактическаго надѣла и существующаго передѣла полей, отъ общиннаго владѣнія и общиннаго управленія — и идетъ вмѣстѣ съ работничьей артелью на встрѣчу той экономической *справедливости*, къ которой стремится соціализмъ вообще и которую подтверждаетъ наука.

Названіе это тѣмъ необходимѣе, что рядомъ съ нашимъ ученіемъ развивались, съ огромнымъ талантомъ и пониманіемъ, теоріи чисто западнаго соціализма и именно въ Петербургѣ. Это раздвоеніе, совершенно естественное, лежащее въ самомъ понятіи, вов-

*) Излагать здѣсь нашу мысль объ общинномъ владѣніи неприходится, желающіе ее вспомнить, могутъ пересмотрѣть цѣлый рядъ статей въ „Колоколѣ", да сверхъ того Письма къ Иноку въ „Общемъ Вѣчѣ".

се не представляло антагонизма. Мы служили взаимнымъ дополненіемъ другъ друга.

Первые представители соціальныхъ идей въ Петербургѣ были *Петрашевцы*. Ихъ даже судили какъ „Фурьеристовъ"*). За ними является сильная личность *Чернышевскаго*. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ одной соціальной доктринѣ, но имѣлъ глубокій соціальный смыслъ и глубокую критику современно существующихъ порядковъ. Стоя одинъ, выше всѣхъ головой, середь петербургскаго броженія вопросовъ и силъ, середь застарѣлыхъ пороковъ и начинающихся угрызеній совѣсти, середь молодаго желанія иначе жить, вырваться изъ обычной грязи и неправды, Чернышевскій рѣшился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшимъ и стремившимся — *что имъ дѣлать*. Его среда была городская, университетская, среди развитой скорби, сознательнаго недовольства и негодованья; она состояла исключительно изъ работниковъ умственнаго движенія, изъ пролетаріата интеллигенціи, изъ „способностей". Чернышевскій, Михайловъ и ихъ друзья, первые въ Россіи звали не только труженика, съѣдаемаго капиталомъ, но и труженицу, съѣдаемую семьей, къ иной жизни. Они звали женщину къ освобожденію работой отъ вѣчной опеки, отъ унизительнаго несовершеннолѣтія, отъ жизни на содержаніи — и въ этомъ одна изъ величайшихъ заслугъ ихъ.

Пропаганда Чернышевскаго была отвѣтомъ на *настоящія* страданія, слово утѣшенія и надежды гибнувшимъ въ суровыхъ тискахъ жизни. Она имъ указывала выходъ Она дала тонъ литературѣ и провела черту между *въ самомъ дѣлѣ* юной Россіей — и прикидывавшеюся такою Россіей, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крѣпостнической. Идеалы ея были въ совокупномъ трудѣ, въ устройствѣ мастерской, а не въ тощей палатѣ, въ которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали „дворянъ въ мѣщанствѣ" — и помѣщиковъ въ оппозиціи.

Огромный успѣхъ соціальныхъ ученій между молодымъ поколѣніемъ, школа вызванная ими, нашедшая себѣ не только литературные отголоски и органы, но начала практическаго приложенія и исполненія — имѣютъ историческое значеніе. Освобожденіе крестьянъ съ признаніемъ ихъ права на землю, съ сохраненіемъ общины и обращеніе къ соціализму молодыхъ и дѣятельныхъ умовъ, не закупленныхъ жизнью, не сбитыхъ съ толку доктринаризмомъ, служили неопровержимымъ доказательствомъ въ пользу нашей всегдашней вѣры въ характеръ русскаго развитія.

Въ то время, какъ мы, слѣдуя шагъ за шагомъ, за преніями редакціонной комиссіи, за введеніемъ Постановленій 19 Февраля и разбирая самыя Постановленія, старались ввести въ сельскій переворотъ, въ самыя учрежденія наиболѣе своего взгляда—въ Петербургѣ, Москвѣ и даже въ провинціяхъ готовились фаланги мо-

*) Насъ въ 1834 году правительство обвиняло въ Сенъ-Симонизмѣ.

лодыхъ людей, проповѣдывавшихъ словомъ и дѣломъ общую теорію соціализма, которой *частнымъ случаемъ* являлся сельскій вопросъ.

Но въ этомъ-то *частномъ случаѣ* и была архимедова точка, *починъ* русскаго государственнаго пересозданія. Однажды, земля уступленная крестьянамъ, право на землю, признанное и введенное въ законодательство. Однажды, выборное начало сельской общины, утвержденное, и общинное землевладѣніе, оставленное на свои собственныя силы, какъ-бы для послѣдняго искуса. . . . остальное должно было идти неминуемо съ быстротой развивающейся спирали, у которой вынутъ съ одной стороны сдерживавшій шкворень.

Крестьянская реформа, при всей сбивчивой неполнотѣ своей, тотчасъ повела къ экономическимъ, административнымъ и юридическимъ послѣдствіямъ своимъ—введеніемъ земскихъ учрежденій, новаго суда и пр. Это были силлогизмы, которыхъ не было возможности миновать.

Всѣ реформы, начиная съ крестьянской, были не только неполны, но преднамѣренно искажены. Ни въ одной изъ нихъ не было той шири и откровенности, того увлеченія въ разрушеніи и созданіи, съ которымъ ломали и создавали великіе люди и великія революціи; но *во всѣхъ* была признана негодность, несостоятельность стараго правительства *указовъ и произвола*; но во всѣхъ двигался зародышъ, котораго развитіе было задержано и можетъ изуродовано, но который былъ *живъ*.

Мы слѣдили за всѣми реформами и каждую прикидывали на общую, родоначальную мысль кореннаго переворота, который тихо и незамѣтно, sans phrase, входилъ глубже и глубже въ землю и подымался надъ озимью полей. Мы не выходили изъ настоящаго положенія, ни въ голубую даль дорогихъ для насъ идеаловъ, ни въ чистыя сферы отвлеченной соціологіи; мы сколько могли отстраняли всѣ вопросы, ненаходившіеся на череду, какъ наприм. вопросъ семейный. религіозный.*)

До конца 1863 года, мы все еще усиливались, не емотря на родную распутицу, слѣдить за государственной колымагой и тѣмъ громче звонили, чѣмъ больше она сбивалась съ дороги. Если ямщики не слушались, окружающая ихъ толпа слушала и осыпая насъ ругательствомъ, дѣлала долю того, что мы говорили. Оглохла и она. И съ тѣхъ поръ, дѣятельная рѣчь должна была на время уступить одному крику обличенія и негодованія, которое вызывало общество, валяющееся въ крови и грязи, вмѣстѣ съ *пустымъ, бездушнымъ и измѣнившимъ* правительствомъ.

Правительство отступило по всей линіи, и при всемъ этомъ его отступленіе не имѣло ни серьезнаго оправданія, ни серьезна-

*) Если мы говорили много о старообрядцахъ, то это вовсе не съ религіозной точки зрѣнія, а съ точки зрѣнія соціальной и политической.

го характера. Если оно въ самомъ дѣлѣ думало арестами зря и ссылкой безъ разбора остановить *исторію*, уже обличившееся народное развитіе, оно было-бы безмѣрно жалко, но мы полагаемъ, что такъ далеко не шли виды Зимняго дворца. Дворецъ, поддерживаемый въ страхѣ и тревогѣ своими евнухами и риторами, боялся не *исторіи*, а чего-то изъ-за угла—и это въ то время, когда онъ самъ всенародно и громко говорилъ, что правительство никогда не чувствовало себя сильнѣе и народнѣе, какъ именно тогда. И не мудрено. Изъ-за патріотизма люди забыли все человѣческое въ сердцѣ и все *безчеловѣческое* въ императорствѣ; газеты были полны вѣрноподданническими акаѳистами.... крестьяне освобожденные отъ помѣщиковъ и помѣщики освобожденные отъ состоянія, старообрядцы и евреи, казаки и нѣмцы, все на словахъ бѣжало поддерживать тронъ и алтарь.... Слѣдовало ждать льготъ, расширенія правъ, но правительство съ ужасомъ указывало на нѣсколько статей. на нѣсколько молодыхъ людей и отвѣчало на взрывъ преданностей — взрывомъ гоненій и неистовствъ. Чего именно оно боялось, оно не говорило.

Во всемъ этомъ безсомнѣнно было что-то безумное, такъ оно и кончилось—*выстрѣломъ 4 Апрѣля.*

Тѣ, которые *надѣялись*, озлобились на неисполнившаго *надеждъ*. Первая фанатическая, полная мрачной религіи натура, схватила пистолетъ.

Месть не удалась, но предлогъ былъ данъ и схваченъ съ дикой радостью. реакція была оправдана, царскіе *пугатели* были оправданы. И тѣмъ не менѣе, если месть не удалась, то *и терроръ не удался.* Начавшись ложно, онъ запутался и увязъ въ полицейской грязи.

Что сдѣлала Муравьевская облава, что вытрубилъ его лейбъ-трубачъ Катковъ? Гдѣ вселенскій заговоръ, въ которомъ участвовали всѣ темныя силы міра сего, англійскіе банкиры, эмигранты въ Швейцаріи, эмиссары и миссіонеры Маццини, поляки, мы и не мы, наконецъ, какой-то всему міру неизвѣстный „всемірно-революціонный комитетъ"?

Отъ всего дѣла остался трупъ нѣмымъ свидѣтелемъ скверной царской мести и несчастные, сосланные *безъ суда и защиты* люди, уличенные въ томъ, что они *не хотѣли* цареубійства...

Убить нѣсколько человѣкъ, кого на скорую руку веревкой, кого хронически тюрьмой—не мудрено; убивать умѣетъ и локомотивъ, и чума, и бѣшеная собака. Терроръ хватаетъ дальше, ему мало людей, онъ хочетъ убивать мысли, идеи, вѣрованія... и дѣйствительно послѣ ряда пьяныхъ и безумныхъ неистовствъ, явилась высочайшая цидула къ князю Гагарину, съ ученическими упражненіями о правѣ собственности, соціализмѣ; она пошла на полицейскія выкройки женскихъ юбокъ и имѣла послѣдствіемъ введеніе кринолинъ въ государственныя учрежденія

Эхо на выстрѣлъ Каракозова обличило страшную пустоту въ Зимнемъ дворцѣ, печальное отсутствіе серьезной мысли, обдуман-

ности... да и на всѣхъ „горныхъ вершинахъ“ нашихъ тоже. Что за нетопыри, что за совы, аа вороны встрепенулись, поднялись и вылетѣли на бѣлый свѣтъ! Откуда спустили, изъ какихъ богадѣленъ, смирительныхъ домовъ или кладбищъ... этихъ прокаженныхъ, не то свѣтскихъ архіереевъ, не то духовныхъ генераловъ, пошедшихъ, во имя царя и церкви, въ крестовый походъ противъ разума и образованія, и начавшихъ нести богословско-полицейскую *чужъ* отъ которой и Россія уже отвыкла.

Все это такъ — но вслушайтесь, что́ говорятъ эти нетопыри и архіереи, министры и совы... Намъ дѣла нѣтъ, понимаютъ-ли они или не понимаютъ и какъ понимаютъ, вопросъ у насъ въ томъ, чтобъ узнать противъ чего именно они идутъ, чего боятся, какъ католики боялись протестантизма, какъ французскіе монархисты— революціи. Великій врагъ ихъ, Антихристъ, страшный судъ, котораго они боятся, противъ котораго идутъ — соціализмъ.

И это не огромный шагъ впередъ?

И это значитъ останавливать исторію, идти вспять?

Они боятся... не конституціи, не республики, не демократіи... они боятся соціализма — да еще смѣшаннаго съ какимъ-то *нигилизмомъ*.

Думали-ли они когда нибудь, что собственно сверхъ синихъ очковъ и короткихъ волосъ содержится подъ этимъ словомъ?

Мы объ *нигилизмѣ* еще будемъ говорить, но здѣсь хотимъ только обратить вниманіе тѣхъ добросовѣстныхъ людей, которые повторяютъ, какъ попугаи слово, не зная его смысла. Они могутъ повѣрить, что нигилизмъ женщина, положившая ноги на столъ и пьющая шампанское, и при томъ женщина, родившаяся за „обѣдомъ флигель-адъютанта князя В.“ въ сороковыхъ годахъ, у котораго смѣялись надъ шагистикой Николая, а потому мы для нихъ скажемъ—что *нигилизмъ* въ серьезномъ значеніи—*наука и сомнѣніе, изслѣдованіе вмѣсто вѣры, пониманіе вмѣсто послушанія.*

Объявляя себя противъ народнаго благосостоянія и человѣческой мысли, противъ соціализма и разума, правительство становится за изувѣрство, крѣпостничество, глупость...

Послѣдній терроръ дѣйствительно убилъ его больше, чѣмъ людей. Онъ убилъ нравственно значеніе правительства; оно, покачиваясь и болтая вздоръ, сходитъ съ блестящаго помоста—на которомъ драпировалось со смерти Николая — подъ руку съ Осипъ Ивановичемъ Комисаровымъ-Костромскимъ.

Бой будетъ *внѣ его, помимо его.*

Ничѣмъ не усчитываемая власть можетъ много вредить, но въ самомъ дѣлѣ остановить движеніе, котораго оно испугалось и которое уноситъ весь материкъ къ другимъ судьбамъ — *не можетъ.* Оно двигается съ нимъ—нехотя, безсознательно — какъ человѣкъ, спящій на кораблѣ.

Да двигается-ли? И вообще двигаемся-ли мы?

Присмотритесь—возьмите точку, двѣ и ихъ прежнее положеніе къ окружающимъ предметамъ, возьмите напр. этого генерала ду-

рака, порящаго дичь передъ мировымъ судьей, и женщину, служащую письмоводителемъ судьи... довольно и этого. Движеніе цѣлыхъ созвѣздій наблюдаются сквозь тряпки очень рѣдкой ткани.

Дикая реакція, гадкая реакція—да, да и тысячу разъ да... жертвы падутъ на право и на лѣво.... но гдѣ же великій тормазъ, чтобъ остановить движеніе? Развѣ отнимаютъ у крестьянъ землю, развѣ ихъ исключаютъ изъ выборовъ? Развѣ само слѣдствіе по Каракозовскому дѣлу не указываетъ, что въ московской молодежи была мысль пропаганды между фабричными работниками-крестьянами. первой попытки органическаго сочетанія тѣхъ двухъ соціальныхъ оттѣнковъ, о которыхъ мы говорили?

—Да, но эту-то молодежь и схватили, и сослали. Жаль ее, но мѣста сосланныхъ пусты не останутся.

Вспомнимъ, что было при Николаѣ... и не при немъ-ли началась та вулканическая и кротовая работа подъ землей, которая вышла на свѣтъ, когда онъ сошелъ съ него?

Въ прошлое пятилѣтіе мы немного избаловались, пораспустились, забывая, что намъ были даны не *права, а поблажки.* Пора опять сосредоточиться.

Досадно, что исторія идетъ такими грязными и глухими проселками, но вѣдь одно *сознаніе* идетъ прямымъ путемъ. Не мѣняя нашей программы и мы пойдемъ ея дорогой, лавируя съ ней, тѣснясь съ ней. Да и какъ же иначе, когда реакція торжественно признала ее и она дѣйствительно сдѣлалась—по выраженію брюссельскихъ „Отголосковъ“ — „*Знаменемъ противъ знамени Зимняго дворца*“.

Мы-ли будемъ держать его или другіе насъ смѣнятъ, не въ этомъ дѣло, знамя наше, знамя „Земли и Воли“ водруженное *нами, признано* враждебнымъ станомъ.

Колоколъ № 237.
15 Марта 1867 года.

ОБЩЕСТВО ПОДЖИГАТЕЛЕЙ.

Въ 46 № *Голоса* перепечатана статья изъ *Варшавскаго Дневника* о существованіи за границей общества зажигателей и поддѣлывателей русскихъ кредитныхъ билетовъ. Тамъ между прочимъ сказано: «Существованіе общества поджигателей, къ которому принадлежатъ Герценъ и Бакунинъ съ шайкой, неопровержимый фактъ, а потому и было занесено во всеподданнѣйшій отчетъ генералъ-полицмейстера»...

Что сказать о правительствѣ, прибѣгающемъ къ такимъ средствамъ, о негодяѣ генералъ-полицмейстерѣ, надувшемъ государя (Треповъ, что-ли это?....) и о негодяѣ Краевскомъ, перепечатавшемъ эту нелѣпую клевету?

Порядочные люди не повѣрятъ: до другихъ намъ дѣла нѣтъ. Мы уже отвѣчали Каткову на подобную клевету, и звали его на

судъ: онъ отлынялъ. Отлыняютъ и эти мерзавцы. Мы полагаемся на здравый смыслъ и на общественное мнѣніе, и съ глубокимъ презрѣніемъ смотримъ на то, что печатаютъ: фельдмаршалъ Бергъ, генералы-полицмейстеры и литературный пристанодержатель Краевскій.

Колоколъ № 238.
1 Апрѣля 1867 года.

НА ПЛОЩАДИ СВ. МАРКА.

Мы выходили, нѣсколько человѣкъ, изъ дома, гдѣ останавливался Гарибальди въ Венеціи. Одинъ итальянецъ, пріятель временъ Римской республики 1848 года, отойдя со мной подъ арку, какъ-то таинственно сказалъ мнѣ: „У меня на душѣ вопросъ, сильно занимающій меня".

—Что такое?

—Скажите мнѣ, скажите откровенно, я васъ прошу объ этомъ, потому что самъ нахожусь въ тревожномъ сомнѣніи, что вы со стороны Грековъ и Славянъ?

—Да какъ-же иначе... вы меня знаете не со вчерашняго дня?...

—Оно такъ... но... вѣдь какъ тамъ хотите, вы все-же будете на одной дорогѣ, встрѣтитесь съ русскимъ правительствомъ...

— Вы ошибаетесь, не мы встрѣтимся съ русскимъ правительствомъ, а русское правительство съ нами. . . . да и не съ одними нами, а съ Гарибальди, вы слышали?

—О да.. да...

Пожалуй найдутся и русскіе, которые спросятъ, что *Колоколъ*, съ турецкой или греческой стороны? Мы ни разу не говорили ни о Критскомъ возстаніи, ни о Славянскомъ движеніи, но теперь пора и намъ сказать за кого мы. Мы вполнѣ, безусловно за Грековъ, хотящихъ слиться съ Греками; за Славянъ, стремящихся освободиться отъ чужаго ярма. Мы такъ-же горячо и искренно желаемъ имъ успѣха, какъ желали для католической, не русской Польши отдѣленія ея отъ Россіи.

Двухъ мѣръ*) у насъ нѣтъ, наши убѣжденія не зависятъ ни отъ

---

*) Въ русскихъ газетахъ повторена новость изъ Патраса о томъ, что „Кандіотскіе инсургенты, попавшіеся въ плѣнъ къ туркамъ, освобождены Отоманскимъ привительствомъ". Мы не сочувствуемъ турецкимъ расправамъ, намъ противно анахроническое существованіе въ Европѣ этого народа, съ его религіознымъ и всякимъ застоемъ, съ его узкой, закабаленной совѣстью, съ его безнадежностью выйти изъ своего „домостроя", но тѣмъ не меньше нельзя не улыбнуться при мысли, какъ неловко было читать эту новость обществу, бражничавшему въ честь Муравьева (доказавшаго впослѣдствіи, что онъ былъ только тупой извергъ безъ всякихъ способностей) и его журнальнымъ лейбъ-трубачамъ въ родѣ

географической долготы и широты, ни отъ патріотической алчности и скопидомства, а потому-то мы такъ-же братски привѣтствуемъ Грековъ на Критѣ, какъ привѣтствовали въ 1863 году Поляковъ на Вислѣ.

Колоколъ № 239.
15 Апрѣля 1867 года.

ЖАЛЬ.

Да, ужасно жаль, что именно теперь, въ ту минуту, когда передъ Россіей раскрывается съ неожиданной быстротой великое историческое дѣло, правительство—не умѣющее ни остынуть отъ Польскаго возстанія, ни придти въ себя отъ Каракозовскаго выстрѣла*) — тащится безсмысленной, тупой реакціей, топчетъ лучшіе всходы, раздѣлываетъ сегодня что само вчера сдѣлало и сѣя дома смерть и гоненія, хочетъ вдали пожинать лавры освободителя.

Такимъ Гаррикомъ, смѣющимся одной половиной лица и плачущимъ другой, ему не удастся быть; по натуральному влеченію оно съ головой уйдетъ въ тревожную и ненужную борьбу съ русскимъ развитіемъ и съ тѣмъ вмѣстѣ исказитъ и загрязнитъ Греко-славянское дѣло.

...Время наше что-ли не пришло?

Но вѣдь историческую стрѣлку можно до извѣстной степени подвигать. Наши опекуны это знаютъ и именно теперь, когда надобно ринуться впередъ, двигаютъ ее назадъ. Видно мы еще не довольно очистились отъ нашихъ и чужихъ грѣховъ.... видно ихъ довольно на нашемъ неразумьи и на нашей совѣсти.

Такой совокупности, такого сцѣпленія обстоятельствъ, событій, даже случайностей, Россія не дождется вѣками... Ей стоитъ сбросить съ себя, на прокатъ взятый мундитъ, которымъ она пугала

Каткова. Неправославный обладатель правовѣрныхъ понимаетъ, что инсургентовъ, взятыхъ въ плѣнъ, съ оружіемъ въ рукахъ, нельзя ни судить плацъ-маіорами и всякой гарнизой, ни вѣшать, ни разстрѣливать, ни посылать на каторгу.... а благовоспитанный, благогерманизированный, благовѣрный и благочестивый самодержецъ всея Россіи — не понимаетъ этого. Только стирая мрачные слѣды недавнихъ гоненій и преслѣдованій, можемъ мы, честно и прямо глядя, явиться помощниками правому дѣлу. Безъ раскаянія и отрѣченія отъ муравьевскаго гноя, мы представимъ на востокѣ противное зрѣлище какого-то кроваваго паяца, у котораго одна ластовка сшита изъ указовъ о ссылкахъ за мысль, за любовь къ своему краю, а другая изъ благородныхъ сочувствій къ освобождающимся Грекамъ и всѣмъ Славянамъ—*не Полякамъ*.

*) Вскорѣ будетъ построена часовня въ память неудавшагося выстрѣла, по настоятельному желанію государя! Что-же этотъ памятникъ увѣковѣчитъ – возможность выстрѣла, или его неудачу?

своихъ и чужихъ, выдавая себя за нѣмецкаго офицера; стои: поступиться дикими привычками самоуправства, въ половину сб тыми силой обстоятельствъ; поступиться дикой алчностью на п земельные захваты, чтобъ прямо и смѣло, безъ дипломатических прозрачныхъ обмановъ, безъ уколовъ изъ подтишка, безъ уд ровъ изъ-за спины, безъ пальто Менщикова и мороченья англі скаго посла, стать во главѣ *Восточнаго движенія.*

Вѣдь это дверь въ новый томъ всемірной исторіи, и мы і взойдемъ въ нее, не растворимъ ее à deux battans, потому ч погруженные въ мелкія дрязги дома, озабоченные добиваніем Польши, искаженіемъ народнаго воспитанія, унятіемъ Земских Собраній, свободной рѣчи и неминуемаго соціальнаго развитія - мы не имѣемъ возможности сосредоточиться на главномъ вопр сѣ. На вопросѣ, который увлекъ и поглотилъ-бы все, обмылъ-б все, и который мы, пожалуй, сгубимъ вмѣсто помощи. Мы слиі комъ полиція, слишкомъ смирительный домъ, чтобъ быть истор ей и ареопагомъ народовъ. Мы боимся за изношенную до дыі голштинскую порфиру, перешитую изъ Петровской, а ее-то и н добно бросить къ черту, для того, чтобъ начать свою, русску жизнь. Въ ея-то швахъ, въ ея вытертомъ горностаѣ сидятъ в эти Шуваловы, Валуевы, Толстые—самъ водяной трихинъ Мур вьевъ могъ только воспитаться въ ея гнилой мездрѣ. Человѣк носящій ее, поневолѣ вмѣсто того, чтобъ твердымъ шагомъ ид впередъ—стоитъ на одномъ мѣстѣ и чешется.... А исторія иде не дожидаясь.

Мало скорбей въ жизни, которыя-бы такъ сокрушали человѣк такъ подавляли, какъ безплодное пониманье, рядомъ съ нево можностью убѣдить сбившихся съ дороги, что они сбились с нея и ищутъ выхода тамъ, гдѣ его нѣтъ.

Слабую надежду нашу, что наши слова у кого-нибудь да ота вутся въ сердцѣ, основываемъ мы на извѣстной притчѣ ева гельскаго вертоградаря, бранившагося, но шедшаго на работу.

Странна участь нашего дальняго звона. Теперь стараются і слыхать его. Прежде слушали его, съ тѣмъ удивленіемъ, съ к торымъ всѣ непривыкшіе къ языку свободнаго человѣка, слуш ютъ въ первый разъ заявленный протестъ.... потомъ насъ ста ругать, чтобъ мы не говорили. Во все это время мы неуклон шли своей дорогой, нашу неизмѣнность признали за нами злѣ шіе враги и часть того, что мы проповѣдывали безпревывно, та или иначе—осуществилась. Мы не хотимъ сказать, что это дѣл лось вслѣдствіе нашихъ словъ, а заявляемъ какъ доказательств что нашъ инстинктъ былъ вѣренъ и мы чуяли куда потянетъ в теръ, прежде чѣмъ онъ поднимался, какъ напримѣръ въ Амер канскомъ союзѣ.

Вотъ почему мы не можемъ молчать при предстоящихъ соб тіяхъ. Мы чуемъ поднимающуюся волну и боимся, что ею і воспользуются въ хмѣлю реакціи и безумія.

Восточный вопросъ застигнулъ насъ въ минуту страшна

нравственнаго запустенія, въ холодный, вялый, но принявшій правильный видъ — періодъ гоненій всего живаго, юнаго, свободнаго. Острая горячка циническаго, комическаго, кроваваго торжества раболѣпья и азіатскихъ восторговъ о спасеніи государя, смѣнилась покойнымъ, хроническимъ терроромъ олигархической реакціи, грозящей уничтожить и раздавить все сдѣланное со смерти Николая. Зимній дворецъ и его флигеля полны злодѣями.... И эти-то злодѣи *дома*, пойдутъ освобождать Славяно-эллинскій міръ?

Конечно, исторія не останавливается за чистотой рукъ, она не разборчива и такъ привыкла къ обществу всякихъ разбойниковъ и искателей приключеній, что и ими достигаетъ своихъ цѣлей, но дурныя начала кладутъ ядовитый ферментъ страшныхъ болѣзней и надолго искажаютъ характеръ событій.

Россія не можетъ переработать звѣрскую сторону—петровскаго переворота.

Франція не можетъ обсохнуть отъ крови, пролитой во время террора.

Венеція страстно рвалась къ Италіи—откуда-же фальшивая нота, печальный звукъ въ ея радости, откуда смущенье, на лицѣ Итальянца?...

Оскорбленіе истины и разума, ложь, двойственность имѣютъ свою границу, за которую ходить не поведетъ къ добру...

Нельзя искоренять языкъ, брать штрафы съ дѣтей, ломать католическіе кресты, выбрасывать богородицъ изъ нишей, срывать трауръ съ женщинъ, переводить насильственно вывѣски.... нельзя купаться въ этомъ мелочномъ, гадкомъ, грязномъ, бездушномъ преслѣдованіи и плакаться о православныхъ церквахъ, о замѣнѣ руской азбуки латинской. Нельзя морить на каторгѣ Михайловыхъ, Мартьяновыхъ, держать въ оковахъ Чернышевскихъ, и посылать публично набранныя складчины Грекамъ, и позволять всякимъ братьямъ „птицеловамъ", произносить возмутительные тосты. Нельзя, не краснѣя, посылать фрегаты для спасенія чужихъ эмигрантовъ—*направо*, и цѣлыя партіи сосланныхъ за политическое разномысліе—налѣво.

Вѣдь Россія не листъ *Московскихъ Вѣдомостей*, который однимъ столбцомъ душитъ побѣжденнаго Поляка, а на другомъ печатаетъ революціонныя воззванія къ Грекамъ и Галичанамъ.

ПИСЬМО КЪ И. С. АКСАКОВУ.

Милостивый Государь,

Иванъ Сергѣевичъ,

Мы съ вами совершеннѣйшіе противники, насъ связываетъ правда, одна общая любовь, но мы такъ розно ее понимаемъ, что на этомъ-то общемъ чувствѣ всего яснѣй видна непереходимая рознь насъ дѣлящая.

Но вы честный человѣкъ и любите правду. Вы меня считаете

преступникомъ, злодѣемъ — но мнѣ сдается, что вы не считаете меня ни лгуномъ, ни безумнымъ. Потому-то я и рѣшаюсь обратиться къ вамъ съ просьбой помѣстить въ *Москвѣ* слѣдующія строки, нисколько не выходящія изъ предѣловъ вамъ предоставленной гласности.

Въ 46 № *Голоса* сказано: „существованіе общества поджигателей, къ которому принадлежатъ Герценъ и Бакунинъ, сдѣлалось *неопровержимымъ фактомъ* и потому было занесено въ всеподдан. отчетъ генералъ-полицмейстера"—и пр.

Существовало или не существовало общество зажигателей, я не знаю, хотя сильно сомнѣваюсь, но я не только въ немъ никакого, ни прямаго, ни косвеннаго участія не бралъ, но *вообще ни къ какому обществу* не принадлежалъ и не принадлежу: почему — могутъ догадаться тѣ, кто читалъ хоть часть писаннаго мною съ 1849 года.

Ложь эта (какъ и знаменитая Тульчинская агенція) является не въ первый разъ. Я звалъ на судъ обвинителей, я требовалъ доказательствъ. На судъ никто не явился, доказательствъ никто не представилъ. *Не понимаю зачѣмъ они щадятъ меня?*

Я самъ сдѣлалъ-бы процессъ имъ, хотя-бы какому-нибудь Краевскому напр.,*) но—но возможенъ-ли у насъ такой процесъ?

Напечатаніемъ этихъ строкъ въ вашемъ журналѣ вы искренно обяжете меня, а обязывать своихъ противниковъ не часто случается человѣку...

P. S. Письмо это пролежало у меня пять дней и я его отправилъ изъ Ниццы 15 Марта.

Издатель *Москвы* оправдалъ мое довѣріе, и напечаталъ мое письмо въ 58 *л. Москвы.* Онъ присовокупилъ къ нему слѣдующія строки, доказывающія, что И. С. Аксаковъ былъ-бы плохой общественный обвинитель, что ему дѣлаетъ большую честь:

„Мы не имѣемъ причины отказать г. Герцену въ помѣщеніи этого письма. Но напрасно думаетъ онъ, что подобнаго рода голословными отрицаніями можетъ онъ оправдаться вполнѣ отъ взводимыхъ на него навѣтовъ. Пусть онъ не участвовалъ въ обществѣ поджигателей, мы охотно этому вѣримъ, но тѣмъ не менѣе его именемъ назвалась знаменитая Тульчинская агенція и стало быть имѣла къ тому какой-нибудь поводъ. Что г. Герценъ открывалъ въ *Колоколѣ* подписку въ пользу польскаго народнаго жонда, употреблявшаго собранныя имъ деньги, между прочимъ, на содержаніе жандармовъ-вѣшателей, отравителей и поджигателей; что г. Герценъ былъ въ единомысліи съ Бакунинымъ, затѣявшимъ знаменитую неудавшуюся экспедицію въ помощь Полякамъ, это факты неопровержимые. Отъ солидарности съ Поляками г. Герценъ не отрекался. Слѣдовательно вопросъ только въ томъ, однимъ-ли мечемъ или такъ-же и огнемъ производился тотъ

*) Имя Краевскаго пропущено въ *Москвѣ.* Да и самъ Пилатъ „Голоса" уже омылъ руки.

ущербъ Россіи, въ нанесеніи котораго г. Герценъ принималъ, если не непосредственное, то косвенное и нравственное участіе.

„Пусть въ этомъ покается передъ Россіею г. Герценъ. Не можетъ-же онъ не понимать, что для покаянія въ его прегрѣшеніяхъ передъ Россіей нѣтъ компромиссовъ.

„И намъ хотѣлось бы думать, что для него еще возможенъ нравственный возвратъ, потому что въ искренность и чистосердечіе его заблужденій мы не переставали вѣрить".

Еслибъ эти строки, состоящія сплошь изъ Ахиловыхъ пятокъ, писалъ кто нибудь, а не И. С. Аксаковъ, я жестко отвѣчалъ бы на нихъ. Но у меня есть какая-то неискореняемая память сердца и въ силу ея уваженіе къ прошедшему, съ которымъ связаны дорогія воспоминанія, и къ лицамъ, соприкасавшимся съ нимъ.

И потому, не пользуясь выгодами, которыя мнѣ даетъ издатель *Москвы*, я спокойно и просто буду ему отвѣчать въ слѣдующемъ *Колоколѣ*. Теперь ограничусь моей искренней благодарностью за помѣщеніе моего письма.

Колоколъ № 240.
1 Мая 1867 года.

ОТВѢТЪ И. С. АКСАКОВУ.

Почтеннѣйшій Иванъ Сергѣевичъ,

Начну съ того, что еще разъ поблагодарю васъ за помѣщеніе моего письма изъ Флоренціи въ *Москвѣ*. Мое довѣріе къ вамъ было основательно. Не раздѣляя большей части вашихъ мнѣній, я всегда уважалъ васъ. Уваженіемъ между противниками рознь ихъ дѣлящая естественно подымается въ ту сферу, въ которой можно высказываться безъ личностей и желчи, съ грустью и сожалѣніемъ въ невозможности убѣдить — но безъ колкаго, злаго слова, укрѣпляющаго еще сильнѣе споръ. Я вамъ благодаренъ и за другое, вы вашими примѣчаніями дали мнѣ снова случай объяснить *наше* положеніе, (наше, то есть *издателей Колокола*), отвести не только „навѣты" и клеветы, но поправить совершенно ложное пониманіе всей нашей дѣятельности.

Случайно 58 листъ *Москвы* пришелъ ко мнѣ изъ Женевы 5 Апрѣля и я принялся за отвѣтъ вамъ на другой день, т. е. по старому календарю 25 Марта. Въ этотъ день мнѣ стукнуло *пятдесятъ пять лѣтъ*. Каждый останавливается на этихъ порогахъ и граняхъ и оглядывается. Остановился и я, ваша отмѣтка натолкнула еще больше на разборъ. Вызвалъ я и прежнія родныя тѣни сороковыхъ годовъ и едва отступившіе въ былое очерки начала шестидесятыхъ; перебралъ я свѣтлое время пробуждавшейся Россіи и полнаго успѣха лондонской вольной печати, и печальные годы побіенія насъ каменьями, на которыхъ часто оставались слѣды пальцевъ. очень недавно жавшихъ съ дружбой и сочувствіемъ наши руки.... и скажу вамъ съ глубокой искренностью, обдуманно,

спокойно и честно, безъ малѣйшей примѣси самолюбія, безъ малѣйшаго желанія самооправданія: въ моемъ прошедшемъ много ошибокъ, много слабостей, много увлеченій, но совѣсть моя, относительно Россіи, чиста, я ни ей, ни основамъ всего нравственнаго быта нашего, всей нашей религіи не измѣнилъ ни разу. Съ главнаго тракта, подорожная которому очищена до конца 1862 сочувствіемъ всей Россіи, мы никогда не сбивались. Мы остались тѣ же; измѣнились не мы, вся атмосфера измѣнилась, всѣ вы. Развѣ солдата, оставшагося при своемъ знамени, когда всѣ другіе перебѣжали, называютъ измѣнникомъ?

Каяться мнѣ не въ чемъ, развѣ въ иномъ неумѣренномъ или жесткомъ словѣ; совсѣмъ напротивъ, *я зову* къ покаянью, *я жду* кающихся. Мы звонимъ къ исповѣди, къ пробужденію совѣсти. Словомъ примиренія и брани, слезами и оскорбленіемъ будимъ мы васъ... и volens nolens, съ нами или безъ насъ, вы проснетесь.

Какой грѣхъ противъ Россіи лежитъ на моей душѣ?

Съ отрочества я отдалъ ей мою жизнь, для нее работалъ какъ умѣлъ всю молодость, и двадцать лѣтъ на чужбинѣ продолжалъ ту же работу. Я проповѣдывалъ Россію на Западѣ тогда, когда о Россіи, благодаря николаевской *формѣ*, никто не смѣлъ заикаться безъ брани. Скорбя объ вашей общей апатіи и безпомощности, я поставилъ первый русскій безцензурный станокъ въ Лондонѣ и печаталъ безустанно, когда всѣ боялись читать; оттого-то, когда пришла бодрость, вы нашли готовый органъ. Печаталъ я подъ ваши рукоплесканья и печаталъ, осыпаемый бранью потомъ. Остановиться я не могъ и не хотѣлъ, такъ какъ не могъ ни устать, ни перестать любить и понимать. Остановиться, значило умереть, значило второй разъ оставить отечество и ужъ безъ той *земли*, которую я вопреки Дантону унесъ на своихъ подошвахъ, по выраженію одного изъ умнѣйшихъ противниковъ нашихъ.

Изъ за черныхъ грязей, въ которыя вы попали, я видѣлъ *будущій путь*. Разумъ былъ покоенъ, страдало сердце, страдало, если хотите, нетерпѣніе и оскорбленное эстетическое чувство исторіи.

Каждое соприкосновеніе съ Западомъ, каждый рядъ событій въ Европѣ, столько же оправдывали и укрѣпляли меня, какъ зарницы, рѣявшія въ новой тьмѣ вашей, и тотъ же внутренній голосъ шепталъ мнѣ на ухо: „будущее не здѣсь, не ты-ли самъ проповѣдывалъ это“.

Въ чемъ же мнѣ каяться?

Развѣ языкъ нашъ измѣнился, развѣ мы не то же проповѣдуемъ теперь, что проповѣдывали въ первыхъ книжкахъ *Полярной Звѣзды* и въ первыхъ листахъ *Колокола?* Зачѣмъ вы нашимъ протестомъ противъ азіатскаго, вѣтхозавѣтнаго уничтоженія Польши, противъ дикихъ мѣръ, предаваемыхъ вами справедливому позору въ Кандіи и Галиціи, задвинули положительную, созидающую сторону нашей пропаганды? Зачѣмъ въ вашемъ безчеловѣчномъ патріотизмѣ, вы забыли наше участіе въ великомъ дѣлѣ освобожденія крестьянъ съ землею, въ борьбѣ за свободу слова, за гласный

судъ, за терпимость раскола; зачѣмъ вы, изъ-за нашихъ словъ оскорбленной любви и стыда—забыли нашу рѣчь о Россіи въ Европѣ и то, что мы первые указали на союзъ Россіи съ Америкой?

По привычкѣ прежнихъ помѣщиковъ, вы стерли все прошедшее за рѣзкій упрекъ, за независимое слово, въ которомъ звучало негодованіе свободнаго человѣка—*вамъ каяться!*

На какомъ основаніи вы — рѣчь тутъ само собою не исключительно объ васъ, а о большинствѣ людей, раздѣляющихъ ваши мнѣнія — съ тою-же несчастной опрометчивостью, съ которой пожертвовали насъ, пожертвовали по *голословнымъ* полицейскимъ навѣтамъ всякой идеей независимости и свободы мнѣній — до такой степени, что не нашли не только ни протеста, ни сочувствія, но даже *не нашли молчанія*, когда ссылали на каторгу и вязали къ позорному столбу Михайловыхъ и Чернышевскихъ? Теперь вы знаете куда привелъ крестовый походъ противъ матеріализма, нигилизма и соціализма.

Вы не догадывались кому вы работали въ руки.... Посмотрите, Катковъ начинаетъ пугаться, такъ какъ прежде его испугался Чичеринъ и др. Катковъ обойденъ и изъ-за висѣлицъ Муравьева, обвернутыхъ *Московскими Вѣдомостями*, выглядываетъ во всемъ безобразіи дворовая *Вѣсть*.

Кому-же каяться?

Кому просить объ отпущеніи грѣховъ?

Польскій вопросъ, чуть-ли не хуже. Давно-ли вы всѣ стали такъ храбро за право сильнаго? Или съ какого числа и мѣсяца вы догадались, что Польша Россія? Неужели мнѣ вамъ напоминать, что въ 1862 году органъ близкій *Москвѣ* принималъ польскую національность за живую и правомѣрную? Что одинъ изъ свирѣпѣйшихъ враговъ Польши съ 1862, передъ своимъ обращеніемъ, пилъ въ Прагѣ тостъ за возстановленіе Польши? Что два петербургскіе журнала... да что приводить частные примѣры—неужели вы не знали, что проэктъ объ отдѣленіи конгресовой Польши, былъ на столѣ у государя, что шла рѣчь о возстановленіи конституціоннаго Королевства и о назначеніи одного изъ великихъ князей — королемъ?

Правительство было увлечено въ другіе пути взрывомъ обиженнаго чувства народности, вслѣдствіе запалныхъ „голословныхъ“ нотъ, но какъ же Польша то утратила свои права отъ родомонтадъ дипломатіи и раздражительности нашего патріотизма? Развѣ она перестала быть католической, европейской, совершенно западной, насильственно четвертованной между ненавистной ей Россіей, всепожирающей Пруссіей и всеудушающей Австріей? Ужъ польскую-то національность никакъ нельзя назвать стертой, она жива во всемъ, въ чертахъ лица, въ *чертахъ* мысли, въ страсти сердца, въ хатактерѣ, въ религіи, въ ручьяхъ крови, не имѣющихъ никогда времени просохнуть.

—„Но сила оружія!“—Stop—этого я не допущу, мы слишкомъ

съ вами стоимъ за Грековъ и Славянъ, чтобъ именн
канунѣ ихъ возстанія опираться на свирѣпое право
—„Да, видите, ихъ притязанія, границы“... Еслибъ
стороны Польши, вамъ-то что же было предупрежда
бки и, боясь, что они потребуютъ многаго, отнимать
Возстановить Польшу надобно было, чтобъ развязат
нецъ руки. Приданое ей дать надобно было, лишь бы
пея отрѣзанный ломоть. Проводить ее съ хлѣбомъ
лишь бы освободиться отъ нея, а не держать ее про
мять ея раненное тѣло зубами вцѣпившагося бульдог
пониманья не только не доросла наша дипломатія,
вы, передовые люди.

Поляковъ, которые хотѣли бы остаться подъ держ
я не видалъ, а видѣлъ я поляковъ довольно на моем
же, кромѣ вѣчной бойни, сдѣлаете вы этимъ насильс
военіемъ? Посмотрите на народы, которые хотятъ бы
ны, они послѣ первой борьбы, какъ женщины, жажду
бросаются на юнкерскую койку берлинскаго Донъ Жуа

Мы говорили откровенно наше мнѣніе полякамъ, чт
отъ Россіи, они отдѣляются отъ *новой жизни*, въ ко
мѣнно Россія увлечетъ Славянскій міръ, и будутъ п
лить судьбу міра латинскаго*). Но этого они и хотят
сильственныхъ крещеній à la Charlemagne прошло.

Мы не вѣримъ, чтобъ можно было приколачивать г
жіемъ захваченные куски земель и дѣлать изъ нихъ
организма. Вы думаете иначе, будемте спорить, но от
требленіе уголовнаго суда и церковныхъ анаѳемъ как
ства. Прудонъ проповѣдывалъ федерализмъ, какъ е
свободную и разумную государственную форму. Его в
нили, но не называли измѣнникомъ. Брайтъ недавно
отдайте вы эту Ирландію Америкѣ или оставьте ее не
— и никто не считаетъ Брайта дурнымъ англичанино

Мы говорили то же во время возстанія, что говор
отчего же прежде на насъ не накладывали покаянія?
сталъ жестче, это правда, но вспомните теперь, что б
сіи очень недавно, сгоряча вы не давали себѣ отчета,
мѣтили, что вы всѣ запачкались польской кровью. П
трезвиться и понять, что оваціи въ стихахъ и прозѣ,
кахъ и тостахъ герою застѣнковъ и пытокъ—были от
что метода добиванья побѣжденныхъ, ссылка на катор
людей, взятыхъ съ оружіемъ въ рукахъ, казни плѣ
ненныхъ, казни послѣ усмиренія—чудовищны. При в
чинопочитаніи, мы никакъ не можемъ понять, отчего
вѣшатели вамъ такъ гнусны, а вѣшатели-генералы та

И такъ всегда бываетъ, наказаны были вы, палка д
цомъ ударила по Россіи.

---

*) IV Письма о Польшѣ въ *Колоколѣ* за 1859 годъ

Не трудно было догадаться, что правительство, казнямъ котораго въ Польшѣ рукоплескало общество и журналистика, съ божьей споспѣшествующей милостью перенесетъ ихъ въ Россію. Смертная казнь сдѣлалась у насъ одной изъ привиллегій всѣхъ генералъ губернаторовъ и военныхъ начальниковъ, ихъ главнымъ разсѣяніемъ. Кровь потекла во всѣхъ провинціяхъ, вездѣ учредились военно-судныя бойни — середь мира и тишины, въ странѣ не знавшей смертной казни—кромѣ тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда цари-вѣшатели мстили, какъ ихъ подражатели польскіе жандармы. Вы одни — и да не забудетъ этого вамъ народъ русскій во вѣки вѣковъ — не только ужаснулись этимъ казнямъ, но имѣли мужество сказать это. Поздно. Кровь понравилась.

Это не все — неужели вы думаете, что еслибъ общественное мнѣніе отъ Самары до Москвы не втѣснило правительству чудовище, неневидимое прежде всей Россіей, для усмиренія Литвы, еслибъ разгульная наша журналистика не связалась съ полиціей, чтобъ проповѣдывать гнуснѣйшее французское изобрѣтеніе de la complicité morale, еслибъ она не доносила какія юбки носятъ польскія женщины и какъ польскія дѣти говорятъ съ родителями по польски, правительство осмѣлилось бы Муравьева посадить презусомъ въ каракозовскомъ процессѣ и останавливать на улицѣ русскихъ честныхъ женщинъ и дѣвицъ за то, что у нихъ нѣтъ кринолинъ и есть синія очки?

Хорошо, что Муравьевъ оказался не только бездушнымъ злодѣемъ, но безмозглымъ хвастуномъ. грубымъ и неловкимъ сыщикомъ, а то можете-ли вы назначить предѣлъ *умиротворенія* русской мысли?

Подтолкнувъ правительство, та же литературная демагогія попыталась совратить простой смыслъ русскаго народа двухлѣтнимъ натравливаніемъ его на поляковъ.

Это великій грѣхъ, и онъ дѣйствительно требуетъ великаго и громкаго покаянія.

Я иногда съ удивленіемъ думаю, какъ мы глубоко пали въ языкѣ, въ манерахъ, какъ огрубѣли наши чувства. Для меня остается тяжелой, паталогической задачей, какимъ образомъ *до сихъ поръ* почти ни одинъ журналъ не можетъ сказать слова о польскомъ дѣлѣ, не ругаясь? Это манія, болѣзнь, проказа. Неужели это приведетъ къ какому нибудь пониманію историческаго событія, или къ облегченію натянутаго положенія? Кромѣ *панскаго* ряда въ *Вѣсти*, я знаю одно исключеніе, именно статьи относительно поляковъ, очень строгія, но полныя человѣческаго пониманія, И. Желудкова. Въ его глазахъ полякъ *не только* врагъ Россіи, но человѣкъ, имѣющій свою поэзію, всегда готовый пострадать, не на словахъ, а на дѣлѣ, за свой идеалъ, отважный и гордый, бросающій съ дѣтской безпечностью свое достояніе, словомъ, существо, совершенно не похожее на тѣхъ иконописныхъ канибаловъ, которыхъ намъ малюютъ наши суздальскіе и кіево-печерскіе литературные богомазы.

Затѣмъ я оставляю общую часть и перехожу прямо
замѣчаніямъ.

Сначала повторю весь текстъ вашихъ замѣчаній:

«Мы не имѣемъ причины отказать г. Герцену въ
этого письма. Но напрасно думаетъ онъ, что подобнаго
словными отрицаніями можетъ онъ оправдаться вполн
димыхъ на него навѣтовъ. Пусть онъ не участвовалъ в
поджигателей, мы охотно этому вѣримъ, но тѣмъ не
иненемъ назвалась знаменитая Тульчинская агенція и
имѣла къ тому какой нибудь поводъ. Что г. Герценъ
въ *Колоколѣ* подписку въ пользу польскаго народнаго
треблявшаго собранныя имъ деньги, между прочимъ, н
ніе жандармовъ-вѣшателей, отравителей и поджигате
Герценъ былъ въ единомысліи съ Бакунинымъ, затѣя
менитую неудавшуюся экспедицію въ помощь полякамъ
неопровержимые. Отъ солидарности съ поляками г.
отрекался. Слѣдовательно, вопросъ только въ томъ,
мечемъ или также и огнемъ производился тотъ ущер
въ нанесеніи котораго г. Герценъ принималъ, если не
ственное, то косвенное и нравственное участіе.

„Пусть въ этомъ покается предъ Россіею г. Герцен
жетъ же онъ не понимать, что для покаянія въ его п
яхъ предъ Россіею нѣтъ компромисовъ.

„И намъ хотѣлось бы думать, что для него еще возмо
ственный возвратъ, потому что въ искренность и чи
его заблужденій мы не переставали вѣрить.—*Ред.*“

Простите меня, но я еще разъ скажу, что вы рѣш
годитесь въ Фукье-Тенвили православія и народности,
отъ души радъ. Нѣтъ ни одного положенія, ни одного
женія, нѣтъ ни одного факта, который бы могъ выдерж
нибудь критику.

Меня обвиняютъ; я требую доказательствъ въ обвине
номъ какъ „неопровержимый фактъ“ въ докладъ; я го
щадите меня, а скажите просто на чемъ основана нео
мость треповскаго факта“. Что же естественнѣе этого?
ражаете, что я *голословно* оправдываюсь. Что такое *голос*
виняемый говоритъ, конечно словами, что это неправда
винителя доказать противное. Чего же вы требуете от
меня нѣтъ другаго средства оправдываться, какъ голое
стнаго человѣка, не замѣченнаго во лжи, и нѣтъ другой с
довѣріе къ моему *голому* слову общественнаго мнѣнія.
моей стороны, было бы явиться въ Россію и требоват
годъ тому назадъ писалъ, что поѣхалъ бы, еслибъ вѣ
въ случаѣ оправданія, меня отпустятъ съ миромъ, на это
отвѣта не было. А не было потому, что это вовсе не со
нашими понятіями о судѣ и правдѣ, потому, что не П
ринъ, не жандармскій Шуваловъ, а вы говорите: *„Пу*
участвовалъ въ обществѣ зажигателей, тѣмъ не менѣе ег

называлось знаменитое Тульчинское агентство" и пр. На этомъ юридическомъ понятіи и подавно правительство скажетъ: „Пусть онъ и оправданъ въ зажигательствѣ, да все же онъ ѣстъ скоромное по середамъ и пятницамъ, а потому и заточить его въ Соловецкій монастырь".

Помилуйте, что за *пусть*, если я не жегъ городовъ и деревень, такъ не называйте меня зажигателемъ, и если я участвовалъ не въ зажигательсвѣ, а въ Тульчинской агенціи, такъ и говорите...

Но благо вы назвали *знаменитую* Тульчинскую агенцію, я и эту игрушку испорчу вамъ... довольно ею поиграли *Моск. Вѣдомости*.

Въ Тульчѣ нѣкогда жили братья Кельсіевы, оба были эмигранты и никогда ничего не жгли, кромѣ папиросъ; одинъ изъ нихъ ушелъ въ Турцію отъ гоненій по студенческому дѣлу, за которое уже былъ сосланъ въ Пермь. Другой изучалъ расколъ и некрасовцевъ, и оба учили русской грамотѣ бѣдныхъ казацкихъ дѣтей. Къ нимъ присоединились двое другихъ русскихъ эмигрантовъ... Страшныя несчастія поразили, почти уничтожили семью Кельсіевыхъ... маленькая община распалась и уничтожилась. Корреспонденція одного парижскаго журнала, дѣлая выписку изъ донесенія какого-то французскаго консула, съ жаргономъ естественнымъ французамъ, говорила объ Agence de M. Herzen à Toultcha. Мы посмѣялись и шутя говорили объ „агенціи" до тѣхъ поръ, пока увидѣли въ *Моск. Вѣдомостяхъ*, что насъ обвиняютъ въ какихъ-то козняхъ черезъ *Тульчинскую* агенцію, а тульчинскую агенцію въ связяхъ съ зажигателями въ одну сторону и съ Маццини и пр. въ другую. Что В. Кельсіевъ, доказавшій свое мужество и энергію поѣздкой въ Москву—человѣкъ эксцентрическій и очень талантливый, мечталъ о пропагандѣ соціальныхъ начатъ между раскольниками и не унывая бился съ нуждой — это все такъ. Но чтобъ когда нибудь ему мысль зажигательства приходила въ голову, этому я никогда не повѣрю, такъ какъ не повѣрю участію Бакунина въ „обществѣ зажигателей"*). Да вѣдь и вы не вѣрите этому? И правительство не вѣритъ, а Катковъ не только не вѣритъ, но по обширнымъ ученымъ связямъ своимъ *знаетъ*, что все это вздоръ. Зачѣмъ же эти шалости?

Идемте далѣе. Вы говорите, что я открывалъ подписку въ *Колоколѣ* въ пользу польскаго народоваго жонда. Вы не любите „голословныхъ" показаній, а потому не можете-ли вы указать *листъ Колокола*, или чего нибудь другого, гдѣ бы *мы* открывали какую нибудь подписку, кромѣ для „общаго фонда" и для общества „Земля и Воля", по просьбѣ его комитета. Досадно, что нѣтъ возможности вамъ послать полнаго собранія *Колокола* съ 1863 года. Такая посылка была бы для насъ по многому очень важна. Вы одолжили бы насъ, еслибъ, хоть для нашего уличенія, испросили бы дозволеніе на полученіе его.

---

*) Я на дняхъ получилъ отъ Бакунина письмо, самымъ положительнымъ образомъ отвергающее нелѣпую клевету.

Вотъ еще что было. Разъ я получилъ отъ извѣс тинца, Дольфи, вексель въ 7,000 фр. отъ тосканск вспомоществованія полякамъ. Вексель этотъ, не зна дать, я отослалъ назадъ. Другой разъ я получилъ Риччіарди отъ его знакомыхъ изъ Неаполя, помни для польскихъ эмигрантовъ, и деньги эти вручилъ і митету въ Лондонѣ—такъ какъ Филаретъ митропол Антонина, вы сами и многіе другіе доставляли (и і лали) деньги, собранныя въ Россіи, аѳинскому коми кимъ попамъ*). Затѣмъ я долженъ сказать краснѣя, случалось грошовыми деньгами помогать польскимъ эмиграціи, то я гораздо больше получилъ денегъ *от русскихъ выходцевъ*. Я могъ бы назвать вамъ имена, ялся оскорбить тѣхъ, которые давали.

Я вообще не люблю говорить о фондѣ для русск новится стыдно и грустно, такъ туго развязывается тый кошелекъ для помощи своимъ на чужбинѣ. Кон ги, собранныя нами въ продолженіе *пяти лѣтъ* (окс сячъ рублей) трудно было поднять Россію и поддер развѣ въ самомъ дѣлѣ ихъ хватило бы только на то жечь какой нибудь амбаръ или овинъ.

О зажигательствѣ впрочемъ мы тоже имѣемъ сп всѣмъ одинаковое понятіе. Вы говорите: „вопрос томъ, однимъ-ли *мечемъ или также и огнемъ* произво Россіи", въ которомъ я принималъ участіе. Не г что я не могу не улыбнуться отъ воинственнаго і мнѣ придаютъ эти слова, но я нахожу, что ваше несчастнѣе вашего „пусть". Мечемъ сражались часто *войска своего правительства*, оставаяся друзьями сі польская война собственно была междоусобіемъ—ос шей точки зрѣнія— но деревни и города жгуть од или сумасшедшіе фанатики. Лавирона, павшаго въ со стороны Италіи, никто не называетъ врагомъ Ф еслибъ онъ въ Оверни или въ Бретани, въ отмест революціи, или для возбужденія умовъ, жегъ деревни отступилась бы отъ него.

Перейдемъ теперь къ дамаскинскому мечу при бе его закалъ не лучше тульчинской агенціи.

Еслибъ вы брали ваши свѣдѣнія о насъ въ *Колок* гихъ изданіяхъ нашихъ, а не въ кучахъ сору (безъ какого нибудь артиллерійскаго генералъ-литератора мойной ямѣ *Варшавскаго Дневника*, вы знали бы, как лись къ поднятію оружія въ Польшѣ.

Мы были съ самаго начала *противъ возстанія*, и статьяхъ, но во всѣхъ разговорахъ. Свидѣтелей по

*) Были еще небольшія суммы въ 20, 40 фр., п ключительно для польскихъ раненныхъ и эмигранто

умиротворенія трудно вызвать, лучшіе изъ нихъ, какъ Сѣраковскій, Падлевскій — вы знаете гдѣ... однако есть и живые, на которыхъ мы смѣло можемъ сослаться. Мы умоляли поляковъ всѣхъ партій, всѣхъ оттѣнковъ не возмущать дѣла русскаго развитія и идти къ свободѣ и независимости инымъ путемъ, идти вмѣстѣ съ нами. Но отвратить возстанія мы не могли, да и врядъ-ли могъ кто нибудь. Время было до того полно грозы, до того душно и натянуто въ Варшавѣ, что Лидерсъ и его штабъ столько же хотѣли открытаго возстанія, какъ Центральный комитетъ и его штабъ.

Знаете-ли вы, что значитъ стоять между двумя противниками, *которыхъ вы любите* и которые идутъ на смертный бой; вы ихъ убѣждаете, вы ихъ просите, вы бранитесь и дѣлаете уступки, вы плачете, вы грозите; вы выбиваетесь изъ силъ и съ какимъ-то отчаяніемъ убѣждаетесь, что тутъ предѣлъ дѣйствія одного человѣка на другого... дуэль неминуема.

Что же по вашему, такъ и бросить ихъ на произволъ собственному безумію и чужой клеветѣ? Или еще лучше бросить *одною побитаю*, даже опрокинуться на него, забыть все хорошее, что вы въ немъ любили, забыть, что онъ былъ оскорбленъ, правъ, и приговаривать: „подѣломъ ему, ништо ему... не суйся".

Нѣтъ, этого вы не посовѣтуете...

Съ мучительной болью и съ тяжелымъ сознаніемъ своего безсилья смотрѣли мы на приближающійся взрывъ—*ни съ той, ни съ другой* стороны ничего не было сдѣлано, чтобъ предупредить его; мы видѣли, какъ увлеченные, фанатизированные люди неслись на вѣрную гибель, гибли, другіе шли на ихъ мѣсто... и иногда усталые, обезсиленные, готовы были рыдать.

За это бросали въ насъ грязью.

Каждая казнь послѣ побѣды заставляла насъ содрогаться и каждая сопровождалась рукоплесканьями какого-то неистоваго хора пирующихъ канибаловъ въ Москвѣ и Петербургѣ и циническимъ подстрекательствомъ *Московскихъ Вѣдомостей*...

И намъ за то, что мы одни стали на мѣстѣ народной совѣсти, каяться! — Что вы это?

Не за горами тотъ часъ, въ который поймутъ и оцѣнятъ нашъ разрывъ съ общественнымъ мнѣніемъ того печальнаго времени, когда въ угарѣ и опьяненіи вы не умѣли различить Пожарскаго отъ Муравьева и къ прозаическимъ доносамъ *Моск. Вѣдомостей* прибавляли стихотворную брань Суворову за то, что виленскій извергъ ему былъ гадокъ.

Нѣтъ, Иванъ Сергѣевичъ, не блудными дѣтьми Россіи, не посѣдѣвшими Магдалинами съ понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправданья, не прощенья, а признанья дѣла всей ихъ жизни.

Для насъ нѣтъ заднихъ дверей, въ которыя стучатся утомившіеся грѣшники, пусть ими проползаютъ со своимъ покаяніемъ двойные ренегаты и измѣнники, какъ этотъ ничтожный, дрянной *Джунковскій*, котораго чудотворное обращеніе въ православіе изъ

папскихъ агентовъ de bas étage, наполняетъ благоуханіемъ крина сельнаго благочестивыя души въ Москвѣ и Петербургѣ.

Не при жизни, такъ на нашей могилѣ настанетъ день, не нашего раскаянья, а раскаянья передъ нашими тѣнями за оскорбленную въ насъ любовь къ Россіи!

Я останавливаюсь... Простите, если письмо мое длинно; простите, если я васъ оскорбилъ какимъ нибудь словомъ, такого намѣренія у меня не было. Совершенно холодно я не могу говорить объ этомъ предметѣ, онъ слишкомъ наболѣлъ, слишкомъ вошелъ въ плоть и кровь.

Еслибъ вы *могли* мнѣ отвѣчать, я былъ бы счастливъ, я увидѣлъ бы въ этомъ доказательство, что предварительная цензура у насъ уничтожена въ самомъ дѣлѣ въ виду освобожденія мысли и слова*).

Съ своей стороны я готовъ объяснить каждую строку, каждое выраженіе...

Въ прошломъ письмѣ я сказалъ вамъ, что одолжать противниковъ случается не часто, но не часто случается намъ уважать ихъ такъ искренно, какъ я уважаю васъ.

Колоколъ № 241.
15 Мая 1867 года.

БЕЗЪ СВЯЗИ.**)

(Отрывки изъ путешествія).

I

ZU DEUTCH.

Генуя 15 Января, 1867.

...Три дня льетъ проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется.... Въ окнѣ книжной лавки выставлена „Переписка Гейне“ два тома. Вотъ спасенье, я взялъ ихъ и принялся читать впредь до расчищенія неба.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ Гейне писалъ къ Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дѣло, съ 1848 года мы все пятились да отступали, все бросали за бортъ да ежились, а кой-что сдѣлалось и все исподволь измѣнилось. Мы ближе къ землѣ, мы ниже стоимъ, т. е. тверже, плугъ глубже врѣзывается, работа не такъ казиста, чернѣе—можетъ оттого, что это въ самомъ дѣлѣ работа. Донъ-Кихоты реакціи пропороли много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные

---

*) Валуевъ поторопился разсѣять наши сомнѣнія, *Москва* остановлена на три мѣсяца.

**) Помѣщены въ №№ 241, 242 и 243 *Колокола*. *Л. Т.*

газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше какъ духъ божій надъ водами съ цѣвницей и пророческимъ пѣснопѣніемъ, а цѣпляемся за деревья, крыши и за мать сыру землю.

Гдѣ эти времена, когда „юная Германія“ въ своемъ „прекрасномъ-высоко“ *теоретически* освобождала отечество и въ сферахъ чистаго разума и искусства покончивала съ міромъ преданій и предразсудковъ? Гейне было противно на ярко освѣщенной морозной высотѣ, на которой величественно дремалъ подъ старость Гёте, грезя не совсѣмъ складные, но умные сны второй части Фауста, однако и онъ ниже книжнаго магазина не опустился, это все еще академическая aula, литературные кружки, журнальные приходы, съ ихъ сплетнями и дрязгами, съ ихъ книжными Шейлоками въ видѣ Коты или Гофмана и Кампе, съ ихъ гетингенскими архіереями филологіи и епископами юриспруденціи въ Галле или Бонѣ Ни Гейне, ни его кругъ, народа не знали, и народъ ихъ не зналъ. Ни скорбь, ни радость низменныхъ полей не подымалась на эти вершины — для того, чтобъ понять стонъ современныхъ человѣческихъ трясинъ, имъ надобно было переложить его на латинскіе нравы и черезъ Гракховъ и пролетаріевъ добраться до ихъ мысли.

Бакалавры міра *сублимированнаго*, они выходили иногда въ жизнь, начиная какъ Фаустъ, съ полпивной и всегда какъ онъ съ какимъ нибудь духомъ школьнаго отрицанія, который имъ, какъ Фаусту, мѣшалъ своей рефлексіей просто глядѣть и видѣть. Оттого-то они тотчасъ возвращались отъ живыхъ источниковъ къ источникамъ историческимъ, тутъ они чувствовали себя больше дома. Занятія ихъ, это особенно замѣчательно, не только не были *дѣломъ*, но и не были *наукой*, а, такъ сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчасъ бунтовалъ противъ архивнаго воздуха и аналитическаго наслажденія, хотѣлъ чего-то другого, а письма его совершенно *нѣмецкія письма*, того нѣмецкаго періода, на первой страницѣ котораго Бетина-дитя, а на послѣдней Рахель еврейка. Мы свѣжѣе дышемъ, встрѣчая въ его письмахъ страстные порывы юдаизма, тутъ Гейне въ самомъ дѣлѣ увлекающійся человѣкъ — но онъ тотчасъ стынетъ, холодѣетъ къ юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не безкорыстную, измѣну.

Революція 1830 и потомъ переѣздъ Гейне въ Парижъ сильно двинули его. Der Pan ist gestorben! говоритъ онъ съ восторгомъ и торопится *туда* — туда, куда и я нѣкогда торопился такъ болѣзненно-страстно — въ Парижъ; онъ хочетъ видѣть „великій народъ“ и сѣдаго Лафайета, разъѣзжающаго на сѣрой лошади. Но литература вскорѣ беретъ верхъ, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями въ пересыпочку съ жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположеніе духа, сквозь которое просвѣчиваетъ безмѣрное, оскорбленное самолюбіе. И тутъ же Гейне беретъ фальшивую ноту. Холодно вздутый риторическій бонапартизмъ его становится такъ

же противенъ, какъ брезгливый ужасъ гамбургскаго, хорошо вымытаго, жида передъ народными трибунами не въ книгахъ, а на самомъ дѣлѣ. Онъ не могъ переварить, что рабочьи сходки, не представлялись въ чопорной обстановкѣ кабинета и салона Варнгагена, „фарфороваго“ Варнгагена фонъ Энзе, какъ онъ самъ его назвалъ.

Чистотой рукъ и отсутствіемъ табачнаго запаха, впрочемъ, и ограничивается чувство его собственнаго достоинства. За это винить его трудно. Чувство собственнаго достоинства не нѣмецкое, не еврейское и, по несчастію, тоже не русское.

Гейне кокетничаетъ съ прусскимъ правительствомъ, заискиваетъ въ немъ черезъ посла, черезъ Варнгагена, и ругаетъ его*). Кокетничаетъ съ баварскимъ королемъ и осыпаетъ его сарказмами, больше чѣмъ кокетничаетъ съ „высокой“ германской діэтой и выкупаетъ свое дрянное поведеніе передъ ней ѣдкими насмѣшками.

Все это не объясняетъ-ли отчего учено-революціонная вспышка въ Германіи такъ быстро лопнула въ 1848 году? Она тоже принадлежала литературѣ и исчезла какъ ракета, пущенная въ Кроль гарденѣ — она имѣла своихъ вождей-профессоровъ и своихъ генераловъ отъ филологіи она имѣла свой народъ въ ботфортахъ и беретахъ, народъ студентовъ, измѣнившихъ революціонному дѣлу какъ только оно перешло изъ метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кромѣ нѣсколькихъ забѣжавшихъ или завлеченныхъ работниковъ, народъ не шелъ за этими блѣдными *фюрерами*, они ему такъ и остались посторонними.

— Какъ вы можете выносить всѣ обиды Бисмарка — спросилъ я, за годъ до войны, у одного лѣваго депутата изъ Берлина, въ самое то время, когда графъ набивалъ себѣ руку для того, чтобъ повышибить зубы по крѣпче Грабова и К-іи.

— Мы все сдѣлали, что могли innerhalb конституціи.

- Ну такъ вы бы по примѣру правительства попробовали ausserhalb.

— То есть что же? сдѣлать воззваніе къ народу, остановить платежи налоговъ?... Это мечта... ни одинъ человѣкъ не двинулся бы за насъ, не поддержалъ бы насъ... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидѣтельствуя сами нашу слабость.

— Ну такъ и я скажу, какъ вашъ президентъ при всякомъ заушеніи: воскликните троекратно Es lebe der Kœnig! и разойдитесь съ миромъ!

---

*) Не то же ли дѣлалъ и геній *на содержаніи* прусскаго короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. Послѣ 1848 король гановерскій, ультра консерваторъ и феодалъ, пріѣхалъ въ Поцдамъ. На лѣстницѣ дворца его встрѣтили разные придворные и Гумбольдтъ въ ливрейномъ фракѣ. Злой король остановился и, улыбаясь, сказалъ ему: „Immer derselbe, immer Republicaner uud immer im Vorzimmer des Palastes“.

II.

Съ того свѣта.

... Villa Adolphina... Адольфина?... что бишь такое?... Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...

Вхожу — все чисто, хорошо, деревья, цвѣты, англійскія дѣти на дворѣ, толстыя, мягкія, румяныя, которымъ отъ души желаю никогда не встрѣчаться съ антропофагами... выходитъ старушка и, спросивъ о причинѣ прихода, начинаетъ разговоръ съ того, что она не *служанка*, а „больше по дружбѣ", что M-me Adolphine поѣхала въ больницу или въ богадѣльню, въ которой она патронесса. Потомъ ведетъ меня показывать „необыкновенно удобную квартиру", которая первый разъ еще не занята во время сезона и которую сегодня утромъ приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, въ силу чего служащая „больше по дружбѣ" старушка — искренно совѣтовала мнѣ не терять времени. Поблагодаривъ ее за такое внезапное сочувствіе и предпочтеніе, я обратился къ ней съ вопросомъ: Sie sind eine Deutche?

— Zu Diensten, uud der Gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg. Признаться сказать такого города кажется нѣтъ и не будетъ.

— Очень пріятно слышать. Вы давно оставили Петербургъ?

— Да не вчера таки, мы вотъ ужъ здѣсь живемъ на худой конецъ лѣтъ двадцать. Я съ дѣтства была подругой съ M-me Adolphine, и потомъ никогда не хотѣла ее покинуть. Она мало хозяйствомъ занимается, все у нея идетъ такъ, некому присмотрѣть. Когда meine Gönnerin купила этотъ маленькій *парадисъ*, она меня тотчасъ выписала изъ Брауншвейга...

— А гдѣ вы жили въ Петербургѣ? спросилъ я вдругъ.

— О мы жили въ самой лучшей части города, гдѣ lauter Herrschaften und Generäle живутъ, сколько разъ я видѣла покойнаго государя, какъ онъ въ коляскѣ и въ саняхъ на одной лошади проѣзжалъ — so ernst.. можно сказати настоящій потентатъ былъ.

— Вы жили на Невскомъ, на Морской?

— Да, т. е. не совсѣмъ на Невскомъ, а тутъ возлѣ у Полицейскаго моста.

Довольно... довольно, какъ не знать, думаю я, и прошу старушку чтобъ она сказала, что я приду къ самой M-me Adolphine переговорить о квартирѣ.

Я никогда не могъ безъ особаго умиленія встрѣчаться съ развалинами давнишняго времени, съ полуразрушенными памятниками—храма-ли Весты или другаго бога, все равно...

Старушка „по дружбѣ" пошла меня провожать черезъ садъ къ воротамъ. „Вотъ нашъ сосѣдъ тоже долго жилъ въ Петербургѣ"... она указала мнѣ большой, кокетливо убранный домъ, на этотъ разъ съ англійской надписью: Large and small app. (furnished or

unfurnished).... Вы вѣрно помните Флоріани? Coiffeur de la cour былъ, возлѣ Милльонной—онъ имѣлъ одну непріятную исторію.... былъ преслѣдованъ, чуть не попалъ въ Сибирь.... знаете за излишнее снисхожденіе, тогда были такія строгости.

Ну, думаю, она непремѣнно произведетъ Флоріани въ мои „товарищи несчастья".

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту исторію, въ ней были замѣшаны синодскій оберъ-прокуроръ, и другіе богословы и гвардейцы...

—Вотъ онъ самъ.

.... Высохшій, беззубый старичишка въ маленькой соломенной шляпѣ, морской или дѣтской, съ голубой лѣнтой около тульи, въ коротенькомъ, свѣтло гороховомъ полупальто и въ полосатыхъ штанишкахъ.... вышелъ за ворота. Онъ поднялъ скупосухіе, безжизненные глаза и пожевывая тонкими губами, кивнулъ головой старушкѣ „по дружбѣ".

—Хотите я его позову?

—Нѣтъ, покорно благодарю.... я не по этой части—видите бороду не брѣю.. Прощайте. Да скажите пожалуйста ошибся я или нѣтъ, у Monsieur Floriani, красная ленточка.

—Да, да—онъ очень много жертвовалъ!

—Прекрасное сердце.

Въ класическія времена, писатели любили сводить на томъ свѣтѣ давно и недавно умершихъ, за тѣмъ чтобы они покалякали о томъ и о семъ. Въ нашъ реальный вѣкъ все на землѣ и даже часть *того свѣта на этомъ свѣтѣ*. Елисейскіе поля растянулись въ Елисейскіе берега, Елисейскія взморья и разсыпались тамъ сямъ по сѣрнымъ и теплымъ водамъ, у подножья горъ, на рамкахъ озеръ, они продаются акрами, обработываются подъ виноградъ.... Часть умершаго въ треволненной жизни отправляетъ здѣсь первый курсъ переселенія душъ и гимназическій классъ Чистилища.

Всякій человѣкъ, прожившій лѣтъ пятьдесятъ, схоронилъ цѣлый міръ, даже два — съ его исчезновеніемъ онъ свыкся и привыкъ къ новымъ декораціямъ другаго акта—вдругъ имена и лица давно умершаго времени являются чаще на его дорогѣ, вызывая ряды тѣней и картинъ, гдѣ-то хранившихся, на всякій случай, въ безконечныхъ катакомбахъ памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной разъ чуть не расплакаться...

Желающимъ, какъ Фаустъ, повидаться „съ матерями" и даже съ „отцами", ненужно никакихъ Мефистофелей, достаточно взять билетъ на желѣзной дорогѣ и ѣхать къ Югу. Съ Кана и Граса начиная—бродятъ грѣющіяся тѣни, давно утекшаго времени, прижатыя къ морю, онѣ покойно сгорбившись ждутъ Харона и свой чередъ.

На порогѣ этой Citta, не то чтобы очень dolente стоитъ привратникомъ высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. Послѣ долгой, честной и исполненной безплоднаго труда жизни, онъ всѣмъ существомъ и одной сѣдой бровью ниже другой—

выражаетъ часть Дантовской надписи: „Voi ch'entrate, съ мыслью домашними средствами поправить застарѣлое, историческое зло lasciate ogni speranza". Старикъ Брумъ, лучшій изъ вѣтхихъ деньки — защитникъ несчастной королевы Каролины, другъ Роберта Оуэна, современникъ Канинга и Байрона, послѣдній, ненаписанный томъ Маколея—поставилъ свой домъ между Грасомъ и Каномъ, и очень хорошо сдѣлалъ. Кого было-бы какъ не его поставить примиряющей вывѣской въ преддверіи временнаго Чистилища, чтобъ не отстрашать живыхъ?

За тѣмъ мы en plein въ мірѣ умолкшихъ теноровъ, потрясавшихъ наши восемнадцатилѣтнія груди лѣтъ *тридцать* тому назадъ — ножекъ, отъ которыхъ таяло и замирало наше сердце вмѣстѣ съ сердцемъ цѣлаго партера, ножекъ оканчивающихъ теперь свою карьеру въ стоптанныхъ, собственноручно вязанныхъ изъ шерсти туфляхъ, пошлепывающихъ за горничной изъ безцѣльной ревности и по хозяйству изъ очень цѣлеобразной скупости...

..И все то это съ разными промежутками продолжается до самой Адріатики, до береговъ Комскаго озера и даже нѣкоторыхъ нѣмецкихъ водяныхъ *пятенъ* (Flecken). Здѣсь villa Taglioni, тамъ Palazzo Rubini, тутъ Campagne Fanny Elsner и другихъ *лицъ*.... du preterit defini et du plus-que-parfait.

Возлѣ актеровъ, сошедшихъ со сцены маленькаго театра—актеры самыхъ большихъ подмостокъ въ мірѣ, давно исключенные изъ афишъ и забытые—они въ тиши доживаютъ вѣкъ Цинцинатами и философами противъ воли. Рядомъ съ артистами, нѣкогда отлично представлявшими царей, встрѣчаются цари, скверно разыгравшіе свою роль. Цари эти захватили съ собой, какъ индійскіе покойники, берущіе на тотъ свѣтъ своихъ женъ, двухъ-трехъ преданныхъ министровъ, которые такъ усердно помогли имъ пасть и сами свалились съ ними. Въ ихъ числѣ есть вѣнценосцы освистанные при дебютѣ и все еще ожидающіе, что публика придетъ къ больше справедливой оцѣнкѣ и опять позоветъ ихъ. Есть и такіе, которымъ impressario историческаго театра не позволилъ и дебютировать, мертворожденные, имѣющіе *вчера*, но не имѣющіе *сегодня* — ихъ біографія оканчивается до ихъ появленія на свѣтъ, астеки давно ниспровергнутаго закона престолонаслѣдія — они остаются шевеляшимися памятниками угасшихъ династій.

Далѣе идутъ генералы, знаменитые побѣдами одержанными надъ ними, тонкіе дипломаты, погубившіе свои страны, игроки погубившіе свое состояніе и сморщенныя, сѣдыя старухи, погубившія во время оно сердца этихъ дипломатовъ и этихъ игроковъ. Государственные фосили, все еще понюхивающіе табакъ, такъ какъ его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминаютъ съ „ископаемыми" красавицами временъ M-me Récamier залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибранъ и дивятся, что Патти смѣетъ послѣ этого пѣть... И въ то-же время люди зеленаго сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные параличемъ, полузатопленные водяной, толкуютъ съ другими ста-

рушками о другихъ салонахъ и другихъ знаменитостяхъ, о смѣлыхъ ставкахъ, о графинѣ Киселевой, о Гамбургской и Баденской рулеткѣ, объ игрѣ покойнаго Сухозанета, о тѣхъ патріархальныхъ временахъ, когда владѣтельные принцы нѣмецкихъ водъ были въ долѣ съ содержателями игръ и опасный, средневѣковый грабежъ путешественниковъ — перекладывали на мирное поприще банка и rouge ou noir...

....И все это еще дышетъ, еще движется, кто не на ногахъ—въ перамбулаторѣ, въ коляскѣ укрытой мѣхомъ, опираясь вмѣсто клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимѣніемъ слуги. Списки иностранцевъ этихъ странъ похожи на старинные адресъ-календари, на клочья изорванныхъ газетъ „временъ наваринскихъ и покоренія Алжира".

Возлѣ гаснущихъ звѣздъ трехъ первыхъ классовъ—сохраняются другія кометы и свѣтила, занимавшія собою, лѣтъ тридцать тому назадъ праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, съ которымъ люди слѣдятъ за процессами, ведущими отъ труповъ къ гильотинѣ и отъ кучей золота на каторгу. Въ ихъ числѣ разные освобожденные отъ суда за „неимѣніемъ доказательствъ", отравители, фальшивые монетчики, люди кончившіе курсъ нравственнаго леченія гдѣ нибудь въ центральной тюрьмѣ или колоніяхъ, „контюмасы" и пр.

Всего меньше встрѣчаются въ этихъ теплыхъ чистилищахъ, тѣни людей, всплывшихъ середь революціонныхъ бурь и неудавшихся народныхъ движеній. Мрачные и озлобленные горцы *якобинскихъ* вершинъ, предпочитаютъ суровую бизу, угрюмые Лакедемоняне—они скрываются за лондонскими туманами...

III

ВЪ ZÆRINGHOFF'Ѣ.

... Въ Фрибургъ я пріѣхалъ часовъ въ десять вечера... прямо къ Zæringhoff'у. Тотъ же хозяинъ въ черной бархатной скуфіѣ, который встрѣчалъ меня въ 1851 году, съ тѣмъ же правильнымъ и высокомѣрно-учтивымъ лицомъ русскаго оберъ-церемоніймейстера или англійскаго швейцара, подошелъ къ омнибусу и поздравилъ насъ съ пріѣздомъ.

... И столовая та же, тѣ же складные четырехугольные диванчики, обитые краснымъ бархатомъ, по угламъ.

Четырнадцать лѣтъ прошли передъ Фрибургомъ какъ четырнадцать дней! Та же гордость каѳедральнымъ органомъ, та же гордость цѣпнымъ мостомъ.

Вѣяніе новаго духа, безпокойнаго, мѣняющаго стѣны, разбрасывающагося, поднятаго эквинокціальными бурями 1848 года—мало коснулось городовъ, стоящихъ въ нравственной и физической сторонѣ, въ родѣ іезуитскаго Фрибурга и піэтистическаго Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьимъ шагомъ, стали лучше — но намъ кажутся отсталыми въ своей каменной одеждѣ, сшитой не по модѣ... А вѣдь многое въ прежней жизни было не

дурно, прочнѣе, удобнѣе — она была лучше разочтена для *малаго* числа избранныхъ, и именно поэтому не соотвѣтствуетъ огромному числу вновь приглашенныхъ, далеко не такъ избалованныхъ и не такъ трудныхъ во вкусѣ.

Конечно, при современномъ состоянiи техники, при ежедневныхъ открытiяхъ, при облегченiи средствъ, можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человѣкъ, владѣющiй мѣстомъ, довольствуется малымъ. Вообще на него наклепали, и главное наклепалъ онъ самъ, то пристрастiе къ комфорту и ту избалованность, о которой говорятъ. Все это у него риторика и фраза какъ и все прочее—были же у него свободныя учрежденiя безъ свободы, отчего же не имѣть блестящую обстановку для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключенiя. Мало-ли что можно найти у англiйскихъ аристократовъ, у французскихъ камелiй, у iудейскихъ князей мiра сего... къ тому же все это личное и временное: лорды и банкиры не имѣютъ будущности, а камелiи наслѣдниковъ. Мы говоримъ о *всемъ свѣтѣ*, о золотой посредственности, о хорѣ и коръ-де-бале, который теперь на сценѣ и жируетъ—оставляя въ сторонѣ отца лорда Станлей, имѣющаго тысячъ двадцать франковъ дохода въ день и отца того двѣнадцатилѣтняго ребенка, который на дняхъ бросился въ Темзу, чтобъ облегчить родителямъ пропитанiе.

Старый, разбогатѣвшiй мѣщанинъ любитъ толковать объ удобствахъ жизни, для него все еще ново, *что онъ баринъ*, qu'il a ses aises, „что его средства ему позволяютъ, что это его не разоритъ". Онъ дивится деньгамъ и знаетъ ихъ цѣну и летучесть, въ то время какъ его предшественники по богатству не вѣрили ни въ ихъ истощаемость, ни въ ихъ достоинство—и потому разорялись. Но разорялись они со вкусомъ. У „буржуа" мало сметки, соображенiя, смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наслѣдственной, скупой жизни осталась. Онъ, пожалуй, и тратитъ большiя деньги, но не на то, что надобно. Поколѣнiе, прошедшее прилавкомъ, усвоило себѣ не тѣ размѣры, не тѣ планы, въ которыхъ привольно, и не можетъ отъ нихъ отстать. У нихъ все дѣлается будто на продажу, и они естественно имѣютъ въ виду какъ можно большую выгоду, барышъ и казовый конецъ. „Пропрiетеръ" инсинктивно уменьшаетъ размѣръ комнатъ и увеличиваетъ ихъ число, не зная почему, дѣлаетъ небольшiя окна, низкiе потолки, онъ пользуется каждымъ угломъ чтобъ вырвать его у жильца или у своей семьи. Уголъ этотъ ему не нуженъ, но на всякiй случай онъ его отнимаетъ у кого нибудь. Онъ съ особеннымъ удовольствiемъ устраиваетъ двѣ неудобныхъ кухни, вмѣсто одной порядочной, устраиваетъ мансарду для горничной, въ которой нельзя ни работать, ни повернуться, но за то сыро. За эту экономiю свѣта и пространства, онъ украшаетъ фасадъ, грузитъ мебелью гостинную и устраиваетъ передъ домомъ цвѣтникъ съ фонтаномъ — наказанiе дѣтямъ, нянькамъ, собакамъ и наемщикамъ.

Чего не испортило скряжничество, то доделываетъ нерасторопность ума. Наука, прорѣзывающая мутный прудъ обыденной жизни, не мѣшаясь съ нею, бросаетъ направо и налѣво свои богатства, но ихъ не умѣютъ удить мелкіе лодочники. Вся польза идетъ гуртовщикамъ и цѣдится каплями для другихъ, они мѣняютъ шаръ земной, а частная жизнь тащится возлѣ ихъ паровозовъ въ старой колымагѣ, на своихъ клячахъ... Каминъ, который бы не дымился, какая-то мечта—мнѣ одинъ женевскій хозяинъ успокоительно говорилъ: „каминъ этотъ дымитъ *только* въ бизу", т. е. именно тогда, когда всего больше надобно топить, и это какъ будто биза случайность или новое изобрѣтеніе, какъ будто она не дула до рожденія Кальвина и не будетъ дуть послѣ смерти Фази. Во всей Европѣ, не исключая ни Испаніи, ни Италіи, надобно, вступая въ зиму, писать свое завѣщаніе, какъ писали его прежде, отправляясь изъ Парижа въ Марсель, и въ половинѣ Апрѣля служить молебенъ иверской божіей матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствій, что у нихъ другаго дѣла много, я имъ прощу и дымящіеся камины и замки, которые разомъ отворяютъ дверь и кровь, и вонь въ сѣняхъ и пр.—но спрошу въ чемъ ихъ дѣло, въ чемъ ихъ высшіе интересы? Ихъ нѣтъ... они только выставляютъ ихъ для скрытія невообразимой пустоты и безсмыслія...

Въ средніе вѣка люди жили наисквернѣйшимъ образомъ и тратились на совершенно ненужныя и неидущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ — напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу, ихъ роскошь была въ благолѣпіи дома божія и дома общиннаго, и тамъ они ужъ не скупились, не жались. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворецъ, и выбиралъ не наиудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніи души отъ украшенія церквей никто не вѣритъ, отъ форума и ратуши, отъ оппозиціи и клуба, мирный гражданинъ порядка отсталъ, страсти и фанатизмы, религіи и героизмы, все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, а оно-то и не устроилось.

Для меня во всемъ этомъ есть что-то печальное, трагическое —точно этотъ міръ живетъ кой-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами и ищетъ не устроиться, а забыться. Я это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ серьезной мыслью, въ отвращеніи отъ всякаго разбора своего положенья, въ судорожной жаждѣ недосуга, внѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, „лишь-бы дѣло не шло на умъ".

Модный оттягивающій пластырь — всемірныя выставки. Пластырь и болѣзнь вмѣстѣ, какая-то перемежающаяся лихорадка съ перемѣнными центрами. Все несется, плыветъ, идетъ, летитъ, тратится, домогается, устаетъ, живетъ еще неудобнѣе, чтобъ слѣдить за *успѣхомъ* — чего? ну, такъ за успѣхомъ. Какъ будто въ три-

четыре года можетъ быть такой прогрессъ во всемъ, какъ будто при желѣзныхъ дорогахъ такая крайность возить изъ угла въ уголъ—дома, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды.

....Ну, а выставки надоѣдятъ—примутся за войну, начнутъ разсѣиваться грудами труповъ, лишь-бы не видать какую-то черную точку на небосклонѣ...

Колоколъ № 243.
15 Іюня 1867 года.

ВЫСТРѢЛЪ 6 ІЮНЯ.

Опять выстрѣлъ. Мы объ немъ распространяться не будемъ. Наше мнѣніе объ этомъ пути извѣстно, ни вопль безумныхъ крикуновъ, ни брань сильныхъ міра сего, не заставятъ насъ ни превозносить этого рода попытокъ, влекущихъ за собой страшныя бѣдствія, ни произнести слова осужденія мученикамъ, которые обрекаютъ себя на смерть и которыхъ совѣсть чиста, именно потому, что они фанатики.

Само собою разумѣется, что выстрѣлъ 6 Іюня не будетъ имѣть никакого вліянія на духъ нашего изданія. Наши убѣжденія сложились давно, и никакая случайность не можетъ ихъ погнуть ни направо, ни налѣво.

Для Россіи въ этомъ событіи великій урокъ.

Судить Березовскаго будутъ открыто, а не въ тайномъ застѣнкѣ, какъ судили Каракозова; судить его будутъ судьи, а не подобранные генералы.

Первый слѣдователь, глядя на плохой пистолетъ, замѣтилъ, что у Березовскаго по всей вѣроятности сообщниковъ нѣтъ. Къ дѣлу Каракозова примѣшали, зная ихъ невинность, сотни молодыхъ людей. Одно замѣчаніе г. Лимейрака въ „Конституціонелѣ“ о нравственномъ соотношеніи выстрѣла съ криками „да здравствуетъ Польша!“ — вызвало крикъ негодованія, не только въ либеральныхъ журналахъ, но въ династическихъ и клерикальныхъ.

Въ заключеніе обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на полицейскую продѣлку Шувалова, который спросилъ Березовскаго — не переписывался-ли онъ съ отцемъ? То есть сдѣлалъ опытъ запутать въ Польшѣ и Россіи родныхъ, знакомыхъ, ихъ родныхъ и ихъ знакомыхъ — въ дѣло, такъ явно стоящее отдѣльнымъ!

Мы совѣтуемъ очень подумать объ этомъ.

АВГУСТѢЙШІЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ.
(Статья вторая)

I
Государь въ AVENUE MARIGNY.

А гдѣ же *первая?* Въ первомъ листѣ *Колокола*, она напечатана

ровно *десять лѣтъ* тому назадъ по случаю путешествія „вдовствующей императрицы-родительницы". Черезъ десять лѣтъ намъ приходится сказать нѣсколько словъ о путешествіи ужъ конечно "не вдовствующаго" императора. Тутъ что-то мистическое, вообще между нами и великимъ путешественникомъ есть таинственныя соотношенія, о которыхъ мы непремѣнно посовѣтуемся съ Юмомъ. Мы вмѣстѣ были въ Вяткѣ въ 1837 году, и онъ, пріѣхавши въ Парижъ, остановился въ той же улицѣ, въ которой останавливались мы въ 1847, такъ что государь могъ бы написать *послѣднее* „письмо изъ Avenue Marigny" въ *Современникъ*, еслибъ Валуевъ не запретилъ его.

Но къ дѣлу. Начало путешествія или, какъ русскіе газетные надзиратели выражаются, "высочайшаго прослѣдованія" вамъ извѣстны, *а цѣль?*

— Нѣтъ! а интересно бы знать?

— Очень.

— Ну, а какъ ее вовсе нѣтъ?

Вопервыхъ, мы рѣшительно не вѣримъ, чтобъ государь пріѣхалъ въ Парижъ *за дѣломъ*. За дѣломъ теперь никто не ѣздитъ, министрами и перепиской, графами и телеграфами можно покончить не только всякое дѣло, но всякое бездѣлье. Александру Николаевичу захотѣлось погулять, Наполеону показать такую pièce de résistence, какъ Le Tzar, вотъ, молъ, «какихъ подымаемъ»... А съ Турціей что будетъ, то будетъ, ей къ фатализму не привыкать стать.

Вовторыхъ... мы находимъ первую причину достаточной. а по Лейбницу, гдѣ есть достаточная причина, тамъ другихъ искать не надобно.

Александръ Николаевичъ сослужилъ Наполеону службу, а самъ душу отвелъ отъ петербургской скуки. Византійски-дармштадская набожность дошла до удушающихъ размѣровъ въ Зимнемъ дворцѣ, а тутъ вмѣсто развлеченія австрійскіе и турецкіе славяне, съ которыми надобно говорить *понѣмецки*, чтобъ понять ихъ русскія чувства и ихъ бесѣды съ православными постницами ея величества. Какой тамъ благочестивѣйшій самодержецъ ни будь, столько благочестія не вынесешь. Жить невозможно.

Напрасно французы сердятся, что государь не привезъ съ собой преподобную императрицу, это большое счастіе и большой тактъ. Пусть она молится о его здоровіи и сохраненіи отъ всѣхъ козней и недуговъ Франціи — а онъ немного вздохнетъ на свободѣ. Его дѣло мужское... и точно, времени онъ не пропустилъ ни секунды. Изъ Агрипининой Колоніи безпокоится, телеграфируетъ, чтобъ Будбергъ бѣжалъ въ кассу Variétée и взялъ бы ложу. Шнейдершу захотѣлось посмотрѣть въ дюшессѣ Герольдштатской. Что же тутъ такого? Вещь она не новая, но хорошая, т. е. M-lle Schneider. Ей лѣтъ сорокъ, а что говорилъ его величество король англійскій Георгъ IV, большой знатокъ по этой части, о трехъ f.—вы думаете—фантазія, физіономія, фигура.... нѣтъ, про-

сто fat, fair, forty. И такъ, пріѣхавши въ 4½ часа въ Парижъ, мы перемѣнили бѣлье, и въ 8 въ Variétée.

Государю по справедливости хотѣлось по образуподобію покойнаго Александра Павловича въѣздъ въ Парижъ сдѣлать верхомъ. Послѣднюю станцію онъ кажется уже сидѣлъ на конѣ. Но ему объяснили, что этого нельзя, потому что Александръ I взялъ Парижъ войсками, а теперь Парижъ беретъ Александра II любезностями — слѣдственно Парижу слѣдовало бы ѣхать на встрѣчу верхомъ, но размѣры не позволяютъ. Дѣлать нечего, спѣшился императоръ, а тутъ закрытая карета, да маршъ-маршемъ въ Avenue Marigny.

Надобно же было развлечься, вотъ M-lle Schneider и пригодилась. Изъ театра пѣшкомъ домой. На другой день на выставку — тутъ русскія лошади свидѣтельствуютъ до какого совершенства ихъ родители довели свое ремесло, и русскіе камни говорятъ въ пользу геологическихъ переворотовъ, сдѣлавшихся въ земляхъ, находившихся подъ удѣльнымъ управленіемъ и министерствомъ государственныхъ имуществъ. Изъ конюшни государь завелъ Наполеона въ трактиръ закусить*), кушанье все было русское, даже шампанское, говорятъ, нарочно привозили изъ Тверской губерніи.

Вѣдь это для насъ съ вами ничего... а вы взойдите въ положеніе человѣка—отецъ былъ нравный, сына лѣтъ до тридцати держалъ въ ежовыхъ рукахъ, а послѣ утомительная скука величія, жизнь-священодѣйствіе... затѣмъ святая жена, Адлербергъ... медвѣдь, медвѣдь... Адлербергъ, завести земскую управу... прогнать земскую управу—тутъ и Барановъ не поможетъ. Къ тому-же безпрестанно надобно разить враговъ престолотечества и—у себя въ собственномъ домѣ встрѣчать людей подозрительныхъ по своимъ связямъ съ полиціей, какъ Шуваловъ... а вмѣсто десерта—шептанья монастырокъ ея величества, толкующихъ о Кирилѣ, Меѳодіи и сынѣ ихъ Погодинѣ... что хотите говорите, все же лучше смотрѣть какъ пляшетъ вышедшая изъ ребячества Шнейдеръ и какъ поетъ вышедшая изъ голоса Тереза, все же лучше идти съ хорошимъ человѣкомъ въ трактиръ къ Корещенкѣ... или наконецъ одному въ Jardin Mabile.

Представьте папу — говорятъ, что онъ везетъ на выставку съ Антонелли свое изобрѣтеніе «безгрѣшнаго зачатія» — представьте его проповѣдующаго въ Jardin Mabile l'immaculée conception. Для него зрѣлище Mabil'я показалось бы разверстымъ небомъ. Или, если ваше православіе отказывается слѣдить за главою римской церкви, представьте что́ было бы съ Филаретомъ, еслибъ онъ увидѣлъ лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ «канканоплясанье женъ мабилійскихъ въ вертоградѣ ихъ»?

Не будемъ строги къ строгимъ міра сего!

Кстати къ строгостямъ: поляки по большей части выѣхали изъ Парижа, Чарторижскій en tête, одинъ изъ нихъ даже удалился вертикально, поднявшись въ воздушномъ шарѣ. Это намъ подало

*) О Корещенкѣ и Мабилѣ мы прочли въ Journal de Genève.

прекрасную мысль начать въ Сибири агитацію, пусть всѣ отъ мала до велика, отъ Мулы до Шамана, отъ Вотяка до Остяка, всѣ зовутъ государя осчастливить Сибирь посѣщеніемъ. Можетъ, для его пріѣзда начальство велитъ всѣмъ *полякамъ выѣхать оттуда.*

II

A LA PORTE.

Въ мирныя времена, предшествовавшія 1848 году, Николай Павловичъ, любившій обтекать разныя страны и дивить своей таліей, лосиными панталонами и славно вычищенными ботфортами нѣмцевъ—былъ онъ однажды въ Вѣнѣ. Тогда еще царствовалъ въ Австріи не нынѣшній государь, такъ удачно начавшій счастливое правленіе свое тѣмъ, что перевѣшалъ военно-плѣнныхъ генераловъ, сдавшихся Паскевичу, а глупенькій, больной и юродивый предшественникъ его. Былъ парадъ. Когда куда пріѣзжалъ Николай, менѣе пятидесяти тысячъ человѣкъ не сгонялось. Идетъ полкъ за полкомъ, идетъ наконецъ и Кейзеръ Николая полкъ: австрійскій императоръ дремалъ на огромной сѣрой лошади, отвѣсивъ еще больше свою габсбургскую губу, — вдругъ шумъ—увидѣвши свой полкъ, Николай, со свойственной ему храбростью, сталъ передъ нимъ, принялъ рапортъ, провелъ молодцомъ солдатиковъ и понесся во весь карьеръ доложить императору, что все обстоитъ благополучно. Въ Австріи все дѣлается тихо и во весь карьеръ ѣздятъ шагомъ. Дремавшій Фердинандъ открылъ глаза и обомлѣлъ: на него лѣтитъ Николай „съ видомъ сумрачнымъ и строгимъ", съ обнаженной саблей—ближе, ближе. Фердинандъ повернулъ свою лошадь, въ первый разъ далъ ей шпоры, да тягу. Николай, блѣдный съ досады, за нимъ — тотъ отъ него вдоль по вѣнскимъ улицамъ. „Bruder", кричитъ ему, „не бось, treüe Schwesterliebe wiedmet dir mein Herz." Наконецъ гдѣ-то перехватили Фердинанда — но на парадъ онъ не поѣхалъ, а воротился во дворецъ и легъ въ постель.

О Азаисъ, о Азаисъ съ твоими „компенсаціями"! Кому могло придти въ голову, что черезъ двадцать пять лѣтъ сынъ покойнаго Николая Павловича сыграетъ такую же сцену на болѣе мирномъ поприщѣ, и именно въ Palais de Justice, во дворцѣ *возмездій.* Государь пріѣхалъ въ судъ не по дѣлу, а взглянуть все-ли въ порядкѣ. Какіе-то адвокаты прокричали Vive la Pologne! Сдѣлали они это скорѣе какъ комплиментъ, зная, что во всѣхъ манифестахъ и разныхъ указахъ — государь говоритъ о своей любви къ Польшѣ и о своихъ истинно-родительскихъ попеченіяхъ объ ней. Крикъ этотъ не понравился сторожамъ-блюстителямъ благочинія, и они закричали: à la porte! на друзей Польши. Государь, воображая, что à la porte! кричатъ на него, и вспомнивъ вѣроятно, что и онъ другъ Польши,—повернулъ оглобли и назадъ—со всей свитой... Разные старики, парики, каратели заблужденій человѣческихъ, Шесдестанжи, Тролонги—ждутъ, ждутъ, а ужъ государь катитъ въ другое мѣсто, гдѣ также будутъ кричать: Vive la Polo-

gne! Онъ можетъ, впрочемъ, доѣхать отъ Портъ-Сенъ-Мартенъ до Отоманской Порты—этотъ анекдотъ его сдѣлаетъ *незабвеннымъ* въ Парижѣ.

Отдѣлался бы онъ поскорѣй отъ Польши, да и гулялъ бы себѣ спокойно по выставкамъ. Только не такими шутками, какъ Вержболовская таможенная амнистія. Впрочемъ когда же было обдумать что-нибудь дѣльное, пока чемоданы осматриваютъ. Злые языки говорятъ, что это не амнистія — а виза паспорта въ Парижъ. Такъ ее французы и поняли.

P. S. Журналы отъ 12-го разсказываютъ, что по дорогѣ изъ Версаля опять кричали при проѣздѣ Александра II съ Наполеономъ „да здравствуетъ Польша!"—Наполеонъ сказалъ „они неисправимы", — государь отвѣчалъ „лучшее доказательство, что ихъ надо оставить". И потомъ попросилъ (что ему дѣлаетъ величайшую честь), чтобъ выпустили арестованныхъ за этотъ крикъ. Въ Россіи и Сибири тысячи поляковъ, даже не кричавшихъ, а только думавшихъ „да здравствуетъ Польша!" Мы полагаемъ, что и ихъ всѣхъ освободятъ, мнѣніе государя не можетъ мѣняться съ градусами широты и долготы.

Колоколъ №№ 244—245.
1 Іюля 1867 года.

1857—1867.

Перваго Іюля 1857 г. вышелъ *первый* „Колоколъ" въ Лондонѣ. Сегоднишнимъ числомъ заключается наше десятилѣтіе.

Десять лѣтъ! Мы ихъ выдержали, и главное, выдержали *пять послѣднихъ*, они были тяжелы.

Теперь мы хотимъ перевести духъ, отереть потъ, собрать свѣжія силы и, для этого пріостановиться на *полгода*. Слѣдующій листъ „Колокола" выйдетъ 1 Января 1868, имъ мы начнемъ *второе десятилѣтіе*.

Мы хотимъ еще разъ спокойно, безъ развлеченій срочной работой, вглядѣться въ то, что дѣлается дома, куда волна идетъ, куда вѣтеръ тянетъ, мы хотимъ провѣрить въ чемъ мы были правы и гдѣ ошибались.

Мы слишкомъ часто оглядывались, особенно въ послѣднее время, чтобъ нужно было снова повторять нашъ символъ вѣры и основы того взгляда, который мы проводили въ „Колоколѣ", они были неизмѣнны, по крайней мѣрѣ оффиціальные *враги наши* въ этомъ не сомнѣвались. „Колоколъ" былъ и будетъ, прежде всего, органомъ *русскаго соціализма* и *его развитія*, соціализма аграрнаго, артельнаго, сельскаго и городскаго, государственнаго и областнаго.

Соціальному развитію Россіи для насъ подчинено все, формы и лица, колебанія и ошибки—но такъ какъ оно невозможно безъ свободнаго слова и свободнаго схода, безъ общаго обсуживанія и

совѣта, то мы звали и будемъ звать всѣми силами собраніе *Земскаго Собора*. Въ немъ мы видимъ не больше какъ ворота, но ворота отворенныя, и это очень важно—до сихъ поръ русское развитіе пробирается тайкомъ черезъ заборъ, пока сторожа не смотрятъ или спятъ...

Все остальное грязь и пыль на дорогѣ, бревна и камни подъ колесами; все остальное можно-бы оставить въ тѣни, на собственное разложеніе, еслибъ отъ этихъ бревенъ и камней не гибли лучшія личности, еслибъ въ этой топи не тонули неустрашимые сѣятели „заутра", вышедшіе на работу. А по этому рядомъ съ „общею частью" снова пойдетъ отдѣлъ обличеній.

Пауза наша имѣетъ для насъ еще то значеніе, что она насъ поставитъ въ возможность вымѣрять на сколько великъ или слабъ, живъ или мертвъ интересъ къ изданію „Колокола", и на сколько замѣтятъ его временное отсутствіе.... Впрочемъ къ концу года мы намѣрены еще разъ напомнить о себѣ и издать, *если удастся* — рядъ новыхъ статей разнаго содержанія въ особой книжкѣ подъ заглавіемъ „*Сборникъ Колокола*". При немъ будетъ и программа нашего журнала на 1868.

Можетъ къ нашему возвращенію на сцену или во время нашего домоваго отпуска попробуютъ свои силы — новые, больше юные и свѣжіе борцы. Пора молодымъ талантамъ сломить свою печать молчанія. Условія, сдѣланныя въ Россіи безцензурному книгопечатанію безобразны, лучшіе журналы пришиблены, лучшія газеты подъ безпрерывнымъ ударомъ предостереженій и остановокъ. Отъ чего-же такъ мало печатаютъ за границей? Наша типографія и нѣсколько другихъ предлагаютъ легкую возможность. Мы съ радостью будемъ привѣтствовать всякій русскій органъ. Намъ тѣсно не будетъ, свѣтъ не клиномъ сошелся.

А. Герценъ. Н. Огаревъ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ М. БАКУНИНУ.

.... Не странное-ли дѣло, что на всѣхъ славянскихъ сходкахъ и пирахъ, на всѣхъ поминкахъ и торжествахъ *одно имя* забыто — имя того русскаго, который двадцать лѣтъ тому назадъ громогласно и всенародно, въ Прагѣ, съ тѣми-же Палацкими и Ригерами, проповѣдывалъ братскій союзъ Славянъ, чуть не сложилъ свою голову подъ нѣмецкимъ топоромъ и пошелъ въ цѣпяхъ на „вѣчную" тюрьму изъ Грачина въ Петербургъ?... Человѣкъ этотъ, вырвавшись черезъ годы и годы изъ тюрьмы и оковъ, снова принялся съ тою-же вѣрой и любовью за свою общеславянскую проповѣдь, и только *его*-то имя не было произнесено? Твое, опальное имя, Бакунинъ, отсутствуетъ на первомъ общеславянскомъ соборѣ.

Я знаю, что ты всего меньше заботишься объ этомъ, тѣмъ больше, что торжество это идетъ не твоими путями, но это не

мѣшаетъ твоимъ друзьямъ не только заботиться объ этомъ, но и говорить... *Тебѣ* вмѣнили тогда въ преступленіе не только въ Вѣнѣ, но и въ Петербургѣ, то, что восхваляютъ теперь въ твоихъ товарищахъ 1848 года. Какъ будто вы стояли не на одномъ и томъ-же полѣ, какъ будто пушки Виндишгреца не такъ-же были направлены на тебя, какъ на нихъ?

Заброшенный бурями, куда-то за Прочиду, ты мнѣ напоминаешь сочинителя драмъ, сидящаго въ убогомъ углу своемъ — въ то время какъ гдѣ-нибудь на помостѣ, освѣщенномъ яркими огнями, въ золотѣ и бархатѣ актеры говорятъ *его слова*, и тысячи рукоплещутъ имъ, не думая вовсе объ авторѣ.

Такова судьба „раннихъ сѣятелей", минутами это больно, досадно.... э въ сущности пусть выстраданное ими легко достается другимъ! Развѣ они не были съ лихвой награждены и внутреннимъ сознаніемъ и утренней зарей новаго дня, которую они первые видѣли. Никто не говорилъ, что тѣ, кто сѣяли, тѣ будутъ жать.... Вотъ было бы горе, еслибъ сѣявшіе не дождались всходовъ... а они-то и колышатся и волнуются, перемѣшанные съ лебедой, передъ нашими глазами.

Остальное не важно.

Къ тому-же, ты знаешь, что на десять путешественниковъ бывшихъ въ Palazzo Ducale въ Венеціи, девять помнятъ одинъ портретъ изъ всего ряда Дожей—это портретъ Марино Фальеро, *потому что его нѣтъ*, и вмѣсто его бросается въ глаза пустая рама, въ которой написанъ *приговоръ*. Тебя *хотѣли забыть*, а хотѣть забыть *и* помнить это одно и то-же.

Кстати о памяти.... помнишь наши долгіе разговоры передъ февральской революціей, въ которыхъ я, какъ прозекторъ, указывалъ ростъ смерти западнаго „старика", а ты съ надеждой и упованіемъ ростъ едва обличившейся жизни славянскаго недоросля. Я и въ него не очень вѣрилъ, *а вѣрилъ въ одну Россію и ея соціальные зачатки*. Мы спорили, надъ нами смѣялись. Въ нашемъ спорѣ были общія стороны, онѣ-то стали теперь общими мѣстами полуоффиціальныхъ сходокъ и полуоффиціальныхъ газетъ въ Россіи.

Я не могу удержаться отъ улыбки, читая наши стародавнія мысли, разбавленныя водой изъ Фонтанки и изъ Патріаршихъ прудовъ, повторяемыя на тысячи ладовъ на московскихъ пирахъ, на петербургскихъ обѣдахъ, на сходахъ и конференціяхъ, въ передовыхъ статьяхъ журналовъ и въ рѣчахъ злѣйшихъ враговъ нашихъ. Иногда, какъ Тарасъ Бульба, я ихъ не тотчасъ узнаю, всѣ онѣ прошли богословіемъ и одѣлись въ стихари, натерлись постнымъ масломъ и пропахли ладономъ; самыя свѣтскія изъ нихъ въ мундирныхъ фракахъ разныхъ вѣдомствъ. Согласись, Бакунинъ, что, по мимо великой ироніи, есть глубокое наслажденіе въ этомъ карнавальномъ зрѣлищѣ чиновничьяго обсуживанія вопросовъ о Западѣ и Востокѣ и православно-революціонной пропаганды, имѣющей цѣлью поднять Славянъ съ хоругвью Кирила

и Меѳодія.... Вотъ какую кору пробило семя... и нечего сердиться, что на росткахъ осталась грязь. Природа и исторія не отличаются особенной чистоплотностью, онѣ словно любятъ грязными руками дѣлать чистую работу.... а дѣло-то просто въ томъ, что чистыхъ силъ слишкомъ мало подъ руками... онѣ и хватаются за все, не разбирая, лишь-бы вышло на свѣтъ *то, что на свѣтъ проситься.* Старый Гегелистъ, ты не забылъ о его нѣмецкой Bedenklichkeit на счетъ безцеремоннаго соединенія очень противоположныхъ жизненныхъ отправленій въ одномъ и томъ-же органѣ.

Не мытьемъ, такъ катаньемъ, лишь-бы дѣло шло.

А дѣло идетъ.

Что и доказать надлежало.

БЕРЕЗОВСКІЙ.

Изъ всѣхъ подробностей, напечатанныхъ въ разныхъ журналахъ, ясно подтверждается то, что всѣ *трезвые* люди говорили съ самаго начала. Березовскій *стоитъ одинъ,* какъ стоялъ Каракозовъ—юноша, фанатикъ, личность въ родѣ Карла Занда, Алибо.... Кроткій и тихій нравомъ, онъ отличался еще въ школѣ припадками упрямства; задумчивый и скромный, онъ никогда не принималъ участія ни въ разсѣяніяхъ своихъ товарищей, ни въ ихъ сходкахъ, онъ держалъ себя въ Парижѣ поодаль—вѣроятно уважая въ себѣ оружіе провиденія, и храня его чистоту. Мистическое направленіе ясно изъ его отвѣтовъ. Месть-ли за родину или за своихъ—двинула этого человѣка, кто разберетъ? Понятно одно, что такой человѣкъ, попавши на такую мысль, остановиться не могъ. Разные журналы и въ томъ числѣ Indépendance (№ 163), говорятъ что: «его братъ былъ повѣшенъ, отецъ сосланъ, сестра погибла» — можетъ, но этого вовсе не нужно было, чтобы поднять фанатическаго мстителя за свою страну.

Когда это люди начнутъ смотрѣть спокойно и съ достоинствомъ на эти кровавыя *слѣдствія* политическаго неустройства, на эти страшные отвѣты праву сильнаго—всегда идущаго отъ груды труповъ, отъ ручьевъ крови, оставляющаго за собой глубокія раны, смертныя обиды? Чего тутъ хвалить, чего тутъ порицать? Думать надобно о тѣхъ непреодолимыхъ темныхъ силахъ, которыя скребутъ на сердцѣ и будятъ женщину середь сладострастія, цвѣтовъ и опрокинутыхъ чашъ—для того, чтобъ она схватила мечь и отрубила голову Олоферну. Эти самозванные исполнители судебъ внѣ суда и осужденія. Ихъ можно убивать, если сила въ рукахъ, или канонизировать, если сила очутится въ ихъ рукахъ. Они не поймутъ ни того, ни другаго. Оправданіе ихъ лежитъ въ совокупности безобразныхъ обстоятельствъ; наказаніе въ неуспѣхѣ — остальное немного прибавитъ.

Мы не думаемъ, чтобъ Березовскаго казнили. Вѣроятно государь сдѣлаетъ *парадъ* заступничества.... котораго онъ не сдѣлалъ

дома во время Каракозова; но еслибъ его и ждалъ ножъ гильотины.... пусть общество обороняется какъ знаетъ, какъ степень его судебнаго смысла развита, но не будемъ толковать о справедливости, о вмѣненія. Аршины не тѣ.

Знаменитый Георгъ Форстеръ, писалъ своей женѣ во времена пущаго террора девяностыхъ годовъ: „Не все здѣсь идетъ красиво, но революція ураганъ, который уноситъ людей и народы далеко за предѣлы обыденной жизни, и тутъ ихъ поступки нельзя судить по законамъ исправительной полиціи".

Дѣйствительно, есть мгновенія въ жизни народовъ, въ которыя весь нравственный бытъ поколебленъ, всѣ нервы подняты и жизнь человѣку такъ мало стоитъ.... *своя жизнь*.... что онъ дѣлается убійцей.

„Въ Іюлѣ 1792, разсказываетъ M-me Roland, поведеніе двора было очень подозрительно и всѣ разсуждали о томъ, какъ-бы предупредить его намѣренія. Шабо говорилъ, что прекрасно-бы было еслибъ дворъ вздумалъ посягнуть на жизнь какихъ-нибудь представителей-патріотовъ, что это подниметъ народъ и прочее. Гранжневъ не сказалъ ни слова въ присутствіи другихъ, но на единѣ онъ сообщилъ ему — что онъ былъ пораженъ правдой его разсужденій, но, говорилъ онъ, дворъ слишкомъ хитеръ, чтобы дать намъ въ руки такой поводъ, надобно помочь дѣлу: найдите людей, которые взялись-бы за исполненіе, *я обрѣкаю себя*". — Какъ вы? — „Безъ сомнѣнія, тутъ нѣтъ ничего особеннаго, жизнь моя не имѣетъ никакой важности, и я съ наслажденіемъ пожертвую ею. — Другъ мой, вы не будете одни, замѣтилъ восторженно Шабо—я хочу раздѣлить эту славу съ вами!—Какъ угодно, *одного* довольно, но *двое* лучше; только славы никакой не будетъ. Вѣдь нашего рѣшенія никто не долженъ знать. Приготовимъ-же средства".

„Нѣсколько дней спустя, Шабо сообщилъ Гранжневу, что у него все готово и что онъ нашелъ людей".—„Ну такъ назначимъ время: мы пойдемъ завтра вечеромъ въ комитетъ — я выйду въ десять съ половиной, надобно пройти такой-то глухой улицей, тамъ приготовьте вашихъ людей.—Смотрите, говоритъ Гранжневъ, распорядитесь, *чтобъ люди били насъ на повалъ*, я вовсе не хочу быть изуродованнымъ". „Въ назначенный часъ Гранжневъ явился. Шабо не было. Гранжневъ думалъ, что онъ перемѣнилъ намѣреніе, и сталъ тихимъ шагомъ прогуливаться взадъ и впередъ по глухому переулку.... никакихъ убійцъ нѣтъ. Онъ ходилъ, ходилъ, да и пошелъ домой".*)

Можно-ли этихъ людей судить судами и наказывать по кодексу?

Въ русскихъ газетахъ выстрѣлъ Березовскаго сдѣлалъ мало шума, усталь отъ 4-го Апрѣля сказалась, два раза нельзя поднимать *такое горе;* тѣмъ не меньше общій тонъ необыкновенно

*) Memoires de M-me Roland, Bibliothèque Nationale t. I, pag. 183—84.

подлъ - не подобострастіемъ, къ которому привыкли народы, считающіе себя „необыкновеннымъ народомъ и своего царя необыкновеннымъ царемъ“ (какъ выражается *Голосъ*), — а ярымъ полицейскимъ бѣшенствомъ, съ которымъ ищутъ сообщничества и хотятъ замѣшать въ дѣло Березовскаго — Польшу, революцію, Европу, шаръ земной и, главное, своихъ журнальныхъ враговъ. *Голосъ* превзошелъ *Московскія Вѣдомости*.

Катковъ долженъ быть счастливъ, онъ создалъ школу, онъ заразилъ цѣлое поколѣніе фискаломаніей и полицейскимъ тикомъ.

Колоколъ. Прибавочный листъ къ первому десятилѣтію.
1 Августа 1867 года.

СУДЪ ВЪ ПАРИЖѢ И УБІЙСТВО ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Какая разница между простымъ судопроизводствомъ по дѣлу *Березовскаго* и дикимъ ниспроверженіемъ всѣхъ понятій суда и справедливости въ дѣлѣ *Каракозова!*

Становится тяжело и стыдно, не за судей, судей у Каракозова не было—не за судъ, *мы его не знаемъ*, онъ былъ сдѣланъ воровски, втихомолку, не за правительство, составленное изъ невѣждъ и интригантовъ, изъ холопей въ барствѣ, изъ нѣмцевъ въ панславизмѣ, изъ бюрократовъ безъ совѣсти и генераловъ безъ смысла — становится тяжело за насъ рабовъ, и стыдно за распутную журналистику, за чудовищное общественное мнѣніе, которое послѣ 4 Апрѣля навело тупоумный испугъ правительства на преступленіе муравьевской комиссіи, и послѣ 6 Іюня сдѣлало безсильный, но подлый опытъ замѣшать въ дѣло людей, не участвовавшихъ въ покушеніи Березовскаго... Мы не можемъ вспомнить безъ омерзѣнія гнусныя статьи *Голоса*... Какой урокъ дали французскіе судьи нашимъ наушникамъ негодяямъ!

Свободной Россіи мы не увидимъ. Весь нашъ трудъ въ ломкѣ прецятствій и расчищеніи мѣста. Мы умремъ въ сѣняхъ и это не оттого, что при входѣ въ хоромы стоятъ жандармы, а оттого что въ нашихъ жилахъ бродитъ кровь нашихъ прадѣдовъ—сѣченныхъ кнутомъ и битыхъ батогами, доносчиковъ Петра и Бирона, нашихъ дѣдовъ-палачей, въ родѣ Аракчеева и Магницкаго, нашихъ отцовъ, *судившихъ* декабристовъ, *судившихъ* Польшу, служившихъ въ III отдѣленіи, забивавшихъ въ гробъ солдатъ, засѣкавшихъ въ могилу крестьянъ*). Отъ того, что въ жилахъ нашихъ *лидеровъ*, нашихъ журнальныхъ запѣвалъ догниваетъ такая же гадкая кровь, благопріобрѣтенная ихъ отцами въ переднихъ, съѣзжихъ и канцеляріяхъ...

---

*) Недавно въ *Голосѣ* были образцы помѣщичьихъ злодѣйствъ (о которыхъ *Вѣсть* отзывается такъ снисходительно). Пятнадцать лѣтъ, десять лѣтъ тому назадъ умирали женщины, прикованныя къ стѣнѣ, мужики вѣшались за палецъ, а неповѣшенные преступники, дѣлавшіе это—живы, ѣздятъ въ гости, имѣютъ *добродѣтели*...

Въ каждомъ изъ насъ есть атомъ Аракчеева, есть капля Муравьева.

Гдѣ же намъ понять *судъ* въ политическомъ дѣлѣ?

Гдѣ же правительству понять необходимость амнистіи послѣ всѣхъ черныхъ дѣлъ, совершенныхъ безсмысленно?

— Въ 75 листѣ *Москвы* напечатато, что „Zukunft" и другія австрійскія газеты, извѣстивъ своихъ читателей о *прекращеніи Колокола*, прибавляютъ: „будто-бы *Герцену* русское правительство обѣщаетъ свободное возвращеніе въ Россію".

Колоколъ не прекращается, правительство не обѣщало, я не возвращаюсь, и намъ остается еще разъ высказать наше удивленіе охотѣ перепечатывать всякіи вздоръ, да еще откуда—изъ австрійскихъ газетъ.

Можемъ-ли мы, при *теперешнихъ обстоятельствахъ*, возвратиться въ Россію, не сдѣлавшись измѣнниками своего собственнаго дѣла? Въ чемъ-же мы показали, что у насъ есть наклонность къ ренегатству?

Мы страстно желаемъ возвратиться въ Россію... но ужъ конечно не по милости Шувалова, не по ходатайству Валуева и не по благословенію Толстого.

Kolokol № 1.
1er Janvier 1868.

Le *Kolokol* paraitra le 1er Janvier 1868 en français. En changeant de langue, notre feuille reste la même quant à l'esprit et au but. C'est la continuation de la feuille russe qui a paru durant *dix années* de suite, depuis 1857, à Londres et ensuite à Genève; nos lecteurs etrangers ont pu la connaitre par l'édition française de Bruxelles (1863—1865).

Si nos principes restent invariables, le changement de langue nous oblige à un changement radical dans l'économie intérieure. Parlant aux Russes exclusivement — amis ou ennemis — nous avions le droit de supposer qu'ils connaissent plus ou moins la Russie actuelle. En nous adressant maintenant, non-seulement à nos compatriotes, mais aux étrangers, nous avons encore plus le droit de supposer que — amis ou ennemis — ils connaissent peu la Russie.

C'est surtout la grande confusion des notions sur notre pays qui nous a déterminés à faire notre publication en une langue qui n'est pas la nôtre. Il nous semble qu'il est temps qu'on nous con-

naisse avant que s'engage une lutte possible, que l'on provoque et qui entravera toute impartialité et arrêtera toute étude.

Pour bien poser les questions, pour ne pas être dans la nécessité de rappeler, à propos de chaque fait isolé, les origines et les éléments; pour avoir enfin une base de données, sur laquelle nous puissions nous appuyer, nous nous nous sommes décidés à commencer par une récapitulation de tout ce que nous avons écrit sur la Russie. Une fois la situation réelle, actuelle du pays exposée, nous suivrons les événements dans leur développement.

Le *Kolokol* paraîtra le 1er et le 15 de chaque mois. Chaque numéro sera de deux feuilles et aura un supplément en langue russe, en cas de besoin.

Alexandre Herzen.
Nicolas Ogareff.

PROLÉGOMÈNES

I.

Nous n'avons rien de nouveau à dire — une partie des essais que nous avons l'intention de publier est connue; dans les autres on ne trouvera que la récapitulation et le développement de ce que nous avons dit et répété depuis au moins vingt ans.

Quelle est donc la raison de notre apparition?

L'étonnante persistance de ne voir dans la Russie que son côté négatif et d'envelopper dans les mêmes injures et anathèmes progrès et réaction, avenir et présent, détritus et germes.

Seuls publicistes russes en Occident, nous ne voulons pas prendre sur nous la responsabilité du silence.

Le spectre russe, exploité après 1848 par Donoso Cortès en faveur du catholicisme, apparait avec une nouvelle vigueur dans le camp opposé. On est prêt à voiler encore une fois les « droits de l'homme », que l'on a oubliés, et à suspendre la liberté que l'on n'a plus, pour veiller au « Salut de la civilisation » menacée et — refouler ces Attilas en herbe et ces Alarics futurs, au delà du Volga et de l'Oural. Le danger est si grand qu'on a hasardé de proposer à l'Autriche de donner la main qui lui reste—à la Prusse, qui a amputé l'autre.... que l'on a conseillé à tous les Etats d'entrer dans une sainte ligue d'un despotisme militaire contre l'empire des Tsars. On écrit des livres, des articles, des brochures en français, allemand, anglais; on prononce des discours, on fourbit les armes... et la seule chose que l'on omet, c'est *l'étude*

sérieuse de la Russie. On se borne au zèle, à la ferveur, à l'élévation des sentiments. On croit que, si l'on plaint la Pologne — on connait la Russie.

Cet état de choses peut amener des conséquences graves, de grandes fautes, de grands malheurs, sans parler du malheur très-réel d'être dans une grande erreur.

Il y a peu de spectacles plus tristes et plus navrants que celui d'une obstination sénile, qui se détourne de la vérité — par une fatigue d'esprit, par une crainte de troubler un parti pris. Gœthe a remarqué que les vieux savants perdent avec les années l'instinct de la réalité, le talent d'observation et n'aiment pas à remonter aux bases de leur théorie. Ils se sont formés des idées arrêtées, ils ont tranché la question et ne veulent pas y revenir.

Nous disions il y a dix ans (*) : « Il est difficile de s'imaginer jusqu'à quel point le cercle dans lequel se meut et se débat la généralité des hommes en Occident, est hermétiquement clos. Un fait nouveau les trouble, une pensée qui n'a pas de cadre, de rubrique, les alarme. La grande partie des journaliers de la publicité ont en réserve une provision de généralités, de générosité, d'indignation, d'enthousiasme et d'adjectifs qu'ils appliquent à tous les événements. On les change un peu, on les façonne, on les illumine de couleur locale, et tout est en ordre.... Les *patrons* facilitent extrêmement le travail, et sans l'intervention d'un fait rebelle, la roue va son train; aussi avec quelle colère mal cachée on rencontre ces intrus, comme on tâche de ne pas les apercevoir, de leur montrer la porte ; et s'ils ne s'en vont pas—de les calomnier... »

Depuis 1848 nous avons prêché—que, au-dessous de la Russie militaire et despotique, conquérante et agressive — sauvant l'Autriche et aidant la réaction—il y a une Russie en germination, que des courants souterrains soufflent un air—tout autre que celui du Pétersbourg officiel.

Le monde se livrait au désespoir, mais il resta inattentif à cette consolation.

Ce qui paraissait paradoxal, avant la guerre de Crimée, est devenu, bientôt après, un fait évident, irrécusable. Le « Great Eastern » du Nord se détachait de ses glaces, prenait le large—et se heurtait contre l'insurrection de la Pologne.

Les Polonais ont voulu réparer la faute de leur inaction pendant la guerre de Crimée — trop hâtivement et dans des circonstances peu favorables. Ils étaient malheureux dans leur mésalliance ; le

(*) *La Russie et le vieux monde.* Ed. russe pub. à Londres, 1858.

gouvernement russe, dur, insolent même dans les concessions. Leur impatience héroïque se conçoit. Voyant avec tristesse que le mouvement ne pouvait être différé, nous leur dîmes, la veille de leur insurrection (*) : « Frères, détachez-vous de la Russie, soyez indépendants, allez avec l'Occident, vous en avez tous les droits ; —mais en rompant avec la Russie—tâchez donc de la connaître. » A cela, pas de réponse. Et il faut ajouter qu'il n'y a pas un peuple voisin qui connaisse moins la Russie que la Pologne (**). En Occident on ne connaît pas la Russie tout de bon. Les Polonais l'ignorent avec *préméditation*. Que de malheurs auraient été évités, si les Polonais n'eussent eu peur de trouver quelque chose de bon dans leur ennemi. Ils disaient bien en 1831 : « Pour votre liberté et la nôtre ! » Mais quelle est la liberté vers laquelle nous aspirons ? Est-ce la même ?... Les Polonais confondent bien souvent la liberté avec l'indépendance politique. Nous l'avons, et c'est notre dernier souci ; nous ne pouvons la perdre..

La lutte s'engage. La Pologne donne son sang, l'Europe ses articles de journaux. Tristes et pleins de noirs pressentiments, nous étions les premiers Russes à saluer « ceux qui allaient à la mort ». Les Polonais ne représentaient pas pour nous *le nouveau principe et l'avenir*—mais ils représentaient *le droit, l'histoire ;*— *la justice* était de leur côté.

Ce n'est pas non plus avec une aspiration vers un idéal qu'ils se mirent en marche—ils voulaient revendiquer, rétablir, ressusciter. C'est précisément là que gît notre différence. Nous avons beau regarder autour de nous—nous n'avons rien à revendiquer, à exhumer, nous n'avons qu'à déblayer le champ pour nos aptitudes et nos tendances. Pourtant nous étions cœur et âme avec les Polonais, et nous n'avions qu'une angoisse : nous appréhendions que leur insurrection n'entravât notre marche, sans atteindre le but. Nos prévisions se réalisèrent, et le hideux Mourawieff, après avoir fini avec la Lithuanie, fut appelé à présider une inquisition

(*) Conclusion d'une série d'articles sur la Pologne dans le *Kolokol*.

(**) Certainement il y a des exceptions : je citerai un livre très-remarquable, publié à Paris en 1863 par un Polonais, sous le titre : *La Pologne et la cause de l'Ordre*. L'auteur a prouvé que la haine ne perd rien par la connaissance intime de son ennemi. Dans beaucoup de cas nous partageons ses opinions, lui les nôtres ; nous avons puisé aux mêmes sources. Quel plus grand criterium que cette rencontre de deux sentiments opposés ! Je m'empresse d'ajouter qu'en parlant des articles sur la Russie dans les journaux allemands et français, nous avons excepté les brillants et magnifiques tableaux de Ch. Mazade dans la *Revue des Deux-Mondes*.

politique à Pétersbourg. L'unité de la terreur et du bourreau a confondu les martyrs des deux causes.

Lorsque les passions se calmèrent — on put aisément constater, à travers les sanglots et les cris de rage, *deux faits*. Vous êtes convaincus de l'un, nous n'avons aucun doute quant à l'autre. L'un, c'est que la Pologne polonaise n'a pas péri ; l'autre, c'est que le *mouvement* russe n'a pas été arrêté. C'est un fait très-grave, et nous ne demandons qu'une enquête pour constater notre erreur, ou admettre que nous avons raison. Au lieu de la faire, on jette des cris d'alarme et d'exaspération, on invente des offenses ethnographiques, on accable la Russie à coups de philologie frelatée. On la chasse de l'Europe, on la chasse des Iraniens. Est-ce sérieux tout cela ?

Nos braves ennemis ne savent pas même que nous sommes très-peu vulnérables de ce côté ; nous sommes au-dessus des susceptibilités zoologiques et très-indifférents à la pureté de race ; ce qui ne nous empêche nullement d'être parfaitement Slaves. Nous sommes contents d'avoir du sang finnois et mongol dans les veines ; cela nous met en parenté, en rapport de fraternité avec ces races parias, que la démocratie humanitaire de l'Europe ne peut nommer sans dédain et offense. Aussi nous n'avons pas à nous plaindre de l'élément touranien. Nous avons poussé un peu plus loin que les purs Slaves de la Bulgarie, Serbie, etc.

On nous chasse de l'Europe—comme le bon Dieu a chassé Adam du Paradis. Mais est-ce qu'on est bien sûr que nous prenons l'Europe pour un Eden et le titre d'Européen pour un titre d'honneur ? On se trompe fortement de temps. Nous ne rougissons pas d'être de l'Asie, et nons n'avons aucun besoin de nous annexer à droite ou à gauche. Nous nous suffisons, nous sommes une partie *du Monde entre l'Amérique et l'Europe*, et c'est assez pour nous. Peut-être les Allemands de Pétersbourg se scandalisent-ils fortement de la perte de leur slavisme pur, de leur iranisme japhétique, et sont-ils profondément offensés de ce qu'on ne veut pas d'eux en Europe. — Peut-être les enragés de Moscou, pour comble de ridicule, commenceront-ils une lutte scientifique — cela ne nous regarde pas du tout.

Et c'est grâce à vous, nos maîtres de l'Occident, grâce à votre science que nous avons tant de philosophie. Arriérés en tout, nous avons été en apprentissage chez vous — et nous n'avons pas rebroussé chemin *devant les conséquences qui vous ont fait dévier*. Nous ne cachons pas le bien que nous avons reçu de vous. Nous primes votre lumière pour éclairer l'horreur de notre position,

pour chercher une porte ouverte, pour en sortir—et nous l'avons trouvée grâce à vous. C'est assez maintenant — que nous savons marcher seuls—de férule du maître, et si vous nous maltraitez — adieu l'école !

Mais avant de nous quitter « en cérémonie », dites-nous : Pourquoi voulez-vous à toute force vous faire un ennemi *du jeune Ours ?* — Est ce qu'il ne vous suffit pas de guerroyer *avec le vieux*, qui nous est plus hostile qu'à vous et que nous haïssons plus que vous le haïssez ? Pensez à cela que le vieux dépend beaucoup plus de vous que le jeune ; il n'est pas libre moralement, vous pesez sur lui par votre autorité. Il murmure, il boude, mais il s'offense de vos critiques, parce qu'il vous respecte et vous craint—non votre force physique, mais votre supériorité intellectuelle, votre morgue aristocratique. La bosse de la vénération nous manque ; nous n'avons pas le même sentiment de respect pour tout ce qui est occidental. Nous vous avons vu, dans des moments, bien faibles. La seule chose que nous estimons chez vous, sans bornes, religieusement, *c'est la science*. Mais la science, c'est tout l'opposé de vos institutions, de votre intolérance, de votre état, de votre morale, de vos croyances. Vous avez l'art de couvrir, par vos aspirations généreuses, par vos sublimes inconséquences, l'abîme qui sépare la vie de la science—mais l'abîme reste.

Nous vous avons vu de trop près et nous vous connaissons — nous sommes habitués à vous aimer et à vous connaître — vous nous ignorez et vons nous niez. — Nous protestons.

Sentinelles perdue à la limite de deux mondes, que l'on excite à se ruer l'un contre l'autre, appartenant par mille liens aux deux, nous ne pouvons pas nous taire et nous nous hasardons encore une fois à signaler la fausse route et à crier du haut de notre guérite: « Gare à l'erreur (1) ! »

(1) Quelquefois, bien rarement, un esprit supérieur s'arrête, étonné, et constate un fait qui cadre peu avec le tableau stéréotypé de la Russie. Le fait paraît seul, isolé, presque monstrueux—on ne va pas à la recherche de la série — et le fait se perd de vue. Un homme célèbre me disait à Veytaux, en parlant de l'émancipation des paysans en Russie avec la terre : « La Convention de 93 — et elle était bien audacieuse — aurait reculé devant une mesure taillant si profondément dans le droit de la propriété. Il me semble que l'obéissance passive de la noblesse entre, et pour beaucoup, dans la réussite de cette mesure socialiste. » — Je ne le pense pas, dis-je, d'autant plus que la noblesse était bien loin d'une soumission passive. Cette mesure a passé parce qu'elle était parfaitement conforme au génie national et que

II

Nous voulons commencer par dire, le plus brièvement possible, comment l'état actuel de la civilisation occidentale se reflète dans notre intelligence d'étrangers, de spectateurs, d'hommes formés par votre science, mais qui ayant une autre origine et une autre tradition — vont leur chemin très difficile — sans admirer le vôtre. Vous êtes peu habitués à entendre les opinions qui viennent du dehors. Vous avez été si longtemps *la civilisation et toute la civilisation*, la seule grande histoire *et le seul* grand présent, que les Anacharsis intimidés n'osaient dire franchement leur opinion ; et lorsque vous vous mettez vous-mêmes dans leur rôle, en écrivant des lettres persanes, turques, américaines et autres, vous ne faites que la critique des détails. Si quelquefois vous dites une vérité désagréable, gare à celui qui touche la reine, n'étant pas de la famille !

Les temps ont changé rapidement. L'auréole qui vous entourait n'offusque plus la vue. Votre règne unitaire et incontesté est troublé par une voisine peu commode et remuante. On se tourne vers sa nouvelle maison, au delà de l'Océan — on trouve qu'elle vous continue en vous *accomplissant ;* vous avez beaucoup promis, elle tien beaucoup ; l'idéal est à vous, la réalisation à elle.

Votre civilisation et comme une mer qui déborde, elle ne peut ni rester dans son ancien lit, ni dépasser les limites fatales. Elle se heurte de tous côtés à des rochers qu'elle ne peut ni engloutir, ni dépasser, ni entraîner ; de la une étrange confusion, une agitation stérile ; on attaque — on est refoulé, et *fiasco* sur *fiasco*.

Vous ne pouvez entrer dans un nouveau lit sans jeter au loin vos vieilles hardes, et vous voulez les garder. Vous êtes trop avares pour céder une partie de l'héritage et vous n'avez, non plus, assez d'abnégation pour vous résigner au repos honorable d'une reine douairière, qui oubliant la royauté ne s'occupe plus

l'émancipation, sans terre, était impossible chez nous. Elle aurait provoqué certainement une jacquerie. Une révolution sociale de cette étendue ne pouvait se faire tranquillement que chez un peuple qui possède d'*autres notions sur la propriété* que celles des peuples de l'Occident.

Personne n'y a songé sérieusement.

Les *socialistes* comme les autres.

L'ensemble de ces faits nous a determiné à paraître encore une fois à la barre, insistant pour l'admission *du témoin à décharge* dans le procès d'excommunication qu'on poursuit contre la Russie.

que de son ménage. Vous restez en conséquence dans un état de fluctuation provisoire; vous êtes, sans le savoir, sincèrement hypocrites, et vous vous contentez des mots, sans avoir la réalité.

Les formes et les bases de l'organisation actuelle de l'Etat, de la société — telles qu'elles se sont élaborées, au fur et à mesure, par l'histoire, sans unité ni plan — ne correspondent plus aux exigences de l'état rationnel qui s'est formulé dans la science et conscience d'une minorité active et développée. Tout ce que les vieilles formes avaient d'élasticité, elles l'ont prêté; toutes les combinaisons, tous les compromis ont été faits, Les réformes ne peuvent aller plus loin sans les faire éclater, sans ébranler les bases *éternelles* de la société. Il faut que l'esprit recule et avoue, avec une humilité toute chrétienne, que son idéal « n'est pas de ce monde, » ou se décide à briser les formes et à ne plus s'inquiéter du sort *des bases éternelles*.

Ces bases éternelles ne sont rien autre que les bases trés-temporelles d'une organisation bicéphale, hybride — d'un Etat ex-féodal, bourgeois et militaire — d'un compromis flottant entre les extrêmes — d'une diagonale peu sûre entre la liberté et l'autorité, d'un éclectisme social et politique — neutralisant toute initiative. Vers ce juste milieu gravissent, en oscillant, les nations civilisées. Celles qui ont vaincu les forces perturbatrices, comme la Hollande, se trouvent très bien. Il est possible que les peuples latino-germaniques n'iront pas plus loin, que c'est leur état définitif. Les rêves d'un passé, les rêves d'un avenir les troublent encore et ne leur permettent pas de s'asseoir carrément dans leur position. Ces remords platoniques se calmeront comme les douleurs des chrétiens se calmèrent à l'endroit des péchés du genre humain — ils resteront comme de beaux souvenirs, « des pia desideria », comme un romantisme généreux, comme la prière du riche pour les pauvres. Il n'y a au reste aucune nécessité absolue que l'idéal formulé se réalise dans une telle localité ou dans une autre, pourvu qu'il se réalise. Est-ce que l'Inde n'est pas restée dans le rôle de Mère de la Judée dans celui de Jean le précurseur ? On ne s'arrête pas où l'on veut, mais là où les forces manquent, où la plasticité, l'énergie manquent. Nous ne voulons nullement dire que le monde latino-germanique soit exclu de la nouvelle palingénésie sociale, qu'il a lui-même révélée au monde. Tous sont invités par la nature et par l'histoire, mais il est impossible d'entrer dans le nouveau monde, en portant, comme Atlas, le vieux monde sur ses épaules. Il faut mourir « dans le viel Adam » pour ressuciter dans le nouveau — c'est-à-dire il faut passer par *une révolution réellement radicale*.

Nous savons très bien qu'il n'est pas facile de définir, d'une manière concrète et simple, ce que nous entendons par révolution radicale. Prenons encore une fois le seul exemple que l'histoire nous offre : *la révolution chrétienne.*

Le monde de la « ville éternelle » s'en allait, battu par les Barbares, par l'épuisement, succombant sous le fardeau trop lourd que Rome mettait sur ses épaules. Une grande partie de son idéal de conquérant était réalisée, le *restant* ne suffisait plus pour le pousser. Il possédait son passé, le prestige de la force, de la civilisation, de la richesse; il pouvait tout de même traîner longtemps, ramolli et fatigué. Mais arrive une révolution qui lui dit en face : « Tes vertus sont des vices brillants pour nous; notre sagesse est absurde pour toi, qu'avons-nous donc de commun ? » Il fallait l'écraser ou tomber devant la croix et le crucifié.

Vous connaissez la légende (Heine s'en est si bien souvenu, dans son voyage de Hilholand) de ces bateliers retournant, effrayés, agités, de la Grèce en Italie. Ils racontaient (c'était du temps de Tibère qu'une nuit, lorsqu'ils touchaient la terre du Péloponèse, un homme sinistre apparaissait sur les rochers, leur faisant signe d'approcher et leur criant à haute voix : « Pan est mort ! »

Il n'était pas mort alors le vieux Pan, mais il agonisait et il n'y avait plus de remède pour le sauver que la mort. Son extrême onction durait des siècles. Il se convertit, prit l'habit et légua tout son avoir à l'église. Un moine se mit à la place des Césars, l'Olympe devint un jardin de lazaret et se remplit de moribonds, des désséchés, des sans-sexes, des exécutés; un gibet avec un cadavre prit la place de Jupiter, et celle de ses joyeux convives— deux femmes en larmes. Voilà ce que nous entendons par révolution radicale.

Les restes, les fragments, les pierres désagrégées de l'ancien édifice se conservèrent, mais furent incorporées dans le nouveau, mais ne *primèrent* plus.

Le monde chrétien, de son côté, a eu ses grandes crises et ses grandes évolutions, transformations, mais pas une *radicale.* La renaissance, la réforme ne sortent pas de l'Eglise, elles la simplifient, l'humanisent, l'ornent et l'adorent dans la nouvelle édition. La révolution même représente la sécularisation du christianisme et la canonisation du monde antique. Elle est chrétienne et romaine par son génie, sacrifiant sans pitié l'individu au « salus populi, » au Moloch de l'Etat, de la république, comme l'Eglise sacrifiait l'homme vivant au « salut de l'âme, à la gloire de Dieu. » La Réforme, la Révolution firent, en luttant, des pas de géant et frisèrent

des principes parfaitement justes, mais irréalisables dans la condition donnée de l'Etat. Les pièces de résistance, les masses de vielles murailles qu'elles entrainèrent dans leur nouvelle cité, empêchaient chaque pas. Il perdaient toute l'énergie en contradictions insolubles, en luttes sans issue.

Droits de la personne juridique.

Droits de l'homme.

Droits de la raison.

Liberté, Egalité, Fraternité.

Arc-en-ciel plein de promesses, touchant des deux bouts la terre sans prendre racine.

L'inviolabilité de l'individu se brisait à la protection absolue de la propriété par l'Etat. Le droit de l'homme heurtait le droit romain. Le droit de la raison qui était nié par une religion armée. Et ainsi de suite. La liberté était impossible avec un gouvernement fort, avec une Eglise de l'Etat et une armée aussi de l'Etat. Pas d'*égalité* avec l'inégalité du développement, entre les sommets inondés de lumière et les masses couvertes de ténèbres. Pas de *fraternité* entre le maître qui use et abuse de son avoir et l'ouvrier qui est usé et abusé parce qu'il n'a rien. Quel est le génie qui pourrait réunir en une formule harmonique, résoudre en une équation, énoncer d'une manière intelligible le rapport et l'action mutuelle des grandes forces contradictoires, des facteurs hétérogènes qui s'entre-déchirent et restent en même temps bases de la société moderne ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la jurisprudence et la science économique, entre le tribunal et la statistique? peuvent elles convenablement coexister ? Vous le sentez, *vous le savez*, et c'est à cause de cela que vous commettez un péché contre l'esprit. Vous êtes dans l'état d'un homme qui a levé une jambe pour passer la frontière, et saisi d'un accès de nostalgie, reste dans cette position lamentable.

Personne ne vous force de vous expatrier, mais alors il faut rester tranquillement près du foyer paternel et ôter les habits d'un révolutionaire en voyage. Le cumul de conservatisme et de révolutionnarisme commence à révolter. Vous avez des remords, et pour vous justifier à vos yeux, vous répétez la vielle chanson des dangers de la morale, de l'ordre, de la famille, surtout de la religion. Et vous-mêmes, vous n'en avez pas, sauf un mince déisme impuissant et stérile. La religion vous apparait seulement comme le grand frein pour les masses, la grande intimidation des simples, le grand paravent qui empêche au peuple de voir clair ce qui se passe sur *la terre*, en élevant ses yeux vers le ciel.

Morale, famille. Quelle morale? La morale de l'ordre, de l'ordre *existant*, la morale du respect de l'autorité et de la propriété ; le reste — fioritures, ornements, décors, sentimentalisme et rhétorique.

Et quand est-ce qu'une révolution s'est présentée comme immorale? Une révolution est toujours austère, vertueuse par métier, pure par nécessité ; elle est toujours dévouement, parce qu'elle est toujours danger, perte des individus au nom de la généralité. Est-ce que les premiers chrétiens étaient immoraux ? ou les Huguenots, ou les Puritains, ou les Jacobins ? Ce sont les coups de main, les coups d'Etat qui ne sont pas excéssivement immaculés, mais ce sont des *rétrovolutions*. Quant à la religion, la révolution n'en a pas besoin, elle est elle-même religion.

Le socialisme même dans ses phases les plus exaltées, juveniles dans le Saint-Simonisme et le Fouriérisme, n'est jamais allé ni à la communauté des biens des Apôtres, ni à la république d'enfants trouvés de Platon, ni à la négation de la famille au point de créer des institutions d'infanticide anticipé et des maisons publiques de célibat et d'abstinence....

Il ne s'agit, en réalité, ni de famille. ni de morale, il s'agit de sauver *un peu de liberté et beaucoup de propriété ;* le reste, c'est de l'éloquence, de la circonlocution. La propriété, c'est le plat de lentilles pour lequel vous avez vendu le grand avenir auquel vos pères ont ouvert les portes grandes en 1789. Vous préférez l'avenir sûr d'un rentier retiré des affaires, parfaitement bien — mais ne dites pas que c'est pour le bonheur de l'humanité et le salut de la civilisation que vous le faites. Vous voulez toujours entourer votre conservatisme obstiné de signes révolutionnaires ; cela offense et vous outragez les autres peuples, comme si vous étiez encore à la tête du mouvement ; l'offense frise le ridicule.

Proudhon disait très inhumainement à une nation malheureuse : « Vous ne savez pas mourir. » Nous voudrions vous dire : « Vous ne savez ni renaître, ni vous résigner à une vieillesse verte et franche. » Notre position, à nous, est pire que la vôtre, plus grossière, mais beaucoup plus simple, et n'oublions pas que chez vous c'est *le couronnement de l'édifice*, tandis que nous sommes encore aux *pilotis de fondement.*

III.

Nous sommes à la veille de notre histoire. Nous avons végété, nous avons pris corps, nous nous sommes installés, nous avons passé un rude dressage — et nous n'apportons que la conscience de nos forces, de notre aptitude. Ce sont des symptômes plus que des faits. Nous n'avons, à proprement parler, jamais vécu ; nous avons été mille ans *à la terre* et deux siècles à l'école, à l'imitation. Nous ne faisons que sortir de la germination, et bien nous en suit. (1)

Toutes les richesses de l'Occident, tous les héritages nous manquent. Rien de romain, rien d'antique, rien de catholique, rien de féodal, rien de chevaleresque, presque rien de bourgeois dans nos souvenirs. Aussi aucun regret, aucun respect, aucune relique ne peuvent nous arrêter. Nos monuments, on les a inventés, convaincu que l'on était qu'un empire comme il faut doit avoir ses monuments. La question, pour nous, ce n'est pas la conservation de nos agonisants, ni l'enterrement de nos morts, cela ne nous donne aucun embarras, mais bien de savoir où sont les vivants et combien il y en a.

Descendants de colons et non de conquérants, nous sommes un peuple de paysans, surmonté par une légère couche de *détachés*. C'est le peuple des champs qui est la base et la sève. Les torrents de Slaves, tombant dans les plaines entre le Volga et le Danube, s'assirent là où ils se sentaient fatigués et occupèrent le sol qui leur plaisait, comme un élément qui n'appartenait à personne. Ils n'avaient pas de titres, ils avaient la faim et la charrue. Les peuplades finnoises qui vivotaient dans ces forêts, dans ces déserts, étaient englobées par les Slaves. Elles continuaient leur pauvre existence, ou se fondaient avec les nouveaux venus, en laissant quelques mots dans leur langue et quelques traits dans leur figure.

Rien d'héroïque, d'épique dans ces origines — défrichement, travail et croisement avec ces pauvres Touraniens, auxquels en veulent tant les publicistes de l'Occident.

(1) Il m'est impossible de ne pas citer encore une fois ces vers de Gœthe, qu'il adresse à l'Amérique :

Dich stœrt nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern,
Vergeblicher Streit.

Des villes très clairsemées surgissent, des villages fortifiés, des principautés commencent à se former en un Etat fédéral assez informe. Puis le joug des Mongols, lutte et affranchissement, unité forcée, et un Etat en croissance. Cet état rudimentaire se maintient à travers toutes les vicissitudes, avec une persistance obstinée qui n'est pas dans le caractère slave. C'est peut-être le premier fruit de l'assimilation de ces races cyclopéennes, immobiles et fortes par leur persistance minéralogique, par leur adhésion élémentaire, par leur longanimité endurante. S'ils ont altéré la pureté slave de notre sang, ils ont corroboré l'état qui a servi de noyau à la Russie moderne.

Le peuple de paysans se transformant en un Etat, *conserva*, et c'est là que git son avenir et son originalité, la foi que la terre qu'il cultive lui appartient, qu'elle est inaliénable tant qu'il reste dans la commune, et qu'une commune nouvelle le recevant, lui doit la terre. Le gouvernement n'y comprenait rien et laissa les us et coutumes jusqu'au temps de l'introduction du servage (XVIIe siècle), donnant alors terres et paysans aux seigneurs, à la famille régnante, à l'Etat.

Le principe du droit à la terre n'est pas discutable; c'est un fait, non une thèse. La notion originaire de la propriété a été très bien éliminée de la discussion par Proudhon. C'est une donnée primordiale. un dogme « d'origine divine, » c'est une *cause première* de l'histoire. On trouve un rapport de l'homme à la propriété préexistant à l'histoire, permanent, comme celui qui s'est développé par le droit romain, les coutumes germaniques, et qui continue en Occident dans les voies de l'individualisme, jusqu'à la rencontre des idées sociales qui le nie et l'arrête. On trouve *un centre* inculte en Orient qui se développe en Russie sur une base communale, et qui va à une jonction avec le socialisme qu'il affirme *de facto*, qui lui donne des proportions tout autres, et lui ouvre un avenir immense.

Il semble que toute l'histoire sombre et lourde du peuple russe n'a été soufferte qu'en vue de ces évolutions par la science économique, de ces germes sociaux. On serait tenté d'applaudir la marche lente du développement historique chez nous.

Passant une longue série de siècles, monotone et écrasante, courbé sous le joug de la pauvreté, courbé sous le fouet du servage, il conserva sa *religion de la terre*. Etrange et lugubre voie d'un développement dans lequel, très souvent, le mal apportait le bien et « vice versa. » Un des coups les plus durs

qu'a subis le peuple russe était le coup de civilisation, qui tâchait de nous dénationaliser sans nous humaniser, et c'est elle qui nous fit la révélation de nous-mêmes, *par le socialisme* qu'elle abhorre.

Le peuple des champs a été laissé en dehors de la civilisation imposée. Le grand pédagogue Pierre Ier se contentait de river plus fortement les chaines du servage. Le paysan, conspué, outragé, pillé, vendu. acheté, releva la tête pour un instant, versa des fleuves de sang, fit frémir Catherine II sur son trône ; et. battu par les armées de la civilisation, retomba dans un désespoir morne, passif, ne tenant plus qu'à sa terre, à cette dernière mamelle qui l'empêchait de mourir de faim et que le servage même ne savait lui arracher. C'est ainsi qu'il est resté immobile et dans un état de prostration, de désespoir, presque un siècle entier ; protestant quelquefois par l'assassinat du seigneur, ou de malheureuses révoltes partielles.

Pendant que le paysan armé passait les Balkans et les Alpes, remportait des victoires et élargissait les frontières de l'empire, son père, son frère mouraient sous la verge, pillés légalement par une noblesse avide, dépensière et sauvage ; tout lui était ôté, sa force musculaire, sa femme, son enfant — et par un illogisme étonnant, la terre (amoindrie, écourtée, mal choisie avec intention) lui restait.

Que de larmes tombèrent sur elle faisant un nouveau lien entre elle et le pauvre patient persécuté ! Personne ne saura ce qu'il a souffert pendant ces cent ans de prospérité de l'Etat. Sa plainte, son cri de douleur et d'agonie, son reproche, tout est perdu dans les archives d'une police inexorable, dans les souvenirs éparpillés de quelques servante, de quelque valet de chambre. Ce Laocoon succombait avec ses fils par une obscure nuit d'hiver, sans avoir un statuaire pour témoin de sa lutte inégale avec deux serpents — la noblesse et le gouvernement. La neige a tout couvert par son linceuil, — et c'est ce crime historique, ce crime en détail, qui frappait chaque village, chaque commune, qui, en se perpétuant, en durant, a aidé le paysan malheureux à faire légaliser son droit à la terre.

Si l'émancipation était venue avant notre temps, on aurait ôté la terre au paysan sans lui donner une liberté réelle. Un demi-siècle de martyr et de douleur de plus a sauvé son grand instrument de travail. Le *droit à la terre* n'aurait pu résister à la pression des idées économiques de l'Occident, appuyées non-seulement par le gouvernement, si indifférent quant au

choix des moyens, mais aussi par les « éclairés, » les libéraux, les doctrinaires, les publicistes. Ce n'est qu'après la formidable critique de l'ordre des choses existant par le socialisme, que le principe vital du développement russe a pu être sauvé.

La terre a été presque partout oubliée par les révolutions en Occident; elle était au second plan, comme les paysans. Tout se faisait dans les villes et par les villes, tout se faisait pour le tiers-état, on songeait quelquefois après à l'ouvrier des villes, presque jamais au paysan. Les guerres des paysans en Allemagne font une exception, aussi demandèrent-ils à hauts cris la terre et ils furent complétement écrasés. Il y avait sécularisation, confiscation, morcellement, changement de main, de classe, déplacement de la propriété foncière; — le tout ayant des conséquences très graves; — il n'y avait ni une base nouvelle, ni un principe, ni une organisation générale. Nous n'avons rien entendu, ni des hauteurs de la Convention, sauf Robespierre, qui est venu à la tribune renier ses velléités agraires, ni des barricades de Juin. Un des hommes les plus avancés, Lassalle, trouve que la terre attache trop, alourdit la libre individualité de l'ouvrier, retient sa marche comme un boulet attaché à ses pieds; tandis que nous aimons mieux sentir sous nos pieds le sol nourricier, que de nous balancer dans l'air, au gré des vents, sans autre appui contre la misère que la double misère de la grève.

Nous ne disons pas que notre rapport au sol soit *la solution* de la question sociale, mais nous sommes persuadé que c'est *une des solutions*. Les idées sociales, dans leur incarnation, auront une variété de formes et d'applications comme le principe monarchique, aristocratique, constitutionnel. Notre solution n'est pas une utopie, c'est une réalité, un fait naturel, je dirai physiologique. Les conditions géographiques nous sont propices. Le concours des circonstances extérieures doit correspondre à la velléité, à l'aptitude du nouvel organisme, sinon il avortera. Qu'aurait fait l'Amérique du Nord sans ses données territoriales? De l'autre côté, les meilleures conditions extérieures ne suffisent pas. Qu'ont fait les Espagnols au delà de l'Océan?

La question, pour nous, consiste non à nier ou à affirmer le droit à la terre, mais à l'élever à la conscience, à le généraliser, à le développer, à l'appliquer, à le *corriger* par l'indépendance personnelle.

La commune patriarcale concédait la terre à l'individu au prix de sa *liberté*. L'homme restait attaché au sol, à la com-

mune. C'est avec la terre qu'il passa au seigneur, c'est avec la terre qu'il s'émancipe. Il faut l'émanciper de la terre sans qu'il la perde. Il lui faut *la Terre et la Liberté*. Il y a une opinion bien arrêtée en Occident, que chaque pas vers les droits de l'individu sera nécessairement pris sur le droit communal. D'où est-ce qu'on sait cela? C'est pour la première fois que la commune agraire se trouve enlacée dans un développement social d'un grand Etat. Or il faut attendre à quoi aboutira ce mouvement avant de tirer les conséquences. Cette observation appartient à Stuart Mill. Les faits récents prouvent qu'il n'y a rien d'incompatible dans ces termes de possession communale et de liberté individuelle. Un spectacle immense se produit à côté du monde, qui a fait infructueusement toutes les expérimentations possibles, depuis le phalanstère et l'Icarie, jusqu'aux associations égalitaires. La commune rurale et l'individu rural ont fait des pas de géant en Russie depuis 1861. Le principe rudimentaire du *self-government* (1), écrasé par la police et le seigneur, se détache de plus en plus de ses langes et de ses liens; l'élément électif s'enracine, de lettre morte devient réalité. Le maire, les juges communaux, la police rurale, tout est électif, et déjà les droits du paysan s'étendent loin au delà de la commune. Il la représente dans le conseil général de la province, dans le jury, et il faut lire les journaux pour savoir comment il s'y prend. Il acquitte quand il peut, il acquitte dans le doute. Eh bien, sa croissance n'est pas marquée, ses pas en avant ne sont pas comptés... et, loin de là, lorsque cette poussée immense d'hommes se réveille, pleine de force, de santé, les civilisés les taxent de bétail humain, d'accord en cela avec les beaux restes de nos seigneurs.

Des humanitaires, des philanthropes, des *fraternaux*, qui ont des soupirs pour les Peaux-Rouges et des sociétés pour la protection des animaux de toutes couleurs, regardent avec dédain ou ne regardent pas du tout un peuple entier qui entre dans la possession d'un terrain immense, et dont le premier mot est une *formule sociale*, non seulement réalisable, *mais réalisée!* Un peuple qui a mis à la place d'un droit vague « au travail » le droit explicite « à la terre », et qui au lieu de répéter le terrible cri du désespoir : « Qui a du plomb a du pain », est convaincu qu'il a « du pain parce qu'il a la terre. »

(1) Si bien apprécié par le baron westphalien Haxthausen et le sociologue américain Carrey.

Les renseignements ne manquaient pas, mais on ne se donnait pas la peine de se renseigner. On a entendu vaguement parler du *communisme* russe, asiatique, touranien, et l'on a fini sommairement avec lui, en disant que tous les sauvages ont *commencé* par les biens communaux pour finir avec le prolétariat civilisé ; que la terre manquera un jour, que l'agronomie ne peut prospérer dans ces conditions, etc., etc. Bien avant l'émancipation des paysans, un seul homme s'aperçut de la signification de la commune rurale chez nous, c'est Haxthausen, que j'ai nommé plus haut. Rencontrant quelques vestiges d'institutions communales aux bords de l'Elbe et frappé de leur organisation, il s'en va, en 1846, explorer la Russie un peu au-dessous du pavé sur lequel roulait l'élégante calèche du marquis de Custine ; — il traversa hâtivement Pétersbourg, Moscou et s'enfonça dans la *terre noire*. Il en revint en prêchant la commune russe et montrant du doigt ses éléments socialistes et *républicains*. Par un étrange hasard, c'était la veille de la révolution de 1848, la veille du premier essai, en grand, d'introduire le socialisme dans l'organisation de l'Etat. L'à-propos était admirable, mais l'essai échoua et la préoccupation des esprits était telle, que le livre de Haxthausen glissa inaperçu.

Nous avons aussi essayé d'élever notre voix au milieu de l'abattement général et de la plus sombre réaction (1850-1855), nous n'avons pas mieux réussi que le vieux baron westphalien ; on fit semblant de prendre note, on passa outre. Les événements parlèrent à leur tour. Un souffle de vie traversa la Russie : le servage tombait, la noblesse tombait, le vieil édifice du tribunal inquisitorial s'écroulait ; des voix formidables se firent jour à travers les grilles de la censure ; le gouvernement, entraîné pour un moment par le courant, était mal à son aise, et pas loin de faire des concessions. Une doctrine réaliste, forte, jeune, se formulait de plus en plus, avec une logique inexorable et une audace de conséquences et d'applications à toute épreuve. Tout cela passa comme une ombre inaperçue.... L'attention était ailleurs, le monde occidental ne regardait que l'atroce tragédie qui se déroulait en Pologne. Oui, c'était une tragédie d'autant plus atroce qu'on ne s'y attendait pas. En 1861, tout le monde en Russie était pour la Pologne ; le gouvernement n'était pas encore décidé entre une petite charte et un gibet, entre un grand-duc ou Mourawieff, — lorsqu'une main puissante lui est venue en aide, la main de la diplomatie européenne, avec ses notes pacifiquement guerrières. A la

piqûre de cette intervention à main désarmée, un patriotisme farouche s'empara de la société ; tout ce qui couvait encore de sauvagerie au fond de l'âme russe, surnagea avec une insolence qui n'avait pas d'exemple dans notre histoire moderne. On se rua sur la Pologne et sur la *Jeune-Russie*. Ce n'est qu'alors que le gouvernement se sentit assez fort pour commencer le procès terrible de tendances, procès à cent têtes, sans fin, absorbant victime sur victime, s'étendant sur tout le pays et qui continue encore.

Ce n'est pas un reproche que nous vous adressons. Nous savons que vous n'êtes pas responsables des malheurs que vos secours diplomatiques ont fait tomber sur la pauvre Pologne, nous savons très bien que vous n'avez pas de part dans les affaires publiques. On vous passe les actes pour les discuter, comme on passe les malades des hôpitaux à la chambre de dissection, — après leur décès. Nous sommes trop dans la même position pour ne pas avoir la délicatesse du ménagement. Malheureusement vous vivez dans un monde de fictions et d'illusions, comme les descendants des ci-devant familles souveraines rêvent toujours la couronne perdue sur leur tête — vous aussi vous rêvez à émanciper les peuples, à défendres leurs libertés comme les vôtres.

Vos libertés.... et où sont-elles ?

Il faut monter bien haut sur les Alpes, ou traverser la mer pour en voir un petit bout.

L'orgueil d'un grand passé ne vous permet pas de voir ni votre état actuel, ni ses causes, ni le danger qui vous menace.

Votre danger n'est pas du côté de la Russie ; si la Russie a été jusqu'à Paris, c'est qu'il y avait des Prussiens et autres Allemands pour l'accompagner et lui montrer le chemin. Votre danger est dans l'avortement de la Révolution.

Il est cruel de troubler les rêves d'un vieillard que nous estimons, mais pourquoi est-il si arrogant et si aveugle, si provocateur, si intolérant ? On pourrait penser qu'il parle encore de la tribune « tonnans » de la Convention, fièrement appuyé sur les droits de l'homme, inviolable, libre, respecté. On pourrait penser que c'est l'Europe de Voltaire et des encyclopédistes, des jacobins et des girondins, de Kant et de Schiller.

L'Angleterre seule pourrait avoir le verbe haut, elle se tait.

La liberté est aux Etats-Unis et ce sont eux qui, bien loin d'une haine contre la Russie, lui tendent une main amicale en vue de son avenir.

Nous sommes tout prêts à honorer en vous votre passé. Nous ne demandons pas mieux que de couvrir vos plaies, par gratitude pour l'enseignement que vous nous avez donné ; mais un peu de justice pour ceux *qui sont d'hier* (comme s'exprimait Tertullien) *et qui ont leur demain assuré.*

Malheur oblige, oblige au moins à ne pas jeter des pierres aux autres, à ne pas continuer le rôle impossible de régulateur et libérateur du monde entier, du grand horloger de l'univers.

Votre pendule s'est arrêtée.

IV.

En bas, la *commune rurale*, tranquille dans son attente, lente, mais sûre dans son développement ; conservatrice comme la mère qui gardent l'enfant dans son sein, souffrant beaucoup, souffrant tout, sauf la négation de sa base, de son fondement. Elément féminin et pierre angulaire de tout l'édifice, sa monade, l'alvéole du tissu énorme qu'on appelle la Russie.

En haut, a côté de l'Etat qui écrase, du gouvernement qui *pacifie* — *la pensée libre*, devient une force, une puissance reconnue par ses ennemis, signalée par l'empereur dans une épître scolastique adressée au président du Conseil d'Etat, signalée par l'Eglise myope et endormie, signalée par la police littéraire à la police chasseresse sous le nom de nihilisme.

Ce *nihilisme* n'est pourtant ni une organisation quelconque, ni un complot, c'est une conviction, une opinion. Et c'est devant cette opinion qu'Alexandre pâlit et cria à ses ministres en leur montrant « *quelques jeunes gens obscurs* » son « Prenez garde à vous ! » Il avait raison ou ceux qui lui avaient soufflé la peur. Cette opinion trop libre, cette pensée sans entraves théologiques, sans considérations mondaines, sans idéalisme, romantisme, sentimentalisme, sans vertu de parade et rigorisme affecté, — ne relevait que de la science et ne marchait que dans ses voies. Cette nudité a fait peur, cette simplicité a glacé le cœur des autorités.

Une question se présente tout naturellement : où trouver un pont possible entre cette pensée, sans autre frein que la logique et la commune affranchie ; entre le savoir cru et scrutateur et la foi aveugle et naïve ; entre la science adulte et âpre et le grand enfant profondément endormi, rêvant que le tzar est son bon père et la madone le meilleur remède contre le choléra et les incendies ?

Rêvant aussi que la terre qu'il cultive lui appartient.

La minorité réaliste se rencontre avec le peuple sur le terrain des questions sociales et agraires. Le pont est donc tout donnée.

La pensée, le savoir, la conviction, le dogme, ne restent jamais chez nous à l'état de théorie et d'abstraction, ne vont pas se confiner dans un couvent académique on se cacher dans l'armoire d'un savant, parmi les poisons ; au contraire, ils s'élancent sans être mûrs, avec trop de précipitation, dans la vie pratique, voulant sauter à pieds joints du vestibule à la fin de l'arène. Nous pouvons vivre, et longtemps, dans un état de torpeur morale et de somnolence intellectuelle, mais une fois la pensée réveillée, si elle ne succombe, tout d'abord, sous le fardeau du milieu lourd et écrasant ; si elle résiste à l'offense et à la distraction, au danger et à la nonchalance, elle s'empresse d'aller hardiment jusqu'à la dernière conséquence, notre logique n'ayant pas de rétrécissement, suites et traces d'un passé cicatrisé, mais non effacé.

Le dualisme flottant des Allemands, qui savent que la vie « der Theorie nach » ne coïncide pas avec les sphères pratiques et s'y résigne, est tout à fait antipathique au génie russe.

La société bigarrée, sans gouvernail, indifférente à la surface, blasée et naïve, corrompue et simple, a été bien loin de rester tranquille devant le nouveau creuset épuratoire de la pensée. Des femmes et des jeunes filles se jetèrent haletantes vers les nouvelles doctrines, demandant à haute voix l'indépendance personnelle et la dignité du travail. Rien de pareil ne s'est vu depuis les premiers temps du Saint-Simonisme.

Une société dans laquelle la femme est si lasse et la pensée si impitoyable, doit avoir été profondément travaillée, errante ; il faut qu'elle ait été froissée, humiliée, trompée, outragée, qu'elle ait *douté* enfin, pour se jeter sans crainte ni réserve dans la mer froide et sans limites de la vérité nue. Qui connaît l'histoire de nos âmes en peine, de nos développements malades, estropiés ? Nous avons essayé de tracer le drame, le roman, la souffrance de notre embryogénie intellectuelle.... Qui s'en souvient ?

Arrachés par un coup de tonnerre ou plutôt de tambour, au milieu d'une vie somnolente et végétale, du sein de notre mère (pauvre et grossière paysanne, mais toujours mère), nous nous vîmes dépouillés de tout, à commencer par les habits et la barbe.

On nous habitua à mépriser notre mère et à nous moquer de notre foyer paternel. On nous grava une tradition étrangère, on nous *flanqua* la science et on nous déclara, au sortir de l'école, que nous sommes des esclaves attachés à l'Etat et que l'Etat c'est une espèce de père Saturne qui, sous le nom d'empereur, nous avale au premier geste indépendant, au premier mot libre. On nous déclarait naïvement qu'on nous a civilisés dans un but d'utilité publique et gouvernementale et que, partant de là, on ne nous reconnait aucun droit humain.

Tout ce qui aime mieux avaler avec Saturne, qu'être avalé par lui, s'est rangé de son côté, écrasant de plus en plus le rez-de-chaussée du peuple, et jetant aux travaux forcés les récalcitrants parmi les civilisés « pour cause d'utilité publique ».

Un appareil si étrange ne pouvait aller à la longue, il n'avait pas de conditions sérieuses de stabilité, aussi au premier appel, les forces vives débordèrent (1812) et le lendemain de la victoire on commençait à demander des garanties d'une existence humaine. L'essai de 1825 a échoué, mais la secousse était forte. Le trône de Pierre Ier, à peine affermi du tremblement de terre (dernières convulsions d'un peuple qui se débattait contre l'esclavage), reçnt un nouvel avertissement, venant des *siens*. Ce coup n'était pas léger. Nicolas en était la longue crainte.

Le trouble intérieur dans lequel nous nous trouvions, pendant les trente années de ce règne, était plus douloureux que les malheurs qui tombaient sur notre tête. Nous étions dépaysés, sans racines, ignorant le peuple, détestant la maison paternelle, foyer de persécution des serfs, détestant le gouvernement comme ennemi puissant et féroce de tout développement intellectuel, de tout progrès... nous n'avions, dans notre impuissance, qu'une arme — l'étude, qu'une consolation — l'ironie.

Et c'est l'étude qui nous donna une autre patrie, une autre tradition ; c'était la tradition de la grande lutte du XVIIIme siècle. Oh ! que nous vous avons aimé, en puisant de toute la force de nos poumons, l'air frais soufflant pour la première fois sur le monde par la grande ouverture de 1789. Nous courbions nos têtes avec vénération devant ces figures sombres et fortes de vos saints pères du grand concile républicain, allant inaugurer l'ère *de la raison* et de la liberté.

La foi passionnée que la jeunesse russe avait pour la théorie allemande, pour *la pratique* française, semblait être justifiée et couronnée en 1848.

Vous connaissez le revers de la médaille. L'année 48 n'était

pas encore terminée que nous retournâmes de la Jérusalem moderne, comme Luther retournait du Vatican. Encore une fois « heimathlos, » vagabonds du monde moral, nous restâmes sans point d'appui devant la puissance de l'empereur Nicolas, qui s'était prodigieusement accrue et assombrie.

La main qui nous guidait du dehors, tremblait pour ses trésors et s'efforçait de retourner à bord. Nous l'avons lâchée. C'était notre dernière émancipation, c'était notre *nihilisme*... Laissant la main, nous nous jetâmes au large à nos risques et périls, dans la direction qu'elle nous avait désignée.

Les déportés des journées de juin étaient à peine arrivés à leur destination, lorsqu'une association socialiste était découverte à Pétesbourg. Nicolas sévit avec sa férocité ordinaire. Les individus périrent, les idées restèrent, germèrent. Le caractère dominant du mouvement était si évidemment *socialiste*, que les deux courants opposés de l'opinion, les deux écoles qui n'avaient rien de commun, l'école scientifique, analytique, réaliste, et l'école nationale, religieuse, historique, étaient d'accord sur toutes les questions de la commune rurale et de ses institutions agraires.

Bientôt arriva un troisième collège bien étrange.

Le gouvernement annonça sa ferme volonté d'émanciper les paysans. Tout le monde était d'accord que le temps de l'affranchissement personnel des paysans était venu. Là n'était pas la grande question, le fond était de savoir s'il fallait les émanciper avec la terre qu'ils cultivent ou laisser la terre au seigneur et doter le peuple du droit de vagabondage et de la liberté de mourir de faim. Le gouvernement était indécis, oscillant, n'avait aucune conviction formée et stable. Le tzar penchait pour la dotation, ses conseillers étaient naturellement contre. Dans cet embarras, le gouvernement ouvrit — dans le pays des mystères de chancellerie et de mutisme — des débats presque publics sur cette question vitale. On permit à la presse d'y prendre part, jusqu'à un certain point. Toutes les nuances politiques et littéraires, toutes les écoles sceptiques et mystiques, socialistes et panslavistes, la propagande de Londres et les journaux de Pétesbourg et de Moscou se réunirent dans une même action pour défendre le droit du paysan à la terre, contre les prétentions d'une minorité oligarchique. La voix du peuple ne manquait pas non plus; il n'admettait *pas même la possibilité* de l'émancipation sans terre. Enfin, le gouvernement, après de nouvelles oscillations, qui nous faisaient trembler d'anxiété, pencha de notre côté. L'émancipation avec la terre fut décidée en principe. C'est un grand triomphe et un immense pas en avant.

Depuis ce jour le gouvernement n'est plus le maître d'enrayer le mouvement. Pour rebrousser chemin, il faut avoir l'audace d'arracher la terre aux paysans. Il y eut peut-être un moment où l'on pouvait en faire l'essai — heureusement il est passé.

La noblesse, trop circonspecte pour s'avancer violemment au moment brûlant et dangereux, lente à se décider, formula son opposition d'impuissance — lorsque la terre du paysan était déjà bien loin.

Les cinq années qui s'écoulèrent depuis la mort de Nicolas et l'apparition du manifeste de l'émancipation des paysans, au mois de mars 1861, forment une grande époque non seulement dans l'histoire de la Russie, mais dans l'histoire du XIXe siècle.

Oh ! que j'ai profondément regretté et regretterai toujours ce qu'il m'était impossible de voir de mes yeux, ce qui se passait alors en Russie.

Tout se tendait de plus en plus, tout se serrait, se resserrait encore davantage ; une pression désolante, accablante écrasait sans relâche, avec une uniformité mécanique, et tout d'un coup une rupture — les cordes qui entrent dans les chairs se détendent, les prisonniers voient un beau matin que la porte n'était pas verrouillée ; ils ne savent où aller, les uns vont au grand air et retournent dans les cellules. Tout le monde s'est émancipé de son propre gré. Le mot Liberté n'a été prononcé par personne et a été entendu par tout le monde, par l'empereur Alexandre comme par les autres. Il sentait aussi que la lourde surveillance a cessé de peser, oubliant que cette surveillance était lui-même.

La chose était mûre — les formes plièrent, les mots changèrent de sens ; on a cessé de croire à la puissance d'institutions devant lesquelles on tremblait hier et qui restaient invariablement les mêmes. La Russie peut encore passer par des phases de tyrannie affreuses, d'un arbitraire sans bornes, mais elle ne peut retourner au régime calme et accablant de Nicolas.

Beaucoup de choses qui vinrent au jour alors, étaient précoces, quelquefois exagérées. Les jeunes forces, comprimées si longtemps, n'ayant aucune issue, aucune direction, et contenues matériellement par une discipline qui n'avait rien d'humain, débordaient ; mais au milieu de cette grande orgie matinale se révélèrent des forces non soupçonnées, se conçurent des fruits, qui survivront parfaitement bien l'hiver inclément de la blanche terreur qui continue.

Un des premiers pas de la jeunesse fut l'organisation *des écoles du dimanche et des associations d'ouvriers et d'ouvrières*. L'atelier,

fondé sur les bases socialistes, allait de front avec l'école et frisait naturellement la commune rurale. Le peuple des villages, vivant lui-même des associations agraires, avait, depuis des siècles, créé sur une très grande échelle les associations ouvrières. A côté de la commune *fixe* — *l'artel*, la commune mobile, l'association ouvrière.

Ces écoles, ces associations, étaient autant de ponts jetés entre la ville et le village, entre les deux états de développement. Tout cela a été brisé, écrasé par le gouvernement en peur et fureur, après l'histoire de ces incendies, qui n'a jamais eu de clé. Tout cela renaîtra.

Mais en faisant monter demain cette pierre de Sisyphe, que le tzar se complait à rouler en bas après-demain, on peut perdre des siècles sans trop avancer. Oui, mais aussi on peut réussir demain en roulant, au lieu de la pierre, le gouvernement. Nous avons trop de chaos et d'incongruités pour nous étonner des imprévus.

Les choses les plus impossibles se réalisent chez nous avec une célérité incroyable ; des changements qui, par leur importance, équivalent à des révolutions, s'accomplissent sans qu'on s'en aperçoive en Europe.

Il ne faut jamais perdre de vue que, chez nous, tout changement n'est qu'un changement de décorations : les murs sont en carton, les palais en toile peinte. Ce que l'on voit sur les trétaux du grand théâtre impérial n'est pas *tout de bon*, à commencer par les personnes. Ce grand seigneur, c'est un laquais ; ce ministre, dictateur et despote, c'est un révolutionnaire ; — ce civilisé, ce rafiné, Calmuck par habitude et mœurs. Tout est d'emprunt. Nos rangs sont des rangs allemands, on ne s'est pas même donné la peine de les traduire en russe — les *Collegien Registrator*, le *Kanzelerist*, l'*Actuarius*, l'*Executor*, restent encore pour faire l'étonnement des oreilles des paysans et rehausser la dignité de divers copistes, scribes et autres palefreniers de la bureaucratie.

Nous autres, comme les enfants trouvés dans un hospice, nous sentons — sans connaître d'autre maison paternelle que — celle-là n'est pas à nous, et nous désirons passionnément la démolir.

Dans cet empire des façades, où il n'y a rien de vrai et de réel que le peuple en bas et la lumière en haut, il n'y a que deux éléments qui font exception, deux forces de destruction : c'est le courage militaire et le courage de la négation. Or,

n'oublions pas « que la négation active est une force créatrice, » comme l'a dit il y a bien des années, notre ami Michel Bakounine. Il est impossible de parler sérieusement du conservatisme en Russie. Le mot même n'existait pas avant l'émancipation des paysans. Nous pouvons être stationnaires comme le saint Stylite, où marcher à reculons comme une écrevisse, mais nous ne pouvons pas être conservateurs, car nous n'avons rien à conserver. Edifice mixte, sans architecture, sans solidarité, sans racines, sans principes, hétérogène et plein de contradictions. Camp civil, chancellerie militaire, état de siège en temps de paix, mélange de réaction et de révolution, prêt à durer longtemps et à tomber en ruine demain.

Le jour où Pierre, tzar byzantin, s'est fait empereur à l'allemande et prit un gîte à Pétersbourg — le tzarisme a perdu tout terrain conservateur. Depuis ce temps, l'Empereur change comme un Protée : il est femme et homme, Romanoff et Holstein. — Civilisateur le knout à la main, le knout à la main persécuteur de toute lumière, gardant les traditions, brisant les traditions, faisant la barbe à son empire par esprit révolutionnaire et époussetant la poussière d'une vieille église à barbe, pour s'opposer à la révolution.

Aujourd'hui premier *gentilhomme*, demain *premier peuple* ; — aujourd'hui l'idée peut lui venir de continuer le règne fou de Paul Ier, demain, de se proclamer Pougatchef II. J'ai toujours admiré l'adjectif hermaphrodite que Voltaire a employé en disant *Catherine le Grand* : confusion de sexe, de fonction, cumul, absorption, promiscuité.

La noblesse voudrait bien jouer un rôle de conservatistes-stories, mais heureusement elle est arrivée à cette idée le lendemain de la perte du trésor qu'elle avait à conserver. Elle n'a pas de valeur intrinsèque ; sa puissance venait du tzar — il a ôté son doigt — elle n'existe que de nom. La partie saine, jeune, de la noblesse tâche de faire oublier son origine, oublie elle-même, cherche du travail et se fond avec tout le monde. L'autre partie — obstinée, irritée, se consume en colère et perd le reste de ses forces usées à faire trois oppositions stériles. Une opposition de cupidité à la commune affranchie, une opposition hypocrite et traître à la bureaucratie — dans laquelle elle comprend le gouvernement. — et une opposition acharnée, imbécile de vengeance et de rancune à la pensée libre, aux nouvelles aspirations, à la jeunesse active et lancée dans le mouvement. Haïe par le peuple, suspectée par le gouvernement

et détestée par la jeunesse intelligente — elle rôde amaigrie, vieillie et furieuse, ne pouvant, comme Calypso, se consoler du départ du beau droit de servage au moins.

Ce que nous venons de dire de la noblesse *terrienne*, nous pouvons le dire à plus forte raison de la noblesse d'*encre*. La bureaucratie ne représente qu'un instrument : c'est un régiment civil qui ne raisonne pas *sous les plumes*; elle continuera à fonctionner, avec *zèle et vol* — sous Paul Ier comme sous Pougatcheff II.— Ennemie par position de la grande noblesse — elle se confond avec la petite. C'est une classe qui n'a rien à conserver, sauf les dossiers et archives.

Gouvernement, noblesse et bureaucratie se rencontrent dans une conviction qui en elle-même est tout ce qu'il y a de moins conservateur : ils sont d'accord sur la nécesité de *grandes réformes*. Une partie de la noblesse tend à obtenir une représentation parlementaire et à prendre le gouvernement sous son contrôle. Le gouvernement et la bureaucratie sont toujours à l'idée de réformer l'Etat par le despotisme civilisateur. Ils sont toujours dans le mode de Pierre Ier, de Joseph II : ils veulent décentraliser et donner de petites franchises, pensant que cela ôtera le goût des grandes; ils veulent céder une part de l'administration — pourvu qu'on ne touche pas aux droits sacrosaints de la souveraineté absolue. Pour un temps quelconque cela pourrait aller — avec un Tzar énergique et un ministre homme de génie, les deux travaillant de toutes leurs forces à se creuser au plus vite une fosse. Des hommes médiocres ne suffiront pas à cette tâche — ils feront une réaction désordonnée, un désordre blessant, précisément ce que fait maintenant le gouvernement du Palais d'Hiver. Une constitution nobiliaire ne suffirait à personne, et le gouvernement sera toujours en mesure de l'écraser, s'appuyant sur les exclus, les mécontents et les paysans.

Reste donc la convocation du grand « concile », d'une représentation sans distinction de classes, seul moyen de constater les désirs réels du peuple et de savoir où nous en sommes. C'est aussi le seul moyen de sortir sans secousse, sans bouleversement — terreur et horreur — sans torrents de sang, de la longue introduction que l'on appelle la *période de Pétersbourg*.

La réaction aiguë qui continue n'a ni unité, ni place, ni profondeur : elle a la force en main et le sans-gêne héréditaire; elle fera des malheurs — elle ne s'arrêtera devant rien et n'arrêtera rien non plus.

Quelle que soit la *première constituante*, *le premier parlement* — nous aurons la liberté de la parole, de la discussion et un terrain légal.

Avec ces données nous pouvons marcher. La route est difficile — et pour quel peuple était-elle jonchée de roses? Tous les obstacles sont extérieurs — rien ne nous retient dans notre conscience.

Nous n'aurons ni légitimistes, ni aristocrates, ni cléricaux, ni républicains antisociaux, ni démocrates centralisateurs, ni déistes intolérants, ni bourgeois souverains dans le camp du progrès.

Nous y reviendrons encore maintes fois. Mais dès à présent nous avons le droit de terminer notre article-vestibule en disant qu'il n'y a pas de raison suffisante ni de nous maudire — en nous craignant, ni de se désoler — en nous plaignant. Heureusement nous ne sommes ni si forts, ni si malheureux.

Kolokol Nos 14—15.

1er Décembre 1868.

LETTRE à N. OGAREFF

Cher ami,

Je veux te proposer ni plus ni moins qu'un « coup d'Etat », et nommément la suspension immédiate, ou si tu aimes mieux, la prorogation indéfinie du *Kolokol*.

Notre meule s'arrête, les ruisseaux coulent ailleurs ; allons chercher un autre terrain et d'autres veines.

Tu sais avec quelle persistance je tenais, depuis 1864, à la continuation du *Kolokol*—mais enfin arrivé à la conviction que son existence devient factice, artificielle, je n'en peux plus, — l'*esprit du travail s'est envolé* et je me sens totalement incapable de mettre platoniquement en mouvement notre *Cloche* pour le seul plaisir de l'entendre sonner.

Notre journal ne fut jamais un but, mais un moyen, un ustensile. Nous ne l'abandonnons pas de gaieté de cœur aux premiers mécomptes, par fatigue et légèreté ; mais je ne vois pas de raison pour lui donner une existence factice de moribond—par obstination.

Tout a son temps, a dit le sage, il y a un temps pour amasser les pierres et un autre pour les jeter.

Nous avons trop longtemps suivi notre chemin pour le

rebrousser ; mais nous n'avons aucun besoin d'aller par le même sentier, lorsqu'il devient impraticable, lorsqu'il manque du pain quotidien. Sans correspondances suivies du pays, une feuille qui se rédige à l'étranger est impossible, sort de l'actualité, devient un bréviaire des émigrés, une récapitulation de griefs, une lamentation chronique.

La plus grande partie de nos convictions les plus chères, nous les avons dites et répétées cent fois ; il y a un noyau inaltérable qui s'est formé autour d'elles. Il y a une jeunesse si profondément, si irrévocablement socialiste, si pleine de l'audace logique, si forte de réalisme dans la science et de négation dans tous les domaines du fétichisme clérical et gouvernemental, qu'il n'y a pas de crainte — *l'idée ne périra pas.*

Nous appartenons, toi et moi, à ces vieux pionniers, à ces « semeurs matineux » qui vinrent, il y a une quarantaine d'années, défricher le sol sur lequel passa la sauvage chasse aux hommes de Nicolas, écrasant tout — fruits et germes. Les semences que le petit nombre de nos amis et nous avons héritées de nos grands précurseurs en travail, nous les avons jetées dans les nouveaux sillons, *et rien ne s'est perdu.* La poussée forte et vigoureuse qui s'est montrée avec une telle exubérance pendant les premieres années du règne actuel, n'est rien moins que morte — elle travaille sous un déluge de boue, plein de détritus en putréfaction, qui serviront d'engrais pour l'avenir, mais qui étouffent le présent.

La phase du développement dans laquelle nous sommes entrés, est lourde et rude. Elle est loin de la stagnation. La germination ne s'arrête pas, mais elle a dévié. Fiévreuse, elle porte toutes les traces d'une longue incubation d'éléments maladifs, et il est bien douteux qu'on puisse la faire avancer par force sans crainte d'une crise malheureuse ou d'un avortement.

Il faut donc laisser passer la crise, il faut suivre pas à pas la nature et s'en emparer au premier instant, et avant tout il faut savoir attendre. C'est bien lourd pour les vieux—peut-être plus lourd que pour les jeunes—mais cela ne regarde que nous, nos personnes. Il le faut. N'avons-nous pas toujours prêché l'humilité devant les faits ? et puis dans notre langue attendre n'a jamais voulu dire *se croiser les bras.*

La jeune génération va son train, elle n'a pas besoin de notre parole, elle est majeure et le sait. Aux autres, nous n'avons rien à dire. Maniaques d'un patriotisme demi-carnassier, demi-rhétoricien, avec leur libéralisme scrofuleux et leur lèpre de l'ortho-

doxie, que veux-tu que nous leur disions, si ce n'est de répéter un *memento mori*, en y ajoutant le conseil peu charitable de se hâter.

Nous nous sommes trop écartés avec l'opinion dominante en Russie pour pouvoir jeter un pont, il n'y a pas de câble atlantique assez long pour nous entendre.

En tâchant de nous aplatir jusqu'à eux, nous ferions perdre à notre journal son individualité tranchée, sa signification morale, sa physionomie si bien connue par les amis et les ennemis, depuis treize ans, depuis le temps que le son clair de la *Cloche* retentit pour la première fois, appelant les vivants, les réveillés au travail—*Vivos vocando.*

Non, nous n'avons pas le dévouement oriental qui détermina le brave prisonnier de guerre à se couper le nez pour pousser les indécis à l'assaut...

Mille fois mieux vaut chercher une nouvelle route—et si par hasard nous ne la trouvons pas, nous avons assez, pour le reste de nos jours, d'étudier les étranges caprices du développement historique, qui s'écarte continuellement par les chemins les plus tortueux et les plus impraticables—comme le lévrier du chasseur, et ne perd jamais sa route.

Nous quitterons tranquillement notre arène de journalistes, sans être vaincus ni dépassés. Personne n'a combattu avec nous, nos provocations ne furent jamais suivies de lutte sérieuse. Ce n'étaient pas du plomb ou des pierres que nous jetaient nos adversaires, mais quelque chose de dégoûtant, qui se desséchait et tombait sans nous laisser de taches.

Le peu de cérémonie de nos adversaires nous étonnait d'abord, ensuite cet étonnement passa. Nous vimes clairement qu'ils ne faisaient pas une exception pour nous, qu'ils parlaient entre eux le même jargon et encore plus avancé. Car s'ils nous détestent par envie ou par solde, ils s'entr-détestent autant, mais avec une grande dose de mépris sincère et mutuel.

La suspension du *Kolokol* fera la jubilation de nos ennemis. Le plaisir de nos adversaires *non salariés* ne sera pourtant pas si complet qu'on pourrait le penser. Je ne désespère jamais des hommes que *in extremis*. Il y a une voix intérieure qui me dit que dans leur joie il y aura des gouttes amères. Ce n'est pas par *différence d'opinions* que nous attaquaient les plus acharnés de nos ennemis, — nous l'avons vu par le choix des armes et l'impureté de leurs alliances.

Au reste, ils pourront facilement maintenant nous donner la

ruade de l'âne. Aûtant que je pourrai, je ne repondrai pas. En cas de besoin, l'*Etoile polaire* nous donnera la facilité de la défense. Et, tout bien pris, la langue de la *Cloche* ne sera pas fondue—elle ne sera qu'attachée, et le bout de fil restera dans nos mains.

Encore un mot :

Il y a un an je pensais qu'une édition française pourrait remplacer le *Kolokol* russe ; c'était une erreur. Notre véritable vocation était d'appeler nos vivants et de sonner le glas pour nos morts—et non celle de raconter à nos voisins l'histoire de nos tombes et de nos berceaux.

D'autant plus que cela ne les intéresse que fort médiocrement.

Le Congrès de la Paix à Berne, nous montra encore une fois que, en général, la voix des Russes est assez déplacée dans les concerts de famille de l'Occident. Nous les troublons, nous avons une gaucherie de la vérité très-déplaisante, un mal-à-propos de barbares et une logique inexorable et insolente. Nous nous sommes si longtemps tus—subjugués par la force brutale—que nous disons trop dès que *nous présumons* être libres. Tout ce que nos frères aînés, dans leur sage expérience, ne touchent que *sub rosa*, par des allusions éloignées et ornées de feuilles d'acanthe et de vigne, nous sommes prêts à le crier du haut des toits. — Cela indigne et on se détourne de nos simples paroles.

Au milieu de la grande préoccupation sur la manière de formuler la théorie de la paix et les grandes préparations à la guerre — nous cesserons de sonner sans qu'on s'en aperçoive.

Voilà, cher ami, mon coup d'Etat. Le temps lui est propice —nous sommes en décembre.

Et sur cela, continuons notre chemin, bras dessus, bras dessous, comme nous l'avons commencé. Le relais n'est plus loin.

Supplément du *Kolokol* le 15 Février 1869

MON ASSASSIN FUTUR

ET

SON CALENDRIER [1]

Depuis quelques années nous avons cessé de recevoir des lettres de menaces et d'objurgations. C'était un mauvais signe pour notre propagande; mais comme fiche de consolation, au moment même du dernier branle de notre *Cloche*, on nous envoie, de la « ville éternelle, » une lettre *non signée*, que nos lecteurs apprécieront eux-mêmes.

D'abord, voilà l'original dans toute la splendeur de sa syntaxe.

16/28 Ноября.

М. Г.

Если Вы и Ваши сообщники не перестанете писать дурнаго противъ Россіи и добрыхъ людей клеветать *только за деньги*, точно также какъ вы пишите хорошее тоже только за деньги, то даемъ вамъ слово черезъ годъ Васъ не станетъ и тогда вашъ дохлый трупъ поганой скотины какъ Вы зароютъ гдѣ нибудь какъ бѣшеную собаку.

N. N.

Замѣтьте число, только четыре мѣсяца остается.

Sur l'enveloppe :

Suisse, Genève.

M. le Rédacteur de la Gazette *Colocol*
M. Herzen

(Timbre de la poste) : Roma, 27 Novem. 1868.

Tâchons de traduire mot à mot ce galimatias de notre farouche, mais peu lettré, assasin, sans en perdre le fion et le bouquet.

« Monsieur,

« Si Vous et Vos complices ne cesseront d'écrire de mauvaises choses contre la Russie et calomnier les bonnes et honnêtes gens *pour de l'argent* — comme aussi les bonnes choses que Vous écrivez sont écrites pour de l'argent — nous Vous donnons notre pa-

[1] J'ai trouvé cette lettre en venant de Zurich à Genève, le 2 décembre — trop tard pour l'insérer dans notre dernière feuille.

role que dans une année Vous n'existerez pas, et que votre cadavre d'animal impur, en putréfaction, sera enfoui dans la terre comme un chien enragé.

N. N.

« Remarquez la date, il ne reste *que quatre mois.* »

Ce n'est pas beau, mais c'est fort. Nous n'avons rien à ajouter à ces lignes et pourtant il y deux choses qui m'intriguent individuellement, moi, *le futur assassiné.* Pourquoi, lorsqu'on se met sur un tel pied d'intimité avec un individu, qu'on lui promet de l'assassiner derrière un mur et de lui préparer l'enterrement d'un chien enragé, pourquoi alors un grand V aux pronoms qui s'adressent à lui ?

La seconde chose manque complètement de clé. C'est le terme d'*une année* que nous donne le tueur au service de la Russie conservatrice *dans la lettre*, et le réduit dans le *post-scriptum* à *quatre mois*, du 28 novembre. C'est mystique ?

A quand donc, chers petits assassins, au 28 mars ou au 28 novembre ?